Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Рензов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Фсдин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

Г. ФИЛЬДИНГ

# ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1973

Вступительная статья
Ю. Кагарлицкого

Примечания
А. Франковского

Иллюстрации
В. Носкова

И (Англ)
Ф 51

7-3-4
Подп. изд.

## ВЕЛИКИЙ РОМАН И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ

Когда в 1754 году умер Фильдинг, друзья спохватились, что от него не осталось портрета. И тогда Дэвид Гаррик и Вильям Хогарт возместили потерю. Великий актер позировал в образе Фильдинга великому художнику. Так появилось единственное доступное нам изображение великого романиста.

Что в нем действительно от Фильдинга, а что — от позднейшего представления о нем? Трудно сказать. Но, скорее всего, портрет достоверен. Друзья таким и вспоминали его — веселым, доброжелательным, жизнелюбивым, со смеющимися глазами. Да, портрет достоверен. И тем более удивителен.

Сатириков и юмористов принято изображать людьми угрюмыми. Взгляд отнюдь не беспочвенный — они действительно такими часто бывают. От Фильдинга этого можно было ждать скорее, чем от других: жизнь его сложилась не просто. Но, как заметила родственница Фильдинга леди Мэри Уортли Монтегю, «никто не умел радоваться жизни, как он; никто не имел для этого так мало оснований».

А впрочем, может быть, основание для этого все-таки было — самое веское из всех возможных? Ведь как ни трудна оказалась для Фильдинга жизнь, он сумел подчинить ее себе и воплотить в величайшей комической эпопее. Это была радость победителя. Но победа далась нелегко, стоила собственной жизни, да и завоевана была в условиях неблагоприятных.

Генри Фильдинг родился 22 апреля 1707 года в семье майора Эдмунда Фильдинга, сделавшего быструю военную карьеру: за два года до смерти он получил чин генерал-лейтенанта, чрезвычайно по тем временам значительный. В родовитости Фильдингам тоже никто не отказывал. Они были сродни

графам Денби, притязавшим на родство с Габсбургами. Позднейшие исследования, правда, опровергли эти претензии. Выяснилось, что графы Денби — из мужиков и во времена, когда Габсбурги пробирались к императорскому престолу, пахали землю и доили коров. Но лондонское светское общество XVIII века было связано в этом отношении своего рода круговой порукой и предпочитало не вдаваться в подробности происхождения той или иной семьи. К тому же Фильдинги притязали по тем временам на самую малость: сколько людей происходило, если верить их словам, прямо от Вильгельма Завоевателя! Словом, семья знатная, занимающая видное положение, всем известная.

При ближайшем рассмотрении дело обстояло не так благополучно. Собственные средства Фильдингов были невелики, а генеральского жалованья, вообще-то говоря весьма хорошего (на то, что получал Эдмунд Фильдинг в месяц, семья в провинции могла прожить пять лет), не хватало. Генерал был женат вторым браком, у него было двенадцать душ детей, да и траты светских господ были несоизмеримы с тратами людей, не принадлежащих к «обществу». Трудно было и другое: Генри оказался объектом раздора между отцом и бабкой по материнской линии, споривших о том, под чьей опекой должен находиться мальчик, и судившихся из-за наследства. Самому ему у бабушки было, очевидно, лучше. Однажды он даже сбежал к ней.

В 1726 году Фильдинг кончил аристократическую Итонскую школу, где получил глубокое знание греческого и латыни, немало послужившее ему потом в его занятиях литературой и философией, а два года спустя появился в Лондоне с комедией «Любовь в различных масках». Пьесу сыграли в одном из двух ведущих театров Лондона, что не стоило Фильдингу большого труда, но и не принесло особого успеха. Молодого драматурга это, судя по всему, не слишком огорчило. Он был достаточно умен, чтобы не считать себя законченным литератором, и планы у него были дальние. К этому времени отец назначил ему ежегодное содержание, которое, как говорил потом писатель, «имел право выплачивать всякий, кому захочется». На первых порах деньги, однако, поступали, и Фильдинг уехал в Лейден учиться на филологическом факультете, считавшемся лучшим в Европе. Через полтора года он, впрочем, остался без средств и вернулся в Англию.

Теперь Фильдинг окончательно (так, по крайней мере, ему казалось) выбрал себе занятие. Он решил стать драматургом. Первый опыт нашел продолжение в пьесе «Щеголь из Темпла» (1730), где рассказывалось о пройдохе студенте, посылавшем домой огромные счета на свечи, чернила, перья, чем вызывал ужас у родителей — ребенок может заболеть от таких упорных занятий! В том же году появилась комедия «Судья в ловушке» (эта пьеса ставилась на советской сцене) — образец довольно смелой социальной сатиры. Успех возрастал. И хотя Фильдинг верно угадал в себе талант комедиографа, он не сразу понял, в какой именно специфической форме сумеет создать свои сценические шедевры. Вопрос решил большой успех двух его новых пьес.

Упомянутые раньше три пьесы Фильдинга были написаны в жанре комедии нравов. Новые — в жанре фарса. Одна из них, сразу поставившая Фильдинга в число ведущих драматургов, так и называлась — «Авторский фарс» (1730). Но по-настоящему большим событием стала вторая — «Трагедия трагедий, или Жизнь и смерть Мальчика-с-Пальчик Великого» (1731). Действие происходило при дворе короля Артура, где великий герой Мальчик-с-Пальчик побеждал врагов, влюблял в себя великанш и принцесс, но в конце погибал, съеденный рыжей коровой. Зрители смеялись до упаду, но не одному только искусно оформленному сюжету и даже не многочисленным намекам на современность. Дело в том, что Фильдинг составил свою комедию чуть ли не наполовину из цитат из чужих трагедий. Зрители, смеявшиеся перед этим на фильдинговском «Мальчике-с-Пальчик», приходили потом на представление какой-нибудь современной трагедии и с ужасом чувствовали, что их тянет так же точно реагировать на самые трагические тирады самых трагических героев... XVIII век в Англии был веком комедии, а не трагедии, но никак не мог сам себе в этом признаться. Фильдинг ему в этом помог.

Джонатан Свифт говорил потом, что смеялся всего два раза в жизни и один из них — на представлении фильдинговского «Мальчика-с-Пальчик». Великий сатирик не мог не увидеть, сколь близок ему молодой драматург. Фильдинговская пародия была сродни пародиям, которые Свифт со своими друзьями Геем, Попом и Арбетнотом выпускал от имени некоего Мартина Скриблеруса (то есть Мартина Писаки). О том, что чисто литературной пародией дело там не ограничивалось, свидетельствует достаточно убедительный факт — именно в недрах этой художественной полемики зародился замысел «Путешествий Гулливера». Так теперь и Фильдинг (а он демонстративно принял псевдоним «Мартин Скриблерус Секундус», то есть Второй Мартин Писака) посягал на большее, нежели литературные авторитеты. Его пьеса была обращена против так называемой «героической трагедии» — трагедии барочного толка, сложившейся в Англии в XVII веке. Но при этом Фильдинг с особенным удовольствием издевался над понятием «великого человека». Мальчик-с-Пальчик Великий! Само это имя служило осмеянию монархов и завоевателей, превозносимых официальной историографией.

Социальная и политическая критика в пьесах Фильдинга, как нетрудно увидеть, все нарастала. Жизнь давала для этого замечательный материал.

За девятнадцать лет до рождения Фильдинга завершился длительный период английской буржуазной революции. «Великий бунт» сороковых годов XVII века и диктатура Оливера Кромвеля закончились реставрацией династии Стюартов и новым их изгнанием в 1688 году. Англия теперь жила в условиях классового мира, достигнутого в результате компромисса между новым дворянством и буржуазией. Это состояние замиренности прерывалось только новыми попытками реставрации Стюартов, в общем-то заранее обреченными на провал. Массовых же народных движений Англия времен Фильдинга не знала.

В этой буржуазной и уже по-буржуазному самоуспокоенной Англии сатирику было что делать. Англия гордилась тем, что избавилась от политической тирании, но Фильдинг заметил однажды (и не уставал показывать это в своих произведениях), что бедность наложила на людей не меньшие путы, чем тирания. И разве исчезла тирания обычая и тиранство помещиков и вообще всех власть имущих? О счастье англичан было сказано к этому времени много слов. Фильдинг задался целью разведать, что кроется под этими словами. Он приводит в Англию Дон Кихота, чтобы вместе с Рыцарем Печального Образа остраненным взглядом посмотреть на английские порядки и ужаснуться английским чудищам — сквайрам, мэрам, трактирщикам («Дон Кихот в Англии»), посещает вместе со зрителями выборы, вернее, репетицию комедии под названием «Выборы» («Пасквин»), производит обзор нравственных, социальных и культурных «ценностей» века в комедии «Исторический календарь за 1736 год».

Все эти годы Фильдинг работает с необычайной энергией. За десять лет им создано двадцать пять пьес. Нельзя сказать, что ему не мешали. Фильдинг вступает в конфликт с драматургами-охранителями, в частности, с таким влиятельным драматургом и театральным деятелем, как Колли Сиббер, в течение многих лет руководившим одним из двух монопольных театров Лондона. Но эти литературные битвы были ничто по сравнению с ударом, который обрушился на него в 1737 году.

В этот год был принят «Закон о лицензиях», специально направленный против Фильдинга. Англия никогда не была вполне свободна от театральной цензуры; на вмешательство государственной власти в вопросы репертуара сетовал даже Колли Сиббер в своих воспоминаниях. Но по новому закону цензура получала правовое подкрепление и могла вмешиваться в работу не одних только монопольных («королевских») театров, как прежде, но и всех остальных. Кроме того, театры должны были обзавестись специальными правительственными лицензиями. Без этого они подлежали закрытию.

Фильдинг за год до этого сделался руководителем труппы, ставившей его и чужие пьесы в театре Хеймаркет. Теперь из театра пришлось уйти.

Зрители по-своему реагировали на изгнание любимого драматурга. Когда здание Хеймаркета заняла французская труппа, власти предусмотрительно отрядили на спектакль судью и роту солдат во главе с полковником. И все же актерам не удалось произнести ни слова. Публика неистовствовала: закидывала сцену горохом, кричала, стучала тростями. Когда посреди темного зала возникла фигура судьи со свечой в одной руке и экземпляром «акта о мятеже» в другой (не зачитав его, нельзя было, согласно законодательству того времени, применить против толпы вооруженную силу), зрители задули у него свечу, вышли из театра и двинулись по улице с пением песни Фильдинга «Старый английский ростбиф».

Фильдингу эта демонстрация могла принести лишь некоторое моральное

удовлетворение — не более того. С момента изгнания из театра и на долгие годы его жизнь — постоянная борьба с нуждой. Еще в 1734 году он женился на знаменитой в целом графстве красавице Шарлотте Крейдок, у них было двое детей, и хотя жена получила после смерти матери небольшое наследство, денег хватило ненадолго. Фильдинг органически неспособен был отказать в чем-то другу в нужде и проявлял, как ему казалось, величайшее благоразумие, если отдавал ему только половину того, что у него было в кармане, а не все до последней полушки. Надеяться он мог только на собственное прилежание. В тридцать лет Фильдинг снова садится на студенческую скамью, в необычайно короткий срок получает юридическое образование и начинает заниматься адвокатской практикой. В это же время пишутся его повествовательные произведения.

Первое из них — большая сатирическая повесть «История Джонатана Уайльда Великого»— было написано, очевидно, еще в 1739 году, хотя опубликовано лишь четыре года спустя. Это была история реального лица, скупщика краденого, повешенного в 1721 году. История Джонатана Уайльда наделала тогда много шума,— как выяснилось, этот фактический глава всего преступного мира Лондона находился в связи с полицией. Успела она послужить и литературе. В том же 1721 году Даниэль Дефо выпустил небольшую брошюру, где описывались деяния знаменитого уголовника, а в 1728 году на лондонской сцене с грандиозным успехом была поставлена комедия Джона Гея «Опера нищего» (на ее основе Бертольт Брехт создал потом свою «Трехгрошовую оперу»). Фильдинг использовал воспоминания о теперь уже достаточно давнем уголовном деле для того, чтобы создать пародийное торжественно-официальное жизнеописание своего героя, в котором он видит замечательный пример «великого человека» вообще. Джонатан Уайльд был жесток, лжив, коварен, любил позу, лишен был всяческих сантиментов и исходил только из собственной выгоды — чем, спрашивается, уступал он воспетым историками великим завоевателям и правителям?

В 1742 году выходит в свет и первый роман Фильдинга — «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса».

«История Джозефа Эндруса» начиналась как пародия на незадолго перед тем появившийся роман Сэмюела Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), где рассказывалась история служанки Памелы Эндрус, сумевшей отстоять свою непорочность от домогательств молодого сквайра Б. (Фильдинг расшифровал эту фамилию как «Буби» — то есть «олух») и вышедшей за него замуж. Фильдинг наделил такой же добродетелью брата Памелы Джозефа, лакея в доме сестры сквайра Буби, и заставил его немало пострадать из-за своей добродетели, а самое Памелу изобразил в красках не очень привлекательных. В этой пародии была немалая доля правды. Конечно, Ричардсон был очень большим писателем, а принятая им манера романа в письмах давала невиданные доселе в английской литературе возможности психологической разработки характеров, но Фильдинг справедливо усмотрел в первом романе Ричардсона (тот не создал еще своего шедевра «Кларисса Гарлоу»)

нравственный ригоризм, характерный для пуритан. Однако пародией дело не исчерпывалось. Фильдинг нашел и собственный интерес в истории простого хорошего парня, изгнанного из господского дома и двинувшегося пешком в родное село, где ждет его такая же простая, работящая и добрая крестьянская девушка Фанни. По дороге Джозеф встречает пастора Адамса, научившего его в свое время грамоте, и Фанни, и они втроем вышагивают по дороге, встречая добрых и злых, лицемеров и скромных праведников.

«Видел нравы многих людей»,— поставил Фильдинг эпиграфом к «Тому Джонсу». В какой-то мере это было правдой уже по отношению к «Джозефу Эндрусу». В «Джонатане Уайльде» Фильдинг больше писал о тенденциях общественной жизни. Начиная с «Джозефа Эндруса» он будет открывать эти тенденции на примере самых конкретных проявлений жизни.

Большой успех «Истории Джозефа Эндруса» помог выпустить «Смешанные сочинения» (1743) — сборник неопубликованных работ, включавший, в частности, «Джонатана Уайльда». Из предисловия к этому сборнику мы узнаем о тяжелых обстоятельствах жизни Фильдинга. Он уже болен. Тяжело больна и его жена. Денег ни на что не хватает.

Вскоре Фильдинг потерял жену. Горе его было так велико, что друзья опасались за его рассудок. Спасение он находит в работе. Задуман новый роман — комическая эпопея. Его предстоит осуществить человеку, которого жизнь словно бы нарочно стремилась отучить от насмешливого к себе отношения. Но он сумеет подняться над своей судьбой, чтобы запечатлеть судьбы других людей и что-то от судьбы своей страны в целом.

Создавая «Тома Джонса», Фильдинг уже знал, что рождается великая вещь. Несколько тысяч часов, проведенных за письменным столом в обществе Тома, Софии, Партриджа, достойного сквайра Олверти, его недостойного племянника Блайфила (сделаем эту уступку традиционному русскому переводу: англичане произносят эту фамилию «Блифил») и их соседа сквайра Вестерна, окончательно убедили его, что талант комедиографа, которым наградила его природа, не пропал втуне. Явилась на свет несравненная комическая эпопея, и все сделанное до этого, как ни велики собственные достоинства этих произведений, было, оказывается, лишь подготовкой к ней.

Как истинный писатель Просвещения, этого «Века Разума», Фильдинг стремится еще и осмыслить свой успех теоретически, закрепить его в рациональной, логически выстроенной системе. Отсюда — своеобразие композиции «Тома Джонса». Он состоит из собственно повествовательной части и вступительных глав к отдельным книгам. «Том Джонс» это одновременно и увлекательный роман, и не менее увлекательный трактат о романе. Фильдинг обосновывает в своих «предисловиях» права и возможности нового жанра, создателем и законодателем которого себя провозглашает. В них же высказывает свои нравственные взгляды, давая своеобразный комментарий к поступкам героев. И в них же сражается со своими врагами.

Легко понять, что театр займет здесь достойное место. Конечно, не забыт Колли Сиббер. Фильдинг постарался, чтобы за этим булгариным английской сцены закрепилась репутация человека не очень грамотного, вполне бездарного, но зато исполненного ложных претензий. И вместе с тем автор не упускает случая отметить любимых им актрис и актеров. Он скажет о вдумчивой игре Китти Клайв и Сусанны Сиббер (невестки Колли Сиббера), исполнивших немало ролей в его пьесах, а Дэвида Гаррика объявит великим актером. Его рассказ о впечатлении, которое производила игра Гаррика в «Гамлете», перешел потом в главную работу по театру, созданную в XVIII веке — «Гамбургскую драматургию» великого немецкого просветителя Г.-Э. Лессинга,— и сделался с тех пор хрестоматийным. Немало говорится в «Томе Джонсе» и о драме — старой и новой.

Такое перенесение недавней полемики на страницы романа не удивительно. XVIII век вообще не делал в этом смысле большого различия между романом, журналом, даже газетой, а комический жанр, в том числе комическая эпопея, как назвал свой роман Фильдинг, был этому особенно подвластен. Роман Фильдинга широко открыт жизни. В этом одно из условий его реализма, и действительность воссоздается на страницах «Истории Тома Джонса» в формах самых конкретных. Улицы городов и почтовые тракты, питейные заведения, кофейни и таверны названы их настоящими именами, люди (во всяком случае, значительная их часть) — тоже. Десятки реальных личностей, начиная с известных парламентских деятелей и кончая какой-нибудь портнихой миссис Хасси, переполняют роман. События, разговоры, мнения — все это увидено своими глазами и услышано от этих самых людей, и притом совсем недавно, в 1745 году, когда Молодой Кавалер (или Молодой Претендент) Карл-Эдуард высадился, при поддержке французов, в Англии, чтобы вернуть корону Стюартам, и все общество — и трактирщики, и сельские сквайры, и столичные господа — снова было взбаламучено старыми распрями.

Эта необыкновенная «открытость жизни», присущая комической эпопее, помогает Фильдингу ощутить, какой шаг вперед он сделал со времени работы для театра. Роман протяженней во времени и поэтому емче. Характер героя раскрывается на широчайшем жизненном фоне, в столкновении с людьми всех званий и профессий. Они помогают нам узнать его, он — их.

Конечно, здесь тоже были свои опасности. Но они уже достаточно выявились в ходе развития романа. Сколь ни серьезными они могли показаться, они были лишены неожиданности.

О великих произведениях искусства нередко завязываются споры — подводят ли они итог минувшему периоду развития искусства или начинают новый. В отношении «Тома Джонса» подобные разногласия, кажется, никогда не возникали: слишком определенно этот роман обозначает собой переход в истории эпического жанра нового времени. «Том Джонс» глубокими корнями связан с искусством до него и открывает дорогу новому.

«Исходным» творчества Фильдинга-романиста (в какой-то мере и всего его творчества) был «Дон Кихот» Сервантеса. «Дон Кихот в Англии» был задуман и частично осуществлен Фильдингом еще в годы учения в Лейдене. «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса» имела подзаголовком фразу: «Написано в манере Сервантеса, автора «Дон Кихота». Да и в перечнях великих писателей прошлого, как ни варьировались они в разные годы у Фильдинга, имя Сервантеса никогда не бывало пропущено.

Фильдинг не был в строгом смысле слова первооткрывателем Сервантеса в Англии. «Дон Кихота» начали переводить на английский еще при жизни автора, в 1612 году, и с первой частью великого романа мог бы при желании познакомиться Вильям Шекспир. В течение XVIII века «Дон Кихот» был четырежды издан в Англии на испанском языке и двадцать четыре раза в переводах, причем среди переводчиков был и один из крупнейших английских романистов эпохи Просвещения Тобайас Смоллет. Подражаниям Сервантесу тоже не было числа. Сюжетная схема романа не раз оказывалась толчком для собственных построений, отдельные эпизоды романа переносились на сцену. Однако сколько бы английских писателей ни обращалось к Сервантесу, имя Фильдинга занимает здесь место ни с чем не сравнимое. В этой области первооткрывателем был все-таки он. И не для одной Англии — для всей Европы.

До Фильдинга Сервантесу подражали. Фильдинг тоже начинал таким образом и в своей ранней пьесе прямо перенес Дон Кихота в современную Англию. В дальнейшем он, однако, от подобных попыток отказался. У Сервантеса он теперь брал взгляд на человека и мир. Великий испанец помог сформироваться его эстетическому и этическому кредо.

Три года спустя после «Тома Джонса» Фильдинг опубликовал в издававшемся им «Ковент-Гарденском журнале» рецензию на одно из бесчисленных подражаний Сервантесу — роман Шарлотты Леннокс «Дон Кихот — девица». Сервантесовский герой характеризуется в этой рецензии как человек, «наделенный разумом и большими природными дарованиями, и во всех случаях, за единственным исключением,— весьма здравым суждением, а также — что еще более привлекательно в нем — как человек большой наивности, честности и благородства и величайшей доброты». Санчо же отличают преданность и простодушие. Иными словами, речь идет о столкновении с миром человека, наделенного высокими достоинствами и вполне объяснимым в нем (он ведь судит об окружающих по себе) нравственным максимализмом. Но неужели в одной только Испании и лишь однажды произошло такое столкновение? И зачем тогда прямо заимствовать у Сервантеса героя и ситуации? Разве в каждом честном и добром человеке не заключена частица от героя Сервантеса?

Уже пастор Адамс нисколько не походил на испанского своего собрата. Со своими крепкими кулаками, изодранной рясой, способностью без устали отмеривать милю за милей он замечательно вписывался в ту реальную, грубую

жизнь, по которой отстраненно проезжал на своем Росинанте герой Сервантеса. Самое небрежение жизненными благами, присущее пастору Адамсу,— от его мужицкой кряжистости и неприхотливости, тогда как у Дон Кихота оно — от его высокой духовности. Дон Кихот выше всех окружающих потому, что он вне быта. Пастор Адамс — потому, что он, герой вполне бытовой, обращает на этот быт не больше внимания, чем тот заслуживает. Ему надо поскорее отделаться от неоплаченных (а чем платить-то?) трактирных счетов или сокрушить своим увесистым кулаком какого-нибудь негодяя, чтобы спокойно погрузиться в Платона или начать излагать свою философию самым любимым своим духовным детям Джозефу и Фанни. Впрочем, слово «философия» он употребляет не часто и без всякого желания возвыситься над другими: это ведь все простая народная мораль. Именно ее пастор Адамс вычитывает из любой самой ученой и недоступной его необразованным прихожанам книги.

«История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса» была, конечно, близка «Дон Кихоту» по организации материала — те же элементы романа большой дороги, та же пародийная основа, те же вставные новеллы. Однако Фильдинг не следовал Сервантесу рабски. Для него далеко не все в нем приемлемо.

В рецензии на роман Шарлотты Леннокс, о которой шла речь, Фильдинг говорил не только о достоинствах, но и о недостатках романа Сервантеса. Испанский писатель, по мнению Фильдинга, допускал много экстравагантного и невероятного, и похождения Дон Кихота так бессвязны и разрознены, что их «порядок вы можете менять как угодно без всякого ущерба для целого». Кроме того, в ряде вставных новелл Сервантес, считает Фильдинг, приближается к тем самым рыцарским романам, которые осмеивает. Все это Фильдинг не был намерен повторять. В «Джозефе Эндрусе» он уже стремился подчинить Сервантеса собственной эстетике — выстроить сюжет возможно точнее, рациональнее, объяснить и обосновать каждый шаг своих героев доскональнейшим образом. «Прекрасный реализм» Возрождения, с его представлением о поэтической, небытовой правде, уступал место весьма конкретному и жесткому реализму Просвещения. В «Томе Джонсе» эта просветительская основа метода Фильдинга обозначалась еще определеннее, чем в «Джозефе Эндрусе». Фильдинг от произведения к произведению удалялся от Сервантеса. Но при этом шел по той же дороге, что и его великий предшественник,— только дальше него. «Жестокость» конструкции смягчалась удивительно добрым отношением Фильдинга к своим героям и его замечательным юмором. Поэтичность Сервантеса не была целиком утеряна — она приобретала иную форму. Бытовая же достоверность необыкновенно возросла.

Приход Фильдинга в литературу был хорошо подготовлен предшествующим развитием реалистического романа в Англии. Были уже Дефо и Ричардсон. Но и Дефо и Ричардсон выдавали свои произведения за подлинные жизненные документы — Дефо за дневники и воспоминания, Ричардсон за собранную издателем переписку.

Фильдинг не ставит перед собой подобной цели. Конечно, он не собирается добровольно жертвовать доверием читателя и уверять его, что все рассказанное — чистая выдумка. Том Джонс, признается автор читателю,— его хороший знакомый, он, быть может, потому именно и дорог ему. Да и весь роман в целом, как уже говорилось, соотнесен с жизнью тысячами конкретных подробностей. Он в этом смысле даже «доказательнее», чем написанное Дефо и Ричардсоном. У Дефо речь идет о далеких странах, его труднее проверить, для Ричардсона же внутренняя правда человеческих поступков и побуждений важнее примет окружающей жизни. И все же Фильдинг не стремится выдать свой роман за непосредственный человеческий документ. В этом есть своя логика. Да, он пишет о людях, хорошо ему знакомых,— произведение выигрывает, замечает он, если писатель имеет некоторые познания в предмете, о котором толкует,— но он пишет одновременно и о чем-то гораздо большем: о человеческой природе, а роман его это «некий великий созданный нами мир».

В одной из вступительных глав, предпосланных книгам романа, Фильдинг говорил о праве писателя не следовать прямолинейно понятой жизненной правде, а создавать миры фантастические, подчиненные собственным законам. Сам он ставит перед собой задачу куда более трудную — выявить законы, которым подчинен мир реальный, не пожертвовав, однако, при этом своим правом демиурга, не скрывая своего лица, более того, сохранив за собой право вступать в разговор с читателем, объяснять ему сокровенный смысл происходящих событий, растолковывать особенности принятой повествовательной формы, ставить на место досужих критиков. Из всех форм романа Фильдинг избрал наиболее вместительную. Направление его поисков наметил Сервантес. «Том Джонс» приземленнее «Дон Кихота», у него много других отличий, но сама форма романа, где повествование открыто ведется от автора, определена влиянием Сервантеса. Так обстояло дело еще в «Джозефе Эндрусе». Но в своем более зрелом произведении Фильдинг отказывается от одного очень существенного элемента, сближавшего «Джозефа Эндруса» с «Дон Кихотом» — от пародийности. Известно, что новые жанры часто вызревают в форме пародии на старые. В «Дон Кихоте» было много от пародии на рыцарский роман. В «Джозефе Эндрусе» — от пародии на Ричардсона. «Том Джонс» нисколько не пародиен. Жанр конституировался и живет по своим законам. Время внесет еще в них свои поправки, но законы установлены прочно, они — точка отсчета для дальнейших завоеваний романа в Европе.

Не только внешний мир, изображенный в «Томе Джонсе», это мир одновременно реальный и вымышленный. Таковы и герои романа, причем слово «реальный» в применении к ним звучит не просто как похвала, как оценка художественной убедительности образа. Не одни лишь эпизодические фигуры, о которых шла выше речь, но и почти все главные персонажи романа списаны с натуры, и автор не скрывает имен прототипов. Олверти это отчасти Джордж Литтлтон — школьный товарищ Фильдинга, много ему потом по-

могавший, отчасти Ральф Аллен, тоже добрый гений фильдинговского семейства, человек из иной, гораздо более низкой среды, но сумевший, пользуясь английским выражением, «сам себя сделать». Софья Вестерн это покойная жена Фильдинга Шарлотта Крейдок. И, наконец, Том Джонс — действительно человек хорошо, много больше других знакомый автору. Судя по всему, это сам Фильдинг, каким он помнит себя в молодости. Так, во всяком случае, полагал Теккерей. И хотя автор, конечно же, много выше своего персонажа, многое в духовном облике Тома Джонса заставляет вспомнить его создателя.

Но за всем этим стоит художественное обобщение, и от того, насколько оно удалось, от меры его зависит и то, насколько удался образ.

Фильдинг, создавший в «Томе Джонсе» образы удивительно для своего времени убедительные и полнокровные, еще не достиг все же той полноты растворения прототипа в образе, которая характерна для писателей следующего века. Отсюда известная двойственность его персонажей.

Больше всего это относится к сквайру Олверти. Далекий от намерения изображать ходячие олицетворения добродетели или порока, Фильдинг достаточно строго придерживается в начале романа этого принципа и по отношению к самому высоко ценимому своему герою. Чем добрее, душевней, бесхитростней Олверти, тем легче его обмануть. Он не находит в своем сердце дурных побуждений, и ему трудно допустить их в других. Этот мудрый судья и наставник непрерывно оказывается жертвой обмана. То несовпадение искренне усвоенной книжной мудрости с требованиями и реальной практикой света, которое послужило основой для стольких ярких комических сцен, у Фильдинга находит свое, правда, очень смягченное выражение и в тех сценах романа, где главным действующим (вернее сказать, «решающим» — он чаще судит чужие поступки, чем действует сам) лицом является сквайр Олверти. И эта авторская ирония придает убедительность образу, задуманному как идеальный. Но так только вначале. Когда после многих тяжелых дней, выпавших по его нечаянной вине на долю Тома Джонса, Олверти снова появляется на страницах романа, у него остается уже одна только функция — наказать порочных и наградить невинно пострадавших. Перейдя незримую черту, отделявшую его от совершенного идеала, Олверти исчез как конкретный и убедительный образ. Фильдинг воздал хвалу Литтлтону и Аллену, но нанес непоправимый ущерб своему герою.

В какой-то мере это можно сказать и о Софье. Она подвержена множеству маленьких женских слабостей и лишена пороков. Что ж, и без них она достаточно убедительна. Но этот поразительно милый женский образ начинает все больше прогадывать, по мере того как мы приближаемся к концу романа. Откуда у этой молоденькой, не видевшей света девушки способность так быстро простить Тому его измены — она знает, еще до того, как Том это ей объяснил, «как мало сердце участвует в известного рода любви»,— откуда у нее это совершенное понимание людских характеров, откуда это взрослое умение закрывать глаза на недостатки близ-

ких людей? Не только Тома, которого она горячо любит, но своей глупой и сумасбродной тетки? Софья несовершенна как художественное творение именно потому, что столь щедро наделена всеми мыслимыми совершенствами.

И разве не столь же удивительны многие качества Тома Джонса,— скажем, его непонятно где приобретенное понимание театра? Но, как говорилось, Том Джонс весьма близок к своему создателю. Многие взгляды, приобретенные писателем на протяжении жизни, выражаются устами молодого героя, «накладываются» на образ, не вполне для этого подходящий.

Не следует, впрочем, забывать: мы смотрим на этот роман глазами людей, уже знакомых с произведениями Диккенса и Теккерея — писателей, которые сумели достичь более высокой степени художественной цельности. Вспомним и о том, что добились они этого не в последнюю очередь благодаря тому, что опирались на великие творения Фильдинга. У людей XVIII века не было этого нашего преимущества (или, может быть, недостатка?), этой нашей способности бросить взгляд на роман из более далекого времени. И они воспринимали «Историю Тома Джонса, найденыша» как образец никогда еще до той поры не достигнутой объективности, жизненной достоверности. О главном герое, по отношению к которому современный читатель не может не испытывать некоторых претензий, Фридрих Шиллер — не только великий драматург, но и замечательный, широко образованный и беспощадно правдивый критик — говорил как о человеке совершенно живом. Он восхищался Фильдингом именно как создателем этого образа.

Стоит вспомнить и о том, что вступительные главы нужны были Фильдингу не только для обоснования своих эстетических принципов. Он еще говорил там о жизни, о законах, которые ею управляют, давал объяснение поступкам своих героев. Сами по себе подобные вступительные главы не ужились, вопреки мнению Фильдинга, в романе последующих столетий, но они утвердили право романиста от своего лица разговаривать с читателем, и этим правом пожелали воспользоваться такие писатели, как Теккерей, Диккенс, Бальзак, Гоголь, Толстой. Фильдинг, надо думать, присвоил себе это право не зря. Не в том ли дело, что вступительные главы давали ему возможность, поговорив с читателем от своего лица, освободить потом от себя героев, выпустить их на вольную волю? Конечно, Фильдингу удается это не до конца. Но направление его поисков таково.

К тому же подобного рода оговорки необходимы по отношению не ко всем героям романа. Один из них не нуждается в них абсолютно. Это — отец Софьи, сквайр Вестерн.

Если бы подобное сравнение мало-мальски подходило этому грубияну и пьянице, сквайра Вестерна следовало бы назвать жемчужиной «Истории Тома Джонса», а может быть, и всего творчества Фильдинга. Это образ абсолютно законченный, выразительный, что называется — без сучка, без задоринки. И, конечно же, необыкновенно жизненный, во всем соотносимый с пьяной, разгульной «сельской Англией» XVIII века.

Сквайр Вестерн, в отличие от других главных героев романа, не имеет определенного жизненного прототипа. Зато литературных прототипов у него хоть отбавляй. Самый выразительный из них появился уже в 1707 году, в год рождения Фильдинга, в пьесе Джорджа Фаркера «Хитроумный план щеголей». Звали его сквайр Солен, и человек он был не очень счастливый. Мать женила его на молодой особе, получившей столичное воспитание, и с тех пор жизнь мистера Солена кончилась. Его каждый день оскорбляли в лучших чувствах. Жена не испытывала ни малейшего интереса к охоте на лисиц, не танцевала контрданса и, главное, оказалась совершенно неспособна понять, что долг настоящего сельского помещика — напиваться до мертвецкого состояния каждый вечер и с утра до ночи оглашать дом непотребными ругательствами. Слава богу, каторга эта скоро кончилась — жену увел столичный вертопрах. Жаль только, с нею вместе ушло и ее приданое...

Такой вот дикий сквайр прочно обосновался в английском театре и литературе XVIII века. Шли годы, а он не старел — только мужал, набирался силы. Он, если угодно, оказался своеобразным Антеем английской литературы XVIII века. Ни один из ее героев не стоял так прочно на почве действительности,— что поделаешь, эпоха Просвещения не была временем большой просвещенности! К середине века дикий сквайр был уже вполне традиционен, но никак не стал отвлеченной «литературной традицией». Словом, сквайр Вестерн не просто не имел единственного реального прототипа, но и не нуждался в нем — их у него было тысячи. Он — наиболее собирательный образ романа. И он на редкость типичен и индивидуален — со своей любовью к дочери и охоте на лисиц, воспоминаниями о тиранстве жены, не понимавшей его — настоящего сельского сквайра, без всяких этих столичных фиглей-миглей, опоры нации, можно сказать! — со своей способностью прикинуть, за что и за кем можно больше получить, и широтой натуры, которой позавидовал бы иной русский купец...

Возможно, литературное происхождение имеет и Партридж. Во всяком случае, Тобайас Смоллет обвинял Фильдинга в том, что тот украл из его романа «Родрик Рэндом» слугу — латиниста Стрэпа. Но, как бы то ни было, Партридж заметно превосходит Стрэпа как комический образ. Фильдинг мог воспринять Стрэпа лишь как намек.

Всех этих героев Фильдинг и пустил в плаванье по житейскому морю. Но море это не безбрежно, а маршруты героев точно прочерчены. Роман Фильдинга организован очень строго, и читатель может не сомневаться в том, что, как бы ни отклонялись пути героев, герои эти все равно сойдутся все вместе, чтобы выяснить вопросы, на которые не нашли ответов вначале.

Да, это плаванье имеет определенную цель, и она поставлена так же точно, как определены сюжетные ходы и задачи героев. Роман Фильдинга это не только комическая эпопея. Это еще философская эпопея. Правда, философские вопросы, в ней решаемые, лишены отвлеченности.

Фильдинг, как он заявил, пишет роман о человеческой природе. Для XVIII века эти слова значили очень много. Просвещение пыталось чуть ли не все вопросы решить через человека, и, значит, надо было понять, что он собой представляет. Весь XVIII век заполнен спорами о «человеческой природе» и прежде всего о том, добр или зол человек в основе своей. Раньше и полнее всего развернулись подобные споры в Англии. В то время как один из ведущих представителей «этической философии» этого времени А. Шефтсбери утверждал, что подосновой человеческого поведения является врожденное нравственное чувство, другой — Б. Мандевиль — видел эту основу в эгоистическом интересе. Фильдинг занимал в споре Мандевиля и Шефтсбери компромиссную позицию. Он был в достаточной мере реалистом, чтобы видеть, сколькими примерами буржуазно-аристократическая Англия подтверждает правоту Мандевиля, но вместе с тем считал, что присоединиться к его мнению означает — признать существующие социальные нормы за общечеловеческие, а значит, вечные. Чем шире изображал он общественные пороки, тем решительнее противопоставлял им человеческое качество, ценимое выше всех остальных,— доброе сердце.

Подобным качеством с избытком наделен его любимый герой Том Джонс. Конечно, и Джозеф Эндрус был добрым, хорошим человеком. Но он, что называется, был слишком хорош для этого мира — для романа, в частности. Вернее даже сказать, он так и не родился в качестве живого образа.Том Джонс иной. Он уже не отвлеченная схема. Он не присутствует в мире как олицетворение нравственной позиции автора, а действует в нем и связан с ним десятками реальных и психологических нитей. Ему предстоит немало заблуждаться и совершать множество ложных поступков. Его могут неверно понять — как пастора Адамса,— но он может и в самом деле дурно поступить. Почему? Да просто потому, что человеком движут не отвлеченные концепции порока и добродетели, а нечто гораздо более сложное. Он подвластен стольким импульсам, что подсчитывать их значит сбиться со счета. Важнее другое — основная доминанта человеческого поведения, установка по отношению к жизни.

В этом смысле Том Джонс — поистине идеальный герой. Конечно, какой-нибудь ригорист нашел бы очень много в чем его обвинить, но Фильдинг убежден, что человек не подсуден суду столь пристрастному. Ригорист для того и обвиняет других, чтоб обелить себя самого, он лицемер, и Фильдинг находит особое удовольствие в том, чтобы, приведя возвышенное рассуждение кого-либо из своих героев или героинь, показать, как противоречит этому их собственная житейская практика. Он в этих случаях удивительно нетерпелив. Диккенс нередко откладывал разоблачение лицемера до конца романа. Фильдинг, за исключением разве что случая с Бриджет Олверти (будущей миссис Блайфил), делает это тут же, на месте.

В характере Тома Джонса есть что-то от людей Возрождения. Он человечен и поэтому импульсивен, легко поддается своим порывам, им руководит не расчет, а сердце. Он ведет себя по принципу «делай что хочешь».

Но своевременно ли появился подобный герой? Ведь эпоха Возрождения давно ушла в прошлое и возрожденческий взгляд на мир не просто был оттеснен новыми отношениями, новыми людьми, новыми представлениями — гуманисты сами утеряли веру в свою правоту. Сказав человеку «делай что хочешь», они не сразу поняли, что сказали это не отвлеченному «человеку вообще», а нарождающемуся своекорыстному буржуазному индивиду, и ужаснулись, увидев, чего захотел этот человек и что стал он делать.

Впрочем, ко времени Фильдинга выявил свою ограниченность и другой принцип, противопоставленный в XVII веке исчерпанному возрожденческому «делай что хочешь»,— принцип регламентации. Человек, на которого были наложены путы долга перед дворянской абсолютной монархией или почти столь же авторитарным буржуазным общественным мнением, оказывался подавлен и несвободен.

И Фильдинг смело возвращается к лозунгу Возрождения. Он делает к нему только одну поправку — но, может быть, самую существенную в условиях Англии XVIII века. «Делай что хочешь»,— говорит он своему герою. «Делай что хочешь, поскольку ты бескорыстен». Вот причина, по которой Фильдинг так тщательно подбирал главный персонаж своего романа. Том Джонс внутренне прекрасен, потому что свободен. Но он имеет право на свободу, потому что он бескорыстен. Им руководит интерес к миру, а не желание присвоить себе побольше жизненных благ.

Всегда ли он таков? Нет, разумеется. Жизнь ставит его в трудные условия, и однажды он поддается воле обстоятельств — поступает, по сути дела, на содержание к леди Белластон. Но Фильдинг и не пытается сделать своего героя воплощением добропорядочности. Ему важна нравственная доминанта Тома Джонса. А ею остаются доброта, честность, бескорыстие.

И напротив, корысть — главное отличительное качество соперника Тома — Блайфила. Корысть во всем. Блайфил вообще неспособен испытывать чувство привязанности, любви, благодарности. Это человек, не выдержавший испытания. Он подобен «макьявеллям» елизаветинских пьес.

Спрашивается, кому должна достаться победа в этом соревновании чести и бесчестия, благородного порыва и холодного расчета, бесшабашности и ранней умудренности? Чести и благородству? Хорошо, если б так. Но Фильдинг сам весьма сомневался в закономерности таких благополучных исходов. «Некоторые богословы, или, вернее, моралисты,— читаем мы в «Томе Джонсе» — учат, что на этом свете добродетель — прямая дорога к счастью, а порок — к несчастью. Теория благотворная и утешительная, против которой можно сделать только одно возражение, а именно: она не соответствует истине». И все-таки исход романа определен не этим трезвым взглядом на вещи, а желанием наградить любимого героя. Вряд ли стоит строго судить за это Фильдинга. Мы знаем: до конца согласиться с Мандевилем значило для него подчиниться сегодняшней реальности, а этого он делать ни в коем случае

не хотел. Торжество Тома Джонса над Блайфилом было для него выходом за пределы этой неприемлемой для него реальности.

На художественной фактуре романа это, разумеется, не могло не сказаться. К благополучному концу «Историю Тома Джонса» приводит система случайностей, заимствованных, в значительной степени, из ходячих драматургических сюжетов. Но рядом с этим есть и иное, более крепкое обоснование. Жизненная победа Тома была своеобразным «овеществлением» его моральной победы. В «Томе Джонсе» — как в известной английской сказке, где человек идет по миру и делает добро людям, а потом люди эти собираются и выручают его. Том Джонс, как ни трудно было ему самому, всегда помогал другим, его доброта была не пустыми порывами сердца, она «овеществилась» в судьбах Андерсона, мисс Миллер, Найтингела, а потом через них — в его собственной.

Так завершалась история Тома Джонса, найденыша, но не история романа, названного его именем. Она была еще далека от конца. С романом Фильдинга соглашались, его отрицали, с ним спорили, но влияния его избежать не могли. Оно по-своему проявилось почти во всем, что было сделано в области романа на протяжении XVIII и заметной части XIX века. «Время и непогоды повредили им очень мало,— писал Теккерей о романах Фильдинга.— Архитектурный стиль и орнаменты, разумеется, соответствуют тогдашним модам, но самые здания остаются до сих пор прочными, грандиозными и построенными замечательно пропорционально во всех частях. Они являются (...) замечательными художественными памятниками гения и искусства».

Одно подтверждение значительности «Истории Тома Джонса», надо думать, особенно порадовало бы автора, доживи он до этого дня. В 1777 году была поставлена лучшая комедия века — «Школа злословия» Шеридана. И главная мысль пьесы («делай что хочешь, поскольку ты бескорыстен»), и история двух братьев, и многое другое было заимствовано из романа Фильдинга. Фильдинг мог бы торжествовать. Сорок лет спустя после закона 1737 года он, под другим именем, вернулся на сцену.

В собственном творчестве Фильдинга «Том Джонс» не нашел, однако, столь благополучного продолжения. В 1751 году Фильдинг выпустил следующий свой роман «История Амелии». Книга была раскуплена мгновенно — все помнили огромный успех «Тома Джонса»,— но второго издания не потребовалось. Читатели были разочарованы.

В новом романе Фильдинга рассказывалась история прекрасной Амелии, вышедшей замуж за бедного капитана Бута и испытавшей все горести и несчастья, выпадающие на долю честной бедности. Ее добродетель на каждом шагу подвергается опасности, она терпит унижения, дома порой нечего есть. К тому же муж ее — человек любящий, но слабый. Он становится любовником своей подруги детства мисс Мэтьюс и, мучаясь угрызениями совести, не решается вместе с тем с ней порвать, а когда эта связь обнаруживается, это лишний раз мешает ему поправить свои дела. Дважды он попадает в

тюрьму — первый раз за то, что заступился за кого-то на улице и судье захотелось припугнуть его и поживиться за его счет, второй раз за долги. Но несчастьям приходит конец: выясняется, что наследство, полученное сестрою Амелии, предназначалось ей. Сестра подделала завещание с помощью злодея адвоката и, когда подлог оказался разоблачен, бежала во Францию и там умерла. Теперь семейство Бутов доживает век в мире и согласии. Горький опыт убедил легкомысленного капитана, что с пути добродетели опасно сворачивать даже на короткое мгновение. К тому же он обратился к религии и не останется отныне без столь необходимой ему, как и всем людям, нравственной опеки...

«Амелия» — роман не без достоинств. В нем есть занятные эпизоды, есть сцены, исполненные очень резкой (порою значительно более резкой, чем в «Томе Джонсе») социальной критики, отдельные места и образы этого романа оказали влияние на творчество последующих романистов. Но в целом роман все-таки ниже фильдинговских шедевров. Минувшие два столетия не реабилитировали его, скорее, они подтвердили мнение современников. «Амелия» безнадежно растянута, искусственна, местами Фильдинг сбивается на плохо прикрытую проповедь. Да и сама задача романа, декларированная на первых его страницах: «учить людей искусству жить», представляется достаточно мелкой сравнительно с целью, которую ставил себе автор «Тома Джонса» — показать людям, что есть жизнь.

Фильдинг остро ощутил неудачу «Амелии». Он заверил публику, что больше не будет писать романов. Выполнить это обещание оказалось нетрудно. За несколько месяцев до выхода в свет «Истории Тома Джонса» Фильдинг был назначен на пост главного мирового судьи Вестминстера и Миддлсекса, и хотя старался совмещать свои судейские занятия со столь же интенсивной литературной работой, от года к году это ему удавалось все хуже. Должность, которую занимал Фильдинг, была очень значительна и времени отнимала много. Он не только председательствовал в суде, но и руководил полицией и сам проводил следствие по наиболее важным делам. К тому же Фильдинг отдался новому делу с тем же упорством и стремлением проникнуть в суть проблемы, которые отличали его как литератора. В 1751 году он пишет «Исследование о причинах недавнего роста грабежей», в 1753 году — «Предложения по организации действительного обеспечения бедняков». Эти и другие работы, писавшиеся по заказу правительства, помогали, кроме того, обеспечивать семью. (В 1747 году Фильдинг женился на служанке своей Шарлотты — Мэри Дэниэль.) Жалования не хватало. Фильдинг был безукоризненно честным человеком, и, как следствие этого, его доход от должности сократился почти в два раза сравнительно с доходами его предшественника (кстати говоря, того самого судьи де Вейла, с которым так непочтительно обошлась публика театра Хеймаркет). На литературу, как легко понять, оставалось совсем немного времени.

Сил тоже становилось все меньше, Фильдинг тяжело болел, последние годы он мог передвигаться только на костылях. В 1754 году он передал долж-

ность своему брату Джону (Диккенс описал его потом в «Барнеби Радже») и отправился для поправки здоровья в Лиссабон. Перед отъездом он договорился с издателем о том, что представит ему по возвращении «Дневник путешествия в Лиссабон». В 1755 году дневник был издан в неоконченном виде. Фильдинг не успел его завершить и никогда уже не вернулся в Англию. Он умер 8 октября 1754 года, два месяца спустя по прибытии на место лечения, сорока семи лет от роду. Похоронили его на английском кладбище в Лиссабоне.

*Ю. КАГАРЛИЦКИЙ*

# ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША

Mores hominum multorum vidit
Видел нравы многих людей

ПЕРЕВОД А. ФРАНКОВСКОГО

ДОСТОПОЧТЕННОМУ
ДЖОРДЖУ ЛИТТЛТОНУ, ЭСКВАЙРУ
*Лорду Уполномоченному Казначейства*

Сэр! Несмотря на то что просьба моя предпослать этому посвящению ваше имя встречала у вас постоянный отказ, я все же буду настаивать на своем праве искать вашего покровительства для настоящего произведения.

Вам, сэр, история эта обязана своим возникновением. Ваше пожелание впервые заронило во мне мысль о подобном сочинении. С тех пор прошло уже столько лет, что вы, быть может, позабыли про это обстоятельство; но ваши пожелания для меня закон; оставленное ими впечатление никогда не изгладится в моей памяти.

Кроме того, сэр, без вашего содействия история эта никогда не была бы закончена. Пусть вас не удивляют мои слова. Я не собираюсь навлекать на вас подозрение, будто вы сочинитель романов. Я хочу сказать только, что несколько обязан вам своим существованием в течение значительной части времени, затраченного на работу,— другое обстоятельство, о котором вам, может быть, необходимо напомнить, если вы так забывчивы, относительно некоторых ваших поступков; поступки эти, надеюсь, я всегда буду помнить лучше, чем вы.

Наконец, вам обязан я тем, что история моя появляется в своем настоящем виде. Если это произведение, как некоторым угодно было заметить, содержит более яркий образ подлинно доброжелательной души, чем те, что встречаются в литературе, то у кого же из знающих вас, у кого из ваших близких знакомых могут возникнуть сомнения, откуда эта доброжелательность списана? Свет, думаю, не польстит мне предположением, что я

заимствовал ее у самого себя. Меня это не огорчает: кто же откажется признать, что два лица, послужившие мне образцом, иными словами, два лучших и достойнейших человека на свете — мои близкие и преданные друзья? Я мог бы этим удовлетвориться, однако мое тщеславие хочет присоединить к ним третьего — превосходнейшего и благороднейшего не только по своему званию, но и по всем своим общественным и личным качествам. Но в эту минуту, когда из груди моей вырывается благодарность герцогу Бедфордскому за его княжеские милости, вы мне простите, если я вам напомню, что вы первый рекомендовали меня вниманию моего благодетеля.

Да и какие у вас могут быть возражения против того, чтоб оказать мне честь, которой я добивался? Ведь вы так горячо хвалили книгу, что без стыда прочтете ваше имя перед посвящением. В самом деле, сэр, если сама книга не заставляет вас краснеть за ваши похвалы, то вам не может, не должно быть стыдно за то, что́ я здесь пишу. Я вовсе не обязан отказываться от своего права на ваше заступничество и покровительство из-за того, что вы похвалили мою книгу, ибо хоть я и признаю множество сделанных вами мне одолжений, но похвалу эту не отношу к их числу; в ней дружба, я убежден, не играет почти никакой роли, потому что она не может ни повлиять на ваше суждение, ни поколебать ваше беспристрастие. Враг в любое время добьется от вас похвалы, если он ее заслуживает, но друг, совершивший промах, может, самое большее, рассчитывать на ваше молчание или разве что на любезное снисхождение, если подвергнется слишком уж суровым нападкам.

Короче говоря, сэр, я подозреваю, что истинной причиной вашего отказа исполнить мою просьбу является нелюбовь к публичному восхвалению. Я заметил, что, подобно двум другим моим друзьям, вы с большой неохотой выслушиваете малейшее упоминание о ваших достоинствах; что, как говорит один великий поэт о подобных вам людях (он справедливо мог бы сказать это о всех троих), вы привыкли

Творить добро тайком, стыдясь огласки.

Если люди этого склада стыдятся похвал еще больше, чем другие порицаний, то сколь справедливо должно быть ваше опасение доверить перу моему ваше имя! Ведь как устрашился бы другой при нападении писателя, получившего от него столько оскорблений, сколько я получил от вас одолжений!

И разве страх порицания не возрастает соответственно размерам проступка, в котором мы сознаем себя виновными? Если, например, вся наша жизнь постоянно давала материал для сати-

ры, то как нам не трепетать, попавшись в руки раздраженного сатирика! Сколь же справедливым покажется, сэр, ваш страх передо мной, если применить все это к вашей скромности и вашему отвращению к панегирикам!

И все-таки вы должны были бы вознаградить мое честолюбие хотя бы потому, что я всегда предпочту угождение вашим желаниям потворству моим собственным. Ярким доказательством этого послужит настоящее обращение, в котором я решил следовать примеру всех пишущих посвящения и пишу не то, чего мой покровитель в действительности заслуживает, а то, что он прочтет с наибольшим удовольствием.

Поэтому без дальнейших предисловий преподношу вам труды нескольких лет моей жизни. Какие в них есть достоинства, вам уже известно. Если ваш благосклонный отзыв пробудил во мне некоторое уважение к ним, то этого нельзя приписать тщеславию: ведь я так же беспрекословно согласился бы с вашим мнением и в том случае, если бы оно было в пользу чьих-либо чужих произведений. Во всяком случае, могу сказать, что если бы я сознавал в моем произведении какой-либо существенный недостаток, то вы — последний, к кому я решился бы обратиться за покровительством для него.

Имя моего патрона, надеюсь, послужит каждому приступающему к этому произведению читателю порукой в том, что он не встретит на всем его протяжении ничего предосудительного в отношении религии и добродетели, ничего несовместимого со строжайшими правилами приличия, ничего такого, что могло бы оскорбить даже самые целомудренные взоры. Напротив, заявляю, что я искренне старался изобразить доброту и невинность в самом выгодном свете. Вам угодно думать, что эта честная цель мной достигнута; и, сказать правду, ее скорее всего можно достигнуть в книгах этого рода, ибо пример есть картина, на которой добродетель становится как бы предметом зрения и трогает нас идеей той красоты, которая, по утверждению Платона, заключена в ней в своей неприкрытой прелести.

Кроме раскрытия этой красоты ее на радость человечеству, я пытался привести в пользу добродетели довод более сильный, убеждая людей, что в их же собственных интересах стремиться к ней. С этой целью я показал, что никакие выгоды, достигнутые ценой преступления, не могут вознаградить потерю душевного мира — неизменного спутника невинности и добродетели — и ни в малейшей степени не способны уравновесить зло тревоги и ужаса, поселяемых вместо них преступлением в наших сердцах. Я показал, что сами по себе эти выгоды обыкновенно ничего не стоят, а способы их достижения не только низменны

и постыдны, но, в лучшем случае, ненадежны и всегда полны опасностей. Наконец, я всячески старался втолковать, что добродетель и невинность могут быть поставлены в опасное положение разве только опрометчивостью, которая одна лишь вовлекает их в ловушки, расставляемые обманом и подлостью,— назидание, над которым я трудился тем прилежнее, что усвоение его скорее всего может увенчаться успехом, так как, мне кажется, гораздо легче сделать добрых людей умными, чем дурных хорошими.

Для достижения этой цели я пустил в ход все остроумие и юмор, на какие я способен, насмешками стараясь отучить людей от их излюбленных безрассудств и пороков. Насколько я успел в этом благом начинании, предоставляю судить беспристрастному читателю, но обращаюсь к нему с двумя просьбами: во-первых, не искать в этом произведении совершенства и, во-вторых, отнестись снисходительно к некоторым частям его, если в них не окажется тех маленьких достоинств, каких, надеюсь, не лишены другие части.

Не буду больше задерживать вас, сэр. В самом деле, я сбился на предисловие, заявив, что буду писать посвящение. Но могло ли быть иначе? Я не осмеливаюсь восхвалять вас; и единственный известный мне способ избежать этого, когда я о вас думаю,— либо хранить полное молчание, либо направить свои мысли на другой предмет.

Простите же мне все сказанное в этом послании не только без вашего согласия, но прямо вопреки ему, и разрешите мне, по крайней мере, публично заявить, что я, с величайшим почтением и благодарностью остаюсь,—

сэр,

глубоко вам обязанный,

покорнейший и нижайший слуга

*Генри Фильдинг*

# КНИГА ПЕРВАЯ,

## КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ О РОЖДЕНИИ НАЙДЕНЫША СТОЛЬКО СВЕДЕНИЙ, СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗНАКОМСТВА С НИМ ЧИТАТЕЛЯ

## ГЛАВА I

*Введение в роман, или Список блюд на пиршестве*

Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает чем ему угодно, и хотя бы стол был не особенно вкусен или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нем недостатки: напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить все, что им ни подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и разборчивы; и если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения воспользуются своим правом критиковать, бранить и посылать стряпню к черту.

И вот, чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева ввели в употребление карту кушаний, которую каждый вошедший в заведение может немедленно прочесть и, ознакомившись, таким образом, с ожидающим его угощением, или остаться и ублажать себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую столовую, более сообразную с его вкусами.

Так как мы не считаем зазорным позаимствоваться умом-разумом от всякого, кто способен поучить нас, то согласились последовать примеру этих честных кухмистеров и представить читателю не только общее меню всего нашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний, которыми собираемся потчевать его в этом и следующих томах.

А заготовленная нами провизия является не чем иным, как *человеческой природой*. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придираться или выражать недовольство тем, что я назвал только один предмет. Черепаха — как это известно из долгого опыта бристольскому олдермену, очень сведущему по части еды,— поми-

мо отменных спинки и брюшка, содержит еще много разных съедобных частей; а просвещенный читатель не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы, хотя она и обозначена здесь одним общим названием: скорее повар переберет все на свете сорта животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему.

Люди утонченные, боюсь, возразят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное; ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми завалены прилавки? Много изысканных кушаний мог бы забраковать эпикуреец, объявляя их обыкновенными и заурядными на том только основании, что где-нибудь в глухом переулке подается под таким же названием разная дрянь. В действительности настоящую природу так же трудно найти у писателей, как байоннскую ветчину или болонскую колбасу в лавках.

Вся суть — будем держаться нашей метафоры — в писательской кухне, ибо, как говорит мистер Поп:

> Остро сказать — наряд к лицу надеть,
> Живую мысль в слова облечь уметь.

То самое животное, которое за одни части своего мяса удостаивается чести быть поданным к столу герцога, нередко подвергается унижению за другие части, и иные его куски болтаются на веревке в самой последней городской лавчонке. В чем же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или теленка, как не в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке? Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный.

Подобным же образом высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от искусства писателя выгодно подать ее. Как же будет порадован читатель, найдя, что в настоящем сочинении мы заботливо придерживались одного из первейших правил лучшего повара, какого только произвел нынешний век, а может быть, даже век Гелиогабала! Этот великий человек, как хорошо известно всем любителям полакомиться, подает сначала, на голодный желудок, простые кушанья, а потом, когда, по его предположениям, аппетит слабеет, восходит до самых пикантных соусов и пряностей. Так и мы предложим сначала человеческую природу свежему аппетиту нашего читателя в том простом и безыскусственном виде, в каком она встречается в деревне, а потом начиним и приправим ее всякими тонкими французскими и итальянскими специями притворства и пороков, которые изготовляются при дворах и в городах. Мы не сомневаемся, что такими

средствами можно поселить в читателе желание читать до бесконечности, вроде того как только что названный великий человек вызывал в иных людях охоту без конца поглощать еду.

Предпослав эти замечания, мы не будем больше томить голодом читателей, которым наше меню пришлось по вкусу, и немедленно угостим их первым блюдом нашей истории.

## ГЛАВА II

*Краткое описание сквайра Олверти и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре*

В той части западной половины нашего королевства, которая обыкновенно называется Сомерсетшир, жил недавно, а может быть, и теперь еще живет, дворянин по фамилии Олверти, которого с полным правом можно было назвать баловнем Природы и Фортуны, ибо они, казалось, состязались, как бы пощедрее одарить его и облагодетельствовать. Из этого состязания Природа, на взгляд иных, вышла победительницей, оделив его множеством даров, тогда как в распоряжении Фортуны был один только дар, но, награждая им, она проявила такую расточительность, что, пожалуй, этот единственный дар покажется иному стоящим больше всех разнообразных благ, отпущенных ему Природой. От последней ему достались приятная внешность, здоровое телосложение, ясный ум и доброжелательное сердце; Фортуна же сделала его наследником одного из обширнейших поместий в графстве.

В молодости дворянин этот был женат на весьма достойной и красивой женщине, которую любил без памяти; от нее он имел троих детей, но все они умерли в младенчестве. Ему выпало также несчастье лет за пять до начала нашей повести похоронить и свою любимую жену. Как ни велика была утрата, он перенес ее как человек умный и с характером, хотя, должно признаться, часто толковал насчет этого немножко странно; так, порой от него можно было услышать, что он по-прежнему считает себя женатым и думает, что жена лишь немного опередила его в путешествии, которое и ему неизбежно придется, раньше или позже, совершить вслед за ней, и что он нисколько не сомневается встретиться с ней снова там, где уж никогда больше с ней не разлучится,— суждения, за которые одни из соседей отвергали в нем здравый смысл, другие — религиозные чувства, а третьи — искренность.

Теперь он жил большей частью в деревенской глуши, вместе с сестрой, которую нежно любил. Дама эта перешагнула уже за тридцать — возраст, в котором, по мнению злых, можно уже не

чинясь называть себя старой девой. Она была из тех женщин, которых мы хвалим скорее за качество сердца, чем за красоту, а представительницы прекрасного пола называют обыкновенно порядочными женщинами: «Она, знаете, порядочная, во всех отношениях порядочная». И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом совершенстве, если красоту вообще можно назвать совершенством, не иначе как с презрением и часто благодарила бога за то, что она не так красива, как мисс такая-то, которая, не будь у нее красоты, наверное, не натворила бы столько глупостей. Мисс Бриджет Олверти (как звали эту даму) весьма справедливо видела в обаятельной внешности женщины всего лишь ловушку и для нее самой, и для других, но несмотря на личную безопасность была все же крайне осмотрительна в своем поведении и до такой степени держалась настороже, словно ей были расставлены все ловушки, когда-либо угрожавшие прекрасному полу. Действительно, я заметил, хотя это и может показаться читателю несуразным, что такого рода благоразумная осмотрительность, подобно полицейским дозорам, исполняет свои обязанности тем ретивее, чем меньше опасность. Часто эта осмотрительность постыдно и трусливо покидает первых красавиц, по которым мужчины томятся, вздыхают, чахнут и которым они расстилают все сети, какие только в их власти, и ни на шаг не отходит от тех высшего разбора женщин, к которым сильный пол относится с самым глубоким и благоговейным почтением и которых (должно быть, отчаиваясь в успехе) никогда не решается атаковать.

Читатель, прежде чем мы пойдем с тобой дальше, не мешает, мне кажется, предупредить тебя, что в продолжение этой повести я намерен при всяком удобном случае пускаться в отступления; и когда это делать — мне лучше знать, чем какому-либо жалкому критику. Вообще я покорнейше просил бы всех господ критиков заниматься своим делом и не соваться в дела или сочинения, которые их вовсе не касаются, ибо я не обращусь к их суду, пока они не представят доказательств своего права быть судьями.

## ГЛАВА III

*Странный случай, приключившийся с мистером Олверти по возвращении домой. Благопристойное поведение миссис Деборы Вилкинс с добавлением нескольких замечаний о незаконных детях*

В предыдущей главе я сказал читателю, что мистер Олверти получил в наследство крупное состояние, что он имел доброе сердце и что у него не было детей. Многие, без сомнения, сделают отсюда вывод, что он жил, как подобает честному человеку: ни-

кому не был должен ни шиллинга, не брал того, что ему не принадлежало, имел открытый дом, радушно угощал соседей и благотворительствовал бедным, то есть тем, кто предпочитает работе попрошайничество, бросая им объедки со своего стола, построил богадельню и умер богачом.

Многое из этого он действительно сделал: но если бы он этим ограничился, то я предоставил бы ему самому увековечить свои заслуги на красивой мраморной доске, прибитой над входом в эту богадельню. Нет, предметом моей истории будут события гораздо более необыкновенные, иначе я только попусту потратил бы время на писание столь объемистого сочинения, и вы, мой рассудительный друг, могли бы с такой же пользой и удовольствием прогуляться по страницам книг, в шутку названных проказниками авторами *Историей Англии*.

Мистер Олверти целые три месяца провел в Лондоне по какому-то частному делу; не знаю, в чем оно состояло, но, очевидно, было важное, если так надолго задержало его вдали от дома, откуда в течение многих лет не отлучался даже на месяц. Он приехал домой поздно вечером и, наскоро поужинав с сестрой, ушел, очень усталый, в свою комнату. Там, простояв несколько минут на коленях — обычай, которого он не нарушал ни при каких обстоятельствах,— Олверти готовился уже лечь в постель, как вдруг, подняв одеяло, к крайнему своему изумлению, увидел на ней завернутого в грубое полотно ребенка, который крепко спал сладким сном. Несколько времени он стоял, пораженный этим зрелищем, но так как добрые чувства всегда брали в нем верх, то скоро проникся состраданием к лежавшему перед ним бедному малютке. Он позвонил и приказал немедленно разбудить и позвать пожилую служанку, а сам тем временем так залюбовался красотой невинности, которую всегда в живых красках являет зрелище спящего ребенка, что совсем позабыл о своем ночном туалете, когда в комнату вошла вызванная им матрона. А между тем она дала своему хозяину довольно времени для того, чтобы одеться, ибо из уважения к нему и ради приличия провела несколько минут перед зеркалом, приводя в порядок свою прическу, несмотря на то что лакей позвал ее с большой торопливостью и ее хозяин, может быть, умирал от удара или с ним случилось какое-нибудь другое несчастье.

Нет ничего удивительного, что женщину, столь требовательную к себе по части соблюдения приличий, шокирует малейшее несоблюдение их другими. Поэтому, едва только она отворила дверь и увидела своего хозяина стоявшим у постели со свечой в руке и в одной рубашке, как отскочила в величайшем испуге назад и, по всей вероятности, упала бы в обморок, если бы Олверти не вспомнил в эту минуту, что он не одет, и не положил конец ее

ужасу, попросив ее подождать за дверью, пока он накинет какое-нибудь платье и не будет больше смущать непорочные взоры миссис Деборы Вилкинс, которая, хотя ей шел пятьдесят второй год, божилась, что отроду не видела мужчины без верхнего платья. Насмешники и циники станут, пожалуй, издеваться над ее испугом; но читатели более серьезные, приняв в соображение ночное время и то, что ее подняли с постели и она застала своего хозяина в таком виде, вполне оправдают и одобрят ее поведение, разве только их восхищение будет немного умерено мыслью, что Дебора уже достигла той поры жизни, когда благоразумие обыкновенно не покидает девицы.

Когда Дебора вернулась в комнату и услышала от хозяина о найденном ребенке, то была поражена еще больше, чем он, и не могла удержаться от восклицания, с выражением ужаса в голосе и во взгляде: «Батюшки, что ж теперь делать?»

Мистер Олверти ответил на это, что она должна позаботиться о ребенке, а утром он распорядится подыскать ему кормилицу.

— Слушаюсь, сударь! И я надеюсь, что ваша милость отдаст приказание арестовать шлюху-мать; это, наверно, какая-нибудь, что живет по соседству; то-то приятно будет поглядеть, как ее будут отправлять в исправительный дом и сечь на задке телеги! Этих негодных тварей как ни наказывай, все будет мало! Побожусь, что у нее не первый. Экое бесстыдство: подкинуть его вашей милости!

— Подкинуть его мне, Дебора? — удивился Олверти. — Не могу допустить, чтобы у нее было такое намерение. Мне кажется, она избрала этот путь просто из желания обеспечить своего ребенка, и я очень рад, что несчастная не сделала чего-нибудь хуже.

— Чего уж хуже,— воскликнула Дебора,— если такие негодницы взваливают свой грех на честного человека! Известно, ваша милость тут ни при чем, но свет всегда готов судить, и не раз честному человеку случалось прослыть отцом чужих детей. Если ваша милость возьмет заботы о ребенке на себя, это может заронить подозрения. Да и с какой стати вашей милости заботиться о младенце, которого обязан взять на свое попечение приход? Что до меня, то, будь еще это честно прижитое дитя, так куда ни шло, а к таким пащенкам, верьте слову, мне прикоснуться противно, я за людей их не считаю. Фу, как воняет! И запах-то у него не христианский! Если смею подать совет, то положила бы я его в корзину, унесла бы отсюда и оставила бы у дверей церковного старосты. Ночь хорошая, только ветрено немного и дождь идет; но если его закутать хорошенько да положить в теплую корзину, то два против одного, что проживет до утра, когда его найдут. Ну, а не проживет, мы все-таки долг свой исполнили, позаботи-

лись о младенце... Да таким созданиям и лучше умереть невинными, чем расти и идти по стопам матерей, ведь от них ничего хорошего и ожидать нельзя.

Кое-какие выражения этой речи, по всей вероятности, вызвали бы неудовольствие у мистера Олверти, если бы он слушал Дебору внимательно, но он вложил в это время палец в ручку малютки, и нежное пожатие, как бы молившее его о помощи, было для него несравненно убедительнее красноречия Деборы, если бы даже она говорила в десять раз красноречивее. Он решительно приказал Деборе взять ребенка к себе на постель и распорядиться, чтобы кто-нибудь из служанок приготовил ему кашку и все прочее, на случай если он проснется. Он велел также, чтобы рано утром для ребенка достали белье поопрятнее и принесли малютку к нему, как только он встанет.

Миссис Вилкинс была так понятлива и относилась с таким уважением к своему хозяину, в доме которого занимала превосходное место, что после его решительных приказаний все ее сомнения мгновенно рассеялись. Она взяла ребенка на руки без всякого видимого отвращения к незаконности его появления на свет и, назвав его премиленьким крошкой, ушла с ним в свою комнату.

А Олверти погрузился в тот сладкий сон, каким способно наслаждаться жаждущее добра сердце, когда оно испытало полное удовлетворение. Такой сон, наверно, приятнее снов, которые бывают после сытного ужина, и я постарался бы расписать его моему читателю обстоятельнее, если бы только знал, какой воздух ему посоветовать для возбуждения названной жажды.

## ГЛАВА IV

*Шее читателя угрожает опасность от головокружительного описания. Он благополучно ее минует. Великая снисходительность мисс Бриджет Олверти*

Готический архитектурный стиль не создавал ничего благороднее, чем дом мистера Олверти. Своим величественным видом он внушал зрителю уважение и мог потягаться с лучшими образцами греческой архитектуры. Внутренние его удобства не уступали солидной внешности.

Он стоял на юго-восточном склоне холма, ближе к подошве, чем к вершине, так что укрыт был с северо-востока рощей старых дубов, некруто поднимавшейся над ним на полмили, и все же достаточно высоко, чтобы любоваться восхитительным видом на открывавшуюся внизу долину.

От середины рощи к дому спускалась красивая лужайка, у вершины которой, из скалы, покрытой елями, бил роскошный ключ, образуя вечный каскад футов в тридцать вышиной, падавший не по правильным уступам, но по беспорядочно раскиданным природой обломкам замшелых камней; достигнув таким образом подножия скалы, он уже с гораздо меньшей прытью змеился далее по кремнистому руслу и у подошвы холма, в четверти мили к югу от дома, впадал в озеро, которое было видно из всех комнат, расположенных по фасаду. Из этого озера, которое заполняло центр красивой равнины, убранной купами буков и вязов и служившей пастбищем для овец, вытекала река; на протяжении нескольких миль она извивалась среди восхитительных лугов и лесов и впадала наконец в море, замыкавшее горизонт своим широким рукавом, с островом посередине.

Направо от этой долины открывалась другая, не столь обширная, с разбросанными по ней селениями, и кончавшаяся увитой плющом башней и еще уцелевшей частью фасада старого разрушенного монастыря.

По левую руку открывался вид на прекрасный парк, раскинутый по очень неровной местности и приятно радовавший взгляд всем разнообразием, какое могут явить холмы, лужайки, деревья и воды, распланированные с удивительным изяществом не столько искусной рукой человека, сколько самой природой. Дальше местность постепенно поднималась и переходила в гребень диких гор, вершины которых скрывались в облаках.

Было замечательное ясное майское утро, когда мистер Олверти вышел на террасу, и заря с каждой минутой все шире раскрывала перед ним только что описанный прелестный пейзаж. Выслав вперед потоки света, разливавшиеся по голубому небосклону как предвестники его великолепия, во всем блеске своего величия взошло солнце, затмить которое в нашем бренном мире могло только одно существо, и этим существом был сам Олверти — человек, исполненный любви к ближнему и размышлявший, каким бы способом получше угодить творцу, делая добро его творениям.

Читатель, берегись! Я необдуманно завел тебя на вершину столь высокой горы, как особа мистера Олверти, и теперь хорошенько не знаю, как тебя спустить, не сломав шею. Все же давай-ка попробуем скатиться вместе, ибо мисс Бриджет звонит, приглашая мистера Олверти к завтраку, на котором и я должен присутствовать, и буду рад, если ты пожалуешь вместе со мной.

Обменявшись обычными приветствиями с мисс Бриджет и подождав, пока нальют чай, мистер Олверти велел позвать миссис Вилкинс и сказал сестре, что у него есть для нее подарок; та поблагодарила, вообразив, должно быть, что речь идет о каком-нибудь

платье или драгоценности. Брат очень часто делал ей такие подарки, и в угоду ему она тратила немало времени на свой туалет. Я говорю в угоду брату, потому что сама она всегда выражала величайшее презрение к нарядам и к тем дамам, которые ими занимаются.

Но если таковы были ее ожидания, то как же была она разочарована, когда миссис Вилкинс, исполняя приказание своего хозяина, принесла ребенка! Крайнее изумление, как известно, бывает обыкновенно немым; так и мисс Бриджет не промолвила ни слова, пока брат не нарушил молчания, рассказав ей всю историю. Читатель уже знает ее, так что мы не станем передавать его рассказ.

Мисс Бриджет всегда свидетельствовала такое уважение к тому, что дамы благоволят называть добродетелью, и сама держала себя так строго, что присутствующие, особенно же миссис Вилкинс, ожидали от нее по этому поводу потока горьких слов и предложения немедленно удалить из дома ребенка, как вредного звереныша. Но она, напротив, отнеслась к происшествию весьма благодушно, выразила некоторое сострадание к беспомощному малютке и похвалила брата за совершенное им доброе дело.

Может быть, читатель объяснит себе это поведение ее уступчивостью мистеру Олверти, если мы ему поведаем, что в заключение своего рассказа этот добрый человек объявил о своем решении позаботиться о ребенке и воспитать его, как родное дитя; ибо, нужно сказать правду, мисс Бриджет всегда была готова угодить брату и очень редко, а может быть, и никогда, не противоречила его суждениям. Правда, подчас у нее вырывались кое-какие замечания — вроде того, что мужчины своевольны и непременно хотят поставить на своем и что ей очень хотелось бы иметь независимое состояние, — но все подобные замечания высказывались потихоньку, и голос ее самое большее возвышался до так называемого ворчания.

Впрочем, эта сдержанность мисс Бриджет по отношению к ребенку была щедро возмещена расточительностью по адресу бедной неизвестной матери; она обозвала ее срамницей, скверной шлюхой, наглой девкой, бесстыдной тварью, подлой потаскухой и другими подобными именами, на которые не скупится добродетель, когда хочет заклеймить негодниц, наносящих бесчестье женскому полу.

Потом стали совещаться, каким образом обнаружить мать ребенка. Сперва разобрали по косточкам поведение всей женской прислуги в доме; но миссис Вилкинс выгородила своих подручных и была, несомненно, права: она сама их подобрала, и вряд ли где-нибудь еще можно было найти такую коллекцию огородных пугал.

Следующим шагом был розыск среди обитательниц прихода; дело это поручили миссис Вилкинс, которая должна была произ-

вести самое тщательное расследование и доложить после обеда о его результатах.

Порешив на этом, мистер Олверти удалился, по обыкновению, к себе в кабинет и оставил ребенка сестре, которая, по его просьбе, взяла на себя заботы о нем.

## ГЛАВА V,

*которая содержит самые обыкновенные события с весьма необыкновенным по их поводу замечанием*

После ухода мистера Олверти Дебора молча ожидала, какую ей подаст реплику мисс Бриджет: искушенная домоправительница нисколько не полагалась на то, что произошло при ее хозяине, ибо не раз бывала свидетельницей, как мнения барышни в присутствии брата резко отличались от высказанных в его отсутствие. Мисс Бриджет, однако, недолго протомила ее в этом неопределенном состоянии. Внимательно посмотрев на ребенка, спавшего на коленях у Деборы, добрая дама не выдержала: крепко поцеловала дитя, заявив, что она в восторге от его красоты и невинности. Едва только Дебора увидела это, как кинулась обнимать его и осыпать поцелуями с тем неистовством, с каким иногда степенная сорокапятилетняя дама обнимает своего юного и здорового жениха. «Ах, что за милый малютка! Миленочек, душка, красавчик! Ей-богу, такого красивого мальчика еще свет не видел!» — пронзительно вскрикивала она.

Восклицания эти были наконец прерваны ее госпожой, которая, исполняя поручение, данное ей братом, распорядилась приготовить для ребенка все необходимое и отвела ему под детскую одну из лучших комнат в доме. Щедрость ее при этом была так велика, что, будь даже ребенок ее родным сыном, и тогда она не могла бы распорядиться щедрее; но, чтобы добродетельный читатель не осудил ее за столь исключительное внимание к ребенку низкого происхождения, всякое милосердие к которому возбраняется законом, как противное религии, мы считаем долгом заметить, что распоряжения свои она заключила так: раз уж ее брат вздумал усыновить мальчишку, то, разумеется, с барчонком нужно обойтись как можно ласковее. Сама она считает, что это — потакание пороку, но ей слишком хорошо известно упрямство мужчин, чтобы она стала противиться их нелепым причудам.

Такими рассуждениями она, как уже было сказано, обыкновенно сопровождала каждую свою уступку братниным желаниям; и, конечно, ничто не могло в большей степени поднять цены ее угод-

ливости, чем заявление, что она сознает всю нелепость и безрассудство этих желаний и все-таки им подчиняется. Молчаливое повиновение не предполагает никакого напряжения воли и поэтому дается легко и без всяких усилий; но когда жена, ребенок, родственник или друг исполняют наши желания ворча и с неохотой, высказывая неудовольствие и досаду, то очевидный труд, который они для этого приложили, сильно повышает в наших глазах их одолжение.

Это одно из тех глубоких замечаний, которые едва ли кто из читателей способен сделать самостоятельно, и потому я счел своим долгом прийти им на помощь; но на такую любезность не следует особенно рассчитывать в этом произведении. Не часто буду я настолько снисходителен к читателю; разве вот в таких случаях, как настоящий, когда столь замечательное открытие может быть сделано не иначе как с помощью вдохновения, свойственного только нам, писателям.

## ГЛАВА VI

*Миссис Дебора вводится в среду прихожан при помощи риторического сравнения. Краткие сведения о Дженни Джонс с описанием трудностей и препятствий, встречаемых порой молодыми женщинами на пути к знанию*

Устроив ребенка согласно приказанию своего хозяина, миссис Дебора приготовилась посетить жилища, в которых, как можно было предполагать, скрывалась его мать.

Как при виде парящего в высоте и повисшего над головой коршуна, грозы пернатого царства, нежный голубь и иные безобидные пташки распространяют кругом смятение и в трепете разлетаются по тайникам, а он гордо, в сознании собственного достоинства, рассекает воздух, обдумывая затеянное злодеяние,— так при вести о приближении миссис Деборы все обитательницы прихода в трепете разбежались по своим домам, и каждая хозяйка молила о том, чтобы грозное посещение ее миновало. Величественным шагом, гордо выступает она по полю битвы, высоко подняв царственную голову, исполненная убеждения в своем превосходстве, обдумывая, как бы половчее произвести желанное открытие.

Проницательный читатель не заключит из этого сравнения, что бедные поселяне сколько-нибудь догадывались о намерениях направлявшейся к ним миссис Вилкинс; но так как великолепие нашего сравнения может остаться неоцененным в течение сотни лет, пока это произведение не попадет в руки какого-нибудь

будущего комментатора, то я считаю полезным оказать здесь читателю некоторую помощь.

Итак, мое намерение — показать, что, насколько в природе коршуна пожирать мелких пташек, настолько в природе таких особ, как миссис Вилкинс, обижать и тиранить мелкий люд. Этим способом они обыкновенно вознаграждают себя за крайнее раболепство и угодливость по отношению к своим господам; ведь вполне естественно, что рабы и льстецы взимают со стоящих ниже их ту дань, какую сами платят стоящим выше их.

Каждый раз, как миссис Деборе случалось сделать что-либо чрезвычайное в угоду мисс Бриджет и тем несколько омрачить свое хорошее расположение духа, она обыкновенно отправлялась к этим людям и отводила душу, изливая на них и, так сказать, опоражнивая всю накопившуюся в ней горечь. По этой причине она никогда не бывала желанной гостьей, и, правду сказать, все единодушно ее боялись и ненавидели.

Придя в селение, она отправилась прямо к одной пожилой матроне, к которой обыкновенно относилась милостивее, чем к остальным, потому что матрона имела счастье походить на нее миловидностью и быть ее ровесницей. Этой женщине поведала она о случившемся и о цели своего сегодняшнего посещения. Обе тотчас же стали перебирать всех девушек в приходе, и, наконец, подозрение их пало на некую Дженни Джонс, которая, по их согласному мнению, скорее всех была виновна в этом проступке.

Эта Дженни Джонс не отличалась ни красотой лица, ни стройностью стана, но природа в известной степени вознаградила ее за недостаток красоты тем качеством, которое обыкновенно больше ценится женщинами, с возрастом достигшими полной зрелости в своих суждениях: она одарила ее весьма незаурядом умом. Дар этот Дженни еще развила учением. Она пробыла несколько лет служанкой у школьного учителя, который, обнаружив в девушке большие способности и необыкновенное пристрастие к знанию — все свободные часы она проводила за чтением школьных учебников,— возымел добрую или безрассудную мысль — как будет угодно читателю назвать ее — настолько обучить ее латинскому языку, что в своих познаниях она, вероятно, не уступала большинству молодых людей хорошего общества того времени. Однако преимущество это, подобно большей части не совсем обыкновенных преимуществ, сопровождалось кое-какими маленькими неудобствами: молодая женщина с таким образованием, естественно, не находила большого удовольствия в обществе людей, равных ей по положению, но по развитию стоящих значительно ниже ее, и потому не надо особенно удивляться, что это превосходство Дженни, неизбежно отражавшееся в ее обращении, вызывало у осталь-

ных нечто вроде зависти и недоброжелательства, должно быть, тайно запавших в сердца ее соседок с тех пор, как она вернулась со службы домой.

Однако зависть не проявлялась открыто, пока бедная Дженни, к общему удивлению и досаде всех молодых женщин этих мест, не появилась в один воскресный день публично в новом шелковом платье, кружевном чепчике и других принадлежностях туалета того же качества.

Пламя, прежде таившееся под спудом, теперь вырвалось наружу. Образование усилило гордость Дженни, но никто из ее соседок не выказывал готовности поддерживать эту гордость тем вниманием, какого она, по-видимому, требовала; и на этот раз вместо почтительного восхищения наряд ее вызвал только ненависть и оскорбительные замечания. Весь приход объявил, что она не могла получить такие вещи честным путем; и родители, вместо того чтобы пожелать и своим дочерям такие же наряды, поздравляли себя с тем, что у их детей таких нарядов нет.

Может быть, по этой именно причине упомянутая почтенная женщина прежде всего назвала миссис Вилкинс имя бедной Дженни; но было и другое обстоятельство, укрепившее Дебору в ее подозрении: в последнее время Дженни часто бывала в доме мистера Олверти. Она исполняла должность сиделки мисс Бриджет, которая была опасно больна, и провела немало ночей у постели этой дамы; кроме того, миссис Вилкинс собственными глазами видела ее в доме в самый день приезда мистера Олверти, хотя это и не возбудило тогда в этой проницательной особе никаких подозрений; ибо, по ее собственным словам, она «всегда считала Дженни благонравной девушкой (хотя, по правде говоря, она очень мало знает ее) и скорее подумала бы на кого-нибудь из тех беспутных замарашек, что ходят задрав нос, воображая себя бог весь какими хорошенькими».

Дженни было приказано явиться к миссис Деборе, что она немедленно и сделала. Миссис Дебора, напустив на себя важный вид строгого судьи, встретила ее словами: «Дерзкая распутница!»— и в своей речи не стала даже обвинять подсудимую, а прямо произнесла ей приговор.

Хотя по указанным основаниям миссис Дебора была совершенно убеждена в виновности Дженни, но мистер Олверти мог потребовать более веских улик для ее осуждения; однако Дженни избавила своих обвинителей от всяких хлопот, открыто признавшись в проступке, который на нее взваливали.

Признание это, хотя и сделанное в покаянном тоне, ничуть не смягчило миссис Дебору, которая вторично произнесла Дженни приговор, в еще более оскорбительных выражениях, чем первый;

не больше успеха имело оно и у собравшихся в большом числе зрителей. Одни из них громко кричали: «Так мы и знали, что шелковое платье барышни этим кончится!», другие насмешливо говорили об ее учености. Из присутствующих женщин ни одна не упустила случая выказать бедной Дженни свое отвращение, и та все перенесла терпеливо, за исключением злобной выходки одной кумушки, которая прошлась не очень лестно насчет ее наружности и сказала, задрав нос: «Неприхотлив, должно быть, молодчик, коль дарит шелковые платья такой дряни!» Дженни ответила на это с резкостью, которая удивила бы здравомыслящего наблюдателя, видевшего, как спокойно она выслушивала все оскорбительные замечания о ее целомудрии; но, видно, терпение ее истощилось, ибо добродетель эта скоро утомляется от практического применения.

Миссис Дебора, преуспев в своем расследовании свыше всяких чаяний, с большим торжеством вернулась домой и в назначенный час сделала обстоятельный доклад мистеру Олверти, которого очень поразил ее рассказ; он был наслышан о необыкновенных способностях и успехах Дженни и собирался даже выдать ее за соседнего младшего священника, обеспечив его небольшим приходом. Его огорчение по этому случаю было не меньше удовольствия, которое испытывала миссис Дебора, и многим читателям, наверное, покажется гораздо более справедливым.

Мисс Бриджет перекрестилась и сказала, что с этой минуты она больше ни об одной женщине не будет хорошего мнения. Надобно заметить, что до сих пор Дженни имела счастье пользоваться также и ее благосклонностью.

Мистер Олверти снова послал мудрую домоправительницу за несчастной преступницей, не затем, однако, как надеялись иные и все ожидали, чтобы отправить ее в исправительный дом, но чтобы высказать ей порицание и преподать спасительное наставление, с каковыми любители назидательного чтения познакомятся в следующей главе.

## ГЛАВА VII,

*которая содержит такие важные материи, что читатель на всем ее протяжении ни разу не посмеется,— разве только над автором*

Когда Дженни явилась, мистер Олверти увел ее в свой кабинет и сказал следующее:

— Ты знаешь, дитя мое, что властью судьи я могу очень строго наказать тебя за твой проступок; и тебе следует опасаться, что я применю эту власть в тем большей степени, что ты в некотором роде сложила свои грехи у моих дверей.

Однако это, может быть, и послужило для меня основанием поступить с тобой мягче. Личные чувства не должны оказывать влияние на судью, и поэтому я не только не хочу видеть в твоем поступке с ребенком, которого ты подкинула в мой дом, обстоятельство, отягчающее твою вину, но, напротив, полагаю, к твоей выгоде, что ты сделала это из естественной любви к своему ребенку, надеясь, что у меня он будет лучше обеспечен, чем могла бы обеспечить его ты сама или негодный отец его. Я был бы действительно сильно разгневан на тебя, если бы ты обошлась с несчастным малюткой подобно тем бесчувственным матерям, которые, расставшись со своим целомудрием, утрачивают также всякие человеческие чувства. Итак, есть другая сторона твоего проступка, за которую я намерен пожурить тебя: я имею в виду утрату целомудрия — преступление весьма гнусное само по себе и ужасное по своим последствиям, как легко ни относятся к нему развращенные люди.

Гнусность этого преступления совершенно очевидна для каждого христианина, поскольку оно является открытым вызовом законам нашей религии и определенно выраженным заповедям основателя этой религии.

И легко доказать, что последствия его ужасны; ибо что может быть ужаснее божественного гнева, навлекаемого нарушением божественных заповедей, да еще в столь важном проступке, за который возвещено особенно грозное отмщение?

Но эти вещи, хоть им, боюсь, и уделяется слишком мало внимания, настолько ясны, что нет никакой надобности осведомлять о них людей, как бы ни нуждались последние в постоянном о них напоминании. Довольно, следовательно, простого намека, чтобы привлечь твою мысль к этим предметам: мне хочется вызвать в тебе раскаяние, а не повергнуть тебя в отчаяние.

Есть еще и другие последствия этого преступления, не столь ужасные и не столь отвратительные, но все же способные, мне кажется, удержать от него всякую женщину, если она внимательно поразмыслит о них.

Ведь оно покрывает женщину позором и, как ветхозаветных прокаженных, изгоняет ее из общества — из всякого общества, кроме общества порочных и коснеющих в грехе людей, ибо люди порядочные не пожелают знаться с ней.

Если у женщины есть состояние, она лишается возможности пользоваться им; если его нет, она лишается возможности приобретать его и даже добывать себе пропитание, ибо ни один порядочный человек не примет ее к себе в дом. Так сама нужда часто доводит ее до срама и нищеты, неминуемо кончающихся погибелью тела и души.

Разве может какое-нибудь удовольствие вознаградить за такое

зло? Разве способно какое-нибудь искушение настолько прельстить и оплести тебя, чтобы ты согласилась пойти на такую нелепую сделку? Разве способно, наконец, плотское влечение настолько одолеть твой разум или погрузить его в столь глубокий сон, чтобы ты не бежала в страхе и трепете от преступления, неизменно влекущего за собой такую кару?

Сколь низкой и презренной, сколь лишенной душевного благородства и скромной гордости, без коих мы недостойны имени человека, должна быть женщина, которая способна сравняться с последним животным и принести все, что есть в ней великого и благородного, все свое небесное наследие в жертву вожделению, общему у нее с самыми гнусными тварями! Ведь ни одна женщина не станет оправдываться в этом случае любовью. Это значило бы признать себя простым орудием и игрушкой мужчины. Любовь, как бы варварски мы ни извращали и ни искажали значение этого слова,— страсть похвальная и разумная и может стать неодолимой только в случае взаимности; ибо хотя описание повелевает нам любить врагов наших, но отсюда не следует, чтобы мы любили их той горячей любовью, какую естественно питаем к нашим друзьям; и еще менее, чтобы мы жертвовали им нашей жизнью и тем, что должно быть нам дороже жизни,— нашей невинностью. А кого же, если не врага, может видеть рассудительная женщина в мужчине, который хочет возложить на нее все описанные мной бедствия ради краткого, пошлого, презренного наслаждения, купленного в значительной мере за ее счет! Ведь обычно весь позор со всеми его ужасными последствиями падает всецело на женщину. Разве может любовь, которая всегда ищет добра любимому предмету, пытаться вовлечь женщину в столь убыточную для нее сделку? Поэтому, если такой соблазнитель имеет бесстыдство притворно уверять женщину в искренности своего чувства к ней, разве не обязана она смотреть на него не просто как на врага, но как на злейшего из врагов — как на ложного, коварного, вероломного, притворного друга, который замышляет растлить не только ее тело, но также и разум ее?

Тут Дженни стала выражать глубокое сокрушение. Олверти помедлил немного и потом продолжал:

— Я сказал все это, дитя мое, не с тем, чтобы тебя выбранить за то, что прошло и непоправимо, но чтобы предостеречь и укрепить на будущее время. И я не взял бы на себя этой заботы, если бы, несмотря на твой ужасный промах, не предполагал в тебе здравого ума и не надеялся на чистосердечное раскаяние, видя твое откровенное и искреннее признание. Если оно меня не обманывает, я постараюсь услать тебя из этого места, бывшего свидетелем твоего позора, туда, где ты, никому не известная, избегнешь на-

казания, которое, как я сказал, постигнет тебя за твое преступление в этом мире; и я надеюсь, что благодаря раскаянию ты избегнешь также гораздо более тяжкого приговора, возвещенного против него в мире ином. Будь хорошей девушкой весь остаток дней твоих, и никакая нужда не совратит тебя с пути истины; поверь, что даже в этом мире невинная и добродетельная жизнь дает больше радости, чем жизнь развратная и порочная.

А что касается ребенка, то о нем тебе нечего тревожиться: я позабочусь о нем лучше, чем ты можешь ожидать. Теперь тебе остается только сообщить, кто был негодяй, соблазнивший тебя; гнев мой обрушится на него с гораздо большей силой, чем на тебя.

Тут Дженни скромно подняла опущенные в землю глаза и почтительным тоном начала так:

— Знать вас, сэр, и не любить вашей доброты — значило бы доказать полное отсутствие ума и сердца. Я выказала бы величайшую неблагодарность, если бы не была тронута до глубины души великой добротой, которую вам угодно было проявить ко мне. Что же касается моего сокрушения по поводу случившегося, то я знаю, что вы пощадите мою стыдливость и не заставите возвращаться к этому предмету. Будущее поведение покажет мои чувства гораздо лучше всяких обещаний, которые я могу дать сейчас. Позвольте вас заверить, сэр, что ваши наставления я принимаю с большей признательностью, чем великодушное предложение, которым вы заключили свою речь, ибо, как вы изволили сказать, сэр, они доказывают ваше высокое мнение о моем уме.

Тут хлынувшие потоком слезы заставили ее остановиться на минуту; немного успокоившись, она продолжала так:

— Право, сэр, доброта ваша подавляет меня; но я постараюсь оправдать ваше лестное обо мне мнение; ибо если я не лишена ума, который вы так любезно изволили приписать мне, то ваши драгоценные наставления не могут пропасть втуне. От всего сердца благодарю вас, сэр, за заботу о моем бедном, беспомощном дитяти; оно невинно и, надеюсь, всю жизнь будет благодарно за оказанные вами благодеяния. Но на коленях умоляю вас, сэр, не требуйте от меня назвать отца его! Твердо вам обещаю, что со временем вы это узнаете; но в настоящую минуту самые торжественные обязательства чести, самые святые клятвы и заверения заставляют меня скрывать его имя. Я слишком хорошо вас знаю, вы не станете требовать, чтобы я пожертвовала своей честью и святостью клятвы.

Мистер Олверти, которого способно было поколебать малейшее упоминание этих священных слов, с минуту находился в нерешительности, прежде чем ответить, и затем сказал Дженни, что она поступила опрометчиво, дав такие обещания негодяю; но раз уж они даны, он не может требовать их нарушения. Он спросил об имени

преступника не из праздного любопытства, а для того, чтобы наказать его или, по крайней мере, не облагодетельствовать, по неведению, недостойного.

На этот счет Дженни успокоила его торжественным заверением, что этот человек находится вне пределов досягаемости: он ему не подвластен и, по всей вероятности, никогда не сделается предметом его милостей.

Прямодушие Дженни подействовало на почтенного сквайра так подкупающе, что он поверил каждому ее слову. То обстоятельство, что для своего оправдания она не унизилась до лжи и не побоялась вызвать в нем еще большее нерасположение к себе, отказавшись выдать своего сообщника, чтобы не поступиться честью и прямотой, рассеяло в нем всякие опасения насчет правдивости ее показаний.

Тут он отпустил ее, пообещав в самом скором времени сделать ее недосягаемой для злословия окружающих, и заключил еще несколькими увещаниями раскаяться, сказав:

— Помни, дитя мое, что ты должна примириться еще с тем, чья милость неизмеримо для тебя важнее, чем моя.

## ГЛАВА VIII

*Диалог между госпожами Бриджет и Деборой, который содержит больше забавного, но меньше поучительного, чем предшествующий*

Едва мистер Олверти, как мы видели, удалился с Дженни Джонс в свой кабинет, как мисс Бриджет и почтенная домоправительница бросились к наблюдательному посту в смежной комнате, откуда сквозь замочную скважину всосали своими ушами поучительное назидание, преподанное мистером Олверти, а также ответы Дженни и вообще подробности, о которых было рассказано в предыдущей главе.

Эта скважина в дверях кабинета была прекрасно известна мисс Бриджет, и она прикладывалась к ней столь же часто, как древняя Фисба к знаменитой щели в стене. Это служило ей для многих полезных целей. Таким способом мисс Бриджет нередко узнавала братнины намерения, избавляя его от труда излагать их. Правда, общение это сопровождалось кое-какими неудобствами, и подчас у нее бывали основания воскликнуть вместе с шекспировской Фисбой: «О, злобная, злобная стена!» Дело в том, что мистер Олверти был мировым судьей, и при разборе дел о незаконных детях и тому подобного у него в комнате слышались разговоры, способные сильно оскорбить целомудренный слух девиц, особенно когда они

приближаются к сорокалетнему возрасту, как мисс Бриджет. Однако в таких случаях она пользовалась преимуществом скрывать румянец от людских глаз. A — de non apparentibus et non existentibus eadem est ratio, что можно перевести так: «Когда никто не видит, как женщина краснеет, она не краснеет вовсе».

Обе почтенные дамы хранили гробовое молчание в течение всего диалога между мистером Олверти и Дженни; но едва только он кончился и они отошли на такое расстояние, что этот джентльмен не мог их слышать, как миссис Дебора не выдержала и разразилась жалобами на снисходительность своего хозяина и особенно на то, что он позволил девушке утаить имя отца ребенка, которое она поклялась выведать от нее еще до захода солнца.

При этих словах на лице мисс Бриджет изобразилась улыбка (вещь очень для нее необычная). Да не подумает читатель, что это была одна из тех шаловливых улыбок, какие Гомер предлагает вам вообразить на лице Венеры, когда называет ее смехолюбивой богиней, или же одна из тех улыбок, какими стреляет из своей литерной ложи леди Серафина на зависть самой Венере, которая отдала бы за нее свое бессмертие. Нет, это была скорее одна из тех улыбок, какие можно предположить на впалых щеках величественной Тизифоны или одной из девиц — сестер ее.

И вот с такой улыбкой и голосом, мелодичным, как вечернее дуновение Борея в очаровательном месяце ноябре, мисс Бриджет мягко пожурила миссис Дебору за ее любопытство — порок, которым последняя, по-видимому, была сильно заражена и против которого первая высказалась очень резко, заявив, что, при всех ее недостатках, враги ее, благодарение богу, не могут обвинить ее в том, что она суется в чужие дела.

Потом она принялась хвалить благородство и такт Дженни. Она сказала, что не может не согласиться с братом; искренность ее признания и честность по отношению к любовнику заслуживают одобрения; что она всегда считала Дженни порядочной девушкой и не сомневается в том, что ее соблазнил какой-нибудь мерзавец, гораздо больше ее достойный порицания, который, по всей вероятности, увлек девушку обещанием жениться или иным предательским способом.

Такое поведение мисс Бриджет сильно удивило миссис Дебору. Эта благовоспитанная дама редко открывала рот перед своим хозяином и его сестрой, не выведав предварительно их намерений, с которыми ее мнения всегда совпадали. Тут, однако, она сочла, что может выступить безопасно; и проницательный читатель едва ли обвинит ее в недостатке предусмотрительности, но скорее подивится, с какой поразительной быстротой она повернула руль, убедившись, что держит неверный курс.

— Да, сударыня,— сказала эта способная женщина и поистине великий дипломат,—сказать правду, и я, подобно вашей милости, не могу не удивляться уму этой девушки. И если, как говорит ваша милость, ее обманул какой-нибудь злодей, то бедняжка достойна сожаления. Право, как говорит ваша милость, она всегда казалась порядочной, честной, прямодушной девушкой и, ей-богу, никогда не чванилась своей смазливостью, как иные бесстыдницы, ее соседки.

— Это правда, Дебора,— отвечала мисс Бриджет.— Если бы она была тщеславной девчонкой, которых столько в нашем приходе, я осудила бы брата за снисходительность к ней. На днях я видела в церкви двух фермерских дочек с открытой шеей. До чего я была возмущена! Если эти девки сами приманивают парней, выставляя напоказ свои прелести, пусть потом страдают — не жалко. Терпеть не могу таких тварей! Для них было бы лучше, если бы лица их были разукрашены оспой. Но, право же, я никогда не замечала такого бесстыдства у Дженни. Убеждена, что какой-нибудь хитрый негодяй обманул ее, может быть, даже изнасиловал! От всего сердца жалею бедняжку.

Миссис Дебора одобрила все эти сентенции, и диалог был заключен самым резким порицанием красоты и многими соболезнованиями по адресу простых честных девушек, вводимых в заблуждение злыми кознями обманщиков мужчин.

## ГЛАВА IX,

*содержащая события, которые удивят читателя*

Дженни вернулась домой, очень довольная приемом, который был ей оказан мистером Олверти, и старательно разгласила о его снисходительности — частью, вероятно, для того, чтобы польстить своему самолюбию, а частью из более благоразумного желания расположить к себе соседей и прекратить дурные толки.

Но хотя этот последний мотив, если она действительно им руководилась, может показаться довольно разумным, однако результаты не оправдали ее ожиданий. Когда Дженни позвали к судье и всем казалось, что ей не миновать исправительного дома, то, хотя некоторые молодые женщины закричали, что «туда ей и дорога», и потешались над тем, как она в шелковом платье будет трепать пеньку,— однако было немало и таких, которые начали ее жалеть; но когда стало известно, каким образом мистер Олверти обошелся с ней, общественное мнение круто изменилось. Одна говорила: «Везет же нашей барышне!» Другая кричала: «Погляди-

те-ка, что значит быть в милости!» Третья: «А все оттого, что ученая!» Словом, по этому случаю каждая сделала какое-нибудь злобное замечание и попрекнула судью за пристрастие.

Такое поведение соседей может показаться читателю неблагоразумным и неблагодарным, если он примет в соображение власть и доброту мистера Олверти. Но он никогда не пользовался своей властью, а что касается доброты, то он выказывал ее так часто, что досадил всем своим соседям. Большие люди хорошо знают, что, делая кому-нибудь одолжение, они не всегда приобретают друга, но непременно наживают себе множество врагов.

Однако благодаря заботам и доброте мистера Олверти Дженни скоро была удалена в такое место, куда до нее не доходили упреки; тогда злоба, лишившись возможности изливать свою ярость на нее, начала искать себе другой предмет и нашла его в лице самого мистера Олверти: вскорости пошел слух, что он сам отец подкинутого ребенка.

Это предположение так хорошо согласовалось с его образом действий, что встретило единодушную поддержку, и вопли против его снисходительности превратились в нападки на жестокость его поступка с бедной девушкой. Степенные и добродетельные женщины громко обвиняли мужчин, которые производят на свет детей, а потом от них отрекаются. Не было недостатка и в таких, которые после отъезда Дженни стали намекать, что она была увезена с гнусным намерением, и даже говорили, что не худо бы произвести законное расследование всего этого дела и заставить кой-кого выдать девушку.

Подобная клевета, очень возможно, повлекла бы за собой дурные последствия или, по крайней мере, доставила бы некоторые неприятности человеку с более сомнительной и подозрительной репутацией, чем у мистера Олверти, но в применении к нему она не возымела такого действия: встреченная им с глубочайшим презрением, она послужила только к невинному развлечению местных кумушек.

Но так как мы не можем угадать, какого мнения на этот счет наш читатель, и пройдет еще немало времени, прежде чем он услышит снова о Дженни, то считаем долгом заранее осведомить его, что мистер Олверти был, как это впоследствии обнаружится, совершенно неповинен ни в каком преступном намерении. Он сделал лишь ту тактическую ошибку, что судил милостиво и не пожелал ублажать сострадательную чернь[1], дав пищу для ее добрых чувств

[1] Каждый раз, когда это слово встречается в наших сочинениях, оно обозначает людей, лишенных добродетелей и здравого смысла, не разбирая их звания, и часто при этом подразумеваются особы самого высокого ранга.

в лице бедной Дженни, которую всем хотелось видеть заключенной в исправительный дом, погибшей и опозоренной, чтобы иметь случай пожалеть ее.

Мистер Олверти совершенно пренебрег этим желанием, удовлетворение которого похоронило бы всякую надежду на исправление девушки и закрыло бы перед ней двери, если бы даже она сама вздумала когда-нибудь вступить на путь добродетели, и предпочел, напротив, поощрить ее в этом намерении единственным возможным способом; ведь многие женщины, боюсь, сбились с пути и погрузились на самое дно порока лишь потому, что не имели возможности подняться после первого падения. Боюсь, так бывает всегда, если они остаются в кругу прежних знакомых. Поэтому мистер Олверти поступил мудро, удалив Дженни в такое место, где она могла наслаждаться добрым именем, после того как узнала на опыте, к каким горьким последствиям приводит его потеря.

Пожелаем же ей счастливого пути и пока простимся с ней и с маленьким найденышем, ее сыном, ибо нам предстоит сообщить читателю о гораздо более важных событиях.

## ГЛАВА X

*Гостеприимство Олверти с кратким очерком характеров двух братьев — доктора и капитана, проживающих под кровом этого джентльмена*

Ни дом, ни сердце мистера Олверти ни для кого не были закрыты, но особенно широко они распахивались перед людьми достойными. По правде говоря, это был единственный дом в Англии, где вам был обеспечен обед, если вы его заслужили.

Больше всех остальных милостями его пользовались люди с поэтическим дарованием и ученые; но и между ними мистер Олверти делал большое различие; обстоятельства, правда, помешали ему получить законченное образование, однако, будучи наделен большими природными способностями, он настолько усовершенствовал свой ум прилежным, хоть и запоздалым изучением наук и беседами со многими выдающимися людьми, что сам стал весьма компетентным судьей во всех областях литературы.

Не удивительно, что в век, когда заслуги этого рода так мало в моде и так скудно вознаграждаются, обладающие ими люди усердно стекались в место, где с полной уверенностью могли рассчитывать на любезный прием, и пользовались всеми благами богатства почти так же свободно, как если бы они сами были хозяевами; ибо мистер Олверти не принадлежал к числу тех хлебосолов,

которые готовы щедро кормить, поить и давать кров людям умным и образованным, но с условием, чтобы они их развлекали, поучали, льстили им и прислуживали,— словом, записались к ним в лакеи, не нося только ливреи и не получая жалованья.

В доме мистера Олверти, напротив, каждый был полным хозяином своего времени; каждый мог удовлетворять все свои желания в рамках закона, нравственности и религии и вправе был поэтому, если требовало состояние его здоровья и склонность к умеренности или даже к полному воздержанию, не являться к столу или вставать из-за стола, когда ему вздумается, не опасаясь, что его будут упрашивать остаться: ведь подобные упрашивания со стороны высших всегда сильно отзываются приказанием. Здесь никому из гостей не угрожала такая бесцеремонность — не только богачам, принять которых везде считается за честь, но даже и людям со скромными средствами, для которых подобный даровой кров является хорошим подспорьем и которые за столом большого барина не так желательны, потому что они нуждаются в обеде.

В числе таких людей был доктор Блайфил, человек способный, но, к несчастью, не имевший возможности усовершенствовать свои большие дарования из-за упрямства отца, непременно хотевшего подготовить его к профессии, которую он не любил. Из-за этого упрямства доктор принужден был в молодости изучать медицину, или, вернее, говорить, будто ее изучает, так как в действительности из всех книг только медицинские остались, кажется, ему незнакомы; доктор, к несчастью, овладел почти всеми науками, кроме той, при помощи которой ему надо было добывать себе пропитание; следствием этого было то, что к сорока годам он остался без куска хлеба.

Такой человек мог быть уверен, что найдет радушный прием в доме мистера Олверти, для которого несчастья всегда служили хорошей рекомендацией, если они проистекали от безрассудства и подлости других, а не самого несчастливца. Кроме этого отрицательного качества, у доктора было еще и положительное: он имел вид человека очень набожного. Была ли эта набожность настоящая или только показная, я не берусь судить, так как не обладаю мерилом для различения истинного и поддельного в этой области.

Если эта черта его характера нравилась мистеру Олверти, то мисс Бриджет была от нее в восторге. Она любила вовлекать доктора в богословские споры, причем всегда бывала весьма удовлетворена его познаниями и едва ли меньше — комплиментами, которые он часто расточал насчет собственной ее учености. И в самом деле, мисс Бриджет прочла много английских богословских сочинений и поставила в тупик не одного соседнего священника.

Речи ее всегда были так чисты, взгляды так скромны и вся осанка такая важная и торжественная, что она смело сошла бы за святую наравне со своей тезкой или другой подвижницей из римско-католического календаря.

Всякая симпатия способна зародить любовь, но опыт показывает, что у лиц разного пола больше всего этому благоприятствует родство религиозных чувств. Доктор обнаружил в мисс Бриджет такое расположение к себе, что начал сожалеть о несчастной случайности, приключившейся с ним лет десять назад, именно о женитьбе на другой женщине, которая не только была еще жива, что гораздо хуже, о существовании которой знал мистер Олверти. Это было роковой преградой к счастью, которого иначе он, по всей вероятности, достиг бы союзом с молодой дамой; ибо что касается прелюбодеяния, то, он, конечно, никогда и не помышлял о нем. Происходило это или от его набожности, что, пожалуй, наиболее вероятно, или от чистоты чувства, направленного на такие предметы, которые мог предоставить в его распоряжение или на которые мог дать ему право только законный брак, а не преступная связь. Размышляя на эти темы, доктор скоро вспомнил, что у него есть брат, не стесненный этой несчастной неправоспособностью. Он нисколько не сомневался, что этот брат будет иметь успех; ибо, как ему казалось, он заметил в мисс Бриджет сильную склонность к замужеству; и читатель, может быть, не станет порицать доктора за эту уверенность в успехе, когда услышит, какими качествами обладал брат его.

Это был джентльмен лет тридцати пяти, среднего роста и, как говорится, крепко сколоченный. Шрам на лбу не столько портил красоту его, сколько свидетельствовал о его доблести (он был запасный офицер на половинном окладе). Зубы у него были прекрасные и улыбка, когда он хотел, приветливая; в выражении его лица, а также в наружности и голосе, правда, было от природы много грубого, но он мог в любую минуту подавить эту грубость и становился тогда воплощенной любезностью и веселостью. Он был не без воспитания и не совсем лишен был ума, а в молодости отличался большой живостью, которую мог, когда хотел, выказать и теперь, хотя с годами сильно остепенился.

Так же как и доктор, он получил университетское образование; отец, с уже упомянутой родительской властностью, назначил его в духовное звание; но старик умер, прежде чем сын посвящен был в священники, и брат доктора предпочел церкви военную профессию и службе епископу — службу королю.

Он купил себе место драгунского поручика, а затем дослужился до капитана; но из-за ссоры с полковником принужден был, в собственных интересах, продать свое место. После этого

он уединился в деревню, предался изучению Священного писания, и его стали сильно подозревать в наклонности к методизму.

Все это давало большую надежду, что такой человек будет иметь успех у набожной дамы, вдобавок весьма сильно расположенной к браку вообще. Но почему доктор, не питавший особенно дружеских чувств к брату, вздумал ради него так дурно отблагодарить Олверти за гостеприимство,— это вопрос, на который нелегко ответить.

Может быть, некоторым натурам зло доставляет такое же удовольствие, какое другие находят в добрых делах? Или нам приятно быть пособниками в воровстве, когда мы не можем совершить его сами? Или же, наконец (и опыт, по-видимому, подтверждает это), нас радует возвышение членов нашей семьи, пусть даже мы не чувствуем к ним ни малейшей любви и ни малейшего уважения?

Руководился ли доктор каким-нибудь из этих побуждений, мы не беремся решить, только дело обстояло именно так. Он послал за братом и легко нашел способ ввести его в дом Олверти, сказав, что тот приехал погостить на короткое время.

Не прошло и недели со времени приезда капитана, как доктор уже мог поздравить себя с большим успехом. Капитан оказался таким же мастером в искусстве любви, каким некогда был Овидий. Вдобавок он получил от брата полезные указания, которыми не преминул воспользоваться самым лучшим образом.

## ГЛАВА XI,

*которая содержит много правил и несколько примеров того, как люди влюбляются; описание красоты и благоразумных побуждений к женитьбе*

Мудрыми мужчинами или женщинами — я забыл, кем именно,— было замечено, что всем людям раз в жизни бывает суждено влюбиться. Особенного периода, насколько я помню, для этого не назначено; однако возраст, которого достигла мисс Бриджет, подходит для этого, как мне кажется, не хуже всякого другого. Правда, часто это случается гораздо раньше, но если не случилось, то, как я заметил, любовь почти никогда не забывает явиться в эту пору. Кроме того, можно утверждать, что в этом возрасте любовь обыкновенно бывает серьезнее и постояннее, чем в ранней молодости. Любовь девочек переменчива, своенравна и настолько бестолкова, что мы не всегда можем понять, чего собственно хочет молодая особа; позволительно даже усомниться, знает ли это она сама.

Но мы без затруднения можем угадать, чего хочет женщина лет под сорок; поскольку такие степенные, серьезные и искушенные дамы прекрасно знают свои желания, то даже самый непроницательный человек легко это откроет с полной достоверностью.

Мисс Бриджет служит наглядным доказательством всех этих замечаний. Стоило ей побывать несколько раз в обществе капитана, как она уже страстно в него влюбилась. Она не ходила возле дома, вздыхая и томясь, как зеленая, глупая девчонка, которая не понимает, что́ с ней творится; она знала, она наслаждалась волновавшим ее сладостным чувством, не боялась его и не стыдилась, будучи убеждена, что оно не только невинно, но и похвально.

И надо сказать правду: благоразумная страсть, которую женщина в этом возрасте чувствует к мужчине, во всех отношениях разнится от пустой детской любви девочки к мальчику, которая часто обращена только на внешность и на вещи ничтожные и преходящие, как, например, на румяные щеки, маленькие белые руки, черные, как смородина, глаза, волнистые локоны, покрытый нежным пушком подбородок, стройную талию и даже подчас на прелести еще более суетные и вовсе не принадлежащие к личности любимого, каковы чисто внешние украшения, которыми он обязан не природе, а портному, парикмахеру, шляпному мастеру и торговцу модными товарами. Такой страсти можно устыдиться, и не удивительно, что девочка обыкновенно не признается в ней ни себе, ни другим.

Любовь мисс Бриджет была иного рода. По части своего туалета капитан ничем не был обязан искусству моды, и природа не наградила его красотой. Иными словами, и одежда и наружность его были таковы, что, появившись в обществе или в гостиной, они сделались бы предметом презрения и насмешек всех изысканных дам. Костюм его был, правда, опрятен, но прост, неизящен, мешковат и старомоден. А что касается наружности, то мы уже дали ее точное описание. Щеки его не только не были румяны, но вообще невозможно было разобрать, какого они цвета, потому что до самых глаз заросли густой черной бородой. Талия, руки и ноги его были, правда, вполне пропорциональны, но по своей массивности скорее под стать дюжему пахарю, чем дворянину; плечи непомерной ширины и икры толще, чем у носильщика портшеза. Словом, вся его внешность лишена была того изящества и красоты, которые составляют прямую противоположность неуклюжей силе и так выгодно отличают наших светских джентльменов, обязанных ими отчасти благородной крови их предков, составленной из пряных соусов и отборных вин, и отчасти раннему городскому воспитанию.

Хотя мисс Бриджет была женщина весьма разборчивая, но чары капитанского обращения заставили ее совершенно пренебречь недостатками его внешности. Она полагала — и, может быть, очень мудро,— что узнает с капитаном больше приятных минут, чем с иным, гораздо красивейшим мужчиной, и пожертвовала утехой очей, чтобы обеспечить себе более существенное удовольствие.

Едва только капитан заметил страсть мисс Бриджет, проявив в этом открытии необыкновенную проницательность, как тотчас же честно ответил ей взаимностью. Почтенная дама могла похвастать красотой не больше своего поклонника. Я попробовал бы нарисовать ее портрет, если бы это уже не было сделано более искусным мастером, самим мистером Хогартом, которому она позировала несколько лет тому назад; недавно джентльмен этот сделал ее особу достоянием публики на гравюре, изображающей зимнее утро, которого она была недурной эмблемой; там ее можно видеть идущей (так она изображена на гравюре) в Ковент-Гарденскую церковь с заморышем-пажом, несущим за ней молитвенник.

Капитан тоже разумно предпочитал преходящим телесным прелестям более существенные утехи, которые сулил ему союз с этой дамой. Он был из числа тех мудрых людей, в глазах которых женская красота является весьма маловажным и поверхностным достоинством или, говоря точнее, которые предпочитают наслаждаться всеми удобствами жизни с уродом, чем терпеть лишения с красавицей. Обладая большим аппетитом и очень неприхотливым вкусом, он полагал, что недурно справится со своей ролью на брачном пиру и без приправы красоты.

Скажем читателю начистоту: капитан с самого своего приезда или, во всяком случае, с той минуты, как брат предложил ему эту партию и задолго до открытия каких-либо лестных для себя симптомов в поведении мисс Бриджет, был уже без памяти влюблен — влюблен в дом и сады мистера Олверти, его земли, сдаваемые в аренду фермы и наследственные владения; ко всем этим предметам капитан загорелся такой пылкой страстью, что, наверное, согласился бы жениться на них, если бы даже ему пришлось взять в придачу Аэндорскую волшебницу.

А так как мистер Олверти объявил доктору, что никогда не женится вторично, так как, далее, сестра была его ближайшей родственницей и доктор выведал, что он намерен отказать все свое имение ее детям, что, впрочем, случилось бы и без его участия, на основании закона, то доктор вместе с братом сочли делом человеколюбия даровать жизнь существу, которое в таком изобилии будет обеспечено всем необходимым для счастья. Вследствие этого

все помыслы братьев сосредоточились на том, как бы снискать благосклонность любезной хозяйки.

Но Фортуна, как нежная мать, часто делающая для своих любимчиков больше, чем они заслуживают или желают, была настолько заботлива к капитану, что, пока он строил планы, каким образом достигнуть своей цели, мисс Бриджет возымела точно такие же желания и, с своей стороны, придумывала, как бы поощрить капитана, но не очень явно, ибо она строго соблюдала все правила приличия. Это ей легко удалось, так как капитан всегда был начеку, и от него не ускользнули ни один взгляд, ни один жест, ни одно слово.

Удовольствие, доставленное капитану любезностью мисс Бриджет, сильно умерялось опасениями насчет мистера Олверти, ибо, несмотря на все бескорыстие последнего, капитан думал, что когда дойдет до дела, то он последует примеру остальных людей и не согласится на брак, столь невыгодный для его сестры в материальном отношении. Какой оракул подсказал ему эту мысль, предоставляю решать читателю; но откуда бы она ни пришла, капитан был в большом затруднении, как ему вести себя, чтобы выказывать свои чувства сестре и в то же время скрывать их от брата. Наконец он решил не пропускать ни одного случая поухаживать за ней наедине, но в присутствии мистера Олверти держаться настороже и быть как можно более сдержанным. Этот план встретил полное одобрение со стороны брата.

Скоро он нашел способ выразить влюбленной свои чувства в самой недвусмысленной форме и получил от нее подобающий ответ — тот ответ, который был дан впервые несколько тысяч лет тому назад и с тех пор, по преданию, переходил от матери к дочери. Если бы потребовалось прибегнуть к латыни, я передал бы его двумя словами: Nolo episcopari[1] — изречение тоже незапамятной давности, но сделанное по другому поводу.

Как бы там ни было, капитан в совершенстве понял свою даму; он вскоре повторил свои домогательства с еще большим жаром и страстностью — и снова, по всем правилам, получил отказ; но, по мере того как желания его делались все нетерпеливее, сопротивление леди, как полагается, все более слабело.

Чтобы не утомлять читателя описанием подряд всех сцен этого сватовства (они хоть и представляют, по мнению одного великого писателя, занимательнейшее событие в жизни действующих лиц, но удручающе тоскливы и скучны для зрителей), скажу лишь, что капитан вел наступление и крепость защищалась по всем

[1] Не желаю быть епископом *(лат.)*.

правилам искусства и, наконец, тоже по всем правилам, сдалась на волю победителя.

Во время этих маневров, занявших почти целый месяц, капитан держался на очень почтительном расстоянии от леди в присутствии ее брата, и чем больше успевал в любви наедине, тем сдержаннее вел себя при других. А что касается мисс Бриджет, то, обеспечив себе поклонника, она стала выказывать к нему в обществе величайшее равнодушие, так что мистеру Олверти надо было обладать проницательностью самого дьявола (или, может быть, еще худшими его качествами), чтобы хоть смутно догадаться о том, что возле него происходит.

## ГЛАВА XII,

*содержащая в себе то, что читатель, может быть, и ожидает найти в ней*

Во всех сговорах, идет ли речь о женитьбе, поединке или других подобных вещах, всегда требуется маленькая предварительная церемония для благополучного завершения дела, если обе стороны питают действительно серьезные намерения. Не обошлось без нее и в настоящем случае, и меньше чем через месяц капитан и его возлюбленная стали мужем и женой.

Самым щекотливым делом было теперь сообщить о случившемся мистеру Олверти. За это взялся доктор.

Однажды, когда Олверти гулял в саду, доктор подошел к нему и, придав своему лицу как можно более расстроенное выражение, сказал очень серьезным тоном:

— Я пришел известить вас, сэр, о деле чрезвычайной важности, но не знаю, как и начать; при одной мысли о нем голова идет кругом!

И он разразился жесточайшей бранью против мужчин и женщин, обвинив первых в том, что они заботятся только о своей собственной выгоде, а вторых в такой приверженности к пороку, что их нельзя без опасения доверить ни одному мужчине.

— Мог ли я предположить,— говорил он,— что столь благоразумная, рассудительная и образованная женщина даст волю неразумной страсти! Мог ли я подумать, что мой брат... Впрочем, зачем я его так называю? Он больше не брат мне!

— Отчего же? — сказал Олверти.— Он все-таки вам брат, так же как и мне.

— Боже мой, сэр! — воскликнул доктор.— Так вам уже известно про это скандальное дело?

— Видите ли, мистер Блайфил,— отвечал ему добрый сквайр,— я всю жизнь держался правила мириться со всем, что случается. Хотя сестра моя гораздо моложе меня, однако она уже в таком возрасте, что сама отвечает за свои поступки. Если бы брат ваш соблазнил ребенка, я еще призадумался бы, прежде чем простить ему; но женщина, которой за тридцать, должна же знать, что́ составит ее счастье. Она вышла замуж за джентльмена, может быть, и не совсем равного ей по состоянию, но если он обладает в ее глазах достоинствами, которые могут возместить этот недостаток, то мне непонятно, почему я должен противиться ее выбору; подобно сестре, я не думаю, чтобы счастье заключалось только в несметном богатстве. Правда, я не раз заявлял, что дам свое согласие почти на всякое предложение, и мог бы поэтому ожидать, что в настоящем случае спросят моего совета; но это вещи чрезвычайно деликатные, и, может быть, сестра не обратилась ко мне просто из стыдливости. А что касается вашего брата, то, право, я на него совсем не сержусь. Он ничем мне не обязан, и, мне кажется, ему вовсе не надо было спрашивать моего согласия, раз сестра моя, как я уже сказал, sui juris[1] и в таком возрасте, что всецело отвечает за свои поступки только перед самой собою.

Доктор упрекнул мистера Олверти в слишком большой снисходительности, повторил свои обвинения против брата и заявил, что с этой минуты не желает больше видеть его и признавать за родственника. Потом он пустился расточать панегирики доброте Олверти, петь похвалы его дружбе и в заключение сказал, что никогда не простит своему брату поступка, благодаря которому он рисковал потерять эту дружбу.

Олверти так отвечал ему:

— Если бы даже я питал какое-нибудь неудовольствие против вашего брата, никогда бы я не перенес этого чувства на человека невинного; но уверяю вас, что я нисколько на него не сердит. Брат ваш кажется мне человеком рассудительным и благородным. Я не осуждаю выбора моей сестры и не сомневаюсь, что она является предметом его искреннего увлечения. Я постоянно считал любовь единственной основой счастья в супружеской жизни, так как она одна способна породить ту высокую и нежную дружбу, которая всегда должна быть скрепой брачного союза; по моему мнению, все браки, заключаемые по другим соображениям, просто преступны; они являются поруганием святого обряда и обыкновенно кончаются раздорами и бедствием. Ведь обращать священнейший институт брака в средство удовлетворения сластолюбия и корыстолюбия — поистине значит подвергать его поруганию; а

[1] Полноправна *(лат.)*.

можно ли определить иначе все эти союзы, заключаемые людьми единственно ради красивой внешности или крупного состояния?

Отрицать, что красота приятное зрелище для глаза и даже достойна некоторого восхищения, было бы несправедливо и глупо. Эпитет «прекрасный» часто употребляется в Священном писании, и всегда в возвышенном смысле. Мне самому выпало счастье жениться на женщине, которую свет считал красивой, и, должен признаться, я любил ее за это еще больше. Но делать красоту единственным побуждением к браку, прельщаться ею до такой степени, чтобы проглядеть из-за нее все недостатки, или требовать ее так безусловно, чтобы отвергать и презирать в человеке набожность, добродетель и ум — то есть качества по природе своей гораздо более высокие — только потому, что он не обладает изяществом внешних форм,— это, конечно, несообразно с достоинством мудрого человека и доброго христианина. И было бы слишком большой снисходительностью предполагать, что такие люди, вступая в брак, заботятся о чем-нибудь ином, кроме угождения плотской похоти; а брак, как мы знаем, установлен не для этого.

Перейдем теперь к богатству. Светская мудрость требует, конечно, до некоторой степени принимать его в расчет, и я не стану всецело и безусловно это осуждать. Свет так устроен, что семейная жизнь и заботы о потомстве требуют некоторого внимания к тому, что мы называем достатком. Но требование это сильно преувеличивают по сравнению с действительной необходимостью: безрассудство и тщеславие создают гораздо больше потребностей, чем природа. Наряды для жены и крупные средства для каждого из детей обыкновенно считаются чем-то совершенно необходимым, и ради приобретения этих благ люди пренебрегают и жертвуют благами действительно существенными и сладостными — добродетелью и религией.

Тут бывают разные степени; крайнюю из них можно едва отличить от умопомешательства: я разумею те случаи, когда люди, владеющие несметными богатствами, связывают себя брачными узами с людьми, к которым питают, и не могут не питать, отвращение,— с глупцами и негодяями,— для того чтобы увеличить состояние, и без того уже слишком крупное для удовлетворения всех их прихотей. Конечно, такие люди, если они не хотят, чтобы их сочли сумасшедшими, должны признать, что они либо не способны наслаждаться утехами нежной дружбы, либо приносят величайшее счастье, какое только могли бы испытать, в жертву суетным, переменчивым и бессмысленным законам светского мнения, которые обязаны своей властью и своим возникновением одной только глупости.

Такими словами заключил Олверти свою речь, которую Блайфил выслушал с глубочайшим вниманием, хотя ему стоило немалых усилий парализовать некоторое движение своих лицевых мускулов. Он принялся расхваливать каждый период этой речи с жаром молодого священника, удостоенного чести обедать с епископом в тот день, когда его преосвященство проповедовал с церковной кафедры.

## ГЛАВА XIII,

*завершающая первую книгу и содержащая в себе пример неблагодарности, которая, мы надеемся, покажется читателю противоестественной*

На основании рассказанного читатель сам может догадаться, что примирение (если только это можно назвать примирением) было делом простой формальности; поэтому мы его опустим и поскорее перейдем к вещам, несомненно, более существенным.

Доктор передал брату разговор свой с мистером Олверти и прибавил с улыбкой:

— Ну, знаешь, я тебя не пощадил! Я решительно настаивал, что ты не заслуживаешь прощения: после того как наш добрый хозяин отозвался о тебе с благосклонностью, на это можно было решиться совершенно безопасно, и я хотел, как в твоих интересах, так и в своих собственных, предотвратить малейшую возможность подозрения.

Капитан Блайфил не обратил никакого внимания на эти слова, но впоследствии использовал их весьма примечательно.

Одна из заповедей дьявола, оставленных им своим ученикам во время последнего посещения земли, гласит: взобравшись на высоту, выталкивай из-под ног табуретку. В переводе на общепонятный язык это означает: составивши себе счастье с помощью добрых услуг друга, отделывайся от него как можно скорее.

Руководился ли капитан этим правилом, не берусь утверждать с достоверностью; несомненно только, что его поступки прекрасно согласовались с дьявольским советом и с большим трудом могут быть объяснены какими-нибудь иными мотивами, ибо не успел он завладеть мисс Бриджет и примириться с Олверти, как начал проявлять холодность в обращении с братом, которая с каждым днем все возрастала и превратилась, наконец, в грубость, бросавшуюся в глаза всем окружающим.

Как-то наедине доктор стал горько выговаривать ему за такое поведение, но в ответ добился только следующего недвусмысленного заявления:

— Если вам не нравится что-нибудь в доме моего шурина, милостивый государь, то никто вам не мешает его покинуть.

Эта странная, жестокая и почти непостижимая неблагодарность со стороны капитана была чрезвычайно тяжелым ударом для бедного доктора, ибо никогда неблагодарность не ранит в такой степени человеческое сердце, как в том случае, когда она исходит от людей, ради которых мы решились на неблаговидный поступок. Мысль о добрых и благородных делах, как бы их ни принимал и как бы за них ни отплачивал человек, для пользы которого они совершены, всегда содержит в себе нечто для нас утешительное. Но где нам найти утешение в случае такого жестокого удара, как неблагодарность друга, если в то же время потревоженная совесть колет нам глаза и упрекает, зачем мы замарали себя услугой такому недостойному человеку?

Сам мистер Олверти вступился перед капитаном за доктора и пожелал узнать, в чем он провинился. Жестокосердый негодяй имел низость ответить на это, что он никогда не простит брату попытки повредить ему в мнении великодушного хозяина; по его словам, он выведал это от самого доктора и считает такой бесчеловечностью, которую простить невозможно.

Олверти стал сурово порицать капитана, назвав его поведение недостойным. Он с таким негодованием обрушился на злопамятность, что капитан в конце концов притворился убежденным его доводами и сделал вид, что примирился с братом.

Что же касается новобрачной, то она проводила еще медовый месяц и так страстно была влюблена в своего свежеиспеченного мужа, что не могла себе представить его неправым, и его неприязнь к кому-либо была для нее достаточным основанием, чтобы самой относиться к этому человеку неприязненно.

Капитан, как мы сказали, сделал вид, что примирился с братом по настоянию мистера Олверти, но в сердце его осталась затаенная обида, и он так часто пользовался случаем выказывать брату с глазу на глаз свои чувства, что пребывание в доме мистера Олверти под конец стало для бедного доктора невыносимо; он предпочел лучше терпеть всякого рода неудобства, скитаясь по свету, чем сносить долее жестокие и бессердечные оскорбления от брата, для которого сделал так много.

Однажды он собрался было рассказать все Олверти, но не решился на это признание, потому что значительную часть вины ему пришлось бы взять на себя. Кроме того, чем более он очернил бы брата, тем более тяжким показался бы Олверти его собственный проступок и тем сильнее было бы, как он имел основание предполагать, негодование сквайра.

Он придумал поэтому какой-то предлог для отъезда, пообещав, что скоро вернется. Братья простились с такой искусно разыгранной сердечностью, что Олверти остался совершенно уверен в искренности их примирения.

Доктор отправился прямо в Лондон, где вскоре после этого и умер от огорчения — недуга, который убивает людей гораздо чаще, чем принято думать; этот недуг занял бы более почетное место в таблицах смертности, если бы не отличался от всех прочих болезней тем, что ни один врач не может его вылечить.

После прилежнейшего изучения прежней жизни обоих братьев я нахожу теперь, помимо упомянутого выше гнусного правила дьявольской политики, еще и другой мотив поведения капитана. Капитан, в дополнение к уже сказанному, был человек очень гордый и строптивый и всегда обращался со своим братом, человеком иного склада, совершенно чуждого этих качеств, крайне высокомерно. Между тем доктор был гораздо образованнее и, по мнению многих, умнее брата. Капитан это знал и не мог снести, ибо хотя зависть вообще страсть весьма зловредная, однако она становится еще гораздо злее, когда к ней примешивается презрение; а если к этим двум чувствам прибавить еще сознание обязанности по отношению к презираемому, то, я боюсь, что суммой этих трех слагаемых окажется не благодарность, а гнев.

# КНИГА ВТОРАЯ,

ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ СЦЕНЫ СУПРУЖЕСКОГО СЧАСТЬЯ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ КАПИТАНА БЛАЙФИЛА НА МИСС БРИДЖЕТ ОЛВЕРТИ

## ГЛАВА I,

*показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа*

Хотя мы довольно справедливо назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием и не апологией чьей-либо жизни, как теперь в обычае, но намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому плодовитому историку, который для сохранения равномерности своих выпусков считает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет ее на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы.

Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая — есть ли новости или нет — всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой, которая — полная ли она или пустая — постоянно совершает один и тот же путь. Автор их считает себя обязанным идти в ногу с временем и писать под его диктовку; подобно своему господину — времени, он передвигается с ним по столетиям монашеского тупоумия, когда мир пребывал точно в спячке, столь же неторопливо, как и по блестящей, полной жизни эпохе, так великолепно обрисованной прекрасным латинским поэтом:

Ad confligendum venientibus undique Poenis,
Omnia cum belli trepido concussa tumultu
Horrida contremuere sub altis aetheris oris,
In dubioque fuere utrorum ad regna cadendum
Omnibus humanis esset terraque marique.

То есть:

При нападении войск отовсюду стекавшихся пунов,
В те времена, когда мир, потрясаемый громом сражений,
Весь трепетал и дрожал под высокими сводами неба,
И сомневалися все человеки, какому народу
Выпадут власть над людьми и господство на суше и море.

Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена (а мы рассчитываем, что это будет случаться нередко), мы не пожалеем ни трудов, ни бумаги на подробное ее описание читателю; но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным, оставив такие периоды совершенно неисследованными.

Эти периоды надо рассматривать как пустышки в великой лотерее времени, и мы, ее протоколисты, последуем примеру тех рассудительных господ, которые обслуживают лотерею, устраиваемую в Гильдхолле, и никогда не беспокоят публику объявлением многочисленных пустых номеров; но как только выпадет крупный выигрыш, газеты мгновенно наполняются этой новостью, и всему свету сообщается, в чьей конторе был куплен счастливый билет; обыкновенно даже на честь обладания им притязают два или три учреждения сразу, желая, должно быть, убедить искателей счастья, что некоторые комиссионеры посвящены в таинства Фортуны и состоят ее приближенными советниками.

Пусть же не удивляется читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы — главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы,— если, словом, моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперед. Я не считаю себя обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим судилищем: я творец новой области в литературе и, следовательно, волен дать ей какие угодно законы. И читатели, которых я считаю моими подданными, обязаны верить им и повиноваться; а чтобы они делали это весело и охотно, я ручаюсь им, что во всех своих мероприятиях буду считаться главным образом с их довольством и выгодой; ибо я не смотрю на них, подобно тирану, jure divino[1], как на своих рабов или свою собственность. Я поставлен над ними только для их блага, я сотворен для них, а не они для меня. И я не сомневаюсь, что, сделав их интерес главной заботой своих сочинений, я встречу у них единодушную поддержку моему достоинству и получу от них все почести, каких заслуживаю или желаю.

[1] По божественному праву *(лат.)*.

## ГЛАВА II

*Библейские тексты, возбраняющие слишком большую благосклонность к незаконным детям, и великое открытие, сделанное миссис Деборой Вилкинс*

Через восемь месяцев после отпразднования свадьбы капитана Блайфила и мисс Бриджет Олверти — дамы прекрасной собой, богатой и достойной,— миссис Бриджет, по случаю испуга, разрешилась хорошеньким мальчиком. Младенец был, по всей видимости, вполне развит, только повивальная бабка заметила, что что он родился на месяц раньше положенного срока.

Хотя рождение наследника у любимой сестры очень порадовало мистера Олверти, однако оно нисколько не охладило его привязанности к найденышу, которого он был крестным отцом, которому дал свое имя Томас и которого аккуратно навещал, по крайней мере, раз в день, в его детской.

Он предложил сестре воспитывать ее новорожденного сына вместе с маленьким Томми, на что она согласилась, хотя и с некоторой неохотой; ее готовность угождать брату была поистине велика, и потому она всегда обращалась с найденышем ласковее, чем иные дамы строгих правил, подчас неспособные проявить доброту к таким детям, которых, несмотря на их невинность, можно по справедливости назвать живыми памятниками невоздержания.

Но капитан не мог так легко примириться с тем, что он осуждал как ошибку со стороны мистера Олверти. Он неоднократно намекал ему, что усыновлять плоды греха — значит потворствовать греху. В подтверждение он приводил много текстов (ибо был начитан в Священном писании), как, например: «*Карает на детях грехи отцов*», или: «*Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина*», и т. п. Отсюда он доказывал справедливость наказания внебрачных детей за проступок родителей. Он говорил, что хотя закон и не разрешает уничтожать таких детей низкого происхождения, но признает их за ничьих; что церковь рассматривает их как детей, не имеющих родителей; и что в лучшем случае их следует воспитывать для самых низких и презренных должностей в государстве.

Мистер Олверти отвечал на это и на многое, высказанное капитаном по тому же поводу, что, как бы ни были преступны родители, дети их, конечно, невинны; а что касается приведенных текстов, то первый является угрозой, направленной исключительно против евреев за то, что они впали в грех идолопоклонства, покинули и возненавидели своего небесного царя; последний же имеет

иносказательный смысл и скорее указывает несомненные и неминуемые последствия греха, чем имеет в виду определенное осуждение его. Но представлять себе, что всемогущий отмщает чьи-либо грехи на невинном, непристойно и даже кощунственно, равно как и представлять его действующим вопреки основам естественной справедливости и вопреки изначальным понятиям о добре и зле, которые сам же он насадил в наших умах, чтобы с их помощью мы судили не только о предметах, данных нам в опыте, но даже об истинах откровения. Он прибавил, что знает многих, разделяющих мнение капитана по этому поводу, но сам он твердо убежден в противном и будет заботиться об этом бедном ребенке совершенно так же, как о законном сыне, которому выпало бы счастье находиться на его месте.

В то время как капитан при всяком случае пускал в ход эти и подобные им доводы с целью охладить к найденышу мистера Олверти, которого он начал ревновать за доброту к нему, миссис Дебора сделала открытие, грозившее гораздо более роковыми последствиями для бедного Томми, чем все рассуждения капитана.

Привело ли добрую женщину к этому открытию ее ненасытное любопытство, или же она сделала его с намерением упрочить благорасположение к себе миссис Блайфил, которая, несмотря на показную заботливость о найденыше, наедине нередко бранила ребенка, а заодно с ним и брата за привязанность к нему,— этого я не берусь решить; только миссис Дебора была теперь совершенно убеждена, что ей удалось обнаружить отца сиротки.

Так как открытие это чрезвычайно важно, то необходимо подойти к нему исподволь. Поэтому мы самым подробным образом изложим подготовившие его обстоятельства, и с этой целью нам придется разоблачить все тайны одного маленького семейства, еще совершенно незнакомого читателю, в котором существовали такие редкие и диковинные порядки, что, боюсь, они покажутся неправдоподобными многим женатым лицам.

## ГЛАВА III

*Описание домашнего строя, основанного на правилах, диаметрально противоположных аристотелевским*

Пусть читатель благоволит припомнить, что Дженни Джонс, как мы выше сообщали, жила несколько лет у некоего школьного учителя, по настойчивой ее просьбе обучившего ее латыни, в каковой, нужно отдать справедливость ее способностям, она настолько преуспела, что сделалась ученее своего наставника.

Действительно, хотя этот бедняк взялся за дело, необходимо требующее познаний, однако менее всего мог ими похвалиться. Это был добродушнейший человек на свете и в то же время такой мастер по части шуток и юмора, что прослыл за первого остряка в околотке. Все соседние дворяне приглашали его наперебой; и так как он не владел талантом отказывать, то проводил у них много времени, которое с большей пользой мог бы провести у себя в школе.

Совершенно очевидно, что джентльмен с такими познаниями и наклонностями не представлял особенно грозной опасности для учебных заведений в Итоне и Вестминстере. Говоря прямо, все его ученики разделялись на два класса: в старшем сидел сын соседнего сквайра, в семнадцать лет только что добравшийся до синтаксиса, а в младшем — другой сын того же джентльмена, обучавшийся чтению и письму вместе с семью деревенскими мальчиками.

Получаемая за это плата вряд ли позволила бы нашему учителю роскошествовать, если бы обязанности педагога он не совмещал с должностью пономаря и цирюльника и если бы мистер Олверти не выплачивал ему ежегодного пособия в размере десяти фунтов, которое бедняк исправно получал к рождеству и мог, таким образом, повеселить свою душу на святках.

В числе других сокровищ педагог обладал женой, которую взял с кухни мистера Олверти за приданое в двадцать фунтов, прикопленных ею на барской службе.

Эта женщина не отличалась особенной миловидностью. Позировала она моему другу Хогарту или нет, я не берусь сказать, только она как две капли воды похожа была на молодую женщину, наливающую чай своей госпоже, изображенную на третьем листе серии «Путь прелестницы». Она была, кроме того, убежденнейшей последовательницей благородной секты, основанной в древности Ксантиппой, и вследствие этого сделалась большей грозой для школы, чем ее муж, который, сказать правду, в ее присутствии не чувствовал себя хозяином ни в школе, ни где-либо в другом месте.

Наружность ее вообще не говорила о большой нежности нрава, но ее, может быть, еще больше ожесточило обстоятельство, обыкновенно отравляющее семейное счастье. Детей недаром называют залогом любви, а муж ее, несмотря на девять лет супружества, не подарил ей ни одного такого залога — упущение, совершенно для него непростительное ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, ибо ему не исполнилось еще тридцать лет, и был он, что называется, славный малый и весельчак.

Отсюда проистекало другое зло, не менее стеснительное для бедного педагога: супруга ревновала его столь неустанно, что он

не смел заговорить почти ни с одной женщиной в приходе, ибо малейшая вежливость или даже простое обращение к женщине неминуемо навлекали грозу и на него и на соперницу.

Чтобы предохранить себя от супружеской неверности в собственном доме, она всегда старалась, нанимая служанку, выбирать ее из того разряда женщин, наружность которых служит известной порукой их добродетели; к числу их, как уже знает читатель, принадлежала и Дженни Джонс.

Так как лицо этой девушки можно было считать прекрасной порукой упомянутого рода, так как ее поведение всегда отличалось отменной скромностью — верное свидетельство ума в женщине,— то она прожила больше четырех лет у мистера Партриджа (так звали учителя), не возбудив ни малейшего подозрения в своей хозяйке. Больше того: обращение с ней было необыкновенно любезное, и миссис Партридж сама позволила мужу давать ей упомянутые выше уроки.

Но ревность — та же подагра: если эти недуги в крови, никогда нельзя быть уверенным, что они не разразятся вдруг, и часто это случается по ничтожнейшим поводам, когда меньше всего этого ожидаешь.

Так случилось и с миссис Партридж, которая в течение четырех лет позволяла мужу давать уроки молодой девушке и часто прощала ей неисправность в работе, когда она проистекала от прилежного учения. Однажды, зайдя в классную, миссис Партридж застала девушку за книгой, а учителя наклонившимся над ней; не знаю, по какой причине, Дженни вдруг вскочила со стула,— и это впервые заронило подозрение в душу ее хозяйки.

Однако в ту минуту оно не проявилось наружу, а залегло в сердце, как неприятель в засаде, ждущий подкрепления, чтобы выйти в открытое поле и приступить к военным действиям. Такое подкрепление вскоре и подоспело на подмогу ее подозрительности. Немного времени спустя, за супружеским обедом, хозяин сказал служанке: «Da mihi aliquid potum»[1]. Бедная девушка улыбнулась в ответ — может быть, плохой латыни, а когда хозяйка вскинула на нее очи, покраснела — вероятно, от конфуза, что посмеялась над хозяином. Миссис Партридж мгновенно пришла в бешенство и пустила тарелкой в бедную Дженни, закричав:

— Ах ты, бесстыдница!.. Перемигиваться при мне с моим мужем?

И с этими словами она сорвалась со стула с ножом в руках, который, по всей вероятности, послужил бы ей орудием трагической мести, если бы Дженни не стояла, по счастью, ближе к две-

[1] Дай мне чего-нибудь выпить *(лат.)*.

ри и не спаслась бегством от разъяренной хозяйки. Что же касается бедного мужа, то удивление лишило его способности двигаться, или же (что весьма вероятно) страх удержал от всякой попытки к сопротивлению, только он остался на месте, выпучив глаза и дрожа всем телом; так он просидел, не шевелясь и не произнося ни одного слова, пока возвращение жены, пустившейся в погоню за Дженни, не заставило его принять необходимые меры для собственной безопасности, и он вынужден был, в свою очередь, по примеру служанки, обратиться в бегство.

Эта добрая женщина, не больше чем Отелло, была расположена

...ревностию жить
И прибыль каждую луны и убыль
Встречать все новым подозреньем...

Для нее, как и для мавра,—

...сомненье
С решимостью бывало неразлучно,—

и поэтому она приказала Дженни сию же минуту складывать свои пожитки и убираться вон, не допуская мысли, чтобы девушка провела еще хоть одну ночь в ее доме.

Мистер Партридж был слишком научен опытом не вмешиваться в дела такого рода. Ему осталось только прибегнуть к обычному своему рецепту терпения, ибо, не будучи большим знатоком латыни, он все же помнил и хорошо понимал совет, заключающийся в словах:

...leve fit, quod bene fertur onus...—

то есть: «груз делается легким, когда несешь его с уменьем». Это правило он всегда держал на языке и, сказать правду, часто имел случай убедиться в его истине.

Дженни попробовала было торжественно поклясться, что ни в чем не повинна, но буря была слишком сильна, и девушку не стали слушать. Волей-неволей ей пришлось заняться укладыванием своего добра, которое уместилось в нескольких листках оберточной бумаги, и Дженни, получив свое скудное жалованье, вернулась домой.

Учитель и супруга его провели этот вечер довольно невесело; но ночью что-то такое случилось, отчего к утру бешенство миссис Партридж немного поутихло; в конце концов она дозволила мужу принести ей извинения, которым поверила тем охотнее, что учитель не стал просить о возвращении Дженни, а, напротив, был очень доволен тем, что она уволена, заметив, что служанка она

теперь бесполезная, так как вечно сидит за книгами, да еще сделалась дерзкой и упрямой. Действительно, в последнее время она часто вступала со своим наставником в литературные споры, сделавшись, как уже было сказано, гораздо ученее этого наставника. Он, однако, ни за что не хотел это признать и, приписав приверженность Дженни правильным взглядам ее упрямству, возненавидел ее с немалым ожесточением.

## ГЛАВА IV,

*содержащая описание одной из кровопролитнейших битв, или, вернее, поединков, какие известны в хрониках семейной жизни*

По причинам, указанным в предыдущей главе, и вследствие некоторых других супружеских уступок, хорошо известных большинству мужей, но, подобно масонским тайнам, не подлежащих разглашению среди не-членов этого почтенного братства, миссис Партридж вполне убедилась в несправедливости своих подозрений насчет мужа и постаралась загладить свою ошибку ласковостью. Страсти ее были одинаково бурными, какое бы направление они ни принимали: если гнев ее не знал меры, то не было пределов и ее нежности.

Хотя эти страсти обыкновенно чередовались между собой и педагогу редко выпадали сутки, когда он не испытывал бы на себе в некоторой степени и той и другой, однако в исключительных случаях, когда гнев бушевал слишком сильно, послабление бывало более продолжительным. Так дело обстояло и теперь: по окончании припадка ревности миссис Партридж пребывала в состоянии благосклонности гораздо дольше, чем это случалось с ней когда-либо раньше, и не будь некоторых маленьких упражнений, которые всем последовательницам Ксантиппы приходится проделывать ежедневно, мистер Партридж в течение нескольких месяцев наслаждался бы безмятежным спокойствием.

Полная тишина на море считается опытными моряками предвестницей бури, и я знаю людей, которые, будучи вовсе не суеверны, склоняются к мысли, что долгий и необыкновенный мир всегда сменяется распрями. По этой причине древние в таких случаях приносили жертвы Немезиде — богине, взирающей, по их мнению, завистливым оком на людское счастье и находящей особенное наслаждение разрушать его.

Будучи весьма далеки от веры в эту языческую богиню и не желая поощрять никаких суеверий, мы были бы рады, если бы мистер Джон Фр... или другой подобный ему философ потрудился

бы немного над отысканием истинной причины этих внезапных переходов от благополучия к несчастью, так часто наблюдающихся в жизни. Мы тоже приведем такой пример, ибо наше дело излагать факты, а рассуждать о причинах предоставим умам более высокого полета.

Люди всегда находили большое удовольствие в том, чтобы разузнавать чужие дела и толковать о них. Вследствие этого во все времена и у всех народов существовали особые места для общественных сборищ, где любопытные могли встречаться и удовлетворять свое любопытство. Среди них цирюльни по справедливости занимали выдающееся место. «Новости цирюльни» вошли у греков в пословицу, а Гораций в одном из своих посланий делает и о римских цирюльниках почетное упоминание в этом смысле.

Английские брадобреи ничуть не уступают своим греческим и римским предшественникам. Иностранные дела обсуждаются у них почти с таким же важным видом, как и в кофейнях, а события отечественные — гораздо пространнее и непринужденнее. Но эти заведения служат только для мужчин; а так как и наши соотечественницы, особенно из низших классов, любят собраться и потолковать гораздо больше всех иноплеменниц, то английский общественный строй обладал бы большим недочетом, если бы и они не располагали таким местом, где могли бы удовлетворять свое любопытство, принимая во внимание, что в этом качестве слабый пол ничуть не уступает сильной половине человеческого рода.

Итак, в отношении места, где они могли бы собираться, британских дам нужно считать счастливее их иноплеменных сестер, ибо, насколько я припоминаю, мне не случалось ни читать в истории, ни наблюдать во время путешествий ничего подобного.

Означенное место является не чем иным, как мелочной лавкой; там можно узнать все новости; в каждом английском приходе там собираются кумушки, вульгарно выражаясь, посплетничать.

Попав однажды в такое сборище женщин, миссис Партридж была спрошена одной из своих соседок, не слышала ли она чего-нибудь новенького о Дженни Джонс. На ее отрицательный ответ спрашивавшая заметила с улыбкой, что приход очень обязан миссис Партридж за то, что она выгнала вон Дженни.

Миссис Партридж, как известно читателю, уже давно излечившаяся от ревности и не имевшая других поводов к неудовольствию на свою служанку, развязно отвечала, что не понимает, за что тут быть обязанным: ведь другой такой девушки, как Дженни, пожалуй, и нет в приходе.

— Будем надеяться, что нет,— сказала кумушка,— хоть и довольно у нас всякой дряни. Так вы, видно, не слышали, что

она разрешилась двойней? Впрочем, она родила их не здесь, поэтому муж мой и другой наш надзиратель за призреваемыми говорят, что мы не обязаны их воспитывать.

— Двойней! — с жаром воскликнула миссис Партридж.— Вы меня огорошили! Не знаю, обязаны ли мы их воспитывать, но я уверена, что они произведены здесь: ведь нет еще девяти месяцев, как девчонка ушла отсюда.

Ничто не может сравниться с быстротой и внезапностью операций ума, особенно когда его приводит в действие ревность со своими помощницами — надеждой и страхом. Миссис Партридж мигом припомнила, что, живя в ее доме, Дженни почти никуда не отлучалась. Наклонившийся над стулом муж, быстрота, с какой девушка вскочила с места, латынь, улыбка и многие другие вещи разом пришли ей в голову. Удовольствие мужа по случаю ухода Дженни показалось ей теперь притворным и в то же время искренним, проистекавшим от пресыщения и сотни других дурных причин, что только пуще разогревало ее ревность. Словом, теперь она была уверена в виновности своего мужа и немедленно, в большой тревоге, покинула собрание.

Хотя домашняя кошка — и младшая в кошачьей породе, но она по свирепости не уступает старшим линиям своего семейства и, будучи гораздо слабее благородного тигра, равняется с ним в кровожадности; когда маленькая, измученная ею для забавы мышь на время ускользает от ее когтей, она беснуется, мяукает, ворчит, брюзжит и, если отодвинуть ящик или сундук, за которым спряталась мышка, как молния бросается на свою добычу и с дикой яростью кусает, царапает, мнет и терзает бедного зверька.

С не меньшим бешенством ринулась миссис Партридж на бедного педагога, обрушив на него сразу и язык, и зубы, и руки. Парик мгновенно был сорван с его головы, рубашка — с плеч, и по лицу несчастного потекли пять кровавых ручьев — по числу когтей, которыми природа, по несчастью, вооружила неприятеля.

Мистер Партридж придерживался некоторое время чисто оборонительной тактики, стараясь только прикрыть руками лицо; но, видя, что ярость противника не утихает, он рассудил, что вправе наконец попробовать обезоружить его, то есть придержать его руки. В последовавшей схватке чепчик слетел с головы миссис Партридж, короткие, не достававшие до плеч волосы встали дыбом, корсет, зашнурованный только на одну нижнюю петлю, расстегнулся, и груди, гораздо более обильные, чем волосы, свесились ниже пояса; лицо ее было запачкано кровью мужа, зубы скрежетали от бешенства, и глаза метали огонь, как из кузнечного горна. Словом, эта воинственная амазонка привела бы в трепет и человека похрабрее мистера Партриджа.

Наконец бедняге посчастливилось овладеть ее руками и лишить таким образом оружия, которое она носила на кончиках пальцев; как только это случилось, так тотчас мягкость, свойственная ее полу, взяла в ней верх над бешенством: в ту же минуту она залилась слезами, а слезы кончились обмороком.

Небольшая доля самообладания, еще остававшаяся у мистера Партриджа во время этой дикой сцены, причины которой ему были непонятны, теперь окончательно покинула его. Он опрометью выбежал на улицу с криком, что жена его при смерти, и умолял соседей поспешить поскорее к ней на помощь. Несколько добрых женщин вняли его мольбам, вошли в дом и, употребив обычные в таких случаях средства, привели в конце концов миссис Партридж в чувство, к великой радости ее мужа.

Едва только супруга, выпив успокоительного, немного пришла в себя, как начала выкладывать присутствующим многочисленные оскорбления, нанесенные ей мужем; изменник, жаловалась она, не только оскорбил ее супружеское ложе, но еще и обошелся с ней самым бесчеловечным образом, когда она его за это упрекнула: сорвал с нее чепчик и корсет, оттаскал за волосы да вдобавок отколотил так, что знаки от побоев она унесет с собой в могилу.

Бедный муж, носивший на лице гораздо явственнейшие следы супружеского гнева, онемел от изумления при этом обвинении, столь мало согласном, как, надеюсь, засвидетельствует читатель, с истиной: ведь он ни разу не ударил ее. Его молчание было истолковано собравшимися женщинами как публичное признание, и все они разом стали, a una voce[1], упрекать и бранить его, приговаривая, что только подлецы способны бить женщину.

Мистер Партридж сносил все это терпеливо; но когда жена призвала кровь на лице своем в свидетели его бесчеловечности, он не выдержал и заявил о своих правах на эту кровь, которая действительно принадлежала ему; бедняге показалось слишком противоестественным, чтобы она восстала мстительницей против него, как кровь убитого против убийцы.

Женщины ответили только: как жаль, что это кровь из его лица, а не из самого сердца, и объявили в один голос, что, если их мужья посмеют поднять на них руку, они выпустят им всю кровь из жил.

После многих замечаний по поводу случившегося и множества добрых советов мистеру Партриджу насчет его будущего поведения общество наконец разошлось, оставив мужа наедине с женой, из беседы с которой мистер Партридж скоро узнал причину своих страданий.

---

[1] В один голос *(итал.)*.

## ГЛАВА V,

*в которой читателю есть что обсудить и над чем поразмыслить*

Я считаю справедливым замечание, что тайна редко бывает достоянием только одного лица; но было бы почти чудом, если бы происшествие, подобное описанному, сделавшись известным целому приходу, не получило дальнейшей огласки.

И действительно, не прошло и нескольких дней, как во всем околотке, употребляя образное выражение, затрезвонили о зверском избиении жены учителем из Литтл-Бадингтона. В иных местах передавали даже, что он ее убил, в других — что он переломал ей руки, в третьих — ноги. Словом, послушать эти толки, так миссис Партридж получила от мужа едва ли не все увечья, какие только можно нанести человеческому телу.

О причине этой ссоры рассказывали тоже различно; если, по словам некоторых, миссис Партридж застала мужа в кровати со служанкой, то ходили и совсем другие слухи. Некоторые переносили даже вину на супругу, а ревность приписывали мужу.

Миссис Вилкинс давно уже слышала об этой ссоре; но так как до слуха ее дошла версия, далекая от истины, то она сочла благоразумным молчать о ней,— главным образом потому, может быть, что все порицали мистера Партриджа; между тем его жена, еще будучи служанкой у мистера Олверти, чем-то оскорбила миссис Вилкинс, которая была не очень расположена прощать подобные вещи.

Но миссис Вилкинс обладала острым зрением и заглядывала на несколько лет вперед; она чувствовала, что со временем ее хозяином, по всей вероятности, станет капитан Блайфил. Видя же его нерасположение к найденышу, она вообразила, что окажет капитану приятную услугу, если ей удастся сделать какие-нибудь открытия, способные охладить привязанность мистера Олверти к этому ребенку, доставлявшую настолько явное неудовольствие капитану, что он не мог его скрывать даже в присутствии самого Олверти, хотя миссис Блайфил, игравшая свою роль при посторонних гораздо искуснее, часто ставила в пример мужу свое угождение причуде брата, которую, по ее словам, видела и осуждала ничуть не меньше других.

Вот почему миссис Вилкинс, получив случайно, хоть и с большим запозданием, правильные сведения о ссоре учителя с женой, не замедлила разузнать досконально все подробности и доложила капитану, что ей удалось наконец открыть настоящего отца подкидыша; при этом она посетовала на слабость своего хозяина, который, говорила она, только роняет себя в мнении околотка, окружая такой заботливостью незаконного ребенка.

Капитан побранил ее за эти заключительные слова, сказав, что слугам не пристало судить о поступках своих господ. Если бы даже чувство чести и разум позволили ему вступить в союз с миссис Вилкинс, то гордость ни за что бы этого не допустила. И по правде говоря, нет ничего опрометчивее входить в заговор со слугами вашего друга против их хозяина, потому что таким образом вы становитесь рабом этих самых слуг, способных в любую минуту предать вас. Это соображение, должно быть, и удержало капитана Блайфила от излишней откровенности с миссис Вилкинс и не позволило ему поощрить ее критику поступков Олверти.

Однако, не выразив миссис Вилкинс никакого удовольствия по случаю этого открытия, он внутренне немало ему порадовался и решил извлечь из него как можно больше выгоды.

Долго хранил он новость в тайне, надеясь, что мистер Олверти узнает ее от кого-нибудь другого; однако миссис Вилкинс, не то обидевшись на капитана, не то не поняв его тактики и боясь, что ее открытие действительно ему не понравилось, не проронила больше о нем ни слова.

Поразмыслив, я нахожу несколько странным, что домоправительница не поделилась своей новостью с миссис Блайфил, несмотря на то что женщины делятся новостями друг с другом гораздо охотнее, чем с нами. Единственным, как мне кажется, объяснением этой загадки может служить отчужденность, установившаяся с некоторых пор между барыней и экономкой. Может быть, миссис Блайфил была недовольна слишком большим вниманием Вилкинс к найденышу, ибо, стараясь вредить ребенку с целью снискать себе расположение капитана, Дебора в то же время с каждым днем все больше расхваливала его перед Олверти, потому что любовь к нему сквайра с каждым днем возрастала. Это обстоятельство, вопреки всем стараниям экономки выказывать перед миссис Блайфил прямо противоположные чувства, должно быть, оскорбляло щепетильную барыню, положительно возненавидевшую миссис Вилкинс. Хотя она и не отказала ей от должности, может быть, потому, что не могла этого сделать, однако находила множество способов отравлять ей существование. В конце концов это до того озлобило миссис Вилкинс, что, в пику своей барыне, она стала обращаться с маленьким Томми с подчеркнутым уважением и нежностью.

Капитан, видя, что история таким образом, пожалуй, заглохнет, воспользовался наконец удобным случаем и рассказал ее сам.

Однажды зашел у него с мистером Олверти разговор о милосердии; капитан с большим знанием дела доказывал мистеру Олверти, что в Священном писании слово «милосердие» нигде не обозначает благотворительности или щедрости.

— Христианская религия,—говорил он,— установлена для целей более высоких, чем утверждение истин, задолго до нее преподанных многими языческими философами; истины эти, может быть, и достойны названия нравственных добродетелей, но еще весьма далеки от того возвышенного христианского умонастроения, того воспарения мысли, по чистоте своей приближающегося к ангельскому совершенству, которое достигается, выражается и испытывается только силой благодати. Те ближе подошли к смыслу Священного писания,— говорил он,— которые понимают под милосердием чистосердечие, благожелательное мнение о наших братьях и снисходительное суждение об их поступках — добродетель, более высокую и более объемлющую по своей природе, чем жалкое раздавание милостыни, которое, хотя бы мы разорились и пустили по миру свои семьи, никогда не может коснуться многих, тогда как в ином и более истинном значении милосердие может объять все человечество.

— Принимая во внимание,—говорил он,—кто такие были апостолы, нелепо предполагать, будто им было преподано правило щедрости или раздавания милостыни. Но если мы не можем представить себе, чтобы такое правило было преподано божественным нашим учителем людям, которые не могли применить его на деле, то тем более у нас нет оснований думать, чтобы его понимали таким образом те, которые могут применять его и не применяют.

— Но хотя в таких добрых делах,— продолжал он,— боюсь я, и нет большой заслуги, однако должен признать, что они могли бы доставить доброму сердцу большое наслаждение, если бы его не отравляло то обстоятельство, что мы легко подвержены обману и часто оказываем лучшие наши благодеяния недостойным, как, признайтесь, случилось и с вами: этот низкий человек Партридж совсем не заслуживал вашей щедрости. Два-три таких примера должны сильно уменьшить внутреннее удовольствие, которое находит добрый человек в делах благотворительности, и даже внушить ему страх, как бы не оказаться виновным в попустительстве пороку и поощрении людей пропащих; преступление это очень тяжелое и ни в коем случае не может быть оправдано тем, что у нас и в мыслях не было заниматься таким попустительством,— разве только при выборе предметов для нашей благотворительности мы соблюдали сугубую осторожность. Я не сомневаюсь, что это соображение сильно умеряло щедрость многих достойных и благочестивых людей.

Мистер Олверти отвечал капитану, что он не может состязаться с ним в знании греческого языка и потому ничего не может сказать насчет истинного значения слова, переведенного как «милосердие», но он всегда считал, что сущность его состоит в

делах и что подаяние милостыни составляет, по крайней мере, одну ветвь этой добродетели.

Что же касается вопроса о заслуге, то он охотно соглашается с капитаном; ибо какая заслуга в простом исполнении долга? А долг этот, как ни толковать слово «милосердие», достаточно ясно вытекает из всего духа Нового завета. Таким образом, он необходимо предписывается и христианскими законами, и законами самой природы; и при этом исполнение его настолько приятно, что если о каком-нибудь долге можно сказать, что он сам себе награда, то таким долгом является именно благотворение.

— Необходимо, однако, признать,— продолжал он, — что есть один род щедрости (я бы назвал его милосердием), которому действительно присуща некоторая видимость заслуги: именно когда мы из доброжелательности и христианской любви отдаем другому то, в чем сами нуждаемся, когда для облегчения несчастий ближнего соглашаемся часть их взять на себя, отказываясь в его пользу от таких вещей, без которых нам самим очень трудно обойтись. В этом, мне кажется, есть заслуга; а облегчать положение наших братьев только от избытка, быть милосердным (приходится употребить это слово) скорее за счет своей казны, чем себя самих, спасти несколько семейств от нищеты ценой отказа от приобретения редкой картины или удовлетворения иного суетного желания — это значит не больше, чем быть человеком. Я решусь даже сказать: это значит быть в некоторой мере эпикурейцем; ибо может ли величайший эпикуреец пожелать чего-либо большего, как есть многими ртами вместо одного? А так именно, по-моему, следует сказать о человеке, знающем, что многие обязаны хлебом насущным его щедрости.

Что же касается опасности облагодетельствовать человека, который впоследствии может оказаться недостойным, как это нередко случается, то, конечно, она не способна удержать благотворителя от свершения добрых дел. Я не допускаю, чтобы несколько и даже много примеров неблагодарности могли оправдать бесчувственность состоятельного человека к горю ближних, и не верю, чтобы они могли оказать подобное действие на истинно милосердное сердце. Только убеждение во всеобщей порочности могло бы удержать человека отзывчивого; и такое убеждение должно привести его, мне кажется, или к атеизму, или к фанатизму. Однако недопустимо заключать о всеобщей порочности из факта существования небольшого числа порочных лиц, и я уверен, что такого вывода никогда не сделает тот, кто, исследуя собственное сердце, находит в нем явное исключение из этого общего правила.

В заключение мистер Олверти спросил, кто такой этот Партридж, которого капитан назвал низким человеком.

— Я имею в виду,— отвечал капитан,— Партриджа — цирюльника, учителя... и не знаю, кем он еще состоит. Партриджа — отца ребенка, которого вы нашли в своей постели.

Мистер Олверти выразил большое удивление при этом известии, а капитан — не меньшее удивление, что его шурин этого не знал: он сказал, что новость известна ему уже более месяца, и припомнил, правда, с большим трудом, что ее сообщила ему миссис Вилкинс.

Вилкинс была немедленно призвана и после подтверждения ею сказанного капитаном, отправлена мистером Олверти, по совету капитана, в Литтл-Бадингтон—разузнать, правда ли все это, ибо капитан объявил себя противником всякой поспешности в уголовных делах, сказав, что ни в коем случае не желает подсказывать мистеру Олверти решение, неблагоприятное для ребенка или его отца, не удостоверившись предварительно в виновности последнего; хотя сам он втайне был убежден показаниями одного соседа Партриджа, но великодушие не позволило ему сообщать такие улики мистеру Олверти.

## ГЛАВА VI

*Процесс Партриджа, школьного учителя, по обвинению его в распутстве; показание его жены; краткое размышление о мудрости наших законов и много иных важных материй, которые больше всего понравятся людям, наилучшим образом в них смыслящим*

Может показаться удивительным, что такая всем известная история, давшая столько материала для разговоров, не дошла до сих пор до мистера Олверти и что он являлся, должно быть, единственным человеком в околотке, никогда о ней не слышавшим.

Чтобы до некоторой степени объяснить читателю такую странность, я считаю долгом сообщить ему, что никто в целом королевстве не был больше мистера Олверти далек от мысли поступать против учения о милосердии — в том смысле этого слова, как было рассмотрено в предыдущей главе. Действительно, он практиковал эту добродетель и в положительном и в отрицательном ее значении: никто не был более отзывчив к нужде и более готов помочь другому в несчастье, никто не относился деликатнее к чужой репутации и недоверчивее — к разным невыгодным для нее слухам.

Поэтому злословие не имело доступа к его столу. Давно уже замечено, что человека можно узнать по его приятелям; я же беру на себя смелость утверждать, что из разговора за столом знатного человека можно узнать о его религиозности, политиче-

ских убеждениях, вкусах и вообще всех наклонностях; ибо хотя и есть такие чудаки, которые везде будут высказывать свой образ мыслей, но у большинства людей достаточно силен инстинкт угодничества, для того чтобы сообразовать свой разговор со вкусами и наклонностями высших.

Возвратимся, однако, к миссис Вилкинс, которая, несмотря на пятнадцать миль расстояния, исполнила свое поручение чрезвычайно быстро и представила такое убедительное доказательство виновности учителя, что мистер Олверти распорядился послать за преступником и допросить его viva voce[1]. Итак, мистер Партридж был призван явиться лично и оправдаться (если только он может) против возведенных на него обвинений.

В назначенное время предстали пред лицом самого мистера Олверти в зале, называвшемся «Парадиз», как упомянутый Партридж с женой своей Анной, так и миссис Вилкинс, его обвинительница.

Мистер Олверти воссел в судейское кресло, и мистер Партридж был подведен к нему. Выслушав обвинение из уст миссис Вилкинс, последний не признал себя виновным, с большим жаром утверждая, что он совершенно непричастен к этому делу.

Потом была допрошена миссис Партридж; после скромного извинения, что ей приходится говорить правду во вред своему мужу, она рассказала все обстоятельства, уже известные читателю, и в заключение сказала, что муж ей во всем сознался.

Простила она ему или нет, этого я не берусь решить; верно только, что она неохотно выступила свидетельницей против мужа, и есть много оснований предполагать, что ее никогда не заставили бы дать эти показания, если бы миссис Вилкинс еще дома не выведала от нее с большой ловкостью всех подробностей и не пообещала ей от имени мистера Олверти, что наказание мужа не причинит никакого вреда его семейству.

Партридж упорно продолжал отрицать свою виновность, хотя и согласился, что действительно сделал жене упомянутое признание; он оправдывался тем, что был к нему вынужден ее неотступной назойливостью: она поклялась не оставлять его в покое, пока он не признается, так как у нее нет никаких сомнений насчет его виновности, и дала торжественное обещание в случае его признания никогда больше об этом не упоминать. Вот что довело учителя, по его словам, до ложного признания, хотя он и не был виноват; по этим соображениям он готов был признаться хоть в убийстве.

Такого поклепа миссис Партридж не могла снести хладнокровно; не имея в настоящем положении никакого средства, кроме

[1] Устно *(итал.)*.

слез, она прибегла к их помощи, разрыдавшись в три ручья, и сказала (или, вернее, прокричала), обращаясь к мистеру Олверти:

— С позволения вашей милости, ни одна еще женщина на свете не терпела таких оскорблений, как я от этого низкого человека! Это не в первый раз он мне изменяет. Нет, с позволения вашей милости, он оскорблял мое ложе многое множество раз. Я могла бы еще терпеть его пьянство и нерадение по должности, не нарушай он священной заповеди брака. Добро бы, где-нибудь на стороне, что еще куда ни шло, но с моей служанкой, в моем доме, под моей крышей осквернять мое чистое ложе — а, ей-богу, он валялся на нем со своими гнусными, вонючими потаскушками! Да, негодник, ты осквернил мое ложе, осквернил! И смеешь после этого обвинять меня, что я стращала тебя и вынудила к признанию! Ну, скажите, пожалуйста, можно ли поверить, чтоб я его стращала? Все мое тело в синяках от его жестокого обращения. Если бы ты был мужчиной, мерзавец, то постыдился бы так обижать женщину! Но какой же ты мужчина! Ты и не муж мне! Тебе нужно бегать за девками!.. Не отпирайся, когда я говорю! И раз уж он ведет себя так дерзко, то я готова, с позволения вашей милости, присягнуть, что застала их в кровати. Ты забыл, небось, как избил меня до беспамятства и все лицо раскровенил за то, что я мягко укорила тебя в прелюбодействе! Так я могу призвать в свидетели всех моих соседей. Ты до смерти меня обидел, да, да!..

Тут мистер Олверти перебил ее и попросил успокоиться, обещая ей восстановить справедливость; затем обратился к Партриджу, обалдевшему и потерявшему половину рассудка от изумления, половину от страха, и сказал, что ему прискорбно видеть такого падшего человека. Он заявил ему, что это вилянье, эти признания и отпирательства сильно отягчают его вину и что ее могут загладить только откровенное признание и искреннее раскаяние. Поэтому он увещевал его немедленно сознаться в совершенном преступлении и не упорствовать в отрицании того, что так ясно доказано даже его женой.

Здесь, читатель, прошу тебя минуточку потерпеть, пока я воздам справедливую хвалу великой мудрости и прозорливости наших законов, которые не принимают в расчет показаний жены ни за, ни против мужа. Это,—говорит один ученый автор, которого, насколько мне известно, цитировали до сих пор только в юридических сочинениях,— породило бы вечные раздоры между ними и послужило бы поводом многих клятвопреступлений, а также многих побоев, штрафов, заключений в тюрьму, ссылок и повешений.

Партридж стоял некоторое время безмолвный, пока от него не потребовали ответа. Тогда он сказал, что его заявление пра-

вильно, и призвал в свидетели своей невиновности небо и самое Дженни, прося его милость немедленно послать за ней, ибо он не знал — или, по крайней мере, делал вид, что не знает,— об ее отъезде из этой местности.

Врожденная любовь к справедливости в соединении со спокойным характером делала мистера Олверти терпеливейшим из судей и заставляла его выслушивать всех свидетелей, которых обвиняемый мог выставить в свою защиту. Поэтому он согласился отложить окончательный приговор по настоящему делу до приезда Дженни, за которой немедленно отправил нарочного, после чего, посоветовав Партриджу и жене его соблюдать мир (причем обращался преимущественно не к тому лицу, к какому следовало бы), велел им снова явиться к нему через два дня, ибо он выслал Дженни на целый день пути от своего дома.

В назначенное время все стороны собрались, когда вернулся нарочный с донесением, что не мог найти Дженни, так как несколько дней тому назад она покинула свое жилище в обществе одного офицера-вербовщика.

Тогда мистер Олверти заявил, что показание такой распутницы, какой оказывается Дженни, не заслуживает никакого доверия, но что, по его твердому убеждению, если бы она была налицо и сказала бы правду, то, наверное, подтвердила бы факты, достаточно ясно доказанные множеством обстоятельств, в том числе собственным признанием обвиняемого и заявлением жены, что она застала мужа на месте преступления. Поэтому он снова стал увещевать Партриджа сознаться. Но когда тот продолжал утверждать, что он не виновен, мистер Олверти заявил, что теперь у него нет никаких сомнений в виновности учителя и что он считает такого дурного человека недостойным получать от него какое-нибудь вспомоществование. Он лишил его поэтому ежегодного пособия и посоветовал раскаяться для спасения души своей на небе и трудиться для пропитания себя и жены на земле.

Не много, должно быть, найдется людей несчастнее бедного Партриджа. Потеряв большую часть доходов вследствие показания жены, он ею же был попрекаем ежедневно за то, что наряду со многими другими лишил ее и этой милости. Но такова уж была его судьба, и ему пришлось покориться ей.

Хотя я назвал учителя в последнем абзаце «бедным Партриджем», но прошу читателя отнести этот эпитет на счет сострадательности моего сердца, не делая из него никаких заключений насчет невиновности потерпевшего. Был он невиновен или нет, это, может быть, обнаружится впоследствии; но если уж муза истории доверила мне некоторые тайны, я ни за что не стану их разглашать, пока она не даст мне на это позволения.

Итак, пусть читатель сдержит на время свое любопытство. Верно лишь то, что, как бы ни обстояло дело в действительности, у Олверти было более чем достаточно улик для объявления его виновным; любое судебное учреждение удовольствовалось бы и половиной их для постановления об его отцовстве. И все же, несмотря на категоричность утверждений миссис Партридж, которая готова была даже присягнуть, очень может статься, что учитель был совершенно невиноват; ибо, хотя из сопоставления времени отъезда Дженни из Литтл-Бадингтона с временем ее родов ясно было, что она зачала ребенка еще в этом приходе, однако отсюда вовсе не следовало, что Партридж непременно был его отцом. Оставляя в стороне прочие мелочи, скажем только, что в том же самом доме жил малый лет восемнадцати, причем между ним и Дженни существовала достаточная короткость для того, чтобы дать повод к подозрениям; но ревность слепа, и это обстоятельство ни разу не остановило на себе внимания взбешенной супруги.

Раскаялся Партридж благодаря увещаниям мистера Олверти или нет, это не столь ясно. Несомненно только, что жена его искренне раскаивалась в сделанном ею показании, особенно когда убедилась, что миссис Дебора обманула ее и отказалась замолвить за нее слово мистеру Олверти. Несколько больший успех имела она у миссис Блайфил, которая, как заметил, должно быть, читатель, была женщина более добродушная и поэтому любезно взялась ходатайствовать перед братом о восстановлении пособия; впрочем, помимо сердечной доброты, ею руководило и другое сильнейшее и более естественное побуждение, которое выяснится в следующей главе.

Ее ходатайства были, однако, безуспешны. Мистер Олверти хотя и не разделял мнения некоторых новейших писателей, что милосердие заключается в наказании виновных, но был также далек от мысли, что эта высокая добродетель требует прощать тяжких преступников здорово живешь, без всякого основания. Сомнительность факта или какое-нибудь смягчающее вину обстоятельство никогда не оставлялись им без внимания, но просьбы правонарушителя или заступничество других нисколько его не трогали. Словом, он никогда не прощал по той только причине, что наказание приходилось не по вкусу самому виновному или друзьям его.

Партридж и жена его принуждены были покориться своей судьбе; а судьба эта была суровая: учитель не только не удвоил усердия к работе по случаю уменьшения доходов, но в некотором роде предался отчаянию; леность, всегда ему свойственный порок, в нем усилилась, вследствие чего он лишился своей маленькой

школы и остался бы с женою без куска хлеба, если бы не помощь одного доброго христианина, снабдившего его небольшими средствами к существованию.

Так как помощь эта посылалась супругам неизвестной рукой, то они, так же как, вероятно, и читатель, думали, что тайный их благодетель не кто иной, как сам мистер Олверти; не желая открыто покровительствовать пороку, он, возможно, решился втайне помочь самим порочным, когда их бедствия стали несоразмерно жестоки по сравнению с проступком. В таком свете бедственное их положение представилось и самой Фортуне: она сжалилась наконец над несчастной четой и чувствительно облегчила незавидную участь Партриджа, положив конец страданиям его жены, которая вскоре захворала оспой и умерла.

Приговор, произнесенный мистером Олверти над Партриджем, сначала встречен был всеобщим одобрением; но едва только учитель стал испытывать на себе его последствия, как все соседи смягчились и начали жалеть бедняка и порицать, как суровость и жестокость, то, что сперва называли справедливостью. Они бранили судей, хладнокровно выносящих обвинительные приговоры, и пели похвалы милосердию и прощению.

Эти негодующие крики еще более усилились по случаю смерти миссис Партридж. Хотя причиной ее была только что упомянутая болезнь, порождаемая не бедностью и не горем, многие не постыдились приписать ее суровости или, как теперь говорили, жестокости мистера Олверти.

Потеряв жену, школу и пособие и лишившись неизвестного благодетеля, переставшего посылать упомянутую выше помощь, Партридж решил переменить место действия и покинуть деревню, в которой, при всеобщем сострадании соседей, подвергался опасности умереть с голоду.

## ГЛАВА VII

*Беглый набросок наслаждения, которое благоразумные супруги могут извлечь из ненависти, с присовокуплением нескольких слов в защиту людей, смотрящих сквозь пальцы на недостатки своих друзей*

Капитан хотя и сокрушил бедного Партриджа, однако не пожал плодов, на которые надеялся: ему не удалось выжить найденыша из дома мистера Олверти.

Напротив, последний с каждым днем все больше привязывался к маленькому Томми, словно чрезмерной нежностью и ласковостью к сыну хотел загладить суровость к отцу.

Это обстоятельство, наравне с другими ежедневными примерами великодушия мистера Олверти, сильно портило самочувствие капитана, ибо в каждой такой щедрости он видел ущерб своему богатству.

В этом, как мы сказали, он расходился со своей женой, как, впрочем, и во всем другом. Хотя любовь, основанная на рассудке, является, по мнению многих мудрых людей, более прочной, чем любовь, внушенная красотой, но в настоящем случае вышло не так. Как раз взгляды и суждения супругов сделались для них яблоком раздора и главной причиной ссор, от времени до времени возникавших между ними, пока, наконец, супруга не прониклась глубочайшим презрением к мужу, а супруг — безграничным отвращением к жене.

Так как оба они упражняли свои способности главным образом на вопросах богословия, то с первого их знакомства оно и составляло главный предмет их бесед. Капитан, как человек благовоспитанный, до свадьбы всегда уступал своей собеседнице, и притом не неуклюже, как иной самодовольный дурак, который, вежливо преклоняясь перед доводами высшего, желает все же показать, что считает себя правым. Напротив, капитан, хотя и был одним из спесивейших людей на свете, однако признавал свою противницу победительницей так безусловно, что мисс Бриджет, нисколько не сомневавшаяся в его искренности, всегда выносила из диспута удивление перед своим умом и любовь к его уму.

Хотя эта угодливость особе, которую капитан презирал от всей души, была не так тяжела для него, как в том случае, когда, в надежде на повышение в чинах, ему пришлось бы проявить ее по отношению к Годли или другому выдающемуся своей ученостью богослову, но и она обходилась ему слишком дорого, чтобы он мог терпеть ее без особых причин. Поэтому, когда женитьба устранила все такие причины, он стал тяготиться своей уступчивостью и выслушивал мнения жены с тем наглым высокомерием, на какое способны только люди, сами заслуживающие презрения, и какое способны сносить только те, которые его совершенно не заслуживают.

Когда первые потоки нежности иссякли и когда в спокойные и долгие промежутки между приступами страсти рассудок начал раскрывать глаза новобрачной и миссис Блайфил увидела, как изменилось обращение капитана, который под конец на все ее доводы только презрительно фыркал, то она не обнаружила никакого желания сносить оскорбление с кроткой покорностью. В первый раз оно до такой степени взбесило ее, что дело могло бы принять очень трагический оборот, если бы гнев ее не вылился

в более мягкой форме, преисполнив ее глубочайшим презрением к умственным способностям мужа, что несколько умерило ее ненависть к нему, которой, впрочем, она тоже запаслась в немалом количестве.

Ненависть капитана к жене была проще: за недостатки ума и знаний он презирал ее не больше, чем за то, что она не была шести футов росту. В своем суждении о женском поле капитан перещеголял даже брюзгу Аристотеля: он смотрел на женщину, как на домашнее животное, немного поважнее кошки, потому что обязанности ее были несколько значительнее; но разница между ними, в его представлении, была так ничтожна, что при женитьбе на землях и угодьях мистера Олверти ему было почти безразлично, кого из них ему взять за ними в приданое. Все же самолюбие его было чрезмерно, и он болезненно переносил презрение, которое начала теперь проявлять к нему жена; в соединении с любовью, которой она так неумеренно награждала его раньше, это породило в нем гадливость и отвращение, какие редко в ком можно встретить.

Лишь одна ситуация супружеской жизни чужда наслаждению — состояние равнодушия. Но если многим моим читателям известно, надеюсь, как бесконечно приятно бывает угождать любимому человеку, то, боюсь, найдутся и такие, которые изведали удовольствие мучить ненавистного. В этом удовольствии, сдается мне, нужно видеть причину того, что муж и жена часто отказываются от покоя, которым могли бы наслаждаться в браке, как бы ни были они ненавистны друг другу. Вот почему на жену часто находят припадки любви и ревности и она даже отказывает себе во всех удовольствиях, лишь бы разрушить и расстроить удовольствия мужа; а он в отместку подвергает себя всяческим стеснениям и сидит дома в неприятном для себя обществе, чтобы жена оставалась с человеком, которого она тоже терпеть не может. Отсюда также обильные слезы, нередко проливаемые вдовой над прахом мужа, с которым она не имела ни минуты мира и покоя в жизни, но которого теперь ей нельзя будет мучить.

Но ни одна супружеская чета не испытывала этого наслаждения в такой мере, как капитан и его жена. Достаточно было одному из них высказать какое-нибудь мнение, чтобы другой стал упорно отстаивать мнение прямо противоположное. Если один предлагал какое-нибудь развлечение, другой непременно от него отказывался; они никогда не любили и не ненавидели, не хвалили и не бранили одного и того же человека; и вот почему, заметив, что капитан злобно посматривает на найденыша, жена его начала ласкать ребенка не меньше собственного сына.

Читатель легко поймет, что такие отношения между мужем

и женой не слишком содействовали покою мистера Олверти, мало напоминая то безмятежное счастье, которое он мечтал устроить для всех троих при помощи этого брачного союза. Но нужно сказать, что, как он ни обманулся в своих радужных надеждах, все же он далеко не знал всей правды; ибо если у капитана было достаточно оснований держаться настороже в его присутствии, то и жене его приходилось, из боязни навлечь на себя неудовольствие брата, вести себя точно таким же образом. Действительно, третье лицо может быть очень близким и даже долго жить в одном доме с супружеской четой, проявляющей достаточную сдержанность, и нисколько не догадываться о горьких чувствах, питаемых супругами друг к другу. Бывает, конечно, что целого дня мало как для ненависти, так и для любви, однако долгие часы, обыкновенно проводимые вместе, без посторонних свидетелей, доставляют мало-мальски сдержанным супругам столько благоприятных случаев насладиться обеими названными страстями, что они свободно могут выдержать несколько часов в обществе и не миловаться, если они влюблены, или не плевать друг другу в лицо, если они друг друга ненавидят.

Возможно, впрочем, что мистер Олверти видел довольно для того, чтобы ему было немного не по себе; ибо если умный человек не кричит и не жалуется, как ребенок или женщина, то отсюда мы вовсе не должны заключить, что ему не больно. Возможно также, что он видел некоторые недостатки в капитане и оставался к ним совершенно равнодушен, ибо истинно мудрые и добрые люди принимают людей и вещи такими, как они есть, не жалуясь на их несовершенства и не пытаясь их исправить. Они могут видеть недостаток в друге, в родственнике, в знакомом, не говоря об этом ни ему, ни другим, и часто это нисколько не мешает им любить его. Действительно, если бы широкий ум не умерялся подобной снисходительностью, то нам оставалось бы только дружить с глупцами, которых ничего не стоит обмануть; ведь, надеюсь, мои друзья простят мне, если я скажу, что не знаю ни одного из них без недостатков, и мне было бы очень прискорбно, если бы среди моих друзей нашелся такой, который не видел бы их во мне. Оказывая подобную снисходительность, мы требуем, чтобы и другие оказывали ее нам. Это — проявление дружбы, далеко не лишенное приятности. И мы должны быть снисходительны без желания исправлять других. Пожалуй, нет более верного признака глупости, чем старание исправлять естественные слабости тех, кого мы любим. Самая утонченная натура, подобно тончайшему фарфору, может иметь изъян, и в обоих случаях, боюсь, он неисправим, хотя часто нисколько не уменьшает высокой ценности экземпляра.

Итак, мистер Олверти, разумеется, видел некоторые несовершенства в капитане. Но капитан был человек хитрый и всегда держался настороже в его присутствии, так что эти несовершенства казались мистеру Олверти не более как легкими пятнами на прекрасном характере; по доброте своей, он смотрел на них сквозь пальцы и из благоразумия не тыкал ими капитану в глаза. Мнения его сильно изменились, если бы он узнал всю правду, что́. вероятно, и случилось бы со временем, если описанные отношения между супругами установились бы надолго; однако Фортуна решительным образом этому воспротивилась, заставив капитана совершить нечто такое, вследствие чего он снова стал дорог своей жене и вернул себе всю ее любовь и нежность.

## ГЛАВА VIII

*Средство вернуть утраченную любовь жены, всегда действовавшее безошибочно даже в самых отчаянных случаях*

Капитан щедро вознаграждал неприятные минуты, проводимые в разговорах с женой (что он старался делать как можно реже), приятными размышлениями, которым он предавался наедине.

Эти размышления бывали всецело посвящены богатству мистера Олверти. Во-первых, он подолгу высчитывал, как мог, точные его размеры, причем часто открывал способ изменить их в свою пользу; во-вторых, и главным образом, тешил себя придумыванием разных перемен в доме и в садах и многими иными планами по части улучшений в поместье и придания ему большей пышности. С этой целью он принялся изучать архитектуру и садоводство и прочел много книг по этим предметам; эти занятия поглощали все его свободное время и были его единственным развлечением. В конце концов он составил великолепнейший план, и очень жаль, что мы не в силах изложить его читателю, настолько он затмевает по роскоши даже нынешнее время. Действительно, план капитана в сильнейшей степени обладал двумя главными качествами, отличающими все великие и благородные замыслы этого рода: он требовал непомерных издержек для осуществления и очень долгого времени для приведения в сколько-нибудь законченную форму. Что касается издержек, то огромное богатство, которым, по предположению капитана, владел мистер Олверти и которое капитан должен был унаследовать, обещало покрыть их с избытком; а крепкое здоровье и возраст — капитан был человек еще только средних

лет — устраняли всякие опасения, что он не доживет до завершения своего плана.

Одного только недоставало, чтобы приступить к немедленному его выполнению: смерти мистера Олверти; высчитывая его сроки, капитан пускал в ход всю свою алгебру, а кроме того, скупал все книги о продолжительности жизни, об условных наследствах и т. п. Из них он убедился, что смерть может случиться каждый день и через несколько лет последует почти наверное.

Но однажды, когда капитан был погружен в глубокое размышление на эту тему, с ним приключилось весьма несчастное и несвоевременное происшествие. Действительно, коварная Фортуна не могла придумать ничего жесточе, ничего так некстати, ничего гибельнее для всех его планов! Словом,— чтобы не томить больше читателя,— как раз в ту минуту, когда сердце его упивалось размышлениями о счастье, которое ему принесет смерть мистера Олверти, сам он... скончался от апоплексического удара.

К несчастью, это приключилось с капитаном во время одинокой вечерней прогулки, так что никто не мог подать ему помощь, да вряд ли она и спасла бы его. Итак, он отмерил кусок земли, который был теперь достаточен для всех его планов, и лежал мертвый на дорожке, как великое (хотя и не живое) доказательство истины слов Горация:

Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus: et sepulchri
Immemor, struis domos,—

которые я переведу читателю так: «Ты заготовляешь благороднейшие строительные материалы, когда нужны только кирка и заступ, и строишь дом в пятьсот футов длиной и сто шириной, забыв о жилище в шесть футов».

## ГЛАВА IX

*Доказательство безошибочности вышеуказанного средства, явствующее из жалоб вдовы, а также другие аксессуары смерти, вроде врачей и т. п., и эпитафия в подобающем стиле*

Мистер Олверти, сестра его и еще одна дама собрались в обычный час в столовой; они провели в ожидании гораздо больше времени, чем было принято, и мистер Олверти первый заявил, что его начинает беспокоить опоздание капитана (всегда аккуратно являвшегося к столу), и приказал позвонить на дворе, особенно в той стороне, куда капитан обычно ходил гулять.

Когда все эти призывы оказались безуспешными (ибо, по несчастной случайности, капитан отправился в тот вечер совсем по другой дороге), миссис Блайфил объявила, что она серьезно встревожена. Тогда другая дама, принадлежавшая к числу самых близких ее знакомых и хорошо знавшая ее истинные чувства, усердно принялась ее успокаивать, говоря, что, конечно, тревога ее вполне понятна, но ничего худого случиться не могло. Вечер такой прекрасный, что, по всей вероятности, капитан увлекся и зашел дальше обыкновенного, или, может быть, он задержался у кого-нибудь из соседей. Миссис Блайфил отвечала: нет, она уверена, что с ним что-нибудь случилось, он не остался бы в гостях, не приславши сказать ей об этом, так как должен же он знать, что она будет беспокоиться. На это знакомая дама ничего не могла ей возразить и прибегла к обычным в таких случаях уговариваниям, прося ее не пугаться, так как это может дурно отозваться на ее здоровье; в заключение она налила большой бокал вина и уговорила миссис Блайфил выпить.

В это время в столовую вернулся мистер Олверти, самолично отправившийся на розыски капитана. На лице его ясно видно было смятение, в сильной степени отнявшее у него дар речи. Но на разных людей горе действует различно, и те самые опасения, которые лишили его голоса, укрепили голосовые связки миссис Блайфил. Она начала горько жаловаться, сопровождая свои причитания потоком слез. Приятельница ее заявила, что не может ее бранить за эти слезы, но в то же время советовала ей не предаваться горю, пытаясь смягчить скорбь своей подруги философическими замечаниями насчет множества неприятностей, которым ежедневно подвержена человеческая жизнь, что, по ее мнению, является достаточным основанием для того, чтобы укрепить нас против всяких случайностей, как бы ни были они ужасны или внезапны. Она поставила миссис Блайфил в пример терпение ее брата; правда, удар этот для него не может быть так чувствителен, как для нее, но и он, без сомнения, весьма опечален, а между тем удерживает свою скорбь в должных границах покорностью воле божьей.

— Не говорите мне о брате! — воскликнула миссис Блайфил.— Я одна достойна вашего сожаления! Что значит горе друга по сравнению с чувствами жены в таких случаях? Ах, он погиб! Его кто-нибудь убил... Я больше не увижу его!

Тут поток слез произвел на нее то же действие, какое стойкость оказала на мистера Олверти, и она замолчала.

В эту минуту вбежал, задыхаясь, слуга с криком: «Капитана нашли!..» И прежде чем он успел сообщить подробности, за ним вошли еще двое слуг, неся на руках мертвое тело.

Тут любознательный читатель может увидеть другой пример того, как различно действует на людей горе: если мистер Олверти до сих пор молчал по той же причине, по какой сестра его голосила, то вид бесчувственного тела, вызвавший у него слезы, вдруг остановил поток слез миссис Блайфил, которая сначала отчаянно взвизгнула и вслед за тем упала в обморок.

Комната скоро наполнилась слугами, часть которых вместе с гостьей принялась хлопотать над вдовой, а остальные вместе с мистером Олверти помогли перенести капитана в теплую постель, где были испробованы все средства для возвращения ему жизни.

Мы были бы очень рады, если бы могли сообщить читателю, что хлопоты над обоими бесчувственными телами увенчались одинаковым успехом: но в то время как старания привести в чувство миссис Блайфил оказались настолько удачны, что, пролежав приличное время в обмороке, она очнулась, к великому удовольствию окружающих,— все попытки кровопускания, растирания и т. п., примененные к капитану, не привели ни к чему. Смерть, неумолимый судья, произнесла над ним приговор и отказалась отменить его, несмотря на заступничество двух прибывших докторов, тотчас же по приезде получивших плату за совет.

Эти два доктора, которых, во избежание всяких злобных инсинуаций, назовем доктор Y и доктор Z, пощупав пульс,— доктор Y на правой руке и доктор Z на левой,— единогласно объявили, что капитан безусловно мертв, но что касается болезни, явившейся причиной его смерти, то мнения их разошлись: доктор Y полагал, что он умер от апоплексии, а доктор Z — от эпилепсии.

Это подало повод к диспуту между учеными мужами, в котором каждый из них представил доказательства в пользу своего мнения. Доказательства эти оказались настолько равносильными, что лишь укрепили каждого доктора в своих мыслях и не произвели ни малейшего впечатления на противника.

Сказать правду, почти у каждого врача есть своя излюбленная болезнь, которой он приписывает все победы, одержанные над человеческим естеством. Подагра, ревматизм, камни, чахотка — все имеют своих патронов в ученой коллегии, особенно же нервная лихорадка или нервное возбуждение. Этим и объясняются разногласия относительно причины смерти пациента, возникающие иногда среди самых ученых докторов и так сильно удивляющие людей, которые не знают изложенного нами обстоятельства.

Читатель найдет, может быть, странным, что эти ученые господа, вместо того чтобы попытаться вернуть к жизни капи-

тана, немедленно вступили в спор о причине его смерти; но все уже было испробовано еще до их прибытия: капитана уложили в теплую постель, отворили ему кровь, растерли лоб и пустили в рот и в нос все виды крепких капель.

Таким образом врачи, увидя, что все эти средства уже были пущены в ход, затруднялись, чем заполнить время, которое, согласно обычаю и требованиям приличия, полагается провести у постели пациента за полученную плату,— вот им и пришлось придумать какую-нибудь тему для рассуждения; а какая тема могла быть естественнее только что упомянутой?

Наши доктора собрались уже уходить, когда мистер Олверти, оставив капитана и покорившись воле божьей, стал расспрашивать о состоянии здоровья сестры и попросил их перед уходом навестить ее.

Миссис Блайфил уже оправилась после обморока и чувствовала себя настолько сносно, насколько вообще могла себя чувствовать женщина в ее положении. По выполнении всех предварительных церемоний, потому что это был новый пациент, доктора, согласно просьбе мистера Олверти, отправились к больной и завладели обеими ее руками совершенно так же, как раньше проделали это с руками трупа.

Положение леди было прямо противоположно положению ее мужа: тому не могла уже помочь никакая медицина, а она не нуждалась ни в какой помощи.

Нет ничего несправедливее ходячего мнения, которое клевещет на врачей, будто они являются друзьями смерти. Напротив, если сравнить число людей, поставленных на ноги медициной, с числом ее жертв, то, мне кажется, первое окажется более значительным. Иные врачи даже столь щепетильны в этом отношении, что, во избежание возможности убить пациента, воздерживаются от всякого лечения и прописывают только такие лекарства, которые не приносят ни пользы, ни вреда. Мне приходилось слышать, как иные из них с важностью изрекали, что «нужно предоставить природе делать свое дело, а врач должен только стоять рядом и поощрительно похлопывать ее по плечу, когда она хорошо справляется со своей обязанностью».

Наши доктора так мало любили смерть, что оставили в покое труп, удовольствовавшись платой только за один визит; но живой пациент далеко не внушал им такого отвращения; они немедленно пришли к соглашению касательно природы болезни миссис Блайфил и с большим усердием принялись прописывать ей рецепты.

Убедили ли врачи миссис Блайфил в том, что она больна, подобно тому как она сама сначала убедила их в этом, я не берусь решить, только она целый месяц по всем правилам разыгрывала

роль больной. В течение этого времени ее посещали доктора, за ней ухаживали сиделки и знакомые постоянно присылали узнавать о ее здоровье.

Наконец приличный срок для болезни и неутешного горя истек, доктора были отпущены, и миссис Блайфил снова начала появляться в обществе; единственным изменением в ней по сравнению с прежним был траурный цвет ее платья и лица.

Капитана тем временем схоронили, и он, вероятно, уже далеко шагнул бы по дороге к забвению, если бы не дружеские чувства мистера Олверти, который позаботился сохранить память о нем при помощи следующей эпитафии, написанной человеком великого ума и правдивости, знавшим капитана в совершенстве:

Здесь покоится,
в ожидании радостного воскресения,
тело

КАПИТАНА ДЖОНА БЛАЙФИЛА

Лондон
был почтен его рождением,
Оксфорд —
его воспитанием.
Его дарования
сделали честь его званию
и его отечеству,
а жизнь — его религии
и человеческой природе.

Он был почтительный сын,
нежный супруг,
любящий отец,
любезный брат,
искренний друг,
набожный христианин
и добрый человек.

Неутешная вдова его
воздвигла сей камень
в увековечение
его добродетелей
и своей любви.

# КНИГА ТРЕТЬЯ,

ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ДОСТОПАМЯТНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ В СЕМЕЙСТВЕ МИСТЕРА ОЛВЕРТИ С МОМЕНТА, КОГДА ТОММИ ДЖОНСУ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ, И ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. ИЗ ЭТОЙ КНИГИ ЧИТАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫУДИТЬ КОЕ-КАКИЕ МЫСЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

## ГЛАВА I,

*заключающая в себе мало или ничего*

Читатель благоволит припомнить, что в начале второй книги этой истории мы намекнули ему о нашем намерении обходить молчанием обширные периоды времени, если в течение их не случилось ничего, достойного быть занесенным в нашу летопись.

Поступая таким образом, мы заботимся не только о собственной репутации и удобствах, но также о благе и интересах читателя; ведь этим способом мы избавляем его от потери времени, которое уходит на нудное и бесполезное чтение, а кроме того, доставляем ему случай, при всех таких пробелах, изощряться в столь свойственной ему удивительной проницательности, наполняя пустые промежутки времени собственными догадками, материал для которых мы постарались доставить ему на предыдущих страницах.

Например, кто из читателей не сообразит, что мистер Олверти, потеряв друга, испытывал сначала те чувства скорби, какие свойственны в таких случаях всем людям, у которых сердца не каменные и головы не кремневые? Опять-таки какой читатель не догадается, что философия и религия со временем умерили, а потом и вовсе потушили эту скорбь? Философия — показывая безрассудство и тщету ее; а религия — осуждая ее как грех и в

то же время облегчая надеждами и заверениями, позволяющими стойкому и набожному человеку прощаться с другом на его смертном ложе почти с таким же спокойствием, как если бы тот собирался в далекое путешествие, и почти с такой же надеждой увидеться с ним снова.

Сообразительному читателю не будет также стоить большого труда представить себе, что делала миссис Бриджет Блайфил; он может быть уверен, что в течение всего того срока, когда горю подобает проявляться в наружности человека, она строжайше соблюдала все требования обычая и приличий, согласуя выражение лица с изменениями туалета: как платье ее менялось с траурного на черное, с черного на серое, с серого на белое, так и выражение лица переходило от мрачного к скорбному, от скорбного к печальному, от печального к задумчивому, пока не наступил день, когда ей позволено было вернуться к своей прежней безмятежности.

Мы привели эти два примера только в качестве образчика задачи, которую можно предложить читателям низшего разряда. Гораздо более сложных выкладок и более высокой проницательности мы вправе ожидать от умов, более искушенных в области критики. Множество замечательных открытий будет, я не сомневаюсь, сделано таковыми относительно событий, имевших место в семействе нашего почтенного сквайра в течение ряда лет, которые мы решили обойти молчанием; правда, в этот период не случилось ничего, достойного занять место в настоящей истории, но все же бывали разные происшествия того же порядка, какие описываются газетными и журнальными историками нашего времени, на чтение которых множество людей тратит массу времени, с очень малой, боюсь, для себя пользой. Между тем на предлагаемые здесь догадки могут с большой выгодой быть употреблены лучшие способности нашего ума, ибо гораздо полезнее уметь предсказывать поступки людей при тех или иных обстоятельствах на основании их характера, чем судить об их характерах на основании их поступков. Первое, сознаюсь, требует большей проницательности, но может быть произведено острым умом с не меньшей достоверностью, чем последнее.

Так как мы убеждены, что огромное большинство наших читателей в весьма высокой степени одарено этой способностью. то для упражнения ее предоставляем им период в целых двенадцать лет, а сами выведем, наконец, нашего героя уже четырнадцатилетним юношей, не сомневаясь, что многие давно горят нетерпением познакомиться с ним.

## ГЛАВА II

*Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным внимания. Несколько слов об одном сквайре и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе*

Так как, садясь писать эту историю, мы решили никому не льстить, но направлять свое перо исключительно по указаниям истины, то нам приходится вывести нашего героя на сцену в гораздо более неприглядном виде, чем нам хотелось бы, и честно заявить уже при первом его появлении, что, по единогласному мнению всего семейства мистера Олверти, он был рожден для виселицы.

К сожалению, я должен сказать, что оснований для этого мнения было более чем достаточно; молодчик с самых ранних лет обнаруживал тяготение ко множеству пороков, особенно к тому, который прямее прочих ведет к только что упомянутой, пророчески возвещенной ему участи: он уже трижды был уличен в воровстве — именно, в краже фруктов из сада, в похищении утки с фермерского двора и мячика из кармана молодого Блайфила.

Пороки этого юноши представлялись в еще более неблагоприятном свете при сравнении с добродетелями его товарища, молодого Блайфила — мальчика, столь резко отличавшегося от Джонса, что его осыпали похвалами не только родные, но и все соседи. В самом деле, характера паренек был замечательного: рассудительный, скромный и набожный не по летам — качества, стяжавшие ему любовь всех, кто его знал,— тогда как Том Джонс вызывал всеобщую неприязнь, и многие выражали удивление, как это мистер Олверти допускает, чтобы такой озорник воспитывался с его племянником, нравственность которого могла пострадать от дурного примера.

Происшествие, случившееся в это время, представит вдумчивому читателю характеры двух мальчиков гораздо лучше, чем это способно сделать самое длинное рассуждение.

У Тома Джонса, который, как он ни плох, должен служить героем нашей истории, был среди слуг семейства только один приятель; ибо что, касается миссис Вилкинс, то она давно уже его покинула и совершенно примирилась со своей госпожой. Приятель этот был полевой сторож, парень без крепких устоев, понятия которого насчет различия между meum и tuum [1] были

[1] Мое и твое *(лат.)*.

немногим тверже, чем понятия самого молодого джентльмена. Поэтому их дружба давала слугам много поводов к саркастическим замечаниям, бóльшая часть которых была уже и раньше, или, по крайней мере, сделалась теперь, пословицами; соль всех их может быть вмещена в краткое латинское изречение: «Noscitur a socio», которое, мне кажется, может быть переведено так: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты».

Сказать по правде, кое-какие из этих ужасных пороков Джонса, три примера которых мы только что привели, были порождены наущениями приятеля, в двух или трех случаях являвшегося, выражаясь языком юстиции, причастным к делу: вся утка и бóльшая часть яблок пошли на нужды полевого сторожа и его семьи; но так как попался один лишь Джонс, то на долю бедняги досталось не только все наказание, но и весь позор.

Это случилось вот каким образом.

Поместье мистера Олверти примыкало к землям одного из тех джентльменов, которых принято называть покровителями дичи. Люди этой породы так сурово мстят за смерть зайца или куропатки, что можно было подумать, будто они разделяют суеверие индийских банианов, часто посвящающих, как нам рассказывают, всю свою жизнь охране и защите какого-нибудь вида животных,— если бы наши английские банианы, охраняя животных от иных врагов, не истребляли их без всякого милосердия целыми стаями сами и не обеляли себя таким образом от всякой прикосновенности к языческим суевериям.

Я держусь, однако, гораздо лучшего мнения о людях этого сорта, чем иные, так как считаю, что они лучше многих других отвечают порядку Природы и благим целям, для которых они были назначены. Гораций говорит, что есть класс человеческих существ —

Fruges consumere nati,—

«рожденных потреблять плоды земные»,— и я нисколько не сомневаюсь, что есть и другой класс —

Feras consumere nati,—

«рожденных потреблять полевых зверей», или, как их принято называть, дичь. Кто же станет отрицать, что наши сквайры в совершенстве исполняют это свое назначение?

Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей

дичи,— этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.

Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.

На их беду, в это время невдалеке проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.

Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.

— Мы нашли только одну эту куропатку,— сказал он,— но бог их знает, сколько они наделали вреда.

По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.

Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? Причем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем, уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.

Затем был призван к допросу полевой сторож, как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым барином и даже не видел его сегодня после полудня.

Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.

Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.

Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому — особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков,— Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.

Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.

Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:

— Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.

Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.

Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушие Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:

— О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!

И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.

Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что «он упорствует в неправде», и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.

Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по-видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.

— Чести?! — с жаром воскликнул Тваком.— Просто упрямство и непокорность! Разве честь может учить человека лжи, разве честь может существовать независимо от религии?

Беседа происходила за столом по окончании обеда; присутствовали мистер Олверти, мистер Тваком и еще третий джентльмен, вступивший теперь в разговор. Прежде чем идти дальше, бегло познакомим с ним читателя.

## ГЛАВА III

*Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова; их спор касательно...*

Имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквейр. Его природные дарования были не первого сорта, но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя; в одних случаях придерживаясь больше мнения первого, а в других — второго.

В области нравственности он был убежденнейший платоник, в религии же склонялся к учению Аристотеля.

Однако же, построив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирал так далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал; однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалась мысль, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Твакомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды на вещи были диаметрально противоположны.

Сквейр считал человеческую природу верхом всяческой добродетели, а порок — такой же ненормальностью, как физическая уродливость. Тваком, наоборот, утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь вертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны — именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слова «доброта». Любимым выражением философа было «естественная красота добродетели»; любимым выражением богослова — «божественная сила благодати». Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и извечной гармонии вещей; богослов судил обо всем на основании авторитета, причем всегда прибегал к Священному писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Коука на Литтлтона, считая толкование и текст одинаково авторитетными.

После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник заключил свою речь торжествующим вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии?

Сквейр заявил на это, что, не установив предварительно значения слов, невозможно рассуждать о них философски и что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределенным значением, чем слова, им упомянутые, ибо относительно чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как и относительно религии.

— Однако если под честью вы подразумеваете подлинную естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она может существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо

от всех религий, кроме одной; то же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой секты на свете.

Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями.

— Однако честь,— ораторствовал он,— не является многоразличной вследствие того, что о ней существует много нелепых мнений, как не является многоразличной религия оттого, что на свете есть разные секты и ереси. Когда я говорю о религии, я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую церковь. И когда я говорю о чести, я разумею род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее и в то же время несовместим ни с какой иной религией и от нее не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь — а, мне кажется, ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать,— будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит утверждать самую возмутительную нелепость.

— Я умышленно избегал,— отвечал Сквейр,— выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов; однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию, из сказанного вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести; но почему бы нам не столковаться относительно определения ее в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель почти синонимы и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей, а так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны. Но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон...

— Как! Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? — с жаром воскликнул Тваком.— Мистер Олверти, разве я согласился?

Тут мистер Олверти оборвал речь, холодно заметив, что они оба ошибочно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые в одинаковой степени разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.

## ГЛАВА IV,

*заключающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании*

Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые кривотолки, к которым может привести слишком большое рвение иных читателей, ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять, особенно людей, принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии.

Надеюсь поэтому, никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышают человека над бессмысленными тварями. Смею уверить вас, читатель (и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите), что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах.

Напротив, я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно с той целью, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный друг — самый опасный враг, и я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Больше того: если добродетель и религия, в их чистом виде, справедливо называются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то, отравленные и осквернённые обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые черные преступления по отношению к их ближним.

Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно; но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были неглупые, и нельзя предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое превратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты! И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения!

Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей

системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а Сквейр — религией и если бы оба они не сбросили со счета естественную доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся.

Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, была ссора между молодым Блайфилом и Томом Джонсом, последствием которой явился окровавленный нос первого. Хоть и младший летами, Блайфил был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве биться на кулачки.

Том, однако, тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфила, на него действовал сдерживающе мистер Тваком, всегда бравший сторону последнего.

Но справедливо сказал один писатель: «Нет человека, который был бы мудр каждую минуту»; не удивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика. Заспорив о чем-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим ублюдком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тотчас же украсил его лицо только что упомянутым нами способом.

И вот молодой Блайфил, с текущей из носа кровью и струящимися из глаз вслед за ней слезами, явился на суд дяди и грозного Твакома. В этом трибунале Джонсу тотчас же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранении. Том в оправдание сослался только на вызывающие слова Блайфила, о которых, впрочем, последний умолчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своем ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув:

— Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!

Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:

— Не удивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.

— Какую небылицу, мой мальчик? — нетерпеливо спросил Тваком.

— Да как же, он сказал вам, что с ним никого не было на охоте, когда он застрелил куропатку; а он знает (тут Блайфил

залился слезами), да, он знает, сам же мне в этом признался, что с ним был сторож Черный Джордж. И больше того, он сказал,— да, ты сказал, посмей-ка отрицать! — что ни за что не признаешься в этом учителю, хотя бы он тебя на куски изрезал.

При этих словах глаза Твакома засверкали, и он торжествующе воскликнул:

— Ого! Так вот она, ваша ложно понятая честь! Вот какого мальчишку нельзя было выпороть еще раз!

Но мистер Олверти обратился к юноше с более приветливым видом, спросив:

— Это правда, мой мальчик? Как же это ты дошел до такого упорства во лжи?

Джонс отвечал, что он презирает ложь не меньше всякого другого; но он считал, что честь обязывала его поступить так, как он поступил, ибо он обещал бедняге не выдавать его; тем более, он чувствовал себя обязанным молчать, продолжал он, что сторож уговаривал его не ходить на чужую землю и пошел туда сам только в угоду ему. Вот вся правда, как было дело, и он готов подтвердить свои слова присягой. И Джонс закончил свою речь горячей просьбой к мистеру Олверти пожалеть семью бедного сторожа, особенно принимая во внимание то, что он, Джонс, один был виноват, а сторож с большой неохотой согласился сделать то, что он сделал.

— Право же, сэр,— говорил он,— едва ли мое показание можно назвать ложью, потому что бедняк совершенно неповинен во всем случившемся. Я все равно пошел бы один за птицами,— я даже и пошел один, и он только последовал за мной, чтобы я не наделал еще большей беды. Пожалуйста, сэр, накажите меня, отберите у меня лошадку, но прошу вас, сэр, простите бедного Джорджа.

После недолгого колебания мистер Олверти отпустил мальчиков, посоветовав им жить дружнее и миролюбивее.

## ГЛАВА V

*Мнения богослова и философа о своих воспитанниках; несколько оснований для этих мнений и другие предметы*

Очень может статься, что, выдав тайну, сообщенную ему весьма конфиденциально, молодой Блайфил избавил своего товарища от хорошей порки, ибо и окровавленного носа было довольно для Твакома, чтобы взяться за розгу; но эту провинность теперь

совершенно заслонил другой поступок; а касательно этого поступка мистер Олверти заявил Твакому с глазу на глаз, что, по его мнению, мальчик заслуживает скорее награды, чем наказания, и, таким образом, помилование остановило карающую руку богослова.

Тваком, все помыслы которого были наполнены березовыми прутьями, громко порицал эту снисходительность, решаясь назвать ее слабостью и даже безнравственностью. Оставлять такие преступления безнаказанными, говорил он, значит поощрять их. Он долго распространялся о пользе наказания детей, приведя много изречений из Соломона и других; так как изречения эти можно найти во множестве книг, то мы не станем их повторять здесь. Потом он обратился к пороку лжи, обнаружив в этом предмете такую же осведомленность, как и в прочих.

Сквейр сказал, что он пробовал согласить поведение Тома с идеей совершенной добродетели, но ему это не удалось. Он признался, что, на первый взгляд, в поступке Джонса есть нечто похожее на мужественную силу; но так как мужество — добродетель, а лживость — порок, то они ни в коем случае не могут быть примирены или соединены. В заключение он заметил, что так как поступок Джонса является в некоторой мере смешением добродетели и порока, то мистеру Твакому следовало бы подумать, не заслуживает ли его воспитанник по этому случаю суровейшего наказания.

Если оба ученые мужа единодушно осудили Джонса, то с не меньшим единодушием они одобрили молодого Блайфила. Разоблачение истины, по утверждению священника, было долгом каждого религиозного человека, а по заявлению философа — совершенно согласно с законом справедливости и нерушимой вечной гармонией вещей.

Все это, однако, имело очень мало веса в глазах мистера Олверти. Его так и не удалось уговорить подписать приказ об экзекуции над Джонсом. В груди его жило чувство, которому стойкая верность, проявленная юношей, была гораздо ближе, чем религия Твакома или добродетель Сквейра. Поэтому он настрого приказал первому из этих господ воздержаться от расправы над Томом за прошлое. Педагог принужден был повиноваться приказаниям Олверти, хоть и с большой неохотой, ворча, что мальчика положительно портят.

С полевым сторожем сквайр поступил суровее. Он тотчас же призвал беднягу к себе, долго ему выговаривал в резких выражениях, заплатил жалованье и уволил со службы; мистер Олверти справедливо заметил, что солгать для оправдания себя и солгать для оправдания другого — большая разница. Но

главной причиной его непреклонной суровости по отношению к этому человеку было то, что ради своей выгоды он проявил низость, допустив, чтобы Тома Джонса подвергли такому тяжелому наказанию, между тем как мог предотвратить его добровольным признанием.

Когда эта история получила огласку, многие оценили поведение юношей в день их ссоры совсем иначе, чем Сквейр и Тваком. Молодого Блайфила в один голос называли подлым доносчиком, мерзавцем, трусом и тому подобными эпитетами, тогда как Том почтен был лестными именами славного малого, веселого парня честной души. Поступок с Черным Джорджем очень расположил к нему всех слуг, правда, полевого сторожа раньше никто не любил, но едва только его прогнали, как все начали жалеть его, все с величайшими похвалами прославляли дружбу и благородство Тома Джонса и совершенно открыто осуждали молодого Блайфила, остерегаясь только прогневить его мать. Однако за все это бедный Том платился телесной болью; ибо хоть Твакому и было запрещено пускать в ход свои руки, но, как говорит пословица, «найти сучок в лесу нетрудно». Так точно нетрудно было найти розгу; а только совершенная невозможность найти ее удержала бы Твакома сколько-нибудь продолжительное время от порки бедного Джонса.

Если бы единственным побуждением педагога было чистое наслаждение искусством, то, по всей вероятности, Блайфил тоже получал бы свою долю, но, несмотря на неоднократные приказания мистера Олверти не делать никакого различия между мальчиками, Тваком был столь же любезен и ласков с его племянником, сколько груб и даже жесток с Джонсом. Сказать правду, Блайфил вполне заслужил любовь своего наставника — частью тем, что свидетельствовал ему всегда глубокое уважение, а еще больше скромной почтительностью, с которой он принимал его учение. Блайфил знал наизусть и часто повторял его фразы и отстаивал религиозные убеждения своего учителя с жаром, прямотаки удивительным в таком молодом человеке и снискавшим большое благоволение к нему достойного наставника.

С другой стороны, Том Джонс был не только нерачителен по части внешних знаков почтения, часто забывая снять шляпу или поклониться при встрече с учителем, но относился также без всякого внимания к его наставлениям и примеру. Это был беззаботный, ветреный юноша с очень вольными манерами и без всякой маски на лице; часто он самым бесстыдным и неприличным образом смеялся над степенностью своего товарища.

По этим же самым причинам и мистер Сквейр отдавал предпочтение Блайфилу, ибо Том Джонс так же неуважительно отно-

ється к ученым рассуждениям этого джентльмена, когда тому случалось расточать их пред ним, как и к поучениям Твакома. Однажды он решился подшутить над законом справедливости, а в другой раз сказал, что, по его мнению, ни один закон в мире не способен создать такого человека, как его отец (мистер Олверти позволял ему называть себя этим именем).

Молодой Блайфил, напротив, имел в шестнадцать лет довольно ловкости для того, чтобы одновременно вкрасться в милость обоих этих непохожих друг на друга людей. С одним он был — весь религия, с другим — весь добродетель. А когда они оба были возле него, он хранил глубокое молчание, которое каждый из них истолковывал в его и свою пользу.

Блайфил не довольствовался лестью в глаза обоим этим джентльменам, он пользовался всяким случаем хвалить их Олверти в их отсутствие. Когда он бывал наедине с дядей и дядя одобрял какую-нибудь религиозную или моральную сентенцию (а Блайфил постоянно сыпал ими), он почти всегда приписывал ее добрым наставлениям Твакома и Сквейра. Он знал, что дядя передаст все эти отзывы лицам, для которых они были предназначены, и убедился на опыте в том, какое сильное впечатление они производят как на философа, так и на богослова. И точно: нет лести неотразимее той, что передается из вторых рук.

Кроме того, молодой джентльмен скоро заметил, что все эти панегирики учителям чрезвычайно приятны самому мистеру Олверти, потому что в них слышалась открытая похвала избранному им своеобразному плану воспитания; ибо, заметив, как несовершенны наши публичные школы и сколько пороков приобретают в них мальчики, почтенный сквайр решил воспитывать племянника и найденыша, которого он некоторым образом усыновил, у себя дома, где нравственность их, думал он, избегнет всех опасностей развращения, которым она подвержена в публичных школах или университете.

Решив, таким образом, вверить мальчиков попечению домашнего учителя, мистер Олверти обратился за советом к одному очень близкому приятелю, об уме которого он был высокого мнения и на честность которого вполне полагался, и тот порекомендовал ему на эту должность мистера Твакома. Этот Тваком был членом одного колледжа, где почти и жил, и славился ученостью, набожностью и степенностью. Несомненно, названные качества и имел в виду приятель мистера Олверти, рекомендуя ему Твакома, хотя, впрочем, был многим обязан семье Твакома, самой видной в том местечке, представителем которого этот джентльмен был в парламенте.

Тваком сразу по приезде чрезвычайно понравился Олверти; действительно, он вполне отвечал данной приятелем Олверти характеристике. Впрочем, после более долгого знакомства и более задушевных бесед почтенный сквайр заметил в наставнике недостатки, которых он не желал бы в нем видеть; но так как с виду его хорошие качества значительно перевешивали их, то мистер Олверти не пожелал с ним расстаться. Да эти недостатки и не давали ему на то права: читатель сильно ошибается, если думает, будто Тваком являлся мистеру Олверти в том же свете, как и ему на страницах этой истории; он заблуждается также, если воображает, будто самые короткие отношения с богословом могли бы открыть ему вещи, которые позволило нам открыть и разоблачить наше писательское вдохновение. О читателях, которые, на основании сказанного, усомнятся в мудрости или проницательности мистера Олверти. я без стеснения скажу, что они дурно и неблагодарно пользуются сообщаемыми им сведениями.

Эти явные погрешности в системе Твакома уравновешивали противоположные погрешности Сквейра, которые наш добрый сквайр тоже видел и осуждал. Но он считал, что противоположные достоинства этих джентльменов будут исправлять их противоположные несовершенства и что мальчики почерпнут от них, особенно с его помощью, достаточно полезных наставлений в истинной религии и добродетели. Если результаты не оправдали его ожиданий, то это, может быть, проистекало от какой-то ошибки в самом плане воспитания, которую мы и предоставляем обнаружить читателю, если он сумеет; ибо мы не задаемся целью выводить в этой истории людей непогрешимых и надеемся, что в ней не найдется ничего такого, чего никогда еще не наблюдалось в человеческой натуре.

Возвратимся, однако, к нашему предмету; мне кажется, читатель не удивится, что различное поведение упомянутых мальчиков производило различное впечатление на воспитателей. примеры чего мы уже видели; но была еще и другая причина различного отношения к ним философа и педагога; так как предмет этот очень важный, мы изложим его в следующей главе.

## ГЛАВА VI,

*в которой приводится еще более веское основание для вышеупомянутых мнений*

Надо знать, что две названные ученые персоны, играющие в последнее время видную роль на сцене нашей истории, исполнились с самого прибытия в дом мистера Олверти такой великой

любовью, один — к его добродетели, а другой — к его благочестию, что задумали вступить с ним в теснейший союз.

С этим намерением они остановили свои взоры на прекрасной вдове, которой, мы надеемся, не забыл еще читатель, хоть мы давно уже о ней не упоминали. Миссис Блайфил была предметом домогательства обоих наставников.

Может показаться странным, что из четырех человек, проживавших в доме Олверти, трое почувствовали влечение к даме, никогда особенно не славившейся красотой и вдобавок теперь уже немного склонившейся под бременем лет; но обыкновенно задушевные друзья и короткие знакомые чувствуют род естественного влечения к женщинам, входящим в число домочадцев друга, как-то: к его бабушке, сестре, дочери, тетке, племяннице или кузине, когда они богаты, и к его жене, сестре, дочери, племяннице, кузине, любовнице или горничной, если они пригожи.

Да не вообразит, однако, читатель, что люди склада Тваком а и Сквейра решились на такое предприятие, не вполне одобряемое строгими моралистами, не рассмотрев досконально заранее, противно оно совести или нет. Тваком оправдывал себя рассуждением, что желать сестру ближнего твоего нигде не запрещено, и ему известно было правило, которым руководятся при составлении всех законов, именно: «Expressum facit cessare tacitum», смысл которого таков: «Если законодатель ясно излагает всю свою мысль, то мы не вправе приписывать ему то, что нам вздумается». А так как божественный закон, запрещающий нам желать добро нашего ближнего, перечисляет разные виды женщин и сестра среди них не упоминается, то наш богослов заключил отсюда, что его желание вполне законно. А что касается Сквейра, который был что называется красавец мужчина и вдовий угодник, то он легко примирил свой выбор с вечной гармонией вещей.

И вот наши джентльмены, не пропускавшие ни одного случая снискать расположение вдовы, сообразили, что вернейшим средством для этого будет отдавать предпочтение ее сыну перед Джонсом; и так как им казалось, что доброта и любовь мистера Олверти к приемышу должны быть крайне неприятны вдове, то они и не сомневались, что, унижая и понося Джонса при всяком удобном случае, они доставят ей большое удовольствие: она ненавидела мальчика, следовательно, должна была любить всех притеснявших его. В этом отношении Тваком имел преимущество, ибо Сквейр мог вредить только доброму имени бедного юноши, а он — его коже; и действительно, он рассматривал каждый нанесенный Тому удар как знак внимания к своей возлюбленной, так что с

полным правом мог бы применить к себе старое наставительное изречение: «Castigo te non quod odio habeam, sed quod amem» — «Наказываю тебя не из ненависти, а из любви». И действительно, оно часто бывало у него на устах или, вернее — по одному старинному выражению, как нельзя более подходящему к случаю,— на кончиках его пальцев.

Преимущественно по этой причине оба джентльмена были, как мы видели, согласны в своем мнении насчет порученных им воспитанников. И это был едва ли не единственный случай их единогласия, ибо, помимо коренного различия их образа мысли, оба они давно уже сильно подозревали друг друга в желании покорить сердце вдовы и ненавидели друг друга жесточайшей ненавистью.

Эта взаимная враждебность еще более распалялась их попеременными успехами, ибо миссис Блайфил смекнула, в чем дело, гораздо раньше, чем они воображали или имели в виду показать ей: соперники действовали с большой осторожностью, боясь, как бы она не обиделась и не пожаловалась мистеру Олверти. Но для таких опасений не было никаких поводов: вдова была довольна страстью, плоды которой намеревалась пожать она одна, а единственными плодами, на которые она рассчитывала, были лесть и поклонение,— по этой причине она поощряла каждого из них поочередно и долгое время в равной степени. Она больше склонялась предпочесть убеждения богослова, но наружность Сквейра больше радовала ее взоры, ибо философ был мужчина благообразный, тогда как педагог очень напоминал джентльмена, наказывающего дам в исправительном доме на гравюре из серии «Путь прелестницы».

Была ли миссис Блайфил пресыщена сладостью супружеской жизни, почувствовала ли отвращение к ее горечи, или происходило это от иной причины — я не берусь решить,— только она и слышать не хотела о новом предложении. Впрочем, под конец у нее установились такие короткие отношения со Сквейром, что злые языки начали нашептывать о ней вещи, которым, вследствие нежелания порочить честь дамы, а также потому, что они совершенно несовместимы с законом справедливости и всеобщей гармонией, мы не будем придавать значения и не станем марать ими бумагу. Педагог же, как усердно ни подхлестывал, ни на шаг не приближался к цели своего путешествия.

Надо сказать, что он сделал большую ошибку, и Сквейр заметил это гораздо раньше его. Миссис Блайфил (как, может быть, уже догадался читатель) не была в чрезмерном восторге от обращения мужа; говоря откровенно, она ненавидела его

всей душой, пока наконец смерть немного не примирила ее с ним. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она не питала особенно бурной нежности к его детищу. Действительно, этой нежности было у нее так мало, что, когда ее сын был ребенком, она видела его редко и обращала на него мало внимания; без больших усилий примирилась она со всеми милостями, расточаемыми найденышу мистером Олверти, который называл его своим сыном и во всем держал наравне с маленьким Блайфилом. Это молчаливое согласие было истолковано соседями и домочадцами как уступка братниной прихоти, но все, не исключая Твакома и Сквейра, были убеждены, что в душе она ненавидит приемыша; и чем ласковее обращалась она с ним, тем больше они были уверены, что она озлоблена против Джонса и замышляет для него верную гибель; ей трудно было бы переубедить людей, считавших, что в ее интересах ненавидеть мальчика.

Тваком еще более укрепился в своем мнении оттого, что она не раз коварно подавала ему мысль высечь Тома Джонса, когда мистера Олверти, враждебно относившегося к таким экзекуциям, не было дома; между тем она никогда не отдавала подобных приказаний относительно Блайфила. Это обстоятельство обратило на себя внимание также Сквейра. Словом, хотя миссис Блайфил заведомо ненавидела своего родного сына,— и, как это ни чудовищно, я уверен, что она в этом отношении далеко не исключение,—она, по-видимому, вопреки всей своей наружной угодливости, втайне сильно досадовала на благоволение мистера Олверти к приемышу. Часто она в резких выражениях жаловалась на брата, за его спиной, и Твакому и Сквейру и даже порой бросала упрек в глаза самому Олверти, когда между ними завязывались небольшие ссоры, или, вульгарно выражаясь, перебранки.

Однако, когда Том вырос и стал отличаться удалью, так выгодно рисующей мужчину в глазах женщин, нерасположение, которое она обнаруживала к нему во время его детства, постепенно ослабело, и, наконец, она стала оказывать ему столь явное предпочтение перед родным сыном, что уже невозможно было ошибиться на этот счет. Она так желала видеть Джонса и испытывала такое живое удовольствие в его обществе, что, не достигнув еще восемнадцати лет, Том сделался соперником и Сквейра и Твакома; и, что еще хуже, весь околоток начал поговаривать о ее благосклонности к Тому так же громко, как раньше говорили о ее благосклонности к Сквейру; по этой причине философ воспылал жесточайшей ненавистью к нашему бедному герою.

## ГЛАВА VII,

*в которой на сцену является сам автор*

Хотя сам мистер Олверти не торопился видеть вещи в неблагоприятном свете и оставался чужд голосу молвы, который редко достигает слуха брата или мужа, несмотря на то что раздается в ушах всех соседей, все же благосклонность миссис Блайфил к Тому и предпочтение, слишком явно отдаваемое ему перед сыном, принесли много вреда нашему герою.

Мистер Олверти был преисполнен такой отзывчивости, что лишь требования справедливости могли бы подавить в нем это чувство. Какого угодно несчастья, лишь бы только его не перевешивали дурные качества, было достаточно для того, чтобы пробудить в сердце этого доброго человека жалость и снискать его дружбу и благоволение.

Вот почему, убедившись с несомненностью, что маленький Блайфил находится в полной немилости у матери (а так оно и было в действительности), он начал смотреть на него с состраданием; а каково действие сострадания на умы добрые и благожелательные — этого, я думаю, мне нет надобности объяснять читателям.

С этих пор мистер Олверти видел малейшее проявление добродетели в юноше в увеличительное стекло, а все его недостатки — в уменьшительное, так что они сделались едва заметными. Эту снисходительность жалости можно считать даже похвальной; но следующий шаг способна извинить только слабость человеческой натуры. Едва только мистер Олверти заметил, что сестра его оказывает Тому предпочтение, как благосклонность его к бедному, ни в чем не повинному юноше стала убывать по мере возрастания к нему привязанности вдовы. Правда, одна эта привязанность не могла бы вырвать Джонса из сердца сквайра, но она сильно ему повредила и подготовила мистера Олверти к тем впечатлениям, которые сделались впоследствии причиной важных событий, излагаемых на дальнейших страницах этой повести, и которые, нужно сказать откровенно, усилил сам неудачливый юноша своей взбалмошностью, опрометчивостью и неосторожностью.

Несколько примеров в подтверждение этого послужат, если будут правильно поняты, полезным уроком благонамеренным юношам, которым случится впоследствии быть нашими читателями; они увидят, что доброта сердца и откровенный характер, хотя бы они давали большое душевное наслаждение и наполняли умы благородной гордостью, ни в коем случае — увы! —

не ведут к преуспеянию в свете. Благоразумие и осмотрительность необходимы даже наилучшему из людей. Они являются как бы стражами Добродетели, без которых она всегда в опасности. Недостаточно, чтобы намерения ваши и даже ваши поступки были сами по себе благородны,— нужно еще позаботиться, чтобы они и казались такими. Как бы ни была прекрасна ваша внутренняя сущность, вы всегда должны сохранять приличную внешность. Необходимо постоянно следить за ней, иначе злоба и зависть постараются так вас очернить, что проницательность и доброта таких людей, как Олверти, неспособны будут проникнуть сквозь толщу клеветы и разглядеть внутреннюю красоту. Юные мои читатели, помните твердо, что самый лучший человек не вправе пренебрегать правилами благоразумия, и сама Добродетель не покажется приглядной без внешних украшений приличия и благопристойности. И я надеюсь, достойные ученики мои, если вы будете читать с должным вниманием, то найдете на дальнейших страницах достаточно примеров, подтверждающих эту истину.

Простите, что я сам выступаю на сцену в роли хора. Этого требует забота о моем добром имени; указывая на рифы, о которые часто разбиваются невинность и доброта, я хочу, чтобы меня не истолковали превратно и не подумали, что я даю моим уважаемым читателям советы, для них заведомо гибельные. А так как мне не удалось убедить никого из действующих лиц моей повести высказать это, то я принужден был заговорить сам.

## ГЛАВА VIII

*Детская выходка, показывающая, однако, природную доброту Тома Джонса*

Читатель помнит, как мистер Олверти подарил Тому Джонсу лошадку, словно желая вознаградить мальчика за невинно понесенное, по его мнению, наказание.

Этой лошадкой Том пользовался около полугода, затем поехал на ней на ярмарку в соседнее местечко и продал ее.

По возвращении домой на вопрос Твакома, что́ он сделал с деньгами, вырученными за лошадь, он откровенно заявил, что не скажет.

— Вот как! — воскликнул Тваком.— Ты не скажешь! Так я выведаю это у твоего зада.

К этому месту он всегда обращался за сведениями в сомнительных случаях.

Том был уже посажен на спину лакея, и все было приготовлено для экзекуции, когда в комнату вошел Олверти, отменил приговор и увел с собой преступника. Оставшись с Томом наедине, он задал мальчику вопрос, предложенный ранее Твакомом.

Том отвечал, что он не вправе отказать ему ни в одной просьбе, но что касается этого мерзавца с деспотическими замашками, то он ответит ему только дубинкой, которой надеется вскоре отплатить за все его жестокости.

Мистер Олверти сделал ему суровый выговор за непристойные и непочтительные выражения по адресу своего воспитателя, особенно же за беззастенчиво высказанное намерение отомстить ему. Он пригрозил, что лишит его всех своих милостей, если еще раз услышит от него такие слова, ибо, заявил Олверти, он ни за что не станет оказывать поддержки или помощи закоренелому преступнику. При помощи таких увещаний и угроз он добился от Тома раскаяния, но не слишком чистосердечного, потому что юноша действительно подумывал о воздаянии за все жгучие ласки, полученные им от руки педагога. Однако под влиянием убеждений мистера Олверти Том выразил сожаление по поводу своей резкой выходки против Твакома, после чего, сделав еще несколько полезных наставлений, Олверти позволил ему продолжать, и Том сказал следующее:

— Я люблю и уважаю вас, сэр, больше всех на свете, знаю, как много обязан вам, и глубоко презирал бы себя, если бы считал себя способным на неблагодарность. Жаль, что подаренная вами лошадка не умеет говорить, а то она рассказала бы вам, как я дорожил вашим подарком; мне приятнее было кормить ее, чем кататься на ней. Право, сэр, мне тяжело было с ней расстаться, и я не продал бы ее ни за что на свете по какому-нибудь другому случаю. Я уверен, сэр, что на моем месте вы сами поступили бы точно так же, ибо нет человека, более отзывчивого к чужим несчастьям. Но каково бы вы себя чувствовали, дорогой благодетель, если бы считали себя их виновником? А такой нищеты, как у них, право же, никогда не было.

— Как у кого, друг мой? — спросил Олверти.— О ком ты говоришь?

— Ах, сэр! — отвечал Том.— Ваш несчастный полевой сторож погибает со всей своей семьей от голода и холода с тех пор, как вы его прогнали. Для меня было невыносимо видеть этих бедняг, раздетых, без куска хлеба, и сознавать, что я же являюсь

причиной всех их страданий. Я не мог этого вынести, сэр,— клянусь вам, не мог! — Тут слезы заструились у него по щекам, и он продолжал так: — Чтобы спасти этих людей от совершенной гибели, я решился расстаться с вашим подарком, как он мне ни дорог; ради них я продал лошадь и отдал им все деньги до последнего гроша.

Несколько минут мистер Олверти не произносил ни слова, и слезы текли у него из глаз. Наконец он отпустил Тома с мягким упреком, сказав ему, чтобы на будущее время он лучше обращался к нему в случаях подобной нужды, а не прибегал к таким необыкновенным средствам помощи.

Происшествие это послужило поводом к большому спору между Твакомом и Сквейром. Тваком утверждал, что это просто вызов мистеру Олверти, который хотел наказать сторожа за неповиновение. Он говорил, пояснив свою мысль несколькими примерами, что так называемое милосердие кажется ему противным воле всемогущего, обрекающего некоторых людей на гибель, и что поступок Джонса в равной мере идет вразрез с желаниями мистера Олверти; по обыкновению, он заключил свою речь горячей похвалой березовым прутьям.

Сквейр энергично отстаивал противное — может быть, из желания возражать Твакому, а может быть, с целью угодить мистеру Олверти, по-видимому вполне одобрявшему поступок Джонса.

Однако приводить здесь доводы философа было бы неуместно, так как я убежден, что большинство моих читателей сумеет гораздо искуснее защитить Джонса. Действительно, нетрудно было примирить с законом справедливости поступок, который никак нельзя было вывести из закона несправедливости.

## ГЛАВА IX,

*заключающая выходку гораздо худшего свойства, с комментариями Твакома и Сквейра*

Одним мудрым человеком, до которого мне далеко, было замечено, что беда редко приходит в одиночку. Примером этой истины могут, мне кажется, служить те господа, которые имели несчастье попасться в каком-нибудь грязном деле: подобное открытие редко остается одиноким и обыкновенно приводит к полному разоблачению человека. Так случилось и с бедным Томом: только что ему простили продажу лошади, как обнаружилось,

что незадолго перед тем он продал другой подарок мистера Олверти — изящную Библию, а вырученные деньги употребил по тому же назначению. Библию приобрел маленький Блайфил, хотя у него уже был другой точно такой же экземпляр; сделал он это отчасти из уважения к книге, а отчасти из дружбы к Тому, не желая, чтобы книга за половинную цену перешла в чужие руки. Поэтому он заплатил означенную половинную цену сам, ибо он был юноша благоразумный и бережно обращался с деньгами, откладывая почти каждый пенс, полученный от мистера Олверти.

Говорят, есть люди, которые могут читать только принадлежащие им книги. Напротив, Блайфил, приобретя Библию Джонса, к другой больше не обращался. Больше того: он проводил за чтением этой Библии гораздо больше времени, чем раньше за чтением своей. А так как он часто просил Твакома объяснить ему трудные места, то педагог, к несчастью, обратил внимание на имя Тома, надписанное во многих местах книги. Последовал допрос — и Блайфил принужден был во всем признаться.

Тваком решил не оставлять безнаказанным это преступление, которое он называл святотатством. Поэтому он немедленно приступил к порке; не удовольствовавшись ею, он при первом же свидании рассказал мистеру Олверти о чудовищном, по его мнению, проступке Тома, ругая приемыша самыми последними словами и уподобляя его торговцам, изгнанным из храма.

Сквейр посмотрел на дело с совсем иной точки зрения. Он говорил, что не видит, почему продать одну книгу большее преступление, чем продать другую; что продавать Библию не запрещено никаким законом, ни божеским, ни человеческим, и потому вполне позволительно. Великое негодование Твакома, сказал он, приводит ему на память случай с одной набожной женщиной, которая единственно из благочестия украла у своей знакомой проповеди Тиллотсона.

От этого сравнения кровь обильно прилила к лицу священника, и без того небледному; он уже собрался ответить что-то очень горячее и сердитое, но тут вмешалась миссис Блайфил, присутствовавшая при споре. Почтенная дама объявила, что она всецело на стороне мистера Сквейра. Она выступила на поддержку его мнения с длинными учеными доводами, заключив свою речь утверждением, что если Джонс в чем-нибудь виноват, то столько же виноват и сын ее, ибо она не видит никакой разницы между продавцом и покупателем, и оба они одинаково должны быть изгнаны из храма.

Высказанное миссис Блайфил мнение положило конец спору. Торжество Сквейра почти что отняло у него дар речи, если бы

он в нем нуждался; а Тваком, не смевший по упомянутым выше причинам, противоречить вдове, едва не задохся от возмущения. Что же касается мистера Олверти, то он не пожелал объявить своего мнения, сказав, что мальчик уже понес наказание; и гневался ли он на него или нет, это я предоставляю решить самому читателю.

Вскоре после этого сквайр Вестерн (тот джентльмен, в имении которого была убита куропатка) подал в суд на полевого сторожа за подобное же правонарушение. Это было большое несчастье для бедняка: оно не только грозило ему гибелью, но служило также серьезным препятствием для возвращения милостей мистера Олверти. Надо сказать, что однажды вечером добрый сквайр гулял с Блайфилом и Джонсом, и последний ловко привел его к дому Черного Джорджа, где он увидел семью бедняги, то есть жену его и детей, в самом бедственном положении — не имеющих одежды, терпящих голод и холод, ибо почти все деньги, полученные от Джонса, были истрачены на уплату прежних долгов.

Такое зрелище не могло не тронуть мистера Олверти. Он тотчас же дал матери две гинеи, приказав купить на них одежду детям. Бедная женщина разрыдалась и, рассыпавшись в благодарностях, не могла удержаться от выражения признательности также и Тому, который, по ее словам, долго спасал и ее, и всю семью от голодной смерти.

— Если бы не его щедроты, у нас не было бы куска хлеба, не было бы лоскутка, чтобы прикрыть этих несчастных детей,— проговорила она.

В самом деле, кроме лошади и Библии, Том пожертвовал на нужды пострадавшей семьи свой шлафрок и другие вещи.

По возвращении домой Том пустил в ход все свое красноречие, чтобы изобразить бедственное положение этих людей и раскаяние самого Джорджа. Слова его оказали действие на мистера Олверти, который сказал, что, пожалуй, сторож довольно пострадал за свой проступок, что он его простит и подумает, чем обеспечить его и его семью.

Джонс был этим так обрадован, что не выдержал и, несмотря на темноту и проливной дождь, побежал обратно за целую милю сообщить бедной женщине добрые вести; но, подобно другим нетерпеливым разносчикам новостей, он только поставил себя в неприятное положение человека, вынужденного противоречить себе, ибо злая судьба Черного Джорджа воспользовалась именно этим кратким отсутствием его друга, чтобы снова разрушить все его возрождавшееся благополучие.

## ГЛАВА X,

*в которой Блайфил и Джонс являются в различном свете*

Блайфил-младший сильно уступал своему товарищу в прекрасном чувстве милосердия, но зато сильно превосходил в другой, гораздо более высокой добродетели — правосудии, в каковом он следовал предписаниям и примеру как Твакома, так и Сквейра. Оба они, правда, часто пользовались словом «милосердие», но было очевидно, что Сквейр считал его несовместимым с законом справедливости, Тваком же стоял за правосудие, предоставляя милосердие небу. Впрочем, джентльмены эти несколько расходились в мнениях насчет предметов этой возвышенной добродетели, так что Тваком, творя правосудие, истребил бы одну половину человеческого рода, а Сквейр — другую.

Блайфил, хотя и хранил молчание в присутствии Джонса, однако, обсудив дело основательнее, не мог вынести мысли, что дядя окажет милость недостойному. Он решил поэтому тотчас же рассказать ему факт, на который мы выше намекнули читателю. Состоял он в следующем.

Примерно год спустя после увольнения со службы и еще до продажи Томом лошади полевой сторож, бывший тогда без куска хлеба и не знавший, как прокормить себя и свою семью, проходил по полю, принадлежащему мистеру Вестерну, и заметил сидящего в норе зайца. Этого зайца он самым низким и варварским образом пристукнул по голове, в противность всем поземельным и охотничьим законам.

К несчастью, разносчик, которому продан был заяц, через несколько месяцев попался с порядочным запасом дичи и, чтобы не поссориться со сквайром, должен был указать на какого-либо браконьера. Выбор его случайно остановился на Черном Джордже, как на человеке, уже однажды повредившем мистеру Вестерну и пользовавшемся дурной славой в околотке. Кроме того, разносчику выгоднее всего было пожертвовать именно им, так как с тех пор сторож не снабжал его больше дичью; это был удобный предлог для свидетеля скрыть своих лучших поставщиков. Дело в том, что сквайр, обрадованный возможностью наказать Черного Джорджа, которого погубить мог один проступок, не стал производить дальнейшее расследование.

Если бы это происшествие было изложено мистеру Олверти правильно, оно, вероятно, не причинило бы большого вреда полевому сторожу. Но нет ничего слепее рвения, с которым любители правосудия преследуют обидчиков. Блайфил забыл упомянуть о давности проступка. Далее, он существенно видоиз-

менил самое событие, употребив второпях множественное число вместо единственного, то есть сказав, что Джордж «таскал» зайцев. Эти искажения были бы, вероятно, исправлены, если бы Блайфил не допустил промаха, взяв с мистера Олверти слово хранить в тайне все, что он ему расскажет. Таким образом, бедняга был осужден, не имея возможности защититься; что он убил зайца и что на него было подано в суд, не подлежало никакому сомнению, и потому мистер Олверти поверил и всему остальному.

Непродолжительна была радость бедной семьи. На следующее утро Олверти, не объясняя, в чем дело, объявил, что имеет новую причину для недовольства, и строго запретил Тому упоминать впредь имя Джорджа; правда, что касается семьи, сказал он, то он позаботится о том, чтобы она не умерла с голоду, но самого Джорджа предаст в руки закона, который тот упорно нарушает, невзирая ни на какие предостережения.

Том положительно не мог догадаться, что́ так разгневало мистера Олверти, ибо насчет Блайфила у него не возникло ни малейшего подозрения. Однако дружбу его не могли поколебать никакие разочарования, и он решил попытать другой способ для спасения бедняги от гибели.

В последнее время Джонс очень сблизился с мистером Вестерном. Он так выгодно зарекомендовал себя перепрыгиванием через пятикратный барьер и другими охотничьими подвигами, что сквайр решительно заявил, что при должном поощрении из Тома выйдет великий человек. Часто он выражал сожаление, что у него нет такого сына, и однажды за попойкой сказал торжественно, что в псовой охоте — он готов поставить тысячу фунтов! — Том заткнет за пояс любого ловчего в околотке.

Подобного рода талантами Том снискал себе большое благоволение сквайра и был самым желанным гостем за его столом и любимым товарищем на охоте; все, чем сквайр дорожил больше всего на свете, именно: ружья, собаки и лошади — было теперь к услугам Джонса, как его собственность. Том решил воспользоваться этим благоволением и помочь своему другу Черному Джорджу: он надеялся устроить его у мистера Вестерна на той же должности, какую сторож занимал у мистера Олверти.

Принимая во внимание, во-первых, то, что человек этот уже навлек на себя недовольство мистера Вестерна, а во-вторых — серьезность проступка, послужившего причиной этого недовольства, читатель, может быть, осудит затею Джонса как глупую и безнадежную; но как ни осуждай его за это, все же юноша заслуживает самого высокого одобрения за свой горячий интерес к человеку, попавшему в столь трудное положение.

Для осуществления своего замысла Том обратился к дочери мистера Вестерна, семнадцатилетней девушке, которую отец любил и уважал больше всего на свете после только что упомянутых принадлежностей охоты. Таким образом, она имела влияние на сквайра, а Том имел маленькое влияние на нее. Но так как мы намерены сделать ее героиней нашего произведения и очень ее любим, да и многие наши читатели, по всей вероятности, перед тем как мы расстанемся, тоже ее полюбят, то ей не пристало появляться в конце книги.

# КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ГОД ВРЕМЕНИ

## ГЛАВА I,

*заключающая четыре страницы*

Если сочинение наше правдивостью отличается от пустых романов, которые наполнены чудовищами, плодами расстроенного мозга, а не природы, и потому объявлены одним выдающимся критиком годными единственно на потребу пирожников, то, с другой стороны, мы хотели бы избежать всякого сходства с теми историческими пьесами, которые, по мнению нашего знаменитого поэта, в не меньшей степени идут на пользу пивоваров, так как читать их должно не иначе, как с кружкой доброго пива:

Ведет история рассказ неторопливо
И, скуку чтоб прогнать, зовет на помощь пиво.

Ведь если пиво является напитком и, может быть, даже музой современных историков, по уверению Батлера, который утверждает, что оно есть источник вдохновения, то пиво должно быть также напитком их читателей, поскольку каждую книгу следует читать в том же умонастроении, в каком она написана. Вот почему славный автор «Герлотрамбо» сказал одному ученому епископу, что его преосвященство потому не может оценить достоинств его произведения, что читает его без скрипки, между тем как сам он во время сочинения не выпускал из рук этого инструмента.

И вот, чтобы пресечь всякие попытки уподоблять настоящее произведение работам таких историков, мы при всяком удобном случае пересыпали рассказ наш разными сравнениями, описаниями и другими поэтическими украшениями. Эти вещи предназначены, таким образом, для замены вышеупомянутого пива и для освежения ума в минуты, когда им начинает овладевать дремота, которой легко поддаются и читатель и автор данного произведения. Без этих передышек самое искусное изложение голых фактов одолело бы любого читателя, ибо нужно вовсе не знать сна — каковым свойством, по мнению Гомера, обладает один только Юпитер,— чтобы выдержать чтение многотомной газеты.

Предоставим читателю судить, насколько удачно мы выбирали поводы для введения этих орнаментальных частей нашего труда. Но, бесспорно, всякий согласится, что не может быть повода более подходящего, чем данный, когда мы готовимся вывести на сцену важное действующее лицо — самое героиню нашей героико-историко-прозаической поэмы. Итак, мы сочли уместным подготовить читателя к встрече с ней, наполнив его воображение самыми прекрасными образами, какие способна доставить нам природа. В защиту этого метода мы можем сослаться на множество примеров. Прежде всего он хорошо известен и часто применяется нашими трагическими поэтами, которые редко забывают подготовить зрителей к появлению главных действующих лиц.

Так, герой всегда выводится на сцену под грохот барабанов и рев труб, чтобы пробудить воинственный дух публики и приспособить ее уши к напыщенным и трескучим речам, которые слепой мистера Локка мог бы без большой ошибки сравнить со звуками трубы. Наоборот, выход на сцену любовников часто сопровождается нежными мелодиями — для того чтобы усладить зрителей картинами страсти нежной или же убаюкать их и подготовить к той сладкой дремоте, в которую они, по всей вероятности, будут погружены последующей сценой.

Тайну эту постигли, кажется, не одни поэты, но и хозяева их, театральные режиссеры, ибо, помимо только что упомянутых литавр и прочих инструментов, возвещающих приближение героя, он обыкновенно выводится на сцену в сопровождении полудюжины статистов. Насколько они необходимы для его появления, можно судить по следующему театральному анекдоту.

Царь Пирр обедал в кабачке возле театра, когда ему пришли сказать, что пора выходить на сцену. Герой, не желая расставаться с бараньей лопаткой и не желая также навлекать на себя неудовольствие мистера Вилкса (театрального режиссера) тем, что он заставляет зрителей сидеть в ожидании актеров, за некоторую мзду уговорил своих герольдов скрыться; и пока мистер Вилкс грохотал, крича: «Где же эти плотники, которым надо выходить перед царем Пирром?» — названный монарх преспокойно доедал свою баранину, а зрители, несмотря на все свое нетерпение, принуждены были развлекаться во время его отсутствия музыкой.

Говоря откровенно, мне сильно сдается, что пользу этого приема почуяли также и политические деятели, у которых обоняние обыкновенно бывает тонкое. Я убежден, например, что важная персона лондонского лорд-мэра немало обязана почтением, которым окружена целый год, пышной церемонии вступления в должность. Больше того, я должен сознаться, что и сам я не раз поддавался обаянию пышной обстановки, хоть меня и нелегко

обморочить наружным блеском. Видя человека, гордо выступающего в процессии вслед за другими, единственная обязанность которых — идти перед ним, я составлял себе гораздо более высокое понятие о его достоинствах, чем в тех случаях, когда видел его в будничной обстановке. Но есть один пример, который как нельзя более удачно подходит к моим намерениям. Это обычай во время коронационных торжеств, перед началом шествия высокопоставленных особ, чтобы женщина усыпала путь цветами. Древние непременно призвали бы в этом случае богиню Флору, и жрецам их или государственным деятелям нетрудно было бы уверить народ в действительном присутствии божества, несмотря на то что роль его играла бы и обязанности исполняла простая смертная. Но мы не имеем намерения обманывать читателя, и поэтому противники языческого богословия могут, если им угодно, превратить нашу богиню в вышеупомянутую цветочницу. Словом, мы хотим только вывести на сцену нашу героиню с возможно большей торжественностью, пустив в ход возвышенный слог и разные иные средства, способные увеличить благоговение читателя. По некоторым причинам мы даже посоветовали бы нашим читателям мужеского пола, имеющим чувствительное сердце, не читать далее, если бы не были твердо уверены, что, как ни привлекателен покажется портрет нашей героини, однако он точно списан с натуры, и потому среди наших прекрасных соотечественниц сыщется немало достойных самой беззаветной любви и вполне отвечающих идеалу женского совершенства, какое способна написать наша кисть.

Итак, без дальнейших предисловий приступаем к следующей главе.

## ГЛАВА II

*Легкий намек на то, что мы способны создать в возвышенном стиле, и описание мисс Софьи Вестерн*

Затихните, все суровые дыхания! Наложи железные цепи, о языческий повелитель ветров, на неистовые крылья шумящего Борея и выпяченные губы больно кусающегося Эвра! А ты, нежный Зефир, поднимись с благоуханного ложа, взойди на закатный небосклон и выпусти сладостный ветерок, дуновение которого выманивает из ее горницы прекрасную Флору, надушенную жемчужными росинками, когда первого июня, в день своего рождения, легко несется она, цветущая дева, в развевающихся одеждах по зеленеющему лугу, где каждый цветок тянется с приветом к ней, все поле превращается в пестрый ковер и краски спорят с ароматами: кто больше усладит ее чувства?

Да появится же теперь она во всей своей прелести! И вы, пернатые певцы природы, превосходящие сладчайшим искусством самого Генделя, приветствуйте ее появление своими мелодичными голосами! Любовь — источник ваших песен, и к любви они обращены. Пробудите же эту нежную страсть во всех юношах,— ибо вот, украшенная всеми прелестями, какие только может даровать природа, блистающая красотой, молодостью, весельем, невинностью, скромностью и нежностью, разливающая благоухание из розовых губок и свет из ясных очей, выходит любезная Софья!

Читатель, может быть, ты видел Венеру Медицейскую. Может быть, видел ты также галерею красавиц в Гемптон-Корте и помнишь всех блестящих леди Черчилль «Млечного Пути» и всех красоток Кит-Кэта. Или, если царство их кончилось еще не на твоей памяти, ты видел, по крайней мере, дочерей их, столь же ослепительных красавиц нашего времени, имена которых, если бы их здесь напечатать, заняли бы, боюсь я, целый том.

Если ты все это видел, не испугайся сурового ответа, данного однажды лордом Рочестером человеку, много видевшему. Нет. Если ты все это видел и не узнал, что́ такое красота, значит, ты без глаз; а если, узнав, не испытал на себе ее власти, значит, у тебя нет сердца.

И все же возможно, друг мой, что, видев все это, ты не в силах составить ясное представление о Софье, ибо она не походила в точности ни на одну из названных красавиц. В ней было много сходства с портретом леди Ранела и еще больше, как я слышал, с знаменитой герцогиней Мазарини; но более всего она была похожа на ту, чей образ никогда не изгладится в моем сердце; и если ты ее знавал, друг мой, то у тебя есть верное представление о Софье.

Но, весьма возможно, тебе не выпало этого счастья, и потому мы приложим все старания, чтобы нарисовать этот образец совершенства, хотя и сознаем всю непосильность для нас такой задачи.

Итак, Софья, единственная дочь мистера Вестерна, была росту среднего или, пожалуй, чуть выше среднего. Сложена она была правильно и чрезвычайно изящно; по красивой форме ее рук можно было заключить о стройности всего тела. Ее пышные черные волосы, до того как она их остригла, следуя нынешним модам, доходили до пояса и завивались у нее на шее так грациозно, что с трудом можно было поверить в их неподдельность. Если бы зависть вздумала искать часть лица, менее прочих достойную восхищения, она, вероятно, указала бы на лоб, который без ущерба для обладательницы мог бы быть повыше. Брови ее были густые, ровные и неподражаемо изогнутые. Блеска ее черных глаз не могла погасить вся нежность ее сердца. Нос был совершенно правильный, а рот, скрывавший два ряда белых зубов, словно

выточенных из слоновой кости, в точности соответствовал описанию сэра Джона Саклинга:

Рот ал — и нижняя пышна
Губа, как будто бы она
Укушена пчелою.

Лицо ее было правильного овала, и при малейшей улыбке на правой щеке появлялась ямочка. Подбородок, без сомнения, тоже придавал красоту ее лицу, но трудно было сказать, велик он или мал; скорей, пожалуй, велик. Цвет лица напоминал больше лилию, чем розу, но когда резвые движения или стыдливость усиливали ее естественную краску, никакая киноварь не могла сравниться с ней, и вы невольно воскликнули бы вместе с знаменитым доктором Донном:

...Чиста, красноречива кровь
Ее ланит — ты скажешь, плоть сама
Согрета в ней дыханием ума.

Шея у нее была длинная и красиво изогнутая; я мог бы даже сказать, если бы не боялся оскорбить ее скромности, что эта часть ее тела затмила красоты знаменитой *Венеры Медицейской*. Белизной с ней не могли соперничать никакие лилии, никакая слоновая кость или алебастр. Тончайший батист, казалось, из зависти прикрывал ее грудь, гораздо белейшую, чем он сам. Она была действительно

Nitor splendens Pario manmore purius [1].

Такова была наружность Софьи. И обитательница прекрасного жилища была вполне достойна ее: душа Софьи ни в чем не уступала телу, больше того—придавала ему еще больше прелести; когда она улыбалась, то нежность сердца озаряла лицо ее красой, которой не могла бы придать ему никакая правильность черт. Но так как ни одно совершенство души ее не укроется от читателя во время предстоящего ему близкого общения с этой очаровательной девушкой, то их не для чего перечислять здесь; это было бы даже оскорблением проницательности читателя и лишило бы его удовольствия составить собственное суждение о ее характере.

Однако уместно будет, пожалуй, сказать, что все природные дарования Софьи были еще развиты и усовершенствованы искусством: она была воспитана под надзором тетки, женщины великого ума, прекрасно знавшей свет, так как в молодости эта дама жила при дворе и лишь несколько лет назад удалилась в деревню. Пользуясь ее беседами и наставлениями, Софья прекрасно научи-

[1] Блеск, сверкающий чище паросского мрамора *(лат.)*.

лась светскому обращению, хотя, быть может, ей недоставало немного той непринужденности, какая приобретается только привычкой и жизнью в так называемом высшем обществе. Нужно, впрочем, сказать, что эта непринужденность покупается иногда слишком дорогой ценой; и хотя ей свойственно столь невыразимое очарование, что французы среди других качеств, вероятно, имеют в виду именно ее, говоря, что это нечто не поддающееся определению, однако отсутствие ее вполне возмещается невинностью, и к тому же здравый смысл и природное изящество никогда не испытывают в ней недостатка.

## ГЛАВА III,

*в которой рассказ возвращается вспять, чтобы упомянуть про один ничтожный случай, происшедший несколько лет назад, но, несмотря на всю свою ничтожность, имевший некоторые последствия*

Прелестной Софье во время ее выступления в этой повести шел восемнадцатый год. Отец, как уже сказано, души в ней не чаял. К ней-то и обратился Том Джонс с намерением расположить ее в пользу своего приятеля, полевого сторожа. Но, прежде чем рассказывать об этом, необходимо вкратце сообщить некоторые обстоятельства, относящиеся к более раннему времени.

Различие характеров хотя и препятствовало установлению коротких отношений между мистером Олверти и мистером Вестерном, однако они были, как говорится, в приятельских отношениях; вследствие этого молодежь обеих семей была знакома с самого детства и часто устраивала совместные игры.

Веселый характер Тома был Софье больше по душе, чем степенность и рассудительность Блайфила, и она часто оказывала предпочтение приемышу столь явно, что юноше более пылкого темперамента, чем Блайфил, это едва ли пришлось бы по вкусу.

Но так как он ничем не выказывал своего недовольства, то нам неприлично обшаривать укромные уголки его сердца, вроде того как некоторые любители позлословить роются в самых интимных делах своих приятелей и часто суют нос в их шкафы и буфеты только для того, чтобы открыть миру их бедность и скаредность.

Однако люди, считающие, что они дали другим повод к обиде, бывают склонны предполагать, что те действительно обиделись; так и Софья приписала один поступок Блайфила злопамятству, хотя высшая проницательность Твакома и Сквейра усматривала его причину в более благородном побуждении.

Еще в отрочестве Том Джонс подарил Софье птичку, которую сам достал из гнезда, выкормил и научил петь.

Софья, которой было тогда лет тринадцать, так привязалась к птичке, что по целым дням кормила ее, ухаживала за ней, и ее любимым удовольствием было играть с ней. Вследствие этого малютка Томми — так звали птичку — настолько приручился, что клевал из рук своей госпожи, садился ей на палец и спокойно забирался на грудь, как будто сознавая свое счастье; но он был привязан ленточкой за ножку, и хозяйка никогда не позволяла ему полетать на свободе.

Однажды, когда мистер Олверти обедал со всей семьей у мистера Вестерна, Блайфил, гуляя в саду с Софьей и видя, с какой любовью ласкает она птичку, попросил позволения взять ее на минуту в руки. Софья тотчас же удовлетворила просьбу молодого человека и с большой осторожностью передала ему своего Томми; но едва тот взял птичку, как в ту же минуту снял ленточку с ноги и подбросил птицу в воздух.

Почувствовав себя на свободе, глупышка мигом забыла все милости Софьи, полетела от нее прочь и села в некотором расстоянии на ветку.

Увидев, что птичка упорхнула, Софья громко вскрикнула, и Том Джонс, находившийся неподалеку, тотчас же бросился к ней на помощь.

Узнав, что случилось, он выбранил Блайфила подлым негодяем, мигом сбросил куртку и полез на дерево доставать птичку.

Том почти уже добрался до своего маленького тезки, как свесившийся над каналом сук, на который он влез, обломился, и бедный рыцарь стремглав плюхнулся в воду.

Беспокойство Софьи направилось теперь на другой предмет: испугавшись за жизнь Тома, она вскрикнула вдесятеро громче, чем в первый раз, причем ей изо всех сил начал вторить Блайфил.

Гости, сидевшие в комнате, которая выходила в сад, в сильной тревоге выбежали вон; но когда они приблизились к каналу, к счастью в этом месте довольно мелкому, Том уже благополучно выходил на берег.

Тваком яростно накинулся на бедного Тома, который стоял перед ним промокший и дрожащий, но мистер Олверти попросил его успокоиться и, обратившись к Блайфилу, спросил:

— Скажи, пожалуйста, сынок, что за причина всей этой суматохи?

— Мне очень жаль, дядя,— ответил Блайфил,— что я наделал столько шуму: к несчастью, я сам всему причиной. У меня в руках была птичка мисс Софьи; подумав, что бедняжке хочется на волю, я, признаюсь, не мог устоять и предоставил ей то, чего она хотела, так как всегда считал, что большая жестокость — держать кого-нибудь в заточении. Поступать так, по-моему,

противно законам природы, согласно которым всякое существо имеет право наслаждаться свободой; и это даже противно христианству, потому что это значит обращаться с другими не так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Но если бы я знал, что это так расстроит мисс Софью, то, уверяю вас, я никогда бы этого не сделал; я не сделал бы этого и в том случае, если бы предвидел, что́ случится с самой птичкой: представьте себе, когда мистер Джонс, взобравшийся за ней на дерево, упал в воду, она вспорхнула и тотчас же попала в лапы негодного ястреба.

Бедняжка Софья, услышав только теперь об участи маленького Томми (беспокойство за Джонса помешало ей заметить случившееся), залилась слезами. Мистер Олверти принялся утешать ее, обещая подарить другую, гораздо лучшую птичку, но она заявила, что другой она ни за что не возьмет. Отец побранил ее, что она так ревет из-за дрянной птички, но не мог удержаться от замечания по адресу Блайфила, что будь он его сын, то получил бы здоровую порку.

После этого Софья ушла в свою комнату, мальчики были отосланы домой, а остальное общество вернулось к своим бутылкам, и тут по поводу птицы завязался такой любопытный разговор, что мы считаем его заслуживающим особой главы.

## ГЛАВА IV,

*содержания такого глубокого и серьезного, что оно, может быть, придется не по вкусу иным читателям*

Закурив трубку, Сквейр обратился к Олверти со следующими словами:

— Не могу не поздравить вас, сэр, с таким племянником: в возрасте, когда немногие имеют представление о чем-нибудь, кроме чувственно воспринимаемых предметов, он достиг уменья отличать справедливое от несправедливого. «Держать какое-либо существо в заточении кажется мне противным законам природы, согласно которым все живое имеет право наслаждаться свободой» — это его подлинные слова; они произвели на меня неизгладимое впечатление. Можно ли иметь более высокое понятие о законе справедливости и вечной гармонии вещей? Наблюдая такую зарю, не могу не верить, что полдень жизни этого юноши не уступит полдню жизни Брута Старшего или Младшего.

Тут его нетерпеливо перебил Тваком, который, пролив часть своего вина и наспех проглотив остальное, возразил:

— Основываясь на других словах мистера Блайфила, я надеюсь, что он будет походить на гораздо лучших людей. «Законы

природы» — пустой набор слов, лишенный всякого смысла. Я не знаю ни одного такого закона и не знаю никакого права, которое может быть из него выведено. Обращаться с другими так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами,— вот подлинно христианское побуждение, как правильно заметил мой воспитанник. Меня радует, что мои наставления принесли такой прекрасный плод.

— Если бы тщеславие было согласимо с гармонией вещей,— сказал Сквейр,— то и я мог бы кой-чем похвастать; ведь, я думаю, ясно, откуда он мог позаимствовать понятия справедливости и несправедливости. Если нет законов природы, нет ни справедливости, ни несправедливости.

— Как! — воскликнул священник.— Значит, вы исключаете откровение? С кем я говорю: с деистом или атеистом?

— Пейте-ка лучше! — вмешался Вестерн.— К черту ваши законы природы! Не знаю, что вы оба называете справедливым и несправедливым, только, по-моему, отнять у моей дочери ее птичку — несправедливо. Мой сосед Олверти может поступить, как ему угодно, но потакать мальчишкам в таких проделках — значит готовить их к виселице.

Олверти ответил, что ему очень неприятен поступок племянника, но он не хочет наказывать его, потому что мальчик действовал скорее из благородных, чем из низких побуждений. Если бы Блайфил украл птицу, то он первый бы высказался за самое суровое наказание, но ясно, что мальчик не имел такого намерения. И действительно, ему казалось, что у племянника не могло быть иных соображений, кроме тех, которые тот сам привел. (Ибо, что касается злого умысла, в котором подозревала его Софья, то такие вещи и в голову не приходили мистеру Олверти.) В заключение он снова побранил поступок как неосмотрительный, сказав, что его можно извинить только несовершеннолетнему.

Сквейр высказал свое мнение так недвусмысленно, что для него промолчать теперь значило бы признать себя побежденным. Поэтому он с большим жаром заявил, что мистер Олверти относится с чересчур большим уважением к таким низким вещам, как собственность. При суждении о великих и славных делах мы должны оставлять в стороне все частные отношения: ведь, подчиняясь их узким законам, нам придется осудить Брута Младшего — как человека неблагодарного, а Старшего — как отцеубийцу.

— И если бы их обоих повесили за эти преступления,— воскликнул Тваком,— они лишь получили бы по заслугам. Пара мерзавцев язычников! Благодарение богу, теперь нет у нас Брутов! Хорошо было бы, мистер Сквейр, если бы вы перестали забивать головы моих учеников подобной антихристианской дребеденью; результат тот, что мне приходится выколачивать из них

всю эту дурь, когда они переходят под мое руководство. Ваш воспитанник Том уже почти безнадежно испорчен. На днях я подслушал спор его с Блайфилом: молодчик утверждал, что нет никакой заслуги в вере без добрых дел. Я знаю, это один из ваших догматов, и, думаю, он позаимствовал его у вас.

— Не вам обвинять меня в том, что я его порчу,— отвечал Сквейр.— Кто научил его смеяться над всем, что добродетельно и пристойно, что гармонично и справедливо в природе вещей? Он — ваш ученик, и я от него отрекаюсь. Нет, нет, мой воспитанник — мистер Блайфил. Хоть он и молод, а попробуйте-ка истребить в этом мальчике понятия о нравственной честности!

Тваком презрительно усмехнулся в ответ и сказал:

— Ну, за него я не боюсь. Он так основательно подготовлен, что ему нипочем вся ваша философская премудрость. Да, я уж позаботился внедрить в него такие правила...

— Да и я не забыл внедрить в него правила! — воскликнул Сквейр.— Что, как не возвышенная идея добродетели, могло внушить человеческому разуму благородную мысль даровать птице свободу? И я снова повторяю: если бы гордость была совместима с гармонией вещей, то я почитал бы для себя за честь, что пробудил в нем такие склонности.

— А если бы гордость не была грехом,— прервал его Тваком,— то я похвалился бы тем, что научил его долгу, который сам он признал за побудительную причину своего поступка.

— Следовательно, вы оба виновны в том, что научили молодого человека похитить у моей дочери птичку,— объявил Вестерн.— Надо будет получше присматривать за клетками для куропаток, а то явится какой-нибудь добродетельный святоша и выпустит всех моих куропаток на волю! — И, хлопнув по плечу сидевшего рядом юриста, Вестерн крикнул: — Что вы скажете на это, господин адвокат? Разве это не нарушение закона?

Юрист с важным видом изрек следующее:

— Если бы речь шла о куропатке, то, несомненно, можно было бы подать в суд; ибо хотя куропатка и ferae naturae [1], однако, будучи приручена, становится собственностью; но если речь идет о певчей птице, хотя бы и прирученной, то, как животное низкой природы, ее следует считать nullius in bonis [2]. Следовательно, в этом случае, я полагаю, истцу будет отказано, и я бы не советовал возбуждать такое дело.

— Ну, ладно,— сказал сквайр,— если эта птичка nullus bonus, так давайте выпьем и потолкуем о политике или о чем-нибудь другом, для всех нас понятном, потому что в этой казуи-

[1] Дикой природы *(лат.)*.

[2] Ничьей собственностью *(лат.)*.

стике я, ей-богу, ни слова не смыслю. Оно, может быть, и учено и умно, да только вы меня в этом не убедите. Тьфу! А почему никто из вас не заикнулся о молодце, который заслуживает всяческой похвалы? Как хотите, а рисковать своей шеей для того, чтобы доставить удовольствие моей девочке,— поступок великодушный, и у меня хватит настолько учености, чтобы понять это. Черт побери, за здоровье Тома! За такую удаль я буду любить его по гроб жизни.

Так был прерван ученый спор; но он, вероятно, вскоре бы возобновился, если бы мистер Олверти не приказал подавать карету и не увез спорщиков.

Вот какой был конец происшествия с птицей и возникшего по его поводу диалога. Нам нельзя было обойти его молчанием, хотя оно случилось за несколько лет до периода, охватываемого событиями, к которым мы сейчас переходим.

## ГЛАВА V,

*содержание которой придется всем по вкусу*

«Parva leves capiunt animos» — «Мелочи прельщают легкомысленных»,— сказал великий знаток в делах любви. И действительно, с того дня Софья начала чувствовать некоторое расположение к Тому Джонсу и немалое отвращение к его товарищу.

Разные происшествия время от времени укрепляли в ней эти чувства; какие это были происшествия, читатель и сам легко догадается из сказанного о различии характеров обоих юношей и о том, что один из них был ей гораздо больше по нраву, чем другой. Сказать правду, Софья еще в детстве разглядела, что Том, ленивый и беспечный сорванец, был врагом только самому себе, а Блайфил, благоразумный, осмотрительный и здравомыслящий молодой человек, очень заботился о выгодах единственного лица на свете; а кто было это единственное лицо, читатель догадается и без нашей помощи.

Эти два характера не всегда встречают в свете разное к себе отношение, которого они как будто заслуживают и которое, надо бы думать, общество в собственных интересах должно к ним проявлять. Впрочем, в этом есть, может быть, свой политический расчет: встретив истинно доброе и открытое сердце, люди вполне основательно полагают, что нашли сокровище, и желают приберечь его, как всякую другую хорошую вещь, каждый для себя. По-видимому, они воображают, что трубить о достоинствах такого человека—все равно что, грубо говоря, скликать гостей на жаркое,

которым хотелось бы полакомиться в одиночку. Если это объяснение не удовлетворяет читателя, то я не знаю, чем еще объяснить постоянно наблюдающийся недостаток уважения к людям, делающим честь человеческой природе и приносящим величайшую пользу обществу. Софья, однако, не была похожа в этом на других. Она стала уважать Тома Джонса и презирать Блайфила почти с той минуты, как поняла значение слов «уважение» и «презрение».

Софья гостила года три у своей тетки и в продолжение всего этого времени редко видела молодых людей. Впрочем, однажды она обедала со своей теткой у мистера Олверти. Случилось это через несколько дней после вышеописанного приключения с куропаткой. Софья услышала рассказ о нем за столом и не сказала ни слова; тетка тоже мало чего добилась от нее по возвращении домой; но когда горничная, раздевая ее, спросила невзначай: «Видели, барышня, молодого Блайфила?» — она с сердцем ответила:

— Ненавижу самое имя Блайфил, как все низкое и вероломное, и удивляюсь, что мистер Олверти позволяет извергу учителю так жестоко наказывать бедного мальчика за поступок, подсказанный ему добрым сердцем.

Она пересказала горничной всю историю и заключила ее словами:

— Ну, скажи, разве не благородная он душа?

Теперь молодая девушка вернулась к отцу, который поручил ей управление всем домом и посадил на хозяйское место за столом, где часто обедал Том (сделавшийся большим любимцем сквайра благодаря своей любви к охоте). Молодые люди открытого и великодушного характера бывают обыкновенно расположены к любезности, и если вдобавок, подобно Тому, они обладают природным умом, то их любезность выражается в предупредительном и внимательном обращении со всеми женщинами вообще. Это резко отличало Тома как от грубых и буйных деревенских сквайров, так и от чопорного и надутого Блайфила. Таким образом, в двадцать лет он начал приобретать среди окрестных дам репутацию любезного кавалера.

Том не оказывал Софье никаких особенных знаков внимания, разве только относился к ней несколько почтительнее, чем к другим. Этого требовали, казалось, ее красота, богатство, ум и любезное обхождение; но никаких видов на нее у него не было, так что читатель вправе будет назвать его глупцом; впрочем, со временем мы постараемся дать удовлетворительное объяснение этой странности.

При всей своей невинности и скромности Софья обладала замечательной живостью характера, которая настолько усиливалась в присутствии Тома, что не будь он так молод и рассеян, то,

наверное, заметил бы это, и, не будь мысли мистера Вестерна всецело поглощены полем, конюшней и псарней, это могло бы заронить и в нем некоторые подозрения. Но добрый сквайр был от них далек и доставлял Тому столько случаев оставаться с дочерью наедине, что ему позавидовал бы любой поклонник; а Том, в невинности своей следуя только голосу врожденной любезности и доброты, извлек из этого для себя больше выгоды, чем если бы действовал, имея самые серьезные виды на молодую девушку.

Впрочем, нечего удивляться, что это ускользнуло от внимания других, если сама бедняжка Софья ничего не подозревала: сердце ее было безнадежно потеряно, прежде чем она заметила, что оно в опасности.

Таково было положение дел, когда в один прекрасный день Том, застав Софью одну, извинился и очень серьезным тоном сказал, что просит ее о большом одолжении, в котором она, наверное, по доброте своей, ему не откажет.

Хотя ни манеры молодого человека, ни тон, каким он изложил свою просьбу, не могли дать ей повода предполагать, что он намерен объясниться в любви, однако Природа ли шепнула ей что-нибудь на ухо, или случилось это по другой какой, непонятной для меня, причине, только, несомненно, какая-то мысль в этом роде у нее втайне возникла, потому что краска сбежала с ее лица, она задрожала, и язык изменил бы ей, если бы Том приостановился в ожидании ответа; но он тут же избавил ее от замешательства, приступив к изложению своего дела, состоявшего в просьбе заступиться за полевого сторожа, которому вместе со всей многочисленной семьей, сказал он, угрожает полная нищета, если мистер Вестерн не прекратит возбужденного против него дела.

Софья мигом оправилась от своего смущения и сказала с приветливой улыбкой:

— Так это и есть то большое одолжение, о котором вы просили таким серьезным тоном? Сделаю вам его от всего сердца. Мне самой искренне жаль этого бедняка, и не далее как вчера я послала кой-какую мелочь его жене.

Эта мелочь состояла из одного платья, белья и десяти шиллингов; Том слышал об этом, это и подало ему мысль обратиться с своей просьбой к Софье.

Ободренный успехом, наш герой решил пойти дальше: он набрался смелости и попросил Софью исхлопотать у отца службу для Черного Джорджа, заявив, что считает его за честнейшего человека в околотке и вполне подходящим для должности полевого сторожа, которая, кстати, в то время была свободна.

— Хорошо,— отвечала Софья,— я похлопочу и об этом; но не могу вам обещать такого же успеха, как в первом случае;

тут, будьте покойны, я не отстану от отца, пока не добьюсь исполнения вашей просьбы. Впрочем, я сделаю все, что в моих силах, для этого несчастного, потому что мне искренне жаль и его, и всю его семью. А теперь, мистер Джонс, и я хочу попросить вас об одолжении.

— Об одолжении, сударыня! — воскликнул Том.— Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне одна надежда получить от вас приказание, вы дали бы его с полной уверенностью, что оказываете мне величайшую милость. Клянусь этой милой ручкой, я пожертвовал бы жизнью, чтобы услужить вам!

С этими словами он схватил руку девушки и пылко поцеловал ее, в первый раз коснувшись ее губами. Кровь, перед этим отхлынувшая от щек, теперь устремилась к лицу и шее Софьи таким бурным потоком, что они стали ярко-пунцовыми. Впервые испытала она ощущение, до сих пор ей неведомое; и когда она стала на досуге размышлять над ним, оно открыло ей тайны, которые читатель, если сейчас еще не угадал, узнает в свое время.

Оправившись настолько, чтобы владеть речью (что произошло не сразу), Софья сказала, что одолжение, о котором она просит, заключается в том, чтобы не завлекать отца в опасные положения на охоте; ибо, наслышавшись всяких ужасов, она сидит в страхе каждый раз, как они уезжают вместе, и ждет, что рано или поздно отца ее принесут домой искалеченным. Поэтому она умоляет его, из уважения к ней, быть осторожнее и, зная, что мистер Вестерн во всем будет следовать ему, не скакать впредь сломя голову и не затевать никаких опасных прыжков.

Том торжественно обещал повиноваться ее приказаниям и, поблагодарив за любезную готовность исполнить его просьбу, простился и ушел в восторге от успеха своего дела.

Бедняжка Софья тоже была в восторге, только по совсем другой причине. Впрочем, сердце читателя или читательницы (если оно у них есть) лучше представит ее чувства, чем могу изобразить я, если бы даже я имел столько ртов, сколько когда-либо желал иметь поэт, для того, полагаю, чтобы съесть многочисленные лакомства, которыми его так обильно угощают.

Мистер Вестерн имел привычку после обеда, навеселе, слушать игру дочери на клавикордах; сквайр был большой любитель музыки и, может быть, живи он в Лондоне, прослыл бы за знатока, ибо всегда высказывался против утонченнейших произведений мистера Генделя. Ему нравилась только легкая и веселая музыка: любимыми его вещами были «Старый король Саймон», «Святой Георгий за Англию дрался», «Вертушка Жанна» и тому подобные.

Хотя Софья была отличной музыкантшей и любила только Генделя, но из угождения отцу, желая доставить ему удоволь-

ствие, выучила все эти песенки. Впрочем, время от времени она пробовала привить ему собственные вкусы и, когда отец требовал повторения какой-нибудь из любимых своих баллад, отвечала: «Нет, папенька»,— и часто просила его послушать что-нибудь другое.

Но в тот вечер, дождавшись, когда мистер Вестерн расстался со своей бутылкой, она сыграла все его любимые вещи по три раза, без всякой его просьбы. Это так понравилось нашему сквайру, что он вскочил с дивана, поцеловал дочь и побожился, что руки ее совершенствуются с каждым днем. Софья воспользовалась этим случаем для исполнения своего обещания Тому. Успех был полный, и сквайр даже объявил, что если она еще раз сыграет ему «Старого Саймона», то за сторожем будет послано завтра же утром. «Саймон» был сыгран еще и еще раз, пока чары музыки не усыпили мистера Вестерна. Утром Софья не преминула напомнить отцу о его обещании, и он в ту же минуту послал за своим поверенным, распорядился о прекращении дела и определил сторожа на должность.

Об успехе Тома в этом деле скоро пошла молва по всему околотку, причем мнения разделились: одни хвалили Джонса за великодушный поступок, другие подсмеивались, говоря: «Не диво, что один бездельник полюбил другого». Блайфил был взбешен. Он давно ненавидел Черного Джорджа в такой же степени, в какой Джонс им восхищался,— и не потому, что сторож чем-нибудь оскорбил его, а из великой любви к религии и добродетели, ибо Джордж пользовался славой человека распущенного. Поэтому Блайфил стал изображать все это дело как прямой вызов мистеру Олверти и с великим огорчением объявил, что невозможно найти другую причину для благодетельства такому негодяю.

Тваком и Сквейр равным образом пели ту же песенку. Теперь оба они (особенно последний) были очень злы на Джонса за благоволение к нему вдовы: Тому шел двадцатый год, он сделался красивым юношей, и миссис Блайфил, оказывая ему внимание, видимо, с каждым днем все больше и больше замечала это.

Злоба этих людей, однако же, не имела никакого действия на мистера Олверти. Он объявил, что очень доволен поступком Джонса. Верность и преданность в дружбе, сказал он, достойны самых высоких похвал, и было бы желательно видеть почаще примеры этой добродетели.

Но Фортуна, редко благосклонная к таким франтам, как мой друг Том,—может быть, потому, что они не очень пылко за ней ухаживают,— вдруг изменила значение всех его подвигов и представила их мистеру Олверти в гораздо менее приятном свете, чем тот, в котором он, по доброте своей, видел их до сих пор.

## ГЛАВА VI

*Оправдание нечувствительности мистера Джонса к прелестям милой Софьи и описание обстоятельств, которые, весьма вероятно, сильно уронят его в мнении тех остроумных и любезных господ, что восхищаются героями большинства нынешних комедий*

Два рода людей, боюсь я, уже прониклись некоторым презрением к моему герою за его поведение с Софьей. Одни из них, наверно, порицают его за то, что он поступил неблагоразумно, упуская такой прекрасный случай завладеть состоянием мистера Вестерна, а другие в не меньшей степени осуждают за равнодушие к столь прекрасной девушке, которая, по-видимому, готова была упасть в его объятия, стоило ему только раскрыть их.

Хотя я, может быть, и не в силах буду совершенно снять с него оба эти обвинения (ибо недостаток благоразумия не допускает никаких оправданий, а все, что я скажу против второго обвинения, боюсь, покажется малоубедительным), однако обстоятельства дела иногда смягчают вину, и поэтому я изложу все, как было, предоставляя решение самому читателю.

В мистере Джонсе было нечто такое, относительно чего между писателями, кажется, нет полного согласия, как называть это, но что, несомненно, существует в сердцах иных людей и не столько научает их отличать справедливое от несправедливого, сколько влечет и склоняет к первому и предостерегает и удерживает от второго.

Это нечто может быть уподоблено пресловутому сундучнику в театре: когда человек, обладающий им, делает что-либо хорошее, ни один восхищенный или дружелюбно настроенный зритель не в состоянии с достаточным жаром и восторгом прокричать ему свое одобрение; напротив, когда он делает что-нибудь дурное, ни один критик не пожалеет своих сил, чтобы его освистать и ошикать.

Чтобы дать об этом начале более высокое представление, которое было бы также более во вкусе нашего времени, я скажу, что оно восседает в нашей душе на троне, подобно лорду верховному канцлеру Английского королевства в высокой палате, где он председательствует, распоряжается, руководит, судит, оправдывает и осуждает сообразно заслугам и справедливости, с всеведением, от которого ничто не ускользает, с проницательностью, которую ничто не может обмануть, и с добросовестностью, которая недоступна для подкупа.

Это деятельное начало поистине образует самую существенную грань между нами и соседями нашими, животными; ибо если есть существа в человеческом образе, ему неподвластные, то я смотрю на них скорее как на перебежчиков от нас к нашим сосе-

дям, среди которых они разделяют участь всех дезертиров, занимая место в задних рядах.

От кого заимствовал наш герой это начало — от Твакома или Сквейра,— я не берусь определить, только он находился под его могущественным влиянием; хотя не всегда он поступал справедливо, но, поступая несправедливо, он всегда это чувствовал, и это его мучило. Именно это начало внушило ему, что ограбить дом в отплату за ласки и гостеприимство, которые ему в нем оказывали, есть самое низкое и подлое воровство. Он не считал, что низость такого преступления смягчается его размерами; напротив, ему казалось, что если кража серебряной посуды карается позорной смертью, то трудно даже придумать наказание, которого заслуживает похищение у соседа всего имущества с дочерью в придачу.

Таким образом, это начало осуждало в глазах Джонса всякую мысль устроить свою судьбу подобными средствами (ибо, как я уже сказал, начало это деятельное и не довольствуется чисто теоретическими правилами или убеждениями). Будь он сильно влюблен в Софью, он, возможно, рассуждал бы иначе; однако позвольте мне сказать, что между похищением дочери соседа по любви и похищением ее по корыстным мотивам большая разница.

Но хотя герой наш не был нечувствителен к прелестям Софьи, хотя ему очень нравилась ее красота и он высоко ценил все прочие ее достоинства, однако она не производила глубокого впечатления на его сердце, а так как это равнодушие может дать повод к обвинению его в тупости или, по крайней мере, в недостатке вкуса, то нам необходимо объяснить его причины.

Дело в том, что сердце Тома принадлежало другой женщине. Я не сомневаюсь, что читатель будет удивлен, почему мы так долго обходили это молчанием, и окажется в полном недоумении, кто была эта особа, так как до сих пор мы ни словом не обмолвились ни об одной женщине, годной в соперницы Софье. Правда, мы сочли своим долгом упомянуть о расположении миссис Блайфил к Тому, но не дали ни малейшего повода думать, что он отвечал ей взаимностью: с прискорбием надо сказать, что молодые люди обоего пола не слишком склонны платить благодарностью за то внимание, которым подчас так любезно удостаивают их более пожилые особы.

Чтобы не томить больше читателя, напомним ему об уже знакомом ему семействе Джорджа Сигрима (известного больше под именем полевого сторожа Черного Джорджа), которое состояло в то время из жены и пятерых детей.

Второй по возрасту была дочь по имени Молли, слывшая одной из первых красоток в околотке.

Истинная красота, как хорошо сказал Конгрив, заключает в себе нечто такое, чем не способны восхищаться низкие души;

но никакая грязь и лохмотья не могут скрыть это нечто от душ, не отмеченных печатью низости.

Впрочем, красота этой девушки не оказывала никакого действия на Тома, пока ей не исполнилось шестнадцать лет, только тогда Том, который был почти на три года старше, стал впервые смотреть на нее влюбленными глазами. И нужно сказать, что девушка привлекла его чувства задолго до всяких попыток овладеть ею: хотя темперамент и сильно побуждал его к этому, однако убеждения с не меньшей силой его удерживали. Обольстить молодую женщину, даже самого низкого происхождения, казалось ему гнусностью, а расположение, которое он питал к ее отцу, в соединении с участием ко всей его семье, сильно укрепляло в нем все эти трезвые мысли, так что он даже решил однажды побороть свое чувство и действительно целых три месяца удерживался от посещения дома Сигрима и от встреч с его дочерью.

Надобно сказать, что хотя Молли считалась красавицей и действительно была хороша собой, однако красота ее не отличалась большой нежностью. В красоте этой было очень мало женственного, и она подходила бы мужчине ничуть не меньше, чем женщине; правду сказать, молодость и цветущее здоровье были ее главным очарованием.

Характер Молли был женственным не больше, чем наружность. Высокая ростом и сильная, она была смела и решительна. Скромности в ней было так мало, что о добродетели ее Джонс заботился больше, чем она сама. По-видимому, Молли любила Тома столь же горячо, как и он любил ее; заметив его робость, она, напротив, осмелела, а когда он вовсе перестал посещать их дом, нашла способ попадаться ему на пути и вела себя таким образом, что молодому человеку надо было быть или пентюхом, или героем, чтобы ее старания остались безуспешны. Словом, она скоро восторжествовала над всеми добродетельными решениями Джонса; ибо хотя напоследок ею было оказано подобающее сопротивление, все же я склонен приписать победу именно ей, потому что, в сущности, именно ее заветное желание увенчалось успехом.

Итак, в этом деле Молли сыграла свою роль столь искусно, что Джонс приписывал победу исключительно себе и воображал, будто молодая женщина уступила бурному пылу его страсти. Он объяснял также уступчивость девушки неукротимой силой ее любви к нему, и — согласитесь, читатель,— предположение это было вполне естественным и правдоподобным, потому что, как мы не раз уже говорили, Том отличался необыкновенной привлекательностью и был одним из красивейших юношей на свете.

Есть люди, все заботы которых, как у Блайфила, направлены на одну-единственную особу, чьи интересы они только и блюдут,

относясь к радостям и горестям всех прочих совершенно равнодушно, если они не содействуют удовольствиям или выгодам этой особы. Но есть люди и другого склада, у которых даже себялюбие является источником благородства. Получая от других какое-либо удовольствие, они считают своим долгом любить человека, которому обязаны этим удовольствием, и бывают вполне счастливы, только когда уверены, что и ему хорошо.

К числу последних принадлежал и наш герой. По его представлениям, счастье или несчастье этой бедной девушки зависело теперь от него. Его все еще привлекала красота ее, хотя женщина более красивая и более свежая привлекла бы его еще больше; однако легкое охлаждение, вызванное пресыщением, сильно перевешивалось в нем несомненной любовью девушки к нему и чувством ответственности за то положение, в которое он ее поставил. Любовь Молли наполняла его благодарностью, ее участь пробуждала в нем сострадание, а из обоих этих чувств, с присоединением еще чувственного желания, слагалась страсть, которую можно было без особенной натяжки назвать любовью, хотя, может быть, сперва она была и неразумна.

Вот в чем заключалась истинная причина нечувствительности Тома к прелестям Софьи и к ее обращению с ним, в котором не без основания можно было видеть поощрение его чувств,— ибо если он не мог и думать покинуть свою Молли, бедную и терпевшую лишения, то отвергал также всякую мысль обмануть прелестную Софью. Но дать малейшую волю чувству к этой девушке — значило быть явно виновным в том или другом преступлении, а каждое из них, по моему мнению, вполне справедливо обрекало его на ту участь, которую, как я сказал при его первом появлении в этой повести, все в один голос ему пророчили.

## ГЛАВА VII,

*самая короткая в этой книге*

Мать первая заметила округление стана Молли и, чтобы скрыть беду от соседей, довольно безрассудно нарядила ее в широкое платье, присланное Софьей, которая едва ли предполагала, что бедная женщина позволит себе дать его которой-нибудь из дочерей для такого случая.

Молли очень обрадовалась этому первому в ее жизни случаю блеснуть своей красотой. Хотя она с удовольствием смотрелась в зеркало, даже когда была в лохмотьях, и покорила в этом наряде сердце Джонса и, может быть, некоторых других, но все же она

думала, что платье Софьи еще более увеличит ее обаяние и расширит круг ее побед.

И вот, нарядившись в это платье, новый кружевной чепчик и кое-какие другие безделки, подаренные ей Томом, Молли с веером в руке в первое же воскресенье отправилась в церковь. Великие мира ошибаются, воображая, будто честолюбие и тщеславие являются их исключительной привилегией. Эти благородные страсти столь же пышно процветают в деревенской церкви и на церковном дворе, как в гостиной и в будуаре. На приходских собраниях замышлялись такие вещи, которые не посрамили бы самого конклава. Тут есть и министерство, есть и оппозиция. Тут есть заговоры и происки, партии и клики, ничуть не хуже тех, какие встречаются в любом придворном кругу.

Женщины здесь тоже ничем не уступают в ловкости своим знатным и богатым сестрам. И тут есть и недоступные и кокетки. И тут наряжаются, строят глазки, лгут, завидуют, злословят и клевещут. Словом, тут есть все, что бывает в самых блестящих собраниях, в самом светском обществе. Так пусть же люди высокопоставленные не презирают невежество черни, а простой народ не поносит пороков аристократии.

Некоторое время Молли сидела, не узнанная соседями. Шепот пробежал по собранию: «Кто это?» Но как только убедились, что это она, среди женщин поднялось такое шушуканье, хихиканье и фырканье, закончившееся громким смехом, что мистер Олверти принужден был прибегнуть к своей власти для восстановления порядка.

## ГЛАВА VIII

*Битва, воспетая музой в гомеровском стиле, которую может оценить лишь читатель, воспитанный на классиках*

У мистера Вестерна было в этом приходе имение, и так как приходская церковь была от его дома лишь немногим дальше, чем его собственная, то он часто приезжал сюда к службе. Случилось так, что в это воскресенье он был здесь с прелестной Софьей.

Софья была восхищена красотой девушки и очень жалела, что, по простоте своей, та так разрядилась, возбудив своим нарядом зависть односельчанок. Вернувшись домой, она сейчас же послала за сторожем и велела ему привести дочь, сказав, что устроит ее на службу в доме и, может быть, даже возьмет к себе, когда ее горничная, находившаяся теперь в отлучке, уйдет от нее.

Услышав это, бедный Сигрим был как громом поражен. ибо ему было известно, что талия дочери испортилась. Заикающимся

голосом он выразил опасение, что Молли покажется слишком неуклюжей для прислуживания барышне, потому что никогда не была в горничных.

— Это не важно,— возразила Софья,— она скоро приучится. Девушка мне понравилась, и я хочу испытать ее.

Черный Джордж отправился к жене, рассчитывая с помощью ее мудрого совета как-нибудь выпутаться из трудного положения. Но, придя домой, он застал всю семью в сильном волнении. Платье Молли возбудило такую зависть, что после ухода из церкви мистера Олверти и других помещиков гнев соседок, сдерживаемый до тех пор их присутствием, разразился, как ураган; сперва он нашел выход в оскорбительных замечаниях, хохоте, свисте и угрожающих жестах, а потом было пущено в дело кое-какое метательное оружие, которое, вследствие своей пластичности, хотя и не угрожало ни смертоубийством, ни членовредительством, было, однако, достаточно страшным для изящно одетой дамы. Горячая Молли не могла безропотно снести такое обращение. Итак... Но — стоп! Не доверяя собственным дарованиям, мы призовем здесь на помощь высшие силы.

О музы, любящие воспевать битвы, как бы вы там ни назывались, и особенно ты, поведавшая некогда о сечах на полях, где сражались Гудибрас и Трулла, если ты не умерла с голода со своим другом Батлером, помоги мне в этом важном деле! Один со всем не справишься.

Как большое стадо коров на скотном дворе богатого фермера, заслышав вдали, во время доения, мычание телят, жалующихся на похищение своей собственности, поднимает неистовый рев, так голоса сомерсетширской толпы слились в нестройный вопль, состоявший из стольких визгов, криков и других разнообразных звуков, сколько было человек в толпе, или, вернее, сколько было обуревавших ее страстей; одни вопили от бешенства, другие — от страха, а третьи — просто ради потехи; но больше всех усердствовала Зависть, сестра и неразлучная спутница Сатаны; вторгшись в толпу, она раздувала пламя ярости в женщинах, которые, догнав Молли, тотчас закидали ее грязью и мусором.

После безуспешной попытки отступить в полном порядке Молли повернулась лицом к неприятелю и, схватившись с оборванной Бесс, возглавлявшей вражеский фронт, одним ударом повергла ее наземь. Вся неприятельская армия (хотя и состоявшая почти из сотни человек) при виде судьбы, постигшей ее генерала, отступила на несколько шагов назад и расположилась за свежевырытой могилой: полем битвы был погост, и вечером должны были состояться чьи-то похороны. Развивая одержанный успех, Молли схватила череп, лежавший на краю могилы, и

яростно метнула им в толпу, угодив в голову портного; от столкновения раздались два одинаково пустых звука, портной мигом растянулся во всю длину, оба черепа легли рядом, и трудно было решить, который из них безмозглее. Тем временем Молли вооружилась берцовой костью, врезалась в ряды бегущего врага и, щедро отпуская удары направо и налево, повергла бездыханными трупами множество могущественных героев и героинь.

Назови же, о муза, имена павших в тот роковой день! Первый почувствовал на своем затылке ужасную кость Джемми Твидл. Его вскормили ласковые берега мягко извивающегося Стура, где он впервые изучил вокальное искусство и, странствуя по храмовым праздникам и ярмаркам, услаждал им деревенских красоток и парней, когда на зеленых лужайках заводили они веселые танцы, а сам он играл на скрипке, притопывая в такт своей музыке. Как мало пользы ему теперь от его скрипки! Безгласным трупом грохнулся он на траву. Вслед за ним получил удар по лбу от нашей амазонки старый Ичпол, холостильщик свиней, и тоже был повержен во прах. Вследствие своей тучности, он рухнул с таким шумом, точно обвалившийся дом. Во время падения из кармана у него выкатилась табакерка, и Молли завладела ею, как законной добычей. Несчастье постигло мельничиху Кет: задев спустившимся чулком за могильную плиту, она полетела вверх тормашками, так что, в нарушение закона природы, пятки ее очутились выше головы. Бетти Пипин упала одновременно с юным любовником своим Роджером, и — о, ирония судьбы! — она уткнулась носом в землю, а он глядит в небеса. Том Фрекл, сын кузнеца, пал следующей жертвой ярости Молли. Он был искусный мастер, отлично делал деревянные калоши и был сражен теперь изделием собственных рук. Что бы ему остаться в церкви и петь псалмы,— он избежал бы пролома черепа! Мисс Кроу — дочь фермера, Джон Гидиш — сам фермер; Нан Слауч, Эстер Кодлин, Вил Спрей, Том Беннет, три мисс Поттер, отец которых держит харчевню под вывеской «Красный Лев»; Бетти Чэмбермейд, Джек Остлер и множество других, помельче, легли вповалку между могилами.

Впрочем, не все они были повержены мощной десницей Молли: многие сбили друг друга с ног во время бегства.

Но тут Фортуна, испугавшись, что она вышла из роли, слишком долго помогая одной стороне, да к тому же еще правой, быстро переменила фронт. Вмешалась тетушка Браун, которую Зикиэл Браун ласкал в своих объятиях,— и не он один, а еще целая половина прихода: столь знаменита она была на полях Венеры, а равно и Марса. Ее трофеями всегда были украшены голова и лицо супруга, ибо вряд ли голова какого-либо мужчины свидетельствовала своими рогами о любовных успехах жены более красноречиво, не-

жели голова Зикиэла, а его расцарапанное лицо не менее красноречиво повествовало о талантах супруги совсем иного свойства.

Эта амазонка не могла дольше выносить позорного бегства своих соратников. Она вдруг остановилась и громко воззвала к бегущим:

— Не стыдно ли вам, о мужи или, вернее, о жены сомерсетширские, бежать от одной женщины! Если никто не желает вступить с ней в единоборство, то я и Джоана Топ — мы вдвоем разделим честь победы!

Сказав это, она ринулась на Молли Сигрим, ловко вырвала из ее руки берцовую кость и сорвала с головы чепчик. Потом, вцепившись левой рукой в волосы своей противницы, она правой рукой так смазала ее по лицу, что у той тут же из носу потекла кровь. Тем временем и Молли не дремала. Она живо стащила повязку с головы тетушки Браун и, запустив ей в волосы одну руку, другой, в свою очередь, пустила ей из ноздрей кровавую струю.

После того как обе воительницы выдернули друг у друга по густому клоку волос, ярость их обратилась на платья. В этой битве они действовали с таким ожесточением, что через несколько минут были обе обнажены до пояса.

Счастье для женщин, что во время кулачного боя они метят не в то место, что мужчины; правда, затевая драку, они несколько насилуют природу своего пола, однако я заметил, что женщины при этом никогда не забываются до такой степени, чтобы наносить друг другу удары в грудь, которые были бы роковыми для большинства из них. Насколько мне известно, некоторые объясняют это их большей кровожадностью по сравнению с мужчинами. Вот почему они избирают своей мишенью нос, как часть тела, откуда легче всего добыть кровь. Но такое объяснение кажется мне слишком натянутым и злостным.

Тетушка Браун имела большое преимущество перед Молли по этой части: у нее вовсе не было грудей, а то, что обыкновенно называется грудью, как две капли воды походило и цветом, и остальными свойствами на кусок старого пергамента, по которому можно барабанить сколько угодно, не причиняя ему большого вреда.

Молли напротив, не говоря уже о теперешнем своем несчастном положении, была сформирована в этой части тела совершенно иначе и, очень может быть, соблазнила бы Браун нанести роковой удар, если бы неожиданное появление Джонса не положило конец кровавой сцене.

Виновником этого счастливого случая был мистер Сквейр. Дело в том, что он, Блайфил и Джонс после службы поехали кататься верхом, но через четверть мили Сквейр, переменив первоначальное намерение (не зря, а с известным умыслом, кото-

рый мы в своем месте раскроем читателю), предложил молодым людям свернуть на другую дорогу. Те согласились, и дорога эта вскоре привела их снова к погосту.

Ехавший впереди Блайфил, увидя толпу и двух женщин в только что описанном положении, остановил лошадь и спросил, что это значит. Крестьянин, к которому он обратился, ответил, почесывая затылок:

— Не знаю, сударь. С позволения вашей милости, сдается мне, вышла драка между тетушкой Браун и Молли Сигрим.

— Кем, кем? — закричал Том; но, узнавши черты своей Молли, несмотря на то что они были так сильно обезображены, он не дождался ответа, быстро соскочил с лошади, бросил поводья и, перепрыгнув через ограду, побежал к ней.

Тогда Молли, в первый раз залившись слезами, рассказала ему, как жестоко с ней обошлись. Услышав это, Том позабыл о том, какого пола тетушка Браун, а может быть, в гневе и вовсе не разобрал его,— ибо, по правде говоря, в наружности ее только и было женского, что юбка, на которую он мог не обратить внимания,— и раза два стегнул ее кнутом. Потом, бросившись на толпу, которую Молли обвинила всю огулом, он стал так щедро расточать ей удары, что, не обратившись снова к музе за помощью (каковую сердобольный читатель сочтет, пожалуй, слишком для нее обременительной,—и без того ведь она изрядно для нас попотела), я не в силах буду изобразить великое побоище, разыгравшееся в тот день.

Очистив поле от неприятеля, словно какой-нибудь гомеровский герой, а может быть, Дон Кихот или иной странствующий рыцарь, Том вернулся к Молли, которую нашел в таком положении, что описание его не доставило бы удовольствия ни мне, ни читателю. Том бушевал, как сумасшедший, колотил себя в грудь, рвал на себе волосы, топал ногами и клялся жесточайше отомстить всем, замешанным в этом деле. Потом он снял с себя кафтан и накинул его на Молли, надел ей на голову свою шляпу, отер кое-как своим платком кровь с ее лица и приказал слуге скорее скакать за дамским седлом или седельной подушкой, чтобы бережно отвезти ее домой. Блайфил стал было возражать, говоря, что с ними только один слуга, но Сквейр поддержал приказание Джонса, и ему пришлось покориться.

Слуга скоро вернулся с подушкой, и Молли, прикрывшись кое-как лоскутьями своего платья, села позади него. Таким способом она была доставлена домой в сопровождении Сквейра, Блайфила и Джонса.

Тут Джонс надел опять свой кафтан, тайком поцеловал ее и, шепнув, что вечером вернется, покинул свою Молли и поскакал за спутниками.

## ГЛАВА IX,

*в которой содержатся события далеко не мирного свойства*

Едва только Молли переоделась в свои обычные лохмотья, как на нее с ожесточением набросились сестры, особенно старшая, говорившая, что поделом ей досталось.

— Надо же иметь такую наглость: нарядиться в платье, которое барышня Вестерн подарила нашей матери! — кричала она.— Если уж кому из нас носить его, так, кажется, я скорее имею на это право! Но ты, конечно, решила, что оно принадлежит твоей красоте. Ведь ты, поди, не шутя уверена, что лучше нас всех.

— Достань-ка ей из шкафа осколок зеркала,— подхватила другая.— Надо бы раньше смыть кровь с лица, а потом уж хвалиться красотой.

— Лучше бы слушала священника, а не любезников,— не унималась старшая.

— Твоя правда, дочка,— сказала, всхлипывая, мать.— Осрамила она всех нас. В нашей семье еще не бывало потаскух.

— Вы не имеете права попрекать меня, матушка! — закричала Молли.— Ведь моя старшая сестра родилась через неделю после вашей свадьбы.

— Так что ж за важность, что родилась, негодница ты этакая! — отвечала взбешенная мать.— Ведь я сделалась тогда честной женщиной. Кабы и ты собиралась стать честной, я бы не сердилась; но тебе непременно нужно связаться с барчуком, шлюха поганая! Вот и будешь иметь незаконное дитя, попомни мое слово. А пусть-ка кто-нибудь скажет, что у меня были незаконные!

За этим спором застал их Черный Джордж, когда вернулся домой с упомянутым поручением. Так как его жена и три дочери говорили все разом, и даже не говорили, а кричали, то прошло немало времени, прежде чем ему удалось вставить слово; воспользовавшись случаем, он изложил семье поручение Софьи.

Тетушка Сигрим снова напустилась на дочь:

— В хорошенькое положение ты нас поставила! Что скажет барышня о твоем брюхе? Ну и дожила я до денечка!

— Какое же это драгоценное местечко выхлопотали вы для меня, батюшка? — запальчиво спросила дочь (сторож не совсем понял фразу Софьи о том, что она хочет взять Молли к себе).— Верно, прислуживать повару? Но я не стану мыть посуду для всякого. Мой барчук лучше обо мне позаботится. Поглядите, что он мне сегодня подарил. Он сказал, что я никогда не буду нуждаться в деньгах; и вы тоже не будете нуждаться, матушка, если придержите свой язычок и будете понимать свою пользу.

С этими словами она достала несколько гиней и одну из них дала матери.

Едва только старуха почувствовала в своем кулаке золото, как сердце ее смягчилось (столь могущественно действие этой панацеи).

— Нужно же быть таким олухом,— напустилась она на мужа,— чтобы не спросить, на какое место ее хотят поставить, прежде чем давать свое согласие! Может быть, и взаправду, как Молли говорит, ее думают сунуть на кухню. Нет уж, не позволю моей дочери идти в судомойки! Хоть я и бедная, а благородная. Я ведь из духовного звания; правда, отец мой умер в долгах и не дал мне в приданое ни шиллинга, так что мне пришлось выйти за бедняка, но я помню, кто я такая. Вот еще! Лучше бы барышня Вестерн на себя оглянулась да припомнила, кто был ее дедушка. Небось пешком ходил, когда мой дедушка в собственной карете разъезжал. Прислала свое старое платье, а, побожусь, воображает — невесть какое благодеяние сделала! Да бабушка моя не нагнулась бы, чтобы такие лохмотья на улице подобрать! Но бедными людьми всегда помыкают. И чего, правда, приход так разъярился на Молли? Ты бы сказала им, дочка, что бабушка твоя носила платья и получше, да еще новенькие, прямо из лавки!

— Ну, так что же мне отвечать барышне? — спросил Джордж.

— А я почем знаю? — сказала жена.— Вечно нам от тебя одни только неприятности. Помнишь, как ты застрелил куропатку, от которой пошли все наши несчастья? Не я ли советовала тебе не ходить на землю сквайра Вестерна? Я ли не твердила столько лет подряд, что добра от этого не будет? Но тебе непременно надо делать все по-своему, мерзавец!

Черный Джордж был вообще человек миролюбивый, не горячий и не вспыльчивый, но в его натуре было кое-что из того, что́ древние называли гневливостью и чего жена его, будь она благоразумнее, должна была бы опасаться. Он давно знал по опыту, что если буря разбушевалась, то логические доводы — это ветер, который не успокаивает ее, а только пуще разъяряет. Поэтому он почти всегда имел при себе хлыст — чудодейственное лекарство, многократно им использованное, и слово «мерзавец» послужило лигналом к его применению.

Итак, едва только появился этот симптом, как он тотчас же прибегнул к названному лекарству, которое, как это обыкновенно бывает со всеми сильно действующими средствами, сначала как будто усилило и обострило болезнь, однако скоро принесло облегчение, вернув пациенту полное спокойствие и самообладание.

Средство это принадлежит к числу лошадиных, и, чтобы его переварить, требуется очень крепкое сложение; поэтому оно уместно

только среди простого народа, за исключением одного только случая, именно — когда внезапно дает себя знать превосходство происхождения; мы считали бы, что в этом случае к нему вправе прибегнуть всякий муж, если бы его применение не являлось само по себе настолько гнусным и, подобно известным физическим операциям, называть которые не стоит, настолько унижающим и марающим руку, которая его пускает в ход, что для порядочного человека невыносима самая мысль о чем-то столь гадком и позорном.

Скоро присмирела и вся семья, ибо сила употребленного сторожем средства, подобно силе электричества, часто передается от одного лица к другим, не вступающим в непосредственное соприкосновение с прибором. Невольно напрашивается мысль, уж нет ли между этими двумя силами, действующими обе посредством трения, чего-то общего? Хорошо, если бы мистер Фрик исследовал этот вопрос в новом издании своей книги.

Было устроено совещание, на котором после долгих прений решили, что так как Молли упорно отказывается поступить на службу, то тетушка Сигрим сама пойдет к мисс Вестерн и постарается выхлопотать у нее место для старшей дочери, которая изъявила большую готовность занять его; но Фортуна, видно, была большим врагом семейства Сигрим и не позволила этой девице осуществить свое намерение.

## ГЛАВА X

*История, рассказанная мистером Саплом, приходским священником. Проницательность сквайра Вестерна. Его великая любовь к дочери, за которую та платит ему взаимной любовью*

На другой день утром Том Джонс охотился с мистером Вестерном и по возвращении с охоты был приглашен этим джентльменом к обеду.

Прелестная Софья сияла весельем и оживлением более чем обыкновенно. Ее батареи были явно направлены на нашего героя, хотя, мне кажется, сама она едва ли сознавала собственные намерения; но если она хотела пленить его, то теперь ей это удалось.

В числе гостей находился мистер Сапл, приходский священник в имении мистера Олверти. Это был добрый и почтенный человек, замечательный главным образом своей необыкновенной молчаливостью за столом, хотя рот его не закрывался ни на минуту. Короче говоря, он обладал превосходнейшим аппетитом. Но едва только убирали со стола, как он щедро искупал свое молчание, ибо был человек душевный, и беседа его часто бывала занимательна и в то же время ни для кого не оскорбительна.

Войдя в столовую как раз перед подачей ростбифа, он объявил, что привез новости, и начал было уже рассказывать, что он сию минуту от мистера Олверти, как вид ростбифа поразил его немотой, позволив ему только преподать благословение и сказать, что он должен засвидетельствовать свое почтение баронету, как он величал говяжий филей.

По окончании обеда Софья напомнила ему об обещанных новостях, и он рассказал следующее:

— Я думаю, сударыня, вчера в церкви на вечерне ваша милость заметили молодую женщину, одетую в одно из ваших заморских платьев; помнится, я как-то видел его на вашей милости. Однако в деревне такой наряд

Rara avis in terris, nigroque simillima cygno,—

что означает, сударыня: «Редкая на земле птица, вроде как черный лебедь». Это стих Ювенала. Но вернемся к тому, о чем я хочу рассказать. Я сказал, что такой наряд — диковинное зрелище в деревне, особенно если принять во внимание, на ком он был надет. Мне передают, что в нем щеголяла дочь Черного Джорджа, полевого сторожа вашей милости; я было думал, что несчастья научат бедняка уму-разуму и он не станет наряжать своих девчонок в яркие тряпки. Она вызвала такое волнение среди молящихся, что если бы сквайр Олверти не успокоил их, так пришлось бы прервать службу; я готов уже был остановиться на середине во время первого чтения Священного писания. Но как бы там ни было, по окончании богослужения, когда я ушел домой, из-за этого платья на погосте завязалась баталия, и в свалке, наряду с другими увечьями, была проломлена голова одного странствующего скрипача. Сегодня утром этот скрипач явился к сквайру Олверти с жалобой, и девчонка была вызвана в суд. Сквайр хотел было покончить дело мировой, как вдруг (прошу извинения у вашей милости) обнаружилось, что красавица на сносях. Сквайр спросил ее, кто отец ребенка, но она наотрез отказалась отвечать. Таким образом, когда я уехал, он уже собирался отдать приказ о заключении девушки в исправительный дом.

— Так эта брюхатая девчонка — все ваши новости? — воскликнул Вестерн.— А я-то думал, вы нам расскажете что-нибудь о политике, о государственных делах.

— Пожалуй, случай действительно заурядный,— отвечал священник,— но мне казалось, что историю все же стоило рассказать. А что касается политических новостей, то ваша милость знает их лучше меня. Мои сведения не простираются за пределы моего прихода.

— Да, конечно,— сказал сквайр,— в политике я кое-что

смыслю, как вы изволили сказать. Пей, Томми, бутылка перед тобой.

Том попросил извинения, сославшись на неотложное дело; он встал из-за стола, увернулся от лап сквайра, вскочившего, чтобы удержать его, и вышел без дальнейших церемоний.

Сквайр послал ему вслед крепкое словцо и, обратясь к Саплу, воскликнул:

— Чую! Носом чую! Том, наверно, отец этого ублюдка. Ферт! Помните, как он расхваливал мне ее отца? Ловкач парень, разрази его гром! Да, да, Том — отец пащенка; это верно, как дважды два!

— Мне было бы очень прискорбно, если бы это оказалось правдой,— сказал священник.

— О чем тут скорбеть? — возразил сквайр.— Экая важность, подумаешь! Надеюсь, ты не станешь сказки рассказывать, что никогда не произвел на свет ублюдка? Как бы не так! Побожусь, что это не раз с тобой случалось!

— Ваша милость изволит шутить,— ответил священник.— Но я выражаю прискорбие не только потому, что это грех,—хотя, конечно, такой поступок заслуживает всяческого сожаления,— но и потому, что это может повредить ему во мнении мистера Олверти. Должен вам сказать, Джонса хоть и считают проказником, но я никогда не замечал ничего дурного в молодом человеке, да и не слышал ничего такого, исключая того, что́ ваша милость теперь говорит. Мне было бы, конечно, приятно, чтобы его ответы в церкви на мои возгласы были правильнее, но при всем том, он мне кажется

Ingenui vultus puer ingenuique pudoris.

Это тоже из классиков, барышня, и в переводе будет: «Мальчик с прямодушным лицом и непритворной скромностью»,— эта добродетель была в высокой чести и у римлян и у греков. Должен сказать, что этот молодой джентльмен (мне кажется, его можно назвать джентльменом, несмотря на его происхождение) представляется мне скромным и воспитанным юношей, и жаль будет, если он сам себе повредит во мнении сквайра Олверти.

— Полноте! — воскликнул сквайр.— Повредит во мнении Олверти! Олверти и сам любит девчонок. Разве не знают все кругом, чей сын Том? Можете говорить это кому-нибудь другому. Я знаю Олверти с колледжа.

— А я думал, что он никогда не был в университете,— сказал священник.

— Был, был,— продолжал сквайр,— и сколько раз мы развлекались с девчонками вместе! Такого отъявленного волокиты на пять миль кругом не было. Полноте, полноте! Том ничуть не

повредит себе ни в его мнении, ни в чьем бы то ни было. Спросите хоть Софью. Скажи, дочка, ведь молодой человек не уронит себя в твоих глазах, если ему случится сделать ребенка?.. Нет, нет, женщины таких молодцов еще больше любят!

Этот вопрос жестоко задел бедную Софью. Она заметила, как Том переменился в лице при рассказе священника, и это обстоятельство, вместе с его поспешным и бесцеремонным уходом, дало ей достаточное основание думать, что догадка отца имеет под собой некоторую почву. Сердце вдруг разоблачило ей великую тайну, которую до сих пор приоткрывало лишь понемногу, и она обнаружила, что услышанная новость ее глубоко волнует. При таких условиях неожиданно обращенный к ней циничный вопрос отца вызвал на ее лице некоторые симптомы, которые встревожили бы чуткое сердце; но сквайр, нужно отдать ему справедливость, не страдал этим недостатком. Поэтому, когда Софья поднялась со своего места и сказала отцу, что по одному его намеку она всегда готова удалиться, он позволил ей уйти и потом, как ни в чем не бывало, заметил, что видеть в дочери чрезмерную скромность куда приятнее, чем чрезмерную развязность,— суждение, которое было горячо одобрено священником.

После этого между сквайром и священником завязался оживленный разговор на политические темы, заимствованные из газет и злободневных брошюр, в продолжение которого собеседники выпили за благоденствие отечества четыре бутылки вина, а когда сквайр почти совсем заснул, священник закурил трубку, сел на лошадь и поехал домой.

Продремав полчаса, сквайр позвал Софью поиграть на клавикордах, но та попросила уволить ее на этот вечер, сославшись на сильную головную боль. Просьба дочери была тотчас же уважена, ибо сквайр редко заставлял ее просить себя дважды: он так горячо любил Софью, что, делая ей угодное, обыкновенно доставлял величайшее удовольствие и себе. Она была действительно его любимой деточкой, как он часто называл ее, и вполне заслужила такую любовь, потому что отвечала на нее самой безграничной привязанностью. Пунктуальнейшим образом исполняла она все свои дочерние обязанности, и любовь делала их не только легкими, но и настолько приятными, что, когда одна из ее подруг вздумала посмеяться над ней за то, что она видит заслугу в своем мелочном, по выражению этой девицы, повиновении отцу, Софья отвечала:

— Вы ошибаетесь, сударыня, если думаете, что я считаю это заслугой: просто я исполняю свой долг и нахожу в этом большое удовольствие. Право же, я не знаю высшего наслаждения, чем умножать счастье моего отца, и если горжусь, дорогая моя, то не тем, что я делаю, а тем, что обладаю возможностью это делать.

Однако в тот вечер бедняжка Софья была неспособна испытать это наслаждение. Поэтому она не только уговорила отца освободить ее от клавикордов, но испросила также позволение не присутствовать за ужином. И эту просьбу дочери сквайр уважил, хоть и не очень охотно, потому что любил всегда видеть ее возле себя. если только не был поглощен лошадьми, собаками или бутылкой Тем не менее он уступил желанию дочери, хотя и принужден был. чтобы избавить себя, если можно так выразиться, от общества собственной персоны, послать за соседом-фермером и провести вечер с ним.

## ГЛАВА XI

*Молли Сигрим удается спастись. Несколько замечаний, ради которых мы вынуждены глубоко копнуть человеческую природу*

Том Джонс охотился в то утро на лошади, принадлежащей мистеру Вестерну, а так как собственной его лошади на конюшне у сквайра не было, то ему пришлось возвращаться домой пешком; он так торопился, что пробежал больше трех миль в полчаса.

В самых воротах усадьбы мистера Олверти он встретил констебля и полицейских, которые вели Молли в тот дом, где людям низкого звания преподается добрый урок, именно — уважение и почтение к своим господам; там им наглядно показывают огромное различие, проводимое Фортуной между людьми, которые подлежат наказанию за свои промахи, и людьми, которые такому наказанию не подлежат; если этого урока они не усваивают, то, боюсь, исправительный дом вообще не дает им почти ничего поучительного и способствующего улучшению их нравственности.

Юристу может, пожалуй, показаться, что в настоящем случае мистер Олверти немного превысил свою власть. Откровенно говоря, и я не вполне убежден в совершенной правильности его решения, потому что им не было произведено формального следствия. Но так как намерения у него были честные, то он должен быть оправдан in for conscientiae [1], особенно если принять во внимание, сколько произвольных решений выносится ежедневно судьями, у которых нет и такого оправдания.

Едва только Том узнал от констебля, куда они направляются (о чем, впрочем, он отлично догадался и сам), как заключил при всех Молли в свои объятия и, нежно прижав ее к груди, поклялся, что убьет первого, кто вздумает прикоснуться к ней. Он велел ей отереть слезы и успокоиться, ибо, куда бы она ни пошла, он

[1] Перед судом совести *(лат.)*.

последует за ней. Затем, обратившись к констеблю, который стоял, весь дрожа, сняв шапку, он очень вежливо попросил его вернуться с ним на минуту к отцу (так называл он теперь Олверти), потому что он, Джонс, твердо уверен, что после тех показаний, которые он сделает в пользу этой девушки, она будет оправдана.

Констебль, который — я в том не сомневаюсь — отпустил бы арестованную по требованию Тома, весьма охотно согласился исполнить его просьбу. И вот все они вместе вернулись в зал, где мистер Олверти чинил суд. Том велел своим спутникам подождать, а сам пошел искать своего покровителя. Найдя его, он бросился ему в ноги и, попросив выслушать его терпеливо, признался, что он отец ребенка, которым беременна Молли. Он умолял о сострадании к бедной девушке, говоря, что если тут вообще есть вина, то она лежит главным образом на нем.

— Если тут вообще есть вина! — с негодованием воскликнул Олверти.— Неужели ты такой оголтелый и отъявленный распутник, что еще сомневаешься, есть ли какая-нибудь вина в нарушении законов божеских и человеческих, в обольщении бедной девушки и в ее падении? Ты совершенно прав, говоря, что вина лежит главным образом на тебе, и вина эта настолько тяжелая, что ты должен ожидать самого сурового наказания.

— Пусть меня постигнет самая тяжелая кара,— сказал Том,— лишь бы мое ходатайство за бедняжку не оказалось напрасным! Сознаюсь, я обольстил ее, но погибнет ли она, это зависит от вас. Ради самого неба, сэр, отмените ваше приказание и не посылайте ее туда, где ее гибель неотвратима.

Олверти велел ему немедленно позвать слугу. Том отвечал, что в этом нет надобности, потому что он, к счастью, встретил Молли под стражей у ворот и, полагаясь на доброту Олверти, привел ее обратно в судебный зал, где она теперь и ожидает его окончательного приговора; сам же он на коленях умоляет своего благодетеля о том, чтобы его приговор был милостив для девушки, чтобы ей было позволено вернуться в родительский дом и не подвергаться еще большему стыду и позору, чем тот, который и так падет на нее.

— Я знаю,— говорил он,— как это тяжело. Я знаю, что моя распущенность была виной всему. Постараюсь загладить свою вину, если это возможно, и если вы тогда будете настолько добры, что простите меня, то я надеюсь доказать, что достоин прощения.

После некоторого колебания Олверти сказал:

— Хорошо, я отменю свой приговор. Можешь позвать ко мне констебля.

Явившийся констебль был тотчас отпущен; была отпущена также и Молли.

Читатель может не сомневаться, что мистер Олверти прочитал

по этому случаю Тому строгое наставление; но нам нет нужды приводить его здесь, так как мы уже в точности передали в первой книге то, что было им сказано Дженни Джонс, и так как большая часть речи мистера Олверти годится для мужчин не хуже, чем для женщин. Выговор сквайра оказал такое сильное действие на юношу, который не был закоренелым грешником, что он удалился в свою комнату, где и провел весь вечер в мрачных размышлениях.

Олверти был сильно возмущен проступком Джонса; ибо, несмотря на уверения мистера Вестерна, этот почтенный человек не предавался распутству с женщинами и сильно осуждал порок невоздержания в других. Действительно, у нас есть полное основание думать, что в речах мистера Вестерна не было ни слова правды, тем более что он сделал ареной подвигов своего друга университет, где мистер Олверти никогда не был. Словом, добрейший сквайр, пожалуй, чересчур склонен был давать волю тому роду балагурства, которое обыкновенно называется бахвальством, но которое с таким же правом можно было бы обозначить одним более коротким словечком. Мы, может быть, слишком часто заменяем это односложное словечко другими, и ко многому из того, что почитается в свете за остроумие и юмор, следовало бы, соблюдая чистоту языка, прилагать это краткое наименование, которого я, как человек благовоспитанный, здесь не привожу.

Но при всем отвращении как к этому, так и ко всякому другому пороку мистер Олверти не был настолько ослеплен своим чувством, чтобы не видеть в виновном также и хороших качеств с такой же ясностью, как если бы к ним вовсе не было примешано дурных. Поэтому, возмущаясь невоздержанностью Джонса, он от всей души радовался его честному и благородному самообвинению. В уме его начало складываться то понятие об этом юноше, какое, вероятно, уже составилось о нем у нашего читателя. Мысленно кладя на чашу весов его недостатки и достоинства, он считал что перевешивают скорее последние.

Вот почему напрасно Тваком, получивший от мистера Блайфила подробный отчет о случившемся, ругал на чем свет стоит бедного Тома. Терпеливо выслушав все его обвинения, Олверти холодно ответил, что вообще молодые люди такого темперамента, как Том, очень расположены к этому пороку; но он думает, что слова, сказанные им, Олверти, по этому поводу, искренне тронули юношу, и надеется, что Том больше грешить не будет. Так как дни порки миновали, то наставник мог излить свою желчь только при помощи языка — обычный жалкий способ бессильного мщения.

Но Сквейр, человек не такой горячий, действовал хитрее: ненавидя Джонса, может быть, еще больше, чем Тваком, он придумал более тонкий способ повредить ему во мнении мистера Олверти.

Читатель, может быть, помнит маленькие происшествия с куропаткой, лошадью и Библией, которые были изложены в третьей книге. Своим тогдашним поведением Джонс скорее укрепил, чем поколебал привязанность, которую склонен был питать к нему мистер Олверти. Те же чувства, мне кажется, он вызвал бы и во всяком, кто имеет какое-либо представление о дружбе, благородстве и величии духа, то есть в ком есть хоть капля доброты.

Сквейру известно было, какое впечатление эти несколько примеров доброты произвели на благородное сердце Олверти, ибо философ прекрасно знал, что́ такое добродетель, хотя, быть может, и не всегда был стоек в ней. Но Твакому—по какой причине, решить не берусь — мысли эти никогда не приходили в голову; он видел Джонса в дурном свете и воображал, что и Олверти видит его в таком же свете и только из гордости и упрямства решил не отступаться от мальчика, которого он с такой любовью воспитал, так как в противном случае сквайру пришлось бы молчаливо признать, что его первоначальное мнение о Томе было ошибочным.

И вот философ воспользовался настоящим случаем, чтобы исказить самые нежные чувства Джонса, истолковав все вышеупомянутые происшествия в дурном смысле.

— Мне очень прискорбно, сэр,— сказал он,— признаться в том, что, подобно вам, я поддался обману. Я не мог не чувствовать удовольствия при виде поступков, побудительной причиной которых считал дружбу; правда, дружба эта была неумеренно восторженная, а всякая неумеренность ошибочна и порочна; однако в молодости такие вещи простительны. Мне и в голову не приходило, что истина, которую мы оба считали принесенной в жертву дружбе, была на самом деле поругана в угоду низкой и порочной страсти. Теперь вы ясно видите, где источник всего этого мнимого великодушия Джонса к семье сторожа. Он поддерживал отца, чтобы легче было обольстить дочь, и спасал семью от голодной смерти, чтобы опозорить и погубить одного из членов этой семьи. Вот так дружба! Вот так великодушие! Как говорит сэр Ричард Стиль: «Гастрономы, платящие большие деньги за лакомства, вполне заслуживают названия людей щедрых». Словом, с этой минуты я решил никогда больше не поддаваться слабости человеческой природы и буду считать добродетелью лишь то, что согласно во всей точности с непогрешимым законом справедливости.

Доброта Олверти преградила этим соображениям доступ в его ум, однако, представленные другим, они были слишком логичны для того, чтобы решительно их отвергнуть. Слова Сквейра глубоко запали в его душу, и порожденная ими тревога не укрылась от внимания философа, хотя Олверти и не хотел в ней признаться, ответив что-то незначительное, и круто перевел разговор

на другую тему. К счастью для Тома, эти предположения были высказаны уже после того, как он получил прощение, ибо, несомненно, оставленное ими в душе Олверти впечатление было впервые неблагоприятно для Джонса.

## ГЛАВА XII,

*содержащая предметы более ясные, но проистекающие из того же источника, что и изложенные в предыдущей главе*

Читатель, думаю, с удовольствием вернется со мной к Софье. Она провела не очень приятную ночь после нашего последнего свидания с ней. Сон мало облегчил ее, сновидения — еще меньше. Утром, когда горничная ее, миссис Гонора, явилась к ней в обычный час, она застала ее уже на ногах и одетой.

В деревне лица, живущие за две или за три мили, считаются близкими соседями, и вести о случившемся в одном доме с невероятной быстротой перелетают в другой. Поэтому миссис Гонора знала уже во всех подробностях историю позора Молли; нрава она была очень общительного, так что не успела войти в комнату своей госпожи, как уже начала рассказывать ей следующее:

— Как вам это понравится, сударыня? Девушка, которую ваша милость видели в воскресенье в церкви и нашли ее такой хорошенькой,— впрочем, вы бы не нашли ее такой хорошенькой, если б увидели поближе,— так, верьте слову, ее водили к судье за то, что она брюхата. Мне она показалась заправской шлюхой, и, верьте слову, она указала на молодого мистера Джонса. И весь приход говорит, что мистер Олверти до того разгневался на молодого мистера Джонса, что на глаза его не пускает. Верьте слову, так жаль бедненького, а только не стоит он того, чтоб жалеть: можно ли было с такой дрянью путаться! А ведь красавчик какой! Жаль мне будет, если его выгонят из дому. Побожиться готова, что девка такая же прыткая, как и он. Ох, уж и прыткая! А когда девчонки сами кидаются, так молодцов за что же бранить? Они делают то, что естество велит. Право же, не пристало им с такими замарахами связываться, а если что случилось, так и поделом им. А только, верьте слову, потаскухи эти больше виноваты. Желала б я от всего сердца, чтоб ей хорошенько всыпали на задке телеги! Жалость какая: погубить такого красавчика! Ведь никто не посмеет отрицать, что мистер Джонс один из самых красивых молодых людей, какие только...

Так она тараторила бы без конца, если бы Софья не перебила ее, крикнув более раздраженным голосом, чем обычно:

— Скажи, пожалуйста, что ты беспокоишь меня всеми этими дрязгами? Какое мне дело до похождений мистера Джонса? Все

вы, наверно, одинаковы. Право, кажется, тебе досадно, что это случилось не с тобой.

— Со мной, сударыня?— воскликнула миссис Гонора.— Обидно слушать такие слова от вашей милости. Поклянусь, никто обо мне этого не скажет! По мне, хоть провались все молодые парни на свете. Что из того, что я назвала его красавчиком? Все говорят это, не я одна. Верьте слову, никогда не думала, чтобы о молодом человеке нельзя было сказать, что он хорош собой; верьте слову, никогда больше не буду думать о нем так. Потому что хорош тот, кто хорошо себя ведет. С нищей девчонкой...

— Да перестань ты наконец вздор молоть! — закричала Софья.— Поди лучше узнай, не ждет ли меня батюшка к завтраку.

Миссис Гонора выскочила из комнаты, ворча что-то под нос. «Ну и дела, доложу вам!» — вот все, что можно было разобрать.

Действительно ли миссис Гонора заслуживала того подозрения, которое было высказано ее госпожой, насчет этого мы не в состоянии удовлетворить любопытство читателя. Однако мы вознаградим его, изобразив то, что происходило в душе Софьи.

Благоволите припомнить, читатель, как тайное влечение к мистеру Джонсу незаметно закралось в сердце молодой девушки и как оно там выросло в очень сильное чувство, прежде чем она успела его заметить. Когда Софья впервые начала сознавать его симптомы, ощущения ее были так сладки и приятны, что она не могла решиться подавить или прогнать их и продолжала лелеять страсть, о последствиях которой никогда не размышляла.

Происшествие с Молли впервые открыло ей глаза. В первый раз сознала она слабость, в которой была повинна, и хотя это глубоко ее взволновало, но имело также действие рвотного: на время выгнало болезнь. Процесс совершился с изумительной быстротой; за короткое время отсутствия горничной все симптомы болезни исчезли, так что, когда миссис Гонора вернулась сказать, что отец ждет ее, Софья уже вполне овладела собой и чувствовала полное равнодушие к мистеру Джонсу.

Болезни души почти во всех мелочах сходны с болезнями тела. По этой причине, надеемся мы, ученое сословие, к которому мы питаем глубочайшее уважение, извинит нас за похищение некоторых слов и выражений, по праву ему принадлежащих; мы вынуждены были прибегнуть к этому, иначе наши описания часто оставались бы непонятными.

Но самое разительное сходство между недугами души и так называемыми телесными недугами заключается в наклонности тех и других к рецидивам. С особенной ясностью это видно на болезнях честолюбия и корыстолюбия. Я знал честолюбцев, излеченных постоянными неудачами при дворе (которые являются единствен-

ным лекарством против этой болезни), но снова заболевших во время борьбы за место старшины совета присяжных; слышал я также об одном скряге, который настолько справился со своей болезнью, что издержал много шестипенсовиков, но на смертном ложе утешил себя напоследок, заключив ловкую и выгодную сделку насчет собственных похорон с гробовщиком, женатым на его единственной дочери.

В любовной страсти, которую в строгом согласии со стоической философией мы будем изображать здесь как болезнь, эта наклонность к рецидивам не меньше бросается в глаза. Так случилось и с бедняжкой Софьей. После первой же встречи с Джонсом все прежние симптомы возобновились, и с той поры ее бросало то в жар, то в холод.

Положение молодой девушки теперь сильно отличалось от прежнего. Страсть, прежде доставлявшая ей тонкое наслаждение, стала теперь скорпионом в груди ее. Она боролась с ней всеми силами и пользовалась всяким доводом, какой только приходил ей на ум (не по летам, у нее сильный), чтобы одолеть и прогнать ее. Борьба была успешна, и Софья начала уже надеяться, что время и разлука совершенно излечат ее. Поэтому она решила по возможности избегать встреч с Томом Джонсом; с этой целью она стала строить план поездки к тетке, не сомневаясь, что отец даст на это свое согласие.

Но Фортуна, у которой были другие планы, в корне пресекла все эти замыслы, подготовив несчастный случай, который будет изложен в следующей главе.

## ГЛАВА XIII

*Ужасный случай с Софьей. Рыцарское поведение Джонса и еще более ужасные последствия этого поведения для молодой девушки, а также краткое отступление в честь женского пола*

Нежное чувство мистера Вестерна к дочери росло с каждым днем, так что даже его любимые собаки начали уступать Софье первое место в его сердце; но так как он все-таки не мог с ними расстаться, то придумал очень хитрое средство наслаждаться их обществом одновременно с обществом дочери, уговорив ее ездить с ним на охоту.

Софья, для которой слово отца было законом, с большой готовностью согласилась исполнять его желание, хотя это грубое мужское развлечение, мало отвечавшее ее наклонностям, не доставляло ей никакого удовольствия. Но, кроме послушания, была еще и другая причина, побуждавшая ее сопровождать старика во

время его выездов: своим присутствием она надеялась до некоторой степени охлаждать его пыл и оберегать от опасности сломать шею, которой он подвергался на каждом шагу.

Скорее всего ее могло удержать то обстоятельство, которое прежде было бы для нее приманкой, именно: частые встречи с Джонсом, которого она решила избегать. Но приближался уже конец охотничьего сезона, и Софья надеялась, что кратковременное пребывание у тетки совершенно излечит ее от несчастной страсти; она уверяла себя, что в следующий сезон будет встречаться с ним без малейшей опасности.

На второй день охоты Софья возвращалась домой и уже подъезжала к усадьбе мистера Вестерна, как вдруг ее лошадь, горячий нрав которой требовал более опытного седока, принялась скакать и брыкаться с такой резвостью, что всадница каждую минуту готова была выпасть из седла. Том Джонс, ехавший на небольшом расстоянии, увидел это и поскакал к ней на помощь. Поравнявшись с Софьей, он соскочил на землю и схватил ее лошадь за узду. Строптивое животное тотчас же взвилось на дыбы и сбросило свою драгоценную ношу прямо в объятья Джонса.

Софья была так перепугана, что не сразу могла ответить Джонсу, заботливо спрашивавшему, не ушиблась ли она. Однако вскоре она пришла в себя, сказала, что с ней все благополучно, и поблагодарила его за внимание и помощь.

— Если я оказал вам услугу, сударыня,— отвечал Джонс,— то я щедро вознагражден. Поверьте, я охотно охранил бы вас от малейшего ушиба ценой гораздо большего несчастья, чем то, которое случилось со мной.

— Какое несчастье? — встревоженно спросила Софья.— Надеюсь, ничего опасного?

— Не беспокойтесь, сударыня,— отвечал Джонс.— Слава богу, что вы отделались так счастливо, принимая во внимание грозившую вам опасность. Если я сломал руку, то это пустяк по сравнению с моим страхом за вас.

— Сломали руку?! Упаси боже! — вскричала Софья.

— Боюсь, что это так, сударыня,— сказал Джонс.— Но прошу вас, позвольте мне сначала позаботиться о вас. Моя правая рука еще к вашим услугам, и я проведу вас через ближайшее поле, откуда близехонько до дома вашего батюшки.

Увидя, что его левая рука висит без движения, между тем как правой рукой он ее поддерживает, Софья больше не сомневалась в том, что произошло. Она побледнела гораздо сильнее, чем несколько минут тому назад, когда испугалась за собственную участь, и затрепетала всем телом, так что Джонс с трудом мог поддерживать ее. Не менее велико было также смятение ее мыслей; в не-

вольном порыве бросила она на Джонса взгляд, нежность которого свидетельствовала о чувстве, какого ни благодарность, ни сострадание, даже вместе взятые, не в силах пробудить в женской груди без помощи третьей, более могущественной страсти.

Мистер Вестерн, уехавший было вперед, когда случилось это происшествие, тотчас вернулся вместе с прочими всадниками. Софья немедленно известила о несчастье, постигшем Джонса, и просила позаботиться о нем. Вестерн, который был сильно встревожен, увидев ее лошадь без седока, настолько обрадовался, найдя дочь невредимой, что воскликнул:

— Хорошо, что не случилось чего-нибудь хуже! А если Том сломал руку, так мы пошлем за костоправом, и он ее починит.

Сквайр соскочил с лошади и пошел пешком домой с дочерью и Джонсом. Непосвященный человек при встрече с ними, наверное, заключил бы по выражению их лиц, что пострадавшей является одна только Софья; у Джонса вид был ликующий: должно быть, он радовался, что спас жизнь девушки только ценой переломанной кости, а мистер Вестерн хотя и не был равнодушен к несчастью, постигшему Джонса, однако гораздо больше радовался тому, что дочь его счастливо миновала опасности.

По благородству своего характера Софья приписала поступок Джонса его великой отваге, и он произвел на ее сердце глубокое впечатление. И то сказать: ни одно качество мужчины так не пленяет женщин, как храбрость, что происходит, если верить ходячему мнению, от природной робости прекрасного пола, которая, по словам мистера Осборна, «так велика, что женщина самое трусливое из всех божьих созданий»,— суждение, замечательное больше своей грубостью, чем правильностью. Аристотель в своей «Политике», мне кажется, более справедлив к женщинам, когда говорит: «Скромность и храбрость мужчин отличаются от этих добродетелей в женщинах: храбрость, приличествующая женщине, была бы трусостью в мужчине; а скромность, приличествующая мужчине, была бы развязностью в женщине». Немного также правды в мнении тех, кто выводит пристрастие женщин к храбрым мужчинам из их чрезмерной трусливости. Мистер Бейль (кажется, в статье «Елена») с большим правдоподобием приписывает его крайней любви женщин к славе; в пользу этого мнения говорит авторитет того, кто глубже всех проникал в тайники человеческой природы: в изображении этого художника героиня «Одиссеи», величайший образец супружеской любви и верности, указывает на славу своего мужа как на единственный источник своей любви к нему [1].

---

[1] Английский читатель не найдет этого в поэме: суждение Пенелопы совершенно опущено в переводе.

Как бы там ни было, это происшествие оставило глубокое впечатление в Софье. И после тщательного исследования всех обстоятельств я склоняюсь к мысли, что в то же самое время прелестная Софья оставила не меньшее впечатление в сердце Джонса; правду сказать, с некоторых пор он начал поддаваться непреодолимому обаянию ее прелести.

## ГЛАВА XIV

*Прибытие хирурга. Его мероприятия и длинный разговор Софьи со своей горничной*

Когда они вошли в дом мистера Вестерна, Софья, которая еле передвигала ноги, повалилась в кресло; однако с помощью нюхательной соли и воды удалось предотвратить обморок, и к приходу хирурга, за которым было послано для Джонса, она совсем оправилась. Мистер Вестерн, приписывавший все эти болезненные явления ее падению, посоветовал ей в качестве меры предосторожности пустить кровь. В этом мнении его поддержал и хирург, который привел столько доводов в пользу кровопускания и столько примеров несчастий вследствие пренебрежения этим средством, что сквайр проявил еще большую настойчивость и решительно потребовал от дочери, чтобы она согласилась.

Софья уступила требованиям отца, хотя и совершенно против своей воли, ибо не ожидала, кажется, тех опасных последствий от испуга, каких боялись сквайр или хирург. Она протянула свою прекрасную руку, и хирург начал приготовление к операции.

Пока слуги приносили все необходимое, хирург, объяснявший нежелание Софьи подвергнуться операции ее страхом, стал ее успокаивать, уверяя, что тут нет никакой опасности и что несчастье при кровопускании может быть лишь следствием какого-нибудь чудовищного невежества шарлатана, берущегося за хирургию,— ясный намек, что в настоящем случае ей бояться нечего. Софья ответила, что она ничуть не боится, добавив:

— Если даже вы откроете мне артерию, я охотно прощу вам.

— Простишь?! — загремел Вестерн.— Да я-то, черт возьми, не прощу! Если этот негодяй сделает тебе больно, так я ему самому всю кровь выпущу!

Хирург согласился на эти условия и приступил к своей операции, которую сделал искусно и быстро, как обещал: он выпустил крови самую малость, сказав, что лучше повторить операцию раза два или три, чем отнять сразу слишком много крови.

После перевязки Софья удалилась; она не хотела (да этого, пожалуй, не позволяли и приличия) присутствовать при операции

Джонса. Одним из ее возражений против кровопускания (хотя и не высказанным вслух) было то, что оно задержало бы вправку сломанной кости, ибо Вестерн, когда дело касалось дочери, не обращал никакого внимания на других, а сам Джонс «сидел, как статуя терпения на надгробном памятнике, с улыбкой переносящая горе». Правду сказать, при виде крови, брызнувшей из прелестной руки Софьи, он совершенно позабыл обо всем, что случилось с ним самим.

Хирург первым делом приказал пациенту раздеться до рубашки, после чего, засучив ему рукав до плеча, принялся тянуть и ощупывать обнаженную руку с таким усердием, что Джонс от нестерпимой боли начал делать гримасы. Увидя это, хирург с большим удивлением спросил:

— Что с вами, сэр? Быть не может, чтобы я причинил вам боль,— и, продолжая держать сломанную руку, начал читать длинную и очень ученую лекцию по анатомии, в которой обстоятельно описал все простые и сложные переломы и подверг обсуждению, сколькими разными способами Джонс мог сломать себе руку, с надлежащим пояснением, какие из них были бы лучше и какие хуже настоящего случая.

Окончив наконец свою ученую речь, из которой слушатели, несмотря на благоговейное внимание, вынесли немного, потому что ничего не поняли, он приступил к делу и окончил его гораздо скорее, чем начал.

После этого Джонсу приказали лечь в постель, которую мистер Вестерн предложил ему в своем доме, и приговорили его к кашке.

В числе присутствовавших при вправке кости в зале была и миссис Гонора. Сейчас же по окончании операции ее позвали к госпоже, и на вопрос последней, как себя чувствует молодой джентльмен, она начала изо всех сил расхваливать великодушие, как она выражалась, с которым он держался и которое «уж так было к лицу такому красавчику!». И Гонора разразилась пламенным панегириком красоте Джонса, перечислив все его прелести и закончив описанием белизны его кожи.

Речь эта вызвала изменения на лице Софьи, которые не укрылись бы, может быть, от внимания проницательной горничной, если бы в продолжение своего рассказа она хоть раз взглянула на свою госпожу; но очень удобно стоявшее напротив зеркало предоставило ей случай созерцать черты, которые доставляли ей самое большое наслаждение на свете, так что она ни на минуту не отводила глаз от этого любезного ее сердцу предмета.

Увлечение миссис Гоноры темой своей речи и предметом, находившимся перед ее глазами, позволило госпоже ее оправиться

от смущения; она улыбнулась и сказала горничной, что та, «верно, влюблена в этого молодого человека».

— Я влюблена, сударыня? — отвечала Гонора.— Господь с вами, сударыня! Уверяю вас, сударыня, ей-богу, сударыня, я не влюблена.

— А если бы ты и влюбилась,— продолжала Софья,— не понимаю, чего тут стыдиться. Ведь он молодец хоть куда!

— Да, сударыня,— отвечала горничная,— истинная правда, я в жизнь свою не видела мужчины красивее его, верьте слову, не видела; и, правду говорит ваша милость, не знаю, чего мне стыдиться, если б я полюбила его, хотя он и неровня мне. Ведь господа из такого же мяса и крови, как и слуги. А потом, хоть сквайр Олверти и сделал из мистера Джонса барина, он стоит ниже меня по рождению; я хоть и бедная, а дочь честной женщины: мои батюшка и матушка были повенчаны, а этого иные не могут сказать о своих родителях, хоть и высоко нос задирают. Вот какие дела, доложу вам! Хоть у него и белая кожа — верьте слову, белее я никогда не видывала,— да я такая же христианка, как и он, и никто не смеет сказать, что я подлого звания: дед мой был священник[1] и рассерчал бы на внучку, если б та польстилась на грязные обноски Молли Сигрим.

Может быть, Софья позволила бы миссис Гоноре продолжать в таком же роде, ибо у нее не хватало духу остановить ее расходившийся язычок, что, как может судить читатель, вообще было делом нелегким. Но кое-что в ее речах было столь неприятно для слуха госпожи, что она не вытерпела и остановила поток, которому, казалось, конца не будет.

— Удивляюсь,— сказала она,— откуда это у тебя столько дерзости говорить так о приятеле моего отца! Что же касается девчонки, то приказываю никогда не произносить при мне ее имени. А кому нечем больше попрекнуть молодого джентльмена, кроме его происхождения, пусть лучше молчит, что и тебе советую на будущее время.

— Прошу прощения, что прогневила вашу милость,— отвечала миссис Гонора.— Верьте слову, и я терпеть не могу Молли Сигрим, как и ваша милость. А что я нехорошо сказала о сквайре Джонсе, так призываю всех слуг в свидетели, что, когда заходит между ними речь о незаконнорожденных, я всегда держу его сторону. Кто из вас, говорю я лакеям, не захотел бы быть незаконно-

---

[1] Вот уже второе лицо низкого звания среди героев этой истории, происходящее из духовенства. Нужно надеяться, что в будущем, когда семьи низшего духовенства будут лучше обеспечиваться, такие примеры будут казаться более странными, чем кажутся в настоящее время.

рожденным, если б мог через то стать барином? А чем, говорю, он не барин? Таких белых рук ни у кого на свете не сыщешь, верьте слову, не сыщешь! И такой, говорю, он ласковый, такой добрый; все слуги, говорю, и все соседи кругом любят его. Вот, верьте слову, рассказала бы вашей милости кое-что, да, боюсь, прогневаетесь.

— Что ты рассказала бы, Гонора?— спросила Софья.

— Нет, сударыня, верьте слову, это он без всякого умысла,— так я не хотела бы гневить вашу милость.

— Пожалуйста, расскажи,— настаивала Софья,— я хочу знать сию минуту.

— Извольте, сударыня,— отвечала миссис Гонора.— Вошел он однажды в комнату на прошлой неделе, когда я сидела за шитьем, а на стуле муфта вашей милости лежала, и, верьте слову, засунул в нее руки,— та самая муфта, что ваша милость вчера только мне подарили. «Оставьте, говорю, мистер Джонс, вы растянете барышнину муфту, да и попортите». А он все держит в ней руки, а потом взял да и поцеловал,— верьте слову, отроду такого горячего поцелуя не видывала!

— Должно быть, он не знал, что это моя муфта,— заметила Софья.

— Прошу вашу милость выслушать дальше. Он все целовал да целовал и сказал, что красивее муфты на свете нет. «Полноте, сэр, говорю, вы ее сто раз видели».— «Да, миссис Гонора, говорит, но разве можно заметить что-нибудь прекрасное, когда перед тобой сама красавица?..» Нет, это еще не все, но, я надеюсь, ваша милость не прогневается, ведь, верьте слову, он это только так... Раз ваша милость играли для барина на клавикордах, а мистер Джонс сидел рядом в комнате, грустный такой. «Послушайте, говорю, мистер Джонс, что с вами? О чем так призадумались?» — «Плутовка,— говорит он, очнувшись,— можно ли о чем-нибудь думать, когда ваш ангел барышня играет?» А потом, стиснув мне руку: «Ах, миссис Гонора, говорит, то-то будет счастливец!..» — и вздохнул. А вздох, вот побожусь, душистый, что твой букет! Но, верьте слову, это без всякого умысла. Только, пожалуйста, ваша милость, не проговоритесь: он дал мне крону, чтоб я никому не говорила, и заставил поклясться на книге,—да, кажется, это была не Библия.

Пока не открыли ничего прекраснее алого цвета, я не скажу ни слова о румянце, выступившем на щеках Софьи при этом рассказе.

— Го... но... ра...— проговорила она,— я... если ты не будешь больше говорить об этом мне... и другим тоже, я тебя не выдам... то есть не буду сердиться. Боюсь только твоего языка... Зачем, милая, ты даешь ему столько воли?

— Нет, нет, сударыня,— отвечала Гонора,— скорее я дам его отрезать, чем прогневаю вашу милость. Верьте, словечка не скажу, неугодного вашей милости.

— Так, пожалуйста, больше об этом не рассказывай,— сказала Софья,— а то дойдет до ушей батюшки, и он рассердится на мистера Джонса, хоть я и уверена, что тот, как ты говоришь, делает это без всякого умысла. Я сама рассердилась бы, если бы...

— Нет, нет, ручаюсь вам, сударыня, у него не было никакого умысла. Мне показалось, он словно не в своем уме, да и сам он признался, что он сам себя не помнил, когда говорил эти слова. «Да, сэр, говорю, я тоже так думаю».— «Да, да, Гонора»,— говорит... Прошу прощения у вашей милости. Скорее вырву себе язык, чем прогневаю вас.

— Ничего, продолжай,— отвечала Софья,— если ты еще не все рассказала.

— «Да, говорит, Гонора (это было уже после того, как он дал мне крону), я не хлыщ и не негодяй, чтоб думать о ней иначе, как о богине, которой я буду поклоняться и молиться до последнего моего издыхания». Вот и все, сударыня. Ей-богу, все, больше ничего не припомню. Я сама была на него сердита, пока не убедилась, что у него нет никакого дурного умысла.

— Теперь, Гонора, я верю, что ты действительно меня любишь,— сказала Софья.— Намедни я в сердцах отказала тебе, но если ты хочешь оставаться при мне, так оставайся.

— Верьте слову, сударыня,— отвечала миссис Гонора,— я ввек не пожелаю расстаться с вашей милостью. Верьте слову, я все глаза проплакала, когда вы мне отказали. Нужно быть очень неблагодарной, чтобы пожелать уйти от вашей милости: такого хорошего места мне нигде не найти. Всю жизнь прожить и умереть готова при вашей милости. Правду сказал мистер Джонс, бедняжка: счастливец тот...

Обеденный колокол прервал на этом месте разговор, который произвел столь сильное впечатление на Софью, что утреннее кровопускание оказалось для нее, пожалуй, полезнее, чем она думала во время операции. Что же касается теперешнего состояния души ее, то я придерживаюсь правила Горация: не покушаться на описание чего бы то ни было, если нет надежды на успех. Большая часть читателей легко представит его и собственными силами, а те немногие, которые не могут этого сделать, все равно не поймут его или сочтут неестественным, как бы хорошо я ни изобразил его.

# КНИГА ПЯТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА

## ГЛАВА I

*О серьезном в литературе, и с какой целью оно нами вводится*

Весьма возможно, что наименьшее удовольствие доставят читателю те части этого объемистого произведения, которые стоили автору наибольшего труда. К ним, вероятно, будут причислены вступительные очерки, помещенные нами перед повествовательной частью каждой книги и являющиеся, согласно принятому нами решению, существенно необходимым элементом этого созидаемого нами литературного жанра.

Почему мы пришли к такому решению, этого, строго говоря, объяснять мы не обязаны; довольно будет сказать, что мы положили это необходимым правилом для всякого прозаико-комико-эпического сочинения. Разве кто-нибудь спрашивал, на чем основано строгое единство времени и места, которое признается столь существенным для драматической поэзии? Разве кому-нибудь из критиков задавался когда-нибудь вопрос, почему действие не может продолжаться два дня, а только один или почему зрители (предполагая, что они, подобно избирателям, путешествуют даром) не могут переноситься за пятьдесят миль, а только за пять? Разве хоть один из комментаторов дал толковое объяснение, почему древний критик поставил драме границы, объявив, что она должна иметь не больше и не меньше пяти действий? Разве пыталась хоть одна живая душа понять, что́ разумеют наши нынешние театральные судьи под словом *низкое*, с помощью которого им так счастливо удалось изгнать со сцены всякий юмор и сделать театр скучнее гостиной? Во всех этих случаях люди следуют, по-видимому, правилу нашей юриспруденции, гласящему: cuicunque in arte sua perito credendum est;[1] ведь трудно себе представить, чтобы у

[1] Всякому, опытному в искусстве своем, надлежит верить *(лат.)*.

кого-нибудь хватило бесстыдства устанавливать непреложные законы в какой-либо области науки или искусства без всякого на то основания. Вот почему мы склонны думать, что в основе всех этих законов лежат здравые и разумные причины, хотя мы, к несчастью, не способны проникать взором в такую глубину.

Правду сказать, свет чересчур почтителен к критикам и вообразил их людьми гораздо более глубокими, чем они есть на самом деле. Избалованные такой любезностью, критики бесцеремонно присвоили себе диктаторскую власть, стали господами и имеют дерзость предписывать законы писателям, от предшественников которых сами их получили.

Критик, говоря по совести,— не более чем писец, обязанность которого переписывать правила и законы, устанавливаемые великими судьями, силой гения вознесенными на степень законодателей в различных областях знания. Это все, к чему стремились критики прежнего времени; они не осмеливались высказать ни одного утверждения, не подкрепив его авторитетом судьи, от которого оно позаимствовано.

Но мало-помалу, с наступлением эпохи невежества, писец начал посягать на власть и присваивать права своего господина. Законы литературного произведения стали устанавливаться не творчеством писателя, а предписаниями критика. Писец сделался законодателем; люди, которые первоначально только записывали законы, начали повелительно давать их.

Отсюда проистекло одно очевидное и, может быть, неизбежное недоразумение: названные критики, будучи людьми неблестящих способностей, часто принимали голую форму за сущность. Они действовали подобно судье, который стал бы держаться мертвой буквы закона, совершенно не считаясь с духом его. Незначительные мелочи, может быть, совершенно случайные у великого писателя, рассматривались этими критиками как его главная заслуга и передавались в качестве основных правил, соблюдение которых обязательно для всех последующих писателей. Время и невежество, два великих покровителя обманщиков, придали всем их утверждениям авторитетность, и, таким образом, было установлено множество правил, как следует писать, нисколько не основанных ни на истине, ни на природе и служащих исключительно лишь для того, чтобы стеснять и обуздывать гений, вроде того как стеснили бы балетмейстера самые великолепные трактаты по его искусству, если бы в них выставлялось главным требованием, чтобы каждый человек танцевал в кандалах.

И вот, во избежание всяких упреков в том, что мы устанавливаем для потомства закон, основанный единственно на автори-

тете ipse dixit[1],— к коему, по правде говоря, мы не питаем особенно глубокого уважения,— мы отказываемся от вышеназванной привилегии и представим читателю причины, побудившие нас уснастить последовательное изложение нашей истории некоторым числом отступлений.

Для этого нам поневоле придется вскрыть новую жилу знания, которая хотя давно уже известна, однако, насколько мы припоминаем, еще не разрабатывалась никем из древних или новых писателей. Жила эта—не что иное, как закон контраста; она проходит по всем творениям, и, вероятно, немало способствует образованию в нас идеи красоты как естественной, так и искусственной, ибо что лучше раскрывает красоту и достоинство вещи, как не ее противоположность? Так, красота дня и лета оттеняется ужасами ночи и зимы. И я думаю, что если бы нашелся на свете человек, никогда их не видевший, то он имел бы весьма несовершенное представление об их красоте.

Но не будем пускаться в слишком серьезные материи и возьмем пример из другой области: можно ли сомневаться, что самая красивая женщина на свете лишится всего своего очарования в глазах мужчины, который никогда не видел женщин иной наружности? Дамы и сами, по-видимому, прекрасно это чувствуют, постоянно заботясь о создании выгодного для себя фона; они доходят даже до того, что в такой фон обращают себя самих. Я замечал (особенно в Бате), что по утрам они стараются казаться как можно безобразнее, чтобы тем сильнее поразить вас своей красотой вечером.

Многие художники придерживаются этого правила на практике, хотя, может быть, и редко изучали его в теории. Ювелиры знают, что самый лучший брильянт требует фольги, а живописцы часто стяжают себе похвалы изображением контрастных фигур.

Один великий отечественный гений поможет нам исчерпывающе объяснить это явление. Я не могу, правда, причислить его ни к одной из категорий обыкновенных художников, так как он имеет право занять место среди тех,

Inventas qui vitam excoluere per artes —

«которые украсили жизнь изобретенными ими искусствами»,— я разумею изобретателя изысканнейшего развлечения, известного под названием Английской Пантомимы.

Развлечение это состояло из двух частей: первую изобретатель называл серьезной, вторую — комической. В серьезной

---

[1] Сам сказал *(лат.)*.

части показывалось некоторое количество языческих богов и героев,— вероятно, самое дурное и тупоумное общество, в какое когда-либо попадали зрители,— и все это (тайна, известная лишь немногим) делалось умышленно, для того чтобы выгоднее оттенить комическую часть представления и придать больше яркости проделкам арлекина.

Это было, может быть, не очень учтивым обращением с такими важными особами, но выдумка все же была остроумной, и желательный эффект достигался. Объяснить его легко, стоит только слова «комическое» и «серьезное» заменить словами «глупейшее» и «самое глупое»: комическая часть была, несомненно, глупее всего, что до сих пор показывалось на сцене, и могла вызывать смех только по контрасту с непроходимо глупой серьезной частью. Боги и герои были так нестерпимо серьезны, что арлекину (хотя английский джентльмен, носящий это имя, не имеет ничего общего со своим французским тезкой, будучи гораздо более серьезного нрава) всегда оказывался самый радушный прием, потому что он избавлял зрителей от гораздо худшей компании.

Умные писатели всегда с большим успехом пользовались приемом контраста. Меня очень удивляет, что Гораций придирается за это к Гомеру; правда, в следующей же строке он противоречит себе:

Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus,
Verum opere in longo fas est obrepere somnum.—

«Досадно мне, когда засыпает великий Гомер, хоть и позволительно вздремнуть над длинным трудом». Ведь этого не должно понимать так, как понимают, быть может, иные, будто писателю случается заснуть в то время, как он пишет. Читатели — те действительно весьма подвержены сонливости, но сам автор, хотя бы произведение его было такой же длины, как произведения Олдмиксона, обыкновенно бывает слишком увлечен своим трудом для того, чтобы им могла овладеть даже легкая дремота. Как говорит мистер Поп:

Не дремлет он, читателям чтоб спалось.

Правду сказать, такими снотворными частями нашего произведения являются серьезные места, искусно в него вплетенные с той целью, чтобы по контрасту выгоднее оттенить остальное; в этом и заключается истинный смысл слов одного покойного писателя-шутника, который просил публику помнить, что всякий раз, когда она будет находить его скучным,— это значит, что он умышленно стремится к этому.

В этом свете, или, вернее, в этой темноте, я желал бы, чтобы читатель рассматривал мои вступительные очерки. Если же он и после этого предупреждения будет находить, что серьезного и без того довольно в других частях моей истории, то может пропускать эти введения, в которых мы умышленно стремимся быть скучными, и начинать следующие книги прямо со второй главы.

## ГЛАВА II,

*в которой мистер Джонс принимает во время болезни много дружеских визитов, а также приводится несколько тонких штрихов любовной страсти, едва заметных для невооруженного глаза*

Во время болезни у Тома Джонса перебывало много посетителей, хотя, может быть, не все они были ему приятны. Мистер Олверти навещал его почти каждый день. Но хотя он и соболезновал Тому в постигшем его несчастии и горячо одобрял его рыцарское поведение, послужившее причиной этого несчастия, однако решил воспользоваться благоприятным случаем и образумить молодого человека, считая, что благодетельный совет не может быть преподан более своевременно, чем теперь, когда душа умягчена страданием и болезнью и напугана опасностью и когда внимание ее не поглощено бурными страстями, увлекающими нас в погоню за наслаждением.

Итак, всякий раз, когда добрый сквайр оставался наедине с юношей, особенно когда Том чувствовал себя хорошо, он пользовался случаем напомнить ему о его прежних оплошностях, но с величайшей мягкостью и ласковостью, только с целью предостеречь его на будущее время, говоря, что от него самого всецело зависят и его счастье, и любовь приемного отца, на которую он еще может рассчитывать, если ничем не уронит себя в его мнении; ибо что касается прошлого, то все оно прощено и предано забвению. Поэтому он, Олверти, советует ему извлечь для себя поучение из этого случая, дабы в конечном счете несчастие послужило ему во благо.

Тваком тоже довольно аккуратно навещал Джонса и тоже считал изголовье больного весьма подходящим местом для назиданий. Тон его речи был, однако же, более суровым, чем у мистера Олверти; он говорил своему ученику, что тот должен смотреть на свое увечье как на кару небесную за грехи и что ему надлежит каждодневно на коленях воссылать благодарения за то, что он сломал только руку, а не шею, каковая, наверное, сохранена для другого случая, и случай этот, надо думать, ждать себя не заста-

вит. Он, Тваком, часто удивлялся, почему никакое наказание не постигло Джонса ранее; однако отсюда надо сделать вывод, что десница божия карает хоть иногда и не скоро, но неуклонно. Он советовал ему также ожидать с полной уверенностью еще горших бедствий, которые запоздали, но постигнут закоснелого грешника с такой же неизбежностью, как и это.

— Бедствия эти,— говорил богослов,— могут быть предотвращены лишь глубоким и чистосердечным раскаянием, на какое нельзя надеяться и какого нельзя ожидать от беспутного юноши, развращенного, боюсь я, до мозга костей. Мой долг, однако, увещевать тебя к такому раскаянию, хоть я и прекрасно знаю, что все увещания останутся тщетны и бесплодны. Но libera vi animam meam[1]. Никто не может обвинить меня в нерадении, хоть в то же время я с величайшим прискорбием вижу, что ты прямой дорогой идешь к бедствиям в сей и к погибели в будущей жизни.

Сквейр разглагольствовал совсем в другом духе. Он говорил, что такая случайность, как перелом руки, не стоит внимания мудреца и что ум наш вполне примиряется с такими несчастьями, когда мы рассудим, что они постигают мудрейших из людей и, несомненно, служат для блага человечества. Это простое злоупотребление словами — называть бедствиями вещи, нисколько не нарушающие нравственной гармонии, ибо физическая боль — самое худшее последствие таких случайностей —достойна полнейшего презрения. Он приводил много подобных сентенций, извлеченных из второй части Цицероновых «Тускуланских исследований» и из великого лорда Шефтсбери. Раз он, разгорячившись, даже прикусил себе язык, и так больно, что не только принужден был прекратить свою речь, но в сердцах еще пробормотал какое-то ругательство. Хуже всего было то, что присутствовавший при этом Тваком, который считал все подобные теории языческими и безбожными, воспользовался случаем и объявил, что это не иначе как кара божия. Замечание было сделано с таким злорадством, что философ, и без того раздосадованный тем, что прикусил себе язык, потерял всякое самообладание и, не будучи в состоянии излить гнев свой в словах, вероятно, нашел бы более действительное средство мщения, если бы не вмешательство хирурга, к счастью, оказавшегося в комнате, который водворил мир в ущерб собственным интересам.

Мистер Блайфил посещал своего друга редко и никогда не являлся один. Сей достойный молодой человек, впрочем, выражал на словах большое участие к Джонсу и крайнее прискорбие по поводу постигшего его несчастья, но тщательно избегал всякого

[1] Я облегчил душу свою *(лат.)*.

близкого с ним общения, опасаясь, как он часто намекал, за чистоту своей нравственности; по этому случаю у него постоянно было на языке изречение Соломона о дурном обществе. Не то чтобы он был столь же суров, как Тваком, ибо всегда выражал надежду на исправление Тома; беспримерная доброта, проявленная в настоящем случае дядей, говорил он, должна привести его к таковому, если он не совершенно погибший человек; однако в заключение замечал, что если мистер Джонс и после этого нагрешит, то он, Блайфил, не произнесет больше ни слова в его защиту.

Что же касается сквайра Вестерна, то он редко покидал комнату больного — только в тех случаях, когда выезжал на охоту да сидел за бутылкой. Подчас даже и пиво он пил у Джонса, и тогда стоило немалого труда уговорить его не принуждать Джонса делить с ним бутылку, ибо ни один шарлатан не приписывал своему снадобью такой универсальной целебной силы, как сквайр пиву, которое, по его словам, действовало сильнее целой аптеки. Впрочем, после долгих просьб его удалось отговорить от пользования больного этим лекарством, зато невозможно было удержать сквайра от серенад на охотничьем роге, которые он задавал под окном своего пациента каждое утро перед выездом в поле, и он не отказался также от своей привычки входить в комнату с охотничьим кликом «хэло!», не обращая никакого внимания, спит ли больной или нет.

Это шумное поведение, чуждое, однако, всякого дурного умысла, к счастью, нисколько не повредило Джонсу и было щедро вознаграждено посещением Софьи, которую сквайр привел к больному, как только тот начал вставать с постели. Через короткое время Джонс уже мог провожать ее до клавикордов, и она любезно соглашалась по целым часам услаждать его превосходнейшей музыкой, прерывая ее только по требованию сквайра, когда тому приходила охота послушать «Сэра Саймона» или другую из своих любимых песенок.

Несмотря на все старания Софьи наблюдать за собой как можно строже, она не в силах была подавить прорывавшихся порой знаков своего чувства,— ибо любовь может быть уподоблена болезни также и в том, что когда ей не дают выхода в одном месте, она обязательно пробивается в другом. О чем молчали уста Софьи, то выдавали ее глаза, румянец и множество едва заметных невольных движений.

Однажды, когда Софья играла на клавикордах, а Джонс слушал, в комнату вошел сквайр, крича:

— А я выдержал из-за тебя баталию с этим толстым попом Твакомом, Том! Он только что сказал Олверти в моем присутствии, что сломанная кость—это ниспосланная тебе небесная кара.

«Враки, говорю, как это может быть? Ведь он сломал руку, когда спасал девушку!» Вот сморозил! Тьфу! «Да если мальчик в чем-нибудь не проштрафится, то попадет на небо скорее, чем все попы на свете! Ему гордиться надо своим поступком, а не стыдить его!»

— Полноте, сэр,— отвечал Джонс,— тут нечем гордиться и нечего стыдиться; но если я спас мисс Вестерн, то всегда буду считать это счастливейшим событием в моей жизни.

— И за это натравливать Олверти на тебя! Если бы не бабьи юбки на этом попе, задал бы я ему трепку! Потому что я люблю тебя сердечно, паренек, и разрази меня гром, если я не сделаю для тебя всего, что в моей власти! Выбирай себе завтра любую лошадь в моей конюшне, только не Рыцаря и не Мисс Слауч.

Джонс поблагодарил сквайра, но отказался от подарка.

— Ну так возьми гнедую кобылу, на которой ездила Софья,— не унимался сквайр.— Она стоила мне пятьдесят гиней, и этой весной ей будет только шесть лет.

— А по мне, если б она стоила хоть тысячу гиней,—с жаром воскликнул Джонс, — я отдал бы ее собакам на растерзание!

— Фу! Фу! — вознегодовал Вестерн.— Неужели за то, что она сломала тебе руку? Забудь и прости ей. Какой же ты после этого мужчина, если сердишься на бессловесное животное!

Тут вмешательство Софьи прекратило разговор: девушка попросила у отца позволения поиграть ему, а в этой просьбе он ей никогда не отказывал.

Софья в продолжение только что изложенного разговора не раз менялась в лице; видимо, она объясняла раздражение и гнев Джонса на кобылу совсем другими причинами, чем ее отец. Она была в явном возбуждении и играла так невыносимо плохо, что если бы Вестерн вскоре не заснул, то он непременно заметил бы это. Но Джонс бодрствовал, и его слух был напряжен не меньше, чем зрение; он сделал кое-какие наблюдения и, сопоставив их со всем тем, что случилось ранее и уже известно читателю, и мысленно охватив взором все эти мелочи, пришел к твердому убеждению, что в нежном сердце Софьи не все благополучно. Многие молодые джентльмены, несомненно, будут крайне удивлены, почему он не догадался об этом гораздо раньше. Если хотите знать правду, так это объяснялось его застенчивостью и недостаточной предприимчивостью при виде авансов молодой дамы — недостаток, от которого можно излечиться только ранним городским воспитанием, вошедшим ныне везде в большую моду.

Всецело завладев умом Джонса, мысли эти произвели в нем большое смятение, которое в натуре, не столь чистой и твердой, могло бы в таком возрасте привести к весьма опасным последствиям. Он ясно сознавал высокие достоинства Софьи. Ему чрез-

вычайно нравилась внешность девушки, он дивился ее способностям и нежно любил в ней доброту. В действительности же, никогда не лелея мысли обладать ею и ни разу не дав волю своему влечению, он был влюблен в нее гораздо сильнее, чем сам о том подозревал. Сердце раскрыло ему эту тайну в тот момент, когда оно его уверило, что обожаемый предмет отвечает ему взаимностью.

## ГЛАВА III,

*о которой люди без сердца подумают: много шуму из ничего*

Читатель, может быть, вообразит, что чувства, пробудившиеся теперь в Джонсе, были так сладки и так приятны, что скорее могли вызвать в его душе радостную безмятежность, чем породить какое-нибудь из только что упомянутых опасных следствий; в действительности, однако, чувства этого рода, несмотря на всю свою сладостность, отличаются при своем появлении весьма бурным характером и действуют далеко не усыпительно. Кроме того, в настоящем случае некоторые обстоятельства придавали им горечь и, смешиваясь с более сладкими ингредиентами, составляли в целом микстуру, которая может быть названа горько-сладкой; если ничего не может быть неприятнее для вкуса, то, в метафорическом смысле, ничего не может быть несноснее для души.

Прежде всего, хотя он имел достаточно оснований гордиться всем подмеченным им в Софье, однако не вполне еще освободился от сомнений: а вдруг он ошибается и принимает сострадание или, в лучшем случае, уважение за другое, более теплое чувство? Он был далек от уверенности в том, что Софья настолько к нему расположена, чтобы влечение его могло рассчитывать на ту жертву, какой оно в конце концов потребовало бы, если бы он стал его поощрять и питать надеждами. Кроме того, если бы даже он мог надеяться, что не встретит препятствия к своему счастью со стороны дочери, то нисколько не сомневался в том, что натолкнется на самое решительное противодействие со стороны отца. Правда, в своих развлечениях мистер Вестерн был простым деревенским сквайром, но во всем, что касалось его состояния, вел себя как человек вполне светский; он горячо любил свою единственную дочь и часто за бокалом вина говорил об удовольствии видеть ее замужем за кем-нибудь из первых богачей графства. Джонс не был настолько тщеславным и пустоголовым фатом, чтобы ожидать, что из расположения к нему, в котором Вестерн так часто признавался, сквайр способен будет пренебречь своими видами на партию дочери; он прекрасно знал, что состояние является обыкновенно

главным, если не единственным обстоятельством, с которым считаются в этих делах лучшие родители; дружба побуждает нас горячо принимать к сердцу интересы наших друзей, но относится очень холодно к угождению их страстям. Ведь для того чтобы понимать, какое счастье это может доставить другому, надо самому загореться его страстью. А так как Джонс не надеялся на согласие отца Софьи, то считал, что стараться достигнуть своей цели помимо него и таким образом разрушить заветную мечту жизни мистера Вестерна значило бы злоупотребить его гостеприимством и отплатить неблагодарностью за все его многочисленные (хотя и грубоватые) ласки. Но если он не мог думать об этом без самого крайнего отвращения, то насколько же сильнее удерживали его отношения к мистеру Олверти, которому он был обязан больше, чем родному отцу, и к которому питал более чем сыновнее почтение! Он знал, что низость и предательство до такой степени противны его доброму сердцу, что малейшая попытка в этом роде сделает присутствие виновного невыносимым для его зрения, а имя его ненавистным для его слуха. Одних этих непреодолимых затруднений было достаточно для того, чтобы наполнить Тома отчаянием, какими бы пылкими ни были его желания; но даже и пыл их охлаждался состраданием к другой женщине. Образ любезной Молли возник перед его взором. В ее объятиях он клялся ей в вечной верности, и она тоже божилась, что не переживет его измены. Молли рисовалась ему в мучительной предсмертной агонии и, хуже того,— в ужасном положении проститутки, которое ей теперь угрожало и в котором он вдвойне был бы виновен: во-первых, потому, что соблазнил ее, а во-вторых, потому, что покинул, ибо Джонс хорошо знал, как ненавидят ее все соседи и даже родные сестры и как рады они будут растерзать ее на клочки. Ведь он не столько подверг ее позору, сколько сделал предметом зависти или, лучше сказать, подверг позору, порожденному завистью: многие женщины бранили ее потаскухой и в то же время смотрели с завистью на ее любовника и ее наряды и с удовольствием приобрели бы и то и другое за ту же цену. Таким образом, гибель бедной девушки казалась ему неизбежной, в случае если он покинет ее, и эта мысль жестоко терзала Джонса. Бедность и несчастие, по его мнению, не давали ему никакого права еще более отягчать эти бедствия. Низкое происхождение Молли ничуть не уменьшало их в его глазах и не оправдывало, даже не смягчало его вины, заключавшейся в том, что он навлек их на нее. Но что я говорю об оправдании! Его собственное сердце не позволило бы ему погубить человеческое существо, которое, думал он, любит его и пожертвовало ради этой любви своей невинностью. Его собственное сердце выступило на защиту, и не в роли бездушного наемного адвоката, а в роли кровно за-

интересованного в деле ходатая, который болезненно чувствует все страдания, причиненные его клиентом подсудимому.

Пробудив в Джонсе живую жалость картиной горя и несчастий бедной Молли, этот могучий адвокат призвал на помощь другую страсть и представил девушку во всем блеске молодости, здоровья и красоты, привлекательность которых, по крайней мере для доброго сердца, еще больше увеличивалась возбуждаемым ею состраданием.

В таких мыслях бедный Джонс провел долгую бессонную ночь, и наутро результатом их было решение не покидать Молли и не думать больше о Софье.

В этой добродетельной решимости он пребывал целый день до рокового вечера, лелея образ Молли и прогоняя всякую мысль о Софье; но вечером одно ничтожное происшествие снова привело в смятение его чувства и произвело в его образе мыслей такую существенную перемену, что мы считаем долгом рассказать об этом в новой главе.

## ГЛАВА IV

*Маленькая глава, которая содержит одно маленькое происшествие*

В числе прочих гостей, навещавших молодого джентльмена во время его болезни, была и миссис Гонора. Припоминая некоторые выражения, сорвавшиеся у нее в разговоре с Софьей, читатель, может быть, вообразит, что сама она была неравнодушна к мистеру Джонсу. Ничуть не бывало. Том был красивый юноша, а к красавцам миссис Гонора относилась с некоторым вниманием, но это внимание распространялось на них всех без различия. Дело в том, что, испытав неудачу в своей любви к лакею одного знатного барина, который бессовестно ее бросил, пообещав жениться, она так заботливо собрала обломки своего разбитого сердца, что ни одному мужчине не удалось с тех пор овладеть ни малейшим его кусочком. Она смотрела на всех красивых мужчин с одинаковым вниманием и приветливостью, вроде того как здравомыслящие и добродетельные люди смотрят на все доброе. Можно сказать, что она любила мужчин той любовью, какой Сократ любил человечество, отдавая предпочтение одному перед другим за телесные, как Сократ за духовные, качества; но предпочтение это никогда не простиралось так далеко, чтобы возмутить философскую ясность ее духа.

На другой день после пережитой Джонсом борьбы, которую мы описали в предыдущей главе, миссис Гонора вошла к нему в комнату и, застав его одного, сказала:

— Ну, как вы думаете, сударь, где я была? Бьюсь об заклад, что в пятьдесят лет не отгадаете; да если б и отгадали, так, верьте слову, я не должна вам этого говорить.

— Вот потому-то, что вы не должны, мне и хочется допросить вас,— отвечал Джонс.— И я уверен, вы не будете настолько жестоки, чтобы отказать мне.

— И правда, зачем вам отказывать? Ведь вы, верно, никому не перескажете. Да если и узнаете, где я была, но не узнаете зачем, так это мало что значит. И почему мне держать это в тайне? Право же, она самая добрая госпожа на свете.

Тут Джонс начал усердно просить, чтобы она открыла ему эту тайну, поклявшись, что будет свято хранить ее.

— Изволите ли видеть, сударь,— сообщила Гонора,— госпожа моя послала меня к Молли Сигрим разузнать, не нужно ли чего этой девчонке. Верьте слову, уж так не хотелось мне идти, но ничего не поделаешь: слуги должны исполнять, что им приказано... И как только вы могли так унизиться, мистер Джонс?.. Словом, госпожа моя велела мне снести ей белья и еще кой-чего. Слишком она добрая. Таких негодниц надо в исправительный дом, это им на пользу пойдет... Я и говорю барышне: ваша милость потакаете праздности.

— Неужели моя Софья была настолько добра? — воскликнул Джонс.

— «Моя Софья»! Скажите пожалуйста! — отвечала Гонора.— Ах, если бы вы знали все... Право, будь я мистером Джонсом, так я метила бы чуточку повыше, чем на такую дрянь, как Молли Сигрим.

— Что вы хотите этим сказать: если бы я знал все? — спросил Джонс.

— Да уж что хочу, то и хочу,— отвечала Гонора.— Помните, как вы засунули однажды руки в муфту моей госпожи? Ей-богу, охотно рассказала бы вам все, если б знала, что не дойдет до барышни.

Джонс произнес несколько торжественных клятв, и Гонора продолжала:

— Верьте слову, барышня подарила мне эту муфту, а потом, когда услышала, что вы сделали...

— Так вы рассказали ей? — перебил ее Джонс.

— Да хоть бы и рассказала, все-таки сердиться вам нечего, сударь. Многие господа головы своей не пожалели бы, только бы кто-нибудь рассказал об этом моей госпоже,— кабы они знали... ей-богу, первый лорд в королевстве мог бы гордиться... Нет, ни слова больше вам не скажу.

Джонс принялся упрашивать, и ему не понадобилось для этого много времени.

— Извольте знать, сударь, что барышня подарила эту муфту мне,— продолжала Гонора,— а через два-три дня, когда я ей все рассказала, она возьми и рассердись на свою новую муфту — а уж на что красивая, лучшей и не сыскать. «Гонора, говорит, препротивная эта муфта слишком велика мне, не могу носить ее; покамест достану другую, отдай мне старую, а вместо нее можешь взять эту». Барышня ведь добрая: подарила что-нибудь, так уж ни за что не возьмет назад. Ну, понятное дело, отдала я ей муфту; и с тех пор она, кажется, ни на минуту с ней не разлучается, а когда никто не видит, так все целует ее и целует...

Тут разговор был прерван появлением мистера Вестерна, который пришел звать Джонса послушать клавикорды; и бедный юноша последовал за ним, бледный и дрожащий. Вестерн это заметил, но, заставши у Джонса Гонору, приписал его растерянность совсем другой причине: крепко ругнув Тома, он полушутливо-полусерьезно посоветовал ему охотиться где-нибудь подальше и не воровать дичь в его заповеднике.

Софья была в этот вечер еще красивее, чем обыкновенно, и, надо думать, еще больше прелести придавала ей в глазах Джонса надетая на правую руку хорошо знакомая нам муфта.

Она играла одну из любимых песенок отца, а сквайр слушал, облокотившись на спинку стула, как вдруг муфта соскользнула ей на пальцы и помешала играть. Это так рассердило сквайра, что он выхватил у дочери муфту и с крепким ругательством бросил ее в камин. Софья моментально вскочила и с большой поспешностью спасла муфту из пламени.

Случай этот большинству наших читателей покажется, вероятно, ничтожным, но он произвел на Джонса потрясающее впечатление, так что мы сочли долгом рассказать о нем. По правде говоря, недальновидные историки слишком часто опускают разные мелочи, из которых вырастают события чрезвычайной важности. Ведь мир похож на огромную машину, в которой движение сообщается большим колесам самыми маленькими, заметными только для очень острого зрения.

Так, никакие прелести несравненной Софьи — ни ослепительный блеск и томная нежность ее глаз, ни мелодичность голоса и стройность стана, ни ум, ни доброта, ни возвышенность мыслей, ни ласковость — не были в состоянии покорить и поработить сердце бедного Джонса так совершено, как это маленькое происшествие с муфтой. То же самое поэт мелодически поет о Трое:

...captique dolis lacrimisque coacti
Quos neque Tydides, nec Larissaeus Achilles
Non anni domuere decem, non mille carinae.

...обманом пленив и слезами подвигнув,
Нас, кого одолеть ни Тидид, ни Ахилл Лариссейский
Не были в силах, ни десять лет, ни тысяча килей.

Крепость Джонса взята была врасплох. Все доводы чести и благоразумия, которые герой наш только что расставил на подступах к своему сердцу по всем правилам военного искусства, бежали со своих позиций, и бог любви с торжеством вступил в оставленные владения.

## ГЛАВА V

*Очень длинная глава, которая содержит очень важное происшествие*

Но хотя победоносный бог легко изгнал из сердца Джонса своих заклятых врагов, ему было гораздо труднее вытеснить гарнизон, который он сам когда-то туда поставил. Говоря без аллегорий, мысль о судьбе бедной Молли сильно тревожила и смущала достойного юношу. Несравненные достоинства Софьи совершенно затмили или, лучше сказать, упразднили все прелести бедной девушки; но любовь заменилась не презрением, а состраданием. Джонс был убежден, что Молли отдала ему все свое сердце и что все ее надежды на будущее счастье сосредоточены только в нем. Он дал ей для этого все основания своими бурными ласками и нежным вниманием, в неизменности которого уверял ее при всяком случае. Она же, с своей стороны, постоянно говорила ему о непоколебимой вере в его обещания и с торжественными клятвами заявляла, что от исполнения или нарушения этих обещаний будет зависеть, быть ли ей счастливейшей или несчастнейшей из женщин. Между тем мысль о том, что он может явиться виновником тягчайшего для человека горя, была для него совершенно невыносима. Он видел в Молли женщину, пожертвовавшую ему всем, что находилось в ее маленькой власти, поплатившуюся за доставленное ему наслаждение и, может быть, в эту самую минуту вздыхающую и тоскующую о нем. «Так неужели же,—говорил он себе,— мое выздоровление, которого она желала так пламенно, неужели мое свидание с ней, которого она ждала с таким нетерпением, должны принести ей вместо предвкушаемой радости одно только горе и разочарование? Неужели я способен быть таким негодяем?» Но в минуты, когда добрый гений бедной Молли, казалось, уже торжествовал, в сердце юноши вторгалась любовь Софьи, в которой он больше не сомневался, и сметала на пути своем все препятствия.

Наконец ему пришло на мысль, нельзя ли вознаградить Молли другим способом, именно — подарить ей достаточную сумму денег.

Однако он почти отчаивался в ее согласии, припоминая, как часто и с каким жаром она уверяла его, что целый мир не вознаградит ее за его потерю. Лишь крайняя бедность Молли и особенно ее непомерное тщеславие (кое-какие примеры которого были уже приведены читателю) подавали ему слабую надежду, что, несмотря на все ее уверения в любви до гроба, со временем она, может быть, согласится принять денежное вознаграждение, которое польстит ее тщеславию, возвысив ее над людьми ее круга. Джонс решил при первом же удобном случае сделать ей такое предложение.

И вот однажды, когда рука его уже настолько зажила, что он мог свободно ходить, подвязав ее шарфом, он воспользовался выездом сквайра на охоту и посетил свою любезную. Ее мать и сестры, которых он застал за чаепитием, сказали ему сперва, что Молли нет дома; но потом старшая сестра с ехидной улыбкой сообщила, что она наверху, в постели. Том ничего не имел против того, чтобы застать свою любовницу в этом положении, и мигом взбежал по лестнице, которая вела к ее спальне; но, дойдя до двери, к великому своему изумлению, увидел, что она заперта, и долго не мог даже добиться никакого ответа изнутри, потому что Молли, как она сказала потом, спала мертвым сном.

Замечено, что безутешное горе и бурная радость действуют на человека почти одинаково, и когда они обрушиваются на нас врасплох, то могут вызвать такое потрясение и замешательство, что мы часто лишаемся всех своих способностей. Поэтому нет ничего удивительного, что неожиданное появление мистера Джонса так сильно поразило Молли и привело ее в такое смущение, что в течение нескольких минут она не в силах была выразить восторг, какого читатель вправе ожидать от нее в этом случае. Что же касается Джонса, то он был до такой степени захвачен и как бы очарован присутствием любимой женщины, что на время забыл о Софье, а следовательно — и о цели своего визита.

Скоро, впрочем, он опомнился; и когда первые бурные проявления радости любовников по случаю их встречи миновали, он постепенно перевел разговор на роковые последствия, ожидающие их любовь, если мистер Олверти, настрого запретивший ему с ней видеться, узнает, что связь их продолжается. Если же это произойдет, сказал Джонс,— а враги его, наверное, постараются довести обо всем до сведения сквайра,—тогда его, а следовательно, и ее гибель неминуема. Но раз уж суровая судьба определила им разлуку, то он советует ей перенести ее мужественно и клянется, что в течение всей своей жизни не пропустит ни одного случая доказать ей искренность своей привязанности, обеспечив ее так, как она никогда не ожидала и даже, может быть, не желала, если когда-

нибудь это будет в его власти. Заключил он свою речь выражением уверенности, что она вскоре найдет себе мужа, который сделает ее гораздо счастливее, чем она могла бы быть, продолжая свою позорную связь с ним.

Несколько мгновений Молли молчала, а потом, залившись слезами, начала корить его:

— Так вот какова ваша любовь ко мне: погубили, а теперь бросаете! А сколько раз, когда я, бывало, говорила вам, что все мужчины обманщики и клятвопреступники и тяготятся нами, едва только добились от нас удовлетворения своих грязных желаний,— сколько раз вы клялись, что никогда меня не покинете! И после этого вы способны на такое вероломство? Что для меня все богатства мира без вас, когда вы похитили мое сердце,— да, похитили, похитили... К чему эти речи о другом мужчине? Пока я жива, я больше не полюблю другого. Другие мужчины для меня не существуют. Пусть самый первый сквайр в государстве придет ко мне завтра свататься, я с ним и разговаривать не стану. С этих пор я буду из-за вас ненавидеть и презирать всех мужчин на свете...

Так она причитала, как вдруг одно происшествие остановило ее речь на самой середине. Комната или, лучше сказать, чердак, где лежала Молли, находился на втором этаже, то есть под самой крышей, и благодаря покатым стенам напоминал своей формой прописную греческую дельту. Английский читатель, может быть, еще лучше представит себе его, если мы скажем, что на нем можно было стоять, на сгибаясь, только посредине. Так как в этом помещении не было стенного шкафа, то взамен его Молли приколотила к стропилам старый плед, прикрывавший небольшое углубление, в котором висели и были защищены от пыли лучшие принадлежности ее туалета, вроде остатков знакомого нам нарядного платья, нескольких чепчиков и других вещиц, которыми она недавно обзавелась.

Этот завешенный угол был расположен в ногах кровати, непосредственно примыкая к ней, так что плед в некотором роде заменял недостающий полог. И вот то ли сама Молли в порыве бешенства толкнула его ногами, то ли задел его Джонс или же гвоздь или булавки вывалились сами собой, не могу сказать наверное, только при последних словах Молли злополучный плед упал, открыв все, что было за ним спрятано, и среди разной женской рухляди там оказался (со стыдом пишу я, и с прискорбием вы прочтете)... философ Сквейр в самой смешной позе, какую можно себе представить (так как ограниченность места не позволяла ему стоять прямо).

Поза эта весьма близко напоминала позу человека, посаженного на кол, в которой мы часто видим молодцов на улицах Лон-

дона, не отбывающих наказание, но вполне его заслуживающих за такую непринужденность. На голове философа был ночной чепец Молли, а широко раскрытые глаза его были в минуту падения пледа уставлены прямо на Джонса, так что если связать с внезапно представшей фигурой мысль о философии, то едва ли кто-нибудь при таком зрелище мог бы удержаться от громкого хохота.

Я не сомневаюсь, что изумление читателя не уступит изумлению Джонса, ибо мысли, невольно порождаемые появлением степенного философа в таком месте, с трудом можно совместить с тем представлением о его характере, какое, наверное, сложилось у каждого читателя.

Однако, говоря по правде, эта несовместимость скорее воображаемая, чем действительная. Философы состоят из такой же плоти и крови, как и остальные люди, и как бы ни были возвышенны и утонченны их теории, на практике они так же подвержены слабостям, как и все прочие смертные. Действительно, вся разница, как мы сказали, состоит только в теории, но не в практике, ибо хотя эти великие существа мыслят гораздо лучше и мудрее, но поступают совершенно так же, как и другие люди. Они прекрасно знают, каким образом обуздывать желания и страсти и презирать боль и удовольствие, и знание это, приобретаемое без труда, способствует многим приятным размышлениям; однако его практическое применение стеснительно и неудобно, так что та же самая мудрость, которая научает их ему, научает их также избегать применения его на деле.

Мистер Сквейр был в церкви в то самое воскресенье, когда, как благоволит припомнить читатель, появление Молли в щегольском платье наделало столько шуму. Там он впервые увидел ее и был так пленен ее красотой, что уговорил молодых людей повоpотить во время прогулки на другую дорогу, надеясь проехать мимо дома Молли и таким образом получить случай еще раз увидеть ее. Но так как в то время он никому не сказал о своих намерениях, то и мы не сочли нужным изложить их читателю.

В числе прочих частностей, нарушавших, по мнению мистера Сквейра, гармонию вещей, находились также опасность и трудность. Поэтому трудность, с которой, как ему казалось, было сопряжено обольщение этой девицы, и опасность, угрожавшая его репутации в случае огласки, так сильно его расхолаживали, что, по всей вероятности, он сначала намеревался ограничиться приятными мыслями, возбуждаемыми в нас созерцанием красоты. Ведь самые степенные люди, насытившись серьезными размышлениями, частенько не прочь полакомиться на десерт клубничкой; вот почему некоторые книжки и картинки находят себе приют в укромных уголках их рабочего кабинета и некоторые скором-

ные части естествознания нередко служат главной темой их разговоров.

Но, прослышав дня через два, что твердыня добродетели уже взята, философ начал давать больше простора своим желаниям: он не принадлежал к числу тех привередливых людей, которые не прикасаются к лакомству, потому что другой уже отведал его. Словом, потеря невинности делала красотку в его глазах лишь привлекательнее, так как невинность служила бы преградой для его вожделений. Он приволокнулся и достиг цели.

Читатель ошибается, если думает, что Молли предпочла Сквейра своему более юному любовнику. Напротив, если бы ей пришлось ограничить выбор только одним, то победа, несомненно, была бы одержана Томом Джонсом. Мистер Сквейр не был также обязан своим успехом и той истине, что два лучше одного (хотя она имела свой вес). Решающим обстоятельством было отсутствие Джонса во время болезни; этим перерывом и воспользовался философ: несколько удачно сделанных подарков настолько смягчили и обезоружили сердце красавицы, что при первом же благоприятном случае Сквейр восторжествовал над жалкими остатками добродетели, еще хранившимися в груди Молли.

Джонс явился к своей любовнице недели через две после этой победы и как раз в ту минуту, когда она была в постели со Сквейром. Поэтому-то мать и сказала ему, что Молли нет дома: старуха получала свою долю от доходов дочери и всячески ее поощряла и покровительствовала ей. Однако старшая сестра полна была такой зависти и ненависти к Молли, что, несмотря на то что ей кое-что перепадало, охотно пожертвовала бы этим, лишь бы погубить сестру и подорвать ее промысел,— вот почему она открыла Джонсу, что Молли наверху в постели: она надеялась, что он застанет ее в объятиях Сквейра. Но так как дверь была заперта, то Молли удалось это предотвратить: она упрятала своего любовника за плед или одеяло в тот угол, где он и был теперь так несчастливо обнаружен.

Едва только Сквейр появился на сцену, как Молли снова бросилась в постель с криком, что она погибла, и предалась отчаянию. Бедняжка была новичком в своем деле и не приобрела еще спокойной уверенности, выручающей столичную даму при самых рискованных обстоятельствах, либо подсказывая ей оправдание, либо внушая самый вызывающий образ действий с мужем, который из любви к спокойствию или из страха за свою репутацию,— а иногда, может быть, и из страха перед любовником, если, подобно мистеру Константу в театральной пьесе, тот носит шпагу,— рад бывает закрыть на все глаза и спрятать рога в карман. Молли, напротив, онемела при появлении этой живой улики и честно отказалась за-

щищать дело, которое за минуту перед тем отстаивала с обильными слезами и торжественными и пылкими уверениями в преданнейшей любви и верности.

Замешательство джентльмена, скрывавшегося за занавесом, было немногим меньше. Некоторое время он оставался без движения и, казалось, совершенно не знал, что сказать и куда устремить свои взоры. Джонс, изумленный, может быть, больше всех троих, первый обрел дар речи; живо оправившись от неприятных ощущений, вызванных упреками Молли, он разразился громким хохотом и затем с поклоном подошел и подал Сквейру руку, чтобы освободить его из заключения.

Выйдя, таким образом, на середину комнаты, где он только и мог разогнуться, Сквейр серьезно посмотрел на Джонса и сказал:

— Я вижу, сэр, что вы очень обрадованы этим великим открытием и, готов поклясться, с восторгом выставите меня на позор. Но если разобрать дело беспристрастно, то выйдет, что достойны порицания только вы. Я не виновен в обольщении невинности. Я не совершил ничего такого, за что та часть человечества, которая судит на основании закона справедливости, могла бы осудить меня. Гармония определяется природой вещей, а не обычаями, формальностями или гражданскими законами. Только неестественное нарушает ее.

— Отличное рассуждение, дружище! — отвечал Джонс.— Только почему ты думаешь, что я намерен выставлять тебя на позор? Право, никогда в жизни ты не доставлял мне такого удовольствия, и если ты сам не вздумаешь проболтаться, то это дело останется глубокой тайной для всех.

— О нет, мистер Джонс,— сказал Сквейр,— не думайте, что я так мало дорожу своей репутацией. Добрая слава есть род прекрасного καλον, и пренебрежение ею нисколько не способствует общей гармонии. Кроме того, губить свою репутацию — значит совершать в некотором роде самоубийство, порок гнусный и презренный. Поэтому, если вы находите нужным молчать о моей слабости (а я тоже не без слабостей, ибо нет человека совершенно совершенного), то обещаю вам, что и я себя не выдам. Есть вещи, делать которые вполне пристойно — непристойно лишь ими хвастаться, ибо свет обладает таким превратным суждением о вещах, что часто подвергает порицанию то, что по существу не только невинно, но и похвально.

— Правильно! — воскликнул Джонс.— Что может быть невиннее снисходительности к природному влечению? И что может быть похвальнее размножения рода человеческого?

— Если говорить серьезно,— отвечал Сквейр,— то я всегда держался такого мнения.

— А между тем,— возразил Джонс,— вы говорили совсем иное, когда стали известны мои отношения с этой девушкой!

— Что ж, я должен сознаться,— сказал Сквейр,— поскольку этот поп Тваком представил мне дело в ложном свете, я мог осудить обольщение невинности,— да, так это было, сэр, именно так... именно так. Ибо вы должны знать, мистер Джонс, что в рассуждении гармонии ничтожнейшие обстоятельства — да, сэр, ничтожнейшие обстоятельства — порождают великие изменения.

— Ладно, пусть себе порождают! — воскликнул Джонс.— Помните только, что, как я вам сказал, вы сами будете виноваты, если узнают об этом приключении. Ведите себя благородно с этой девушкой, и я никому не обмолвлюсь ни одним словом о случившемся. А ты, Молли, будь верна своему другу, и я не только прощу тебе твою измену, но и буду помогать тебе, чем могу.

С этими словами он быстро попрощался и, сбежав с лестницы, удалился скорыми шагами.

Сквейр был в восторге оттого, что приключение не имело худших последствий, а что касается Молли, то, оправившись от смущения, она первым делом принялась упрекать философа за то, что из-за него она потеряла Джонса; но этот джентльмен скоро нашел средство успокоить ее гнев — частью ласками, а частью лекарством, вынутым из кошелька и обладающим чудодейственной и испытанной силой прогонять дурное расположение духа и возвращать веселость и добродушие.

После этого Молли стала в изобилии расточать нежности своему новому любовнику, обратила в шутку все сказанное ею Джонсу, высмеяла самого Джонса и поклялась, что хотя тот и обладал ее телом, однако Сквейр является единственным обладателем ее сердца.

## ГЛАВА VI,

*при сравнении коей с предшествующей читатель, вероятно, исправит кое-какие ошибочные применения слова «любовь», в которых он прежде был повинен*

Измена Молли, обнаруженная Джонсом, оправдала бы, может быть, в нем и гораздо большее раздражение, чем то, которое он выказал; и если бы он покинул ее в ту минуту, то, мне кажется, очень немногие стали бы порицать его.

Несомненно, однако, что он смотрел на девушку с состраданием, и хотя любовь его к Молли была не такова, чтобы ее неверность могла сильно его расстроить, но все же он немало смущался при мысли, что был ее первым обольстителем, ибо

этому обольщению приписывал он ту легкость, с какой она теперь вступила, казалось, на путь порока.

Мысль эта порядком его мучила, пока наконец несколько времени спустя старшая сестра Бетти, по доброте своей, не успокоила его совершенно, дав понять, что первым обольстителем Молли был вовсе не он, а некий Виль Барнес и что ребенок, которого он до сих пор с полной уверенностью считал своим, может, по меньшей мере с таким же правом, считаться произведением Барнеса.

Джонс рьяно пустился по этому следу, едва только напал на него, и через короткое время вполне убедился в том, что Бетти сказала ему правду: ручательством служило признание не только Барнеса, но и самой Молли.

Этот Виль Барнес был деревенский сердцеед, и трофеев у него было не меньше, чем у какого-нибудь лихого прапорщика или судейского писаря. Он толкнул нескольких женщин на путь порока, нескольким разбил сердца и удостоился чести быть причиной насильственной смерти одной бедной девушки, которая или утопилась, или, что более вероятно, была им утоплена.

В числе побед этого молодчика было и покорение сердца Бетти Сигрим. Он волочился за ней еще задолго до того, как Молли созрела для этого приятного времяпрепровождения, но потом ее бросил и принялся за младшую сестру, у которой сразу же добился успеха. По правде говоря, Виль был единственным обладателем сердца Молли, тогда как Джонс и Сквейр были почти в равной мере жертвами ее гордости и ее корысти.

Вот откуда проистекала лютая ненависть, бушевавшая, как мы видели, в груди Бетти; мы не сочли нужным указать на этот источник раньше, так как все упомянутые нами проявления ненависти можно было удовлетворительно объяснить одной завистью.

Итак, проникнув в эту тайну, Джонс совершенно успокоился насчет Молли; но что касается Софьи, то тут он был очень далек от покоя и, напротив, находился в сильнейшем возбуждении: сердце его, если можно употребить такую метафору, было начисто эвакуировано, и Софья полностью завладела им. Любовь его была безгранична, и он ясно видел, что и Софья питает к нему нежные чувства; однако уверенность эта нисколько не прибавляла надежды добиться согласия ее отца и не ослабляла отвращения овладеть ею каким-либо низким или предательским способом.

Мысль об оскорблении, которое он неминуемо нанесет этим мистеру Вестерну, и огорчении, которое доставит мистеру Олверти, мучила его все дни и не давала покоя ночью. Жизнь его превратилась в непрерывную борьбу между честью и влечением сердца,

в которой попеременно брало верх то одно, то другое чувство. В отсутствие Софьи он не раз принимал решение покинуть дом ее отца и больше ее не видеть и столько же раз в ее присутствии забывал все эти решении и готов был добиваться ее руки, рискуя жизнью и жертвуя вещами, которые были для него еще дороже.

Скоро стали явственно и резко сказываться следствия этой душевной борьбы: исчезла обычная живость и веселость Джонса, он сделался не только грустен наедине, но также угрюм и рассеян в обществе, и когда, в угоду мистеру Вестерну, насильно старался быть веселым, принужденность бывала так очевидна, что скрываемые им чувства лишь ярче проступали под маской показных.

Очень трудно решить, что изменяло ему больше: искусство, к которому он прибегал с целью скрыть свою страсть, или способы ее обнаружения, постоянно применяемые честной натурой; ибо в то время как это искусство заставляло его быть более чем когда-либо сдержанным с Софьей, запрещало ему заговаривать с ней и даже встречаться взглядами, природа то и дело его выдавала. При приближении девушки он бледнел, а если она подходила к нему неожиданно, вздрагивал. Если взгляд его нечаянно встречался со взглядом Софьи, кровь приливала к его щекам и окрашивала ярким румянцем все лицо. Если обыкновенная вежливость заставляла его обращаться к ней с какими-нибудь словами, например, пить за ее здоровье, он всегда робел и запинался. Если ему случалось прикоснуться к ней, рука его, а иногда и весь он дрожал; и если в разговоре речь хотя бы издалека заходила о любви, невольный вздох почти всегда вырывался из груди его. Между тем природа с удивительной изобретательностью ставила его ежедневно в такие положения.

Все это ускользнуло от внимания сквайра, но не от Софьи. Она сразу заметила волнение Джонса и без труда догадалась о причине, потому что и сама чувствовала то же самое. В этом, мне кажется, и состоит так часто отмечавшаяся симпатия любовников, которая служит достаточным объяснением большей зоркости Софьи по сравнению с отцом ее.

Но, по правде говоря, существует более простой и легкий способ объяснить удивительную проницательность, наблюдаемую в некоторых людях и встречающуюся не только у любовников, но и у других. Отчего, например, мошенник так зорко видит проделки и плутни, на которые сплошь и рядом попадается честный человек гораздо более высокого ума? Между мошенниками, конечно, нет никакой симпатии, и они не узнают также друг друга, подобно франкмасонам, при помощи условных знаков. В действительности происходит это потому, что головы их заняты одним и

тем же и мысли обращены в одну и ту же сторону. Таким образом, не удивительно, что Вестерн не видел ясных симптомов любви Джонса, а Софья их видела: ведь мысль о любви и в голову не приходила отцу, тогда как дочь теперь больше ни о чем другом и не думала.

Вполне удостоверившись в бурной страсти, терзавшей бедного Джонса, и убедившись, что предмет этой любви она сама, Софья без малейшего труда открыла истинную причину его теперешнего поведения. Это наполнило ее еще более горячей любовью к нему и пробудило в ней два лучших чувства, какие только можно пожелать в любимой женщине, именно: уважение и жалость,— ведь и суровейшая из женщин простит ей сострадание к человеку, который мучился не по ее вине, и не станет порицать за уважение к тому, кто из самых благородных побуждений явно старался потушить в груди своей пламя, которое, подобно знаменитой спартанской покраже, пожирало и палило его внутренности. Таким образом, стремление Джонса уклониться от встреч с Софьей, его холодность и молчаливость были самыми ревностными, прилежными, горячими и красноречивыми его защитниками и подействовали на нежное и чувствительное сердце Софьи так сильно, что вскоре она прониклась к нему всеми благосклонными чувствами, на какие способна добродетельная и возвышенная женская душа,— короче говоря, всеми чувствами, какие могут породить в ней уважение, благодарность и сострадание к обаятельному мужчине, всеми чувствами, какие допускает самая строгая щепетильность. Словом, Софья безумно влюбилась в Джонса.

Однажды юная парочка случайно встретилась в саду, в конце двух аллей, тянувшихся вдоль канала, в котором Джонс когда-то чуть не утонул, пустившись за птичкой Софьи.

В последнее время Софья очень часто посещала это место. Здесь, с каким-то смешанным чувством горя и радости, любила она помечтать о случае, который при всей своей ничтожности заронил, вероятно, первые семена любви, достигшей теперь полной зрелости в ее сердце.

Итак, юная парочка встретилась здесь. Они были уже почти лицом к лицу, когда заметили, что идут друг другу навстречу. Посторонний зритель обнаружил бы немало признаков смущения на лицах обоих, но молодые люди были слишком полны чувства, чтобы производить какие-нибудь наблюдения. Немного опомнившись от изумления, Джонс обратился к молодой девушке с обычным приветствием, на которое она отвечала ему тем же, и беседа их началась, как водится, с восхищения красотой утра. Потом разговор перешел на красоту места, и Джонс принялся усердно его расхваливать. Когда они подошли к дереву, с которого он когда-

то свалился в канал, Софья не могла удержаться и напомнила ему этот случай, сказав:

— Должно быть, и теперь вас дрожь берет, мистер Джонс, когда вы видите эту воду?

— Уверяю вас, сударыня,— отвечал Джонс,— что ваша печаль по случаю потери птички всегда будет для меня самым драгоценным обстоятельством этого приключения. Бедняжка Томми! Вот та ветка, на которую он уселся. Надо же быть таким дурачком, чтобы улететь от счастливой жизни, которую я имел честь доставить ему! Постигшая его участь — справедливое наказание за такую неблагодарность!

— Вы сами, мистер Джонс, с вашей услужливостью едва избегли столь же суровой участи. Должно быть, вспоминать об этом вам неприятно.

— Право, сударыня, — отвечал Джонс,— если у меня есть о чем сожалеть по этому поводу, так только о том, что канал не оказался немного поглубже. Это избавило бы меня от многих сердечных страданий, которые Фортуна, видно, в изобилии припасла для меня.

— Стыдитесь, мистер Джонс! — возразила Софья.— Я уверена, что вы говорите несерьезно. Ваше деланное презрение к жизни — только слова, продиктованные вам любезностью. Вы хотите уменьшить в моих глазах цену вашей самоотверженности: два раза рисковали вы для меня жизнью, берегитесь рискнуть ею в третий раз!

Она произнесла эти слова с улыбкой и невыразимо ласково. Джонс со вздохом ответил, что боится, не слишком ли поздно теперь предостерегать; потом, посмотрев на нее нежно и пристально, воскликнул:

— Ах, мисс Вестерн! Неужели вы можете желать, чтобы я жил? Неужели вы способны желать мне такого зла?

— Право, мистер Джонсон, я не желаю вам зла,— ответила Софья несколько нерешительно, потупив взоры.

— О, я знаю вашу небесную кротость, вашу божественную доброту, эту драгоценнейшую из ваших прелестей! — воскликнул Джонс.

— Честное слово, я вас не понимаю...— отвечала Софья.— И мне пора уходить.

— Я... я... тоже не хочу, чтобы вы меня поняли! — воскликнул Джонс.— Вы не должны меня понимать! Я сам не знаю, что говорю. Встретив вас здесь так неожиданно, я был застигнут врасплох. Ради бога, простите, если я сказал что-нибудь оскорбительное. Это вышло неумышленно. Право, я готов скорее умереть,— одна мысль, что я вас оскорбил, способна убить меня.

— Вы удивляете меня,— отвечала Софья.— Почему вы думаете, что оскорбили меня?

— Страх, сударыня, легко переходит в безумие, а для меня ничего не может быть страшнее мысли оскорбить вас. Что ж я могу еще сказать? Не смотрите на меня так сердито: одна ваша нахмуренная бровь убьет меня. Я не хотел сказать ничего худого. Браните глаза мои, браните свою красоту... Что я говорю? Простите, если я сказал лишнее! Сердце мое переполнено. Я боролся со своей любовью изо всех сил, я старался скрыть снедающий меня жар, который, надеюсь, скоро навеки лишит меня возможности оскорблять вас.— И мистер Джонс весь задрожал, точно в лихорадке.

Софья, находившаяся в таком же состоянии, отвечала:

— Не буду притворяться, будто я не понимаю вас, мистер Джонс,— напротив, я понимаю вас прекрасно. Но, ради бога, если вы хоть немного меня любите, позвольте мне поскорее уйти домой. Лишь бы только у меня хватило силы дойти.

Джонс, который сам едва держался на ногах, предложил ей руку, и Софья согласилась взять ее, с условием, чтобы он не говорил больше ни слова на эту тему. Он пообещал, но просил только простить его за слова, вырванные у него любовью помимо его воли, и Софья отвечала, что все будет зависеть от его будущего поведения. Так и побрела объятая трепетом молодая парочка, и кавалер ни разу даже не осмелился пожать у своей дамы руку, которая была заключена в его руке.

Софья медленно удалилась в свою комнату, куда были приглашены ей на помощь миссис Гонора и нюхательная соль. Что же касается бедняги Джонса, то единственным лекарством для его расстроенных чувств была неприятная новость, которую мы сообщим читателю уже в следующей главе, так как она открывает сцену, совсем непохожую на те, среди которых читатель вращался в последнее время.

## ГЛАВА VII,

*в которой мистер Олверти является на одре болезни*

Мистер Вестерн так полюбил Джонса, что не желал с ним расстаться и после того, как рука молодого человека давно зажила. Джонс тоже, из любви ли к охоте или по другой какой причине, любезно соглашался проживать в его доме недели по две, не наведываясь ни разу к мистеру Олверти и даже не получая от него никаких вестей.

Мистер Олверти простудился и уже несколько дней чувствовал недомогание, сопровождавшееся легким жаром. Однако он не обращал на него внимания, как обыкновенно это делал, когда болезнь не заставляла его слечь и не мешала его способностям нормально функционировать,— поведение, которого мы ни в коем случае не одобряем и не советуем ему подражать, ибо правы господа, занимающиеся искусством Эскулапа, говоря, что если болезнь вошла в одну дверь, то врач должен войти в другую. Иначе что значила бы старинная пословица: «Venienti occurrite morbo» — «Противоборствуйте болезни с самого ее появления»? При этих условиях доктор и болезнь встречаются в честном поединке, одинаково вооруженные; тогда как, давши недугу время, мы позволяем ему укрепиться и окопаться, подобно французской армии, и для ученого мужа бывает очень трудно, а подчас и невозможно подступиться к нему. Порой даже, выиграв время, болезнь применяет французскую военную тактику, подкупая самое природу, и тогда все медицинские средства оказываются запоздалыми. Так, помнится, знаменитый доктор Мизобен любил патетически жаловаться, что к его искусству обращаются слишком поздно, говоря: «Мои пациенты, должно быть, принимают меня за гробовщика, потому что посылают за мной только уже после того, как врач убил их».

Вследствие такой небрежности недомогание мистера Олверти настолько усилилось, что, когда нестерпимый жар заставил его наконец обратиться к медицинской помощи, доктор, войдя к больному, покачал головой, выразив сожаление, что за ним не послали раньше, и объявил, что, по его мнению, пациент в большой опасности. Мистер Олверти, все дела которого в этом мире были устроены и который вполне приготовился к переходу в мир иной, выслушал это сообщение с величайшим спокойствием и невозмутимостью. Он мог бы каждый день, отходя ко сну, говорить вместе с Катоном в известной трагедии:

Пускай вина иль страх
Тревожит нас,— не знает их Катон,
И для него равны и сон и смерть.

И он мог говорить это даже с гораздо большим основанием и уверенностью, чем Катон или любой из надменных героев древности или современности, ибо он не только был чужд страха, но имел полное право, как добросовестный работник по окончании жатвы, рассчитывать на получение награды из рук щедрого хозяина.

Мистер Олверти немедленно распорядился созвать всех своих домочадцев. Все были налицо, за исключением миссис Блайфил,

несколько времени тому назад уехавшей в Лондон, и мистера Джонса, с которым читатель только что расстался в доме мистера Вестерна и которого пришли звать в ту самую минуту, когда его покинула Софья.

Известие об опасности, угрожающей мистеру Олверти (слуга сказал, что он умирает), прогнало из головы Джонса всякую мысль о любви. Он тотчас же бросился в присланную за ним коляску и приказал кучеру гнать во весь опор; дорогой, я убежден, он ни разу не вспомнил о Софье.

Когда вся семья, именно: мистер Блайфил, мистер Джонс, мистер Тваком, мистер Сквейр и некоторые из слуг (так приказал мистер Олверти), собралась вокруг постели, больной сел и начал было говорить, но ему помешали громкие рыдания и горькие жалобы Блайфила. Мистер Олверти пожал ему руку и сказал:

— Не кручинься так, дорогой племянник, по случаю самого обыкновенного события, выпадающего на долю человека. Когда друзей наших постигают несчастья, мы справедливо огорчаемся, потому что часто эти несчастья можно было бы предотвратить и они делают участь одного человека более тяжелой, чем участь других; но смерти избежать невозможно, это наш общий удел, который один только равняет всех людей, а приходит ли она раньше или позже — это несущественно. Если мудрейший из людей сравнивал продолжительность жизни с мгновеньем, то, уж конечно, нам позволительно смотреть на нее, как на один день. Мне суждено покинуть ее вечером; но те, что были взяты раньше, потеряли лишь несколько часов, в самом лучшем случае мало стоящих сожаления, а гораздо чаще — это часы изнурительного труда, страданий и горя. Один римский поэт, помнится, сравнивает нашу кончину с окончанием празднества,— мысль эта часто приходила мне в голову, когда я видел, как люди изо всех сил стараются продлить развлечение и насладиться обществом своих друзей несколько лишних минут. Увы, как кратки все самые продолжительные из этих удовольствий! Как ничтожна разница между уходящим прежде всех и уходящим последним! Но такой взгляд на жизнь еще самый благоприятный, и это нежелание расстаться с друзьями еще прекраснейшее из побуждений, заставляющих нас бояться смерти; и все же самое продолжительное, на какое мы можем рассчитывать, удовольствие этого рода так быстротечно, что не имеет никакой цены в глазах мудреца. Немногие, должен сознаться, так думают, ибо немногие думают о смерти до того, как попадут в ее пасть. Как ни чудовищно грозна она для них при своем приближении, все-таки они не в состоянии видеть ее издали; больше того, несмотря на весь страх и трепет, охватывающие их в предсмертный час, всякая память об этом у них исчезает, как только опасность смерти миновала.

Но, увы, ускользнуть от смерти — не значит быть пощаженным ею; это только отсрочка, и притом отсрочка недолгая.

Не печалься же, друг мой. Событие, которое может случиться каждый час, которое может быть вызвано каждой стихией, больше того — почти каждой частицей окружающей нас материи и которое совершенно неизбежно для всех нас, не должно ни удивлять, ни огорчать нас.

Так как доктор сообщил мне (и я очень ему благодарен за это), что мне угрожает опасность скоро с вами расстаться, то я решил сказать вам на прощанье несколько слов, пока болезнь, которая, чувствую я, быстро берет власть надо мной, еще не лишила меня способности говорить.

Но мне приходится слишком напрягать свои силы. Я намерен поговорить относительно моего завещания. Хотя оно давно уже мною составлено, но мне хочется сообщить его пункты, касающиеся каждого из вас, чтобы увериться, все ли вы довольны теми распоряжениями, которые я в нем сделал.

Вам, племянник Блайфил, я отказываю все свое состояние, за исключением пятисот фунтов годового дохода, которые перейдут вам после смерти вашей матери, и за исключением поместья с пятьюстами фунтов годового дохода и капитала в шесть тысяч фунтов, которые я разделил следующим образом.

Вам, мистер Джонс, я завещаю поместье с пятьюстами фунтов годового дохода; и так как я знаю, как неудобно оставаться без наличных денег, то прибавил к ним еще тысячу фунтов звонкой монетой. Не знаю, превзошел ли я или обманул ваши ожидания. Может быть, вам покажется этого мало, а свет не замедлит осудить меня, сказав, что я дал слишком много; но суждение света я презираю, а что касается вашего мнения, то, если вы не разделяете общераспространенного заблуждения, которое мне не раз доводилось слышать на своем веку в качестве оправдания скаредности,— именно, будто благодеяния, вместо того чтобы делать людей благодарными, делают их только безгранично требовательными и вечно недовольными... Извините меня, что я об этом заговорил; я не подозреваю вас в таких чувствах.

Джонс припал к ногам своего благодетеля и, горячо пожав ему руку, сказал, что доброта его, и в настоящем случае, и прежде, настолько им не заслужена и настолько превосходит все его ожидания, что никакие слова не могут выразить его благодарности.

— И смею вас уверить, сэр, ваше великодушие тронуло меня до глубины души, и если бы не эта печальная минута... О друг мой, отец мой!

От волнения он не мог больше говорить и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.

Олверти дружески пожал ему руку и продолжал:

— Я убежден, друг мой, что ты добр, великодушен, благороден; если к этим качествам ты присоединишь еще благоразумие и благочестие, ты будешь счастлив. Первые три качества, я признаю, делают человека достойным счастья, но только последние два сделают действительно счастливым.

Тысячу фунтов даю я вам, мистер Тваком. Сумма эта, я уверен, намного превосходит ваши желания и ваши потребности. Однако примите ее на память о моих дружеских чувствах к вам; и если что окажется лишним, то ваше благочестие, которого вы держитесь так строго, научит вас, как распорядиться остатком.

Такую же сумму даю я и вам, мистер Сквейр. Она, я надеюсь, даст вам возможность продолжать ваши занятия с бóльшим успехом, чем до сих пор. Я не раз замечал с прискорбием, что нужда чаще возбуждает презрение, чем сострадание, особенно в людях деловых, для которых бедность есть свидетельство недостатка практических способностей. Те небольшие деньги, которые я могу предложить вам, освободят вас, однако, от затруднений, стоявших прежде на вашем пути, и я не сомневаюсь, что доставшиеся вам средства позволят удовлетворить все скромные потребности вашей философской натуры.

Я чувствую, что силы покидают меня, и потому не упоминаю об остальных: все это вы найдете в моем завещании. Там помянуты и слуги мои; кое-что оставлено и на дела благотворения; я уверен, что душеприказчики исполнят волю мою в точности. Да благословит всех вас господь! Я отправлюсь в путь немножко раньше вас...

Тут в комнату поспешно вошел лакей и доложил, что приехал стряпчий из Солсбери с важным поручением, которое, по его словам, он должен передать лично мистеру Олверти. Человек этот, сказал лакей, по-видимому, очень торопится и заявляет, что у него столько дел, что, разорвись он на четыре части, и то с ними не справится.

— Ступай, друг мой, и узнай, что нужно этому джентльмену,— обратился Олверти к Блайфилу.— Сейчас я не в состоянии заниматься делами, и притом это дело касается теперь больше тебя, чем меня. Я решительно не в состоянии принять кого-нибудь в эту минуту и сосредоточить на чем-нибудь внимание.

После этого он простился со всеми, сказав, что, может быть, будет в силах снова свидеться со своими родными, но теперь ему хочется немного отдохнуть, так как произнесенная только что речь сильно его утомила.

Некоторые из собравшихся горько плакали, уходя из комнаты, и даже философ Сквейр отирал глаза, давно отвыкшие

наполняться слезами. Что же касается миссис Вилкинс, то она роняла капли слез, как аравийские деревья целительную камедь,— церемония, без которой эта дама никогда не обходилась в подобающих случаях.

После этого мистер Олверти снова опустился на подушки и расположился поудобнее, чтобы соснуть.

## ГЛАВА VIII,

*содержащая предметы скорее естественные, чем приятные*

Помимо сокрушения по случаю болезни хозяина, был еще другой источник соленых ключей, так обильно забивших над холмоподобными скулами домоправительницы. Не успела она выйти из комнаты, как завела себе под нос такую приятную песню:

— Кажется, хозяин мог бы сделать некоторое различие между мной и остальными слугами. На траур-то, я думаю, он мне оставил, но если это все, так пусть дьявол его носит по нем вместо меня! Надо бы его милости знать, что я ведь не нищая. Пять сотенок прикопила у него на службе, а он вот как со мной поступает... Славное поощрение для честных слуг! Если подчас я и брала кое-что лишнее, так другие брали в десять раз больше; а теперь все в одну кучу свалены! Коли так, пусть все завещанное идет к черту вместе с самим завещателем! Впрочем, нет — от своего я не откажусь, а то уж слишком обрадуется кое-кто. Куплю себе платье поярче, да и propляшу в нем на могиле этого скряги. Так вот какая мне награда за то, что постоянно вступалась за него, когда, бывало, все соседи примутся на чем свет ругать его за то, что так нянчится со своим ублюдком! Но теперь он идет туда, где за все придется расплачиваться. Лучше бы покаялся перед смертью в своих грехах, а он ими еще хвастает, отдает семейное добро незаконнорожденному. Нашел его, видите ли, у себя в постели! Хорошенькое дело! Кто спрятал, тот знает, где найти. Господи, прости ему! Бьюсь об заклад, ему не за одного такого отвечать придется. Хоть то утешение, что там, куда он идет, ни одного не скроешь. «Помянуты и слуги мои» — вот его собственные слова; тысячу лет проживу, а их не забуду. Припомню вам, сударь, что в одну кучу со всей челядью свалена! Мог бы, кажется, упомянуть меня отдельно, как, скажем, Сквейра; да тот, видите ли, джентльмен, хоть и пришел сюда в одних опорках! Черт бы побрал таких джентльменов! Сколько лет в доме прожил, а никто из слуг не видел даже, какого цвета его деньги. Пусть черт прислуживает такому джентльмену, а меня увольте!

Долго она еще приговаривала в таком роде, но для читателя довольно будет и этого образчика.

Тваком и Сквейр остались немногим более довольны завещанной им долей. Правда, они не высказывали своего недовольства так явно, но по их кислым лицам, а также на основании нижеприведенного разговора мы заключаем, что они не были в большом восторге.

Через час после ухода из комнаты больного Сквейр встретил Твакома в зале и обратился к нему с вопросом:

— Вы не получали никаких вестей, сэр, о состоянии вашего друга, после того как мы расстались с ним?

— Если вы подразумеваете мистера Олверти,— отвечал Тваком,— то, мне кажется, вы скорее вправе называть его вашим другом, он это вполне заслужил.

— Так же, как и название вашего друга,—возразил Сквейр,— ведь он оделил нас в своем завещании одинаково.

— Я не стал бы от этом заговаривать первый,— сказал повышенным тоном Тваком,— но раз уже вы начали, то должен вам заявить, что не разделяю вашего мнения. Существует огромная разница между добровольным даром и вознаграждением за труд. Обязанности, которые я исполнял в семье, заботы по воспитанию двух мальчиков, казалось бы, дают право на бóльшую награду. Не вздумайте, однако, заключить из моих слов, что я недоволен: апостол Павел научил меня довольствоваться тем малым, что у меня есть; и если бы полученная мною безделица была еще меньше, я не забыл бы своего долга. Но если Писание требует от меня оставаться довольным, то оно не обязывает закрывать глаза на собственные заслуги и не возбраняет чувствовать обиду при несправедливом сравнении с другими.

— Уж если на то пошло,— возразил Сквейр,— так обида нанесена мне. Я никогда не предполагал, что мистер Олверти ценит мою дружбу так мало, чтобы ставить меня на одну доску с человеком, работающим за жалованье. Но я знаю, откуда это идет: это все следствие тех узких правил, которые вы так усердно старались внедрить в него, наперекор всему великому и благородному. Красота и изящество дружбы ослепляют слабое зрение и могут быть восприняты не иначе, как посредством непогрешимого закона справедливости, который вы так часто осмеивали, что совсем сбили с толку вашего друга.

— Я желаю только,— в ярости воскликнул Тваком,— я желаю только, ради спасения его души, чтобы ваше проклятое учение не подорвало в нем веры! Вот чему я приписываю его теперешнее поведение, столь неприличное для христианина. Кто, кроме атеиста, мог бы помыслить уйти из этого мира, не предста-

вив отчета в делах своих, не исповедавшись в грехах и не получив отпущения, тогда как хорошо известно, что в доме есть человек, имеющий право дать это отпущение? Он почувствует потребность в этих необходимых вещах, когда будет уже поздно, когда он окажется уже там, где раздаются плач и скрежет зубовный. Лишь тогда узнает он, много ли может помочь ему эта языческая богиня, эта добродетель, которой поклоняетесь вы и все другие деисты нашего века. Тогда потребует он священника, которого там не сыскать, и воскорбит об отпущении, без которого для грешника нет спасения.

— Если оно так существенно,— заметил Сквейр,— так почему вы не дадите его по собственному почину?

— Оно имеет силу только для людей, с верой его приемлющих. Но что говорить об этом с язычником и неверующим! Ведь вы сами преподали ему этот урок, за который вознаграждены на этом свете столь же щедро, как, я не сомневаюсь, ученик ваш скоро будет вознагражден на том.

— Не знаю, что вы разумеете под вознаграждением, — сказал Сквейр,— но если вы намекаете на жалкий дар нашей дружбе, который он соблаговолил отказать мне, то я его презираю, и если бы не мои стесненные обстоятельства, так ни за что бы его не принял.

В эту минуту вошел доктор и начал расспрашивать спорщиков, как обстоят дела наверху.

— Плачевно,— отвечал Тваком.

— Так я и предвидел. Но скажите, пожалуйста, не появились ли какие-нибудь новые симптомы после моего ухода?

— Боюсь, что неблагоприятные,— отвечал Тваком.— После того, что произошло при нашем уходе, мне кажется, обнадеживающего мало.

Врач плоти, должно быть, превратно понял целителя душ, но, прежде чем они успели объясниться, к ним подошел мистер Блайфил с чрезвычайно удрученным видом и объявил, что принес печальные вести: мать его скончалась в Солсбери. По дороге домой с ней случился припадок подагры, болезнь бросилась в голову и желудок, и через несколько часов ее не стало.

— Увы! Увы! — воскликнул доктор.—Поручиться, конечно, нельзя, но жаль, что меня там не было. Подагра —трудная для лечения болезнь, а все же мне удавалось достигать замечательных успехов.

Тваком и Сквейр выразили мистеру Блайфилу соболезнование по случаю постигшей его утраты, причем первый советовал ему перенести это несчастье с христианским смирением, а второй — со стойкостью мужчины. Молодой человек ответил, что ему хорошо

известно, что все мы смертны, и что он постарается перенести утрату по мере своих сил, но не может все же не пожаловаться на чрезмерную суровость к нему судьбы, которая приносит врасплох такое прискорбное известие в то время, когда он с часу на час ожидает ужаснейшего из ударов, какими она может поразить его. Настоящий случай, сказал он, покажет, насколько им усвоены наставления, преподанные мистером Твакомом и мистером Сквейром, и если ему удастся пережить столь великие несчастья, он будет всецело обязан этим своим наставникам.

Стали обсуждать, следует ли известить мистера Олверти о смерти сестры. Доктор резко этому воспротивился, в чем, я думаю, согласятся с ним все его коллеги; но Блайфил заявил, что он неоднократно получал от дяди самые решительные приказания никогда и ничего не утаивать от него из опасения разволновать его и что поэтому он не смеет и думать об ослушании, какие бы последствия ни произошли. Что до него лично, сказал Блайфил, то, принимая во внимание философские и религиозные убеждения дяди, он не может согласиться с доктором и не разделяет его опасений. Поэтому он решил сообщить дяде полученное известие: ведь если мистер Олверти поправится (о чем он, Блайфил, пламенно молит бога), то никогда не простит ему такого рода утайки.

Доктор принужден был подчиниться этому решению, горячо одобренному обоими учеными мужами, и отправился вместе с мистером Блайфилом в комнату больного.

Войдя туда первый, он приблизился к постели мистера Олверти с целью пощупать ему пульс, после чего объявил, что больному гораздо лучше: последнее лекарство сделало чудеса, жар прекратился, и опасность теперь столь же ничтожна, сколь ничтожны были перед этим надежды на благополучный исход.

По правде говоря, положение мистера Олверти никогда не было столь опасным, как изображал его чересчур осторожный доктор. Как умный генерал никогда не смотрит с пренебрежением на неприятеля, хотя бы он значительно уступал ему силами, так и умный врач никогда не относится пренебрежительно к самому ничтожному недомоганию. Если первый поддерживает строжайшую дисциплину, ставит караулы и посылает разведчиков, несмотря на слабость неприятеля, то второй сохраняет серьезное выражение лица и многозначительно покачивает головой при самом пустячном заболевании. И в числе других веских оснований такой тактики оба они могут привести то самое веское, что если им удастся одержать победу, то тем большей славой они себя покроют, а если вследствие какой-нибудь несчастной случайности окажутся побежденными, тем меньше им будет стыда.

Едва только мистер Олверти возвел глаза к небу и поблагодарил бога за дарование этой надежды на выздоровление, как мистер Блайфил подошел к нему с удрученным видом и, приложив к глазам платок, для того ли, чтобы отереть слезы, или же для того, чтобы поступить по совету Овидия, который говорит:

Si nullus erit, tamen excute nullum —

«Коль нет слезы, утри пустое место»,— сообщил дяде известие, о котором мы только что рассказали читателю.

Олверти выслушал племянника с огорчением, кротостью и безропотностью. Он проронил слезу, но потом овладел собой и воскликнул:

— Да будет воля господня!

Чувствуя себя лучше, он пожелал теперь увидеть посланного, но Блайфил сказал, что его невозможно было удержать ни на минуту, так как, судя по его торопливости, у него на руках было какое-то важное дело; стряпчий жаловался, что его загнали до последней степени, и поминутно повторял, что если бы мог разорваться на четыре части, то для каждой из них нашлось бы дело.

Тогда Олверти попросил Блайфила взять на себя заботы о похоронах. Он выразил желание, чтобы сестра была похоронена в их фамильном склепе; а что касается частностей, то предоставил их на усмотрение племянника, назначив только, какого священника пригласить для совершения обряда.

## ГЛАВА IX,

*которая, между прочим, может служить комментарием к словам Эсхина, что «опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело»*

Читатель, может быть, удивится, что в предыдущей главе ни слова не было сказано о мистере Джонсе. Но его поведение было настолько отлично от поведения выведенных там лиц, что мы предпочли не упоминать его имени в связи с ними.

Когда мистер Олверти кончил свою речь, Джонс вышел от него последний. Он удалился в свою комнату, чтобы излить там наедине свое горе; но владевшее им беспокойство не позволило ему долго оставаться там,— он тихонько прокрался к комнате Олверти и долго прислушивался у дверей: изнутри доносился только громкий храп, в котором расстроенному воображению Джонса почудились стоны. Это так его встревожило, что он не вытерпел и вошел к больному; он увидел, что благодетель его спит сладким сном,

а сиделка, расположившаяся в ногах мистера Олверти, храпит во всю мочь. Опасаясь, как бы эта басовая ария не разбудила больного, Джонс немедленно принял меры для ее прекращения, после чего расположился возле сиделки и не тронулся с места, пока вошедшие в комнату Блайфил и доктор не разбудили больного, чтобы пощупать ему пульс и сообщить известие, которое едва ли достигло бы слуха мистера Олверти в такую минуту, если бы Джонс знал его содержание.

Услышав доклад Блайфила о печальном событии, Джонс едва мог сдержать гнев, вызванный в нем столь бесцеремонным поступком, тем более что доктор покачал головой и запротестовал против того, чтобы такие вещи сообщались его пациенту. Однако негодование не настолько отшибло у Тома рассудок, чтобы он не понимал, какой вред может причинить больному резкое замечание по адресу Блайфила, и сдержал свой пыл. Увидя же, что печальное известие вреда не наделало, он так обрадовался, что забыл всякий гнев и не сказал Блайфилу ни слова.

Доктор остался обедать в доме мистера Олверти, после обеда он посетил своего пациента и, возвратясь к обществу, сказал, что с удовольствием может теперь объявить больного вне всякой опасности; лихорадка совершенно прошла, и он не сомневается, что прописанная хина не позволит ей вернуться.

Это до такой степени обрадовало Джонса и привело его в такой неистовый восторг, что он буквально опьянел от счастья — возбуждение, сильно помогающее действию вина; а так как по этому случаю он усердно приложился к бутылке (именно: осушил несколько бокалов за здоровье доктора, а также и прочих сотрапезников), то вскоре опьянел уже по-настоящему.

Кровь Джонса от природы была горячая, а под влиянием винных паров она воспламенилась еще более, толкнув его на самые эксцентричные поступки. Он бросился целовать и душить в своих объятиях доктора, клятвенно уверяя, что после Олверти любит его больше всех людей на свете.

— Доктор! — вскричал он.— Вы заслуживаете, чтобы вам поставили на общественный счет статую за спасение человека, который не только любим всеми, кто его знает, но является благословением общества, славой свой родины и делает честь человеческой природе. Будь я проклят, если я не люблю его больше собственной души!

— Тем больше срама для вас! — воскликнул Тваком.— Впрочем, я думаю, вы имеете все основания любить того, который наделил вас так щедро. Хотя, может быть, для кое-кого было бы лучше, чтобы он не дожил до той минуты, когда ему пришлось бы взять свой подарок обратно.

Джонс с неописуемым презрением взглянул на Твакома и ответил:

— И ты воображаешь, низкая душа, что такие соображения что-нибудь значат для меня? Нет, пусть лучше земля разверзнется и поглотит свои нечистоты (имей я миллионы акров, все равно я сказал бы это), только бы остался жив мой дорогой великодушный друг!

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis?[1]

Вмешательство доктора предотвратило серьезные последствия ссоры, вспыхнувшей между Джонсом и Твакомом. После этого Джонс дал волю своим чувствам, пропел две или три любовные песни и стал творить всевозможные дурачества, какие способно внушить нам необузданное веселье; он ничуть не был расположен ссориться, а, напротив, сделался в десять раз добродушнее, если только это возможно, чем в трезвом состоянии.

Правду сказать, нет ничего ошибочнее ходячего мнения, будто люди, злые и сварливые в пьяном состоянии, являются достойными всякого уважения, когда они трезвы; на самом деле опьянение не перерождает человека и не создает страстей, которых в нем не было прежде. Оно лишь снимает стражу рассудка и вследствие этого толкает нас на такие поступки, от которых многие в трезвом виде имели бы довольно расчетливости удержаться. Оно усиливает и распаляет наши страсти (по большей части преобладающую страсть), так что гневливость, влюбчивость, великодушие, веселость, скупость и все прочие наклонности человека за бокалом вина выступают наружу гораздо явственнее.

Но хотя ни в одной нации не бывает столько драк в пьяном виде, как в Англии, особенно среди простонародья (для которого слова «напиться» и «подраться» почти синонимы), я все-таки не сделал бы отсюда заключения, что англичане первые забияки на свете. Может быть, это проистекает только от любви к славе, и правильнее было бы сказать, что в наших соотечественниках больше этой любви и больше отваги, чем в плебеях других национальностей; тем более что в таких случаях редко совершается что-нибудь низкое, неблаговидное или злобное, напротив, даже во время драки противники проявляют друг к другу доброжелательность; и если пьяное веселье обыкновенно кончается у нас свалкой, то свалки в большинстве случаев кончаются дружбой.

---

[1] Какая скромность или умеренность может поставить границы нашей тоске по столь дорогому другу? *(лат.)*. Слово desiderium перевести нелегко. Оно обозначает как желание снова насладиться обществом нашего друга, так и печаль, сопровождающую это желание.

Но вернемся к нашей истории. Хотя у Джонса и в мыслях не было кого-нибудь оскорбить, однако мистер Блайфил чрезвычайно обиделся поведением, столь не вязавшимся с его собственной степенностью и сдержанностью. Оно сильно его раздражало, так как казалось ему весьма неприличным в ту минуту, когда, по его словам, весь дом был погружен в траур по случаю смерти его дорогой матери; и если небу угодно было даровать некоторую надежду на выздоровление мистера Олверти, то ликование сердец было бы приличнее выразить благодарственными молитвами, а не пьяным разгулом, каковой способен скорее навлечь гнев божий, чем отвратить его. Тваком, выпивший больше Джонса, но сохранивший мозги свои ясными, поддержал благочестивую рацею Блайфила; Сквейр же, по причинам, о которых читатель, вероятно, догадывается, хранил полное молчание.

Вино, однако же, не настолько одолело Джонса, чтобы он не вспомнил об утрате мистера Блайфила, когда тот о ней упомянул. А будучи всегда готов признать и осудить свои ошибки, он протянул мистеру Блайфилу руку и попросил у него извинения, сказав, что его буйная радость по случаю выздоровления мистера Олверти прогнала у него все прочие мысли.

Блайфил презрительно оттолкнул его руку и с большим негодованием отвечал: нисколько не удивительно, что трагические зрелища не производят никакого впечатления на слепого, но сам он имеет несчастье знать, кто были его родители, и потому не может оставаться равнодушным к их потере.

Джонс, который при всем своем добродушии отличался вспыльчивостью, мгновенно вскочил со стула и, схватив Блайфила за шиворот, закричал:

— Так ты, мерзавец, смеешь попрекать меня моим происхождением? — И сопроводил эти слова таким резким движением, что мистер Блайфил очень скоро позабыл о своем миролюбивом характере.

Началась потасовка, которая могла бы иметь весьма печальные последствия, если бы не была прекращена вмешательством Твакома и доктора, ибо что касается Сквейра, то философия возносила его над всеми треволнениями, и он преспокойно курил свою трубку, как всегда это делал во время ссор, нарушая невозмутимость только в те мгновения, когда трубке угрожала опасность быть разбитой у него в зубах.

Разъяренные противники, не имея возможности порешить спор врукопашную, прибегли к обычному в таких случаях способу изливать неутоленный гнев в брани и угрозах. Фортуна, в рукопашной борьбе больше благоволившая Джонсу, перешла в этом словесном поединке всецело на сторону его врага.

Однако при посредничестве нейтральных сторон в конце концов было заключено перемирие, и все снова сели за стол. Джонса уговорили попросить извинения, а Блайфила — простить его, и таким образом мир был восстановлен, и все пришло in status quo [1].

Но хотя ссора была с виду совершенно прекращена, радостного оживления, нарушенного ею, восстановить не удалось. Веселье пропало, и дальнейшие разговоры состояли лишь из сухого изложения фактов и столь же сухих замечаний по их поводу — род беседы весьма почтенный и поучительный, но очень мало занимательный. А так как мы решили сообщать читателю лишь вещи занимательные, то эту часть разговоров опускаем; скажем лишь, что общество понемногу разошлось, остались только Сквейр да доктор; тогда беседа снова немного оживилась замечаниями по поводу ссоры молодых людей, причем доктор обозвал обоих негодяями, а философ, многозначительно кивнув головой, вполне с этим согласился.

## ГЛАВА X,

*подтверждающая справедливость многих замечаний Овидия и других, более серьезных писателей, неопровержимо доказавших, что вино часто является предтечей невоздержанности*

Из общества, в котором мы его видели, Джонс ушел в поле, чтобы освежиться прогулкой на открытом воздухе перед тем, как снова сесть у постели мистера Олверти. Здесь он предался мечтам о милой своей Софье, от которых его отвлекла на некоторое время опасная болезнь друга и благодетеля, как вдруг случилось одно происшествие, о котором мы сообщаем с прискорбием и о котором, несомненно, с таким же прискорбием будет прочитано; однако нерушимая верность истине, в которой мы поклялись, обязывает нас передать его потомству.

Был прелестный июньский вечер. Герой наш углубился в очаровательную рощу, где шелест листьев, колыхаемых легким ветерком, соединялся в чудесной гармонии со сладким журчаньем ручейка и мелодичным пением соловьев. В этой обстановке, как нельзя более подходящей для любви, Джонс обратился мыслями к своей милой Софье. Резвые мечты его без стеснения блуждали по всем ее прелестям, живое воображение рисовало очаровательную девушку в самых восхитительных образах, и пылкое сердце юноши таяло от любви; наконец, бросившись на траву близ ласково журчащего ручья, он разразился следующей тирадой:

[1] В прежнее положение *(лат.)*.

— О Софья, какое было бы блаженство, если бы небо привело тебя в мои объятия! Будь проклята судьба, воздвигшая преграду между нами! Если бы только я владел тобой, то, будь даже все твое богатство — рубище, ни один человек в мире не возбудил бы во мне зависти! Сколь презренной явилась бы в глазах моих ослепительнейшая красавица черкешенка, убранная во все драгоценности Индии!.. Но что это я заговорил о другой женщине? Если бы я считал глаза мои способными заглядеться на другую, вот эти руки вырвали бы их. Нет, дорогая Софья, жестокая судьба хоть и разлучает нас навеки, но душа моя будет любить тебя одну. Нерушимую верность к тебе я буду хранить вечно. Хоть мне и не владеть никогда твоим прелестным телом, но ты одна будешь владычицей моих помыслов, моей любви, души моей. Ах, сердце мое так полно нежностью к тебе, что первые красавицы мира лишены для меня всякой прелести, и я буду холоден, как отшельник, в их объятиях! Софья, одна только Софья будет моей! Сколько очарования в этом имени! Я вырежу его на каждом дереве.

С этими словами он вскочил и увидел — не Софью, нет, и не черкешенку, роскошно и изящно убранную для сераля восточного вельможи... нет. Без платья, в одной рубашке грубого полотна, и притом не из самых чистых, увлажненная благоуханной испариной, выжатой из тела дневной работой с вилами в руках,— к нему приближалась Молли Сигрим. Герой наш стоял с перочинным ножиком, вынутым из кармана, с вышеупомянутым намерением изрезать кору деревьев. Увидя это, девушка сказала с улыбкой:

— Надеюсь, вы не собираетесь зарезать меня, сквайр?

— Откуда ты взяла, что я собираюсь тебя зарезать? — удивился Джонс.

— После вашего жестокого поступка со мной во время последнего свидания это было бы для меня еще большой милостью,— отвечала она.

И между ними завязался разговор, который я не считаю себя обязанным передавать, а потому опускаю. Довольно будет сказать, что он продолжался целых четверть часа, и по окончании его парочка удалилась в самую густую часть рощи.

Некоторым из моих читателей это происшествие, может быть, покажется неестественным. Однако факт этот справедлив и может быть удовлетворительно объяснен тем, что Джонс, вероятно, считал, что одна женщина лучше, чем ничего, а Молли, должно быть, думала, что двое мужчин лучше, чем один. Помимо этого соображения, читатель благоволит припомнить, что Джонс в это время не был полным господином той чудесной способности рассуждать, при помощи которой люди мудрые и степенные обуздывают свои

беспорядочные страсти и воздерживаются от запретных удовольствий; вино совершенно лишило Джонса этой способности. Он был в таком состоянии, что если бы рассудок вздумал хотя бы только увещевать его, то, вероятно, получил бы такой же ответ, какой дал много лет тому назад некий Клеострат глупцу, спросившему, разве ему не стыдно быть пьяным:

— А тебе разве не стыдно увещевать пьяного?

По правде говоря, перед судом государственным опьянение не может служить извинением, но перед судом совести оно сильно смягчает вину. Вот почему Аристотель, хваля законы Питтака, согласно которым пьяных наказывали за преступление вдвойне, сознается, что в законах этих больше государственной мудрости, чем справедливости. И если есть вообще какие-либо извинительные по случаю опьянения проступки, то это, без сомнения, такие, как тот, в котором был повинен в ту минуту мистер Джонс. На эту тему я мог бы представить обширное ученое рассуждение, если бы был уверен, что оно доставит читателю развлечение или сообщит ему нечто такое, чего он не знает. Итак, из уважения к нему, я сохраню свою ученость при себе и вернусь к рассказу.

Замечено, что Фортуна редко делает что-нибудь наполовину. Обыкновенно затеям ее нет конца — вздумает ли она побаловать нас или раздосадовать. Не успел наш герой удалиться со своей Дидоной, как

Speluncam *Blifil* dux et divinus eandem
Deveniunt... —

священник и молодой сквайр, вышедшие чинно прогуляться, показались на тропинке, ведущей в рощу, и Блайфил заметил парочку в ту минуту, когда она скрывалась из виду.

Блайфил тотчас узнал Джонса, хотя был от него на расстоянии свыше ста ярдов, и явственно заметил пол его спутницы, не разглядев только, кто именно она была. Он затрепетал от радости, перекрестился и издал какое-то благочестивое воклицание.

Тваком был удивлен этими неожиданными движениями и спросил, что они означают. На это Блайфил ответил, что он ясно видел какого-то молодчика, удалившегося в кусты вместе с девицей, и не сомневается, что это сделано с дурной целью. Имя Джонса он предпочел умолчать, а почему — об этом предоставляем догадываться проницательному читателю, ибо мы никогда не указываем мотивы человеческих поступков, если есть какая-либо опасность совершить ошибку.

Священник, который был не только человек строгих нравственных правил, но и непримиримый враг всякой распущенности, воспылал гневом при этом сообщении. Он попросил мистера

Блайфила немедленно провести его к тому месту и по дороге все время расточал угрозы, перемешанные с жалобами, причем не мог удержаться от некоторых косвенных замечаний по адресу мистера Олверти, намекая, что распущенность местных нравов объясняется главным образом его потаканием пороку, выразившимся в благосклонности к этому ублюдку и в смягчении справедливой и благодетельной строгости закона, требующего самого сурового наказания для распутных женщин.

Дорога, по которой наши охотники пустились за дичью, густо поросла терновником, который сильно затруднял их движение и при этом так шуршал, что Джонс был заблаговременно предупрежден об их приближении; вдобавок Тваком был настолько неспособен сдерживать свое негодование и изрыгал на каждом шагу такие проклятия, что одного этого было вполне достаточно для оповещения Джонса о том, что его застигли (выражаясь охотничьим языком) прямо в норе.

## ГЛАВА XI,

*в которой сравнение, выраженное при помощи семимильного периода в духе мистера Попа, вводит читателя в кровопролитнейшую битву, какая может произойти без применения железа или холодной стали*

Как в период течки (грубое выражение, которым чернь обозначает нежные сцены, происходящие в густых лесах Гемпшира между любовниками звериной породы), если в минуту, когда круторогий олень замышляет любовную игру, пара щенков или иных враждебных ему хищников настолько приблизится к святилищу Венеры Звериной, что стройная лань шарахается в сторону в порыве не то страха, не то резвости, не то жеманства, не то игривости — чувства, которыми природа наградила весь женский пол или, по крайней мере, научила напускать на себя, дабы, по неделикатности самцов, не проникли в самосские мистерии глаза непосвященных, ибо при совершении этих обрядов жрица восклицает вслед за пророчицей Вергилия (находившейся, вероятно, в ту минуту за работой на таком литургийном действе):

Procul, o procul este profani,
Proclamat vates, totoque absistite luco! [1]—

если, говорю, во время совершения оленем и его возлюбленной этих священных обрядов, свойственных generi omni animantium [2],

[1] Отойдите прочь, нечестивцы,— так восклицает вещунья,— из всей изыдите рощи! *(лат.)*

[2] Всему роду живых существ *(лат.)*.

к ним отважатся приблизиться враждебные хищники — олень по первому знаку, поданному испуганной ланью, бросается, грозный и яростный, ко входу в чащу, становится здесь на страже своей любви, бьет в землю копытом, потрясает в воздухе рогами и гордо вызывает на бой устрашенного врага.

Так, и еще грознее, воспрянул наш герой, услышав приближение неприятеля. Он выступил далеко вперед, чтобы скрыть трепещущую лань и по возможности обеспечить ей отступление. Тут Тваком, метнув сначала молнию из воспламененных гневом очей, загремел:

— Срам и позор! Мистер Джонс, возможно ли? Это вы?

— Вы видите, что возможно,— ответил Джонс.

— А кто эта непотребная девка с вами? — спросил Тваком.

— Если со мной есть непотребная девка,— воскликнул Джонс,— так, может быть, я вам и не скажу, кто она?

— Приказываю вам немедленно сказать! — гремел Тваком.— И не воображайте, пожалуйста, молодой человек, будто ваши лета, ограничивши несколько круг моих прав воспитателя, вовсе уничтожили мою власть. Взаимоотношения между учеником и учителем неуничтожимы, как неуничтожимы и все прочие взаимоотношения между людьми, ибо все они берут свое начало свыше. Поэтому вы и теперь обязаны мне повиноваться, как в то время, когда я учил вас азам.

— Знаю, что вам этого хочется,— воскликнул Джонс,— только этому не бывать, потому что время убеждений березовыми доводами миновало.

— Тогда я заявляю вам прямо, что я решил дознаться, кто эта непотребная девка.

— А я заявляю вам, что вы этого не узнаете, — возразил Джонс.

Тут Тваком хотел было двинутся вперед, но Джонс схватил его за руки; мистер Блайфил бросился на выручку священнику, крича, что не позволит оскорблять своего старого учителя.

Джонс, увидев, что ему приходится иметь дело с двумя, решил как можно скорее отделаться от одного из них. Поэтому он сначала напал на слабейшего; оставив священника, он нанес молодому сквайру в грудь удар, который пришелся так счастливо, что тот сразу же растянулся на земле.

Тваком был весь обуян желанием обнаружить спутницу Джонса и потому, почувствовав себя на свободе, устремился прямо в кусты, не заботясь о судьбе своего приятеля, но не успел он сделать нескольких шагов, как Джонс, расправившись с Блайфилом, догнал его и оттащил назад за полу кафтана.

Богослов был в молодости искусным бойцом и стяжал себе кулаком большую славу как в школе, так и в университете. Теперь, правда будучи в годах, он поотстал в этом благородном искусстве, однако отвага его была так же непоколебима, как и вера, и тело ничуть не утратило своей крепости. Вдобавок, как читатель, может быть, и сам догадался, он был темперамента вспыльчивого. Оглянувшись и увидев приятеля поверженным, а полу своего кафтана бесцеремонно схваченной человеком, который во всех своих прежних столкновениях с ним играл чисто страдательную роль (обстоятельство, сильно отягчавшее ситуацию), он потерял всякое терпение, занял наступательную позицию и, напрягши все свои силы, атаковал Джонса во фронт не менее яростно, чем в былые дни атаковывал его с тылу.

Герой наш встретил вражескую атаку с величайшим бесстрашием, и грудь его зазвучала под ударом. Он мгновенно вернул его с не меньшей силой, целясь тоже в грудь священника, но тот ловко отбил кулак Джонса, так что тот угодил ему только в брюхо, где в это время покоились два фунта говядины и столько же пудинга, и потому никакого гулкого звука отсюда не последовало. Много мощных ударов, которые гораздо приятнее и легче наблюдать, чем описывать, было нанесено с обеих сторон, пока наконец бешеный выпад Джонса коленом в грудь Твакома не ослабил последнего до такой степени, что победа не могла бы дольше оставаться сомнительной, если бы Блайфил, успевший тем временем оправиться, не возобновил битвы и, сцепившись с Джонсом, не дал священнику возможности встряхнуться и перевести дух.

Тогда оба они соединенными силами напали на нашего героя, удары которого не сохранили той силы, с какой они сыпались первоначально, настолько он ослабел в поединке с Твакомом,— ибо хотя педагог предпочитал разыгрывать *соло* на человеческом инструменте и в последнее время только и практиковал такой способ, все же он еще довольно хорошо помнил прежнее искусство, чтобы уверенно исполнить свою партию также и в *дуэте*.

Победа, по-видимому, уже решалась, по нынешнему обычаю, численным перевесом сил, как вдруг в бой вступила четвертая пара кулаков и немедленно приветствовала священника, между тем как их владелец закричал:

— Ну, не стыдно ли вам, черт бы вас побрал, нападать вдвоем на одного?

И битва, которую во внимание к ее размаху, следует назвать *королевской*, закипела с еще большей силой, пока Блайфил не был вторично повержен Джонсом, а Тваком не запросил пощады у своего

нового противника, который оказался не кем иным, как мистером Вестерном, ибо в пылу сражения бойцы не узнали его.

Действительно, почтенный сквайр, прогуливаясь в этот день с компанией, случайно зашел на поляну, где разыгрывалась кровопролитная битва; увидя троих сражающихся, он тотчас сообразил, что двое должны быть против одного, оставил общество и, проявляя больше благородства, чем расчетливости, бросился на помощь слабейшей стороне. Рыцарский поступок его, по всей вероятности, спас мистера Джонса от ярости Твакома и благоговейной дружбы Блайфила к своему старому наставнику, ибо, не говоря уже о неравенстве сил, рука Джонса еще недостаточно оправилась после перелома и не обладала прежней мощью. Неожиданное подкрепление, однако, скоро положило конец битве, и Джонс со своим союзником вышли из нее победителями.

## ГЛАВА XII,

*в которой дано зрелище более волнующее, нежели окровавленные тела Твакома и Блайфила и дюжины им подобных*

Тут показались спутники мистера Вестерна, явившиеся как раз в ту минуту, когда сражение окончилось. Это были почтенный священнослужитель, которого мы видели недавно за столом мистера Вестерна, миссис Вестерн — тетка Софьи, и, наконец, сама прекрасная Софья.

Поле кровавой битвы представляло собой в это время следующую картину. Побежденный Блайфил, весь бледный и почти бездыханный, был распростерт на земле. Возле него стоял победитель Джонс, покрытый кровью — частью своей собственной, а частью принадлежавшей недавно его преподобию мистеру Твакому. Поодаль названный Тваком, подобно царю Пору, мрачно сдавался победителю. Последним действующим лицом был Вестерн Великий, великодушно дававший пощаду побежденному врагу.

Блайфил, почти без признаков жизни, первый стал предметом заботливости всех, в особенности миссис Вестерн; вынув из кармана скляночку с нюхательной солью, она собиралась уже поднести ее к носу пострадавшего, как вдруг внимание общества было отвлечено от бедного Блайфила, душе которого был предоставлен удобный случай отправиться, если бы ей вздумалось, без дальних церемоний на тот свет.

Дело в том, что предмет более прекрасный и более достойный сожаления лежал без движения перед ними. То был не кто иной, как сама прелестная Софья, которая, при виде ли крови, из боязни

ли за отца или по какой другой причине, упала в обморок, прежде чем кто-нибудь мог поспеть ей на помощь.

Миссис Вестерн первая увидела это и вскрикнула. Тотчас же раздалось два или три голоса: «Мисс Вестерн умерла!» — и все сразу стали требовать нюхательной соли, воды и других лекарств.

Читатель, может быть, помнит, что при описании этой рощи мы упомянули о журчащем ручейке, который, не в пример ручьям, изображаемым в пошлых романах, протекал здесь не для того только, чтобы журчать. Нет! Фортуна удостоила этот ручеек высшей чести, чем какая выпадала когда-либо самым счастливым ручьям, орошающим равнины Аркадии.

Джонс растирал Блайфилу виски, испугавшись, не слишком ли он поусердствовал во время борьбы, когда слова «мисс Вестерн» и «умерла» одновременно поразили его слух. Он вскочил, бросил Блайфила на произвол судьбы, помчался к Софье, и, в то время как остальные метались без толку взад и вперед в поисках воды на сухих дорожках, подхватил ее на руки и побежал через полянку к вышеупомянутому ручейку; войдя в воду, он принялся усердно обрызгивать ей лицо, голову и шею.

К счастью для Софьи, то самое замешательство, которое воспрепятствовало ее прочим спутникам оказать ей помощь, помешало им также удержать Джонса. Он пробежал уже полдороги, прежде чем они сообразили, что он делает, и успел вернуть девушку к жизни, прежде чем они достигли берега ручья. Софья протянула руки, открыла глаза и воскликнула: «Боже мой!» — в ту самую минуту, когда подоспели отец ее, тетка и священник.

Джонс, до сих пор державший дорогую ношу в своих объятиях, опустил ее на землю, но в то же самое мгновение нежно приласкал ее, что не могло бы ускользнуть от ее внимания, если бы она уже совершенно пришла в чувство. Но так как она не обнаруживала никакого неудовольствия при этой вольности, то мы думаем, что в ту минуту она еще не совсем очнулась от обморока.

Трагическая сцена вдруг обратилась в радостную, в которой герою нашему, несомненно, принадлежала главная роль; ибо если он чувствовал, вероятно, гораздо больший восторг по случаю спасения Софьи, чем сама она, то и поздравления, приносимые ей, не могли сравняться с ласками, посыпавшимися на Джонса; особенно неистовствовал мистер Вестерн, который, обняв раза два свою дочь, бросился на радостях душить и целовать Джонса. Он называл его спасителем Софьи и объявил, что готов отдать ему все, за исключением ее и своего поместья, впрочем, немного придя в себя, он исключил также своих гончих, Кавалера и Мисс Слауч (так называлась его любимая кобыла).

Успокоившись окончательно насчет дочери, сквайр обратил свою заботливость на Джонса.

— Скинь-ка голубчик, кафтан да умой лицо, оно у тебя здорово разукрашено,— приговаривал Вестерн.— Живее, живей умывайся да пойдем ко мне, мы отыщем для тебя другое платье.

Джонс беспрекословно повиновался, снял кафтан, подошел к воде и вымыл лицо и грудь, которая была избита и окровавлена в не меньшей степени. Но, смывши кровь, вода не могла удалить черных и синих пятен, которыми его изукрасил Тваком. Заметив их, Софья невольно вздохнула и бросила на Джонса взгляд, полный невыразимой нежности.

Встреченный им взгляд этот произвел на него неизмеримо сильнейшее действие, чем все ушибы, полученные в драке. Действие, однако, совсем иного свойства — столь благотворное и успокоительное, что если бы даже он был не избит, а изранен, то и тогда оно прогнало бы на несколько минут всякую боль.

Общество отправилось теперь в обратный путь и вскоре дошло до того места, где Твакому удалось наконец поставить мистера Блайфила на ноги. По этому случаю мы не можем не выразить благочестивого пожелания, чтобы все споры решались только тем оружием, которым снабдила нас Природа, знающая, что нам годится, и чтобы холодное железо вонзалось только во внутренности земли. Тогда война, любимое занятие монархов, сделалась бы почти безвредной и можно было бы давать сражения между многочисленными армиями по прихоти высокопоставленных дам, которые вместе с самими королями любовались бы зрелищем битвы; тогда поле ее можно было бы спокойно усеивать человеческими трупами, для того чтобы через несколько минут мертвецы или значительнейшая часть их, подобно мистеру Байеса, встали и ушли церемониальным маршем под звуки барабана или скрипки, смотря по предварительному соглашению.

Я желал бы избежать обвинения в юмористическом трактовании этой темы, иначе серьезные политики, которые, я знаю, шуток не любят, пожалуй, скорчат презрительную гримасу. Но, говоря серьезно, разве сражения не могли бы решаться бóльшим числом поломанных черепов, расквашенных носов и подбитых глаз, как теперь они решаются бóльшими кучами изувеченных и убитых человеческих тел? Разве нельзя таким же способом брать города? Конечно, предложение это чрезвычайно невыгодное для французов, потому что при этом они лишились бы преимущества над другими нациями, доставляемого им высоким искусством их инженеров; но, принимая в соображение рыцарский характер и благородство этого народа, я убежден, что они не откажутся сражаться

со своим противником равными силами, как это делается в поединках.

Однако, как ни желательны такие преобразования, мало надежды на проведение их в жизнь, поэтому я ограничиваюсь этим кратким наброском и возвращаюсь к прерванному рассказу.

Вестерн стал расспрашивать о причинах ссоры. Ни Блайфил, ни Джонс ничего ему не ответили, Тваком же сказал со злобой:

— Причина, я думаю, недалеко отсюда: пошарьте в кустах, и вы найдете ее.

— Найдем ее? — удивился Вестерн.— Как! Неужели вы дрались из-за девчонки?

— Спросите этого джентльмена в жилетке, он лучше знает,— отвечал Тваком.

— Ну, тогда, конечно, девчонка! — воскликнул Вестерн.— Ах, Том, Том, какой же ты сластена! Однако, джентльмены, будемте друзьями и пойдем ко мне, выпьем мировую.

— Прошу извинить меня, сэр,— сказал Тваком,— это не пустяки для человека моего звания потерпеть такое оскорбление от мальчишки и быть им избитым только за то, что хотел исполнить свой долг и пытался открыть и привести к судье гулящую девку. Впрочем, главная вина тут падает на мистера Олверти и на вас: если бы вы строже взыскивали за нарушение законов, как вам надлежит делать, то скоро очистили бы всю нашу местность от этой погани.

— Скорее я очистил бы ее от лисиц,— отвечал Вестерн.— По-моему, мы должны поощрять пополнение убыли нашего населения, которую мы терпим каждый день на войне. Где же она, однако? Покажи ее, пожалуйста, Том.

И он принялся шарить по кустам таким же способом и с такими же возгласами, как если бы хотел поднять зайца. Через несколько минут раздался его крик:

— Го, го! Зайчик недалеко! Клянусь честью, вот его нора. Только, сдается, дичь улизнула.

Сквайр действительно обнаружил место, откуда бедная девушка при начале драки улепетнула со всех ног, не хуже зайца.

Тут Софья стала просить отца вернуться домой, говоря, что ей нехорошо и она боится повторения обморока. Сквайр тотчас исполнил ее желание (потому что был нежно любящим родителем) и снова пригласил к себе все общество отужинать. Однако Блайфил и Тваком решительно отказались: первый сказал, что есть много причин, заставляющих его отклонить приглашение сквайра, но называть их сейчас ему неудобно, а второй объявил (может быть, справедливо), что человеку его звания неприлично являться куда-либо в таком виде.

Что же касается Джонса, то он был неспособен отказаться от удовольствия находиться подле своей Софьи, почему и продолжал путь вместе со сквайром Вестерном и его дамами, предоставив приходскому священнику замыкать шествие. Этот последний хотел было остаться с Твакомом, говоря, что уважение к сану не позволяет ему покинуть собрата, но Тваком отклонил его заботливость и довольно нелюбезно заставил его идти с мистером Вестерном.

Так кончилась эта кровавая битва; и ею да закончится пятая книга нашей истории.

# КНИГА ШЕСТАЯ.

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ОКОЛО ТРЕХ НЕДЕЛЬ

## ГЛАВА I

### *О любви*

В последней книге нам пришлось иметь довольно много дела с любовной страстью, а на следующих страницах мы должны будем говорить об этом предмете еще обстоятельнее. Поэтому здесь кстати, пожалуй, заняться исследованием новейшей теории, принадлежащей к числу многих других замечательных открытий наших философов, согласно которой такой страсти вовсе не существует в человеческом сердце.

Относятся ли эти философы к той самой удивительной секте, о которой с почтением отзывается покойный доктор Свифт на том основании, что они единственно силой гения, без малейшей помощи науки или даже просто чтения, открыли глубочайшую и драгоценнейшую тайну, что бога нет, или, может быть, скорее, они одного толка с теми, которые несколько лет назад переполошили весь мир, доказывая, что в человеческом естестве не содержится ничего похожего на добродетель и доброту, и выводя все наши хорошие поступки из гордости,— этого я не берусь здесь решить. По правде говоря, я склонен подозревать, что все эти искатели истины как две капли воды похожи на людей, занятых нахождением золота. По крайней мере, способ, применяемый этими господами при отыскании истины и золота, одинаковый: и те и другие копаются, роются и возятся в пакостных местах, и первые в наипакостнейшем из всех — *в грязной душе*.

Но если в отношении метода, а, может быть, также и результатов, искатели истины и золотоискатели чрезвычайно похожи друг на друга, то по части скромности они между собой несравнимы. Слыхано ли когда-нибудь, чтобы алхимик, стремящийся получить

золото, имел бесстыдство или глупость утверждать, убедившись в безуспешности своих опытов, что на свете нет такого вещества, как золото? Между тем искатель истины, покопавшись в помойной яме — в собственной душе — и не найдя там ни малейших проблесков божества и ничего похожего на добродетель, доброту, красоту и любовь, очень откровенно, очень честно и очень последовательно заключает отсюда, что ничего этого не существует во всем мироздании.

Однако во избежание всяких пререканий с этими философами, если их можно так назвать, и чтобы доказать нашу готовность к миролюбивому решению вопроса, мы сделаем им кое-какие уступки, которые, может быть, положат конец спору.

Во-первых, мы допускаем, что есть души, и к ним, может быть, принадлежат души наших философов, совершенно чуждые малейших признаков вышеупомянутой страсти.

Во-вторых, то, что обыкновенно называется любовью, именно: желание утолить разыгравшийся аппетит некоторым количеством нежного белого человеческого мяса, ни в коем случае не есть та страсть, которую я здесь отстаиваю. То чувство правильнее будет назвать голодом; и если обжора без стеснения прилагает слово «любовь» к своему аппетиту и говорит, что он *любит* такие-то и такие-то блюда, то человек, любящий такой любовью, с одинаковым правом может сказать, что он *алчет* такой-то и такой-то женщины.

В-третьих, я допускаю, и считаю это самой приемлемой уступкой, что хотя та любовь, на защиту которой я выступаю, удовлетворяется гораздо более деликатным способом, однако и она ищет удовлетворения не меньше, чем самое грубое из всех наших влечений.

И наконец, я допускаю, что эта любовь, когда она направлена на существо другого пола, весьма расположена для полного наслаждения приглашать себе на помощь только что мной упомянутый голод, и он не только ее не ослабляет, но, напротив, повышает все ее восторги до степени, едва доступной воображению людей, никогда не знавших иных волнений, кроме тех, что проистекают из одного лишь вожделения.

Взамен этих уступок я требую от наших философов согласиться с тем, что в сердцах некоторых (я убежден, даже многих) людей живут добрые и благожелательные чувства, побуждающие их способствовать счастью других; что эта бескорыстная деятельность, подобно дружбе, подобно родительской и сыновней любви, подобно всякой вообще филантропии, доставляет сама по себе большое и изысканное наслаждение; что если мы не назовем этого чувства любовью, то у нас нет для него иного названия; что хотя

восторги, проистекающие из такой чистой любви, могут быть повышены и услаждены чувственным желанием, однако они существуют и независимо от последнего, не разрушаясь его вторжением; и наконец, что уважение и благодарность являются подлинными источниками любви, как молодость и красота служат источниками желания, и поэтому хотя такое желание и проходит естественным образом, когда годы или болезнь поражают его предмет, однако они не способны оказать никакого действия на любовь и бессильны поколебать или уничтожить в добром сердце чувство или страсть, в основе которого лежит благодарность и уважение.

Отрицать существование страсти, наблюдая постоянно ее очевиднейшие проявления, представляется мне весьма странным и нелепым. Такое отрицание может проистекать только из рассмотренного нами самоослепления. Но как оно несправедливо! Разве человек, не обнаруживающий в собственном сердце никаких следов корыстолюбия или честолюбия, заключает отсюда, что эти страсти вовсе не свойственны человеческой природе? Почему же тогда нам скромно не придерживаться одинакового правила при суждении как о пороках, так и о добродетелях людей? Почему нам непременно хочется, как говорит Шекспир, «вкладывать целый мир в нашу собственную особу»?

Боюсь, это происходит от непомерного тщеславия. Это один из примеров лести, которую почти все мы расточаем собственному уму. Едва ли найдется человек, который, при всем своем презрении к льстецам, не опускался бы до самой низкой лести перед самим собой.

Итак, я обращаюсь за подтверждением правоты моих замечаний к людям, сознающим в собственной душе то, что мной здесь высказано.

Исследуйте свое сердце, любезный читатель, и скажите, согласны вы со мной или нет. Если согласны, то на следующих страницах вы найдете примеры, поясняющие слова мои; а если нет, то смею вас уверить, что вы уже сейчас прочли больше, чем можете понять; и вам было бы разумнее заняться вашим делом или предаться удовольствиям (каковы бы они ни были), чем терять время на чтение книги, которой вы не способны ни насладиться, ни оценить. Говорить вам о перипетиях любви было бы так же нелепо, как объяснять природу цветов слепорожденному, ибо ваше представление о любви может оказаться столь же превратным, как то представление, которое, как нам рассказывают, один слепой составил себе о пунцовом цвете: этот цвет казался ему очень похожим на звук трубы; любовь тоже может показаться вам очень похожей на тарелку супа или на говяжий филей.

## ГЛАВА II

*Характеристика миссис Вестерн, ее великой учености и знания света и пример ее глубокой проницательности, проистекавшей из этих качеств*

Читатель расстался с мистером Вестерном, его сестрой и дочерью, когда они возвращались с Джонсом и священником в дом мистера Вестерна, где большая часть этого общества и провела вечер в радости и веселье. Одна только Софья оставалась задумчивой; что же касается Джонса, то хотя любовь сделалась теперь полновластной владычицей его сердца, однако удовольствие по случаю выздоровления мистера Олверти и присутствие его возлюбленной да еще в придачу нежные взгляды, которыми она время от времени невольно дарила его, так оживили нашего героя, что он соединял в себе веселье остальных трех участников этой пирушки, может быть самых веселых людей на свете.

Ту же задумчивость сохраняла Софья и на следующее утро за завтраком; она удалилась из-за стола тоже раньше обычного, оставив отца и тетку одних. Сквайр не обратил никакого внимания на перемену в расположении духа дочери. Хотя он и интересовался политикой и дважды был кандидатом от округа на выборах, но, по правде говоря, не отличался большой наблюдательностью. Сестра его была дама другого сорта. Она жила при дворе и видела свет. Там она приобрела все знания, какие обыкновенно приобретаются в означенном свете, и ей в совершенстве были известны манеры, обычаи, церемонии и моды. Но этим не ограничивалась ее эрудиция. Она значительно усовершенствовала свой ум учением и не только перечитала все современные комедии, оперы, оратории, поэмы и романы, о которых умела высказать при случае критическое замечание, но прочла также с начала до конца «Историю Англии» Рапена, римскую историю Ичарда, множество французских «Mèmoires pour servir à l'Histoire»[1] и вдобавок бóльшую часть политических памфлетов и журналов, появившихся за последние двадцать лет. Из них она почерпнула обширные сведения по части политики и могла рассуждать очень основательно о положении дел в Европе. Кроме того, она была великолепно осведомлена в науке любви и лучше кого-либо знала, кто с кем состоит в каких отношениях,— знание, которое доставалось ей тем легче, что во время приобретения его она не отвлекалась собственными делами по этой части,— оттого ли, что не имела к ним расположе-

[1] «Мемуары, служащие пособием для изучения истории» *(франц.)*.

ния, или же оттого, что этого расположения у нее никто не добивался; последнее было вероятнее, ибо ее мужеподобная наружность и шесть футов роста в соединении с ее повадками и ученостью препятствовали, должно быть, мужчинам видеть в ней женщину, несмотря на юбки. Тем не менее, благодаря научному подходу к вещам, миссис Вестерн в совершенстве знала, хотя на опыте и не испробовала, все штучки, пускаемые в ход дамами, когда они желают поощрить поклонника или скрыть свое чувство, со всем арсеналом улыбок, глазок и тому подобным, который нынче в употреблении в высшем свете. Словом, ни один дамский прием по части притворства и жеманства не ускользнул от ее наблюдений, но о простых и безыскусственных движениях сердца честной натуры она знала мало, потому что таких вещей ей никогда не приходилось видеть.

Вооруженная этой удивительной осведомленностью, миссис Вестерн сделала, как ей казалось, важное открытие в душе Софьи. Первый намек подало ей поведение девушки на поле битвы; возникшие у нее тогда догадки были подтверждены кое-какими наблюдениями, произведенными в тот вечер и на другое утро. Однако она очень боялась совершить ошибку и потому целые две недели носила тайну в груди своей, выдавая ее только косвенными намеками: кривыми улыбками, подмигиванием, кивками и роняемыми время от времени загадочными словами, что сильно встревожило Софью, но не произвело ни малейшего впечатления на ее отца.

Но, проникшись наконец твердым убеждением в справедливости своих догадок, миссис Вестерн однажды утром воспользовалась случаем, когда осталась наедине с братом, и прервала насвистываемую им песенку следующими словами:

— Скажите, братец, вы не заметили в последнее время ничего особенного в моей племяннице?

— Нет, не заметил,— отвечал Вестерн.— А разве с ней что-нибудь неладно?

— Да, мне кажется, что неладно,— отвечала миссис Вестерн,— и очень даже неладно.

— Странно: она ни на что не жалуется,— воскликнул Вестерн,— и оспа у нее уже была!

— Братец,— возразила миссис Вестерн,— девушки подвержены и другим болезням, кроме оспы, подчас гораздо опаснейшим.

Эти слова привели сквайра в сильное беспокойство, он серьезно попросил сестру не томить его и сказать, уж не заболела ли Софья, прибавив, что, как ей известно, он любит дочь больше жизни и пошлет для нее на край света за лучшим доктором.

— Полно, успокойтесь,— отвечала сестра с улыбкой,— болезнь ее не такая страшная. Но, я думаю, братец, вы не сомневаетесь, что я знаю свет, так поверьте мне: или я ошибаюсь, как никогда в жизни, или моя племенница безнадежно влюблена.

— Что? Влюблена?! — с гневом воскликнул Вестерн.— Влюблена без моего ведома?! Да я лишу ее наследства, прогоню со двора нагишом, без гроша! Как?! За всю мою доброту и за всю мою любовь влюблена, не спросив моего позволения?!

— Надеюсь,— возразила миссис Вестерн,— вы не прогоните дочери, которую любите больше жизни, не узнав раньше, на ком она остановила свой выбор. Предположим, он пал на того, кого вы и сами пожелали бы ей в женихи,— надеюсь, вы не станете тогда на нее сердиться?

— Понятно, нет,— вскричал Вестерн,— это другое дело! Если она выйдет замуж за человека, которого укажу ей я, так пусть себе любит, кого ей вздумается, мне до этого дела нет.

— Вот это разумно сказано,— отвечала сестра.— Но я думаю, что человек, на которого пал ее выбор,— тот самый, кого и вы для нее выбрали бы. Если это не так, то все мое знание света никуда не годится, а согласитесь, братец, что я все-таки его довольно знаю.

— Не буду спорить, сестрица,— сказал Вестерн,— вы знаете свет не хуже всякой другой: это по женской части. Не люблю я только, когда вы толкуете о политике: это наше дело, и юбкам нечего в такие дела соваться. Но кто же, однако, ее избранник?

— Так я вам и скажу! Нет, извольте догадаться сами. Такому великому политику, как вы, это нетрудно сделать. Ум, который проникает в кабинеты государей и открывает тайные пружины, приводящие в движение государственные колеса всех политических машин Европы, конечно, легко разгадает, что творится в простом и неискушенном сердце девушки.

— Сестра,— нетерпеливо воскликнул сквайр,— я уже не раз просил вас оставить в разговоре со мной эту придворную тарабарщину! Говорю вам, что вашего жаргона я не понимаю, хоть и читаю журналы и «Лондонскую вечернюю почту». Случается, правда, что та или другая строчка поставит в тупик, потому что половина букв пропущена, а все же я прекрасно знаю, что это значит: знаю, что наши дела идут не так хорошо, как следовало бы, и все из-за взяток да подкупов.

— Ваше деревенское невежество внушает мне истинное сожаление,— сказала миссис Вестерн.

— Неужто? А мне так ваша столичная ученость внушает жалость. Чем угодно готов быть, только не придворным, не пресвитерианцем и не ганноверцем, как иные.

— Если вы намекаете на меня,— отвечала сестра,— так ведь вы знаете, братец, что я женщина, и, стало быть, это не имеет никакого значения. Кроме того...

— Я знаю, что ты женщина,— перебил ее сквайр,— и счастье твое, что женщина. Если бы ты была мужчиной, так я уже дал бы тебе щелчка.

— В этих щелчках все ваше воображаемое превосходство. Кулак у вас действительно крепче нашего, а мозги — нисколько. Счастье ваше, что вы можете нас прибить, иначе, поверьте, благодаря превосходству нашего ума мы сделали бы всех вас тем же, чем уже сделали стольких храбрых, мудрых, остроумных и образованных: нашими рабами.

— Очень рад, что знаю ваши намерения,— отвечал сквайр,— но об этом потолкуем в другой раз. А теперь скажите, кто же он, однако, этот избранник дочери?

— Минуточку терпения: дайте переварить величественное презрение, которое я питаю к вашему полу, иначе я буду слишком на вас сердиться. Ну вот — я постаралась проглотить свой гнев. А теперь, великий политик, что вы думаете о мистере Блайфиле? Разве Софья не лишилась чувств, увидя его лежащим без дыхания? Разве, придя в себя, она не побледнела снова, когда мы подошли к тому месту поляны, где он стоял? И какую вы укажете причину ее грусти в тот вечер за ужином, на следующее утро, да и все эти дни?

— Клянусь святым Георгием,— воскликнул сквайр,— теперь, когда вы меня надоумили, я все припоминаю! Разумеется, это так, и я от всего сердца рад этому. Я знал, что Софья хорошая девочка и не доставит мне огорчения своей любовью. Никогда в жизни у меня еще не было такой радости,— ведь наши поместья бок о бок! Я и сам об этом подумывал: оба поместья уже словно сочетались браком, и жаль было бы разлучить их. Есть, конечно, в королевстве имения и побольше, да не в нашем графстве, и я готов лучше пойти на уступки, чем выдать дочь за чужого или иноземца. К тому же бóльшая часть крупных поместий в руках лордов, а я самое слово это ненавижу. Как же, однако, мне поступить? Посоветуйте, сестрица. Потому что, повторяю, вы, женщины, смыслите в этих делах больше нашего.

— Покорнейше вас благодарю, сэр,— отвечала миссис Вестерн,— премного вам признательна, что вы хоть на что-нибудь нас годными считаете. Если вы удостаиваете спросить у меня совета, то, я полагаю, вам лучше всего самому сделать предложение Олверти. Когда оно исходит от родителей, в нем нет ничего неприличного. В «Одиссее» мистера Попа царь Алкиной сам предлагал свою дочь в жены Улиссу. Мне, конечно, нет надобности

предупреждать такого глубокого политика, что не следует говорить о том, что ваша дочь влюблена,— это было бы против всяких правил.

— Хорошо,— сказал сквайр,— сделаю предложение. Только уж задам я ему, если он мне откажет!

— Не беспокойтесь,— возразила миссис Вестерн,— партия слишком выгодная, чтобы встретить отказ.

— Ну, не знаю,— отвечал сквайр.— Олверти ведь чудак, и деньги для него ничего не значат.

— Какой же вы плохой политик, братец! — укоризненно заметила сестра.— Разве можно так слепо доверять словам? Неужели вы думаете, что мистер Олверти презирает деньги больше других, потому что он заявляет об этом? Такое легковерие пристало бы больше нам, слабым женщинам, чем мудрому полу, который создан богом для того, чтобы заниматься политикой. Право, братец, вас бы уполномочить вести переговоры с Францией. Французы тотчас вас убедили бы, что берут города исключительно с целью самозащиты.

— Сестра,— презрительно оборвал ее сквайр,— пусть ваши придворные друзья отвечают за взятые города; вы женщина, и я не стану вас порицать, ибо, я полагаю, они все же настолько умны, чтобы не доверять секретов бабам.

И он так саркастически рассмеялся, что миссис Вестерн не могла больше выдержать. Слова брата задели ее за живое (ибо она действительно была хорошо осведомлена в этих делах и принимала их близко к сердцу), она вспыхнула, раскричалась, назвала брата шутом и олухом и объявила, что не желает дольше оставаться у него в доме.

Сквайр, вероятно, никогда не читал Макиавелли, однако был во многих отношениях тонким политиком. Он строго придерживался мудрых правил, усердно насаждаемых в политико-перипатетической школе биржи. Он знал настоящую цену и единственное употребление денег, заключавшееся в том, чтобы копить их. Равным образом он был хорошо осведомлен в законах о наследстве, о переходе имения обратно к дарителю и тому подобном, часто высчитывал величину сестрина состояния и размышлял, достанется ли оно ему или его потомкам. В сквайре было слишком много благоразумия, чтобы пожертвовать всем этим из-за пустой размолвки. Увидев, что дело зашло слишком далеко, он начал думать о примирении; задача была нетрудная, потому что миссис Вестерн очень любила брата и еще больше — племянницу; хотя она болезненно воспринимала насмешки над ее знаниями в области политики, которыми очень гордилась, но была женщина необыкновенно добрая и покладистая.

Вот почему, отправившись первым делом на конюшню и заперев там всех лошадей, после чего их можно было вывести разве только через окно, сквайр вернулся потом к сестре; он принялся всячески ее ублажать и задабривать, взяв назад все, что ей сказал, и утверждая прямо противоположное тому, что так ее разгневало. Наконец, он призвал себе на помощь красноречие Софьи, которая, помимо чарующего и подкупающего обращения, имела еще и то преимущество, что тетка всегда выслушивала ее любезно и благосклонно. Результатом всего этого было то, что миссис Вестерн добродушно улыбнулась и сказала:

— Вы настоящий кроат, братец. Но и кроаты на что-нибудь да годны в армии императрицы-королевы; так и вы не без добрых качеств. Поэтому я попробую еще раз подписать с вами мирный договор, но только смотрите не нарушайте его; по крайней мере, раз вы такой превосходный политик, я буду ожидать, что, подобно французам, вы не нарушите его до тех пор, пока этого не потребуют ваши интересы.

## ГЛАВА III,

*содержащая два вызова критикам*

Уладив дело с сестрой, как мы видели в предыдущей главе, сквайр хотел, не откладывая ни минуты, сделать предложение Олверти, так что миссис Вестерн стоило огромного труда отговорить брата от поездки с этой целью к соседу во время его болезни.

Мистер Олверти был приглашен отобедать к мистеру Вестерну, но болезнь помешала ему воспользоваться приглашением. Поэтому, выйдя из-под опеки медицины, он собрался исполнить свое обещание, как делал это всегда и в важных делах, и в самых ничтожных.

В промежутке между разговором, приведенным в предыдущей главе, и этим званым обедом Софья начала догадываться по некоторым неясным намекам, брошенным теткой, что эта проницательная дама заметила ее неравнодушие к Джонсу. Она решила воспользоваться предстоящим случаем, чтобы рассеять все подобные подозрения, и с этой целью начала играть несвойственную ей роль.

Первым делом она постаралась скрыть свою глубокую сердечную грусть под маской самого беззаветного веселья. Далее, она разговаривала исключительно с мистером Блайфилом и в течение целого дня ни разу даже не взглянула на беднягу Джонса.

Сквайр был в таком восторге от дочери, что почти не прикасался к кушаньям и только то и делал, что кивал и подмигивал сестре в знак своего одобрения; но та сначала вовсе не была так обрадована, как ее брат, тем, что видела.

Словом, Софья настолько переиграла свою роль, что заронила было в тетке некоторые сомнения, и миссис Вестерн начала подозревать тут притворство; однако, будучи женщиной весьма тонкого ума, скоро объяснила его тонкой политикой Софьи. Она вспомнила, сколько намеков сделала она племяннице насчет ее влюбленности, и вообразила, что девушка хочет таким образом разуверить ее при помощи преувеличенной вежливости — мнение, которое еще больше подтверждала необыкновенная веселость Софьи, не покидавшая ее в течение целого дня. Не можем здесь не заметить, что это предположение было бы более основательно, если бы Софья провела десяток лет в атмосфере Гровенор-сквера, где молодые дамы научаются удивительно ловко играть той страстью, которая является делом весьма серьезным в рощах и лесах за сто миль от Лондона.

По правде говоря, при разоблачении плутовства других очень важно, чтобы наша собственная хитрость была, если можно так выразиться, настроена в тон с чужой: подчас самые тонкие мошенники попадают впросак, воображая других умнее или, лучше сказать, ловчее, чем они есть на самом деле. Так как замечание это отличается необыкновенной глубиной, то я поясню его такой сказочкой. Три крестьянина преследовали одного вильтширского вора по улицам Брентфорда. Самый простоватый из них, увидя вывеску «Вильтширская гостиница», предложил своим товарищам зайти туда, в уверенности, что они найдут там своего земляка; другой, поумнее, посмеялся над его простотой; но третий, самый умный, сказал: «Давайте все-таки зайдем: может быть, он думает, что нам в голову не придет искать его между земляками». Они вошли и обшарили весь дом, а вор, которого уже почти нагнали, выиграл, таким образом, время и скрылся; между тем все эти крестьяне знали, да упустили из виду, что вор и читать-то не умеет.

Читатель простит мне отступление, в котором сообщается секрет неоценимой важности: ведь всякий игрок согласится, насколько необходимо знать в точности приемы противника, чтобы обыграть его. Оно поможет также понять, почему дурак часто проводит умного и почему искренние движения простой души обыкновенно истолковываются превратно; но самое существенное то, что оно объяснит, почему Софье удалось обмануть свою тонкую тетушку.

После обеда общество перешло в сад, и мистер Вестерн, совершенно убежденный в справедливости предположений сестры, отвел мистера Олверти в сторону и без обиняков предложил ему женить мистера Блайфила на Софье.

Мистер Олверти был не из тех людей, сердца которых начинают биться ускоренно при известии о внезапно сваливающихся

материальных выгодах. Душа его была закалена философией, приличествующей мужчине и христианину. Он не прикидывался, будто стоит выше всех радостей и горя, но в то же время не расстраивался и не хорохорился при неожиданных оборотах колеса фортуны, при ее гримасах или улыбках. Поэтому он выслушал предложение мистера Вестерна с полным наружным спокойствием, нисколько не переменившись в лице. Он сказал, что союз этот именно такой, какого он искренне желает, после чего принялся расхваливать достоинства молодой девушки; признал, что предложение очень выгодно и в материальном отношении, и в заключение, поблагодарив мистера Вестерна за доброе мнение о его племяннике, сказал, что, если молодые люди друг другу понравятся, он с большим удовольствием порешит это дело.

Вестерн был немного раздосадован ответом мистера Олверти, не найдя в нем той теплоты, какой ожидал. А к сомнениям мистера Олверти насчет того, понравятся ли друг другу молодые люди, отнесся весьма пренебрежительно, сказав, что родители лучше всех могут судить о подходящих партиях для своих детей; что со своей стороны он будет требовать совершеннейшей покорности от дочери, а если какой-нибудь молодчик откажется от такой женки, так, слуга покорный, он горевать не будет.

Олверти постарался загладить дурное впечатление от своих слов восторженными похвалами Софье, заявив, что мистер Блайфил, без сомнения, с радостью примет предложение. Но все было безуспешно: он не мог добиться от сквайра иного ответа, кроме:

— Больше я — ни слова... Горевать не буду — вот и все.

Слова эти были им повторены, по крайней мере, сотню раз, перед тем как они расстались.

Олверти слишком хорошо знал своего соседа, для того чтобы на него обидеться; хотя он порицал строгость, проявляемую некоторыми родителями к детям в отношении брака, и сам ни за что не стал бы навязывать свою волю племяннику, но все же с большим удовольствием думал о союзе молодых людей; в самом деле, кругом раздавалось столько похвал Софье, да и он тоже восхищался ее незаурядными дарованиями и красотой.

К этому, я полагаю, мы можем прибавить небезразличное отношение к ее богатству: хотя оно его и не ослепляло, но здравый смысл не позволял ему также пренебрегать им.

Здесь, невзирая на лай всех критиков на свете, я должен и хочу сделать отступление касательно истинной мудрости, коей Олверти мог служить таким же прекрасным примером, как и примером доброты.

Истинная мудрость — что бы ни писал нищий-поэт мистера Хогарта против богатства и, наперекор всем проповедям богатых,

сытых попов, против удовольствий,— истинная мудрость заключается не в презрении к этим благам. Обладатель несметного богатства может быть столь же мудр, как и любой уличный нищий; можно наслаждаться обществом красавицы жены или преданного друга и быть не менее мудрым, чем какой-нибудь угрюмый папистский затворник, который убивает все свои общественные стремления и морит голодом брюхо, усердно бичуя свое седалище.

Правду сказать, истинно мудрый человек скорее прочих достигает обладания всеми мирскими благами в высочайшей степени: ведь если умеренность, предписываемая ему мудростью, есть вернейший путь к благосостоянию, то лишь она одна позволяет нам также вкусить разнообразных наслаждений. Мудрый человек удовлетворяет каждое свое желание и каждую страсть, тогда как глупец жертвует всеми страстями ради утоления и насыщения только одной.

Мне могут возразить, что некоторые мудрецы прославились своей скаредностью. Я отвечаю: в этом отношении они не были мудрыми. Можно также сказать, что очень мудрые люди в молодости неумеренно предавались удовольствиям. Я отвечаю: стало быть, тогда они не были мудры.

Словом, мудрость, наставления которой трудно усваиваются, по мнению людей, никогда не проходивших ее школы, учит нас лишь чуточку более широкому применению одной простой общеизвестной истины, которой следуют люди даже самого низкого происхождения. Истина эта гласит: ничего не покупай по слишком дорогой цене.

Кто запасается этой истиной, выходя на большой рынок света, и постоянно мерит ею почести, богатства, удовольствия и другие приятные вещи, предлагаемые этим рынком, тот — решаюсь я утверждать — человек мудрый и должен быть признан таковым в светском смысле этого слова; он делает самые выгодные покупки, так как приобретает любой предмет, в сущности, лишь ценой небольших хлопот и приносит домой все только что упомянутые мною приятные вещи, сохраняя в полной неприкосновенности свое здоровье, невинность и доброе имя,— обычная цена, которую платят за них другие.

Из этой умеренности равным образом извлекает он еще два урока, окончательно определяющие его характер. Первый: никогда через меру не восхищаться выгодной покупкой; второй: не падать духом, когда рынок пуст или когда товары на нем слишком дороги для его кармана.

Пора, однако, вспомнить о предмете моей книги и не злоупотреблять терпением доброжелательного критика. Поэтому я кончаю настоящую главу.

## ГЛАВА IV,

*содержащая разные любопытные происшествия*

Вернувшись домой, мистер Олверти тотчас же отвел мистера Блайфила в сторону и после краткого вступления сообщил ему предложение мистера Вестерна, прибавив, что сам он был бы очень рад этому союзу.

Прелести Софьи не производили ни малейшего впечатления на Блайфила — не потому, чтобы сердце его уже принадлежало другой, и не потому, чтобы он был совершенно нечувствителен к красоте или питал отвращение к женщинам,— но желания его от природы были так умеренны, что с помощью философии или учения или каким-либо иным способом он легко их обуздывал; а что касается страсти, о которой мы рассуждали в первой главе настоящей книги, то ее не было и следов во всем его существе.

Но, несмотря на полное отсутствие в нем этого сложного чувства, для которого таким подходящим предметом являлись достоинства и красота Софьи, он был богато наделен другими страстями, которым очень улыбалось состояние молодой девушки. То были корыстолюбие и честолюбие, делившие между собой власть над его душой. Не раз подумывал он об обладании этим богатством, как о чем-то весьма желательном, и даже строил насчет этого некоторые отдаленные планы; но его молодость, равно как и молодость Софьи, а главное — мысль о том, что мистер Вестерн может еще жениться и иметь других детей, удерживала его от чересчур поспешных и смелых шагов в этом направлении.

Это последнее и самое существенное препятствие было теперь в значительной степени устранено тем, что предложение исходило от самого мистера Вестерна. Поэтому после очень недолгого колебания Блайфил ответил мистеру Олверти, что супружество — предмет, о котором он еще не думал, но что он настолько признателен за его дружескую и отеческую заботливость, что во всем подчинится его желаниям, лишь бы доставить ему удовольствие.

Олверти был от природы человек пылкий, и теперешняя его степенность была следствием истинной мудрости и философии, а не флегматического характера; в молодости он был полон огня и женился на красивой женщине по любви,— поэтому ему не очень понравился холодный ответ племянника. Он не мог удержаться от похвал Софье и не выразить некоторого удивления, что сердце молодого человека может оставаться нечувствительным к действию таких чар, если только оно не полонено другой женщиной.

Блайфил уверил его, что оно никем не полонено, после чего принялся рассуждать о любви и браке так мудро и так благоче-

стиво, что замкнул бы рот человеку и не столь набожному, как его дядя. В конце концов добрый сквайр остался даже доволен, что его племянник, ничего не возражая против Софьи, свидетельствовал к ней уважение, служащее в трезвых и добродетельных душах надежной основой дружбы и любви. И, не сомневаясь, что жених в короткий срок добьется благорасположения невесты, Олверти считал обеспеченным счастье обеих сторон в таком удачном и во всех отношениях желательном союзе. Поэтому, с согласия мистера Блайфила, он на следующее же утро написал мистеру Вестерну, что племянник с большой благодарностью и радостью принимает его предложение и готов явиться с визитом к невесте, когда ей будет угодно принять его.

Вестерн был очень обрадован этим письмом и тотчас же настрочил ответ, в котором, ни слова не сказав дочери, назначил сватовство в тот же день.

Отправив послание, он тотчас пошел разыскивать сестру, которую застал за чтением и разъяснением «Газеты» священнику Саплу. Эти объяснения сквайр принужден был выслушивать целые четверть часа, с великим трудом сдерживая свою природную стремительность, прежде чем ему позволено было заговорить. Наконец, воспользовавшись минутой молчания, он объявил сестре, что у него к ней очень важное дело, на что та ответила:

— Я вся к вашим услугам, братец. Дела наши на севере идут так хорошо, что я, кажется, плясать готова.

После ухода священника Вестерн рассказал сестре все случившееся и попросил ее передать это Софье, за что миссис Вестерн взялась охотно и весело; впрочем, может быть, именно благоприятное положение дел на севере, от которого она пришла в такой восторг, избавило сквайра от всяких замечаний насчет его образа действий, несомненно несколько стремительного и бурного.

## ГЛАВА V,

*в которой сообщается о том, что произошло между Софьей и ее теткой*

Софья читала в своей комнате, когда тетка вошла к ней. Увидя миссис Вестерн, она так стремительно захлопнула книгу, что почтенная дама не могла удержаться от вопроса: что это за книга, которую она так боится показать?

— Смею вас уверить, сударыня,— отвечала Софья,— я нисколько не боюсь и не стыжусь показать ее. Это произведение одной молодой светской дамы, здравый смысл которой, мне кажется,

делает честь ее полу, а доброе сердце — человеческой природе вообще.

Миссис Вестерн взяла книгу и тотчас же бросила ее со словами:

— Да, эта дама из прекрасной семьи, но ее что-то мало видно в свете. Я не читала этой книги, потому что лучшие судьи говорят, что в ней немного хорошего.

— Не смею, сударыня, оспаривать мнение лучших людей,— отвечала Софья,— но, мне кажется, в ней есть глубокое понимание человеческой природы; многие места так трогательны и чувствительны, что я не раз плакала, читая ее.

— Так ты любишь поплакать? — спросила тетка.

— Я люблю нежные чувства,— отвечала племянница,— и охотно готова платить за них слезами.

— Хорошо,— сказала тетка,— а покажи мне, что ты читала, когда я вошла: должно быть, что-нибудь трогательное, что-нибудь о любви? Ты краснеешь, дорогая Софья! Ах, друг мой, тебе следовало бы почитать книги, которые научили бы тебя немножко лицемерить, научили бы искусству лучше скрывать свои мысли.

— Мне кажется, сударыня,— отвечала Софья,— у меня нет таких мыслей, которых надо стыдиться.

— Стыдиться! — воскликнула тетка.— Нет, я не думаю, чтобы тебе надо было стыдиться своих мыслей. Но все-таки, друг мой, ты только что покраснела при слове «любовь». Поверь, милая Софья, все твои мысли передо мной — как на ладони, все равно что движения нашей армии перед французами задолго до их осуществления. Неужели, душа моя, ты думаешь, что если тебе удалось провести отца, то удастся провести также и меня? Неужели ты воображаешь, что я не отгадала причины твоего преувеличенного внимания к мистеру Блайфилу на вчерашнем обеде? Нет, я довольно видела свет, ты меня не обманешь. Полно, не красней! Уверяю тебя, нечего стыдиться этой страсти. Я ее вполне одобряю и уже склонила отца на твою сторону. Я забочусь единственно о влечении твоего сердца и всегда готова прийти тебе на помощь, хотя бы для этого пришлось пожертвовать более высокими расчетами. Знаешь, у меня есть новость, которая порадует тебя до глубины души. Доверь мне свои сокровенные мысли, и я ручаюсь тебе, что все твои заветные желания будут исполнены.

— Право, сударыня,— отвечала Софья с крайне растерянным видом,— я не знаю, что вам сказать... В чем вы меня подозреваете?

— Ни в чем непристойном,— успокоила ее миссис Вестерн.— Помни, ты говоришь с женщиной, с теткой, и, надеюсь, ты веришь, что — с другом. Помни, ты мне откроешь лишь то, что мне уже

известно и что я ясно вчера разглядела, несмотря на твое искуснейшее притворство, которое обмануло бы каждого, кто не знает в совершенстве свет. Помни, наконец, что твое чувство я вполне одобряю.

— Право, сударыня,— пролепетала Софья,— вы нападаете так врасплох, так внезапно... Разумеется, сударыня, я не слепая... и, конечно, если это проступок — видеть все человеческие совершенства, собранные в одном лице... Но возможно ли, чтобы отец и вы, сударыня, смотрели моими глазами?

— Повторяю,— отвечала тетка,— мы тебя вполне одобряем, и твой отец назначил тебе принять жениха не дальше как сегодня вечером.

— Отец... сегодня вечером?! — воскликнула Софья, и краска сбежала с ее лица.

— Да, друг мой, сегодня вечером,— продолжала тетка.— Ты ведь знаешь стремительность моего брата. Я рассказала ему о твоем чувстве, которое в первый раз заметила в тот вечер, когда ты упала в обморок на поляне, во время прогулки. Я видела это чувство и в твоем обмороке, и после того, как ты очнулась, а также в тот вечер за ужином и на другое утро за завтраком (я, милая, все-таки знаю свет). Я рассказала об этом брату, и, представь, он в ту же минуту хотел сделать предложение Олверти. Он сделал его вчера, Олверти согласился (разумеется, с радостью согласился), и сегодня вечером, повторяю, тебе надо получше принарядиться.

— Сегодня вечером! — воскликнула Софья.— Вы меня пугаете, милая тетушка! Я, кажется, лишусь чувств.

— Ничего, душечка,— отвечала тетка,— скоро придешь в себя: он, надо отдать ему справедливость, очаровательный молодой человек.

— Да,— сказала Софья,— я не знаю никого лучше его. Такой храбрый и при этом такой кроткий, такой остроумный и никого не задевает; такой обходительный, такой вежливый, такой любезный и так хорош собой! Какое может иметь значение его низкое происхождение по сравнению с такими качествами!

— Низкое происхождение? Что ты хочешь этим сказать? — удивилась тетка.— Мистер Блайфил низкого происхождения!

Софья побледнела как полотно при этом имени и едва слышным голосом повторила его.

— Мистер Блайфил... ну да, мистер Блайфил, а то о ком же мы говорим? — с удивлением сказала тетка.

— Боже мой! —воскликнула Софья, чуть не лишаясь чувств.— Я думала о мистере Джонсе. Кто же, кроме него, заслуживает...

— Теперь ты меня пугаешь,— перебила ее тетка.— Неужели мистер Джонс, а не мистер Блайфил избранник твоего сердца?

— Мистер Блайфил! — повторила Софья.— Не может быть, чтобы вы говорили это серьезно, иначе я несчастнейшая женщина на свете!

Несколько минут миссис Вестерн стояла онемелая, со сверкающими от бешенства глазами. Наконец, собрав всю силу своего голоса, прогремела, отчеканивая каждое слово:

— Мыслимое ли это дело! Ты способна думать о том, чтобы опозорить твою семью союзом с незаконнорожденным? Разве может кровь Вестернов потерпеть такое осквернение?! Если у тебя не хватает здравого смысла обуздать такие чудовищные наклонности, так, я думала, хоть фамильная гордость побудит тебя не давать воли столь низкой страсти! Еще меньше я допускала, что у тебя достанет смелости признаться в ней мне!

— Сударыня,— отвечала дрожащая Софья,— вы сами вырвали у меня это признание. Не помню, чтобы я когда-нибудь и кому-нибудь говорила с одобрением о мистере Джонсе; не сказала бы и теперь, если бы не вообразила, что вы одобряете мою любовь. Каково бы ни было мое мнение об этом несчастном молодом человеке, я намеревалась унести его с собой в могилу — единственное место, в котором я могу теперь найти покой.

С этими словами она упала в кресло, заливаясь слезами, и в своем безмолвном, невыразимом словами горе представляла зрелище, способное тронуть самое каменное сердце.

Но эта глубокая скорбь не пробудила в тетке никакого сочувствия. Напротив, она еще пуще рассвирепела.

— Да я скорее провожу тебя в могилу,— запальчиво вскричала она,— чем потерплю, чтобы ты опозорила себя и свою семью такой партией! Господи, могла ли я когда-нибудь подумать, что доживу до признания родной племянницы в любви к такому человеку? Вы первая — да, мисс Вестерн, вы первая из нашей семьи, которой взбрела в голову такая унизительная мысль! Род наш всегда отличался благоразумием своей женской половины... — И миссис Вестерн говорила без умолку целых четверть часа, пока, скорее надсадивши голос, чем утолив свое бешенство, не заключила угрозой, что сейчас же пойдет к брату и расскажет ему все.

Тогда Софья бросилась к ее ногам и, схватив за руку, со слезами начала просить ее сохранить в тайне вырвавшееся нечаянно признание; она говорила о крутом нраве отца и клятвенно уверяла, что никакая страсть не заставит ее сделать что-нибудь ему неугодное.

Миссис Вестерн с минуту смотрела на нее молча, потом, собравшись с мыслями, сказала, что скроет тайну от брата только при

одном условии: именно, если Софья пообещает принять мистера Блайфила сегодня вечером как жениха и смотреть на него как на будущего мужа.

Бедная Софья была слишком во власти тетки, чтобы решительно отказать ей в чем-нибудь. Ей пришлось пообещать, что она выйдет к мистеру Блайфилу и будет с ним любезна, насколько это в ее силах, но она просила тетку не торопить свадьбу, сказав, что мистер Блайфил ей совсем не по сердцу и она надеется упросить отца не делать ее несчастнейшей из женщин.

На это миссис Вестерн отвечала ей, что свадьба — дело окончательно решенное, которого ничто не может и не должно расстроить.

— Должна признаться,— сказала она,— я сначала смотрела на этот брак как на вещь несущественную, и даже, пожалуй, у меня были на этот счет кое-какие сомнения, которые, однако, рассеялись при мысли, что это вполне отвечает твоим собственным желаниям; теперь же я вижу в нем самую настоятельную необходимость и, насколько от меня зависит, не позволю терять ни одной минуты даром.

— По крайней мере, я вправе ожидать, сударыня,— возразила Софья,— что вы и отец будете настолько добры и дадите мне отсрочку. Ведь надо же мне время, чтобы преодолеть мое отвращение к этому господину.

Тетка на это отвечала, что она слишком хорошо знает свет и на эту удочку не попадется; напротив, так как ей известно теперь, что другой человек пользуется расположением племянницы, то она постарается убедить мистера Вестерна всячески поторопиться со свадьбой.

— Плохая была бы тактика,— прибавила она,— затягивать осаду, когда неприятельская армия под носом и каждую минуту он может снять ее. Нет, нет, Софи, если уж ты поддалась безрассудной страсти, которую не можешь удовлетворить без ущерба для своей чести, то я должна принять все меры, чтобы избавить нашу семью от заботы беречь твою честь,— ибо, когда ты выйдешь замуж, все это будет касаться только твоего мужа. Надеюсь, душа моя, ты будешь достаточно благоразумна, чтобы вести себя прилично; а если нет, то замужество спасало многих женщин от гибели.

Софья хорошо поняла, на что намекала тетка, но не сочла нужным отвечать ей. Так или иначе, она решила выйти к мистеру Блайфилу и быть с ним как можно любезнее, ибо только при этом условии тетка давала ей обещание хранить тайну ее любви, которая была так несчастливо раскрыта скорее злой судьбой Софьи, чем каким-нибудь тонким ходом миссис Вестерн.

## ГЛАВА VI,

*содержащая разговор Софьи с миссис Гонорой, который немного умерит волнение доброго читателя, если он расчувствовался под влиянием только что описанной сцены*

Получив от племянницы упомянутое обещание, миссис Вестерн ушла, и тотчас же вслед за ней явилась миссис Гонора. Она сидела за работой в соседней комнате, и какая-то чересчур громкая фраза в разговоре миссис Вестерн с Софьей привлекла ее к замочной скважине, от которой она уже не отрывалась до самого конца разговора. Войдя в комнату, она застала Софью стоящей неподвижно, со струившимися по лицу слезами. Тогда миссис Гонора немедленно вызвала приличное количество слез на свои глаза и спросила:

— Боже милостивый, что с вами, дорогая барышня?

— Ничего,— сквозь слезы отвечала Софья.

— Ничего?.. Нет, милая барышня, вы мне этого не говорите,— продолжала Гонора,— на вас лица нет! И у вашей милости был такой разговор с мадам Вестерн...

— Не раздражай меня! — перебила ее Софья.— Говорю тебе, что ничего особенного. Боже мой, зачем я на свет родилась!

— Нет, сударыня,— продолжала Гонора,— ни за что не поверю, чтобы ваша милость могли так убиваться из-за пустяков. Конечно, я простая служанка, но, верьте слову, я всегда была предана вашей милости и, верьте слову, жизни бы не пожалела ради вашей милости.

— Нет, милая Гонора,— сказала Софья,— ты ничем мне не можешь помочь. Я погибла безвозвратно.

— Боже упаси! — воскликнула горничная.— Но пусть даже я не могу ничем вам помочь, все-таки прошу вас, барышня, расскажите мне, что случилось,— на душе будет легче, когда узнаю. Пожалуйста, расскажите, дорогая барышня!

— Батюшка хочет выдать меня за человека, которого я презираю и ненавижу,— отвечала Софья.

— Вот беда-то! Кто же этот негодник? — спросила Гонора.— Уж верно, дурной человек, если ваша милость презирает его.

— Самое имя его мне противно,— отвечала Софья.— Ты скоро его узнаешь.

Сказать правду, Гонора уже знала, о ком идет речь, и потому не стала надоедать расспросами.

— Не смею давать совета вашей милости,— проговорила она,— ваша милость знает, что делать, лучше, чем я, простая служанка; только меня, ей-богу, никакой отец в Англии не выдал

бы замуж против воли. И, верьте слову, сквайр такой добрый, что если б только он узнал, как ваша милость презирает и ненавидит кавалера, так, верьте слову, не пожелал бы выдать вас за него. И если б ваша милость разрешили мне сказать об этом барину... оно, конечно, было бы пристойнее вашей милости самой поговорить с ним; но уж если ваша милость не хочет язык марать его грязным именем...

— Ты ошибаешься, Гонора,— прервала ее Софья,— батюшка порешил дело, не сочтя нужным даже сказать мне об этом.

— Стыда у него нет! — сказала Гонора.— Ведь вам с ним жить, а не барину. Бывает, что и пригожий человек, а не всякой женщине нравится. Поверьте, барин никогда не сделал бы этого по своему почину. Лучше бы иным не соваться не в свои дела; небось им бы самим не понравилось, если б кто вздумал им так услужить; я хоть и горничная, но согласна, что не все мужчины одинаково нравятся. И на что тогда вашей милости богатство, если вы не можете тешиться с тем, кто для вас всех милее? Я это так говорю, а только жаль, что иные люди не господами родились; сама я не посмотрела бы на это. Денег только поменьше, ну так что ж? У вашей милости денег довольно для двоих. А с кем бы вы лучше ими распорядились? Ведь, верьте слову, всякий согласится, что он самый пригожий, самый очаровательный, самый приветливый, самый статный мужчина на свете.

— Что это ты рекой разливаешься? — сказала Софья, нахмурившись.— Разве я подавала тебе когда-нибудь повод к таким вольностям?

— Прошу прощения, сударыня, дурного у меня в мыслях не было,— отвечала Гонора. — Но, верьте слову, как встретила я его сегодня поутру, так все он, бедняжка, у меня из головы не выходит. Верьте слову, и вашей милости жалко бы его стало, если б вы его видели. Бедняжка! Боюсь, как бы беды с ним не случилось: все утро он ходил скрестив руки, грустный такой, что, ей-богу, я чуть не заплакала, на него глядя.

— Глядя на кого? — спросила Софья.

— На бедного мистера Джонса,— отвечала Гонора.

— Ты его видела? Где ты его видела?

— У канала, сударыня. Он там целое утро расхаживал, а потом прилег; верно, до сих пор лежит. Если б только не моя девичья скромность, так, верьте слову, я бы подошла и поговорила с ним. Позвольте, сударыня, я схожу и взгляну, так, из любопытства, там ли он еще?

— Что ты! — воскликнула Софья.— Нет, нет! Что ему там делать? Наверно, давно уж ушел. Да кроме того... зачем... зачем тебе ходить? Кроме того, ты мне здесь нужна. Поди принеси мне

шляпу и перчатки. Я пойду с тетушкой в рощу прогуляться перед обедом.

Гонора немедленно исполнила приказание, и Софья надела шляпу; но, посмотревшись в зеркало, она решила, что лента, которой повязана была шляпа, ей не к лицу, и снова послала горничную — за лентой другого цвета; потом, несколько раз повторив миссис Гоноре приказание ни под каким видом не оставлять работы, потому что она очень спешная и непременно должна быть окончена сегодня же, она пробормотала еще что-то о прогулке в рощу и со всей скоростью, какую позволяли ей дрожащие ноги, устремилась в противоположную сторону, прямо к каналу.

Джонс действительно был там, как сказала миссис Гонора; он провел утром целых два часа в грустных размышлениях о своей Софье и вышел из сада в одну калитку в ту самую минуту, когда она входила в другую. Таким образом, несколько несчастных минут, посвященных перемене ленты, помешали свиданию влюбленных — прискорбнейшая случайность, которая пусть послужит моим прекрасным читательницам благодетельным уроком. А всем критикам мужского пола я строго запрещаю соваться в это дело, рассказанное в поучение дамам, которые одни только вольны делать по поводу него замечания.

## ГЛАВА VII

*Изображение церемонного визита жениха к невесте, сделанное в миниатюре, как это и подобает, и сцена более нежная, нарисованная в натуральную величину*

Кем-то (может быть, даже многими) было справедливо замечено, что беда не приходит одна. Это мудрое замечание оправдалось теперь на Софье, которой не только не удалось свидеться с любимым человеком, но пришлось еще скрепя сердце принарядиться, чтобы принять человека ей ненавистного.

К вечеру мистер Вестерн в первый раз сообщил дочери о своем намерении, прибавив, что ей уже, наверное, известно об этом от тетки. Лицо Софьи опечалилось, и несколько слезинок невольно навернулось ей на глаза.

— Полно, полно, без этих девичьих штучек! — сказал Вестерн.— Я все знаю. Сестра мне все рассказала.

— Возможно ли? — воскликнула Софья.— Неужели тетушка меня выдала?

— Ну вот уж и выдала! Сама ты себя выдала вчера за обедом. Уж чего яснее показала, к кому лежит твое сердце. Но вы, девчон-

ки, сами не знаете, чего хотите: плачет, что я собираюсь повенчать ее с тем, кого она любит! Твоя мамаша, помню, совершенно также выла и хныкала, а через двадцать четыре часа после венца все как рукой сняло. Мистер Блайфил парень не промах и живо положит конец твоим причудам. Ну-ну, ободрись, смотри веселей! Я жду его каждую минуту.

Тут Софья убедилась, что тетка ее не подвела; она решила стойко выдержать испытание сегодняшнего визита, не подавая отцу ни малейшего повода к подозрению.

Мистер Блайфил вскоре приехал; побыв с ним недолго, мистер Вестерн оставил молодых людей наедине.

Последовало глубокое молчание, продолжавшееся целых четверть часа: кавалер, который должен был начать разговор, оказался весьма некстати скромен и застенчив. Несколько раз он пытался заговорить, но проглатывал слова, прежде чем они успевали слететь у него с языка. Наконец они вылились потоком натянутых и высокопарных комплиментов, на которые Софья отвечала потупленными взорами, полупоклонами и односложными фразами. Неопытный в обращении с женщинами и самонадеянный, Блайфил принял все это за выражение скромного согласия на его предложение, и когда Софья встала и вышла из комнаты, чтобы сократить эту сцену, которую она не в силах была вынести дольше, он приписал это тоже простой застенчивости и утешился при мысли, что скоро будет наслаждаться ее обществом, сколько ему вздумается.

Он остался вполне удовлетворен перспективой счастливого будущего; ибо, что касается полного и безраздельного обладания сердцем возлюбленной, к которому стремятся романтические поклонники, то самая мысль об этом никогда не приходила ему в голову. Единственным предметом его желаний было богатство Софьи и сама она, и он не сомневался, что и то и другое скоро сделается его полной собственностью, поскольку мистер Вестерн твердо решил выдать за него дочь и поскольку он хорошо знал, что Софья всегда готова беспрекословно исполнять волю отца, даже если бы тот потребовал от нее гораздо большего. Таким образом, отцовская власть в соединении с чарами его собственной наружности и обращения не преминут, думал он, оказать должное действие на молодую девушку, сердце которой, он не сомневался, было совершенно свободно.

Он ни капельки не ревновал к Джонсу; иной раз это меня даже удивляло. Может быть, он думал, что слава отъявленнейшего волокиты, ходившая кругом о Джонсе (насколько справедливо — пусть решает читатель), должна оттолкнуть от него девушку примерной скромности. А может быть, его подозрения были

усыплены поведением Софьи и самого Джонса, когда им случалось бывать всем вместе. Наконец, и главное, он был твердо уверен, что у него нет соперников. Он воображал, что знает Джонса насквозь, и питал к нему глубокое презрение за недостаточную заботливость о собственных интересах. Он не допускал и мысли, что Джонс может любить Софью; а что касается корыстных соображений, то, по его мнению, они не могли играть большой роли у такого глупца. Кроме того, Блайфил предполагал, что связь Джонса с Молли Сигрим все еще продолжается, и был убежден, что она кончится женитьбой. Надо сказать, что Джонс любил его с детства и не имел от него никаких тайн, пока поведение Блайфила во время болезни мистера Олверти окончательно не отшатнуло его от сверстника; ссора, возникшая между ними по этому поводу и еще не улаженная, была причиной полного неведения Блайфила об изменении прежних отношений Джонса и Молли.

По всем этим причинам мистер Блайфил не видел никаких препятствий для успешного завершения своего сватовства к Софье. Он решил, что поведение Софьи ничем не отличалось от поведения всех барышень во время первого визита жениха, и оно вполне соответствовало его ожиданиям.

Мистер Вестерн позаботился подстеречь жениха при выходе его от невесты. Сквайр нашел Блайфила в таком приподнятом состоянии от успеха, таким влюбленным в дочь его и довольным оказанным ему приемом, что на радостях пустился приплясывать, скакать и выделывать по зале самые странные курбеты, ибо совершенно не умел сдерживать своих страстей и всякое овладевшее им чувство толкало его на самые дикие выходки.

Сейчас же после отъезда Блайфила, который должен был предварительно выдержать сотню поцелуев и объятий Вестерна, добрый сквайр отправился к дочери и, найдя ее, осыпал самыми восторженными похвалами, предложил ей выбирать какие угодно платья и драгоценности и объявил, что отдаст все свое богатство, лишь бы сделать ее счастливой; затем снова и снова ласкал ее, не скупясь на проявления своих чувств, называл самыми нежными именами и поклялся, что она его единственная радость на свете.

При виде этого порыва нежности, причина которого была ей совершенно неизвестна (такие порывы были не редкостью у сквайра, хотя нынешний отличался особенно бурным характером), Софья подумала, что, пожалуй, не встретит более благоприятного случая открыть свои чувства, по крайней мере, в отношении мистера Блайфила, тем более что рано или поздно ей все равно не миновать объяснения. Итак, поблагодарив отца за всю его доброту, она прибавила с невыразимо нежным взглядом:

— Так это правда, что для моего дорогого папы нет большей радости, чем видеть свою Софью счастливой?

Вестерн подтвердил свои слова клятвой и поцелуем; тогда, схватив его за руку и упав на колени, Софья, после жарких заверений в своей любви и покорности, стала просить его не делать ее несчастнейшей из женщин, заставляя выйти за ненавистного ей человека.

— Я умоляю вас об этом, дорогой папа,— сказала она,— столько же ради вас, сколько и ради себя: ведь вы были так добры сказать мне, что все ваше счастье зависит от моего.

— Как? Что? — проговорил Вестерн, дико смотря на нее.

— И не только счастье вашей бедной Софьи,— продолжала она,— но самая ее жизнь, ее существование зависят от исполнения этой просьбы. Я не могу жить с мистером Блайфилом. Принудить меня к этому браку — значит убить меня.

— Ты не можешь жить с мистером Блайфилом? — изумился Вестерн.

— Не могу, клянусь вам жизнью! — отвечала Софья.

— Так умри и будь проклята! — закричал он, отталкивая от себя дочь.

— Сжальтесь, батюшка, заклинаю вас! — взмолилась Софья, хватая отца за полу кафтана.— Не смотрите на меня так сурово, не говорите таких страшных слов... Неужели вас не трогает отчаянье вашей Софьи? Неужели лучший из отцов разобьет мое сердце? Неужели он предаст меня мучительной, жестокой, медленной смерти?

— Вздор! Не верю! — отвечал сквайр.— Девичьи фокусы! Предаю тебя смерти? Глупости какие! Разве замужество убьет тебя?

— Ах, батюшка! Такое замужество хуже смерти. Я не просто равнодушна к нему: я его ненавижу, терпеть не могу!

— Можешь ненавидеть сколько угодно, а все-таки будешь его женой! — закричал Вестерн, подкрепив свои слова таким непристойным ругательством, что мы не решаемся повторить его, и после целого каскада проклятий заключил свою речь словами: — Я решил сыграть эту свадьбу, и если ты не согласна, я не дам тебе ни гроша, ни полушки! Куска хлеба не подам, если увижу, что ты умираешь с голода на улице! Это мое решение непреложно, и предлагаю тебе о нем поразмыслить.

Сказав это, он так резко рванулся от нее, что она упала лицом в землю, и выбежал из комнаты, оставив бедную Софью распростертой на полу.

Войдя в залу, Вестерн встретил Джонса, и тот, пораженный его диким взглядом, бледностью и прерывистым дыханием, с бес-

покойством спросил о причине столь горестного вида. Сквайр тотчас же рассказал ему все случившееся, закончив резкими обвинениями против Софьи и патетическими жалобами на горькую участь отцов, которых судьба наградила дочерьми.

Джонс, ничего еще не знавший о счастье, выпавшем на долю Блайфила, в первую минуту был как громом поражен этим известием; но через минуту он немного овладел собой, и отчаянье, как говорил он после, внушило ему мысль обратиться к мистеру Вестерну с предложением, для которого, с первого взгляда, требовалось беспримерное бесстыдство. Он попросил разрешения пойти к Софье и попробовать добиться от нее подчинения воле отца.

Даже если бы сквайр отличался проницательностью, равной его близорукости, то возбужденное состояние, в котором он находился в ту минуту, ослепило бы его. Он поблагодарил Джонса за предложение уладить это дело, сказав ему: «Ступай, ступай, попробуй сделать, что можешь»,— и в заключение несколько раз поклялся, что выгонит дочь со двора, если она не согласится на этот брак.

## ГЛАВА VIII

*Свидание Джонса с Софьей*

Джонс в ту же минуту отправился к Софье и нашел ее только что поднявшейся на ноги, со струившимися из глаз слезами и кровью на губах. Он бросился к ней и голосом, полным нежности и страха, спросил:

— Милая Софья! Что означает этот ужасный вид?

Она ласково посмотрела на него и сказала:

— Мистер Джонс, ради бога, как вы сюда попали? Оставьте меня сию минуту, умоляю вас!

— Не давайте мне такого жестокого приказания,— отвечал он.— Сердце мое обливается кровью больше, чем ваши губы. О Софья, с какой радостью я пролил бы всю свою кровь, чтобы спасти одну каплю вашей!

— Я и без того уже слишком многим вам обязана, вы, конечно, это знаете,— сказала Софья, устремив на него долгий нежный взгляд, потом со страдальчески исказившимся лицом воскликнула: — Ах, мистер Джонс, зачем спасли вы мою жизнь? Смерть моя принесла бы нам обоим больше счастья!

— Принесла бы больше счастья! — воскликнул Джонс.— Мне легче было бы умереть на дыбе, на колесе, чем перенести... вашу... не могу даже вымолвить этого страшного слова! Для кого же я живу, как не для вас?

И голос и взгляд его были полны невыразимой нежности, когда он произносил эти слова; в то же время Джонс мягко взял Софью за руку, и она ее не отняла; по правде сказать, вряд ли она и сознавала, что делает или что с ней делается. Несколько минут влюбленные провели в молчании; пылкие взоры Джонса были устремлены на Софью, а она стояла, потупив глаза в землю. Наконец она собралась с силами и снова попросила его оставить ее, говоря, что она неминуемо погибла, если их застанут вместе.

— Ах, мистер Джонс,— прибавила она,— вы не знаете, какая ужасная вещь произошла сегодня!

— Я знаю все, дорогая Софья,— отвечал он.— Жестокий отец ваш рассказал мне все и сам послал меня сюда к вам.

— Отец прислал вас ко мне? — воскликнула она.— Да вы бредите!

— Дай бог, чтобы все это было только бредом! Ах, Софья, отец ваш прислал меня выступить в защиту моего ненавистного соперника, расположить вас в его пользу. Я готов был пойти на все, лишь бы только быть допущенным к вам. Скажите же мне что-нибудь, Софья! Успокойте мое истерзанное сердце. Еще никто на свете не любил так безумно, как я. Не отнимайте же так жестоко вашей дорогой, вашей милой, вашей нежной руки,— одна минута оторвет вас от меня, может быть, навеки... Поверьте, только это ужасное событие могло заставить меня забыть почтительность и благоговение, которое вы всегда мне внушали.

С минуту Софья молчала в смущении, затем, ласково взглянув на него, спросила:

— Что же мистер Джонс хотел бы услышать от меня?

— Обещайте мне только,— отвечал он,— что вы никогда не отдадите вашей руки Блайфилу.

— Не произносите этого ненавистного имени! Будьте спокойны, я никогда не отдам ему того, что в моей власти не отдавать.

— А теперь,— продолжал Джонс,— раз уж вы так бесконечно добры, сделайте мне еще одно маленькое одолжение: скажите, что я могу надеяться.

— Увы! — сказала она.— Куда увлекаете вы меня, мистер Джонс? Какую надежду могу я вам подать? Вы ведь знаете намерения моего отца.

— И я знаю,— отвечал он,— что вас невозможно заставить подчиниться им.

— Но к каким ужасным последствиям приведет мое непослушание! Моя погибель тревожит меня меньше всего. Мысль быть причиной горя отца — вот что для меня невыносимо.

— Он сам его причина,— сказал Джонс.— Пусть не применяет к вам власти, которая не дана ему природой. Подумайте

о моем горе, если я должен буду потерять вас, и скажите, на чью сторону жалость склонит ваше сердце.

— Подумать о вашем горе! — отвечала Софья.— Неужели вы воображаете, что я не сознаю, сколько бедствий навлеку я на вас, если уступлю вашему желанию? Именно эта мысль и придает мне решимость просить вас оставить меня навсегда, не идти навстречу собственной гибели.

— Мне страшна не гибель,— воскликнул Джонс,— а потеря моей Софьи! Если вы хотите избавить меня от самых горьких мучений, возьмите назад свое жестокое решение. Право, я не могу расстаться с вами,— нет, не могу!

Влюбленные замолчали и стояли трепещущие. Софья не в силах была отнять у Джонса руку, а он тоже почти не имел силы держать ее,— как вдруг эта сцена, наверное показавшаяся некоторым моим читателям чересчур растянутой, была прервана сценой настолько от нее отличной, что нам следует уделить изложению ее особую главу.

## ГЛАВА IX,

*гораздо более бурного свойства, чем предыдущая*

Но прежде чем продолжать рассказ о том, что случилось с нашими влюбленными, мы должны сказать, что́ произошло в зале во время их любовных излияний.

Вскоре после того как Джонс покинул мистера Вестерна и отправился к Софье, в залу явилась сестра сквайра, и он тотчас же посвятил ее во все подробности сцены, разыгравшейся между ним и Софьей по поводу Блайфила.

Почтенная дама усмотрела в поведении племянницы полное нарушение условий, на которых она обещала хранить в тайне любовь ее к мистеру Джонсу, поэтому она сочла себя вправе рассказать сквайру все выведанное от племянницы, что тотчас же и сделала в самой резкой форме, без всяких церемоний и предисловий.

Мысль о женитьбе Джонса на́ его дочери никогда не приходила в голову сквайру — ни в минуты самых горячих порывов нежности к молодому человеку, ни в других случаях, которые могли бы заронить в нем подозрения. Он считал равенство состояний и общественного положения таким же физически необходимым условием брака, как различие пола или иные существенные обстоятельства, и любовь дочери к бедняку казалась ему столь же невозможной, как любовь ее к животному.

Поэтому рассказ сестры поразил его как гром среди ясного неба. Сначала он неспособен был вымолвить ни слова в ответ, так

ошеломила его эта новость. Но скоро пришел в себя, и, как всегда бывает в подобных случаях, голос его зазвучал с удвоенной силой и бешенством.

Первое, на что сквайр употребил вернувшийся к нему после столбняка дар речи, был целый залп проклятий и ругательств. Зверем ринулся он к комнате, где рассчитывал найти влюбленных, на каждом шагу бормоча или, лучше сказать, изрыгая угрозы отомстить обидчику.

Подобно тому как две горлицы, или два диких голубя, или как Стрефон и Филида (это сравнение будет самым подходящим), удалившиеся в приятную уединенную рощу насладиться восхитительной беседой Амура — этого застенчивого мальчика, неспособного выступать публично, но незаменимого собеседника для парочек, вдруг приходят в смятение, если среди безмятежной тишины, рассекая тучи, раздается страшный удар грома, далеко раскатывающийся по небу, а испуганная девушка вскакивает с покрытого мхом или зеленым дерном холмика, при этом алый наряд, которым Амур покрыл ее щеки, сменяется бледными покровами смерти и все тело ее содрогается, а возлюбленный ее едва в силах поддерживать свою трепещущую подругу,— или подобно тому как двое проезжих, незнакомых с удивительным местным остроумием какого-нибудь солсберийского кабака или постоялого двора, где им вздумалось распить бутылочку, услышав вдруг лязг цепей и зловещий вой на галерее, словно там появился великий Дауди, который играет роль сумасшедшего столь же хорошо, как иные его почитатели роль дураков, в ужасе вскакивают с места, перепуганные необычайными звуками, и ищут, где бы укрыться от надвигающейся опасности, готовые рискнуть даже шеей и выскочить на улицу, если бы окна не были забраны крепкой железной решеткой,— так задрожала и побледнела бедная Софья, услышав голос отца, грозно гремящий проклятиями и клятвами уничтожить Джонса. Сказать правду, юноша и сам, верно, предпочел бы из благоразумия находиться в эту минуту где-нибудь в другом месте, если бы страх за Софью позволил ему хотя бы на мгновение подумать о собственных интересах и позабыть о положении, в котором находилась она.

Сквайр, с шумом распахнув дверь, вдруг увидел нечто, заставившее его мгновенно позабыть весь свой гнев на Джонса: то была мертвенно бледная Софья, без чувств лежащая в объятиях своего возлюбленного. При этом трагическом зрелище ярость мистера Вестерна улетучилась; он закричал во всю глотку: «На помощь!» — кинулся к дочери, потом к дверям, требуя воды, потом снова к Софье, не соображая, в чьих она объятиях, и, может быть, даже позабыв, что есть на свете такой человек, как Джонс,

ибо, я думаю, состояние дочери было единственным предметом, занимавшим все его помыслы.

Скоро на помощь Софье явилась миссис Вестерн и множество служанок с водой, лекарствами и со всем необходимым в таких случаях. Эти средства были применены с таким успехом, что через несколько минут Софья начала приходить в себя и к ней постепенно возвратились все признаки жизни. Миссис Вестерн и горничная тотчас же увели ее из комнаты; но перед уходом эта почтенная дама не забыла сделать брату несколько нравоучительных замечаний насчет ужасных последствий его горячего — или, как ей угодно было выразиться,— сумасшедшего характера.

Сквайр, должно быть, не понял ее наставления, преподанного в форме намеков, пожатия плечами и восклицательных междометий, а если даже и понял, то весьма мало им воспользовался; ибо не успели пройти его страхи насчет дочери, как он тотчас снова впал в бешенство и непременно затеял бы драку с Джонсом, если бы не вмешательство Сапла, человека атлетического сложения, который силой удержал сквайра от неприязненных действий.

Как только ушла Софья, Джонс почтительно подошел к мистеру Вестерну, которого священник держал в своих объятиях, и попросил его успокоиться, говоря, что он не может дать удовлетворения человеку в таком возбужденном состоянии.

— Вот я тебе задам удовлетворение! — отвечал сквайр.— Раздевайся! Не я буду, если не вздрючу тебя по-свойски!

И он осыпал Джонса словечками, которыми обмениваются деревенские джентльмены при разногласиях по какому-нибудь вопросу, усердно предлагая поцеловать ту часть тела, которая обыкновенно возникает во время всех споров, завязывающихся среди низших слоев английского джентри на скачках, петушиных боях и в других публичных местах. Намеки на эту часть тела часто делаются также в шутку. И тут, мне кажется, соль шутки понимается обыкновенно превратно. В действительности она заключена в том, что вы просите другого поцеловать вас в .... за то, что перед тем вы грозили дать ему пинка в это место; ибо я решительно никогда не замечал, чтобы кто-нибудь просил вас дать ему самому пинка в означенное место или изъявлял готовность поцеловать его у вас.

Равным образом может показаться удивительным, что, хотя каждому вращавшемуся среди деревенских джентльменов, наверное, тысячу раз доводилось слышать любезные приглашения этого рода, однако никто, я думаю, не наблюдал ни одного случая, когда просьба была бы уважена,— явное доказательство деревенской невоспитанности, ибо в столице вещь весьма заурядная для самых светских джентльменов ежедневно проделывать эту церемонию

по отношению к особам высокопоставленным, без всякой со стороны последних просьбы о таком одолжении.

На все это остроумие сквайра Джонс спокойно отвечал:

— Сэр, ваше обращение освобождает меня от всякой признательности за прежние милости, которые вы мне оказывали; но одного я никогда не забуду: никакое оскорбление не заставит меня поднять руку на отца Софьи.

Слова эти только пуще разъярили сквайра, так что священник попросил Джонса уйти, сказав:

— Вы видите, сэр, что ваше присутствие выводит его из себя, поэтому я очень прошу вас покинуть нас. Он слишком возбужден, чтобы разговаривать с вами в настоящую минуту. Вам, стало быть, лучше проститься и отложить свое объяснение до более благоприятного случая.

Джонс с благодарностью последовал этому совету и ушел. Рукам сквайра была возвращена свобода, и он настолько успокоился, что выразил даже благодарность священнику за то, что тот удержал его, так как в противном случае он размозжил бы Джонсу голову; а было бы ужасно досадно угодить на виселицу из-за такого мерзавца.

Священник торжествовал по случаю успеха своих миротворческих усилий и пустился читать поучение против гнева, которое, пожалуй, способно было скорее распалить, чем успокоить это чувство в горячей натуре. Свое поучение он уснастил множеством замечательных цитат из древних, особенно из Сенеки, так прекрасно описавшего гнев, что разве лишь сильно разгневанный человек не получит от чтения большого удовольствия и пользу. Заключил свою речь богослов известным рассказом об Александре и Клите; но этот рассказ уже вошел в мои записки под заглавием «Пьянство», и потому я не буду приводить его здесь.

Сквайр пропустил мимо ушей и этот рассказ, может быть, и все, что говорил священник, так как, не дождавшись окончания его речи, перебил его и потребовал кружку пива, говоря, что гнев возбуждает жажду (совершенно справедливое замечание об этом лихорадочном душевном состоянии).

Отхлебнув порядочный глоток, сквайр снова завел речь о Джонсе и объявил о своем решении завтра же рано утром поехать к мистеру Олверти и все ему рассказать. Священник, по доброте сердечной, стал было отговаривать сквайра, но все его доводы привели лишь к потоку проклятий и ругательств, сильно оскорблявших благочестивые уши Сапла; он не решился, однако, оспаривать право сквайра на эту привилегию всякого свободнорожденного англичанина. Правду сказать, священник покупал удовольствие полакомиться за столом сквайра ценой снисходительного

отношения к некоторым вольностям речи хозяина. Сапл утешал себя мыслью, что вина́ лежит тут не на нем и что сквайр сквернословил бы ничуть не меньше, если б он никогда не переступал его порога. Тем не менее, воздерживаясь из учтивости от выговоров хозяину дома, священник отплачивал ему косвенным образом с церковной кафедры; это, впрочем, нисколько не исправило самого сквайра и оказало на его совесть лишь то действие, что он стал строже преследовать других за сквернословие, в результате чего сам блюститель закона остался единственным лицом в приходе, которое могло сквернословить безнаказанно.

## ГЛАВА X,

*в которой мистер Вестерн делает визит мистеру Олверти*

Мистер Олверти только что позавтракал с племянником, довольный рассказом молодого человека о приеме, оказанном ему Софьей (Олверти очень желал этого брака больше ради личных достоинств молодой девушки, чем ради ее богатства), как вдруг к ним с шумом ворвался мистер Вестерн и без всяких церемоний начал так:

— Наделали вы дел, нечего сказать! На добро вырастили вашего ублюдка! Понятно, вы тут ни при чем, никакого умысла у вас не было, а только заварилась же каша в нашем доме!

— В чем дело, мистер Вестерн?— спросил Олверти.

— О, дело самое чистенькое: дочь моя влюбилась в вашего ублюдка, вот и все. Но я не дам ей ни полушки, ломаного гроша не дам! Я всегда думал, что зря люди черт знает чье отродье барином воспитывают и пускают в порядочные дома. Счастье его, что я не мог до него добраться, а то уж отодрал бы его, отбил бы у него охоту за бабами волочиться, отучил бы сукина сына в барское кушанье морду совать. Ни кусочка от меня не получит, ни гроша! Если она за него выйдет, только рубашка на плечах будет ей приданым. Скорей отдам все свои деньги в казну, пусть посылают их хоть в Ганновер, на подкупы нашего народа!..

— Искренне сожалею,— сказал Олверти.

— А черта мне в вашем сожалении! — в сердцах продолжал Вестерн.— Много мне от него толку, когда я потерял свою единственную дочь, свою бедную Софью, радость моего сердца, надежду и утешение моей старости! Но я решил выгнать ее из дому; пусть просит милостыню, пусть околеет и сгниет с голоду на улице. Ни полушки, ни одной полушки не получит от меня! Собачий сын чуток был выискивать зайца, а мне и невдомек было, на какого зайчика

он зарится! Да только ошибся, братец: дохлого зверя поймал — кроме шкурки, ничего тебе не достанется, так и скажите ему.

— Я крайне удивлен вашими словами,— сказал Олверти,— после того, что произошло между моим племянником и молодой девушкой не дальше как вчера.

— Да после того, что произошло между вашим племянником и моей дочерью, все и открылось, сударь,— отвечал Вестерн.— Только что ушел мистер Блайфил, как этот сукин сын явился разнюхивать, что у меня в доме делается. А я ведь любил в нем славного охотника, и на ум мне не приходило, что он все время около дочки увивается.

— И правда,— сказал Олверти,— по-моему, не следовало давать ему столько случаев встречаться с ней; и вы ведь не станете отрицать, что я всегда был против того, чтобы он засиживался в вашем доме, хотя, признаюсь, и не подозревал ничего такого.

— Да кто же, черт возьми, мог это подумать! — воскликнул Вестерн.— Какого дьявола ей от него надо было? Ведь он приезжал не любезничать с ней, а охотиться со мной.

— Неужели вы никогда ничего не замечали? — удивился Олверти.— Ведь они так часто бывали вместе на ваших глазах.

— Никогда в жизни, клянусь спасением моей души,— отвечал Вестерн,— никогда не видел я, чтобы он ее целовал! И не только он не ухаживал за ней, но, напротив, в ее обществе делался как-то молчаливее обыкновенного, а она обращалась с ним гораздо пренебрежительнее, чем с другими молодыми людьми, бывавшими у нас в доме. Уж на этот счет провести меня не легче, чем других,— надеюсь, вы мне поверите, сосед.

Олверти едва мог удержаться от смеха, но все-таки удержался: он прекрасно знал человеческую природу и был слишком хорошо воспитан и слишком добр, чтобы оскорблять сквайра в его теперешнем состоянии. Он только спросил Вестерна, чего он от него желал бы. Сквайр отвечал, что хорошо было, если бы мистер Олверти держал мерзавца подальше от его дома, а сам он запрет девчонку на замок, так как твердо решил выдать ее за мистера Блайфила, как бы она ни кобенилась. С этими словами он пожал Блайфилу руку, поклявшись, что другого зятя у него не будет, и сейчас же распрощался, говоря, что ему надо спешить домой, потому что там все вверх дном и дочь, того и гляди, даст тягу; а Джонса поклялся, если поймает у себя в доме, так отделать, что молодчик мерином от него выбежит.

Когда Олверти и Блайфил снова остались одни, между ними воцарилось долгое молчание; молодой человек все время вздыхал, частью с досады, но больше от злобы: успех Джонса был для него гораздо больнее, чем потеря Софьи.

Наконец дядя спросил, что он намерен делать, и Блайфил отвечал:

— Увы, сэр, может ли быть вопрос, какие шаги предпринять любящему, когда рассудок и страсть увлекают его в разные стороны? Боюсь, что, поставленный перед такой дилеммой, он всегда будет следовать за страстью. Рассудок приказывает мне оставить всякую мысль о женщине, отдавшей свою любовь другому; страсть лелеет надежду, что со временем она переменится и будет ко мне благосклоннее. Но тут я предвижу одно возражение, которое, если его не опровергнуть начисто, должно удержать меня от всяких дальнейших домогательств: я разумею несправедливость попыток вытеснить соперника из сердца, которым он, по-видимому, уже владеет; с другой стороны, непреклонное решение мистера Вестерна показывает, что, не сходя с взятого мною пути, я буду содействовать общему счастью: не только счастью отца, который будет избавлен таким образом от величайшего горя, но и счастью двух других сторон, для которых брачный союз был бы гибелью. Мисс Вестерн, я уверен, ждет полная гибель; ибо, не говоря уже о потере большей части своего состояния, она выйдет за нищего, и те незначительные средства, которые отец не вправе у нее отнять, будут растрачены на гулящую девку, насколько мне известно, еще не прекратившую своей связи с Джонсом. Но это бы все пустяки; главное — то, что он один из самых дурных людей на свете, и если бы мой дорогой дядя знал все, что я до сих пор старался скрывать, то давно предоставил бы собственной участи такого отъявленного мерзавца.

— Как! — воскликнул Олверти.— Неужели он сделал что-нибудь еще худшее? Пожалуйста, расскажи.

— Нет,— отвечал Блайфил,— это дело прошлое, и, может быть, теперь он уже раскаялся.

— Приказываю тебе рассказать все, на что ты намекаешь,— обратился к нему Олверти.

— Вы знаете, сэр,— сказал Блайфил,— я никогда не отказывал вам в повиновении, но я жалею, что сказал об этом, потому что похоже, будто это сделано мной в отместку, тогда как, благодарение богу, у меня и мысли такой не было. И если уж я должен все раскрыть, позвольте мне также заступиться за него и просить вас о прощении.

— Я не принимаю никаких условий,— отвечал Олверти.— Кажется, я и без того оказывал ему слишком много снисхождения, может быть, больше, чем следовало.

— Боюсь, что больше, чем он заслуживал,— сказал Блайфил.— В тот самый день, когда вы были так опасно больны, когда я и все домашние проливали слезы, он предался разгулу и бес-

чинствовал, напился пьян, пел песни, орал во всю глотку; а когда я мягко намекнул ему на неприличие такого поведения, он пришел в ярость, страшно бранился, назвал меня подлецом и побил.

— Что? Он смел тебя бить?! — воскликнул Олверти.

— Право, я давно ему это простил,— отвечал Блайфил,— но не могу так легко забыть его неблагодарность к лучшему из благодетелей. Однако даже и это, я надеюсь, вы ему простите, потому что в него не иначе как вселился бес. В тот самый вечер я и мистер Тваком вышли подышать чистым воздухом, обрадованные появлением первых признаков благоприятного перелома вашей болезни, и, на свое несчастье, застали его с какой-то девкой в положении, о котором неприлично рассказывать. Мистер Тваком, проявив больше смелости, чем благоразумия, подошел к нему с намерением сделать выговор, но Джонс (прискорбно рассказывать об этом!) набросился на нашего почтенного наставника и так жестоко избил его, что, вероятно, он и до сих пор еще покрыт синяками. Досталось и мне от его кулаков, когда я попробовал вступиться за своего учителя; я давно простил ему и уговорил мистера Твакома простить и ничего вам не рассказывать, опасаясь, что это может иметь для Джонса роковые последствия. Но если я уж сделал такую оплошность и проговорился об этом прискорбном случае, а затем, повинуясь вашему приказанию, рассказал вам все, то разрешите мне также, сэр, вступиться за него пред вами.

— Не знаю, друг мой,— сказал Олверти,— бранить мне тебя или хвалить за то, что по доброте сердца ты скрывал от меня такую гнусность. Но где же мистер Тваком? Мне нужно от него не подтверждение твоего рассказа, а всестороннее освещение дела, чтобы оправдать в глазах света примерное наказание, которому я решил подвергнуть это чудовище.

Послали за Твакомом, и он сейчас же явился. Педагог полностью подтвердил весь рассказ Блайфила и даже показал памятку на своей груди в виде явственно сохранившейся подписи мистера Джонса синими и черными буквами. В заключение он сказал мистеру Олверти, что давно бы уже сообщил ему об этом событии, если бы не неотступные просьбы мистера Блайфила.

— Превосходный юноша,— сказал он,— только слишком уж далеко заходит в своем прощении врагов.

Действительно, Блайфил приложил тогда немало усилий, чтобы уговорить священника не жаловаться мистеру Олверти, и имел на то достаточные основания. Он знал, что болезнь смягчает обычную суровость человека и делает его добрее. Кроме того, он думал, что если рассказать обо всем, когда дело свежо и в доме еще находится врач, который может открыть настоящую правду, то ему никогда не удастся придать случившемуся желательный для

него дурной оборот. И Блайфил решил припрятать все это про запас, ожидая случая, когда какая-нибудь новая оплошность Джонса вызовет дополнительные жалобы,— ибо он рассчитал, что когда на Джонса обрушатся всей своей тяжестью сразу несколько обвинений, то они тем вернее его раздавят. Вот почему Блайфил стал дожидаться случая вроде того, каким судьба так любезно подарила его теперь. Наконец, уговаривая Твакома молчать до времени, он знал, что таким способом укрепит в мистере Олверти мнение о своих дружеских чувствах к Джонсу, которое он всеми силами старался поддерживать.

## ГЛАВА XI,

*коротенькая, но содержащая достаточно материала, чтобы растрогать сердобольного читателя*

У мистера Олверти было обыкновение никогда никого не наказывать, даже не рассчитывать слуг в пылу гнева. Он решил поэтому отложить исполнение приговора над Джонсом до после полудня.

Бедный юноша явился к обеду как обычно, но у него было слишком тяжело на сердце, и он почти не прикасался к еде. Неласковые взгляды мистера Олверти еще более омрачали его душевное состояние. Он пришел к заключению, что Вестерн сообщил Олверти все, что произошло между ним и Софьей, но об истории с мистером Блайфилом он совсем не думал; в большей части того, что было рассказано Блайфилом, он был совершенно неповинен; а что касается остального, то он сам давно все это простил и забыл и потому не предполагал, чтобы другие могли еще таить на него злобу. Когда обед был окончен и слуги ушли, мистер Олверти взял слово и произнес длинную речь, в которой перечислил все проступки Джонса, особенно те, которые были обнаружены сегодня, и в заключение сказал, что если Джонс не опровергнет возведенных на него обвинений, то он решил навсегда прогнать его с глаз своих.

Джонс оказался в чрезвычайно неблагоприятном положении: трудно защищаться человеку, когда он плохо понимает, в чем его обвиняют. Нужно заметить, что мистер Олверти, говоря об опьянении Джонса и тому подобном во время своей болезни, из скромности опустил все, что относилось собственно к нему, а в этом и заключалось главным образом преступление. Джонс не мог отрицать фактов, приведенных мистером Олверти. Вдобавок сердце его было так истерзано, а состояние духа такое подавленное, что

он ничего не мог сказать в свою защиту — все признал и, подобно преступнику, впавшему в отчаяние, просил только о снисхождении. Закончил он заявлением, что хотя должен признать себя виновным во многих безрассудствах и оплошностях, однако не сделал ничего такого, что заслуживало бы величайшего из наказаний, какое только может постичь его на свете.

Олверти отвечал, что он и так уж слишком часто прощал ему, жалея его молодость и в надежде на исправление, но что теперь находит его отпетым негодяем, которому было бы преступно оказывать какую-нибудь поддержку или поощрение.

— Больше того,— продолжал сквайр,— ваша дерзкая попытка похитить молодую девушку требует, чтобы я наказал вас ради сохранения своего доброго имени. Свет, уже бранивший меня за оказываемое вам внимание, может теперь подумать с некоторым правом, будто я потворствую столь низкому и грубому поступку — поступку, который между тем, как вам это отлично известно, вызывает во мне отвращение и которого вы никогда бы не совершили, если бы хоть немного считались с моим спокойствием и честью и дорожили моим дружеским к вам отношением. Стыдитесь, молодой человек! Едва ли есть наказание, которое равнялось бы вашим преступлениям, и я не знаю, как мне оправдаться перед самим собой в том, что́ я собираюсь вам назначить. Однако я воспитал вас, как родного сына, и не хочу пускать вас по миру нагишом. Когда вы вскроете этот бумажник, вы найдете в нем средства, которые помогут вам начать честную трудовую жизнь; но если вы их употребите на дурное, то я не буду считать себя обязанным оказывать вам поддержку и впредь, потому что решил с этого дня не иметь с вами никаких сношений. И еще я должен сказать, что больше всего в вашем поведении огорчает меня то, что вы так худо обошлись с этим прекрасным молодым человеком (он подразумевал Блайфила), который относился к вам с такой любовью и уважением.

Эти последние слова похожи были на горькое лекарство, которое застревает в горле. Слезы потоком полились из глаз Джонса, и он точно лишился всякой способности говорить и двигаться. Понадобилось некоторое время, прежде чем он оказался в силах исполнить решительное приказание Олверти удалиться; наконец он это сделал, поцеловав сначала руки сквайра с жаром, который трудно подделать и еще труднее описать.

Надо обладать слишком чувствительным сердцем, чтобы осудить мистера Олверти за суровость его приговора, учитывая, в каком свете представлялось ему тогда поведение Джонса. А между тем все соседи, из чувствительности или из каких-либо худших побуждений, объявили эту справедливую строгость бесчеловеч-

ной жестокостью. Те самые люди, которые раньше порицали отзывчивого сквайра за его доброту и любовь к незаконнорожденному (его собственному, по общему мнению, сыну), теперь завопили против него за то, что он выгнал вон родное дитя. В особенности женщины взяли единодушно сторону Джонса и распустили столько слухов по этому случаю, что, за недостатком места, мне их и не пересказать в этой главе.

Нельзя, однако же, умолчать, что при этих пересудах никто даже не заикнулся о сумме, лежавшей в бумажнике, который Олверти вручил Джонсу, а было там не меньше пятисот фунтов,— напротив, все в один голос говорили, что бесчеловечный отец выгнал его из дому без гроша и даже, по словам иных, нагишом.

## ГЛАВА XII,

*содержащая любовные письма и т. п.*

Джонс получил приказание немедленно покинуть дом, и ему было обещано выслать платье и другие вещи, куда он укажет.

Повинуясь этому распоряжению, он отправился в путь и прошел с милю, не глядя и почти не соображая, куда он идет. Наконец ручеек преградил ему дорогу; он бросился на землю, не удержавшись при этом от негодующего восклицания:

— Надеюсь, отец не запретит мне полежать на этой лужайке!

И он принялся рвать на себе волосы и совершать множество других действий, обыкновенно сопровождающих припадки безумия, бешенства и отчаяния.

Дав таким образом выход своему волнению, Джонс начал понемногу приходить в себя. Горе его приобрело другую, более мягкую форму, и он мог довольно хладнокровно обсудить, какие шаги следует ему предпринять в этом плачевном положении.

Он был в большой нерешительности, как ему вести себя по отношению к Софье. Мысль покинуть девушку раздирала его сердце; но сознание, что он будет причиной ее гибели и нищеты, было для него, пожалуй, еще большей пыткой. Кроме того, если пылкое желание обладать ею и могло побудить его остановиться на минуту на этой возможности, однако он вовсе не был уверен, что она решится на такую жертву для удовлетворения его страсти. Неудовольствие мистера Олверти и огорчение, которое он причинил бы ему, были сильными доводами против того, чтобы пуститься по этому пути. Наконец, очевидная невозможность добиться успеха, даже если бы он пренебрег всеми этими соображениями, окончательно отрезвила его. Таким образом, чувство чести, подкреплен-

ное отчаянием, благодарностью к благодетелю и подлинной любовью к Софье, в заключение одержало верх над пламенным желанием, и Джонс решил лучше покинуть возлюбленную, чем погубить ее своими домогательствами.

Трудно тому, кто этого не испытывал, представить, какая жаркая волна прилила к груди юноши, когда он впервые сознал свою победу над страстью. Гордость так приятно щекотала его, что он наслаждался, пожалуй, полным счастьем; но счастье это было недолгое, Софья скоро снова заполнила его воображение и приправила радостное торжество той острой болью, какую испытывает добрый и чувствительный генерал при виде груды трупов, кровью которых куплены его лавры; тысячи нежных помыслов лежали убитые у ног нашего победителя.

Решившись, однако, следовать по стопам чести — этого гиганта, по словам гигантского поэта Ли,— он задумал написать Софье прощальное письмо; с этим намерением он зашел в ближайший дом и, получив необходимые письменные принадлежности, написал следующее:

«Сударыня!

Если Вы примете во внимание, в каком положении я пишу Вам это письмо, то, уверен, великодушно простите все несообразности и нелепости, которые в нем содержатся; каждая строка его вытекает прямо из сердца, настолько переполненного, что никакой язык не выразит моих чувств.

Я решил подчиниться Вашим приказаниям, сударыня, бежав навсегда от Вашего дорогого, Вашего милого общества. Жестоки эти приказания, но жестокость их исходит от судьбы, а не от моей Софьи. Судьба сделала необходимым — необходимым для Вашего благополучия,— чтобы Вы навсегда забыли о существовании несчастного, которого зовут Джонсом.

Поверьте, я бы и не заикнулся Вам о своих страданиях, если бы не был уверен, что весть о них все равно дойдет до Вашего слуха. Я знаю доброту и отзывчивость Вашего сердца и не хотел бы возбуждать в Вас сострадание, в котором Вы не отказываете никому из несчастных. Пусть же весть о моих злоключениях, как бы ни были они тяжелы, Вас не тревожит; потеряв Вас, я считаю все остальное безделицей.

О Софья! Тяжело Вас покинуть, еще тяжелее просить, чтобы Вы меня забыли; но искренняя любовь требует и того и другого. Простите мне дерзкую мысль, что воспоминание обо мне способно причинить Вам тревогу; но если я могу утешиться этим в своем несчастье, пожертвуйте мной ради Вашего спокойствия. Вообразите, что я никогда не любил Вас, подумайте, как мало я Вас

стою, и проникнитесь ко мне презрением за самонадеянность — порок, заслуживающий самого сурового наказания. Больше ничего я не в силах сказать. Да оберегают каждый Ваш шаг ангелы-хранители!»

Джонс хотел достать сургуч, обшарил карманы, но они оказались совершенно пусты: катаясь по траве в припадке отчаяния, он растерял все свои вещи, в том числе и полученный от мистера Олверти бумажник, который он еще не открывал и о котором сейчас только вспомнил.

В доме нашлась, однако, облатка, которой Джонс запечатал письмо, после чего торопливо вернулся на берег ручья искать потерянные вещи. По дороге он встретил своего старого приятеля Черного Джорджа, который выразил ему сердечное сочувствие по случаю постигшего его несчастья, весть о котором уже разнеслась по всему околотку и достигла ушей сторожа.

Джонс рассказал Черному Джорджу о своей потере, и оба вернулись к ручью, обшарили каждый кустик травы как там, где был Джонс, так и там, где его не было; но все поиски оказались напрасны, они ничего не нашли — по той простой причине, что хотя вещи находились на лужайке, но приятели забыли поискать в том месте, куда они были положены, то есть в кармане Черного Джорджа. Он нашел их перед самой встречей с Джонсом и, удостоверившись в их ценности, тщательно припрятал для собственного употребления.

Проявив такое рвение, точно он и впрямь надеялся найти потерянное, сторож попросил Джонса припомнить, не был ли он еще где-нибудь.

— Ведь если бы вы потеряли их здесь, и так недавно, то они, конечно, здесь бы и находились,— сказал он,— на эту поляну редко кто заглядывает.

И действительно, сам он зашел сюда совершенно случайно, расставляя силки на зайцев, которых собирался доставить на следующее утро торговцу дичью в Бате.

Джонс оставил всякую надежду найти потерянные вещи и даже перестал думать о них. Обратившись к Черному Джорджу, он с жаром спросил его, не желает ли тот оказать ему величайшую услугу на свете.

Джордж отвечал в некотором замешательстве:

— Сэр, приказывайте мне все, что вам угодно: я от души готов оказать вам любую услугу, если это в моих силах.

Вопрос Джонса смутил его: дело в том, что продажей дичи сторож скопил на службе у мистера Вестерна порядочную сумму денег и испугался, уж не хочет ли Джонс взять у него взаймы.

Но опасения его тотчас рассеялись, когда Джонс попросил его доставить письмо Софье, что́б он с большим удовольствием обещал исполнить. И действительно, мне кажется, Черный Джордж охотно готов был чем угодно услужить мистеру Джонсу, потому что питал к нему благодарность, насколько мог, и был честен, насколько вообще бывают честны люди, любящие деньги больше всего на свете.

Оба согласились, что самым подходящим посредником для передачи письма Софье будет миссис Гонора. После этого они расстались; сторож вернулся в усадьбу мистера Вестерна, а Джонс направился в кабачок дожидаться возвращения посланного.

Войдя в дом своего хозяина, Джордж тотчас же встретился с миссис Гонорой. После нескольких предварительных вопросов, сделанных из осторожности, он отдал ей письмо для Софьи и тут же получил от нее другое письмо, для мистера Джонса, которое Гонора, по его словам, целый день носила за пазухой и уже отчаялась найти средство передать по назначению.

Сторож радостно поспешил с ним к Джонсу, а тот, взяв его, тотчас удалился, с нетерпением вскрыл и прочел следующее:

«Сэр!

Невозможно выразить, что я перечувствовала после того, как рассталась с Вами. Навсегда буду Вам обязана за то, что Вы из-за меня так кротко перенесли грубые оскорбления моего отца. Вы знаете его характер, и потому прошу Вас, из уважения ко мне, избегайте с ним встречи. Жаль, что не могу сообщить Вам ничего утешительного; но будьте уверены, что только разве самое грубое насилие заставит меня отдать руку и сердце тому, кого Вам было бы неприятно видеть рядом со мной».

Джонс сто раз перечитал это письмо и столько же раз поцеловал его. Страсть оживила в нем все любовные помыслы. Он пожалел, что написал Софье свое письмо, но еще больше пожалел о написанном и отправленном в отсутствие Черного Джорджа письме к мистеру Олверти, в котором дал торжественное обещание и обязательство оставить всякую мысль о своей любви. Когда к нему снова вернулась способность рассуждать хладнокровно, он ясно увидел, что письмо Софьи нисколько не улучшает и не изменяет его положения и разве только подает слабый проблеск надежды на благоприятный оборот дела в будущем, свидетельствуя о постоянстве его возлюбленной. Это укрепило его в прежнем решении, и, попрощавшись с Черным Джорджем, он направился в город, находившийся милях в пяти, куда он просил мистера Олверти переслать его вещи, если ему не будет угодно отменить свой приговор.

## ГЛАВА XIII

*Поведение Софьи при сложившихся обстоятельствах, за которое ее не станет порицать ни одна представительница прекрасного пола, способная поступить таким же образом, а также разбор одного запутанного вопроса перед судом совести*

Софья провела последние сутки не очень завидно. Большую часть этого времени тетка развлекала ее поучениями о благоразумии, советуя ей брать пример с благовоспитанного общества, где в настоящее время любовь (по словам почтенной дамы) подвергается полному осмеянию и где женщины смотрят на брак совершенно так же, как мужчины — на общественные должности,— то есть только как на средство составить себе состояние и сделать карьеру в свете. Миссис Вестерн несколько часов подряд упражняла свое красноречие, развивая эту тему.

Как ни мало подходили к вкусам и наклонностям Софьи эти назидательные речи, они, однако, докучали ей меньше, чем собственные мысли, которые не покидали ее всю ночь, не позволив ни на минуту сомкнуть глаза.

И хотя она не могла ни заснуть, ни отдохнуть, однако, не имея никакого дела, лежала, так что отец, вернувшись от мистера Олверти в одиннадцатом часу, застал ее еще в постели. Он отправился прямо в ее комнату, отворил дверь и, увидя, что дочь еще не вставала, закричал:

— О, да ты здесь в целости! Так я тебя и сохраню в целости.

И с этими словами сквайр запер дверь и вручил ключ Гоноре, предварительно строжайшим образом наказав ей стеречь Софью, с обещанием награды за верную службу и угрозами страшного наказания в случае предательства.

Гоноре было отдано приказание не выпускать госпожу из комнаты без разрешения сквайра и не впускать к ней никого, кроме него самого и ее тетки, причем Гонора должна была исполнять все, что Софья от нее потребует, но только ни под каким видом не давать пера, чернил и бумаги.

Сквайр велел дочери одеться и явиться к обеду. Софья повиновалась и, просидев положенное время, была снова отведена в свою темницу.

Вечером тюремщица Гонора принесла ей письмо, полученное от полевого сторожа. Софья внимательно прочла его два или три раза, после чего бросилась в постель, заливаясь слезами. Миссис Гонора была крайне удивлена таким поведением своей госпожи и не могла удержаться от горячей просьбы открыть ей причину

горя. Несколько минут Софья не отвечала, а потом, стремительно вскочив с постели, схватила горничную за руку и воскликнула:

— Гонора! Я погибла.

— Боже упаси! — сказала Гонора.— Лучше б это письмо сгорело и я не передавала его вашей милости! Я-то думала, оно порадует вашу милость, черт бы его побрал! Я бы и не притронулась к нему.

— Гонора,— сказала Софья,— ты добрая девушка, и нечего мне дольше скрывать от тебя мою слабость. Я отдала свое сердце человеку, который покинул меня.

— Неужели мистер Джонс такой предатель? — спросила горничная.

— В этом письме он навсегда со мной прощается,— сказала Софья.— Он даже просит, чтобы я его забыла. Мог бы он просить об этом, если бы любил меня? Мог бы он даже подумать об этом? Мог бы написать такие слова?

— Разумеется, нет,— отвечала Гонора.— И верьте слову, если бы даже первый человек в Англии попросил, чтобы я забыла его, я поймала бы его на слове. Вот еще невидаль! Право, ваша милость делает ему слишком много чести, думая о нем,— ведь такая дама, как вы, может выбрать любого кавалера в стране. И, верьте слову, если б у меня хватило дерзости подать мой убогий совет, так я бы указала вам на мистера Блайфила: уж не говоря о том, что он происходит от честных родителей и будет одним из самых крупных помещиков в наших местах, он, верьте слову, по моему убогому мнению, и лицом краше, и гораздо обходительнее; а кроме того, он и характером положительный, и уж никто из соседей ничего худого про него не скажет: не гоняется за замарашками, и ему не подбросят ничьего отродья. Право же, забудьте его! Благодарение богу, я сама не в такой крайности и не потерпела б, чтобы какой-нибудь молодчик попросил меня об этом дважды. Да будь он раскрасавец, а если бы посмел такие оскорбительные слова сказать мне, я его после этого никогда бы на глаза к себе не пустила, пока есть другие молодые мужчины в Англии. Ну, взять хотя бы, как я сказала, мистера Блайфила...

— Не произноси этого ненавистного имени,— прервала ее Софья.

— Что ж, сударыня,— продолжала Гонора,— если он не люб вашей милости, и без него есть много красавчиков, которые так и бросятся ухаживать за вашей милостью, взгляните только на них ласково. Я думаю, нет такого скромного молодого джентльмена в нашем графстве, да и в соседнем, который не предложил бы вам свою руку сейчас, стоит вам сделать вид, что он вам приглянулся.

— За кого ты меня принимаешь,— вспылила Софья,— что оскорбляешь мой слух такими гадостями? Я ненавижу всех мужчин на свете!

— И правда, сударыня,— продолжала Гонора,— довольнотаки натерпелась от них ваша милость. Сносить оскорбления от этого нищего, голоштанника без роду, без племени...

— Придержи свой гадкий язык! — перебила ее Софья.— Как ты смеешь произносить так непочтительно его имя при мне? Он меня оскорбил? Нет, его бедное, измученное сердце страдало больше, когда он писал эти жестокие слова, чем мое, когда я читала их. О, он — сама геройская доблесть и ангельская доброта! Мне стыдно за свою слабость, что я порицала его за то, чем должна восхищаться. Давая свой совет, он хочет только добра мне. Ради моего счастья он приносит в жертву и себя и меня. Боязнь погубить меня довела его до отчаяния.

— Очень рада слышать, что ваша милость об этом не забывает,— сказала Гонора.—И правда, это значило бы погубить себя — отдать сердце человеку, которого выгнали за порог и у которого нет гроша за душой.

— Выгнали за порог? — поспешно спросила Софья.— Что такое ты говоришь?

— Извольте знать, сударыня, что как только мой хозяин рассказал сквайру Олверти о том, что мистер Джонс осмелился ухаживать за вашей милостью, так сквайр велел раздеть его донага и выгнал вон из дому!

— Как! — воскликнула Софья.— Это я, несчастная, окаянная, была причиной такого ужаса! Выгнали вон голого! Скорее, Гонора! Возьми все мои деньги, сними кольца с моих пальцев. Вот мои часы. Отнеси ему все. Ступай отыщи его сейчас же.

— Ради бога, сударыня,— взмолилась миссис Гонора,— если барин заметит пропажу этих вещей, так ведь меня притянет к ответу. Заклинаю вашу милость не отдавать часов и драгоценностей! К тому же денег, верно, за глаза будет довольно, а о них барин ничего не узнает.

— Так возьми же все, что есть,— сказала Софья,— разыщи его сейчас же и отдай ему. Ступай же, ступай, не теряй ни минуты!

Миссис Гонора повиновалась и, встретив Черного Джорджа в сенях, вручила ему кошелек с шестнадцатью гинеями — всем богатством Софьи. Хотя отец не отказывал ей ни в чем, но собственная щедрость девушки мешала ей быть богатой.

Получив деньги, Черный Джордж отправился в кабачок, где находился Джонс; но дорогой ему пришла в голову мысль: не удержать ли и их? Однако Совесть тотчас же возмутилась про-

тив этого гнусного намерения и стала упрекать его в неблагодарности к своему благодетелю. На это Корысть возразила, что Совести следовало вспомнить об этом раньше, когда он присвоил пятьсот фунтов бедняги Джонса, и что раз уже спокойно допущено похищение такой крупной суммы, то церемониться с безделицей было бы глупостью и лицемерием. В ответ на это Совесть, как хороший юрист, попробовала установить различие между явным злоупотреблением доверия, как в данном случае, когда ценность была передана из рук в руки, и простой утайкой найденного, как в прежнем. Корысть тотчас же подняла Совесть на смех, назвала это различие несущественным и твердо стояла на том, что кто однажды отказался от всяких притязаний на честь и порядочность, тот уже не вправе обращаться к ним в другой раз. Словом, доводы бедной Совести, наверно, были бы разбиты, если б на помощь к ней не подоспел Страх, принявшийся горячо доказывать, что действительное различие между этими случаями заключается не в различных степенях честности, но в различных степенях безопасности: утаить пятьсот фунтов можно было почти без всякого риска, тогда как присвоение шестнадати гиней сопряжено было с большой опасностью быть разоблаченным.

Благодаря этой дружеской помощи Страха Совесть одержала полную победу в душе Черного Джорджа и, похвалив его за честность, заставила отдать деньги Джонсу.

## ГЛАВА XIV

*Короткая глава, содержащая короткий разговор между сквайром Вестерном и его сестрой*

Миссис Вестерн весь этот день не было дома. Когда она вернулась, сквайр встретил ее на пороге и на расспросы о Софье сказал, что держит ее в надежном месте.

— Она заперта на замок в своей комнате, а ключ у Гоноры,— пояснил он.

Сквайр посматривал необыкновенно хитро и проницательно, делая это сообщение: вероятно, он ожидал от сестры горячего одобрения за умный поступок. Но каково же было его разочарование, когда миссис Вестерн с самым презрительным видом проговорила:

— Право, братец, меня поражает ваша простота! Почему вы не желаете доверить племянницу моему попечению? Зачем вы вмешиваетесь? Вы расстроили все, что я с таким трудом начала было налаживать. Я все время старалась внушить Софье правила бла-

горазумия, а вы вызываете ее на то, чтобы она их отвергла. Английские женщины, братец, благодарение богу, не рабыни. Нас нельзя сажать под замок, как испанок или итальянок. Мы имеем такое же право на свободу, как и вы. На нас можно действовать только логикой и убеждением, а не насилием. Я видела свет, братец, и знаю, когда какие доводы пускать в ход; и если бы не ваше безрассудное вмешательство, то я, наверно, убедила бы племянницу вести себя сообразно с правилами благоразумия и приличия, которым всегда ее учила.

— Ну конечно, я всегда не прав,— сказал сквайр.

— Братец,— отвечала миссис Вестерн,— вы не правы, когда мешаетесь в дела, в которых ничего не смыслите. Вы должны признать, что я видела свет больше вашего; и как хорошо было бы для моей племянницы, если бы она не была взята из-под моего надзора! Это здесь, живя с вами, набралась она романтических бредней о любви.

— Надеюсь, вы не считатете, что я научил ее всему этому? — обиделся сквайр.

— Ваше невежество, братец,— отвечала миссис Вестерн,— истощает мое терпение, как сказал великий Мильтон[1].

— К черту Мильтона! — воскликнул сквайр.— Если б он имел наглость сказать мне это в глаза, то я дал бы ему здоровую пощечину, не посмотрев на его величие. Терпение! Раз уж вы, сестрица, заговорили о терпении, так у меня его побольше вашего, потому что я позволяю вам обращаться со мной, как со школьником. Вы думаете, если человек не побывал при дворе, то у него голова пустая? Вздор! Мир совсем зашел в тупик, если все мы дураки, исключая горсточки круглых голов и ганноверских крыс! Дудки! Сейчас наступают времена, когда мы их оставим в дураках, и то-то мы тогда порадуемся! Да-с, сестрица, вволю потешимся! Я, сестрица, надеюсь еще дожить до этого, прежде чем ганноверские крысы успеют съесть все наше зерно, оставив нам на пропитание одну только репу.

— Признаюсь вам, братец,— отвечала миссис Вестерн,— то, что вы говорите, выше моего разумения. Ваша репа и ганноверские крысы для меня совершенно непонятны.

— Верю, что вам не очень приятно слышать о них, но интересы страны рано или поздно восторжествуют.

— Мне хотелось бы, чтобы вы подумали немножко об интересах вашей дочери, право, она в большей опасности, чем наша страна.

---

[1] Читатель тоже истощит, пожалуй, свое терпение, если станет отыскивать это место в сочинениях Мильтона.

— А только что вы бранили меня за то, что я слишком забочусь о ней, и выражали желание, чтобы я предоставил ее вам,— возразил сквайр.

— Если вы обещали мне больше не вмешиваться,— отвечала миссис Вестерн,— то я ради племянницы возьму все на себя.

— Прекрасно, берите,— сказал сквайр,— ведь вы знаете, я всегда был того мнения, что женщины скорее всего управятся с женщинами.

После этого миссис Вестерн удалилась, презрительно бормоча что-то насчет женщин и управления государством. Она направилась прямо в комнату Софьи, и та, после суточного заключения, была снова выпущена на свободу.

# КНИГА СЕДЬМАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ТРИ ДНЯ

## ГЛАВА I

*Сравнение света с театром*

Свет часто сравнивали с театром, и многие серьезные писатели, а также поэты рассматривали человеческую жизнь как великую драму, похожую почти во всех своих подробностях на театральные представления, изобретенные, как говорят, Фесписом, а потом принятые с большим одобрением и удовольствием во всех цивилизованных странах.

Сравнение это настолько привилось и стало таким обыкновенным, что некоторые чисто театральные выражения, сначала прилагавшиеся к жизни метафорически, теперь употребляются без всякого различия и в прямом смысле в обоих случаях. Так, слова «подмостки» и «сцена» сделались благодаря общему употреблению одинаково привычными для нас как в том случае, когда мы говорим о жизни в широком смысле, так и в том, когда мы имеем в виду собственно драматические представления; и если заходит речь о закулисных интригах, нам, пожалуй, придет на ум скорее Сент-Джемс, чем Друри-лейн.

Объяснить это, мне кажется, нетрудно, если принять во внимание, что театральная пьеса есть не более чем представление, или, как говорит Аристотель, подражание действительности; отсюда мы, очевидно, вправе воздавать высокие похвалы тем, кто своими произведениями или игрой умеет так искусно подражать жизни, что созданные ими копии могут, пожалуй, сойти за оригиналы.

В действительности, однако, мы не особенно любим хвалить таких людей и обращаемся с ними, как дети с игрушками; с гораздо большим удовольствием мы их освистываем и тузим, чем

восхищаемся их искусством. Есть также много других причин, внушающих нам это сравнение между светом и сценой.

Некоторые видят в большинстве людей актеров, поскольку они исполняют роли, им несвойственные, на которые они, строго говоря, имеют права не больше, чем комедиант на звание короля или императора, которых он играет на сцене. Так, лицемер может быть назван актером, и греки действительно называли обоих одним и тем же словом.

Скоротечность жизни также служила поводом для этого сравнения. Так, бессмертный Шекспир сказал:

...Подобна жизнь актеру,
Что, отшумев на сцене срок недолгий,
Забвенью предан всеми.

За эту избитую цитату я вознагражу читателя другой, весьма возвышенной, которая известна, кажется, очень немногим. Она взята из поэмы под заглавием «Божество», созданной лет девять назад и давно преданной забвению — доказательство того, что хорошие книги, как и хорошие люди, не всегда переживают дурные.

В тебе источник всей судьбы людей,
Величье царств, паденье королей!
Театр времен открыт для нас с тобой,
Где за героем вслед идет герой,
За тенью тень являет пышный вид,
Ликует вождь, и царь в крови лежит.
Все роль ведут, что им тобой дана.
Их гордость, страсть уже предрешена.
Их краток срок, по слову твоему
Вступают в свет, скрываются во тьму.
И нет следа от пышной сцены той —
Одна лишь память пышности былой.

Однако при всех этих и многих других уподоблениях жизни театру всегда принималась в расчет одна только сцена. Никто, сколько я помню, не обратил внимания на зрителей этой великой драмы.

Но так как Природа часто дает свои лучшие представления при переполненном зале, то ее зрители служат меньшим основанием для вышеупомянутого сравнения, чем актеры. В обширном театре времени сидят друзья и критики, слышатся рукоплескания, возгласы одобрения, свистки и негодующие восклицания — словом, все, что можно видеть или слышать в королевском театре.

Поясним это на каком-нибудь примере, хотя бы на отношении большой публики к сцене, которую Природе угодно было исполнить для нее в двенадцатой главе предыдущей книги, где

она вывела Черного Джорджа в роли вора, похищающего пятьсот фунтов у своего друга и благодетеля.

Публика галерки, я убежден, встретила это приключение своими обычными воплями и, вероятно, наградила героя самой отборной бранью.

Спустившись ярусом ниже, мы увидели бы такое же негодование, но выраженное не столь шумно и грубо; все же и здесь почтенные женщины посылали Черного Джорджа к дьяволу, и многие из них каждую минуту ждали, что вот-вот появится джентльмен с раздвоенными копытами и унесет свою добычу.

В партере, как водится, мнения разделились. Любители героических добродетелей и безупречных характеров протестовали против представления на сцене такого гнусного поступка, не получающего, примера ради, сурового наказания. Несколько друзей автора воскликнули: «Конечно, господа, Джордж негодяй, но он верно срисован с натуры». А все молодые критики нашего времени, писцы, ученики и т. п., объявили сцену низкой и громко выражали свое неудовольствие.

Что касается лож, то публика в них вела себя со свойственной ей благовоспитанностью. Большая часть ее была занята совершенно посторонними вещами. Кое-кто из тех немногих, которые поглядывали на сцену, объявили, что Джордж дурной человек, другие же отказывались выражать свое мнение, не выслушав мнения признанных судей.

Мы же, допущенные за кулисы этого великого театра Природы (а без этой привилегии ни один автор не смеет писать ничего, кроме словарей да букварей), можем подвергнуть порицанию поступок Джорджа, не осуждая бесповоротно человека, которому Природа, может быть, не во всех своих драмах назначила играть дурные роли,— ибо жизнь в точности похожа на театр еще и тем, что в ней часто один и тот же человек играет то злодея, то героя; и тот, кто вызывает в нас восхищение сегодня, может быть, завтра станет предметом нашего презрения. Как Гаррик, которого я считаю величайшим трагическим актером, какого когда-либо производил свет, нисходит иногда до роли дурака, так много лет тому назад ею не гнушались, по словам Горация, Спицион Великий и Лелий Мудрый; Цицерон говорит даже, что «нельзя себе представить, как они ребячились». Правда, они играли дураков, как и мой друг Гаррик, только в шутку, но многие выдающиеся люди бесчисленное число раз в своей жизни играли отъявленных дураков всерьез, так что довольно трудно решить, что в них преобладало: мудрость или глупость, и чего они больше заслуживают от людей — одобрения или порицания, восхищения или презрения, любви или ненависти.

Люди, проведшие некоторое время за кулисами этого великого театра и в совершенстве знакомые не только с всевозможным переряживанием, которое там происходит, но и с причудливым и своенравным поведением Страстей, являющихся режиссерами и директорами этого театра (что касается Рассудка, истинного хозяина, то это особа очень ленивая и редко утруждающая себя работой), по всей вероятности, хорошо научились понимать смысл знаменитого nil admirari Горация, или — в переводе на наш язык — ничем не поражаться.

Один дурной поступок в жизни так же мало делает человека подлецом, как и одна дурная роль, сыгранная им на сцене. Страсти, подобно театральным режиссерам, часто поручают людям роли, не спрашивая их согласия и подчас вовсе не считаясь с их способностями. В жизни человек не хуже, чем актер, может осуждать свои поступки; сплошь и рядом случается видеть людей, которым порок так же мало к лицу, как роль Яго — честной физиономии мистера Вильяма Милса.

Таким образом, человек беспристрастный и вдумчивый никогда не торопится произнести свой приговор. Он может осуждать недостаток и даже порок, не обрушиваясь с гневом на виновного. Словом, причиной криков и шума и в жизни и в театре является та же самая глупость, то же детское недомыслие, та же невоспитанность, та же несдержанность. Как у дурных людей вечно на языке слова «негодяй» и «мерзавец», так и низменные души в партере готовы громче всех вопить о низменности зрелища, которое они видят на сцене.

## ГЛАВА II,

*содержащая разговор мистера Джонса с самим собой*

Рано утром Джонс получил свои вещи от мистера Олверти со следующим ответом на свое письмо:

«Сэр!

Дядя поручил мне довести до вашего сведения, что принятые им относительно вас меры были следствием зрелого размышления и не оставляющих сомнения доказательств низости вашего характера, а потому вам нечего и пытаться в чем-нибудь изменить его решение. Он крайне удивлен тем, что вы осмеливаетесь отказываться от всяких притязаний на особу, на которую вы и не могли никогда их иметь, потому что она стоит неизмеримо выше вас по своему происхождению и состоянию. Далее мне поручено сказать

вам, что единственное доказательство вашего подчинения воле моего дяди, какого он от вас требует, заключается в том, чтобы вы немедленно покинули наши места. В заключение не могу не преподать вам, как христианин, совета серьезно подумать о перемене вашего образа жизни. О ниспослании же вам свыше помощи для исправления всегда будет молиться

ваш покорный слуга
*В. Блайфил*».

Письмо это возбудило в груди нашего героя самые противоположные чувства; более мягкие одержали в конце концов верх над негодующими и гневными, и поток слез кстати пришел Джонсу на помощь, воспрепятствовал горю свести его с ума или разбить ему сердце.

Однако скоро он устыдился своей слабости и, вскочив с места, воскликнул:

— Хорошо, я дам мистеру Олверти единственное доказательство моего повиновения, которого он требует: я отправлюсь в путь сию же минуту... Но куда? Не знаю. Пусть указывает Фортуна. Раз ни одна душа не обеспокоена участью обездоленного юноши, то и мне все равно, что со мной будет. Неужто мне одному заботиться о том, чего никто другой... Но разве я вправе говорить, что нет другого... другой, которая для меня дороже целого мира?.. Я вправе, я обязан считать, что моя Софья неравнодушна к моей участи. Как же мне тогда покинуть моего единственного друга?.. И какого друга! Как же мне не остаться возле нее?.. Но где, как остаться? Можно ли мне надеяться когда-нибудь увидеть ее,— пусть даже она желает этого не меньше меня,— не навлекая на нее гнев отца? И для чего? Мыслимо ли добиваться у любимой женщины согласия на ее собственную гибель? Допустимо ли покупать удовлетворение своей страсти такой ценой? Допустимо ли бродить украдкой, точно вор, вокруг ее дома с подобными намерениями?.. Нет, самая мысль об этом противна, ненавистна мне!.. Прощай, Софья! Прощай, милая, любимая...

Тут избыток чувств зажал ему рот и нашел выход в потоке слез.

И вот, приняв решение покинуть родные места, Джонс стал обсуждать, куда ему отправиться. Весь мир, по выражению Мильтона, расстилался перед ним; и Джонсу, как Адаму, не к кому было обратиться за утешением или помощью. Все его знакомые были знакомые мистера Олверти, и он не мог ожидать от них никакой поддержки, после того как этот джентльмен лишил его своих милостей. Людям влиятельным и добросердечным следует с боль-

шой осторожностью подвергать опале подчиненных, потому что после этого от несчастного опального отворачиваются и все прочие.

Какой образ жизни избрать и чем заняться — было второй заботой юноши; тут открылась перед ним самая безрадостная перспектива. Каждая профессия и каждое ремесло требовали долгой подготовки и, что еще хуже, денег, ибо мир так устроен, что аксиома «из ничего не бывает ничего» одинаково справедлива и в физике, и в общественной жизни, и человек без денег лишен всякой возможности приобрести их.

Оставался Океан — гостеприимный друг обездоленных, он открывал свои широкие объятия; и Джонс тотчас же решил принять его радушное приглашение: выражаясь менее образно, он задумал сделаться моряком.

Как только эта мысль пришла ему в голову, он с жаром ухватился за нее, нанял лошадей и отправился в Бристоль приводить ее в исполнение.

Но прежде чем сопровождать его в этом путешествии, мы должны на некоторое время вернуться в дом мистера Вестерна и посмотреть, что произошло с прелестной Софьей.

## ГЛАВА III,

*содержащая разные разговоры*

В то самое утро, когда мистер Джонс отправился в путь, миссис Вестерн позвала Софью к себе в комнату и, сообщив сначала, что она добилась ее освобождения, приступила к чтению длинного поучения на тему о браке. Она изображала брак не романтической идиллией, где царят любовь и счастье, как он описывается у поэтов; не говорила она и о высоких целях, ради которых, как учат богословы, нам следует смотреть на него как на божественное установление,— она рассматривала его скорее как банк, куда благоразумной женщине наивыгоднее поместить свое состояние в расчете на самые высокие проценты, какие она вообще может получить.

Когда миссис Вестерн кончила, Софья отвечала, что ей не под силу спорить с женщиной, намного превосходящей ее знанием и опытностью, особенно в таком предмете, как брак, о котором она почти не думала.

— Спорить! Я этого и не жду от тебя,— отвечала тетка.— Зря видела бы я свет, если бы принуждена была спорить с девушкой твоих лет. Я говорила только для того, чтобы поучить тебя.

Древние философы, вроде Сократа, Алкивиада и других, не имели обыкновение спорить со своими учениками. Ты должна смотреть на меня, душа моя, как на Сократа, который твоего мнения не спрашивает, а только говорит тебе свое.

Из каковых слов читатель, пожалуй, заключит, что эта леди была знакома с философией Сократа не больше, чем с философией Алкивиада; но мы, к сожалению, не можем удовлетворить его любопытства на этот счет.

— У меня и в мыслях не было опровергать ваши мнения, сударыня,— отвечала Софья.— К тому же, как я сказала, я никогда не думала о затронутом вами предмете, да, может быть, и думать не буду.

— Полно, Софи,— возразила тетка,— твоя попытка лицемерить со мной очень наивна. Скорее французы убедят меня, что они берут чужие города только для защиты своей страны, чем ты заставишь меня поверить, будто ты никогда серьезно не думала о замужестве. Как ты можешь, милая, уверять меня, будто и не помышляла о подобном союзе, когда, как тебе прекрасно известно, я даже знаю, с кем ты желаешь заключить его?.. Союз столь же неестественный и противный твоим интересам, сколько был бы противен интересам Голландии сепаратный союз с Францией! Впрочем, если до сих пор ты не размышляла об этом предмете, то теперь, предупреждаю тебя, очень своевременно о нем поразмыслить, потому что брат решил немедленно заключить твой брачный договор с мистером Блайфилом, и я вызвалась быть поручительницей в этом деле, обещав твое согласие.

— Это единственный вопрос, сударыня,— отвечала Софья,— в котором я принуждена ослушаться и вас и отца. Мне не нужно много размышлять, чтобы отвергнуть эту партию.

— Не будь я таким философом, как сам Сократ,— возразила миссис Вестерн,— ты вывела бы меня из терпения. Какое у тебя возражение против этого молодого человека?

— Возражение очень серьезное, по моему мнению,— отвечала Софья.— Я его ненавижу.

— Научишься ли ты когда-нибудь правильному употреблению слов? — сказала тетка.— Я советовала бы тебе, милая, почаще справляться со словарем Бейли. Нельзя ненавидеть человека, который ничем тебя не оскорбил. Какая тут ненависть? Он просто тебе не нравится, а это вовсе не препятствие для того, чтобы выйти за него замуж. Я знала много супругов, которые друг другу совершенно не нравились, а между тем жили сносно и даже приятно. Поверь, милая, я смыслю в этих делах больше тебя. Ты, надеюсь, согласишься, что я видела свет,— а между тем у меня нет ни одной знакомой, которая не старалась бы, по крайней мере, делать

вид, что муж ей скорее не нравится, чем нравится. Исключение из этого правила было бы такой старомодной романтической нелепостью, что одна мысль о нем шокирует.

— Право, сударыня,— возразила Софья,— я никогда не выйду замуж за человека, который мне не нравится. Если я обещаю отцу не выходить замуж против его желания, то могу, мне кажется, надеяться, что и он не станет принуждать меня к замужеству против моего желания.

— Желания! — с жаром воскликнула тетка.— Желания!.. Меня поражает твоя самоуверенность. Молодая женщина твоих лет, еще не замужем, говорит о своих желаниях! Впрочем, какие б они ни были, твои желания, брат непоколебим в своем решении. И больше того: если ты заговорила о своих желаниях, то я буду советовать ему поторопиться. Вот еще! Желания!

Софья бросилась на колени; слезы струились из ее ясных глаз. Она умоляла тетку пощадить ее и не мстить так жестоко за то, что она не хочет делать себя несчастной, несколько раз повторив, что это касается только ее одной и от этого зависит только ее счастье.

Как судебный пристав, действующий на основании законных полномочий, смотрит безучастно на слезы несчастного должника, беря его под стражу: напрасно бедняга пытается пробудить в нем сострадание, напрасно просит отсрочки, указывая на нежную жену, лишающуюся опоры, на маленького лепечущего сына, на испуганную дочь. Благородный исполнитель глух и слеп ко всем проявлениям горя, он выше всех человеческих слабостей и безжалостно отдает несчастную жертву в руки тюремщика.

Так же слепа к слезам Софьи, так же глуха ко всем ее мольбам была премудрая тетка, так же непреклонно решила она отдать трепещущую девушку в объятия тюремщика Блайфила. С большой запальчивостью она отвечала:

— Вы глубоко заблуждаетесь, сударыня, думая, будто дело касается только вас одной: вас оно касается меньше всего и в последнюю очередь. В союзе этом затронута честь вашей семьи, вы же — не более как средство. Неужели вы воображаете, сударыня, что при заключении брачных договоров между державами — например, когда французскую принцессу отдают за испанского принца,— во внимание принимают только интересы невесты? Нет, брачный союз заключается скорее между двумя королевствами, чем между двумя отдельными лицами. То же делается и в знатных фамилиях, таких, например, как наши. Родственная связь между фамилиями — самое главное. Вы должны больше заботиться о чести вашей семьи, чем о ваших личных интересах. И если пример

принцесс не способен внушить вам эти возвышенные мысли, то, уж во всяком случае, вы не можете пожаловаться, что с вами поступают хуже, чем с принцессой.

— Надеюсь, сударыня, что я никогда не обесчещу моей фамилии,— отвечала Софья, несколько возвысив голос.— Но что касается мистера Блайфила, то, каковы бы ни были последствия, я решила не выходить за него, и никакая сила не расположит меня к нему.

Вестерн, подслушавший бóльшую часть этого диалога, потерял всякое терпение, в сильнейшем возбуждении он ворвался в комнату с криком:

— Будь я проклят, если ты за него не выйдешь! Будь я проклят, если ты не выйдешь! Вот тебе и все, вот и все! Будь я проклят, если ты не выйдешь!

В сердце миссис Вестерн накипело немало гнева против Софьи, но он весь вылился на сквайра.

— Меня крайне поражает, братец,— сказала она,— что вы суетесь в дело, которое всецело предоставили мне. Заботясь о чести нашей фамилии, я согласилась взять на себя посредничество, чтобы исправить допущенные вами ошибки в воспитании дочери. Ибо это вы, братец, вашим бестолковым поведением уничтожили все семена, брошенные мной в ее нежную душу. Вы сами научили ее неповиновению.

— Фу, черт! — завопил сквайр с пеной у рта.— Вы способны вывести из терпения самого дьявола! Я научил дочь неповиновению? Вот она сама здесь. Скажи правду, дочка, приказывал я тебе когда-нибудь не слушаться меня? Разве я тебе не угождал и не ублажал тебя всячески, лишь бы ты была послушна? Да она и была послушна, когда была маленькой, когда вы еще не взяли ее в свои руки и не испортили, набив ей голову придворной дребеденью. Да! да! да! Я сам собственными ушами слышал только что, как вы говорили ей, что она должна вести себя как принцесса! Вы сделали вига из моей дочки. Как же отцу или кому-нибудь другому ожидать от нее повиновения?

— Братец,— отвечала миссис Вестерн с крайне высокомерным видом,— словами не выразишь, как жалки ваши политические рассуждения! Но и я обращусь к самой Софье, пусть она скажет: учила ли я ее когда-нибудь неповиновению? Скажите, племянница, разве я не старалась, напротив, внушить вам отчетливое представление о разнообразных отношениях человека к обществу? Разве я не затратила величайшего труда на доказательство того, что закон природы повелевает детям быть почтительными к своим родителям? Разве я вам не приводила слова Платона по этому предмету? Предмету, в котором вы были так баснословно неве-

жественны, когда я взяла вас под свою опеку, что, я убеждена, не знали даже о родстве между дочерью и отцом.

— Ложь! — воскликнул Вестерн.— Софья не такая дура, чтобы, дожив до одиннадцати лет, не знать, что она сродни отцу.

— О, варварское невежество! — отвечала столичная дама.— А что касается ваших манер, братец, так они, доложу вам, заслуживают палки!

— Что ж, поколотите меня, если вы в силах,— сказал сквайр.— Племянница, я думаю, с удовольствием вам поможет.

— Братец,— вспылила миссис Вестерн,— хотя я бесконечно презираю вас, однако не намерена терпеть долее вашу наглость и приказываю немедленно закладывать лошадей! Я решила уехать от вас сегодня же утром.

— Скатертью дорога! — отвечал сквайр.— Если на то пошло, так и я не могу больше сносить вашу наглость. Проклятие! Довольно и того, что вы меня унижаете и выставляете дураком перед дочкой, твердя каждую минуту о своем презрении ко мне.

— Унижаю? Унижаю? — негодовала тетка.— Да мыслимо разве унизить мужика, у которого такой норов?

— Боров! — воскликнул сквайр.— Нет, я не боров, и не осел, и не крыса, сударыня! Запомните, что я — не крыса. Я — истый англичанин, не вашего ганноверского помета, который только опустошает нашу страну.

— Ты один из тех мудрецов, бессмысленные убеждения которых привели Англию на край гибели, ослабляя власть нашего правительства внутри страны, приводя в уныние наших друзей и ободряя врагов за рубежом.

— Хо-хо! Вы опять за свою политику? — воскликнул сквайр.— Да чихать я хочу на вашу политику, как на...

И он украсил последние слова телодвижением, как нельзя более для этого подходящим. Что тут, собственно, больше задело миссис Вестерн — словечко ли брата или же его презрительное отношение к ее политическим мнениям,— я не берусь решить, только она пришла в неописуемое бешенство, грубо выругалась и тотчас выбежала вон. Ни брат, ни племянница не подумали остановить ее или пойти за ней вслед: Софья была так опечалена, а сквайр так разгневан, что оба остались прикованными к своему месту.

Сквайр, впрочем, пустил сестре вдогонку возглас, которым охотники приветствуют зайца, только что поднятого собаками. Он был вообще большим искусником по части упражнения голосовых связок и имел особенный возглас почти на каждый случай жизни.

Женщины, знающие, подобно, миссис Вестерн, свет и изучавшие философию и политику, мигом воспользовались бы душевным

состоянием мистера Вестерна, обронив несколько лестных замечаний насчет его ума в ущерб его ушедшей противнице, но бедная Софья была слишком проста. Этим мы не хотим сказать читателю, что она была глупа, хотя эти слова обыкновенно употребляются как синонимы. Нет, Софья отличалась большим и незаурядным умом, но ей недоставало искусства, из которого женщины извлекают столько пользы в жизни и которое, проистекая скорее из сердца, чем из головы, часто бывает достоянием набитых дур.

## ГЛАВА IV

*Портрет сельской помещицы, срисованный с натуры*

Кончив свои выклики и переводя дух, мистер Вестерн начал в очень патетических выражениях жаловаться на несчастную участь мужчин, которым, сказал он, «вечно приходится терпеть от причуд то одной проклятой бабы, то другой».

— Кажется, уж довольно натерпелся от твоей матери, но не успел от нее увильнуть, как уже другая за ней следом бежит. Да шалишь! Таким способом меня ни одной бабе загнать не удастся!

Софья никогда не спорила с отцом до несчастного сватовства Блайфила, разве только вступалась за мать, которую горячо любила, хотя и лишилась ее на одиннадцатом году своей жизни. Бедная женщина была преданной служанкой сквайра все время их брака, и за ее преданность он платил тем, что был, как говорится, хорошим мужем. Он очень редко (пожалуй, не больше одного раза в неделю) бранил ее и никогда не бил; она не имела ни малейших поводов для ревности и была полной госпожой своего времени, потому что муж никогда ей не мешал, проводя все утро в охотничьих упражнениях, а вечер — за бутылкой с приятелями. Жена видела его только урывками за едой, когда имела удовольствие раскладывать по тарелкам те кушанья, за приготовлением которых перед тем наблюдала. Из-за стола она уходила минут через пять после ухода прислуги, подождав, когда произнесут тост «за короля заморского». Это делалось, по-видимому, по распоряжению мистера Вестерна, который держался того мнения, что женщины должны являться к столу с первым блюдом и уходить после первого бокала. Повиноваться этому распоряжению было дело нетрудное, ибо застольная беседа (если только то, что происходило, может быть названо беседой) редко могла занять даму. Она состояла преимущественно из нестройных возгласов, пения, охотничьих рассказов, крепких словечек и брани по адресу женщин и правительства.

Только за едой мистер Вестерн и видел свою жену, ибо, приходя к ней в постель, он бывал обыкновенно настолько пьян, что ничего не различал, а в охотничий сезон вставал всегда до рассвета. Таким образом, она распоряжалась своим временем, как хотела, и вдобавок имела к своим услугам карету четверней, но, к несчастью, пользовалась ею редко, потому что и соседи и дороги были плохи: кто сколько-нибудь дорожил своей шеей и своим временем, избегал ездить с визитами. Надо, впрочем, сказать читателю откровенно: она не платила мужу той благодарностью, которую можно было бы ожидать за такую доброту; она была выдана замуж против воли нежно любящим отцом, который считал партию для нее выгодной: сквайр имел свыше трех тысяч фунтов годового дохода, а все ее состояние едва достигало восьми тысяч фунтов. Отсюда, может быть, проистекала некоторая сумрачность ее характера; она была для своего мужа скорее хорошей служанкой, чем доброй женой, и не всегда находила в себе столько признательности, чтобы отвечать на шумные ласки, расточаемые ей сквайром, хотя бы только приветливой улыбкой. Вдобавок она вмешивалась иногда в дела, которые ее не касались,— например, делала мужу мягкие замечания по поводу его дикого пьянства, если изредка ей представлялся для этого случай. Однажды она вздумала горячо упрашивать сквайра свезти ее на два месяца в Лондон, в чем сквайр ей наотрез отказал и даже постоянно сердился потом на жену за эту просьбу, будучи уверен, что в Лондоне все мужья украшены рогами.

По этой причине, а также и по многим другим Вестерн в конце концов глубоко возненавидел свою жену; никогда не скрывая этой ненависти при ее жизни, он продолжал ее ненавидеть и после смерти. Стоило чем-нибудь его раздосадовать — например, выпадал плохой день для охоты, заболевали собаки или случалась какая-нибудь другая неприятность,— он вымещал свою досаду на покойнице, говоря: «Будь моя жена в живых, то-то обрадовалась бы».

Особенно любил он высказывать подобные замечания при Софье: дочь была для него дороже всего на свете, и сквайра очень задевало, что она любила мать больше, чем его. Поведение Софьи в таких случаях обыкновенно только распаляло его ревность, ибо он не довольствовался тем, что оскорблял слух дочери бранью по адресу матери, но еще требовал от нее одобрения, которого, впрочем, никогда не мог добиться ни ласками, ни угрозами.

Некоторые из читателей выразят, может быть, удивление, почему же сквайр не возненавидел дочери, как он возненавидел ее мать. На это я должен сказать им, что ненависть не является

следствием любви, даже сопровождаемой ревностью. Ревнивец вполне способен убить предмет своей ревности, но ненавидеть его он не может. Этой заковыристой штучкой, похожей на парадокс, мы и закончим настоящую главу, предоставляя читателю поломать над ней голову.

## ГЛАВА V

*Благородное поведение Софьи по отношению к тетке*

Софья хранила молчание во время приведенной только что речи отца и отвечала на нее вздохом; но так как сквайр не понимал этого немого языка, или мимики, как он называл его, то ему хотелось непременно услышать членораздельное одобрение своих высказываний, которого он и потребовал от дочери, заявив ей, по обыкновению, что она, наверно, готова взять чью угодно сторону против него, как всегда брала сторону своей дрянной матери. Софья молчала по-прежнему. Тогда он закричал:

— Что ты, немая, что ли? Почему молчишь? Разве твоя мать не обращалась со мной по-свински? Отвечай же! Или ты, может быть, настолько презираешь отца, что считаешь ниже своего достоинства разговаривать с ним?

— Ради бога, сэр,— отвечала Софья,— не истолковывайте так дурно моего молчания! Я готова скорее умереть, чем оказать вам неуважение; но как могу я найти в себе смелость заговорить, если каждое мое слово или прогневит моего дорогого папу, или будет черной неблагодарностью и оскорблением памяти лучшей из матерей? Ведь моя мама была всегда так добра ко мне!

— И твоя тетка, стало быть, лучшая из сестер?— сказал сквайр.— Может быть, ты будешь настолько добра, что хоть ее согласишься признать ведьмой? Ведь, кажется, я имею право назвать ее ведьмой?

— Я очень многим обязана моей тетушке, сэр,— отвечала Софья.— Она была мне второй матерью.

— А мне второй женой,— сказал Вестерн,— так заступайся и за нее! Неужто ты будешь отрицать, что она поступила со мной, как самая негодная сестра?

— Право же, сэр,— воскликнула Софья,— я непростительно солгала бы перед своей совестью, если бы согласилась с вами! Я знаю, что тетушка и вы очень расходитесь в образе мыслей, но я тысячу раз слышала от нее выражения самой преданной любви к вам и убеждена, что она не только не самая негодная сестра на свете, но что мало найдется сестер, которые любили бы брата больше.

— Говоря попросту,— сказал сквайр,— выходит, что я кругом виноват. Ну разумеется! Разумеется, женщина всегда права, а мужчина всегда виноват.

— Простите, сэр,— возразила Софья,— я этого не говорю.

— Чего ты не говоришь? — не унимался сквайр.— Ты имеешь бесстыдство утверждать, что она права,— разве отсюда не следует, что я виноват? Да, действительно, я, может быть, виноват, что позволяю этой пресвитерианке, этой ганноверской ведьме переступать порог моего дома. Чего доброго, она еще обвинит меня в каком-нибудь заговоре, и правительство отберет мое имение в казну.

— Тетушка не только не собирается нанести вред вам или вашей собственности,— отвечала Софья,— но, я убеждена, что если бы она вчера умерла, то завещала бы вам все свое состояние.

С намерением сказала это Софья или нет, я не берусь утверждать, только эти слова глубоко проникли в уши ее отца и произвели гораздо более ощутительный эффект, чем все сказанное ею раньше. Звук их был для него точно пуля, ударившая в голову: он вздрогнул, пошатнулся и побледнел. Потом, помолчав с минуту, произнес неуверенным голосом:

— Вчера! Вчера она завещала бы мне свое имение? Неужто? Почему именно вчера из всех дней в году? Стало быть, если она умрет завтра, так откажет его кому-нибудь другому, пожалуй, даже не родственнику?

— Тетушка очень вспыльчива, сэр,— отвечала Софья,— и я не ручаюсь, что́ она может сделать в припадке гнева.

— Не ручаешься? — пролепетал сквайр.— А кто же, спрашивается, был причиной ее гнева? Да, да, кто ее довел до этого? Разве не ты горячо с ней спорила перед тем, как я вошел в комнату? Да и вся эта ссора разве не из-за тебя? Уже несколько лет все мои ссоры с сестрой бывают только из-за тебя, а теперь ты готова свалить всю вину на меня, точно я буду причиной, если ее имение уйдет на сторону. Впрочем, ничего лучшего я и не мог ожидать: ты всегда платишь так за мою любовь.

— В таком случае, умоляю вас,— воскликнула Софья,— на коленях умоляю: если я была злосчастной причиной вашей размолвки, постарайтесь примириться с тетушкой, не допустите, чтобы она покинула ваш дом в таком гневе! Сердце у нее доброе, и несколько ласковых слов успокоят ее. Умоляю вас, сэр!

— Так я должен идти просить за тебя прощения? — сказал Вестерн.— Ты упустила зайца, а мне бежать искать его? Конечно, если б я был уверен...

Тут он замолчал, а Софья принялась снова его упрашивать и, наконец, уговорила: так что, отпустив по адресу дочери несколь-

ко едких, саркастических замечаний, сквайр со всех ног побежал задержать сестру, пока она не успела уехать.

Софья же вернулась в свою печальную комнату, где предалась наслаждению (если позволительно так выразиться) любовной грусти. Несколько раз перечитала она письмо, полученное от Джонса, достала и муфту; оба предмета, а также лицо свое она оросила слезами. Услужливая миссис Гонора всеми силами старалась утешить свою опечаленную госпожу; она назвала имена многих достойных ее внимания молодых джентльменов и, расхвалив их внутренние и внешние качества, сказала, что ее госпожа может выбрать любого. Надо думать, что эти методы применялись с успехом в подобных случаях, иначе такая искушенная особа, как миссис Гонора, никогда не решилась бы к ним прибегнуть; я даже слышал, что между камеристками они считаются наилучшим лекарством в женской аптеке, но оттого ли, что болезнь Софьи внутренне отличалась от недомоганий, на которые была похожа по внешним симптомам, или по другой причине — только доброжелательная горничная наделала больше вреда, чем пользы, и в конце концов так рассердила свою госпожу (а это было нелегко), что та строго приказала ей выйти вон.

## ГЛАВА VI,

*содержания весьма разнообразного*

Сквайр догнал свою сестру в ту минуту, когда она уже садилась в карету, и частью силой, частью просьбами добился от нее приказания отвести лошадей обратно в конюшню. Это не стоило ему большого труда, ибо сестра, как мы уже указывали, была нрава самого миролюбивого и очень любила брата, хотя и презирала его недалекость, или, вернее, плохое знание света.

Бедная Софья, устроившая это примирение, была принесена ему в жертву. Брат и сестра в один голос осудили ее поведение, сообща объявили ей войну и постановили вести ее самым решительным образом. С этой целью миссис Вестерн предложила не только немедленно сговориться с Олверти, но и немедленно привести сговор в исполнение, сказав, что единственный способ справиться с племянницей — действовать круто, ибо, она убеждена, у Софьи недостанет решимости сопротивляться.

— А под крутыми мерами,— пояснила она,— я понимаю собственно быстрые меры; такие вещи, как лишение свободы или насилие, совершенно недопустимы. Наш план должен быть рассчитан на внезапное нападение, а не на открытый штурм.

Когда все это было решено, приехал мистер Блайфил с визитом к невесте. Узнав о его приезде, сквайр тотчас же, по совету сестры, отправился приказать дочери, чтобы та прилично приняла жениха, сопроводив свои слова страшными клятвами и угрозами наказать ее в случае ослушания.

Бурный нрав сквайра все ниспровергал на своем пути, и Софья, как правильно предвидела тетка, не нашла в себе сил ему сопротивляться. Она согласилась выйти к Блайфилу, но едва-едва могла выговорить слово, выражавшее это согласие. Действительно, ответить резким отказом нежно любимому отцу было для нее дело нелегкое. Не будь этой любви, она, вероятно, настояла бы на своем и при гораздо меньшей решительности характера, чем та, какой она обладала, но сплошь и рядом мы объясняем исключительно страхом поступки, в значительной мере проистекающие из любви.

Итак, повинуясь настойчивому приказанию отца, Софья приняла мистера Блайфила. Подробное описание таких сцен, как мы заметили, доставляет очень мало удовольствия читателю, поэтому мы последуем правилу Горация, который рекомендует писателям обходить молчанием все, что они отчаиваются изобразить в ярких красках,— правило, по нашему убеждению, весьма полезное как для историков, так и для поэтов; и если бы все они ему следовали, то его благотворным действием было бы, по крайней мере, то, что множество больших зол (а таковыми являются все большие книги) было бы таким образом сведено к злу маленькому.

Возможно, что искусное поведение Блайфила во время этого свидания заставило бы Софью, будь на его месте кто-нибудь другой, открыть перед ним все тайны ее сердца; но она составила себе такое дурное мнение об этом джентльмене, что решилась не делать ему никаких признаний, ибо простота, когда она настороже, часто может потягаться с хитростью. Вследствие этого Софья держалась с ним чрезвычайно принужденно, как и полагается держаться девицам при втором официальном визите человека, назначенного им в мужья. Хотя Блайфил объявил сквайру, что он остался вполне доволен оказанным ему приемом, однако мистер Вестерн, подслушивавший вместе с сестрой у дверей, испытал гораздо меньшее удовлетворение. Следуя совету своей мудрой сестры, он решил двинуть дело как можно скорее и обратился к своему будущему зятю со следующей охотничьей фразой, пустив сначала свое зычное «го-ла!»:

— Ату ее, молодчик, ату!.. Пиль, пиль! Возьми! Вот так! держи, держи, держи! Не робей, не церемонься! Сегодня к вечеру мы с Олверти все покончим, а завтра и свадьбу сыграем.

Лицо Блайфила расплылось в довольной улыбке, и он отвечал:

— Ничего на свете — за исключением только союза с любезнейшей и достойнейшей Софьей — я не желаю так страстно, сэр, как породниться с вашей семьей, и потому вы легко можете представить себе, с каким нетерпением жду я минуты, когда исполнятся оба эти заветнейшие мои желания. И если до сих пор я не докучал вам по этому поводу, то, поверьте, единственно из боязни оскорбить уважаемую леди чрезмерной торопливостью: я не желал нарушать правила приличия и благопристойности, ускоряя счастливейшее в моей жизни событие. Но если при вашем содействии, сэр, она согласится обойтись без некоторых формальностей...

— Формальностей! А ну их к черту! — отвечал сквайр.— Какой вздор! Говорю тебе, завтра же она будет твоей. Поживете с мое, молодой человек, так лучше узнаете свет. Женщины, милый мой, никогда не дают согласия, если его можно не дать,— так уж полагается. Если бы я стал дожидаться согласия ее матери, так и по сей день оставался бы холостяком... Ату ее, ату, живей, молодчик! Говорю тебе, завтра утром она будет твоя.

Блайфил поддался убеждениям шумной риторики сквайра; они условились, что Вестерн сегодня к вечеру окончательно столкуется с Олверти, и жених уехал, настоятельно попросив на прощанье не учинять при этой спешке никакого насилия над невестой,— точь-в-точь как папистский инквизитор, вручая светским властям еретика, уже осужденного церковью, просит не совершать над ним никакого насилия.

Правду сказать, Блайфил уже произнес приговор над Софьей. Хотя он и заявил Вестерну, что доволен ее приемом, но на самом деле вынес из него лишь убеждение в ненависти и презрении к нему невесты, что пробудило в нем такие же ответные чувства не меньшей силы. Спросят, может быть: почему же он не покончил немедленно со своим сватовством? Да именно по причине пробудившейся в нем ненависти, а также и по некоторым другим, столь же веским причинам, которые мы сейчас откроем читателю.

Хотя мистер Блайфил не обладал темпераментом Джонса, готового отведать каждой женщины, которую он видел, все же он далеко не был лишен вожделения, свойственного, как говорят, всем животным. При этом он еще отличался разборчивым вкусом, руководящим людьми при выборе предмета или пищи для удовлетворения их разнообразных желаний; и вкус этот указывал ему на Софью как на весьма лакомый кусочек, при виде которого у него текли слюнки, как у гастронома при виде аппетитно приготовленного ортолана. А душевные страдания были не только не в ущерб красоте Софьи, но скорее к ее выгоде: слезы прибавляли

блеска глазам ее, а грудь выше поднималась от вздохов. Можно сказать, тот не видел красоты во всем ее сиянии, кто не видел ее в горе. Вот почему Блайфил смотрел теперь на этого ортолана в человеческом образе с бóльшим вожделением, чем при последней встрече, и отвращение, замеченное им в Софье, нисколько не ослабило его желаний — напротив, оно скорее повысило предвкушаемое им удовольствие от похищения ее прелестей. Сластолюбие приправлялось, таким образом, мыслью о торжестве; больше того: добиваясь полного подчинения Софьи своей власти, он имел еще некоторые дальнейшие виды, настолько низкие, что нам противно и упоминать о них. Немалую роль в будущих удовольствиях, которые рисовало ему воображение, играла месть; наконец, посрамление соперника Джонса и вытеснение его из сердца Софьи тоже сильно его подзадоривали и сулили лишние радости в его конечном торжестве.

Помимо всех этих видов, которые иным щепетильным особам покажутся, пожалуй, довольно подленькими, рассчитывал он еще на одну вещь, к которой едва ли многие читатели отнесутся с большим отвращением. Я разумею имение мистера Вестерна, которое должно было перейти целиком к Софье и ее потомству: любовь этого нежного родителя к дочери была так безгранична, что он готов был купить ей мужа какой угодно ценой, лишь бы она согласилась быть несчастной с избранным им для нее человеком.

По этим причинам союз с Софьей показался мистеру Блайфилу настолько желательным, что он решил обмануть девушку, притворившись влюбленным, а заодно также обмануть ее отца и своего дядю, дав им понять, что и она его любит. Поступая таким образом, он следовал благочестивым наставлениям Твакома, утверждавшего, что если поставленная нами цель одобряется религией (а таковой, несомненно, является брак), то для ее достижения можно применять и дурные средства. В других же случаях молодой человек предпочитал руководствоваться философией Сквейра, учившего, что цель — вещь несущественная, лишь бы средства были приличны и согласны с нравственной справедливостью. Правду сказать, едва ли встречалось ему в жизни такое положение, при котором он не мог бы воспользоваться уроками кого-либо из своих великих наставников.

Надуть мистера Вестерна было дело нехитрое, потому что он так же мало считался с чувствами дочери, как и сам Блайфил; но мистер Олверти смотрел на эти вещи совсем иначе, и перед ним во что бы то ни стало надо было изобразить дело в ложном свете. Тут, однако, Блайфилу была оказана такая существенная помощь будущим тестем, что он без труда достиг успеха: действительно, мистер Олверти получил от Вестерна клятвенные уверения

в том, что Софья питает искреннее расположение к Блайфилу и что все его подозрения насчет Джонса совершенно ложны; и Блайфилу оставалось только подтвердить слова сквайра, что он и сделал в весьма двусмысленной форме, сохранив таким образом лазейку для своей совести и внушив дяде ложное убеждение так, что ни одного слова неправды им произнесено не было. Когда Олверти спросил его относительно чувств Софьи, сказав, «что он ни в каком случае не намерен быть пособником в принуждении девушки выйти замуж против ее воли», то Блайфил отвечал, что истинные чувства молодых девиц понять очень трудно, что Софья обращалась с ним так непринужденно, как он того желал, и что если верить ее отцу, то она питает к нему расположение, какого только может желать жених.

— А что касается Джонса,— сказал он,— которого мне неприятно называть негодяем, несмотря на то что его поведение по отношению к вам, сэр, дает на это полное право, то из свойственного ему тщеславия, а может быть, даже и с дурным умыслом, он, вероятно, попросту налгал и нахвастал. Ведь если бы мисс Вестерн действительно любила его, то он, конечно, никогда бы не покинул ее, что́, как вам хорошо известно, он сделал. Наконец, смею вас уверить, сэр, я сам ни в каком случае, ни за что на свете не согласился бы жениться на этой девушке, если бы не был убежден, что она питает ко мне все те чувства, какие я желал бы видеть в ней.

Этот превосходный способ лгать одной только душой, делая язык не повинным ни в одном слове неправды, при помощи двусмысленных выражений и плутовства, успокаивал совесть многих видных обманщиков; но если мы сообразим, что господа эти пытаются обмануть Всеведение, то, пожалуй, окажется, что способ этот дает лишь призрачное успокоение и что это хитрое и тонкое различие между внушенной и высказанной ложью вряд ли стоит трудов, какие на него затрачиваются.

Олверти остался вполне доволен сообщением мистера Вестерна и мистера Блайфила, и через два дня состоялся сговор. Теперь, для того чтобы приступить к церковному обряду, оставалось только совершить обряд юридический, но он грозил отнять столько времени, что Вестерн предложил взять на себя какие угодно обязательства, только бы не откладывать счастья молодых. Вообще он проявлял такое рвение и горячность, что посторонний зритель мог бы принять его за главное действующее лицо в этой церемонии; стремительность была основным свойством его натуры: всякое дело, за которое он брался, сквайр приводил в исполнение таким способом, точно от успеха этого дела зависело счастье его жизни.

Соединенные усилия тестя и зятя, вероятно, одержали бы верх над мистером Олверти, не любившим отдалять минуту счастья, если бы не вмешательство самой Софьи, позаботившейся положить конец всем свадебным сборам и лишить церковь и юстицию даней, которые эти мудрые организации положили взимать за размножение рода человеческого законным порядком. Но об этом — в следующей главе.

## ГЛАВА VII

*Замечательное решение Софьи и еще более замечательный ход миссис Гоноры*

Хотя миссис Гонора была привязана главным образом к собственным интересам, но чувствовала некоторую привязанность и к Софье. Правду сказать, трудно было знать молодую девушку и не любить ее. Поэтому, услышав новость, по ее мнению, очень важную для ее госпожи, Гонора совершенно позабыла обиду, полученную два дня тому назад, когда Софья так невежливо прогнала ее вон, и поспешила к госпоже своей с вестями.

Начало ее речи было такое же стремительное, как и появление в комнате.

— Милая барышня! — воскликнула она.— Как это понравится вашей милости? Верьте слову, я перепугалась до потери памяти, а все же подумала, что долг мой рассказать вашей милости, хоть вы, может быть, и рассердитесь; ведь мы, слуги, не всегда знаем, за что наши барыни рассердятся, а каждое слово ставится в вину слуге. Когда наши барыни не в духе, так уж нам не миновать брани; и, верьте слову, меня не удивит, если ваша милость будет не в духе; вы просто изумитесь и будете потрясены, когда я вам скажу...

— Душа моя, говори, пожалуйста, без предисловий,— перебила ее Софья.— Уверяю тебя, мало есть таких вещей, которые изумили бы меня, и еще меньше таких, которые потрясли бы.

— Милая барышня,— отвечала Гонора,— поверите ли, я подслушала, как барин говорил священнику Саплу, чтобы он сегодня же к вечеру достал брачное свидетельство, и, поверите ли, собственными ушами слышала, как он сказал ему, что завтра утром ваша милость должны быть обвенчаны.

При этих словах Софья побледнела и испуганно повторила:

— Завтра утром?

— Да, сударыня,— отвечала преданная горничная.— Я присягнуть готова, что собственными ушами слышала это от барина.

— Гонора,— сказала Софья,— ты действительно до того поразила и потрясла меня, что я не могу опомниться. Что мне делать в этом ужасном положении?

— От души хотела бы посоветовать вашей милости.

— Посоветуй! — воскликнула Софья.— Ради бога, дорогая Гонора, посоветуй! Скажи, что бы ты сделала, если бы с тобой такое случилось?

— Право, сударыня,— сказала Гонора,— от души хотела бы поменяться местами с вашей милостью, не в обиду вам будь сказано,— я, понятное дело, не желаю вам быть служанкой, я говорю только, что, будь я на вашем месте, я ни минуты не задумывалась бы: по моему убогому мнению, молодой сквайр Блайфил приятный и милый мужчина и собой хорош...

— Перестань молоть глупости! — остановила ее Софья.

— Глупости! — повторила Гонора.— Это как сказать. Оно, конечно, что одному впрок, то другому отрава, и это точка в точку правильно и о женщинах.

— Гонора,— сказала Софья,— я скорее поражу себя кинжалом в сердце, чем соглашусь быть женой этого презренного негодяя!

— Господи, страсти какие! — воскликнула Гонора.— Вы меня до полусмерти напугали! Разве можно такие дурные мысли до себя допускать? Господи! Все косточки у меня трясутся! Подумайте только, милая барышня, ведь вас тогда по-христиански и хоронить не станут, а зароют ваше тело на большой дороге и колом насквозь проткнут, как фермера Гейпни в Окс-Кроссе; и, верьте слову, дух его все бродит там с тех пор,— многие его видели. Верьте слову, не иначе как сам дьявол такие дурные мысли внушает. Право, не так грешно на целый свет покуситься, как на собственную душу,— от нескольких священников это слышала. Если уж ваша милость чувствует к нему такое отвращение и настолько ненавидит молодого джентльмена, что даже мысли не допускает в постель с ним лечь,— оно и правда, иной человек бывает так противен, что, кажется, скорее бы к жабе прикоснулся, чем...

Софья была слишком озабочена собственными мыслями, чтобы уделять внимание этой превосходной речи миссис Гоноры; она перебила ее и, не отвечая на ее слова, сказала:

— Гонора, я приняла решение. Я решила уйти сегодня ночью из дома моего отца; и если ты питаешь ко мне дружеские чувства, в которых часто меня уверяла, то пойдешь со мной.

— Хоть на край света, сударыня,— отвечала Гонора.— Но прежде чем решиться на такое безрассудство, прошу вас, подумайте о последствиях. Куда ваша милость пойдет?

— В Лондоне есть одна знатная дама, моя родственница,— отвечала Софья,— она гостила несколько месяцев в деревне у тетушки и была со мной очень добра; я ей так понравилась, что она настойчиво просила тетушку отпустить меня с ней в Лондон. Это дама видная, разыскать ее будет нетрудно, и я не сомневаюсь, что она примет меня хорошо и радушно.

— Не советую вашей милости слишком доверяться таким особам,— возразила Гонора.— Вот я служила раньше у одной барыни — она всех, бывало, приглашает к себе в гости, а как услышит, что едут, так сразу вон из дому. Кроме того, пусть эта дама и рада видеть вашу милость,— кто же не рад вас видеть? — а как узнает, что ваша милость от барина бежали...

— Ты ошибаешься, Гонора,— перебила ее Софья,— она смотрит на отцовскую власть куда хуже, чем я: когда, несмотря на все ее настойчивые просьбы, я отказалась ехать с ней в Лондон без согласия отца, она меня высмеяла, назвала глупой деревенской девчонкой и сказала, что из такой покорной дочери выйдет примерная, любящая жена. Вот почему я уверена, что она примет меня и даст мне защиту, а тем временем батюшка, может быть, немного образумится, увидев, что я уже не в его власти.

— Хорошо, сударыня,— отвечала Гонора.— Но как же ваша милость думает устроить побег? Где вы достанете лошадей и экипаж? О вашей лошади нечего и думать: ведь всем слугам известно, что у вашей милости с барином нелады, и Робин скорее даст себя повесить, чем позволит вывести ее из конюшни без нарочитого приказания барина.

— Я думаю уйти пешком,— сказала Софья,— прямо в ворота, когда они будут открыты. Ноги у меня, слава богу, достаточно крепкие. Носили же они меня по целым вечерам под звуки скрипки с довольно неприятными партнерами — так, верно, помогут мне убежать от самого ненавистного партнера на всю жизнь.

— Боже мой, сударыня! — воскликнула Гонора.— Да понимаете ли вы, что говорите? Вы собираетесь идти пешком по большой дороге ночью и одни?

— Нет, не одна,— отвечала Софья.— Ведь ты обещала пойти со мной.

— Я-то с вашей милостью хоть на край света,— сказала Гонора,— но для вашей милости это все равно, что идти одной. Ведь я вам не защита, если на вас нападут разбойники или другие злодеи. Я сама перепугаюсь не меньше вашей милости, потому что, будьте уверены, они надругаются над нами обеими. К тому же, сударыня, не забывайте, что и ночи теперь холодные, мы с вами замерзнем.

— Скорый, проворный шаг предохранит нас от холода,— отвечала Софья.— А если ты не можешь защитить меня от негодяя, Гонора, то я тебя защищу: я возьму с собой пистолет; в зале всегда висит пара заряженных пистолетов.

— Милая барышня, вы пугаете меня все больше и больше! — воскликнула Гонора.— Конечно, ваша милость не решится стрелять! Я готова скорей на что угодно пойти, только бы избавить вашу милость от этого.

— Зачем же? — с улыбкой сказала Софья.— Неужели, Гонора, ты не выстрелила бы в человека, который покусился бы на твою честь?

— Конечно, сударыня,— отвечала Гонора,— честь — вещь драгоценная, особенно для нас, бедных слуг; можно сказать, мы ею только и живем; а все-таки я до смерти боюсь огнестрельного оружия: столько из-за него бывает несчастных случаев!

— Полно! — успокоила ее Софья.— Я сберегу твою честь более простым способом, не запасаясь в дорогу оружием: в первом же городе я намерена взять лошадей, а по дороге в город вряд ли кто на нас нападет. Послушай, Гонора, я твердо решила бежать, и если ты пойдешь со мной, то я ничего не пожалею, чтоб наградить тебя самым щедрым образом.

Этот последний довод произвел на Гонору более сильное действие, чем все предыдущие. Видя такую решимость своей госпожи, она перестала ее отговаривать. Обе они принялись обсуждать пути и способы осуществления своего проекта. Тут встретилось одно очень досадное затруднение, именно: как взять с собой вещи? Госпожа справилась с ним гораздо легче, чем служанка, потому что когда женщина решилась бежать к любовнику или от любовника, то все препятствия для нее нипочем. Но такого побуждения у Гоноры не было, ее не ждали восторги любви и не гнали никакие ужасы; и, не говоря уже о большой ценности ее гардероба, составлявшего бóльшую часть ее имущества, она питала нежную любовь к некоторым своим платьям и другим вещам — частью потому, что они были ей к лицу, частью потому, что ей подарила их такая-то и такая-то, частью потому, что она купила их недавно, частью потому, что давно уже их носила, а также и по многим другим, столь же веским причинам; таким образом, она не допускала и мысли оставить свои пожитки на произвол Вестерну, будучи уверена, что в порыве бешенства он изорвет их в клочки.

Итак, потратив все свое красноречие, чтобы отговорить Софью, и убедившись в бесповоротности ее решения, изобретательная Гонора в конце концов придумала средство увезти с собой свои платья, именно: она решила устроить так, чтобы ее прогнали со

службы сегодня же вечером. Софья горячо одобрила эту выдумку, но сомневалась насчет возможности ее осуществления.

— Можете на меня положиться, сударыня,— отвечала Гонора.— Мы, слуги, очень хорошо знаем, как добиться этой милости от наших господ; правда, подчас, когда они задолжали нам жалованья больше, чем могут тотчас заплатить, они пропускают мимо ушей все наши дерзости и не принимают наших заявлений с требованием расчета; однако сквайр не из таких; и если ваша милость решили бежать ночью, ручаюсь вам, что добуду расчет сегодня же к вечеру.

После этого было решено, что Гонора уложит со своими вещами немного белья и ночную сорочку Софьи, а что касается остальных платьев, то молодая девушка оставляла их без малейшего сожаления, как матрос, выбрасывающий за борт чужое добро для спасения собственной жизни.

## ГЛАВА VIII,

*изображающая сцены перебранки — явление довольно заурядное*

Едва только миссис Гонора рассталась со своей госпожой, как что-то (я не хочу, подобно старухе у Кеведо, оскорблять дьявола ложными обвинениями, и он, может быть, тут совершенно ни при чем),— как что-то, говорю, шепнуло ей, что, пожертвовав Софьей и выдав все ее тайны мистеру Вестерну, она может составить себе состояние. Многое склоняло ее к этому предательству. Заманчивая перспектива приличной награды за столь значительную и драгоценную для сквайра услугу соблазняла ее корыстолюбие; с другой стороны, опасность затеянного побега, боязнь неудачи, ночь, холод, разбойники, насильники наполняли ее страхом. Все эти соображения подействовали на нее так сильно, что она уже почти готова была идти прямо к сквайру и выложить ему все начистоту. Гонора была, однако, слишком честным судьей, чтобы произнести приговор, не выслушав и другой стороны. И тут прежде всего путешествие в Лондон явилось горячим защитником Софьи. Гоноре страстно хотелось побывать в городе, где она воображала себе чудеса, уступающие разве только тем, какие рисуются восторженному святому на небе. Далее, Софья была гораздо щедрее ее господина, и, следовательно, за верность можно было ожидать большей награды, чем за предательство. Она еще раз пересмотрела все обстоятельства, повергавшие ее в страх, и после тщательного исследования нашла, что они вовсе не так страшны. В результате обе чаши весов оказались почти на одном уровне, так что, когда

Гонора положила на чашу честности еще и любовь к своей госпоже, последняя стала уже перетягивать; как вдруг ей пришло на ум одно обстоятельство, которое могло бы повлечь за собой опасные следствия, если бы легло всей своей тяжестью на другую чашу: Гонора вспомнила, что ей долго еще придется дожидаться, когда Софья будет иметь возможность исполнить свое обещание. Хотя она должна была получить состояние матери после смерти отца, а по достижении совершеннолетия — еще три тысячи фунтов, завещанные ей дядей, но до того и другого было еще далеко, и разные случайности могли помешать щедрости молодой девушки, тогда как от мистера Вестерна можно было ожидать награды немедленно. Но когда она была занята этой мыслью, добрый гений Софьи — или гений-хранитель честности миссис Гоноры, или, может быть, просто случай — послал ей происшествие, которое сразу спасло ее верность и облегчило исполнение задуманного шага.

Горничная миссис Вестерн претендовала на значительное превосходство над миссис Гонорой по нескольким причинам. Во-первых, она была выше ее по происхождению: ее прабабушка с материнской стороны приходилась не очень отдаленной родственницей одному ирландскому пэру; во-вторых, она получала больше жалованья; и, наконец, она бывала в Лондоне и, следовательно, больше видела свет. Памятуя это, она всегда относилась к миссис Гоноре с той сдержанностью и всегда ждала от нее тех знаков уважения, которые женщины всякого положения соблюдают и требуют в обращении с женщинами, ниже их стоящими. Между тем Гоноре это правило не всегда бывало по душе, и она часто не оказывала требуемого от нее уважения, так что ее общество вовсе не нравилось горничной миссис Вестерн, и та выражала серьезное желание вернуться в дом своей госпожи, где она своевольно владычествовала над остальными слугами. Вот почему она была немало раздосадована в то утро, когда миссис Вестерн отменила свое решение в самую последнюю минуту, и с тех пор все время ходила, вульгарно говоря, надутая.

В этом расположении духа, не принадлежащем к числу наиприятнейших, она вошла в комнату Гоноры, когда та все еще пребывала в нерешительности, как ей поступить. Увидя горничную, Гонора тотчас же обратилась к ней со следующими любезными словами:

— А, так мы будем иметь удовольствие еще несколько времени находиться в вашем обществе, мадам! А я уже испугалась, что ссора между барином и вашей госпожой лишит нас его.

— Не знаю, мадам,— отвечала та,— кого вы разумеете под словами *мы* и *нас*. Только смею вас уверить, что я не считаю здеш-

них слуг подходящим для себя обществом. У меня, позвольте вам сказать, есть общество и получше. Я не на ваш счет говорю, миссис Гонора: вы женщина благовоспитанная, и если бы немного побольше видели свет, то я не постыдилась бы пройтись с вами по Сент-Джемскому парку.

— Фу-ты ну-ты! Какие мы важные! — воскликнула Гонора.— Я вам не миссис Гонора — можно бы, кажется, называть меня по фамилии, мадам. Правда, госпожа моя зовет меня Гонорой, а все-таки у меня есть и фамилия, как и у всякой другой. Не постыдилась бы пройтись со мной? Эка! Да чем же я хуже вас?

— Если вы так отвечаете на мою учтивость, то я должна вам заметить, миссис Гонора, что вы далеко не то, что я. Конечно, в деревне поневоле общаешься со всякой шушерой, но в Лондоне я вожу знакомство только с камеристками знатных особ. Да-с, миссис Гонора, между нами, я полагаю, есть некоторая разница.

— Я тоже так полагаю,— отвечала Гонора.— Между нами есть некоторая разница по части возраста, а также наружности.

Проговорив это, она прошлась перед горничной миссис Вестерн с самым вызывающим видом: задрав нос, вскинув голову и сильно задев фижмами за фижмы своей соперницы.

Столичная камеристка отвечала с самой язвительной усмешкой:

— Деревенщина! Вы не достойны моего гнева, и я не стану опускаться до перебранки с какой-то вертихвосткой; но я должна сказать вам, негоднице, что ваши манеры свидетельствуют о низком происхождении и невоспитанности, с ними вы только и годитесь что в горничные провинциальной барышне.

— Не смейте оскорблять мою госпожу! — воскликнула Гонора.— Я этого не потерплю! Она гораздо лучше вашей: и моложе, и в десять раз красивее.

В эту минуту несчастный или, вернее, счастливый случай привел в комнату миссис Вестерн, и из глаз ее горничной тотчас же полились обильные слезы. На вопрос своей госпожи о причине их горничная не замедлила ответить, что ее расстроило грубое обращение этой девки,— она показала на Гонору.

— Я бы, пожалуй, сударыня, не обратила внимания на то, что она мне сказала, но она имела наглость оскорбить вашу милость и назвать вас уродливой,— да, сударыня, она мне в глаза назвала вас старой уродливой кошкой. Я не могла потерпеть, чтобы вашу милость называли уродливой.

— Зачем же столько раз повторять ее дерзости? — сказала миссис Вестерн. Затем, обращаясь к миссис Гоноре, спросила, как она смела говорить о ней так непочтительно.

— Непочтительно, сударыня? — отвечала Гонора.— Да я даже не упоминала вашего имени. Я сказала только, что кое-кто

не так красив, как моя госпожа, а вы, понятно, знаете это не хуже меня.

— Негодница! — вспыхнула миссис Вестерн.— Вот я тебя научу, дерзкая дрянь, как рассуждать, о чем не следует! И если брат не рассчитает тебя сию же минуту, я не останусь в этом доме даже до вечера. Иду к нему, и тебе сию минуту будет отказано.

— Отказано?! — воскликнула Гонора.— Ну так что ж! Другое место найдется. Слава богу, хорошие слуги везде требуются. А если вы будете гнать всякого, кто не находит вас красавицей, так, позвольте вам сказать, скоро вовсе без прислуги останетесь.

Миссис Вестерн что-то сказала или, вернее, прогремела в ответ, но настолько нечленораздельно, что мы не в состоянии передать ее слова; приходится, стало быть, опустить эту речь, которая едва ли сделала бы ей много чести. Она отправилась на поиски брата, с лицом, перекошенным бешенством до такой степени, что была похожа скорее на фурию, чем на человека.

А камеристки, оставшись наедине, начали второй тур перебранки, которая вскоре перешла в рукопашную схватку. В этой последней победа досталась менее именитой, хотя и не без потери крови, волос, батиста и муслина.

## ГЛАВА IX

*Мудрое поведение мистера Вестерна в роли судьи. Указание мировым судьям насчет качеств, требующихся от писца, а также удивительные примеры родительского безрассудства и дочерней любви*

Логики подчас доказывают своими доводами слишком много, и планы политиков нередко выходят слишком тонкими. Это чуть было не случилось с миссис Гонорой, которая, вместо того чтобы спасти все свои платья, едва спасла и то, что было на ней, ибо сквайр, услышав об оскорблении, нанесенном его сестре, поклялся двадцать раз кряду, что пошлет служанку в исправительный дом.

Миссис Вестерн была очень добросердечная женщина и обыкновенно легко прощала обиды. Еще недавно простила она кучера почтовой кареты, вывалившего ее в канаву; однажды миссис Вестерн пошла даже на нарушение закона, отказавшись подать в суд на разбойника, отнявшего у нее на большой дороге не только деньги, но и серьги, да еще при этом выругавшего ее, сказавши:

— Таким красоткам, как ты, не нужно никаких украшений, а потому убирайся к черту!

Но теперь — о, сколь непостоянен наш характер и как часто мы изменяем ему! — теперь миссис Вестерн и слышать не хотела о послаблении; ни притворное раскаяние Гоноры, ни просьбы Софьи за свою горничную не оказали на нее никакого действия, и она непременно требовала от брата, чтобы он поступил с негодной девкой по всей строгости закона.

Но, к счастью, писец мистера Вестерна обладал качествами, какими должны бы обладать писцы всех мировых судей, а именно: он кое-что понимал в английских законах. Поэтому он шепнул на ухо судье, что тот превысит власть, если отправит девушку в исправительный дом, так как ею не было произведено нарушения общественного порядка. «Ибо, мне кажется, сэр,— сказал он,— что, по закону, нельзя заключать в исправительный дом за простую неблаговоспитанность».

В делах высокой важности, особенно во всем, что касается охоты, наш судья не всегда внимал советам своего письмоводителя; вообще многие мировые судьи полагают, что в этой области им предоставлена самая неограниченная власть, пользуясь которой они нередко под предлогом обыска и отобрания приспособлений для уничтожения дичи причиняют ущерб чужой собственности и даже совершают серьезные преступления.

Но проступок Гоноры не был так важен и так опасен для общества. Судья поэтому отнесся с некоторым вниманием к совету письмоводителя: на сквайра и так уже были принесены две жалобы в верховный суд, и он не имел никакой охоты являться в это учреждение третий раз.

Вот почему, напустив на себя весьма глубокомысленный и значительный вид и издав в качестве предисловия несколько «гм!», сквайр сказал сестре, что по более здравом размышлении он находит, что «так как тут не было нарушения общественного порядка, которое закон усматривает во взломе дверей, разломе изгороди, проломе головы и тому подобных поломках, то настоящий случай нельзя отнести к уголовным преступлениям и покушениям на чужое имущество, а стало быть, за него не полагается по закону никакого наказания».

Миссис Вестерн отвечала, что она лучше знает законы, что ей известны случаи строжайшего наказания слуг за оскорбление своих господ, и назвала одного лондонского мирового судью, который, по ее словам, «в любую минуту отправляет слуг в исправительный дом по просьбе их господ».

— В Лондоне — очень может быть,— возразил сквайр,— но у нас, в провинции, законы другие.

Тут между братом и сестрой последовал ученый диспут касательно законов, который мы поместили бы, если бы надеялись,

что кто-нибудь из наших читателей поймет его. В конце концов обе стороны передали спорный вопрос писцу, и тот решил его в пользу судьи, а миссис Вестерн принуждена была удовольствоваться тем, что Гоноре было отказано от места, с чем очень быстро и охотно согласилась сама Софья.

Таким образом, Фортуна, позабавившись, по своему обыкновению, двумя или тремя шалостями, напоследок устроила все в пользу нашей героини; обман удался последней превосходно, особенно если принять в расчет, что она пускалась на него в первый раз. Правду сказать, я не раз приходил к заключению, что мошенникам ни за что не совладать бы с порядочными людьми, если бы последние не отказывались кривить душой или считали это стоящим труда.

Гонора сыграла свою роль в совершенстве. Увидя, что опасность исправительного дома, одно название которого вызывало в ее уме самые страшные картины, благополучно миновала, она снова напустила на себя заносчивость, немного сбавленную страхом, и сложила свои обязанности с тем же напускным равнодушием и даже пренебрежением, какое всегда практикуется при отставке от гораздо высших должностей. Если читателю угодно, мы готовы даже сказать: она отказалась от места, что, впрочем, всегда считалось синонимом выражений «уволен» или «выгнан вон».

Мистер Вестерн приказал ей убираться прочь как можно скорее, потому что сестра его не хотела и ночи провести под одной кровлей с такой наглой девкой. Поэтому Гонора тотчас же принялась за дело, и так рьяно, что к вечеру все ее вещи были уложены; получив жалованье, она ушла со двора, захватив кошель и пожитки, к великому удовольствию всех вообще, а Софьи в особенности. Назначив Гоноре место недалеко от дома, где они должны были встретиться в страшный час полуночи, когда встают привидения, Софья начала сама готовиться к бегству.

Но прежде ей пришлось выдержать два тягостных посещения: одно — отца, другое — тетки. Миссис Вестерн говорила с ней еще более решительным тоном, чем раньше, отец же обошелся так круто и грозно, что вынудил у нее страхом притворную покорность, которая так обрадовала сквайра, что хмурые взгляды сменились у него улыбкой, а угрозы — посулами; он поклялся, что принадлежит дочери всей душой, что ее согласие (так истолковал он слова ее: «Вы знаете, сэр, я не должна и не могу ослушаться ни одного вашего приказания») сделало его счастливейшим из людей. Он подарил ей крупный банковый билет на покупку каких она хочет безделушек, целовал и обнимал ее самым нежным образом, и слезы радости заструились из глаз, только минуту

перед тем метавших огонь бешенства в предмет его восторженной любви.

Такое отношение родителей к детям — вещь настолько обыкновенная, что читатель едва ли удивится поведению мистера Вестерна. А если удивится, то, признаюсь, я не в состоянии его объяснить. Что сквайр сердечно любил свою дочь — это, мне кажется, не подлежит сомнению. Такая любовь свойственна очень многим родителям, делающим своих детей несчастными на всю жизнь. Хотя эта родительская слепота — почти всеобщее явление, она всегда казалась мне самой необъяснимой из всех нелепостей, какие только могли взбрести на ум удивительнейшего создания, называемого человеком.

Заключительный поступок мистера Вестерна произвел столь сильное действие на нежное сердце Софьи, что заронил в ней мысль, которую неспособны были внушить ни софистика ее политичной тетки, ни угрозы сквайра. Она так благоговейно чтила отца и так горячо его любила, что едва ли когда испытывала более приятные ощущения, чем те, которые наполняли ее, когда она чем-нибудь содействовала его удовольствию, особенно удовольствию сколько-нибудь возвышенному: сквайр никогда не в силах был сдержать свое восхищение, слыша похвалы ей, а слышать их ему приходилось почти каждый день. Вот почему мысль, что она осчастливит отца своим согласием на этот брак, произвела на нее сильное впечатление. К тому же такой акт послушания казался ей высоко богоугодным, чем не могла пренебречь такая религиозная девушка, как Софья. Наконец, представляя себе все, что придется ей вытерпеть, если она согласится сделаться почти что жертвой или мученицей дочернего долга и дочерней любви, она чувствовала приятное щекотание одной маленькой страстишки, которая, не будучи особенно родственна ни религии, ни добродетели, часто оказывает большую помощь осуществлению их целей.

Софья упивалась созерцанием столь геройского подвига и начала уже расточать себе преждевременные похвалы, как вдруг Купидон, притаившийся в ее муфте, выскочил оттуда и, как Полишинель в театре марионеток, сокрушил все перед собой. На самом деле (мы считаем ниже своего достоинства обманывать читателя и оправдывать нашу героиню объяснением ее поступков сверхъестественными причинами), мысль о возлюбленном Джонсе и кое-какие (впрочем, отдаленные) надежды, в которых он играл весьма существенную роль, разом разрушили все то, над созданием чего соединенными усилиями трудились дочерняя любовь, благочестие и гордость.

Но прежде чем следовать далее за Софьей, мы должны вернуться к мистеру Джонсу.

## ГЛАВА X,

*содержащая разные материи, может быть, и натуральные, но низкие*

Читатель благоволит припомнить, что мы покинули мистера Джонса в начале этой книги на пути в Бристоль, когда он решил попытать счастья на море, или, лучше сказать, бежать от злосчастья на суше.

Случилось (вещь не слишком необыкновенная), что проводник, взявшийся указать ему дорогу, к несчастью, сам плохо знал ее; поэтому, сбившись с правильного пути и стесняясь расспрашивать, он забирал то вправо, то влево, пока не наступил вечер и не начало темнеть. Джонс, догадываясь, в чем дело, поделился с проводником своими опасениями, но тот уверял, что они на правильном пути, прибавив, что странно было бы ему не знать дороги в Бристоль,— хотя, правду говоря, было бы более странно, если бы он ее знал, не проехав по ней ни разу в жизни.

Джонс не питал слепого доверия к проводнику и потому по прибытии в какую-то деревню спросил у первого встречного поселянина, действительно ли они едут по направлению к Бристолю.

— Да откуда вы? — спросил крестьянин.

— Это все равно,— поспешно ответил Джонс.— Я хочу знать, действительно ли это дорога в Бристоль?

— Дорога в Бристоль? — повторил, почесывая затылок, крестьянин.— Гм! Я думаю, сударь, по этой дороге вам вряд ли добраться к ночи в Бристоль.

— Так сделай милость, приятель, укажи настоящую дорогу,— попросил Джонс.

— Да вы, сударь, должно быть, бог знает где сбились с пути,— отвечал крестьянин.— Эта дорога ведет в Глостер.

— А какая же дорога ведет в Бристоль?

— Да та, по которой вы едете, только в обратную сторону.

— Так, значит, нам надо повернуть назад? — сказал Джонс.

— Да, назад.

— Ну, а когда мы доедем до вершины вон той горы, куда нам поворотить?

— Зачем же поворачивать? Вам надо держать все прямо.

— А мне помнится, там две дороги — одна направо, другая налево.

— Ну да, возьмите вправо, а потом ступайте прямо; помните только, что сперва надо повернуть направо, а потом налево, а потом снова направо, и там будет господский дом; проедете его, так держитесь все прямо и поверните налево.

Тут к ним подошел другой крестьянин и спросил, куда едут джентльмены; получив от Джонса ответ, он также сначала

почесал затылок, а потом оперся на палку и сказал, что они должны держаться по правой дороге с милю, или полторы, или около того, а потом круто повернуть налево, и дорога приведет их прямо к мистеру Джону Бирнсу.

— А кто такой этот мистер Джон Бирнс? — спросил Джонс.

— Господи! — воскликнул крестьянин.— Неужто вы не знаете мистера Джона Бирнса? Да откуда вы?

Эти два крестьянина почти истощили терпение Джонса, когда к нему подошел просто одетый благообразный человек (оказавшийся квакером) и сказал:

— Я вижу, друг, ты сбился с дороги. Так послушайся моего совета: не старайся разыскивать ее ночью. Уже почти совсем стемнело, и держаться правильного пути будет трудно; кроме того, между этой деревней и Бристолем недавно было несколько грабежей. Вот здесь рядом есть порядочный постоялый двор, где ты можешь прекрасно подкрепиться и дать отдых и себе и лошадям до утра.

Джонс не заставил себя долго уговаривать, согласился переночевать, и доброжелатель проводил его на постоялый двор.

Хозяин, человек очень учтивый, выразил надежду, что гость извинит его, если не найдет больших удобств, потому что жена его ушла из дому, заперла почти все на замок и унесла ключи с собой. Дело в том, что их любимая дочь только что обвенчалась и утром уехала с мужем, причем они вместе с мамашей почти дочиста обобрали добряка, увезя с собой и вещи и деньги; хотя у хозяев было несколько детей, но все заботы матери были направлены только на любимицу, и, чтобы ей угодить, она охотно готова была пожертвовать остальными детьми с мужем в придачу.

Хотя Джонс вовсе не был расположен проводить время в обществе и предпочел бы остаться один, однако он не мог отделаться от честного квакера, который тем настойчивее хотел посидеть с ним, что и по лицу и по поступкам молодого человека заметил, что тот опечален, и надеялся, в простоте сердечной, немного развлечь его своей беседой.

Проведя с Джонсом несколько времени так, словно бы они находились на одном из безмолвных собраний секты, честный квакер почувствовал в себе движение какого-то духа, вероятнее всего духа любопытства, и сказал:

— Друг, я вижу, тебя постигло какое-то тяжелое бедствие; прошу тебя, ободрись. Может быть, ты потерял друга? Если так, то вспомни, что все мы смертны. Зачем тебе печалиться, если печаль твоя не принесет твоему другу никакой пользы? Все мы рождены для скорби. У меня есть свои горести, как у тебя, и, вероятно, даже более тяжкие. Хотя я получаю сто фунтов чистого

годового дохода, которых для меня вполне достаточно, совесть, благодарение богу, ни в чем не упрекает меня, здоровье хорошее, долгов нет, и никого я не обидел, а все же, друг, я был бы очень огорчен, если бы оказалось, что ты столь же несчастен, как я.

Квакер заключил свои слова глубоким вздохом, и Джонс отвечал ему:

— Мне очень жаль, сэр, что вы так несчастны, какова бы ни была причина вашего несчастья.

— Ах, друг мой,— сказал квакер,— причиной его моя единственная дочь, моя единственная отрада на земле: на этой неделе она бежала от меня и вышла замуж без моего согласия. Я присмотрел для нее подходящую партию, человека порядочного и состоятельного, но она, конечно, пожелала сделать выбор сама и ушла с молодчиком, который гроша не стоит. Если бы она умерла, как, полагаю, умер твой друг, я был бы счастлив.

— Это очень удивляет меня, сэр,— сказал Джонс.

— Разве не лучше для нее умереть, чем быть нищенкой? — возразил квакер.— Ведь, как я сказал, у молодчика гроша нет за душой, и, понятно, от меня ей тоже нечего ожидать ни одного шиллинга. Вышла замуж по любви — так и живи любовью, если можешь; вынеси свою любовь на рынок — и посмотришь, дадут ли за нее серебра или хотя бы медный грош.

— Вам лучше знать ваши заботы, сэр,— сказал Джонс.

— Должно быть, они давно задумали обмануть меня, потому что знакомы друг с другом с детства,— продолжал квакер.— Я всегда проповедовал ей против любви, тысячу раз говорил, что все это блажь и нечестие. Хитрая девчонка делала вид, будто слушает меня и презирает всякую плотскую похоть, и все же кончила тем, что упорхнула через окно со второго этажа. Я, правду сказать, начал немного подозревать ее и запер на замок, собираясь на следующее утро обвенчать с тем человеком, которого для нее выбрал, но она в несколько часов разрушила все мои надежды и бежала со своим милым, который времени не терял, потому что не прошло и часу, как они уже стали мужем и женой. Только — дурное дело к добру не приведет; по мне, пусть голодают, пусть просят милостыню или воруют, я не дам им ни гроша.

При этих словах Джонс быстро поднялся и сказал:

— Пожалуйста, извините меня, я очень просил бы вас оставить меня наедине.

— Полно, друг,— сказал квакер,— не предавайтесь печали. Вы видите, на свете и кроме вас есть несчастные.

— Я вижу, что на свете есть безумцы, глупцы и подлецы,— отвечал Джонс.— Позвольте дать вам совет: верните к себе вашу

дочь и зятя и не будьте единственной причиной несчастья той, которую, по вашим словам, вы так любите.

— Вернуть ее с мужем! — вскричал квакер.— Да я скорее приглашу к себе в дом двух самых заклятых врагов своих.

— Если так, то ступайте сами домой или куда вам угодно,— сказал Джонс,— потому что я не желаю больше оставаться с вами.

— Хорошо, друг,— отвечал квакер,— я никому не собираюсь навязываться.

С этими словами он опустил руку в карман, как бы с намерением достать денег, но Джонс довольно бесцеремонно вытолкал его из комнаты.

Рассказ широкополой шляпы так глубоко взволновал Джонса, что он слушал его с каким-то диким выражением во взгляде. Честный квакер это заметил и, сопоставив со всем поведением Джонса, вообразил, что его собеседник не в своем уме. Поэтому он не обиделся, а, напротив, проникся состраданием к человеку, находившемуся в таком горе. Высказав свое предположение хозяину, квакер попросил его обращаться как можно заботливее и учтивее со своим постояльцем.

— Нет уж, ухаживать за ним я не стану,— отвечал хозяин.— Хоть он и в расшитом жилете, а такой же барин, как и я. Это человек без роду, без племени; его воспитал один богатый сквайр в тридцати милях отсюда, а теперь выгнал вон из дому (не за доброе дело, надо думать). Я его выпровожу отсюда как можно скорее. Если он не заплатит, я, пожалуй, еще дешево отделаюсь. В прошлом году вот такой же гусь стащил у меня серебряную ложку.

— Что ты толкуешь о каком-то безродном, Робин? — удивился квакер.— Ты, должно быть, принимаешь этого человека за кого-нибудь другого?

— Нисколько,— возразил Робин,— мне сказал это его проводник, который его хорошо знает.

Действительно, заняв свое место у кухонного огонька, проводник немедленно поделился с находившимся налицо обществом всем, что знал или слышал относительно Джонса.

Едва только квакер получил подтверждения от проводника, что Джонс — бедняк темного происхождения, как все его сострадание к нему пропало; и этот простой честный человек вернулся домой в столь сильном негодовании по случаю обиды, полученной от такого ничтожества, словно был, по крайней мере, герцогом.

Хозяин проникся к своему постояльцу не меньшим презрением; и потому, когда Джонс позвонил, чтобы ему приготовили постель, ему отвечали, что никакой постели не будет. Помимо презрения к постояльцу за его безродность, Робин заподозрил его еще в намерении выждать благоприятную минуту и обо-

красть дом. По правде говоря, ему нечего было опасаться на этот счет, потому что жена и дочь, из благоразумной предосторожности, уже очистили помещение от всякой движимости, но он был от природы подозрителен, и это качество особенно усилилось в нем после пропажи ложки. Словом, страх быть обворованным совершенно вышиб у него из головы то утешительное соображение, что воровать в доме было нечего.

Убедившись, что постели ему не будет, Джонс преспокойно расположился в просторных камышовых креслах, и сон, еще недавно бежавший от него в гораздо лучших покоях, великодушно посетил его в этой убогой конурке.

Что же касается хозяина, то он был в таком страхе, что даже не ложился. Он вернулся в кухню и сел к очагу, откуда мог надзирать за единственной дверью в комнату, или, вернее, дыру, занимаемую Джонсом; удрать же из нее через окно не могло ни одно живое существо крупнее кошки.

## ГЛАВА XI

*Приключение с отрядом солдат*

Усевшись против упомянутой нами двери, хозяин решил всю ночь не смыкать глаз. Проводник и еще один постоялец долго сидели с ним, ничего не зная о его подозрениях и сами ни о чем не беспокоясь. Истинная причина их бодрствования положила также и конец ему; состояла она не в чем ином, как в крепости и добротности пива, поглотив изрядное количество которого, они сначала шумели и горланили, а потом заснули мертвецким сном.

Но никакой напиток в мире не в силах был прогнать страхи Робина, он продолжал бодрствовать в своем кресле, не сводя глаз с двери в комнату мистера Джонса. Как вдруг страшный стук в ворота заставил его встать и пойти отворить; в ту же минуту кухня наполнилась джентльменами в красных кафтанах, ворвавшимися такой шумной толпой, точно они брали гостиницу штурмом.

Хозяин принужден был покинуть свой пост и подавать многочисленным гостям пиво, которое те усиленно требовали; возвратясь второй или третий раз из погреба, он увидел посреди солдат, перед огнем, мистера Джонса; само собой разумеется, что прибытие такой теплой компании должно было положить конец всякому сну, за исключением разве того, от которого мы будем пробуждены только трубой архангела.

Наконец компания достаточно утолила свою жажду, и ей оставалось лишь заплатить по счету — обстоятельство, часто при-

водящее к большим неудовольствиям и разговорам между джентри низшего разряда, так как господам этим обычно стоит немалого труда распределить взносы в строгом согласии с требованиями справедливости, то есть так, чтобы каждый заплатил соответственно количеству выпитого. Такие затруднения возникли и в настоящем случае; их увеличивало еще то обстоятельство, что некоторые джентльмены ушли сейчас же после первой кружки и второпях совсем позабыли внести свою долю по упомянутому счету.

Поднялся ожесточенный спор, в котором, можно сказать, каждое слово подкреплялось ругательством; во всяком случае, число ругательств по меньшей мере равнялось числу прочих произнесенных слов. Во время этой перебранки вся компания говорила разом, и каждый всячески старался уменьшить сумму, приходившуюся на его долю; таким образом, вероятнее всего, можно было ожидать, что бóльшая часть платы по счету придется на долю хозяина, или (что совершенно равносильно) останется неоплаченной.

Все это время мистер Джонс был занят беседой с сержантом, не принимавшим никакого участия в споре, потому что сержанты с незапамятных времен пользуются привилегией не производить никаких платежей.

Спор между тем становился настолько жарким, что казалось неминуемым его решение силой оружия. Тогда Джонс выступил вперед и сразу привел к молчанию всех крикунов, объявив, что он оплачивает весь счет, составлявший, впрочем, всего три шиллинга и четыре пенса.

Этот поступок снискал Джонсу одобрение и благодарность всей компании: слова «почтенный, благородный, достойный джентльмен» слышались отовсюду; даже у самого хозяина начало складываться более благоприятное мнение о нем, вопреки рассказу проводника.

Сержант сообщил мистеру Джонсу, что они идут против мятежников и надеются поступить под командование славного герцога Камберлендского. Из этого читатель может заключить (обстоятельство, о котором мы не сочли нужным упомянуть ранее), что описываемые нами события происходили в самый разгар последнего мятежа — шайка разбойников вступила уже в Англию с очевидным намерением сразиться с королевскими войсками и продвинуться по направлению к столице.

В характере Джонса были черты героические, и он всей душой желал успеха стороне, выступавшей на защиту свободы и протестантской религии. Не удивительно поэтому, что в настоящем положении, сулившем романтические и бурные подвиги, ему пришло на ум поступить волонтером в эту экспедицию.

Наш командир всеми силами старался поддержать и укрепить в нем это доброе намерение, едва только узнал о нем. Он объявил во всеуслышание о благородном решении Джонса, которое было встречено с великим удовольствием всем отрядом, приветствовавшим его криками: «Да здравствует король Георг и ваше благородие!» — и подкрепилось затем клятвами: «Мы будем сражаться за вас обоих до последней капли крови!»

Джентльмен, всю ночь сосавший пиво, тоже был убежден некоторыми доводами, опущенными ему в руку капралом, присоединиться к экспедиции. Чемодан мистера Джонса был положен на багажную телегу, и отряд уже готовился к выступлению, как вдруг проводник подошел к Джонсу и сказал:

— Надеюсь, вы не забудете, сэр, что лошади простояли всю ночь и что мы сделали много лишнего пути?

Джонс был поражен бесстыдством этого требования и рассказал солдатам, в чем дело; те в один голос осудили проводника за его попытку одурачить джентльмена: одни говорили, что ему следует привязать шею к пяткам, другие — что его надо бы прогнать сквозь строй; а сержант погрозил ему палкой и выразил сожаление, что он не у него под началом, иначе узнал бы где раки зимуют.

Джонс удовольствовался, однако, простыми угрозами и ушел с новыми товарищами, предоставив проводнику утешаться руганью и проклятиями, к которым присоединился и хозяин, говоря:

— Хорош гусь, нечего сказать! Ну и джентльмен — в солдаты пошел! Таким и щеголять в расшитых жилетах! Правду говорит старая пословица: не все то золото, что блестит. От души рад, что он убрался из моего дома.

Целый день сержант и новоиспеченный солдат шагали рядом; сержант, продувной парень, развлекал Джонса небылицами о своих походах, которых он никогда не совершал, потому что поступил на службу только недавно и благодаря своей ловкости настолько вкрался в милость начальства, что заслужил алебарду главным образом заслугами по вербовке рекрутов, в каковом деле отличался необыкновенным искусством.

Шумное веселье царило между солдатами в пути. Были вспомянуты разные приключения на последних квартирах, и каждый без стеснения отпускал остроты по адресу офицеров, часто непристойные и близко граничащие с клеветой. Это привело на память нашему герою обычай греков и римлян предоставлять рабам в некоторые праздники и торжественные дни полную свободу говорить что угодно относительно своих господ.

Наша маленькая армия, состоявшая из двух рот пехоты, прибыла наконец к пункту, где ей предстояло сделать привал. Сержант доложил лейтенанту, командиру отряда, что они завербова-

ли дорогой двух новых рекрутов, один из которых, сказал он, молодец на редкость (подразумевался пьяница): шести футов росту, статен и крепко сколочен; другой (подразумевался Джонс) годится в тыл.

Новых солдат представили офицеру, который, осмотрев сначала шестифутового детину, обратился затем к Джонсу и при первом взгляде на него не мог сдержать удивления, ибо, помимо того что наш герой был прекрасно одет и обладал приятными манерами, в глазах его еще светилось сознание собственного достоинства, которое встречается и у людей простого звания и не является неотъемлемой принадлежностью высших классов.

— Сэр,— сказал лейтенант,— сержант доложил мне, что вы желаете быть зачислены в роту, которой я в настоящее время командую; если это правда, сэр, мы будем очень рады принять джентльмена, готового оказать честь нашей роте вступлением в ее ряды.

Джонс отвечал, что он ни слова не говорил о поступлении на военную службу, но что, будучи ревностным сторонником славного дела, за которое они идут сражаться, он желает служить волонтером. В заключение он сказал несколько любезностей лейтенанту и выразил большое удовольствие по случаю того, что будет находиться под его командой.

Лейтенант, в свою очередь, ответил Джонсу любезностями, похвалил его решение, пожал ему руку и пригласил отобедать с ним и остальными офицерами.

## ГЛАВА XII

*Приключение с компанией офицеров*

Упомянутому нами в предыдущей главе лейтенанту, командиру отряда, было лет под шестьдесят. Поступил он на военную службу очень молодым и участвовал в качестве прапорщика в сражении при Таньере; там он получил две раны и так отличился, что тотчас же после битвы герцог Мальборо произвел его в лейтенанты.

В этом чине он и оставался с тех пор, то есть около сорока лет; за это время многие сверстники далеко обогнали его, и он имел неприятность состоять под начальством мальчишек, отцы которых ходили еще на помочах, когда он поступил на службу.

Эта неудача объяснялась не только тем, что у него не было приятелей среди власть имущих. Он имел несчастье навлечь на себя неудовольствие полковника, много лет командовавшего его

полком. Упорная неприязнь, которую питал к нему этот человек, была вызвана отнюдь не дурным или нерадивым исполнением служебных обязанностей и не какими-либо личными недостатками лейтенанта, но исключительно неблагоразумным поведением его красивой жены, ни за что не желавшей, несмотря на всю свою нежную любовь к мужу, покупать ему повышение ценой благосклонности, которой у нее добивался полковник.

Положение бедного лейтенанта было тем более незавидное, что, терпя от неприязни полковника, он не знал и даже не подозревал, что тот действительно питает к нему враждебные чувства, ибо не мог предположить в своем начальнике недоброжелательство, для которого не подавал никакого повода; а жена, опасаясь бед, которых способна была наделать крайняя щепетильность мужа в вопросах чести, довольствовалась сохранением верности, не пожиная плодов своей победы.

Этот несчастный офицер (мне кажется, его можно так назвать) обладал многими достоинствами, помимо чисто профессиональных: он был набожен, честен, добродушен и так образцово исполнял обязанности командира, что был уважаем и любим не только подчиненными ему солдатами, но и всем полком.

В настоящем походе его сопровождали еще три офицера. Во-первых, лейтенант, француз по происхождению, успевший вследствие долгого пребывания в Англии забыть свой родной язык, но не успевший, однако, выучиться английскому, так что по-настоящему он не говорил ни на одном языке и с трудом объяснялся, даже когда речь шла о самых обыкновенных вещах; кроме того, два совсем юных прапорщика, один из которых воспитывался у стряпчего, а другой был сыном жены дворецкого в барском доме.

По окончании обеда Джонс рассказал сотрапезникам, как веселились солдаты в пути.

— И все же я готов побожиться,— прибавил он,— что, несмотря на всю их шумливость, при встрече с врагом они будут вести себя, как греки, а не как троянцы.

— Греки и троянцы! Что это за звери? — спросил один из прапорщиков.— Я знаю все войска в Европе, а о таких не слышал.

— Не притворяйтесь более невежественным, чем вы есть на самом деле, мистер Норсертон,— сказал почтенный лейтенант.— Вы, наверное, слышали о греках и троянцах, хоть, может быть, и не читали Гомера в переводе Попа. Гомер сравнивает — мистер Джонс напомнил мне это место — троянских воинов с гогочущими гусями и очень хвалит молчаливость греков. Клянусь честью, замечание нашего волонтера совершенно справедливо.

— Ей-богу, отлично это помню,— сказал француз,— мы читали это в школе мадам Дасье: греки, троянцы, они сражались за женщину; oui, oui, мы все это читали.

— Черт бы побрал этого Гомеришку! — воскликнул Норсертон.— Знаки от него до сих пор не зажили на моей... Вон Томас, наш однополчанин, вечно таскает с собой в кармане Гомера. Будь я проклят, если не сожгу его, попадись он мне только в руки! Был там и другой сукин сын — Кордериус; за него тоже перепало мне немало розг.

— Так вы были в школе, мистер Норсертон? — спросил лейтенант.

— Был, пропади она пропадом! — отвечал Норсертон.— Черт бы подрал моего родителя за то, что послал меня туда! Старикан хотел сделать меня попом — да шалишь, старый хрыч, я тебя околпачу! Не такой я идиот, чтобы пичкать себя твоим вздором! Вот и Джемми Оливер, из нашего полка, тот тоже чуть было не попал в попы, и как жаль было бы: он такой красавец! Но провел своего хрыча почище меня: ни читать, ни писать не умеет!

— Вы даете очень лестную характеристику вашему приятелю,— сказал лейтенант,— и вполне им заслуженную, смею сказать. Только оставьте, пожалуйста, Норсертон, вашу глупую и скверную привычку сквернословить. Уверяю вас, вы ошибаетесь, если думаете, что это остроумно и приятно в обществе. Послушайтесь также моего совета: перестаньте поносить духовенство. Оскорбительные прозвища и хула на целую корпорацию всегда несправедливы, особенно когда направлены на такие священные обязанности: ведь поносить корпорацию — значит поносить обязанности, которые она исполняет. Предоставляю вам самим судить, насколько несообразно такое поведение в людях, идущих сражаться за протестантскую религию.

Мистер Аддерли (так звали второго прапорщика), который до сих пор напевал какую-то песенку, пристукивая каблуками, и, казалось, не слушал, о чем идет разговор, сказал теперь:

— Oh, monsieur, on ne parle pas de la religion dans la guerre[1].

— Хорошо сказано, Джек,— поддержал его Норсертон.— Если бы все дело было только в la religion, так пусть попы и дерутся между собой вместо меня.

— Не знаю, джентльмены, каково ваше мнение,— сказал Джонс,— но, по-моему, не может быть ничего благороднее, как защищать свою религию; из немногих прочитанных мной книг по истории я сделал заключение, что храбрее всех сражались солдаты, одушевленные религиозным пылом. Что касается меня

[1] Ах, сударь, на войне не говорят о религии *(франц.)*.

лично, то, хотя я люблю короля и родину, надеюсь, не меньше других, все же интересы протестантской религии являются немаловажной причиной, побудившей меня сделаться волонтером.

Норсертон лукаво подмигнул Аддерли и шепнул ему:

— Давай-ка посмеемся над ним, Аддерли, проучим нахала.— Потом, обратившись к Джонсу, сказал: — Я очень рад, сэр, что вы поступили волонтером в наш полк, потому что, ежели наш поп хватит лишнее, вы с успехом можете заменить его. Полагаю, вы были в университете, сэр; разрешите узнать, в каком колледже?

— Я не был не только в университете, сэр,— отвечал Джонс,— но даже и в школе: видите, какое у меня преимущество перед вами!

— Я высказал свое предположение лишь на основании ваших обширных познаний,— заметил прапорщик.

— Ах, что касается познаний, сэр,— отвечал Джонс,— то их можно приобрести не бывши в школе, равно как и бывши в ней— не научиться ничему.

— Прекрасно сказано, волонтер! — воскликнул лейтенант.— Право, Норсертон, лучше оставьте его в покое: не по зубам орешек!

Язвительное замечание Джонса не очень понравилось Норсертону, но он счел его не настолько обидным, чтобы ответить на него ударом либо словами «мерзавец» или «подлец» — единственные реплики, которые приходили ему на ум. Словом, он промолчал, но решил при первом удобном случае ответить на шутку оскорблением.

Пришла очередь мистеру Джонсу провозгласить, как говорится, тост; он не удержался и назвал свою дорогую Софью. Сделал он это тем более охотно, что никто из присутствующих, казалось ему, не мог догадаться, кого он имеет в виду.

Но лейтенант, распорядитель пира, не удовлетворился одним именем и непременно пожелал знать фамилию Софьи. После минутного колебания Джонс назвал мисс Софью Вестерн. Прапорщик Норсертон объявил, что не будет пить за ее здоровье в той же круговой, в которой бы пил свой тост, если кто-нибудь не поручится за нее.

— Я знал одну Софью Вестерн,— сказал он,— которая была в связи чуть не с половиной всех кавалеров в Бате; может быть, это та самая?

Джонс торжественно поклялся, что это не она, прибавив, что названная им леди—из лучшего общества и с крупным состоянием.

— Вот, вот,— не унимался прапорщик,— она самая! Будь я проклят, если это не она! Держу пари на полдюжины бургундского, что наш однополчанин Том Френч приведет ее к нам в любую таверну на Бридж-стрит.

И он в точности описал наружность Софьи (потому что действительно видел ее у тетки), прибавив в заключение, что у отца ее богатое поместье в Сомерсетшире.

Влюбленные обыкновенно не переносят никаких шуток по адресу своих возлюбленных, однако Джонс, несмотря на всю свою влюбленность и далеко не робкий характер, ответил негодованием на эту клевету не с такой поспешностью, как, может быть, следовало бы. Правду говоря, ему редко доводилось слышать шутки подобного рода, так что он сначала плохо понял и искренне думал, что мистер Норсертон спутал его очаровательницу с кем-то другим. Но теперь, внушительно поглядев на прапорщика, он сказал:

— Прошу вас, сэр, избрать другой предмет для вашего остроумия, ибо, смею вас уверить, я не позволю вам насмехаться над этой леди.

— Насмехаться! Никогда в жизни я не говорил серьезнее. Том Френч имел в Бате и ее, и ее тетку.

— В таком случае я должен сказать вам совершенно серьезно,— отвечал Джонс,— что вы один из бесстыднейших наглецов на свете.

Не успел он произнести эти слова, как прапорщик с целым залпом проклятий пустил ему прямо в голову бутылку, которая, угодив Джонсу повыше правого виска, мгновенно повергла его на пол.

Победитель, видя, что враг лежит перед ним без движения и кровь ручьем льется из раны, начал думать о том, как бы покинуть поле битвы, где уже нельзя было стяжать новых лавров, но лейтенант, став перед дверью, отрезал ему отступление.

Норсертон настойчиво требовал у лейтенанта выпустить его, указывая, что будут дурные последствия, если он останется, и спрашивая, мог ли он поступить иначе.

— Черт возьми! Ведь я только пошутил,— сказал он.— Я отродясь не слыхал ничего дурного о мисс Вестерн.

— Точно не слышали? — отвечал лейтенант.— В таком случае вас мало повесить — во-первых, за такие шутки, а во-вторых, за то, что вы прибегли к такому оружию. Вы арестованы, сэр, и выйдете отсюда не иначе, как под стражей.

Влияние старого лейтенанта на прапорщика было так велико, что весь воинственный задор последнего, повергший нашего героя на пол, едва ли побудил бы его обнажить шпагу, если бы даже она болталась у него на боку; но все шпаги, повешенные на стену, были в самом начале столкновения припрятаны французом. Таким образом, Норсертону пришлось покорно дожидаться исхода дела.

Француз и мистер Аддерли по приказанию своего начальника подняли бесчувственное тело Джонса, но, замечая в нем лишь весьма слабые признаки жизни, тотчас снова его опустили, причем Аддерли выругался по случаю того, что запачкал себе кровью жилет, а француз объявил:

— Ей-богу, ни за что не прикоснусь к мертвому англичанину: я слышал, в Англии есть закон, чтобы вешать того, кто последний прикоснется к мертвому.

Подойдя к двери, лейтенант позвонил и велел явившемуся слуге позвать взвод мушкетеров и хирурга. Это приказание и рассказ слуги о том, что он увидел, войдя в комнату, привлекли туда не только солдат, но также хозяина, его жену, слуг и всех, кто находился в то время в гостинице.

Описать все подробности и передать все разговоры последовавшей затем сцены — выше моих сил, потому что для этого мне надо было бы иметь сорок перьев и писать всеми ими сразу. Читателю придется поэтому удовольствоваться главнейшими эпизодами и извинить умолчание об остальном.

Первым делом позаботились о Норсертоне: он был отдан под стражу шести мушкетерам под командой капрала и уведен из комнаты, которую оставил с большой охотой, в другую, куда отправился весьма неохотно. Правду сказать, порывы честолюбия так прихотливы, что не успел этот юноша совершить упомянутый выше подвиг, как с радостью готов был очутиться в самом отдаленном уголке мира, где слава об этом подвиге никогда не достигла бы его ушей.

Нас удивляет только — и удивление наше разделит, вероятно, читатель,— что лейтенант, человек достойный и добрый, в первую очередь позаботился не о помощи раненому, а о заключении под стражу преступника. Мы делаем это замечание не для того, чтобы объяснить столь странное поведение — на это мы не претендуем,— а для того, чтобы какой-нибудь критик не вздумал хвастаться тем, что заметил эту странность. Да будет известно господам критикам, что мы не хуже их видим странности некоторых поступков, но считаем своей обязанностью излагать факты, как они есть; и дело просвещенного и проницательного читателя справляться с книгой Природы, откуда списаны все события нашей истории, хоть и не всегда с точным обозначением страницы.

Компания, вошедшая в комнату вместе с солдатами, была, однако, настроена иначе. Любопытство относительно особы прапорщика она попридержала, рассчитывая увидеть его впоследствии в более занятном положении. Теперь же все заботы и внимание этих людей устремились на лежащее на полу окровавленное тело; будучи поднято и посажено в кресло, оно, впрочем, скоро стало про-

являть некоторые признаки жизни. Едва только собравшиеся это заметили (сначала все они сочли его мертвым), так начали наперерыв предлагать разные средства (так как ни одного представителя врачебного сословия среди них не было, то каждый принял эти обязанности на себя).

Но все добровольные врачи сходились на том, что надо пустить кровь. К несчастью, произвести эту операцию было некому; все кричали: «Позовите цирюльника!» — и никто не трогался с места. Предложения разных других лекарств были столь же безрезультатны, пока наконец хозяин не распорядился подать кружку крепкого пива с поджаренным ломтем хлеба — самое лучшее, по его словам, лекарство в Англии.

Больше всех хлопотала при этой оказии хозяйка, она единственная подала какую-то помощь — так, по крайней мере, казалось,— отрезав у себя прядь волос, она приложила ее к ране, чтобы остановить кровь, растерла Джонсу виски и, отозвавшись с крайним презрением о прописанном мужем пиве, велела одной из своих служанок достать из собственного ее шкафа бутылку водки, после чего заставила Джонса, который как раз в ту минуту пришел в себя, выпить большую рюмку этой живительной влаги.

Скоро явился и хирург, который, осмотрев рану, покачав головой и подвергнув порицанию все принятые меры, распорядился немедленно уложить раненого в постель, где мы находим полезным оставить его на некоторое время в покое, чем и закончим настоящую главу.

## ГЛАВА XIII,

*в которой содержится рассказ об удивительной ловкости хозяйки великой учености хирурга и мастерской казуистике почтенного лейтенанта*

Когда раненого отнесли в постель и суматоха, вызванная происшествием, улеглась, хозяйка обратилась к лейтенанту с такими словами:

— Боюсь, сэр, что этот молодой человек вел себя перед вашими благородиями не так, как следует; если и умрет, так поделом ему: пригласили человека низкого звания в компанию к джентльменам, так пусть держится скромно. Но, как говаривал мой покойный муж, редко кто из таких умеет вести себя. Кабы я знала, то ни за что не позволила бы такому молодцу *втереться* в общество джентльменов; но я думала, он тоже офицер, пока сержант не сказал, что это просто рекрут.

— Хозяюшка,— отвечал лейтенант,— вы ошибаетесь от начала до конца. Молодой человек вел себя как нельзя лучше и больше заслуживает звания джентльмена, чем оскорбивший его прапорщик. Если он умрет, то молодцу, запустившему в него бутылкой, придется очень пожалеть об этом, потому что полк отделается от буяна, который только срамит армию. А если этот забияка ускользнет из рук правосудия, я буду заслуживать порицания, сударыня.

— Вот напасти-то! — воскликнула хозяйка.— Кто бы мог подумать? Я довольна, что вы, ваше благородие, хотите отдать его под суд; так надо поступать с каждым обидчиком. Господа не имеют права безнаказанно убивать простых людей. У простого человека душа такая же, она тоже спастись хочет.

— Повторяю вам, сударыня,— перебил ее лейтенант,— вы ошибаетесь насчет волонтера; смею вас уверить, что он гораздо больше джентльмен, чем прапорщик.

— Ну да! — продолжала хозяйка.— И то сказать! Мой первый муж — умный был человек,— бывало, говаривал: по лицевой стороне об изнанке не суди. А он, может, и с лица человек порядочный; ведь когда я увидела его, он был весь в крови. Кто бы мог подумать? Может, это молодой джентльмен и влюбленный! Не дай бог, умрет, то-то горя будет родителям! Ну понятно, дьявол попутал того, толкнув на такое дело. Правду говорит ваше благородие — он только армию срамит. Вот другие господа офицеры, сколько я их ни видела, совсем не то: посовестились бы проливать христианскую кровь, как простые смертные; я хочу сказать — проливать по-штатски, как говаривал мой первый муж. На войне, понятно, другое дело, там без кровопролития не обойдешься. Но за это винить нельзя: чем больше будет перебито неприятелей, тем лучше; от всего сердца желаю, чтобы всех их до одного отправили на тот свет.

— Ну, уж вы хватили, сударыня,— с улыбкой сказал лейтенант.— *Всех* — это чересчур кровожадно.

— Нисколько, сэр,— отвечала хозяйка,— я нисколько не кровожадна; я говорю это только о наших неприятелях, и никакой беды от этого нет. Ведь это натурально — желать гибели наших врагов,— тогда и войне конец, и налоги станут полегче; страшно подумать, сколько мы теперь платим! Больше сорока шиллингов за одни окна, а мы еще заделали все, какие можно, верьте слову, в потемках живем. Я и говорю сборщику: «Вы бы к нам были милостивее, говорю, ведь мы же первые друзья правительства, и друзья надежные, потому что кучу денег платим ему». А правительство, я часто так думаю, не считает себя обязанным нам больше, чем тем, кто не платит ему ни гроша. Так уж свет создан.

И она продолжала в таком же роде, пока в комнату не вошел хирург. Лейтенант тотчас же осведомился, как здоровье больного. Но хирург сказал ему только:

— Я думаю, лучше, чем было бы без моей помощи, и, пожалуй, надо пожалеть, что меня не позвали раньше.

— Череп, надеюсь, не поврежден? — спросил лейтенант.

— Гм... Трещина не всегда самый опасный симптом. Контузии и разрывы часто сопровождаются гораздо худшими процессами, а последствия их бывают более роковыми. Не понимающие в медицине полагают, что если череп цел, то все благополучно, между тем я видывал такие контузии, что лучше бы весь череп был разбит на куски.

— Надеюсь, однако, что тут нет таких дурных симптомов? — сказал лейтенант.

— Симптомы,— отвечал хирург,— не всегда бывают правильны и постоянны. Мне случалось наблюдать, как симптомы, очень неблагоприятные поутру, в полдень сменялись благоприятными, а к ночи снова становились неблагоприятными. О ранах справедливо и правильно сказано: Nemo repente fuit turpissimus[1]. Помню, однажды позвали меня к раненому, получившему сильную контузию в tibia[2], благодаря чему наружные cutes[3] были разорваны, так что произошло обильное кровоизлияние, а внутренние перепонки настолько раскромсаны, что os, или кость, явственно видна была в отверстие vulneris, или раны. В то же время появились симптомы лихорадки (потому что пульс был полный и указывал на необходимость обильного кровопускания), и я испугался, не начинается ли гангрена. Для предотвращения ее я тотчас же сделал широкий надрез вены левой руки, откуда выпустил двадцать унций крови, ожидая, что она окажется клейкой и вязкой или даже свернувшейся, как при плевритических заболеваниях; но, к моему удивлению, она оказалась ярко-розовой и по консистенции мало отличалась от крови совершенно здорового человека. Тогда я приложил к ране припарку, которая сильно способствовала заживлению, и после трех или четырех перевязок рана начала выделять густой гной, или материю, вследствие чего сцепление... Но, может быть, я говорю недостаточно понятно?

— Совсем непонятно,— отвечал лейтенант.— Не могу похвалиться, чтобы я понял хотя бы одно слово.

— В таком случае я не буду испытывать ваше терпение, сэр,— сказал хирург.— Скажу вкратце, что через шесть недель мой па-

---

[1] Никто не становился злодеем вдруг *(лат.)*.

[2] Берцовую кость *(лат.)*.

[3] Покровы *(лат.)*.

циент мог владеть своими ногами не хуже, чем до получения контузии.

— Я попросил бы вас, сэр, только об одном одолжении: скажите мне, смертельна ли рана, полученная этим человеком, или нет?

— Сэр,— отвечал хирург,— определить после первой перевязки, смертельна рана или нет, было бы чересчур самонадеянно. Все мы смертны, и во время лечения часто появляются симптомы, которых не в состоянии предвидеть и самый искусный представитель нашей профессии.

— Однако он в опасности, по-вашему? — спросил лейтенант.

— В опасности!—воскликнул хирург.—Разумеется, в опасности. Да про кого же из нас, совершенно здорового, можно утверждать, что он вне опасности? Тем более можно ли говорить про человека, так тяжело раненного, что он вне опасности? Все, что я могу сказать сейчас: хорошо, что меня позвали, и было бы еще лучше, если бы позвали раньше. Завтра рано утром я навещу его снова, а до тех пор нужно дать ему полный покой и кормить кашкой.

— А сак-вей ему можно? — спросила хозяйка.

— Сак-вей? Да, если вам угодно, только немного.

— А бульону из цыпленка?

— Да, да, бульон из цыпленка будет ему очень полезен,— разрешил доктор.

— И желе тоже можно?

— Да,— отвечал доктор,— желе очень полезно раненым: оно помогает заживлению ран.

К счастью, хозяйка не спросила о супе и пряных соусах, потому что врач позволил бы все, лишь бы не потерять практики в доме.

Как только доктор ушел, хозяйка начала расхваливать его лейтенанту, который из этого короткого свидания вынес далеко не столь лестное мнение о его врачебном искусстве, как то, какое сложилось (и, может быть, вполне справедливо) у почтенной женщины и ее соседей; правда, доктор был немного фат, но ведь это не помеха для того, чтобы быть хорошим хирургом.

Заключив из ученого разговора с ним, что положение мистера Джонса очень опасно, лейтенант приказал как можно строже стеречь мистера Норсертона, намереваясь препроводить его утром к мировому судье, а воинскую часть поручить вести в Глостер лейтенанту-французу, который хотя и не умел ни читать, ни писать, ни говорить ни на одном языке, но при всем том был хороший офицер.

Вечером наш командир послал сказать мистеру Джонсу, что хочет навестить его, если это посещение не побеспокоит больного.

Получив ответ, что Джонс очень ему признателен за внимание и будет рад видеть его, лейтенант поднялся к раненому и нашел его в гораздо лучшем состоянии, чем ожидал; больше того: Джонс уверял своего друга, что, если бы не строгое приказание доктора, он давно бы встал с постели, потому что чувствует себя вполне здоровым и рана дает о себе знать только сильной болью в ушибленной части головы.

— Я был бы очень рад,— сказал лейтенант,— если б вы в самом деле были так здоровы, как вам кажется, потому что тогда вы немедленно могли бы расправиться с обидчиком: когда дело, как в данном случае, не может быть улажено полюбовно, то чем скорее вы с ним покончите, тем лучше; но, я боюсь, вы воображаете себя более здоровым, чем на самом деле, а это даст слишком большое преимущество вашему противнику.

— Попробую все же, если вам угодно,— отвечал Джонс,— только попрошу вас одолжить мне шпагу, потому что у меня ее нет.

— Охотно! Моя шпага к вашим услугам, дорогой мой! — воскликнул лейтенант, целуя его.— Вы храбрый юноша, и мне нравится ваша смелость, но я боюсь за ваши силы: такой удар и такая потеря крови не могли не обессилить вас. Лежа в постели, вы, может быть, этого не чувствуете, но после двух или трех ударов шпагой почувствуете наверное. Я не хочу, чтобы вы дрались с ним сегодня же, но надеюсь, что через несколько дней вы нас догоните, и, даю вам честное слово, вы получите удовлетворение; в противном случае ваш обидчик будет выгнан из полка.

— А мне хотелось бы покончить с этим делом сегодня же,— сказал Джонс.— Теперь, когда вы мне напомнили о нем, я не буду спать спокойно.

— Полноте! — отвечал лейтенант.— Несколькими днями позже — какая разница? Раны чести не похожи на телесные раны: откладывая лечение, мы не ухудшаем их состояния. Для вас будет совершенно безразлично, если вы получите удовлетворение через неделю.

— Но предположим — мне станет хуже и я умру от осложнений моей раны? — сказал Джонс.

— Тогда и вовсе не потребуется восстанавливать вашу честь,— отвечал лейтенант.— Я сам позабочусь о вашем добром имени и засвидетельствую перед целым светом, что вы только ждали выздоровления, чтобы поступить надлежащим образом.

— Все же мне очень неприятна эта отсрочка,— сказал Джонс.— Боюсь даже признаться вам, ведь вы солдат, но все-таки скажу, что, несмотря на все мои прошлые проказы, в серьезные минуты я в душе истинный христианин.

— Я тоже, смею вас уверить,— сказал офицер,— и христианин настолько ревностный, что очень порадовался, когда вы за обедом вступились за свою религию; я даже несколько обижен, молодой человек, что вы боитесь открыть мне свои религиозные чувства.

— Разве не ужасно для истинного христианина,— продолжал Джонс,— питать в груди своей злобу, наперекор заповеди того, кто решительно запретил это чувство? Каково мне питать его на одре болезни? Как представлю я отчет в своих поступках и помышлениях, нося в своем сердце такое обвинение против себя?

— Да, есть такая заповедь,— согласился лейтенант,— но человек, дорожащий своей честью, не может ее соблюдать. А вы обязаны защищать свою честь, если хотите служить в армии. Помню, однажды я разговорился об этом за бокалом пунша с нашим полковым священником, и он сознался, что вопрос заключает большие трудности, но выразил надежду, что к военным,— в этом единственном случае,— будет проявлена снисходительность; и, конечно, мы вправе надеяться на нее, ибо кто согласился бы жить, лишившись чести? Нет, нет, дорогой мой, будьте добрым христианином до последнего издыхания, но берегите также свою честь и никому не спускайте оскорблений; никакая книга, никакой священник на свете не убедят меня в необходимости обратного. Я очень люблю свою религию, но честь еще больше. Тут что-то неладно: должно быть, вкралась ошибка в редакцию текста, в перевод или в толкование. Но как бы там ни было, солдат должен идти на риск, ибо он должен охранять свою честь. Спите же спокойно, и я ручаюсь, что у вас найдется случай посчитаться с вашим обидчиком.— С этими словами он крепко поцеловал Джонса и ушел.

Но, хотя рассуждение лейтенанта ему самому казалось вполне убедительным, оно не вполне убедило его приятеля. Поэтому Джонс долго еще обдумывал этот вопрос, пока не пришел наконец к решению, о котором читателю будет рассказано в следующей главе.

## ГЛАВА XIV

*Глава чрезвычайно страшная, которую не следует читать на ночь, особенно в одиночестве*

Джонс съел порядочную порцию бульона из цыпленка, или, вернее, из петуха, и притом с таким аппетитом, что охотно съел бы и самого петуха, с фунтом копченой грудинки в придачу, после чего, не чувствуя уже ровно никакого недомогания или недостатка бодрости, решил встать и отыскать своего врага.

Однако сначала он послал за сержантом, с которым прежде всего познакомился в этой компании военных. К несчастью, храбрый вояка хлебнул в буквальном смысле слова через край и удалился к себе на койку, где и храпел так раскатисто, что нелегко было внедрить в его уши звуки, способные заглушить те, что вылетали из его ноздрей.

Но так как Джонс упорствовал в своем желании видеть его, то один голосистый буфетчик нашел наконец способ прогнать сон сержанта и передать ему приглашение Джонса. Разобрав, что от него требуют, сержант, который спал не раздеваясь, мигом вскочил с постели и отправился на зов. Джонс не считал нужным рассказывать ему о своем намерении, хотя и мог бы сделать это совершенно безопасно, так как алебардщик понимал, что такое честь, и однажды убил солдата, находившегося под его командой. Он свято хранил бы тайну Джонса, как и всякую другую, за разоблачение которой не объявлено денежной награды. Но Джонс не знал этих высоких качеств сержанта, и потому его осторожность была вполне благоразумна и похвальна.

Наш герой начал с жалобы: сказал сержанту, что ему стыдно, поступив в армию, не иметь самой необходимой принадлежности солдата — шпаги, присовокупив, что будет ему бесконечно обязан, если сержант достанет ему это оружие.

— Я вам заплачу за нее, сколько понадобится; эфес можно и не серебряный, лишь бы клинок был хорош; словом, чтоб подходила для солдата.

Сержант, знавший о случившемся и слышавший, что положение Джонса очень опасное, заключил из этой просьбы, исходившей в такое время ночи от тяжело раненного, что Джонс бредит. А так как был он человек, как говорится, себе на уме, то решил поживиться за счет причуды больного.

— Мне кажется, я могу услужить вам, сэр,— сказал он.— У меня есть отличная шпага. Эфес, точно, не серебряный — да ведь серебряный и не подходит солдату, как вы сами заметили,— но все же приличный, а клинок — один из лучших в Европе. Это такой клинок... такой клинок... Словом, я сейчас вам ее принесу,— сами увидите и попробуете. От души рад, что вашему благородию лучше.

Через минуту он вернулся и вручил Джонсу шпагу. Джонс взял ее, обнажил, сказал, что хорошо, и спросил о цене.

Сержант принялся расхваливать свой товар. Он сказал (подкрепив свои слова клятвой), что шпага снята с французского генерала в сражении при Леттингене.

— Я снял ее собственноручно, размозжив ему голову,— объявил он.— Эфес был золотой. Я продал его одному из наших

франтов; ведь многие офицеры, знаете ли, ценят эфес больше клинка.

Джонс остановил его и попросил назвать цену. Сержант, думая, что Джонс в бреду и при смерти, забоялся причинить ущерб своей семье, запросив слишком мало. Однако после минутного колебания он решил удовлетвориться двадцатью гинеями, побожившись, что не продал бы дешевле и родному брату.

— Двадцать гиней?! — воскликнул Джонс в величайшем изумлении.— Верно, вы принимаете меня за сумасшедшего или думаете, что я отроду не видел шпаги? Двадцать гиней! Никак не ожидал, что вы способны обмануть меня. Нате, берите свою шпагу назад... Или нет, пусть она останется у меня: я покажу ее завтра утром вашему командиру и сообщу ему, сколько вы за нее запросили.

Сержант, как мы уже сказали, был себе на уме: он ясно увидел, что Джонс вовсе не в таком состоянии, как он предполагал. Тогда он, в свою очередь, прикинулся крайне изумленным и сказал:

— Смею вас уверить, сэр, я не запросил с вас лишнего. Кроме того, прошу принять во внимание, что у меня только эта шпага и есть и я рискую получить замечание от своего начальника, явившись к нему без шпаги. Соображая все это, право, я думаю, что двадцать шиллингов совсем не так дорого.

— Двадцать шиллингов?! — воскликнул Джонс.— Ведь вы только что просили двадцать гиней!

— Помилуйте! — отвечал сержант.— Ваше благородие, наверно, ослышались, а может, я и сам обмолвился со сна: ведь я еще не совсем проснулся. Двадцать гиней! Немудрено, что ваше благородие так рассерчали. Так я сказал «двадцать гиней»? Поверьте, я хотел сказать: двадцать шиллингов. И если вы, ваше благородие, сообразите все обстоятельства, то, надеюсь, не найдете цену слишком высокой. Правда, такую же на вид шпагу вы можете купить и дешевле. Но...

Тут Джонс перебил его, сказав:

— Нет, я не собираюсь торговаться и дам вам даже шиллингом больше, чем вы просите.

С этими словами он дал сержанту гинею, велел ему идти спать и пожелал доброго пути, прибавив, что надеется догнать отряд еще до Ворчестера.

Сержант вежливо раскланялся, очень довольный сделкой, а также находчивостью, позволившей ему исправить промах, который он допустил, воображая, что раненый в бреду.

Как только сержант ушел, Джонс встал с постели и оделся, натянув также кафтан, на белом фоне которого отчетливо видны

были пятна испачкавшей его крови. Схватив купленную шпагу, он уже собирался выйти из комнаты, как вдруг его остановила мысль о затеянном — о том, что через несколько минут он лишит жизни человека или сам лишится ее.

«Ради чего, собственно, собираюсь я рисковать своей жизнью? — подумал он.— Ради чести. А кто мой противник? Негодяй, оскорбивший меня словом и делом без всякого повода с моей стороны. Но разве месть не запрещена богом? Конечно, запрещена, но ее требует общество. Должен ли я, однако, повиноваться предписаниям общества в нарушение отчетливо выраженных заповедей божьих? Неужели навлекать на себя гнев божий из боязни прослыть... гм... трусом... подлецом? Нет, прочь колебания! Я решился, я должен с ним драться!»

Пробило двенадцать, и все в доме спали за исключением часового у комнаты Норсертона, когда Джонс, тихонько открыв дверь, вышел на розыски своего врага, о месте заключения которого подробно разузнал у вышеупомянутого буфетчика. Трудно себе представить что-нибудь ужаснее фигуры Джонса в эту минуту. На нем был, как мы сказали, светлый кафтан, покрытый пятнами крови. Лицо его, лишенное этой крови и еще двадцати унций, выпущенных хирургом, было мертвенно-бледно. Голова была обвита бинтом, сильно напоминавшим тюрбан. В правой руке он держал шпагу, в левой — свечу. Таким образом, окровавленный призрак Банко был по сравнению с ним ничто. Действительно, я думаю, более ужасное привидение не появлялось ни на одном кладбище и не возникало даже в воображении сомерсетширских кумушек, собравшихся зимним вечером у рождественского камина.

Когда часовой завидел приближение нашего героя, волосы его начали потихоньку приподымать гренадерский кивер, а колени застучали одно о другое. Все тело его затрепетало сильнее, чем в лихорадке. Он выстрелил и упал ничком на пол.

Что заставило его стрелять — страх или храбрость, и целил ли он в напугавший его предмет,— не могу сказать. Впрочем, если даже целил, то, к счастью, дал промах.

Увидев падение часового, Джонс догадался о причине его испуга и невольно улыбнулся, совсем не думая об опасности, которой сам только что избежал. Он прошел мимо солдата, лежавшего не шевелясь, и вошел в комнату, где, по его сведениям, был заключен Норсертон. Здесь, в полном одиночестве, он нашел... пустую кружку; пролитое на столе пиво свидетельствовало, что комната еще недавно была обитаема, но теперь в ней никого не было.

Джонс подумал было, что из нее есть ход в другое помещение, но, осмотрев все кругом, не мог обнаружить другой двери, кроме

той, через которую вошел и у которой стоял часовой; тогда он несколько раз громко позвал Норсертона по имени, но никто не откликнулся, и зов его только пуще напугал часового, который теперь окончательно проникся убеждением, что волонтер умер от ран и что дух его пришел искать своего убийцу; он лежал полумертвый от страха, и я от всей души желал бы, чтобы его видели в эту минуту актеры, которым приходится изображать обезумевших от ужаса: это научило бы их подражать природе, вместо того чтобы заниматься шутовской жестикуляцией и кривляньем на потеху и ради хлопков галерки.

Видя, что птичка улетела, по крайней мере отчаявшись найти ее и справедливо опасаясь, что звук выстрела взбудоражит весь дом, герой наш задул свечу и тихонько прокрался назад в свою комнату, где снова лег в постель; однако ему не удалось бы уйти незамеченным, если бы на одном этаже с ним находился еще кто-нибудь, кроме одного джентльмена, прикованного к постели подагрой, ибо прежде чем он успел добраться до дверей своей комнаты, зал, в котором был поставлен часовой, наполнился народом: кто прибежал в одной рубашке, кто полуодетый, и все взволнованно спрашивали друг друга, что случилось.

Солдата нашли на том же месте и в том же положении, в каком мы только что оставили его. Многие бросились его поднимать, а иные приняли за мертвого, но скоро убедились в своей ошибке, потому что он не только стал отбиваться от тех, кто его схватил, но еще и заревел, как бык. Ему представилось, что целое полчище духов или дьяволов напало на него: воображение бедняги, перепуганного призраком, обращало все видимые и осязаемые предметы в духов и привидения.

Наконец, благодаря численному превосходству, с часовым справились и поставили его на ноги; были принесены свечи, и тогда, увидя двух или трех товарищей, он немного пришел в себя, но на вопрос, что случилось, отвечал:

— Пропащий я человек! Кончено, пропащий! Ничего не поделаешь, я его видел!

— Кого ты видел, Джек? — спросил кто-то из солдат.

— Убитого вчера волонтера.

И, побожившись самыми страшными клятвами, рассказал, как волонтер, весь в крови, извергая огонь изо рта и ноздрей, прошел мимо него в комнату, где был заключен прапорщик Норсертон, после чего, схватив заключенного за горло, улетел с ним при громовом ударе.

Рассказ этот был встречен собравшимися благожелательно. Женщины, все до одной, приняли его за чистую истину и молили бога сохранить им жизнь. Из мужчин тоже многие поверили

рассказанному; но нашлись и такие, которые подняли часового на смех, а один сержант заметил невозмутимо:

— Я еще с вами потолкую об этом, молодой человек. Я вам покажу, как спать и грезить на часах!

— Наказывайте меня, если вам угодно,— отвечал часовой,— но только я бодрствовал вот так же, как сейчас; и дьявол меня забери, как он забрал прапорщика, если я не видел мертвеца с большими огненными, как факелы, глазами!

Тут в комнату вошли командир отряда и командирша дома. Первый еще не спал, когда раздался выстрел часового, и счел своим долгом встать, хотя и не предполагал ничего серьезного; тогда как опасения последней были весьма серьезны: она испугалась, как бы ее ложки и пивные кружки не выступили в поход без всякого с ее стороны приказания.

Бедняга часовой, для которого появление лейтенанта было немногим приятнее, чем недавнее появление призрака, снова рассказал о страшном происшествии, прибавив к нему еще больше крови и огня. Но, на его несчастье, ни один из его новых слушателей ему не поверил. Офицер, несмотря на всю свою религиозность, был вовсе чужд страхов подобного рода; к тому же, только что видев Джонса в описанном нами состоянии, он был уверен, что тот жив. Что же касается хозяйки, то она хоть и не отличалась большой религиозностью, все же допускала существование духов; однако в рассказе часового было обстоятельство, заведомо противоречившее истине, о чем мы сейчас поставим в известность читателя.

Был ли Норсертон унесен среди грома и молнии или ушел как-нибудь иначе,— во всяком случае, он не находился более под стражей. По этому случаю лейтенант сделал заключение, почти совпадающее с тем, которое было сделано сержантом, и немедленно приказал арестовать часового. Таким образом, по странной превратности Фортуны (превратности, впрочем, довольно обычной в военной обстановке), страж сам попал под стражу.

## ГЛАВА XV

*Финал описанного приключения*

Помимо подозрения, что часовой заснул, у лейтенанта было насчет него и худшее подозрение, а именно: что он повинен в измене. Не поверив ни одному слову его рассказа о привидении, он подумал, что все это сочинено только для того, чтобы обмануть его, и что на самом деле часовой был подкуплен Норсертоном и

выпустил последнего. Тем более что страх казался лейтенанту крайне неестественным в человеке, пользовавшемся славой первого храбреца и смельчака в полку, побывавшем в нескольких сражениях, получившем несколько ран,— словом, всегда с честью исполнявшем долг солдата.

Опасаясь, как бы и читатель не составил себе дурного мнения о часовом, мы, не откладывая ни минуты, снимем с него столь тяжелое обвинение.

Мистер Норсертон, как мы выше заметили, был вполне удовлетворен славой своего подвига. Надо думать, он наблюдал, или слышал, или предполагал, что зависть — неразлучная спутница славы. Я не хочу этим сказать, что он по-язычески склонен был верить и поклоняться богине Немезиде, ибо, по моему глубокому убеждению, он не слышал даже ее имени. Кроме того, обладая подвижной натурой, он питал большую антипатию к тесным зимним квартирам Глостерского замка, для постоя в которых мировой судья легко мог снабдить его билетом. Не мог он также отделаться от неприятных размышлений насчет известного деревянного сооружения, которое я, по общепринятому у нас обычаю, воздержусь называть по имени, хотя, мне кажется, нам следовало бы не стыдиться, а скорее гордиться строением, которое приносит, или, во всяком случае, могло бы приносить, обществу больше пользы, чем почти все прочие публичные постройки. Словом, не приводя дальнейших мотивов его поведения, скажу просто, что мистер Норсертон очень желал уехать в этот же вечер, и ему оставалось только придумать, как это осуществить, что было делом далеко не легким.

Надобно сказать, что этот молодой человек, несколько горбатый в нравственном отношении, станом был совершенно прям и сложен отменно крепко и ладно. Лицом он тоже был, по мнению большинства женщин, красив, потому что оно было у него широкое и полное, а зубы сравнительно хорошие. Эти прелести оказали свое действие и на нашу хозяйку, которая была любительницей таких красавцев. Она прониклась искренним состраданием к молодому человеку и, услышав от хирурга, что дела волонтера плохи, сообразила, что и дела прапорщика также могут принять в недалеком будущем плохой оборот. Вот почему, испросив позволение навестить Норсертона и найдя его в довольно мрачном расположении духа, еще более омраченном известием о почти безнадежном состоянии волонтера, она обронила несколько намеков, которые с жадностью были подхвачены ее собеседником, после чего они скоро столковались, и было условлено, что по определенному сигналу прапорщик поднимется в дымоход, соединявшийся с кухонным дымоходом, куда он и сможет опустить-

ся, воспользовавшись минутой, когда хозяйка очистит помещение.

Но чтобы наши читатели иного склада мыслей, воспользовавшись этим поводом, не осудили слишком поспешно всякое сострадание как пагубное для общества безрассудство, мы считаем уместным упомянуть еще об одном обстоятельстве, весьма возможно имевшем некоторое влияние на эту затею. У прапорщика случайно хранились в то время пятьдесят фунтов, принадлежавших всему отряду. Дело в том, что командир, повздорив с лейтенантом, поручил раздачу жалованья прапорщику, а тот счел за лучшее доверить эти деньги хозяйке — может быть, в виде ручательства или залога, что он впоследствии вернется и ответит перед судом за возведенные на него обвинения. Но каковы бы ни были условия, верно то, что хозяйка получила деньги, а прапорщик — свободу.

Зная сострадательное сердце этой доброй женщины, читатель, может быть, ожидает, что она немедленно заступилась за бедного часового, услышав приказ об его аресте за преступление, в котором, как ей было известно, он не повинен; но, истощила ли она все свое сострадание на Норсертона, или черты лица часового, немногим, впрочем, отличные от физиономии прапорщика, не в состоянии были пробудить его в ней — не берусь решить, только она и не подумала выступить в защиту арестованного, а, напротив, принялась горячо доказывать лейтенанту его виновность и объявила, воздев глаза и руки к небу, что она ни за что на свете не согласилась бы способствовать бегству убийцы.

В доме опять все успокоилось, и большая часть собравшихся разошлась по комнатам продолжать прерванный сон; но хозяйка вследствие своей природной подвижности, или опасаясь за целость посуды, не чувствовала расположения ко сну и уговорила офицеров провести с ней за чашей пунша часок, остававшийся до выступления в поход.

Все это время Джонс лежал не смыкая глаз и слышал шум и суматоху, поднявшиеся в доме. Любопытствуя узнать подробности, он взялся за ручку звонка и дернул ее по меньшей мере раз двадцать, но тщетно: у хозяйки царило такое веселье, что язык всякого колокола заглушался ее собственным языком, а буфетчик и горничная, сидевшие в это время в кухне (потому что ни он не решался бодрствовать, ни она ложиться спать в одиночестве), чем явственнее слышали звонок, тем больше наполнялись страхом и были точно пригвождены к своему месту.

Наконец, в один счастливый перерыв болтовни звон достиг ушей хозяйки, и она кликнула слуг, которые в ту же минуту явились на ее зов.

— Неужели ты не слышишь, как звонят, Джо? — сказала она.— Почему не идешь к джентльмену?

— Это не мое дело — прислуживать в комнатах,— отвечал буфетчик,— пусть идет Бетти.

— Если так,— отвечала горничная,— так знайте, что ходить за джентльменами и не мое дело. Правда, иногда я им прислуживала, но никакой черт не заставит меня больше пальцем пошевелить для них, раз уж вы такое говорите.

Между тем колокольчик продолжал отчаянно звонить, и рассерженная хозяйка поклялась, что если Джо не поднимется сейчас же наверх, то она сегодня же выгонит его вон.

— Как вам угодно, сударыня,— отвечал буфетчик,— а только чужих обязанностей я исполнять не стану.

Тогда хозяйка обратилась к горничной и постаралась подействовать на нее лаской; но все было напрасно: Бетти оставалась столь же непреклонной, как и Джо. Оба утверждали, что это не их дело, и не желали трогаться с места.

Тогда лейтенант рассмеялся и сказал:

— Позвольте, сейчас я положу конец этим пререканиям,— и, обратясь к слугам, похвалил их за то, что они твердо стоят на своем, но прибавил, что если один из них пойдет, то, вероятно, и другой не откажется сопровождать его.

На это они тотчас же согласились и отправились в комнату Джонса, тесно прижавшись друг к другу. Когда они ушли, лейтенант рассеял гнев хозяйки, объяснив ей, почему они так упорно не желали идти поодиночке.

Скоро Бетти и Джо вернулись и доложили своей госпоже, что больной джентльмен не только не умер, но с виду кажется совсем здоровым и что он свидетельствует свое почтение командиру и был бы очень рад увидеть его до выступления в поход.

Почтенный лейтенант немедленно уважил просьбу Джонса и, сев у его постели, рассказал всю сцену, разыгравшуюся внизу, заявив в заключение, что хочет примерно наказать часового.

Тогда Джонс признался ему в том, что произошло на самом деле, и горячо просил не наказывать бедного солдата, «который, я в этом уверен,— сказал он,— так же не виноват в побеге прапорщика, как и в попытке обмануть вас небылицей».

После некоторого колебания лейтенант отвечал:

— Да, раз вы оправдали его в одной части обвинения, то невозможно доказать другого, потому что не он один стоял на часах. Но мне очень хочется наказать мошенника за трусость. Впрочем, кто знает, какое действие способны оказать на человека страхи по-

добного рода. А перед неприятелем он, правду сказать, всегда держался храбро. К тому же приятно видеть в солдате хотя бы такое проявление религиозности. Словом, я обещаю вам выпустить его на свободу, когда мы выступим в поход. Но чу! — забили сбор. Поцелуемся же еще раз, дорогой мой. Не расстраивайтесь и не торопитесь; помните христианскую заповедь терпения, и я ручаюсь, что вы скоро получите возможность достойным образом рассчитаться с вашим обидчиком.

С этими словами лейтенант ушел, а Джонс попытался заснуть.

# КНИГА ВОСЬМАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ПОЧТИ ДВА ДНЯ

## ГЛАВА I

*Отменно длинная глава касательно чудесного — гораздо длиннее всех наших вводных глав*

Мы приступаем теперь к книге, в которой по ходу повествования нам придется излагать происшествия более странные и удивительные, чем всё, с чем мы встречались до сих пор, и потому в этой вводной или вступительной главе не лишним будет сказать кое-что о литературном жанре, известном под названием чудесного. Как в наших собственных интересах, так и для пользы других попробуем наметить этому жанру определенные границы; и в самом деле, в этом ощущается самая настоятельная потребность, поскольку критики[1] различного склада склонны впадать в самые противоположные крайности: в то время как одни, вместе с господином Дасье, готовы допускать, что вещи невозможные все-таки могут быть вероятными[2], другие настолько скептики в истории и поэзии, что отвергают возможность или вероятность вещей, если им самим не случалось наблюдать ничего похожего.

Итак, во-первых, мне кажется весьма разумным требовать от каждого писателя, чтобы он держался в границах возможного и постоянно помнил, что человек едва ли способен поверить таким вещам, совершить которые ему не под силу. Это убеждение и послужило, может быть, источником множества сказок о древних языческих богах (ибо большинство их поэтического происхожде-

[1] Здесь, как и в большинстве случаев, мы обозначаем этим словом всех вообще читателей.

[2] Счастье для господина Дасье, что он не был ирландцем.

ния). Поэт, желая дать волю своему прихотливому и буйному воображению, прибегал к существам, могущество которых не поддавалось измерению читателей, или, вернее, представлялось им безграничным, так как никакие чудеса в этой области их не поражали. Этот довод часто приводили в защиту чудес Гомера, довод, пожалуй, убедительный,— не потому, как склонен думать мистер Поп, что Улисс рассказывает кучу небылиц феакам — народу, известному своей глупостью, но потому, что сам поэт писал для язычников, для которых поэтические басни были догматами веры. Что касается меня лично, то, признаюсь, сердце у меня сострадательное, и я жалею, что Полифем не ограничился молочной пищей и не сохранил своего глаза, и Улисс не больше меня был опечален, когда товарищи его были превращены в свиней Цирцеей, выказавшей, впрочем, потом столько уважения к человеческой плоти, что, надо полагать, она совершила это превращение отнюдь не ради того, чтобы добыть окорока. От всей души жалею я также, что Гомер не мог знать правила Горация о том, чтобы как можно реже выводить на сцену сверхъестественные силы. Тогда его боги не сходили бы на землю по разным пустякам и не вели бы себя часто так, что не только теряешь к ним всякое уважение, но и начинаешь даже их презирать и насмехаться над ними. Поведение это не могло не оскорблять благочестивых и здравомыслящих язычников и может быть оправдано только предположением, которое я порой почти готов разделить, а именно: что этот знаменитейший поэт умышленно выставлял в смешном виде суеверия своего века и своей страны.

Но я слишком долго задержался на теории, не могущей принести никакой пользы писателю-христианину: ведь если ему нельзя вводить в свои произведения небесные силы, составляющие предмет его веры, то было бы детской наивностью заимствовать из языческой мифологии божества, давно уже развенчанные. Лорд Шефтсбери замечает, что ничто не может быть безжизненнее обращений к музе современных поэтов; он мог бы прибавить, что ничего не может быть нелепее. Современному поэту гораздо приличнее обращаться с воззванием к какой-нибудь балладе, как, по мнению некоторых, делал Гомер, или, вместе с автором Гудибраса, к кружке пива, которая вдохновила, пожалуй, гораздо больше стихов и прозы, чем все воды Гипокрены и Геликона.

Единственные сверхъестественные силы, позволительные для нас, современных писателей,— это духи покойников; но и к ним я советовал бы прибегать как можно умереннее. Подобно мышьяку и другим рискованным медицинским средствам, ими следует пользоваться с крайней осторожностью; и я советовал бы вовсе их не касаться в тех произведениях или тем авторам, для которых геме-

рический хохот читателя является большой обидой или оскорблением.

Что же касается эльфов, фей и прочей фантастики, то я намеренно о них умалчиваю, потому что жаль было бы замыкать в определенные границы чудесные вымыслы тех поэтов, для творчества которых рамки человеческой природы слишком тесны; их произведения надо рассматривать как новые миры, в которых они вправе распоряжаться, как им угодно.

Итак, за крайне редкими исключениями, высочайшим предметом для пера наших историков и поэтов является человек; и. описывая его действия, мы должны тщательно остерегаться, как бы не переступить пределы возможного для него.

Но и возможность сама по себе еще не является для нас оправданием; мы должны держаться также в рамках вероятного. Кажется, Аристотель сказал,— а если не Аристотель, то другой умный человек, авторитет которого будет иметь столько же веса, когда сделается столь же древним,— что для поэта, рассказывающего невероятные вещи, не может служить оправданием то, что рассказываемое происходило в действительности. Но если это правило верно в отношении поэзии, то на историка его распространять не следует: ведь он обязан передавать события так, как они происходили, будь они даже настолько необычайны, что их невозможно принять без большого доверия к истории. Таковы были неудачное нашествие Ксеркса, описанное Геродотом, или успешный поход Александра, рассказанный Аррианом, а в более близкое к нам время — победа, одержанная Генрихом V при Азенкуре, или победа Карла XII, короля шведского, под Нарвой. Все эти события, чем больше над ними размышляешь, тем более кажутся удивительными.

Подобные факты, поскольку они встречаются в ходе повествования и даже составляют существенную его часть, историк не только вправе передавать так, как они действительно случились, но ему было бы вовсе непростительно пропускать или изменять их. Но есть и другие факты, не столь существенные и необходимые, которые, как бы хорошо они ни были засвидетельствованы, можно тем не менее предать забвению в угоду скептицизму читателя. Такова, например, знаменитая история с духом Джорджа Вильерса; вместо того чтобы вводить ее в такое серьезное сочинение, как «История революции», ее лучше бы подарить доктору Дреленкуру: она пришлась бы как раз у места в его «Рассуждении о смерти» наряду с историей о духе миссис Виль.

Правду сказать, если историк будет ограничиваться тем, что действительно происходило, и, несмотря ни на какие свидетельства, беспощадно отбрасывать все, что, по его твердому убежде-

нию, ложно, он будет иногда впадать в чудесное, но его рассказ никогда не покажется невероятным. Он часто будет поражать читателя, но никогда не вызовет в нем той неприязненной недоверчивости, о которой говорит Гораций. Таким образом, лишь пускаясь в область вымысла, мы чаще всего погрешаем против этого правила и выходим за пределы вероятного, которых историк не покидает, пока не изменит самому себе и не начнет писать роман. В этом отношении, однако, историки, повествующие об общественных событиях, имеют преимущество над нами, бытописателями частной жизни. Доверие к историкам удерживается надолго благодаря общеизвестности излагаемых ими фактов; а официальные документы и согласные свидетельства многих авторов подтверждают истину слов их в отдаленных веках. Так, позднейшие поколения все верили в существование Траяна и Антонина, Нерона и Калигулы, и никто не сомневается, что эти герои добродетели и порока были некогда повелителями человечества.

Но мы, имеющие дело с частными лицами, шарящие в самых отдаленных закоулках и раскапывающие примеры добродетели и порока в разных трущобах и глухих углах,— мы находимся в более опасном положении. Так как нас не поддержат и не подтвердят излагаемых нами событий ни общеизвестность их, ни согласные свидетельства, ни документы, то мы должны держаться в границах не только возможного, но и вероятного, в особенности изображая возвышенные добродетели и благородство сердца. Низостям и глупости, как бы ни были они чудовищны, поверят скорее,— наши порочные нравы сильно этому способствуют.

Так, мы спокойно можем рассказать дело Фишера. В течение долгого времени обязанный куском хлеба щедрости мистера Дерби и получив однажды утром из его рук крупную сумму денег, человек этот не удовлетворился ею и, с целью завладеть всем содержимым письменного стола своего друга, спрятался в канцелярии Темпла, из которой был ход в квартиру мистера Дерби. Оттуда он несколько часов подслушивал, как мистер Дерби веселился с друзьями,— у него был званый вечер, на который получил приглашение и Фишер. В течение этого времени в груди Фишера ни разу не шевельнулось чувство признательности, которое удержало бы его от задуманного дела, и когда благодетель его выпустил своих гостей через канцелярию, Фишер вышел из угла, в котором скрывался, и, тихонько прокравшись за своим другом в его комнату, всадил ему в голову пулю из пистолета. Этому все охотно будут верить и тогда, когда кости Фишера сгниют так же, как сгнило его сердце. Пожалуй, не вызовет сомнений даже и то,

что негодяй, явившись через два дня с молодыми дамами в театр на представление «Гамлета», с невозмутимым лицом выслушал восклицание одной из спутниц, не подозревавшей, что убийца так близко: «Боже мой, если бы сейчас тут был человек, убивший мистера Дерби!» — свидетельствуя, таким образом, о большей черствости своей совести, чем у самого Нерона, о котором Светоний говорит, что вскоре после смерти матери сознание виновности начало нестерпимо мучить его; долгое время никакие приветствия солдат, сената и народа не могли ослабить пыток его совести.

Но если, с другой стороны, я скажу читателю, что знал человека, который благодаря проницательности своего ума приобрел большое состояние способом, до него еще никем не применявшимся; что он сделал это приобретение, нисколько не поступаясь своей честностью, и не только никого не обидел и не притеснил, но даже доставил огромные выгоды торговле и значительно увеличил поступления в государственную казну; что одну часть дохода от этого состояния он употребил на произведения искусства, в которых высокое достоинство сочеталось с благородной простотой, а другую — на благотворение людям, единственной рекомендацией которых были их заслуги или их нужда,— доказав, таким образом, наличие у него тонкого вкуса и доброго сердца; что он неутомимо разыскивал бедняков, с достоинством переносящих свои невзгоды, деятельно старался облегчить их участь, а потом заботливо (может быть, даже слишком заботливо) скрывал свои благодеяния; что его дом, обстановка, сады, стол, гостеприимство и благотворительность — все свидетельствовало о благородстве души, из которой оно проистекало, все было богато и со вкусом, но без мишуры, без внешнего блеска; что он исполнял все свои обязанности с пунктуальнейшей точностью; что он был наибожнейшим христианином и лояльнейшим подданным своего государя, самым нежным супругом, добрым родственником, щедрым попечителем прихода, горячим и верным другом, занимательным и остроумным собеседником, снисходительным к слугам и гостеприимным хозяином, благотворителем бедных и доброжелательным ко всем людям; если ко всему этому я прибавлю еще эпитеты мудрого, храброго, изящного, вообще все хвалебные эпитеты, какие существуют на нашем языке,— то, наверное, я вправе буду сказать:

— Quis credet? Nemo, Hercule, nemo:
Vel duo, vel nemo [1].

---

[1] Кто этому поверит? Никто, о Геркулес, никто:
Или двое, или никто *(лат.)*.

И все-таки я знаю человека, наделенного всеми описанными качествами. Но единственный пример (а другого я не знаю) еще не оправдывает нас, если мы пишем для тысяч, никогда не слыхавших об этом человеке или о ком-либо подобном ему. Таких rarae aves[1] следует предоставить авторам эпитафий или какому-либо поэту, который соизволит вплести редкое имя в двустишие или прицепить к рифме, небрежно и мимоходом, не оскорбляя читателя.

Наконец, изображаемые действия должны быть не только по силам человеку и согласны с его природой вообще, но еще и вязаться с характером лица, которое их совершает, ибо то, что может показаться в одном лишь странным и удивительным, в другом становится невероятным и даже невозможным.

Это последнее условие и есть то, что драматические критики называют выдержанностью характера; оно требует от автора очень верного суждения и безукоризненного знания человеческой природы.

Согласно превосходному замечанию одного отличного писателя, никакая страсть не в состоянии увлечь человека к действию, противоположному ее природе, как не может быстрый поток унести лодку против своего течения. Я же осмелюсь утверждать, что поступки человека, находящиеся в прямом противоречии с внушениями его природы, если не невозможны, то, во всяком случае, невероятны и будут казаться в полном смысле слова чудесными. Припишите лучшие дела императора Антонина Нерону или худшие злодеяния Нерона Антонину — разве кто-нибудь этому поверит? Между тем, относя их по принадлежности, мы только дивимся им.

Современные авторы комедий почти все впадают в указанную нами ошибку: герои их обыкновенно в течение первых четырех действий — отъявленные мерзавцы, а героини — откровенные распутницы; но в пятом — первые становятся благороднейшими джентльменами, а последние — скромными и добродетельными женщинами; между тем автор часто вовсе не утруждает себя объяснением этого чудовищного превращения и этой несообразности. Да, для этого и не укажешь другой причины, кроме той, что пьеса подходит к развязке, точно негодяю столь же естественно раскаяться в последнем действии пьесы, как в последнем акте своей жизни, что мы обыкновенно наблюдаем на Тайберне — месте, являющемся как нельзя более подходящей заключительной сценой для некоторых комедий, потому что герои их блещут обыкновенно талантами, которые не только приводят людей к виселице, но

[1] Редких птиц *(лат.)*.

и позволяют им смотреть героями, когда петля уже надета на шею.

С этими немногими ограничениями, мне кажется, каждый писатель вправе вводить чудесное как ему вздумается; и даже чем больше он будет удивлять читателя, не переступая грани вероятного, тем больше привлечет он его внимание, тем больше пленит его. Как замечает один первоклассный гений в пятой главе *Батоса*, «великое искусство поэзии состоит в уменье смешивать правду с вымыслом, с целью сочетать воедино вероятное с удивительным».

Ибо хотя каждый хороший писатель заключает себя в границы вероятного, отсюда, однако, вовсе не следует, что изображаемые им характеры и события должны быть банальны, заурядны и пошлы — похожи на те, что встречаются на каждой улице, в каждом доме и в отделе ежедневной хроники каждой газеты. Ему не возбраняется показывать лица и вещи, о которых значительная часть его читателей, может быть, не имеет никакого понятия. Строго соблюдая вышеописанные правила, писатель выполнил свою обязанность и вправе требовать некоторого доверия со стороны читателя; и если последний этого доверия ему не оказывает, то он повинен в необоснованном скептицизме.

Заговорив о читательском недоверии, я вспомнил, как многочисленная публика, состоящая из писцов и приказчиков, в один голос осудила роль молодой знатной дамы в одной пьесе, найдя ее ненатуральной, а между тем роль эта вызвала полное одобрение со стороны многих дам из высшего общества, одна из которых, особа выдающегося ума, объявила, что видит в ней портрет половины ее знакомых.

## ГЛАВА II,

### *в которой хозяйка гостиницы посещает мистера Джонса*

Простившись со своим другом лейтенантом, Джонс старался смежить глаза, но напрасно: ум его был слишком возбужден и встревожен, для того чтобы его мог убаюкать сон. Насладившись или, скорее, измучив себя мыслями о Софье, Джонс пролежал до самого утра и, наконец, потребовал чаю; по этому случаю хозяйка сама удостоила его своим посещением.

Тут она впервые его увидела или, по крайней мере, обратила на него внимание; услышав от лейтенанта, что Джонс, по всей вероятности, джентльмен из хорошего общества, она решила оказать ему всяческое уважение, ибо гостиница, которую она содержала, была одной из тех, где, говоря языком объявлений, джентльмены могут получить за деньги самый заботливый уход.

Приступив к приготовлению чая, она разрешилась следующей речью:

— Вот жалость-то! Такой красивый молодой джентльмен и ценит себя так мало, что связывается с солдатьем! Они, разумеется, тоже называют себя джентльменами, но, как говорил мой первый муж, не худо бы этим джентльменам помнить, что мы за них денежки платим. Да, тяжеленько нам, хозяевам гостиниц: и плати за них, да еще принимай и угощай. Двадцать человек у меня только что переночевало, не считая офицеров; но, по мне, уж лучше простые солдаты, чем офицеры: ведь этим франтам ничем не угодишь. А взглянули бы вы, сэр, на счет: сущие пустяки! Ей-богу, куда меньше хлопот с семейством какого-нибудь сквайра, с которого получишь за ночлег шиллингов сорок или пятьдесят, не считая за лошадей. А ведь каждый такой офицеришка считает себя не хуже сквайра с годовым доходом в пятьсот фунтов! Право, смешно смотреть, как солдаты увиваются вокруг них, приговаривая: «Ваше благородие, ваше благородие». Благодарю покорно за такое «благородие», вся цена ему — один шиллинг в день! А уж как ругаются между собой, слушать страшно! Нет, не жди добра от таких дурных людей! Вот и с вами один из них поступил так грубо. Я наперед знала, как хорошо остальные будут сторожить его: все это одна шайка; и если б даже ваша жизнь была в опасности,— слава богу, вы поправились! — то таким негодяям это было бы нипочем: выпустили бы убийцу. Господи, прости им! Вот уж ни за что на свете не взяла бы такого греха на душу. Но хоть вы, слава богу, и поправляетесь, на злодея все-таки найдется управа. Вы обратитесь к ходатаю Смóлу: побожусь, что он его выживет из Англии, если только тот и сам не улепетнул; ведь такие молодцы сегодня здесь, а завтра — поминай как звали! Надеюсь, однако, вперед вы будете поумнее и вернетесь к своим; бьюсь об заклад, все они в горе, что вы от них ушли; а если б еще знали, что случилось,— не дай бог! Пусть уж лучше не знают... Полно, полно, мы понимаем, в чем дело! Что за беда — не одна, так другая: у такого пригожего молодца недостатка в девицах не будет. Будь я на вашем месте, так пусть хоть первая красавица была передо мной, ни за что не пошла бы в солдаты из-за нее... Да не краснейте так! (Джонс действительно покраснел.) А вы думали, сэр, что я ничего не знаю, ничего не слышала о мисс Софье?

— Как?! — воскликнул Джонс, вскакивая со своего места.— Вы знаете мою Софью?

— Знаю ли? Еще бы! — отвечала хозяйка.— Сколько раз ночевала она под этой кровлей.

— С теткой, не правда ли? — спросил Джонс.

— Ну да, вот именно,— сказала хозяйка.— Да, да, да, я прекрасно знаю старую даму. Какая, однако, красавица мисс Софья, вот уже что правда, то правда.

— Красавица! — воскликнул Джонс.— О, небо!

Подобна ангельской ее краса.
В ней все небесное воплощено:
Любезность, чистота, правдивость,
И радость вечная, и вечная любовь.

Мог ли я воображать, что вы знаете мою Софью?!

— Да вам хоть бы вполовину знать ее так, как я знаю,— сказала хозяйка.— Небось дорого бы дали, чтобы посидеть у ее постели? Ах, что за прелесть ее шейка! Так вот, эта красавица лежала в той самой постели, где вы сейчас лежите.

— Здесь?! — воскликнул Джонс.— Здесь лежала Софья?

— Да, да, здесь,— отвечала хозяйка,— на этой самой постели, где желаю, чтоб и сейчас она очутилась; да она и сама этого желала бы, уж будьте уверены, ведь она произносила при мне ваше имя.

— Неужели? Она произносила имя бедного Джонса? Нет, вы мне льстите, ни за что этому не поверю.

— Ей-богу, произносила, клянусь спасением своей души! Пусть дьявол возьмет меня, если я сказала хоть одно слово неправды! Собственными ушами слышала, как она называла мистера Джонса; учтиво и скромно, не буду лгать, только я ясно видела, что думает она куда больше, чем говорит.

— Дорогая хозяюшка! — воскликнул Джонс.— Если б вы знали, как я недостоин того, что она обо мне думает! Она — сама ласка, сама любезность, сама доброта! Зачем я, несчастный, на свет родился, чтоб быть причиной хоть минутной тревоги ее нежного сердца? Зачем надо мной тяготеет такое проклятие? Ведь я готов претерпеть все муки и все бедствия, какие только может придумать для человека самый злой демон, лишь бы только доставить ей какую-нибудь радость. Пытка не была бы для меня пыткой, если бы только я знал, что она счастлива.

— Вот, можете себе представить,— подхватила хозяйка,— я сама тоже ей говорила, что вы любите ее верной любовью.

— Но скажите, пожалуйста, сударыня, где и когда вы слышали обо мне? Ведь я никогда здесь не бывал и не помню, чтобы где-нибудь вас видел.

— Да и не можете помнить,— отвечала хозяйка,— ведь вы были совсем крошкой, когда я держала вас на коленях в доме сквайра.

— Как в доме сквайра? — удивился Джонс.— Так вы знаете и доброго, великодушного мистера Олверти?

— Ну, понятно знаю. Кто же в вашей стороне его не знает?

— Слух о его доброте разнесся, верно, и дальше,— отвечал Джонс,— но одно только небо знает его вполне — знает всю его благость, которая берет свое начало в небесах и ниспослана на землю в пример и подражание нам, грешным. Люди не способны понять его божественную доброту и недостойны ее, и меньше всех достоин ее я. Я, вознесенный им на такую высоту, бедняк низкого происхождения, взятый им к себе в дом, усыновленный им и воспитанный, как родное дитя,— я посмел своими безрассудствами прогневать его, я навлек на себя его немилость! Да, я наказан по заслугам и не буду настолько неблагодарен, чтобы считать это наказание несправедливым. Да, я заслужил, чтобы меня выгнали вон. Теперь, сударыня, я думаю, вы не будете порицать меня за то, что я пошел в солдаты, особенно при том богатстве, которое лежит у меня в кармане.

С этими словами он встряхнул своим кошельком, который показался хозяйке еще более тощим, чем был на самом деле.

Хозяйка, как говорится, упала с неба на землю при этом сообщении. Она холодно отвечала, что, конечно, каждый сам лучше видит, как ему поступить в том или ином положении.

— Но, чу! — воскликнула она.— Мне послышалось, будто кто-то зовет. Сейчас, сейчас! Дьявол бы побрал всю нашу челядь: глухари какие-то! Придется самой спуститься. Если хотите еще покушать, я вам пришлю служанку. Сейчас!

И с этими словами хозяйка, не простившись, вылетела вон из комнаты. Люди низкого звания очень скупы насчет почтения; правда, они охотно отпускают его даром особам знатным, но никогда этого не делают по отношению к равным себе, не будучи вполне уверены, что им хорошо заплатят за труды.

## ГЛАВА III,

*в которой хирург второй раз появляется на сцене*

Чтобы читатель не впал в заблуждение, вообразив, будто хозяйка знала больше, чем ей было известно на самом деле, и не удивился, откуда она столько знает, мы должны, прежде чем идти дальше, сказать ему, что из разговора с лейтенантом она узнала, что причиной ссоры было имя Софьи; что касается остальных ее сведений, то проницательный читатель и сам догадается из предыдущей сцены, откуда она их почерпнула. Ко всем ее достоинствам

примешивалось большое любопытство, и она никого не отпускала из дому, не разведав, сколько возможно, о его имени, семье и состоянии.

Как только она ушла, Джонс, позабыв осудить ее поведение, предался размышлениям на тему о том, что он лежит на той самой постели, где, как ему было сказано, лежала его дорогая Софья. Это пробудило в нем тысячу нежных и приятных мыслей, на которых мы остановились бы подольше, если бы не были убеждены, что только самая ничтожная часть наших читателей способна влюбиться, как наш герой. В этом состоянии застал его хирург, пришедший перевязать рану. Найдя пульс больного расстроенным и услышав, что он не спал, доктор объявил, что положение его очень опасно; он боялся лихорадки и хотел предупредить ее кровопусканием, но Джонс воспротивился, сказав, что не желает больше терять крови.

— Попрошу вас, доктор, только положить мне повязку, и поверьте, что через два-три дня я буду совершенно здоров.

— Хорошо, если мне удастся вылечить вас месяца через два,— отвечал доктор.— Ишь какой прыткий! Нет, от таких контузий скоро не поправляются. Позвольте вам заметить, сэр, что я не привык получать указания от своих пациентов и непременно должен пустить вам кровь, прежде чем делать перевязку.

Джонс, однако, ни за что не желал дать своего согласия, и доктор в конце концов уступил, сказав, однако, что не отвечает за последствия и надеется, что в случае осложнений Джонс не откажется подтвердить, какой он давал ему совет. Джонс обещал.

Доктор ушел в кухню и резко пожаловался хозяйке на непослушание больного, не позволившего пустить ему кровь, несмотря на лихорадку.

— Ну да, обжорную лихорадку,— сказала хозяйка.— Сегодня за завтраком он уписал два большущих куска хлеба с маслом.

— Очень вероятно,— отвечал хирург,— мне известны случаи аппетита во время лихорадки, и это легко объяснить: кислота, вызванная лихорадочной материей, может раздражить нервы грудобрюшной преграды и тем самым возбудить алчность, которую нелегко отличить от нормального аппетита, но пища не переваривается, не усваивается желудочным соком и вследствие этого разъедает отверстия сосудов и усиливает лихорадочные симптомы. Отсюда я заключаю, что положение джентльмена опасное, и если не пустить кровь, то, боюсь, он не выживет.

— Каждый должен рано или поздно умереть,— сказала хозяйка,— это не мое дело. Надеюсь, доктор, вы не заставите меня

держать его, когда будете бросать кровь? Но вот что шепну вам на ушко: прежде чем приступить к операции, не худо бы подумать, кто будет вашим казначеем.

— Казначеем?! — воскликнул пораженный доктор.— Разве я имею дело не с джентльменом?

— Я сама так думала,— сказала хозяйка,— но, как говаривал мой первый муж, человек не всегда таков, каким с виду кажется. Он гол как сокол, уверяю вас. Вы, пожалуйста, не подавайте виду, что я вам это сказала, но я считаю, что люди деловые не должны скрывать друг от друга такие вещи.

— И этакий проходимец посмел давать мне указания! — с гневом воскликнул доктор.— Неужели я позволю издеваться над моим искусством субъекту, который не в состоянии заплатить мне?! Большое вам спасибо, что вы вовремя меня предупредили. Посмотрим теперь, даст он пустить себе кровь или нет!

Тут доктор побежал наверх, с шумом распахнул дверь и разбудил беднягу Джонса, которому наконец удалось сладко заснуть и увидеть во сне Софью.

— Дадите вы пустить себе кровь или нет? — в бешенстве закричал доктор.

— Я уже вам сказал, что не дам,— отвечал Джонс,— и искренне жалею, что вы не обратили внимания на мой ответ: ведь вы прервали самый сладкий сон в моей жизни.

— Вот так многие проспали свою жизнь,— сказал доктор.— Сон не всегда полезен, так же как и пища. Однако в последний раз спрашиваю вас: дадите вы пустить себе кровь?

— В последний раз отвечаю вам: не дам.

— В таком случае я умываю руки,— сказал доктор,— и прошу заплатить мне за труды. За два визита по пяти шиллингов, да по пяти шиллингов за две перевязки, да полкроны за пускание крови.

— Надеюсь, вы не оставите меня в этом положении? — сказал Джонс.

— Непременно оставлю,— отвечал доктор.

— В таком случае,— сказал Джонс,— вы обошлись со мной по-свински, и я не заплачу вам ни гроша.

— Прекрасно! — воскликнул доктор. — Слава богу, что дешево отделался. И дернула же хозяйку нелегкая послать меня к такому проходимцу!

С этими словами доктор выбежал из комнаты, а его пациент, повернувшись на другой бок, скоро снова заснул; но упоительный сон, к несчастью, больше ему не приснился.

## ГЛАВА IV,

*в которой выводится один из забавнейших цирюльников, какие увековечены в истории, не исключая багдадского цирюльника и цирюльника в «Дон Кихоте»*

Часы пробили пять, когда Джонс проснулся; он чувствовал себя настолько освеженным и подкрепленным семичасовым сном, что решил встать и одеться; с этой целью он раскрыл свой чемодан и достал чистое белье и костюм; но прежде чем одеться, накинул халат и спустился в кухню спросить чего-нибудь, что успокоило бы поднявшуюся в желудке тревогу.

Встретив хозяйку, он вежливо с ней поздоровался и спросил, нет ли чего-нибудь пообедать.

— Пообедать? — отвечала она.— Подходящее время думать об обеде! Готового нет ничего, да и огонь уже почти потух.

— Хорошо,— сказал Джонс,— но надо же мне чего-нибудь поесть, все равно чего. Сказать вам правду, отроду я не бывал так голоден.

— Что же, я могу предложить вам кусок холодной говядины с морковью,— сказала хозяйка.

— Ничего не может быть лучше,— отвечал Джонс.— Но вы очень обязали бы меня, если бы велели ее разогреть.

Хозяйка согласилась и сказала с улыбкой, что рада видеть его здоровым. Действительно, обращение нашего героя невольно располагало к нему; хозяйка же, в сущности, была женщина незлая, только очень любила деньги и ненавидела все, имевшее хоть какую-нибудь видимость бедности.

Джонс вернулся в свою комнату переодеться, пока готовился обед, а вслед за ним явился и цирюльник, которого он требовал.

Этот цирюльник, известный под именем Маленького Бенджамина, был большой чудак и любитель острых словечек, из-за которых частенько подвергался разным мелким неприятностям вроде пощечин, пинков, перелома костей и т. п. Шутку понимает не каждый; да и тем, кто ее понимает, часто не нравится быть ее предметом. Но этот недостаток был в нем неизлечим, сколько ни платился он за него,— как только приходила ему на ум острота, он непременно ее выкладывал, нисколько не соображаясь ни с лицами, ни с местом, ни с временем.

Было много и других особенностей в его характере, но я не буду их перечислять, потому что читатель сам легко их увидит при дальнейшем знакомстве с этой необыкновенной личностью.

Желая, по понятным причинам, закончить свой туалет поскорее, Джонс находил, что брадобрей чересчур долго возится со своими приготовлениями, и попросил его поторопиться; на это

цирюльник с большой серьезностью — он ни при каких обстоятельствах не растягивал лицевых мускулов — заметил:

— Festina lente[1]— пословица, которую я заучил задолго до того, как прикоснулся к бритве.

— Да вы, дружище, я вижу, ученый,— сказал Джонс.

— Жалкий ученый,— отвечал цирюльник.— Non omnia possumus omnes[2].

— Опять! — воскликнул Джонс.— Я думаю, вы можете говорить и стихами.

— Извините, сэр,— сказал цирюльник, — non tanto me dignor honore[3],— и, приступив к бритью, продолжал: — С тех пор как я стал разводить мыльную пену, сэр, я мог открыть только две цели бритья: одна заключается в том, чтобы вырастить бороду, другая — чтобы отделаться от нее. Полагаю, сэр, что еще недавно вы брились ради первой из этих целей. Можете поздравить себя с успехом, так как о бороде вашей можно сказать, что она tondenti gravior[4].

— А я полагаю,— сказал Джонс,— что ты большой забавник.

— И сильно ошибаетесь, сэр,— отвечал цирюльник. — Я усердно занимаюсь философией; hinc illaelac rimae[5], сэр, в том все мое несчастье. Слишком большая любовь к наукам погубила меня.

— Да, дружище,— сказал Джонс,— ты действительно ученее своих собратьев по ремеслу; но я не могу понять, почему твоя ученость повредила тебе?

— Увы, сэр,— отвечал брадобрей,— из-за нее я лишился наследства. Отец мой был танцмейстер; и так как я научился читать раньше, чем танцевать, то он невзлюбил меня и оставил все до копейки другим своим детям... Угодно вам также и виски?.. Прошу прощения, сэр, только я нахожу здесь hiatus in manuscriptis[6]. Я слышал, вы собираетесь на войну, но теперь вижу, что эти слухи вздорны.

— Почему же?

— Потому что вы, я полагаю, сэр, настолько рассудительны, что не пойдете сражаться с разбитой головой,— это было бы то же, что везти уголь в Ньюкасл.

— Ей-богу, ты большой чудак,— воскликнул Джонс,— и мне ужасно нравятся твои шутки. Я был бы очень рад, если бы ты

---

[1] Тише едешь — дальше будешь; буквально: спеши медленно *(лат.)*.
[2] Не всякому все доступно *(лат.)*.
[3] Такой чести не считаю себя достойным *(лат.)*.
[4] Плохо поддается бритве *(лат.)*.
[5] Отсюда эти слезы *(лат.)*.
[6] Пробел в рукописях *(лат.)*.

зашел ко мне после обеда и выпил со мной чарочку; мне хочется поближе с тобой познакомиться.

— О, я готов оказать вам в двадцать раз большую любезность, если вам будет угодно принять ее.

— Что ты хочешь этим сказать, дружище? — спросил Джонс.

— Я с удовольствием выпью с вами целую бутылку. Ужасно люблю доброту! И если вы нашли меня забавником, то или я ничего не смыслю в лицах, или вы добрейший джентльмен на свете.

Приодевшись понаряднее, Джонс сошел вниз; сам прекрасный Адонис не был, может быть, пригожее его. И все-таки красота его не оказала никакого действия на хозяйку: не обладая наружностью Венеры, эта женщина не обладала также ее вкусом. Какое счастье было бы для горничной Нанни, если бы она смотрела глазами хозяйки; но в какие-нибудь пять минут она по уши влюбилась в Джонса, что стоило ей потом многих вздохов.

Эта Нанни была чудо как хороша собой и чрезвычайно скромна; она отказала уже одному трактирному слуге и нескольким молодым фермерам по соседству, но ясные очи нашего героя в один миг растопили ее ледяное сердце.

Когда Джонс вошел в кухню, стол для него еще не был накрыт; да его и не к чему было накрывать, потому что обед и огонь, на котором он должен был готовиться, находились еще in status quo[1]. Такое разочарование вывело бы из себя не одного философа, но Джонс остался спокоен. Он только мягко упрекнул хозяйку, сказав, что если говядину так трудно разогреть, то он съест ее холодной. Почувствовала ли хозяйка на этот раз сострадание, стыд или что другое, не могу сказать, только она первым делом резко выбранила слуг за неисполнение приказания, которого никогда не давала, а потом, велев слуге накрыть стол в *Солнце*, принялась за дело всерьез и скоро приготовила обед.

*Солнце*, куда проводили Джонса, подлинно получило свое название, как lucus a non lucendo: это была комната, куда солнце едва ли когда-нибудь заглядывало,— можно сказать, самая худшая комната в доме. И счастье Джонса, что для него нашлась хоть такая. Впрочем, он был теперь слишком голоден, чтобы замечать какие-нибудь недостатки, но, насытившись, велел подать бутылку вина в лучшее помещение и выразил некоторое неудовольствие, что его привели в такой чулан.

Слуга исполнил его приказание, а через некоторое время явился и цирюльник, который не заставил бы себя так долго ждать, если бы не заслушался в кухне хозяйку, рассказывавшую всем, кто там был, историю бедняги Джонса, одну часть которой она

[1] В прежнем положении *(лат.)*.

узнала от него, а другую остроумно сочинила сама. По ее словам выходило, что «Джонс бедный безродный юноша, которого взяли из милости в дом сквайра Олверти, обучили прислуживать, а теперь выгнали вон за нехорошие проделки, главным образом за шашни с молодой госпожой и, верно, также за кражу,— иначе откуда бы взялись те гроши, что у него есть?».

— Да уж, джентльмен, нечего сказать! — заключила она свою речь.

— Вот как! Слуга сквайра Олверти? — воскликнул цирюльник.— А как его зовут?

— Он мне сказал, что его зовут Джонс,— отвечала хозяйка,— но, может быть, это выдуманное имя. Он говорит даже, будто сквайр обращался с ним, как с родным сыном, хотя теперь и поссорился с ним.

— Если его зовут Джонс, то он сказал вам правду,— заметил цирюльник,— у меня есть родственники в той стороне. Говорят даже, что он его сын.

— Почему же тогда он не зовется по отцу?

— Не могу вам сказать,— отвечал цирюльник,— только многие сыновья зовутся не по отцам.

— Ну, если бы я знала, что он сын джентльмена, хоть и побочный, я обошлась бы с ним по-другому: ведь многие из таких побочных детей становятся большими людьми; и, как говаривал мой первый муж,— никогда не оскорбляй гостя-джентльмена.

## ГЛАВА V

*Диалог между мистером Джонсом и цирюльником*

Этот разговор происходил частью в то время, когда Джонс обедал в чулане, частью же, когда он ожидал цирюльника в лучшем помещении. Тотчас по его окончании мистер Бенджамин, как мы сказали, явился к Джонсу и получил приглашение садиться. Налив гостю стакан вина, Джонс выпил за его здоровье, назвав его: doctissime tonsorum[1].

— Ago tibi gratias, domine[2],— отвечал цирюльник и, пристально посмотрев на Джонса, произнес серьезным тоном и с кажущимся изумлением, точно узнавая в его лице когда-то виденные черты: — Разрешите мне спросить вас, сэр, не Джонсом ли вас зовут?

---

[1] Ученнейший из цирюльников *(лат.)*.

[2] Благодарю тебя, господин *(лат.)*.

— Да, меня зовут Джонс.

— Pro deum atque hominum fidem![1] — воскликнул цирюльник.— Какие странные бывают случаи! Я ваш покорнейший слуга, мистер Джонс. Вижу, вы меня не узнаете, и немудрено: вы видели меня только раз и были тогда совсем еще ребенком. Скажите, пожалуйста, сэр, как поживает почтеннейший сквайр Олверти? Как себя чувствует ille optimus omnium patronus?[2]

— Я вижу, вы действительно меня знаете,— сказал Джонс,— но, к сожалению, не могу вас припомнить.

— В этом нет ничего удивительного,— отвечал Бенджамин.— Меня удивляет только, как это я не узнал вас раньше: вы ни капельки не изменились. Скажите, сэр, не будет с моей стороны нескромностью спросить вас, куда держите путь?

— Налейте вина, господин цирюльник,— отвечал Джонс,— и не задавайте больше вопросов.

— Право, сэр, я вовсе не желаю быть назойливым, и надеюсь, вы не принимаете меня за человека, страдающего нескромным любопытством: этого порока никто мне не поставит в вину; но, извините меня, если такой джентльмен, как вы, путешествует без прислуги, то, надо предполагать, он хочет остаться, как говорится, in casu incognito,[3] и мне, может быть, не следовало произносить ваше имя.

— Признаюсь,— сказал Джонс,—я не ожидал, чтобы меня так хорошо знали в этих местах; все же, по некоторым соображениям, вы меня обяжете, если никому не назовете моего имени, пока я отсюда не уйду.

— Pauca verba[4],— отвечал цирюльник,— и я был бы очень доволен, если бы никто, кроме меня, не знал вас здесь, потому что у иных людей очень длинные языки; но, уверяю вас, я умею хранить тайну. В этом и враги мои отдадут мне справедливость.

— А все-таки, господин цирюльник, ваши собратья по ремеслу, кажется, не отличаются большой сдержанностью,— заметил Джонс.

— Увы, сэр! — отвечал Бенджамин.— Non, si male nunc, et olim sic erit[5]. Уверяю вас, я не родился цирюльником и не готовился им быть. Большую часть жизни я провел между джентльменами и, хоть я сам это говорю, понимаю кое-что в благородном обращении. И если бы вы удостоили меня своим доверием, как

---

[1] О, боги и смертные! *(лат.)*

[2] Лучший из всех покровителей? *(лат.)*

[3] Инкогнито *(лат.)*.

[4] Поменьше слов *(лат.)*.

[5] Если нынче дела обстоят плохо, отсюда не следует, что так будет и впредь *(лат.)*.

некоторых других, то я доказал бы вам, что получше их умею хранить тайну. Я не стал бы трепать ваше имя в кухне при всех; потому что, скажу вам, сэр, кое-кто поступил в отношении вас некрасиво: не только объявлено во всеуслышание то, что вы сами рассказали о ссоре с сквайром Олверти, но и прибавлено еще много собственного вранья, уж это я знаю наверное.

— Вы меня очень удивляете,— сказал Джонс.

— Честное слово, сэр,— отвечал Бенджамин,— я говорю правду, и мне не надо пояснять вам, что речь идет о хозяйке. Рассказ ее сильно взволновал меня; надеюсь, все это ложь. Я ведь отношусь к вам с большим уважением, уверяю вас, и всегда вас уважал с тех пор, как вы показали свою доброту в поступке с Черным Джорджем, о котором все кругом говорили и многие мне писали. Вы снискали этим всеобщую любовь. Простите же меня: я задал вам свои вопросы, потому что был искренне огорчен рассказом хозяйки. Праздное любопытство мне вовсе чуждо, я люблю добрых людей, и отсюда проистекает amoris abundantia erga te[1].

Всякое изъявление дружбы легко завоевывает доверие человека, находящегося в несчастье; не удивительно поэтому, что Джонс, который, помимо того, что был в беде, отличался еще чрезвычайно открытым сердцем, поверил словам Бенджамина и проникся к нему искренним расположением. Обрывки латыни, приводимые иногда Бенджамином довольно кстати, хоть и не свидетельствовали о глубоких литературных познаниях, однако показывали, что он стоит выше обыкновенного цирюльника, о том же говорило все его поведение. Джонс поверил всему, что Бенджамин сообщил о своем происхождении и воспитании, так что после долгого упрашивания наконец сказал:

— Раз уж вы, друг мой, слышали столько обо мне и желаете знать всю правду, то я расскажу вам все, что произошло, если у вас есть терпение выслушать.

— Терпение? — воскликнул Бенджамин.— Да я готов слушать вас без конца и от всего сердца благодарю за честь, которую вы мне оказываете!

Джонс рассказал ему все, как было, опустив только несколько подробностей, а именно: обо всем, что случилось в день его поединка с Твакомом. Он закончил упоминанием о своем решении поступить в матросы, переменить которое заставили его и привели сюда вести о мятеже в Шотландии.

Бенджамин весь обратился в слух и ни разу не прервал рассказчика; но когда Джонс кончил, он не удержался от замечания,

---

[1] Великая любовь к тебе *(лат.)*.

что враги, должно быть, наклепали на него что-нибудь поважнее и восстановили против него мистера Олверти, иначе такой добрый человек никогда не выгнал бы из дому своего воспитанника, которого так сердечно любил. На это Джонс отвечал, что он не сомневается в том, что были пущены в ход низкие происки с целью погубить его.

И действительно, всякий, вероятно, сделал бы то же замечание на месте цирюльника: ведь из рассказа Джонса не видно было, почему он заслужил наказание, его поступки не могли теперь представиться в том невыгодном свете, в каком они были изображены Олверти. Джонс не мог также ничего сообщить о тех наветах на него, которые время от времени поступали к Олверти, потому что сам ничего о них не знал; равным образом, как мы уже сказали, он умолчал в своем рассказе о некоторых существенных фактах. Словом, все рисовалось теперь в столь благоприятных для Джонса красках, что сама злоба едва ли могла бы найти какой-нибудь повод для его обвинения.

Нельзя сказать, чтобы Джонс хотел скрыть или приукрасить истину, напротив — осуждение собственных поступков, за которые он был наказан мистером Олверти, ему было бы приятнее, чем упрек в несправедливости по адресу этого достойного человека. Но так случилось, и так будет всегда: как бы ни был человек честен, а отчет о собственном поведении невольно окажется у него благоприятным; пороки выходят из его уст очищенными и, подобно хорошо процеженной мутной жидкости, оставляют всю свою грязь внутри. Факты могут быть одни и те же, но побудительные причины, обстановка и следствия настолько различны, когда кто-нибудь сам рассказывает свою историю и когда ее рассказывает недоброжелатель, что мы едва соглашаемся признать, что в обоих случаях речь идет об одном и том же.

Хотя цирюльник проглотил историю Джонса с большой жадностью, но она не дала ему полного удовлетворения. Было еще одно обстоятельство, которое, несмотря на всю его нелюбознательность, ему страшно хотелось узнать. Джонс говорил о своей любви и о соперничестве с Блайфилом, но тщательно избегал назвать имя дамы. Вот почему, после некоторого колебания и многократно откашлявшись, Бенджамин наконец попросил позволения узнать имя той, которая была, по-видимому, главной причиной всех несчастий.

Джонс помолчал с минуту и сказал:

— Так как я столько уже вам доверил и так как имя ее, боюсь, стало известно уже слишком многим, то я не скрою его и от вас. Ее зовут Софья Вестерн.

— Pro deum atque hominum fidem! У сквайра Вестерна уже взрослая дочь?

— Да, — отвечал Джонс, — и ничто в мире не может сравниться с ней. Такой красоты еще никто не видывал. Но красота — самое меньшее из ее совершенств. Что за ум! Что за доброта! За целый век мне не перечесть и половины ее достоинств!

— У мистера Вестерна взрослая дочь! — продолжал изумляться цирюльник.— Я помню отца еще мальчиком; да, tempus edax rerum[1].

Вино было выпито, и цирюльник непременно хотел поставить от себя бутылку. Но Джонс наотрез отказался, сказав, что уже и без того выпил лишнее и теперь хочет вернуться к себе в комнату и достать какую-нибудь книгу.

— Книгу? — подхватил Бенджамин.— Какую же, латинскую или английскую? У меня есть интересные на обоих языках: Erasmi «Colloquia», Ovid «De Tristibus», «Gradus ad Parnassum», есть тоже несколько английских; правда, они немного потрепаны, но превосходные книги: большая часть хроник Стоу, шестой том Гомера в переводе Попа, третий том «Зрителя», второй том римской истории Ичарда, самоучитель ремесл, «Робинзон Крузо», «Фома Кемпийский» и два тома сочинений Тома Брауна.

— Этого писателя я никогда не читал,— сказал Джонс,— дайте мне, пожалуйста, один том.

Цирюльник заявил, что книга доставит ему большое удовольствие, так как считал автора ее одним из величайших умов, какие когда-либо порождала Англия. Дом Бенджамина был в двух шагах, и он в одну минуту сбегал за сочинениями Тома Брауна; Джонс еще раз строжайше наказал ему хранить тайну, Бенджамин поклялся, и они расстались: цирюльник ушел домой, а Джонс — к себе в комнату.

## ГЛАВА VI,

*в которой раскрываются новые таланты мистера Бенджамина и будет сообщено, кто этот необыкновенный человек*

На следующее утро Джонс почувствовал некоторое беспокойство по случаю дезертирства хирурга: он боялся, как бы не вышло осложнений, если рана не будет перевязана, поэтому спросил у слуги, нет ли поблизости других хирургов. Слуга сказал, что есть один, и недалеко, только он не любит, когда к нему обращаются после других врачей.

[1] Всепожирающее время *(лат.)*.

— Позвольте, сударь, дать вам совет,— прибавил он,— никто в целой Англии не перевяжет вам раны лучше, чем ваш вчерашний цирюльник. Он считается у нас в околотке первым искусником, когда надо резать или кровь бросить. Только три месяца, как он здесь, а уже вылечил несколько тяжелых больных.

Слуга тотчас же был послан за Бенджамином, и тот, узнав, зачем его требуют, приготовил все необходимое и явился к Джонсу. но его фигура и осанка при этом настолько отличались от вчерашнего, когда он держал таз под мышкой, что в нем едва можно было признать того же самого человека.

— Я вижу, tonsor[1], вы знаете несколько ремесел,— сказал Джонс.— Отчего вы мне не сообщили об этом вчера?

— Хирургия,— важно отвечал Бенджамин,— профессия, а не ремесло. Я не сообщил вам вчера, что занимаюсь этим искусством, потому что считал вас на попечении другого джентльмена, а я не люблю становиться поперек дороги моим собратьям. Ars omnibus communis[2]. А теперь, сэр, позвольте осмотреть вашу голову; пощупав ваш череп, я скажу вам мое мнение.

Джонс не очень доверял этому новому эскулапу, однако позволил ему снять повязку и взглянуть на рану. Осмотрев ее, Бенджамин начал охать и качать головой. Тогда Джонс довольно раздраженным тоном попросил его не валять дурака и сказать, как он его находит.

— Прикажете, чтобы я отвечал как хирург или как друг? — спросил Бенджамин.

— Как друг и серьезно,— сказал Джонс.

— Так даю вам честное слово,— отвечал Бенджамин,— что потребовалось бы большое искусство, чтобы помешать вам сделаться совершенно здоровым после двух-трех перевязок; и если вы позволите применить мое средство, то я ручаюсь за успех.

Джонс дал согласие, и цирюльник наложил пластырь.

— А теперь, сэр,— сказал Бенджамин,— разрешите мне снова сделаться профессионалом. Производя хирургические операции, человек должен напускать на себя важный вид, иначе никто не станет к нему обращаться. Вы не можете себе представить, сэр, как много значит важный вид при исполнении важной роли. Цирюльнику позволительно смешить вас, но хирург должен заставить вас плакать.

— Господин цирюльник, или господин хирург, или господин цирюльник-хирург...— начал Джонс.

---

[1] Цирюльник *(лат.)*.

[2] Искусство — всеобщее достояние *(лат.)*.

— Дорогой мой,— прервал его Бенджамин.— Infandum, regina, jubes renovare dolorem[1]. Вы напомнили мне о жестоком разобщении двух связанных между собой братств, губительном для них обоих, как и всякое разъединение, по старинной пословице: vis unita fortior[2], и найдется немало представителей того и другого братства, которые способны их совместить. Какой удар это был для меня, соединяющего в себе оба звания!

— Ладно, называйтесь как вам угодно,— продолжал Джонс,— только вы, несомненно, один из самых забавных людей, каких я когда-либо встречал; в вашей жизни, наверно, есть немало удивительного, и, согласитесь, я имею некоторое право о ней узнать.

— Я с вами согласен,— отвечал Бенджамин,— и охотно расскажу вам о себе, когда у вас будет досуг послушать, потому что, должен вас предупредить, это потребует немало времени.

Джонс сказал на это, что никогда у него не было столько досуга, как сейчас.

— Хорошо, в таком случае я вам повинуюсь,— сказал Бенджамин,— но сначала разрешите запереть дверь, чтобы никто нам не помешал.

Он запер дверь и, подойдя с торжественным видом к Джонсу, сказал:

— Для начала должен объявить вам, сэр, что вы мой злейший враг.

Джонс так и привскочил при этом неожиданном заявлении.

— Я ваш враг, сэр? — сказал он с крайним изумлением и даже несколько нахмурившись.

— Нет, нет, не сердитесь,— успокоил его Бенджамин,— потому что, уверяю вас, сам я нисколько не сержусь. Вы совершенно неповинны в намерении причинить мне зло, потому что были тогда ребенком; вы тотчас разгадаете загадку, как только я назову свое имя. Вы никогда не слыхали, сэр, о некоем Партридже, который имел честь прослыть вашим отцом и несчастье лишиться из-за этой чести куска хлеба?

— Как же, слышал,— отвечал Джонс,— и всегда считал себя его сыном.

— Этот Партридж — я, сэр, — сказал Бенджамин, — но я освобождаю вас от всяких сыновних обязанностей, потому что, смею вас уверить, вы не сын мой.

— Как! — воскликнул Джонс.— Возможно ли, чтобы ложное подозрение навлекло на вас тяжелые последствия, так хорошо мне известные?

---

[1] Невыразимую скорбь обновить велишь ты, царица *(лат.)*.

[2] Соединенные силы мощнее *(лат.)*.

— Возможно,— отвечал Бенджамин,— потому что так оно и есть. Но хотя для человека довольно естественно ненавидеть даже невинные причины своих страданий, однако у меня другая натура. Как я уже сказал, я полюбил вас с тех пор, как услышал о вашем поступке с Черным Джорджем; и наша необыкновенная встреча служит ручательством, что вам суждено вознаградить меня за все невзгоды, которые я претерпел из-за вас. Вдобавок, накануне нашей встречи мне снилось, что я споткнулся о табурет и не ушибся,— явно благоприятное предзнаменование; а прошедшую ночь мне опять снилось, будто я еду позади вас на белой, как молоко, кобыле,— тоже превосходный сон и предвещает мне большое счастье, которое я решил не упускать, если только вы не будете жестоки и не откажете мне.

— Я был бы очень рад, если бы в моей власти было вознаградить вас, мистер Партридж, за все, что вы претерпели из-за меня, но сейчас я не вижу к тому никакой возможности. Однако даю вам слово, я не откажу вам ни в чем, что мне по силам.

— О, это вам по силам,— сказал Бенджамин,— позвольте мне только сопровождать вас в вашем походе. Это желание до такой степени захватило меня, что отказ ваш убьет разом и цирюльника и хирурга.

Джонс с улыбкой отвечал, что ему было бы очень прискорбно быть причиной такого значительного ущерба обществу. Он принялся, однако, отговаривать Бенджамина (которого впредь мы будем называть Партриджем) от его намерения, но все было напрасно: Партридж твердо уповал на свой сон о молочно-белой кобыле.

— Кроме того, заверяю вас, сэр,— сказал он,— я ничуть не меньше вашего привержен делу, за которое вы идете сражаться, и все равно пойду, позволите ли вы мне идти с вами или нет.

Джонс, которому Партридж пришелся по сердцу столько же, как и он Партриджу, и который, уговаривая цирюльника остаться, руководился не внутренним побуждением, а заботой об интересах ближнего, наконец дал свое согласие, видя твердую решимость своего друга, но потом опомнился и сказал:

— Вы, может быть, думаете, мистер Партридж, что я буду вас содержать? Так знайте, что мне это не по средствам.— И с этими словами он достал свой кошелек и вынул оттуда девять гиней, объявив, что это все его состояние.

Партридж отвечал, что он уповает только на его будущие милости, ибо твердо убежден, что Джонс скоро будет иметь довольно средств.

— А теперь, сэр,— сказал он,— мне кажется, я богаче вас, и все, что я имею,— к вашим услугам и в вашем распоряжении. Пожалуйста, возьмите себе все и позвольте мне только сопровождать вас в качестве слуги. Nil desperandum es Teucro duce et auspice Teucro[1].

Джонс, однако, самым решительным образом отклонил это великодушное предложение.

Решено было отправиться в путь на следующее утро, но тут встретилось затруднение насчет багажа: чемодан Джонса был слишком велик для того, чтобы его можно было тащить, не имея лошади.

— Если смею подать совет,— сказал Партридж,— этот чемодан со всем его содержимым лучше оставить здесь и взять с собой только немного белья. Мне нетрудно будет нести его, а прочие ваши вещи останутся в полной сохранности под замком в моем доме.

Предложение это было немедленно принято, и цирюльник удалился приготовить все необходимое для задуманного путешествия.

## ГЛАВА VII,

*которая содержит более серьезные доводы в защиту поведения Партриджа; оправдание слабодушия Джонса и несколько новых анекдотов о хозяйке*

Хотя Партридж был одним из суевернейших людей на свете, однако едва ли он пожелал бы сопровождать Джонса в его путешествии единственно вследствие приснившихся ему табурета и белой кобылы, если бы не имел в виду ничего лучшего, чем поживиться частью добычи, захваченной на поле сражения. Действительно, раздумывая над рассказом Джонса, он не мог допустить мысли, чтобы мистер Олверти прогнал своего сына (а он был твердо убежден, что Джонс его сын) по тем причинам, которые ему были указаны. Отсюда он заключил, что весь рассказ Джонса — выдумка и что Джонс, о сумасбродствах которого ему часто писали, попросту бежал от своего отца. Тогда ему пришло на ум, что, уговорив молодого джентльмена вернуться домой, он окажет Олверти услугу и тем загладит свои прежние провинности; ему даже казалось, что весь гнев Олверти напускной и что сквайр принес Партриджа в жертву ради спасения своего доброго имени: чем же еще можно

[1] Не должно быть отчаяния под предводительством и под звездой Тевкра *(лат.)*.

было объяснить отеческую заботливость о найденыше и крайнюю суровость к нему, Партриджу, который, не зная за собой никакой вины, не мог допустить, чтобы и другие могли считать его виновным; чем объяснить тайно оказываемую ему денежную поддержку, после того как он публично лишен был пенсии,— поддержку, на которую он смотрел как на своего рода отступное или, лучше сказать, как на вознаграждение за несправедливость? Ибо людям несвойственно относить получаемые ими благодеяния на счет бескорыстного участия, если они могут приписать их какому-нибудь другому побуждению. Если ему удастся, стало быть, убедить каким-либо способом молодого джентльмена вернуться домой, то он — в этом не могло быть сомнений — снова войдет в милость Олверти и будет щедро вознагражден за труды, даже, может быть, получит право снова поселиться в родной стороне, чего сам Улисс не желал пламеннее, чем бедняга Партридж.

Что же касается Джонса, то он поверил каждому слову Партриджа и не сомневался, что единственными побуждениями цирюльника были любовь к нему и преданность делу, за которое он шел сражаться,— опрометчивость, заслуживающая самого строгого порицания, ибо никогда нельзя полагаться на чужую правдивость. Откровенно говоря, превосходное качество — осмотрительность — люди получают только из двух источников: долгого опыта и натуры, под каковой, как мне кажется, следует подразумевать гениальность или большие природные дарования; и этот второй путь бесконечно лучше первого не только потому, что мы вступаем на него гораздо раньше, но и потому, что он гораздо безошибочнее и надежнее; ведь сколько бы раз нас ни обманывали другие, мы все-таки надеемся встретить честного человека; между тем как тот, кому внутренний голос говорит, что это невозможно, должен быть очень уж глуп, давая себя обмануть. Джонс не владел этим даром от природы и был слишком молод, чтобы приобрести его с помощью опыта, ибо к мудрой осмотрительности, добываемой этим путем, мы обыкновенно приходим только на склоне жизни; вот отчего, должно быть, иные старики относятся так презрительно к уму всякого, кто чуточку их помоложе.

Большую часть дня Джонс провел в обществе нового знакомого. Это был не кто иной, как хозяин дома, или, лучше сказать, муж хозяйки. Он очень поздно спустился вниз после сильного припадка подагры, которая обыкновенно на целые полгода приковывала его к постели; другую половину года он прохаживался по дому, курил трубку и сидел за бутылкой с приятелями, не утруждая себя никакой работой. Воспитан он был, как говорится, джентльменом, то есть для ничегонеделания, и промотал неболь-

шое состояние, полученное им по наследству от дяди-фермера, увлекаясь охотой, конскими состязаниями и петушиными боями. Хозяйка гостиницы вышла за него замуж, питая кое-какие надежды, которые он давно уже не в силах был осуществлять, и возненавидела его за это от всего сердца. Но так как он был человек крутого нрава, то ей пришлось ограничиться частыми попреками и нелестными для него сравнениями с первым мужем, похвала которому вечно была у нее на устах. Распоряжаясь большей частью доходов, она взяла на себя заботы по управлению семейством и только управление мужем, после долгой и бесплодной борьбы, принуждена была предоставить ему самому.

Вечером, когда Джонс удалился в свою комнату, между любящими супругами возник из-за него маленький спор.

— Вы, я вижу, клюкнули с нашим джентльменом? — сказала жена.

— Да, мы с ним осушили бутылочку,— отвечал муж.— Он настоящий джентльмен и знает толк в лошадях. Правда, молод еще и мало видел свет, почти не бывал на скачках.

— Эге, да он вашего поля ягода! — воскликнула жена.— Уж если лошадник, то, разумеется, джентльмен. Черт бы побрал таких джентльменов! Лучше бы они мне никогда на глаза не попадались. И точно, есть мне за что любить лошадников!

— Понятно, есть за что,— отвечал муж,— ведь я тоже им был.

— Да, спору нет — вы чистокровный лошадник! Как говаривал мой первый муж, я могла бы поместить все ваше добро себе в глаз и видела бы ничуть не хуже.

— К чертям вашего первого мужа!

— Не оскорбляйте человека, которого вы не стоите,— сказала жена.— Если бы он был жив, вы бы не посмели так говорить.

— Неужто вы думаете, что я трусливей вас? А ведь вы при мне и не так его честили.

— Если я и говорила что дурное о нем, так потом долго каялась. И если он, по доброте своей, прощал мне то или другое сгоряча сказанное слово, то уж вам-то не пристало попрекать меня за это. Он был мне муж, настоящий муж; и если я иногда в сердцах и бранила его, то никогда не называла бездельником — нет, не буду клепать на себя, никогда не называла его бездельником.

Она долго еще говорила в таком роде, но муж уже не слышал; закурив трубку, он проворно вышел вон, прихрамывая на обе ноги. Мы не будем передавать ее речи читателю, потому что она все больше и больше сбивалась на предметы, неудобные для помещения на страницах этой истории.

Рано поутру Партридж появился у постели Джонса, совсем снаряженный в путь, с дорожным мешком за плечами; это было его собственное изделие, ибо, помимо прочих своих талантов, Партридж был и порядочный портной. Он уже уложил в мешок весь запас своего белья, состоявший из четырех рубашек, к которым присоединил теперь восемь рубашек мистера Джонса; затем, упаковав чемодан, отправился было с ним к себе домой, но был остановлен на дороге хозяйкой, запретившей выносить какие-либо вещи, пока не будет заплачено по счету.

Хозяйка была, как мы уже сказали, неограниченной повелительницей в стенах своего дома, и поэтому ее законам необходимо было подчиняться. Счет тотчас же был выписан и оказался гораздо внушительнее, чем Джонс мог ожидать, судя по угощению. По этому случаю мы должны разоблачить некоторые правила, почитаемые трактирщиками за великие тайны своего ремесла. Первое: если в их заведении есть что-нибудь хорошее (что случается чрезвычайно редко), то подавать его только особам, путешествующим с большой помпой; второе: за самую дрянную провизию назначать ту же цену, что и за хорошую; и третье: если постоялец требует мало, то брать с него за каждую вещь вдвое, так чтобы итог получался в общем одинаковый.

Когда счет был выписан и оплачен, Джонс с Партриджем, нагруженным поклажей, отправились в дорогу. Хозяйка не удостоила даже пожелать им доброго пути, потому что ее гостиница предназначалась, как видно, для людей избранного общества, а все добывающие себе пропитание от особ высоко стоящих — не знаю почему — исполняются великого презрения к остальному человечеству, как если бы они сами были важными господами.

## ГЛАВА VIII

*Джонс прибывает в Глостер и останавливается в «Колоколе»; характеристика этого заведения, а также кляузника, с которым он там встречается*

Покинув вышеописанным образом свою стоянку, мистер Джонс и Партридж, или Маленький Бенджамин (эпитет «маленький» прилагался к нему, по-видимому, иронически, потому что он был почти шести футов росту), отправились в Глостер, и по пути с ними не приключилось ничего, достойного упоминания.

Прибыв в Глостер, они остановились в гостинице под вывеской «Колокол» — заведении превосходном, которое я всячески рекомендую читателю, если ему случится посетить этот древний

город. Хозяин его — брат великого проповедника Витфильда, но нисколько не запятнан пагубным учением методистов, а также и других еретических сект. Это простой, честный человек, неспособный, по-моему, доставить никаких неприятностей ни церкви, ни государству. У жены его были, кажется, большие претензии на красоту, да и теперь еще она очень недурна собой. Ее наружность и манеры сделали бы ее заметной в самом избранном обществе, но, вполне сознавая как это, так и многие другие свои достоинства, она совершенно удовлетворена положением, в которое ее поставили обстоятельства. Такая покорность судьбе есть всецело следствие ее благоразумия и мудрости, ибо в настоящее время она столь же чужда методистского образа мыслей, как и ее муж,— я говорю: в настоящее время, потому что миссис Витфильд откровенно сознается, что доводы деверя первоначально произвели на нее известное впечатление и она обзавелась даже длинным покрывалом в чаянии восторгов, которые ей даст наитие духа святого, но, не испытав в течение трехнедельного опыта никаких восторгов, сколько-нибудь сто́ящих внимания, она весьма благоразумно отложила покрывало в сторону и отстала от секты. Короче говоря, это очень отзывчивая и добрая женщина, настолько услужливая, что только очень уж брюзгливые гости остаются недовольны ее заведением.

Миссис Витфильд находилась во дворе, когда туда вошел Джонс со свои́м спутником. Ее проницательный взгляд тотчас открыл в наружности нашего героя нечто отличавшее его от простолюдина. Поэтому она немедленно приказала слугам отвести ему комнату, а затем пригласила его к себе обедать; приглашение было принято Джонсом с большой благодарностью, потому что после такого продолжительного поста и ходьбы он был бы рад и гораздо худшему угощению, а также и менее приятному обществу, чем общество миссис Витфильд.

Кроме мистера Джонса и доброй домоправительницы, за столом сидели еще стряпчий из Солсбери, тот самый, который привез мистеру Олверти известие о смерти миссис Блайфил и назывался Даулинг,— кажется, я еще не упоминал его имени,— а также еще один человек, величавший себя юристом и живший где-то возле Линлинча, в Сомерсетшире. Этот субъект, говорю я, величал себя юристом, но был на самом деле дрянным кляузником и совершеннейшим невеждой — одним из тех, кого можно назвать прихвостнями закона,— чем-то вроде статиста в адвокатуре, состоящего на побегушках у стряпчих и готового скакать за полкроны дальше любого мальчишки-форейтора.

За обедом этот сомерсетширский юрист узнал Джонса, которого видел в доме мистера Олверти, потому что частенько бывал

у этого джентльмена на кухне. Воспользовавшись случаем, он принялся расспрашивать о семействе сквайра с такой непринужденностью, которая была бы под стать разве только близкому другу или знакомому мистера Олверти; действительно, он всеми своими силами старался таковым сделаться, однако ни разу не удостоился в доме сквайра разговора с кем-либо повыше дворецкого. Джонс отвечал на все его вопросы очень учтиво, хотя не мог припомнить, чтобы когда-нибудь видел этого кляузника, и догадывался по его внешнему виду и поведению, что тот не имеет никакого права на свою напускную развязность с людьми из хорошего общества.

Так как разговор с подобными молодцами невыносим для человека умного, то сейчас же, как только убрали со стола, мистер Джонс ретировался, довольно жестоко предоставив миссис Витфильд нести эпитимью, на которую я не раз слышал горькие жалобы от мистера Тимоти Гарриса и других просвещенных рестораторов, обязанных занимать своих гостей.

Едва только Джонс вышел из комнаты, как кляузник шепотом спросил миссис Витфильд, знает ли она, что это за франт. Та отвечала, что ей никогда еще не случалось видеть этого джентльмена.

— Да, уж нечего сказать! — воскликнул кляузник.— Действительно джентльмен! Незаконный сын молодца, повешенного за конокрадство. Его подкинули на порог дома сквайра Олверти, где один из слуг нашел его в ящике, до такой степени наполненном дождевой водой, что мальчишка, наверное, утонул бы, если бы ему не была уготована иная участь...

— Ну да, вы можете не продолжать, уверяю вас: мы прекрасно знаем, какая это участь,— прервал его Даулинг, весело оскалив зубы.

— Сквайр,— продолжал кляузник,— приказал подобрать его: ведь всем известно, что он порядочный трус и испугался, как бы не попасть в какую-нибудь беду. Подкидыша вскормили, вспоили, обули и одели что твоего джентльмена, а он обрюхатил одну из служанок и уговорил ее присягнуть, будто отец ребенка — сам сквайр; потом перешиб руку некоему мистеру Твакому, священнослужителю, только за то, что тот отчитал его за распутство; выпалил из пистолета в спину мистера Блайфила; а однажды, во время болезни сквайра Олверти, взял барабан и начал колотить в него что есть мочи, чтобы не дать больному заснуть. Таких фокусов он выкинул десятка два, пока, наконец,— дней пять тому назад, как раз перед моим отъездом оттуда,— сквайр не выгнал его нагишом вон из дому.

— И поделом негодяю! — воскликнул Даулинг.— Я выгнал

бы родного сына, если бы он наделал хоть половину всего этого. А позвольте спросить, как зовут этого молодчика?

— Как его зовут? Разве вы не слышали? Томас Джонс,— отвечал кляузник.

— Джонс? — повторил Даулинг, немного опешив.— Как! Мистер Джонс, который жил у сквайра Олверти, сейчас обедал с нами?

— Он самый.

— Я много слышал об этом джентльмене,— сказал Даулинг,— но никогда не слыхал ничего дурного.

— Право,— заметила миссис Витфильд,— если хоть половина сказанного этим джентльменом правда, то у мистера Джонса самая обманчивая наружность, какую я когда-либо видела; глаза его обещают нечто совсем другое; признаюсь, судя по этой короткой встрече с ним, он показался мне как нельзя более учтивым и благовоспитанным.

Тут кляузник, вспомнив, что он не предварил рассказа, по своему обыкновению, клятвой, принялся так усердно клясться и божиться, что шокированная хозяйка поспешила остановить его, заявив, что она не сомневается в правильности его слов.

— Смею вас уверить, сударыня,— отвечал он,— я ни за что не позволил бы себе рассказывать такие вещи, если бы не знал, что это сущая правда. Какая мне польза порочить человека, который не сделал мне ничего худого? Уверяю вас, каждое слово из того, что я сказал,— факт, известный всему околотку.

Так как у миссис Витфильд не было никаких оснований подозревать кляузника в том, что он оклеветал Джонса по корыстным соображениям, то читатель не вправе осуждать ее за доверие к словам, подкрепленным многочисленными клятвами. Она призналась себе, что ничего не понимает в физиономике, и составила самое дурное мнение о госте, от души желая, чтобы он поскорее убрался восвояси.

Ее неприязнь еще более усилило сообщение мистера Витфильда, пришедшего из кухни, где Партридж во всеуслышание объявил, что хотя он и несет дорожный мешок и соглашается расположиться со слугами, тогда как Том Джонс (как назвал он его) роскошествует в парадных комнатах, однако он ему не слуга, а только друг и товарищ и такой же джентльмен, как и сам мистер Джонс.

Даулинг слушал все это молча, кусая ногти, строя гримасы, посмеиваясь и с видом человека себе на уме; наконец он открыл рот и заявил, что джентльмен, о котором идет речь, представляется ему совсем иным. Потом с чрезвычайной поспешностью потребовал счет, говоря, что непременно должен быть сегодня ве-

чером в Герфорде, жаловался на кучу дел и выражал сожаление, что не может разорваться на двадцать частей, чтобы находиться в двадцати местах сразу.

Кляузник тоже ушел, после чего Джонс попросил миссис Витфильд пожаловать к нему на чашку чаю; но она отказалась, и притом в выражениях, настолько отличных от тех, в каких приглашала его к обеду, что это его несколько удивило. Скоро он заметил полную перемену в ее обращении: вместо непринужденности и приветливости, которые мы только что восхваляли, на лице ее появились сдержанность и суровость; и это было настолько неприятно мистеру Джонсу, что, несмотря на поздний час, он решил сегодня же покинуть гостиницу.

Надо сказать, что он объяснял себе эту внезапную перемену не совсем благовидным мотивом, ибо, помимо несправедливых предположений начет женского непостоянства и изменчивости, он начал подозревать, что обязан этим отсутствием учтивости отсутствию у него лошадей — породы животных, с которых в гостиницах,— должно быть потому, что они не пачкают постельного белья,— взимают бóльшую плату за ночлег, чем с их седоков, вследствие чего смотрят на них как на более желанных гостей. Но миссис Витфильд, надо отдать ей справедливость, была женщина более возвышенного образа мыслей; она получила прекрасное воспитание и могла быть весьма учтивой с джентльменами, хотя бы даже эти джентльмены ходили пешком. Все дело было в том, что она стала смотреть на нашего героя, как на жалкого проходимца, и соответственным образом с ним обращалась, за что ее не мог бы осудить и сам Джонс, хотя бы даже он знал столько же, сколько читатель; напротив, он должен был бы похвалить ее и проникнуться к ней еще большим уважением за ее непочтительное отношение к нему. Это одно из тех обстоятельств, которые сильно отягчают вину человека, несправедливо порочащего доброе имя другого; кто сознает свою вину, тот не вправе негодовать, если с ним обращаются пренебрежительно и неуважительно, и даже напротив — должен презирать тех, которые притворно оказывают ему внимание, если только они не располагают неопровержимыми доказательствами, что их друг несправедливо и злостно оклеветан.

Джонс, однако, не был в таком положении; совершенно не зная истинных причин поведения хозяйки, он имел полное основание считать себя оскорбленным; вот почему он расплатился и ушел, к крайнему неудовольствию мистера Партриджа, который, после бесплодных попыток уговорить его остаться, наконец согласился взять на плечи мешок и идти за своим другом.

## ГЛАВА IX,

*содержащая несколько разговоров Джонса с Партриджем касательно любви, холода, голода и других материй и повествующая о том, как Партридж, находившийся уже на волосок от открытия своему другу роковой тайны, к счастью, вовремя удержался*

Тени высоких гор начали уже расстилаться шире; пернатые твари удалились на покой. Высший класс смертных сидел за обедом, а низший — за ужином. Словом, пробило пять как раз в ту минуту, когда мистер Джонс покинул Глостер,— час, когда (была середина зимы) ночь уже задернула бы своими грязными пальцами черный полог над миром, если бы луна, широколицая и краснощекая, как те гуляки, что, подобно ей, обращают ночь в день, не помешала ей, начав в это время подниматься с постели, где проспала целый день, чтобы бодрствовать ночью. Пройдя немного, Джонс приветствовал прекрасную планету и, обратясь к своему спутнику, спросил его, наслаждался ли он когда-нибудь таким приятным вечером. Партридж не тотчас ему ответил, и Джонс, продолжая рассуждать о красоте луны, продекламировал несколько мест из Мильтона, бесспорно превзошедшего всех прочих поэтов в своем описании небесных светил. Потом он привел Партриджу рассказ из «Зрителя» о двух любовниках, которые условились, когда их постигнет разлука, общаться друг с другом, устремляя в назначенный час взоры на луну: им отрадна была мысль, что оба созерцают в одно и то же время один и тот же предмет.

— У этих любовников,— прибавил он,— видно, были души, способные чувствовать всю прелесть самой возвышенной из всех человеческих страстей.

— Очень возможно,— отвечал Партридж,— только я позавидовал бы им больше, если бы у них были тела, неспособные чувствовать холода: я совсем почти замерз и очень боюсь, как бы не лишиться кончика носа, прежде чем мы доберемся до другой гостиницы. Право, нам следует ожидать какой-нибудь кары небесной за то, что мы так глупо бежали ночью из превосходнейшей гостиницы, в какую когда-либо ступала моя нога. Я в жизнь мою не видал лучшего помещения, и первый вельможа, я думаю, не пользуется такими удобствами в собственном доме, какие он нашел бы в этом заведении. Покинуть его и пойти бродить по полям куда глаза глядят, per devia rura viarum![1] Мне-то все равно, но вот другие, пожалуй, не постесняются и скажут, что мы не в своем уме.

— Стыдитесь, мистер Партридж! — сказал Джонс.— Надо

[1] По проселкам, в стороне от больших дорог! *(лат.)*

быть мужественнее. Вспомните, что вы идете на неприятеля, так неужели вас устрашит небольшой холод? Жаль, не у кого спросить, по которой дороге нам надо идти.

— Смею ли предложить мой совет? — сказал Партридж.— Interdum stultus opportuna loquitur[1].

— По которой же из этих дорог вы советуете пойти? — спросил Джонс.

— Ни по которой,— отвечал Партридж.— Единственная верная дорога — это та, по которой мы пришли. Через какой-нибудь час бодрый шаг приведет нас обратно в Глостер; а если мы пойдем вперед, так одному дьяволу известно, когда мы доберемся до жилья: мои глаза различают, по крайней мере, на пятьдесят миль вперед, и на всем этом пространстве я не вижу ни одного строения.

— Значит, перед вами открывается чудесный вид, которому яркий свет луны еще больше прибавляет красоты,— сказал Джонс.— Однако же я возьму влево, так как эта дорога ведет, должно быть, прямо к горам, которые, как известно, тянутся недалеко от Ворчестера. Если вам хочется покинуть меня, сделайте одолжение, возвращайтесь; а что касается меня, то я решил идти вперед.

— Нехорошо, сэр, с вашей стороны подозревать меня в таком намерении,— сказал Партридж.— Я советовал столько же ради вас, как и ради себя; но если вы твердо решили идти вперед, то я так же твердо решаю следовать за вами. I prae sequar te[2].

Они прошли несколько миль, не разговаривая друг с другом, и во время этой паузы в беседе Джонс часто вздыхал, а Партридж жалобно стонал, хотя по совсем другой причине. Наконец Джонс остановился и, обернувшись назад, сказал:

— Кто знает, Партридж, может быть, прелестнейшее создание на свете тоже созерцает эту самую луну, на которую я смотрю в настоящую минуту.

— Очень может быть,— отвечал Партридж.— Но если бы я созерцал в настоящую минуту хороший кусок ростбифа, то охотно отдал бы дьяволу и луну, и ее рога в придачу.

— Ну, что за варварство говорить такие вещи! — возмутился Джонс.— Неужели, Партридж, ты никогда в жизни не любил или время изгладило из твоей памяти все следы этого чувства?

— Увы! — воскликнул Партридж.— Какое было бы счастье, если бы я не знал, что такое любовь! Idfandum, regina, jubes renovare dolorem. Я испытал всю сладость, все восторги и всю горечь этой страсти.

---

[1] Подчас и дурак дельное скажет *(лат.)*.

[2] Иди вперед, я буду следовать за тобой *(лат.)*.

— Значит, ваша возлюбленная была к вам немилостива?

— Чрезвычайно немилостива, сэр,— отвечал Партридж,— она вышла за меня замуж и сделалась несноснейшей женой на свете! Теперь, слава богу, ее уже нет в живых; и если бы я верил, что она на луне, как читал я в одной книге, где сказано, что луна есть местопребывание душ покойников, то я никогда не глядел бы на луну из страха увидеть там мою супругу; но для вас, сэр, я желаю, чтобы луна была зеркалом и чтобы мисс Софья смотрелась в него в эту минуту.

— О милый Партридж! — воскликнул Джонс.— Какую мысль ты высказал! Она могла родиться только в голове влюбленного. О Партридж, если бы я мог надеяться увидеть ее лицо еще раз! Но, увы! Эти золотые сны рассеялись навсегда, и мое единственное спасение от страданий в будущем — забыть ту, которая составляла некогда все мое счастье.

— Неужели вы в самом деле отчаиваетесь увидеть когда-нибудь мисс Вестерн? — отвечал Партридж.— Если вы послушаетесь моего совета, то, ручаюсь вам, не только снова увидите ее, но и заключите ее в свои объятия.

— Ах, не пробуждайте во мне подобных мыслей!—воскликнул Джонс.— Мне уже стоило такой борьбы преодолеть свои желания.

— Странный же вы любовник, если не желаете заключить возлюбленную в свои объятия,— заметил Партридж.

— Полно, оставим этот разговор,— сказал Джонс.— Но что же, однако, вы хотите мне посоветовать?

— Выражаясь по-военному,— ведь мы с вами солдаты,— «направо, кругом!». Вернемся туда, откуда пришли. Мы, хоть и поздно, успеем дойти до Глостера, а если пойдем вперед, то, насколько могу видеть, до скончания века не доберемся до жилья.

— Я уже заявил вам о своем решении идти вперед,— отвечал Джонс,— но вы, пожалуйста, возвращайтесь. Очень вам признателен за компанию и прошу принять от меня гинею, как слабый знак благодарности. Было бы даже жестокостью с моей стороны позволить вам идти дальше, потому что, сказать вам начистоту, главная цель моя и единственное мое желание — умереть славной смертью за короля и отечество.

— Что касается денег,— возразил Партридж,— то, пожалуйста, спрячьте их; я не возьму от вас сейчас ни гроша, потому что, повторяю, я богаче вас. И если вы решили идти вперед, то я решил следовать за вами. Мое присутствие даже необходимо, чтобы за вами присмотреть, раз у вас такое отчаянное намерение. Собственные мои намерения, должен признаться, гораздо благоразумнее: если вы решили пасть, по возможности, на поле битвы, то я всеми силами постараюсь выйти из нее невредимым. Я даже

утешаю себя мыслью, что угрожающая нам опасность невелика: один папистский священник сказал мне на днях, что скоро все будет покончено, и, по его мнению, даже без боя.

— Папистский священник? — воскликнул Джонс.— Я слышал, что таким людям не всегда можно верить, если они говорят в пользу своей религии.

— Да,— сказал Партридж,— но какая же тут польза для его религии, если он уверял меня, что католики не ждут для себя ничего хорошего от переворота? Ведь принц Карл такой же добрый протестант, как и любой из нас, и только уважение к законным правам заставило этого священника и всю папистскую партию примкнуть к якобитам.

— Я столько же верю в то, что он протестант, как и в его права,— сказал Джонс,— и не сомневаюсь в нашей победе, хотя она достанется нам не без борьбы. Вы видите, я смотрю на вещи более мрачно, чем ваш друг папистский священник.

— Да, сэр,— подтвердил Партридж,— все пророчества, какие мне случалось читать, говорят, что в эту распрю будет великое кровопролитие и что трехпалый мельник, ныне живущий, будет держать лошадей трех королей по колена в крови. Господи, смилуйся над нами и пошли лучшие времена!

— Каким, однако, вздором и чепухой набил ты себе голову! — воскликнул Джонс.— Все это, должно быть, тоже идет от папистского священника. Чудища и чудеса — самые подходящие доводы в защиту чудовищного и нелепого учения. Стоять за короля Георга — значит стоять за свободу и истинную религию. Другими словами, это значит стоять за здравый смысл, мой милый, и, бьюсь об заклад, мы одержим верх, хотя бы поднялся сам стопалый Бриарей, обернувшись в мельника.

Партридж на это ничего не ответил. Слова Джонса привели его в крайнее смущение, ибо — откроем читателю тайну, которой нам еще не было случая коснуться,— Партридж в душе был якобитом и предполагал, что Джонс тоже якобит и собирается присоединиться к мятежникам. Предположение это было не вовсе лишено повода. Высокая, долговязая дама, упоминаемая Гудибрасом,— это многоглазое, многоязычное, многоустое, многоухое чудовище Вергилия,— рассказала ему, со своей обычной правдивостью, историю ссоры Джонса с офицером. Она превратила имя Софьи в имя Претендента и изобразила дело так, что тост за его здоровье был причиной полученного Джонсом удара. Вот что услышал Партридж и слепо всему поверил. Не удивительно, что после этого у него сложилось вышеуказанное представление о Джонсе, которое он чуть было не высказал ему, прежде чем заметил свою ошибку. Читатель найдет это вполне естественным, если соблаго-

волит припомнить двусмысленную фразу, в которой Джонс впервые сообщил мистеру Партриджу о своем решении. Впрочем, если бы даже слова Джонса и не были настолько двусмысленны, Партридж истолковал бы их таким же образом, будучи твердо убежден, что вся нация в душе разделяет его чувства; его не смущало и то обстоятельство, что Джонс шел с отрядом солдат, так как об армии он держался того же мнения, что и об остальном народе.

Но как бы он ни был привержен Иакову или Карлу, еще любезнее был ему Маленький Бенджамин, и потому, узнав убеждения своего спутника, Партридж счел благоразумным утаить собственные и наружно отказаться от них в угоду человеку, от которого зависело его счастье, потому что он нимало не верил, что дела Джонса с мистером Олверти в таком безнадежном положении, как это было в действительности. Покинув родные места, Партридж был в постоянной переписке с соседями сквайра и наслышался, даже слишком много, о большой привязанности мистера Олверти к молодому человеку, который, как писали Партриджу, назначен его наследником и которого, как мы сказали, сам Партридж считал его родным сыном.

Вот почему он был убежден, что, как бы мистер Олверти и Джонс ни поссорились, они непременно помирятся по возвращении Джонса — событие, от которого он ожидал для себя больших выгод, если до тех пор ему удастся завоевать расположение молодого джентльмена, и, как мы уже сказали, не сомневался, что если сумеет посодействовать его возвращению домой, то это очень поможет ему снова войти в милость мистера Олверти.

Мы уже заметили, что Партридж был человек очень добродушный, и он сам объявил о своей горячей преданности Джонсу; но и только что упомянутые мною виды тоже, может быть, сыграли кой-какую роль в его решении предпринять этот поход или, по крайней мере, продолжать его, после того как Партридж обнаружил, что он и его господин придерживаются разных политических убеждений: ведь бывает же, что, несмотря на такое разногласие, благоразумные отцы и сыновья идут дружелюбно одной дорогой. Меня навело на эту мысль сделанное мной наблюдение, что любовь, дружба, уважение и тому подобные чувства хотя и являются могущественными двигателями человеческих поступков, однако умные люди редко упускают из виду материальные выгоды, когда хотят побудить других действовать в их интересах. Это превосходный медикамент: подобно пилюлям Ворда, он мгновенно оказывает действие именно на ту часть тела, которую вы имели в виду,— на язык, на руку и так далее, и почти безошибочно заставляет ее делать то, что вы от нее хотели.

## ГЛАВА X,

*в которой описывается необыкновенное приключение наших путешественников*

Только что кончив изложенный в предыдущей главе диалог, Джонс со своим другом оказались у подножия очень крутой горы. Джонс остановился и, устремив глаза вверх, с минуту пребывал в молчании. Наконец, обратясь к своему спутнику, сказал:

— Партридж, мне хотелось бы побывать на вершине этой горы: вид оттуда, должно быть, очаровательный, особенно при таком освещении, ибо меланхолическая мгла, набрасываемая луной на все предметы, невыразимо прекрасна, особенно для воображения, настроенного на печальный лад!

— Очень может быть,— отвечал Партридж,— но если вершина горы очень способна навеять мрачные мысли, то ее подножие должно рождать веселье, а я во всех отношениях предпочитаю это. Признаюсь, у меня кровь застыла в жилах от одних ваших слов о вершине этой горы, выше которой, кажется, нет на свете. Нет, нет, если уж чего-нибудь искать, так какого-нибудь подземелья, где бы можно было укрыться от мороза.

— Что ж, ищите его,— сказал Джонс,— только на таком расстоянии, чтобы туда донесся мой голос: сойдя с горы, я вам аукну.

— Да в уме ли вы, сэр! — ужаснулся Партридж.

— Нет, не в уме,— отвечал Джонс,— если взойти на эту гору — безумие; но раз вы так жалуетесь на холод, то оставайтесь внизу. Не больше чем через час я вернусь к вам.

— Простите меня, сэр,— воскликнул Партридж,— я решил следовать за вами, куда бы вы ни пошли!

Теперь он боялся остаться один, ибо, будучи порядочным трусом во всех отношениях, больше всего он страшился привидений, для которых время ночи и пустынность места как нельзя больше подходили.

В эту минуту Партридж заметил сквозь деревья мерцающий свет, который, по-видимому, находился совсем невдалеке от них.

— Слава богу, сэр! — с восхищением воскликнул он.— Наконец-то небо услышало мои молитвы и послало нам жилище, может быть, гостиницу. Умоляю вас, сэр, если у вас есть хоть какая-нибудь жалость ко мне или к себе, не пренебрегайте этой благостью провидения и пойдемте прямо на тот огонек. Гостиница, в конце концов, это или нет, но если там живут христиане, они,

наверно, не откажут в уголке путникам, находящимся в таком бедственном положении.

Джонс уступил в конце концов горячим просьбам Партриджа, и они направились прямо к тому месту, где светился огонек. Скоро пришли они к дверям дома, или коттеджа, потому что это здание можно было принять и за то и за другое. Джонс постучался несколько раз, но ответа не последовало; тогда Партридж, голова которого была полна привидений, чертей, ведьм и тому подобного, задрожал и воскликнул:

— Господи, спаси и помилуй! Наверное, все в доме мертвые. Я не вижу больше света в окнах, а минуту назад ясно видел горящую свечу. О таких вещах мне уже приходилось слышать.

— О каких вещах? — спросил Джонс.— Попросту хозяева или крепко спят, или, что еще вероятнее, боятся открыть дверь, так как место здесь пустынное.

Он начал кричать изо всех сил, и, наконец, какая-то старуха, открыв верхнее окошко, спросила, кто они и что им надо.

Джонс отвечал, что они путешественники, сбились с дороги и, увидев свет в окошке, пришли, в надежде найти здесь огонь и обогреться.

— Кто бы вы ни были,— отвечала старуха,— вам тут делать нечего, и я никому не открою дверь в такое позднее время.

Партридж, страх которого прогнали звуки человеческого голоса, начал слезно молить позволения войти всего на несколько минут, чтобы обогреться, говоря, что он полумертв от холода, чему страх был столько же причиной, как и мороз. Он клялся старухе, что говоривший с ней джентльмен — один из первых сквайров этих мест, и пускал в ход все доводы, за исключением самого убедительного, к которому прибегнул наконец Джонс, то есть к обещанию дать полкроны — подачка слишком щедрая для того, чтобы старуха могла против нее устоять; притом же изящная фигура Джонса, ярко обрисовавшаяся перед ней в свете луны, и приветливое его обращение окончательно убедили ее, что она имеет дело не с ворами, за которых первоначально приняла наших путников. Она согласилась наконец впустить их, и Партридж, к большой своей радости, нашел в доме жарко горевший огонь.

Но не успел бедняга обогреться, как известного рода мысли, которым он всегда легко поддавался, снова начали тревожить его мозг. Не было догмата, в который он верил бы так непоколебимо, как в колдовство, и читатель не может себе представить фигуру, более подходящую для внушения мысли о колдовстве, чем стоявшая теперь перед Партриджем старуха! Она точь-в-точь была по-

хожа на ведьму, выведенную Отвеем в его «Сироте», и, живи она в царствование Иакова I, ее повесили бы без всяких улик за одну наружность.

Были и другие обстоятельства, укреплявшие подозрение Партриджа. Она жила, как ему тогда представлялось, одна, в пустынном месте, да притом в доме, который и снаружи казался для нее слишком хорош, внутри же был убран с еще большим вкусом и изяществом. Сказать правду, сам Джонс был немало удивлен тем, что увидел: комната была не только необыкновенно опрятна, но и украшена множеством безделушек и редкостей, достойных обратить на себя внимание знатока.

Покамест Джонс дивился этим вещам, а Партридж сидел ни жив ни мертв, в твердой уверенности, что он находится в жилище колдуньи, старуха сказала:

— Прошу вас, джентльмены, не засиживаться, потому что с минуты на минуту я жду моего господина и за целую крону не пожелала бы, чтобы он застал вас здесь.

— Так у вас есть господин?! — воскликнул Джонс.— Извините меня, почтенная, я был удивлен, увидя у вас в доме столько прекрасных вещей.

— Ах, сударь,— отвечала она,— если бы хоть двадцатая их часть принадлежала мне, я считала бы себя богатой. Однако прошу вас, сударь, не оставайтесь здесь дольше, потому что я жду его каждую минуту.

— Неужели же он рассердится на вас за столь обыкновенный акт человеколюбия? — удивился Джонс.

— К несчастью, да,— отвечала старуха,— он странный человек, совсем не похож на других. Ни с кем не водится и почти всегда выходит из дому только ночью, стараясь, чтобы его никто не видел; да и все местные жители боятся с ним встретиться: одно его платье способно напугать с непривычки. Его зовут Горным Отшельником (потому что по ночам он ходит на гору), и простой народ боится его, кажется, больше самого дьявола. Он ужасно рассердится, если застанет вас здесь.

— Не будем же его раздражать, сэр,— сказал Партридж.— Я согрелся, как никогда в жизни, и готов идти. Пожалуйста, пойдемте, сэр. Вон над камином висят пистолеты: кто знает, может быть, они заряжены, и вдруг он возьмется за них?

— Не бойся ничего, Партридж,— сказал Джонс,— я защищу тебя.

— Нет, насчет этого будьте спокойны, он никому худа не делает,— сказала старуха.— Ему приходится держать оружие для самозащиты: на наш дом уже не раз устраивали нападение; всего несколько ночей назад было слышно, как к нам подбираются воры.

Удивляюсь я, как его давно не убили злоумышленники: ведь он ходит один в такие поздние часы! Правда, что все его боятся, да и поживиться от него, думают, нечем.

— По этой коллекции редкостей я заключаю, что ваш господин много путешествовал,— заметил Джонс.

— Да, сэр, очень много,— отвечала старуха,— мало найдется людей, которые знают больше, чем он. Должно быть, в любви был несчастен или что другое с ним случилось, только я живу с ним уже больше тридцати лет, и за все это время он разговаривал вряд ли с шестью живыми людьми.

Она опять стала упрашивать их уйти, и Партридж поддержал ее просьбы. Но Джонс умышленно старался протянуть время, желая во что бы то ни стало увидеть этого необыкновенного человека. Хотя старуха заключала все свои ответы просьбой уйти, а Партридж дошел даже до того, что потянул его за рукав, Джонс придумывал все новые и новые вопросы, пока наконец старуха не объявила с испуганным лицом, что слышит сигнал хозяина. В то же самое время снаружи послышалось несколько голосов, кричавших:

— Сию минуту подавай деньги, чертов сын! Деньги, мерзавец, или мы тебе череп раскроим!

— Господи! — закричала старуха.— Что делать? Что делать?

— Вот как! Вот как! — воскликнул Джонс.— Пистолеты эти заряжены?

— Нет, не заряжены! Ей-богу, не заряжены! Пощадите, не убивайте нас, джентльмены! — взмолилась старуха, приняв теперь тех, кого она впустила, за таких же разбойников, как и те, что были снаружи.

Джонс ничего ей не ответил, схватил со стены старую широкую саблю и выскочил во двор, где увидел старика, подвергшегося нападению двух грабителей и просившего у них пощады. Не тратя времени на расспросы, Джонс начал так усердно работать широкой саблей, что негодяи тотчас же оставили свою жертву и, не думая нападать на нашего героя, пустились наутек и скрылись. Довольный освобождением старика, Джонс не пытался их преследовать; да к тому же по крику и отчаянным воплям убегавших он заключил, что дело им сделано на славу.

Подбежав к старику, сбитому с ног во время драки, Джонс принялся поднимать его, озабоченно расспрашивая, не причинили ли ему какого-нибудь вреда разбойники. Старик с испугом посмотрел на Джонса и сказал:

— Нет, сэр, благодарю вас; слава богу, я не ранен.

— Я вижу, сэр,— сказал Джонс,— вы смотрите с некоторой опасливостью даже на тех, кто имел счастье спасти вас. Я не осуждаю вас за недоверчивость, но в настоящем случае она лишена всякого основания: вы видите перед собой друзей. Сбившись с дороги в эту холодную ночь, мы взяли смелость обогреться у вашего камина и собирались уже уходить, когда услышали ваши крики о помощи, которую, должен сказать, послало вам само провидение.

— Да, видно само провидение, если дело было так,— проговорил старик.

— Уверяю вас, что все было именно так,— сказал Джонс.— Вот ваша сабля, сэр, я воспользовался ею для вашей защиты и теперь возвращаю ее по принадлежности.

Взяв саблю, обагренную кровью его врагов, старик несколько мгновений пристально смотрел на Джонса и потом сказал со вздохом:

— Извините меня, молодой человек, но я не всегда был недоверчивым и не люблю неблагодарности.

— Так благодарите провидение, которому вы обязаны своим спасением,— сказал Джонс,— я исполнил только самый обыкновенный долг человеколюбия, сделал то, что сделал бы для всякого в вашем положении.

— Дайте же посмотреть на вас подольше,— сказал старик.— Так вы точно человек? Да, может быть. Войдите же в мою хижину. Вы действительно спасли мне жизнь.

Старуха была ни жива ни мертва: она боялась хозяина — и боялась за него; Партридж же перетрусил еще больше, однако, услышав, что хозяин ласково разговаривает с Джонсом, и сообразив, что́ случилось, старая служанка ободрилась; но бедняга Партридж при виде странно одетой фигуры старика пришел прямо в ужас, перед которым померкли его прежние страхи, вызванные рассказами старухи и шумной сценой, разыгравшейся у дверей.

Сказать правду, внешность старика способна была напугать и большего смельчака, чем мистер Партридж. Это был человек исполинского роста, с длинной белой, как снег, бородой. На нем было одеяние из ослиной кожи, отчасти похожее на кафтан. Сапоги и шапка были из кожи других животных.

Едва только старик вошел в дом, как служанка принялась поздравлять его с счастливым избавлением от разбойников.

— Да,— отвечал он,— я спасся благодаря вот этому моему избавителю.

— Благослови его господь! — воскликнула старуха.— Он добрый джентльмен, готова поручиться. Я боялась, что ваша

милость прогневается на меня за то, что я его впустила; да я бы и не впустила, если бы не разглядела при свете месяца, что он джентльмен и замерз до полусмерти. Не иначе как добрый ангел прислал его сюда и надоумил меня впустить его.

— Боюсь, сэр,— сказал старик, обращаясь к Джонсу,— что у меня в доме не найдется ничего, чем бы угостить вас. Не хотите ли разве рюмку водки? Могу предложить вам превосходной, которая стоит у меня уже тридцать лет.

Джонс отказался в самых учтивых и пристойных выражениях; тогда хозяин спросил, куда же он направлялся, когда сбился с дороги.

— Должен признаться,— сказал он,— меня удивляет, что такой человек, каким вы кажетесь с виду, идет пешком в глухую ночь. Полагаю, сэр, вы живете где-нибудь поблизости, потому что не похожи на тех, которые имеют обыкновение путешествовать без лошадей.

— Наружность часто бывает обманчива,— возразил Джонс.— Люди иногда кажутся не тем, что они есть. Могу вас уверить, что я не здешний и едва ли сам знаю, куда иду.

— Кто бы вы ни были и куда бы ни шли,— отвечал старик,— я стольким вам обязан, что мне и не отблагодарить вас.

— Еще раз повторяю, что вы мне не обязаны ничем,— запротестовал Джонс.— Нет никакой заслуги рисковать тем, чему я не придаю никакой цены: в моих глазах нет ничего презреннее жизни.

— Сожалею, молодой человек,— отвечал незнакомец,— что в ваши годы у вас есть уже причины быть несчастным.

— Так и есть, сэр,— сказал Джонс,— я несчастнейший из людей.

— Может быть, у вас был друг или любимая женщина?

— Вы произнесли два слова,— сказал Джонс,— способные довести меня до безумия.

— Каждое из них способно довести любого до безумия,— отвечал старик.— Я не продолжаю своих расспросов, сэр; может быть, любопытство завлекло меня и так уже слишком далеко.

— Нет, сэр,— сказал Джонс,— я не могу осудить чувство, которым сам одержим сейчас в величайшей степени. Простите, если я скажу вам, что все, что я увидел и услышал, переступив порог этого дома, пробудило во мне живейшее любопытство. Должно быть, что-нибудь необыкновенное заставило вас избрать такой образ жизни, и я решаюсь высказать предположение, что и вы не миновали несчастий.

Старик снова вздохнул и несколько минут не произносил ни слова; наконец, внимательно посмотрев на Джонса, сказал:

— Читал я, что приятная наружность — то же, что рекомендательное письмо; если это правда, то никто не может быть отрекомендован лучше вас. Если бы я не почувствовал к вам расположения по другому поводу, я был бы неблагодарнейшим чудовищем на земле; и я искренне сожалею, что у меня нет другого способа доказать вам свою благодарность, как только выразив ее словесно.

После некоторого колебания Джонс отвечал, что именно словами незнакомец может отблагодарить его как нельзя более щедро.

— Я уже признался вам, сэр,— сказал он,— что сгораю от любопытства; надо ли говорить, как много был бы я вам обязан, если бы вы были так добры удовлетворить его. Позвольте же обратиться к вам с покорнейшей просьбой: скажите мне, если только вас не удерживают какие-либо соображения, что́ побудило вас удалиться от общества людей и начать род жизни, для которого вы, по-видимому, не рождены?

— Я не считаю себя вправе отказать вам в чем бы то ни было после того, что случилось,— отвечал старик.— Итак, если вы желаете выслушать историю несчастного человека, я расскажу вам ее. Вы правильно рассуждаете, полагая, что судьбу тех, которые убегают от общества, нельзя назвать обыкновенной; как это ни покажется парадоксальным или даже нелепым, но несомненно, что глубокое человеколюбие побуждает нас избегать и ненавидеть людей не столько за их личные, эгоистические пороки, сколько за пороки общественные: зависть, злобу, предательство, жестокость и все вообще виды недоброжелательства. Истинный человеколюбец не переносит этих пороков и скорее готов отречься от общества, чем видеть их и иметь с ними дело. Однако — не примите этого за комплимент — вы, мне кажется, не из числа тех, которых должно избегать и ненавидеть; признаться даже, на основании немногих оброненных вами слов, мне сдается, что в наших судьбах есть нечто общее; надеюсь, впрочем, что ваша будет все же счастливее.

Тут герой наш и хозяин обменялись несколькими комплиментами, и последний собирался уже приступить к своему рассказу, но его прервал Партридж. Опасения его совершенно рассеялись, но кое-какие следы только что владевших им чувств все же остались,— он поэтому напомнил хозяину об упомянутой превосходной водке. Водка была тотчас же подана, и Партридж осушил порядочный бокал.

Тогда хозяин без дальнейших предисловий приступил к рассказу, начало которого вы найдете в следующей главе.

## ГЛАВА XI,

*в которой Горный Отшельник начинает рассказывать свою историю*

Я родился в тысяча шестьсот пятьдесят седьмом году, в Сомерсетшире, в деревне Марк. Мой отец был из так называемых джентльменов-фермеров. Он имел небольшое поместье, приносившее около трехсот фунтов в год, и арендовал другое, дававшее почти столько же. Он был благоразумен, трудолюбив и так исправно вел хозяйство, что мог бы жить в покое и довольстве, если бы весь его домашний уют не был отравлен мегерой-женой. Но хотя это обстоятельство сделало его, может быть, несчастным, оно не привело его к бедности, потому что он держал жену почти всегда у себя в деревне и предпочитал сносить вечные попреки в собственном доме, чем расстраивать свое состояние, потворствуя ее сумасбродствам на стороне. От этой Ксантиппы...

— Так называлась жена Сократа,— заметил Партридж.

— ...от этой Ксантиппы было у него два сына, из которых я — младший. Отец намеревался дать нам обоим хорошее воспитание; но мой старший брат, к несчастью для него — любимец матери, решительно не хотел учиться; пробыв в школе лет пять или шесть, он сделал столь ничтожные успехи, что отец, уведомленный начальником заведения, что держать дольше его сына в школе бесполезно, уступил наконец желанию моей матери и взял брата домой из рук тирана, как она называла его наставника, хотя этот тиран наказывал мальчика гораздо меньше, чем заслуживала его леность, но все же больше, чем было по вкусу молодому джентльмену, вечно жаловавшемуся матери на суровое с ним обращение и постоянно встречавшему у нее поддержку.

— Да, да,— воскликнул Партридж,— видел я таких матерей; мне тоже от них доставалось, и совершенно зря; такие родители заслуживают наказания наравне с их детьми.

Джонс приказал педагогу не мешать, и незнакомец продолжал:

— Итак, в пятнадцать лет брат сказал «прощай» ученью и всему на свете, кроме своей собаки и ружья, которым научился владеть так ловко, что, хоть это может показаться вам невероятным, не только попадал без промаха в неподвижную цель, но бил также в ворону на лету. С таким же искусством отыскивал он заячьи норы и скоро прослыл одним из лучших охотников в наших местах — слава, которой он и мать его гордились столько же, как если бы он почитался величайшим ученым.

Продолжая школьное учение, я счел сперва участь мою тяжелее братниной, но скоро переменил это мнение; делая быстрые

успехи в науках, я видел, что труд мой становится все более легким, и занимался с таким наслаждением, что праздники были для меня самыми неприятными днями. Мать, никогда меня не любившая, замечая теперь все растущую привязанность ко мне отца и находя или, по крайней мере, воображая, что некоторые образованные люди, особенно приходский священник, отдают мне предпочтение перед братом, возненавидела меня и сделала для меня пребывание в родительском доме настолько невыносимым, что день, называемый школьниками черным понедельником, был для меня самым белым днем в году.

Окончив наконец школу в Тонтоне, я перешел оттуда в эксетерский колледж в Оксфорде, где пробыл четыре года; к концу этого времени один случай совершенно отвлек меня от занятий — случай, который положил начало всему, постигшему меня впоследствии.

В том же колледже, где и я, учился некий сэр Джордж Грешем, молодой наследник весьма крупного состояния, в полное владение которым он не мог вступить, по завещанию отца, до достижения двадцатипятилетнего возраста. Впрочем, щедрость опекунов давала ему очень мало поводов жаловаться на чрезмерную осторожность отца: во время пребывания сэра Грешема в университете они выдавали ему по пятисот фунтов в год, позволявших этому юноше держать лошадей и любовниц и вести такую дурную и распутную жизнь, какую он мог бы вести, будучи полным хозяином своего состояния, ибо, кроме пятисот фунтов, получаемых от опекунов, он находил способы тратить еще тысячу. Ему исполнился уже двадцать один год, и он не встречал никаких затруднений в получении какого угодно кредита.

Наряду со множеством сравнительно терпимых дурных качеств этот молодой человек обладал одним, поистине дьявольским. Он находил большое наслаждение разорять и губить юношей победнее его, вовлекая их в расходы, которые они не в состоянии были покрывать из своих средств, подобно ему; и чем лучше, чем достойнее, чем умереннее был юноша, тем радостнее торжествовал он его гибель. Так играл он свою дьявольскую роль, выискивая все новые и новые жертвы.

На мое несчастье, и я познакомился и сблизился с этим джентльменом. Репутация прилежного студента сделала меня особенно желанным предметом его злобных намерений. Привести их в исполнение не стоило ему большого труда благодаря моим собственным наклонностям; хотя я усердно занимался науками, находя в этом большое наслаждение, но были вещи для меня еще более привлекательные: я был горяч, сильно увлекался, отличался некоторым честолюбием и чрезвычайной влюбчивостью.

Едва только сблизился я с сэром Джорджем, как уже сделался участником всех его удовольствий; а вступив однажды на это поприще, не мог, ни по своим наклонностям, ни по темпераменту, удовольствоваться второстепенной ролью. Я не отставал в разгуле ни от кого из нашей компании; скоро я стал даже настолько отличаться во всех буйствах и бесчинствах, что имя мое стояло обыкновенно первым в списке безобразников; и вместо того, чтобы пожалеть обо мне, как о несчастной жертве Джорджа, люди обвиняли меня в том, что я увлек и развратил этого многообещавшего джентльмена, ибо хотя он был зачинщиком и заправилой всех мерзостей, никто его таковым не считал. Наконец, я получил строгий выговор от вице-канцлера и едва не был исключен из университета.

Вы, конечно, понимаете, сэр, что описываемый мной образ жизни был несовместим с дальнейшим совершенствованием в науках и что чем больше я предавался распутству, тем больше отставал в занятиях. Следствие неизбежное; но это еще не все. Расходы мои теперь сильно превосходили не только постоянно получаемое содержание, но и прибавочные деньги, которые я вымогал у моего щедрого отца под предлогом издержек, необходимых для подготовки к экзамену на степень бакалавра словесных наук. Однако требования мои сделались наконец так часты и непомерны, что отец начал мало-помалу прислушиваться к рассказам о моем поведении, которые доходили до него со всех сторон и которые матушка не пропускала случая подхватывать и раздувать, приговаривая: «Вот вам и примерный джентльмен, вот вам и ученый, великая честь и слава всей семьи! Я наперед знала, к чему приведет все это ученье. Он разорит нас всех, уж вы поверьте мне! А старшему брату отказывали в самом необходимом, чтобы усовершенствовать его образование: младший-де возвратит нам все с лихвой! Знала я, что это будет за лихва!» — и так далее, в таком же роде. Но, мне кажется, довольно вам будет и приведенного образца.

После этого отец начал присылать мне в ответ на мои требования вместо денег — выговоры, что несколько ускорило развязку; но если бы даже он пересылал мне все свои доходы, то и это, как вы понимаете, недолго могло бы поддерживать человека, который в своих издержках не отставал от сэра Джорджа Грешема.

Весьма вероятно, что нужда в деньгах и невозможность продолжать такой образ жизни образумили бы меня и заставили вернуться к занятиям, если бы глаза мои открылись до того, как я запутался в долгах настолько, что уже не было никакой надежды расплатиться. В этом и заключалось великое искусство сэра Джорджа, при помощи которого он доводил людей до разорения,

а потом смеялся над ними, как над глупцами и хлыщами, вздумавшими тягаться с таким богачом, как он. С этой целью он сам время от времени давал им взаймы небольшие суммы, чтобы поддержать кредит несчастных юношей, пока они, именно благодаря этому кредиту, не погибали безвозвратно.

Мое бедственное положение довело до отчаяния и мой разум: я готов был почти на всякую мерзость, лишь бы как-нибудь выпутаться. Я стал серьезно помышлять даже о самоубийстве и, наверное, решился бы на него, если бы меня не удержал один еще более постыдный, хотя, может быть, и менее греховный замысел.

Тут рассказчик помолчал несколько мгновений и потом воскликнул:

— Сколько лет прошло уже с тех пор, но время не смыло постыдности этого поступка, и я не могу рассказывать о нем без краски на лице!

Джонс попросил его пропустить неприятные для него подробности, но Партридж горячо воспротивился:

— Нет, пожалуйста, рассказывайте, сэр! Я готов скорее отказаться от всего остального. Клянусь спасением моей души, я никому ни слова не передам!

Джонс собирался уже сделать ему замечание, но незнакомец предупредил его, возобновив рассказ:

— Я жил с одним однокашником, скромным и бережливым молодым человеком, скопившим, несмотря на небольшое содержание, свыше сорока гиней, которые, как мне было известно, он держал у себя в письменном столе. И вот я однажды воспользовался случаем, вытащил у него во время сна из кармана штанов ключ и овладел всем его богатством, после чего положил ключ обратно в карман и притворился спящим, хотя на самом деле пролежал, не смыкая глаз, до тех пор, пока товарищ мой встал и начал молиться — занятие, от которого я давно уже отвык.

Своей крайней осторожностью робкий вор часто выдает себя там, где вор дерзкий благополучно минует опасности. Так случилось и со мной: если бы я смело взломал письменный стол моего сожителя, ему, может быть, не пришло бы даже в голову заподозрить меня; но так как было очевидно, что вор воспользовался его ключом, то товарищ мой, обнаружив пропажу, ни минуты не сомневался, что деньги его похищены мной. Однако, будучи характера боязливого и значительно уступая мне в физической силе, а также, кажется, в храбрости, он не посмел уличить меня в глаза, из опасения неприятных телесных последствий, к которым это могло бы привести. Он немедленно отправился к вице-канцлеру и, показав под присягой, что его обокрали и при каких

обстоятельствах это случилось, без труда добился приказа о взятии под стражу человека, пользовавшегося теперь такой дурной славой во всем университете.

К счастью, я провел следующую ночь вне колледжа, потому что провожал в коляске одну молодую даму в Витни, где мы и заночевали, а утром, когда мы возвращались в Оксфорд, встретил одного старого приятеля, который передал известие, заставившее меня повернуть лошадь на другую дорогу.

— Простите, сэр,— прервал его Партридж,— он сказал вам что-нибудь о приказе арестовать вас?

Но Джонс попросил рассказчика не обращать внимания на неуместные вопросы его спутника, и старик продолжал:

— О возвращении в Оксфорд нечего было и думать, и первая мысль, которая напрашивалась сама собой, была — ехать в Лондон. Я сообщил об этом намерении моей спутнице; она сначала запротестовала, но когда я показал ей мои богатства, немедленно согласилась. Мы выехали полями на большую сайренчестерскую дорогу и гнали так, что на следующий день к вечеру были уже в Лондоне.

Если вы примете во внимание место, где я теперь оказался, и общество, в котором находился, то, думаю, легко себе представите, как быстро испарились деньги, которыми я так преступно завладел.

Я был доведен до гораздо большей крайности, чем раньше: отказывал себе в удовлетворении самых необходимых жизненных потребностей; но что делало мое положение еще более мучительным, так это то, что моя спутница, в которую я теперь влюбился без памяти, принуждена была терпеть те же лишения. Видеть любимую женщину в нужде, не быть в состоянии помочь ей и в то же время помнить, что ты сам довел ее до этого положения,— это такая пытка, ужасов которой не может вообразить тот, кто ее не испытал.

— Верю всей душой и жалею вас от всего сердца! — воскликнул Джонс; он прошелся несколько раз неровными шагами по комнате, извинился и сел на свое место, проговорив:— Благодарю бога, что меня это миновало!

— Это обстоятельство,— продолжал хозяин,— до такой степени усилило ужас моего положения, что оно стало решительно невыносимо. Мне было бы гораздо легче переносить самые жестокие лишения, даже голод и жажду, чем оставлять без удовлетворения малейшие прихоти женщины, которую я полюбил так страстно, что твердо решил на ней жениться, хотя и знал, что она была любовницей половины моих знакомых. Но доброе создание не пожелало дать свое согласие на шаг, за который свет сурово осудил

бы меня. Должно быть, пожалев меня за то, что я так из-за нее мучаюсь, она решила положить конец моим страданиям. Скоро нашла она способ облегчить мое тягостное и затруднительное положение: покамест я ломал голову, прикидывая и так и этак, какое бы удовольствие ей доставить, она очень любезно... выдала меня одному из своих прежних оксфордских любовников, заботами и усердием которого я был немедленно арестован и посажен в тюрьму.

Здесь впервые начал я серьезно размышлять о промахах, совершенных мной в жизни, о моих проступках, о несчастьях, навлеченных на себя, и о горе, причиненном лучшему из отцов. И когда ко всему этому присоединилась мысль о предательстве моей любовницы, то на душе стало так тошно, что жизнь утратила для меня всякую привлекательность и я встретил бы смерть, как лучшего друга, если бы она не сопровождалась позором.

Пришло время судебной сессии, и по закону habeas corpus я был переведен в Оксфорд, где ждал неминуемого изобличения и приговора; но, к великому моему удивлению, никто не выступил против меня с обвинением, и в конце сессии я был освобожден вследствие неявки истца. Мой сожитель уехал из Оксфорда и, то ли вследствие лени, то ли по каким-либо другим соображениям, не пожелал утруждать себя дальнейшими хлопотами по этому делу.

— Должно быть, не захотел брать на свою совесть вашу кровь,— сказал Партридж,— и он был прав. Если бы кого-нибудь повесили по моей жалобе, я после этого ни за что не решился бы спать один из страха увидеть покойника.

— Право, не знаю, Партридж,— сказал Джонс,— чего в тебе больше: храбрости или ума.

— Можете смеяться надо мной, сэр, если вам угодно,— отвечал Партридж,— однако, если вы выслушаете одну маленькую, но совершенно правдивую историю, которую я могу вам рассказать, то перемените ваше мнение. В приходе, где я родился...

Тут Джонс хотел было оборвать его, но незнакомец попросил позволить ему рассказать эту историю, обещая тем временем припомнить остающуюся часть своей собственной. Тогда Партридж продолжал:

— В приходе, где я родился, жил фермер по прозванию Брайдл; у него был сын Френсис, юноша, подававший большие надежды; я учился с ним в грамматической школе, где, помню, он дошел до «Посланий» Овидия и мог иногда перевести строчки три подряд, не заглядывая в словарь. Помимо всего этого, он был прекрасный парень, никогда не пропускал церковной службы по воскресеньям и считался одним из лучших певчих в приходе.

Любил, правда, иной раз выпить лишнее, только этот грех за ним и водился.

— Хорошо. А где же покойник? — спросил Джонс.

— Не беспокойтесь, сэр, сейчас к нему перейду,— отвечал Партридж.— Надо вам знать, что у фермера Брайдла пропала кобыла, гнедая, насколько мне помнится; вскоре потом молодому Френсису случилось быть на ярмарке в Гиндоне — это было, кажется в... нет, дня не могу припомнить; ну, да все равно,— только вдруг он видит: едет на отцовской кобыле какой-то человек. Франк крикнул тотчас же: «Держи вора!» Так как дело происходило в самой середине ярмарки, то, вы понимаете, молодчику невозможно было удрать. Его схватили и привели к судье; судьей был, помню, Виллауби из Нойля, добрый, почтенный джентльмен; он посадил его в тюрьму, а с Франка взял письменное обязательство явиться в суд присяжных. Наконец приехал открыть заседание старший судья Пейдж, и в суд приводят арестованного и Франка в качестве свидетеля. Ей-богу, никогда не забуду, с каким выражением судья спросил его, что он может сказать против арестованного.

Прямо в дрожь бросило бедного Франка. «Ну, молодец, что скажете? — проговорил судья.— Да только не мямлите, не бормочите под нос, а говорите толково». Однако потом обращался с Франком очень учтиво и загремел на арестованного: на его вопрос, может ли подсудимый сказать что-нибудь в свое оправдание, тот отвечал, что лошадь он нашел. «Вот какой счастливый! — сказал судья.— Я сорок лет объезжаю свой округ, и ни разу мне не случилось найти лошадь. Но скажу тебе, приятель, тебе посчастливилось больше, чем ты думаешь: ты нашел не только лошадь, но и повод». Ей-богу, никогда не забуду этих слов. Все захохотали, да и нельзя было удержаться. Судья отпустил еще десятка два шуточек, да всех я не запомнил. Было что-то насчет того, что парень знает толк в лошадях, и от этой шутки все снова покатились со смеху. Словом, молодец был судья и человек очень ученый. Занятнейшее это развлечение — ходить по судам да слушать, как людей приговаривают к смерти. Одно, признаюсь, показалось мне жестоко: адвокату подсудимого не позволили говорить, несмотря на то что он хотел сказать только несколько слов; судья не пожелал его слушать, а между тем адвокату противной стороны позволил говорить больше получаса. Мне показалось, признаюсь, жестоко, что столько людей выступало против одного: и судья, и члены суда, и присяжные, и адвокаты, и свидетели — все напали на бедняка, да притом еще в оковах. Подсудимого, понятно, повесили, а бедняга Франк с тех пор не знал покоя. Как только он оставался один в темноте, так тотчас ему мерещился повешенный.

— Это вся твоя история? — сказал Джонс.

— Нет, погодите,— отвечал Партридж.— Господи, помилуй! Теперь я подошел к самому главному. Однажды ночью, возвращаясь из пивной по длинному узкому темному переулку, Франк наткнулся прямо на покойника; привидение было все в белом и напало на Франка. Франк, парень крепкий, дал сдачи, произошла потасовка, и бедняга Франк был жестоко избит; с большим трудом дополз он до дому, но от побоев и испуга пролежал больной больше двух недель. И все это сущая правда, весь приход вам засвидетельствует.

Незнакомец улыбнулся, выслушав рассказ, а Джонс разразился громким хохотом.

— Смейтесь, сэр, если вам угодно,— сказал Партридж,— другие тоже смеялись, особенно один сквайр, слывший завзятым безбожником. Представьте, он говорил даже, что Франк дрался с теленком, потому что на другое утро в переулке нашли мертвого теленка с белой головой. Как будто теленок станет нападать на человека! Кроме того, Франк уверял меня, что это было привидение, и готов был подтвердить свои слова присягой перед любым христианским судом; и выпил он в тот вечер не больше двух кварт. Господи, помилуй нас и не дай нам обагрить руки в крови!

— Теперь, сэр,— обратился Джонс к незнакомцу,— мистер Партридж кончил свою историю и, надеюсь, не станет больше прерывать вас, если вы будете так добры продолжать.

Старик возобновил свой рассказ; но так как он тем временем передохнул, то мы считаем уместным дать отдых также и читателю и по этой причине кончаем настоящую главу.

## ГЛАВА XII,

*в которой Горный Отшельник продолжает свою историю*

— Я получил свободу,— сказал незнакомец,— но потерял свое доброе имя, потому что большая разница между человеком, оправдавшимся чисто юридически перед судом, и человеком, оправдавшимся перед своей совестью и общественным мнением. Я сознавал свою вину, и мне было стыдно смотреть в глаза людям; вот почему я решил покинуть Оксфорд на другой же день, до зари, прежде чем дневной свет успеет показать меня жителям города.

Выйдя за пределы Оксфорда, я первым делом подумал вернуться домой и просить прощения у отца; но, не имея оснований сомневаться в том, что ему известно обо всем случившемся и

прекрасно зная его глубокое отвращение ко всякому бесчестному поступку, я не мог надеяться, что он меня примет, особенно при добрых услугах, которые не преминет оказать мне матушка; но если бы даже прощение отца было столь же несомненно, как его негодование, я все-таки далеко не был уверен, достанет ли у меня силы посмотреть ему в глаза и смогу ли я, на каких угодно условиях, жить и общаться с теми, которые, по моему глубокому убеждению, знали, что я виновен в столь низком поступке.

Поэтому я поспешил вернуться в Лондон, это лучшее убежище для горя и позора, если только тот, кто его ищет, не обладает слишком громкой известностью, ибо там вы пользуетесь преимуществами пустыни, не терпя ее неудобств, там вы находитесь в одно и то же время и в одиночестве, и среди людей; между тем как вы гуляете или сидите, никем не наблюдаемый, шум, суета и постоянная смена впечатлений развлекают ваш ум и препятствуют вашим мыслям снедать себя, или, точнее, ваше горе и позор — самую вредную для здоровья пищу на свете, которую иные потребляют в изобилии и самым гибельным для себя образом, пребывая в одиночестве, хотя есть немало и таких, которые находят в ней вкус только на людях.

Но так как едва ли есть на земле такое благо, которому не сопутствовало бы зло, то и это благодетельное невнимание к вам ближних сопряжено бывает с некоторыми неудобствами; я не имею в виду те случаи, когда у вас нет денег,— ведь если незнакомые вам люди вас не стесняют, то они вас также не оденут и не накормят, и вы можете умереть с голоду на Леденгольском рынке так же легко, как в пустынях Аравии.

А я в то время как раз был лишен великого зла, как называют его некоторые писатели, полагаю я, им переобремененные,— то есть был совершенно без денег.

— Прошу покорно прощения, сэр,— сказал Партридж,— я не помню, чтобы какой-нибудь писатель относил деньги к числу malorum [1], их называют irritamenta malorum[2]. Effodiuntur opes, irritamenta malorum [3].

— Являются ли они злом, или причиной зла, сэр,— продолжал незнакомец,— только я не имел их вовсе, так же как и друзей, и даже простых знакомых. Однажды вечером, проходя, голодный и несчастный, по Внутреннему Темплу, я услышал чей-то голос, неожиданно окликнувший меня с большой непринужденностью по имени; я оглянулся и тотчас узнал в приветствовавшем

---

[1] Зол *(лат.)*.
[2] Возбудители, семена зол *(лат.)*.
[3] Люди копают землю, добывая золото, семя зол *(лат.)*.

меня человеке одного из моих товарищей студентов, оставившего университет уже больше года назад, задолго до того, как на меня обрушились мои несчастья. Джентльмен этот, которого звали Вотсон, сердечно пожал мне руку и, выразив радость по случаю нашей встречи, предложил мне распить вместе бутылку. Сначала я было отказался, сославшись на какое-то дело, но он не отставал со своей просьбой; наконец голод одолел во мне гордость, и я откровенно признался, что со мной нет денег, солгав в оправдание, будто я по ошибке надел сегодня не те брюки. Мистер Вотсон отвечал: «Мы с вами слишком старые знакомые, Джек, чтобы вам стоило церемониться из-за такого пустяка»,— и, взяв меня под руку, потащил с собой; это, впрочем, не стоило ему большого труда, потому что мои собственные желания влекли меня туда же с гораздо большей силой.

Мы отправились на улицу Фрайерс, где, как вы знаете, сосредоточены все увеселительные заведения. Когда мы вошли в таверну, мистер Вотсон обратился только к слуге, подававшему вино, оставив без малейшего внимания повара,— в уверенности, что я давно уже пообедал. Но так как это не соответствовало действительности, то я сочинил другую ложь и сказал своему спутнику, что был в отдаленном конце города по важному делу и второпях перехватил только баранью котлетку, так что теперь снова проголодался, и хорошо было бы прибавить к бутылке еще бифштекс.

— Какая дырявая у иных людей память! — воскликнул Партридж.— Или, может быть, в ваших брюках нашлось денег как раз столько, чтобы заплатить за баранью котлетку?

— Ваши замечания справедливы,— отвечал незнакомец,— и, мне кажется, такие обмолвки неизбежны у каждого, кто начал лгать. Но возвратимся к рассказу. На душе у меня стало легко и радостно. Мясо и вино скоро оживили и разгорячили меня, и я с наслаждением разговаривал со своим старым знакомым, тем более что считал все случившееся в университете после нашей разлуки для него неизвестным.

Но он недолго оставлял меня в этом приятном заблуждении. Подняв бокал одной рукой и взяв меня за руку другой: «Поздравляю вас, дорогой мой,— воскликнул он,— поздравляю вас с тем, что вы так почетно разделались с взведенным на вас обвинением!» Я был поражен как громом и пришел в крайнее смущение, но Вотсон, заметив это, сказал: «Стыдиться тут нечего. Ты оправдан, и никто не смеет назвать тебя преступником. Но скажи мне по правде,— ведь я твой друг,— ты все-таки его обокрал? По мне, так это самое похвальное дело — обобрать такого гадкого подхалима; только вместо двух сотен гиней хорошо было бы взять у него две тысячи. Черт меня побери, если я не уважаю вас за

это! Клянусь спасением моей души, я ни минуты не поколебался бы сделать то же самое».

Эти слова меня приободрили; и так как вино несколько развязало мне язык, то я откровенно признался в воровстве, заметив только, что мой спутник получил неправильные сведения о размерах похищенной суммы: на самом деле она составляла лишь немногим более пятой части названной им.

«Жаль, искренне жаль,— сказал он,— желаю вам большей удачи в другой раз. Впрочем, если вы послушаетесь моего совета, то не подвергнетесь больше никакому риску. Вот,— сказал он, вынимая из кармана горсть игральных костей,— вот средство, вот доктора, вылечивающие болезни кошелька. Следуйте только моему совету, и я покажу вам способ опустошать карманы простаков, не подвергаясь опасности воспарить в облака».

— Воспарить в облака? — повторил Партридж.— Скажите, пожалуйста, сэр, что это значит?

— На воровском жаргоне это значит быть вздернутым на виселицу,— отвечал незнакомец.— Так как игроки в отношении своей морали очень мало отличаются от молодцов с большой дороги, то и язык у них почти что общий.

Мы выпили по бутылке, когда мистер Вотсон заявил, что заседание уже началось и он должен на нем присутствовать, причем настойчиво требовал, чтобы и я пошел с ним попытать счастья. Я отвечал, что в настоящее время я не могу этого сделать по причине уже известной ему пустоты моего кармана. Правду говоря, я не сомневался после его многочисленных уверений в дружеских чувствах, что он предложит мне взаймы небольшую сумму на этот предмет, но он отвечал: «Ну вот, есть о чем беспокоиться! Смойтесь, и все тут. (Партридж собрался было спросить значение этого слова, но Джонс остановил его.) Только будьте осторожны в выборе партнера. Я вам подам знак, с кем играть,— это необходимо: ведь вы не знаете столицы и не сумеете отличить шулера от простофили».

Подали счет; Вотсон заплатил свою долю и собрался уходить. Я ему напомнил, не без краски стыда, что у меня нет денег. Он отвечал: «Это ничего не значит; зачеркните счет за дверью или смахните щеткой, как ни в чем не бывало... Или... постойте: я уйду первый, а вы возьмите мои деньги и заплатите у стойки; я подожду вас на углу». Я выразил некоторое неудовольствие по этому поводу и дал понять, что ждал от него уплаты за двоих; но он поклялся, что у него нет и шести пенсов лишних.

Вотсон ушел, а я принужден был взять деньги и последовать за ним почти по пятам, так что мог расслышать, как он говорил трактирному слуге, что деньги на столе. Слуга прошел мимо меня,

поднимаясь по лестнице; но я так поспешно выбежал на улицу, что до меня уже не долетели его ругательства; у стойки же я не проронил ни слова, согласно преподанным мне наставлениям.

Мы направились прямо к ломберному столу, и мистер Вотсон, к моему удивлению, достал из кармана крупную сумму и положил ее перед собой, как и многие другие, без сомнения, смотревшие на свои кучки как на своего рода приманных птиц, задачей которых было привлекать к себе кучки соседей.

Было бы скучно рассказывать о всех шалостях Фортуны (или, лучше сказать, костей), которые она творила в этом своем святилище. Горы золота молниеносно таяли на одном конце стола и столь же внезапно вырастали на другом. Богач в одно мгновение делался нищим, а нищий — богачом. Нигде философ не мог бы лучше научить своих учеников презрению к богатству, или, по крайней мере, нигде он не мог бы показать им нагляднее, насколько оно непрочно.

Что касается меня, то, значительно умножив свой скромный капитал, я в заключение потерял его начисто. Мистер Вотсон тоже, после многих превратностей счастья, встал из-за стола в некотором возбуждении, объявив, что продул целую сотню и не желает больше играть; потом подошел ко мне и предложил вернуться в таверну. Но я решительно отказался, заявив, что не хочу вторично ставить себя в неловкое положение, особенно теперь, когда и он проиграл все свои деньги и ничуть не богаче меня. «Пустяки! — сказал он.— Я только что занял у приятеля две гинеи, и одна из них к вашим услугам». С этими словами он сунул мне в руку золотой, и я больше не противился его настояниям.

Сначала меня несколько коробила мысль о возвращении в ту самую таверну, которую мы покинули таким некрасивым образом, но когда слуга сказал с учтивым поклоном, что мы, кажется, забыли заплатить по счету, я совершенно успокоился, без возражений дал ему гинею и велел взять из нее сколько нужно, приняв как должное это несправедливое обвинение в забывчивости.

Мистер Вотсон заказал между тем роскошнейший ужин, какой только мог придумать, и, хотя раньше довольствовался простым красным вином, теперь потребовал непременно самого дорогого бургундского.

Вскоре к нам присоединились еще несколько джентльменов из игорного дома, большая часть которых, как я убедился потом, пришла в таверну не пьянствовать, а обделывать свои дела: сославшись на нездоровье, они отказались от вина, но зато усердно угощали двух молодых людей, которых избрали себе в жертву и потом обобрали дочиста. Часть добычи посчастливилось получить и мне, хотя я не был еще посвящен в тайны их искусства.

Эта игра в таверне сопровождалась одним замечательным явлением: деньги мало-помалу куда-то исчезали; таким образом, хотя в начале игры стол был наполовину покрыт золотом, но когда игра кончилась, что произошло только на следующий день (это было воскресенье) к полудню, на столе можно было увидеть всего лишь гинею. Это было тем более странно, что все присутствующие, за исключением меня, объявили о своем проигрыше; трудно понять, что случилось с деньгами, разве только их унес сам дьявол.

— Так оно, вероятно, и было,— сказал Партридж,— потому что злые духи могут унести что угодно, не будучи видимыми, если даже в комнате находится целая толпа народу. И меня нисколько не удивило бы, если бы дьявол унес всю эту компанию мошенников, занимавшихся игрой во время обедни. Если бы я захотел, то мог бы рассказать вам истинное происшествие, как дьявол стащил одного мужчину с постели чужой жены и унес через замочную скважину. Я собственными глазами видел дом, где это случилось, и вот уже тридцать лет, как никто в нем не живет.

Хотя Джонса немного рассердила эта неучтивость Партриджа, он не мог, однако, сдержать улыбку. Незнакомец тоже улыбнулся простоте спутника Джонса и продолжал свой рассказ, который читатель найдет в следующей главе.

## ГЛАВА XIII,

*в которой содержится продолжение истории Горного Отшельника*

— Мой товарищ по колледжу открыл мне новое поприще. Скоро я познакомился со всем сообществом шулеров и был посвящен в их тайны,— я разумею те грубые приемы, которые годятся для одурачивания неопытных и простаков, потому что есть штуки и потоньше, известные только немногим членам шайки, мастерам своего искусства; на такую честь я не мог рассчитывать: пьянство, которому я неумеренно предавался, и природная пылкость чувств не позволили мне достигнуть больших успехов в искусстве, требующем столько же бесстрастия, как самая суровая философская школа.

Мистер Вотсон, с которым я жил теперь в самой тесной дружбе, к несчастью, был человек еще более увлекающийся; вместо того чтобы составить себе состояние своей профессией, как делали другие, он бывал попеременно то богачом, то нищим; обыграв неопытных новичков в игорном доме, он часто спускал весь выигрыш своим более хладнокровным приятелям за бутылкой вина, к которому те никогда не прикасались.

Однако мы кое-как ухитрялись добывать жалкие средства к существованию. Целых два года жил я этим ремеслом и изведал за это время все превратности счастья, иногда процветая, а иногда бывая вынужден бороться с невероятными трудностями — сегодня купаясь в роскоши, завтра сидя на хлебе и на воде; дорогое платье, в котором я был вечером, наутро сплошь и рядом переходило в лавку закладчика.

Однажды вечером, когда я возвращался из игорного дома без гроша в кармане, я увидел на улице большое смятение и толпу народа. Не опасаясь перспективы стать жертвой карманных воров, я протискался в самую давку и узнал при помощи расспросов, что какие-то громилы ограбили и сильно избили неизвестного человека. Раненый был весь в крови и, казалось, едва держался на ногах. Мой теперешний образ жизни и общество, в котором я вращался, не убили во мне человечности, хотя почти не оставили чувства честности и стыда, и я тотчас же предложил помощь несчастному, который с благодарностью ее принял и, опершись на мою руку, попросил отвести его в какую-нибудь таверну, где он мог бы послать за хирургом, так как чувствовал большую слабость от потери крови. Он, по-видимому, очень обрадовался встрече с прилично одетым человеком; все остальные в окружавшей его толпе были с виду таковы, что довериться им было бы неосторожно.

Я взял пострадавшего под руку и привел в таверну, где мы устраивали наши свидания,— она была ближе всех от того места. К счастью, там оказался и хирург, тотчас же явившийся; перевязав раны, он успокоил меня, сказав, что они не смертельны.

Справившись проворно и ловко со своим делом, хирург спросил раненого, в какой части города он живет; тот отвечал, что приехал в Лондон только сегодня утром, что лошадь оставлена им в гостинице на Пикадилли, что другого помещения у него нет, и нет или почти нет знакомых в городе.

Хирург этот, фамилию которого я забыл и помню только, что она начинается с буквы Р, пользовался громкой известностью и был лейб-медиком. Он отличался, кроме того, множеством прекрасных качеств, был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым на услугу. Он предложил пострадавшему свой экипаж и шепнул на ухо, что если ему нужны деньги, то он охотно их даст.

Однако раненый неспособен был поблагодарить за это великодушное предложение: уже несколько минут он пристально смотрел на меня, потом упал в кресла, вскрикнув: «Сын мой, сын!» — и лишился чувств.

Многие из присутствовавших объяснили этот случай потерей крови, но мне давно уже черты лица этого человека начали

казаться знакомыми; теперь же я укрепился в своем предположении и более не сомневался, что передо мной действительно отец. Я тотчас же подбежал к нему, заключил в свои объятия и горячо поцеловал в холодные губы. Тут я должен опустить занавес над сценой, которой описать не в состоянии, потому что, хотя я и не лишился чувств, подобно отцу, однако был настолько испуган и поражен, что несколько минут ничего не соображал; так продолжалось до тех пор, пока отец не очнулся, и я увидел себя в его объятиях, нежно прижавшимся к нему, между тем как у нас обоих по щекам градом катились слезы.

Многие из присутствовавших расчувствовались при виде этой сцены, но мы, ее действующие лица, желали только как можно скорее скрыться с глаз зрителей; поэтому отец принял любезное предложение хирурга, сел в экипаж, и я проводил его до гостиницы, где он остановился.

Оставшись со мной наедине, он мягко пожурил меня за то, что я не удосужился написать ему в течение такого долгого времени, но ни словом не обмолвился о преступлении, послужившем причиной этого молчания. Он известил меня о смерти моей матери и горячо упрашивал вернуться с ним домой, говоря, что сильно беспокоился обо мне,— не знал, страшиться ли ему моей смерти или желать ее, ввиду еще более ужасных опасений относительно моей участи. Наконец, сказал он, один сосед дворянин, только что вызволивший сына из того же места, сообщил ему, где я, и единственная цель его поездки в Лондон — вытащить меня из омута, в котором я провожу свою жизнь. Он благодарил бога, что ему удалось так скоро найти меня,— правда, вследствие происшествия, едва не оказавшегося для него роковым,— и выразил удовольствие, что отчасти обязан своим спасением моей отзывчивости, порадовавшей его гораздо больше, чем порадовала бы сыновняя любовь, если бы я знал, что предметом моих забот является родной отец.

Порок еще не настолько ожесточил мое сердце, чтобы сделать его бесчувственным к такому трогательному проявлению родительской любви, которой к тому же я был совершенно недостоин. Я тотчас же пообещал исполнить его просьбу возвратиться с ним домой, как только он будет в состоянии отправиться в дорогу; благодаря помощи превосходного хирурга, взявшего на себя его лечение, долго ждать ему не пришлось.

Накануне отъезда (до тех пор я почти ни на минуту не расставался с отцом) я пошел попрощаться кое с кем из самых близких своих приятелей, особенно с мистером Вотсоном, который стал горячо уговаривать меня не хоронить себя заживо по прихоти выжившего из ума старика. Его доводы не возымели, однако,

действия, и я снова увидел свой родной дом. Отец очень советовал мне подумать о женитьбе, но сердце мое совсем не лежало к этому. Я уже изведал любовь, и вы, может быть, знаете, к каким сумасбродствам приводит эта самая нежная и самая бурная страсть...

Тут старик помолчал и пристально посмотрел на Джонса, лицо которого на протяжении минуты из пунцово-красного сделалось мертвенно-бледным. Затем продолжал свой рассказ:

— Обеспеченный всем необходимым, я снова предался учению с еще большим усердием, чем прежде. Книги, поглощавшие теперь все мое время, были как старые, так и новые трактаты по истинной философии — слово, которое у многих служит лишь мишенью для шуток и насмешек. Я прочел все произведения Аристотеля и Платона и прочие бесценные сокровища, завещанные миру Древней Грецией.

Хотя эти писатели не преподали ни малейших указаний насчет того, каким образом приобретаются богатство и власть, они научили меня, однако, искусству презирать высочайшие их преимущества. Эти великие писатели возвышают ум, укрепляют и закаляют его против случайностей судьбы. Они не только наставляют в науке Мудрости, но также прививают нам ее привычки и неопровержимо доказывают, что она должна быть нашей водительницей, если мы предполагаем достичь когда-нибудь величайшего доступного на земле счастья или сколько-нибудь надежно оградить себя против бедствий, которые со всех сторон осаждают и одолевают нас.

Наряду с этим занимался я и другим предметом, по сравнению с которым вся философия, преподанная мудрейшими язычниками, не более как сон и поистине исполнена той суетности, какую силятся приписать ей самые пустоголовые насмешники. Предмет этот — божественная мудрость, которую можно найти единственно в Священном писании: ибо оно сообщает нам знание и уверенность в вещах, гораздо более достойных нашего внимания, чем все, что посюсторонний мир может предложить нам на потребу,— вещах, которые само небо удостоило открыть нам и самого малого познания которых никогда не мог бы достичь без помощи свыше самый высокий человеческий ум. Мне начало казаться теперь, что время, проведенное мною с лучшими языческими писателями, пропало даром: ибо как бы ни были приятны и полезны их наставления, как бы точно ни соответствовали они условиям нашей жизни здесь, на земле, все-таки, по сравнению с тем, что открывает нам Писание, все их высочайшие наставления покажутся ничтожными и несущественными — похожими на правила, которые устанавливают дети для своих игр и развлечений. Верно, что философия делает нас более мудрыми, но христианская рели-

гия делает нас лучшими. Философия возвышает и закаляет душу, христианская религия умягчает и укрощает ее. Первая делает нас предметом удивления людей, вторая — предметом божественной любви. Первая обеспечивает нам счастье преходящее, вторая — вечное... Но, боюсь, не наскучил ли я вам своими рассуждениями.

— Нисколько! — воскликнул Партридж.— Боже упаси! Кому же могут наскучить умные речи?

— Так провел я около четырех лет приятнейшим для меня образом,— продолжал незнакомец,— всецело отдавшись умозрению и не заботясь ни о чем житейском, как вдруг смерть отняла у меня лучшего из отцов, которого я любил так горячо, что горе мое по случаю его утраты не поддается описанию. Я забросил свои книги и целый месяц предавался печали и отчаянию. Однако время, лучший врач в мире, наконец принесло мне облегчение.

— Да, да. Tempus edax rerum,— заметил Партридж.

— Тогда,— продолжал незнакомец,— я снова принялся за прерванные занятия, и они, могу сказать, вылечили меня окончательно, ибо философия и религия могут быть названы упражнениями души и, когда она в расстройстве, столь же для нее целительны, как физические упражнения для расслабленного тела. Действие их сходно: они укрепляют и закаляют душу, пока человек не становится, согласно благородным строкам Горация:

> Fortis et inseipso totus teres atque rotundus,
> Externi ne quid valeat per laeve morari;
> In quem manca ruit semper Fortuna [1].

При этих словах Джонс улыбнулся по случаю одной, пришедшей ему в голову мысли, но незнакомец, кажется, этого не заметил и продолжал:

— Обстоятельства мои сильно изменились после смерти этого лучшего из людей, потому что брат мой, ставший теперь хозяином в доме, настолько отличался от меня по своим вкусам и наши дороги в жизни настолько расходились, что трудно представить людей, менее ладивших друг с другом. Но что делало нашу совместную жизнь еще более неприятной, так это крайнее несоответствие между моими немногочисленными гостями и огромной ватагой охотников, которых брат часто приводил с собой обедать; ведь подобные господа не только вечно шумят и оскорбляют свои-

---

[1] Целостен весь он в себе, до того округл без задорин,
Что извне на нем ничто задержаться не может;
И Фортуна бессильна его побороть. *(Перевод А. Фета.)*

ми непристойностями слух людей скромных, но еще и стараются задеть их обидой или презрением. Сидя с ними за столом, и я, и мои друзья неизменно подвергались насмешкам за свое незнание охотничьих прибауток. Вообще говоря, люди действительно образованные и обладающие обширными познаниями всегда бывают снисходительны к невежеству других, а господа, навострившиеся в каком-нибудь мелком, низменном, презренном искусстве, считают своим долгом смотреть свысока на всех, кто в этом искусстве не сведущ.

Словом, мы скоро расстались, и я отправился, по совету врача, на воды в Бат: сидячий образ жизни и глубокая удрученность привели меня к своего рода паралитическому состоянию, от которого батские воды считаются превосходным лекарством. На другой день после моего приезда туда я вышел погулять вдоль реки, но солнце так немилосердно пекло (хотя была еще ранняя весна), что пришлось укрыться под тень прибрежных ив. Посидев недолго, услышал я, как по другую сторону ивняка кто-то вздыхает и горько жалуется. Вдруг этот человек с кощунственным проклятием воскликнул: «Нет, больше не могу терпеть!» — и с размаху бросился в воду. Я мгновенно вскочил и побежал к тому месту, в то же время изо всех сил призывая на помощь. К счастью, какой-то рыболов, скрытый от меня высоким тростником, удил невдалеке рыбу. Он тотчас же откликнулся, и мы оба, с опасностью для жизни, вытащили утопленника на берег. Сначала он не подавал никаких признаков жизни, но когда, подняв его за ноги (скоро к нам на помощь подоспело еще несколько человек), мы выкачали из него порядочное количество воды, он начал слабо дышать и двигать руками и ногами.

Случившийся в числе прочих аптекарь посоветовал немедленно унести его и уложить в теплую постель,— воды было выкачано уже достаточно, и частые судорожные движения показывали, что покушавшийся на самоубийство жив. Совет был приведен в исполнение под моим и аптекаря наблюдением.

Когда мы направлялись в гостиницу, не зная, где живет спасенный, по счастью, нам встретилась женщина, которая, дико взвизгнув, сказала, что джентльмен остановился в ее доме.

Увидев, что незнакомец в безопасности, я оставил его на попечении аптекаря, применившего, надо думать, правильный метод лечения, потому что на следующее утро больной был уже совершенно здоров.

Я пошел к нему, чтобы подробно разузнать о причинах, побудивших его к такому отчаянному поступку, и по мере сил моих удержать несчастного от повторения таких попыток в будущем. Едва только меня впустили в его комнату, как мы оба сразу узна-

ли друг друга: то был не кто иной, как мой старый приятель мистер Вотсон! Я не буду докучать вам описанием всего, что произошло между нами в первые минуты встречи, потому что очень хотел бы избежать многословия.

— Пожалуйста, расскажите нам все! — воскликнул Партридж.— Мне ужасно хочется знать, что привело его в Бат.

— Вы услышите от меня все существенное,— отвечал незнакомец и продолжал свой рассказ, который мы и изложим в следующей главе, дав сначала маленький отдых и себе и читателю.

## ГЛАВА XIV,

*в которой Горный Отшельник заканчивает свой рассказ*

— Мистер Вотсон,— продолжал незнакомец,— откровенно признался мне, что решение покончить с собой вызвано было несчастно сложившимися обстоятельствами его жизни, дурным оборотом колеса Фортуны.

Тогда я начал горячо оспаривать языческое или, скорее, даже дьявольское мнение о позволительности самоубийства, сказал все, что мог припомнить по этому предмету,— однако, к великому моему сожалению, слова мои произвели на него очень слабое впечатление. Он не обнаружил никаких признаков раскаяния и внушил мне серьезные опасения, что вскоре повторит свою ужасную попытку.

Когда я кончил свою речь, Вотсон, вместо того чтобы возражать, пристально посмотрел мне в глаза, улыбнулся и сказал: «Странную нахожу я в вас перемену после нашей разлуки, мой добрый друг. Я думаю, ни один из наших епископов не мог бы привести более красноречивых доводов против самоубийства, чем те, какие привели мне вы; но если вы не сыщете человека, который ссудил бы мне сто фунтов наличными, мне придется либо повеситься, либо утопиться, либо околеть с голоду, а эта последняя смерть, по-моему, самая ужасная из всех трех».

Я отвечал ему, что я действительно изменился после нашей разлуки, что на досуге я размышлял о моих безумствах и раскаялся в них. Я посоветовал ему стать на тот же путь и заключил свою речь выраженьем готовности дать ему сто фунтов, если это его выручит и он не спустит их в кости.

Мистер Вотсон, продремавший во время первой половины моей речи, при этих заключительных словах встрепенулся. Он горячо пожал мне руку, рассыпался в благодарностях и объявил, что я истинный друг, прибавив, что ждал от меня лучшего о нем

мнения: горький опыт, по его словам, достаточно научил его, и он не будет больше доверяться проклятым костям, которые столько раз его обманывали. «Нет, нет! — воскликнул он.— Только бы мне стать как следует на ноги; и если Фортуна снова сделает меня банкротом, я прощу ей».

Я отлично понял выражения «стать на ноги» и «банкрот», поэтому сказал ему очень серьезно: «Мистер Вотсон, постарайтесь, пожалуйста, найти себе какую-нибудь работу или занятие, которое могло бы дать вам пропитание, и я обещаю вам, если только увижу хоть малейшую вероятность, что деньги будут мне возвращены, ссудить вам гораздо большую сумму, чем та, что была вами названа, что позволит вам прилично обставить себя для любой почетной и прибыльной профессии. А что касается игры, то, не говоря уже о постыдности и порочности этого занятия, вы, по моему убеждению, не годитесь для нее, и она неминуемо приведет вас к гибели».

«Странно мне слышать это,— отвечал он.— Ни вы и никто из моих приятелей никогда не высказывали мне ничего подобного, а я сам думаю, что рука у меня в игре не хуже, чем у других, и ужасно хотел бы сыграть с вами на все ваше состояние — ничего лучшего мне не надо; в придачу я предоставляю вам выбрать игру по своему усмотрению. Однако, милый мой, сто фунтов с вами?»

Я отвечал, что со мной только билет в пятьдесят фунтов, который я и вручил мистеру Вотсону, обещав принести остальное на другой день утром; преподав ему еще несколько добрых советов, я ушел.

Я был более пунктуален, чем обещал: принес ему деньги в тот же день к вечеру. Войдя в комнату, я застал своего приятеля сидящим в постели за картами с одним продувным игроком. Картина эта, вы сами понимаете, возмутила меня до глубины души, особенно когда я увидел свой билет в руках его противника, а перед ним только тридцать гиней.

Противник этот сейчас же ретировался, а Вотсон в замешательстве сказал, что ему страшно стыдно. «Я вижу, однако же, что мне чертовски не везет, и твердо решил оставить игру навсегда. Я много думал о вашем любезном предложении и обещаю вам, что не моя будет вина, если я не приведу его в исполнение».

Хотя я не очень доверял обещаниям Вотсона, это не помешало мне исполнить свое собственное обещание, то есть дать ему остальные пятьдесят фунтов; он выдал мне расписку, и эта расписка была все, на что я рассчитывал от него взамен своих денег.

Дальнейшей нашей беседе помешало появление аптекаря; не осведомившись о состоянии больного, он с радостным выраже-

нием объявил, что получил в письме важные новости, которые вскоре станут достоянием гласности, а именно: герцог Монмутский высадился на западе с сильной голландской армией, между тем как значительный флот маневрирует у берегов Норфолька и готовится к десанту, с целью облегчить этой диверсией предприятие герцога.

Этот аптекарь был страстным политиком, и самая пустая новость радовала его больше, чем наилучший пациент; но величайшим для него удовольствием было получить какое-нибудь известие на час или два раньше, чем остальные жители города. Однако его сообщения редко бывали достоверны: он почти все принимал за правду, и этим многие пользовались, чтобы посмеяться над ним.

Так случилось и с его теперешней новостью: вскоре стало известно, что герцог действительно высадился, но с самым ничтожным отрядом; а что касается диверсии в Норфольке, то это была чистейшая выдумка.

Аптекарь зашел только для того, чтобы сообщить нам свою новость, после чего, не сказав ни слова своему пациенту, поспешно удалился распространять по городу полученные известия...

События этого рода обыкновенно заслоняют собой все частные интересы. И наша беседа перешла на чисто политические темы. С некоторых пор я был серьезно встревожен опасностью, столь явно угрожавшей протестантской религии со стороны короля-паписта, и считал, что она вполне оправдывает это восстание, ибо единственной гарантией против гонений на инакомыслящих, которые учиняет папизм, когда он вооружен властью, является лишение его этой власти, как вскоре показал прискорбный опыт. Вы знаете ведь, как поступил король Иаков после подавления этого восстания, как мало уважал он свое королевское слово, присягу, данную при короновании, а также вольности и права народа. Но на первых порах не все это предвидели, и потому герцог Монмутский встретил слабую поддержку. Только когда зло разразилось, все наконец объединились и изгнали этого короля, между тем как в царствование его брата значительная часть нашего населения горячо выступала против лишения его права на престол и теперь сражалась за него с таким рвением и преданностью.

— То, что вы говорите, совершенно справедливо,— заметил Джонс,— и меня часто поражало,— я никогда не встречал ничего более удивительного ни в одной книге по истории,— что так скоро после этого наглядного примера, побудившего все наше население сплотиться и изгнать короля Иакова для сохранения нашей ре-

лигии и вольностей, у нас находится партия безумцев, желающих восстановить на престоле его потомков.

— Вы шутите! — воскликнул старик.— Такой партии не может быть! Как ни плохо мое мнение о людях, я не могу поверить, чтобы они до такой степени потеряли рассудок. Кучка горячих папистов, подстрекаемых попами, еще может увлечься этим безнадежным делом и считать его священной войной; но чтобы протестанты, сторонники англиканской церкви, оказались такими отступниками, такими felos de se[1],— этому я не могу поверить! Нет, нет, молодой человек, я не имею никаких сведений о том, что творилось на свете в течение последних тридцати лет, но все-таки вам не удастся одурачить меня такой глупой басней: я вижу, вы хотите потешиться надо мной, воспользовавшись моей неосведомленностью.

— Возможно ли? — удивился Джонс.— Неужели вы так долго жили вдали от мира, что не знаете, что за это время произошло два восстания в пользу сына короля Иакова, одно из которых в настоящую минуту бушует в самом сердце королевства?

При этих словах старик вскочил с места и торжественно попросил Джонса поклясться, что все сказанное им — правда. Когда Джонс дал эту клятву, он несколько раз в глубоком молчании прошелся по комнате, потом вскрикнул, рассмеялся и, наконец, упал на колени и в громкой молитве возблагодарил бога за то, что он избавил его от всякого общения с людьми, способными на такие чудовищные сумасбродства. После этого Джонс напомнил, что рассказ еще не кончен, и старик продолжал:

— В те дни, о которых я рассказываю, человечество не докатилось еще до нынешнего безумия,— которого я миновал, видно, только потому, что жил в одиночестве, вдали от заразы,— началось значительное движение в пользу Монмута. Убеждения мои склоняли меня на его сторону, и я решил присоединиться к восставшим; к тому же решению, хотя и по другим мотивам, пришел и мистер Вотсон (в таких случаях азарт игрока способен увлечь человека не хуже, чем патриотизм). Мы скоро обзавелись всем необходимым и присоединились к герцогу Монмутскому у Бриджвотера.

Несчастный исход этого предприятия, я полагаю, известен вам не хуже, чем мне. После сражения при Седжмуре, в котором я был легко ранен, я бежал вместе с мистером Вотсоном. Мы проскакали верхом около сорока миль по эксетерской дороге, а потом, сойдя с лошадей, стали пробираться по полям и проселочным дорогам и пришли наконец к лачужке, стоявшей на пустыре,

[1] Самоубийца; буквально: преступник против себя *(лат.)*.

хозяйка которой, бедная старуха, помогла нам, чем могла, и перевязала мне рану, положив на нее пластырь, быстро зажививший ее.

— А куда вы были ранены, сэр? — спросил Партридж. Незнакомец ответил, что в руку, и продолжал свой рассказ:

— Здесь, сэр, мистер Вотсон покинул меня на следующее утро под предлогом, что хочет раздобыть провизии в городе Коллемптоне; однако — можете ли вы этому поверить? — мистер Вотсон, мой друг, этот низкий, бесчеловечный, вероломный негодяй, донес на меня кавалерийскому разъезду армии короля Иакова и по возвращении выдал меня.

Солдаты, их было шестеро, схватили меня и отвели в Тонтонскую тюрьму. Но ни положение, в котором я очутился, ни опасения за мою участь не беспокоили меня и не досаждали в такой степени, как общество этого вероломного друга, который тоже был заключен в тюрьму, хотя его содержали лучше, в награду за его предательство. Сначала он попробовал было оправдаться, но, не получив от меня в ответ ничего, кроме презрения и упреков, он скоро переменил свое обращение, обозвал меня злобным и лютым бунтовщиком и переложил всю свою вину на меня, заявив, будто я уговорил его и даже заставил угрозами поднять оружие против нашего милостивого и законного государя.

Это ложное показание (потому что в действительности он был гораздо ретивее меня) задело меня за живое и возмутило до глубины души. Однако судьба наконец сжалилась надо мной: когда мы проходили по узкой тропинке между изгородями, недалеко от Веллингтона, было получено ложное известие, будто вблизи находится неприятельский отряд человек в пятьдесят, и мои конвоиры дали тягу, предоставив мне и моему предателю последовать их примеру. Негодяй тотчас же убежал, а то бы я, конечно, постарался, даром что был безоружный, отомстить ему за низкий поступок.

Я снова оказался на свободе; свернув с большой дороги в сторону, я зашагал вперед, куда глаза глядят; главной моей заботой было избегать людных дорог, городов и даже самых простых деревенских домов: в каждом встречном я видел предателя.

Наконец, поскитавшись таким образом несколько дней, в течение которых поля и луга доставляли мне ту же постель и ту же пищу, какими природа оделяет наших меньших братьев — диких зверей, я пришел сюда и решил здесь поселиться, прельстившись пустынностью и дикостью места. Я нашел приют у матери этой старухи, которую вы видите, и укрывался у нее, пока известие о славной революции не рассеяло моих страхов. Тогда я вернулся домой для приведения в порядок своих дел и скоро уладил их,

к удовольствию как брата, так и моему собственному: я отказался от своих прав в его пользу, а он выплатил мне тысячу фунтов и закрепил за мной пожизненную ренту.

Его поведение в этом случае, как и вообще, было эгоистичным и неблагородным. Я не мог смотреть на него как на своего друга, да он этого и не хотел; вот почему я немедленно расстался и с ним, и со всеми своими знакомыми. Начиная с того дня моя история почти что пустой лист.

— Неужели, сэр, вы могли с тех пор жить здесь безвыездно до настоящей минуты? — спросил Джонс.

— Нет, сэр,— отвечал старик,— я много путешествовал, и в Европе мало найдется таких уголков, где бы я не побывал.

— У меня не хватает решимости просить вас, сэр, рассказать и об этом,— проговорил Джонс,— вы так устали, что это было бы жестоко; но если представится случай, то я буду рад услышать интересные наблюдения, которые не мог не сделать во время своих долгих путешествий человек вашего ума и знаний.

— Извольте, молодой человек,— отвечал незнакомец,— я постараюсь удовлетворить ваше любопытство, сколько могу, и в этом отношении.

Джонс снова принялся было извиняться, но был остановлен, и когда уселся, приготовившись с жадностью и нетерпением слушать, незнакомец продолжал свой рассказ, который вы найдете в следующей главе.

## ГЛАВА XV

*Краткая история Европы и любопытный разговор между мистером Джонсом и Горным Отшельником*

— В Италии хозяева гостиниц очень молчаливы. Во Франции они разговорчивее, но все же вежливы. В Германии и Голландии они по большей части большие грубияны. Что же касается честности, то в этом отношении, я полагаю, они почти везде одинаковы. Les laquais à louange никогда не пропускают случая надуть вас, а почтари, мне кажется, на всем свете похожи друг на друга. Вот, сэр, наблюдения над людьми, какие я сделал во время моих путешествий, потому что только с названными представителями человечества я и имел дело. Моей целью при поездке за границу было развлечь себя чудесным разнообразием видов природы, зверей, птиц, рыб, насекомых и растений, которыми богу угодно было украсить различные части земного шара,— разнообразие, которое, доставляя большое наслаждение внимательному зрителю, является в то же время замечательным свидетельством могущест-

ва, мудрости и благости творца. Правду сказать, из всех его творений только одно не служит к его чести, и с ним я давно уже прекратил всякие сношения.

— Извините меня,— прервал его Джонс,— но я всегда считал, что и в творении, о котором вы говорите, содержится такое же разнообразие, как и во всех остальных; ибо, не говоря уже о различии характеров, обычаи и климат, как мне передавали, вносят крайнюю пестроту в человеческую природу.

— Самую ничтожную,— отвечал старик.— Кто путешествует с целью ознакомиться с различными нравами, тот избавил бы себя от напрасного труда, ограничившись посещением венецианского карнавала: там он увидел бы сразу все, что можно открыть при разных европейских дворах,— то же лицемерие, тот же обман,— словом, те же нелепости и пороки, наряженные в разные костюмы. В Испании их носят с большой важностью, в Италии — с большим блеском. Во Франции плуты одеваются щеголями, а в северных странах — неряхами. Но человеческая природа везде одинакова, везде достойна ненависти и презрения.

Что касается меня, то я прошел сквозь все эти народы, как вы прошли бы сквозь толпу у входа в театр,— прошел толкаясь, одной рукой заткнув нос, а другой придерживая карман, не говоря ни с кем ни слова и торопясь добраться до того, что я хотел увидеть и что, как ни интересно само по себе, едва ли вознаградило меня за неприятности, доставленные окружающими.

— Но неужели ни один из этих народов, среди которых вы путешествовали, не показался вам приятнее прочих? — спросил Джонс.

— Как же,— отвечал старик,— турки пришлись мне гораздо больше по душе, чем христиане: они, по крайней мере, молчаливы и никогда не докучают иностранцу вопросами. Правда, случается, что иной из них вас ругнет или плюнет вам в лицо, когда вы проходите по улицам, но тем дело и кончается, и вы можете прожить у них целый век, не услышав и десятка слов. Но из всех народов, какие я видел, сохрани меня бог от французов! Со своим проклятым пустословием, со своей учтивостью, с вечным желанием блеснуть (как они выражаются) своей родиной перед иностранцами, то есть на самом деле выказать перед ними свое тщеславие, они так докучны, что я охотнее соглашусь провести всю жизнь с готтентотами, чем снова шагать по Парижу. Готтентоты грязный народ, но грязь у них снаружи, тогда как во Франции и еще в некоторых странах, которых я не стану называть, вся она внутри и поражает зловонием мой разум гораздо сильнее, чем грязь готтентотов мой нос.

Вот вам, сэр, конец истории моей жизни, ибо, что касается длинного ряда лет, уединенно прожитых мной здесь, то они не представляют ничего занимательного для вас, так что на них можно смотреть, как на один день. Я наслаждался таким полным уединением посреди нашего многолюдного королевства, какое едва ли мог бы найти даже в пустынях Фиваиды. Так как имения у меня нет, то мне не докучают арендаторы и управляющие; рента выплачивается мне аккуратно, как и следовало ожидать, потому что она гораздо меньше, чем я мог бы рассчитывать за все, что я отдал. Посетителей я не принимаю, а старуха, ведущая мое хозяйство, знает, что вся ее должность заключается в том, чтобы избавить меня от необходимости самому покупать все нужное для жизни и вести какие бы то ни было дела, да еще в том, чтобы держать язык за зубами, когда я могу ее услышать. Так как я выхожу из дому только по ночам, то почти не подвержен опасности встретить кого-нибудь в этом диком и безлюдном месте, а если изредка это и случается, то все в страхе убегают, принимая меня за привидение или за лешего благодаря моему необычайному костюму и всей фигуре. Однако сегодняшний случай показывает, что даже и здесь я не нахожусь в безопасности от людской подлости: ведь не подоспей вы на помощь, я был бы не только ограблен, но, по всей вероятности, и убит.

Джонс поблагодарил незнакомца за труд, который он взял на себя, рассказав свою историю, и выразил удивление, как он может выносить такое одиночество.

— Здесь вы можете справедливо пожаловаться на отсутствие разнообразия,— сказал он.— Я положительно недоумеваю, как могли вы заполнить или, вернее, убить все это время.

— Я нисколько не удивляюсь,— отвечал старик,— что человеку, чувства и мысли которого прикованы к миру, часы мои должны показаться незанимательными в этом пустынном месте; но есть одно занятие, для которого бесконечно мало всей человеческой жизни. В самом деле, какого времени может быть довольно для созерцания и поклонения славному, бессмертному и вечному Существу, среди дивных творений которого не только наша земля, но даже бесчисленные светила, усеивающие свод небесный, хотя бы многие из них были солнцами, освещающими иные миры,— то же самое, что ничтожные атомы по сравнению с земным шаром, на котором мы живем? Разве может человек, допущенный божественным соизволением, так сказать, к общению с этим несказанным, непостижимым величием, считать дни, или годы, или века слишком долгими для наслаждения таким блаженством? Если суетные забавы, удовольствия, приводящие к пресыщению, глупые мирские дела быстро уносят часы за часами, то неужели шаг времени

покажется медленным уму, погруженному в столь высокое, столь важное, столь захватывающее занятие? Но если для такого великого предприятия недостаточно никакого времени, то нет места, которое являлось бы для него неподходящим. На какой предмет можем мы бросить наши взоры без того, чтобы он не внушил нам мысли о могуществе, мудрости и благости Создателя! Не нужно, чтобы восходящее солнце озаряло огненными лучами восточную половину неба; не нужно, чтобы шумные ветры вырывались из пещер своих и сотрясали высокие леса; не нужно, чтобы отверстые тучи проливали водяные потоки на равнины,— ничего этого не нужно для возвещения о его величии: нет букашки, нет былинки, самой ничтожной в лестнице творения, которая не была бы отмечена печатью своего великого Создателя — печатью не только его могущества, но также его мудрости и благости. Один только человек, царь нашей земли, последнее и величайшее творение верховного существа в подсолнечном мире,— один человек гнусно позорит собственную природу и своим бесстыдством, своей жестокостью, неблагодарностью и вероломством подвергает сомнению благость своего Создателя, заставляя нас ломать голову, каким образом благое Существо могло сотворить такое глупое и подлое животное. Да, таково то создание, от сношений с которым я, по вашему мнению, несчастливо отрешен и без благодатного общества которого жизнь кажется вам скучной и бесцветной.

— С первой половиной сказанного вами,— отвечал Джонс,— я соглашаюсь охотно и от всей души; но я думаю и надеюсь, что отвращение к человеческому роду, высказанное вами в заключительной части вашей речи,— плод слишком поспешного обобщения. Вы здесь впадаете в одну очень распространенную, насколько я могу судить по своему скромному жизненному опыту, ошибку: вы строите представление о людях на основании самых худших и низких разновидностей этой породы, тогда как, по справедливому замечанию одного прекрасного писателя, характерным для рода следует считать только то, что можно найти у лучших и совершеннейших его индивидуумов. Я думаю, эта ошибка совершается обыкновенно теми, которые вследствие неосторожного выбора друзей и знакомых пострадали от дурных и негодных людей; на основании двух-трех таких примеров несправедливо осуждается весь человеческий род.

— Мне кажется, у меня было довольно опыта,— отвечал старик,— моя первая любовница и мой первый друг самым гнусным образом меня предали, и в такую минуту, когда их предательство грозило мне самыми худшими последствиями, когда оно могло привести меня даже к позорной смерти.

— Простите,— сказал Джонс,— но кто же была эта любовница и кто был этот друг? Чего же можно было ожидать, сэр, от любви, родившейся в притоне разврата, и от дружбы, возникшей и выросшей за ломберным столом? Заключать о природе женщин на основании первого примера или о природе мужчин на основании второго было бы так же несправедливо, как утверждать, что воздух тошнотворен и вреден для здоровья, потому что таков он в отхожем месте. Я мало живу на свете, а все же знавал мужчин, достойных самой преданной дружбы, и женщин, заслуживающих самой нежной любви.

— Увы, молодой человек,— отвечал незнакомец,— вы сами говорите, что мало жили на свете, а я, будучи старше вас, еще держался такого же мнения.

— И могли бы сохранить его и до сих пор,— возразил Джонс,— если бы не были так несчастливы или, смею сказать, так неосторожны в выборе предметов ваших привязанностей. Если бы даже свет был гораздо хуже, чем он есть на самом деле, то и тогда это не оправдывало бы таких общих отрицательных суждений о человеческой природе: ведь большинство наших наблюдений делается случайно, и люди часто совершают зло, не будучи в глубине души дурными и развращенными. Нет, мне кажется, никто не имеет права утверждать, что природа человеческая необходимо и везде испорчена, кроме тех, кто в собственной душе находит свидетельство этой непоправимой порчи; но ведь вы, я в этом убежден, не принадлежите к числу таких людей.

— Как раз такие люди,— воскликнул незнакомец,— этого никогда и не скажут. Мошенники так же мало склонны убеждать вас в низости рода человеческого, как рыцари с больших дорог предупреждать, что на дороге пошаливают. В противном случае вы были бы настороже и расстроили все их планы. По этой причине мошенники, насколько я припоминаю, охотно чернят определенных лиц, но никогда не высказываются дурно о человеческой природе вообще.

Старик произнес это с таким жаром, что Джонс, отчаявшись переубедить его и не желая обидеть, ничего не ответил.

День начал уже посылать первые потоки света, когда Джонс попросил у старика извинения за то, что так у него засиделся и, может быть, помешал ему отдохнуть. Старик отвечал, что никогда он не испытывал так мало потребности в отдыхе, как сейчас, что для него нет разницы между днем и ночью и что он обыкновенно отдыхает днем, а ночь посвящает прогулкам и занятиям.

— К тому же,— сказал он,— утро сейчас прекрасное, и если вы можете еще обойтись без сна и пищи, то я охотно покажу

вам несколько прекрасных панорам, каких вы, верно, никогда не видели.

Джонс с готовностью принял предложение, и они тотчас же вышли вместе из домика. Что же касается Партриджа, то он заснул глубоким сном как раз в ту минуту, когда старик кончил свой рассказ: любопытство его было удовлетворено, а последующий разговор не был настолько занимателен, чтобы прогнать чары сна. Джонс поэтому не стал его тревожить; читатель тоже, может быть, будет рад, если и ему будет оказана такая же милость, и потому мы кончаем на этом восьмую книгу нашей истории.

# КНИГА ДЕВЯТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ

## ГЛАВА I

*О тех, кому позволительно и кому непозволительно писать истории, подобные этой*

В числе других соображений, побудивших меня к писанию этих вводных глав, было и то, что я смотрю на них, как на своего рода знак или клеймо, по которому самый заурядный читатель может в будущем отличить, что́ истинно и подлинно в таких исторических сочинениях и что́ в них фальшиво и поддельно. Подобный отличительный знак, кажется, сделается скоро необходимым, так как благосклонный прием, оказанный в последнее время публикой такого рода произведениям двух или трех писателей, поощрит, вероятно, многих других приняться за ту же работу. Так появится рой глупых и нелепых романов, что повлечет за собой большие убытки книгопродавцев или большую потерю времени и порчу нравов читателей, а часто даже распространение клеветы и злословия и ущерб доброму имени многих достойных и почтенных людей.

Я не сомневаюсь, что остроумный редактор «Зрителя», ставя греческие и латинские эпиграфы во главе каждого номера, руководился преимущественно этим желанием охранить себя от посягательств тех бумагомарателей, которые, имея с писателями разве только то общее, что учитель чистописания научил их писать, нисколько не страшатся и не стыдятся присваивать себе то же звание, что и величайшие гении, уподобляясь достойному своему собрату из басни, без стеснения ревевшему по-ослиному в львиной шкуре.

Благодаря этим эпиграфам подражание «Зрителю» сделалось невозможным для людей, не понимающих ни одной фразы на древних языках. Так и я обезопасил себя от подражаний тем, кто не

способен к отвлеченным размышлениям и у кого нет даже настолько знаний, чтобы написать статью по общему вопросу.

Я не хочу этим сказать, будто главное достоинство такого рода повествований заключается в этих вводных главах; дело лишь в том, что части чисто повествовательные гораздо более удобны для подражания, чем те, которые состоят из наблюдений и размышлений. Здесь я имею в виду таких подражателей, как Роу, подражавший Шекспиру, или как те римляне, что, по словам Горация, подражали Катону, оставляя непокрытыми ноги и корча кислые рожи.

Сочинять интересные истории и хорошо их рассказывать удается, может быть, только редким талантам, и несмотря на это я почти не встречал людей, которые поколебались бы взяться за то и другое; и если мы посмотрим романы и повести, которыми загружен рынок, то, я думаю, с полным правом сможем заключить, что большая часть их авторов не решилась бы попробовать свои зубы (если позволительно употребить такое выражение) на другом роде литературы и не могла бы связать десятка предложений о любом другом предмете. Scribimus indocti doctique passim[1]— можно справедливее сказать об историке и биографе, чем о каком-либо другом роде писателей, ибо все искусства и науки (и даже критика) требуют хотя бы малой степени образованности и знаний. Исключение, может быть, составляет поэзия; но она требует гармонии или чего-нибудь похожего на гармонию, тогда как для сочинения романов и повестей нужны только бумага, перья и чернила да физическая способность ими пользоваться. Как показывают их произведения, видимо, и авторы того же мнения; и таково же должно быть мнение их читателей, если только у них есть читатели.

Отсюда проистекает то всеобщее презрение, с каким свет, всегда судящий о целом по большинству, относится ко всем писателям-историкам, если они черпают свои материалы не из архивов. Именно боязнь этого презрения заставила нас так тщательно избегать термина «роман», которым мы при других обстоятельствах были бы вполне удовлетворены. Впрочем, труд наш имеет достаточное право называться историей, поскольку все наши действующие лица заимствованы из такого авторитетного источника, как великая книга самой Природы, о чем мы уже говорили в другом месте. Он, несомненно, заслуживает некоторого отличия от тех сочинений, которые один из остроумнейших людей рассматривал только как продукт некоего pruritus[2] или, лучше сказать, расслабленного мозга.

---

[1] Мы ж, и умелый и неуч, стихи сочиняем повсюду. *(Перевод А. Фета.)*

[2] Зуда *(лат.)*.

Но помимо бесчестья, бросаемого, таким образом, на один из полезнейших и занимательнейших литературных жанров, есть достаточно оснований опасаться, что, поощряя таких авторов, мы повинны будем еще и в иного рода бесчестье: я разумею доброе имя многих почтенных и достойных членов общества, ибо тупоголовые писатели, подобно тупоголовым друзьям, не всегда бывают безобидны: у тех и у других достаточно длинный язык, чтобы сказать вещь непристойную или оскорбительную. И если высказанное нами мнение справедливо, то нечего удивляться, что произведения, выходящие из такого грязного источника, сами нечисты и способны замарать других.

И вот чтобы предотвратить на будущее время неумеренное злоупотребление досугом, литературой и свободой печати, особенно в виду того, что оно грозит теперь свету более чем когда-либо, я осмелюсь указать здесь некоторые качества, каждое из которых в высокой степени необходимо для такого рода историков.

Первое из них — гений, без обильных пластов которого никакое прилежание, говорит Гораций, не принесет нам пользы. Под гением я разумею ту силу или, вернее, те силы души, которые способны проникать все предметы, доступные нашему познанию, и схватывать их существенные особенности. Силы эти — не что иное, как изобретательность и суждение; обе вместе они называются собирательным именем гений, потому что это дары природы, которые мы приносим с собой на свет. По поводу каждой из них, кажется, многие впадали в большое заблуждение, ибо под изобретательностью, как я полагаю, обыкновенно понимают творческую способность, что давало бы право большинству сочинителей романов притязать на нее, между тем как в действительности под изобретательностью следует подразумевать (и таково точное значение этого слова) не более как способность открывать, находить или, говоря точнее, способность быстро и глубоко проникать в истинную сущность всех предметов нашего ведения. Способность эта, я полагаю, едва ли может существовать, не сопутствуемая суждением, ибо для меня непостижимо, каким образом можем мы открыть истинную сущность двух вещей, не познав их различия; последнее же, бесспорно, есть дело суждения. И все-таки некоторые умные люди заодно со всеми дураками на свете утверждали, будто эти две способности редко или даже никогда не совмещаются в одном и том же лице.

Но хотя бы они и совмещались, их еще недостаточно для достижения нашей цели, если нет доброй дозы образования; в подтверждение я мог бы снова привести авторитет Горация и многих других, если он необходим для доказательства того, что инстру-

менты бесполезны рабочему, если они не отточены искусством или если он не знает, как их приложить к делу, или не имеет материала, над которым должен трудиться. Все это дается образованием, ибо природа может снабдить нас только способностями или, как я предпочитаю выразиться образно, орудиями нашей профессии; образование должно приспособить их к употреблению, должно преподать правила, как ими пользоваться, и, наконец, должно доставить, по крайней мере, часть материала. Основательные познания в истории и литературе для этого совершенно необходимы; разыгрывать роль историка, не обладая ими, так же тщетно, как пытаться построить дом, не имея бревен или известки, кирпича или камня. Гомер и Мильтон, правда, украсили произведения свои гармонией, однако оба были историками в нашем смысле слова, оба были образованнейшими людьми своего времени.

Но есть и другой род знаний, которых не в состоянии доставить никакое образование, а может дать только общение с живыми людьми. Они в такой мере необходимы для понимания человеческих характеров, что самыми глубокими невеждами в этом отношении являются ученые педанты, всю жизнь свою проведшие в колледжах над книгами: ибо, как бы тонко человеческая природа ни была изображена писателями, настоящие практические сведения о людях мы можем вынести только из общения с ними. Подобным же образом дело обстоит со всеми другими знаниями. Ни медицину, ни юриспруденцию невозможно изучить практически по книгам. Даже фермер, плантатор, садовник должны совершенствовать опытом начальные сведения, приобретенные ими из чтения. Как бы тщательно ни описал растение гениальный мастер Миллер, он сам посоветовал бы своему ученику посмотреть это растение в саду. Если мы должны признать, что самые тонкие штрихи Шекспира, Джонсона, Вичерли или Отвея не откроют читателю тех черт природы, какие покажет ему вдумчивая игра Гаррика, Сиббер или Клайв[1], то и на подмостках действительной жизни характер проявляется в более живом и резком свете, чем он может быть описан. И если таковы даже тонкие и яркие описания великих писателей, взятые ими из жизни, то что же говорить о писателе, заимствующем свои образы не из природы, а из книг. Его характеры — только бледная копия с копии и не могут иметь ни верности, ни живости оригинала.

---

[1] Здесь особенно уместно назвать именно этого великого актера и этих двух справедливо прославленных актрис, потому что все трое образовали себя изучением одной только природы, а не подражанием своим предшественникам. Этим и объясняется, что они превзошли всех их,— качество, которого никогда не достигнет раболепное стадо подражателей.

Это общение нашего историка с людьми должно быть самым широким — то есть он должен общаться с людьми всех званий и состояний, потому что знание так называемого высшего общества не научит его жизни людей низшего класса и, e converso[1], знакомство с низшей частью человечества не откроет ему нравов высшей его части. И хотя может показаться, что знания каждого из этих классов ему достаточно для описания, по крайней мере, того круга, в котором он вращается, однако и в этом случае он будет далек от совершенства: в самом деле глупости каждого класса познаются вполне путем взаимного сравнения. Например, притворство высшего общества выступает выпуклее и уродливее на фоне простоты низшего, и обратно: грубость и неотесанность последнего сильнее бьют в глаза своей несуразностью при сопоставлении с учтивостью и обходительностью, свойственными первому. Кроме того, сказать правду, и манеры самого историка улучшатся от этого двойного общения: в одном кругу он легко найдет примеры естественности, честности и искренности, в другом — утонченности, изящества и свободомыслия — качества, которого я почти не наблюдал в людях низкого происхождения и воспитания.

Однако все качества, которыми я до сих пор наделил моего историка, не принесут ему пользы, если у него нет того, что обыкновенно называется добрым сердцем, и он лишен чувствительности. Автор, желающий, чтобы я заплакал, говорит Гораций, должен сам плакать. Только тот может хорошо нарисовать горе, кто сам его чувствует, когда рисует; и я не сомневаюсь, что самые патетические и трогательные сцены написаны были слезами. Точно так же дело обстоит с комическими. Я убежден, что мне удавалось заставить читателя от души смеяться только тогда, когда я сам смеялся,— кроме разве тех случаев, когда, вместо того чтобы смеяться вместе со мной, читатель смеялся надо мной. Может быть, это случилось с ним даже при чтении некоторых мест этой главы, ввиду чего я ее кончаю.

## ГЛАВА II,

*содержащая весьма замечательное приключение, случившееся с мистером Джонсом во время его прогулки с Горным Отшельником*

Аврора только что открыла свое окошко, или, говоря попросту, начал заниматься день, когда Джонс вышел с незнакомцем и они взобрались на гору Мазард, с вершины которой, едва только они ее достигли, глазам их представился один из величественней-

[1] Наоборот *(лат.)*.

ших видов на свете; мы представили бы читателю и его, если бы не два препятствия: первое заключается в том, что мы отчаиваемся привести в восторг нашим описанием бывавших на этой вершине, а второе — в том, что мы сильно сомневаемся, поймут ли нас не побывавшие на ней.

Джонс несколько минут стоял неподвижно, устремив глаза на юг; заметив это, старик спросил, на что он глядит с таким вниманием.

— Увы, сэр,— отвечал Джонс со вздохом,— я пытался разглядеть дорогу, которая привела меня сюда. Боже мой, как далеко от нас Глостер! Какое огромное пространство отделяет меня от родного дома!

— Да, да, молодой человек,— сказал старик,— и, если я не ошибаюсь, от того, что вы любите больше родного дома. Я полагаю, предмет вашего внимания лежит вне вашего поля зрения; и все же, мне сдается, вам приятно смотреть в ту сторону.

— Я вижу, почтенный друг мой,— с улыбкой отвечал Джонс,— что вами еще не забыты волнения вашей юности. Признаюсь, ваша догадка о направлении моих мыслей правильна.

После этого они пошли к той части горы, которая была обращена на северо-запад и возвышалась над большим лесом. Едва только приблизились они к этому месту, как услышали доносившийся из лесу отчаянный крик женщины. Джонс несколько мгновений прислушивался, потом, не сказав ни слова своему спутнику (обстоятельства не позволяли мешкать), побежал, или, вернее, кубарем скатился, с горы и, нимало не заботясь о своей безопасности, бросился в самую чащу, из которой исходили крики.

Не успел он сделать несколько шагов, как увидел самое возмутительное зрелище: полуобнаженную женщину в руках какого-то негодяя, который, обмотав ей шею подвязкой, старался повесить ее на дереве. Не пускаясь в расспросы, Джонс мигом набросился на мерзавца и так удачно пустил в ход свою крепкую дубовую палку, что повалил его наземь, прежде чем тот успел защититься и даже сообразить, что на него напали. Джонс не переставал колотить негодяя до тех пор, пока сама женщина не попросила его остановиться, сказав, что, по ее мнению, он уже довольно поработал.

Несчастная упала перед Джонсом на колени и рассыпалась в благодарностях за то, что он освободил ее. Джонс же первым делом поднял ее и сказал, что чрезвычайно рад необыкновенному случаю, который привел его в это место, где она едва ли могла рассчитывать на помощь, прибавив, что, очевидно, само небо избрало его счастливым орудием ее спасения.

— Да,— отвечала она,— я почти приняла вас за доброго ангела; да и точно, вы похожи скорее на ангела, чем на человека.

Действительно, Джонс был очень пригож собой; и если стройный стан и красивые черты лица, украшенные молодостью, здоровьем, силой, свежестью, живостью и добротой, могут уподобить человека ангелу, то он, конечно, обладал таким сходством.

Освобожденная пленница далеко не в такой степени походила на небожительницу: с виду это была женщина уже далеко не первой молодости, и лицо ее не отличалось красотой; но со всей верхней части ее тела платье было сорвано, и взоры избавителя привлекли ее груди, прекрасной формы и чрезвычайно белые. Несколько мгновений они стояли молча, созерцая друг друга, пока негодяй, лежавший на земле, не зашевелился, и тогда Джонс, схватив подвязку, предназначавшуюся для другого употребления, связал ему руки на спине. Тут, разглядев его лицо, к великому своему удивлению, а может быть, и к немалому удовольствию, узнал в нем не кого иного, как прапорщика Норсертона. Прапорщик тоже не забыл своего прежнего противника, которого узнал, как только пришел в себя. Удивление его равнялось удивлению Джонса, но, я думаю, он испытал по этому случаю гораздо меньше удовольствия.

Джонс помог Норсертону встать на ноги и, пристально глядя ему в глаза, сказал:

— Мне кажется, сэр, вы не ожидали встретить меня на этом свете; признаюсь, и я также мало ожидал найти вас здесь. Однако, я вижу, судьба еще раз свела нас и дала мне удовлетворение за полученную обиду, даже без моего ведома.

— Действительно,— отвечал Норсертон,— как это достойно благородного человека: рассчитываться с противником, нанося ему удар в спину. И притом я не могу дать вам удовлетворение здесь, потому что у меня нет шпаги; но если вы не боитесь поступить, как джентльмен, пойдем куда-нибудь, где я могу достать оружие, и я поступлю с вами, как подобает человеку чести.

— Пристало ли такому мерзавцу, как вы,— воскликнул Джонс,— пятнать самое слово «честь», присваивая ее себе! Теперь от вас потребует удовлетворения правосудие, и оно его получит.

Тут, обратясь к женщине, он спросил, близко ли дом ее, и если нет, то, может быть, она знает кого-нибудь по соседству, у кого могла бы достать приличную одежду, чтобы явиться к мировому судье.

Женщина отвечала, что она в этих местах совершенно чужая. Тогда Джонс, собравшись с мыслями, сказал, что у него недалеко есть друг, который поможет им советом; он удивился даже, что его спутник за ним не последовал: действительно, Горный Отшельник по уходе нашего героя присел на выступ скалы, где тер-

неливо и безучастно ожидал развязки этого приключения, несмотря на то что в руках у него было ружье.

Выйдя из лесу, Джонс увидел старика в описанном нами положении; наш герой проявил все свое проворство и с поразительной быстротой взобрался на гору.

Старик посоветовал ему отвести женщину в Эптон, ближайший, по его словам, город, где он, наверное, достанет для нее все, что понадобится. Получив указания, как туда дойти, и попросив прислать к нему Партриджа, Джонс простился с Горным Отшельником и поспешно вернулся в лес.

Отправляясь расспросить своего друга, герой наш оставил Норсертона со связанными за спиной руками, так что тот не мог причинить никакого зла бедной женщине. Кроме того, Джонс знал, что будет находиться на расстоянии человеческого голоса и может вернуться настолько быстро, что успеет предотвратить несчастье. Наконец он пригрозил негодяю, что если тот попытается нанести женщине малейшее оскорбленне, то он сам тут же возьмет на себя обязанности палача. Но он, к несчастью, позабыл, что хотя руки Норсертона были связаны, однако ноги оставались на свободе, и ни одним словом не воспретил ему употребить их по своему усмотрению. А Норсертон, не дававший никаких обещаний такого рода, рассудил, что честь не будет нарушена, если он убежит, так как никакие правила не обязывают его ожидать формального освобождения. Итак, пустив в ход ноги, бывшие на свободе, он углубился в лес, благоприятствовавший его отступлению; женщина же, взоры которой, надо думать, были направлены в ту сторону, куда ушел ее избавитель, не обратила внимания на его бегство или же не взяла на себя труд помешать ему.

Поэтому Джонс по своем возвращении нашел женщину одну. Он хотел было потратить некоторое время на поиски Норсертона, но женщина этому воспротивилась, горячо умоляя своего избавителя проводить ее в названный Отшельником город.

— Что же касается бегства этого человека,— сказала она,— то я им нисколько не опечалена, ибо философия и христианское учение велят нам прощать обиды. Мне неприятно только, что я причиняю вам столько беспокойства, сэр; из-за моей наготы мне даже совестно смотреть вам в глаза и если бы не нужда в вашем покровительстве, то я предпочла бы идти одна.

Джонс предложил ей свой кафтан, но, не знаю, по каким соображениям, она наотрез отказалась взять его, несмотря на самые горячие просьбы. Тогда он попросил ее забыть об обеих причинах ее смущения.

— Что касается первой,— сказал он,— то, оказывая вам покровительство, я только исполняю свой долг; а от второй я со-

вершенно вас избавлю, потому что всю дорогу буду идти впереди: я не хочу оскорблять вас своими взглядами и в то же время не могу поручиться, что у меня хватит силы сопротивляться чарам такой ослепительной красоты.

Так герой наш и освобожденная им дама отправились в путь тем же способом, как древле шествовали Орфей и Эвридика. Но хотя я не могу поверить, чтобы красавица умышленно искушала его оглядываться, однако Джонс часто принужден был это делать, так как ей требовалась его помощь при переходе через изгороди, а также во многих других случаях. Тем не менее судьба его была счастливее судьбы несчастного Орфея, ибо он благополучно привел свою спутницу, или, лучше сказать, последовательницу, в славный город Эптон.

## ГЛАВА III

*Прибытие мистера Джонса и его спутницы в гостиницу и весьма обстоятельное описание эптонского сражения*

Хотя читатель, несомненно, жаждет узнать, кто была эта дама и каким образом попала она в руки мистера Норсертона, однако мы попросим его немного потерпеть, потому что по некоторым важным причинам, о которых впоследствии он, может быть, догадается, нам придется на известное время отложить удовлетворение его любопытства.

Войдя в город, мистер Джонс и прекрасная его спутница направились прямо в гостиницу, которая показалась им на взгляд наилучшей. Джонс велел слуге показать комнату и стал подниматься по лестнице, но в эту минуту растрепанная красавица, поспешно за ним следовавшая, была остановлена хозяином, крикнувшим:

— Эй, куда еще эта рвань лезет? Прошу покорнейше остановиться.

Но Джонс таким повелительным голосом загремел сверху: «Позвольте этой даме пройти!» — что хозяин тотчас же убрал руки, и дама со всех ног побежала в отведенную комнату.

Джонс поздравил ее с благополучным прибытием и удалился, пообещав прислать хозяйку с платьем. Бедная женщина сердечно поблагодарила его за доброту и сказала, что надеется скоро снова его увидеть, чтобы отблагодарить еще лучше. Во время этого короткого разговора она старательно прикрывала руками свою белую грудь, потому что Джонс не мог удержаться и взглянул на нее украдкой два раза, хотя и принимал всевозможные предосторожности, чтобы не оскорбить свою спутницу.

Случилось так, что наши путешественники выбрали своим местопребыванием гостиницу, пользовавшуюся превосходной репутацией, где обыкновенно останавливались по пути в Бат добродетельные ирландские леди и многие девицы того же сорта из Северной Англии. Поэтому хозяйка ни в коем случае не допустила бы под своей крышей предосудительных сношений. И точно, все такие непотребства настолько грязны и заразительны, что пятнают самые невинные места, где они совершаются, сообщая славу дурного или подозрительного заведения всем домам, где только их терпят.

Я не хочу этим сказать, чтобы в публичных гостиницах можно было поддерживать строгое целомудрие храма Весты. Хозяйка наша и не надеялась на такую благодать; да такой строгости не ожидала и не потребовала бы от нее ни одна из дам, о которых я говорил, или другие особы, еще более суровой нравственности.

Однако же всякий вправе не допускать в своих стенах грубого разврата и выгонять вон проституток в лохмотьях. Этого правила моя хозяйка держалась строго, и ее добродетельные постояльцы, путешествовавшие не в лохмотьях, вполне основательно могли ожидать от нее соблюдения таких минимальных приличий.

Между тем вовсе не требовалось чрезмерной подозрительности, чтобы подумать, что мистер Джонс и его оборванная спутница питают намерение заняться вещами, которые хотя терпятся в некоторых христианских странах, не замечаются в других и практикуются во всех, однако воспрещены исповедуемой в этих странах религией столь же решительно, как убийство или другие страшные преступления. Поэтому, только что хозяйка услышала о прибытии вышеназванных особ, как немедленно начала придумывать быстрейший способ их выпроводить. На этот предмет она запаслась длинным смертоносным орудием, которым служанка в мирное время обыкновенно разрушала работу трудолюбивого паука,— выражаясь вульгарно, она схватила метлу и собиралась ринуться с ней из кухни в ту самую минуту, как к ней подошел Джонс с просьбой дать какое-нибудь платье и другую одежду, необходимую для прикрытия полуобнаженной женщины, оставшейся наверху.

Ничто не может в такой степени вывести вас из себя, ничто так не опасно для кардинальной человеческой добродетели — терпения, как просьба о каком-нибудь особенном одолжении для тех самых лиц, против которых вы пылаете гневом. По этой причине Шекспир столь искусно изобразил обращенную Дездемоной к мужу просьбу о милостях для Кассио как средство не только воспламенить его ревность, но и довести до последней степени безумия; и мы видим, что в этом случае несчастный мавр был ме-

нее способен управлять своей страстью, чем даже тогда, когда увидел свой бесценный подарок жене в руках у предполагаемого соперника. Дело в том, что мы усматриваем в такого рода просьбах оскорбление нашему разуму, которое гордость человеческая переносит с величайшим трудом.

Хозяйка, хотя и очень добрая женщина, должно быть, не лишена была этой гордости, потому что не успел Джонс высказать свою просьбу, как она кинулась на него с неким оружием, которое хотя не длинно, не остро, не твердо и с виду не угрожает ни смертью, ни увечьем, тем не менее внушало страх и ужас многим мудрым, больше того — многим храбрым людям до такой степени, что иные, бестрепетно взиравшие в пасть заряженной пушки, не осмеливались взглянуть в пасть, где вращалось это оружие, и готовы были предстать в самом жалком и позорном виде перед всеми своими знакомыми, только бы не подвергнуться его смертоносному действию.

Признаться откровенно, я боюсь, не принадлежал ли к числу таких людей и мистер Джонс, ибо хотя он был атакован и жестоко поражен означенным оружием, однако не нашел в себе смелости оказать сопротивление, а только трусливейшим образом умолял свою противницу прекратить удары,— выражаясь яснее, убедительно просил, чтобы его выслушали. Но прежде чем ему удалось добиться удовлетворения своей просьбы, в ссору вмешался сам хозяин и принял сторону того из противников, который, по-видимому, очень мало нуждался в помощи.

Есть разряд героев, решение которых принять бой или уклониться от него определяется, по-видимому, характером и поведением нападающего. О таких говорят, что они знают своих противников; и Джонс, полагаю, знал свою противницу, ибо, несмотря на ангельскую кротость по отношению к ней, он мгновенно возгорелся гневом, увидев нападение со стороны мужа, и приказал ему замолчать под страхом суровейшего наказания: ни более, ни менее, как быть брошенным вместо полена в его собственный камин.

Муж в крайнем негодовании, смешанном, однако же, с презреньем, отвечал:

— Прежде помолитесь богу, чтоб он дал вам силы. Я ведь почище вас буду,— да, да, во всех отношениях почище.

И вслед за тем он выстрелил полдюжиной отборных эпитетов по адресу дамы, оставшейся наверху; но не успел последний из них слететь с его губ, как он получил по плечам удар наотмашь дубинкой, которую Джонс держал в руках.

Трудно решить, кто быстрее вернул ему этот удар: хозяин или хозяйка. Хозяин, руки которого были пусты, стал действовать

кулаком, супруга же его, подняв метлу и целясь в голову Джонса, вероятно, сразу покончила бы с дракой, а равно и с Джонсом, если бы отвесное движение метлы не было остановлено... не чудесным вмешательством какого-либо языческого божества, а самым прозаическим, хотя и счастливым случаем—именно прибытием Партриджа, который в это мгновение вошел в гостиницу (от страха он бежал всю дорогу, улепетывая с горы) и, увидев опасность, угрожающую его господину или товарищу (называйте, как хотите), предотвратил печальную катастрофу, схватив хозяйку за руку в то время, как эта рука взметнулась вверх.

Хозяйка скоро поняла, что́ за препятствие остановило удар; не в силах высвободить свою руку из рук Партриджа, она выронила метлу и, оставив Джонса попечению мужа, с неописуемой яростью кинулась на вошедшего, который уже дал о себе знать, закричав:

— Силы небесные! Неужто вы хотите убить моего друга?

Не отличаясь большими воинственными наклонностями, Партридж тем не менее не пожелал стоять сложа руки при виде нападения на своего друга; он не был также особенно недоволен тем участком боя, который достался на его долю, и вернул хозяйке удары сейчас же, как только получил их. Битва закипела с неослабевающим ожесточением на всех участках, и было неясно, на чью сторону склонится счастье, как вдруг обнаженная дама, услышавшая с верхнего этажа разговор, предшествовавший схватке, стремглав сбежала вниз и, не считаясь с тем, что недобросовестно двоим выступать против одного, напала на бедную женщину, бившуюся на кулачках с Партриджем; а сей великий воитель не сдал, но удвоил ярость при виде свежего подкрепления, прибывшего ему на помощь.

При таких условиях победа досталась бы нашим путешественникам (ведь и самые храбрые войска принуждены уступать численному перевесу), если бы горничная Сусанна счастливо не подоспела на помощь своей госпоже. Эта Сусанна умела работать руками, как никакая девица в этой местности, и одолела бы, я думаю, даже знаменитую Фалестриду или любую из ее подданных амазонок, потому что тело у нее было крепкое и мужеподобное, во всех отношениях приспособленное для таких схваток. Но если кулаки ее и руки были созданы для нанесения членовредительных ударов врагу, то лицо как нельзя лучше подходило для принятия таковых без особенного ущерба для нее самой, потому что нос ее уже был приплюснут, а губы отличались такой толщиной, что никакая опухоль не могла быть на них заметной, и такой твердостью, что кулак едва ли мог оставить на них след. Наконец, скулы ее сильно выдавались, точно сама природа поместила их в виде двух бастио-

нов, назначенных защищать глаза ее в схватках, для которых она так хорошо была приспособлена и к которым питала чрезвычайную склонность.

Это прелестное создание, прибыв на поле сражения, немедленно устремилось к тому крылу, где хозяйка выдерживала столь неравный бой с двумя противниками обоих полов. Тут она сейчас же вызвала Партриджа на единоборство. Вызов был принят, и между ними завязался отчаяннейший бой.

Уже спущенные с цепи псы Беллоны облизывались в предвкушении поживы; уже парила в воздухе золотокрылая Победа; уже Фортуна, взяв с полки весы и положив на одну чашку судьбу Тома Джонса, его спутницы и Партриджа, а на другую — судьбу хозяина, его жены и служанки, начала их взвешивать, и обе чашки находились в совершенном равновесии, как вдруг счастливый случай сразу положил конец кровавой схватке, которой половина бойцов уже насладилась вволю. Этот случай был прибытием кареты четверкой. Хозяин и хозяйка немедленно прекратили бой; это же, по их просьбе, сделали и их противники. Но Сусанна не была так милостива к Партриджу: эта прекрасная амазонка, повергнув и оседлав своего врага, изо всех сил тузила его обеими руками, не обращая ни малейшего внимания на его мольбы о перемирии и громкие вопли: «Убивают!»

К счастью, Джонс, оставив хозяина, устремился на выручку к своему товарищу и с немалым трудом стащил с него озверевшую служанку; однако Партридж не сразу почувствовал свое освобождение, потому что все еще лежал, растянувшись на полу и закрыв лицо руками, и только тогда перестал вопить, когда Джонс принудил его открыть глаза и убедиться, что битва кончена.

Хозяин, не получивший никаких видимых повреждений, и хозяйка, прикрывая исцарапанное лицо носовым платком, поспешно побежали к дверям встречать карету, из которой вышли молодая дама и ее горничная. Хозяйка тотчас же провела их в ту комнату, куда мистер Джонс поместил было свою красавицу, так как комната эта была лучшая во всей гостинице. Чтобы попасть туда, приезжим надо было пройти через поле битвы, что они сделали с чрезвычайной поспешностью, прикрывая лица платками, точно желали избежать посторонних взглядов. Однако их предосторожность была совершенно излишней, потому что несчастная Елена — роковая причина всего кровопролития — сама всячески старалась спрятать лицо, а Джонс был в не меньшей степени занят спасением Партриджа от ярости Сусанны; и только что он счастливо успел в этом, как пострадавший побежал прямо к насосу, чтобы умыть лицо и остановить кровавый поток, в изобилии пущенный Сусанной из его ноздрей.

## ГЛАВА IV,

*в которой прибытие военного окончательно прекращает враждебные действия и приводит к заключению прочного и длительного мира между враждовавшими сторонами*

В это время в гостиницу прибыл сержант с отрядом мушкетеров, ведя с собой дезертира. Сержант первым делом осведомился, где живет главный член городского магистрата, и получил ответ от хозяина, что исполнение этой обязанности возложено на него. Тогда сержант потребовал билетов на постой и кружку пива, после чего, пожаловавшись на холод, расположился перед кухонным очагом.

Мистер Джонс тем временем утешал свою приунывшую даму, которая села за стол в кухне и, подперши голову рукой, плакалась на свои несчастья. Но чтобы прекрасные мои читательницы не смущались насчет известного обстоятельства, я считаю своим долгом их успокоить: прежде чем выйти из своей комнаты, она так хорошо закуталась найденной там наволочкой, что ее чувство стыдливости нисколько не было оскорблено присутствием в кухне множества мужчин.

Один солдат подошел к сержанту и шепнул ему что-то на ухо; тогда последний остановил свой взгляд на женщине и, внимательно посмотрев на нее с минуту, обратился к ней со словами:

— Извините, сударыня, однако, я уверен, что не ошибся; ведь вы супруга капитана Вотерса?

Бедная женщина, предавшись своему горю, почти не смотрела ни на кого из окружающих, но тут, взглянув на сержанта, она тотчас узнала его и, назвав по имени, отвечала, что она действительно та несчастная, за которую он ее принял.

— Однако я удивлена,— прибавила она,— что меня можно узнать в этом наряде.

На это сержант отвечал, что он крайне поражен, видя ее благородие в такой одежде, и боится, не случилось ли с ней какого несчастья.

— Несчастье со мной действительно случилось,— сказала она,— и я всецело обязана этому джентльмену (показала она на Джонса) тем, что оно не оказалось для меня роковым и что я еще в живых и могу говорить о нем.

— Что бы ни сделал джентльмен,— сказал сержант,— капитан, я уверен, вознаградит его; и если я могу быть чем-нибудь полезен, то вашему благородию стоит только приказать. Я почту счастьем услужить вашему благородию, и всякий может смело

последовать моему примеру, потому что, я знаю, капитан хорошо за это отблагодарит.

Хозяйка гостиницы, слышавшая сверху весь разговор между сержантом и миссис Вотерс, поспешно спустилась вниз и, подбежав к этой даме, стала просить у нее прощения за нанесенные ей обиды, умоляя отнести все за счет неведения.

— Господи! — говорила она.— Могла ли я подумать, что особа вашего звания явится в таком наряде? Поверьте, сударыня, догадайся я только, что ваше благородие есть ваше благородие, я бы себе скорей язык откусила, чем сказала то, что сказала. И я надеюсь, ваше благородие примет от меня платье, покамест вы достанете свои собственные...

— Перестаньте молоть вздор, любезная,— прервала ее миссис Вотерс.— Неужели вы думаете, что меня может обидеть то, что слетает с языка таких низких тварей, как вы? Меня поражает только ваша самоуверенность: воображать, что после всего случившегося я удостою надеть ваши грязные тряпки! Извольте знать, негодница, что у меня есть самолюбие.

Тут вмешался Джонс и попросил миссис Вотерс простить хозяйку и принять ее платье.

— Я вполне согласен,— сказал он,— что вид у нас был немного подозрительный, когда мы вошли в эту гостиницу, и уверен, что все поступки этой почтенной женщины объясняются, как она говорит, заботой о репутации ее дома.

— Истинная правда, только этой заботой! — воскликнула хозяйка.— Джентльмен говорит, как настоящий джентльмен, и я ясно вижу, что он джентльмен. И точно, дом мой пользуется такой прекрасной репутацией, как ни одна гостиница по всей дороге, и хоть сама хозяйка и говорю это, а только его посещают самые знатные господа — и ирландцы и англичане. Пусть кто-нибудь попробует сказать о нем дурное! И, как я сказала, знай я только, что ваше благородие есть ваше благородие, так я бы скорей пальцы себе сожгла, чем оскорбила ваше благородие, но, понятно, я не желаю, чтобы в доме, куда господа ходят и деньги платят, глаза их оскорбляла разная рвань, которая, где ни пройдет, больше вшей за собой оставит, чем денег. К такой мрази жалости у меня нет ни на грош, да и глупо было бы жалеть таких; если бы наши судьи действовали как следует, так все бы они были выгнаны вон из королевства,— ей-богу, это самое для них подходящее. А что касается вашего благородия, то мне от души жаль, что с вашим благородием приключилось несчастье; и если вашему благородию угодно будет оказать мне честь надеть мое платье, покамест вы достанете свои собственные, то, разумеется, все, что у меня есть лучшего, к услугам вашего благородия.

Холод ли, стыд ли, или же уговоры мистера Джонса подействовали на миссис Вотерс — не берусь решить, только речь хозяйки укротила ее гнев, и она удалилась с этой почтенной женщиной одеться поприличнее.

Хозяин тоже обратился к Джонсу с торжественной речью, но был тотчас остановлен великодушным юношей, который дружески пожал ему руку и уверил в полном прощении, сказав:

— Если вы удовлетворены, почтенный мой друг, то объявляю, что и я не питаю к вам никакой злобы.

В самом деле, хозяин в некотором смысле имел больше основания считать себя удовлетворенным, потому что был весь избит, тогда как Джонсу достался разве что один удар.

Партридж, все это время обмывавший у насоса свой расквашенный нос, вернулся в кухню как раз в ту минуту, когда его господин и хозяин гостиницы пожимали друг другу руки. Так как был он нрава миролюбивого, то это выражение мирных чувств пришлось ему по душе: хотя лицо его носило знаки Сусанниных кулаков и особенно ногтей, однако он был доволен этим исходом битвы и не имел никакого желания начинать новую, с целью его улучшить.

Героическая Сусанна тоже осталась довольна своей победой, хотя она стоила ей подбитого глаза — увечье, причиненное ей Партриджем в самом начале схватки. Таким образом, между этими двумя противниками без труда было заключено соглашение, и те самые руки, которые только что были орудием войны, сделались теперь посредниками мира.

Словом, было восстановлено полное спокойствие, по случаю чего сержант, хотя это может показаться противным правилам его профессии, выразил свое полное одобрение.

— Вот это по-дружески! — сказал он.— Ненавижу, когда люди дуются, после того как задали друг другу встрепку. Когда приятели повздорили, то единственный выход — уладить дело честно, по-приятельски: на кулаках ли, или на шпагах, или на пистолетах — кому как нравится, но чтоб потом об этом больше ни слова. Что до меня, так черт меня побери, если я не люблю друга больше после того, как подрался с ним! Таить злобу пристало скорее французу, чем англичанину.

Затем он предложил совершить возлияние, как необходимую часть церемониала при всех соглашениях такого рода. Может быть, читатель заключит отсюда, что он был начитан в древней истории. Хотя такое заключение весьма правдоподобно, но я не стану утверждать это с уверенностью, потому что сержант не сослался ни на чей авторитет в подтверждение этого обычая. Надо думать, что мнение свое он действительно основывал на превосходном авторитете, потому что подкрепил его множеством страшных клятв.

Едва только услышав это предложение, Джонс тотчас же согласился с ученым сержантом и велел подать кубок, или, вернее, большую кружку, наполненную употребляющейся в таких случаях жидкостью, и затем сам начал церемонию. Он положил правую руку на руку хозяина гостиницы, в левую взял кубок и, произнеся полагающиеся слова, совершил возлияние, после чего то же самое было проделано всеми присутствующими. Нет нужды передавать подробности всего ритуала, потому что он мало отличался от тех возлияний, описание которых столько раз встречается у древних авторов и их новейших переписчиков. Различие наблюдалось только в следующих двух отношениях: во-первых, участники лили жидкость только в собственные глотки, и, во-вторых, сержант, отправлявший обязанности жреца, пил последним; но он, я полагаю, не уклонился от древнего ритуала, выпив более остальных и явившись единственным из присутствующих, который не участвовал в расходах, а помогал только своим усердием.

Совершив возлияние, компания разместилась вокруг кухонного очага, где воцарилось безудержное веселье, и Партридж не только позабыл о своем постыдном поражении, но принялся обращать голод в жажду и скоро сделался чрезвычайно забавен. Мы должны, однако, покинуть на некоторое время приятное общество и последовать за мистером Джонсом в комнату миссис Вотерс, где подан был заказанный им обед. Приготовление его не заняло много времени, потому что он был состряпан три дня назад и повару потребовалось только разогреть его.

## ГЛАВА V

*Апология всех героев, обладающих хорошим аппетитом, и описание битвы в любовном роде*

Герои, несмотря на высокое мнение, какое они могут возыметь о себе благодаря льстецам или какое может составить о них свет, все-таки больше похожи на смертных, чем на богов. Как бы ни были возвышенны их души, тела их (то есть гораздо большая часть), во всяком случае, подвержены наихудшим немощам и подчинены самым низким потребностям человеческой природы. Среди этих последних принятие пищи, иными мудрецами рассматриваемое как акт презренный и оскорбительный для философского достоинства, должно в какой-то степени производиться величайшими государями, героями и философами мира сего; проказница-природа подчас даже требует от этих

великих особ удовлетворения означенных потребностей в гораздо значительнейших размерах, чем от людей самого низкого звания.

Правду сказать, если не известны на земле существа, более высокие, чем человек, то нечего и стыдиться удовлетворения нужд, свойственных человеку, но когда только что названные мной высокие особы снисходят до мысли ограничить удовлетворение этих низких потребностей кругом им подобных,— когда, например, посредством присвоения или истребления съестных припасов они как будто хотят запретить еду другим,— тогда они, несомненно, сами становятся весьма низкими и презренными.

После этого краткого предисловия мы считаем нисколько не зазорным для нашего героя сказать, что он с большим жаром налег на еду. Я сомневаюсь даже, удалось ли когда-нибудь обильнее покушать самому Улиссу, который, кстати сказать, обладал едва ли не лучшим аппетитом среди всех прочих героев этой обжорной поэмы — «Одиссеи»: по крайней мере, три фунта мяса, раньше входившие в состав быка, теперь удостоились чести сделаться частью особы мистера Джонса.

Мы сочли своим долгом упомянуть об этой подробности, потому что она может объяснить временное невнимание нашего героя к своей прекрасной сотрапезнице, которая ела очень мало, будучи занята мыслями совсем другого рода,— обстоятельство, оставшееся Джонсом незамеченным, пока он вполне не утолил голод, возбужденный в нем двадцатичетырехчасовым постом. Но по окончании обеда внимание его к другим предметам оживилось; с этими предметами мы теперь и познакомим читателя.

Мистер Джонс, о физических совершенствах которого мы говорили до сих пор очень мало, был, надо сказать, одним из красивейших молодых людей на свете. Лицо его, помимо того что дышало здоровьем, носило на себе еще самую явственную печать ласковости и доброты. Качества эти были настолько для него характерны, что если ум и живость, светившиеся в его глазах, и не могли остаться незамеченными внимательным наблюдателем, однако легко ускользали от поверхностного взгляда, то добродушие бросалось в глаза почти каждому, кто его видел.

Может быть, этому обстоятельству, а равным образом цвету кожи лицо Джонса было обязано невыразимой нежности, которая придавала бы ему вид женственности, если бы с ним не соединялись чрезвычайно мужественные фигура и стан, в такой же степени напоминавшие Геркулеса, в какой лицо напоминало

Адониса. Вдобавок, он был подвижен, любезен и весел; жизнерадостность его была такова, что оживляла каждое общество, в котором он появлялся.

Если читатель должным образом оценит все эти обворожительные качества, соединявшиеся в нашем герое, да еще вспомнит, чем ему была обязана миссис Вотерс, то он проявит больше ханжества, чем чистосердечия, составив о ней дурное мнение на том основании, что у нее сложилось очень хорошее мнение о Джонсе.

Но каким бы порицаниям ни давала повод эта дама, мое дело излагать факты со всей правдивостью. Миссис Вотерс не только составила себе хорошее мнение о нашем герое, но также прониклась к нему большим расположением. Если уж выкладывать все начистоту, она его полюбила в общепринятом теперь значении этого слова, согласно которому оно прилагается без разбора к предметам всех наших страстей, желаний и чувств и выражает предпочтение, отдаваемое нами одному роду пищи перед другим.

Но если и согласиться, что любовь к этим разнообразным предметам одна и та же во всех случаях, однако нельзя не признать, что проявления ее различны: ведь как бы мы ни любили говяжий филей, бургундское вино, дамасскую розу или кремонскую скрипку, мы никогда не прибегаем к улыбкам, нежным взглядам, нарядам, лести и иным ухищрениям для снискания благосклонности упомянутого филея и пр. Случается, правда, что мы вздыхаем, но делаем мы это обыкновенно в отсутствие, а не в присутствии любимого предмета. Ведь иначе нам пришлось бы жаловаться на его неблагодарность и глухоту на том же основании, на каком Пасифая сетовала на своего быка, которого пробовала расположить к себе всеми приемами кокетства, успешно применявшимися в тогдашних гостиных для покорения более чувствительных и нежных сердец светских джентльменов.

Иное наблюдаем мы в любви, проявляемой друг к другу особями одного и того же вида, но различного пола. В этом случае — не успели мы влюбиться, как главной нашей заботой становится приобрести расположение предмета нашего чувства. Да и с какой другой целью наша молодежь обучается искусству быть приятным? Если бы не было любви, то чем, спрашивается, добывали бы себе средства к существованию люди, промысел которых состоит в том, чтобы выгодно показать и украсить человеческое тело? И даже великие шлифовщики наших манер, которые, по мнению иных, учат нас тому, что преимущественно и отличает нас от скотов,— даже сами танцмейстеры, чего доброго,

не нашли бы себе места в обществе. Словом, все изящество, которое молодые леди и молодые джентльмены с таким усердием перенимают у других, и многие прикрасы, которые они сами придают себе с помощью зеркала, в сущности, не что иное, как spicula et faces amoris[1], о которых так часто говорит Овидий, или, как их иногда называют на нашем языке, полная любовная артиллерия.

И вот только что миссис Вотерс и герой наш уселись рядышком, как эта дама открыла артиллерийский огонь по Джонсу. Но тут, предпринимая описание, до сих пор не испробованное ни в стихах, ни в прозе, мы считаем нужным воззвать за содействием к некоторым воздушным существам, которые, мы не сомневаемся, любезно явятся к нам на помощь по этому случаю.

Поведайте же нам, о Грации,— вы, обитающие в небесных чертогах Серафины, вы, истинно божественные, всегда наслаждающиеся ее лицезрением и в совершенстве постигшие искусство пленять,— какое употреблено было оружие, чтобы полонить сердце мистера Джонса?

Прежде всего из двух прелестных голубых глаз, блестящие зрачки которых, стреляя, метнули молнии, пущены были два остро отточенных задорных взгляда, но, к счастью для нашего героя, попали они только в большой кусок говядины, который он переправлял тогда себе на тарелку, и без вреда для него истощили свою силу. Прекрасная воительница заметила этот промах, и тотчас из прекрасной груди ее вырвался смертоносный вздох. Вздох, который невозможно слышать безучастно и который способен поразить насмерть дюжину франтов,— до того сладкий, до того мягкий, до того нежный, что его вкрадчивое дыхание, наверное, проложило бы путь к сердцу нашего героя, если бы, по счастью, звук его не был отведен от ушей его грубым шипением пива, которое он наливал в эту минуту. Много другого оружия испробовала она, но бог еды (если только есть таковой, в чем я не уверен) охранял своего почитателя; или, может быть, то не был dignus vindice nodus[2], и невредимость Джонса можно объяснить естественным образом: ведь если любовь часто охраняет нас от приступов голода, то и голод в известных случаях способен защитить нас от любви.

Красавица, взбешенная столькими неудачами, решила на короткое время сложить оружие. Передышку эту она употребила на приведение в боевую готовность всех орудий любовного арсенала, чтобы возобновить атаку по окончании обеда.

Поэтому, как только со стола было убрано, она возобновила

[1] Жало и пламя любви *(лат.)*.
[2] Узел, достойный развязывания *(лат.)*.

военные операции. Первым делом, направив свой правый глаз наискось, в сторону мистера Джонса, она метнула из уголка его проникновеннейший взгляд, который хотя и потерял значительную часть своей силы, прежде чем достиг нашего героя, однако остался не вовсе без результата. Приметя это, красавица поспешно отвела глаза и опустила их долу, словно встревоженная тем, что́ она наделала,— хотя таким способом намеревалась только ослабить его бдительность и заставить открыть глаза, через которые рассчитывала захватить врасплох его сердце, после чего, тихонько подняв два блестящих глаза, уже начинавших оказывать действие на бедного Джонса, она дала по нем залп маленьких чар, заключенных в улыбке. Не в радостной или в веселой улыбке, а в улыбке приветливой, которая всегда бывает наготове у большинства женщин и служит им средством показать сразу хорошее расположение, грациозные ямочки и белые зубки.

Улыбка эта угодила нашему герою прямо в глаза и сразу его пошатнула. Он начал прозревать планы неприятеля и чувствовать их успех. Между враждующими сторонами завязались переговоры, во время которых лукавая красавица так хитро и неприметно продолжала вести атаку, что почти покорила сердце нашего героя еще до возобновления военных действий. Признаться откровенно, я боюсь, что мистер Джонс придерживался голландского способа защиты и изменнически сдал гарнизон, не приняв должным образом во внимание своих обязательств по отношению к прекрасной Софье. Словом, как только любовные переговоры кончились и дама вывела из укрытия главную батарею, нечаянно спустив с шеи платок, сердце мистера Джонса было совершенно покорено, и прекрасная победительница пожала обычные плоды своего торжества.

Здесь Грации полагают приличным кончить свое описание, мы же полагаем приличным кончить главу.

## ГЛАВА VI

*Дружеская беседа на кухне, окончившаяся очень обыкновенно, хотя не очень дружески*

Покамест наши любовники развлекались способом, отчасти описанным в предыдущей главе, они доставляли развлечение также и добрым друзьям своим на кухне. Развлечение двойное: давали им предмет для разговора и в то же время снабжали напитками, вносившими в общество приятное оживление.

Кроме хозяина и хозяйки, по временам отлучавшихся из комнаты, вокруг камелька на кухне собрались мистер Партридж, сержант и кучер, привезший молодую леди и ее горничную.

Когда Партридж рассказал обществу, со слов Горного Отшельника, о положении миссис Вотерс, в котором ее нашел Джонс, сержант, в свою очередь, сообщил все, что ему было известно относительно этой дамы. Он сказал, что она супруга мистера Вотерса, капитана его полка, за которым часто следовала вместе с мужем.

— Есть люди,— заметил он,— которые сомневаются в том, что они обвенчаны по всем правилам в церкви. Но я считаю, что это не мое дело. Должен только признаться, если б пришлось показывать под присягой в суде: по-моему, она немногим лучше нас с вами, и, мне кажется, капитан попадет на небо, когда солнышко в дождь засияет. Да если и попадет, так все равно в компании у него недостатка не будет. А дамочка, надо правду сказать, славная, любит нашего брата и всегда готова оградить нас от несправедливости: она частенько выручала наших ребят, и если б от нее все зависело, так ни один не был бы наказан. Только вот в последнюю нашу стоянку очень уж она сдружилась с прапорщиком Норсертоном, что правда, то правда. Капитан-то об этом ничего не знает; а раз и для него остается вдоволь, так какая в этом беда? Он ее любит от этого ничуть не меньше и, я уверен, проткнет каждого, кто скажет про нее худое; поэтому и я ничего худого говорить не буду, я только повторяю то, что другие говорят; а если все говорят, так уж, верно, в этом есть хоть немного правды.

— Да, да, много правды, ручаюсь вам,— заметил Партридж. — Veritas odium parit[1].

— Вздор и клевета! — воскликнула хозяйка.— Теперь, когда она приоделась, так выглядит самой благородной дамой, и обращение, как у благородной: дала мне гинею за то, что надела мое платье.

— Прекрасная, благородная дама,— подхватил хозяин,— и если б не твоя запальчивость, так ты бы не поссорилась с ней вначале.

— Не тебе бы говорить об этом! — возразила хозяйка.— Если б не твоя глупая голова, так ничего бы не случилось. Просят тебя вечно соваться, куда не следует, и толковать обо всем подурацки!

---

[1] Истина рождает ненависть *(лат.)*.

— Ну, ладно, ладно,— отвечал хозяин,— что прошло, того не воротишь, так и не будем больше толковать об этом.

— Ну, не будем, а только ведь завтра все сызнова начнется. Уж не в первый раз терпеть приходится от твоей дурацкой башки. Было бы хорошо, если бы в доме ты всегда держал язык за зубами и вмешивался только в то, что за воротами и что тебя касается. Или ты забыл, что случилось семь лет тому назад?

— Ах, милая, не откапывай старых историй! — сказал хозяин.— Теперь все уладилось, и я жалею о том, что наделал.

Хозяйка собиралась возразить, но была остановлена сержантом-миротворцем, к глубокому огорчению Партриджа, большого любителя потешиться и искусного поджигателя безобидных ссор, приводящих скорее к комическим, чем к трагическим положениям.

Сержант спросил Партриджа, куда он направляется со своим господином.

— Никаких господ! — отвечал Партридж.— Я не слуга, смею вас уверить; хоть я и испытал несчастья в жизни, а все-таки называю себя джентльменом, когда подписываюсь. Сейчас я выгляжу бедным и простым, а было время, когда я держал грамматическую школу. Sed heu mihi! non sum quod fui [1].

— Надеюсь, сэр, вы не обиделись,— сказал сержант.— Однако осмелюсь спросить, куда же вы направляетесь с вашим другом?

— Теперь вы наименовали нас правильно,— отвечал Партридж, — amici sumus [2]. И да будет вам известно, что мой друг — один из первых джентльменов в королевстве. (При этих словах хозяин гостиницы и жена его насторожились.) Он наследник сквайра Олверти.

— Как! Сквайра, который делает столько добра во всей стране? — воскликнула хозяйка.

— Того самого,— отвечал Партридж.

— Так я вам доложу,— продолжала она,— у него будет со временем громадное состояние.

— Без всякого сомнения,— отвечал Партридж.

— Да, я с первого взгляда узнала в нем настоящего джентльмена, но мой муж, здесь присутствующий, изволите ли видеть, всегда умнее всех.

— Милая, я признаю свою ошибку,— сказал хозяин.

---

[1] Но увы! теперь я не то, чем был *(лат.)*.

[2] Мы друзья *(лат.)*.

— Ошибку! — не унималась его супруга.— А сделала ли я хоть раз такую ошибку?

— Но как же это, сэр,— удивился хозяин,— такой большой барин путешествует пешком?

— Не знаю,— отвечал Партридж,— большие господа иногда чудят. Сейчас у него в Глостере двенадцать лошадей и лакеев, и ничем ему не угодишь; но прошлую ночь, когда стояла такая жара, ему непременно захотелось освежиться прогулкой на высокую гору, куда я тоже ходил с ним за компанию. Только теперь уж меня туда не заманишь: такого страху натерпелся я там. Мы встретились на горе с престранным человеком.

— Голову даю на отсечение,— сказал хозяин,— если это был не Горный Отшельник, как его здесь прозвали. Добро б еще это был человек, но я знаю многих, которые убеждены, что он — дьявол.

— Да, да, очень похоже,— согласился Партридж,— и теперь, когда вы меня надоумили, я искренне убежден, что это был дьявол, хоть я и не заметил у него раздвоенных копыт; впрочем, может быть, он наделен силой прятать их: ведь злые духи принимают вид, какой им вздумается.

— А позвольте, сэр, не в обиду вам будь сказано,— спросил сержант,— позвольте узнать: что это за гусь — дьявол? Некоторые наши офицеры говорят, что никакого дьявола нет и что его только попы выдумали, чтоб не остаться без работы: ведь если бы всему миру стало известно, что дьявола нет, так в попах не было бы никакой нужды, вроде как в нас в мирное время.

— Эти офицеры,— заметил Партридж,— должно быть, очень ученые.

— Ну, какие они ученые! — отвечал сержант.— Они, я думаю, и половины того не знают, сэр, что вы знаете; и я всегда в дьявола верил, несмотря на их уговоры, хоть один из них и капитан; ведь если б не было дьявола, думал я, как же тогда посылать к нему негодяев? Обо всем этом я в книге читал.

— Кое-кто из ваших офицеров, я думаю, убедится, к стыду своему, в существовании дьявола,— заметил хозяин.— Я не сомневаюсь, что он заставит их уплатить мне по старым счетам. Вот один стоял у меня целых полгода, так у него хватило совести занять лучшую постель, а сам едва ли больше шиллинга в день издерживал, да еще позволял своим людям варить капусту на кухонном огне, потому что я не хотел отпускать им обед по воскресеньям. Каждый добрый христианин должен желать, чтобы был дьявол, который наказывал бы таких негодяев.

— Послушайте-ка, хозяин,— сказал сержант,— не оскорбляйте мундира, я этого не допущу!

— К черту мундир! — отвечал хозяин.— Довольно я от него натерпелся.

— Будьте свидетелями, джентльмены,— сказал сержант,— он ругает короля, а это государственная измена.

— Я ругаю короля? Ах, негодяй! — возмутился хозяин.

— Да, да,— сказал сержант,— вы ругали мундир, а это значит ругать короля. Это одно и то же: кто ругает мундир, тот и короля будет ругать, если посмеет, так что это совершенно одно и то же.

— Извините, господин сержант,— заметил Партридж,— это non sequitur[1].

— А ну вас с вашей чужеземной тарабарщиной! — воскликнул сержант, вскакивая с места.— Я не буду сидеть спокойно и слушать, как оскорбляют мундир.

— Вы плохо меня поняли, приятель,— сказал Партридж,— я и не думал оскорблять мундир; я сказал только, что ваше заключение non sequitur.

— Сами вы sequitur, коли на то пошло,— разбушевался сержант.— А я вам не sequitur! Все вы прохвосты, и я докажу это. Ставлю двадцать фунтов, что никто из вас не устоит против меня.

Этот вызов привел к полному молчанию Партриджа, у которого после только что полученного жирного угощения еще не вернулся аппетит к потасовке. Зато кучер, у которого кости не болели и зуда к драке было больше, не так легко перенес обиду, считая, что она частью относится и к нему: он поднялся с места и, подойдя к сержанту, поклялся, что считает себя не хуже любого военного, почему и предлагает ему драться на кулачках за гинею. Сержант принял предложение, но заклад отверг, после чего оба тотчас же скинули кафтаны и вступили в единоборство,— и погонщик лошадей был так отколочен водителем людей, что принужден был остаток сил своих употребить на мольбу о пощаде.

В это время молодая леди изъявила желание ехать и приказала закладывать карету,— но напрасно: весь этот вечер кучер был неспособен к исполнению своих обязанностей. В пору языческой древности такую неспособность объяснили бы, вероятно, действием бога вина в не меньшей степени, чем действием бога

---

[1] Слова эти, которые сержант, к несчастью, принял за оскорбление,— термин, употребляемый в логике и означающий, что вывод не следует из посылок.

войны, так как оба бойца принесли жертвы одинаково и первому и второму. Выражаясь проще, оба были мертвецки пьяны, да и Партридж находился не в лучшем положении. Что же касается хозяина, то выпивка была его ремеслом, и напитки имели на него не больше действия, чем на любую другую посудину в его доме.

Хозяйка гостиницы, приглашенная мистером Джонсом и его спутницей к чаю, представила им полный отчет о последней части предыдущей сцены и в то же время выразила горячее сожаление о молодой леди, «которая,— говорила она,— крайне обеспокоена тем, что не может продолжать свою поездку».

— Что за прелестное создание! — прибавила она.— Я уверена, что когда-то ее видела. Сдается мне, что она влюблена и бежала от своих родных. Кто знает, может быть, ее ждет молодой джентльмен, который тоже от нее без памяти.

При этих словах Джонс глубоко вздохнул. Хотя миссис Вотерс это заметила, она не подала виду, пока хозяйка была в комнате; однако после ухода этой почтенной женщины она не могла удержаться от некоторых намеков нашему герою, что подозревает существование очень сильной соперницы. Замешательство Джонса по этому случаю убедило ее в справедливости догадки, хотя он и не ответил прямо ни на один из ее вопросов. Впрочем, миссис Вотерс не была настолько щепетильна в любви, чтобы почувствовать большое огорчение от этого открытия: красота Джонса пленяла ее взоры, но так как сердце его она не могла видеть, то и не сокрушалась на этот счет. Она прекрасно могла пировать за трапезой любви, не думая о том, что за ней уже сидела или сядет впоследствии другая,— чувство, которое, правда, не гонится за изысканностью, зато не пренебрегает существенностью; оно менее прихотливо и, может быть, менее жестоко и эгоистично, чем желания женщин, способных без труда удержаться от обладания своим возлюбленным, если они достаточно убеждены, что им не обладают другие.

## ГЛАВА VII,

*содержащая более обстоятельные сведения о миссис Вотерс и о том, как она очутилась в плачевном положении, из которого была выручена Джонсом*

Хотя природа подмешала в состав человеческий далеко не одинаковые дозы любопытства или суетности, однако нет, вероятно, ни одного человека, которого она оделила бы ими в столь

малом количестве, что ему не стоило бы никакого искусства, а также усилий укрощать их и держать в повиновении,— победа, однако, совершенно необходимая для каждого, кто в какой-либо мере желает заслужить репутацию человека мудрого и благовоспитанного.

Так как Джонса справедливо можно назвать благовоспитанным, то он задушил в себе все любопытство, естественно возбужденное в нем необыкновенными обстоятельствами, при которых он нашел миссис Вотерс. Сначала, правда, он обронил ей несколько намеков на этот счет; но, заметив, что она тщательно избегает всякого объяснения, удовлетворился пребыванием в неведении, тем более что предполагал в этом деле кое-какие обстоятельства, которые вызвали бы на лице ее краску, если бы она рассказала всю правду.

Но, может быть, наши читатели не так легко примирятся с подобным неведением; чтобы их удовлетворить, мы не пожалели трудов на расследование этого дела, изложением которого и заключим настоящую книгу.

Итак, эта дама жила несколько лет с неким капитаном Вотерсом, служившим в том же полку, что и мистер Норсертон. Она считалась женой этого джентльмена и носила его имя, и тем не менее, как говорил сержант, существовали некоторые сомнения насчет действительности их брака, которых мы в настоящее время касаться не будем.

Миссис Вотерс, я должен сказать с прискорбием, уже некоторое время вступила с вышеупомянутым прапорщиком в весьма короткие отношения, мало способствовавшие укреплению ее репутации. Что она питала очень нежные чувства к молодому человеку — это несомненно; но довела ли она их до преступного предела — уже далеко не столь ясно, если только не предположить, что женщины никогда не дарят мужчину всеми милостями, кроме одной, не подарив ему и этой последней.

Батальон полка, к которому принадлежал капитан Вотерс, на два дня опередил роту, где мистер Норсертон был прапорщиком; таким образом, капитан прибыл в Ворчестер как раз на другой день после несчастной стычки между Джонсом и Норсертоном, о которой мы в свое время рассказывали.

Миссис Вотерс условилась с мужем, что будет сопровождать его с полком до Борчестера, где супруги расстанутся, и она вернется в Бат и там останется до конца зимней кампании против мятежников.

Об этом соглашении мистер Норсертон был осведомлен. Сказать правду, миссис Вотерс назначила ему свидание именно

в этом городе и обещала ожидать там прибытия его роты,— в каких видах и для какой цели, пусть догадывается сам читатель: мы хотя и обязаны излагать факты, но не обязаны насиловать нашу природу какими-либо толкованиями, порочащими прекрасную половину рода человеческого.

Не успел Норсертон освободиться из-под ареста описанным нами способом, как поспешил вдогонку за миссис Вотерс и, будучи человеком очень живым и проворным, очутился в Ворчестере всего через несколько часов после отбытия капитана Вотерса. Сейчас же по приходе он без стеснения рассказал своей даме о несчастном приключении, которое в его устах сделалось действительно несчастным, потому что он старательно обошел все, что можно было назвать преступлением,— по крайней мере, преступлением перед трибуналом чести, хотя и упомянул о некоторых обстоятельствах, сомнительных с точки зрения уголовного суда.

Женщины, к чести их будь сказано, больше, чем мужчины, способны к той страстной и явно бескорыстной любви, которая заботится только о благе любимого существа. Поэтому миссис Вотерс, узнав об опасности, угрожавшей ее возлюбленному, оставила все прочие интересы и стала думать лишь о том, чтобы спасти его, а так как это было по душе также и ее кавалеру, то они немедленно подвергли вопрос обсуждению.

После долгого совещания решено было наконец, что прапорщик отправится окольными путями в Герфорд, откуда поищет какой-нибудь способ переправиться в один из портовых городов Уэльса и бежать за границу. Миссис Вотерс объявила о своем желании сопутствовать ему в этой экспедиции и снабдить его деньгами — обстоятельство, весьма существенное для мистера Норсертона, так как у нее в кармане было тогда три банковых билета на сумму в девяносто фунтов, не считая наличных и брильянтового кольца очень значительной ценности. Все это она с полной доверчивостью открыла негодяю, не подозревая, что внушит ему мысль ограбить ее. Опасаясь, что отъезд из Ворчестера в почтовой карете наведет на след возможную погоню, прапорщик предложил — и его возлюбленная тотчас на это согласилась — дойти до первой станции пешком, тем более что очень кстати на дворе славно подморозило.

Почти весь багаж миссис Вотерс находился уже в Бате, и с ней была только самая малость белья, которое кавалер ее взялся унести в своих карманах. Устроив, таким образом, вечером все дела, они на другой день встали пораньше и вышли из Ворчестера в пять часов, то есть часа за два до зари, но полная луна светила им во всю свою мочь.

Миссис Вотерс не принадлежала к тем изнеженным женщинам, которые обязаны способностью передвигаться с места на место изобретению повозок и для которых, следовательно, карета является насущной жизненной необходимостью. Тело ее было полно силы и ловкости, да и душа в не меньшей мере оживлена бодростью, так что она вполне способна была идти в ногу со своим проворным любовником.

Пройдя несколько миль по большой дороге, которая, по уверениям Норсертона, вела в Герфорд, они подошли на заре к опушке большого леса, где Норсертон вдруг остановился и, как бы под влиянием пришедшей ему в голову мысли, объявил, что считает опасным идти дальше по такой людной дороге. После этого он без труда убедил свою прекрасную спутницу свернуть на тропинку, которая, по его словам, вела напрямик через лес и по которой они дошли до подошвы горы Мазард.

Был ли гнусный план Норсертона результатом предварительного обдумывания, или он здесь впервые пришел ему в голову — не берусь решить. Во всяком случае, дойдя до этого пустынного места, где было весьма невероятно встретить какую-нибудь помеху, прапорщик быстро снял с ноги подвязку и, набросившись на бедную женщину, пытался совершить то ужасное и отвратительное преступление, о котором мы упоминали и которое так счастливо было предупреждено появлением Джонса, предуготованным судьбой.

Счастье миссис Вотерс, что она была женщина не слабая. Увидя, как ее спутник затягивает узел на подвязке, и услышав его угрозы, она тотчас поняла его адский замысел и решила энергично защищаться. Она с такой силой сопротивлялась неприятелю, все время призывая на помощь, что отдалила на несколько минут осуществление задуманного злодейства, и это позволило Джонсу подоспеть на помощь как раз в ту минуту, когда она выбилась из сил и совершенно изнемогала. Наш герой освободил ее из рук злодея целой и невредимой: пострадало только платье, разорванное на спине, да пропало бриллиантовое кольцо, которое или слетело с пальца во время борьбы, или было сорвано Норсертоном.

Вот, читатель, плоды трудного расследования, предпринятого нами для удовлетворения твоего любопытства. Мы представили тебе картину безумства и подлости, на которые с трудом сочли бы способным человеческое существо, если бы не помнили, что злодей в это время был твердо убежден, что им совершено убийство и он уже приговорен законом к смерти. Видя свое спасение единственно в бегстве, он рассудил, что деньги

и кольцо этой бедной женщины вознаградят его за новое бремя, которым он собирался отягчить свою совесть.

Тут мы должны строго предостеречь тебя, читатель, не делать на основании гнусного поведения этого мерзавца неблагоприятного заключения о столь достойной и почтенной корпорации, как офицеры нашей армии в целом. Изволь принять во внимание, что человек этот, как мы уже сообщали тебе, ни по происхождению, ни по воспитанию не был джентльменом и не подходил для зачисления в названную корпорацию. Если, следовательно, его низкий поступок и может бросить тень на кого-либо, то лишь на тех, кто выдал ему офицерский патент.

# КНИГА ДЕСЯТАЯ,

## В КОТОРОЙ ИСТОРИЯ ПОДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД ЕЩЕ НА ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ

## ГЛАВА I,

*содержащая предписания, которые весьма необходимо прочесть нынешним критикам*

Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек: может быть, ты сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир, а может быть, не умнее некоторых редакторов его сочинений. Опасаясь сего последнего, мы считаем нужным, прежде чем идти с тобой далее, преподать тебе несколько спасительных наставлений, дабы ты не исказил и не оклеветал нас так грубо, как иные из названных редакторов исказили и оклеветали великого писателя.

Итак, мы прежде всего предостерегаем тебя от слишком поспешного осуждения некоторых происшествий в этой истории, как неуместных и не имеющих отношения к нашей главной цели, потому что тебе не сообразить сразу, каким образом такие происшествия могут привести к указанной цели. Действительно, на произведение это можно смотреть как на некий великий, созданный нами мир; и для жалкого пресмыкающегося, именуемого критиком, осмеливаться находить погрешности в той или иной его части, не зная, каким способом связано целое, и не дойдя до заключительной катастрофы,— значит проявлять нелепую самоуверенность. Сравнение и метафору, употребленные нами, нельзя не признать чересчур величественными для данного случая, но, право, нет других, которые сколько-нибудь подходили бы для выражения расстояния между перворазрядным писателем и ничтожнейшим критиком.

Второе предостережение, которое мы хотим тебе сделать, любезное пресмыкающееся, заключается в том, чтобы ты не искал слишком близкого сходства между некоторыми выведенными здесь действующими лицами — например, между хозяйкой гостиницы, выступающей в седьмой книге, и хозяйкой гостиницы, выступающей в девятой. Надо тебе знать, мой друг, что есть характерные черты, свойственные большей части людей

одной профессии и одного занятия. Способность сохранять эти характерные черты и в то же время разнообразить их проявление есть одно из достоинств хорошего писателя. Другой его дар — уменье подмечать тонкие различия между двумя лицами, наделенными одинаковым пороком или одинаковой дурью; и если этот последний дар встречается у очень немногих писателей, то уменье по-настоящему его распознавать столь же редко встречается у читателей, хотя, мне кажется, подмечать подобные вещи большое удовольствие для тех, кто на это способен. Каждый, например, в состоянии отличить господина Селадона Толстосума от господина Щеголя Вертопраха; но для того чтобы заметить различие между господином Щеголем Вертопрахом и господином Любезником Миловзором, требуется суждение более острое, при отсутствии которого недалекие зрители часто бывают весьма несправедливы к театру, где, как я не раз наблюдал, поэт подвергается опасности быть обвиненным в воровстве на основании улик, гораздо менее убедительных, чем сходство почерка в глазах закона. Право, мне кажется, что каждая влюбленная вдова на сцене рисковала бы быть объявленной рабским подражанием Дидоне, но, к счастью, лишь немногие из наших театральных критиков настолько знают латынь, чтобы читать Вергилия.

Далее. Мы всячески убеждаем тебя, достойный друг мой (ведь сердце у тебя, может быть, лучше, чем голова), не объявлять характер дурным на том основании, что он не безукоризненно хорош. Если тебе доставляют удовольствие подобные образцы совершенства, то существует довольно книг, которые могут усладить твой вкус; но нам за всю нашу жизнь ни разу не довелось встретить таких людей, поэтому мы их здесь и не выводили. По правде сказать, я несколько сомневаюсь, чтобы простой смертный достигал когда-нибудь этой высшей степени совершенства, как сомневаюсь и в том, чтобы существовало на свете отъявленное чудовище,

nulla virtute redemptum
A vitiis [1],—

как говорит Ювенал. И, право, я не вижу пользы вводить в произведения, созданные вымыслом, характеры такого ангельского совершенства или такой дьявольской порочности: ведь, созерцая их, ум человеческий скорее удручен будет скорбью и наполнится стыдом, чем извлечет из них что-нибудь поучительное,— в первом случае ему будет горько и стыдно видеть в природе своей образец совершенства, какого он заведомо не может достигнуть; в последнем же он не в меньшей степени будет угнетен теми же тягостными

[1] Чьи пороки не заглажены ни единой добродетелью *(лат.)*.

чувствами при виде унижения природы человеческой в столь гнусной и мерзостной твари.

Действительно, если характер заключает в себе довольно доброты, чтобы снискать восхищение и приязнь человека благорасположенного, то пусть даже в нем обнаружатся кое-какие изъяны, quas humana parum cavit natura[1],— они внушат нам скорее сострадание, чем отвращение. И точно, ничто не приносит большей пользы нравственности, чем несовершенства, наблюдаемые нами в такого рода характерах: они поражают нас неожиданностью, способной сильнее подействовать на наш ум, чем поступки людей очень дурных и порочных. Слабости и пороки людей, в которых вместе с тем есть много и хорошего, гораздо сильнее бросаются в глаза по контрасту с хорошими качествами, оттеняющими их уродливость. И когда мы видим гибельные последствия таких пороков для лиц, нам полюбившихся, то научаемся не только избегать их в своих собственных интересах, но и ненавидеть за зло, уже причиненное ими тем, кого мы любим.

А теперь, друг мой, преподав тебе эти добрые советы, мы будем, если тебе угодно, продолжать нашу историю.

## ГЛАВА II,

*повествующая о прибытии некоего ирландского джентльмена и о весьма необычайных приключениях в гостинице*

Был час, когда по лужайкам шаловливо резвится робкий зайчишка, которого боязнь многочисленных врагов, в особенности человека, этого хитрого, жестокого, плотоядного животного, удерживала целый день в потаенном месте; когда сова, пронзительная певунья ночи, усевшись на дуплистом дереве, издает звуки, способные пленить слух некоторых нынешних знатоков музыки; когда воображению полупьяного мужика, возвращающегося, пошатываясь, домой через погост или кладбище, страх рисует кровавое привидение; когда бодрствуют воры и разбойники, а честные сторожа спят крепким сном,— говоря попросту, была полночь, и постояльцы гостиницы,— как те, о которых уже упоминалось в этой истории, так и некоторые другие, прибывшие вечером,— все улеглись спать. Только горничная Сусанна еще возилась: ей надо было вымыть кухню, перед тем как отправиться в горячие объятия поджидавшего ее конюха.

В таком положении находились дела в гостинице, когда к ней подъехал на почтовых неизвестный джентльмен. Он поспешно

[1] От которых недостаточно убереглась природа человеческая *(лат.)*.

соскочил с лошади и, войдя, осведомился у Сусанны в очень отрывистых и несвязных выражениях,— он чуть не задыхался от нетерпения,— не остановилась ли в гостинице дама. Ночной час и поведение этого человека, глаза которого все время дико блуждали, немного смутили Сусанну, так что она была в нерешительности, отвечать ли ему. Тогда посетитель еще нетерпеливее стал умолять ее открыть всю правду, говоря, что от него бежала жена и он гонится за ней.

— Клянусь честью,— воскликнул он,— я уже два-три раза почти настиг ее, но она ускользнула у меня прямо из-под носа. Если она в гостинице, проводите меня к ней, не зажигая огня, а если уехала, укажите дорогу, по которой мне ехать, чтобы догнать ее, и, клянусь честью, я сделаю вас, бедную женщину, самой богатой во всей Англии.

И он вытащил горсть гиней, вид которых соблазнил бы людей куда повыше бедной служанки на гораздо худшие дела.

Сусанна, слышавшая рассказ сержанта о миссис Вотерс, ни капельки не сомневалась, что она-то и есть беглянка, преследуемая ее законным владельцем. Заключив поэтому весьма основательно, что никогда ей не случится добыть денег более честным путем, чем возвратив жену мужу, она без колебаний сообщила незнакомцу, что дама, о которой он спрашивает, находится сейчас в гостинице, после чего тому скоро удалось убедить Сусанну (щедрыми посулами, а также вручением некоторого задатка), чтобы она провела его в спальню миссис Вотерс.

В приличном обществе издавна принято — на это есть веские и существенные причины,— чтобы муж никогда не входил в комнату жены, не постучав предварительно в дверь. Многочисленные выгоды этого превосходного обыкновения едва ли надо объяснять читателю, сколько-нибудь знающему свет: таким способом дама имеет время поправить свой туалет и убрать с дороги всякий неприятный предмет, ибо бывают положения, в которых щепетильные и деликатные женщины не хотели бы быть застигнуты своими мужьями.

Сказать правду, некоторые формальности, принятые в обществе воспитанных людей, для невежд кажутся совершенно пустыми, однако если внимательно к ним приглядеться, то оказывается, что они обладают весьма существенным содержанием. И было бы хорошо, если бы наш приезжий позаботился о соблюдении вышеупомянутого обыкновения в настоящую минуту. Стукнуть в дверь он, правда, стукнул, но вовсе не так, как принято в подобных случаях, то есть деликатно и слегка. Напротив, увидя, что дверь заперта, он ударил в нее с такой силой, что замок не выдержал, дверь распахнулась и он с размаху грохнулся на пол.

Только что поднялся он на ноги, как, тоже поднявшись с кровати,— к стыду и сожалению, должны мы признаться,— вырос перед ним сам герой наш и грозным голосом вопросил пришельца, кто он и как смел ворваться в комнату столь дерзким способом.

Приезжий подумал сначала, что совершил ошибку, и уже собирался просить извинения и удалиться, как вдруг взгляд его упал на ярко освещенные луной корсеты, платья, юбки, чепчики, ленты, чулки, подвязки, башмаки, калоши и тому подобное, которые были в беспорядке разбросаны по полу. Предметы эти до такой степени воспламенили свойственную ему от природы ревность, что он совершенно потерял дар речи и, ни слова не отвечая Джонсу, попытался подойти к постели.

Джонс немедленно загородил ему дорогу, и между ними завязалась горячая перебранка, которая скоро перешла в потасовку. Тут миссис Вотерс (ибо мы должны признаться, что она тоже лежала на этой постели), пробудившись, я полагаю, от сна и увидя двух дерущихся в ее спальне мужчин, завопила благим матом: «Караул! Разбой! Насилие! Насилие!» Это последнее восклицание, может быть, удивит читателя, если он упустит из виду, что испуганные дамы употребляют их, подобно фа, ля, ре, до в музыке, лишь в качестве носителей звука, не связывая с ними никаких отчетливых представлений.

Рядом с комнатой миссис Вотерс расположилась персона одного ирландского джентльмена, прибывшего в гостиницу слишком поздно, так что мы еще не имели возможности о нем упомянуть. Джентльмен этот был из тех, кого ирландцы зовут калабаларо, или кавалерами. На положении младшего брата в хорошей семье он не имел дома никакого состояния и принужден был искать его на стороне; с этой целью он направлялся теперь в Бат — попытать счастья в карточной игре и с женщинами.

Этот молодой человек читал в постели роман миссис Бэн: кто-то из приятелей внушил ему, что нет лучшего способа добиться успеха у дам, как усовершенствовав свой ум поглощением изящной литературы. Услышав страшный шум за стеной, он моментально соскочил со своего ложа и, схватив в одну руку шпагу, а в другую горевшую возле него свечу, направился прямо в комнату миссис Вотерс.

Если вид постороннего мужчины в одной рубашке в первую минуту еще больше оскорбил стыдливость этой дамы, то зато сильно уменьшил ее страхи, ибо не успел калабаларо переступить порог, как воскликнул:

— Мистер Фитцпатрик! Скажите, ради дьявола, что тут за кавардак?

На что приезжий тотчас ответил:

— А, мистер Маклаклан! Как рад я видеть вас здесь!.. Этот негодяй обольстил мою жену и лежал с ней в одной постели!

— Какую жену? — удивился Маклаклан.— Разве я не знаю миссис Фитцпатрик очень хорошо и разве не вижу, что дама, с которой лежал этот джентльмен, стоящий здесь в одной рубашке, вовсе не она?

Фитцпатрик, взглянув на даму и прислушавшись к ее голосу, который можно было различить и на гораздо большем расстоянии, убедился в допущенной им прискорбной ошибке и рассыпался в извинениях перед миссис Вотерс, затем, обратясь к Джонсу, сказал:

— Прошу обратить внимание, что у вас я не прошу извинения, потому что вы меня ударили, и завтра утром вы мне заплатите за это своей кровью.

Джонс выслушал эту угрозу с большим презрением, а мистер Маклаклан сказал приятелю:

— Постыдились бы вы, право, мистер Фитцпатрик: как можно беспокоить людей в такой час! Если бы в гостинице не спали, то вы подняли бы всех на ноги, как меня. Джентльмен обошелся с вами по справедливости. У меня нет жены, но, поступи вы с ней таким образом,— даю слово, я перерезал бы вам горло.

Боязнь за репутацию миссис Вотерс привела Джонса в такое замешательство, что он не знал, что сказать и что предпринять; но, как было замечено, женщины в подобных случаях гораздо находчивее мужчин. Миссис Вотерс вспомнила, что из ее комнаты есть ход в комнату мистера Джонса; отстаивая свою женскую честь, она с негодованием воскликнула:

— Не понимаю, о чем вы говорите, мерзавцы! Никому из вас я не жена. На помощь! Насилие! Разбой! Насилие!

Когда на крик в комнату вбежала хозяйка, миссис Вотерс яростно накинулась на нее, говоря, что «она считала себя в приличной гостинице, а не в публичном доме, а вот шайка негодяев ворвалась к ней в комнату, покушаясь на ее честь, а может быть, даже на жизнь, между тем как и то и другое ей одинаково дорого».

Тут хозяйка завопила еще пронзительней бедной женщины, лежавшей в постели, приговаривая, что «она погибла и что вконец замарана репутация ее заведения, до сих пор совершенно незапятнанная». Потом, обратясь к мужчинам, крикнула:

— Да что же, черт возьми, значит вся эта сумятица в комнате леди?

Фитцпатрик, опустив голову, проговорил, что «допустил ошибку и от всего сердца просит извинения», после чего вышел вон

со своим соотечественником. Джонс, мигом сообразив, чего от него хочет красавица, беззастенчиво объявил, что «прибежал на помощь, услышав, как выламывают дверь, с намерением, должно быть, обокрасть леди, и что если действительно таково было намерение этих господ, то он вовремя помешал им».

— Никогда в моем доме не случалось воровства, с тех пор как я держу гостиницу,— вознегодовала хозяйка.— Прошу вас, сэр, принять к сведению, что я не укрываю у себя грабителей и самое это слово ненавижу, хоть и приходится произносить его. В мой дом допускаются только честные и порядочные джентльмены, и, благодарение судьбе, я никогда не терпела недостатка в таких постояльцах: их бывает у меня столько, сколько вмещает моя гостиница. Здесь останавливается лорд...— И она привела целый список имен и титулов, из которых многие мы, пожалуй, даже не вправе печатать, не нарушая парламентской привилегии.

Джонс терпеливо слушал, но наконец не выдержал и, прервав хозяйку, попросил извинения у миссис Вотерс, что вошел к ней в одной рубашке, уверяя, что только тревога за ее безопасность побудила его к такому шагу. Читатель может составить представление об ее ответе и обо всем ее поведении в конце описываемой сцены, если вспомнит, что она прикинулась скромной женщиной, которую разбудили от сна трое ворвавшихся в ее комнату незнакомых мужчин. Эту роль она взяла на себя и, надо сказать, исполнила так хорошо, что ни одна из наших театральных актрис не могла бы превзойти ее ни на сцене, ни в жизни.

Отсюда, мне кажется, мы можем извлечь прекрасный довод в доказательство того, насколько натуральна для прекрасного пола добродетель: хотя, может быть, из десяти тысяч женщин не найдется и одной, годной в хорошие актрисы, да и среди последних мы редко встретим двух способных с одинаковым искусством исполнить какую-нибудь роль, однако с ролью добродетели все они справляются великолепно: и те, у которых она есть, и те, у которых ее нет,— все разыгрывают добродетельных с неподражаемым совершенством.

Когда мужчины ушли, миссис Вотерс, оправившись от страха, оправилась и от гнева и уже гораздо благодушнее разговаривала с хозяйкой, которая не так легко совладала со своим беспокойством за репутацию заведения и снова пустилась перечислять в ее защиту всех знатных господ, ночевавших под этой крышей; однако гостья оборвала говорунью, заявив, что считает ее совершенно неповинной в случившемся беспорядке, и попросила дать ей возможность уснуть, выразив надежду, что до утра ее больше уже не потревожат. После этого хозяйка покинула ее со многими поклонами и приседаниями.

## ГЛАВА III

*Диалог между хозяйкой и горничной Сусанной, который полезно прочесть всем содержателям гостиниц и их слугам. Прибытие молодой прекрасной дамы и ее приветливое обращение, могущее послужить для знатных особ уроком, как снискать всеобщую любовь*

Хозяйка гостиницы, вспомнив, что единственным человеком, еще не спавшим в то время, когда была выломана дверь, была Сусанна, тотчас же отправилась к ней разведать о причине беспорядка, а также о том, кто такой незнакомец и когда и как он приехал.

Сусанна рассказала все, что уже известно читателю, уклонившись от истины лишь в некоторых подробностях, для нее неудобных, и совершенно умолчав о полученных деньгах. Но так как хозяйка в предисловии к своим расспросам долго с участием говорила о страхах миссис Вотерс касательно замышлявшегося покушения на ее добродетель, то Сусанна попробовала было успокоить тревогу госпожи своей, в которой та, по-видимому, пребывала, поклявшись, что собственными глазами видела, как Джонс соскочил с постели миссис Вотерс.

Эти слова привели хозяйку в крайнее раздражение.

— Полно молоть вздор! — воскликнула она.— Разве женщина стала бы кричать и выдавать себя, если бы это было так? Скажи на милость, разве этот крик, который слышали человек двадцать, не есть лучшее доказательство добродетели, какое может дать женщина? Прошу, сударыня, не распространять такой клеветы на моих постояльцев: ведь она вредит не только им, но и всему дому, а в нем нет места для бродяг и голодранцев.

— Значит, прикажете не верить собственным глазам? — сказала Сусанна.

— Конечно, и глазам не всегда надо верить,— отвечала хозяйка.— Я бы и своим не поверила, когда дело идет о таких прекрасных людях. Уже полгода, как никто не заказывал мне такого ужина, какой я им подала вчера вечером; и такие они покладистые, такие невзыскательные, что нисколько не жаловались на мою ворчестерскую грушевку, которую я им продала за шампанское; да и то сказать: моя грушевка такая вкусная и для здоровья полезная, что не уступит лучшему шампанскому в королевстве, иначе я не посмела бы подать ее, а они выпили две бутылки. Нет, нет, никогда не подумаю худого о таких рассудительных, прекрасных людях.

Такими доводами Сусанна была приведена к молчанию, и госпожа ее перешла к другим предметам.

— Так ты говоришь,— продолжала она,— что этот незна-

комый джентльмен приехал на почтовых и с лошадьми его остался слуга? Ну, значит, и он из господ. Почему же ты не спросила его, не хочет ли он поужинать? Кажется, он в комнате другого джентльмена; поди же и спроси, не надо ли ему чего,— может быть, он чего закажет, когда увидит, что в доме не все спят и есть кому приготовить. Да только не наделай, как всегда, глупостей: не вздумай сказать ему, что огонь погас и куры еще не зарезаны. И если он потребует барашка, не сболтни, что его у нас нет. Мясник, я знаю, резал барана перед тем, как я собиралась идти спать, и, наверно, не откажется отрезать теплый кусочек, коли я попрошу. Ступай же да помни, что у нас есть все сорта баранины и курятины. Иди отвори дверь и скажи: «Вы звали, джентльмены?» А если они ничего не ответят, спроси, что его милости угодно будет заказать на ужин. Не забудь только прибавить: «его милости». Ступай! Если ты не будешь внимательней ко всем таким вещам, из тебя никогда ничего не выйдет.

Сусанна отправилась, но скоро вернулась, доложив, что оба джентльмена улеглись на одной постели.

— Два джентльмена на одной постели! — ужаснулась хозяйка.— Не может быть! Да это голь перекатная, а не джентльмены, бьюсь об заклад! И прав был молодой сквайр Олверти, подумав, что молодчик затеял ограбить ее милость; ведь если бы он взломал дверь в комнату дамы с преступными намерениями джентльмена, то не улизнул бы в комнату, занятую другим, чтобы сэкономить на ужине и постели. Заведомые воры, а поиски жены — один только предлог.

Хозяйка порицала мистера Фитцпатрика совершенно несправедливо, ибо он был природный дворянин, хотя и без гроша за душой, и если и мог в чем упрекнуть свое сердце и голову, то уж никак не в пресмыкательстве и не в скаредности. Напротив, он отличался такой щедростью, что, получив за женой очень хорошее приданое, промотал его до последнего гроша, за исключением небольшого капитальца, записанного на ее имя; желая завладеть и им, он начал обращаться с женой так жестоко, вдобавок еще бешено ревнуя ее, что заставил несчастную бежать из дому.

Проделав в один день длинный утомительный путь из Честера да получив еще в схватке с Джонсом несколько увесистых ударов, джентльмен этот почувствовал себя настолько разбитым физически и удрученным душевно, что у него пропал всякий аппетит. После досадного приключения с миссис Вотерс, которую, доверившись указаниям служанки, он принял за свою жену, ему совершенно не пришло в голову, что миссис Фитцпатрик все же могла находиться в доме, хотя бы особа, к которой он ворвался, ею и не была. Вот почему он послушался приятеля, посоветовав-

шего ему прекратить на сегодня дальнейшие поиски, и принял любезно предложенную им половину постели.

Лакей и форейтор были в другом расположении духа. Они проявляли куда больше прыти на приказания, чем хозяйка на услуги; однако, получив от них удовлетворительные сведения о положении вещей и убедившись, что мистер Фитцпатрик не вор, она согласилась наконец подать им кусок холодной говядины, которую они уплетали с большой жадностью, когда в кухню вошел Партридж. Сначала его разбудила только описанная суматоха, а когда он попытался снова заснуть, устроившись поудобнее на подушке, сова закатила ему под окном такую серенаду, что бедняга в неописуемом страхе соскочил с постели и, наскоро накинув на себя платье, бежал под защиту людей, голоса которых доносились из кухни.

Приход его удержал хозяйку, которая уже собралась отправиться на покой, оставив двух гостей на попечение Сусанны; она рассудила, что с другом молодого сквайра Олверти нельзя обращаться так пренебрежительно, особенно после того как он потребовал пинту глинтвейна. Хозяйка тотчас же повиновалась, поставив на огонь заказанное количество грушевки, которая отлично сходила у нее за любую марку вина.

Лакей-ирландец отправился спать; его примеру хотел было последовать форейтор, но Партридж попросил его остаться и распить с ним вино, на что тот с благодарностью согласился. Дело в том, что учитель боялся возвращаться в постель в одиночестве; не зная, как скоро он может лишиться общества хозяйки, он решил обеспечить себе общество форейтора, в присутствии которого не страшился ни черта, ни его прислужников.

В это время к воротам подъехал другой форейтор. Посланная на разведки Сусанна вернулась в сопровождении двух молодых женщин в амазонках, причем на одной из приезжих амазонка была так богато расшита, что Партридж и форейтор тотчас же повскакали с мест, а хозяйка рассыпалась в поклонах и любезных восклицаниях.

Дама в богатом костюме проговорила с приветливой улыбкой:

— Если вы позволите, сударыня, я несколько минут погреюсь у вашего кухонного огня, потому что на дворе очень холодно; но только, пожалуйста, пусть никто не беспокоится и не встает с места.

Последние слова были обращены к Партриджу, который отступил в дальний конец комнаты, охваченный благоговейным изумлением при виде роскошного платья дамы. Последняя, однако, имела и большие права на уважение: она была одной из первых красавиц на свете. Дама настойчиво упрашивала Партриджа вернуться на свое место, но все ее просьбы были напрасны;

тогда она сняла перчатки и протянула к огню руки, имевшие все свойства снега, за исключением способности таять. Спутница ее,—это была не кто иная, как ее служанка,— последовала примеру своей госпожи и обнажила нечто по цвету и температуре в точности похожее на кусок мороженого мяса.

— Надеюсь, сударыня,— проговорила последняя,— вы не вздумаете ехать дальше сегодня ночью? Я ужасно боюсь, ваша милость, что вы не перенесете такой усталости.

— Понятное дело! — воскликнула хозяйка.— Ее милость не может иметь такого намерения. Боже мой! Ехать дальше ночью! Умоляю вас, ваша милость, и не думайте об этом!.. Разумеется, вашей милости нечего и думать об этом. Что угодно будет вашей милости заказать на ужин? У меня есть баранина всех сортов и превосходные цыплята.

— Мне кажется, сударыня,— отвечала дама,— сейчас время скорее для завтрака, чем для ужина; но есть мне совершенно не хочется, и если я останусь, то только прилягу на час или на два; впрочем, если можно, сударыня, велите мне приготовить немного сак-вея, только пожиже и послабей.

— Слушаю, сударыня,— отвечала хозяйка,— у меня есть превосходное белое вино.

— Так у вас нет сак-вея? — сказала дама.

— Как не быть? Есть, если угодно вашей милости, во всей Англии такого не сыщешь... но позвольте просить вашу милость скушать чего-нибудь.

— Право, не могу,— отвечала дама.— И я буду вам премного обязана, если вы велите поскорее приготовить мне комнату, потому что через три часа я снова отправлюсь в путь.

— Эй, Сусанна! — крикнула хозяйка.— Топится ли еще камин в «Диком Гусе»? К сожалению, сударыня, все мои лучшие комнаты заняты. Сегодня у меня ночует несколько больших господ: один знатный молодой сквайр и другие благородные господа.

Сусанна отвечала, что в «Диком Гусе» остановились ирландцы.

— Ну, на что это похоже? — воскликнула хозяйка.— Почему, скажи на милость, ты не оставила лучших комнат для знатных господ? Ведь ты же знаешь — дня не проходит, чтобы к нам не заехал важный барин!.. Впрочем, если они джентльмены, так, наверно, уступят свою комнату для леди.

— Нет, не надо,— возразила дама,— я не хочу, чтобы кого-нибудь беспокоили ради меня. Если у вас есть опрятная комната, хотя бы самая простая, то она прекрасно мне подойдет. Пожалуйста, сударыня, не хлопочите так из-за меня.

— Конечно, сударыня, у меня есть такие комнаты, прекрасные комнаты, но они все-таки недостаточно хороши для вашей мило-

сти. Впрочем, если вы настолько снисходительны, то я велю Сусанне сию минуту развести огонь в «Розе»,— это лучшее, что я могу вам предложить. Угодно будет вашей милости тотчас подняться наверх или вы желаете подождать, пока разгорится огонь?

— Мне кажется, я достаточно согрелась,— отвечала дама,— и готова идти тотчас же. Боюсь, что уж и без того я слишком долго продержала на холоду все общество, в особенности вот этого джентльмена (она указала на Партриджа). При такой ужасной погоде мне, право, неловко прогонять людей от огня.

С этими словами она удалилась со своей горничной, предшествуемая хозяйкой, которая несла две свечи.

По возвращении этой доброй женщины весь разговор в кухне сосредоточился на прелестях приехавшей молодой леди. В самом деле, в совершенной красоте есть сила, против которой почти невозможно устоять; даже хозяйка, не слишком довольная отказом гостьи от ужина, объявила, что никогда в жизни она не видела такого очаровательного создания. Партридж пустился расточать самые неумеренные похвалы ее наружности, хотя не мог также удержаться от некоторых комплиментов золотому шитью ее платья; форейтор превозносил ее доброту и был всецело поддержан другим форейтором, вошедшим теперь в кухню.

— Истинно добрая барыня, скажу я вам,—сказал последний,— даже бессловесную тварь жалеет: в дороге то и дело спрашивала меня, как, по-моему, не утрудит ли она лошадь такой быстрой ездой, а входя в гостиницу, строго наказала задать им овса вволю.

Вот какие чары заключены в приветливости и какие похвалы вызывает она у людей всякого звания. Право, ее можно сравнить с пресловутой миссис Хасси[1]. Как и эта дама, она выставляет в самом выгодном свете достоинства женщины и скрашивает или скрывает ее недостатки. Краткое размышление, от которого мы не могли здесь удержаться, показав читателю привлекательность любезного обращения; теперь же истина требует, чтобы мы противопоставили ему обратное явление.

## ГЛАВА IV,

*описывающая верные средства снискать всеобщее презрение и ненависть*

Как только приезжая легла в постель, горничная возвратилась в кухню угоститься лакомствами, отвергнутыми госпожой.

Компания в кухне встретила горничную с таким же почтением, как перед тем госпожу: все встали; но горничная не после-

[1] Известная портниха на Странде, прославившаяся изготовлением дамских нарядов.

довала примеру госпожи и не попросила вставших садиться. Да это было для них едва ли и возможно, потому что она так поставила стул свой, что завладела почти всем огнем. Затем она приказала сию же минуту изжарить цыпленка, объявив, что не станет дожидаться, если он не будет готов через четверть часа. И хотя упомянутый цыпленок сидел еще в сарае на насесте и, прежде чем быть посаженным на вертел, требовал таких сложных операций, как поимка, умерщвление и ощипывание, тем не менее хозяйка взялась бы сделать все это к назначенному времени, если бы гостья, к несчастью, допущенная за кулисы, не оказалась поневоле свидетельницей fourberie;[1] бедной женщине пришлось поэтому признаться, что цыплят на кухне нет.

— Однако, сударыня,— прибавила она,— я мигом могу достать у мясника какой угодно кусок барашка.

— Вы, значит, полагаете, что у меня лошадиный желудок и я могу кушать баранину в такой час ночи? — возмутилась горничная-барыня.— Вы, трактирщики, верно, воображаете, что люди выше вас похожи на вас. Да я и не ожидала найти ничего порядочного в такой гадкой харчевне. Удивляюсь, почему моей госпоже вздумалось здесь остановиться. Верно, одни только лавочники да прасолы и заезжают сюда.

Хозяйка вспыхнула, услышав такое оскорбление своей гостиницы, однако сдержала негодование и заметила только, что, «благодарение богу, ее посещают самые знатные господа».

— Уж мне-то вы не говорите о знати! — воскликнула горничная.— Кажется, я больше смыслю в благородных людях, чем вы. Нет, вы лучше не раздражайте меня своей наглостью, а скажите, что у вас есть на ужин; хоть я и не стану есть конину, а все-таки страшно голодна.

— Вот уж, можно сказать, не вовремя пожаловали, сударыня,— отвечала хозяйка.— Должна признаться, у меня сейчас ничего нет, кроме куска холодной говядины, да и тот обглодан почти до кости лакеем и форейтором одного джентльмена!

— Эй, трактирщица! — воскликнула миссис Авигея (так для краткости мы будем называть ее).— Не выводите меня из терпения, прошу вас! Да если б я целый месяц постилась, то и тогда не стала бы есть то, что побывало в руках у таких смердов. Неужто нет ничего почище и поприличнее в этом ужасном доме?

— Может быть, вам угодно будет яичницы с салом, сударыня? — сказала хозяйка.

— А свежи ли у вас яйца? Уверены ли вы, что они снесены сегодня? И нарежьте сало поаккуратнее и потоньше: не выношу

[1] Плутовства *(франц.)*.

ничего толстого. Пожалуйста, хоть раз попробуйте сделать что-нибудь порядочное и не думайте, что у вас жена фермер или кто-нибудь в этом роде.

Хозяйка уже вооружилась ножом, но гостья остановила ее, сказав:

— Голубушка, убедительно прошу вас: сначала вымойте руки, потому что я очень брезглива и с колыбели привыкла, чтобы мне прислуживали красиво и опрятно.

Хозяйка, с большим трудом владевшая собой, начала необходимые приготовления, ибо Сусанна была решительно отвергнута, и с таким презрением, что бедной девушке стоило не меньшего труда удержать свои руки от насильственных действий, чем ее госпоже свой язык. Но с языком Сусанне так и не удалось сладить, хоть она его буквально прикусила, однако у нее не раз сорвалось: «Подумаешь! У меня такая же кровь, как и у вас, сударыня»,— и другие негодующие фразы.

Пока готовился ужин, миссис Авигея стала сетовать, что не распорядилась затопить камин в общей комнате, а теперь уже слишком поздно.

— Впрочем,— продолжала она,— для разнообразия буду довольна и кухней: ведь я отроду в кухне не едала.

Потом, обратясь к форейторам, она спросила, почему они не в конюшне с лошадьми.

— Уж если мне приходится принимать мою грубую пищу здесь,— сказала она хозяйке,— так извольте, сударыня, очистить кухню: не сидеть же мне вместе с чернью! А что касается вас, сэр,— обратилась она к Партриджу,— то с виду вы похожи на джентльмена и потому, если угодно, можете остаться: я не хочу беспокоить порядочных людей.

— Да, сударыня, вы правы,— сказал Партридж,— я джентльмен, могу вас уверить, и меня не так легко побеспокоить. Non semper vox casualis est verbo nominativus[1].

Эту латинскую реплику Авигея приняла за оскорбление и отвечала:

— Может быть, вы и джентльмен, сэр, но только поступаете не по-джентльменски, разговаривая с женщиной по-латыни.

Партридж сказал что-то учтивое, но опять заключил свои слова латынью; собеседница только задрала нос и обозвала его большим грамотеем.

Тем временем ужин был подан, и миссис Авигея принялась уплетать с усердием, совсем не подходившим для такой деликатной особы.

---

[1] Не всегда склоняемое слово бывает в именительном падеже *(лат.)*.

— Так вы говорите, сударыня, к вам часто заезжают знатные господа? — спросила она, между тем как готовили, по ее приказанию, вторую порцию.

Хозяйка отвечала утвердительно, сказав, что в настоящее время в гостинице находится много знатных и благородных господ.

— У нас остановился молодой сквайр Олверти. Вот этот джентльмен подтвердит вам.

— Кто же этот молодой знатный джентльмен, этот сквайр Олверти? — спросила Авигея.

— Кем же ему быть,— отвечал Партридж,— как не сыном и не наследником известного сквайра Олверти из Сомерсетшира.

— Вот странные новости слышу! Я очень хорошо знаю мистера Олверти из Сомерсетшира, и, насколько мне известно, у него нет сына.

При этих словах хозяйка насторожила уши, а Партридж немного смутился. Однако после непродолжительного колебания он отвечал:

— Действительно, сударыня, не всем известно, что он сын сквайра Олверти, который никогда не был женат на его матери. Но он, несомненно, его сын и будет его наследником; это настолько же верно, как то, что его зовут Джонсом.

При этих словах Авигея уронила кусок шпика, который отправляла в рот, и воскликнула:

— Вы меня удивляете, сэр! Возможно ли, чтобы мистер Джонс находился сейчас в этом доме?

— Quare non?[1] — отвечал Партридж.— И возможно, и несомненно.

Авигея поспешно доела остатки ужина и бросилась в комнату своей госпожи, где произошел разговор, который будет передан в следующей главе.

## ГЛАВА V,

### *раскрывающая, кто были любезная дама и ее нелюбезная служанка*

Как алая роза, случайно посаженная среди лилий, смешивает в июне свой румянец с их яркой белизной; или как резвая телка в прелестный майский день разливает свое благовонное дыхание по цветущим лугам; или как нежная, верная горлица в ясный апрельский день мечтает о своем дружке, сидя на красивой ветке,—

[1] Почему же нет? *(лат.)*

Софья (то была она), блистая сотней прелестей, дыша ароматным дыханием, с мыслями, направленными на любезного Томми, и с сердцем, столь же добрым и невинным, сколь прекрасно было лицо ее, лежала, склонив очаровательную головку на руку; как вдруг вошла в комнату ее горничная и, подбежав прямо к постели, проговорила:

— Сударыня... сударыня... отгадайте, кто остановился в этой гостинице?

Софья встрепенулась, воскликнув:

— Надеюсь, не отец настиг нас?!

— Нет, сударыня, тот, кто сто́ит сотни отцов: в эту самую минуту здесь находится сам мистер Джонс собственной персоной.

— Мистер Джонс! Быть не может. Не смею и думать о таком счастье!

Горничная подтвердила сказанное и была тотчас отряжена госпожой распорядиться позвать его: Софья объявила, что хочет немедленно видеть его.

Едва только миссис Гонора покинула кухню вышеописанным образом, как хозяйка яростно обрушилась на ушедшую. В сердце бедной женщины уже немало времени накипала злоба, и теперь она полилась из уст ее потоком ругательств, как льются нечистоты из мусорной телеги, когда уберут доску, их удерживающую. Партридж подбавил и свою долю злословия, причем обдал не только горничную, но (что может удивить читателя) пытался также замарать белоснежную репутацию самой Софьи.

— Бочонок всегда отдает сельдями,— сказал он.— Noscitur a socio[1] — справедливая пословица. Нельзя, конечно, отрицать, что дама в нарядном платье учтивее своей спутницы, но, ей-богу, обе они не многого стоят. Две птички из Бата, ручаюсь вам; порядочные люди не путешествуют ночью верхом, да еще без слуг.

— Ей-ей, правда,— подхватила хозяйка,— вы попали прямо в точку. Благородные господа, останавливаясь в гостинице, всегда заказывают ужин, будут они кушать или нет.

Во время этого разговора в кухню вошла миссис Гонора; исполняя поручение Софьи, она велела хозяйке тотчас разбудить мистера Джонса и сказать ему, что с ним желает поговорить дама. Хозяйка направила ее к Партриджу, заметив, что он друг сквайра, а сама она никогда не заходит к мужчинам, в особенности к джентльменам, и с недовольным видом вышла из кухни. Гонора обратилась к Партриджу, но тот отказался исполнить просьбу, «потому что друг мой,— сказал он,— лег очень поздно и будет крайне недоволен, если его потревожат так рано». Миссис Гонора все же

[1] (Человека) узнаешь по его товарищам *(лат.)*.

упрашивала разбудить его, уверяя, что он не только не будет недоволен, а, напротив, страшно обрадуется, когда узнает, зачем его будят.

— В другое время, может быть, и обрадовался бы,— ответил Партридж,— но non omnia possumus omnes[1]. Для рассудительного человека довольно и одной женщины зараз.

— Что вы разумеете под одной женщиной, приятель? — воскликнула Гонора.

— Я вам не приятель,— оборвал ее Партридж и без обиняков сообщил, что Джонс спит с женщиной, употребив при этом выражение, неудобное для печати. Оно так взбесило миссис Гонору, что горничная выругала Партриджа наглецом и стремглав побежала докладывать госпоже своей об успехе данного ей поручения и о добытых сведениях; вдобавок она их еще преувеличила, обозлившись на Джонса, словно он сам произнес слова, вырвавшиеся из уст Партриджа; она окатила юношу потоком ругательств и советовала госпоже своей не думать больше о человеке, который никогда не был ее достоин; потом припомнила историю с Молли Сигрим и изобразила в самом дурном свете его бегство от Софьи, чему, надо признаться, немало благоприятствовала сложившаяся теперь обстановка.

Софья была настолько огорчена, что и не думала останавливать поток речей своей горничной. Но наконец она прервала ее, сказав:

— Никогда я этому не поверю: его оклеветал какой-нибудь негодяй. Ты говоришь, что узнала об этом от его друга; но какой же друг станет выдавать такие вещи!

— Я думаю,— отвечала Гонора,— что этот молодчик его сводник: отроду не видала более гнусной рожи. Впрочем, такие беспутные повесы, как мистер Джонс, нисколько не стыдятся подобных вещей.

Правду сказать, поведение Партриджа было несколько непростительно, но он еще не проспался как следует после выпитой им вчера дозы, к которой поутру прибавилось свыше пинты вина, или, вернее, солодового спирта, потому что грушевка была далеко не безупречной чистоты. А надо сказать, что та часть головы его, которую природа назначила вместилищем для напитков, была очень неглубока, и даже небольшое количество жидкости переливалось через ее края и прорывало шлюзы сердца, так что все заключенные в нем тайны вытекали наружу. Да и вообще шлюзы эти были у него очень ненадежны. Представляя характер его в наивыгоднейшем свете, скажем, что Партридж был отменно чест-

[1] Не всякому все доступно *(лат.)*.

ный человек, ибо, отличаясь крайней любознательностью и вечно суя нос в тайны других, он добросовестно им отплачивал, сообщая, в свою очередь, все, что знал сам.

Между тем как Софья, терзаемая тоской, не знала, чему верить и на что решиться, вошла Сусанна с заказанным сак-веем. Миссис Гонора тотчас же шепотом посоветовала своей госпоже порасспросить служанку, которая, вероятно, может сообщить ей правду. Софья одобрила эту мысль.

— Подите сюда, милая,— обратилась она к Сусанне,— ответьте чистосердечно на все, о чем я вас спрошу, и я обещаю вам, что вы получите хорошее вознаграждение. Нет ли сейчас в гостинице молодого джентльмена, красивого молодого джентльмена, который...

Тут Софья покраснела и смешалась.

— Молодого джентльмена, который прибыл сюда в обществе дерзкого грубияна, сидящего в кухне,— подхватила Гонора.

— Да, он здесь,— отвечала Сусанна.

— А не знаете ли вы чего о даме...— продолжала Софья,— о даме... Я не спрашиваю вас, хороша ли она или не хороша; может быть, и нехороша, дело не в этом, только не знаете ли вы чего о даме?

— Ах, сударыня, — вмешалась Гонора,— плохой же вы следователь. Послушай-ка, голубушка, что этот молодой джентльмен сейчас в постели с какой-нибудь девкой или нет?

Сусанна улыбнулась и ничего не ответила.

— Отвечайте же, голубушка,— обратилась к ней Софья,— вот вам гинея.

— Гинея. А что мне в гинее, сударыня,— отвечала Сусанна.— Если хозяйка проведает об этом, так я сию минуту место потеряю.

— Вот вам еще гинея,— сказала Софья,— и я даю вам слово, что хозяйка ничего не узнает.

Сусанна минуту поколебалась, потом взяла деньги и рассказала все, что ей было известно.

— Если вы так любопытствуете, сударыня,— проговорила она в заключение,— я могу тихонько пробраться в его комнату и посмотреть, лежит ли он у себя в постели или нет.

Получив согласие Софьи, она отправилась на разведки и вернулась с отрицательным ответом.

Софья вся затрепетала и побледнела. Миссис Гонора умоляла ее успокоиться и не думать больше о таком недостойном человеке.

— Простите, сударыня,— сказала Сусанна,— надеюсь, вопрос мой не оскорбит вашу милость; не будете ли вы, ваша милость, мисс Софья Вестерн?

— Откуда вы можете знать меня? — удивилась Софья.

— Да вот мужчина на кухне, о котором говорила эта дама, вечером рассказывал про вас. Но я надеюсь, сударыня, вы на меня не сердитесь?

— Право, голубушка, не сержусь,— отвечала Софья,— только, пожалуйста, расскажите мне все, а я в долгу не останусь.

— Так вот, сударыня,— продолжала Сусанна,— этот мужчина рассказывал всем нам на кухне, что мисс Софья Вестерн... уж, право, не знаю, как и выговорить...

Тут она замолчала, но, поощренная Софьей и настойчиво понуждаемая миссис Гонорой, продолжала:

— Он рассказывал нам, сударыня,— хотя, понятно, все это ложь,— будто ваша милость умирает от любви к молодому сквайру и что сквайр идет на войну, чтобы отделаться от вас. Слушая его, я подумала: какой обманщик! Покинуть такую нарядную, богатую, красивую даму, как вы, из-за самой простой женщины,— ведь она самая простая женщина, да еще вдобавок чужая жена,— ей-богу, это странно, ну прямо неестественно.

Софья дала Сусанне третью гинею и, сказав, что она может положиться на ее дружбу, если не будет болтать о случившемся и никому не сообщит ее имени, поручила ей приказать форейтору немедленно седлать лошадей.

Оставшись наедине с Гонорой, Софья объявила верной своей горничной, что никогда еще не чувствовала себя такой спокойной, как сейчас.

— Теперь я убедилась,— сказала она,— что он не только негодяй, но и низкое, презренное существо. Я готова простить ему все, только не это бесцеремонное разглашение моего имени. Теперь я потеряла к нему всякое уважение. Да, Гонора, теперь я спокойна, совсем, совсем спокойна...

И слезы хлынули из глаз ее неудержимым потоком.

Через несколько минут, которые проведены были Софьей преимущественно в слезах и обращенных к горничной уверениях в совершенном спокойствии, Сусанна возвратилась с докладом, что лошади готовы; как вдруг нашу юную героиню осенила весьма необыкновенная мысль: она пожелала подать мистеру Джонсу такую весть о своем пребывании в гостинице, которая явилась бы для него хоть некоторым наказанием за его провинности, если в нем оставалась еще искра любви к ней.

Читатель благоволит вспомнить о маленькой муфте, которая удостоилась чести быть уже неоднократно упомянутой в настоящей истории. Муфта эта со времени отъезда мистера Джонса была постоянной спутницей Софьи днем и разделяла с ней постель ночью; в эту самую минуту муфта была у нее на руке, откуда

Софья сорвала ее с крайним негодованием и, написав на клочке бумаги свое имя, приколола его к ней булавкой и уговорила Сусанну снести муфту в таком виде на пустую постель мистера Джонса, а если бы он ее не заметил, то постараться положить таким образом, чтобы она непременно попалась ему утром на глаза.

Потом, заплатив за съеденное миссис Гонорой по счету, в который включено было и то, что могла бы съесть она сама, Софья села на лошадь и, снова уверив горничную в совершенном своем спокойствии, продолжала путь.

## ГЛАВА VI,

*описывающая наряду с прочим сметливость Партриджа, исступление Джонса и глупость Фитцпатрика*

Был уже шестой час утра и начали вставать и появляться на кухне другие постояльцы, в том числе сержант и кучер; окончательно примирившиеся, они совершили возлияние, или, выражаясь проще, выпили вместе добрую толику.

При этом возлиянии самым замечательным было поведение Партриджа, который, когда сержант предложил тост за здоровье короля Георга, повторил только слово «короля»; большего от него нельзя было добиться, ибо, хотя он шел сражаться против стороны, которой сочувствовал, однако невозможно было заставить его пить за успех дела, которому он не сочувствовал.

Мистер Джонс, вернувшийся тем временем в свою постель (откуда он вернулся, мы просим разрешения не рассказывать), отвлек Партриджа от этого приятного общества. Получив позволение подать свой совет, учитель после торжественного предисловия высказался следующим образом:

— Существует, сэр, старинная и справедливая пословица, что мудрецу случается иногда поучиться у дурака. Поэтому беру на себя смелость посоветовать вам вернуться домой и предоставить эти horrida bella [1], эти кровопролитные войны людям, которые вынуждены глотать порох за неимением другой еды. Ведь всякому известно, что ваша милость дома ни в чем не нуждается; зачем же в таком случае странствовать по свету?

— Партридж,— сказал Джонс,— ты попросту трус, а потому ступай-ка, братец, домой и больше меня не тревожь.

— Прошу прощения у вашей милости,— взмолился Партридж,— я говорил, имея в виду больше вас, чем себя; что касается

[1] Ужасные войны *(лат.)*.

меня, то богу известно, как незавидны мои обстоятельства, и я настолько далек от страха, что пистолет, мушкет и всякие такие вещи для меня не больше, чем детский пугач. Каждому из нас суждено когда-нибудь умереть, так не все ли равно, как это случится. Кроме того, я, может быть, и цел останусь, поплатившись только рукой или ногой. Уверяю вас, сэр, никогда в жизни я не испытывал так мало страха; поэтому, если ваша милость решили продолжать путь, то я решил за вами следовать. Но в таком случае позвольте вам высказать мое мнение. Право, для такого большого барина, как вы, совершенно неприлично путешествовать пешком. Здесь в конюшне стоят два или три хороших коня, и хозяин, конечно, со спокойной совестью вам их поверит; но ежели бы у него возникли какие-нибудь сомнения, то я легко найду способ завладеть лошадьми; и допустим даже, дело примет самый худой оборот,— все равно он простит вас, раз вы идете за него сражаться.

Честность Партриджа, можно сказать, равнялась его сметливости — и то и другое сказывалось только в мелочах,— и он никогда не покусился бы на такого рода проделку, если бы не воображал ее совершенно безопасной, ибо был он из числа тех, которые больше считаются с виселицей, чем с пристойностью поступка; а ему казалось, что кражу эту он может совершить без всякого риска: во-первых, он не сомневался, что имени мистера Олверти будет достаточно, чтобы успокоить хозяина, а кроме того, полагал, что они не подвергнутся неприятностям, как бы ни обернулись дела; ведь у Джонса, думал он, найдется довольно друзей на одной стороне, а на другой он, Партридж, встретит защиту у своих друзей.

Убедившись, что Партридж делает это предложение серьезно, мистер Джонс его выбранил, и притом в таких резких выражениях, что брадобрей попытался обратить все в шутку и поспешно перевел разговор на другую тему, заметив, что они попали, видно, в какой-то вертеп и что ему стоило немалого труда помешать двум девкам потревожить его милость среди ночи.

— Эге,— воскликнул он,— да они, никак, все же у вас побывали. Вон на полу муфта одной из них.

Надо сказать, что, вернувшись к себе впотьмах, Джонс не заметил муфту на одеяле и, ложась в постель, скинул ее на пол. Партридж поднял ее и собирался уже положить в карман, но Джонс пожелал ее посмотреть. Муфта была настолько примечательна, что герой наш, наверно, припомнил бы ее и без приложенного объяснения. Но ему не пришлось напрягать память, потому что с первого же взгляда он заметил приколотую бумажку и прочел на ней: «Софья Вестерн». Мгновенно глаза его помутились, и он вне себя воскликнул:

— Боже мой! Каким образом попала сюда эта муфта?

— Мне это известно не больше, чем вашей милости,— отвечал Партридж,— но я видел ее на руке одной из женщин, которые вас потревожили бы, если бы я им не помешал.

— Где же они? — вскричал Джонс, соскочив с постели и хватая одежду.

— Да, пожалуй, сейчас уже за много миль отсюда,— отвечал Партридж.

После дальнейших расспросов Джонс окончательно убедился, что владелицей муфты была не кто иная, как сама любезная Софья.

Поведение Джонса в эту минуту — мысли его, его вид, его слова, его движения — не поддается никакому описанию. Осыпав Партриджа градом горьких упреков и изругав порядком самого себя, он велел бедняге, совсем растерявшемуся от страха, бежать вниз и во что бы то ни стало нанять лошадей; через несколько минут, кое-как одевшись, он и сам поспешно спустился вниз выполнять только что отданное им распоряжение.

Но, прежде чем рассказывать, что произошло в кухне при появлении Джонса, мы вернемся назад и опишем, что случилось в ней после того, как Партридж покинул ее, вызванный своим господином.

Только что сержант удалился со своим отрядом, как встали и спустились вниз два ирландских джентльмена, жалуясь на беспрерывный шум в гостинице, который всю ночь не давал им сомкнуть глаз.

Карета, которая привезла молодую даму и ее служанку и которую читатель, может быть, принимал до сих пор за ее собственную, на самом деле возвращалась к хозяину и принадлежала мистеру Кингу из Бата, одному из почтеннейших и честнейших содержателей наемных лошадей, кареты которого мы искренне рекомендуем всем нашим читателям, если им случится ехать по этой дороге. Таким образом, они, может быть, будут иметь удовольствие сидеть в той же повозке и с тем же кучером, которые упомянуты в нашей истории.

Кучер, у которого было только два пассажира, прослышав, что мистер Маклаклан едет в Бат, предложил отвезти его туда за самую умеренную плату. Мысль эта внушена ему была сообщением конюха, что лошадь, нанятая мистером Маклакланом в Ворчестере, с большим удовольствием прервала бы свое длинное путешествие и вернулась к своим тамошним приятелям, потому что, по словам конюха, названное животное было скорее о двух, чем о четырех ногах.

Мистер Маклаклан немедленно принял предложение кучера и в то же самое время уговорил друга своего Фитцпатрика занять четвертое место в карете. Кости последнего настолько болели, что этот способ передвижения показался ему приятнее, чем путешествие верхом; а так как он нимало не сомневался в предстоящей встрече в Бате с женой, то рассудил, что маленькая задержка в пути не будет иметь никакого значения.

Маклаклан, который был гораздо проницательнее своего приятеля, узнав, что дама едет из Честера, и сопоставив кое-какие другие подробности, выведанные им у конюха, заподозрил, что это, пожалуй, и есть жена его приятеля. О своем подозрении он тотчас же сообщил Фитцпатрику, которому такая мысль не приходила в голову. Правду сказать, он был из тех людей, которых природа фабрикует чересчур поспешно, так что второпях забывает вложить им в голову мозги.

Люди эти похожи на плохих охотничьих собак, которые сами никогда не заметят, что потеряли след, но стоит только чуткому псу открыть пасть, как они немедленно следуют его примеру и, нисколько не руководясь чутьем, бегут что есть мочи прямехонько вперед. Так и мистер Фитцпатрик: не успел мистер Маклаклан высказать свое предположение, как он мгновенно с ним согласился и помчался прямо наверх, с целью застигнуть врасплох свою жену, не разузнав предварительно, где она находится, но, к несчастью (Фортуна любит играть скверные шутки с теми господами, которые всецело полагаются на ее руководство), ткнулся лбом в несколько дверей и дверных косяков без всякого результата. Более милостива богиня эта была ко мне, подсказав только что примененное сравнение с охотничьими собаками, тем более уместное, что бедную женщину в таких случаях можно справедливо сравнить с затравленным зайцем. Подобно этому маленькому жалкому зверьку, она настороженно прислушивается к голосу своего преследователя; подобно ему, в трепете убегает, заслышав страшный голос; и, подобно ему, под конец обыкновенно настигается и умерщвляется.

В данном случае этого, однако, не случилось, ибо после долгих и бесплодных поисков мистер Фитцпатрик вернулся в кухню, куда в это время, точно и впрямь дело было на охоте, входил новый приезжий с улюлюканьем, каким поощряют собак, когда они потеряли след. Он только что соскочил с лошади и был окружен многочисленной свитой.

Здесь, читатель, может быть, необходимо познакомить тебя с некоторыми событиями; если они тебе уже известны — значит, ты умнее, чем я предполагал. Осведомление это ты получишь в следующей главе.

## ГЛАВА VII,

*в которой доводится до конца изложение приключений в эптонской гостинице*

Скажем прежде всего, что этот только что прибывший джентльмен был не кто иной, как сам сквайр Вестерн, который явился сюда в погоне за дочерью; и поспей он двумя часами раньше, то застал бы не только дочь, но и племянницу в придачу, ибо ею и была жена мистера Фитцпатрика, который пять лет тому назад похитил ее из-под надзора премудрой леди Вестерн.

Супруга мистера Фитцпатрика уехала из гостиницы в одно время с Софьей: разбуженная голосом мужа, она велела позвать хозяйку и, узнав, в чем дело, упросила ее за неслыханную цену достать лошадей. Так могущественны были деньги в этом заведении, что хотя хозяйка выгнала бы вон свою служанку, обозвав ее продажной тварью, если бы знала столько, сколько знает читатель, однако сама оказалась не более стойкой против подкупа, чем бедная Сусанна.

Мистер Вестерн не знал своего племянника, да если бы и знал, то не обратил бы на него ни малейшего внимания, так как брак этот был тайным, а следовательно, по мнению почтенного сквайра, противоестественным, и с момента его совершения он отвернулся от бедной женщины, которой было тогда не более восемнадцати лет; он смотрел на нее с тех пор как на чудовище и запретил произносить ее имя в своем присутствии.

В кухне царило всеобщее смятение: Вестерн возбужденно расспрашивал о своей дочери, а Фитцпатрик о своей жене, когда туда вошел Джонс с злополучной муфтой в руке.

Едва только Вестерн увидел Джонса, как тотчас же огласил комнату тем звучным возгласом, какой издают охотники, завидя дичь. Подбежав к нему и схватив его за руку, он закричал:

— Лис попался,— об заклад бьюсь, что и лисичка недалеко!

Беспорядочную беседу, продолжавшуюся после этого в течение нескольких минут, было бы трудно передать, потому что все говорили разом, и притом каждый свое, да она бы и не доставила читателю никакого удовольствия.

Высвободившись наконец от мистера Вестерна с помощью находившихся в комнате людей, герой наш торжественно объявил, что решительно ничего не знает о даме, которую разыскивают. Но тут выступил священник Сапл и сказал:

— Нелепо отпираться: ведь доказательство преступления у тебя в руках. Я утверждаю и готов подкрепить слова свои клят-

вой, что муфта, которую ты держишь, принадлежит мисс Софье; последние дни я часто видел ее с этой муфтой.

— Муфта моей дочери! — в бешенстве закричал сквайр.— У него муфта моей дочери! Будьте свидетелями, что он пойман с поличным! Сию минуту я веду его к мировому судье. Где дочь моя, мерзавец?

— Прошу вас успокоиться, сэр,— отвечал Джонс.— Муфта, я признаю, принадлежит вашей дочери, но, клянусь честью, вашу дочь я не видел.

При этих словах Вестерн потерял всякое терпение и от бешенства лишился членораздельной речи.

Кто-то из слуг сказал Фитцпатрику, что это мистер Вестерн. Тогда почтенный ирландец, вообразив, что ему представляется отличный случай оказать своему дяде услугу и тем, может быть, снискать его благосклонность, подошел к Джонсу и воскликнул:

— Право, сэр, постыдились бы вы отрицать на моих глазах, что видели дочь этого джентльмена: ведь вы же знаете, что я застал вас вместе с ней в постели.

Затем, обратясь к Вестерну, он предложил немедленно отвести его в ту комнату, где остановилась его дочь; предложение было принято, и Фитцпатрик, сквайр и священник, вместе с некоторыми другими, направились прямо в комнату миссис Вотерс, куда и ввалились с не меньшим шумом, чем сам мистер Фитцпатрик незадолго до этого.

Бедная женщина пробудилась от сна в изумлении и ужасе и увидела у своей постели рожу, владельца которой с полным основанием могла принять за выходца из Бедлама: так дико перекосилось от гнева лицо мистера Вестерна! Но, рассмотрев даму, сквайр отшатнулся, ясно показав жестами, прежде даже, чем успел раскрыть рот, что это не та, которую он ищет.

Женщины ценят свое доброе имя гораздо выше самой жизни, так что хотя последняя, по-видимому, подвергалась теперь большей опасности, чем незадолго до этого, однако миссис Вотерс, увидев, что за честь свою она может быть спокойна, завизжала далеко не так пронзительно, как в прошлый раз. Тем не менее, оставшись одна, она оставила всякую мысль о продолжении сна и, имея достаточно оснований быть недовольной своим помещением, принялась поспешно одеваться.

Тем временем мистер Вестерн продолжал обшаривать дом, но с таким же малым успехом, как и при вторжении к бедной миссис Вотерс. Разочарованный, вернулся он в кухню, где слуги его стерегли Джонса.

Эта неистовая кутерьма подняла на ноги всех постояльцев гостиницы, хотя еще едва светало. В числе разбуженных был

один степенный джентльмен, имевший честь состоять мировым судьей Ворчестерского графства. Как только мистер Вестерн об этом узнал, так тотчас обратился к нему с жалобой. Судья отказался от исполнения своей обязанности, заявив, что с ним нет ни письмоводителя, ни книги законов и что он не может держать в голове все постановления касательно похищения дочерей и тому подобного.

Тогда мистер Фитцпатрик выступил с предложением своих услуг, объявив присутствующим, что он получил юридическое образование. (Действительно, Фитцпатрик три года был писцом у одного стряпчего в Северной Ирландии, после чего, предпочтя более благородное поприще, покинул своего патрона, переправился в Англию и занялся профессией, не требующей никакой выучки, а именно: профессией джентльмена, в которой и преуспел, как было уже отчасти рассказано.)

Мистер Фитцпатрик объявил, что закон касательно дочерей к данному случаю не относится: что кража муфты есть, несомненно, тяжкое преступление и что нахождение предмета у обвиняемого служит вполне достаточной уликой.

Судья, ободренный столь ученым помощником и неотступными просьбами сквайра, согласился наконец воссесть на карульное кресло, после чего, обозрев муфту, которую Джонс еще держал в руках, и выслушав клятвенное утверждение священника, что это собственность мистера Вестерна, предложил мистеру Фитцпатрику написать приказ об аресте, заявив, что подпишет его.

Тогда Джонс попросил слова и в конце концов, хоть и не без труда, получил его. Он привлек в качестве свидетеля мистера Партриджа, показавшего, что муфта им найдена; но еще важнее были показания Сусанны, которая объявила, что Софья сама дала ей муфту и велела отнести ее в комнату мистера Джонса, где он и нашел ее.

Природная ли любовь к справедливости или необыкновенно привлекательная наружность Джонса побудили Сусанну открыть истину — не берусь решить, только следствием ее показания было то, что судья, откинувшись на спинку кресла, объявил, что все говорит теперь так же очевидно в пользу подсудимого, как раньше говорило против него, с чем согласился и священник, сказав: «Да сохранит меня господь быть орудием заточения невинного в темницу». После этого судья встал, вынес подсудимому оправдательный приговор и закрыл заседание.

Мистер Вестерн, крепко обругав всех присутствующих, велел немедленно подать лошадей и помчался в погоню за дочерью, не обратив ни малейшего внимания на своего племянника Фитцпатрика и не удостоив ответом его притязание на родство, несмотря

на все услуги, только что полученные от этого джентльмена. Мало того: Вестерн был так возбужден, что второпях позабыл, к счастью, потребовать у Джонса муфту,— к счастью, говорю я, потому что герой наш скорее умер бы на месте, чем расстался со своим сокровищем.

Джонс, расплатившись по счету, тоже отправился с другом Партриджем за своей милой Софьей, решив теперь не прекращать поисков, пока не найдет ее. Он не в силах был заставить себя даже проститься с миссис Вотерс; самая мысль о ней сделалась ему ненавистна, потому что дама эта, хоть и ненамеренно, помешала счастливейшему свиданию его с Софьей, которой он теперь клялся в вечной верности.

Что же касается миссис Вотерс, то она воспользовалась каретой, возвращавшейся в Бат, куда отправилась в обществе двух ирландских джентльменов, надев платье, любезно ссуженное ей хозяйкой, которая, в награду за одолжение, удовольствовалась самой малостью, а именно: взяла за него двойную цену. Дорогой бывшая спутница Джонса совершенно примирилась с мистером Фитцпатриком, мужчиной очень недурным собой, и приложила все старания, чтобы утешить его в разлуке с женой.

Так кончилось множество странных приключений, постигших мистера Джонса в эптонской гостинице, где до сих пор еще говорят о красоте и приветливом обращении милой Софьи и называют ее сомерсетширским ангелом.

## ГЛАВА VIII,

*в которой история возвращается вспять*

Прежде чем продолжать нашу историю, уместно будет оглянуться немного назад, с целью объяснить необыкновенное появление Софьи и отца ее в гостинице города Эптона.

Читатель благоволит вспомнить, что мы покинули Софью в девятой главе седьмой книги нашей истории, когда, после долгой борьбы между любовью и долгом, она, как это обыкновенно бывает, отдала предпочтение первой.

Борьба эта, как было там показано, возникла вследствие посещения отца, явившегося к дочери, чтобы добиться от нее согласия на брак с Блайфилом, каковое, по его твердому убеждению, она и дала, заявив, что не должна и не может ослушаться ни одного отцовского приказания.

После этого посещения сквайр приступил к своей вечерней попойке, вне себя от радости по случаю успеха у дочери; будучи в очень общительном расположении духа и желая, чтобы

и другие разделили его счастье, он распорядился не жалеть пива на кухне, так что к одиннадцати часам вечера в доме не было ни одного трезвого, за исключением миссис Вестерн и очаровательной Софьи.

Рано утром отправлен был гонец к мистеру Блайфилу с приглашением; сквайр, правда, считал этого джентльмена гораздо менее осведомленным, чем то было в действительности, относительно первоначального отвращения к нему дочери, однако, зная, что Блайфил не получил еще от нее согласия, нетерпеливо желал сообщить о нем жениху, вполне уверенный, что невеста подтвердит его собственными устами. Что же касается свадьбы, то еще накануне вечером мужчины порешили сыграть ее через день.

Завтрак подан был в гостиной, где находился мистер Блайфил, а также сквайр и сестра его; велено было позвать Софью.

О Шекспир, если бы владел я пером твоим! О Хогарт, если бы владел я твоей кистью! Я нарисовал бы тогда портрет несчастного слуги, который, с бледным лицом, с обезумевшим взором, щелкая зубами и трясясь всем телом,—

(Точь-в-точь таков, весь бледен, без дыханья,
С потухшим взором, удручен, гонец
Отдернул полог и средь ночи крикнуть
Хотел Приаму, что в огне пол-Трои),—

вошел в комнату и доложил... что мисс Софью не могут найти.

— Не могут найти! — загремел сквайр, срываясь с места.— Проклятие! К черту! Гром и молния! Где, когда, как, что такое? Не могут найти! Где?

— Полно, братец,— проговорила миссис Вестерн с истинно дипломатическим хладнокровием.— Вечно вы выходите из себя по пустякам. Племянница, я полагаю, вышла в сад погулять. Положительно, вы стали так безрассудны, что с вами невозможно жить в одном доме.

— Ах, вот что,— отвечал сквайр, успокоившись с такой же быстротой, с какой потерял самообладание. — Если все дело в этом, то беда невелика. Но, ей-богу, мне почудилось недоброе, когда этот болван сказал, что ее не могут найти.— И он, с облегчением усевшись в кресло, приказал позвонить в садовый колокол.

Нельзя представить себе двух человек, столь диаметрально противоположных друг другу во всех отношениях, как мистер Вестерн и сестра его: если брат не отличался дальновидностью, но был необыкновенно проницателен насчет того, что случилось у него под носом, то сестра вечно заглядывала вперед, хотя далеко не могла похвастаться прозорливостью по части вещей, происходивших на ее глазах. Примеры того и другого читатель

наблюдал уже не раз; и действительно, противоположные дарования этой парочки были исключительны: если сестра часто предвидела такое, чего потом никогда не случалось, то брат сплошь и рядом видел гораздо больше, чем было на самом деле.

В данном случае, однако, он не ошибся. Из сада, как раньше из спальни, пришли с донесением, что мисс Софью не могут найти.

Сквайр сам выбежал из дому и принялся звать Софью таким же зычным и раскатистым голосом, каким некогда Геракл звал Гиласа; и подобно тому, как прибрежное эхо, по словам поэта, повторяло имя прекрасного юноши,— так дом, сад и все окрестные поля огласились именем Софьи, выкликаемые грубым басом мужчин и пронзительным фальцетом женщин, причем эхо с таким удовольствием повторяло сладостный звук, что если действительно есть такое существо, то уж не обманул ли нас Овидий насчет его пола.

Долгое время царила неразбериха. Наконец сквайр, порядком истощив свои легкие, вернулся в гостиную, где нашел миссис Вестерн и мистера Блайфила; с выражением крайнего уныния на лице сквайр бросился в кресло.

Тогда миссис Вестерн обратилась к нему со следующим утешением:

— Братец, я очень огорчена случившимся и поведением моей племянницы, совершенно неприличным для нашей семьи; но все это ваших рук дело, и вы должны пенять только на себя. Вы знаете, что все ее воспитание шло вразрез с моими советами, и теперь видите последствия. Не доказывала ли я вам тысячу раз, что вы даете племяннице слишком много воли! Но мне, вы знаете, так и не удалось убедить вас; а когда я положила столько трудов на то, чтобы с корнем вырвать ее своенравные понятия и исправить ошибочную вашу политику, вы знаете, ее от меня отняли,— так что я не несу никакой ответственности. Если бы заботы о ее воспитании были всецело доверены мне, то происшествие, подобное сегодняшнему, никогда бы не случилось; таким образом, вы должны утешаться мыслью, что все это ваших рук дело. В самом деле, чего же можно было ожидать от такого потворства...

— Тьфу, пропасть! — не выдержал сквайр.— Вы хоть кого взбесите, сестра. Я ей потворствовал... Я давал ей волю... Не дальше как вчера вечером я пригрозил, что запру ее в комнате и посажу на хлеб и воду, если она не послушается. Вы способны вывести из терпения самого Иова.

— Слыхано ли что-нибудь подобное! — возмутилась миссис Вестерн.— Братец, не будь у меня терпения пятидесяти Иовов, вы заставили бы меня забыть всякие приличие и пристойность. Зачем вы вздумали вмешиваться? Не просила ли я вас, не умоляла ли предоставить все это дело мне? Одним вашим неудачным

маневром вы разрушили все мои стратегические операции. Какой человек в здравом уме стал бы раздражать дочь подобными угрозами? Сколько раз говорила я вам, что с английскими женщинами нельзя обращаться так, как с рабынями-черкешенками. Мы находимся под покровительством света; нас можно покорить только деликатностью, а грубостью, застращиваньем и побоями от нас послушания не добьешься. Салический закон у нас, слава богу, не имеет силы. Грубость вашего обращения, братец, не перенесет ни одна женщина, кроме меня. Я ничуть не удивлена, что племянница решилась на этот шаг вследствие ваших угроз и запугиванья; и, сказать по совести, думаю, что свет не осудит ее за этот поступок. Еще раз повторяю вам, братец: вы должны утешаться мыслью, что сами виноваты во всем. Сколько раз я вам советовала...

Тут Вестерн шумно сорвался с места и, пустив два или три страшных проклятия, выбежал из комнаты.

После его ухода миссис Вестерн выразила свое раздражение еще более резко (если это возможно), чем в его присутствии; в свидетели правоты своей она призвала мистера Блайфила, который с большой предупредительностью совершенно согласился с ней, однако извинил недостатки мистера Вестерна, «потому что,— сказал он,— на них надо смотреть как на следствие неумеренной отцовской любви, которую позволительно назвать милой слабостью».

— Тем более они непростительны,— возразила миссис Вестерн.— Ведь он губит своей любовью родную дочь!

С чем Блайфил немедленно согласился.

После этого миссис Вестерн выразила мистеру Блайфилу свое крайнее сожаление по поводу приема, оказанного ему семейством, которому он намеревался сделать такую честь. По этому поводу она подвергла суровому осуждению безрассудство племянницы, но в заключение возложила всю вину на отца, который, по ее словам, заслуживал особенного порицания за то, что зашел так далеко, не удостоверившись как следует насчет истинных чувств дочери.

— Впрочем,— сказала она,— он всегда отличался буйным и своевольным характером, и я с трудом могу простить себе, что потеряла столько времени, пытаясь его урезонить.

После длинной беседы в таком же роде, подробный пересказ которой вряд ли особенно занял бы читателя, мистер Блайфил откланялся и вернулся домой, не слишком довольный постигшей его неудачей; впрочем, философия, перенятая им от Сквейра, и религиозные убеждения, насажденные в него Твакомом, наряду с кой-чем еще, помогли ему перенести эти неприятности несколько легче, чем их перенес бы более пылкий влюбленный.

## ГЛАВА IX

*Бегство Софьи*

Пора теперь вернуться к Софье; если читатель любит ее хоть наполовину столько, сколько я, то он порадуется ее освобождению из лап пылкого папаши и чересчур холодного поклонника.

Двенадцать раз ударил железный счетчик времени по звучному металлу, вызывая привидения из могил и приглашая их начать ночной обход... Говоря попросту, пробило полночь, и все в доме, как мы сказали, погружены были в опьянение и в сон, исключая только миссис Вестерн, углубившейся в чтение политической брошюры, да нашей героини, которая беззвучно спустилась по лестнице, отомкнула одну из наружных дверей и поспешно устремилась к условленному месту.

Невзирая на множество милых уловок, применяемых иногда дамами, чтобы выказать страх свой по каждому пустячному поводу (уловок столь же разнообразных, как и те, к которым прибегает другой пол, чтобы всячески страх этот скрыть), в женщине, несомненно, есть то мужество, которое ей не только прилично, но часто и необходимо иметь для исполнения своих обязанностей. В самом деле, мысль о жестокости, а не о храбрости — вот единственно, что противоречит представлению о женском характере. Можно ли читать историю справедливо прославленной Аррии, не составив себе высокого понятия как о ее кротости и нежности, так и о мужестве? В то же время многие женщины, которые визжат при виде мыши или крысы, способны, может быть, отравить мужа или, что еще хуже, довести его до того, что он сам отравится.

При всей кротости, свойственной женщине, Софья обладала также отвагой, подобающей прекрасному полу. Поэтому, придя в назначенное место и увидя вместо своей горничной, как было условлено, незнакомого мужчину верхом, направившегося прямо к ней, она не завизжала и не упала в обморок; правда, пульс ее забился учащеннее, чем обыкновенно, потому что первыми ее чувствами были удивление и испуг, но они рассеялись почти так же быстро, как появились, когда мужчина, сняв шляпу, спросил ее очень почтительно: «Не рассчитывала ли ее милость встретить здесь другую даму?» — и сообщил, что ему поручено проводить ее к этой даме.

У Софьи не было оснований заподозрить здесь какой-нибудь подвох, она поэтому без колебаний села позади всадника, и тот благополучно достазил ее в город, расположенный милях в пяти, где героиня наша с удовольствием нашла почтенную миссис Гонору. Так как самая душа горничной облекалась в те самые одежды, в которые она облекала свое тело, то Гонора ни за что не могла решиться выпустить их из поля своего зрения; поэтому

она осталась стеречь их самолично, а за госпожой отрядила упомянутого выше мужчину, снабдив его необходимыми указаниями.

Госпожа и служанка принялись теперь совещаться, какую им избрать дорогу, чтобы не попасть в руки мистера Вестерна, будучи уверены, что через несколько часов он пошлет за ними погоню. Лондонская дорога настолько прельщала Гонору, что она непременно желала отправиться прямо по ней; ведь отсутствие Софьи, говорила она, не может быть обнаружено раньше восьми или девяти часов утра, и, значит, преследователи не догонят ее, хотя бы даже знали, по какой дороге она поехала. Но Софья ставила на карту слишком много, чтобы отважиться на малейший риск; она не смела также слишком полагаться на свое нежное сложение в состязании, исход которого всецело зависел от быстроты,— поэтому она решила проехать, по крайней мере, двадцать или тридцать миль проселком и только тогда свернуть на большую лондонскую дорогу. Она наняла лошадей, уговорившись сделать двадцать миль по одному направлению, но собираясь на самом деле ехать по-другому, и отправилась в путь с тем же самым проводником, на лошади которого приехала из отцовского дома; только теперь за спиной проводника помещалась вместо Софьи поклажа более тяжелая и гораздо менее приятная, а именно: громоздкий сундук, доверху набитый нарядами, с помощью которых прекрасная Гонора надеялась одержать множество побед и в заключение создать себе положение в Лондоне.

Не отъехали они и двухсот шагов от гостиницы по лондонской дороге, как Софья приблизилась к проводнику и голосом, более медовым, чем был голос самого Платона, хотя уста его были, говорят, пчелиным ульем, попросила парня на первом же перекрестке повернуть на Бристоль.

Читатель, я не суеверен и не слишком верю в нынешние чудеса. Я отнюдь не выдаю следующего происшествия за достоверную истину, потому что мне самому оно кажется почти невероятным, но добросовестность историка обязывает меня передать то, что утверждают очевидцы. Итак, лошадь, на которой ехал проводник, была, говорят, так очарована голосом Софьи, что остановилась как вкопанная и не изъявляла желания двигаться дальше.

Впрочем, происшествие это, может быть, действительно случилось, но чудесного в нем меньше, чем рассказывают, потому что оно может быть объяснено самым естественным образом: так как проводник ослабил в ту минуту нажим своего ошпоренного правого каблука (а он, подобно Гудибрасу, носил одну только шпору), то более чем вероятно, что упущение это само по себе могло побудить коня остановиться, тем более что последнее вообще случалось с ним довольно часто.

Но если голос Софьи и впрямь произвел действие на лошадь, то всадник остался к нему довольно бесчувственным: он грубовато отвечал, что хозяин приказал ему ехать другой дорогой и что он потеряет место, если поедет не туда, куда ему приказано.

Видя, что все ее уговоры напрасны, Софья придала своему голосу неотразимые чары — чары, которые, согласно пословице, старую кобылу с места снимают и в рысь поднимают и которым в наше время приписывают такую же неотразимую силу, какую древние приписывали ораторскому красноречию. Короче говоря, она обещала наградить его свыше всяких ожиданий.

Парень остался не вовсе глух к этим посулам, но ему не нравилась их неопределенность; правда, слова этого он, может быть, отродясь не слыхивал, однако именно оно выражало его чувства. Он сказал, что господа не входят в положение бедных людей и что намедни его чуть было не прогнали за то, что он свез проселком одного джентльмена от сквайра Олверти и тот не наградил его, как следовало.

— Какого джентльмена? — возбужденно проговорила Софья.

— Джентльмена от сквайра Олверти,— повторил парень,— сын сквайра, так, кажись, называют его.

— Куда? По какой дороге он поехал? — продолжала расспрашивать Софья.

— Да в сторону Бристоля, миль за двадцать отсюда,— отвечал парень.

— Вези меня в это место,— сказала Софья,— и я дам тебе гинею, и даже две, если одной будет мало.

— Да уж, по совести, двух стоит,— сказал парень.— Ведь посудите, ваша милость, какой опасности я подвергаюсь. Однако ж если ваша милость обещает мне две гинеи — так куда ни шло. Оно, конечно, не годится хозяйских лошадей гонять; одно утешение, если мне откажут от места: две гинеи будут.

Сделка была заключена, парень повернул на бристольскую дорогу, и Софья пустилась в погоню за Джонсом, не обращая внимания на протесты миссис Гоноры, которой гораздо больше хотелось видеть Лондон, чем мистера Джонса. Надо сказать, что в разговорах с госпожой она недружелюбно отзывалась о Джонсе, потому что он был виновен в несоблюдении некоторой денежной учтивости, каковая, по обычаю, полагается камеристкам во всех любовных делах, особливо же в секретных. Объясняем мы это скорее его беззаботностью, чем недостатком щедрости; но Гонора, возможно, держалась другого мнения. Во всяком случае, она его за это жестоко возненавидела и решила при каждом удобном случае пакостить ему перед своей госпожой. Ей было поэтому очень не по нутру ехать в тот самый город и в ту самую гостиницу, куда отправился Джонс;

и еще больше не по нутру — натолкнуться на того же самого проводника, который вдобавок еще сделал Софье нечаянное открытие.

Путники наши на рассвете прибыли в Гамбрук[1], где Гонора получила очень ей нежелательное поручение: выведать, по какой дороге поехал Джонс. Об этом, правда, мог бы сообщить им проводник, но Софья, не знаю почему, его не спросила.

После того как миссис Гонора доложила сведения, полученные от трактирщика, Софья с большим трудом раздобыла плохоньких лошадей, которые доставили ее в ту гостиницу, где Джонс задержался скорее вследствие несчастной встречи с хирургом, чем вследствие контузии в голову.

Здесь Гонора, которой снова поручено было произвести разведки, обратилась к хозяйке и описала ей наружность мистера Джонса, а та, как женщина сметливая, сразу почуяла, чем дело пахнет. Поэтому, когда Софья вошла в комнату, хозяйка, вместо того чтобы отвечать служанке, обратилась прямо к госпоже со следующей речью:

— Господи, боже мой! Ну кто бы мог подумать! Прелестнейшая парочка, какую только глаза видели! Ей-ей, сударыня, нет ничего удивительного, что сквайр так увивается вокруг вашей милости. Он сказал мне, что вы прекраснейшая леди на свете, и, право же, не солгал. Дай бог ему добра, бедняжке. Уж как мне его жалко было, когда он обнимал подушку и называл ее своей милой мисс Софьей. Уж как я его увещевала не идти на войну, говорила, что довольно людей, которые только и годятся на то, чтобы их убили, и которых не любят такие красавицы.

— Должно быть, хозяюшка не в своем уме,— заметила Софья.

— И полно! — воскликнула хозяйка.— Какая я сумасшедшая! Ужели ваша милость думает, что я ничего не знаю? Уверяю вас, он мне все рассказал.

— Какой наглец посмел вам говорить о моей госпоже? — вмешалась Гонора.

— Ничуть не наглец,— возразила хозяйка,— а тот самый молодой джентльмен, о котором вы меня расспрашивали: такой красавец и любит Софью Вестерн всей душой.

— Любит мою госпожу! Так знайте же, любезная, что этот орешек ему не по зубам.

— Замолчи, Гонора,— перебила ее Софья,— не сердись на эту любезную женщину: она не думает обижать меня.

— Боже меня сохрани, и в мыслях у меня этого не было,— отвечала хозяйка, ободренная ласковым тоном Софьи, и пустилась затем в длинный рассказ, слишком скучный, чтобы его передавать

---

[1] Деревня, в которой Джонс встретил квакера.

здесь; некоторые места в нем были немного обидны для Софьи и глубоко возмутили ее горничную, так что, оставшись наедине с госпожой, Гонора воспользовалась этим случаем, чтобы очернить в глазах Софьи бедного Джонса, назвав его презреннейшим человеком, который не может любить леди, если треплет этак по кабакам ее имя.

Однако поведение Джонса не представилось Софье в таком невыгодном свете, и она была, пожалуй, скорее польщена бурными проявлениями его любви (которые хозяйка еще преувеличила, как и все прочие обстоятельства), чем оскорблена остальными подробностями; она приписала все несдержанности, или, вернее, исступлению страсти Джонса и его открытой душе.

Однако случай этот, впоследствии оживленный в ее памяти Гонорой и представленный в самых мрачных красках, немало способствовал тому, что Софья поверила несчастным происшествиям в Эптоне, сильно преувеличив их значение, и помог горничной в ее стараниях заставить свою госпожу уехать из этой гостиницы, не повидавшись с Джонсом.

Хозяйка, узнав, что Софья намерена только подождать, покуда будут готовы лошади, и что ей не надо ни еды, ни питья, скоро удалилась; тогда Гонора принялась журить госпожу свою (позволяя себе большие вольности) и произнесла длинную речь, в которой напомнила о ее намерении ехать в Лондон и сделала немало намеков насчет того, как неприлично девушке гоняться за молодым человеком, заключила она горячим увещанием:

— Ради бога, сударыня, подумайте, что вы собираетесь делать и куда направляетесь!

Такие слова, обращенные к даме, проехавшей уже около сорока миль верхом, притом в не слишком приятное время года, могут показаться довольно нелепыми. Позволительно предположить, что дама эта достаточно все взвесила и приняла твердое решение; мало того, миссис Гонора, судя по высказанным ею намекам, так и думала. Я не сомневаюсь, что мнение это разделяют и многие читатели, которые, я уверен, давно уже определили свою точку зрения насчет намерений нашей героини и бесповоротно ее осудили, как беспутную девицу.

Но в действительности дело обстояло иначе. С недавнего времени Софья металась между надеждой и страхом, между долгом и дочерней любовью, между ненавистью к Блайфилу и состраданием и (отчего не сказать правду?) любовью к Джонсу, разгоревшейся ярким пламенем благодаря поведению отца, тетки и других, в особенности же самого Джонса; так что мысли ее были в том смятенном состоянии, когда мы поистине не сознаем, что делаем и куда идем, или, вернее, глубоко равнодушны к последствиям наших поступков.

Осторожный и благоразумный совет горничной побудил ее, однако, рассуждать более трезво; в конце концов она решила ехать в Глостер, а оттуда направиться прямо в Лондон.

Но, к несчастью, в нескольких милях от этого города она встретилась с тем самым кляузником, который, как было рассказано выше, обедал там с мистером Джонсом. Субъект этот был хорошо знаком с миссис Гонорой и потому остановился и заговорил с ней; Софья почти не обратила на него внимания и только спросила, кто это.

Но по приезде в Глостер, получив от Гоноры более подробные сведения об этом человеке и узнав, с какой быстротой привык он путешествовать, чем (как выше было замечено), по преимуществу, и был известен, припомнив также, что миссис Гонора ему сообщила, что они едут в Глостер, Софья начала опасаться, как бы отец ее не напал с помощью этого человека на след ее, ведущий к этому городу. Ей показалось, что отец непременно ее догонит, если она из Глостера направится в Лондон, поэтому она переменила свое решение и, наняв лошадей на неделю, чтобы ехать в направлении, по которому она ехать не предполагала, снова пустилась в путь после короткого отдыха, вопреки желанию и настойчивым просьбам своей горничной и не менее горячим увещаниям миссис Вайтфильд, которая из учтивости, а может быть по доброте своей (у бедной девушки был очень утомленный вид), усердно уговаривала ее переночевать в Глостере.

Подкрепившись лишь чашкой чаю и полежав часа два в постели, пока готовили лошадей, Софья часов около одиннадцати вечера решительно покинула заведение миссис Вайтфильд и, направившись по ворчестерской дороге, менее чем через четыре часа прибыла в ту гостиницу, где мы ее видели в последний раз.

Подробно проследив, таким образом, путь нашей героини от ее бегства до прибытия в Эптон, мы в нескольких словах приведем туда же ее отца. Получив первые указания от проводника, доставившего дочь его в Гамбрук, мистер Вестерн уже без труда выследил ее до Глостера, откуда устремился в Эптон, так как узнал, что маршрут этот избран был мистером Джонсом (Партридж, выражаясь языком сквайра, везде оставлял за собой крепкий дух), и нисколько не сомневался, что по той же дороге поехала, или, пользуясь его словами, «дала стрекача», Софья. Надо сказать, что он употребил еще более грубое выражение, которое мы не станем здесь приводить,— его поняли бы одни только охотники на лисиц, но они и сами без труда его отгадают.

# КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ОКОЛО ТРЕХ ДНЕЙ

## ГЛАВА I

*Корка для критиков*

Может показаться, что в нашей последней вступительной главе мы обошлись с грозным цехом людей, именуемых критиками, более непринужденно, чем нам приличествует: ведь они требуют от писателей большой угодливости, и это требование обыкновенно удовлетворяется. Поэтому в настоящей главе мы изложим этой высокой корпорации резоны нашего поведения, причем, может статься, представим господ критиков в таком свете, в каком до сих пор еще их не видели.

Слово «критика» происхождения греческого и означает — суд. Отсюда, я полагаю, люди, не понимающие оригинала и знакомые только с переводом, заключили, что оно означает суд в юридическом смысле, зачастую понимая это слово как синоним осуждения.

Я склоняюсь именно к этому мнению, так как значительнейшая часть критиков в последние годы состоит из юристов. Многие из этих господ, отчаявшись, может быть, занять место на скамье в Вестминстер-Холле, расположились на театральных скамьях, где и принялись проявлять свои судейские способности и творить суд, то есть беспощадно осуждать.

Господа эти были бы, вероятно, чрезвычайно польщены, если бы мы ограничились этим сравнением их с одной из самых важных и почетных должностей в государстве, и мы бы так и поступили, если бы искали их расположения; но так как мы намерены обращаться с ними искренне и с прямотой, то должны им напомнить о другом должностном лице судебного ведомства, гораздо низшего ранга, с которым у них тоже есть некоторое отдаленное сходство, поскольку они не только произносят приговор, но и приводят его в исполнение.

Однако нынешних критиков можно с большой справедливостью и верностью представить также и в другом освещении, а именно: как публичных клеветников. Если субъект, сующий нос в дела других с единственной целью открыть чужие промахи и разгласить их всему свету, заслуживает названия клеветника, порочащего репутацию людей, то почему же критика, читающего книги с тем же злобным намерением, нельзя назвать клеветником, порочащим репутацию книг?

Мне кажется, нет более презренного раба порока, общество не порождает более отвратительной гадины, и у дьявола нет гостя, более его достойного и более ему желанного, чем клеветник. Свет, боюсь я, и наполовину не гнушается этого чудовища так, как оно заслуживает; и еще больше боюсь я объяснить причину этой преступной снисходительности к нему; несомненно, однако, что вор по сравнению с клеветником кажется невинным; даже убийца редко может с ним соперничать в отношении тяжести преступления: ведь клевета — оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею раны всегда неизлечимы. Один только способ убийства, самый гнусный и подлый из всех, имеет точное сходство с пороком, против которого мы здесь ополчаемся, именно: отравление — способ мести, настолько презренный и отвратительный, что законы наши некогда мудро отличали его от всех других видов убийства особенно строгим наказанием.

Помимо страшного вреда, причиняемого клеветой, и гнусности средств, ею употребляемых, есть и другие обстоятельства, придающие ей еще более отвратительный характер: ведь часто сеется она без всякого повода и почти никогда не сулит клеветнику награды, если исключить те черные, адские души, для которых наградой служит одна мысль о чужой гибели и несчастьях.

Шекспир великолепно обрисовал этот порок, говоря:

> Кошель стащить — стащить пустяк, ничто:
> Был мой — чужим стал раб мильонов;
> Но, имя доброе мое похитив,
> Богатым вор не станет, а меж тем
> Он разорит меня.

Со всем этим, без сомнения, согласится почтенный мой читатель; но многое из сказанного, вероятно, покажется ему слишком суровым в применении к людям, которые клевещут на книги. Так пусть учтено будет, что в обоих случаях клевета имеет источником один и тот же злобный умысел и одинаково не может быть оправдана соблазном. И мы не вправе сказать, что ущерб, причиняемый такой клеветой, ничтожен, если рассматривать книгу как порождение автора, как дитя его мозга.

Читатель, муза которого находится в девственном состоянии, может составить себе лишь весьма несовершенное представление об этом роде родительской любви. Для такого читателя мы можем пародировать нежное восклицание Макдуфа: «Увы, ты не написал ни одной книги». Но автор, муза которого уже рожала, поймет всю патетику этих слов и даже, может быть, прольет слезы (особенно если его любимчика нет уже в живых), когда я расскажу, с каким трудом муза вынашивает свое бремя, с какими муками разрешается от него и, наконец, с какой заботливостью и любовью нежный отец холит своего баловня, пока его не вырастит и не выпустит в свет.

И ни один из видов родительской любви не является менее безотчетным и слепым, ни один так хорошо не согласуется с житейской мудростью. Такие дети по всей справедливости могут быть названы богатством отца, многие из них с истинно сыновней преданностью кормили родителя в преклонные его годы; таким образом, не только заветные чувства, но и материальные интересы писателя могут быть сильно задеты этими клеветниками, ядовитое дыхание которых поражает книгу преждевременной смертью.

Наконец, кто чернит книгу — чернит в то же время ее автора, потому что, как нельзя назвать кого-нибудь ублюдком, не назвав мать его потаскухой, так нельзя сказать о книге: «жалкая сплетня, чудовищная нелепость», не назвав автора ее болваном, что в нравственном смысле хотя и предпочтительней наименования подлец, но в отношении житейских выгод, пожалуй, вреднее.

Как ни смешно все это может показаться иным читателям, однако я не сомневаюсь, найдется немало и таких, которые почувствуют и признают правоту моих слов и даже, пожалуй, подумают, что я рассуждаю об этом предмете недостаточно торжественно,— но, право же, истину можно говорить и с улыбкой на лице. Обесславить книгу из злобы или даже ради шутки — поступок по меньшей мере весьма неблаговидный; и угрюмый, брюзгливый критик справедливо, мне кажется, должен почитаться дурным человеком.

Я постараюсь поэтому в заключительной части настоящей главы охарактеризовать его и показать, какую критику я отвергаю, ибо, надеюсь, никто, кроме разве господ, о которых здесь идет речь, не понял меня так, будто я вообще не допускаю существования компетентных судей литературных произведений или пытаюсь устранить из области литературы кого-нибудь из тех благородных критиков, трудам которых столько обязан ученый мир. К числу их принадлежат Аристотель, Гораций и Лонгин — среди древних, Дасье и Боссю — у французов да, пожалуй, кое-кто у нас; все

они обладали должной компетентностью для исполнения судебных обязанностей in foro litterario[1].

Но, не устанавливая всех качеств, какими должен обладать критик, о чем я говорил в другом месте, я смело могу, мне кажется, протестовать против хулы людей, не читавших осуждаемых ими сочинений. Подобные хулители, высказываются ли они на основании собственных догадок или подозрений или же на основании отзывов и мнения других, справедливо могут быть названы клеветниками, порочащими репутацию осуждаемых ими книг.

Этой характеристики, сдается мне, заслуживают также критики, которые, не указывая определенных недостатков, осуждают все произведение целиком, клеймя его ходячими поносными словами: гадость, глупость, дрянь и тому подобное, особенно эпитетом «низкий» — вовсе неприличным в устах критика, если только он не сиятельная особа.

Далее, пусть даже в произведении действительно обнаружены некоторые погрешности, но если они находятся не в самых существенных его частях и возмещаются большими красотами, то суровый приговор всему произведению единственно на основании некоторых неудачных частностей продиктован скорее злобой клеветника, чем суждением истинного критика. Это прямая противоположность взглядам Горация:

> Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
> Offendor maculis, quas aut incuria fudit,
> Aut humana parum cavit natura [2].

Ибо, как говорит Марциал, aliter non fit, Avite, liber — ни одна книга не пишется иначе. Всякая красота в характере, в наружности, а также во всем, что касается человека, должна оцениваться только таким образом. В самом деле, было бы жестоко, если бы произведение вроде этой истории, на сочинение которого ушло несколько тысяч часов, подверглось осуждению оттого, что одна какая-нибудь глава или даже ряд глав могут вызвать вполне справедливые и разумные возражения. Между тем сплошь и рядом суровейший приговор книге основывается только на таких возражениях, которые, если они справедливы (а это бывает не всегда), нисколько не подрывают ее достоинства в целом. Особенно на театральных подмостках отдельное выражение, пришедшееся не по вкусу публике или какому-нибудь критику из публики, наверняка

---

[1] В литературном трибунале *(лат.)*.

[2] Если большая часть творенья блестяща, к чему мне малых пятен искать, небрежностью только разлитых пль неизбежных в природе людской. *(Перевод А. Фета.)*

будет освистано, а одна не понравившаяся сцена может провалить всю пьесу. Писать, подчиняясь столь строгим требованиям, так же невозможно, как жить согласно правилам желчных ригористов: послушать некоторых критиков и некоторых набожных христиан, так ни один писатель не спасется в этой жизни и ни один человек — в будущей.

## ГЛАВА II

*Приключения Софьи после отъезда из Эптона*

История наша, перед тем как нам пришлось повернуть назад и проделать путь, совершенный нашей героиней, остановилась на отъезде Софьи и ее горничной из гостиницы; последуем теперь за этой милой девушкой, предоставив ее недостойному возлюбленному оплакивать свою злую судьбу или, вернее, свое дурное поведение.

Софья приказала проводнику ехать проселочными дорогами; они переправились через Северн и находились всего в миле от гостиницы, когда героиня наша, оглянувшись, увидела нескольких всадников, мчавшихся во весь опор. Она очень испугалась и велела проводнику гнать как можно скорее.

Тот повиновался, и они поскакали галопом. Но чем больше они прибавляли ходу, тем жарче их преследовали; и так как у догоняющих лошади были несколько резвее, чем у спасающихся от погони, то в конце концов первые догнали вторых — обстоятельство, счастливое для бедняжки Софьи, которая от страха и усталости почти обессилела; у нее сразу отлегло от сердца, когда раздался женский голос приветствовавший ее в самых ласковых и учтивых выражениях. Отдышавшись, Софья тотчас же отвечала на приветствие столь же учтиво и с большим удовольствием.

Всадники, настигшие Софью и так ее напугавшие, оказались, подобно ей, двумя женщинами с проводником.

Обе кавалькады проехали добрые три мили вместе, не проронив больше ни слова. Наконец наша героиня, почти совсем оправившись от страха (но несколько недоумевая, почему эта дама не отстает от нее, хотя они едут не по большой дороге и уже несколько раз свернули в сторону), обратилась к незнакомке и очень любезно ей сказала, что «она очень счастлива, что они едут вместе». Незнакомка, которая, казалось, только и ожидала, когда с ней заговорят, с готовностью отвечала, «что и она страшно счастлива; что местность эта ей совсем незнакома, и потому, встретив попутчицу, она на радостях решила не отставать от нее, хотя это, может быть, неучтиво, в чем она просит извинения». Дамы обменялись

еще несколькими любезностями, потому что миссис Гонора уступила место облаченной в изящную амазонку незнакомке, а сама удалилась в тыл. Но хотя Софья очень любопытствовала узнать, почему эта дама едет теми же окольными дорогами, что и она, и была даже этим немного встревожена, однако робость, или скромность, или иные причины удерживали ее от расспросов.

Незнакомая дама находилась в это время в затруднении, упоминать о котором почти что ниже достоинства историка. На протяжении последней мили ветер не меньше пяти раз срывал с нее шляпу, а она не могла достать ни ленты, ни платка, чтобы подвязать ее под подбородком. Узнав об этом, Софья тотчас же предложила ей платок; но, вынимая его из кармана, она, вероятно, слишком отпустила поводья, потому что лошадь как раз в эту минуту несчастливо оступилась, упала на передние ноги и сбросила свою прекрасную наездницу.

Хотя Софья полетела стремглав на землю, но, к счастью, не ушиблась, и обстоятельства, способствовавшие, может быть, ее падению, пощадили ее стыдливость: проселочная дорога, по которой они теперь ехали, была очень узкая и густо обсажена деревьями, так что луна освещала ее скудно, а в ту минуту она скрылась за облаком, и было почти совсем темно. Благодаря этому скромность молодой девушки, необычайно стыдливой, нисколько не пострадала, как и ее тело, и она снова села на лошадь, поплатившись только легким испугом при падении.

Наступил наконец день в своем ярком блеске, обе дамы, ехавшие бок о бок по выгону, пристально посмотрели друг на дружку, взоры их застыли в неподвижности, лошади в ту же минуту остановились, и обе они заговорили разом, произнеся одинаково радостно, одна: «Софья!», другая: «Гарриет!»

Неожиданная встреча удивила их гораздо больше, чем проницательного читателя, который, наверно, догадался, что незнакомка была не кто иная, как миссис Фитцпатрик, кузина мисс Вестерн: ведь мы упомянули, что она поспешно уехала из гостиницы через несколько минут после Софьи.

Удивление и радость кузин по случаю встречи были так велики (прежде они были большими приятельницами и долго жили вместе у своей тетки Вестерн), что невозможно передать и половины приветствий, которыми они обменялись, перед тем как задать друг дружке весьма естественный вопрос: «Куда ты едешь?»

Первой сделала это наконец миссис Фитцпатрик. Но, несмотря на всю непринужденность и естественность вопроса, Софья затруднилась дать на него определенный ответ; она попросила кузину потерпеть со своим любопытством, пока они приедут в какую-нибудь гостиницу, «до которой,— сказала она,— осталось, я

думаю, недалеко; и, поверь, Гарриет, я тоже сгораю от любопытства: ведь мы обе одинаково удивлены».

Замечания, которыми обменивались дамы по дороге, пожалуй, не заслуживают, чтобы их передавать; и, конечно, еще меньше заслуживает этого разговор их горничных, ибо и те начали обмениваться между собою любезностями. Что же касается проводников, то они лишены были удовольствия побеседовать, потому что один из них поместился в авангарде, а другому пришлось замыкать процессию.

Так ехали они несколько часов, пока наездники не выбрались на широкую и хорошо убитую дорогу, которая после поворота направо скоро привела их к прекрасной, заманчивой на вид гостинице, где все они и остановились; но Софья была сильно утомлена, и если ей последние пять или шесть миль трудно было держаться в седле, то теперь она была даже не в силах сойти на землю без посторонней помощи. Хозяин, державший ее лошадь, тотчас это заметил и предложил снять ее с седла на руках, а она слишком поспешно согласилась принять его услугу. Судьба, видно, решила заставить Софью краснеть в этот день, и коварная попытка удалась теперь лучше, чем в первый раз: только что хозяин принял девушку в свои объятия, как ноги его, недавно сильно потрепанные подагрой, подкосились, и он грохнулся наземь, но при этом с большой ловкостью и галантностью успел броситься под свою прелестную ношу, так что все синяки от падения достались только ему; правда, и Софья получила жестокий удар: он был нанесен ее стыдливости широкой насмешливой улыбкой, которую, поднявшись на ноги, она заметила на лицах большинства зрителей. По этой улыбке она догадалась, что́ с ней случилось; мы не будем, однако, на этом останавливаться в угоду читателям, которые способны смеяться над оскорблением деликатных чувств молодой дамы. Такие приключения никогда не рисовались нам в смешном свете, и мы не постесняемся сказать, что надо иметь весьма извращенное представление о стыдливости красивой молодой женщины, чтобы приносить ее в жертву мелкому удовольствию, доставляемому смехом.

Этот испуг и этот удар в соединении с крайним изнеможением как душевным, так и телесным почти сломили здоровый организм Софьи, и у нее едва хватило сил доплестись до гостиницы, опершись на руку своей горничной. Усевшись наконец, она тотчас спросила стакан воды; но миссис Гонора — по-моему, весьма благоразумно — заменила его стаканом вина.

Узнав от миссис Гоноры, что Софья в последние две ночи не ложилась, и видя ее бледность и изнурение, миссис Фитцпатрик стала упрашивать ее соснуть и подкрепить свои силы. Она еще не знала истории Софьи и ее страхов, но если б и знала, все равно

дала бы такой же совет, потому что отдых был Софье явно необходим; с другой стороны, проделанный ими длинный путь по проселочным дорогам настолько устранял всякую опасность преследования, что сама она была совершенно спокойна на этот счет.

Софья охотно согласилась последовать совету своей приятельницы, который был горячо поддержан Гонорой. Миссис Фитцпатрик предложила также составить компанию кузине, и Софья с большой готовностью приняла ее предложение.

Как только госпожа легла в постель, горничная приготовилась последовать ее примеру: она принялась всячески извиняться перед камеристкой миссис Фитцпатрик, что оставляет ее одну в таком ужасном месте, как гостиница; но та остановила ее, будучи тоже не прочь соснуть и желая удостоиться чести разделить с нею ложе. Горничная Софьи согласилась уступить ей часть постели, сказав, что это, напротив, для нее большая честь. Так, после многих реверансов и комплиментов горничные пошли спать вместе, как это уже сделали их госпожи.

Хозяин имел обыкновение (подобно всем своим собратьям) подробно расспрашивать у всех кучеров, лакеев, форейторов и других об именах своих постояльцев и о том, какие у них поместья и где они расположены; не удивительно поэтому, что многие странности в поведении наших путешественниц, особенно же то, что они легли спать в такой необычайный час, как десять утра, возбудили в нем любопытство. Вот почему, как только проводники вошли в кухню, он обратился к ним с вопросом, кто такие приезжие дамы и откуда они едут; но проводники хотя и добросовестно рассказали все, что знали, однако очень мало удовлетворили любопытство хозяина — напротив, они скорее разожгли его.

Этот содержатель гостиницы слыл между соседями весьма смышленым малым, считалось, что он видит дальше и глубже всех в приходе, не исключая самого священника. Возможно, что такой репутации немало способствовала его внешность, потому что в лице его было что-то необыкновенно глубокомысленное и многозначительное, особенно когда во рту у него торчала трубка,— а с ней он почти не разлучался. Его манера держать себя тоже сильно укрепляла представление о его мудрости. Вид у него был важный, чтобы не сказать мрачный; когда он говорил, что случалось с ним редко, то делал это всегда не спеша, и хотя суждения его бывали кратки, он то и дело прерывал их разными «гм», «га», «да», «так» и тому подобными вставными частицами; таким образом, несмотря на то что слова его сопровождались некоторыми пояснительными телодвижениями, вроде покачивания головой, кивков или поднятия указательного пальца, он обыкновенно предоставлял своим слушателям понимать больше того, что было им сказано, и даже как

бы намекал, что знает гораздо больше, чем счел нужным открыть. Уже одно это обстоятельство может прекрасно объяснить, почему за ним установилась репутация человека глубокомысленного: люди удивительно склонны относиться с почтением к тому, чего они не понимают. Вот тайна, на которой всецело строили успех своих плутней многочисленные обманщики рода человеческого.

Этот тонкий политик, отведя жену в сторону, спросил, что она думает о только что приехавших дамах.

— Что я думаю?— отвечала жена.— Что же мне о них думать?

— А я знаю, что мне думать,— сказал он.— Проводники рассказывают странные вещи. Один уверяет, что приехал из Глостера, а другой — что из Эптона, и ни тот, ни другой, насколько я могу судить, не в состоянии сказать, куда они едут. Но кто же когда-нибудь приезжал сюда из Эптона проселочными дорогами, особенно направляясь в Лондон? А одна из горничных, перед тем как сойти с лошади, спросила: не это ли дорога на Лондон? Вот я и сопоставил все эти обстоятельства, и как ты думаешь, к какому я пришел выводу насчет того, кто они?

— Ну,— отвечала жена,— где же мне отгадать твои открытия!

— Славная девочка,— сказал муж, потрепав ее по подбородку.— Должен признаться, что ты всегда полагалась на мою смышленость в таких вещах. Так можешь быть уверена,— слушай, что я говорю,— можешь быть уверена, что эти дамы из мятежниц, которые, по слухам, сопровождают молодого Кавалера, и поехали окольными путями, чтобы избежать встречи с армией герцога.

— Ей-ей, ты попал в самую точку, муженек! — сказала жена.—Одна из них такая нарядная, что твоя принцесса! Да и всякий, взглянув на нее, скажет, что принцесса... А все-таки, когда я соображаю...

— Когда ты соображаешь! — презрительно перебил ее хозяин гостиницы.— Пожалуйста, скажи, что такое ты соображаешь?

— Да то, что она слишком скромна для такой знатной дамы,— ответила жена.— Сам посуди: когда наша Бетти грела ей постель, она все называла ее «милая», да «голубушка», да «душа моя», а когда Бетти предложила снять с нее башмаки и чулки, она не позволила, сказав, что не желает утруждать ее.

— Ну, это ничего не значит,— сказал муж.— Если ты видела, как некоторые знатные дамы держатся грубо и неучтиво с теми, кто ниже их, так неужели ты думаешь, что ни одна из них не умеет обращаться с людьми низкого звания? Мне кажется, я умею отличать людей высшего общества, когда взгляну на них,— как будто умею. Разве она не спросила стакан воды, когда вошла?

Женщина другого звания спросила бы рюмку водки,— уж верно, спросила бы? Если это не самая знатная дама, продавай меня, как дурака, и тот, кто купит этакого дурачину, останется в большом накладе. Опять-таки, разве женщина высокого звания поехала бы без лакея, если бы не такой необыкновенный случай?

— Разумеется, муженек! — воскликнула жена.— Ты смыслишь в этих вещах лучше меня, да и во многих других.

— Да, кое-что смыслю,— отвечал трактирщик.

— Ей-ей,— продолжала жена,— так жалостно было глядеть на бедняжку, когда она села на стул; право, я ее от всей души пожалела, словно бы она была простая, бедная женщина. Но что же нам делать, муженек? Коли она мятежница, то ты, верно, хочешь выдать ее суду, а она такая кроткая, такая добрая дама; будь она чем хочет, а я не выдержу и разревусь, когда узнаю, что ее повесили или голову ей отрубили.

— Вздор! — воскликнул муж.— Но все-таки не так-то легко решить, что нам делать. Пожалуй, еще раньше, чем она уедет, мы получим известие о сражении; и если Кавалер одержит победу, она может заступиться за нас при дворе и осчастливить нас, коли мы ее не выдадим.

— Да, да, это правда,— согласилась жена,— от души желаю, чтобы это было в ее власти. Право, она такая ласковая и добрая дама; я была бы в отчаянии, если бы с ней случилось что-нибудь нехорошее.

— Ну, заладила! — скривил губы хозяин.— Вечно вы кого-нибудь жалеете. Неужто ты стала бы укрывать мятежников?

— Понятно, не стала бы,— отвечала жена.— А что до ее выдачи, то, будь что будет, никто не посмеет нас бранить: каждый бы на нашем месте сделал то же.

Пока наш политик-хозяин, вполне заслуженно, как мы видим, пользовавшийся между соседями репутацией великого мудреца, занят был обсуждением этого вопроса (мнению жены он уделял мало внимания), пришло известие, что мятежники ускользнули от герцога и выиграли день пути по направлению к Лондону; вскоре после этого приехал один сквайр, известный якобит, и, пожав с радостным видом руку хозяина, проговорил:

— Наша взяла, голубчик. Десять тысяч честных французов высадились в Суффолке. Да здравствует Старая Англия! Десять тысяч французов, дорогой мой! Лечу прямехонько на соединение с ними.

Весть эта определила мнение мудрого трактирщика, и он решил поухаживать за молодой дамой, когда та проснется; он (по его словам) убедился теперь, что это не кто иная, как сама леди Дженни Камерон.

## ГЛАВА III

*Очень короткая глава, в которой, однако, есть солнце, луна, звезда и ангел*

Солнце (оно появляется ненадолго в это время года) удалилось уже на покой, когда Софья встала, сильно освеженная сном. Отдых был краток, но и его она позволила себе лишь вследствие крайнего утомления; хотя при отъезде из Эптона она сказала своей горничной (а может быть, и сама так думала), что совершенно спокойна, однако же душа ее, несомненно, поражена была болезнью, сопровождающейся всеми беспокойными симптомами лихорадки и тождественной, может быть, с тем недугом, который известен у медиков под названием (если только они вкладывают в него какой-нибудь смысл) лихорадки душевной.

Одновременно с Софьей встала с постели миссис Фитцпатрик и, позвав горничную, тотчас оделась. Она была прехорошенькая и рядом с другой женщиной, а не Софьей, могла бы быть названа красавицей; но когда явилась по собственному почину миссис Гонора (госпожа ни за что не велела бы ее будить) и нарядила нашу героиню, то прелести миссис Фитцпатрик, исполнявшей роль утренней звезды, предвестницы более лучезарного светила, разделили участь этой звезды и совершеннно померкли, когда засияло само светило.

Никогда, может быть, Софья не выглядела такой красавицей, как в эту минуту. Поэтому нам не следует осуждать гиперболу служанки гостиницы, которая, засветив огонь, спустилась вниз и клятвенно объявила, что если когда-нибудь являлся на земле ангел, то он сидит сейчас в комнате наверху.

Софья сообщила кузине о своем намерении отправиться в Лондон, и миссис Фитцпатрик согласилась сопровождать ее, так как прибытие в Эптон ее мужа отбило у нее всякую охоту ехать в Бат или к тетке Вестерн. Софья предложила тронуться в путь сейчас же после чаю: луна светила ярко, а мороз был ей нипочем; не в пример многим молодым дамам, не боялась она также ночного путешествия, потому что, как мы уже заметили выше, в ней была некоторая доза природного мужества, сильно подкрепленного ее душевным состоянием, близким к отчаянию. Кроме того, она уже дважды путешествовала благополучно при лунном свете, и это придавало ей смелости довериться ему в третий раз.

Миссис Фитцпатрик была более трусливого нрава. Правда, больший страх превозмог в ней меньший, и присутствие мужа выгнало ее из Эптона в столь поздний час ночи; однако теперь, когда

она добралась до места, где считала себя в безопасности от его преследования, этот меньший страх — неизвестно перед чем — овладел ею так сильно, что она принялась всячески упрашивать кузину подождать до утра и не подвергать себя опасностям ночного путешествия.

Уступчивая Софья, видя, что ни насмешками, ни убеждениями она не в состоянии прогнать страхи кузины, наконец примирилась с ними. Может быть, знай она о приезде отца в Эптон, уговорить ее было бы не так легко; ибо, что касается Джонса, то мысль быть им настигнутой, сдается мне, не внушала ей большого ужаса, и даже, сказать по правде, она скорее этого желала, чем опасалась; впрочем, я мог бы с чистой совестью утаить от читателей указанное желание, ибо оно принадлежало к числу тех невольных движений души, в которых обычно не участвует разум.

Когда наши дамы решили провести весь этот вечер в гостинице, хозяйка явилась к ним узнать, чего их милостям угодно будет покушать. В голосе, манерах и ласковом обращении Софьи было столько прелести, что хозяйка была совершенно очарована; решив, что она имеет дело с Дженни Камерон, эта почтенная женщина мигом обратилась в ревностную якобитку и от души желала успеха молодому Претенденту,— так подействовало на нее приветливое и ласковое обхождение его воображаемой любовницы.

Оставшись одни, кузины дали волю своему любопытству, пожелав узнать друг у дружки, какие необыкновенные события привели их к этой странной и неожиданной встрече. Наконец миссис Фитцпатрик, получив от Софьи обещание отплатить ей тем же, начала рассказывать то, что читатель, если ему угодно узнать ее историю, может прочесть в следующей главе.

## ГЛАВА IV

### *История миссис Фитцпатрик*

Немного помолчав, миссис Фитцпатрик глубоко вздохнула и начала так:

— Несчастному свойственно испытывать тайную скорбь при воспоминании о наиболее радостных периодах своей жизни. Память о минувших наслаждениях наполняет нас нежной грустью, как память о скончавшихся друзьях, мысль о тех и других, можно сказать, неотступно преследует наше воображение.

По этой причине я всегда с сокрушением вспоминаю о днях (счастливейших днях моей жизни), проведенных нами вместе,

когда мы были на попечении тетушки Вестерн. Увы, почему больше нет мисс Серьезницы и мисс Ветреницы? Ты, наверно, помнишь то время, когда мы иначе не называли друг друга. Как справедливо было придуманное тобой прозвище Ветреница! Опыт показал мне впоследствии, что я вполне его заслужила. Ты во всем и всегда меня превосходила, милая Софья, и я от души надеюсь, что ты превзойдешь меня и в счастье. Никогда не забуду я умного, материнского совета, данного тобой однажды, когда я горевала, не попав на бал, хотя тебе не было тогда и четырнадцати лет... Ах, Софья, какое блаженное было то время, если такой пустяк мог казаться мне бедствием, если большего горя я тогда не знала!..

— А все-таки, дорогая Гарриет,— сказала Софья,— это казалось тебе в то время делом серьезным; поэтому утешься мыслью, что то, о чем ты теперь сокрушаешься, впоследствии покажется тебе таким же ничтожным пустяком, как тот бал.

— Ах, Софья, ты не скажешь так, когда узнаешь мое теперешнее положение,— возразила миссис Фитцпатрик.— Чувствительное сердце твое сильно изменилось, если мои горести не вызовут у тебя вздоха и не заставят прослезиться. Мне даже, может быть, не следует рассказывать тебе вещи, которые, я убеждена, тебя расстроят.

Тут миссис Фитцпатрик замолчала и только после усиленных просьб Софьи продолжала так:

— Ты, должно быть, слышала о моем замужестве, но так как события были, верно, представлены тебе в искаженном виде, то я расскажу тебе все, с того самого момента, как началось мое несчастное знакомство с моим теперешним мужем; произошло оно в Бате, вскоре после того, как ты уехала от тетушки домой к отцу.

Мистер Фитцпатрик был одним из веселых молодых людей, проводивших сезон в Бате. Он был пригож собой, dégagé [1], усердно ухаживал за дамами и всех затмевал своим костюмом. Словом, милая, если бы, по несчастью, ты увидела его сейчас, то я не могла бы лучше описать его тебе, как сказав, что он был полной противоположностью тому, что он теперь: он так долго жил в деревне, что совсем омужичился и сделался дикарем-ирландцем. Но возвращаюсь к своему рассказу. Качества, которыми он тогда обладал, так прекрасно его рекомендовали, что хотя знать в то время держалась особняком от прочего общества и никого из посторонних не принимала, мистер Фитцпатрик ухитрился получить к ней доступ. Впрочем, сторониться его было нелегко. Он очень мало или

[1] Развязный *(франц.)*.

даже вовсе не нуждался в приглашениях: при его красоте и изящных манерах ему нетрудно было снискать расположение у дам; что же касается мужчин, то он так часто обнажал шпагу, что они избегали публично оскорблять его. Не будь этого, они, вероятно, скоро его прогнали бы, потому что не было ровно никаких оснований отдавать ему предпочтение перед английскими дворянами, а сильный пол был мало расположен оказывать ему благосклонность. За глаза все они его бранили — может быть, впрочем, и из зависти, потому что он был прекрасно принят женщинами и имел у них большой успех.

Тетушка моя, не будучи сама знатной дамой, всегда жила при дворе и потому была вхожа в это общество; какими бы средствами вы ни получили доступ в высший свет, но если вы туда проникли, то это уже достаточная для вас заслуга, чтобы принадлежать к нему. Несмотря на свою молодость, ты, наверно, заметила, что свобода или сдержанность тетушки в обращении с людьми определяется большей или меньшей их заслугой именно в этом отношении.

Заслуга эта и была, по-видимому, главной рекомендацией мистера Фитцпатрика в ее глазах. Он снискал у тетушки такую благосклонность, что сделался завсегдатаем в ее доме. За эту милость он в долгу не оставался: его обращение с тетушкой сделалось настолько непринужденным, что привлекло к себе внимание клуба злословия, и люди добросердечные уже сватали их. Что касается меня, то я, признаться, не сомневалась, что у него, как говорится, самые честные намерения, то есть что он хочет обобрать женщину при помощи законного брака. Тетушка, правда, была уже не настолько молода и не настолько красива, чтобы возбуждать порочные желания, но брачными прелестями она была наделена в изобилии.

Еще больше утвердило меня в этой мысли необыкновенное почтение, оказанное им мне с первого же дня нашего знакомства. Я истолковала его как попытку уменьшить по возможности мое нерасположение к этому браку, которое естественно было во мне предположить, потому что он причинил бы ущерб моим материальным интересам. В известной степени маневр мистера Фитцпатрика увенчался успехом. Так как я была вполне довольна собственным состоянием и ничуть не корыстолюбива, то не могла почувствовать особенной вражды к человеку, обращение которого со мной мне очень нравилось; тем более что я была единственным предметом его уважения: со многими знатными дамами он в это самое время обращался крайне непочтительно.

Но как ни приятно было мне его обращение, он вскоре изменил его на другое, может быть, еще более приятное. Он напустил

на себя большую ласковость и нежность, томился и беспрестанно вздыхал. Порой, правда — притворно или естественно, не могу решить,— он давал волю обычной своей беззаботной веселости, но это всегда случалось в обществе и при других женщинах; даже в контрдансе, когда он не был моим кавалером, он становился серьезен, но лишь только приближался ко мне, лицо его принимало самое нежное выражение. Словом, вел он себя со мной настолько странно, что надо было быть совсем слепой, чтобы этого не заметить. И... и... и...

— И ты была еще больше польщена, милая Гарриет,— сказала Софья.— Не стыдись этого,— прибавила она со вздохом,— есть неотразимые чары в нежности, которую многие мужчины так искусно на себя напускают.

— Это правда,— отвечала кузина.— Мужчины, у которых на все другое не хватает здравого смысла, в искусстве любви настоящие Макиавелли. Ах, если б миновал меня этот урок!.. Итак, на мой счет стали злословить не менее усердно, чем раньше злословили насчет тетушки, и некоторые почтенные дамы не постеснялись утверждать, что мистер Фитцпатрик ведет интрижку с нами обеими.

Но удивительнее всего, что тетушка не замечала и, по-видимому, вовсе не подозревала того, что, мне кажется, достаточно бросалось в глаза в нашем поведении. Право, можно подумать, что любовь совсем застилает глаза пожилым женщинам: они с такой жадностью поглощают любезности, к ним обращенные, что, подобно ненасытному обжоре, не удосуживаются заметить, что делают другие за тем же самым столом. Это я наблюдала не только в данном случае; тетушка была настолько ослеплена, что хотя часто заставала нас вместе, возвращаясь с источника, однако довольно было малейшего его льстивого словечка, довольно было ему сделать вид, что он ждал ее с нетерпением,— и все ее подозрения рассеивались. Одна его хитрость удалась на славу! Он придумал обращаться со мной, как с ребенком, и никогда не называл меня при тетушке иначе, как крошкой. Вначале это ему несколько повредило в глазах твоей покорной слуги, но скоро я все поняла, тем более что в отсутствие тетушки он вел себя со мной, как я сказала, совсем иначе. Но если меня не очень обижало поведение, цель которого я разгадала, то с тетушкой я сильно измучилась: приняв за чистую монету слова своего поклонника (каковым она его считала), она начала обращаться со мной, как с настоящим ребенком. Удивительно, как еще она не заставила меня ходить на помочах.

Наконец мой поклонник (он и был им в действительности) счел удобным торжественно открыть тайну, которая уже давно

была мне известна. Он перенес на меня всю любовь, предметом которой была будто бы тетушка. В самых чувствительных выражениях сетовал он, что тетушка так его поощряла, и вменил себе в большой подвиг скучные часы, выдержанные им в разговорах с ней... Знаешь, что я скажу тебе, дорогая Софья?.. Я сделаю тебе признание. Мой поклонник мне нравился. Победа доставляла мне удовольствие. Мысль, что я счастливая соперница тетушки, счастливая соперница многих других женщин, восхищала, прельщала меня. Словом, боюсь, я повела себя не так, как бы следовало, уже после первого его признания... Боюсь, что, прежде чем мы расстались, я недвусмысленно его обнадежила.

Против меня открыто заговорил,— могу сказать, даже зарычал,— весь Бат. Многие молодые женщины стали подчеркнуто сторониться меня, не столько, пожалуй, вследствие каких-либо подозрений, сколько желая изгнать меня из общества, где я слишком сильно приковывала внимание их фаворита. Не могу здесь не вспомнить с благодарностью о доброте мистера Нэша, который отвел меня однажды в сторону и дал мне совет; если б я ему последовала, то была бы счастлива. «Дитя мое,— сказал он,— мне прискорбно видеть близость между вами и человеком, совершенно вас недостойным, который, боюсь, доведет вас до гибели. Что же касается вашей старой, прокисшей тетки, то, не будь от этого ущерба вам и прелестной Софи Вестерн (право, я передаю его подлинные слова), я бы от души пожелал ему завладеть всем ее состоянием. Старухам я не даю советов: если уж они забрали себе в голову попасть к черту на рога, то удержать их невозможно, да и не стоит. Но невинность, молодость и красота достойны лучшей участи, и мне хотелось бы спасти их от его когтей. Послушайтесь же меня, дитя мое, не позволяйте больше этому человеку никаких вольностей». Много еще говорил он мне, но я слушала его невнимательно и теперь позабыла его слова: чувства мои им противоречили; кроме того, я никак не могла поверить, чтобы знатные дамы решались входить в короткие отношения с таким человеком, каким он его описывал.

Но боюсь, милая, не утомил бы тебя такой подробный рассказ обо всех этих мелочах. Итак, чтобы быть краткой: вообрази себе, что я обвенчана, вообрази меня с мужем у ног тетушки, вообрази, наконец, самую безумную обитательницу Бедлама в припадке бешенства — и твое воображение ничуть не преувеличит того, что случилось в действительности.

На следующий же день тетушка уехала из Бата, чтобы избежать встреч с мистером Фитцпатриком и со мной, а также, может быть, вообще всяких встреч,—хотя, как я слышала, она впослед-

ствии с большой решительностью все отрицала, но я уверена, что неудача все же задела ее самолюбие. С тех пор я неоднократно ей писала, но ни разу не могла добиться ответа: это, должна признаться, для меня тем огорчительнее, что она же сама была, хоть и неумышленно, причиной всех моих страданий: ведь не предстань мне мистер Фитцпатрик в свете ухаживателя за ней, он никогда не нашел бы случая завладеть моим сердцем, так как при других обстоятельствах — я до сих пор льщу себя этой мыслью — меня нелегко было бы покорить такому человеку. Я убеждена, что не ошиблась бы так грубо в своем выборе, если бы руководилась собственным суждением; но я всецело положилась на мнение других и самым глупым образом уверовала в достоинства человека, видя, какой прекрасный прием встречает он у всех женщин. Как объяснить, дорогая, что мы, нисколько не уступая умом самым мудрым и выдающимся мужчинам, так часто избираем себе в спутники и фавориты отъявленных глупцов? Я возмущаюсь до глубины души при мысли о том, какое множество умных женщин было погублено дураками.— Миссис Фитцпатрик замолчала: но Софья ничего не ответила, и она продолжала, как будет изложено в следующей главе.

## ГЛАВА V,

*в которой содержится продолжение истории миссис Фитцпатрик*

После свадьбы мы оставались в Бате не более двух недель, потому что на примирение с тетушкой не было никаких надежд, а из моего состояния я не могла истратить ни одного фартинга до совершеннолетия, которого приходилось ждать еще два года. Муж решил ехать в Ирландию; я горячо этому воспротивилась и настаивала на исполнении данного им перед свадьбой обещания не увозить меня туда без моего согласия; между тем я вовсе не собиралась соглашаться и, думаю, никто не станет меня порицать за такое решение,— однако я ни словом не обмолвилась об этом мужу и только просила его отсрочить отъезд на месяц, но он уже наметил день и наотрез отказался менять его.

Вечером, накануне отъезда, мы на эту тему горячо поспорили; вдруг он порывисто поднялся с места и оставил меня одну, сказав, что идет в курзал. Только что он вышел из дому, как я заметила на полу бумагу, которую он, должно быть по рассеянности, выронил из кармана, вынимая носовой платок. Я подняла ее и, увидя, что это письмо, без всякого стеснения вскрыла его и прочла — прочла столько раз, что могу повторить его тебе почти слово в слово. Вот оно:

«Мистеру Брайану Фитцпатрику.

Сэр, получил ваше письмо и очень удивлен вашим обращением со мной: ведь я не видел от вас никаких денег, кроме тех, что вы заплатили мне за полушерстяной кафтан, а ваш счет превысил уже сто пятьдесят фунтов. Вспомните, сэр, сколько уж раз вы меня надували, уверяя, что женитесь то на той, то на другой даме; но я не могу жить надеждами и обещаниями, да и продавец сукна не возьмет их от меня в уплату. Вы мне говорите, что если не тетка, то племянница за вами обеспечена и что вы давно уже могли бы жениться на тетке, вдовье наследство которой, по вашим словам, огромно, но что вы предпочитаете племянницу, потому что у нее есть наличные. Прошу вас, сэр, послушайтесь раз в жизни моего глупого совета и женитесь на первой, на какой можете. Извините, что я даю вам совет,— ведь вы знаете, что я искренне желаю вам добра. С ближайшей почтой выдам на вас вексель господам Джону Драггету и К°, сроком на две недели, по которому, я не сомневаюсь, вы заплатите, остаюсь, сэр,

ваш покорный слуга

*Сам. Косгрейв*».

Вот это письмо, от слова до слова. Можешь себе представить, дорогая моя, как оно меня расстроило! «Вы предпочитаете племянницу, потому что у нее есть наличные!» Если бы каждое из этих слов было кинжалом, с каким наслаждением я их всадила бы ему в сердце! Но не стану распространяться обо всех моих безумствах по этому поводу. Я выплакалась еще до его возвращения, но о слезах достаточно свидетельствовали мои распухшие глаза. Он угрюмо бросился в кресло, и мы долгое время молчали. Наконец он сказал заносчиво:

— Надеюсь, сударыня, слуги уже уложили ваши вещи; ведь карета будет подана в шесть часов утра.

Эти вызывающие слова окончательно вывели меня из терпения, и я отвечала:

— Нет, сэр, остается еще спрятать вот это письмо.

И, бросив его на стол, я осыпала мужа самыми горькими упреками.

Сознание ли вины, стыд или благоразумие удержали его, не могу сказать, но, несмотря на всю свою вспыльчивость, он нисколько не рассердился — напротив, он пытался успокоить меня самыми деликатными способами. Клялся, что фраза, больше всего возмутившая меня в письме, вовсе не его и он никогда не писал ничего подобного. Признался, что действительно упомянул о своей женитьбе и об отданном мне предпочтении, но клятвенно

отрицал всякие ссылки на указанную в письме причину и оправдывал упоминание об этих вещах только крайней нуждой в деньгах, проистекавшей, по его словам, от большой запущенности ирландского поместья. Это и было, сказал он, единственной причиной его энергичных настояний на нашей поездке, хотя до сих пор он не рещался мне в этом признаться. И он снова наговорил мне множество нежных слов, заключив свою речь жаркими ласками и клятвенными уверениями в любви.

Одно обстоятельство, хотя он на него и не ссылался, сильно говорило в его пользу, именно: слова «вдовье наследство» в письме портного, между тем как тетушка никогда не была замужем, и мистер Фитцпатрик прекрасно знал это. Итак, решив, что портной просто все выдумал или писал на основании слухов, я уверила себя, что и для той гнусной фразы у него были такие же шаткие основания. Как находишь ты мое рассуждение, дорогая моя? Не свойственно ли оно скорее адвокату, чем судье?.. Зачем, однако, упоминаю я об этом обстоятельстве и ищу в нем оправдания своей снисходительности?.. Словом, будь он в двадцать раз виновнее, и тогда половины проявленной им нежности и страстности было бы для меня достаточно, чтобы его простить. Я больше не противилась нашему отъезду: на следующее утро мы отправились в путь и меньше чем через неделю прибыли в жилище мистера Фитцпатрика.

Позволь мне опустить подробности нашего путешествия: мне было бы очень неприятно совершать его мысленно еще раз, да и тебе не доставило бы удовольствия его описание.

Жилищем моего мужа был старинный барский дом. Если бы я была в одном из тех припадков веселья, в которых ты так часто меня видела, то могла бы пресмешно описать тебе его внешний вид. Он был такой, точно в нем когда-то жил дворянин. Было много простору, который не скрадывался обстановкой, так как она почти отсутствовала. У ворот нас встретила старуха, казавшаяся ровесницей дому и очень похожая на ту, о которой Чейлмонт говорит в «Сироте»; почти нечеловеческим голосом, скорее — непонятным для меня мычанием, поздравила она барина с приездом. Словом, вся сцена была так мрачна и печальна, что повергла меня в глубокое уныние. Муж, заметив это, вместо того чтобы меня ободрить, расстроил еще больше несколькими едкими замечаниями.

— Как видите, сударыня,— сказал он,— хорошие дома есть не только в Англии, но вы, должно быть, предпочитаете грязные меблированные комнаты в Бате.

Счастлива, дорогая моя, та женщина, все равно какого состояния, у которой есть веселый и добрый спутник, чтобы под-

держать ее и утешить. Но к чему думать о счастливых браках и только растравлять свое горе? Супруг мой, вместо того чтобы озарить светом мрачное одиночество, скоро привел меня к убеждению, что я буду с ним несчастна везде и в любых условиях. Словом, он оказался угрюмым и сварливым,— такого характера ты, пожалуй, никогда не наблюдала; ведь женщина может найти его лишь в отце, в брате или в муже; у тебя, правда, есть отец, но он совсем не похож на него. А ведь этот тяжелый человек казался мне сначала совсем другим и продолжал казаться всем посторонним. Господи боже, возможно ли, чтобы мужчины на людях и в обществе постоянно притворялись и открывали неприглядную истину только дома? Дома, дорогая моя, они вознаграждают себя за стеснительное принуждение, которому вынуждены подчинять себя в свете; я заметила, что чем оживленней, веселей и приветливей муж мой бывал в обществе, тем мрачней и угрюмее делался, оставаясь со мной с глазу на глаз. Как описать тебе его грубость? К моим ласкам он был холоден и бесчувствен. Потешные черточки моего характера, которые так веселили тебя, Софи, и других, вызывали в нем только презрительную усмешку. Когда я бывала серьезна и сосредоточенна, он пел и свистал, а когда я падала духом и чувствовала себя совсем несчастной, он сердился и бранил меня: хотя он не любил видеть меня в веселом расположении духа, потому что не считал себя его виновником, однако моя подавленность всегда оскорбляла его, и он приписывал ее моему сожалению (как он говорил), что я вышла за ирландца.

Ты легко поймешь, дорогая Серьезница (прости меня, я совсем забылась), что женщина, вступая в безрассудный, по понятиям света, брак, то есть не продаваясь мужчине по чисто денежным соображениям, должна чувствовать какую-то симпатию и приязнь к мужу. Ты легко поймешь также, что эта приязнь может уменьшиться и даже, уверяю тебя, быть с корнем вырвана презрением. Вот это презрение я и начала теперь чувствовать к мужу, в котором открыла — прости за выражение — набитого дурака. Может быть, тебе покажется странным, что я не сделала этого открытия значительно раньше; но женщины умеют находить тысячу причин для оправдания глупости тех, кто им нравится; кроме того, позволь тебе сказать, надо иметь очень проницательный взгляд, чтобы различить дурака под маской жизнерадостности и хороших манер.

Легко себе представить, что, начав презирать мужа,— а это, признаюсь тебе, случилось скоро,— я уже не могла находить удовольствия в его обществе; к счастью, он беспокоил меня довольно редко, потому что дом наш был теперь изящно обставлен,

погреба полны вина, а псарни и конюшни — собак и лошадей. Так как супруг мой весьма гостеприимно открыл двери соседям, то соседи просить себя не заставили: охота и пьянство поглощали у него столько времени, что на мою долю выпадало очень мало общения с ним, правильнее говоря, его дурного расположения.

Для меня было бы большим счастьем, если бы я могла так же легко избежать и другого неприятного собеседника, но, увы, он беспрестанно мучил меня; и хуже всего было то, что я не видела никакого способа от него избавиться. Собеседником этим были мои собственные мучительные мысли, которые досаждали мне и не давали покоя ни днем, ни ночью. В таком положении я подверглась пытке, ужасы которой не поддаются описанию. Подумай, дорогая моя, представь, если можешь, что я должна была перенести. Человек, которого я презирала, ненавидела, терпеть не могла, сделал меня матерью. Я испытала все муки, все ужасы родов (при таких обстоятельствах в десять раз более тягостные, чем самое болезненное разрешенье от бремени, когда страдаешь за любимого человека) в пустыне, или, вернее, среди разгула и бесчинства, без друга, без товарища, без ласковых утешений, которые часто облегчают, а иногда даже больше чем вознаграждают женщину за все ее мучения в эти минуты.

## ГЛАВА VI,

*в которой ошибка хозяина гостиницы повергает Софью в страх*

Миссис Фитцпатрик собиралась продолжать свой рассказ, но в эту минуту принесли обед и помешали ей, к большому огорчению Софьи: злоключения приятельницы взволновали нашу героиню и пробудили в ней тот голод, который способна была утолить не еда, а только окончание рассказа миссис Фитцпатрик.

На этот раз прислуживал сам хозяин, с тарелкой под мышкой и с таким почтительным и внимательным видом, точно его гостьи приехали в карете шестерней.

Замужняя дама, видно, растрогалась своими несчастьями меньше, чем ее кузина, потому что кушала с большим аппетитом, тогда как Софья едва проглотила кусочек. Равным образом лицо Софьи гораздо сильнее выражало огорчение и скорбь, чем лицо миссис Фитцпатрик, которая, заметив это, просила кузину утешиться, сказав, что, «может быть, все окончится лучше, чем мы с тобой ожидаем».

Хозяин счел, что теперь самая удобная минута открыть рот, и решил не упускать случая.

— Мне очень жаль, сударыня,— сказал он,— что ваша милость так плохо кушает; ведь вы, верно, очень голодны после такого долгого поста. Надеюсь, что вашей милости незачем тревожиться, потому что, как изволила сказать эта дама, все может кончиться лучше, чем ожидают. Только что заезжал сюда один джентльмен, который привез отличные вести; и, пожалуй, кое-кто, ускользнув от кое-кого, успеет добраться до Лондона прежде, чем его догонят; а если так, то я не сомневаюсь, что он найдет людей, которые его радушно встретят.

Когда мы напуганы, то во всем, что мы видим и слышим, нам чудится связь с предметом нашего страха. Поэтому Софья немедленно заключила из слов хозяина, что ее узнали и что отец ее преследует. Она совсем оторопела и на несколько минут лишилась способности речи; как только голос к ней вернулся, она тотчас же попросила хозяина удалить слуг и, обратившись к нему, сказала:

— Я вижу, сударь, вы знаете, кто мы; но умоляю вас... да, я убеждена, если в вас есть хоть сколько-нибудь жалости или доброты, вы нас не выдадите.

— Я выдам вашу милость? — воскликнул хозяин.— Никогда (и он подкрепил свои слова множеством клятв), скорее я дам себя разрубить на тысячу кусков! Я ненавижу всякое предательство. Помилуйте! Отродясь я никого еще не выдавал, так неужели сделаю почин с такой прелестной дамы, как ваша милость. Весь свет стал бы сурово порицать меня, если б я вас выдал, тем более что скоро ваша милость в состоянии будет вознаградить меня. Жена вам подтвердит: я узнал вашу милость, как только вы прибыли в мой дом; прежде чем я снял вас с лошади, я сказал, что это ваша честь, и до гроба носить буду синяки, полученные на службе вашей милости; но что они для меня, если я спас вашу милость? Конечно, иной бы сегодня утром подумал, что недурно бы получить награду, но я об этом и не помышлял. Да я скорее с голоду сдохну, чем соглашусь взять награду за выдачу вашей милости.

— Обещаю вам, сударь,— сказала Софья,— что, если только в моей власти будет вознаградить вас, вы не пожалеете о своем великодушии.

— Помилуйте, сударыня! — воскликнул хозяин.— Если будет в вашей власти! Лишь бы небо внушило вам это желание! Только, боюсь, я, ваша честь позабудет бедного содержателя гостиницы; но если ваша милость не позабудет, то, надеюсь, вы вспомните, от какой награды я отказался... Отказался! Я хочу сказать: отказался бы, а, уж конечно, это можно назвать отказом, потому что я бы, наверно, получил награду, и тогда вы бы, пожа-

луй, очутились в другом доме... Но только, ради бога, не подумайте на меня, ваша милость, такой напраслины, будто я когда-либо помышлял вас выдать, даже до получения доброй вести.

— Какой вести, скажите, пожалуйста? — с живостью спросила Софья.

— Так ваша милость еще не знает? — сказал хозяин.— Да и немудрено: ведь я сам услышал эту новость несколько минут тому назад; но хотя бы и не услышал, так пусть черт унесет меня сию минуту, если бы я выдал вашу честь! Да, если б я выдал, так пусть...

И он разразился самыми страшными проклятиями, которые Софья наконец остановила, спросив, о какой новости он говорит. Он уже собирался отвечать, как в комнату вбежала миссис Гонора, вся бледная и задыхающаяся, с криком:

— Сударыня, мы погибли. Конец нам. Они пришли, они пришли!

Слова эти бросили Софью в холод; но миссис Фитцпатрик спросила Гонору, кто пришел.

— Кто? Известно, французы. Высадилось несколько сот тысяч французов, и все мы будем перебиты и изнасилованы.

Как скряга, у которого в богатом городе есть лачуга ценой в двадцать шиллингов, услышав вдали от нее пожарную тревогу, бледнеет и трепещет за свое жалкое добро, но, убедившись, что сгорели только прекрасные дворцы, а его хижина уцелела, мгновенно приходит в себя и радуется своему счастью; или (это сравнение нам что-то не очень по вкусу) как нежная мать, перепуганная известием, что утонул любимый ее сын, падает без чувств и почти умирает от ужаса, но, услышав, что сын ее невредим и только «Победа» с тысячью двумястами храбрецов пошла ко дну, вдруг воскресает, к ней возвращаются чувства и жизнь, материнская любовь диктует, что страхи миновали, а сострадание, которое в другое время горячо откликнулось бы на ужасную катастрофу, крепко спит в ее сердце, так и Софья, способная живее всякого сочувствовать бедствиям своей родины, до того обрадовалась освобождению от опасности быть захваченной отцом, что высадка французов не произвела на нее почти никакого впечатления. Она мягко побранила горничную за то, что та так напугала ее.

— Хорошо, что не случилось ничего худшего,— прибавила Софья, так как она боялась прибытия совсем других людей.

— Да, да,— сказал с улыбкой хозяин,— их милость лучше знает положение дел; их милость знает, что французы — наши добрые друзья и высадились к нам только для нашего блага. Они вновь принесут процветание Старой Англии. Бьюсь об заклад, что их милость подумала о прибытии герцога; от такой

мысли, понятно, перепугаешься. Его величество, да охранит его господь, ускользнул от герцога и быстрым маршем идет к Лондону, а десять тысяч высадившихся французов должны соединиться с ним по пути.

Софье не очень понравилась эта новость, а также и сообщивший ее джентльмен, но так как она все еще воображала, что он ее знает (ведь не могла же она догадаться об истинном положении дела), то не посмела выказать своего неудовольствия. Тем временем хозяин убрал со стола и удалился, на прощание неоднократно выразив надежду, что о нем не забудут.

Софью очень тревожила мысль, что ее знают в этом доме: она все еще относила к себе многое из того, что хозяин обращал к Дженни Камерон; поэтому она поручила горничной выведать, каким образом он получил о ней сведения и кто предлагал ему награду за ее выдачу; она распорядилась также, чтобы лошади были приготовлены к четырем часам утра,— миссис Фитцпатрик дала согласие выехать в это время,— после чего, кое-как успокоившись, Софья попросила свою спутницу продолжать рассказ.

## ГЛАВА VII,

### *в которой миссис Фитцпатрик заканчивает свою историю*

Между тем как миссис Гонора, исполняя приказания госпожи своей, велела подать чашу пунша и пригласила хозяина и хозяйку разделить ее с ней, миссис Фитцпатрик так продолжала рассказ:

— Почти все офицеры, расквартированные в соседнем городе, были знакомы с моим мужем. В числе их был лейтенант, превосходнейший человек, женатый на женщине, настолько приятной характером и манерами, что с первой же нашей встречи, которая произошла вскоре после моих родов, мы сделались с ней почти неразлучны, потому что и я имела счастье прийтись ей по душе.

Лейтенант, который не был ни пьяницей, ни любителем охоты, часто проводил с нами время; с мужем моим он встречался очень редко, не больше, чем того требовала вежливость, так как он почти постоянно жил в нашем доме. Муж мой часто выражал недовольство, что лейтенант предпочитает его обществу мое; он был очень на меня сердит за это и постоянно бранился, говоря, что я переманиваю к себе его гостей и «черт бы меня побрал за то, что я испортила превосходнейшего человека, сделав из него тряпку».

Ты ошибешься, милая Софья, если усмотришь причину гнева моего мужа в том, что я лишила его собеседника; лейтенант был не из тех людей, общество которых может нравиться дураку;

но если даже допустить эту возможность, муж мой все-таки не имел никакого права жаловаться на меня, потому что, я убеждена, единственно мое общество привлекало лейтенанта в наш дом. Нет, душа моя, здесь была зависть, самый худший и злобный вид зависти: зависть к умственному превосходству. Для негодяя было невыносимо предпочтение, оказываемое мне человеком, который не давал ни малейшего повода к ревности. Ах, милая Софья, ты женщина умная; если, что вполне вероятно, ты выйдешь за человека, уступающего тебе по уму, то до свадьбы подвергни его характер многократному испытанию и посмотри, в состоянии ли он покориться твоему превосходству... Обещай мне, Софи, последовать этому совету,— впоследствии ты поймешь всю его важность.

— Весьма вероятно, что я совсем не выйду замуж,— отвечала Софья,— по крайней мере, не выйду за человека, в уме которого замечу до свадьбы недостатки; и, право, я скорее откажусь от собственного ума, чем потерплю после свадьбы недомыслие в своем муже.

— Откажешься от собственного ума! — ужаснулась миссис Фитцпатрик.— Фи, душа моя, я была о тебе лучшего мнения. Если придется, я от чего угодно готова буду отказаться, только не от ума. Природа не наделяла бы так часто этим преимуществом жен, если бы хотела, чтобы все мы уступали его своим мужьям. Умные мужчины никогда этого и не ждут от нас; только что упомянутый мной лейтенант тому прекрасный пример: хотя он был очень умен, но всегда признавал (и по справедливости), что жена умнее его. И это было, может быть, одной из причин ненависти к ней моего тирана.

«Чем согласиться стать под начало жены,— говорил он,— особенно такой уродины (а она, правда, не была писаная красавица, но очень миловидная и необыкновенно изящная), я скорее начихаю на всех женщин; пусть все они провалятся к чертовой бабушке»; это любимое его выражение. Он удивлялся, что я могла найти в ней, чтобы так прельститься ее обществом. «С тех пор как эта женщина,— говорил он,— зачастила к нам, пришел конец любимому вашему чтению, которым вы якобы настолько увлечены, что у вас не находится времени отдавать визиты окрестным дамам».

Надо сознаться, я была повинна в некоторой неучтивости по отношению к ним; ведь тамошние дамы, во всяком случае, ничуть не лучше здешних неотесанных сельских барынь; думаю, что для тебя этого достаточно, чтобы понять, почему я уклонялась от всякого сближения с ними.

Наше знакомство продолжалось, однако, целый год — то есть все время, пока лейтенант квартировал в соседнем городе;

но за это мне приходилось терпеть описанное выше обращение мужа, правда, только когда он бывал дома. Надо сказать, он часто отлучался на месяц в Дублин, а однажды уезжал в Лондон на два месяца; я почитала великим для себя счастьем, что при всех этих поездках он ни разу не предлагал мне сопровождать его; своими постоянными насмешками над людьми, которые не могут выехать из дому, не привязав к фалдам жену, как он выражался, он даже давал достаточно ясно понять, что, как бы мне ни хотелось сопровождать его, мое желание все равно останется неисполненным; но, богу известно, такое желание никогда у меня не возникало.

Наконец подруга моя уехала, и я снова была предоставлена своему одиночеству да мучительным размышлениям и находила единственную отраду в книгах. Я читала целые дни напролет... Как ты думаешь, сколько книг прочла я за три месяца?

— Правда, кузина, не могу угадать,— отвечала Софья.— Ну, может быть, десяток?

— Десяток! Сотен пять, милая. Я прочла большую часть «Истории Франции» Даниэля в английском переводе, большую часть «Жизнеописаний» Плутарха, «Атлантиду» Гомера в переводе Попа, пьесы Драйдена, Чиллингворта, графиню д'Онуа и «Опыт о человеческом разуме» Локка.

За это время я написала тетушке три умоляющих и, мне кажется, очень трогательных письма, но так как ни на одно из них ответа не получила, то гордость не позволила мне более обращаться к ней с просьбами.

Тут она замолчала и, пристально посмотрев на Софью, заметила:

— Сдается мне, милая, я прочла в глазах твоих упрек в невнимании к другой особе, у которой я встретила бы больше отзывчивости.

— Право, милая Гарриет,— отвечала Софья,— история твоих бедствий служит достаточным оправданием твоего невнимания. Вот я так действительно виновата в нерадивости, не имея такого извинения. Но сделай милость, продолжай; хоть я вся замираю, но горю нетерпением услышать конец.

После этого миссис Фитцпатрик так продолжала свой рассказ:

— Муж мой отправился вторично в Англию, где пробыл свыше трех месяцев; в течение большей части этого времени я вела жизнь, которую могло сделать для меня переносимой только сравнение с еще худшей жизнью, которую я вела перед тем; ведь человек такого общительного характера, как я, способен примириться с полным одиночеством разве лишь в том случае, когда оно избавляет его от общества людей ему ненавистных. В довершение своего

несчастия я потеряла ребенка. Я вовсе не хочу сказать, чтобы я чувствовала к нему ту безумную привязанность, на которую, мне кажется, была бы способна при других обстоятельствах, но, во всяком случае, я решила исполнять обязанности самой нежной матери, и эти заботы облегчали для меня ношу, которая кажется нам самой тяжелой, что есть на свете, когда ложится бременем на наши руки.

Целых десять недель провела я почти в полном одиночестве, не видя никого, кроме своих слуг и очень немногих гостей; и вот ко мне приехала из отдаленной части Ирландии молодая дама, родственница моего мужа,— она уже однажды гостила у меня неделю, и я горячо просила ее заехать снова. Очень милая женщина, усовершенствовавшая прекрасные природные дарования тщательным воспитанием. Словом, она была для меня желанной гостьей.

Через несколько дней по приезде, видя, что я подавлена, дама эта без всяких расспросов, так как ей все было отлично известно, принялась выражать соболезнование моей участи. Она сказала, что хотя благовоспитанность не позволяла мне жаловаться родным моего мужа на его поведение, однако все они очень огорчены и сочувствуют мне, особенно она сама. После нескольких общих рассуждений на эту тему, с которыми я не могла не согласиться, она, после многих предосторожностей и наказав хранить молчание, сообщила мне под строжайшим секретом... что муж мой содержит любовницу.

Ты, вероятно, воображаешь, что я выслушала это известие совершенно равнодушно?.. Если так, то, честное слово, ты заблуждаешься. Презрение не до такой степени укротило мой гнев на мужа, чтобы он не вспыхнул по этому поводу с новой силой. Что за причина этого явления? Неужели мы такие отвратительные эгоисты, что способны огорчаться, когда другие завладевают даже тем, что мы презираем, или так отвратительно тщеславны и считаем это величайшим оскорблением нашему тщеславию? Как ты думаешь, Софья?

— Право, не знаю,— отвечала Софья,— я никогда еще не погружалась в такие глубокие размышления, но думаю, что та дама поступила очень дурно, открыв тебе эту тайну.

— И все же, милая, это совершенно естественный поступок,— возразила миссис Фитцпатрик.— Когда ты увидишь и прочтешь столько, сколько прочла я, ты со мной согласишься.

— Мне прискорбно слышать, что ты называешь такой поступок естественным,— сказала Софья.— По-моему, не нужно ни чтения, ни житейской опытности, чтобы быть убежденной в его бесчестности и злобности; и мало того, рассказывать мужу о про-

ступках жены или жене о проступках мужа есть признак невоспитанности,— это все равно, что говорить им о их собственных недостатках.

— Как бы то ни было,— продолжала миссис Фитцпатрик,— муж мой наконец вернулся. Если я правильно разбираюсь в своих чувствах, то я возненавидела его больше, чем когда-нибудь, но презирала меньше: несомненно, ничто так не ослабляет нашего презрения, как обида, нанесенная нашей гордости или нашему тщеславию.

Обращение его со мной теперь настолько переменилось против недавнего и сделалось настолько похожим на то, как он вел себя в первую неделю нашего супружества, что, сохранись во мне хоть искра любви, мое сердце могло бы снова загореться нежностью к нему. Но если презрение может смениться ненавистью и даже быть вовсе ею вытеснено, то любовь, по-моему, вытеснить презрение не может. Дело в том, что любовь — страсть слишком неспокойная, она не может найти удовлетворения в предмете, который не приносит удовольствия; а испытывать желание любви и не любить невозможно, как невозможно иметь глаза и не видеть. Вот почему, когда муж перестает быть предметом этой страсти, то весьма вероятно, что кто-нибудь другой... Я хочу сказать, милая, если ты сделаешься к мужу равнодушна... если в сердце твоем горит огонь любви... Фу черт, я совсем запуталась.. Впрочем, в таких отвлеченных рассуждениях немудрено потерять связь идей, как говорит мистер Локк. Словом, дело в том... Словом, я уже почти не соображаю, о чем говорю... Да, как я сказала, муж мой вернулся, и его поведение сначала удивило меня; но скоро открылась причина его, и для меня все стало ясно. Коротко говоря, он растратил и промотал все наличные деньги из моего приданого и так как не мог больше заложить свое поместье, то желал теперь раздобыть денег на кутежи продажей моего небольшого имения, чего не мог сделать без моего согласия: добиться от меня этой милости и было единственной причиной всей нежности, которую он напустил на себя

Я наотрез отказала. Я сказала ему — и сказала правду,— что, владей я перед нашей свадьбой целой Индией, она вся была бы отдана в его распоряжение: потому что я постоянно держалась такого правила, что кому женщина отдает свое сердце, тому она должна отдать также и состояние, а так как муж мой был настолько добр, что давно уже вернул мне сердце, то я и решила удержать те гроши, что еще оставались от моего приданого.

Не буду описывать тебе бешенство, в которое привели его эти слова и решительный вид, с каким они были сказаны; не стану также докучать описанием разыгравшейся между нами сцены.

Всплыла на свет, само собой разумеется, и история с любовницей,— всплыла со всеми прикрасами, на какие только способны гнев и презрение.

Мистер Фитцпатрик, по-видимому, был несколько поражен и смутился больше, чем когда-либо, хотя мысли его, ей-богу, всегда были смутные. Впрочем, он не пытался оправдываться, а употребил прием, который, в свою очередь, сильно смутил меня. Он предъявил мне встречное обвинение, ибо притворился ревнивым... Должно быть, от природы он был расположен к ревности, даже наверно так, или дьявол внушил ему это чувство: никто на свете не мог бы сказать обо мне ничего дурного; самые злые языки никогда не осмеливались чернить мое доброе имя. Благодарение богу, репутация моя всегда была такой же незапятнанной, как и моя жизнь; пусть сама ложь обвинит меня в чем-нибудь, если посмеет. Нет, дорогая Серьезница, несмотря на вызывающе дурное обращение мужа, несмотря на оскорбления, которые он наносил моей любви, я твердо решила никогда не давать ни малейшего повода для упреков в этом отношении... И тем не менее, дорогая моя, есть такие злые люди, такие ядовитые языки, что от них не укрыться самой невинности. Самое неумышленное слово, самый случайный взгляд, малейшая непринужденность, невиннейшая вольность будут иными истолкованы вкривь, раздуты бог знает как. Но я презираю, милая Серьезница,— презираю всю эту клевету. Уверяю тебя, я всегда оставалась совершенно равнодушной к этим злобным выходкам. Нет, нет, уверяю тебя, я выше всего этого... Но на чем я остановилась? Ах да, я сказала, что муж мой ревновал. К кому же, спрашивается? Да к кому же, как не к упомянутому лейтенанту. Ему пришлось вернуться на год с лишним назад, чтобы найти какой-нибудь предлог для своей непостижимой ревности, если только он вообще ее чувствовал, а не прибегал к бессовестному притворству, чтобы оскорбить меня.

Но я, наверно, утомила тебя таким множеством подробностей. Теперь я быстро закончу свою историю. После многих сцен, слишком недостойных, чтобы их здесь пересказывать, в которых родственница моя так решительно стала на мою сторону, что мистер Фитцпатрик в заключение выгнал ее из дома, муж мой убедился, что меня невозможно уломать ни кротостью, ни запугиванием, и прибегнул к очень жестокому средству. Ты, может быть, подумаешь — к побоям. Нет, до побоев дело не дошло, хотя он и был очень недалек от них. Он запер меня в мою комнату, не позволив мне иметь ни пера, ни чернил, ни бумаги, ни книг; служанка каждый день стелила мне постель и приносила пищу.

Когда я таким образом просидела в заключении неделю, он явился ко мне и тоном школьного учителя или, что часто одно

и то же, тоном тирана спросил, не пожелаю ли я теперь согласиться. Я очень твердо ответила, что скорее соглашусь умереть.

— Так умирай же, проклятая! — воскликнул он.— Живой из комнаты ты не выйдешь.

Я просидела взаперти еще две недели; сказать правду, моя стойкость была почти сломлена, и я начала подумывать о подчинении, как вдруг, в отсутствие мужа, отлучившегося ненадолго из дому, произошел счастливый случай... Я... в минуту, когда мной стало овладевать жесточайшее отчаяние... в такую минуту все было бы извинительно... в эту самую минуту я получила... Но и за целый час я не пересказала бы тебе всех подробностей... Словом (я не хочу утомлять тебя обстоятельным рассказом), золото — универсальный ключ ко всем замкам — открыло мне двери и выпустило меня на волю.

Я тотчас же поспешила в Дублин, откуда немедленно переправилась в Англию, и теперь еду в Бат, чтобы искать покровительства у тетушки, или у твоего отца, или у любого родственника, который согласился бы меня приютить. Прошлой ночью муж настиг меня в гостинице, где я остановилась и откуда ты уехала за несколько минут до меня; но мне посчастливилось ускользнуть от него и встретиться с тобой.

Вот и конец моей истории, милая Софья; для меня она, конечно, трагическая, но тебе, верно, показалась скучной,— пожалуйста, извини меня.

Софья глубоко вздохнула и сказала:

— Право, Гарриет, я от души тебя жалею!.. Но чего же могла ты ждать? Зачем, зачем вышла ты замуж за ирландца?

— Честное слово, твое порицание несправедливо,— возразила кузина.— Среди ирландцев есть столько же достойных и честных людей, как и среди англичан, и, говоря по правде, даже люди великодушные среди них встречаются чаще. Мне приходилось также наблюдать в Ирландии хороших мужей, которыми Англия как будто не так уж богата. Ты лучше спроси меня, чего я могла ожидать, выйдя замуж за дурака; так скажу тебе печальную истину: я не знала, что он дурак.

— Неужели, по-твоему, дурными мужьями бывают только дураки? — произнесла Софья тихо, изменившимся голосом.

— Ну, это утверждение было бы слишком общим; но дурак, я думаю, скорее всего таким окажется. По крайней мере, среди моих знакомых наибольшие глупцы являются наихудшими мужьями; и я решаюсь утверждать как факт бесспорный, что человек умный редко обращается дурно с женой, если она женщина достойная.

## ГЛАВА VIII

*Страшный переполох в гостинице и приезд неожиданного друга миссис Фитцпатрик*

Софья тоже, по просьбе кузины, рассказала... не то, что следует дальше, а то, что случилось прежде; поэтому читатель, надеюсь, извинит меня, если я не стану повторять происшествий, ему уже известных.

Не могу, впрочем, удержаться от одного замечания по поводу ее рассказа, а именно: от начала и до конца она ни разу не упомянула о Джонсе, как если бы такого человека вовсе не было на свете. Я не буду пытаться объяснить или оправдать это. Действительно, если умолчание Софьи можно назвать нечестным, то такая нечестность тем более непростительна при сравнении с подкупающей откровенностью и очевидной искренностью ее спутницы. Но ничего не поделаешь.

Едва только Софья окончила свой рассказ, как в комнату, где сидели обе дамы, донесся шум, по своей оглушительности напоминающий лай собачьей своры, только что выпущенной из псарни, а по пронзительности — мяуканье котов во время кошачьей свадьбы, или завывание сов, или еще больше (ибо какое животное может подражать человеческому голосу?) — звуки, которые в очаровательных домиках Биллингсгейтского рынка вылетают из уст, а иногда и из ноздрей прекрасных речных нимф, в старину называвшихся наядами, а теперь на низком языке переименованных в торговок устрицами; ибо когда вместо античных возлияний молока, меда и масла благодаря усердию набожных поклонниц в изобилии прольется с самого утра крепкая жидкость, полученная от перегонки можжевеловых ягод или, может быть, солода, то стоит только дерзновенному языку со святотатственной вольностью профанировать, то есть недооценить нежную и жирную мильтоновскую устрицу, свежего плотного палтуса, живую, только что из воды, камбалу, креветку величиной с омара, прекрасную треску, еще несколько часов назад полную жизни, или другое из разнообразных сокровищ, вверенных этим нимфам богами вод, занятыми ловлей в морях и реках,— как гневные наяды тотчас возвышают божественные голоса, и несчастный святотатец поражается глухотой за свое нечестие.

Вот такой именно шум раздался теперь в одной из комнат нижнего этажа; скоро гром, долго грохотавший в отдалении, начал приближаться все больше и больше и, наконец, взобравшись по лестнице наверх, ворвался в комнату, где сидели наши дамы.

Словом, оставляя всякие метафорические и образные выражения, миссис Гонора, яростно набушевав внизу и продолжая все время неистовствовать по пути наверх, влетела в неописуемом бешенстве к госпоже своей, крича:

— Можете себе представить, ваша милость: этот бесстыжий подлец, хозяин, имел наглость сказать мне в глаза,— да что сказать — уверять! — что ваша милость та паршивая, вонючая шлюха (Дженни Камерон, кажется, зовут ее), что бегает по Англии за Претендентом! Мало того. Этот мерзавец, этот лжец не постеснялся уверить меня, что ваша милость сами ему в этом признались! Тут уж я не выдержала и изукрасила мошенника — оставила на его бесстыжей роже следы моих ногтей. «Госпожа моя, поганец ты этакий,— говорю ему,— госпожа моя не лакомство для претендентов. Во всем Сомерсетшире не сыскать другой такой благовоспитанной, родовитой и богатой леди. Неужто ты, чурбан, никогда не слыхал о богатейшем сквайре Вестерне? Она единственная дочь его, она... наследница всех его несметных богатств». И этот прохвост смеет называть госпожу мою пакостной шотландской шлюхой... Ей-ей, жаль, что я ему голову не размозжила пуншевой чашей!

Во всей этой истории Софью больше всего огорчила сама Гонора, открывшая в сердцах, кто она такая. Впрочем, так как ошибка хозяина удовлетворительно объясняла некоторые его фразы, превратно истолкованные Софьей ранее, то она на этот счет несколько успокоилась, и на губах ее невольно появилась улыбка. Это еще пуще разожгло гнев Гоноры.

— Право, сударыня,— проговорила она,— я не думала, что ваша милость обратит все это в шутку. Позволять такому бесстыжему грубияну называть вас шлюхой! Ваша милость может сердиться на меня, если угодно, за то, что я взяла вашу сторону, потому что оказанная услуга, как говорится, в нос бьет; но, воля ваша, не могла я потерпеть, чтоб мою барышню шлюхой называли, и никогда не потерплю. Что бы мне ни говорили, а я думаю, ваша милость такая добродетельная, как ни одна дама, ступавшая по английской земле, и я глаза выцарапаю каждому негодяю, позволь он себе, посмей только сказать хоть словечко наперекор. Никто еще не мог сказать ничего дурного ни про одну даму, у которой я служила.

Hinc illae lacrimae[1]. Говоря начистоту, Гонора любила госпожу свою столько, сколько слуги обыкновенно любят господ своих, то есть... Но, кроме того, гордость заставляла ее защищать доброе имя дамы, у которой она служила, потому что она

[1] Отсюда эти слезы *(лат.)*.

считала, что с добрым именем госпожи тесно связано ее собственное доброе имя. Чем ярче сияла добродетель госпожи, тем выше, думала она, стоит и ее собственная репутация, и наоборот — помрачаясь, одна неизбежно должна была бросать тень на другую.

В связи с этим, читатель, я должен на минуту остановиться, чтоб рассказать тебе одну историйку. «Знаменитая Элен Гуин, выйдя однажды из дома, где пробыла недолго в гостях, и садясь в карету, увидела большую толпу, окружившую ее лакея, окровавленного, всего в грязи. На вопрос госпожи, почему он в таком неказистом виде, малый отвечал: «Я подрался с одним мерзавцем, сударыня, назвавшим вашу милость шлюхой».— «Вот болван,— возразила миссис Гуин,— этак тебе придется всю жизнь каждый день драться, ведь это всему свету известно, дурак».— «Известно,— пробормотал лакей, захлопывая дверцу.— Мало ли что, все-таки они не смеют называть меня лакеем шлюхи».

Таким образом, гнев миссис Гоноры представляется довольно естественным, даже если бы его нельзя было объяснить иначе; но в действительности у него была и другая причина; чтобы ее понять, пусть читатель вспомнит одно обстоятельство, упомянутое в приведенном выше сравнении. Есть жидкости, которые, поливая наши страсти или пламя, производят действие, прямо противоположное действию воды, то есть скорее разжигают и увеличивают огонь, чем тушат его. К числу таких жидкостей принадлежит и благородный напиток, называемый пуншем. Следовательно, не без основания ученый доктор Чейн говорил, что пить пунш — это все равно, что лить жидкое пламя в горло.

А миссис Гонора, к несчастью, налила столько этого жидкого пламени в глотку, что дым от него начал подниматься в черепную коробку и застлал глаза Разуму, там пребывающему, тогда как самое пламя легко проникло из желудка в сердце и зажгло в нем благородное чувство гордости. Таким образом, после всего изложенного мы уже не будем удивляться бешеному гневу служанки, хотя на первый взгляд причина, нужно признать, кажется не соответствующей действию.

Софья с кузиной приложили все старания, чтобы потушить это пламя, с таким шумом бушевавшее по всему дому. В конце концов это им удалось, или, продолжая нашу метафору, огонь, истребив весь горючий материал, доставляемый языком, то есть все известные ему бранные слова, потух сам собой.

Но если наверху спокойствие восстановилось, то внизу положение было другое: хозяйка, близко приняв к сердцу ущерб, нанесенный красоте ее супруга живыми скребками миссис Гоноры, вопияла о мщении и о правосудии. Что же до бедняги хозяина,

больше всего потерпевшего в схватке, то он был совершенно спокоен. Может быть, потерянная им кровь охладила его пыл, ибо неприятель не только вонзил ногти ему в щеки, но еще и прикоснулся кулаком к его ноздрям, которые от этого заплакали горючими кровавыми слезами; сюда следует прибавить еще размышления по поводу допущенной им ошибки. Но умиротворению его чувств больше всего содействовало, пожалуй, то, каким образом он открыл свой промах,— ибо, что касается поведения миссис Гоноры, то оно только подтвердило его мнение; разуверила же его одна важная особа, прибывшая с большой помпой и сообщившая ему, что одна из остановившихся у него дам — женщина светская и его близкая знакомая.

По приказанию этой особы хозяин поднялся наверх и сообщил нашим прекрасным путешественницам, что один важный господин желает удостоить их своим посещением. Услышав это, Софья побледнела и задрожала, хотя читатель найдет, что для отца ее, несмотря на неуклюжую речь хозяина, поручение было слишком учтивым; но страх постоянно грешит тем же, чем и мировые судьи: он строит поспешное заключение на основании самых ничтожных данных, не разобрав как следует показаний обеих сторон.

Поэтому, скорее для удовлетворения любопытства читателя, чем для того чтобы рассеять его опасения, сообщим ему, что поздно вечером в гостиницу, по пути в Лондон, прибыл один ирландский пэр. При звуках только что описанного нами урагана джентльмен этот вскочил из-за стола, не кончив ужина, увидел камеристку миссис Фитцпатрик и после краткого допроса узнал, что наверху находится госпожа ее, с которой он был очень коротко знаком. Получив это известие, он в ту же минуту обратился к хозяину, успокоил его и послал наверх с приветствием, поучтивее того, которое тот в действительности передал.

Читатель, может быть, удивится, почему поручение это не было возложено на самое камеристку; но мы с прискорбием должны сказать, что она тогда неспособна была исполнить ни это, ни вообще какое бы то ни было поручение. Ром (так хозяину угодно было называть жидкость, полученную от перегонки солода) низким образом воспользовался усталостью, одолевавшей бедную женщину, и произвел самый сокрушительный натиск на ее благородные способности в то время, когда они бессильны были оказать ему сопротивление.

Мы не станем описывать эту трагическую сцену во всех подробностях; но историку подобает быть добросовестным, и потому мы сочли долгом вкратце намекнуть, как было дело, иначе с удовольствием обошли бы все это молчанием. Действительно, многие

историки, лишенные этой добросовестности или аккуратности, чтобы не сказать хуже, часто предоставляют читателю самому разыскивать во мраке эти мелочи, что подчас очень его путает и сбивает с толку.

Софья вскоре оправилась от своего неосновательного страха, когда к ним вошел благородный пэр, который был не только коротким знакомым миссис Фитцпатрик, но и самым преданным ее другом. Сказать правду, его-то помощи последняя и была обязана тем, что ей удалось удрать от мужа, ибо сей благородный джентльмен отличался доблестями, украшавшими знаменитых рыцарей, о которых мы читаем в героических эпопеях, и освободил не одну томившуюся в заточении красавицу. Дикое насилие, так часто учиняемое мужьями и отцами над юными и миловидными представительницами другого пола, встречало в лице его еще более заклятого врага, чем грубая власть волшебников в лице странствующих рыцарей; по правде сказать, у меня часто даже возникало подозрение: не были ли эти пресловутые волшебники, которыми изобилуют все рыцарские романы, попросту мужьями того времени, а очарованный замок, в котором, говорят, томились красавицы,— самим замужеством?

Этот благородный рыцарь был соседом Фитцпатрика по имению и не так давно познакомился с его женой. Прослышав, что она заточена, он деятельно принялся за ее освобождение, которого вскоре и добился,— не при помощи штурма замка, по примеру древних героев, а через подкуп его правителя, согласно с нынешним военным искусством, которое ловкость предпочитает храбрости и находит золото более верным оружием, чем свинец или сталь.

Так как, однако, миссис Фитцпатрик сочла это обстоятельство недостаточно существенным, чтобы упоминать о нем приятельнице, то и мы тогда не сообщили о нем читателю,— мы предпочли оставить его на некоторое время в убеждении, будто она нашла, или отчеканила, или другими какими-нибудь необыкновенными, даже, может быть, сверхъестественными средствами раздобыла деньги, при помощи которых подкупила тюремщика,— только бы не прерывать рассказ намеком на обстоятельство, казавшееся ей самой слишком ничтожным и не стоящим упоминания.

После краткого обмена приветствиями пэр не мог скрыть удивления, что встретил миссис Фитцпатрик в этом месте, между тем как был уверен, что она отправилась в Бат. Миссис Фитцпатрик ответила очень непринужденно, что от принятого намерения ее отклонило прибытие особы, имя которой нет надобности называть.

— Словом,— сказала она,— я была настигнута мужем (к чему скрывать теперь то, что уже прекрасно известно всему свету). Мне посчастливилось самым удивительным образом ускользнуть от него, и сейчас я еду в Лондон вместе с этой молодой дамой, моей близкой родственницей, которая вырвалась от такого же сурового тирана, как и мой муж.

Его светлость, вообразив, что и этот тиран тоже муж, произнес речь, в которой принес усердные поздравления обеим дамам и жестоко разбранил представителей сильного пола, высказав даже несколько косвенных замечаний по поводу самого института брака и несправедливых прав, предоставляемых мужчинам над более разумной и более достойной частью человеческого рода. Слово свое он кончил предложением покровительства и кареты шестерней, каковое было немедленно принято миссис Фитцпатрик, а после ее уговоров также и Софьей.

Когда все это было устроено, его светлость простился, а дамы улеглись в постель, где миссис Фитцпатрик произнесла кучу похвал характеру благородного пэра и чрезвычайно распространилась о его горячей любви к своей жене, говоря, что он, может быть, единственный человек высокого звания, совершенно не осквернивший супружеского дома.

— Ах, дорогая Софья,— прибавила она,— какая это редкая добродетель среди людей высокопоставленных! Не жди ее, когда выйдешь замуж, потому что, поверь, тебя постигнет разочарование.

Легкий вздох вылетел у Софьи при этих словах, которые были, может быть, причиной того, что ей приснился не очень приятный сон; но так как она никому своего сна не рассказывала, то читателю нечего рассчитывать найти его на этих страницах.

## ГЛАВА IX

*Утро, изображенное изысканным словом. Почтовая карета. Учтивость горничных. Героический характер Софьи. Награжденная щедрость. Отъезд всей компании и ее прибытие в Лондон. Некоторые замечания, полезные для путешественников*

Члены общества, рожденные на то, чтобы производить жизненные блага, начали зажигать свечи, чтобы приняться за дневной труд свой на потребу тех, которые рождены наслаждаться означенными благами. Дюжий батрак прислуживал при утреннем туалете своего товарища по труду — вола; искусный ремесленник, прилежный мастеровой вскакивали с жестких тюфяков, а жизне-

радостная горничная начинала убирать приведенную в беспорядок большую залу, между тем как буйные виновники этого беспорядка метались и ворочались в беспокойном сне, как если бы пуховые перины тревожили их покой.

Говоря попросту, часы только пробили семь, а наши дамы уже собирались в дорогу; по их просьбе его светлость со свитой тоже были готовы к этому часу.

Тут возникло одно затруднение, а именно: где поместиться самому лорду. Правда, в почтовых каретах, где на пассажиров смотрят только как на груз, находчивый кучер совершенно свободно усаживает шестерых на пространстве, отведенном для четверых; он отлично ухитряется устроить так, чтобы дородная трактирщица или хорошо упитанный олдермен занимали не больше места, чем тоненькая мисс или похожий на свечку мальчик: ведь каждое брюхо, если его хорошенько стиснуть, уступит давлению и уместится на малом пространстве. Однако в тех экипажах, что для отличия называются барскими каретами, хотя они часто бывают просторнее наемных, этот способ упаковки никогда не применяется.

Его светлость очень любезно изъявил готовность ехать верхом, сказав, что таким путем затруднение сразу будет устранено; но миссис Фитцпатрик ни за что не пожелала согласиться с этим. Тогда было решено, что Авигеи будут попеременно ехать на одной из лошадей его светлости, которую мигом снабдили для этой цели дамским седлом.

Расплатившись по счетам, дамы отпустили своих проводников, а Софья сделала подарок хозяину, в награду частью за синяки, полученные им при ее падении на него, а частью за то, что он претерпел от длани ее разъяренной камеристки. Тут Софья обнаружила пропажу, причинившую ей некоторое беспокойство: она потеряла стофунтовый банковый билет, подаренный ей отцом во время последнего свидания и в настоящую минуту составлявший, вместе с незначительной мелочью, все ее богатство. Она искала повсюду, перерыла и перетрясла все свои вещи, но безрезультатно: билета нигде не было; в конце концов она пришла к убеждению, что выронила его из кармана во время злополучного падения с лошади на тенистом проселке, как уже было изложено; тем более что, как она припоминала, в карманах у нее произошло в то время какое-то перемещение, а перед самым падением она с большим трудом достала оттуда платок, чтобы помочь миссис Фитцпатрик подвязать шляпу.

Несчастья подобного рода, даже сопряженные с большими неприятностями, не способны обескуражить человека с твердым характером, если он не скупец. Поэтому Софья, хотя потеря слу-

чилась чрезвычайно не ко времени, быстро преодолела свое огорчение и с обычным безмятежным и веселым видом вернулась к поджидавшему ее обществу. Его светлость усадил в карету обеих дам, а также миссис Гонору, которая после долгих церемоний и отнекиваний наконец уступила учтивым настояниям горничной миссис Фитцпатрик и согласилась первая воспользоваться местом в карете, где охотно и осталась бы во все время пути, если бы Софья после многих бесплодных намеков не заставила ее наконец сесть, в свою очередь, на лошадь.

Когда таким образом все уселись, карета тронулась в сопровождении множества слуг, возглавляемых двумя капитанами, которые ранее ехали с его светлостью и могли бы быть высажены из кареты по гораздо менее уважительной причине, чем забота об удобствах двух дам. Тут они поступили просто как джентльмены, но готовы были в любую минуту взять на себя обязанности лакеев или даже согласиться на что-нибудь еще более низкое ради чести находиться в обществе его светлости и лакомиться за его столом.

Хозяин гостиницы остался так доволен подарком Софьи, что скорее рад был своим синякам и царапинам, чем горевал о них. Читатель, может быть, полюбопытствует узнать quantum [1] этого подарка; но мы не в состоянии удовлетворить его любознательности. Каковы бы ни были размеры подарка, он вознаграждал хозяина за все его увечья; трактирщик жалел лишь, что не знал раньше, как мало его гостья дорожит деньгами. «Ведь за каждую услугу,— говорил он,— можно было бы запросить вдвойне, и она не стала бы придираться к счету».

Жена его, однако, была далека от такого вывода; точно ли она приняла ближе к сердцу, чем муж, нанесенную ему обиду, я не берусь сказать, но, несомненно, она была гораздо меньше удовлетворена щедростью Софьи.

— Поверь, друг мой,— сказала она,— дама эта знает лучше, чем ты воображаешь, как распоряжаться своими деньгами. У ней были все основания думать, что мы так этого не оставим, и суд обошелся бы ей куда дороже, чем эта безделка, которую я удивляюсь, зачем ты принял.

— Ах, какая же ты умница,— язвительно сказал муж.— Суд обошелся бы ей дороже! Я знаю это, милая, не хуже тебя. Но разве то, чем она поплатилась бы, попало бы в наши карманы? Понятно, если бы жив был сын мой Том, стряпчий, я бы с радостью всучил ему это дельце; уж он бы на нем поживился. Но у меня нет

---

[1] Величину *(лат.)*.

теперь родственников стряпчих, так на кой же прах тягаться, чтобы чужие выгадывали!

— Что ж,— отвечала жена,— тебе лучше знать.

— Я думаю. Уж если где деньгами пахнет, так я пронюхаю не хуже другого. Не каждый, позволь тебе сказать, сумеет красным словцом денежки выманить. Да, заметь себе, не каждому удалось бы заставить ее раскошелиться, хорошенько заметь.

Жена вполне присоединилась к этому мнению и начала расхваливать сметливость мужа; тем и кончился краткий разговор между супругами по этому случаю.

Расстанемся же с почтенной четой и последуем за пэром и его прекрасными спутницами, поездка которых была вполне благополучна, так что они сделали девяносто миль в два дня и прибыли в Лондон без всяких приключений, стоящих того, чтоб о них рассказывать. Перо наше будет подражать темпам путешествия, которое оно описывает, и история пойдет в ногу с путешественниками, составляющими ее предмет. И точно, хорошему читателю следовало бы брать пример с любознательного путешественника, который всегда соразмеряет продолжительность остановок с красотами, достопримечательностями и диковинками той или иной местности. В Эшере, Стоу, Вильтоне, Истбери и Прайорс-Парке дни кажутся слишком короткими: так восхищает наше воображение зрелище природы, украшенной чудесной силой искусства. В некоторых из этих мест мы бываем поражены главным образом искусством; в других — природа и искусство оспаривают друг у друга наше одобрение; в третьих — одерживает верх природа. Тут является она в самом богатом своем убранстве, а искусство, в одежде простой и скромной, сопровождает свою милостивую повелительницу. Здесь внешняя природа расточает изысканнейшие сокровища, какие только есть в ее распоряжении на этом свете. А там природа человеческая представляет вам предмет, который может быть превзойден разве только на том свете.

Тот же вкус и то же воображение, которые упиваются этими изысканными сценами, могут, однако, найти удовольствие и в предметах гораздо более скромных. Леса, реки, лужайки Девона и Дорсета привлекают внимание любознательного путешественника и заставляют его замедлить шаг; зато, чтоб наверстать упущенное время, он быстро проезжает мрачные пустыри Бэгшота или ту очаровательную равнину, что тянется к западу от Стокбриджа, где на пространстве в шестнадцать миль взору предстанет лишь одинокое дерево, и только облака, сжалившись над угнетенным путешественником, радуют его зрелищем воздвигаемых в небе роскошных дворцов.

Не так путешествует торговец, погруженный в денежные выкладки, проницательный судья, прославленный доктор, тепло одетый прасол и все многочисленные дети богатства и тупости. Одинаково размеренно трусят они верхом и по зеленеющим лугам, и по бесплодным степям, со скоростью ровно четыре с половиной мили в час; тупо уставясь вперед, всадник и лошадь одинаковыми глазами созерцают попадающиеся им на пути предметы. С одинаковым восторгом обозревает почтенный всадник и величественные создания архитектуры, и те превосходные здания, которыми неведомая рука украсила богатый мануфактурный город, где груды кирпичей нагромождены как бы в память того, что раньше здесь громоздились груды золота.

А теперь, читатель, так как мы торопимся вернуться к нашей героине, предоставим твоей сметливости приложить все это к писателям тупоумным и тем, что являются их противоположностью. Ты легко справишься с этим и без нашей помощи. Пораскинь же умом; хотя в трудных местах мы всегда готовы подать тебе посильную помощь, так как не ждем, подобно иным нашим собратьям, что ты прибегнешь к гаданию для уразумения наших замыслов, однако не будем потакать твоей лени там, где от тебя требуется одно только внимание. Ты глубоко ошибаешься, если воображаешь, что, предприняв это великое творение, мы нисколько не рассчитывали на твою сообразительность или что ты получишь возможность с удовольствием и пользой для себя путешествовать по нашим страницам, ни разу не пустив в ход смекалки.

## ГЛАВА X,

*содержащая два-три замечания насчет добродетели и немного более насчет подозрительности*

Приехав в Лондон, наши дамы остановились в доме его светлости, и, пока они отдыхали, утомленные путешествием, слугам было приказано подыскать для них помещение; так как ее светлости не было тогда в городе, то миссис Фитцпатрик наотрез отказалась ночевать под кровом пэра.

Иные читатели, может быть, осудят такую необыкновенную, если можно так выразиться, деликатность добродетели, как слишком манерную и преувеличенную; но мы должны принять в расчет положение миссис Фитцпатрик, которое нельзя не признать весьма щекотливым; а если еще вспомнить о существовании злых языков, то надо сказать, что пусть тут и было преувеличение — однако преувеличение в хорошую сторону, которому не

мешало бы подражать каждой женщине, попавшей в такое положение. Самая строгая внешняя добродетель, когда она только внешняя, может, пожалуй, при отвлеченном рассмотрении казаться не столь похвальной, как добродетель, у которой отсутствует эта строгая внешность, и все-таки первую всегда будут хвалить больше; но, во всяком случае, надеюсь, никто не станет возражать, что то или другое — добродетель или ее внешность — необходимы каждой женщине, кроме разве некоторых особых случаев.

Помещение было приготовлено, и Софья отправилась туда ночевать вместе с кузиной, но решила рано поутру навести справки о той даме, под покровительство которой, как мы уже говорили, намеревалась отдаться, покидая родительский дом. Намерение это еще более в ней укрепилось после некоторых наблюдений, сделанных во время путешествия в карете.

Так как нам вовсе не хотелось бы наделять Софью неблагородным, подозрительным характером, то мы не без страха решаемся открыть читателю преследовавшее ее теперь странное представление о миссис Фитцпатрик, насчет которой у нее закрались некоторые сомнения; сомнения эти настолько свойственны самым дурным людям, что мы не считаем возможным изложить их подробнее, не высказав предварительно двух-трех замечаний насчет подозрительности вообще.

Мне всегда казалось, что есть две степени подозрительности. Причину первой я склонен выводить прямо из сердца, так как крайняя быстрота ее суждений, по-видимому, указывает на наличие некоторого внутреннего импульса, тем более что эта высшая степень подозрительности часто сама создает свои предметы: видит то, чего нет, и всегда больше того, что есть в действительности. Это та дальнозоркая проницательность, от ястребиных глаз которой не ускользает ни одно проявление зла, которая наблюдает не только поступки, но слова и взгляды человека и, проистекая из сердца наблюдателя, глубоко погружается в сердце наблюдаемого и выслеживает там зло еще, так сказать, в зародыше, даже подчас раньше его зачатия. Достойна восхищения способность, если б она была непогрешима; но о такой степени совершенства смертным нечего и помышлять, и ограниченность этой тонкой способности часто причиняет большие страдания и тяжелое горе невинности и добродетели. Поэтому я не могу не смотреть на эту прозорливость по части распознавания зла как на порочную крайность и как на весьма пагубное зло само по себе. Я тем более укрепляюсь в своем мнении, что, боюсь, источником этой прозорливости всегда служит злое сердце,— по причинам, уже упомянутым выше, и еще одной, а именно: я никогда не встречал ее в добрых людях.

Такого рода подозрительность я целиком и начисто отвергаю в Софье.

Вторая степень этого качества, по-видимому, исходит от ума. Она есть не что иное, как способность видеть то, что происходит перед вашими глазами, и выводить заключения из того, что вы видите. Первое является неотъемлемой принадлежностью каждого, у кого есть глаза, а второе, пожалуй, таким же несомненным и неизбежным следствием наличия в голове некоторого количества мозга. Эта подозрительность такой же заклятый враг преступления, как первая — заклятый враг невинности, и я не могу рассматривать ее в неблагоприятном свете, хотя бы даже по несовершенству человека она допускала иногда промахи. Например, если бы муж случайно застиг жену на коленях или в объятиях одного из тех красавчиков, что занимаются искусством ставить рога, то я, кажется, не стал бы особенно порицать его за выводы, заключающие больше того, что он видел, но сделанные на основании близости, которую он наблюдал собственными глазами и к которой мы проявили бы слишком милостивое отношение, если бы назвали ее невинной вольностью. Читатель и сам легко придумает сколько угодно таких примеров; я прибавлю еще только один, который хотя и может иным показаться противным духу христианства, однако, с моей точки зрения, вполне простителен: я имею в виду подозрение, что человек способен сделать то, что он уже делал, и что если он поступил бесчестно однажды, то может поступить бесчестно и впредь. Признаться откровенно, в такого рода подозрительности Софья, я думаю, была повинна. И действительно, эта подозрительность внушила ей мысль, что кузина ее не лучше, чем можно было ожидать.

Дело, видно, обстояло так: миссис Фитцпатрик мудро рассудила, что добродетель молодой дамы в свете находится в положении бедного зайца, который, куда он ни кинься, везде встретит неприятеля,— потому что кого же еще ему встретить? И вот, вознамерившись при первом же удобном случае отказаться от покровительства мужа, она решила тотчас же отдаться под покровительство другого мужчины. Кого же ей приличнее было выбрать в опекуны, как не особу знатную, богатую, благородную? Кто — не говоря уже о галантных наклонностях, побуждающих людей делаться странствующими рыцарями, то есть защитниками угнетенных дам,— кто, спрашивается, чаще заявлял ей о своей безграничной преданности и уже представил все, какие были в его власти, доказательства этой преданности?

Но так как закон опрометчиво умалчивает об обязанностях заместителя мужа сбежавшей из дому жены или ее опекуна и так как человеческая злоба склонна бывает назвать эту роль более

резким словом, то было решено, что его светлость будет отправлять свои приятные обязанности по отношению к миссис Фитцпатрик втайне, не принимая открыто звания покровителя. И даже, чтобы не дать никому повода рассматривать его в этом свете, условлено было, что миссис Фитцпатрик проследует прямо в Бат, а его светлость раньше заедет в Лондон, а уже оттуда, по предписанию врачей, отправится в Бат.

Софья узнала обо всем этом не из уст или поступков миссис Фитцпатрик, а от пэра, который в искусстве хранить тайну неизмеримо уступал этой милой даме; и, может быть, гробовое молчание миссис Фитцпатрик насчет этого пункта во время ее рассказа не в малой степени укрепило подозрения, возникшие теперь в уме ее кузины.

Софья без всякого труда отыскала ту даму, у которой хотела остановиться, потому что в Лондоне не было носильщика портшеза, который бы не знал ее дома; получив в ответ на свое первое письмо очень горячее приглашение, она немедленно его приняла. Миссис Фитцпатрик, надо сказать, упрашивала кузину остаться с ней ровно столько, сколько требовало приличие. Догадалась ли она о вышеупомянутых подозрениях и обиделась, или по другой какой причине, не могу сказать, но верно то, что она так же сильно хотела расстаться с Софьей, как Софья поскорее уехать.

Придя попрощаться с кузиной, героиня наша не удержалась от того, чтобы дать ей маленький совет. Она умоляла ее во имя неба вести себя осмотрительно и не забывать, в каком опасном положении она находится, прибавив, что у нее, наверно, еще найдется способ примириться с мужем.

— Припомни, дорогая моя,— сказала она,— правило тетушки Вестерн, которое она так часто повторяла нам обеим: когда брачный союз расторгнут и между мужем и женой объявлена война, то мир на любых условиях всегда будет выгоден для жены. Это подлинные слова тетушки, а ведь она женщина, хорошо знающая свет.

Миссис Фитцпатрик отвечала с презрительной улыбкой:

— Не бойся за меня, душа моя, и присмотри лучше за собой: ты ведь моложе меня. Через несколько дней я зайду навестить тебя; позволь, однако, дать и тебе маленький совет: оставь ты свою роль Серьезницы в деревне, потому что, поверь мне, в Лондоне ты будешь казаться в ней очень неуклюжей.

На этом кузины расстались, и Софья отправилась прямо к леди Белластон, у которой встретила самый радушный и любезный прием. Она очень понравилась леди, еще когда та познакомилась с ней в гостях у тетки Вестерн. Леди Белластон была действительно

чрезвычайно рада увидеть ее и, узнав о причинах, побудивших Софью покинуть сквайра и бежать в Лондон, горячо похвалила ее за здравый смысл и решительность действий; оставшись очень довольной доверием к ней Софьи, выбравшей дом ее в качестве убежища, она обещала молодой девушке все свое покровительство.

Теперь, когда мы передали Софью в надежные руки, читатель, полагаю, согласится оставить ее там на время и взглянуть на других наших героев, в особенности на беднягу Джонса, которого мы покинули уже так давно, что он успел покаяться в своих прегрешениях; да они и сами по себе — такова природа порока — послужили ему достаточным наказанием.

# КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩАЯ КНИГА

## ГЛАВА I,

*объясняющая, что следует считать плагиатом у нынешних писателей и что надо рассматривать как их законную добычу*

Просвещенный читатель, верно, заметил, что на протяжении этого грандиозного произведения я часто приводил отрывки из лучших древних писателей, не указывая подлинника и вообще не делая никаких ссылок на книгу, из которой их заимствовал.

Прекрасное объяснение этого приема мы можем найти у аббата Банье, в его предисловии к «Мифологии» — произведению великой учености и проницательности. «Читатель легко заметит,— говорит он,— что часто я о нем заботился больше, чем о собственной репутации; разве автор не проявляет внимания к читателю, если в угоду ему удаляет ученые ссылки, которые напрашиваются в его работе и которые стоили бы ему столько труда, затрачиваемого на списывание».

Уснащать свое произведение такими обрывками — значит, в сущности, нагло обманывать образованных людей, навязывая им в розницу и по мелочам товар, которым они запаслись уже оптом и хранят если не в своей памяти, то на полках своей библиотеки; еще более неучтиво это по отношению к людям необразованным, которым предлагают платить за вещи, для них совершенно бесполезные. Писатель, щедро пересыпающий свои произведения греческими и латинскими цитатами, поступает с дамами и светскими кавалерами так же жульнически, как аукционеры, которые постоянно норовят так перемешать и составить такие комбинации из продажных вещей, что, желая приобрести необходимые, вы при-

нуждены покупать вместе с тем и предметы, вам совершенно ненужные.

Но так как нет такого благородного и бескорыстного поступка, который не был бы понят ошибочно невежеством и истолкован вкривь злобой, то меня порой соблазняло желание поддержать свое доброе имя в ущерб читателю и списать подлинник или, по крайней мере, сделать ссылку на главу и стих, когда я пользовался чужой мыслью или выражением. И я, право, нахожусь в некотором сомнении, не пострадала ли моя репутация от применения противоположного метода и не заподозрили ли меня за утайку имен настоящих авторов скорее в плагиате, чем в тех благородных побуждениях, о которых правильно говорит прославленный француз.

И вот, чтобы избежать всех таких обвинений на будущее время, я хочу здесь чистосердечно признаться в своем преступлении и оправдать его. Древних писателей можно рассматривать как тучное пастбище, где каждый владеющий хотя бы небольшим клочком земли на Парнасе имеет полное право откармливать свою музу. Или, говоря начистоту, современные писатели по отношению к древним — то же, что бедняки по отношению к богачам. Под бедняками я разумею здесь ту многолюдную и почтенную корпорацию, которая обыкновенно называется чернью. А всякий, удостоившийся чести быть допущенным к более или менее короткому общению с этой чернью, отлично знает, что одно из ее первейших правил — без зазрения совести грабить и обирать богатых соседей, причем это не считается у нее ни грехом, ни позором. Она так твердо придерживается этого правила и соответственно действует, что почти в каждом приходе нашего королевства существует сообщество, постоянно злоумышляющее против некоторого зажиточного лица, называемого сквайром, имущество которого рассматривается всеми беднякими соседями как их законная добыча; не видя в его расхищении ничего преступного, они считают делом чести и своей нравственной обязанностью укрывать и защищать друг друга от наказания во всех подобных случаях.

Соответственным образом и нам, писателям, следует смотреть на древних, вроде Гомера, Вергилия, Горация, Цицерона и других, как на богатых сквайров, у которых мы, бедняки Парнаса, с незапамятных времен пользуемся правом брать все, что попадет нам под руку. Этого права я прошу и для себя, готовый, в свою очередь, признать его за своими неимущими ближними. Все, на чем я настаиваю, чего я требую от своих собратьев,— это соблюдать в своем кругу такую же строгую честность, какая принята у черни. Воровать друг у друга действительно весьма преступно и неприлично, ведь такое воровство справедливо может быть названо

обиранием бедняков (которые иногда беднее нас самих) или же — изобразим его в самом постыдном свете — ограблением больницы.

Если, таким образом, при самом тщательном исследовании совесть не может уличить меня ни в одной такой презренной краже, то я охотно признаю себя виновным в обирании богачей; никогда я также не постесняюсь заимствовать тот или иной отрывок у древних авторов, умолчав, у кого именно он взят. Мало того: я категорически настаиваю, что все такие мысли становятся моей неотъемлемой собственностью, как только они вписаны в мои сочинения, и прошу всех читателей с той минуты так на них и смотреть. Однако я настаиваю на предоставлении мне этого права только при условии, что буду вести себя безукоризненно честно по отношению к моим бедным собратьям, и если мне случится заимствовать у них какую-нибудь безделицу, я никогда не забуду поставить на ней клеймо законного владельца, чтобы в любую минуту она могла быть возвращена по принадлежности.

В таком упущении чрезвычайно провинился некий мистер Мур; позаимствовав еще ранее несколько строк у Попа и компании, он набрался смелости вписать целых шесть из них в свою пьесу «Соперничество мод». Впрочем, мистер Поп счастливо нашел их в означенной пьесе, извлек оттуда свою собственность и перенес обратно в свои произведения, а Мура, чтобы ему впредь неповадно было, заключил в ужасную тюрьму «Дунсиады», где память о нем и теперь живет и будет жить до скончания века в наказание за такое некрасивое воровство на рынке поэзии.

## ГЛАВА II,

*в которой сквайр хотя и не находит своей дочери, зато находит нечто, полагающее конец ее преследованию*

История наша снова приводит нас в эптонскую гостиницу, откуда мы сначала направимся по следам сквайра Вестерна; так как они нас далеко не заведут, то мы будем иметь довольно времени, чтобы заняться нашим героем.

Читатель благоволит вспомнить, что упомянутый сквайр покинул гостиницу вне себя от бешенства и в этом возбужденном состоянии пустился в погоню за дочерью. Узнав от конюха, что она переправилась через Северн, он, в свою очередь, переправился со свитой через эту реку и поскакал во весь опор, грозя жестоко отомстить Софье, если ее настигнет.

Вскоре кавалькада очутилась у перекрестка. Сквайр поспешно созвал военный совет, на котором, выслушав разноречи-

вые мнения, в конце концов предоставил выбор пути Фортуне и пустился прямо по ворчестерской дороге.

Проехав мили две, он начал горько плакаться, то и дело приговаривая: «Экая незадача! Чертовски не повезло!» — и сыпля, как из мешка, ругательствами и проклятиями.

Священник попробовал его успокоить:

— Не кручиньтесь, сэр, и не теряйте надежды. Хотя нам и не удалось еще догнать уважаемую дочь вашу, но все же посчастливилось взять верный путь и до сих пор с него не сбиться. Может статься, дочь вашу одолеет усталость и она остановится в какой-нибудь гостинице, чтобы дать отдых онемевшему телу; в этом случае вы с полной вероятностью вскоре будете compos voti [1].

— Вздор! — отвечал сквайр.— Я жалею, что пропадает такое чудесное утро для охоты! Чертовски обидно терять один из лучших осенних дней для псовой охоты, да еще после такого долгого мороза!

Сжалилась ли над сквайром Фортуна, порой выказывающая сострадание во время самых буйных своих проказ, и вздумала за неудачу с дочерью вознаградить его каким-нибудь другим способом, не берусь утверждать; но не успел он произнести только что приведенную фразу и сопроводить ее двумя-тремя крепкими словами, как невдалеке от них раздались мелодичные голоса своры гончих. Заслышав их, конь сквайра и его седок мигом насторожились, и сквайр с криком: «Попался, голубчик, попался! Будь я проклят, если это не так!» — дал коню шпоры, в чем тот вовсе и не нуждался, потому что имел одинаковые наклонности со своим хозяином. Тогда вся кавалькада с гиканьем и улюлюканьем помчалась на лай прямо по пашне, а бедный священник, крестясь, потрусил рысцой в арьергарде.

Сказка рассказывает, как одна кошка, которую Венера по просьбе страстного воздыхателя превратила в прекрасную женщину, но не вытравила в ней кошачью природу, заслышав однажды мышь, вспомнила о своих прежних забавах, соскочила с супружеской постели и пустилась вдогонку за серењким зверьком.

Как нам это понимать? Не то чтобы новобрачная не находила удовольствия в объятиях своего пылкого молодого мужа,— ибо хотя замечено, что кошки склонны к неблагодарности, однако в известных случаях они, как и женщины, любят ласкаться и мурлыкать,— вся суть тут в том, что, как замечает глубокомысленный сэр Роджер Л'Эстрендж, «если мы не пустим природу

[1] Получивший желаемое *(лат.)*.

в дверь, она войдет в окно, и киска, хотя она и дама, всегда останется охотницей на мышей». Так и сквайра мы не обвиняем в недостатке любви к дочери — напротив, он очень ее любил; только мы должны помнить, что был он и сквайр и охотник и что, следовательно, к нему можно приложить нашу сказочку и вытекающее из нее нравоучение.

Гончие, как говорится, варом варили, а сквайр скакал за ними вдогонку через плетни и рвы с обычными своими воплями и в превосходном, как всегда в таких случаях, расположении духа; о Софье он и не вспоминал: ни разу мысль о дочери не испортила его наслаждения охотой, такой чудеснейшей, по его словам, что ради нее стоило ускакать из дому за пятьдесят миль. Если сквайр не вспоминал о дочери, то слуги его и подавно забыли о госпоже; даже священник, выразив по-латыни свое недоумение, в конце концов тоже оставил попечение о молодой девушке и, следуя рысцой на довольно почтительном расстоянии за кавалькадой, принялся обдумывать часть проповеди к ближайшему воскресенью.

Владелец гончих был в восторге от появления собрата, помещика и охотника: всякий из нас умеет ценить таланты другого в нашей профессии, а не было охотника более искусного, чем мистер Вестерн, и никто не умел лучше него порскать собакам и одушевлять всю охоту своим улюлюканьем.

Охотники в пылу преследования бывают настолько поглощены своим делом, что им не до церемоний, они забывают даже о самых простых обязанностях человеколюбия,— так, если кому-нибудь из них случится упасть в ров или в реку, остальные проезжают мимо, обыкновенно покидая пострадавшего на произвол судьбы; поэтому наши два сквайра, хотя они и часто съезжались во время охоты, не обменялись друг с другом ни одним словом. Впрочем, хозяин своры не раз восхищался незнакомцем, видя, как ловко тот наводит собак на потерянный след, что внушало ему высокое представление о сметливости Вестерна, а число слуг последнего — немалое уважение к его богатству. Вот почему, когда охота кончилась гибелью зверька, поднявшего всю эту кутерьму, оба сквайра съехались и поздоровались друг с другом по всем правилам помещичьего этикета.

Разговор их был довольно занимателен, и мы, может быть, передадим его в приложении или при каком-нибудь другом случае; но так как он не связан с нашей историей, то мы его здесь опускаем. Он кончился новой охотой, а новая охота — приглашением отобедать. Приглашение было принято, и обед сопровождался обильной выпивкой, после которой сквайр Вестерн крепко уснул.

По части поглощения спиртных напитков сквайр наш в этот вечер совершенно не мог тягаться ни с хозяином дома, ни со священником Саплом, что, впрочем, прекрасно объясняется его сильной усталостью, душевной и физической, и нисколько не умаляет его достоинств. Он был, как говорится, вдребезги пьян; за третьей бутылкой его так развезло, что хотя в постель его увели значительно позже, однако священник совершенно перестал с ним считаться, рассказал хозяину всю историю с Софьей и взял с него слово помочь ему завтра уговорить мистера Вестерна вернуться домой.

Только что почтенный сквайр проснулся поутру от вечерней попойки и, даже не опохмелившись, велел седлать лошадей, чтобы пуститься снова в погоню, как мистер Сапл, энергично поддержанный хозяином, начал убеждать его оставить это намерение и после долгих настояний добился наконец согласия мистера Вестерна вернуться домой. На сквайра подействовал главным образом тот довод, что он не знает, по какой дороге ехать, а поехав наудачу, очень легко может удалиться от дочери, вместо того чтобы настигнуть ее. Сквайр простился с собратом-охотником и, выразив большое удовольствие по случаю наступившей оттепели (которая, может быть, была главнейшей причиной, заставившей его торопиться домой), отправился вперед, или, вернее, назад в Сомерсетшир, отрядив, однако, часть своей свиты на поиски дочери и пустив вдогонку посланным целый залп самых отборных ругательств.

## ГЛАВА III

*Отъезд Джонса из Эптона и что случилось с ним и с Партриджем по дороге*

Наконец-то мы возвращаемся к нашему герою. По правде сказать, нам пришлось расстаться с ним так давно, что, приняв во внимание обстоятельства, в которых мы его оставили, многие читатели заключили, пожалуй, что мы намерены покинуть его навсегда: ведь он попал в то положение, при котором благоразумные люди обыкновенно перестают осведомляться о своих друзьях, боясь услышать, что те повесились.

Но если мы не можем похвалиться всеми добродетелями благоразумных людей, зато, я смело утверждаю, не страдаем также всеми их пороками; и хотя трудно представить себе обстоятельство более плачевное, чем то, в котором находился теперь бедняга Джонс, мы вернемся к своему герою и будем следить

за ним так же внимательно, как если бы он купался в самых ярких лучах славы.

Итак, мистер Джонс и его спутник Партридж покинули гостиницу через несколько минут после отъезда сквайра Вестерна и пошли по той же дороге пешком, потому что лошадей в это время, по словам конюха, невозможно было достать в Эптоне ни за какие деньги. Оба шагали понуро. Правда, причины невеселого расположения у каждого были разные, но оба были недовольны; и если Джонс горько вздыхал, то Партридж на каждом шагу не менее мрачно ворчал.

Подойдя к перекрестку, где до этого останавливался и держал военный совет сквайр, Джонс тоже остановился и спросил у Партриджа, какой, по его мнению, путь им следует избрать.

— О сэр, если бы ваша честь послушались моего совета,— отвечал Партридж.

— Отчего ж не послушаться? — сказал Джонс.— Теперь мне все равно, куда идти и что со мной станется.

— Тогда мой вам совет,— сказал Партридж,— немедленно повернуть налево кругом и идти домой. И что за охота человеку, у которого есть такой кров, как у вашей чести, странствовать по Англии, подобно бродяге? Извините меня, sed vox ea sola reperta est[1].

— Увы! — воскликнул Джонс.— У меня нет этого крова. Но если бы даже, мой друг, мой отец захотел меня принять, то разве мог бы я жить в местах, откуда бежала моя Софья! Жестокая Софья! Жестокая!.. Нет, виноват во всем я!.. Нет, виноват ты. Будь ты проклят... дурак... болван! Ты погубил меня, я вырву у тебя душу из тела! — С этими словами он изо всей силы схватил бедного Партриджа за ворот и тряхнул так, как никогда не трясли учителя ни лихорадка, ни страх.

Партридж в ужасе упал на колени и запросил пощады, клянясь, что у него в мыслях не было ничего дурного. Джонс, свирепо посмотрев на него, выпустил свою добычу и обрушил весь гнев на себя с такой яростью, что, обрати он его на спутника, тому наверное пришел бы конец: несчастный был полумертв от одного только страха.

Мы не поленились бы подробно описать все неистовства Джонса по этому случаю, если бы были уверены, что и читатель не поленится прочесть о них; но так как легко может статься, что после всех трудов, затраченных нами на изображение этой сцены, наш читатель возьмет да и пропустит ее всю целиком, то мы избавили себя от этих хлопот. Правду сказать, единственно по этой причине

---

[1] Только это слово и приходит на ум *(лат.)*.

мы часто обуздывали буйную силу нашего гения и опускали множество великолепных описаний, которые иначе вошли бы в это сочинение. А указанное подозрение, признаться откровенно, источником своим имеет, как это обыкновенно бывает, нашу собственную порочность: пробегая страницы многотомных историков, мы сами сплошь и рядом делали самые отчаянные скачки.

Итак, довольно будет сказать, что Джонс, разыграв в течение нескольких минут роль сумасшедшего, мало-помалу овладел собой и, как только это произошло, тотчас попросил у Партриджа извинения за то, что обидел его в порыве гнева, но посоветовал никогда больше не говорить ему о возвращении домой, потому что он решил навсегда покинуть родные места.

Партридж все простил и обещал свято соблюдать данное ему предписание. Джонс порывисто воскликнул:

— Если уж мне навсегда заказано следовать по стопам моего ангела, в таком случае я пойду по стопам славы. Вперед же, мой верный товарищ, разыщем армию: за наше славное дело я охотно пожертвую жизнью, даже если бы ее стоило беречь.

С этими словами он поворотил на дорогу, противоположную той, по которой поехал сквайр, и случаю угодно было, чтобы она оказалась той, которую избрала Софья.

Наши путешественники прошагали целую милю, не сказав друг другу ни слова, хотя Джонс все время бормотал себе что-то под нос. Что же касается Партриджа, то он хранил глубокое молчание — должно быть, потому, что еще не совсем оправился от страха; а кроме того, брадобрей опасался опять рассердить своего друга, тем более что у него начало складываться теперь одно предположение, которое вряд ли очень удивит читателя: он начал подозревать, что Джонс совершенно спятил.

Джонсу наконец надоело разговаривать с самим собой, и он обратился к спутнику с упреком за его молчаливость; тот откровенно сознался, что боится разгневать его. Когда страх этот был достаточно рассеян торжественными обещаниями Джонса впредь вести себя сдержанно, Партридж снова снял узду со своего языка, который обрадовался возвращенной свободе, пожалуй, не меньше, чем молодой жеребец, спущенный с привязи на пастбище.

Но так как говорить на ту тему, которая прежде всего напрашивалась, ему было запрещено, то он обратился к предмету, занимавшему в уме его второе место,— именно к Горному Отшельнику.

— Поверьте мне, сэр, не может быть человеком тот, кто одевается и живет так странно и так непохоже на других людей.

Кроме того, пища его, как говорила старуха, состоит преимущественно из трав, что больше подходит коню, чем христианину; а хозяин гостиницы в Эптоне говорит, что все кругом его крепко побаиваются. Мне почему-то упорно сдается, что это дух, посланный, может быть, чтобы нас предостеречь: кто знает, может быть, все, что он рассказывал — как он пошел воевать, как был взят в плен и едва не угодил на виселицу,— может быть, все это рассказано нам в острастку, если принять в соображение, куда мы затеяли отправиться. Всю прошедшую ночь мне только и снились одни сражения, и кровь лила у меня из носа, как вино из крана. Право, сэр, infandum, regina, jubes renovare dolorem.

— Твой рассказ, Партридж, так же мало кстати, как и твоя латынь. Смерть — вещь самая заурядная для людей, идущих в бой. Может быть, мы оба падем в сражении... ну так что ж?

— А то,— возразил Партридж,— что тогда придет нам конец. А когда меня не будет, мне все равно. Что мне за дело, чья сторона возьмет верх и кто одержит победу, если я буду убит? Ведь никакой выгоды от этой победы я не получу. Чтó колокольный звон и праздничные костры для того, кто лежит на шесть футов под землей? Конец тогда бедному Партриджу.

— Бедному Партриджу все равно рано или поздно придет конец,— отвечал Джонс.— Если тебе так нравится латынь, я продекламирую несколько строчек из Горация, способных вдохнуть храбрость и в труса:

Dulce et decorum est pro patria mori:
Mors et fugacem persequitur, virum,
Nec parcit imbellis juventae
Poplitibus, timidoque tegro.

— Переведите, пожалуйста,— сказал Партридж.— Гораций трудный автор, на слух я его не понимаю.

— Хорошо. Только не взыщи, поэт я неважный:

Смерть за отечество отрадна и сладка.
Бежавший от нее в бою не уцелеет,
И, верно, юношей изнеженных она
Колен трепещущих и спин не пожалеет.

— Это совершенно справедливо,— сказал Партридж.— Конечно, mors omnibus communis;[1] но большая разница умереть через много лет, как подобает доброму христианину — в своей кровати, среди плачущих друзей, или быть застреленным сегодня

[1] Смерть — общий удел *(лат.)*.

или завтра, как бешеная собака, а может быть, даже изрубленным на двадцать кусков, прежде чем успел покаяться в грехах. Господи, смилуйся над нами! Солдаты — нечестивый народ. Я никогда не любил иметь с ними дело. С трудом даже мог заставить себя смотреть на них как на христиан — только и знают, что ругаться да сквернословить. Одумайтесь, ваша честь. Право, одумайтесь, пока не поздно, и не якшайтесь с этими негодниками. Дурное общество портит добрые нравы. Потому-то я главным образом и говорю так. А что касается страха, так я боюсь не больше, чем другие, ничуть не больше. Я знаю, что все мы должны умереть, а все-таки иной может прожить еще много лет. Ну вот хоть бы я: я человек средних лет и могу прожить еще бог знает сколько. Иные, читал я, доживают и до ста лет, а иные переваливали и далеко за сто. О, я нисколько не обольщаю себя надеждой дожить до такого возраста, нисколько. Но хотя бы до восьмидесяти или до девяноста. Слава богу, до этого еще очень далеко, и в такие годы умереть не страшно; а искушать смерть раньше положенного человеку срока, по-моему, и грешно и самонадеянно — добро б еще была от этого какая-нибудь польза! Ну, пусть даже наше дело самое правое, много ли проку от двоих? Тем более если говорить обо мне — так я совсем не знаю военного искусства. Я стрелял из ружья всего-то, может быть, минут десять на своем веку, да к тому ж оно и не было заряжено; а что касается шпаги, то я отроду фехтовать не учился и не умею. А потом еще эти пушки: да ведь нужно совсем потерять голову, чтобы идти против наведенной пушки; и разве только сумасшедший... Прошу прощения! Ей-богу, я не желал сказать ничего обидного, боже меня упаси снова рассердить вашу честь.

— Не бойся, Партридж,— отвечал Джонс,— я теперь настолько убедился в твоей трусости, что ты больше ничем меня не рассердишь.

— Ваша честь может называть меня трусом или кем угодно. Если человек трус оттого, что ему хочется спать в своей коже, целым и невредимым, non immunes ab illis malis sumus[1]. Никогда мне не доводилось читать в своей грамматике, что нельзя быть порядочным человеком, не воевавши. Vir bonus est quis? Qui consulta patrum, qui leges juraque servat?[2] О том, чтобы сражаться,— ни слова; и, по-моему, Священное писание настолько против войны, что человек, проливающий христианскую кровь, никогда меня не убедит в том, что он добрый христианин.

---

[1] Мы не свободны от этих пороков *(лат.)*.

[2] Кто ж истинно добрый? Кто уставы отцов, права блюдет и законы? *(Перевод А. Фета.)*

## ГЛАВА IV

*Приключение с нищим*

Как раз в ту минуту, когда Партридж высказал здравую и благочестивую мысль, которой заключена предыдущая глава, они достигли нового перекрестка, где повстречали хромого нищего в лохмотьях, обратившегося к ним за подаянием. Партридж сурово его отчитал, сказав, что каждый приход обязан содержать своих бедняков. Джонс расхохотался.

— Стыдись! Столько милосердия на устах и так мало его в сердце. Твоя религия,— сказал он,— служит тебе только оправданием для пороков, а к добродетели не побуждает нисколько. Можно ли, будучи истинным христианином, не помочь ближнему, находящемуся в таком бедственном положении?

С этими словами он достал из кармана шиллинг и подал его нищему.

— Хозяин,— сказал нищий, поблагодарив его,— у меня в кармане лежит любопытная вещица, которую я нашел мили за две отсюда. Не угодно ли будет вашей милости купить? Я бы не решился показать ее первому встречному, но вы такой добрый господин и так милостивы к бедным, что не станете подозревать человека в воровстве только потому, что он нищий.

С этими словами он вручил Джонсу маленькую записную книжку с золотым обрезом.

Джонс раскрыл ее и (вообразите, читатель, что он почувствовал) на первой странице увидел имя Софьи Вестерн, написанное ее собственной прелестной рукой. Едва он это прочел, как тотчас же крепко прижал книжку к губам и не мог удержаться от бурных проявлений восторга, не смущаясь присутствием посторонних,— а может быть, именно этот восторг и заставил его позабыть, что он не один.

Когда Джонс целовал книжку и впился в нее зубами, как в кусок вкусного хлеба с маслом или уподобляясь книжному червю, а то и писателю, которому нечего есть, кроме своих собственных произведений, оттуда выпал какой-то листок. Партридж подобрал его и подал Джонсу: это был банковый билет — тот самый, который Вестерн подарил своей дочери накануне ее бегства. Жид запрыгал бы от радости, купив его за сто фунтов без пяти шиллингов.

Глаза Партриджа засверкали, когда Джонс громко объявил о находке, засверкали (только несколько иначе) и глаза бедняка, нашедшего книжку: он (я полагаю, из чувства честности) ее не раскрывал,— но мы сами поступили бы нечестно с читателем, не

сообщив о том немаловажном в данном случае обстоятельстве, что нищий был неграмотен.

Джонс, почувствовавший беспредельную радость и восторг при виде книжки, был несколько встревожен при этом новом открытии: ему тотчас представилось, что владелица билета, может быть, будет терпеть нужду, пока он не возвратит ей находку. Он сказал нищему, что знает даму, которой принадлежит книжка, и постарается как можно скорей ее разыскать и вручить ей собственность.

Эта записная книжка была недавно подарена Софье ее тетушкой; миссис Вестерн купила ее у модного торговца безделушками за двадцать пять шиллингов, но действительная цена серебра, содержавшегося в застежках, составляла всего около восемнадцати пенсов,— столько и дал бы теперь за нее упомянутый торговец, так как книжка была в отличной сохранности, словно только что из лавки. Впрочем, человек бережливый воспользовался бы невежеством нищего и предложил бы ему за его находку не больше шиллинга или даже шести пенсов, а то и вовсе ничего бы не дал, предоставив нищему взыскивать с него деньги судом; и многие ученые юристы, пожалуй, усомнились бы, смог ли истец при данных обстоятельствах доказать свои права.

Однако Джонс, отличавшийся большой щедростью и, может быть, даже расточительностью, напротив, без всяких колебаний дал за книжку целую гинею. Бедняк, давно уже не обладавший таким сокровищем, рассыпался в благодарностях, и на лице его выразилось едва ли меньшее восхищение, чем то, которое овладело Джонсом, когда он увидел имя Софьи Вестерн.

Нищий охотно согласился проводить наших путников к тому месту, где он нашел записную книжку. И вот все они двинулись прямо туда; но не так быстро, как хотелось бы мистеру Джонсу: проводник его был, к несчастью, хром и мог делать не больше мили в час. А так как до того места было свыше трех миль, хотя нищий назвал другую цифру, то читателю можно и не сообщать, сколько времени они туда шли.

По дороге Джонс несчетное число раз раскрывал и целовал книжку, все время разговаривал сам с собой и почти не обращался к своим спутникам. По этому поводу нищий знаками выразил удивление Партриджу, который только качал головой, приговаривая:

— Бедняжка! Orandum est ut sit mens sana in corpore sano[1].

Наконец прибыли они на то самое место, где Софья имела несчастье обронить записную книжку, а нищий имел счастье ее подобрать. Тут Джонс выразил желание попрощаться с проводни-

[1] Будем молиться, чтоб был здоров и умом он и телом *(лат.)*.

ком и прибавить шагу, но нищий, который успел уже опомниться и в котором изумление и радость по случаю получения гинеи сильно поубавились, скроил недовольную физиономию и, почесывая затылок, сказал, что надеялся получить с его милости больше.

— Ваша милость, надеюсь, возьмет во внимание, что, не будь я честен, я мог бы удержать все. (Читатель не может не согласиться, что нищий говорил правду.) Если та бумажка стоит сто фунтов, то, право, за находку надо дать больше гинеи. А может, ваша милость не увидит этой госпожи и не отдаст ей билета?.. Хотя ваша милость с виду джентльмен и говорит совсем по-джентльменски, но ведь порукой мне одно только слово вашей милости; а если законный владелец не отыщется, то, конечно, все принадлежит тому, кто нашел первый. Надеюсь, ваша милость все рассудит по справедливости: я бедняк, нищий и совсем не требую себе всего, но надо же, по справедливости, чтобы я получил свою долю. Ваша милость с виду человек добрый и, надеюсь, вознаградит мою честность: ведь я мог бы взять себе все до копейки, и никто никогда не узнал бы об этом.

— Даю тебе честное слово,— отвечал Джонс,— я знаю законную владелицу этой книжки и верну ей все в целости.

— Делайте, ваша милость, как вам угодно,— сказал нищий.— Только отдайте мне, пожалуйста, мою долю, то есть половину денег, и тогда удержите себе остальное, если угодно вашей чести.

И он заключил свои слова клятвой, что никогда никому не скажет об этом ни полслова.

— Нет, приятель,— отвечал Джонс,— законная владелица получит потерянное сполна; а отблагодарить тебя еще чем-нибудь я в настоящее время совершенно не в состоянии. Скажи мне, как тебя зовут и где ты живешь, и очень может быть, что тебе еще представится случай порадоваться сегодняшнему приключению.

— Не знаю, что вы называете приключением,— проворчал нищий,— только, видно, мне приходится представить на ваше усмотрение отдать деньги потерявшей их даме или не отдать; но, надеюсь, ваша милость рассудите...

— Полно, полно,— вмешался Партридж,— скажи-ка лучше его милости, как тебя зовут и где тебя можно найти. Ручаюсь, ты не раскаешься, что доверил деньги этому джентльмену.

Видя всю безнадежность попыток завладеть снова записной книжкой, нищий согласился наконец назвать свое имя и место жительства, которое Джонс записал на листочке бумаги карандашом Софьи и, вложив этот листочек между теми страницами, где она надписала свое имя, воскликнул:

— Ты счастливейший из смертных, приятель,— я соединил твое имя с именем ангела!

— Ничего не знаю насчет ангелов,— отвечал нищий,— а только если бы вы прибавили мне немного или вернули книжку...

Эти слова окончательно вывели Партриджа из себя. Он обругал калеку разными нехорошими словами и собрался даже прибить его, но Джонс воспротивился и, сказав нищему, что, наверное, найдет случай помочь ему, поспешно зашагал прочь; Партридж, в которого мысль о сотне фунтов влила новые силы, последовал за своим вожатым, а нищий, принужденный остаться позади, принялся осыпать проклятиями наших героев, а также своих родителей.

— Ведь если бы они посылали меня в школу,— сетовал бедняк,— и обучили читать, писать и считать, так я не хуже других знал бы цену этим вещам.

## ГЛАВА V,

*содержащая дальнейшие путевые приключения мистера Джонса и его спутника*

Путешественники наши зашагали так быстро, что им не хватало времени и дыхания для разговоров: Джонс всю дорогу мечтал о Софье, а Партридж — о банковом билете. Мечты эти немало радовали учителя, но в то же время заставляли его роптать на судьбу, ни разу в его странствиях не доставившую ему подобного случая выказать свою честность. Так прошли они бо́льше трех миль, и, наконец, Партридж, почувствовав, что ему не угнаться за Джонсом, обратился к своему спутнику с просьбой немного убавить шаг, на что тот согласился тем более охотно, что следы лошадиных копыт, которые на протяжении нескольких миль были явственно видны благодаря оттепели, теперь пропали: по широкому лугу, куда они вышли, расходилось в разные стороны несколько дорог.

Джонс остановился, чтобы сообразить, по какой из этих дорог ему надо идти, как вдруг где-то невдалеке послышались звуки барабана. Партридж тотчас же в испуге воскликнул:

— Господи, помилуй нас! Это, наверно, они!

— Кто они? — спросил Джонс. Страх уже давно уступил место в душе его более приятным представлениям, а после приключения с хромым нищим он твердо решил догнать Софью, позабыв и думать о неприятеле.

— Как кто? — удивился Партридж.— Да мятежники. Впрочем, зачем называть их мятежниками. Они, может быть, вполне порядочные люди; ведь у меня нет никаких причин думать иначе.

Пусть черт поберет того, кто их заденет; если они меня не тронут, то и я их не трону, а буду обращаться с ними по-хорошему. Ради бога, сэр, не задевайте их, когда они придут,— тогда они, может быть, не сделают нам худа. Впрочем, не лучше ли нам спрятаться вот там, в кустах, пока они пройдут мимо. Что могут сделать двое безоружных, может быть, против пятидесяти тысяч! Понятно, один только сумасшедший, не в обиду вашей чести будь сказано,— понятно, ни один человек, у которого mens sana in corpore sano...[1]

Тут Джонс остановил поток этого красноречия, вызванного страхом, сказав, что, судя по барабану, они недалеко от какого-то города. И он пошел прямо в том направлении, откуда доносились звуки, приказав Партриджу ободриться, потому что он не собирается подвергать его опасности, и заметив, что мятежники не могут быть так близко.

Последнее замечание немного успокоило Партриджа; он куда охотнее пошел бы в противоположную сторону, но все же последовал за своим вожатым; сердце в груди его громко стучало, однако не героически, то есть не в такт барабану, который не умолкал, пока они не перешли выгон и не вступили на узкую тропинку между изгородями.

Тут Партридж, не отстававший от Джонса, заметил в нескольких ярдах впереди что-то цветное, развевающееся в воздухе; вообразив, что это неприятельское знамя, он завопил:

— О господи, сэр, ведь это они! Смотрите: корона и гроб. Господи, я отроду не видел ничего ужаснее; и мы от них ближе, чем на расстоянии ружейного выстрела.

Подняв глаза, Джонс тотчас понял, что́ Партридж принял за знамя.

— Партридж,— сказал он,— я думаю, что ты один справишься со всей этой армией. По знамени я догадываюсь, что за барабан мы слышали: он сзывал зрителей на представление кукольного театра.

— Кукольный театр! — воскликнул искренне обрадованный Партридж.— Только-то? Я люблю кукольный театр больше всего на свете. Пожалуйста, сэр, остановимся и посмотрим. Притом же я до смерти проголодался: ведь уже почти стемнело, а с трех часов утра у меня ни кусочка во рту не было.

Они подошли к гостинице, или, вернее, к трактиру, где Джонс согласился остановиться, тем более что не был уверен, по правильной ли дороге он идет. Они направились прямо в кухню, где Джонс начал расспрашивать, не проезжали ли здесь поутру

[1] Здоровый дух — в здоровом теле... *(лат.)*

дамы, а Партридж произвел энергичную разведку насчет съестного, которая увенчалась лучшим успехом: Джонс ничего не узнал о Софье, Партридж же, к своему великому удовольствию, получил полное основание ожидать скорого появления большого блюда яичницы с салом, прямо с огня.

На человека сильного и здорового любовь действует совсем иначе, чем на хилого и слабого: в последнем она обыкновенно уничтожает всякий аппетит, направленный к сохранению организма; в первом же хотя и порождает забывчивость и пренебрежение к пище, как и ко всему на свете, но поставьте перед таким любовником, когда он проголодался, хорошо зажаренный кусок говядины, и он станет его уписывать за обе щеки. Так случилось и теперь: хотя Джонс, не будь у него соблазна, мог пройти и гораздо дальше с пустым желудком, но когда ему подали яичницу с салом, он начал истреблять ее с таким же усердием и жадностью, как и Партридж.

Когда наши путники пообедали, наступила ночь, и так как луна была на ущербе, то темень стояла непроглядная. Поэтому Партридж упросил Джонса остаться и посмотреть представление кукольного театра, которое как раз начиналось. Хозяин театра убедительно просил их пожаловать, говоря, что куклы его — первейшего сорта и доставили большое удовольствие благородной публике во всех городах Англии.

Кукольная пьеса была сыграна весьма корректно и благопристойно. Называлась она «Остроумное и серьезное действо об оскорбленном муже»; в самом деле, это было очень чинное и торжественное представление, без площадного остроумия, шуток и прибауток или, отдавая ему справедливость, без следа чего-нибудь такого, что могло вызвать смех. Зрители остались чрезвычайно довольны. Одна почтенная матрона объявила хозяину, что завтра она приведет сюда двух дочерей, потому что гадостей он не показывает; а судейский писец и сборщик акциза в один голос сказали, что роли лорда и леди Столичных хорошо выдержаны и верны природе. К этому мнению присоединился и Партридж.

Похвалы так вскружили голову хозяину, что он не мог удержаться и добавил к ним от себя.

— В наш век,— сказал он,— ничто не подверглось таким усовершенствованиям, как кукольный театр: после того как оттуда выкинуты Панч с женой Джоан и тому подобная ерунда, он наконец превратился в разумное развлечение. Помню, когда я еще только что начинал работать, были в большом ходу низкие площадные шутки, которые очень смешили публику; но они не содействовали исправлению нравственности молодых людей, что должно быть главнейшей целью всякого кукольного представле-

пия,— почему, в самом деле, не преподавать благих и поучительных уроков этим путем так же, как и другими? Мои куклы натуральной величины, они воспроизводят жизнь во всех подробностях, и я не сомневаюсь, что публика выносит из моих маленьких драм столько же пользы, как и из настоящего театра.

— Я нисколько не хочу унижать ваше искусство,— отвечал Джонс,— но все-таки с удовольствием посмотрел бы своего старого знакомого, мастера Панча; удалив этого весельчака с женой его Джоан, вы, по-моему, не только не улучшили, но испортили ваш кукольный театр.

Слова эти внушили канатному плясуну глубочайшее презрение к Джонсу. Иронически скривив физиономию, он возразил:

— Очень может быть, сэр, что вы действительно держитесь этого мнения, но, к моему удовольствию, лучшие судьи думают иначе, а на всех не угодишь. Правда, года два или три тому назад некоторые знатные господа в Бате настойчиво требовали снова вывести Панча на сцену. Я даже понес убытки, не согласившись на это; но пусть другие поступают, как им угодно, а я из-за какой-то безделицы не стану унижать своего искусства и не соглашусь нарушать благопристойность и корректность в моем театре, вводя в него низкую площадную дребедень.

— Верно, приятель,— подхватил писец,— вы совершенно правы. Всегда избегайте низкого. В Лондоне у меня есть много знакомых, которые решили изгнать все низкое со сцены.

— Ничего не может быть похвальнее,— сказал сборщик акциза, вынимая изо рта трубку.— Помню (я служил тогда у лорда), я был в театре в местах для лакеев на первом представлении этой самой пьесы «Оскорбленный муж». Там было много низких сцен с одним деревенским джентльменом, приехавшим в столицу добиваться избрания в парламент; в пьесе была выведена еще целая куча его слуг — особенно запомнился мне кучер; но публика нашей галереи не могла вынести таких низких вещей и ошикала пьесу. Я вижу, приятель, вы все это выкинули — и прекрасно сделали.

— Ну, господа,— сказал Джонс,— где же мне тягаться с таким количеством противников. Если большинству зрителей Панч не нравится, то просвещенный джентльмен, поставивший пьесу, поступил совершенно правильно, уволив его со службы.

В ответ на это хозяин театра начал новую речь; он долго говорил о заразительности примера и о том, насколько низшие слои общества отвращаются от порока, видя его гнусность в высшем слое,— как вдруг был несчастливо прерван неожиданным случаем, который мы, пожалуй, опустили бы в другое время, но теперь не можем не рассказать, только отложим это до следующей главы.

## ГЛАВА VI,

*из которой видно, что самые лучшие вещи могут быть поняты и истолкованы превратно*

В дверях послышался страшный шум: это хозяйка отделывала свою служанку кулаками и языком. Увидев, что девушки нет на месте, она после недолгих поисков нашла ее на сцене кукольного театра в такой позе с шутом, что и сказать неудобно.

Хотя Грация (так звали служанку) потеряла всякое право на скромность, у нее все же не хватило бесстыдства отрицать факт, за которым ее застали; она поэтому прибегла к другой увертке и попыталась смягчить свою вину.

— За что вы меня бьете, хозяйка? — говорила она.— Если вам не нравится мое поведение, так откажите мне от места. Если я шлюха (хозяйка щедро честила ее этим словечком), то и благородные дамы не лучше меня. Взять хотя бы ту леди, которая на театре представляла: что́ она такое? Верно, не зря провела она целую ночь отдельно от мужа.

Услышав это, хозяйка ворвалась в кухню и грубо набросилась на мужа и бедного содержателя кукольного театра.

— Вот, муженек,— говорила она,— приютишь у себя в доме этот народ, а потом полюбуйся, что выходит. Выпьют на грош больше, а хлопот столько наделают, что и не оберешься; и потом из-за такой швали порядочный дом в вертеп обращается. Словом, прошу вас завтра же утром отсюда убраться, потому что таких вещей я долее терпеть не намерена. Только приучают наших слуг к праздности и глупостям: ничему лучшему ведь не научишься из таких пустых представлений. Помню, в старину в кукольных театрах представляли что-нибудь из Священного писания, например необдуманный обет Иеффая и другие поучительные истории, а злодеев всегда уносил дьявол. В этих вещах был какой-то смысл. Но теперь, как говорил нам священник в прошлое воскресенье, никто больше не верит в дьявола, и вот вы выводите на сцену кукол, разряженных, как лорды и леди, только чтобы кружить головы бедным деревенским дурам; а когда голова у них завертелась, то не удивительно, что и все другое ходуном пойдет.

Кажется, Вергилий говорит, что, если перед буйной и мятежной толпой, пускающей в ход все виды метательного оружия, предстанет вдруг муж совета, человек всеми уважаемый, волнение мгновенно утихает, и толпа, которую, когда она соберется на небольшом пространстве, можно сравнить с ослом, поднимает свои длинные уши, внимая речам мудрого мужа.

Напротив, когда ученый спор солидных людей и философов, которым, кажется, руководит сама мудрость, придумывая до-

воды для спорящих, прерывается ревом толпы или визгом одной сварливой бабы, по части шума не уступающей никакой толпе, то философские споры разом прекращаются, мудрость перестает исполнять свою правящую роль, и внимание всех привлекается исключительно к этой сварливой бабе.

Так упомянутый шум и появление хозяйки привели к молчанию содержателя кукольного театра и мгновенно положили конец его важной и торжественной речи, характер которой мы уже достаточно дали почувствовать читателю. Ничто не могло случиться так некстати, как это происшествие; самая изощренная злоба Фортуны не могла бы придумать лучшей уловки, чтобы привести в замешательство бедного оратора, когда он с таким торжествующим видом распространялся насчет добрых нравов, насаждаемых представлениями его театра. Уста его сомкнулись так плотно, как сомкнулись бы уста лекаря-шарлатана, если бы в разгар декламации насчет чудодейственной силы изобретенных им пилюль и порошков вдруг вынесен был и поставлен перед публикой, в доказательство его искусства, труп одной из его жертв.

Вместо того чтобы дать ответ хозяйке, содержатель театра выбежал из кухни с намерением наказать шута. Тем временем луна начала разливать серебряный свет свой, как говорят поэты (хотя в эту минуту она была больше похожа на медный грош), Джонс потребовал счет и приказал Партриджу, только что разбуженному хозяйкой от глубокого сна, готовиться в путь; но Партридж, которому, как видел читатель, удалось только что достигнуть двух целей, решил попытаться достигнуть и третьей, то есть убедить Джонса переночевать в гостинице. Начал он с того, что прикинулся изумленным по поводу намерения мистера Джонса трогаться в путь; приведя множество веских доводов против этого, он в заключение стал особенно упирать на то, что такая поспешность ни к чему не послужит, так как если Джонсу неизвестно, по какой дороге отправилась Софья, то каждый шаг может его еще более от нее удалить.

— Ведь все в доме говорят, сэр,— сказал он,— что она этой дорогой не проезжала. Не лучше ли в таком случае остаться здесь до утра: тогда мы, может быть, встретим кого-нибудь, кто о ней знает.

Этот последний довод возымел некоторое действие, и пока Джонс его взвешивал, хозяин бросил на ту же чашку весов всю силу своего красноречия.

— Право, сэр,— сказал он,— слуга ваш дает вам превосходный совет: кому, в самом деле, охота идти ночью в такое время года?

И он принялся вовсю расхваливать удобства своего заве-

дения; хозяйка усердно его поддержала... Чтобы не утомлять читателя изложением речей, свойственных всем хозяевам и хозяйкам гостиниц, скажем лишь, что Джонс в конце концов согласился остаться и разрешил себе непродолжительный отдых, в котором действительно очень нуждался: ведь он почти не смыкал глаз после ухода из той гостиницы, где был ранен в голову.

Решив заночевать, Джонс тотчас же удалился на покой с двумя своими неразлучными спутниками: записной книжкой и муфтой; но Партридж, успевший уже не раз за это время крепко вздремнуть, был больше расположен покушать, чем поспать, и еще больше — выпить.

Теперь, когда буря, поднятая Грацией, улеглась и хозяйка гостиницы помирилась с содержателем театра, который, с своей стороны, простил неприличные замечания о его спектаклях, сделанные всердцах почтенной женщиной, в кухне воцарились безмятежная тишина и спокойствие. Хозяин и хозяйка гостиницы, содержатель кукольного театра, судейский писец, сборщик акциза и остроумный мистер Партридж уселись вокруг огня, и между ними завязался приятный разговор, который читатель найдет в следующей главе.

## ГЛАВА VII,

*содержащая два-три наших собственных замечания и гораздо большее количество замечаний почтенной компании, собравшейся в кухне*

Хотя гордость не позволяла Партриджу признать себя слугой, однако ухватки его были точь-в-точь такие же, как у людей этого звания. Например, он сильно преувеличивал богатство своего товарища, как называл он Джонса. Это делают все слуги, попав в незнакомое общество, потому что никому из них не хочется быть принятым за слугу нищего: чем выше положение господина, тем выше, в его собственных глазах, положение слуги. Истину этого наблюдения можно проверить на всех лакеях знатных бар.

Но хотя титул и богатство распространяют блеск на все кругом и лакеи знатных и богатых особ считают, что им по праву принадлежит часть почтения, оказываемого знатности и состоянию их господ, однако с добродетелью и умом дело, очевидно, обстоит иначе. Достоинства эти чисто личные и поглощают без остатка все оказываемое им почтение. Почтение, по правде сказать, такое маленькое, что им и невозможно делиться с кем бы то ни было. Но если добродетель и ум господина не приносят никакой чести слугам, зато самое прискорбное отсутствие в нем этих качеств

нисколько их не бесчестит. Понятно, иное дело отсутствие так называемой добродетели у госпожи, последствия чего мы рассматривали выше; в этом бесчестье есть какая-то заразительность: подобно бедности, оно передается всем, кто стоит близко возле него.

По этим причинам нечего удивляться, что слуги (я говорю о слугах только у мужчин) так чувствительны к тому, чтобы господа их слыли богачами, и так равнодушны к их репутации в других отношениях, и что хотя считается зазорным быть лакеем у бедняка, но нет ничего зазорного служить мерзавцу или болвану; поэтому они ничуть не стесняются болтать где только можно о сумасбродствах и грязных проделках своих господ, нередко с большим юмором и покатываясь от смеха. Лакей часто острит не хуже записного франта насчет джентльмена, ливрею которого носит.

Вот почему Партридж, наговорив всякой всячины о несметном богатстве, которое достанется по наследству мистеру Джонсу, очень непринужденно высказал опасение, зародившееся в нем накануне, для которого, как мы тогда намекнули, поведение Джонса давало достаточно поводов. Короче говоря, он теперь совершенно утвердился в мнении, что господин его не в своем уме и, как ни в чем не бывало, выложил это мнение всей честной компании, собравшейся у огня.

Содержатель кукольного театра с ним немедленно согласился.

— Признаюсь,— сказал он,— джентльмен меня очень поразил своим нелепым суждением о кукольном театре. С трудом верится, чтобы человек в здравом уме мог впасть в столь грубую ошибку; то, что вы говорите, прекрасно объясняет все его уродливые взгляды. Бедняга! Мне от души его жаль. Я с самого начала заметил в глазах его что-то дикое, но промолчал.

Хозяин гостиницы с этим согласился: он желал показать себя таким же проницательным и заявил, что это не укрылось и от его внимания.

— Да иначе и быть не может: ведь только сумасшедшему могло прийти в голову покинуть прекрасную гостиницу и потащиться черт знает куда в такой поздний час.

Сборщик акциза, вынув изо рта трубку, сказал:

— Да, джентльмен выглядит и говорит немного чудно́. Если он сумасшедший,— продолжал он, обращаясь к Партриджу,— то ему нельзя ходить без призора: не ровен час, еще беды наделает. Жаль, что его не взяли под стражу и не отправили домой к родным.

Мысли такого рода мелькали и у Партриджа; будучи убежден, что Джонс бежал от мистера Олверти, он рассчитывал на большую награду, если ему удастся каким-нибудь способом препроводить его домой. Но страх перед Джонсом, горячность и силу которого ему случалось не раз наблюдать и даже испытать на собст-

венных боках, подрывал его веру в осуществимость таких планов и отбивал охоту заниматься их разработкой. Однако только он услышал мнение сборщика акциза, как воспользовался этим случаем, чтобы высказать собственное мнение, заявив, что был бы рад, если бы это дело могло быть приведено в исполнение.

— Могло быть приведено в исполнение! — воскликнул сборщик.— Помилуйте, да нет ничего легче.

— О, вы не знаете, сэр, что это за дьявол! — отвечал Партридж.— Он может поднять меня одной рукой и выбросить в окошко; да он бы это и сделал, если бы только вообразил...

— Ну, я тоже лицом в грязь не ударю,— прервал его сборщик.— Кроме того, нас здесь пятеро.

— Не знаю, как это пятеро,— вмешалась хозяйка,— мой муж в этом деле не участник. И вообще никакого насилия над своими гостями я не допущу. Молодой джентльмен — красавец, какого я отроду не видала, и он такой же сумасшедший, как мы с вами. Что вы там толкуете о диком выражении его глаз? Чудесные глаза, и взгляд такой ласковый, а сам он скромный и обходительный. Я от души его пожалела, когда вот этот джентльмен в углу сказал нам, будто он несчастлив в любви. Понятно, что от этого взгляд у человека немного изменится, особенно у такого красавчика. И что это, право, за женщина? Какого ей дьявола еще нужно? Писаный красавец и с преогромным состоянием. Должно быть, одна из ваших знатных барынь, из тех столичных штучек, выведенных в вашем вчерашнем представлении, которые сами не знают, чего хотят.

Судейский писец тоже объявил, что он не станет мешаться в это дело без судебного постановления.

— Допустим,— сказал он,— против нас возбуждено будет дело за незаконный арест. Что могли бы мы привести в свое оправдание? Как знать, что́ будет признано присяжными за достаточное доказательство сумасшествия? Впрочем, я говорю только относительно себя: юристу не подобает принимать участие в таких делах иначе, как в качестве юриста. Присяжные к нам всегда придирчивее, чем к прочим гражданам. Поэтому я не отговариваю ни вас, мистер Томсон (обратился он к сборщику), ни джентльмена, согласного с вами, и вообще никого из здесь присутствующих.

Сборщик кивнул головой, а содержатель кукольного театра сказал:

— Присяжным иногда бывает трудно решить, действительно ли они имеют дело с сумасшедшим. Помню, сам я однажды присутствовал при решении этого вопроса в суде, где двадцать человек присягнули, что человек безумен, как заяц в марте, а двадцать других — что он в полном уме, как любой англичанин. И действи-

тельно, большинство публики было того мнения, что это лишь происки родственников, желающих лишить несчастного гражданских прав.

— Очень может статься! — воскликнула хозяйка.— Я сама знала одного несчастного, которого семья продержала всю жизнь в сумасшедшем доме, а сама между тем пользовалась его состоянием. Да что толку-то? Закон признал его состояние за семьей, а по праву оно все-таки принадлежит не ей.

— Вот вздор! — презрительно воскликнул писец.— Кому может принадлежать какое-нибудь право, как не тем, за которыми закон признал его? Если бы закон признал за мной лучшее поместье в государстве, так мне дела нет до того, есть ли у кого-нибудь право на это поместье.

— Если так,— заметил Партридж,— felix quem faciunt aliena pericula cautum [1].

Хозяин, выходивший к воротам встречать одного всадника, в эту минуту вернулся в кухню с испуганным лицом и сказал:

— Господа, можете себе представить: мятежники ускользнули от герцога и находятся почти у самого Лондона. Известие достоверное, мне сообщил его человек, только что приехавший верхом.

— От души этому рад! — воскликнул Партридж.— Значит, в этой стороне боев не будет.

— Я тоже рад,— сказал писец,— но по более высоким побуждениям: я всегда за то, чтобы право торжествовало.

— А мне говорили, что у этого человека нет никаких прав,— заметил хозяин.

— Я в два счета докажу вам обратное! — воскликнул писец.— Если мой отец умирает, обладая каким-нибудь правом,— заметьте, я говорю: обладая каким-нибудь правом,— разве это право не переходит к сыну? И разве одно право не переходит точно так же, как и другое?

— Но какое же он имеет право сделать вас папистами? — заметил хозяин.

— Не бойтесь, не сделает,— сказал Партридж.— Что касается права, то джентльмен доказал его яснее ясного, а что касается религии, то она тут совершенно ни при чем. Сами паписты не ожидают ничего такого. Один папистский священник, превосходнейший человек и мой хороший знакомый, честью меня уверял, что они вовсе этого не замышляют.

— И мне говорил то же самое другой священник, мой знакомый,— сказала хозяйка,— но муж мой вечно боится папистов.

---

[1] Счастлив, кого чужая беда научает быть осторожным *(лат.)*.

Я знаю очень многих папистов — превосходные люди и щедро сыплют деньгами; а у меня правило: деньги всегда хороши, от кого бы ни доставались.

— Правильно, хозяйка,— сказал содержатель кукольного театра.— По мне, все равно какая у нас религия, лишь бы только не взяли верх пресвитерианцы, потому что они враги кукольного театра.

— Так вы готовы принести религию в жертву барышам и желаете водворения папизма? — воскликнул сборщик акциза.

— Нисколько не желаю,— отвечал содержатель театра.— Я ненавижу папизм не меньше, чем другие; а все же утешительно то, что при нем можно жить, чего не скажешь про пресвитерианство. Ведь всех нас заботит прежде всего вопрос о средствах существования: они должны быть обеспечены. Признайтесь откровенно; я об заклад побьюсь, что больше всего на свете вы боитесь потерять свое место. Успокойтесь, приятель: акциз сохранится при всяком правительстве.

— Нет, я был бы негодяем, если бы не почитал короля, который дает мне кусок хлеба,— возразил сборщик.— Это так просто и естественно: что мне из того, что акцизное управление останется и при другом правительстве, если мои друзья будут уволены, а вслед за ними и мне придется убираться прочь? Нет, нет, приятель, меня не проведешь, и я не отрекусь от своей религии из-за надежды удержать за собой должность при новом правительстве. Лучше мне, конечно, не будет; гораздо вероятнее, что будет хуже.

— Это самое и я отвечаю,— сказал хозяин,— когда мне говорят: неизвестно, что может случиться! Толкуйте! Разве я не был бы круглым дураком, если бы давал взаймы деньги бог знает кому, потому что он может отдать их назад? У меня в конторке они будут сохраннее; там я и буду их держать.

Судейский писец составил себе высокое понятие о сметливости Партриджа. Проистекало ли это из его глубокого проникновения в человеческие души, а также в природу вещей или из симпатии к брадобрею, потому что и тот и другой были убежденными якобитами,— неизвестно, только писец и Партридж сердечно пожали друг другу руки и выпили по кружке крепкого пива с тостами, о которых мы предпочитаем умолчать.

Тосты эти были поддержаны и всеми прочими, даже хозяином, хотя и неохотно,— трактирщик не мог устоять против угроз писца, побожившегося, что ноги его не будет больше в этом доме, если тот откажется выпить. Кружки, опорожненные по этому случаю, скоро положили конец разговору. А мы, пользуясь этим, закончим главу.

## ГЛАВА VIII,

*в которой Фортуна относится к Джонсу как будто благожелательнее, чем до сих пор*

Если нет сонного питья здоровее, чем усталость, то вряд ли найдется и такое, которое было бы крепче ее. Джонс, можно сказать, хватил порядочную порцию этого питья, и оно очень сильно на него подействовало. Он проспал девять часов и, может быть, проспал бы еще больше, если бы не был разбужен страшным шумом у дверей своей комнаты, который представлял собой сочетание тяжелых ударов с отчаянными воплями о помощи. Джонс мигом вскочил с постели и увидел содержателя кукольного театра, который нещадно дубасил бедного шута по спине и ребрам.

Джонс в ту же минуту вступился за слабейшего и прижал надменного победителя к стене. Содержатель театра был не в состоянии сопротивляться Джонсу, как пестрый шут — своему хозяину.

Но хотя шут был человечек маленький и бессильный, он отличался порядочной желчностью. Почувствовав себя освобожденным из рук неприятеля, он в ту же минуту атаковал его единственным оружием, в котором мог с ним равняться: сначала он выпалил в него залпом общеупотребительных ругательств, а потом стал выкладывать некоторые конкретные обвинения:

— Черт бы тебя побрал, мерзавец! Я не только тебя содержал (потому что всеми доходами ты обязан единственно мне), но еще и спас от виселицы. Разве не собирался ты, не далее как вчера, ограбить даму, сняв с нее в закоулке богатую амазонку? Не вздумаешь ли ты отрицать, что выразил пожелание встретиться с ней в лесу с глазу на глаз, чтобы раздеть ее... раздеть одну из первейших красавиц на свете? А теперь напал на меня и чуть не убил без всякой причины: ведь я не обидел девушку, она добровольно отдалась мне,— и только за то, что я ей понравился больше, чем ты.

При этих словах Джонс оставил содержателя театра, строжайше наказав ему не трогать шута, и увел беднягу к себе в комнату, где и получил от него сведения о своей Софье: оказывается, сопровождая накануне с барабаном своего хозяина, шут видел ее проезжавшей мимо. Джонс легко добился от него согласия показать место, где они встретились, после чего позвал Партриджа и начал торопливо собираться в дорогу.

Было почти восемь часов, когда все было готово к отбытию, потому что Партридж ничуть не спешил и счет был подведен не тотчас; а когда, наконец, со сборами и со счетом все было устроено,

сам Джонс не хотел покинуть гостиницу, не добившись окончательного примирения между содержателем театра и шутом.

Когда и это было счастливо улажено, он отправился в путь, и честный шут привел его на то место, где проезжала Софья. Щедро наградив своего провожатого, Джонс быстро зашагал вперед, в восторге от необыкновенных обстоятельств, при которых он получил весть о Софье. Узнав, как было дело, Партридж с жаром начал пророчить Джонсу успех в его предприятии: потому что, сказал он, два таких происшествия, наводящих его на след его возлюбленной, никогда бы не могли случиться, если бы провидению не было угодно наконец соединить его с ней. Тут Джонс впервые уделил внимание суевериям своего спутника.

Не прошли они и двух миль, как налетела буря с проливным дождем; так как в это время они заметили вдали трактир, то Партридж уговорил Джонса зайти туда и переждать грозу. Голод — неприятель (если только его можно назвать так), больше похожий на английское, чем на французское войско: сколько вы его ни побеждайте, оно рано или поздно снова собирается,— так было и с Партриджем: едва только он вошел в кухню, как приступил к тем же расспросам, что и вчера. Следствием этого было появление на столе превосходного холодного филея, за который с жаром принялся не только Партридж, но и Джонс, хотя последний начал снова беспокоиться, потому что никто в доме не мог дать ему никаких новых сведений о Софье.

Подкрепившись, Джонс приготовился продолжать путь, несмотря на то что гроза по-прежнему бушевала, но Партридж усердно просил его выпить еще кружку, потом, взглянув на человека у очага, только что вошедшего в кухню и в это мгновение так же пристально смотревшего на него, он вдруг обратился к Джонсу со словами:

— Вашу руку, хозяин! Одной кружки теперь будет мало. Пришли новые вести от мисс Софьи. Вон этот парень у очага — тот самый, что провожал ее. Побожусь, что на его лице мой пластырь.

— Дай бог вам здоровья, сударь,— отозвался стоявший у огня.— Да, это точно ваш пластырь. Век буду помнить вашу доброту: он почти совсем залечил мою рану.

При этих словах Джонс вскочил со стула и, приказав парню сейчас же следовать за ним, вышел из кухни в отдельную комнату: он был так деликатен по отношению к Софье, что никогда не произносил ее имени при посторонних. Правда, от избытка чувств он предложил тост за ее здоровье в кругу офицеров, где, ему казалось, никто ее знать не может; но читатель, конечно, помнит, с каким трудом и там уговорили его назвать ее фамилию.

Поэтому тем тяжелее и, может быть, по мнению многих рассудительных читателей, тем нелепее и чудовищнее было то, что теперешнее его несчастье проистекало от предполагаемого недостатка в нем той самой деликатности, которая его переполняла, ибо Софья была гораздо больше оскорблена вольностями, которые, по ее мнению (не лишенному основания), Джонс позволял себе по отношению к ее имени и репутации, чем его вольным обращением с другой женщиной, казавшимся ей простительным в его теперешнем положении. И, правду сказать, я думаю, что Гоноре не удалось бы уговорить свою госпожу уехать из Эптона, не повидавшись с Джонсом, если бы не эти два яркие доказательства его легкомысленного поведения, столь непочтительного и столь несовместимого с чувством любви и нежности в душах высоких и чутких.

Но дело было именно так, и я обязан рассказывать то, что было; а если какому-нибудь читателю тот или иной факт покажется неестественным, я ничего не могу поделать; должен напомнить таким читателям, что я пишу не теоретическое сочинение, а историю и не обязан согласовывать каждый факт с принятыми понятиями об истине и естественности. И если бы даже это было нетрудно, то не благоразумнее ли мне все-таки этого избегать? Например, факт, о котором идет речь, в том числе, в каком он нам теперь дан, без каких-либо моих толкований, может быть, с первого взгляда оскорбит иных читателей, однако, по более зрелом размышлении, должен всем понравиться, ибо люди мудрые и добродетельные усмотрят в случившемся с Джонсом в Эптоне справедливое наказание за безнравственное поведение с женщинами, коего оно было прямым следствием; дураки же и развратники найдут в нем утешение, льстя себя тем, что репутация человека зависит больше от случая, чем от добродетели. Однако мораль, которую мы сами склонны отсюда извлечь, окажется, пожалуй, одинаково противоречивой обоим этим выводам и будет гласить, что подобные случаи служат только подтверждением того великого, полезного и малоизвестного правила, внедрить которое есть цель всего этого произведения, но которое мы не обязаны повторять на каждой странице, как приходский священник повторяет после каждой фразы в своей проповеди выбранный им евангельский текст.

Для нас довольно того, что, как ни прискорбно было заблуждение Софьи насчет Джонса, все же оно имело достаточные основания, ибо, мне кажется, всякая другая молодая дама на ее месте ошиблась бы точно так же. Мало того, если бы она ехала теперь за своим возлюбленным и вошла бы в этот трактир в ту минуту, когда он оттуда вышел, то убедилась бы, что хозяин знает ее имя

и положение не хуже, чем знала это горничная девка в Эптоне. Ибо в то время как Джонс шепотом в отдельной комнате расспрашивал проводника Софьи, Партридж, не отличавшийся такой деликатностью, во всеуслышание задавал в кухне вопросы другому проводнику, исполнявшему свою службу возле миссис Фитцпатрик; вследствие этого хозяин, уши которого были настороже во всех подобных случаях, подробно узнал о падении Софьи с лошади, о недоразумении с личностью Дженни Камерон, о последствиях выпитого пунша — словом, почти обо всем случившемся в гостинице, из которой мы отправили наших дам в карете шестеркой, когда в последний раз с ними виделись.

## ГЛАВА IX,

*содержащая лишь несколько несвязных замечаний*

После получасового отсутствия Джонс поспешно вернулся в кухню и потребовал, чтобы хозяин немедленно подал ему счет. Огорчение Партриджа, которому приходилось покинуть теплый уголок у камина и кубок живительной влаги, отчасти вознаграждалось, впрочем, известием, что дальнейший путь он будет совершать уже не пешком, ибо Джонс при помощи золотых доводов уговорил проводника отвезти его в ту гостиницу, куда он перед этим завез Софью. Однако проводник согласился на это лишь при условии, что его товарищ подождет его в этом трактире. Дело в том, что содержатель гостиницы в Эптоне был близкий приятель содержателя гостиницы в Глостере, и до слуха последнего рано или поздно могло дойти, что лошади его предоставлялись нескольким лицам,— вследствие этого от проводника мог быть потребован отчет в деньгах, которые тот благоразумно собирался положить в собственный карман.

Нам пришлось упомянуть об этом ничтожном, по существу, обстоятельстве потому, что оно задержало отъезд мистера Джонса: честность второго проводника оказалась более высокой, то есть выше оплачиваемой, и обошлась бы Джонсу очень недешево, если бы Партридж, человек с большой хитрецой, как мы уже говорили, не надумал предложить второму проводнику полкроны, с тем чтобы тот ее истратил в этом трактире в ожидании своего товарища. Едва только хозяин учуял эту полукрону, как пустился за ней с таким яростным и убедительным красноречием, что проводник скоро был побежден и согласился ждать за другую полукрону. По этому поводу мы не можем удержаться от замечания, что простые люди достаточно тонкие политики, и представители высшего

круга напрасно бывают о себе слишком высокого мнения, думая, что они невесть какие хитрецы, между тем как сплошь и рядом их затыкает за пояс иной самый маленький человек.

Когда лошади были поданы, Джонс вскочил прямо в дамское седло, на котором ехала его дорогая Софья. Проводник, правда, весьма предупредительно предложил ему свое, но герой наш предпочел дамское — вероятно, потому, что оно было мягче. Партридж хотя и любил понежиться не меньше Джонса, не мог, однако, снести мысли об унижении своего мужского достоинства и принял предложение проводника. Таким образом, Джонс в дамском седле Софьи, проводник в седле миссис Гоноры и Партридж верхом на третьей лошади тронулись в путь и через четыре часа прибыли в гостиницу, где читатель провел уже так много времени. Партридж всю дорогу был в очень приподнятом состоянии и то и дело напоминал Джонсу о многих добрых знамениях, в последнее время предсказывавших последнему удачу; действительно, даже совсем несуеверный читатель должен признать, что эти знамения были на редкость благоприятны. Кроме того, нынешняя погоня Джонса больше нравилась Партриджу, чем погоня его за славой; равным образом, из этих предзнаменований, служивших для педагога ручательством удачи, он впервые вывел ясное представление о любви Джонса к Софье: до сих пор он уделял ей очень мало внимания, потому что, доискиваясь причин ухода Джонса из дому, пошел сначала по ложному пути; а что касается происшествий в Эптоне, то он как раз перед приходом туда и после отбытия оттуда был слишком перепуган, для того чтобы вывести какое-нибудь иное заключение, кроме того, что бедняга Джонс совсем рехнулся. Этот вывод нисколько не расходился с еще прежде составившимся у него мнением о крайнем сумасбродстве его спутника: педагогу казалось, что поведение последнего при отъезде из Глостера вполне оправдывает все слышанное о нем ранее. Теперешней поездкой Партридж, однако, был вполне доволен, и с этих пор в нем начало складываться гораздо более благоприятное представление об умственных способностях приятеля.

Часы как раз пробили три, когда они приехали, и Джонс немедленно заказал почтовых лошадей, но, к несчастью, во всем местечке нельзя было достать ни одной лошади. Читатель не найдет в этом ничего удивительного, если вспомнит возбуждение, царившее тогда во всем королевстве и особенно в этой части его, где день и ночь ежечасно во всех направлениях скакали курьеры.

Джонс всячески старался уговорить своего проводника довезти его до Ковентри, но тот был неумолим. Во время этих переговоров во дворе гостиницы к нему подошел человек, он назвал

Джонса по имени и спросил, как поживают его родные в Сомерсетшире. Взглянув на этого человека, Джонс тотчас же узнал в нем мистера Даулинга, стряпчего, с которым обедал в Глостере, и вежливо поклонился в ответ на приветствие.

Даулинг настойчиво уговаривал мистера Джонса не ехать дальше ночью, подкрепляя свою просьбу множеством неоспоримых доводов — вроде того, что спускаются сумерки, что дорога очень грязная и что гораздо удобнее будет ехать днем. Доводы превосходные, и они, вероятно, уже приходили в голову Джонсу; но если прежде они были бессильны, то такими же оказались и теперь: Джонс упорствовал в своем решении, готовый даже отправиться в путь пешком.

Видя, что ему не переубедить Джонса, почтенный стряпчий с таким же усердием принялся уговаривать проводника поехать с ним. Он привел ему множество причин, пытаясь заставить его согласиться на это короткое путешествие, и в заключение сказал:

— Неужели ты сомневаешься, что джентльмен хорошо вознаградит тебя за беспокойство?

Двое против одного возьмут верх в чем угодно, не только в футболе. Но превосходство объединенных сил в убеждениях или просьбах очевидно для всякого внимательного наблюдателя: ведь вам, верно, не раз случалось видеть, как отец, хозяин, жена или иное влиятельное лицо самым решительным образом отвергают все доводы просителя, выступающего в одиночку, а потом соглашаются, услышав их от второго или третьего лица, пришедшего ему на помощь, но не сказавшего ровно ничего нового. Отсюда, вероятно, происходит выражение «поддержать довод или предложение», что бывает так важно во всех публичных прениях. От этого также, должно быть, в наших судебных учреждениях часто приходится слышать, что какой-нибудь ученый муж (по большей части доктор прав) битый час повторяет то самое, что перед ним было сказано другим ученым мужем.

Вместо того чтобы объяснять это явление, мы, по принятому нами методу, приведем в пример упомянутого выше проводника: он внял убеждениям мистера Даулинга и согласился опять посадить Джонса в дамское седло, но потребовал, чтобы сначала ему позволили хорошенько накормить лошадей, потому что те сделали большой конец и бежали резво. Впрочем, это требование проводника было излишним, потому что Джонс, несмотря на свою торопливость и нетерпение, и сам приказал бы задать им корму; он вовсе не разделял мнения тех, которые считают животных простыми машинами и, вонзая шпоры в брюхо своего коня, воображают, будто шпора и лошадь обладают одинаковой чувствительностью к боли.

Покамест лошади ели овес, или, вернее, покамест предполагалось, что они его едят (потому что проводник больше всего был озабочен тем, чтобы угоститься самому на кухне, а конюх этим воспользовался и принял меры, чтобы его овес остался цел в конюшне), мистер Джонс, уступая настоятельной просьбе мистера Даулинга, пошел в комнату этого джентльмена, где они и уселись за бутылкой вина.

## ГЛАВА X,

*в которой мистер Джонс и мистер Даулинг распивают бутылочку*

Мистер Даулинг, налив стакан вина, предложил тост за достопочтенного сквайра Олверти, добавив:

— Если вам угодно, сэр, выпьем и за здоровье его племянника и наследника, молодого сквайра. Да, сэр, мистер Блайфил, ваш родственник,— прекрасный молодой джентльмен, и я готов поручиться, что он будет со временем играть весьма видную роль в своей округе. У меня уже есть для него на примете местечко для выборов в парламент.

— Я убежден, сэр,— отвечал Джонс,— что вы не имеете намерения меня оскорблять, поэтому я на вас не обижен; но, право, вы очень некстати соединили два имени: ведь один из этих людей честь и слава рода человеческого, а другой — мерзавец, позорящий звание человека.

Даулинг был этим озадачен. Он сказал, что считает обоих джентльменов людьми безупречными.

— Что касается самого сквайра Олверти,— сказал он,— то я никогда не имел счастья его видеть; но кто же не слышал о его доброте? А молодого джентльмена я видел всего один раз, когда привез ему известие о смерти его матери; но тогда я так спешил, так торопился, разрываясь на части от множества дел, что просто не имел времени с ним побеседовать; однако он имел вид настоящего джентльмена и был так приветлив, что, признаюсь вам, мне еще отроду никто не доставлял такого удовольствия.

— Я ничуть не удивляюсь, что он сумел вас обворожить во время такого короткого свидания,— отвечал Джонс.— Он хитер, как сам дьявол, и вы можете прожить с ним много лет, не разгадав его. Я рос с ним с самого детства, и мы почти никогда не разлучались; но только совсем недавно для меня открылось, и то лишь отчасти, что это за негодяй. Признаться, я всегда его недолюбливал. Мне казалось, что в нем не хватает душевного благородства, которое служит истинной основой всего великого и благородного в человеке. Давно уж заметил я в нем презренный эгоизм; но

лишь недавно, совсем недавно, обнаружил, на какие низкие и черные дела он способен: да, я наконец обнаружил, что, пользуясь моим открытым характером, он затеял погубить меня, долго строил адские козни и, наконец, привел свой план в исполнение.

— Вот как! — воскликнул Даулинг.— Как жаль тогда, что огромное состояние вашего дяди Олверти перейдет по наследству к такому субъекту.

— Вы мне оказываете честь, сэр, на которую я, увы, не имею никакого права,— отвечал Джонс.— Правда, мистер Олверти был настолько добр, что однажды позволил мне называть его еще более дорогим именем, но так как он это сделал только по доброте своей, то я не могу жаловаться на его несправедливость, если он нашел нужным лишить меня этой чести: ведь лишение дара не может быть более незаслуженным, чем был ранее самый дар. Уверяю вас, сэр, я не родственник мистера Олверти; и если свет, неспособный оценить по-настоящему его достоинства, найдет, что он поступил со мной слишком сурово и не по-родственному, то это будет несправедливостью к лучшему из людей; ведь я... Однако, извините, я не буду вам докучать подробностями о самом себе, но вы, видно, приняли меня за родственника мистера Олверти, и потому я счел долгом сказать вам правду о поступке, который может навлечь на него нарекания; я готов скорее пожертвовать жизнью, чем дать для этого какой-нибудь повод.

— Ваши слова, сэр, звучат истинным благородством,— сказал Даулинг,— и вы мне не только не докучаете, но, напротив, доставили бы большое удовольствие, объяснив, как это вышло, что вас считают за родственника мистера Олверти, если вы ему не родственник? Ваши лошади будут готовы не раньше чем через полчаса, и у вас есть довольно времени; так расскажите же, пожалуйста, как это все случилось? Признаюсь, меня очень удивляет, почему вас принимают за родственника джентльмена, который вам совершенно не родня.

Сговорчивым характером (но отнюдь не осмотрительностью) Джонс немного напоминал свою возлюбленную Софью: он охотно согласился удовлетворить любопытство мистера Даулинга и рассказал ему историю своего рождения и воспитания, как Отелло,

> От детских лет до самого мгновенья,
> Когда его он слышать пожелал,—

а Даулинг, подобно Дездемоне, выслушал его с большим вниманием,

> Клянясь ему, что это странно, чудно
> И горестно, невыразимо горько.

Мистер Даулинг был чрезвычайно тронут этим рассказом,— должность стряпчего не убила в нем человеческих чувств. Нет ничего несправедливее, как переносить наше предубеждение против той или иной профессии на частную жизнь и судить о человеке на основании наших представлений о его занятиях. Привычка, правда, ослабляет отвращение к действиям, которые требуются известной профессией и уже как бы входят в плоть и кровь человека, но в других случаях природа сказывается одинаково в людях всех профессий, и даже, может быть, могущественнее в тех, которые дают ей, так сказать, отдых, занимаясь своим всегдашним делом. Мясник, я уверен, не убьет красивой лошади без чувства сожаления, а хирург, хладнокровно отнимающий руку или ногу, выразит участие больному подагрой; я сам этому свидетель. Известно, что и публичный палач, свернувший шею сотням людей, дрожит, исполняя свои обязанности в первый раз; и даже мастера по части пролития человеческой крови, которые во время войны без зазрения совести избивают тысячи не только подобных себе мастеров, но часто также женщин и детей,— даже они в мирное время, откладывая в сторону барабаны и трубы, часто откладывают в сторону и свирепость и делаются весьма кроткими членами гражданского общества. Так и стряпчий может сочувствовать всем бедствиям и невзгодам своих ближних, если только ему не приходится выступать против них в суде.

Джонс, как известно читателю, не знал еще, в каких черных красках его представили мистеру Олверти; что же касается остальных событий, то он изложил их в не очень невыгодном для себя свете: хотя он не желал обсуждать своего недавнего друга и покровителя, но не хотел взваливать слишком много и на себя. Поэтому Даулинг заметил не без основания, что кто-то оказал ему очень плохую услугу.

— Сквайр, конечно, не лишил бы вас наследства только за несколько провинностей, которые может совершить каждый молодой джентльмен. Впрочем, я говорю неправильно: «лишил наследства», потому что вы, разумеется, не имеете на него законных прав. Это не подлежит сомнению; об этом не стоит и возбуждать дела. Все же, если вас некоторым образом усыновили, приняли как родного сына, то вы, конечно, вправе были рассчитывать если не на все имение, то на значительную часть его; и даже если бы вы надеялись получить все, я не стал бы вас порицать: ведь все люди желают приобрести больше, и бранить их тут не за что.

— Нет, вы ошибаетесь, приписывая мне такие намерения,— сказал Джонс,— я удовольствовался бы самым малым. Я никогда не имел никаких видов на состояние мистера Олверти и могу по чистой совести сказать, никогда не задумывался над тем, что он

может или вправе мне оставить. Торжественно объявляю: если бы он обделил своего племянника в мою пользу, я вернул бы ему все незаконно полученное. Спокойную совесть я предпочитаю чужому богатству. Что значит жалкая гордость от обладания великолепными хоромами, множеством слуг, роскошным столом и всеми иными выгодами или видимостями богатства по сравнению с тем благодатным покоем, тем живым удовлетворением, теми упоительными восторгами и душевным ликованием, какими наслаждается добрая душа, созерцая великодушный, доблестный, благородный, милосердный поступок? Я не завидую Блайфилу с его перспективами на будущее богатство, не буду завидовать, когда он и получит его. Я бы и на полчаса не согласился быть негодяем, чтобы поменяться с ним местами. Мне сдается, что мистер Блайфил подозревал меня в тех намерениях, о которых вы говорите; в этих своих подозрениях, порожденных душевной низостью, он, по всей вероятности, приписывал такую же низость и мне. Но, благодарю бога, я сознаю, я чувствую... да, чувствую свою невинность, друг мой, и ни за что на свете не расстанусь с этим чувством. Насколько я себя помню, я никому на свете не сделал ничего дурного и никогда даже не помышлял об этом.

Pone me pigris ubi nulla campis
Arbor aestiva recreatur aura,
Quod latus mundi nebulae malusque
Juppiter urget.
Pone sub curru nimium propinqui
Solis, in terra domibus negata:
Dulce ridentem Lalagen amabo,
Dulce loquentem [1].

Сказав это, он налил бокал вина и выпил за здоровье своей дорогой Лалаги, затем, наполнив также до краев бокал Даулинга, предложил и ему выпить.

— За здоровье мисс Лалаги? Извольте, от всего сердца,— сказал Даулинг.— Я уже не раз слышал, как пили за ее здоровье, хотя никогда ее не видел; говорят, она удивительно хороша.

---

[1] Хоть брось меня в страну, где по верхам древес
Не дышит теплый ветр, весною растворенный,
Где пеленою туч подернул свод небес
Юпитер раздраженный;
Хоть брось в безлюдный край, где солнца близкий бег
Пустыню раскалил ездою безотлучной,—
Я буду Лалагу любить за сладкий смех,
За говор сладкозвучный.

*(Перевод А. Фета.)*

Хотя Даулинг не вполне понял не одну лишь латинскую часть этой речи, однако в ней были места, которые произвели на него очень сильное впечатление. И хотя он старался скрыть это впечатление от Джонса, подмигивая, кивая головой, усмехаясь и скаля зубы (мы часто стыдимся здравых мыслей не меньше, чем мыслей ошибочных), но, несомненно, он втайне одобрял все те утверждения молодого человека, которые были ему понятны, и проникся к нему самым живым участием. Но, может быть, мы поговорим об этом при другом случае, особенно если еще встретимся с мистером Даулингом в течение этой истории. А теперь мы должны наспех проститься с этим джентльменом, по примеру мистера Джонса, который, услышав от Партриджа, что лошади готовы, тотчас же расплатился по счету, пожелал своему собутыльнику доброй ночи, вскочил на коня и направился в Ковентри, несмотря на темную ночь и начавшийся проливной дождь.

## ГЛАВА XI

*Несчастья, постигшие Джонса на пути в Ковентри, и мудрые замечания Партриджа*

Нет дороги ровнее той, что ведет в Ковентри от местечка, в котором они находились; и хотя ни Джонс, ни Партридж, ни проводник никогда по ней не проезжали, им было бы почти невозможно заблудиться, если бы не два обстоятельства, упомянутые в конце предыдущей главы.

Но так как оба эти обстоятельства, к несчастью, их сопровождали, то наши путешественники незаметно уклонились на боковую дорогу и, проехав целых шесть миль, все еще не добрались до стройных шпилей Ковентри, а находились на чрезвычайно грязном проселке, где не видно было никаких признаков близости предместий большого города.

Тогда Джонс заявил, что они, верно, сбились с пути, но проводник утверждал, что это невозможно,— слово, которое в обычном разговоре часто обозначает не только нечто невероятное, но часто и то, что вполне может случиться и даже действительно случилось: это такое же гиперболическое насилие, какому сплошь и рядом подвергаются слова «бесконечность» и «вечность», которыми обозначают расстояние в пол-ярда и пять минут времени. Столь же распространено утверждение, что нельзя потерять вещь, которая на самом деле уже потеряна. Так было и теперь: несмотря на все уверения проводника, путешественники наши были в такой же мере на верной дороге к Ковентри, как жадный, жесто-

кий, скупой мошенник-ханжа находился на верном пути на небо.

Читателю, который никогда не бывал в подобных обстоятельствах, нелегко представить, каким ужасом наполняет темнота, дождь и ветер людей, заблудившихся глухой ночью и лишенных, следовательно, отрадной перспективы отогреться, осушиться и подкрепить свои силы, которая так ободряет в борьбе с суровыми стихиями. Но и самое несовершенное представление об этом ужасе достаточно объяснит мысли, забродившие в голове Партриджа, с которыми мы сейчас познакомим читателя.

Джонс все больше и больше убеждался, что они сбились с дороги; наконец, и сам проводник признался, что, кажется, они действительно не на правильном пути к Ковентри, но в то же время утверждал, что они не могли заблудиться. Однако Партридж был другого мнения. По его словам, еще когда они трогались в путь, он ожидал, что случится что-нибудь недоброе.

— Разве, сэр, вы не заметили старуху, стоявшую у двери как раз в ту минуту, когда вы садились на лошадь? Жаль, очень жаль, что вы не подали ей хоть безделицу; она сказала, что вы будете раскаиваться,— и в ту же минуту пошел дождь и поднялся ветер, который до сих пор не унимается. Пусть думают, что угодно, а я уверен, что ведьмы обладают силой поднять ветер, когда им вздумается. Мне не раз случалось это наблюдать; и если я когда-нибудь в своей жизни видел ведьму, так это, конечно, была та старуха. Я так и подумал в ту минуту, и будь у меня в кармане полпенса, я бы ей подал: таким людям всегда надо давать милостыню, иначе беду на себя накличешь; многие теряли скотину, поскупившись пожертвовать полпенса.

Джонс, хотя и был сильно раздосадован по случаю задержки, которую неминуемо должно было повлечь за собой это уклонение от правильного пути, не мог, однако, удержаться от улыбки по поводу суеверия приятеля, которого неожиданный случай еще больше укрепил в высказанном мнении: его лошадь оступилась и упала,— впрочем, от этого падения сам Партридж не пострадал и лишь испачкал свое платье.

Поднявшись на ноги, педагог тотчас же усмотрел в своем падении непреложное доказательство истины своих слов; но Джонс, увидя, что он не ушибся, отвечал ему с улыбкой:

— Твоя ведьма, Партридж, должно быть, пренеблагодарная шельма: я вижу, она в злобе своей не отличает друзей от недругов. Если эта почтенная леди обиделась на меня за невнимание к ней, так зачем же она сбросила с лошади тебя, после того как ты проявил к ней столько уважения?

— Нехорошо шутить с огнем, способным выкидывать такие

шутки. Часто особы эти ох какие злобные! Помню, мой знакомый кузнец разозлил одну ведьму, спросив, скоро ли истечет срок ее сделки с дьяволом. И что же? Через каких-нибудь три месяца у него утонула одна из лучших коров. Но этим она не удовольствовалась; вскоре у него выбежала целая бочка прекрасного пива,— старая ведьма вытащила втулку и до капельки разлила пиво по погребу в первый же вечер, когда хозяин почал бочку, собираясь попировать кое с кем из соседей. Словом, с тех пор кузнецу ни в чем не везло; она так извела беднягу, что тот запил; через год или два на его имущество был наложен арест, и теперь он с семьей находится на попечении прихода.

Проводник, а может быть, и его лошадь так заслушались этим рассказом, что, по собственной неосторожности или по злобе ведьмы, оба тоже растянулись в грязи.

Партридж приписал и это падение всецело той же причине. Он сказал мистеру Джонсу, что теперь, наверно, будет его очередь, и принялся горячо его упрашивать вернуться, отыскать старуху и помириться с ней.

— Мы скоро прибудем в гостиницу,— прибавил он,— нам казалось, что мы идем вперед, но я совершенно убежден, что мы находимся на том самом месте, где были час тому назад; и, будь сейчас светло, мы бы, ей-богу, увидели ту самую гостиницу, из которой выехали.

Ни слова не отвечая на это мудрое замечание, Джонс обратил все свое внимание на то, не случилось ли чего с проводником; но проводник пострадал не больше, чем Партридж,— то есть только вывалялся в грязи, которую, впрочем, его костюм легко перенес, так как имел к ней многолетнюю привычку. Он быстро вскочил опять в дамское седло, и крепкая брань и побои, посыпавшиеся на лошадь, живо доказали мистеру Джонсу, что седок не получил увечий.

## ГЛАВА XII,

*повествующая о том, как мистер Джонс продолжал свое путешествие вопреки совету Партриджа и что с ним случилось*

Тут вдали мелькнул огонь, к великому удовольствию Джонса и немалому ужасу Партриджа, твердо убежденного, что ведьма заворожила его и что это блуждающий огонь, а может, и что-нибудь похуже.

Как же, однако, его страхи увеличились, когда, подъехав ближе к этому огню (или огням, как теперь обнаружилось), наши путешественники услышали смутный гул людских голосов, сме-

шанный со странным шумом, как будто издаваемым какими-то инструментами, но едва ли заслуживающим названия музыки — разве что музыки, которую можно услышать на шабаше ведьм, что до некоторой степени оправдывало предположение Партриджа.

Невозможно себе представить, какой ужас обуял бедного педагога; им заразился и проводник, внимательно прислушивавшийся к его речам: он тоже стал упрашивать Джонса вернуться, утверждая, что Партридж совершенно прав и что, по крайней мере, за последние полчаса они не продвинулись ни на шаг, хотя им и кажется, будто лошади бегут.

При всей своей досаде Джонс не мог удержаться от улыбки, видя смятение своих спутников.

— Или мы приближаемся к огням,— сказал он,— или огни приближаются к нам, потому что теперь нас отделяет от них совсем ничтожное расстояние. Почему, однако, вы так боитесь людей, собравшихся, по-видимому, только для того, чтобы повеселиться?

— Повеселиться, сэр! — вскричал Партридж.— Да кому же придет в голову веселиться ночью на таком месте и в такую погоду? Это, наверно, привидения или ведьмы, если не сами злые духи.

— Пусть они будут кем им угодно,— сказал Джонс,— а я решил подойти к ним и расспросить о дороге в Ковентри. Не все же ведьмы, Партридж, такие злые твари, как та, с которой мы имели несчастье встретиться при отъезде.

— Господи, сэр,— отвечал Партридж,— никогда нельзя знать, в каком они расположении, и, понятно, лучше всего быть с ними повежливее. Но что, если мы натолкнемся на кой-кого похуже ведьм — на самих злых духов?.. Прошу вас, сэр, послушайтесь доброго совета, ради бога, послушайтесь. Если бы вы читали об этих вещах столько страшных рассказов, как я, вы бы не были так безрассудны... Господь его знает, куда мы заехали или куда мы едем: такой темноты, ей-богу, никогда не бывало на земле, да вряд ли и на том свете темнее.

Но, не обращая внимания на все эти жалобы и предостережения, Джонс быстро поехал вперед, и бедный Партридж принужден был за ним следовать; правда, ему было страшно сдвинуться с места, но еще больше он боялся остаться в одиночестве.

Наконец они прибыли к месту, откуда виднелись огни и неслись нестройные звуки. Джонс увидел перед собой обыкновенный амбар, где собралось множество мужчин и женщин, по-видимому, предававшихся самому бурному веселью.

Только что Джонс появился в открытых настежь дверях амбара, как чей-то грубый мужской голос спросил его изнутри: «Кто там?» Джонс учтиво отвечал: «Друг», и тотчас же спросил о дороге на Ковентри.

— Если вы друг,— продолжал тот же голос из амбара,— так вам лучше сойти с лошади и переждать бурю (а буря действительно разбушевалась еще пуще прежнего). Милости просим вместе с лошадью; тут и для нее найдется местечко — в конце амбара.

— Вы очень добры,— отвечал Джонс,— я с удовольствием ненадолго воспользуюсь вашим предложением, пока не кончится дождь; со мной еще двое, которые будут очень рады, если вы позволите им войти.

Испрашиваемое позволение было с большей готовностью дано, чем принято: Партридж охотнее согласился бы терпеть какую угодно суровость погоды, чем довериться милосердию тех, кого он считал нечистой силой; но волей-неволей обоим спутникам тоже пришлось последовать примеру Джонса: один не решался оставить свою лошадь, а другой ничего так не боялся, как остаться в одиночестве.

Если бы эта история писалась в эпоху суеверия, я пожалел бы читателя и не томил бы его так долго в неведении того, Вельзевул или Сатана явятся сейчас собственной персоной со своей адской свитой; но так как эти россказни теперь не в чести и им почти никто не верит, то я не очень озабочен изображением всех таких ужасов. Правду сказать, вся обстановка инфернального царства давно уже присвоена директорами театров, которые нынче, по-видимому, сложили ее в подвалы, как старую рухлядь, способную производить впечатление только на публику галерки — место, которое занимают, я думаю, лишь немногие наши читатели.

И все же, нисколько не страшась того, что читатель будет повергнут в ужас нашим рассказом, мы не без основания боимся пробудить в нем некоторые иные опасения, чего нам вовсе не хотелось бы: чего доброго, он вообразит, будто мы собираемся прогуляться в волшебное царство и ввести в нашу историю компанию существ, в которых едва ли кто когда-либо серьезно верил, хотя многие безрассудно тратили свое время на описание и чтение их приключений.

И вот, чтобы предотвратить всякие такие опасения, столь роняющие историка, торжественно обещавшего брать материалы только из природы, мы сейчас скажем читателю, кто были эти люди, внезапное появление которых повергло в такой ужас Партриджа, так напугало проводника и несколько озадачило даже мистера Джонса.

Люди, собравшиеся в этом амбаре, были не кто иные, как египтяне, или, в просторечии, цыгане, и теперь они праздновали свадьбу одного из своих земляков.

Невозможно представить себе счастливейшую группу людей,

чем здесь собравшиеся. На всех лицах сияло безграничное веселье, и бал их был не вовсе лишен порядка и пристойности. Может быть, даже он отличался большей чинностью, чем иные деревенские собрания, ибо у людей этих есть настоящее правительство и свои особые законы, и все они повинуются одному начальствующему лицу, которое называют своим королем.

Нигде нельзя было также увидеть такого изобилия, как то, которым блистал этот амбар. Здесь не было изысканности и изящества, да их и не требовал здоровый аппетит гостей. Зато здесь были горы свинины, птицы и баранины, и каждый приправлял их таким соусом, какого не состряпать самому лучшему дорогому французскому повару.

Эней в храме Юноны —

Dum stupet obtutuque haeret defixus in uno [1],—

был не больше ошеломлен, чем наш герой при виде открывшегося ему в амбаре зрелища. Пока он с изумлением осматривался кругом, человек почтенной наружности подошел к нему с дружескими приветствиями, слишком сердечными для того, чтобы их можно было назвать церемонными. То был сам цыганский король. Одеждой он мало отличался от своих подданных и не подкреплял своего величия никакими регалиями; все же в наружности его (по словам мистера Джонса) нечто как бы указывало на власть и внушало окружающим благоговенье и уважение; но, может быть, все это существовало только в воображении Джонса и объясняется тем, что подобные представления обыкновенно сопутствуют власти и почти неотделимы от нее.

В открытом лице и учтивом обращении Джонса было нечто такое, что в соединении с его миловидной наружностью очень располагало к нему всех с первого взгляда. В настоящем случае это, может быть, сказалось еще ярче; Джонс, узнав о сане подошедшего к нему человека, засвидетельствовал королю цыган особенно глубокое почтение, которое было его цыганскому величеству тем приятнее, что он не привык к таким знакам внимания со стороны людей, ему неподвластных.

Король приказал накрыть для гостя стол и подать самые отборные кушанья; севши возле него по правую руку, его величество обратился к нашему герою со следующими словами:

— Я не сомневаюсь, сэр, что вам часто доводилось видеть моих одноплеменников: ведь они, как говорится, вольные люди и бродят повсюду; но вы, верно, не подозреваете, что мы составляем большой народ, и, может, будете еще больше удивлены, когда я вам скажу,

[1] И изумлен, и стоит, единым окован гляденьем *(лат.)*.

что порядок и управление у цыган не хуже, чем у любого другого народа.

Я имею честь быть их королем, и ни один монарх не может похвастать большей преданностью и любовью подданных. Насколько я заслуживаю это доброе отношение, не могу сказать; скажу только, что всегда стремлюсь делать им добро. Я вовсе не желаю этим хвастаться: что же мне и делать, как не заботиться о благе этих бедняков, которые бродят целый день и всегда отдают мне лучшее, что им удалось добыть. Итак, они любят меня и почитают за то, что я их люблю и о них забочусь,— вот и все, другой причины их любви я не знаю.

Лет тысячу или две тому назад, в точности сказать не могу, потому что не умею ни читать, ни писать, у цыган произошла большая, как вы говорите, *волюция*; в те дни были у них вельможи, и эти вельможи ссорились между собой за место; но цыганский король усмирил их и сделал всех своих подданных равными. С тех пор цыгане живут в большом согласии, никто из них не помышляет сделаться королем,— и так, пожалуй, для них лучше: поверьте мне, быть королем и всегда творить суд — очень хлопотная штука; сколько раз желал я быть простым цыганом, когда мне приходилось наказывать закадычного друга или родственника: правда, смертной казни у нас нет, но мы наказываем очень строго. Цыгану от этого большой позор, а позор очень страшное наказание,— мне неизвестно, чтобы цыган, наказанный таким образом, снова совершил преступление.

Тут король выразил некоторое удивление, что другие правительства не прибегают к этому наказанию. Джонс стал уверять его, что он ошибается, так как есть много преступлений, за которые английские законы наказывают позором, и что позор есть следствие всякого вообще наказания.

— Это очень странно,— сказал король.— Я хоть и не живу среди вас, но много знаю и много слыхал о вашем народе, и мне не раз приходилось слышать, что у вас позор часто бывает также следствием и причиной награды. Разве награда и наказание у вас одно и то же?

Пока его величество беседовал таким образом с Джонсом, в амбаре вдруг поднялся шум,— как оказалось, по следующему поводу.

Обходительность этих людей мало-помалу рассеяла все опасения Партриджа, он согласился отведать не только их кушаний, но также и напитков, которые в конце концов прогнали весь его страх и заменили его гораздо более приятными ощущениями. Молодая цыганка, замечательная не столько красотой, сколько остроумием, сманила простосердечного малого в сторону под предлогом

погадать ему. И вот, когда они находились одни в отдаленном углу амбара,— был ли тут причиной крепкий напиток, который легче всего разжигает чувственное желание после небольшой усталости, или же сама прекрасная цыганка, отбросив прочь деликатность и скромность своего пола, пыталась соблазнить Партриджа,— только они были застигнуты в самую неподходящую минуту мужем цыганки, который, видно, из ревности, держал соглядатая за женой и, подойдя к месту преступления, нашел жену в объятиях любовника.

К великому смущению Джонса, Партридж был приведен к королю. Выслушав обвинение, а также слово обвиняемого в свою защиту, которое было не очень складно, потому что очевидность улики совсем сбила беднягу с толку, его величество сказал, обращаясь к Джонсу:

— Вы слышали, сэр, что они говорят? Какого же наказания заслуживает он, по вашему мнению?

Джонс выразил свое прискорбие по поводу случившегося и ответил, что Партридж должен дать мужу какое только может вознаграждение; у него же самого, к сожалению, сейчас очень мало денег, прибавил он, опуская руку в карман, и предложил цыгану гинею. На это цыган, не задумываясь, заявил, что «надеется, что его честь не думает дать ему меньше пяти».

После небольшого препирательства они сошлись на двух гинеях, и Джонс, выговорив у цыгана полное прощение Партриджу и жене, собрался уже платить деньги, как его величество, удержав его руку, обратился к свидетелю с вопросом: «В какое время застиг ты виновных?» Свидетель отвечал, что муж просил его следить за всеми движениями жены с той минуты, как она заговорила с чужестранцем, и что после этого он не спускал с нее глаз, пока преступление не было совершено. Тогда король спросил, находился ли с ним в засаде и муж. Свидетель отвечал утвердительно. Тогда его египетское величество обратился к мужу со следующими словами:

— Прискорбно мне видеть цыгана, у которого хватает бесстыдства торговать честью своей жены. Если бы ты любил жену, ты бы этого не допустил и не стал толкать ее на прелюбодейство, чтобы потом изобличить в неверности. Я запрещаю тебе брать деньги, потому что ты заслуживаешь наказания, а не награды. Я объявляю тебя бесчестным цыганом и приказываю в течение месяца носить на лбу рога, а жена твоя пусть называется шлюхой, и пусть все показывают на нее пальцами, потому что ты гнусный цыган, а она гнусная шлюха.

Цыгане тотчас же приступили к исполнению этого приговора и оставили Джонса и Партриджа наедине с его величеством.

Когда Джонс выразил восхищение справедливостью приговора, король, обратившись к нему, сказал:

— Вы как будто удивлены: должно быть, вы очень дурного мнения о моем народе; верно, всех нас считаете ворами.

— Признаюсь вам, сэр,— отвечал Джонс,— я никогда не слышал благоприятного мнения о цыганах, какого они, по-видимому, заслуживают.

— Хотите, я скажу вам,— продолжал король,— в чем разница между нами и вами? Мой народ обкрадывает ваш народ, а вы обкрадываете друг друга.

После этого Джонс принялся громко расхваливать благоденствие подданных, живущих под властью такого короля.

Действительно, благоденствие их кажется столь полным, что мы боимся, как бы какой-нибудь защитник неограниченной власти не сослался потом на этот народ в доказательство великих преимуществ этой формы правления перед всеми другими.

Однако мы готовы сделать уступку, которой от нас, может быть, не ожидали, и допустить, что никакая ограниченная форма правления не способна достигнуть такой степени совершенства или доставить такие блага обществу, как эта. Никогда человечество так не благоденствовало, как в те времена, когда бóльшая часть известного тогда мира находилась под властью одного государя; и это благоденствие продолжалось в течение пяти царствований подряд[1]. То был подлинный золотой век — единственный, когда-либо существовавший на земле, а не в пылком воображении поэтов,— от изгнания из рая до наших дней.

Собственно говоря, я знаю только одно серьезное возражение против неограниченной монархии. Единственный недостаток, присущий этой превосходной форме правления,— это трудность найти человека, подходящего для исполнения обязанностей неограниченного монарха; ведь для этого совершенно необходимо иметь три качества, которые, как показывает история, чрезвычайно редко встречаются в королевских душах: во-первых, достаточное количество умеренности в монархе, чтобы довольствоваться той властью, какая для него возможна; во-вторых, достаточно мудрости, чтобы познать собственное счастье; в-третьих, достаточно доброты, чтобы выносить счастье других, которое не только совместимо с его собственным счастьем, но также его обусловливает.

Но если допустить, что неограниченный монарх, обладающий всеми этими прекрасными и редкими качествами, способен принести обществу величайшее благо, то, с другой стороны, нельзя

---

[1] Нерва, Траян, Адриан и два Антонина.

не признать, что неограниченная власть, попавшая в руки человека, лишенного этих достоинств, по всей вероятности принесет обществу величайшее зло.

Впрочем, сама религия христианская дает нам ясное представление о благодатности и о гибельности неограниченной власти. Картины неба и ада рисуют нам их очень живыми красками; правда, вся власть князя тьмы берет начало у всемогущего господина небес, однако Писание ясно говорит, что повелителю ада дарована неограниченная власть в его инфернальном царстве. И надо сказать, что это единственная неограниченная власть, какую можно, на основании Писания, выводить с небес. Если, следовательно, некоторые земные тираны в состоянии доказать божественный источник своей власти, то ее надо выводить из этого исконного дара князю тьмы; таким образом, все их полномочия исходят непосредственно от того, чью печать они так явственно носят.

Итак, вся история показывает нам, что люди, вообще говоря, добиваются власти только для того, чтобы ею злоупотреблять, и, добившись, ни для чего другого ею не пользуются; поэтому до крайности неблагоразумно отваживаться на переворот, когда наши надежды едва-едва подкрепляются двумя или тремя исключениями из тысячи примеров, способных вселить в нас величайшую тревогу. При таком положении дела гораздо мудрее будет примириться с некоторыми неудобствами, проистекающими от бесстрастной глухоты законов, чем лечить их, обращаясь к чересчур страстному слуху тирана.

Не является убедительным и пример цыган, сколько бы веков они ни благоденствовали при этой форме правления; ведь мы не должны забывать чрезвычайно существенного различия между ними и всеми прочими народами, которому, может быть, они всецело обязаны этим своим благоденствием, а именно: они не знают никаких ложных почестей и считают позор самым тяжким наказанием на свете.

## ГЛАВА XIII

### *Диалог между Джонсом и Партриджем*

Честные приверженцы свободы, несомненно, извинят нам длинное отступление, которое мы позволили себе в заключение предыдущей главы, чтобы никто не вздумал пользоваться нашей историей для подтверждения самого пагубного и бессовестного учения, какое когда-либо проповедовало изворотливое духовенство.

Обратимся теперь к мистеру Джонсу, который, когда буря утихла, попрощался с его египетским величеством, усердно поблагодарив за ласковое обращение и любезный прием, и отправился в Ковентри, куда одному из цыган велено было его проводить (так как еще не рассвело).

Сбившись с пути, Джонс проехал вместо шести миль одиннадцать, большей частью по таким отвратительным дорогам, что спешить даже за повитухой не было бы никакой возможности. Поэтому он прибыл в Ковентри только около двенадцати и до двух никак не мог снова сесть в седло, потому что почтовых лошадей достать было нелегко, а конюх и проводник вовсе не думали торопиться, подобно Джонсу, а скорее подражали спокойному Партриджу; последний же, лишенный возможности подкрепиться сном, пользовался каждым случаем подкрепляться всеми другими способами; ничто его так не радовало, как приближение к гостинице, и ничто так не печалило, как необходимость покинуть ее.

Джонс поехал теперь на почтовых. Согласно нашему обычаю и правилам Лонгина, последуем и мы за ним на почтовых. Из Ковентри он отправился в Давентри, из Давентри в Стратфорд, а из Стратфорда в Данстебл, куда приехал на другой день почти ровно в полдень — через несколько часов после отъезда оттуда Софьи; и хотя ему пришлось пробыть там дольше, чем он желал, дожидаясь, пока неторопливый кузнец подкует для него лошадь, однако он твердо надеялся догнать свою возлюбленную в Сент-Олбенсе, основательно рассчитав, что его светлость остановится в этом городе пообедать.

Окажись его расчеты правильными, он, по всей вероятности, догнал бы своего ангела в названном городе; но, к несчастью, лорд приказал приготовить обед у себя в Лондоне и, чтобы поспеть туда вовремя, распорядился выслать ему навстречу свежих лошадей в Сент-Олбенс. Поэтому, когда Джонс туда прибыл, ему сказали, что карета шестеркой уехала уже часа два тому назад.

Если бы даже были готовы свежие почтовые лошади,— а готовых лошадей не было,— то и тогда кареты, очевидно, уже нельзя было бы догнать, и потому Партридж решил, что приспело время напомнить спутнику о вещи, им как будто совсем забытой; что это была за вещь, читатель легко догадается, если мы ему сообщим, что с самого отъезда из трактира, где он встретился с проводником Софьи, Джонс съел всего только одно вареное яйцо, потому что на свадьбе у цыган пировал только его ум.

Хозяин всецело разделил мнение мистера Партриджа; услышав, как тот просит своего друга остаться и пообедать, он горячо

его поддержал и, взяв назад ранее данное обещание немедленно достать лошадей, начал уверять мистера Джонса, что, заказав обед, он не потеряет ни одной минуты, так как обед будет готов гораздо раньше, чем лошадей приведут с пастбища и покормят на дорогу овсом.

Джонс наконец согласился подождать, убежденный главным образом последним доводом хозяина, и на огонь была поставлена баранья лопатка. Покуда она жарилась, Партридж, приглашенный своим другом или господином к нему в комнату, начал ораторствовать:

— Поистине, сэр, вы заслужили любовь мисс Вестерн, если мужчина вообще может заслужить любовь женщины: ведь какие надо иметь запасы любви, чтобы, подобно вам, жить этим чувством без всякой иной пищи! Я, наверное, съел за последние сутки в тридцать раз больше вашей чести и все же до смерти проголодался, потому что ничто так не возбуждает аппетит, как путешествие, особенно в такую холодную, сырую погоду. А между тем ваша честь, не знаю отчего, пребывает, видно, в добром здравии: никогда еще не видел я вас таким молодцом и таким свеженьким, как сейчас. Должно быть, действительно вас кормит любовь.

— И роскошно кормит, Партридж,— отвечал Джонс.— Разве не послала мне вчера судьба великолепное лакомство? Неужели ты думаешь, что этой драгоценной записной книжкой я не могу быть сыт гораздо более суток?

— Разумеется, в ней есть довольно для того, чтобы много раз сытно покушать. Судьба послала нам ее как раз в ту минуту, когда карман вашей чести, кажется, совсем опустел.

— Что ты хочешь этим сказать? — вознегодовал Джонс.— Надеюсь, ты не считаешь меня настолько бесчестным? Даже если бы деньги эти принадлежали кому-нибудь другому, а не мисс Вестерн...

— Бесчестным! Сохрани бог, чтобы я подумал так о вашей чести! — воскликнул Партридж.— Однако что ж тут бесчестного — позаимствовать малость на текущие расходы, если впоследствии у вас будет полная возможность вернуть деньги уважаемой леди? Ну, понятное дело, вам надо будет во что бы то ни стало их вернуть, и чем скорее, тем лучше; но что же худого попользоваться ими теперь, когда вы в них нуждаетесь? Пусть бы еще эти деньги принадлежали бедняку, тогда другое дело; но такой богатой даме они, наверно, не нужны, особенно теперь, когда она едет с лордом, который, разумеется, доставит ей все, что понадобится. Но допустим даже, что она нуждается в безделице, так ведь всего-то ей не нужно; ну, я бы дал ей кое-что; только я позволил бы

скорее себя повесить, но не заикнулся бы о находке перед тем, как получить собственные деньги; ведь в Лондоне, я слышал, без денег пропасть можно. Понятно, если бы я не знал, чьи это деньги, я бы, пожалуй, подумал, что они дьяволовы, и побоялся бы ими воспользоваться; но ведь владельца их вы знаете, и они достались вам честно; так расстаться с ними начисто, когда они вам до зарезу нужны, значило бы бросать вызов судьбе; вряд ли можно надеяться, что она еще раз так вас побалует; потому что fortuna nunquam perpetuo est bona[1]. Делайте как угодно и не обращайте внимания на мои слова, только, повторяю, я дал бы скорей себя повесить, но не сказал бы о находке ни полслова.

— Из этого я могу заключить, Партридж,— сказал Джонс,— что вешать есть занятие non longe alienum a Scaevolae studiis[2].

— Вы должны были сказать alienus,— перебил его Партридж.— Я помню это место из грамматики: communis, alienus, immunis variis casibus serviunt[3].

— Помнишь, да не понимаешь,— возразил Джонс.— Но говорю тебе, друг, уже не по-латыни, что, кто нашел чужую собственность и, зная владельца, своевольно удержал ее, тот заслуживает in foro conscientiae[4] виселицы не меньше, чем если бы украл ее. А что касается вот этого билета, составляющего собственность моего ангела и находившегося в ее милых ручках, то я ни под каким видом не отдам его никому, кроме нее, хотя бы даже был голоден, как ты, и не имел другого средства утолить свой зверский голод. Надеюсь, что мне удастся это сделать еще до того, как я лягу в постель; но если бы даже не удалось, я приказываю тебе, если ты не хочешь навлечь мое недовольство: не смей больше заикаться о такой презренной гнусности.

— Я бы и не заикнулся, если бы считал это гнусностью,— отвечал Партридж,— потому что, поверьте, мне противна всякая подлость не меньше, чем другому; но вы, может быть, смыслите в этом лучше меня, хоть, правду сказать, я не думал, что, прожив столько лет и пробыв так долго школьным учителем, я не в состоянии различить fas от nefas[5]. Но, видно, век живи, век учись. Помню, мой старый учитель, человек глубочайшей учености, говаривал, бывало: polly matete cry town is my daskalon[6], что в переводе

---

[1] Фортуна никогда не бывает доброй постоянно *(лат.)*.

[2] Не слишком чуждое занятий Сцеволы *(лат.)*.

[3] Слова «общий», «чуждый», «неприкосновенный» сочетаются с разными падежами *(лат.)*.

[4] Перед судом совести *(лат.)*.

[5] Благочестие от нечестия *(лат.)*.

[6] Фраза представляет собой набор искаженных греческих и английских слов.

означает, говорил он нам: «И внучек может иногда поучить бабушку яйца высасывать». Не много же вышло проку из моей жизни, если и теперь еще меня надо учить грамматике. Может быть, молодой человек, вы еще перемените ваше мнение, когда доживете до моих лет; помню, когда я был молокососом двадцати двух или трех лет, я считал себя таким же умным, каков я теперь. Поверьте, я всегда учил школьников читать alienus, и мой учитель поступал точно так же.

Партридж мало чем способен был рассердить Джонса, но мало что могло также поколебать самомнение Партриджа. К несчастью, однако, обоим это удалось. Мы уже видели, что Партридж не мог выносить нападений на свою ученость, а Джонс не мог отнестись спокойно к некоторым фразам вышеприведенной речи.

Посмотрев на своего спутника презрительно и зло (что случалось с ним довольно редко), Джонс сказал ему:

— Партридж, я вижу, что ты старый самодовольный дурак, и будет прискорбно, если ты окажешься еще и старым плутом. Если я был бы убежден в последнем так же твердо, как убежден в первом, то давно бы уже с тобой расстался.

Благоразумный педагог дал уже выход своему негодованию и быстро присмирел. Он попросил извинить его, если он сказал что-нибудь оскорбительное, потому что такого намерения у него никогда не было; но nemo omnibus horis sapit.

Джонс страдал многими пороками, свойственными людям с горячим нравом, но зато был совершенно чужд холодной злобы; если друзья не могли не сознаться, что темперамент у него немного вспыльчивый, то даже враги должны были признать, что он отходчив; он ничуть не был похож на море, чье волнение жесточе и опаснее, когда буря миновала, чем во время самой бури. Не раздумывая, Джонс принял извинение Партриджа, пожал ему руку, наговорил с самым милостивым видом кучу ласковых слов и в то же время осудил себя за свою выходку весьма сурово,— хотя, может быть, далеко не так сурово, как его, вероятно, осудят многие из наших почтенных читателей.

Партридж был чрезвычайно обрадован, потому что его опасения, не оскорбил ли он Джонса, рассеялись, а гордость была вполне удовлетворена извинением Джонса, которое он тотчас же отнес к наиболее задевшим его словам.

— Разумеется, сэр,— ворчал он вполголоса,— ваши знания во многом превосходят мои; но что касается грамматики, то в этой области, мне кажется, я могу бросить вызов любому смертному. Да, мне кажется, что грамматику я знаю как свои пять пальцев.

Ничто не могло в такой степени усилить удовольствие, которое бедняга в ту минуту испытывал, как появление на столе превосходной бараньей лопатки, от которой клубом шел пар. Вдоволь угостившись, путешественники наши снова сели на лошадей и направились в Лондон.

## ГЛАВА XIV

*Что случилось с мистером Джонсом по выезде из Сент-Олбенса*

Милях в двух от Барнета, когда уже начало смеркаться, к Джонсу подъехал на дрянной лошади человек приличного вида и спросил, не в Лондон ли он едет. Получив утвердительный ответ, джентльмен этот продолжал:

— Вы меня очень обяжете, сэр, если позволите присоединиться к вам: время позднее, а я не знаю дороги.

Джонс охотно дал свое согласие, и они поехали вместе, завязав между собой обычный в таких случаях разговор.

Главной его темой были, конечно, разбой и грабежи, которых незнакомец сильно опасался, но Джонс заявил, что ему почти нечего терять и, следовательно, почти нечего бояться. Тут Партридж не удержался, чтобы не вставить свое слово:

— Для вашей чести это, может быть, и безделица,— сказал он,— если бы у меня в кармане лежал, как у вас, стофунтовый билет, то мне, право, было бы очень жалко потерять его. Впрочем, если говорить о себе, то я не чувствую ни малейшего страха: ведь нас четверо, и если мы будем действовать дружно, то и самому отчаянному головорезу в Англии не удастся нас ограбить. Положим даже, что у него будет пистолет; все равно убить им можно только одного и умереть можно только однажды,— да, только однажды, это очень утешительно.

Впрочем, необыкновенная отвага, проявленная Партриджем, основывалась в настоящую минуту не только на его вере в численное превосходство — род доблести, вознесший одну из современных наций на вершину славы,— но еще и на другом обстоятельстве, а именно: на действии поглощенной им влаги.

Кавалькада наша была уже в миле от Гайгейта, как вдруг незнакомец выхватил пистолет и, направив дуло на Джонса, потребовал от него тот жалкий банковый билет, о котором говорил Партридж.

Это неожиданное требование в первую минуту несколько смутило Джонса, однако он тотчас овладел собой и сказал разбойнику, что все деньги, какие есть у него в кармане, к услугам

последнего; с этими словами он достал три гинеи и подал ему. Но разбойник с ругательствами заявил, что этого мало. Джонс невозмутимо выразил свое сожаление и положил деньги обратно в карман.

Тогда разбойник пригрозил, что застрелит его, если он сию же минуту не отдаст ему банковый билет, и поднес пистолет к самой груди Джонса. Джонс поспешно схватил разбойника за руку, настолько дрожавшую, что тот едва держал в ней пистолет, и отвел дуло в сторону. Завязалась борьба, во время которой Джонсу удалось вырвать пистолет из рук противника, и оба они разом упали с лошадей на землю — разбойник на спину, а победоносный Джонс на него.

Тут бедняга запросил пощады у победителя, потому что, по правде говоря, он был гораздо слабее Джонса.

— Клянусь, сэр,— воскликнул он,— я совсем не собирался застрелить вас. Можете освидетельствовать: пистолет мой не заряжен. Первый раз в жизни я решился на такое дело: нужда заставила.

В то же мгновенье в ста пятидесяти ярдах от них грохнулся наземь еще один человек, завопив о пощаде гораздо громче, чем разбойник. То был не кто иной, как наш Партридж: при попытке удрать от схватки он упал с лошади и лежал ничком, не осмеливаясь поднять голову и ожидая каждую минуту пули в бок.

В этом положении пролежал он до тех пор, пока проводник, заботившийся только о своих лошадях, поймал споткнувшегося коня и, подойдя к упавшему, сказал, что его хозяин одолел разбойника.

При этом известии Партридж вскочил и побежал к месту битвы, где Джонс стоял над разбойником с обнаженной шпагой.

— Убейте злодея, сэр, проткните его насквозь, сию минуту убейте! — воскликнул Партридж, увидя это зрелище.

К счастью для незадачливого грабителя, он попал в более милосердные руки. Осмотрев пистолет и убедившись, что он действительно не заряжен, Джонс, еще раньше, чем к нему подбежал Партридж, начал проникаться доверием к рассказу разбойника,— именно, что он еще новичок в этом деле и что его толкнула на разбой, как он уже сказал, нужда, самая отчаянная нужда: пятеро голодных детей и жена, готовая разрешиться шестым и лежащая без всякой помощи. Разбойник клялся и божился, что говорит правду; он предложил мистеру Джонсу самому убедиться в этом, потрудившись заглянуть в его жилище, расположенное всего в двух милях отсюда; в заключение он заявил, что просит дать ему пощаду лишь при условии, если все им рассказанное подтвердится.

Сначала Джонс хотел было поймать разбойника на слове и пойти с ним, объявив, что судьба его будет зависеть всецело от истины его рассказа. В ответ на это несчастный выказал такую живую готовность проводить Джонса, что герой наш проникся полной уверенностью в его правдивости и почувствовал к нему глубокое сострадание. Он вернул ему незаряженный пистолет, посоветовал придумать более честные способы облегчить свое тяжелое положение и дал две гинеи для оказания немедленной помощи жене и детям, прибавив, что, к сожалению, не может дать больше, потому что те сто фунтов, о которых было упомянуто, ему не принадлежат.

Мнения читателей наших по поводу этого поступка, вероятно, разделятся: одни, должно быть, одобрят его, как необыкновенно яркое проявление человеколюбия, а другие — люди более мрачного склада — усмотрят в нем недостаточное уважение к правосудию, которым должны быть проникнуты все добрые сыны своего отечества. Такой точки зрения, по-видимому, держался и Партридж, потому что он выразил большое неудовольствие, подкрепил его одной старой пословицей и сказал, что не удивится, если этот мерзавец нападет на них еще раз, прежде чем они доедут до Лондона.

Разбойник рассыпался в выражениях благодарности и признательности. Он даже прослезился или притворился, что плачет. Он поклялся, что немедленно вернется домой и никогда больше не покусится на такое дело. Сдержал он свое слово или нет — это, может быть, обнаружится впоследствии.

Путешественники наши снова сели на лошадей и приехали в столицу без дальнейших неприятностей. По дороге произошел очень занимательный разговор между Джонсом и Партриджем по поводу последнего приключения. Джонс от души пожалел разбойников, которых толкает на преступления и обыкновенно приводит к позорной смерти безысходная нужда.

— Я имею в виду только тех,— сказал он,— все преступление которых заключается в грабеже и которые совершенно неповинны в учинении над кем-либо жестокости или насилия — обстоятельство, к чести нашей родины, выгодно отличающее разбойников Англии от разбойников всех прочих стран; ведь у тех грабеж и убийство почти неразлучны.

— Разумеется,— отвечал Партридж,— лучше отнять деньги, чем жизнь; и все же нехорошо, что честные люди не могут ездить по своим делам, не подвергаясь опасности со стороны этих злодеев. И поверьте, что лучше бы перевешать всех этих мерзавцев, чем допустить, чтобы пострадал хотя бы один порядочный человек. Сам я, конечно, не замараю рук своих ничьей кровью; но закон

может преспокойно перевешать всю эту мразь. Разве имеет кто-нибудь право взять у меня хотя бы шестипенсовик, если я не даю его сам? Разве у такого человека есть хоть капля совести?

— Конечно, нет,— отвечал Джонс,— как нет ее и у того, кто уводит лошадей из чужой конюшни или присваивает себе найденные деньги, зная, кому они принадлежат.

Эти намеки замкнули рот Партриджу, и он не размыкал его, пока несколько саркастических шуток Джонса насчет его трусости не заставили его нарушить молчание. Пытаясь оправдаться неравенством оружия, он сказал:

— Тысяча безоружных ничего не значит против одного пистолета; одним выстрелом он убьет, правда, только одного,— но кто же может поручиться, что не его именно?

# КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРИОД В ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ

## ГЛАВА I

*Обращение к высшим силам*

Приди, о светлая любовь, к славе, вдохнови мое пламенное сердце! Не к тебе взываю я, грозная дева, влекущая к славе героя по морю крови и слез, меж тем как вздохи миллионов надувают паруса его, но к тебе, прекрасная и ласковая дочь счастливой нимфы Мнемосины, родившей тебя на берегах Гебра, к тебе, питомица Меонии, плененная Мантуей, к тебе, о муза, восседавшая на прелестном холме, что господствует над гордой столицей Британии, об руку с Мильтоном, когда сладкозвучно играл он на героической лире! Исполни восхищенные мечты мои надеждой на благосклонный прием у грядущих поколений! Предреки, что нежная дева, которой и бабушка еще не родилась на свет, разгадав под вымышленным именем Софьи истинные достоинства моей Шарлотты, испустит из груди своей сочувственный вздох! Научи меня не только тешиться, но и пользоваться, даже кормиться будущими похвалами. Обнадежь торжественным обещанием, что когда эта небольшая комната, в которой я сижу в настоящую минуту, сменится еще более убогой каморкой, меня с уважением будут читать люди, никогда меня не знавшие и не видевшие и которых я никогда не узнаю и не увижу.

Взываю и к тебе, дама более дебелая, облаченная не в воздушные формы и не в вымыслы воображения, которую способны усладить лишь вкусно приправленная говядина и обильно начиненный сливами пудинг,— к тебе, появившейся на свет на

treckschuvt'e[1], где-нибудь на голландском канале, от толстой Jufvrouw gelt[2] и веселого амстердамского купца и черпнувшей начатков учености в школе на Граб-стрит. Там, уже в более зрелом возрасте, научила ты поэзию щекотать не воображение, но спесь богача-покровителя. Комедия переняла от тебя чопорную важность и скуку, а трагедия яростно бушует и потрясает громами устрашенные театры. Баюкая ленивую твою дремоту, олдермен История рассказывает тебе скучную сказку, а чтобы тебя разбудить, Monsieur[3] Роман откалывает перед тобой удивительные свои трюки. Прихотям твоим повинуется и хорошо упитанный, подобно тебе, книгопродавец. По твоему совету, тяжелый, никем не читаемый фолиант, долго дремавший на пыльной полке, быстро расходится по всей стране, разбитый на тоненькие выпуски. По твоей указке иные книги, подобно лекарям-шарлатанам, морочат людей, обещая им чудеса, тогда как другие наряжаются щеголихами и полагают все достоинство свое в золоченом переплете. Приди, сдобная бабенка, с сияющим лицом! Мне не надо твоего вдохновения,— не лиши меня только заманчивых твоих даров: блестящих звонких монет и легко разменяваемых банковых билетов, таящих в себе невидимые богатства; не лиши переменчивых благ твоих, теплого уютного домика и вообще моей части из сокровищ щедрой матери нашей, пышные груди которой могли бы досыта накормить всех многочисленных детей ее, если бы некоторые из них жадно и своевольно не отталкивали братьев своих от сосцов. Приди, и если я окажусь слишком равнодушным к богатствам твоим, согрей мое сердце восхищающей мыслью о наделении ими других. Поручись, что малютки, невинные игры которых часто прерывались моей работой, будут некогда обильно вознаграждены за нее твоими дарами.

И вот нестройная пара эта — бесплотный призрак и тучное естество — побуждают меня писать; кого же призову я руководить пером моим?

Прежде всего тебя, Гений, дар небес, без чьей помощи тщетна борьба наша со стихийным течением вещей,— тебя, сеющего благородные семена, взращиваемые и развиваемые искусством. Возьми меня ласково за руку и проведи по всем закоулкам, по всему извилистому лабиринту природы. Посвяти меня в тайны, недоступные взору профанов. Научи меня — для тебя ведь это нетрудно — познавать людей лучше, чем они сами знают себя. Развей туман, застилающий умы смертных и побуждающий их преклоняться пе-

---

[1] Бечевое судно *(голландск.)*.
[2] Госпожи мошны *(голландск.)*.
[3] Господин *(франц.)*.

ред людьми или ненавидеть их за искусство обманывать других, между тем как в действительности они достойны только смеха, потому что обманывают самих себя. Сорви тонкую личину мудрости с самомнения, изобилия — со скупости и славы — с честолюбия. Явись же, о вдохновитель Аристофана, Лукиана, Сервантеса, Рабле, Мольера, Шекспира, Свифта, Мариво, наполни страницы мои юмором, чтоб научить людей лишь беззлобно смеяться над чужими и уничиженно сокрушаться над собственными безрассудствами.

А ты, почти неразлучный спутник истинного гения, Человеколюбие, ниспошли мне все теплые твои чувства. И если они уже отданы тобой все без остатка любимцам твоим, Аллену и Литтлтону, похить их на малое время из их сердец. Без них картина моя останется безжизненной. От них одних проистекают благородная бескорыстная дружба, горячая любовь, великодушие, пылкая благодарность, сострадание, прямота суждений и все высокие порывы доброй души, увлажняющие глаза слезами, устремляющие кровь к горячим щекам и переполняющие сердце скорбью, радостью и милосердием.

Руководи моим пером и ты, Ученость,— ведь без твоей помощи гению не создать ничего чистого, ничего верного. Тебе поклонялся я в ранней юности, в излюбленном твоем святилище, где прозрачные, тихо струящиеся воды Темзы омывают твои Итонские владения. С истинно спартанским мужеством приносил я в жертву кровь мою на березовый твой алтарь. Приди же и надели меня в изобилии из твоих несметных сокровищ, собранных в далекой древности. Раскрой свои мэонийские и мантуанские кладовые и предоставь все вообще твои сокровища философии, поэзии и истории — все равно, греческими или римскими буквами надписала ты увесистые свои сундуки. Дай мне на время ключ к твоей сокровищнице, который ты доверила любимцу твоему Ворбертону.

Наконец, приди и ты, Опытность, хорошо знакомая с людьми мудрыми, добрыми, учеными, образованными. И не только с ними, а с людьми всех состояний — от министра на его приеме до тюремщика в долговом отделении, от герцогини на рауте до трактирщицы за стойкой. Только ты можешь ознакомить с нравами, которые навсегда останутся недоступными педанту-затворнику, как ни будь он умен и учен.

Придите же вы все и приведите еще своих собратьев, ибо тяжел предпринятый мной труд, и без вашей помощи, боюсь, он будет мне не по силам. Но если вы встретите его приветливой улыбкой, то я надеюсь довести его до благополучного завершения.

## ГЛАВА II

*Что случилось с мистером Джонсом по прибытии в Лондон*

Ученый доктор Мизобен говаривал, что настоящий его адрес: *доктору Мизобену, в мир*, подразумевая, таким образом, что мало найдется на свете людей, которым громкое имя его было бы неизвестно. И, пожалуй, если вникнуть в дело поглубже, то окажется, что широкая известность не последнее из благ, даруемых величием.

Великое счастье быть известным будущим поколеньям, надеждами на которое мы так услаждались в предыдущей главе, достается в удел немногим. Ни титул, ни богатство не в состоянии обеспечить нам повторение через тысячу лет элементов, как выражается Сиднем, из которых складываются наши имена: достигнуть этого едва ли можно иначе, как мечом или пером. Но зато избежать попрека, что вас *никто не знает* при жизни (бесславие, кстати сказать, известное уже во времена Гомера) [1], всегда останется завидным уделом людей, законно наслаждающихся почестями и богатством.

По той роли, какую играл уже в нашей истории ирландский пэр, доставивший Софью в столицу, читатель, без сомнения, заключит, что дом его в Лондоне было нетрудно найти, и не зная, на какой именно улице или площади он находится: ведь этот вельможа был человеком, которого всякий знает. Правду сказать, так оно и было бы для любого лавочника, привыкшего посещать владения людей именитых, ибо найти их двери бывает обыкновенно столь же легко, как трудно в них войти. Однако Джонс, равно как и Партридж, были совершенно чужие в Лондоне; и так как герою нашему случилось попасть прежде всего в такую часть города, жители которой не имеют почти никаких сношений с обитателями Ганноверской или Гровенорской площади (потому что Джонс въехал в Лондон по Грейс-Инн-лейну), то он немало побродил, пока нашел дорогу в те счастливые области, где Фортуна отделила от черни благородных героев, происходящих от древних бриттов, саксов и данов, предки которых, рожденные в лучшие дни, укрепили за своими потомками при помощи разнообразных заслуг, богатство и почести.

Добравшись наконец до этих земных Елисейских Полей, Джонс отыскал бы жилище его светлости очень скоро, если бы, уезжая в Ирландию, пэр не покинул, к несчастью, прежнего дома

---

[1] См. «Одиссея», вторая песнь, ст. 175.

и так как переехал он в новый дом лишь на днях, то молва о его пышности не успела еще распространиться в том квартале. После бесплодных поисков, продолжавшихся до одиннадцати часов, Джонс внял наконец совету Партриджа вернуться в гостиницу «на Гольборне» под вывеской «Бык и Ворота», где он остановился, и насладиться там отдыхом, какой обыкновенно ищут люди в его положении.

Рано поутру Джонс опять пустился разыскивать Софью, и долго поиски его были так же безрезультатны, как и накануне. Наконец сжалилась ли над ним Фортуна, или устала водить его за нос, только он попал на улицу, удостоившуюся чести быть местопребыванием его светлости. Найдя по указаниям прохожих нужный дом, Джонс подошел к двери и тихонько постучал в дверь.

Швейцар, по скромности удара составивший невысокое представление о пришедшем, не изменил его к лучшему и увидевши мистера Джонса: Джонс был в костюме из бумазеи, со шпагой, приобретенной у сержанта, клинок которой, может статься, был из отличной стали, но рукоять всего только из меди, да еще далеко не блестяще полированной. Поэтому на вопрос Джонса о молодой даме, приехавшей в Лондон с его светлостью, этот страж ответил довольно грубо, что «никаких дам здесь нет». Тогда Джонс изъявил желание увидеть хозяина дома, но получил в ответ, что сегодня его светлость никого не принимает. А когда он принялся настаивать, швейцар сказал, что ему строго приказано никого не пускать.

— Впрочем, если угодно,— продолжал он,— так скажите ваше имя, я доложу его светлости; а зайдете в другой раз — вам скажут, когда вас примут.

Джонс возразил, что у него очень важное дело к молодой даме и он не может уйти, не повидавшись с ней. На это швейцар не слишком любезным голосом подтвердил, что никакой молодой дамы в этом доме нет и, следовательно, не с кем видеться.

— Отроду не встречал такого чудака,— развел он руками,— никаких резонов не принимает!

Мне часто казалось, что Вергилий, подробно описывая в шестой книге «Энеиды» адского стража Цербера, имел, вероятно, в виду дать сатирическое изображение привратников именитых людей своего времени; во всяком случае, он точно рисует господ, имеющих честь стоять у дверей наших вельмож. Швейцар в своей сторожке — ни дать ни взять Цербер в своей пещере и, подобно последнему, нуждается в ублаготворении подачкой перед тем, как дать доступ к своему хозяину. Может быть, и Джонс увидел

его в этом свете и вспомнил то место из «Энеиды», где Сивилла бросает стигийскому стражу такую подачку с целью открыть Энею вход. Он стал подобным же образом предлагать взятку двуногому Церберу; заслышав о деньгах, к нему подскочил стоявший рядом лакей, говоря, что он «готов провести его к молодой даме, если мистер Джонс даст ему предлагаемую сумму». Джонс немедленно согласился и тотчас был отведен на квартиру миссис Фитцпатрик тем самым человеком, который накануне проводил туда дам.

Никогда неудача не бывает так огорчительна, как на пороге успеха. Проигрыш партии в пикет из-за одного очка вдесятеро неприятнее, чем отсутствие всякой надежды на выигрыш. Так и в лотерее владельцы номеров единицей больше или меньше того, на который пал большой выигрыш, склонны считать, что им гораздо больше не повезло, чем прочим проигравшим. Словом, все эти неудачи на волосок от счастья смахивают на издевательство Фортуны, играющей с нами скверные шутки и зло потешающейся на наш счет.

Джонс, неоднократно уже испытавший на себе игривое расположение языческой богини, был снова осужден ею на танталовы муки; к дому миссис Фитцпатрик он подошел через каких-нибудь десять минут после отъезда Софьи. Обратившись к горничной миссис Фитцпатрик, Джонс услышал от нее неприятное известие, что леди уехала неизвестно куда; тот же ответ он получил потом и от самой миссис Фитцпатрик. Дама эта, по-видимому, приняла мистера Джонса за человека, посланного дядюшкой Вестерном в погоню за дочерью, а она была слишком благородна, чтобы выдавать кузину.

Джонс никогда раньше не видел миссис Фитцпатрик, но слышал, что какая-то кузина Софьи вышла замуж за джентльмена, носящего эту фамилию. Однако в смятении чувств это обстоятельство совсем выскочило у него из памяти. Только когда провожавший его лакей ирландского пэра рассказал ему, что обе дамы очень дружны между собой и называют друг друга кузинами, Джонс припомнил слышанную им когда-то историю о замужестве подруги Софьи. Придя к убеждению, что это та самая женщина, он очень удивился полученному от горничной ответу и стал просить позволения поговорить с самой госпожой, но та наотрез отказалась удостоить его этой чести.

Джонс никогда не бывал при дворе, однако умел вести себя лучше многих постоянных его посетителей и неспособен был к грубому и резкому обращению с дамами. Поэтому, получив решительный отказ, он не стал настаивать и сказал горничной, что если сейчас госпоже ее неудобно его принять, то он придет после по-

лудня и надеется удостоиться чести ее увидеть. Учтивое обращение Джонса в соединении с его чрезвычайно приятной наружностью произвело хорошее впечатление на горничную, и она не могла удержаться, чтобы не сказать: «Может быть, сэр, госпожа вас и примет»,— после чего всячески старалась уговорить свою госпожу принять красивого молодого джентльмена, как она называла Джонса.

У Джонса явилось сильное подозрение, что Софья находится в доме кузины и отказывается его принять только потому, что сердится за случившееся в Эптоне. Поэтому, поручив Партриджу подыскать помещение, он весь день провел на улице, карауля дверь, за которой, как ему казалось, скрывается его ангел; но, кроме одного слуги, никто не вышел из дому, и Джонс снова явился вечером к миссис Фитцпатрик с визитом, удостоившись на этот раз быть принятым.

Наружность иных людей отличается врожденным благородством, которого не придаст и не скроет никакой наряд. Мистер Джонс, как уже выше было замечено, обладал этим качеством в высокой степени, поэтому прием, оказанный ему хозяйкой, был любезнее, чем он мог бы ожидать по своему платью; когда он почтительно поклонился, его попросили сесть.

Читатель едва ли полюбопытствует узнать подробности разговора, который доставил мало удовлетворения бедняге Джонсу. Правда, миссис Фитцпатрик сразу открыла в нем поклонника (на эти вещи у всех женщин ястребиный глаз), но приняла его за такого поклонника, которому было бы неблагородно выдать приятельницу. Словом, она заподозрила в нем мистера Блайфила, от которого Софья бежала, и ответы Джонса на ее искусные расспросы о семействе мистера Олверти только укрепили ее в этом предположении. Она объявила, что ровно ничего не знает о том, куда переехала Софья, и Джонсу пришлось удовольствоваться позволением миссис Фитцпатрик навестить ее еще раз завтра вечером.

По уходе Джонса миссис Фитцпатрик поделилась с горничной своими подозрениями насчет мистера Блайфила, но та возразила:

— По-моему, сударыня, от такого красавчика не убежит ни одна женщина на свете. Я думаю, что это скорее мистер Джонс.

— Мистер Джонс! — воскликнула госпожа.— Какой Джонс?

Читатель знает, что во всех своих разговорах с кузиной Софья не обмолвилась о нем ни одним словом, но миссис Гонора оказалась гораздо сообщительнее и подробно рассказала горничной миссис Фитцпатрик всю историю Джонса, которую та и передала теперь своей госпоже.

Выслушав горничную, миссис Фитцпатрик тотчас же согласилась с ее мнением и — замечательная вещь! — нашла вдруг в статном счастливом любовнике прелести, какие проглядела в отвергнутом сквайре.

— Ты совершенно права, Бетти,— сказала она,— он очень пригож; и меня ничуть не удивляет, что многие женщины от него без ума, как говорила тебе горничная моей кузины. Теперь я жалею, что не сказала ему, где Софья. Впрочем, если он и впрямь такой ужасный повеса, так ей, пожалуй, лучше с ним не встречаться: в самом деле,чего, кроме гибели, может она ожидать, выйдя замуж за нищего повесу против воли отца? Да, если он действительно такой, как тебе рассказывала горничная Софьи, то даже долг человеколюбия велит оградить от него кузину; поступить иначе было бы непростительно как раз мне, познавшей на опыте все бедствия подобного брака.

Речь ее была прервана приездом гостя, оказавшегося не кем иным, как его светлостью; но так как при этом посещении не случилось ничего нового и необычайного и вообще ничего касающегося настоящей истории, то мы и закончим здесь эту главу.

## ГЛАВА III

*Проект миссис Фитцпатрик и ее визит к леди Белластон*

Ложась спать, миссис Фитцпатрик только и думала что о Софье и мистере Джонсе. Сказать по правде, она была немного обижена скрытностью кузины. Раздумывая об этом, она вдруг напала на мысль, что если ей удастся уберечь Софью от этого человека и вернуть отцу, то такая великая услуга почтенному семейству, по всей вероятности, примирит ее с дядюшкой и тетушкой Вестерн.

Так как это было одним из заветнейших желаний миссис Фитцпатрик, то надежда на успех казалась ей настолько несомненной, что оставалось лишь придумать наилучшие способы осуществления ее плана. Попытку завести об этом речь с Софьей она не относила к числу таких способов: ведь если Софья чувствовала пылкое влечение к Джонсу, как говорила Бетти миссис Гонора, то отговаривать ее от этой партии было бы все равно, что просить и убеждать мотылька не лететь на свечу.

Если читатель соблаговолит припомнить, что знакомство Софьи с леди Белластон состоялось в доме миссис Вестерн, когда там жила и миссис Фитцпатрик, то ему не для чего говорить, что

миссис Фитцпатрик была с ней знакома. Кроме того, обе кузины были дальние родственницы леди.

По зрелом размышлении миссис Фитцпатрик решила навестить рано поутру названную леди и рассказать ей всю историю по возможности так, чтобы Софья ничего не знала о ее посещении. Ибо она нисколько не сомневалась, что благоразумная леди, часто высмеивавшая в разговорах романтическую любовь и неразумные браки, вполне разделит ее мнение насчет этой партии и охотно поможет ее расстроить.

Как миссис Фитцпатрик решила, так и сделала: на другой день, еще до восхода солнца, она наскоро оделась и отправилась к леди Белластон в крайне необычный час, когда совсем не принято делать визиты. О посещении этом Софья ничего не знала и не подозревала, хотя уже проснулась: она лежала в постели, возле которой храпела Гонора.

Миссис Фитцпатрик долго извинялась за свой бесцеремонный визит в час, когда она «ни за что не осмелилась бы потревожить ее милость, если бы не такое важное дело». И она пересказала леди Белластон все, что услышала от Бетти, не забыв упомянуть о вчерашнем визите Джонса.

Леди Белластон с улыбкой отвечала:

— Так вы видели, сударыня, этого ужасного человека? Что же, он действительно так хорош собой, как говорят? Вчера моя Итоф целых два часа мне о нем болтала. Должно быть, она за глаза в него влюбилась.

Читатель, вероятно, будет удивлен, но дело в том, что миссис Итоф, имевшая честь зашпиливать и расшпиливать леди Белластон, была уже осведомлена во всех подробностях об упомянутом мистере Джонсе и рассказала о нем госпоже своей еще накануне вечером (или, вернее, сегодня поутру), раздевая ее перед сном, вследствие чего процедура эта растянулась на целых полтора часа.

Леди Белластон, вообще с удовольствием слушавшая болтовню миссис Итоф в эти часы, проявила исключительный интерес к ее сообщению о Джонсе; Гонора расписала его красавцем, а миссис Итоф сгоряча столько же прибавила насчет его наружности от себя, так что леди Белластон вообразила его чудом природы.

Любопытство, возбужденное в ней горничной, было теперь еще сильнее подогрето рассказами миссис Фитцпатрик, которая столь же лестно отозвалась о наружности Джонса, сколь дурно говорила ранее о его происхождении, характере и состоянии.

Выслушав гостью до конца, леди Белластон озабоченно проговорила:

— Да, сударыня, дело действительно очень серьезное. Вы взяли на себя чрезвычайно похвальную роль, и я рада буду помочь вам спасти эту достойную девушку, заслуживающую всяческого уважения.

— Как вам кажется, сударыня,— проговорила с жаром миссис Фитцпатрик,— не будет ли лучше всего оповестить сейчас же моего дядю, где находится его дочь?

Леди немного подумала и отвечала:

— Нет, сударыня, я не думаю. Судя по описаниям миссис Вестерн, братец ее — такое животное, что я ни за что не соглашусь выдать ему бежавшую от него женщину, кто бы она ни была. Я слышала, он и с женой обращался варварски,— такие изверги воображают, что имеют право нас тиранить; и я всегда буду почитать святою обязанностью спасать от них женщин, имеющих несчастье находиться в их власти... Надо только, дорогая кузина, помешать свиданию мисс Вестерн с этим молодчиком, пока хорошее общество, которое она найдет в моем доме, не даст более подходящего направления ее мыслям.

— Если он проведает, где она,— отвечала миссис Фитцпатрик,— то, можете быть уверены, сударыня, он ни перед чем не остановится, чтобы проникнуть к ней.

— Будьте покойны,— возразила леди,— сюда он не проникнет... хотя, конечно, он может как-нибудь проведать, где она, и потом притаиться возле дома... Вот почему мне не мешало бы знать его в лицо. Нельзя ли как-нибудь устроить, сударыня, чтобы я его повидала? Иначе, вы понимаете, кузина, она ухитрится с ним встречаться, и я не буду об этом знать.

Миссис Фитцпатрик отвечала, что он грозил снова прийти к ней сегодня вечером и что, если ее милости угодно будет почтить ее своим посещением, она почти наверно застанет его между шестью и семью; а если бы он пришел раньше, то всегда найдется средство задержать его до приезда ее милости. Леди Белластон обещала приехать, как только кончит обедать, что, по ее предположению, произойдет самое позднее в семь; но ей, во всяком случае, совершенно необходимо знать Джонса в лицо.

— Поверьте, сударыня,— сказала она,— я высоко ценю ваши заботы о мисс Вестерн, но долг человеколюбия, а также добрая слава нашего дома требуют, чтобы и я вам помогла, потому что, конечно, эта партия ужасна.

Миссис Фитцпатрик не преминула ответить леди Белластон любезностью на любезность; затем, после нескольких несущественных замечаний, откланялась, быстро уселась в свой портшез и вернулась домой, не замеченная ни Софьей, ни Гонорой.

## ГЛАВА IV,

*вся наполненная визитами*

Мистер Джонс расхаживал, не спуская глаз с заветной двери, в течение целого дня — одного из самых коротких в году, но показавшегося ему нескончаемо длинным. Наконец, когда пробило пять, он снова явился к миссис Фитцпатрик, которая приняла его весьма любезно, несмотря на то что оставался еще целый час до времени, принятого для визитов, но она по-прежнему утверждала, что ничего не знает о Софье.

Расспрашивая о своем ангеле, Джонс обронил слово «кузина».

— О, да вам известно, что мы в родстве! — воскликнула миссис Фитцпатрик.— Позвольте же мне на правах родственницы спросить вас, какое у вас дело к моей кузине.

После довольно продолжительного колебания Джонс ответил наконец, что у него есть крупная сумма, принадлежащая Софье, и он желал бы передать ей эти деньги в собственные руки. Тут он достал записную книжку, показал миссис Фитцпатрик ее содержимое и объяснил, каким образом она к нему попала. Только что кончил он свой рассказ, как весь дом задрожал от страшного шума. Описывать его тем, кто его слышал, было бы напрасно, а дать о нем представление никогда ничего подобного не слышавшему — задача еще более тщетная, потому что о нем справедливо можно сказать:

Non acuta
Sic geminant Corybantes aera.

«Жрецы Кибелы гораздо тише бряцают своей гремящей медью».

Словом, чей-то лакей застучал, или, вернее, загремел, у входной двери. Джонс, никогда еще не слышавший подобных звуков, был несколько удивлен, но миссис Фитцпатрик очень спокойно объяснила ему, что теперь, при гостях, ей неудобно будет говорить с ним, но, если ему угодно будет подождать, пока они уйдут, она кое-что расскажет ему.

В эту минуту двери широко растворились, и, протолкнув сначала свои фижмы, в комнату вошла леди Белластон. Она сделала низкий реверанс сначала миссис Фитцпатрик, а затем мистеру Джонсу, после чего была проведена в конец комнаты.

Мы упоминаем эти мелкие подробности в поучение некоторым нашим знакомым деревенским барыням, которые считают противным правилам приличия приседать перед мужчиной.

Только что все уселись, как приезд известного нам пэра снова вызвал смятение, и описанная церемония была повторена. По ее окончании завязался блестящий в полном смысле слова разговор. Так как, однако, в нем не содержалось ничего сколько-нибудь существенного для нашей истории, да и вообще ничего существенного, то я не стану его передавать, тем более что самые тонкие светские разговоры кажутся необыкновенно плоскими, когда их читаешь в книгах или слышишь со сцены. Действительно, эта духовная пища представляет собой лакомство, увы, недоступное для людей, не вхожих в светские гостиные,— вроде некоторых изысканных блюд французской кухни, подаваемых только за столом вельмож. Но, по правде говоря, угощать толпу лакомствами, рассчитанными не на каждый вкус, часто значит бросать их за окно.

Бедняга Джонс был скорее зрителем, чем действующим лицом этой изысканной сцены. Правда, в краткий промежуток времени перед приездом пэра сначала леди Белластон, а потом миссис Фитцпатрик обратились к нему с несколькими словами, но все их внимание поглощено было благородным лордом, едва только он вошел в комнату; а так как он не обращал никакого внимания на Джонса, словно такого человека и не было, и только время от времени вперял в него пристальный взгляд, то и дамы последовали его примеру.

Гости так засиделись, что миссис Фитцпатрик ясно поняла намерение каждого из них дождаться отъезда других. Поэтому она решила спровадить Джонса, считая, что с ним можно меньше всего церемониться.

— Сэр,— озабоченно сказала она ему, воспользовавшись перерывом в разговоре,— сегодня мне едва ли удастся дать вам ответ по вашему делу, но если вы будете добры оставить ваш адрес, то завтра я, вероятно, извещу вас...

Умея держаться в обществе, Джонс не знал, однако, условных правил приличия: вместо того чтобы раскрыть тайну своего местопребывания слуге, он подробно посвятил в нее самое хозяйку, после чего с церемонным поклоном удалился.

Не успел он выйти, как важные господа, не обращавшие на него никакого внимания в его присутствии, тотчас занялись исключительно им. Но если читатель уже разрешил нам не пересказывать более блестящей части их разговора, то он, вероятно, охотно избавит нас от повторения того, что можно назвать пошлым злословием. Пожалуй, впрочем, существенно для нашей истории передать одно замечание леди Белластон, которая, поднявшись через несколько минут по уходе Джонса, сказала на прощанье миссис Фитцпатрик:

— Теперь я спокойна насчет моей родственницы: этот человек ей нисколько не опасен.

Мы последуем примеру леди Белластон и простимся с оставшимся у миссис Фитцпатрик обществом, которое уменьшилось теперь до двух человек; так как между ними не произошло ничего, имеющего хотя бы малейшее касательство к нам или к читателю, то мы не будем на этом задерживаться, отвлекаясь от вещей, гораздо более существенных для всякого, кто сколько-нибудь интересуется делами нашего героя.

## ГЛАВА V

*Происшествие, приключившееся с мистером Джонсом в его новой квартире, и некоторые сведения о джентльмене, проживавшем там же, о хозяйке дома и о двух ее дочерях*

На следующий день, так рано, как только позволяли приличия, Джонс явился к миссис Фитцпатрик, но ему сказали, что леди нет дома,— ответ, поразивший его тем более, что он с самого рассвета расхаживал взад и вперед по улице и не мог бы не видеть, если бы она уехала.

Ответ этот, однако, ему волей-неволей пришлось принять, и не только теперь, но и в пять других визитов, сделанных им в тот же день.

Говоря начистоту, благородный пэр по тем или иным соображениям (заботясь, может быть, о репутации миссис Фитцпатрик) настоял на том, чтобы она не принимала больше мистера Джонса, который показался ему ничтожеством; миссис Фитцпатрик обещала,— и мы видим, как строго сдержала она свое слово.

Но благосклонный читатель, вероятно, составил себе о молодом человеке лучшее мнение, чем ее милость, и, может быть, даже встревожен, уж не пришлось ли бедняге во время этой несчастной разлуки с Софьей остановиться на постоялом дворе или прямо на улице; чтобы его успокоить, скажем, что герой наш поселился в весьма почтенном доме, в одной из лучших частей города.

Мистер Джонс часто слышал от мистера Олверти о хозяйке дома, в котором тот останавлизался, бывая в Лондоне. Женщина эта, проживавшая, как тоже знал Джонс, на Бонд-стрит, была вдовой священнослужителя, после смерти оставившего ей в наследство двух дочерей и полное собрание рукописных проповедей.

Старшей из них, Нанси, было теперь семнадцать лет, а младшей, Бетси,— десять.

Сюда-то Джонс и отправил Партриджа и нанял у этой вдовы комнату для себя во втором этаже и другую — для Партриджа — в четвертом.

В первом этаже проживал один из тех молодых джентльменов, которых в прошлом веке называли остряками и гуляками,— и совершенно справедливо: ведь людей называют обыкновенно по их занятиям или профессии, а можно смело сказать, что удовольствия были единственным делом этих господ, избавленных Фортуной от необходимости заниматься чем-нибудь более полезным. Театры, кофейни и питейные дома были местом их собраний. Остроты и шутки развлекали их в часы досуга, а в минуты более деловые они занимались любовью. Вино и музы воспламеняли сердца их; они не только обожали красавиц, но иные воспевали их, и все они умели ценить по достоинству такие произведения.

Итак, людей этих справедливо называли остряками и гуляками; но еще вопрос, можно ли с таким же правом приложить это наименование к молодым джентльменам нашего времени, которые точно так же желают отличиться своими дарованиями. Остроумие им, конечно, и во сне не снилось, но надо отдать им должное: они поднялись ступенью выше своих предшественников и заслуживают названия людей мудрых и доблестных. Так, в том возрасте, когда упомянутые выше господа тратили время на тосты и сонеты за здравие и во славу красоток, высказывали в театре свое мнение о новой пьесе, а у Виля или Баттона — о новой поэме, наши молодые люди обдумывают способы купить голоса той или иной корпорации и занимаются сочинением речей для палаты общин или, скорее, для журналов. Но больше всего мысли их заняты наукой игры. Они изучают ее серьезно в деловые свои часы, а досуги посвящают обширной области искусств: живописи, музыке, ваянию и естественной или, вернее, неестественной философии, промышляющей только чудесным и ничего не знающей о природе, кроме ее чудовищ и ублюдков.

Потратив целый день на бесплодные попытки увидеться с миссис Фитцпатрик, Джонс вернулся наконец домой в подавленном состоянии. Он предавался наедине грустным размышлениям, как вдруг снизу раздался сильный шум и вслед за тем женский голос начал просить его ради бога спуститься и помешать совершению убийства. Джонс, никогда не медливший оказать помощь в несчастье, тотчас же бросился вниз. Войдя в столовую, откуда шел весь этот шум, он увидел лакея, прижавшего к стене вышеупомянутого молодого героя мудрости и добродетели, а рядом молодую женщину, ломавшую руки и восклицавшую: «Он убьет его! Он убьет его!»

Действительно, бедняге, казалось, грозила опасность быть задушенным, но, к счастью, Джонс поспешил ему на помощь и спас из беспощадных вражеских когтей в ту минуту, когда тот уже готов был испустить дух.

Хотя лакей получил несколько пинков и тумаков от молодого джентльмена, отличавшегося больше горячностью, чем физической силой, он, однако, посовестился бить своего барина и хотел только его помять; но к Джонсу такого уважения у него не было, поэтому в ответ на несколько грубое обращение нового противника лакей ударил его кулаком прямо в живот — удар хотя и приводящий в восторг зрителей в цирке Браутона, но доставляющий весьма мало удовольствия тому, кто его получает.

Получив этот удар, пышущий силой юноша, не долго думая, дал сдачи; между Джонсом и лакеем последовала очень жаркая, но недолгая схватка: лакею было так же не под силу меряться с Джонсом, как барину с лакеем.

И вот Фортуна, по всегдашнему своему обыкновению, перевернула все вверх дном. Прежний победитель лежал бездыханный на полу, а побежденный джентльмен успел настолько перевести дух, что мог поблагодарить мистера Джонса за своевременную помощь. Джонс получил также сердечную благодарность от молодой женщины, которая оказалась мисс Нанси, старшей дочерью хозяйки.

Лакей, поднявшись на ноги, поглядел на Джонса, покачал головой и сказал, прищурясь:

— Нет, черт возьми, с вами я больше не буду связываться! По всему видать, что вы в цирке выступали.

Это предположение было вполне простительно: герой наш был так силен и ловок, что мог бы потягаться с перворазрядными боксерами и с легкостью одолел бы всех снабженных рукавицами[1] питомцев школы мистера Браутона.

---

[1] Дабы потомство не было поставлено в тупик этим эпитетом, считаю долгом пояснить его объявлением, выпущенным 1 февраля 1747 года:

«Мистер Браутон предполагает при поддержке публики открыть в своем доме на Хеймаркет академию для обучения лиц, желающих быть посвященными в тайны бокса; в названной академии будет подробно преподаваться и объясняться теория и практика этого истинно британского искусства во всем его объеме, с указанием различных выпадов, ударов, положений и т. п., случающихся в борьбе; а чтобы не гнушались прохождения *курса означенных лекций* и особы знатные и благородные, обучать будут с превеликой заботливостью и уважением к деликатным силам и сложению учащихся, с каковой целью припасены рукавицы, вполне ограждающие от неприятных последствий в виде подбитых глаз, раздробленных челюстей и расквашенных носов».

Взбешенный господин приказал слуге немедленно убираться вон, на что последний изъявил полное согласие, при условии, если ему будет выдано жалованье. Условие это было выполнено, и лакей ушел.

Молодой джентльмен, которого звали Найтингейл, принялся тогда упрашивать своего избавителя распить с ним бутылку вина, на что Джонс наконец согласился,— больше, однако, из любезности, потому что его душевное состояние мало располагало в ту минуту к беседе. Мисс Нанси, единственная тогда женщина в доме, так как ее мать и сестра ушли в театр, в свою очередь, благосклонно согласилась составить им компанию.

Когда вино и стаканы были поданы, молодой человек начал рассказывать, из-за чего произошла вся эта кутерьма.

— Надеюсь, сэр,— сказал он Джонсу,— вы не заключите из этого случая, что я имею обыкновение колотить своих слуг. Уверяю вас, что такой грех случается со мной в первый раз на моей памяти. Я ему спускал многие дерзости, пока наконец он не вывел меня из терпения; вы, вероятно, оправдаете меня, когда я вам расскажу, что случилось сегодня вечером. Возвращаюсь я домой на несколько часов раньше обыкновенного и вижу — у меня перед камином играют в вист четыре ливреи, и мой Гойл, сэр, мой Гойл в превосходном издании, стоивший мне гинею, лежит раскрытый на столе, и одна из важнейших во всей книге страниц залита портером. Разве не возмутительно? Однако я смолчал и, только когда честная компания разошлась, сделал своему слуге мягкий выговор; но тот, нимало не смутившись, нагло мне ответил, что и у слуг должны быть развлечения, как и у господ; что о несчастье, приключившемся с книгой, он жалеет, но что его знакомые покупали такую же книгу за шиллинг и что я могу, если мне угодно, вычесть шиллинг у него из жалованья. За это я отчитал его уже строже, и негодяй имел нахальство... Словом, приписал мой ранний приход домой... Ну, словом, бросил тень... Назвал имя одной молодой дамы таким тоном... таким тоном, что всякое мое терпение лопнуло, и я в сердцах ударил его.

Джонс отвечал, что, конечно, никто его за это не упрекнет.

— Я сам на вашем месте сделал бы то же самое.

Скоро к нашему обществу присоединились вернувшиеся из театра хозяйка с дочерью. Вечер прошел очень оживленно, потому что все, кроме Джонса, были в веселом расположении, да даже и он, сколько мог, старался быть веселым. Действительно, и половины его природной живости в соединении с обаятельным характером было довольно, чтобы сделать его очень приятным собеседником; несмотря на лежавшую у него на сердце заботу, он

произвел на всех такое прекрасное впечатление, что на прощанье молодой джентльмен горячо попросил его о продолжении знакомства. Мисс Нанси он очень понравился, а вдова, совершенно очарованная своим новым жильцом, пригласила его на завтрак вместе с мистером Найтингейлом.

Остался доволен и Джонс. Мисс Нанси, хотя и небольшого роста, была очень хорошенькая, а вдова наделена была всеми прелестями, какие могут украшать женщину под пятьдесят лет. Отличаясь чрезвычайным простодушием, она всегда была веселой и приветливой; ни в мыслях, ни в речах, ни в желаниях никогда у нее не было ничего дурного; она постоянно желала всем нравиться — желание поистине счастливейшее, потому что оно редко когда не исполняется, разве только бывая притворным. Словом, несмотря на скудность своих дарований, она была преданнейшим другом, самой примерной женой и любящей нежной матерью. Так как история наша не дает, подобно газете, крупных ролей людям, о которых раньше никто ничего не слышал и ничего не услышит впоследствии, то читатель может отсюда заключить, что эта превосходная женщина станет немаловажным действующим лицом в дальнейшем ходе нашей истории.

Джонсу очень понравился и молодой джентльмен, с которым он пил вино: он заметил в нем много здравого смысла, хотя и со слишком большим налетом столичного фатовства; но больше всего расположили Джонса к нему несколько суждений, мимоходом им высказанных и свидетельствовавших о большом душевном благородстве и человеколюбии, в особенности же о высоком бескорыстии молодого человека в делах любви. Об этом предмете молодой джентльмен говорил языком, который вполне подошел бы аркадскому пастушку старого времени, но звучал довольно странно в устах щеголя наших дней; впрочем, щеголем был он только из подражания, природа же назначила его для гораздо лучшей роли.

## ГЛАВА VI

*Что случилось за завтраком у почтенной вдовы и несколько мыслей касательно воспитания дочерей*

Жильцы нашего дома собрались поутру с теми же дружескими чувствами друг к другу, с какими они расстались вчера вечером. Однако бедняга Джонс совсем упал духом: он только что получил от Партриджа известие, что миссис Фитцпатрик переменила квартиру, но куда переехала — тот не мог дознаться. Известие

это чрезвычайно огорчило Джонса; несмотря на все его усилия, лицо его и поведение ясно показывали, насколько он был расстроен.

Как и накануне, разговор зашел о любви, и мистер Найтингейл снова высказал об этом предмете много теплых, благородных и бескорыстных суждений, которые рассудительные и трезвые мужчины называют романтическими, но рассудительные и трезвые женщины обыкновенно рассматривают в более благоприятном свете. Миссис Миллер (так звали хозяйку дома) всецело его одобрила, но когда молодой джентльмен обратился к мисс Нанси, девушка сказала только, что, по ее мнению, джентльмен, говоривший меньше всех, способен к наиболее глубоким чувствам.

Похвала эта так явно относилась к Джонсу, что нам было бы досадно, если бы он пропустил ее мимо ушей. Вежливо ответив девушке, он косвенно намекнул в заключение, что ее собственная молчаливость с таким же правом заставляет отнести сказанное к ней самой. Действительно, молодая девушка почти не открывала рта ни в этот день, ни накануне.

— Я рада, Нанси, что джентльмен сделал это замечание,— сказала миссис Миллер,— я готова с ним согласиться. Что это с тобой, душенька? Я никогда не видела тебя такой скучной. Куда девалась вся твоя веселость? Поверите ли, сэр, я иначе, бывало, и не называю ее, как болтушкой, а за всю эту неделю она и двадцати слов не сказала.

Тут разговор их был прерван появлением служанки со свертком в руке, врученным ей, по ее словам, каким-то посыльным для передачи мистеру Джонсу. Она прибавила, что человек этот тотчас же ушел, сказав, что ответа не нужно.

Джонс выразил некоторое удивление по этому случаю, заметив, что, верно, произошла какая-то ошибка; но служанка утверждала, что она очень отчетливо расслышала имя, и женщины предложили немедленно вскрыть сверток. Когда маленькая Бетси с разрешения мистера Джонса это проделала, там оказались домино, маска и билет в маскарад.

Джонс тогда еще решительнее стал утверждать, что вещи эти попали к нему по недоразумению, и даже миссис Миллер несколько заколебалась, сказав, что она не знает, что и думать. Но когда обратились с вопросом к мистеру Найтингейлу, то он высказал совсем другое мнение.

— Все, что я могу заключить отсюда, сэр,— сказал он Джонсу,— это то, что вы большой счастливец: я не сомневаюсь, что вещи эти присланы вам какой-нибудь дамой, с которой вы будете иметь счастье встретиться в маскараде.

Джонс не был настолько тщеславен, чтобы тешить свое воображение такими мыслями, да и миссис Миллер не очень-то поверила мистеру Найтингейлу, но вдруг из рукава домино, приподнятого мисс Нанси, выпала карточка, на которой было написано следующее:

*Мистеру Джонсу*

От фей царицы дар сей, знай:
Ее щедрот не прозевай.

После этого миссис Миллер и мисс Нанси согласились с мистером Найтингейлом, и даже сам Джонс начал сильно склоняться к тому же мнению. А так как, по убеждению Джонса, адрес его был известен только миссис Фитцпатрик, то он начал льстить себя надеждой, что этот подарок от нее и ему, может быть, удастся увидеть Софью. Конечно, расчеты эти имели мало оснований, но так как поведение миссис Фитцпатрик, не пожелавшей, вопреки обещанию, принять его и переменившей квартиру, было очень странно и необъяснимо, то оно зародило в нем слабую надежду: не собирается ли эта дама (о прихотях которой он слышал уже раньше) оказать ему услугу способом причудливым, отклонив пути более обыкновенные. По правде говоря, из этого диковинного и редкого подарка нельзя было вывести ничего достоверного, и, таким образом, Джонсу открывался широкий простор для каких угодно фантастических домыслов. Будучи от природы жизнерадостным и полным надежд, он дал волю своему воображению, тотчас нарисовавшему тысячу заманчивых картин сегодняшней встречи с милой его сердцу Софьей.

Читатель, если ты ко мне доброжелателен, я щедро тебе отплачу, пожелав, чтобы и ты обладал жизнерадостностью моего героя. Я много читал и долго размышлял на тему о счастье, занимавшую столько великих умов, и почти убежден, что оно заключается в жизнерадостном, живущем надеждами темпераменте, освобождающем нас в некотором роде от власти Фортуны и делающем счастливыми без ее помощи. В самом деле, доставляемые им сладкие ощущения гораздо длительней и живее тех, которыми дарит нас эта слепая дама: мудрая природа устроила так, что все действительные наслаждения сменяются пресыщением и усталостью, дабы они не завладели нами всецело и не отбили у нас охоты заниматься другими делами. Я нисколько не сомневаюсь, что, с этой точки зрения, будущий верховный судья, только что начавший судебную карьеру, архиепископ, еще в священнической рясе, и первый министр, еще сидящий на последних скамьях оппозиции, гораздо счастливее тех людей, которые уже обле-

чены властью и пользуются всеми выгодами названных должностей.

Итак, мистер Джонс решил ехать вечером в маскарад, а мистер Найтингейл взялся его сопровождать. Джентльмен этот предложил также билеты мисс Нанси и ее матери, но почтенная женщина не пожелала их принять: она сказала, что не понимает, почему иные видят в маскарадах зло, но что эти шумные и блестящие развлечения подходят для знатных и богатых, а не для молодых женщин, которые должны зарабатывать себе на пропитание и могут, самое большее, надеяться выйти замуж за порядочного купца.

— За купца! — воскликнул Найтингейл.— Не цените так низко мою Нанси. Нет на земле такого дворянина, которому она не могла бы быть парой.

— Оставьте, мистер Найтингейл,— отвечала миссис Миллер,— не набивайте ей голову бреднями. Но если бы Нанси посчастливилось,— продолжала она с деланной улыбкой,— найти джентльмена с вашим благородным образом мыслей, то, надеюсь, она отблагодарила бы его за внимание гораздо лучше, чем предаваясь подобным удовольствиям. Понятно, молодые дамы с большим приданым имеют известное право тратить свои деньги, и по этой причине, говорят мужчины, выгоднее иногда жениться на бедной, чем на богатой... Но за кого бы ни вышли мои дочери, я постараюсь воспитать их так, чтобы они принесли счастье своим мужьям... Не будем же больше говорить о маскарадах, прошу вас. Нанси, я уверена, настолько благоразумна, что и сама не захочет пойти: она ведь помнит, как голова пошла у нее кругом, когда вы прошлый год свели ее туда; целый месяц она не могла опомниться и иголки в руки не брала.

Хотя легкий вздох, вырвавшийся из груди Нанси, показывал, что она втайне не согласна с этими суждениями, но она не посмела возражать открыто, ибо при всей своей нежности миссис Миллер умела сохранять материнский авторитет и, потворствуя дочерям своим во всем, что только не вредило их здоровью и не угрожало их будущему счастью, не терпела ни ослушания, ни возражений, запрещая им что-нибудь из страха за их безопасность. Все это было так хорошо известно молодому человеку, уже два года жившему у нее в доме, что он принял отказ без возражений.

Мистер Найтингейл, расположение которого к Джонсу росло с каждой минутой, настойчиво просил его отобедать с ним сегодня в одном кабачке, где предлагал познакомить его с некоторыми из своих приятелей; но Джонс извинился, сославшись на то, что еще не прибыл его гардероб.

Говоря откровенно, мистер Джонс находился теперь в положении, в какое подчас попадают и молодые джентльмены гораздо богаче его: словом, у него не было ни гроша — положение, гораздо больше уважавшееся древними философами, чем современными мудрецами, проживающими на Ломбард-стрит, или завсегдатаями кондитерской Вайта. Может быть, даже это великое почтение древних философов к пустому карману как раз и служит причиной глубокого презрения, питаемого к ним на упомянутой улице и в кондитерской.

Но если мнение древних, что человек очень удобно может жить одной добродетелью, оказывается, как открыли будто бы только что упомянутые современные мудрецы, явно несостоятельным, то не менее ошибочно, боюсь, и утверждение некоторых романистов, что человек может жить исключительно любовью: ведь какие бы роскошные наслаждения любовь ни доставляла некоторым нашим чувствам, как бы ни удовлетворяла наши потребности, зато другим нашим потребностям она, конечно, ничего дать не может. Люди, чересчур доверившиеся таким писателям, на опыте убеждаются в своей ошибке, когда уже слишком поздно ее исправить; они обнаруживают, что любовь так же мало способна утолить голод, как роза ласкать слух или скрипка — обоняние.

Поэтому, несмотря на роскошное лакомство, поданное Джонсу любовью, то есть несмотря на надежду увидеть в маскараде Софью — лакомство, которым он, при всей фантастичности нарисованных ему воображением картин, угощался в течение целого дня,— с наступлением вечера мистер Джонс почувствовал потребность в более грубой пище. Партридж догадался об этом по наитию и воспользовался случаем сделать кое-какие косвенные намеки на банковый билет, а когда они с презрением были отвергнуты, он набрался даже храбрости возобновить речь о возвращении к мистеру Олверти.

— Партридж! — воскликнул Джонс.— Судьба моя не может представиться тебе в более отчаянном свете, чем мне самому, и я начинаю искренне раскаиваться, что позволил тебе оставить место, где ты устроился, и следовать за мной. Но теперь я тебя настоятельно прошу вернуться домой, а в вознаграждение за труды, так самоотверженно принятые тобой ради меня, возьми, пожалуйста, всю мою одежду, которую я оставил у тебя на хранении. Мне очень жаль, что я больше ничем не могу отблагодарить тебя.

Он произнес эти слова так патетически, что Партридж, к порокам которого злоба и жестокосердие не принадлежали, прослезился; поклявшись, что он никогда не покинет Джонса в беде,

учитель принялся с еще бóльшим жаром убеждать его вернуться домой.

— Ради бога, сэр,— взмолился он,— вы только рассудите: что ваша честь станет делать? Как можно жить в этом городе без денег? Делайте, что вам угодно, сэр, и поезжайте, куда вам вздумается, а только я решил вас не покидать. Но, пожалуйста, поразмыслите, сэр,— прошу вас об этом в ваших собственных интересах,— и я уверен, что ваш здравый смысл велит вам возвращаться домой.

— Сколько раз надо повторять тебе,— отвечал Джонс,— что мне некуда ехать. Будь хоть малейшая надежда, что двери дома мистера Олверти откроются для меня, разве стал бы я ждать, пока к этому меня принудит горе? Нет, никакая сила на земле не могла бы удержать меня здесь, я помчался бы к нему сию же минуту. Но, увы, он прогнал меня навсегда. Последние его слова,— о Партридж, они до сих пор звучат у меня в ушах! — последние слова его, когда он дал мне на дорогу денег — сколько, не знаю, но, наверно, крупную сумму,— последние слова его были: «Я решил с этого дня больше не иметь с вами никаких сношений».

Тут избыток чувства сомкнул уста Джонса, между тем как Партридж онемел от изумления; впрочем, дар речи скоро к нему вернулся, и после краткого предуведомления, что по природе он нисколько не любопытен, педагог спросил, что Джонс разумеет под крупной суммой — сам он не представляет себе — и что сталось с деньгами.

На оба эти вопроса он получил удовлетворительный ответ и начал уже высказывать свои замечания, но был прерван слугой, явившимся просить Джонса к мистеру Найтингейлу.

Когда оба молодых человека оделись для маскарада и мистер Найтингейл распорядился послать за портшезами, Джонс пришел в замешательство, которое многим моим читателям покажется очень забавным: он не знал, как ему раздобыть шиллинг. Но если эти читатели припомнят, что сами они чувствовали, когда им недоставало тысячи или хотя бы десяти фунтов для осуществления заветного желания, то они будут иметь ясное представление, что чувствовал в ту минуту мистер Джонс. Он обратился за означенной суммой к Партриджу; это случилось в первый раз, и он твердо решил больше не беспокоить бедного педагога такими просьбами. Правда и то, что в последнее время Партридж ни разу не предлагал ему денег,— хотел ли он таким образом побудить Джонса разменять банковый билет или вернуться поневоле домой или же руководствовался какими-либо другими мотивами, сказать не берусь.

## ГЛАВА VII,

*описывающая маскарадные нравы*

Кавалеры наши прибыли в храм, где председательствует Гейдеггер, великий arbiter deliciarum[1], верховный жрец удовольствий, и, подобно прочим языческим жрецам, обманывает своих почитателей мнимым присутствием божества, которого на самом деле там нет.

Мистер Найтингейл два-три раза обошел залы вместе со своим спутником, а потом подошел к какой-то даме, сказав Джонсу:

— Ну-с, сэр, я вас привел, а теперь сами высматривайте для себя дичь.

Джонс крепко забрал себе в голову, что его Софья находится здесь; надежда встретиться с ней одушевляла его больше огней, музыки и многолюдства — всех этих довольно сильных средств против хандры. Он обращался к каждой женщине, сколько-нибудь похожей на его ангела ростом, осанкой или фигурой. Каждой из них он пытался сказать что-нибудь остроумное, чтобы получить ответ и услышать, таким образом, голос, который, ему казалось, он не мог не узнать. Иные из них отвечали ему пискляво: «Как, вы меня знаете?» Но большая часть говорила: «Я с вами не знакома, сэр»,— и ни слова больше. Одни называли его нахалом, другие ничего не отвечали, третьи говорили: «Я не узнаю ваш голос, и мне нечего вам сказать», наконец четвертые отвечали как нельзя более любезно, но не тем голосом, какой он желал бы услышать.

Когда Джонс разговаривал с одной из последних (в костюме пастушки), к нему подошла дама в домино и, хлопнув его по плечу, шепнула на ухо:

— Если вы не перестанете разговаривать с этой потаскухой, то я все расскажу мисс Вестерн.

Услышав это имя, Джонс тотчас же покинул свою собеседницу и обратился к домино, прося его и умоляя показать ему названную даму, если она здесь.

Не говоря ни слова, маска поспешно направилась в укромный угол самой дальней комнаты, уселась там и вместо ответа на заданный вопрос объявила, что она устала. Джонс сел рядом и продолжал ее упрашивать, пока она не ответила ему холодно:

— А я считала, что мистер Джонс проницательнее и никакой костюм не скроет от него любимой женщины.

---

[1] Законодатель наслаждений *(лат.)*.

— Значит, она здесь, сударыня? — с жаром спросил Джонс.

— Тише, сэр,— отвечала маска,— вы привлекаете к себе внимание. Даю вам честное слово, что мисс Вестерн здесь нет.

Тогда Джонс схватил маску за руку и настойчиво просил ее сказать, где может он найти Софью. Не добившись прямого ответа, он мягко упрекнул свою собеседницу за вчерашнее надувательство и сказал в заключение:

— Да, уважаемая царица фей, как ни изменяйте своего голоса, а я прекрасно знаю ваше величество. Право, миссис Фитцпатрик, с вашей стороны немного жестоко забавляться моими мучениями.

— Хотя вы остроумно догадались, кто я такая,— отвечала маска,— но я буду продолжать говорить тем же голосом, чтобы меня не узнали другие. Неужели вы думаете, милостивый государь, что я настолько равнодушна к счастью своей кузины, чтобы помогать интриге, которая может только и ее и вас привести к гибели? Кроме того, поверьте, моя кузина не настолько потеряла голову, чтобы искать себе гибели, даже если бы вы, действуя как враг ее, попытались ее увлечь.

— Как же мало вы знаете мое сердце, сударыня, если называете меня врагом Софьи!

— Согласитесь, однако же, что погубить женщину способен только ее враг; а если еще тем самым вы сознательно и заведомо губите самого себя — разве это не безумие и не преступление? У кузины моей почти нет своего состояния, приличного ее званию, она всецело должна рассчитывать на отца,— а вы знаете его и знаете свое положение.

Джонс поклялся, что у него нет таких видов на Софью и что он готов скорее претерпеть самые жестокие мучения, чем принести ее интересы в жертву своим желаниям. Он сказал, что знает, насколько он недостоин ее во всех отношениях, и что он давно уже решил оставить все такие помыслы, но что некоторые обстоятельства заставляют его желать увидеться с ней еще раз, а затем он обещает проститься с ней навсегда.

— Нет, сударыня,— заключил он свою речь,— любовь моя чужда всего низменного, она не стремится получить удовлетворение ценой того, что всего дороже для ее предмета. Ради обладания Софьей я принес бы в жертву все на свете, кроме самой Софьи.

Хотя читатель, вероятно, составил не очень высокое представление о добродетели дамы в маске и дама эта, может быть, действительно окажется впоследствии не на очень большой высоте в этом отношении, однако благородные чувства Джонса, несомненно, произвели на нее сильное впечатление и увеличили ее

расположение к нашему юному герою, зародившееся в ней уже раньше.

После минутного молчания она сказала, что находит его притязания на Софью не столько самонадеянностью, сколько неблагоразумием.

— Молодым людям,— прибавила она,— вообще свойственно метить высоко. Мне нравится в юноше честолюбие, и я бы вам советовала развивать это качество как можно больше. Может быть, вам суждено будет одержать гораздо более блестящие победы; я даже убеждена, что многие женщины... Но не находите ли вы несколько странным, мистер Джонс, что я даю советы человеку, с которым так мало знакома и поведением которого имею так мало оснований быть довольной?

Джонс начал извиняться, выразив надежду, что не сказал ничего оскорбительного об ее кузине.

— Как же мало знаете вы наш пол,— перебила его маска,— если вам невдомек, что ничто не может оскорбить женщину больше ваших разговоров об увлечении другой женщиной! Если бы царица фей не была лучшего мнения о вашей любезности, она едва ли назначила бы вам свидание в маскараде.

Джонс никогда не был так мало расположен к любовной интриге, как в ту минуту, но любезное обхождение с дамами было одним из правил его кодекса чести; принять вызов на любовь он считал столь же обязательным, как принять вызов на дуэль. Да и самая его любовь к Софье требовала, чтобы он был вежлив с дамой, которая, по твердому его убеждению, могла свести их.

Поэтому он начал с жаром отвечать на ее последнее замечание, но тут к ним подошла маска в костюме старухи. Это была одна из тех дам, которые ходят в маскарад только для того, чтобы дать выход своей брюзгливости, говоря людям в глаза неприятную для них правду и изо всех сил стараясь испортить чужое веселье. Вот почему эта почтенная дама, заметив, что Джонс увлечен в уголке разговором с хорошо ей знакомой женщиной, решила, что ни на чем ей лучше не отвести душу, как помешав этой парочке. Она к ним пристала и скоро выжила их из укромного уголка; не довольствуясь этим, она преследовала их везде, где бы они ни пробовали от нее укрыться, пока наконец мистер Найтингейл не выручил приятеля, заняв старуху другой интригой.

Прохаживаясь взад и вперед по зале с целью отделаться от навязчивой маски, Джонс обратил внимание, что дама его заговаривает с многими масками так непринужденно и уверенно, как если бы лица их были открыты. Он не мог скрыть свое удивление по этому поводу, сказав:

— Какой же у вас зоркий глаз, сударыня; вы всех узнаете под маской.

На это спутница ему отвечала:

— Вы не можете себе представить, какой бесцветной и ребяческой игрой кажется маскарад светским людям; они обыкновенно с первого же взгляда узнают здесь друг друга, точно в собраниях или в гостиных, и ни одна порядочная женщина не заговорит здесь с человеком незнакомым. Словом, справедливо можно сказать, что большинство людей, которых вы здесь видите, убивают время ничуть не лучше, чем в других местах, и обыкновенно гости разъезжаются отсюда, еще раньше устав от скуки, чем после длинной проповеди. Правду сказать, я сама начинаю испытывать это состояние, и мне сильно сдается, что и вы не очень-то веселитесь. Согласитесь, что я поступила бы человеколюбиво, уехав сейчас домой ради вас?

— Вы поступили бы еще человеколюбивее, — отвечал Джонс,— если бы позволили мне проводить вас.

— Странного же вы, однако, мнения обо мне,— возразила маска,— если полагаете, что после такого случайного знакомства я приму вас у себя в этот час ночи. Должно быть, вы приписываете мое дружеское участие к Софье какой-нибудь иной причине. Признайтесь честно: уж не смотрите ли вы на эту придуманную мной встречу, как на настоящее свидание? Вы, верно, привыкли к быстрым победам, мистер Джонс?

— Я не привык, сударыня, чтобы меня так побеждали,— отвечал Джонс,— но раз уж вы захватили врасплох мое сердце, то и все мое тело имеет право за ним последовать; извините же меня, если я решил сопровождать вас, куда бы вы ни пошли.

Слова эти были подкреплены приличествующими жестами, и тогда дама после мягкого упрека, что короткость между ними может привлечь к себе внимание, сказала, что едет ужинать к одной знакомой, куда, надеется, он за ней не последует.

— Иначе,— прибавила она,— обо мне бог знает что подумают, хоть моя приятельница и не очень строгих правил. Нет, нет, не провожайте меня; право, я не буду знать, что мне сказать.

С этими словами она покинула маскарад, а Джонс, несмотря на ее строгое запрещение, решил за ней следовать. Тут перед ним возникло то затруднение, о котором мы говорили выше, именно: у него в кармане не было ни шиллинга и не у кого было его занять. Но делать было нечего, и он смело пошел за портшезом, преследуемый насмешливыми возгласами носильщиков, которые изо всех сил стараются отбить у прилично одетых людей всякую охоту ходить пешком. К счастью, челядь, дежурившая у входа

в оперу, была слишком занята и не могла покинуть своих постов, а поздний час избавил Джонса от встречи с ее собратьями, и, таким образом, он беспрепятственно прошел по улицам в костюме, который в другое время неминуемо собрал бы вокруг него толпу.

Дама вышла из портшеза на улице, выходящей на Ганноверскую площадь; двери дома тотчас отворились, и ее впустили, а Джонс без церемонии последовал за ней.

Оба они очутились в прекрасно убранной и жарко натопленной комнате; тут дама, все еще говорившая маскарадным голосом, выразила удивление, что не видит приятельницы, наверно забывшей о своем обещании; посетовав по этому случаю, она вдруг забеспокоилась и спросила Джонса, что о ней подумают, когда узнают, что она была с ним одна в доме в такой поздний час. Но вместо ответа на этот важный вопрос Джонс принялся настойчиво просить свою спутницу снять маску; когда наконец он этого добился, то увидел перед собой не миссис Фитцпатрик, а самое леди Белластон.

Скучно было бы передавать в подробностях их разговор, начавшийся с самых обычных и заурядных вещей и продолжавшийся от двух часов ночи до шести часов утра. Довольно будет отметить то, что имеет отношение к нашей истории, а именно: леди обещала постараться разыскать Софью и через несколько дней устроить Джонсу свидание с ней, с тем, однако, чтобы это их свидание было последним. Подробно об этом договорившись и условившись снова встретиться здесь в тот же вечер, они расстались: леди Белластон вернулась домой, а Джонс пошел на свою новую квартиру.

## ГЛАВА VIII,

*содержащая тягостную сцену, которая большинству читателей покажется весьма необыкновенной*

Подкрепившись непродолжительным сном, Джонс позвал Партриджа, вручил ему банковый билет в пятьдесят фунтов и велел его разменять. У Партриджа глаза загорелись при виде денег, но, поразмыслив, он пришел к некоторым предположениям, не очень лестным для чести его господина; да и немудрено: маскарад рисовался ему чем-то ужасным, господин его ушел и вернулся переряженным и притом еще пропадал всю ночь... попросту говоря, он не мог объяснить себе появление этих денег иначе, как грабежом. Признайтесь, читатель, ведь и у вас мелькнула такая же мысль, если только вы не заподозрили тут щедрости леди Белластон.

Итак, чтобы спасти честь мистера Джонса и отдать должное щедрости леди Белластон, признаемся, что он действительно получил от нее этот подарок, ибо дама эта хотя и не питала особого расположения к шаблонной благотворительности нашего времени, вроде постройки больниц, однако не вовсе лишена была этой христианской добродетели. Она рассудила (и, кажется, очень справедливо), что молодой человек с дарованиями, но без шиллинга за душой является довольно подходящим объектом этой добродетели.

Мистер Джонс и мистер Найтингейл приглашены были в этот день к миссис Миллер обедать. В назначенный час молодые люди явились вместе с дочерьми хозяйки в гостиную, где и прождали от трех часов почти до пяти. Миссис Миллер была за городом у родственницы, о которой привезла следующее известие:

— Надеюсь, господа, вы извините, что я заставила вас ждать, особенно когда узнаете причину моего опоздания: я была у одной родственницы в шести милях отсюда; она лежит больная после родов... Пусть будет это предостережением для всех девушек,— сказала она, взглянув на дочерей,— неосмотрительно выходящих замуж. Без достатка нет счастья на этом свете. Ах, Нанси, как мне описать печальное положение, в котором я нашла твою кузину! Всего неделя, как она родила, а лежит при этой ужасной погоде в нетопленной комнате, кровать без полога, в доме нет ни куска угля, чтобы растопить камин; а второй ее сын, славный такой мальчуган, болен ангиной и лежит возле матери, потому что в доме нет другой кровати. Бедняжка Томми! Боюсь, Нанси, ты больше не увидишь своего любимца: он очень плох. Остальные дети здоровы, но Молли, того и гляди, сляжет. Ей всего тринадцать лет, но, право, мистер Найтингейл, никогда в жизни я не видела лучшей сиделки: она ухаживает и за матерью и за братом, и, что всего удивительнее в таком юном создании,— держится перед матерью весело и беззаботно, а между тем я видела... я видела, мистер Найтингейл, как бедная девочка, отвернувшись в сторону, украдкой утирала слезы.

Слезы, показавшиеся у самой миссис Миллер, заставили ее замолчать; у всех слушателей глаза тоже увлажнились; наконец она немного оправилась и продолжала:

— В этом бедственном положении мать ведет себя удивительно стойко. Больше всего ее тревожит болезнь сына, но даже и это она всячески старается скрыть, чтобы не огорчать мужа. Однако иногда силы изменяют ей — слишком уж горячо любит она мальчика, такой он у нее ласковый и умненький. Этот малыш (ему только что исполнилось семь лет) до слез меня растрогал, успокаивая орошавшую его слезами мать. «Нет, мамочка,— говорил

он,— я не умру; всемогущий господь не отнимет у тебя Томми; пусть на небе будет прекрасно, но я лучше останусь здесь и буду голодать с тобой и с папой». Извините, господа, я не могу удержаться (продолжала рассказчица, отирая слезы): столько нежности и любви в ребенке... а он еще, может быть, меньше других достоин жалости: ведь завтра или послезавтра он, вероятно, навсегда избавится от всех людских зол. Кого действительно нужно пожалеть — так это отца: бедняга обезумел от ужаса, он похож больше на мертвеца, чем на живого. Боже мой, какую сцену увидела я, входя в комнату! Склонившись к изголовью, несчастный поддерживал и сына и мать. На нем была только жилетка — кафтан его служил вместо одеяла: он укрыл им больных. Когда он поднялся навстречу мне, я едва его узнала. Поверите ли, мистер Джонс, две недели тому назад это был красивый и здоровый мужчина,— вот мистер Найтингейл его видел,— теперь глаза его впали, лицо побледнело, у него отросла борода; он дрожит от холода и весь отощал. Кузина моя жалуется, что его никак нельзя уговорить поесть... а сам он шепнул мне... тяжело повторять... шепнул, что не может решиться отнять хлеб у детей. Однако — поверите ли, господа? — при всей этой нищете у жены его такой прекрасный бульон, как будто она купается в богатстве; я пробовала: лучшего мне никогда не случалось отведывать... Средства на это, по словам мужа, были доставлены ему ангелом небесным. Не знаю, что разумел он под этим: у меня не хватило духу его расспрашивать...

Вот вам так называемый брак по взаимной любви — иными словами, брак нищих. Правда, более любящей пары я никогда не видела; но что толку в этой любви, если она служит им только для того, чтобы мучить друг друга?

— А я, мамочка, всегда смотрела на Андерсон (так звали их родственницу), как на счастливейшую из женщин! — воскликнула Нанси.

— Ну, сейчас этого про нее не скажешь,— возразила миссис Миллер.— Ведь всякий поймет, что и мужу и жене в таком тяжелом положении больнее всего видеть страдания друг друга. По сравнению с этим голод и холод пустяки, если их приходится терпеть одному. Чувства родителей разделяют также и дети, за исключением младшего, которому нет еще двух лет. Это на редкость любящая семья; и располагай они хотя бы маленькими средствами, так были бы счастливейшими людьми на свете.

— Я никогда не замечала ни малейших признаков нужды в доме Андерсон,— сказала Нанси.— Сердце обливается кровью после вашего рассказа.

— О, она искусно изворачивалась.— отвечала мать.— Положение их всегда было очень незавидное, но до полного разо-

рения довели их другие. Бедняга Андерсон поручился за своего брата, негодяя, и неделю тому назад, как раз накануне родов жены, все их имущество было увезено и продано с молотка. Он мне об этом написал, отправив письмо через судебного пристава, но бездельник пристав мне не передал... Чего только он не думал обо мне, видя, что я целую неделю не откликаюсь!

Джонс слушал этот рассказ со слезами на глазах, а когда миссис Миллер кончила, отвел ее в другую комнату и, вручив ей кошелек с пятьюдесятью фунтами, просил послать из этих денег несчастной семье, сколько она найдет нужным. Взгляд миссис Миллер, брошенный по этому случаю на Джонса, не поддается описанию. В бурном восторге она воскликнула:

— Боже мой! Неужели есть такие люди на свете?

Впрочем, опомнившись, прибавила:

— Да, я знаю одного; но неужели нашелся и другой?

— Я полагаю, сударыня,— отвечал Джонс,— что простое человеколюбие не такая уж редкость и помочь ближнему в подобной беде не большая заслуга.

Миссис Миллер взяла десять гиней,— взять больше она наотрез отказалась, — и сказала, что найдет средство доставить несчастным эти деньги завтра утром; она и сама дала им кое-что, так что теперь они не в такой уж крайности.

После этого они вернулись в гостиную, где Найтингейл сильно сокрушался по поводу ужасного положения несчастных, с которыми был знаком, потому что не раз встречался с ними у миссис Миллер. Он всячески поносил безрассудство людей, берущих на себя ответственность за чужие долги, крепко выругал брата Андерсона и сказал в заключение, что хорошо было бы чем-нибудь помочь пострадавшей семье.

— Не могли бы вы, например,—обратился он к миссис Миллер,— похлопотать о них перед мистером Олверти? Или не устроить ли подписку? Я с большой готовностью пожертвую гинею.

Миссис Миллер ничего не ответила, а Нанси, которой мать рассказала на ухо о щедрости Джонса, побледнела как полотно. Впрочем, сердясь на Найтингейла, мать и дочь были, конечно, неправы. Ведь если бы он даже знал о щедрости Джонса, то не обязан был подражать ему; тысячи других не пожертвовали бы ни полушки, как не пожертвовал и он, потому что никто ему этого не предложил; так как другие не сочли нужным обращаться к нему с просьбой, то деньги остались у него в кармане.

Признаться, я подметил — и считаю как нельзя более уместным поделиться этим своим наблюдением с читателями,— что в отношении благотворительности люди обыкновенно придерживаются двух диаметрально противоположных взглядов: одни

полагают, что на всякое благотворение надо смотреть как на добровольное даяние, и как бы мало вы ни дали (даже если бы ограничились добрыми пожеланиями), поступок ваш заслуживает высоких похвал; другие, напротив, столь же твердо убеждены, что благотворение есть прямая обязанность и что если богач облегчает бедствия бедняка далеко не в такой степени, как мог бы, то он со своими жалкими щедротами не только не заслуживает похвалы за это половинчатое исполнение долга, но даже в некотором смысле достоин презрения больше, чем тот, кто не дал ничего.

Примирить эти противоположные мнения не в моей власти.

Прибавлю только, что дающие держатся обыкновенно первого мнения, а получающие, почти все без исключения, склоняются ко второму.

## ГЛАВА IX,

*трактующая о материях, совершенно отличных от тех, которые обсуждались в предыдущей главе*

Вечером у Джонса снова было свидание с леди Белластон, и снова они долго разговаривали. Но так как и на этот раз разговор их касался самых обыденных вещей, то мы воздержимся от передачи его в подробностях, сомневаясь, чтоб они были занимательны для читателя, если только он не из тех господ, чье поклонение прекрасному полу, подобно поклонению папистов святым, нуждается в поддержке при помощи картин. Я далек от желания преподносить их публике и с удовольствием задернул бы занавесом и те, что в последнее время выставлены в некоторых французских романах, представленных нам в аляповатых копиях, известных под названием переводов.

Джонсу все больше и больше не терпелось увидеть Софью. Убедившись после нескольких свиданий с леди Белластон в невозможности добиться этого с ее помощью (дама эта начинала даже сердиться при одном упоминании имени Софьи), он решил попытать какой-нибудь другой способ. Джонс нимало не сомневался, что леди Белластон знает местопребывание его ангела, и, значит, оно, по всей вероятности, известно и кому-нибудь из ее слуг. Вот почему Партриджу поручено было познакомиться со слугами леди и выудить у них тайну.

Трудно представить себе положение стеснительнее того, в каком очутился теперь бедняга Джонс. Ведь помимо трудностей, с которыми он встретился, разыскивая Софью, помимо страха, не обидел ли он ее, подкрепленного весьма похожими

на правду уверениями леди Белластон, что Софья на него сердита и нарочно от него прячется,— помимо всего этого, ему предстояло преодолеть одно затруднение, которое не в силах была устранить и его возлюбленная при всем своем расположении к нему, именно: он подвергал Софью опасности лишения наследства — опасности почти неминуемой, в случае их брака без согласия отца, на которое у него не было никаких надежд.

Прибавьте к этому множество одолжений со стороны леди Белластон, бурной страсти которой мы долее не в силах скрывать. При ее помощи Джонс разоделся теперь не хуже первых щеголей столицы и не только избавился от вышеописанных смешных затруднений, но зажил в таком довольстве, какого никогда еще не знал.

Хотя много есть джентльменов, не видящих ничего зазорного в том, чтобы пользоваться состоянием женщины, не отвечая на любовь ее взаимностью, но для души, обладатель которой не заслуживает виселицы, нет, я думаю, ничего тягостнее, как платить за любовь одной только благодарностью, особенно когда влечение сердца направлено в другую сторону. В таком несчастном положении находился Джонс. Ведь если бы даже не было речи о целомудренной любви его к Софье, оставлявшей очень мало места для нежных чувств к другой женщине, он все же неспособен был отвечать полной взаимностью на щедрую страсть дамы, которая, правда, была когда-то предметом желаний, но теперь, увы, достигла уже осени жизни. Блеск молодости еще сохранялся в ее одежде и обхождении, она умудрялась даже сохранять розы на щеках,— но, как все цветы, выращенные искусственно, не в свое время, они лишены были той пышной свежести, которой природа украшает свои произведения в положенный срок. Кроме того, у нее был еще один недостаток, делающий некоторые цветы, хотя бы и очень красивые с виду, совершенно непригодными для украшения ложа наслаждений и более всего неприятный для дыхания любви.

Несмотря на все эти расхолаживающие обстоятельства, Джонс чувствовал, насколько он обязан леди Белластон, и отлично видел, из какой бурной страсти проистекают все ее одолжения. Он хорошо знал, что леди сочтет его неблагодарным, если он не будет отвечать ей такими же пламенными чувствами, и, что еще хуже, он и сам счел бы это неблагодарностью. Он понимал, на каком молчаливом условии ему жалуются все эти милости; и если нужда заставляла его принимать их, то честь требовала, чтобы он платил чистоганом. Так он и решил поступить, каких бы лишений это ему ни стоило,— решил посвятить себя леди, руководясь тем же великим принципом справедливости, в силу которого законы иных

государств делают должника рабом заимодавца, если он не в состоянии заплатить свой долг другим способом.

Размышляя об этих предметах, Джонс получил следующую записку от леди:

«Случилось одно нелепое, но досадное происшествие, не позволяющее мне больше видеться с вами в обычном месте. Постараюсь по возможности подыскать на завтра другое. До тех пор прощайте».

Огорчение Джонса — читатель сам может судить — было, вероятно, не очень велико; а если он и огорчился, то скоро утешился, потому что не прошло и часу, как ему принесли другую записку, написанную тем же почерком, следующего содержания:

«Отправив вам письмо, я передумала: переменчивость эта вас не удивит, если вы немного знаете природу нежнейшей из страстей. Теперь я решила свидеться с вами сегодня же вечером в моем доме — будь что будет. Приходите ровно в семь. Я обедаю в гостях, но к этому времени буду дома. Вижу, что для искренне любящего день оказывается длиннее, чем я предполагала.

Если вы случайно придете на несколько минут раньше меня, прикажите, чтобы вас провели в гостиную».

По правде говоря, это последнее послание доставило Джонсу меньше удовольствия, чем первое, потому что мешало исполнить одну горячую просьбу мистера Найтингейла, с которым он очень сошелся и подружился. Мистер Найтингейл просил Джонса пойти с ним и его приятелями в театр, где в тот вечер давали новую пьесу и многочисленная группа собиралась ее освистать из неприязни к автору — другу одного из знакомых мистера Найтингейла. Забаву эту, нам стыдно признаться, герой наш охотно предпочел бы упомянутому приятному свиданию, но честь одержала верх над естественным влечением.

Прежде чем сопровождать Джонса на назначенное леди свидание, мы считаем нужным объяснить происхождение двух приведенных записок, так как читатель, может быть, немало подивится неблагоразумию леди Белластон, назначающей любовнику свидание в том самом доме, где жила ее соперница.

Дело в том, что хозяйка того дома, где до сих пор встречались наши любовники, несколько лет получавшая пенсию от леди Белластон, вдруг сделалась методисткой; явившись утром к ее светлости и сурово пожурив ее за легкомысленный образ жизни, она решительно объявила, что впредь ни под каким видом не намерена помогать леди в устроении ее любовных дел.

В смятении чувств, вызванном этим досадным происшествием, леди Белластон сперва совсем отчаялась найти какой-нибудь способ встретиться с Джонсом в тот же вечер, но потом, немного

овладев собой она раскинула умом и счастливо напала на мысль предложить Софье пойти в театр, на что та тотчас же согласилась; найти для нее подходящую компанию не представило затруднений: миссис Гонора и миссис Итоф тоже были спроважены на это приятное развлечение. Таким образом, хозяйка дома могла свободно принять у себя мистера Джонса и без всякой помехи провести с ним часа два-три по возвращении от приятельницы, у которой она обедала. Приятельница эта проживала в довольно отдаленной части города, недалеко от места их прежних свиданий, и леди Белластон дала ей обещание еще прежде, чем узнала о перевороте в образе мыслей и морали своей недавней поверенной.

## ГЛАВА X

*Глава хоть и короткая, но способная вызвать слезы на глаза у иных читателей*

Только что мистер Джонс оделся и приготовился идти к леди Белластон, как в дверь его комнаты постучалась миссис Миллер; получив позволение войти, она принялась убедительно просить своего жильца спуститься вниз и выпить с ней чашку чаю.

Не успел Джонс переступить порог гостиной, как она познакомила его с находившимся там человеком, проговорив:

— Вот, сэр, мой родственник, столько вам обязанный за вашу доброту,— он желает принести вам свою искреннюю благодарность.

Только что гость миссис Миллер собрался продолжать речь, так любезно начатую ею, как взор его встретился с пристальным взором Джонса, и на лицах обоих выразилось крайнее изумление. Он тотчас же запнулся и, не кончив речи, опустился на стул, воскликнув:

— Да, это он. Я убежден, что это он!

— Боже мой, что это значит? — забеспокоилась миссис Миллер.— Вам худо, кузен? Скорее воды, спирту!

— Не пугайтесь, сударыня,— сказал Джонс,— я почти столько же нуждаюсь в помощи, как и ваш родственник. Мы оба одинаково поражены этой неожиданной встречей. Ваш родственник — мой знакомый, миссис Миллер.

— Знакомый!..— повторил гость.— О, боже!

— Да, знакомый, — продолжал Джонс, — и очень мною уважаемый. Если я постыжусь признаться, что люблю и уважаю человека, который решается на все для спасения жены и детей

от немедленной гибели, то пусть мои друзья отрекутся от меня в несчастье!

— О, благородный юноша!— воскликнула миссис Миллер.— Да, он действительно ни перед чем не останавливался, бедняга... Только благодаря своему превосходному здоровью он и мог все это вынести.

— Кузина,— проговорил гость, тем временем совершенно оправившийся,— это и есть тот ангел небесный, о котором я вам говорил. Это ему обязан я спасением моей Пегги, перед тем как пришли вы. Все, что я мог достать, чтобы помочь ей и облегчить ее страдания, я достал благодаря его щедрости. Это достойнейший, превосходнейший, благороднейший из людей! Ах, если бы вы знали, какие одолжения...

— Не говорите об одолжениях,—остановил его Джонс,— ни слова, умоляю вас, ни слова! (Вероятно, таким образом он давал ему понять, что не желает разглашения истории с грабежом.) Если моя скудная помощь спасла целую семью, то, право, это удовольствие досталось мне чрезвычайно дешево.

— Ах, сударь,— воскликнул гость,— если бы вы могли в эту минуту увидеть мое жилище! Если кто заслужил удовольствие, о котором вы говорите, так это именно вы. Кузина говорит, что она вам рассказала о бедственном положении, в каком застала нас. Знайте же, сэр, что все теперь переменилось, главным образом благодаря вашей щедрости... У детей моих есть теперь постель... и у них есть... у них есть... благослови вас господь до конца дней ваших!.. у них есть кусок хлеба. Мой малыш выздоровел, жена поправляется, и я счастлив. Всем, всем этим я обязан вам и моей кузине, добрейшей женщине на свете. Право, сэр, вы непременно должны побывать у нас... Жена должна непременно увидеть вас и поблагодарить... Дети тоже должны выразить свою благодарность... Право, сэр, они прекрасно понимают, насколько они вам обязаны. Но каковы же должны быть мои чувства, когда я думаю, кому обязан я тем, что они способны теперь выражать благодарность... Ах, сэр, согретые вами крохотные сердца их были бы теперь, без вашей помощи, холодны, как лед!

Джонс пытался остановить несчастного, но речь его и без того прервалась от полноты чувства. Миссис Миллер тоже рассыпалась в благодарностях как от своего имени, так и от имени своего родственника, сказав, что, без всякого сомнения, такая отзывчивость будет щедро вознаграждена.

Джонс отвечал, что он уже достаточно вознагражден.

— Рассказ вашего родственника, сударыня,— сказал он,— доставил мне такое удовольствие, какого я еще никогда не испытывал. Только негодяй способен остаться бесчувственным, выслу-

шав такую историю; в какой же восторг должна привести мысль, что ты сам играл благодетельную роль в этой сцене! Если есть люди, неспособные радоваться, принося другим счастье, то мне их искренне жаль, потому что для них остаются недоступными почести, выгоды и наслаждения, равных которым никогда не изведали ни честолюбцы, ни корыстолюбцы, ни сластолюбцы.

Между тем приближался час свидания, и Джонс принужден был поспешно проститься: он крепко пожал руку своему новому другу, выразив желание поскорее снова увидеться с ним и пообещав навестить его при первой возможности. Потом он сел в портшез и отправился к леди Белластон — в восторге, что осчастливил бедное семейство; не без ужаса подумал он при этом, какие страшные были бы последствия, если бы он не послушался голоса милосердия, а поступил согласно сухой справедливости, подвергшись нападению на большой дороге.

Миссис Миллер целый вечер расточала хвалы Джонсу, и мистер Андерсон вторил так горячо, что его не раз подмывало рассказать о неудачном грабеже. К счастью, однако, он настолько владел собой, что удержался от признания, которое было бы тем неуместнее, что миссис Миллер была женщина щепетильная и очень строгих правил; равным образом ему была хорошо известна болтливость этой дамы. И все же признательность мистера Андерсона была так велика, что едва не одержала в нем верх над благоразумием и стыдом и не побудила разгласить вещи, позорившие его доброе имя, лишь бы только не опустить ни одного обстоятельства, выставлявшего в выгодном свете его благодетеля.

## ГЛАВА XI,

*которая поразит читателя*

Мистер Джонс явился немного раньше назначенного времени и раньше, чем вернулась леди. Ее задержала не только отдаленность дома, в котором она обедала, но и разные другие обстоятельства, очень досадные для человека в таком душевном состоянии. Героя нашего провели поэтому в гостиную; и не успел он оглядеться, как дверь отворилась и в комнату вошла... не кто иная, как сама Софья, покинувшая театр до окончания первого действия. Как мы уже сказали, пьеса была новая, и две большие группы зрителей, одна шикавшая, а другая аплодировавшая, подняли в театре неистовый шум и даже драку, что перепуганная героиня наша рада была отдаться под покровительство одного молодого джентльмена, благополучно проводившего ее до портшеза.

Так как леди Белластон сказала, что вернется домой поздно, то Софья, не ожидая встретить кого-нибудь в гостиной, быстро вошла туда и направилась прямо к зеркалу напротив двери, ни разу не взглянув в дальний конец комнаты, где Джонс стоял застывшей без движения статуей. Разглядывая в зеркале свое прекрасное лицо, Софья заметила эту статую; оглянувшись, она убедилась, что перед ней не призрак, а явь, пронзительно вскрикнула и едва не упала без чувств, прежде чем Джонс подоспел к ней и подхватил в свои объятия.

Изобразить взгляды и мысли любовников в эту минуту выше моих сил. Судя по наступившему молчанию, чувства их были так велики, что им самим не под силу было их выразить. Как же браться за эту задачу мне? К несчастью, лишь немногие из моих читателей бывали настолько влюблены, чтобы из собственного опыта заключить о происходившем в сердцах Джонса и Софьи.

Наконец Джонс нарушил молчание, проговорив прерывающимся голосом.

— Я вижу, сударыня, вы удивлены...

— Удивлена! — повторила Софья.— Да, конечно удивлена. Почти не верится, что вы тот самый человек, каким кажетесь.

— Да, тот самый, моя Софья,— извините, сударыня, что я решился назвать вас так,— тот самый несчастный Джонс, которого, после стольких разочарований, судьба наконец милостиво привела к вам. Ах, Софья, если бы знали вы, сколько мучений я вытерпел во время этой долгой, бесплодной погони!

— Погони за кем? — спросила Софья, немного овладев собой и приняв сдержанный тон.

— Зачем этот жестокий вопрос? — отвечал Джонс.— Нужно ли говорить, что за вами!

— За мной? Разве у мистера Джонса есть ко мне какое-нибудь важное дело?

— Иным это дело может показаться важным, сударыня, — сказал Джонс, подавая ей записную книжку,— надеюсь, что вы найдете в ней все в сохранности.

Софья взяла записную книжку и хотела ответить, но он перебил ее:

— Не будем, молю вас, терять драгоценных мгновений, так милостиво посылаемых нам судьбой. Ах, Софья! У меня есть к вам дело гораздо более важное. Позвольте мне просить у вас на коленях прощения!

— Прощения? Но после всего случившегося, после всего, что мне говорили, разве можете вы ожидать, сэр...

— Я едва соображаю, что говорю,— отвечал Джонс.— Боже мой! Нет, я не решаюсь просить у вас прощения. Ах, Софья! С этой

минуты забудьте даже и думать обо мне, несчастном. Если когда-нибудь воспоминание обо мне проникнет к вам украдкой и смутит ваш драгоценный покой, подумайте о моем недостойном поведении: пусть случай в Эптоне навсегда изгладит меня из вашей памяти.

Софья стояла вся трепещущая. Лицо ее сделалось белее снега, а сердце готово было выскочить из груди. Но при упоминании об Эптоне румянец покрыл ее щеки, а глаза, до тех пор опущенные, обратились на Джонса с выражением презрения. Он понял этот молчаливый упрек и отвечал так:

— Ах, Софья, единственная любовь моя. Вы не можете ненавидеть или презирать меня за то, что там случилось, больше, чем сам я ненавижу и презираю себя, но, право же, сердце мое всегда оставалось верным вам. Оно не принимало никакого участия в безрассудстве, которое я совершил; даже тогда оно неизменно принадлежало вам. Хотя я отчаялся когда-нибудь обладать вами, отчаялся даже увидеть вас, но ваш прелестный образ неотступно стоял передо мной, и я не мог серьезно полюбить другую женщину. Но если бы даже сердце мое было свободно, та, с которой я случайно сошелся в этом проклятом месте, не возбудила во мне серьезного чувства. Поверьте, мой ангел, с того дня я ее ни разу больше не видел и не имею ни малейшего желания видеть.

Софья в душе была очень рада это слышать, но, напустив на себя еще более холодный вид, она проговорила:

— Зачем вы утруждаете себя защитой, мистер Джонс, если вас никто не обвиняет? Коли на то пошло, так я предъявила бы вам обвинение в действительно непростительном поступке.

— В каком же, о, господи? — спросил Джонс, трепеща и бледнея: он боялся, что Софья намекает на его связь с леди Белластон.

— Боже! — воскликнула она.— Как возможно, чтобы в одной и той же груди уживались такое благородство и такая низость!

Леди Белластон и его позорное согласие состоять у нее на содержании снова пришли на ум Джонсу и сковали ему уста.

— Могла ли я ожидать от вас такого поведения? — продолжала Софья.— Могла ли я ожидать этого от джентльмена, от человека, дорожащего своей честью? Публично трепать мое имя в гостинице перед всяким сбродом! Хвастать ничтожными ласками, которые неискушенное мое сердце слишком легкомысленно вам подарило! Распустить слух, что вы принуждены были бежать от моей любви!

Удивлению Джонса при этих словах Софьи не было границ; однако, не зная за собой вины, он без труда нашелся, как ему

защищаться, довольный, что не была задета гораздо более чувствительная для его совести струна. Несколько вопросов тотчас же показали ему, что всем этим обвинениям в столь возмутительном поругании чувства и доброго имени Софьи он обязан исключительно болтовне Партриджа в гостиницах перед содержателями этих заведений и их слугами: Софья призналась, что сведения свои она получила именно от них. Джонс без особенного труда убедил Софью в своей полной невиновности в проступке, столь чуждом его характеру, и Софье стоило даже немалых усилий умерить его пыл: он хотел сию же минуту вернуться домой, чтобы убить Партриджа, и клялся, что непременно его убьет. Объяснившись по этому вопросу, они остались так довольны друг другом, что Джонс совсем забыл, как в начале разговора заклинал свою возлюбленную выкинуть всякую память о нем, а Софья готова была благосклонно выслушать просьбу совсем другого рода: они и не заметили, как дело дошло до того, что Джонс проронил несколько слов, похожих на предложение пожениться. На это Софья ему ответила, что если бы не долг дочери, возбранявший ей следовать своим влечениям вопреки воле отца, то нищета с ним была бы ей гораздо больше по сердцу, чем какое угодно богатство с другим. При слове «нищета» Джонс вздрогнул, выпустил ее руку, которую все время держал, и, ударив себя в грудь, воскликнул:

— Довести тебя до нищеты! Нет, Софья, клянусь небом, никогда не совершу я такой низости! Нет, дражайшая Софья, чего бы это мне ни стоило, я откажусь от вас, я вас оставлю, я вырву из своего сердца всякую надежду, несовместимую с вашим благополучием. Любовь моя не угаснет никогда, но она останется безгласной, она будет гореть вдали от вас, она укроется на чужбине, откуда ни одна жалоба, ни один вздох мой не долетят до вас и не смутят вашего покоя. И когда я умру...

Джонс хотел продолжать, но был остановлен рыданиями Софьи, припавшей к его груди, не в силах вымолвить ни слова. Он принялся осушать слезы ее поцелуями, и некоторое время она без сопротивления позволяла ему это, но потом, опомнившись, тихонько освободилась из его объятий и, чтобы перевести слишком волнующий разговор на другую тему, задала вопрос, о котором в смятении чувств до сих пор не подумала, именно: как попал он в эту комнату? Джонс замялся и, по всей вероятности, своим ответом возбудил бы в ней подозрения, как вдруг дверь отворилась и вошла леди Белластон.

Сделав несколько шагов и увидев Джонса с Софьей, она остановилась как вкопанная, но через несколько мгновений опомнилась и с поразительным самообладанием — впрочем, доста-

точно ясно обнаружив удивление и тоном голоса, и выражением лица — сказала:

— А я думала, что вы в театре, мисс Вестерн!

Хотя Софья не успела еще узнать от Джонса, как он ее отыскал, однако, нимало не догадываясь о действительном положении вещей и даже не предполагая, чтобы Джонс был знаком с леди Белластон, она не почувствовала никакого смущения, тем более что во всех разговорах на эту тему леди всецело принимала ее сторону против отца. Нисколько не задумываясь, она рассказала все, что случилось в театре, и объяснила причину своего раннего возвращения.

Этот рассказ дал леди Белластон время собраться с мыслями и сообразить, как ей действовать. Так как все поведение Софьи свидетельствовало, что Джонс ее не выдал, то она приняла благодушный вид и сказала:

— Я не вошла бы так неожиданно, мисс Вестерн, если бы знала, что у вас гости.

Произнося эти слова, леди Белластон пристально посмотрела на Софью. Бедная девушка вспыхнула и в сильном смущении пробормотала.

— Поверьте, сударыня, что я всегда почитаю за честь видеть вашу светлость...

— Надеюсь, что я вам не помешала, по крайней мере? — прервала ее леди Белластон.

— Нет, сударыня,— отвечала Софья,— мы уже кончили нашу деловую беседу. Если вашей светлости угодно будет припомнить, я не раз говорила о пропаже своей записной книжки. Оказывается, этот джентльмен нашел ее и был так добр, возвратив ее мне вместе с находившимся в ней банковым билетом.

При появлении леди Белластон Джонс от страха чуть не упал в обморок. Он сидел, постукивая каблуками и играя пальцами, с самым дурацким видом, словно деревенский недоросль, впервые попавший в светское общество. Мало-помалу он, однако, начал приходить в себя: поняв намек леди Белластон, которая не подавала виду, что она его знает, он тоже решил притвориться незнакомым с ней. Он сказал, что, получив в свое распоряжение эту записную книжку, принялся старательно искать даму, имя которой было на ней написано, но до сегодняшнего дня ему не удавалось найти ее.

Софья действительно говорила леди Белластон о потере записной книжки, но так как Джонс по той или иной причине ни разу не обмолвился ей, что книжка эта у него, то она не поверила ни одному слову Софьи и была немало поражена находчивостью молодой девушки, так быстро придумавшей извинение; причина

ухода Софьи из театра тоже показалась ей выдумкой, и, не зная, как объяснить встречу влюбленных, она все-таки была твердо убеждена, что встретились они не случайно.

— Какая же вы, однако, счастливая,— проговорила она с деланной улыбкой,— деньги ваши не только попали в руки честного человека, но ему еще посчастливилось установить, кому они принадлежат. Ведь вы, кажется, не публиковали о пропаже... Вам на редкость повезло, сэр, что удалось отыскать, кому принадлежит банковый билет.

— Но, сударыня, ведь он лежал в записной книжке, на которой было написано имя мисс Вестерн,— отвечал Джонс.

— Да, все сложилось чрезвычайно удачно! — воскликнула леди.— И не менее удивительно, что вы прослышали, где живет мисс Вестерн: ведь об этом мало кто знает.

Джонс уже совершенно овладел собой; он живо сообразил, что ему теперь представляется прекрасный случай ответить Софье на вопрос, заданный ею перед самым приходом леди Белластон.

— Действительно, сударыня,— сказал он,— мне это удалось благодаря необыкновенно счастливому стечению обстоятельств. На днях я сообщил о своей находке одной даме в маскараде, назвав ей имя владелицы книжки; та сказала, что, кажется, знает, где я могу видеть мисс Вестерн, и даст мне ее адрес, если я зайду к ней на другой день утром. Я пошел, но не застал ее дома; с тех пор я никак не мог с ней встретиться,— только сегодня мне посчастливилось, и она направила меня в дом вашей милости; когда я сказал, что у меня очень важное дело, слуга провел меня в эту комнату, а вскоре и мисс Вестерн вернулась из театра.

При упоминании о маскараде он лукаво посмотрел на леди Белластон, не боясь быть замеченным Софьей, которая была слишком смущена, чтобы делать наблюдения. Намек этот немного напугал леди и поверг ее в молчание; тогда Джонс, видевший волнение Софьи, решил прибегнуть к единственному средству успокоить ее, то есть уйти. Но перед уходом он сказал:

— Кажется, в таких случаях, сударыня, нашедшему принято выдавать награду: за свою честность я малым не удовольствуюсь и попрошу не меньше чем разрешения посетить вас еще раз.

— Сэр,— отвечала леди,— я не сомневаюсь, что вы джентльмен, а для людей благовоспитанных двери моего дома всегда открыты.

Церемонно раскланявшись, Джонс удалился, к своему великому удовольствию, а равно и к удовольствию Софьи, которая ужасно боялась, как бы леди Белластон не догадалась о том, что уже было ей прекрасно известно.

На лестнице Джонс встретил свою старую знакомую, миссис Гонору, и та, как женщина благовоспитанная, обошлась с ним учтиво, несмотря на все свои россказни о нем. Встреча эта пришлась очень кстати: Джонс сообщил горничной свой адрес, которого Софья не знала.

## ГЛАВА XII,

*заключающая тринадцатую книгу*

Изящный лорд Шефтсбери где-то возражает против излишней приверженности к истине, из чего с полным основанием можно заключить, что в иных случаях ложь не только извинительна, но и похвальна.

И, конечно, никто не может с бóльшим правом притязать на это похвальное уклонение от истины, чем молодые женщины, когда речь идет о любви; в оправдание они могут сослаться на уроки старших, на воспитание и, превыше всего на силу, можно сказать даже — на незыблемость обычая, который не запрещает им следовать чистым природным влечениям (подобное запрещение было бы нелепостью), но запрещает в них признаваться.

Поэтому нам ничуть не стыдно сказать, что героиня наша последовала в настоящем случае советам сиятельного философа. Будучи твердо убеждена, что леди Белластон не знает, кто такой Джонс, она решила оставить ее в этом неведении, хотя бы и ценой маленького обмана.

Не успел Джонс уйти, как леди Белластон воскликнула:

— Честное слово, прекрасный молодой человек! Кто бы это мог быть? Что-то не припоминаю, чтобы я его когда-нибудь видела.

— Я тоже, сударыня,— отвечала Софья.— Должна признать, что он поступил очень благородно, вернув мне деньги.

— Да, и притом он очень хорош собой,— сказала леди,— как вы находите?

— Я не обратила на это внимания,— отвечала Софья,— он показался мне только немного неуклюжим и невоспитанным.

— Вы совершенно правы,— подтвердила леди Белластон,— по манерам его видно, что он не вращался в хорошем обществе. Хоть он и вернул деньги и отказался от вознаграждения, я все-таки сомневаюсь, чтобы он был благородного звания... Я давно заметила, что в людях хорошего происхождения есть что-то такое, чего другим никогда не приобрести... Пожалуй, не приказать ли, чтобы его не принимали, если он придет?

— Нет, почему же? — возразила Софья.— Какие могут быть у вас опасения, сударыня, после его поступка?.. Кроме того, разве вы не заметили? В речи его столько изящества, столько изысканности, такая красота выражений, что, что...

— Да, я согласна, он боек на язык... Только простите меня, пожалуйста, Софья, пожалуйста, простите...

— Простить вашу милость! — воскликнула Софья.

— Да, пожалуйста, простите, — отвечала, смеясь, Белластон,— при взгляде на него у меня мелькнуло одно ужасное подозрение... умоляю вас, простите меня... я вообразила себе, что это не кто иной, как мистер Джонс.

— В самом деле, сударыня? — проговорила Софья, покраснев и принужденно смеясь.

— Ей-богу, вообразила. Понять не могу, отчего это мне пришло в голову. Ведь надо отдать молодому человеку справедливость: одет он со вкусом, а мне кажется, дорогая Софья, приятелю вашему это мало привычно.

— С вашей стороны, леди Белластон, жестоко так насмехаться после данного мной обещания,— отвечала Софья.

— Нисколько, дитя мое... Было бы жестоко — прежде; но после того как вы обещали не выходить замуж без согласия отца, а следовательно — отказаться от Джонса, вам, я думаю, не может показаться обидной легкая насмешка над страстью, простительной только в провинциальной барышне и которую, по вашим словам, вы совершенно преодолели. Что мне подумать, дорогая моя Софи, если вы не выносите шутки даже насчет его одежды? Я начинаю опасаться, не слишком ли далеко вы зашли, и спрашиваю себя: точно ли вы были со мной откровенны?

— Право, сударыня, вы ошибаетесь, если думаете, что он сколько-нибудь меня интересует.

— Интересует! Вы дурно меня поняли: я говорила только о его одежде... и не решилась бы оскорбить вашего чувства дальнейшим сравнением... Мне кажется даже, дорогая моя Софи, что если бы ваш мистер Джонс был похож на этого...

— Мне кажется, сударыня,— проговорила Софья,— вы признали, что он хорош собой...

— Кто, кто хорош собой? — поспешно прервала ее леди.

— Мистер Джонс,— отвечала Софья, но тотчас же опомнилась.— Что я говорю — мистер Джонс!.. Нет, нет, извините... я хотела сказать, джентльмен, который только что был здесь.

— Ах, Софи, Софи! — воскликнула леди.— Боюсь, что мистер Джонс не выходит у вас из головы.

— Даю слово, сударыня: мистер Джонс так же мне безразличен, как только что ушедший отсюда джентльмен.

— Даю слово, что верю. Простите же мне мою маленькую невинную шутку. Обещаю вам никогда больше не произносить его имени.

Тут дамы расстались, к неизмеримо большему удовольствию Софьи, чем леди Белластон, которая охотно помучила бы свою соперницу и дольше, если бы не была отвлечена более важным делом. Что же касается Софьи, то этот первый в ее жизни обман оставил в ней чувство большой неловкости. Удалившись в свою комнату, она погрузилась в раздумье, и чувство это перешло в угрызения совести. Затруднительность положения, не оставлявшая другого выхода, не служила в ее глазах оправданием ее поступка; душа Софьи была слишком чиста, чтобы она могла примириться с ложью, хотя бы и вынужденной обстоятельствами. Мысль эта не позволила ей сомкнуть глаз в течение всей ночи.

# КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ДВА ДНЯ

## ГЛАВА I

*Попытка доказать, что сочинение выигрывает, если автор имеет некоторые познания в предмете, о котором он пишет*

Так как некоторые господа заняли в последнее время видное положение в республике словесных искусств единственно удивительной силой своего гения, без малейшей помощи образования и даже, может быть, не умея читать, то нынешние критики, слышал я, с недавних пор начали утверждать, будто всякого рода знания совершенно бесполезны писателю, что это лишь цепи, сковывающие природную живость и бойкость воображения, обременяющие его и не дающие ему воспарить к тем высотам, которых без этой помехи оно могло бы достигнуть.

Почтенные критики, боюсь я, чересчур увлеклись. В самом деле, почему литература должна так отличаться от других искусств? Грациозности танцмейстера ничуть не вредит изучение танцевальных па; ремесленник тоже, я думаю, владеет своим инструментом не хуже оттого, что выучился обращаться с ним. С другой стороны, я не могу допустить, чтобы Гомер или Вергилий писали с бóльшим огнем, если бы были не образованнейшими людьми своего времени, а такими же невеждами, как большинство писателей наших дней. И я не верю, чтобы все пылкое воображение и блестящий ум Питта могли создать речи, обратившие английский сенат нашего времени в достойного соперника ареопагов Греции и Рима, если бы оратор не был прекрасно начитан в произведениях Демосфена и Цицерона и не перенес в свои собственные весь их дух и все их знания.

Отсюда, впрочем, вовсе не следует, чтобы я требовал от своих собратьев столько знаний, сколько, по мнению Цицерона, их необходимо иметь каждому оратору. Напротив, мне кажется, поэт

может обойтись очень небольшим кругом чтения, критик — еще меньшим, а политический деятель — совсем ничтожным. Для первого довольно будет, пожалуй, поэтики Бисше и нескольких современных поэтов, для второго — умеренного количества драматических произведений, а для третьего — любой пачки политических газет.

Правду сказать, я требую от писателя лишь небольшого знания предмета, о котором он пишет, согласно старинному судебному правилу: «Quam quisque norit artem in ea se exerceat» [1]. С одним этим знанием писатель может дать подчас что-нибудь сносное, а без него вся мировая ученость принесет ему мало пользы. Предположим, например, что Гомер, Вергилий, Аристотель, Цицерон, Фукидид и Ливий собрались вместе и задумали общими силами написать трактат об искусстве танца.— я думаю, все согласятся, что произведение их не могло бы тягаться с превосходным руководством по этому предмету мистера Эссекса, под заглавием «Начатки светского воспитания». И если бы удалось уговорить несравненного мистера Браутона приложить кулак к бумаге и дополнить названные «Начатки» основами атлетики, то свет едва ли имел бы причину жаловаться, что никто из великих писателей, древних и новых, не брался за изложение этого благородного и полезного искусства.

Дабы не умножать примеров по такому ясному вопросу и перейти сразу к цели, скажу прямо, что, по-моему, описание нравов высшего общества вышло у многих английских писателей неудачным вследствие их совершенного невежества в этой области.

К сожалению, знание высшего света доступно далеко не всякому писателю. Книги дадут нам о нем очень несовершенное представление, а сцена это представление мало чем улучшит. Джентльмен, просветивший себя чтением книг, почти всегда окажется педантом, а берущий уроки в театральном кресле — хлыщом.

Характеры, написанные по этим образцам, тоже выйдут неудачными. Ванбру и Конгрив писали с натуры; но тот, кто станет их копировать, изобразит нынешний век так же превратно, как сделал бы это Хогарт, если бы вздумал написать раут в одеждах Тициана или Ван-Дейка. Словом, подражание здесь неуместно. Картина должна быть списана прямо с природы. Истинное знание света дается только живым общением, и, чтобы узнать нравы того или другого сословия, надо наблюдать их собственными глазами.

Между тем высшего разряда смертных нельзя видеть, как прочих представителей человеческого рода, даром — на улицах,

---

[1] Кто какое искусство знает, пусть в нем и совершенствуется *(лат.)*.

в лавках и кофейнях; их не показывают также и за деньги, как высшие породы животного царства. Словом, к лицезрению их допускаются только лица, обладающие известными качествами, как-то: происхождением или богатством, или же, что равносильно тому и другому, занимающиеся почетной профессией игрока. Однако, к великому сожалению, подобные господа очень редко берутся за низкое ремесло писателя, обыкновенно предоставляя его беднякам и людям низшего звания — как дело, по мнению многих, не требующее никакого капитала.

Отсюда, те странные чудища в кружевах и шитье, в шелках и парче, в огромных париках и фижмах, которые гордо выступают, под названием лордов и леди, на театральных подмостках, к великому удовольствию стряпчих и писцов в партере, ремесленников и подмастерьев на галереях; сыскать их в действительной жизни так же трудно, как кентавров, химер и другие создания чистой фантазии. Впрочем, признаться по секрету, это знание высшего общества хотя и крайне необходимо, чтобы избегать промахов,— однако оно принесет мало пользы сочинителю комедий или романов комедийного типа, вроде предлагаемого мной читателю.

Суждение мистера Попа о женщинах весьма приложимо к большей части людей высшего круга: форма и деланные чувства до такой степени наполняют их, что своего лица у них нет вовсе, по крайней мере, заметить его невозможно. Осмелюсь даже сказать, что великосветская жизнь — самая серая и тусклая и не содержит в себе ничего веселого и любопытного. Разнообразие занятий порождает в низших слоях общества великое множество комических характеров, тогда как здесь, за исключением немногих честолюбцев и еще меньшего числа искателей наслаждений, люди только и знают что суетное тщеславие да рабскую подражательность. Наряды и карты, еда и питье, поклоны и приседания составляют все содержание их жизни.

Впрочем, есть среди них и такие, которых захватывает вихрь страсти и увлекает далеко за границы, полагаемые приличием; в особенности великосветские дамы своей благородной неустрашимостью и высокомерным пренебрежением к мнению других столько же отличаются в этом отношении от робких женщин простого звания, как добродетельная леди отличается изысканностью и деликатностью своих чувств от честной жены фермера или лавочника. Такой неустрашимостью отличалась и леди Белластон. Но пусть мои провинциальные читатели не заключат отсюда, что так ведут себя все фешенебельные дамы или что мы желаем представить их в таком свете: никто ведь не предположит, что все священники похожи на Твакома и все военные—на прапорщика Норсертона.

Нет ничего нелепее заблуждения, широко распространенного среди массы читателей: заимствуя свои взгляды от невежественных сатириков, они воображают, будто мы живем в развращенном веке! Напротив, я убежден, что любовные похождения никогда не были в меньшем почете среди людей высокого звания, чем в настоящее время. Нынешние женщины научены маменьками направлять свои помыслы только на честолюбие и тщеславие и презирать наслаждения любви, как недостойные их внимания; будучи выданы попечением таких маменек замуж, они, собственно, не имеют мужей и, таким образом, на опыте убеждаются в справедливости преподанных им уроков, довольствуясь на весь остаток своей скучной жизни более невинными, но, боюсь, и более ребяческими развлечениями, простое упоминание о которых будет неуместно в этой истории. По моему скромному мнению, наш бомонд характеризуется скорее глупостью, чем пороками; суетный — вот единственный эпитет, которого он заслуживает.

## ГЛАВА II,

*которая содержит письма и еще кое-что, касающееся любовных похождений*

Вскоре по возвращении домой Джонс получил следующее письмо:

«Я была крайне поражена, узнав, что вы ушли. Когда вы оставили комнату, я никак не предполагала, что вы уйдете, не повидавшись со мной. Поведение ваше неподражаемо и убеждает меня, что я должна презирать сердце, способное влюбиться в такую дурочку; впрочем, не знаю, чему в ней больше удивляться: простоте или лукавству,— она блещет обоими этими качествами! Не поняв ни слова из того, что произошло между нами, она все же имела смелость, имела бесстыдство, имела...— как бы это назвать?— заявить мне в глаза, что не знает вас и никогда вас не видела... Неужели между вами был сговор и вы оказались настолько низки, что выдали меня?.. О, как я презираю ее, вас и весь мир, а больше всего себя за... нет, не решаюсь написать слово, которое сведет меня с ума, если попадется когда-нибудь на глаза; помните, однако, что я могу ненавидеть так же пламенно, как и любить».

Джонс едва имел время подумать над содержанием этого письма, как ему принесли другое, писанное той же рукой; приведем и его от слова до слова:

«Если вы примете во внимание, в каком смятении чувств я вам писала, то не будете удивлены выражениями моей первой записки... Подумав, я и сама нахожу, что погорячилась. Надо полагать, что всему причиной этот проклятый театр и бестактность одной дуры, задержавшей меня против моей воли... Как приятно думать хорошо о том, кого любишь!.. Может быть, и вам приятно, чтобы я о вас так думала. Я решила видеть вас сегодня же; приходите немедленно.

P. S. Я приказала не принимать никого, кроме вас.

P. P. S. Мистер Джонс может быть уверен, что я помогу ему оправдаться, ибо едва ли его желание обмануть меня сильнее, чем собственное мое желание обмануться.

P. P. P. S. Приходите сию минуту».

Предоставляю решить людям, опытным в любовных делах, которое из этих двух писем — гневное или ласковое — причинило большее неудовольствие Джонсу. Несомненно только, что он не чувствовал ни малейшей охоты посещать кого бы то ни было в этот вечер, за исключением одной только особы. Но он считал, что его обязывает честь; даже если бы мотив этот оказался недостаточным, Джонс не решился бы распалять гнев леди Белластон, которая вообще отличалась раздражительным характером и в сердцах могла все открыть Софье, между тем как одна мысль об этом повергала его в трепет. В досаде пройдясь несколько раз по комнате, он собирался уже идти на свидание, как вдруг леди любезно его предупредила — не новым письмом, а появлением своей собственной особы. Одежда ее была в большом беспорядке, и на лице изображалось сильнейшее расстройство; она бросилась в кресла и, переведя дух, сказала:

— Видите, сэр, когда женщина зашла слишком далеко, она уже ни перед чем не останавливается. Скажи мне это кто-нибудь неделю назад, я никогда бы не поверила.

— Надеюсь, что очаровательная леди Белластон не поверит также и наговорам на человека, бесконечно признательного за все ее многочисленные одолжения,— отвечал Джонс.

— Признательного за одолжения! Я не ожидала таких холодных слов от мистера Джонса.

— Извините, мой ангел,— продолжал он,— если по получении ваших писем боязнь вашего гнева, не знаю, впрочем, чем вызванного...

— Разве я смотрю так уж сердито? — улыбнулась леди Белластон.— Разве лицо мое пылает гневом?

— Клянусь вам честью, я не сделал ничего, что могло бы навлечь ваш гнев. Ведь вы сами назначили мне свидание, и я пришел, как было условлено...

— Ради бога, не пересказывайте этой мерзкой сцены... Ответьте мне только на один вопрос, и я буду спокойна. Вы не выдали меня ей?

Джонс упал на колени и начал клятвенно заверять, как вдруг Партридж, приплясывая и подпрыгивая, ворвался, шальной от радости, в комнату с криком:

— Нашлась! Нашлась!.. Она здесь, сэр, здесь!.. Миссис Гонора на лестнице!

— Задержи ее минутку,— отвечал Джонс.—Сюда, сударыня; схоронитесь за полог: у меня нет больше ни одного укромного местечка, где бы вас спрятать. Чертовски неприятный случай!

— Чертовски неприятный! — проворчала леди, скрываясь в свое убежище.

В комнату тотчас вошла миссис Гонора.

— Новое дело! Что это значит, мистер Джонс? — разразилась она.— Ваш наглец слуга еле впустил меня. Надеюсь, он задержал меня не по такой же причине, как в Эптоне?.. Что, не ожидали меня увидеть? Вы ведь совсем околдовали мою госпожу. Бедная барышня! Верьте слову, я люблю ее, бедняжку, как родную сестру. Господь вам судья, если вы не будете ей добрым мужем; право, тогда и наказания вам не придумаешь.

Джонс попросил ее говорить шепотом, потому что в соседней комнате лежит при смерти дама.

— Дама! Знаю я ваших дам!.. Ах, мистер Джонс, много их таких на свете! Вот и теперь мы, кажется, попали в дом к такой даме, потому что миледи Белластон, осмелюсь сказать, ничуть не лучше.

— Тс! Тс! — прошептал Джонс.— В соседней комнате слышно каждое слово.

— Ну так что ж, что слышно? — шумела Гонора.— Я ни на кого не клевещу: верьте слову, все слуги без стеснения рассказывают, как ее светлость ходит на свидания с мужчинами в другой дом; хозяйкой его считается, правда, одна бедная женщина, а только платит за все ее светлость; да вдобавок, говорят, и подарочков немало перепадает от нее хозяйке.

Тут Джонс, выразив величайшее недовольство, попытался зажать ей рот.

— Экий вы, право, мистер Джонс! Отчего мне не говорить? Ведь я не клевещу ни на кого, а только повторяю то, что слышала от других... По-моему, что толку для барыни в ее богатствах, если

она употребляет их на такое дурное дело. Уж лучше быть бедным, да честным.

— Слуги — мерзавцы,— сказал Джонс,— и возводят на леди напраслину.

— Ну да, понятно, слуги всегда мерзавцы; так говорит и моя барышня и слышать ничего не хочет.

— Да, я убежден, что моя Софья никогда не станет слушать такую грязную клевету.

— Помилуйте, какая же это клевета? — не унималась Гонора.— Ну зачем ей встречаться с мужчинами в другом доме?.. Уж верно, не для хороших дел; ведь если бы она желала, чтобы за ней ухаживали честно, так ведь всякая дама может принимать у себя кого ей угодно; какой же тогда смысл...

— Я решительно заявляю, что не желаю слышать такие вещи о благородной даме, родственнице Софьи; кроме того, вы беспокоите больную в соседней комнате... Сойдемте, пожалуйста, вниз.

— Что ж, сэр, если вам угодно, так я кончила... Вот вам письмо от моей барышни, сэр... А ведь дорого бы иные дали, чтобы получить такое письмо. Да вы, мистер Джонс, видно, не очень-то тороваты. А все-таки другие слуги говорили мне... Но не станете ж вы отрицать, что я и цвета ваших денег никогда не видала?

Джонс поспешно схватил письмо и сунул ей в руку пять монет.

Затем, шепнув, чтобы она передала тысячу благодарностей Софье, попросил ее уйти и дать ему прочитать письмо. Гонора тотчас же удалилась, усердно поблагодарив за щедрость.

Тут леди Белластон вышла из-за полога. Как описать ее ярость? Сначала она не могла выговорить ни слова; только глаза метали потоки пламени, бушевавшего в ее груди. Обретя наконец способность речи, она, вместо того чтобы разразиться гневом на Гонору или на своих слуг, напала на беднягу Джонса:

— Видите, чем я для вас пожертвовала: мое доброе имя, честь моя погибли навеки! А чем вы мне отплатили? Пренебрежением, глумлением, променяли меня на деревенскую девчонку, на дурочку!

— О каком пренебрежении, о каком глумлении говорите вы? — удивился Джонс.

— Не прикидывайтесь простачком, мистер Джонс. Если вы желаете меня успокоить, вы должны совершенно отказаться от нее, а в доказательство вашей искренности извольте показать мне письмо.

— Какое письмо, сударыня?

— Вы еще смеете отрицать, что получили письмо из рук этой негодяйки?

— Неужели, сударыня, вы потребуете от меня вещи, для исполнения которой я прежде должен пожертвовать честью? Разве я давал когда-нибудь вашей милости повод для таких предположений? Если я выдам вам эту невинную девушку, то какая порука, что я не поступлю точно таким же образом и с вами? Минутное размышление, я уверен, убедит вас, что мужчина, не умеющий хранить тайн женщины,— презреннейший негодяй.

— Хорошо,— сказала леди,—я не требую,чтобы вы сделались презренным негодяем в своих собственных глазах, тем более что содержание этого письма мне заранее известно. Я прекрасно вижу, в каких вы с ней отношениях.

Последовал длинный, но не слишком любопытный разговор, и читатель будет только благодарен мне за то, что я не передаю его во всех подробностях. Довольно будет сказать, что леди Белластон понемногу укротила свой гнев и, наконец, поверила или притворилась поверившей клятвам Джонса, что его сегодняшняя встреча с Софьей произошла чисто случайно; да и все прочее, о чем уже известно читателю, Джонс представил ей в таком благоприятном свете, что у леди не было больше никаких причин на него сердиться.

Впрочем, в душе она не совсем удовлетворилась доводами, которыми Джонс оправдал свой отказ отдать ей письмо: мы глухи к самым ясным доводам рассудка, когда они противоречат овладевшей нами страсти. Леди Белластон была твердо убеждена, что Софья занимает первое место в сердце нашего героя; но, как ни была она надменна и влюблена, в конце концов ей пришлось примириться со вторым местом, или, выражаясь юридически, она удовольствовалась обладанием того, что на правах собственности принадлежало другой женщине.

На прощанье было условлено, чтобы впредь Джонс навещал леди в ее доме: Софья, ее горничная и прочие слуги будут думать, что эти посещения делаются ради Софьи, а сама она будет почитаться обманутой.

План этот был придуман леди и пришелся очень по вкусу Джонсу, радовавшемуся всякой возможности увидеться со своей Софьей; а сама леди с удовольствием думала о том, как он будет обманывать Софью, потому что в своих же интересах едва ли решится открыть ей правду.

Первый визит был назначен на следующий день, и леди Белластон, церемонно попрощавшись, вернулась домой.

## ГЛАВА III,

*содержащая разнообразные материи*

Оставшись один, Джонс с жадностью вскрыл письмо и прочел следующее:

«Сэр, невозможно выразить словами, что я вытерпела после того, как вы отсюда ушли; и так как у меня есть причины думать, что вы собираетесь зайти снова, то, несмотря на позднее время, я решаюсь послать к вам Гонору с этим письмом,— она говорит, что знает, где вы живете. Заклинаю вас, из уважения ко мне не смейте и думать об этом: вас непременно узнают; судя по некоторым словам, вырвавшимся у ее светлости, боюсь даже, что она уже и теперь догадывается, кто вы такой. Будем терпеливо ждать более благоприятного случая; но еще раз умоляю вас: если вы хоть немного дорожите моим спокойствием, не помышляйте о возвращении в этот дом».

Письмо это дало бедному Джонсу приблизительно такое же утешение, какое некогда Иов получил от своих друзей. Не только рушились все лелеянные им надежды на встречу с Софьей, но он еще оказался перед трудной задачей: как ему быть с леди Белластон; ведь существуют известные обязательства, нарушение которых,— он это прекрасно знал,— не допускает никаких оправданий; с другой стороны, после строгого запрещения Софьи никакая сила на свете не могла бы заставить его пойти на свидание. Наконец, после долгих размышлений, заменивших ему в эту ночь сон, он решил сказаться больным: это представлялось единственным средством уклониться от условленного свидания, не рассердив леди Белластон, чего он по многим причинам желал избежать.

Первой его заботой поутру было написать письмо Софье, которое он вложил в другое письмо, адресованное Гоноре. Потом он известил леди Белластон о своей болезни и скоро получил от нее следующий ответ:

«Мне ужасно досадно, что я не могу видеть вас сегодня у себя, но еще более беспокоит меня ваша болезнь. Пригласите хорошего врача; надеюсь, что все обойдется благополучно. Мне до такой степени докучают сегодня разные глупцы, что я едва улучила минуту написать вам. Прощайте.

P. S. Постараюсь навестить вас сегодня вечером, в девять часов. Устройте так, чтобы никто нам не помешал».

Тут к мистеру Джонсу явилась миссис Миллер и, сухо поздоровавшись, обратилась к нему со следующими словами:

— Мне очень грустно, сэр, являться к вам по такому неприятному поводу, но, надеюсь, вы сами поймете, как гибельно это отразится на репутации моих дочерей, если дом мой приобретет дурную славу. Надеюсь поэтому, вы не сочтете с моей стороны дерзостью, если я попрошу вас не принимать у себя ночью дам. Часы уже пробили два, когда ушла последняя из них.

— Уверяю вас, сударыня,— отвечал Джонс,— что дама, заходившая ко мне прошлой ночью и остававшаяся дольше (другая только занесла мне письмо), принадлежит к самому высшему обществу и моя близкая родственница.

— Не знаю, из какого она общества,— продолжала миссис Миллер,— но я уверена, что никакая порядочная женщина, разве только самая близкая родственница, не придет в гости к молодому человеку в десять часов вечера и не проведет с ним четыре часа сряду. Кроме того, сэр, поведение ее носильщиков ясно показывает, кто она такая: целый вечер они только и делали, что отпускали шуточки в прихожей и спрашивали у мистера Партриджа при моей горничной, уж не собирается ли мадам провести с его господином всю ночь; говорили еще много гадостей, таких, что и повторять неприлично. Я искренне вас уважаю, мистер Джонс, и даже много вам обязана за щедрую помощь моему родственнику. Только недавно я узнала, как великодушно вы с ним поступили. Я и не воображала, на какой ужасный путь толкнула несчастного нужда. Когда вы дали мне десять гиней, я не знала, что вы даете их разбойнику! Боже мой, сколько в вас доброты! Вы прямо спасли это семейство!.. Я вижу, что отзывы о вас мистера Олверти были совершенно справедливы... Если бы даже я ничем не была вам обязана, зато ему я столько обязана, что ради него оказала бы вам величайшее уважение... Поверьте, дорогой мистер Джонс, даже если бы это не касалось репутации моих дочерей и моей собственной, я бы из одного участия к вам пожалела, что такой славный молодой человек водится с подобными женщинами. Но если вы намерены принимать их у себя, то я должна просить вас поискать себе другую квартиру, потому что не могу допустить, чтобы такие вещи происходили под моей крышей: ведь у дочерей моих нет за душой ничего, кроме их доброго имени.

При имени Олверти Джонс вздрогнул и изменился в лице.

— Право, миссис Миллер,— отвечал он не без запальчивости,—это не совсем основательное требование. У меня нет ни малейшего желания бесчестить ваш дом, но я считаю себя вправе принимать у себя в комнате кого мне вздумается; если это вас

оскорбляет. я, конечно, постараюсь как можно скорее подыскать себе другую квартиру.

— В таком случае мне очень прискорбно, сэр, что мы должны расстаться,— сказала миссис Миллер,—но я убеждена, что даже мистер Олверти не переступит за мой порог, если у него будет малейшее подозрение насчет репутации моего дома.

— Прекрасно, сударыня,— проговорил Джонс.

— Надеюсь, сэр, вы на меня не сердитесь? Я бы ни за что на свете не хотела обидеть человека, близкого мистеру Олверти. Из-за этого я всю ночь не смыкала глаз.

— Очень жалею, что нарушил ваш покой, сударыня,—сказал Джонс.— Сделайте одолжение, пошлите мне сейчас Партриджа.

Миссис Миллер обещала исполнить его просьбу и с низким поклоном удалилась.

Не успел Партридж войти, как Джонс яростно на него накинулся:

— Сколько мне еще терпеть от твоей глупости или, вернее, от моей собственной, что я держу тебя? Ты, видно, решил вконец погубить меня своим проклятым языком?

— Что такое я сделал? — спросил испуганный Партридж.

— Кто тебе позволил рассказывать историю с грабежом и говорить, что грабитель — тот самый человек, которого ты здесь видел?

— Помилуйте, сэр!

— Уж не думаешь ли ты запираться?

— Если я и обмолвился об этом,— отвечал Партридж,— так, поверьте, без дурного умысла; я и рта бы не открыл, не будь мои слушатели его друзьями и родственниками, которые, думал я, не станут разглашать этого дальше.

— Это не все: я должен предъявить тебе и более тяжелое обвинение,— продолжал Джонс.— Как смел ты, вопреки моему запрещению, произнести имя мистера Олверти в этом доме?

Партридж поклялся, что он никогда этого не делал.

— Откуда же тогда миссис Миллер могла узнать о моих отношениях к нему? А только сию минуту она сказала мне, что уважает меня ради него.

— Ах, боже мой! — воскликнул Партридж.— Пожалуйста, выслушайте меня, сэр... ведь это прямо несчастье. Выслушайте меня только, и вы увидите, как несправедливо ваше обвинение. Выйдя вчера от вас, миссис Гонора встретилась со мной в прихожей и спросила, давно ли вы получали известия от мистера Олверти; это услышала миссис Миллер и, как только миссис Гонора ушла, позвала меня к себе. «Мистер Партридж, говорит, о каком это мистере Олверти упоминала эта дама? Не о знаменитом ли мистере

Олверти из Сомерсетшира?» — «Честное слово, сударыня,— говорю я,— я ничего не знаю».— «И ваш господин уж не тот ли мистер Джонс, о котором я слышала от мистера Олверти?» — «Честное слово, сударыня, говорю, я ничего не знаю».— «Ну да,— говорит, обращаясь к дочери своей Нанси,— бьюсь об заклад, что это тот самый молодой джентльмен, и он точь-в-точь походит на описание сквайра». Господь ее знает, кто это ей сказал. Считайте меня отъявленнейшим негодяем на свете, если я проронил хоть слово об этом. Клянусь вам, сэр, я умею держать язык за зубами, когда захочу. Нет, сэр, я не только не говорил ей ни слова о мистере Олверти, но сказал прямо обратное: сначала я, правда, ей не возражал, а потом пораскинул умом — раскинуть умом всегда хорошо,— да и думаю себе: кто-нибудь сказал же ей это; дай-ка покончу все дело разом; и вот, немного погодя, воротился я к ней и говорю: «Ей-богу, говорю, если кто сказал вам, что этот джентльмен мистер Джонс, то есть, говорю, что этот мистер Джонс — тот мистер Джонс,— так это бесстыднейшая ложь, и прошу вас, говорю, никогда об этом не говорить, потому что мой господин, говорю, подумает, что это я вам сказал, а пусть-ка хоть кто-нибудь в доме скажет, будто я говорил это когда-нибудь!» Право, сэр, тут какие-то чудеса; я все думал и никак не мог додуматься: откуда это ей стало известно? Разве что вот старуха виновата, которая намедни просила милостыню у ворот: точь-в-точь как та ведьма, что наделала нам столько хлопот в Ворвикшире. Да, нехорошо, нехорошо проходить мимо таких старух, не подав им, особенно когда они на вас смотрят. Никто на свете не разубедит меня, что они не могут наделать бед. Теперь каждый раз, как увижу старуху, непременно говорю про себя: «Infandum, regina, jubes renovare dolorem».

Простота Партриджа сильно насмешила Джонса и положила конец его гневу, который вообще редко бывал продолжительным. Не делая никаких замечаний по поводу его оригинального способа оправдываться, он сказал только, что намерен немедленно выехать отсюда, и велел ему идти искать другую квартиру.

## ГЛАВА IV,

*которую, мы надеемся, с большим вниманием прочтут молодые люди обоего пола*

Только что Партридж покинул мистера Джонса, как к нашему герою вошел мистер Найтингейл, уже успевший с ним сдружиться, и, поздоровавшись, сказал:

— Я слышал, Том, сегодня ночью у вас были гости. Честное

слово, вам здорово везет: всего две недели в Лондоне, а у дверей уже портшезы стоят до двух часов утра!

И он продолжал подшучивать на тот же лад, пока наконец Джонс не прервал его, сказав:

— Должно быть, вы узнали обо всем этом от миссис Миллер; она только что была у меня и просила оставить ее дом. Почтеннейшая хозяйка боится за репутацию дочерей.

— О, на этот счет она ужасно щепетильна,— сказал Найтингейл,— помните, она не захотела отпустить Нанси с нами в маскарад.

— Что ж, я думаю, она права,— отвечал Джонс.— Во всяком случае, я не стал ей возражать и послал Партриджа искать другую квартиру.

— Если хотите, мы можем опять поселиться вместе,—предложил Найтингейл,— потому что, сказать вам по секрету,— и вы, пожалуйста, никому не проговоритесь,— я сам собираюсь сегодня съехать отсюда.

— Как, миссис Миллер отказала и вам, мой друг?

— Нет,— отвечал Найтингейл,— просто квартира здесь для меня не подходящая. Кроме того, мне надоела эта часть города. Хочу быть поближе к развлечениям и потому решил переселиться на Пэл-Мэл.

— И вы хотите переселиться тайком? — спросил Джонс.

— О, я не собираюсь увильнуть от уплаты за квартиру, но имею тайные причины не прощаться формально.

— Ну, не очень тайные,— сказал Джонс.— Уверяю вас, я все подметил уже на второй день своего пребывания здесь. Ваш отъезд будет стоить кое-кому горьких слез. Бедняжка Нанси, мне от души жаль ее! Вы одурачили эту девушку, Джек: привили ей болезнь, от которой, боюсь, ее ничем не вылечишь.

— Что же мне теперь делать, по-вашему, черт возьми? Жениться на ней, чтобы ее вылечить?

— Нет,— отвечал Джонс,— по-моему, вам не следовало за ней ухаживать, как вы это частенько делали на моих глазах. Удивляюсь только слепоте мамаши, которая ничего не замечает.

— Не замечает! Да что же ей замечать-то?

— А то, что вы совсем вскружили голову ее дочери. Бедная девушка совершенно не может этого скрыть: глаз с вас не сводит и краснеет всякий раз, как вы войдете в комнату. Право, мне от души ее жаль; это, кажется, добрейшее и простодушнейшее создание на свете.

— Так по вашей теории,— отвечал Найтингейл,— нельзя позволить себе обыкновенного ухаживания за женщиной, из страха, что она в вас влюбится?

— Право, Джек, вы нарочно не желаете понять меня. Я вовсе не считаю женщин настолько влюбчивыми, но вы далеко переступили границы обыкновенного ухаживания.

— Неужели вы предполагаете, что я делил с ней ложе? — обиделся Найтингейл.

— Нет, честное слово, таких дурных предположений у меня нет, — серьезно отвечал Джонс.— Больше того: я не думаю, чтобы вы умышленно стремились разрушить покой этого беззащитного создания или даже предвидели все последствия,— вы ведь, я знаю, добрый и неспособный к такой жестокости человек, но при всем том вы тешили свое тщеславие, не обращая внимания, что в жертву ему приносится молодая девушка; и между тем как для вас это было только приятное заполнение часов досуга, вы внушили ей надежду, что намерения ваши совершенно серьезны. Скажите чистосердечно, Джек: с какой целью вы так красиво и заманчиво расписывали счастье, проистекающее из горячего взаимного чувства, и с таким жаром говорили о великодушной и бескорыстной любви? Неужели вам не приходило в голову, что она может применить все это к себе? Или, признайтесь откровенно, вы, может быть, этого и желали?

— Ей-богу, Том, я не подозревал в тебе таких способностей. Из тебя вышел бы превосходный священник. Значит, ты отказался бы разделить ложе с Нанси, если бы она тебе позволила?

— Разумеется! — с живостью проговорил Джонс.— Будь я проклят, если бы согласился.

— Том, Том! — рассмеялся Найтингейл.— А эта ночь? Вспомни прошедшую ночь,

Когда уснули все и лишь луна
Да звезды лили свет с немым укором...

— Послушайте, мистер Найтингейл, мне противно всякое ханжество и лицемерие, и я не хочу прикидываться более целомудренным, чем мои ближние. Я грешил с женщинами, это правда, но не помню, чтобы которую-нибудь из них когда обидел... И я ни за что не решился бы ради собственного удовольствия разбить чью-нибудь жизнь.

— Прекрасно, я вам верю,— отвечал Найтингейл,— но полагаю, что и меня вы не обвиняете в подобных вещах.

— Я искренне убежден, что вы неповинны в совращении этой девушки, но вы похитили ее сердце.

— Если так, то мне это очень прискорбно; однако время и разлука скоро изгладят эти впечатления. В этом лекарстве нуждаюсь и я, потому что, признаться вам откровенно, никогда еще ни одна девушка мне и вполовину так не нравилась. Но я

открою вам все, Том. Отец выбрал мне в невесты женщину, которой я никогда не видел; на днях она приезжает в Лондон, и я должен буду явиться к ней с предложением.

При этих словах Джонс громко расхохотался.

— Пожалуйста, не смейтесь надо мной,— обиженно проговорил Найтингейл.— Я и так сам не свой от всей этой истории. Бедняжка Нанси! Ах, Джонс, Джонс, если бы я мог распоряжаться своим состоянием!

— От души вам этого желаю,— отвечал Джонс,— и искренне жалею вас обоих, если дело обстоит так, как вы говорите. Однако не собираетесь же вы уехать, не простившись с Нанси?

— И за десять тысяч фунтов не хотелось бы мне подвергаться мучительной сцене прощания,— сказал Найтингейл,— к тому же я убежден, что ничего хорошего из этого не выйдет и бедняжка Нанси только еще пуще расстроится. Так, пожалуйста, не говорите об этом сегодня ни слова, а вечером или завтра утром я отсюда уеду.

Джонс обещал молчать; немного подумав, он сказал, что раз Найтингейл твердо решился и вынужден обстоятельствами покинуть Нанси, так, пожалуй, его способ действия самый благоразумный. Джонс прибавил, что с удовольствием поселится с ним в одном доме, и они условились, что Найтингейл предоставит ему первый или третий этаж, потому что сам собирался занять второй.

Этот Найтингейл, о котором нам вскоре придется говорить подробнее, отличался в обыкновенных житейских делах большим благородством и, что встречается между столичной молодежью еще реже, безукоризненной честностью; однако в делах любовных нравственность его сильно хромала; не то чтобы он был человеком совсем без правил, какими являются, а чаще прикидываются иные господа, но он допускал с женщинами вероломство, не имеющее никакого оправдания, и в тайнодействии, именуемом любовью, прибегал к плутням, за которые, проделай он их в торговле, его объявили бы первейшим мошенником на свете.

Но так как люди, не понимаю хорошенько — почему, обыкновенно смотрят на такие проделки сквозь пальцы, то Найтингейл не только не стыдился своего криводушия, но даже гордился им и частенько хвастал своим уменьем пленять женщин и покорять их сердца, за что уже и раньше получал упреки от Джонса, всегда сурово осуждавшего всякую непорядочность в обращении с прекрасным полом. Ведь если считать женщин, говорил он, как они того заслуживают, нашими милыми друзьями, то их должно чтить, холить и лелеять с величайшей любовью и нежностью; а если смотреть на них как на врагов — так мужчина должен скорее стыдиться победы над ними, чем гордиться ею.

## ГЛАВА V

*Краткая биография миссис Миллер*

Джонс пообедал в тот день очень плотно для больного, а именно: скушал добрую половину бараньей лопатки. После обеда он получил приглашение от миссис Миллер на чашку чаю. Эта почтенная женщина, узнав от Партриджа, а может быть, каким-нибудь другим естественным или сверхъестественным способом, о близости Джонса к мистеру Олверти, не могла примириться с мыслью, что расстается с ним недружелюбно.

Джонс принял ее приглашение. Когда со стола было убрано и девушки под каким-то предлогом удалены из комнаты, вдова без долгих предисловий начала так:

— Поразительные вещи случаются на свете! Но уж чего удивительнее то, что у меня в доме живет родственник мистера Олверти, а я ничего об этом не знаю. Ах, вы и представить себе не можете, сэр, сколько добра сделал мне и моей семье этот превосходный человек! Да, сэр, я не стыжусь в этом сознаться: только благодаря его доброте нужда давно не свела меня в могилу и мои две бедные малютки, голодные, беспомощные, одинокие сиротки, не были брошены на произвол жестокой судьбы.

Надо вам сказать, сэр, что хоть я теперь и принуждена добывать пропитание сдачей внаем комнат, но родилась и была воспитана в благородной семье. Отец мой был офицер и умер в значительном чине; но он жил на жалованье, и так как после его смерти оно прекратилось, то все мы остались нищими. Нас было три сестры. Одной посчастливилось умереть от оспы. Другую любезно взяла к себе в горничные одна дама — из сострадания, как она говорила. Мать этой дамы была служанкой у моей бабушки, а потом, получив в наследство от отца крупное состояние, накопленное ростовщичеством, вышла замуж за богатого и знатного джентльмена. Она обращалась с сестрой так грубо, коря ее происхождением и бедностью и называя в насмешку барыней, что, мне кажется, подорвала наконец силы бедной девушки. Словом, и эта сестра умерла через год после смерти отца. Судьба обошлась со мной милостивее: через месяц после его кончины я вышла замуж за священника, который давно уже за мной ухаживал и тем снискал себе неприязнь покойного отца: отец хоть не оставил нам ни шиллинга, но воспитывал нас по-барски, смотрел на нас так, внушая и нам самим взгляд, словно мы были богатейшими невестами на свете. Дорогой супруг мой забыл, однако, это дурное обращение и, когда мы остались сиротами, тотчас возобновил свое ухаживание, и так настойчиво, что я, всегда его любившая и уважавшая,

скоро согласилась стать его женой. Пять лет прожила я в полном счастье с этим превосходнейшим человеком, пока... о, жестокая, жестокая судьба, навсегда разлучившая нас, отнявшая у меня заботливейшего мужа, а у бедных девочек нежнейшего отца!.. Бедняжки, они не в состоянии понять, какого сокровища лишились!.. Мне стыдно, мистер Джонс, за свою женскую слабость, но я не могу говорить о нем без слез.

— Скорее мне должно быть стыдно, сударыня, что я не заплакал,— сказал Джонс.

— Итак, сэр,— продолжала миссис Миллер,— второй раз оказалась я в положении еще более бедственном, чем раньше: не говоря уж о постигшем меня ужасном горе, я должна была еще прокормить двух детей и осталась, что называется, без гроша за душой. Но тут мистер Олверти, этот превосходный, добрый, великодушный человек, немного знавший моего мужа, случайно услышал о моем несчастье и тотчас же написал мне письмо. Вот оно, сэр; я положила его в карман, чтобы показать вам. Вот оно, вот оно. Я хочу и должна прочесть его вам.

«Сударыня!

Всей душой соболезную вам по случаю постигшей вас тяжелой утраты; собственное ваше благоразумие и превосходные наставления, преподанные вам достойнейшим вашим супругом, помогут вам перенести ее лучше всяких советов, какие только я способен вам дать. И я нисколько не сомневаюсь, что, будучи, как я слышал, нежнейшей матерью, вы не дадите скорби до такой степени овладеть вами, чтобы позабыть о своих обязанностях по отношению к бедным малюткам, которые именно теперь нуждаются в вашем попечении.

Однако в настоящую минуту вам, вероятно, не до житейских забот, и потому вы простите, что я поручил одному лицу посетить вас и передать двадцать гиней, которые прошу вас принять в ожидании, когда буду иметь удовольствие увидеть вас. Верьте, сударыня, и т. д.».

Письмо это, сэр, я получила через две недели после того, как понесла невознаградимую утрату, о которой я вам сказала. Еще через две недели мистер Олверти — да благословит его господь! — сам навестил меня, дал мне средства нанять и обставить этот дом и назначил мне ежегодный пенсион в пятьдесят фунтов, который я регулярно получаю с тех пор. Судите же, мистер Джонс, как велико должно быть мое уважение к этому человеку: ведь ему обязана я спасением собственной жизни и жизни дорогих детей моих, ради которых я только и дорожу земным своим существо-

ванием. Не сочтите поэтому дерзостью, мистер Джонс (я не могу не уважать человека, которого, я знаю, так высоко ставит мистер Олверти), мою просьбу к вам не иметь дела с этими дурными женщинами. Вы еще молоды и не знаете всего их коварства. Не гневайтесь на меня, сэр, и за то, что я сказала насчет репутации моего дома: вы сами понимаете, насколько гибельно это отразилось бы на судьбе моих бедных девочек. Кроме того, сэр, вам должно быть хорошо известно, что и мистер Олверти никогда не простил бы мне потакания подобным вещам, особенно когда дело касается вас.

— Честное слово, сударыня, все эти оправдания излишни,— отвечал Джонс,— и я не нахожу ничего обидного в том, что вы сказали. Однако из уважения, которым я проникнут к мистеру Олверти больше, чем кто бы то ни было, позвольте мне рассеять одно ваше заблуждение, может быть, не совсем выгодное для его чести: уверяю вас, я не родственник этого джентльмена.

— Знаю, сэр, очень хорошо знаю, кто вы такой: мистер Олверти мне все рассказал; но, уверяю вас, будь вы двадцать раз его сыном, он не мог бы говорить о вас с бóльшим уважением. Вам нечего стыдиться вашего происхождения, сэр; поверьте, что ни один порядочный человек не откажет вам за это в своем уважении. Нет, мистер Джонс, слова «позорное происхождение» — нелепость, как говаривал мой незабвенный муж; слово «позор» в таких случаях если и применимо, то только по отношению к родителям: позор не может пасть на детей за действия, в которых они совершенно неповинны.

Джонс глубоко вздохнул и сказал:

— Вижу, сударыня, что вы действительно меня знаете и что мистеру Олверти угодно было назвать вам мое имя; а за то, что вы были со мной так откровенны, я хочу рассказать вам подробнее о своем собственном положении.

Миссис Миллер приготовилась слушать с самым горячим интересом, и Джонс рассказал ей всю свою историю, ни разу не упомянув имени Софьи.

В честных душах живет своего рода симпатия, благодаря которой они легко друг другу верят. Рассказ Джонса не возбудил в миссис Миллер никаких сомнений, и она выслушала его с самым глубоким участием. Впрочем, Джонс не дал ей высказаться по этому поводу: приближался час свидания с леди Белластон, и он попросил разрешения сегодня вечером принять у себя гостью, обещая, что это свидание будет последним, клятвенно уверяя, что его знакомая принадлежит к самому лучшему обществу и что встреча их будет самая невинная. Я искренне думаю, что у него было твердое намерение сдержать свое слово.

Миссис Миллер наконец согласилась, и Джонс ушел в свою комнату, где пробыл в одиночестве до двенадцати часов. Но леди Белластон не явилась.

Так как мы сказали, что эта леди чувствовала большое расположение к Джонсу, и, по всей видимости, так оно и было, то читатель, пожалуй, удивится, почему она не пришла на свидание именно теперь, когда считала его больным, то есть когда посещение друзей кажется особенно приятным. Иные, может быть, осудят поведение леди, найдя ее бессердечной; но это не наша вина: наше дело рассказывать правду.

## ГЛАВА VI,

*содержащая сцену, которая, мы не сомневаемся, растрогает всех наших читателей*

Мистер Джонс не смыкал глаз всю первую половину ночи. Происходило это не оттого, что его тревожила неаккуратность леди Белластон; сон его разогнала и не Софья, хотя в большинстве случаев именно она была причиной его бессонницы, нет. Бедняга Джонс был добрейшей души человек и в полной мере обладал слабостью, называемой состраданием и лишающей такие несовершенные характеры благородной душевной твердости, которая как бы замыкает человека в себе и позволяет ему катиться по свету полированным шаром, не цепляясь ни за чье чужое горе; он не мог поэтому не исполниться сожаления к участи бедной Нанси, любовь которой к мистеру Найтингейлу была для него столь очевидна, что он поражался слепоте матери, не раз в течение вчерашнего вечера обращавшей внимание на большую перемену в дочери: «Уж на что была живая и веселая девушка, и вдруг сделалась воплощеньем печали и уныния».

Напоследок, однако же, сон одолел всякое сопротивление и, точно и вправду он был божеством, как воображали его древние, да вдобавок божеством оскорбленным, пожелал, видно, всласть насытиться дорого купленной победой. Говоря попросту, без метафор, мистер Джонс проспал до одиннадцати часов утра и продолжал бы, может быть, покоиться в объятиях Морфея и дольше, если бы его не разбудил сильный шум.

Он кликнул Партриджа, и тот на вопрос, что случилось, отвечал, что внизу бушует настоящий ураган, что мисс Нанси в обмороке и что сестра и мать плачут и голосят над ней. Джонс чрезвычайно встревожился при этом известии, но Партридж принялся его успокаивать, сказав с улыбкой, что молодая леди,

по-видимому, вне опасности: Сусанна (так звали служанку) дала ему понять, что дело самое обыкновенное.

— Короче говоря, мисс Нанси пожелала быть умней маменьки — вот и все; она немножко проголодалась и села за стол, не дожидаясь, когда прочтут молитву: вот в воспитательном доме и будет одним младенцем больше.

— Ах, оставь, пожалуйста, свои глупые шутки,— оборвал его Джонс.— Разве прилично смеяться над горем этих несчастных? Ступай сейчас же к миссис Миллер и скажи, что я прошу позволения... Нет, постой, ты опять чего-нибудь наврешь; я пойду сам: она приглашала меня к завтраку.

С этими словами он встал и начал поспешно одеваться, а Партридж, несмотря на его строгие замечания, не мог удержаться от некоторых грубых выпадов по поводу случившегося, называемых обыкновенно шуточками. Наскоро одевшись, Джонс сбежал вниз и постучал в дверь; служанка тотчас ввела его в гостиную, где не было ни души и не замечалось никаких приготовлений к завтраку. Миссис Миллер с дочерьми находилась в следующей комнате, откуда служанка вскоре возвратилась с поручением передать мистеру Джонсу, что хозяйка просит извинить ее за непорядок, но произошел непредвиденный случай, который не позволяет ей сегодня позавтракать в его приятном обществе; она просит также извинить ее, что не известила его об этом заранее. Джонс попросил передать, «чтобы она совершенно не беспокоилась о таком пустяке, как завтрак, и что он выражает искреннее сожаление по поводу случившегося и спрашивает, не может ли он быть ей чем-нибудь полезен: он весь к ее услугам».

Не успел он произнести эти слова, как миссис Миллер, все слышавшая, вдруг отворила дверь и, выйдя к нему вся в слезах, сказала:

— Ах, мистер Джонс, вы подлинно превосходной души человек! Приношу вам тысячу благодарностей за ваше любезное предложение, но, увы, сэр, вы не в силах спасти мою бедную девочку... О, дочь моя! Дочь моя! Она погибла, она навсегда обесчещена!

— Надеюсь, сударыня, что негодяй не...

— Ах, мистер Джонс! Негодяй, уехавший вчера из моего дома, обманул мою бедную дочь, погубил ее... Я знаю, вы человек благородный. У вас доброе, великодушное сердце, мистер Джонс. Об этом свидетельствуют поступки, которые я видела собственными глазами. Я расскажу вам все; да и невозможно более хранить тайну. Этот негодяй, этот мерзавец Найтингейл сгубил мою дочь. Она... она... ах, мистер Джонс, дочь моя от

него беременна. И в этом положении он ее покинул! Вот вам, сэр, его жестокое письмо; прочтите, мистер Джонс, и скажите, есть ли еще на свете подобное чудовище.

Письмо было следующее:

«Дражайшая Нанси!

Не имея сил говорить с вами о деле, которое, боюсь, потрясет вас не меньше, чем оно потрясло меня, пользуюсь этим способом известить вас, что отец мой требует от меня немедленно сделать предложение богатой молодой даме, выбранной им мне в...— нет надобности писать ненавистное слово. Ваш здравый смысл скажет вам, сколь беспрекословно обязан я повиноваться приказанию, которое навсегда исторгнет меня из ваших нежных объятий. Матушка сердечно вас любит, и это даст вам мужество открыть ей несчастные последствия любви нашей; схоронить их от света будет нетрудно; я сам об этом позабочусь, как позабочусь и о вас. О, если бы миновали вас мучения, испытанные при этом случае мной! Призовите же на помощь все ваше мужество,— простите и забудьте человека, которого только угроза верной гибели могла заставить написать вам эти строки. Итак, забудьте меня, забудьте во мне любовника; преданного же друга вы всегда найдете в верном вам несчастливце

*Д. Н.*».

После того как Джонс прочитал письмо, оба с минуту стояли молча, глядя друг на друга. Наконец Джонс проговорил:

— Не могу вам выразить, сударыня, как возмущен я прочитанным. Однако в одном, мне кажется, вы должны послушаться совета автора письма: спасти честь вашей дочери.

— Ах, мистер Джонс, честь ее потеряна безвозвратно, как и ее невинность! — воскликнула миссис Миллер.— Она получила письмо в переполненной комнате и, вскрыв его, тотчас же упала без чувств; понятно, что при таких обстоятельствах содержание его тотчас же сделалось известно всем присутствующим. Но, как ни ужасно потерять честь, еще ужаснее то, что я потеряю дочь: уже дважды она пыталась наложить на себя руки; правда, ее удалось удержать, но она клялась, что не переживет своего позора. А я не переживу ее смерти... Что же тогда станется с моей маленькой Бетси, беззащитной сироткой? Бедная девочка уже и теперь убивается, глядя на меня и на сестру, хоть и не понимает причины нашего горя. Ах, какая она умненькая и добрая! Этот жестокий, бесчеловечный... погубил нас всех. Бедные мои дети! Так вот какова награда за все мои заботы! Вот каковы плоды моих попечений! Для того ли я радостно исполняла все тяжелые обязан-

ности матери, для того ли лелеяла дочерей и заботилась об их воспитании, для того ли трудилась столько лет, отказывая себе в самом необходимом, лишь бы припасти им кусок хлеба,— чтобы теперь потерять их так жестоко?

— От души вас жалею, сударыня,— сказал Джонс со слезами на глазах.

— Ах, мистер Джонс,— продолжала она,— даже и вы, при всей доброте вашего сердца, не можете понять, что я чувствую. Такая ласковая, такая добрая, такая послушная! Бедняжка Нанси, сокровище мое, радость моя, гордость моя! Я слишком ею гордилась: мои глупые честолюбивые надежды, внушенные ее красотой, и были причиной ее гибели. Мне было приятно видеть, что она нравится этому юноше. Я думала, что он любит ее честно, и тешила свое глупое тщеславие мечтами о том, что она будет женой джентльмена. Тысячу раз при мне и нередко даже при вас поддерживал он эти надежды красивыми словами о бескорыстной любви, с которыми всегда обращался к бедной моей девочке и которым она, подобно мне, слепо верила. Могла ли я думать, что то были лишь сети для завлечения простодушной Нанси? Могла ли я думать, что они приведут всех нас к гибели?

В эту минуту в комнату вбежала Бетси с криком:

— Мамочка, ради бога, поспеши к сестрице: она опять в обмороке, и кузина с ней не справится.

Миссис Миллер поспешила на помощь, но велела Бетси остаться с мистером Джонсом и попросила его занять девочку несколько минут, патетически воскликнув:

— Господи, дай мне спасти, по крайней мере, одну мою дочь!

Исполняя ее просьбу, Джонс всеми силами старался утешить девочку, хотя сам был взволнован несчастьем, которое стряслось над семейством миссис Миллер. Он сказал Бетси, что сестра ее скоро оправится и что она не должна плакать, потому что огорчит мать, да и сестру расстроит еще больше.

— Право, сэр,— отвечала она,— я ни за что на свете не хочу их огорчать. Я что угодно вытерплю, только бы они не видели моих слез... Только сестрица и не может теперь их увидеть... Боюсь, она никогда их больше не увидит. Но я не могу с ней разлучиться; право же, не могу... Да и бедная мамочка, что с ней станется?.. Она говорит, что она тоже умрет и оставит меня одну; но я не останусь, я решила.

— Разве тебе не страшно умереть, милая Бетси? — спросил Джонс.

— Раньше было страшно, потому что надо было разлучаться с мамочкой и с сестрицей,— отвечала малютка.— Но уйти с теми, кого я люблю, не страшно.

Джонсу так понравился этот ответ, что он крепко поцеловал Бетси. Скоро возвратилась и миссис Миллер; она сказала, что Нанси, слава богу, пришла в себя.

— Теперь, Бетси, ты можешь идти к сестрице: ей лучше, и она желает тебя видеть.

Потом она обратилась к Джонсу и снова стала просить извинения, что не может угостить его завтраком.

— Я надеюсь, сударыня,— отвечал Джонс,— вознаградить себя за это гораздо изысканнейшим угощением, какого вы не могли состряпать. Таким угощением будет для меня всякая услуга вашему милому семейству. Добьюсь ли я успеха, или же меня постигнет неудача— я, во всяком случае, попробую. Или я очень ошибаюсь насчет мистера Найтингейла, или, несмотря на все случившееся, он в глубине души все-таки очень добрый человек и горячо любит вашу дочь. Если это так, то картина, которую я ему нарисую, думаю, тронет его. Утешьтесь же, сударыня, и постарайтесь утешить мисс Нанси, а я сию минуту отправлюсь на поиски мистера Найтингейла и надеюсь принести вам добрые вести.

Миссис Миллер упала на колени и призвала благословение небес на мистера Джонса, прибавив к этому самую горячую благодарность. После этого герой наш удалился, а почтенная вдова пошла утешать дочь; слова ее немного приободрили Нанси, и обе они пустились превозносить и расхваливать мистера Джонса.

## ГЛАВА VII

*Свидание мистера Джонса с мистером Найтингейлом*

Добро и зло, которое мы делаем другим, мне кажется, часто отражается на нас самих. Ведь если люди доброго характера радуются своим благодеяниям не меньше тех, кому они благодетельствуют, то едва ли есть натуры столь сатанинские, чтобы делать зло, нисколько не мучаясь судьбой ближних, доведенных ими до гибели.

Мистер Найтингейл, по крайней мере, такой натурой не был. Напротив, Джонс, явившись к нему на новую квартиру, застал его у камина грустным и молча сокрушающимся о горестном положении, в которое он поставил бедную Нанси. Увидя приятеля, он быстро встал и пошел к нему навстречу с горячими приветствиями.

— Ваше любезное посещение пришлось как нельзя более кстати,— сказал он,— я отроду еще не испытывал такой тоски.

— К сожалению,— сказал Джонс,— я принес вам вести, очень мало способные развеселить вас; боюсь даже, что, узнав их, вы еще больше расстроитесь. Однако узнать их вам необходимо. Итак, говоря напрямик, я пришел к вам, мистер Найтингейл, от достойных людей, ввергнутых вами в пучину бедствия.

При этих словах мистер Найтингейл переменился в лице, но Джонс, не обращая на это внимания, изобразил в самых ярких красках трагические события, уже известные читателю из предыдущей главы. Найтингейл не прерывал рассказ, хотя на лице его не раз изображалось сильное волнение. Когда Джонс кончил, он сказал с глубоким вздохом:

— Ваше сообщение, друг мой, потрясло меня до глубины души. Ужасно досадно, что бедняжка выдала содержание моего письма. Владей она лучше собой, честь ее была бы спасена и вся эта история осталась бы в глубокой тайне; со временем все бы устроилось. Такие случаи в Лондоне не редкость; если у мужа иногда и закрадываются подозрения, когда уж делу не поможешь, то для него благоразумнее скрыть их и от жены и от света.

— Не в этом дело, друг мой,— отвечал Джонс.— Нанси привязалась к вам до такой степени, что ей больно потерять вас, а не доброе имя. Ее отчаяние погубит и ее, и все ее семейство.

— О, что касается до этого,— возразил Найтингейл,— то, уверяю вас, она так безраздельно завладела моим чувством, что на долю жены моей, кто бы она ни была, достанется очень мало.

— В таком случае как же вы решаетесь ее покинуть?

— Что же мне делать?

— Об этом спросите у мисс Нанси,— с жаром проговорил Джонс.— В том положении, до которого вы ее довели, именно ей, по моему искреннему убеждению, принадлежит право указывать, чем вы должны загладить свою вину. Вы должны принимать в расчет только ее интересы, а не свои. Но если хотите знать мое мнение, то я скажу вам, что вы должны осуществить надежды Нанси и всего ее семейства. Искренне признаюсь, я сам ждал от вас того же, как только увидел вас вместе. Извините, я, может быть, злоупотребляю дружбой, которой вы меня удостоили, но я исполнен слишком горячего сострадания к этому несчастному семейству. Собственное ваше сердце лучше всего вам скажет, хотели ли вы своим поведением убедить как мать, так и дочь в честности своих намерений; а если так, то предоставляю вам самому решать, насколько вы связаны обязательствами, хотя бы и не было дано прямого обещания жениться.

— Да,— сказал Найтингейл,— ваше рассуждение совершенно справедливо, и боюсь даже, что я дал обещание, о котором вы говорите.

— И после этого признания вы можете колебаться хотя бы минуту?! — воскликнул Джонс.

— Рассудите, однако, друг мой,— отвечал Найтингейл,— я знаю, вы человек чести и никому не посоветуете поступать противно ее правилам. Даже если бы не было других препятствий, могу ли я с честью вступить в брак после этой огласки ее позора?

— Несомненно! Этого даже требует от вас истинная честь, которая есть та же доброта. Раз у вас есть на этот счет колебания, давайте разберем вопрос повнимательнее. Разве совместимо с честью обмануть ложными уверениями молодую женщину и ее семейство и таким способом предательски похитить у нее невинность? Разве совместимо с честью сознательно, умышленно и даже коварно погубить человека? Разве совместимо с честью лишить девушку доброго имени, спокойствия и, вероятно, самой жизни, зная, что она существо кроткое, беспомощное и беззащитное, что она любит вас, только вами и дышит, готова умереть за вас, что она слепо поверила вашим обещаниям и принесла в жертву своему доверию все самое для себя дорогое. Разве может честь хоть на минуту примириться с такими предположениями?

— Здравый смысл служит порукой правильности ваших слов,— отвечал Найтингейл,— но вы хорошо знаете, что свет смотрит на вещи совершенно иначе: если я женюсь на шлюхе, хотя бы на своей собственной, мне стыдно будет показаться на глаза людям.

— Скажите лучше, как вам не стыдно, мистер Найтингейл, называть ее таким нехорошим словом? — возразил Джонс.— С той минуты, как вы обещали жениться на ней, она сделалась вашей женой, и если согрешила, то больше против благоразумия, чем против нравственности. И что такое свет, которому вам стыдно будет показаться на глаза, как не скопище подлецов, глупцов и развратников? Простите, если я скажу, что стыд этот проистекает из ложной скромности, сопровождающей, как тень, ложную честь... Но я твердо уверен, что всякий здравомыслящий и добрый человек похвалит и одобрит ваш брак. Но положим, все вас осудят,— разве, друг мой, не оправдает вас ваше собственное сердце? Разве горячее, восторженное чувство, испытываемое нами при совершении честного, благородного, великодушного, милосердного поступка, не доставляет душе более высокого наслаждения, чем незаслуженная похвала миллионов? Сопоставьте

мысленно последствия вашего отказа и согласия жениться. Представьте себе бедную, несчастную, доверчивую девушку, умирающую на руках измученной матери. Прислушайтесь, как в предсмертной агонии шепчет она ваше имя, как сокрушается, не произнося ни одного упрека по поводу жестокого поступка, приведшего ее к гибели. Вообразите положение матери, обезумевшей от горя и, может быть, даже неспособной перенести потерю любимой дочери. Вообразите ее сестренку, оставшуюся беспомощной сиротой, и, запечатлев в уме все эти образы, вспомните, что вы — вы сами — причина катастрофы, постигшей это несчастное, беззащитное, но заслуживающее всяческого уважения семейство. С другой стороны, представьте, что вы их избавляете от всех этих бедствий. Подумайте, с какой радостью, с каким восторгом бросится эта милая девушка в ваши объятия, какой румянец заиграет опять на побледневших щеках, как загорятся потухшие взоры, как учащенно забьется измученное сердце! Вообразите ликование матери, всеобщую радость. Подумайте только: один ваш поступок осчастливит целое семейство. Сопоставьте обе эти картины — и я, право, жестоко ошибся в моем друге, если он будет долго колебаться: погубить ли ему безвозвратно этих несчастных, или же одним великодушным, благородным поступком исторгнуть их из бездны горя и отчаяния и поднять на вершину доступного человеку счастья. Присоедините сюда еще один довод: что этого требует от вас долг, что бедствия, от которых вы избавите несчастное семейство, сами же вы по собственной воле навлекли на него.

— Ах, друг мой, вовсе не нужно столько красноречия, чтобы заставить меня это почувствовать! — воскликнул Найтингейл.— Мне от души жаль бедную Нанси, и чего бы только я не дал, чтобы между нами никогда не было близких отношений. Поверьте, мне стоило огромной борьбы написать жестокое письмо, наделавшее столько бед в несчастной семье. Если бы все зависело от меня, я женился бы на ней хоть завтра,— ей-богу, женился бы! Но вы легко поймете, что добиться на это согласия у моего отца — вещь невозможная, тем более что он уже отыскал для меня другую невесту и завтра же мне приказано быть у нее.

— Я не имею чести знать вашего отца,— сказал Джонс,— но, положим, его удастся уговорить,— сами-то вы согласитесь прибегнуть к единственному средству спасти этих несчастных?

— О, с такой же охотой, как если бы речь шла о моем собственном счастье,— отвечал Найтингейл,— потому что я не найду его ни с одной женщиной, кроме Нанси!.. Ах, друг мой, если бы вы знали, что я перечувствовал за эти двенадцать часов

из-за моей бедняжки, вы, наверное, пожалели бы не одну только ее. Любовь влечет меня только к ней; а если у меня и были кое-какие сомнения, продиктованные ложно понятой честью, то вы их совершенно рассеяли. Ах, если мне удастся добиться согласия у отца, счастье мое и моей Нанси будет полным!

— В таком случае я берусь его уговорить,— сказал Джонс.— Только вы, пожалуйста, на меня не сердитесь, в каком бы свете ни представил я ему это дело. Все равно ведь вы его долго не могли бы от него скрыть: такие вещи, когда они выходят наружу,— как это, к несчастью, уже случилось,— разглашаются с молниеносной быстротой. Кроме того, стрясись тут беда,— чего я серьезно опасаюсь, если немедленно не будут приняты меры,— о вас пойдут звонить по городу такое, что и отцу вашему обидно будет, если в нем есть сколько-нибудь чувства. Так скажите мне, где я могу найти его, и я, не теряя ни минуты, иду к нему, а вы тем временем совершите благородный поступок — посетите Нанси. Вы убедитесь, что я ни капельки не преувеличил, рисуя вам картину отчаяния этого семейства.

Найтингейл немедленно согласился на предложение Джонса. Он сообщил ему адрес отца, а также адрес кофейни, где всего вероятнее можно было застать его, потом минуту поколебался и сказал:

— Вы затеваете невозможное, дорогой Том. Если бы вы знали моего отца, вам никогда не пришло бы в голову добиваться у него согласия... Постойте, разве такой вот способ... предположим, вы ему скажете, что я уже женился,— может быть, он легче примирится с совершившимся фактом. Честное слово, слова ваши так меня тронули и я так страстно люблю свою Нанси, что сам желал бы быть уже женатым, невзирая ни на какие последствия.

Джонс горячо одобрил мысль Найтингейла и обещал воспользоваться ею. На этом они расстались: Найтингейл пошел к Нанси, а Джонс к отцу своего приятеля.

## ГЛАВА VIII

*Что произошло между Джонсом и мистером Найтингейлом-старшим. Появление лица, о котором еще не было упомянуто в настоящей истории*

Вопреки мнению римского сатирика, отрицающего божественность Фортуны, и такому же мнению Сенеки, Цицерон, который был, я думаю, умнее их обоих, держится прямо противоположного взгляда. И точно, в жизни бывают такие странные и необъяснимые

случаи, что для создания их требуются некое сверхчеловеческое искусство и прозорливость.

Случай такого рода произошел теперь с Джонсом: он застал мистера Найтингейла-старшего в столь критическую минуту, что другой такой не могла бы придумать Фортуна, если даже она действительно достойна поклонения, воздававшегося ей в Риме. Словом, Найтингейл и отец молодой женщины, которую старик прочил в жены своему сыну, перед этим несколько часов подряд жарко торговались насчет предстоящей женитьбы; последний только что ушел, оставив первого в сладком убеждении, что ему удалось одержать верх в долгом споре, в котором оба родителя старались перехитрить друг друга, и оба, как нередко бывает в таких случаях, расстались очень довольные собой, потому что каждый считал себя победителем.

Джентльмен, к которому явился мистер Джонс, был, как говорится, человеком, знающим свет, то есть человеком, который ведет себя на этом свете так, словно он вполне убежден, что другого света нет, и потому берет от жизни все, что только можно. В молодости он занимался торговлей, но, приобретя значительное состояние, отказался от этого занятия, или, говоря точнее, сменил торговлю товарами на торговлю деньгами; в последних у него никогда недостатка не было, и он умел пристраивать их очень выгодно, пользуясь затруднительным положением как частных лиц, так и общественных учреждений. Он настолько поглощен был денежными оборотами, что сомнительно даже, существовало ли для него на свете еще что-нибудь, кроме денег; во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что, кроме них, ничто не имело для него действительной ценности.

Читатель, полагаю, согласится, что Фортуна не могла сыскать человека, менее склонного сдаться на уговоры мистера Джонса; эта капризная дама не могла также выбрать для этого менее благоприятную минуту.

Так как деньги всегда занимали главное место в мыслях старого джентльмена, то, увидя в дверях незнакомого человека, он тотчас же заключил, что незнакомец явился к нему или с деньгами, или за деньгами. И смотря по тому, которое из этих предложений казалось ему более правдоподобным, он принимал посетителя благосклонно или неблагосклонно.

К несчастью для Джонса, при виде его у старика возникло второе предположение. Так как накануне к нему приходил молодой человек с распиской сына и требовал уплаты проигранных последним денег, то при первом взгляде на Джонса мистер Найтин-

гейл подумал, что и он явился с таким же требованием. Не успел поэтому Джонс сказать, что он пришел по делу его сына, как старик, утвердившись в своих подозрениях, резко оборвал его словами:

— Даром только время потеряете.

— Неужели вы догадываетесь, сэр, в чем заключается это дело? — спросил Джонс.

— И если догадываюсь правильно,— отвечал старик,— то, повторяю, даром только время потеряете. Ведь вы, кажется, один из тех фертов, что вовлекают моего сына в кутежи и распутство, которые кончатся его разорением? Но я больше не буду платить по его распискам, можете быть уверены. Надеюсь, что в будущем он откажется от таких знакомств, иначе я не стал бы искать для него жену; я не желаю служить орудием чьего-либо несчастья.

— Как, сэр,— сказал Джонс,— это вы подыскали для него ту даму?

— А какое вам дело до этого, сэр, позвольте вас спросить? — отвечал старик.

— Пожалуйста, не обижайтесь, сэр, что я принимаю так близко к сердцу счастье вашего сына — человека, высоко мной чтимого и уважаемого. По этому-то поводу я и пришел к вам. Не могу выразить удовольствия, доставленного мне вашими словами, потому что, повторяю, сына вашего я высоко чту и уважаю... Право, сэр, не могу выразить, как я восхищен вашим поступком: вы так великодушно, так благородно, так снисходительно, с такой любовью выбрали для сына супругу; готов поклясться, что он будет с ней одним из счастливейших людей на земле.

Едва ли что-нибудь способно так расположить нас к человеку, как тревога, возникшая в нас при его появлении: когда наши страхи рассеиваются, мы скоро о ней забываем и приписываем воцарившееся в нас спокойствие тому самому лицу, которое нас сперва напугало.

Так случилось и с Найтингейлом: убедившись, что Джонс не собирается предъявлять никаких требований, он почувствовал к нему расположение.

— Садитесь, пожалуйста, голубчик,— сказал он.— Я не припоминаю, чтобы когда-нибудь имел удовольствие вас видеть, но если вы друг моего сына и имеете что-нибудь сказать касательно молодой леди, я рад буду вас выслушать. Что же до того, сделает ли она его счастливым, так он сам будет виноват, если этого не случится. Я свой долг исполнил, позаботившись о главном. Она принесет ему состояние, способное сделать счастливым вся-

кого рассудительного, благоразумного, трезво смотрящего на вещи мужчину.

— Несомненно,— отвечал Джонс,— она сама — целое состояние. Красавица, такая любезная в обращении, такая ласковая и так хорошо воспитана — она поистине само совершенство: вдобавок превосходно поет и удивительно играет на клавикордах!

— Я не знал за ней таких качеств,— сказал старик,— потому что никогда ее не видел; впрочем, если все это у нее есть, так тем лучше. И я очень доволен, что отец ее не выпячивал этих достоинств в нашей сделке,— для меня это лишнее доказательство его ума. Дурак поставил бы эти статьи наравне с приданым; но надо отдать ему справедливость, о них он и не заикнулся, хотя, понятно, женщину они не портят.

— Уверяю вас, сэр,— сказал Джонс,— она обладает этими качествами в самой высокой степени. Я-то, признаться, боялся, что вы не особенно охотно согласитесь на эту партию, что она будет вам не совсем по вкусу, так как сын ваш говорил мне, что вы никогда не видели молодой леди,— вот почему я и пришел, сэр, молить, заклинать вас, если вы дорожите счастьем вашего сына, не противиться его союзу с женщиной, обладающей не только перечисленными мной достоинствами, но еще и многими другими.

— В таком случае, сэр, мы оба вам обязаны,— отвечал старик.— Можете быть совершенно спокойны, так как, даю вам слово, я вполне удовлетворен ее состоянием.

— Сэр, с каждой минутой я проникаюсь к вам все бóльшим и бóльшим уважением. Удовлетвориться столь немногим, проявить такую умеренность — разве это не доказательство здравого ума и благородного сердца?

— Ну, не так уж я был умерен, молодой человек, не так уж умерен,— отвечал отец.

— Все больше и больше благородства,— умилялся Джонс,— и, разрешите прибавить, рассудительности: конечно, это почти безумство — считать единственным основанием счастья деньги. Такая женщина с ее маленьким, ничтожным состоянием...

— Хорошенькое же у вас мнение о деньгах, друг мой! — воскликнул старик.— Видно, вы знаете невесту лучше, чем приданое. Как вы думаете, сколько за ней?

— Сколько? Пустяк, не имеющий никакого значения для вашего сына.

— Понятно, понятно, он мог бы сделать выбор и получше.

— С этим я не согласен,— сказал Джонс,— лучшей жены ему не найти.

— Да, да, но я говорю в отношении приданого,— отвечал старик.— Так сколько же, вы думаете, приятель ваш за ней получит?

— Сколько? Вы хотите знать, сколько? Ну, самое большее фунтов двести.

— Вы изволите насмехаться надо мной, молодой человек?— проговорил старик с некоторым раздражением.

— Нет, клянусь вам, я говорю серьезно. По-моему, я назвал крайнюю цифру. Если я обидел молодую леди, прошу у нее прощения.

— Разумеется, обидели. Уверяю вас, что у нее в пятьдесят раз больше, и она должна будет прибавить к этому еще пятьдесят, прежде чем я дам свое согласие на брак.

— Теперь уже поздно говорить о согласии: даже если бы у нее не было пятидесяти фартингов, все равно сын ваш уже обвенчан.

— Мой сын обвенчан? — с удивлением проговорил старик.

— Ну да,— отвечал Джонс,— я полагал, что вы этого еще не знаете.

— Мой сын обвенчан с мисс Гаррис?!

— С мисс Гаррис? Нет, сэр, он обвенчан с мисс Нанси Миллер, дочерью хозяйки того дома, где он проживал,— с девушкой, мать которой хоть и принуждена отдавать внаем...

— Смеетесь вы или говорите серьезно? — торжественным голосом прервал его старик.

— Роль насмешника ниже моего достоинства, сэр,— отвечал Джонс.— Я пришел к вам по самому серьезному делу, предполагая, как это и подтвердилось, что сын ваш не посмел сказать вам о женитьбе на особе, которая гораздо беднее его, между тем как честь ее не позволяет скрывать этого дольше.

Старик стоял остолбенелый от этого известия, когда в комнату вошел какой-то джентльмен и поздоровался с ним, назвав братом.

Несмотря на столь близкое родство, братья по своему характеру были полной противоположностью. Пришедший тоже занимался когда-то торговлей, но, нажив шесть тысяч фунтов, он потратил большую часть этой суммы на покупку поместья, поселился в деревне и женился на дочери бесприходного священника, девице некрасивой и небогатой, но полюбившейся ему за неистощимую веселость.

С этой женщиной прожил он двадцать пять лет, и жизнь их походила на поэтические описания золотого века больше других образцов этого рода, встречающихся в нынешнее время. От нее у него было четверо детей, но все они умерли в младен-

честве, за исключением одной только дочери, в которой и он, и жена его, как говорится, души не чаяли, то есть лелеяли ее и баловали; а она щедро отплатила им привязанностью, заставившей ее даже наотрез отказаться от необыкновенно выгодной партии с одним сорокалетним джентльменом из-за того, что она не в силах была разлучиться с родителями.

Молодая леди, назначенная мистером Найтингейлом в невесты сыну, была близкой соседкой его брата и знакомой его племянницы. Как раз по поводу предстоящей женитьбы брат мистера Найтингейла и приехал теперь в Лондон — не с тем, однако, чтобы содействовать браку, а чтобы его расстроить, потому что, по его мнению, брак этот неизбежно должен был погубить племянника. Он не ожидал другого результата от союза с мисс Гаррис, несмотря на все ее богатство. Ни наружность ее, ни душевные качества не обещали семейного счастья: это была девица очень высокого роста, очень худая, очень некрасивая, очень жеманная, очень глупая и очень злая.

Вот почему, услышав от брата о женитьбе племянника на мисс Миллер, он выразил живейшее удовольствие; и когда отец, осыпав сына горькими упреками, объявил, что пустит его по миру, дядя сказал следующее:

— Будь вы немного спокойнее, братец, я бы вас спросил: ради него или ради себя любите вы вашего сына? Вы мне ответите, полагаю: ради него; полагаю также, что, говоря это, вы скажете правду; и несомненно, выбирая ему супругу, вы заботились о его счастье.

Предписывать другим правила счастья всегда казалось мне нелепостью, братец, а настаивать на их выполнении — тиранством. Заблуждение это всеобщее, я знаю, но оно все-таки заблуждение. И если оно нелепо вообще, то нелепее всего в отношении брака, в котором счастье покоится всецело на взаимной любви супругов.

Поэтому я всегда считал, что родители поступают неразумно, желая выбирать за детей: ведь заставить полюбить — затея безнадежная; больше того — любовь до такой степени ненавидит принуждение, что для нее в силу какой-то несчастной, но неисцелимой извращенности нашей природы, невыносимы даже уговоры.

Однако я согласен, что, хотя родители поступают неумно, пытаясь навязывать свою волю, с ними в таких случаях все же следует советоваться и, пожалуй, даже необходимо признать за ними право запрета. Таким образом, я не спорю, что племянник мой, женившись без вашего ведома, провинился. Но скажите, положа руку на сердце: не вы ли сами отчасти этому способствова-

ли? Вы так часто и так решительно высказывали свои суждения о браке, что разве мог он не быть заранее уверенным в вашем отказе, если состояние его избранницы будет невелико? Да и теперь — не в этом ли единственная причина вашего гнева? И если он нарушил сыновний долг, то вы разве не превысили отцовской власти, сторговав ему невесту без его ведома — женщину, которую вы сами никогда не видели, а увидев и узнав так же хорошо, как я, сочли бы безумием принять ее в ваше семейство?

Тем не менее я признаю, что племянник мой провинился; однако вина его не непростительна. Не спросясь у вас, он совершил поступок, для которого требовалось ваше согласие,— но поступок этот касался преимущественно его собственных интересов: вы сами, надеюсь, не будете отрицать, что действовали только в его интересах; и если он, к несчастью, разошелся с вами во взглядах на этот счет и составил себе ошибочное представление о счастье, то неужели вы, братец, любя сына, отрежете ему всякую возможность счастья? Неужели еще более усугубите тяжелые последствия этого брака? Неужели постараетесь сделать его наверняка несчастным, хотя этого можно избежать? Словом, братец, неужели вы ввергнете сына в нищету за то только, что он лишил вас возможности обогатить его согласно вашему желанию?

Силой христианской веры святой Антоний приобрел власть над рыбами. Орфей и Амфион добились еще большего, заворожив чарами музыки даже бездушные вещи. Чудные дела! Но ни история, ни мифология совершенно не знают примера, чтобы доводы разума восторжествовали когда-нибудь над закоренелой скупостью.

Мистер Найтингейл-старший вместо ответа брату ограничился замечанием, что они всегда расходились во взглядах насчет воспитания детей.

— Позаботьтесь лучше, братец, о своей дочери,— сказал он,— и оставьте моего сына в покое. Боюсь, что ни наставления ваши, ни ваш пример не принесли ему пользы.

Надо сказать, что молодой Найтингейл был крестник своего дяди и жил больше с ним, чем с отцом, так что дядя часто говорил, что любит племянника почти наравне с собственной дочерью.

Джонс был в восторге от этого почтенного джентльмена; заметив, что все их доводы не успокаивают, а только пуще раздражают старика, они замолчали, и Джонс повел дядю к племяннику, в дом миссис Миллер.

## ГЛАВА IX,

*содержащая странные происшествия*

По возвращении домой Джонс нашел положение дел сильно изменившимся по сравнению с тем, в каком было при его уходе. Мать и обе дочери сидели за ужином вместе с мистером Найтингейлом-младшим, и дядя, по собственному его желанию, был запросто введен в это общество: он был хорошо знаком со всеми, потому что не раз навещал племянника в доме миссис Миллер.

Старик подошел прямо к мисс Нанси, поздоровался с ней и поздравил ее, потом поздравил мать и сестру, в заключение сказал несколько приветственных слов племяннику — и все это с таким радушием и любезностью, как будто племянник его женился на ровне или особе, стоящей выше его, с соблюдением всех предварительных формальностей.

Мисс Нанси и мнимый муж ее побледнели и чрезвычайно смутились, а миссис Миллер, воспользовавшись первым удобным случаем, вышла в другую комнату и велела позвать к себе Джонса; тут она упала к его ногам и с горячими слезами на глазах называла его своим добрым ангелом, спасителем ее несчастного семейства и другими почтительными и ласкательными словами, какие может исторгнуть из благодарного сердца величайшее благодеяние.

Когда первые восторги ее немного улеглись (а не найди ее чувство выхода, говорила она, так сердце ее бы не выдержало), миссис Миллер сказала Джонсу, что между мистером Найтингейлом и ее дочерью все уже слажено и что завтра утром они будут обвенчаны. Мистер Джонс выразил по этому поводу большое удовольствие, и бедная женщина снова начала рассыпаться в благодарностях, так что герою нашему стоило большого труда остановить ее и уговорить вернуться с ним в столовую, где они нашли всех в том же веселом расположении, в каком их оставили.

Маленькое общество провело за столом еще несколько приятных часов, и дядя, большой приверженец бутылочки, так усердно подливал племяннику, что последний не то что опьянел, а почувствовал себя навеселе; в этом приподнятом состоянии он увел старика в свою прежнюю комнату и раскрыл перед ним свое сердце.

— Вы всегда обращались со мной, дядюшка, так по-родственному, ласково и так снисходительно простили мне этот брак,

действительно несколько необдуманный, что с моей стороны было бы непростительно обманывать вас.

И он рассказал все, как было в действительности.

— Как, Джек,— удивился старик,— ты не женат на этой девушке?

— Нет, клянусь вам честью,— отвечал Найтингейл,— я сказал вам правду.

— Как же ты меня обрадовал, дорогой мой! — воскликнул дядя, целуя племянника.— Никогда еще не испытывал я такого удовольствия. Если бы ты был уже обвенчан, я бы всеми силами помог тебе выпутаться из неприятного положения; однако большая разница между тем, что уже сделано и непоправимо, и тем, что еще только задумано. Подумай хорошенько, Джек, и ты сам увидишь всю нелепость и все неразумие этого брака так ясно, что мне не надо будет тебя разубеждать.

— Помилуйте, сэр! Разве есть какая-нибудь разница между тем, что уже сделано, и тем, что обязывает сделать честь?

— Ну, честь — создание света, и свет, на правах создателя, может распоряжаться и управлять ею по своему усмотрению. А ты знаешь, какая заурядная вещь в свете— нарушение подобных обязательств: даже о самой чудовищной измене поговорят день-другой и забудут. Разве найдется человек, который откажет тебе за это в руке сестры или дочери? Чья сестра или чья дочь отклонит после этого твое предложение? Честь в таких делах ни при чем.

— Извините, дорогой дядя, я думаю иначе,— отвечал Найтингейл.— Это дело не только чести, но также совести и человеколюбия. Я совершенно убежден, что, если я обману теперь Нанси, она этого не переживет, и я должен буду смотреть на себя как на ее убийцу — убийцу самого жестокого, разбившего ее сердце.

— Разбившего ее сердце! Какие громкие слова,— сказал дядя.— Нет, Джек, женские сердца не так легко разбить: они крепкие, милый! Ох, какие крепкие!

— Но я сам люблю ее, сэр,— возразил Найтингейл,— и не могу быть счастлив с другой женщиной. Да и вы, помнится, не раз говорили, что дети сами должны выбирать себе жен и мужей и что вы предоставите это право кузине моей Гарриет.

— Конечно,— подтвердил старик,— только пусть они выбирают с толком... Право, Джек, ты должен оставить, и ты оставишь эту девушку.

— Право, дядюшка, я должен на ней жениться, и я женюсь.

— Что за разговор, молодой человек! Таких речей я от тебя не ожидал. Я бы не удивился, если бы ты сказал это своему отцу,— он всегда обращался с тобой, как с собакой, и держал тебя на почтительном расстоянии, точно тиран своих подданных. Но я ведь относился к тебе как к равному и мог бы ожидать от тебя лучшего обращения. Впрочем, я знаю, откуда у тебя все это: от твоего нелепого воспитания, в котором я почти не принимал участия. Вот дочь мою — ту я приучил видеть во мне друга: она ничего не делает без моего совета и никогда не отказывается ему следовать.

— Вы еще не подавали ей совета в подобном деле,— возразил Найтингейл.— Я сильно сомневаюсь, чтобы моя кузина послушалась даже самого строгого вашего приказания, если бы вы потребовали, чтобы она поступила наперекор влечению сердца.

— Не клевещи на мою дочь,— с жаром сказал старик,— не клевещи на мою Гарриет! Я приучил ее не иметь никаких желаний, которые шли бы наперекор моим. Позволяя ей делать что угодно, я приучил ее находить удовольствие только в том, что нравится мне.

— Извините, сэр,— отвечал Найтингейл,— я не имею ни малейшего намерения порочить мою кузину, к которой питаю глубочайшее уважение, но убежден, что вы никогда не подвергнете ее такому суровому испытанию и не потребуете от нее того, чего требуете теперь от меня... Однако вернемся к покинутому нами обществу, дорогой дядя, а то там начнут беспокоиться по случаю нашего долгого отсутствия. Только, пожалуйста, сделайте мне одолжение, не говорите ничего такого, что могло бы оскорбить бедную девушку или ее мать.

— О, насчет этого будь спокоен,— отвечал дядя,— я еще настолько помню себя, чтобы быть учтивым с женщинами, и охотно сделаю тебе это одолжение, но взамен и ты сделай одолжение мне.

— Говорите, я с радостью исполню всякое ваше приказание, сэр,— сказал Найтингейл.

— Просьба моя самая маленькая: будь добр проводить меня домой, чтобы мы могли еще потолковать об этом деле. Мне хотелось бы иметь удовольствие оградить наше семейство от беды, несмотря на глупое упрямство брата, воображающего себя первейшим мудрецом на свете.

Найтингейл, прекрасно знавший, что дядя в упрямстве не уступит отцу, согласился исполнить его просьбу; потом они оба вернулись в столовую, где старик обещал вести себя так же любезно, как и раньше.

## ГЛАВА X,

*краткая и заключающая эту книгу*

Долгое отсутствие дяди и племянника вселило некоторое беспокойство в оставшихся, тем более что в изложенном разговоре дядя по временам возвышал голос до такой степени, что его было слышно внизу; правда, слов разобрать было нельзя, но все-таки это породило недобрые предчувствия в Нанси, в ее матери и даже в Джонсе.

Поэтому, когда гости и хозяева снова собрались вместе, на лицах у всех заметна была перемена: сиявшее на них прежде неподдельное веселье сменилось более принужденным выражением. Они изменились, как у нас нередко меняется погода, превращаясь из солнечной в пасмурную, из июньской в декабрьскую.

Впрочем, никто из присутствующих не обратил на это большого внимания. Каждый думал теперь только о том, как бы скрыть собственные мысли, и был настолько поглощен исполнением свой роли, что не успевал быть еще и зрителем. Ни дядя, ни племянник не заметили никаких признаков волнения на лицах матери и дочери, а мать не заметила преувеличенной любезности старика и деланного довольства, изображавшегося на физиономии молодого человека.

Нечто подобное, я думаю, часто случается, когда два приятеля, желая обмануть друг друга, сосредоточивают свое внимание в том или ином состоянии на своей игре: они не видят и не подозревают козней, которые строятся против них, вследствие чего фехтовальный прием каждого (воспользуемся этой подходящей к случаю метафорой) бывает одинаково метким.

По той же причине стороны сплошь и рядом надувают друг друга в торговых сделках, хотя одна из них при этом всегда остается в большем убытке: примером может служить мошенник, продавший слепую лошадь и получивший за нее фальшивую бумажку.

Через полчаса общество разошлось; дядя увел племянника, но перед уходом последний успел шепнуть Нанси, что завтра утром зайдет к ней и исполнит все свои обязательства.

Джонс, которого эта сцена касалась меньше прочих, проявил наибольшую наблюдательность. Он догадывался, что произошло: не говоря уже о подмеченной им перемене в обращении дяди, его суховатости и натянутой любезности с мисс Нанси, самый увод жениха от невесты в такой час настолько нарушал все правила, что его нельзя было объяснить иначе, как предположив,

что молодой Найтингейл, от природы откровенный, а теперь еще разгоряченный вином, рассказал дяде всю правду.

Покамест Джонс размышлял, не следует ли ему поделиться своими подозрениями с миссис Миллер, вошла служанка и доложила, что с ним желает говорить какая-то дама. Он тотчас же вышел и, взяв у служанки свечу, проводил посетительницу наверх. Это была миссис Гонора, принесшая ему такие ужасные вести о Софье, что он в ту же минуту забыл думать о других; весь его запас жалости был без остатка поглощен сокрушением о собственных бедствиях и бедствиях его несчастной возлюбленной.

Что это были за ужасные вести, читатель узнает, прочитав изложение множества предваривших их событий, которые составят содержание следующей книги.

# КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ,

## В КОТОРОЙ НАША ИСТОРИЯ ПОДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД ЕЩЕ НА ДВА ДНЯ

## ГЛАВА I,

*слишком краткая, чтобы нуждаться в заглавии*

Некоторые богословы, или, вернее, моралисты, учат, что на этом свете добродетель — прямая дорога к счастью, а порок— к несчастью. Теория благотворная и утешительная, против которой можно сделать только одно возражение, а именно: она не соответствует истине.

Конечно, если под добродетелью писатели разумеют упражнение в тех кардинальных добродетелях, которые, подобно добрым хозяйкам, сидят дома и заботятся только о своих семейных делах, то я охотно с ними соглашусь: все эти добродетели действительно ведут прямо к счастью, так что я, наперекор всем древним и новым мудрецам, готов назвать их скорее именем мудрости, а не добродетели, ибо что касается земной жизни, то не было, кажется, системы мудрее системы древних эпикурейцев, полагавших в этой мудрости высшее благо, как не было ничего глупее системы их прямой противоположности — нынешних эпикурейцев, считающих верхом блаженства обильное удовлетворение всех чувственных желаний.

Но если под добродетелью разуметь (как это, по моему убеждению, и подобает) некоторое относительное качество, всегда действующее за порогом нашего дома и озабоченное благом других не меньше, чем нашим собственным, то я не могу так легко согласиться, что она есть вернейший путь к земному счастью: ведь в таком случае, боюсь, нам придется включить в представление о счастье и бедность, и презрение, и все бедствия, навлекаемые на человека злословием, завистью и неблагодарностью; пожалуй, мы иногда принуждены будем искать это счастье даже в тюрьме, поскольку упомянутая добродетель многих приводит и туда.

Мне теперь недосуг пускаться в обширное поле рассуждений, открывающееся здесь передо мной; моим намерением было лишь убрать с дороги превратное учение, ибо, пока мистер Джонс совершал самые добродетельные поступки, стараясь спасти от гибели своих ближних, дьявол или иной злой дух, может быть, воплощенный в образе человека, изо всех сил трудился над тем, чтобы сделать его совершенно несчастным, погубив его Софью.

Вот вам и исключение из упомянутого правила, если только действительно его можно назвать правилом. Но так как на жизненном пути нашем мы наблюдали столько подобных исключений, то предпочитаем оспаривать самое учение, на котором оно основано, как, по нашему убеждению, нехристианское, ошибочное и подрывающее одно из благороднейших доказательств веры в бессмертие, какое только может представить человеку его разум.

Мы полагаем, однако, что любопытство читателя (если оно у него есть) уже пробудилось и требует пищи; поспешим же его насытить.

## ГЛАВА II,

*в которой возникает самый черный замысел против Софьи*

Один мой знакомый старик, большой умница, любил говорить: «Когда детям нечего делать, они проказят». Не буду распространять этого тонкого изречения на всю прекрасную половину рода человеческого, но справедливо, кажется сказать, что когда женская ревность не проявляется открыто в свойственной ей форме ярости и бешенства, то эта пагубная страсть почти наверняка действует тайком и пытается сделать подкоп под крепость, которую не в состоянии взять открытым штурмом.

Примером может служить поведение леди Белластон: под ласковыми улыбками, игравшими на ее лице, таился сильный гнев на Софью; и, видя ясно, что эта девушка является помехой полному осуществлению ее желаний, она решила отделаться от нее тем или иным способом; вскоре ей представился к тому чрезвычайно благоприятный случай.

Читатель благоволит припомнить, как Софья, перепугавшись в театре кутерьмы, поднятой кучкой остроумных молодых джентльменов, именующих себя столицей, отдалась под покровительство одного кавалера, благополучно проводившего ее до самого портшеза.

Этот джентльмен, часто бывавший у леди Белластон, несколько раз видел Софью и почувствовал к ней большое расположение. Известно, что красота никогда не кажется столь при-

влекательной, как в минуту испытываемого ею огорченья, и потому испуг Софьи настолько усилил его расположение к ней, что превратил его, можно сказать не преувеличивая, в настоящую влюбленность.

Легко себе представить, что влюбленный не пожелал упускать такого прекрасного случая познакомиться ближе с той, которая занимает его мысли; тем более даже простая благовоспитанность требовала, чтобы он сделал ей визит.

Поэтому на следующее же утро после происшествия в театре он явился к Софье с обычными поздравлениями и выражением надежды, что она не чувствует никаких дурных последствий вчерашнего приключения.

Любовь, подобно огню, однажды загоревшись, скоро раздувается в пламя: Софья в самое короткое время довершила свою победу. Время летело незаметно, и благородный лорд провел у молодой девушки целых два часа, не подумав, что засиживается слишком долго. Уже одного этого обстоятельства было довольно, чтобы встревожить Софью, которая в большей степени сохранила способность к наблюдению минут и часов; но взоры ее гостя говорили еще более красноречиво о происходящем в его груди: открытого признания в любви он, правда, не сделал, однако многие его выражения были слишком пылкими и слишком нежными, чтобы их можно было приписать учтивости даже в век, когда такая учтивость была в моде,— а всем хорошо известно, что в настоящее время в моде совершенно обратное.

Леди Белластон была извещена о визите лорда тотчас же по его прибытии; продолжительность этого визита красноречиво говорила ей, что все идет согласно ее желанию, и подтверждала правильность ее подозрения, возникшего при взгляде на юную парочку. Она рассудила, и, кажется, совершенно справедливо, что делу этому она никоим образом не должна помогать, присутствуя сама при свидании; соответственно этому ею отдано было слугам распоряжение сказать лорду, когда он будет уходить, что она желает его видеть; а тем временем она принялась обдумывать план, не сомневаясь, что его светлость с большой готовностью возьмется за его осуществление.

Лорд Фелламар (так звали молодого человека) не успел войти к ней в комнату, как она атаковала его таким обращением:

— Боже мой, милорд, вы еще здесь? Я уже думала, что слуги забыли передать вам мое приглашение, между тем как мне нужно поговорить с вами о важном деле.

— Да, леди Белластон, вы имеете полное право удивляться продолжительности моего визита; я просидел больше двух часов, а мне показалось, что и полчаса не прошло.

— Какие из этого следуют выводы, милорд? Беседа ваша была, должно быть, очень приятна, если время пролетело так незаметно.

— Клянусь честью, такой приятной беседы я не припомню,— отвечал он.— Сделайте милость, леди Белластон, скажите, кто эта яркая звезда, так внезапно появившаяся среди нас?

— О какой яркой звезде говорите вы, милорд? — спросила леди с напускным удивлением.

— О леди, с которой я намедни познакомился в вашем доме, которую почти вынес вчера из театра на руках и у которой пробыл сейчас так непозволительно долго.

— Ах, кузина Вестерн! — сказала леди.— Эта яркая звезда, милорд,— дочь одного сельского сквайра-мужлана; она всего две недели в столице, где никогда раньше не была.

— А я, право, готов был побиться об заклад, что она выросла при дворе. Не говоря уже о красоте, столько в ней грации, ума, обходительности.

— Браво! Значит, кузину можно поздравить с победой.

— К сожалению, да: я влюбился в нее по уши.

— Ну, жалеть вам об этом не приходится; она очень богата: единственная дочь, и поместья отца приносят три тысячи фунтов годового дохода.

— В таком случае, сударыня, я считаю ее первой невестой в Англии.

— Что же, если она вам нравится, милорд, от души желаю вам успеха.

— Раз уж вы так добры, сударыня, то не могу ли я просить вас на правах родственницы сделать от моего имени предложение ее отцу.

— Вы говорите это серьезно? — спросила леди с напускной важностью.

— Надеюсь, сударыня, вы не настолько дурного мнения обо мне, чтобы думать, будто я способен шутить с вашей светлостью в подобном деле.

— В таком случае я охотно передам ваше предложение ее отцу и могу вас уверить, что он с радостью его примет. Но тут есть одно препятствие, о котором мне стыдно даже сказать, а между тем оно для вас непреодолимо. У вас есть соперник, милорд, которого мне совестно даже назвать по имени, но которого никогда не одолеете ни вы и никто на свете.

— Право, леди Белластон, вы повергли меня в такое уныние, что мне жизнь стала немила.

— Стыдитесь, милорд! Я думала, что это известие скорее воспламенит вас. Влюбленный — и говорит об унынии! Я ду-

мала, что вы спросите имя вашего соперника и немедленно бросите ему вызов.

— Уверяю вас, сударыня, я готов решиться на что угодно ради вашей прелестной кузины. Но кто же, однако, этот счастливец?

— Он, как, к сожалению, бóльшая часть счастливцев на свете, человек самого низкого звания. Это нищий, незаконнорожденный, найденыш — словом, человек, который по своему положению ниже вашего последнего лакея.

— Возможно ли, чтобы это юное создание, украшенное всеми совершенствами, решило отдать себя такому недостойному человеку?

— Увы, милорд! Не забывайте, что она выросла в деревне, а деревня — отрава для молодых женщин. Там они набираются романтических понятий о любви и всяких бредней, так что столица и хорошее общество едва только за целую зиму в состоянии очистить их головы от этой дури.

— Ваша кузина, сударыня, слишком большая драгоценность, чтобы дать ей погибнуть; надо спасти ее во что бы то ни стало.

— Но каким образом, милорд? Родные сделали уже все, что в их власти, но она точно во хмелю и непременно хочет себя обесчестить. Говоря откровенно, я каждый день жду, что она с ним убежит.

— Ваши слова, леди Белластон, глубоко меня трогают и, ничуть не уменьшая моего преклонения перед вашей кузиной, только пробуждают во мне сострадание. Надо непременно найти средство спасти такое бесценное сокровище. Вы не пробовали ее образумить?

— Образумить! — воскликнула леди Белластон с деланным смехом.— Полноте, милорд, вы слишком хорошо нас знаете, чтобы серьезно говорить о попытке образумить молодую женщину. Эти бесценные сокровища так же глухи, как драгоценности на их нарядах. Время, милорд, одно только время способно вылечить от этой дури. Но я убеждена, что кузина моя не согласится принять это лекарство; я живу в ежедневном страхе за нее. Словом, тут могут помочь только крутые меры.

— Так что же делать?! — воскликнул лорд.— Какие принять меры? Есть ли какое-нибудь средство?.. Ах, леди Белластон, за такую награду на что бы только я не решился!

— Не знаю, что вам и сказать,— отвечала леди, помолчав; потом, опять помолчав, продолжала: — Право, ума не приложу, что мне с этой девушкой делать... Если ее спасать, так надо предпринять что-нибудь немедленно, и, как я уже сказала, тут могут помочь только крутые меры... Если вы действительно чувствуете такую привязанность к моей кузине (а надо отдать ей справедли-

вость: если бы не это глупое увлечение, в безрассудстве которого она сама вскоре убедится, она вполне бы этого заслуживала), так, по-моему, здесь есть только один способ — правда, очень неприятный, мне почти страшно и подумать о нем... он требует, надо сказать, много смелости.

— О, в смелости у меня нет недостатка, сударыня; надеюсь, никто меня в этом не заподозрит. И надо быть порядочным трусом, чтобы пойти на попятный в настоящем случае.

— В вас я не сомневаюсь, милорд; гораздо больше сомневаюсь я в собственной храбрости, потому что мне придется рисковать здесь очень многим. Словом, я должна буду оказать слишком большое доверие вашей чести, на какое едва ли благоразумно решаться женщине.

И в этом отношении лорд Фелламар скоро рассеял ее сомнения, потому что имя его было незапятнано, и, будучи о нем хорошего мнения, свет лишь отдавал ему должное.

— Ну, извольте...— продолжала леди Белластон.— Нет, страшно, не могу решиться... Нет, этого нельзя... По крайней мере, прежде нужно попробовать другие средства. Можете вы уклониться от всех приглашений и обедать сегодня у меня? Вам представится случай еще больше насладиться обществом мисс Вестерн... Уверяю вас, вам нельзя терять времени. У меня будут только леди Бетти, мисс Игл, полковник Гамстед и Том Эдвардс; они скоро уйдут, а другим я велю отказывать. Таким образом, вы можете объясниться окончательно, а я найду способ доказать вам ее привязанность к этому человеку.

Милорд с благодарностью принял приглашение и поехал переодеться, потому что было уже три часа утра или, по старинному счету, три часа пополудни.

## ГЛАВА III

*Дальнейшее развитие того же замысла*

Читатель, вероятно, давно уже догадался, что леди Белластон принадлежала к высшему свету (в котором занимала довольно высокое положение); но она играла также весьма видную роль в малом свете, каковым именем называлось весьма достойное и почтенное общество, еще недавно процветавшее в нашем отечестве.

В числе прочих прекрасных правил, составлявших устав этого общества, было одно особенно замечательное: как в славном клубе героев, образовавшемся в конце последней войны, все члены обязаны были драться, по крайней мере, по разу в день,

так и в нашем обществе каждый член должен был рассказать в течение суток, по крайней мере, одну забавную небылицу, которая и пускалась по городу общими силами всего братства.

Об этом обществе ходило много россказней, сочинявшихся, судя по некоторым приметам, самими же его членами. Например, что председатель его — сам дьявол, который лично ведет собрания, восседая в креслах на почетном конце стола; но после самого тщательного расследования я убедился, что в этих россказнях нет ни слова правды и что общество состояло из самых благонамеренных людей, а распространяемые ими небылицы были безобидного свойства и имели целью лишь повеселить и доставить развлечение.

Эдвардс тоже был член этого веселого общества. К нему-то и обратилась леди Белластон, как к лучшему исполнителю задуманного ею плана, и снабдила его небылицей, которую он должен был рассказывать по данной ею реплике; а реплику эту она намерена была подать лишь вечером, когда все, кроме него и лорда Фелламара, уйдут и они сядут играть в вист.

Итак, к этой минуте, выпавшей между семью и восемью часами вечера, мы и перенесем читателя. Леди Белластон, лорд Фелламар, мисс Вестерн и Том играли в вист, и за последней сдачей леди подала Тому условленную реплику таким образом:

— Право, Том, вы начали невыносимо запаздывать: бывало, рассказываете нам все городские новости, а теперь ничего не знаете, точно с того света являетесь.

Мистер Эдвардс начал оправдываться:

— Я не виноват, сударыня: свет теперь так скучен, что о нем нечего рассказывать... Ах да, вспомнил: какой ужасный случай произошел с бедным полковником Вилькоксом... Бедняга Нед!.. Вы его знаете, милорд, да и все его знают. Право, я о нем ужасно беспокоюсь.

— А что такое? — спросила леди Белластон.

— Сегодня утром он убил на дуэли своего противника — вот и все.

Лорд Фелламар, не посвященный в заговор, озабоченно спросил, кого же он убил.

— Какого-то неизвестного молодого человека, недавно приехавшего из Сомерсетшира,— отвечал Эдвардс.— Зовут его Джонсом; он близкий родственник мистера Олверти, о котором ваша светлость, вероятно, слышали. Я видел его труп в кофейной. Ах, это был писаный красавец!

Софья, начавшая было сдавать карты, когда Том заговорил об убийстве на дуэли, остановилась и прислушалась (истории такого рода всегда волновали ее); но только что рассказчик кон-

чил, как она возобновила сдачу: дала одному три карты, другому семь и третьему десять, потом выронила колоду из рук и упала на спинку стула.

Как обыкновенно бывает в таких случаях, поднялась суматоха, все поспешили на помощь. Софья, как водится, пришла наконец в себя и выразила желание, чтобы ее отвели к ней в комнату. По просьбе лорда леди Белластон рассказала ей всю правду, то есть объяснила, что это шутка и что она сама ее придумала; она успокоила Софью уверением, что ни лорд, ни Том, хотя она его и подучила, не посвящены в тайну ее отношений с Джонсом.

Лорду Фелламару не требовалось других доказательств, чтобы убедиться в полной справедливости утверждений леди Белластон. Когда эта почтенная дама вернулась от Софьи, они смастерили вдвоем план, который хотя и не показался лорду слишком гнусным (так как он твердо обещал и твердо решил загладить потом свой поступок женитьбой), однако большинству наших читателей, несомненно, покажется отвратительным.

Роковой замысел положено было привести в исполнение на другой день, в семь часов вечера. Леди Белластон взялась устроить так, чтобы Софья была одна и лорда провели прямо к ней. Все в доме предполагалось привести в согласие с задуманным планом: бóльшую часть слуг услать, а миссис Гонору, чтобы не возбудить в ней подозрений, оставить при госпоже до самого приезда его светлости, после чего леди Белластон должна была отозвать ее как можно подальше от комнаты Софьи, так чтобы оттуда не донеслись никакие крики.

Договорившись на этом, лорд распрощался, а леди Белластон удалилась на покой, чрезвычайно довольная проектом, в успехе которого не имела никаких оснований сомневаться: устраняя досадную помеху в лице Софьи, он сулил ей безмятежное наслаждение любовью с Джонсом, не подвергая ее при этом никаким нареканиям, если бы даже дело получило огласку. Впрочем, она твердо рассчитывала это предотвратить, состряпав свадьбу, на которую обесчещенная Софья, разумеется, легко согласится и от которой все ее родные будут в восторге.

Но в груди другого заговорщика было далеко не так спокойно — душа его металась в тревоге, так прекрасно описанной Шекспиром:

Меж совершеньем страшного злодейства
И первым побужденьем к нему
Проходит срок, подобный наважденью
Или кошмару; смертные орудья
И дух совет между собою держат,
И человек тогда подобен царству,
В котором вспыхнуло восстанье.

Правда, в ослеплении страсти лорд с жадностью ухватился за предложенный план, особенно поскольку он исходил от Софьиной родственницы, но когда подушка, этот друг размышления, представила перед глазами лорда Фелламара затеянное им дело со всеми его черными сторонами и со всеми неизбежными и вероятными его последствиями — решимость его начала слабеть, или, вернее, склоняться в другую сторону; наконец, после продолжавшейся всю ночь борьбы честь одержала в нем верх над вожделением, и он решил пойти к леди Белластон и отказаться от предприятия.

Леди Белластон, несмотря на поздний час, была еще в постели, и Софья сидела у ее изголовья, когда служанка доложила о прибытии лорда Фелламара; ее светлость приказала передать, что она его тотчас примет. Но только что служанка вышла, как Софья начала просить кузину не поощрять искательства этого гадкого (как сказала она, хотя не совсем справедливо) лорда.

— Я вижу его намерения,— сказала она,— вчера он совершенно явно ухаживал за мной, но я твердо решила этого не допускать; прошу вашу светлость не оставлять нас больше наедине и велеть слугам, чтобы они ему отказывали, если он будет меня спрашивать.

— Полно, душенька,— отвечала леди Белластон, — у вас, деревенских барышень, только и есть на уме что любовники; вы воображаете, что если мужчина с вами любезен, так он уж и ухаживает за вами. Лорд Фелламар — один из самых обаятельных кавалеров в столице, и я убеждена, что это с его стороны обыкновенное внимание к молодой женщине. Надо же такое выдумать! Впрочем, я от души желаю, чтобы ваше предположение оправдалось, и вы будете совсем шальной, если ему откажете.

— Ну, так как я шальная,— сказала Софья,— то надеюсь, что он перестанет беспокоить меня своими визитами.

— Чего же вам бояться, душенька? Если вы решили бежать с вашим Джонсом, кто же способен вас удержать?

— Честное слово, сударыня, вы меня обижаете. Я ни с кем не намерена бежать и не выйду замуж против желания отца.

— Хорошо, мисс Вестерн,— сказала леди,— если вы не расположены принимать гостей, так можете уйти к себе в комнату. Не в пример вам, я не боюсь лорда и велю просить его в свою туалетную.

Софья поблагодарила ее и удалилась; тотчас же после этого Фелламар был проведен к леди.

## ГЛАВА IV,

*из которой будет видно, какой опасный адвокат женщина, когда она применяет свое красноречие в защиту дурного дела*

Выслушав сомнения юного лорда, леди Белластон отнеслась к ним с таким же презрением, с каким мудрые знатоки закона, известные под именем ньюгетских ходатаев, обходятся с угрызениями совести новичка-свидетеля.

— Вы нездоровы, милорд,— сказала она,— вам нужно принять лекарство. Придется послать к леди Эджли за каплями. Стыдитесь! Надо иметь больше мужества. Неужели вас так пугает слово «похищение»? Или вы так щепетильны?.. Право, случись история с Еленой в наше время, я бы ей не поверила, то есть не поверила бы смелости Париса, а не любви героини: все женщины любят отважных мужчин. Существует также история о похищении сабинянок,— но и она, слава богу, очень древняя. Вашу светлость, может быть, удивит моя начитанность, но, помнится, мистер Гук говорит, что из них вышли потом отличные жены. А из знакомых мне замужних дам немногие, кажется, были взяты своими мужьями насильно.

— Не смейтесь надо мной так безжалостно, дорогая леди Белластон,— взмолился лорд Фелламар.

— Да неужели вы думаете, дорогой мой, что в Англии найдется хоть одна женщина, которая в душе не посмеялась бы над вами, какой бы недотрогой она ни казалась с виду?.. Вы заставляете меня высказывать странные вещи и выдавать заветные тайны моего пола, но я утешаюсь сознанием честности своих намерений и тем, что стремлюсь оказать кузине услугу: ведь я все же рассчитываю, что вы будете ей, несмотря на это, хорошим мужем,— я ни за что не посоветовала бы ей отдать себя пустому титулу. Мне было бы неприятно выслушивать потом ее упреки, что по моей милости она упустила человека с характером, потому что даже враги не отрицают этого качества в вашем несчастном сопернике.

Пусть те, кто имел удовольствие выслушивать подобные рассуждения от жены или любовницы, скажут, слаще ли они становятся оттого, что исходят из женских уст. Несомненно только, что они запали в душу лорда глубже всего того, что могли бы сказать по этому поводу Демосфен или Цицерон.

Заметив, что гордость юного лорда воспламенилась, леди Белластон, как искусный оратор, начала разжигать ей в помощь другие страсти.

— Милорд,— сказала она серьезным тоном,— благоволите вспомнить, что вы первый заговорили об этом, ибо мне вовсе не хотелось бы оставлять в вас впечатление, будто я навязываю вам свою кузину. Восемьдесят тысяч фунтов говорят сами за себя, они не нуждаются в адвокате.

— Как и мисс Вестерн не нуждается в таком приданом,— отвечал лорд,— ни у одной женщины, по-моему, нет и половины ее прелестей.

— Ах, милорд,— возразила леди Белластон, смотрясь в зеркало,— смею вас уверить, были женщины и получше ее; впрочем, я ничуть не желаю умалять ее красоту: она действительно очаровательная девушка — и через несколько часов окажется в объятиях человека, который совершенно ее не заслуживает, хотя, надо отдать ему справедливость, характера он смелого.

— Надеюсь, сударыня,— сказал лорд,— хоть и должен признать, что он ее не заслуживает, ибо если небо или ваша светлость не обманут моих надежд, так она еще сегодня будет моей.

— Хорошо сказано, милорд,— отвечала леди.— Можете быть спокойны, я вас не подведу и на этой же неделе надеюсь назвать вас публично родственником.

Дальнейший их разговор состоял из восклицаний, извинений и комплиментов, которые приятно слышать от собеседника, но очень скучно читать в пересказе. Закончим же здесь этот диалог и перенесемся к роковому часу, когда все было подготовлено к гибели бедной Софьи.

Но так как это самое трагическое происшествие во всей нашей истории, то мы посвятим ему отдельную главу.

## ГЛАВА V,

*содержание которой отчасти возмутит, отчасти поразит читателя*

Часы пробили семь. Бедная Софья, одинокая и печальная, сидела за чтением трагедии. То был «Роковой брак», и она дошла до сцены, где несчастная Изабелла расстается со своим обручальным кольцом.

Книга выпала у нее из рук, и слезы градом покатились на грудь. В этом положении она оставалась несколько минут, как вдруг дверь отворилась и вошел лорд Фелламар. Софья вскочила со стула при его появлении, а лорд, подойдя ближе, сказал с низким поклоном;

— Боюсь, мисс Вестерн, я вторгаюсь к вам довольно бесцеремонно.

— Да, милорд, должна сознаться, я несколько удивлена вашим неожиданным посещением.

— Если мое посещение неожиданно, сударыня,— отвечал лорд Фелламар,— значит, мои глаза плохо выражали мои чувства, когда я в последний раз имел честь вас видеть, в противном случае вы нашли бы вполне естественным появление у вас человека, сердце которого вы похитили.

Несмотря на все свое смущение, Софья ответила на эту напыщенную фразу (и вполне справедливо, мне кажется) презрительным взглядом. Лорд произнес тогда другую в том же роде, еще более витиеватую. Софья, вся дрожа, отвечала:

— Вы, видно, с ума сошли, ваша светлость. Право, милорд, иначе нельзя оправдать ваше поведение.

— Да, я действительно не в своем уме, сударыня! — воскликнул он.— Но вы должны простить мне следствия безумства, которому вы сами причиной. Любовь совершенно отняла у меня рассудок, и я почти не соображаю, что делаю.

— Честное слово, милорд, я не понимаю ни ваших слов, ни вашего поведения.

— Так позвольте же мне, сударыня, объясниться у ваших ног, позвольте открыть мою душу и сказать, что я влюблен в вас до потери чувств. О дивное, божественное создание! Какой язык может выразить чувства моего сердца?

— Уверяю вас, милорд,— сказала Софья, делая движение к выходу,— я не стану больше слушать ни одного вашего слова.

— О, не покидайте меня так жестоко! Если бы вы знали хоть половину моих мук, ваше нежное сердце пожалело бы то, что наделали ваши глаза.

Тут, испустив глубокий вздох, он схватил ее за руку и несколько минут говорил в стиле, который доставит читателю столь же мало удовольствия, сколь он доставил его Софье; окончил лорд заявлением, что, будь он властелином мира, он поверг бы его к ее ногам.

— А я, сэр,— гневно отвечала Софья, вырывая у него руку,— с одинаковым презрением отвергла бы и ваш мир, и его властелина.

С этими словами она направилась к двери, но лорд Фелламар опять схватил ее за руку и сказал:

— Простите, ангел мой, вольность, до которой довело меня только отчаяние... Поверьте, если бы я мог надеяться, что вы согласитесь принять мое звание и мое состояние, ничтожные только по сравнению с вашими прелестями, я смиренно предло-

жил бы их вам... Но я не в силах лишиться вас... Клянусь небом, я скорее расстанусь с жизнью!.. Вы моя, вы должны быть и будете моей!

— Умоляю вас, милорд, оставьте ваше домогательство,— отвечала Софья.— Клянусь вам честью, я не хочу и слушать об этом. Пустите мою руку, милорд; я ухожу сию минуту и не желаю больше вас видеть.

— В таком случае, сударыня, я не должен терять ни одного мгновения, потому что не могу и не хочу жить без вас...

— Что это значит, милорд? Я подниму тревогу, позову людей.

— Я ничего не боюсь, сударыня, только бы мне не лишиться вас: я предотвращу это несчастье единственным способом, какой остался в моем отчаянном положении.

С этими словами он заключил ее в свои объятия, и Софья закричала так пронзительно, что кто-нибудь непременно прибежал бы ей на помощь, если бы леди Белластон не позаботилась удалить все уши.

Но счастливый случай выручил Софью: в ту же минуту раздался другой голос, почти заглушивший ее вопль; по всему дому гремело:

— Где она? Я мигом ее найду, черт возьми! Покажи мне ее комнату, говорю! Где моя дочь? Я знаю, она здесь, в этом доме, и я увижу ее, если она жива! Покажи, где она!

С этими словами двери распахнулись, и в комнату вошел сквайр Вестерн в сопровождении священника и целого отряда мирмидонян.

Как плачевно должно было быть положение несчастной Софьи, если бешеный крик отца обрадовал слух ее! Действительно, появление его было для нее счастьем, потому что только оно одно на свете способно было спасти девушку от беды, которая навсегда лишила бы ее душевного мира.

Несмотря на испуг, Софья сразу узнала голос отца, а его светлость, несмотря на все ослепление страсти, узнал голос рассудка, повелительно заявившего ему, что сейчас не время совершать задуманную гнусность. Услышав, таким образом, приближающийся голос и поняв, чей он (потому что сквайр не раз прокричал слово «дочь», равно как и Софья в разгаре борьбы звала отца), Фелламар счел благоразумным оставить свою добычу, успев только измять ее шейный платок и насильно прижаться губами к ее нежной шее.

Если мне не придет на помощь воображение самого читателя, я не в состоянии буду описать положение нашей парочки в минуту появления Вестерна. Софья кое-как добрела до стула и

упала на него, растерзанная, бледная, запыхавшаяся, пылая негодованием на лорда Фелламара, испуганная и в то же время обрадованная приходом отца.

Его светлость сидел возле нее, парик его съехал на плечо, костюм был в беспорядке, из-под кафтана выглядывало белье больше, чем требовала мода. Сам он был изумлен, испуган, раздосадован и пристыжен.

Что же касается сквайра Вестерна, то в эту минуту он был сражен врагом, так часто преследующим и почти всегда одолевающим деревенских джентльменов нашего королевства,— попросту говоря, он был пьян. Обстоятельство это в соединении с его природной запальчивостью могло иметь следствием только то, что он немедленно подбежал к дочери и накинулся на нее с самой площадной бранью; он пустил бы в ход и кулаки, если бы не вмешался священник, обратившийся к нему с таким увещанием:

— Ради бога, сэр, не забывайте, что вы в доме знатной дамы. Прошу вас, укротите свой гнев; сердце ваше должно наполниться радостью по случаю обретения вашей дочери. Оставьте мщение, оно принадлежит не нам. Я вижу на лице мисс Софьи глубокое сокрушенье и уверен, что, если вы ее простите, она раскается во всех прошлых грехах и возвратится к повиновению.

Сила мышц священника принесла Софье больше пользы, чем сила его красноречия. Впрочем, последние его слова произвели известное действие, и сквайр отвечал:

— Я прощу ей, если она за него пойдет. Если ты пойдешь за него, Софья, я все тебе прощу Чего ж ты молчишь? Ты выйдешь за него, черт меня побери, выйдешь! Чего ж ты не отвечаешь? Экая упрямая стерва!

— Прошу вас, сэр, будьте сдержанней на язык,— сказал священник,— вы так напугали вашу дочь, что она не в силах произнести ни слова.

— Убирайся ты к ... ! — отвечал сквайр.— Значит, ты берешь ее сторону? Хорош священник, нечего сказать: заступается за непокорную дочь! Теперь черта с два получишь от меня приход! Скорее отдам его самому дьяволу!

— Покорнейше прошу прощения,— проговорил священник,— смею уверить вашу милость, я совсем не то разумел.

В эту минуту в комнату вошла леди Белластон и направилась прямо к сквайру, который, следуя наставлениям сестры, низко ей поклонился на деревенский лад, сказал несколько любезностей и тотчас же перешел к жалобам:

— Вот, дражайшая кузина, вот перед вами самая непокорная дочь на свете: влюбилась по уши в нищего бродягу и не хочет

выйти за одного из лучших женихов в Англии, за которого мы ее просватали.

— Право, любезный кузен, вы несправедливы к вашей дочери,— отвечала леди.— Поверьте, что она не так неблагоразумна и, конечно, не откажется от партии, выгоды которой не может не сознавать.

Леди Белластон умышленно делала ошибку: она хорошо знала, кого имеет в виду мистер Вестерн, но, вероятно, считала, что его легко будет склонить к принятию предложения лорда.

— Слышишь, что говорит миледи? — обрадовался сквайр.— Все твои родные за эту партию. Полно, Софи, будь умницей, будь послушной, осчастливь своего отца.

— Если смерть моя может вас осчастливить,— отвечала Софья,— то вы скоро будете счастливы.

— Это ложь, Софи, гнусная ложь, ты это знаешь,— сказал сквайр.

— Да, мисс Вестерн, вы оскорбляете своего отца,— заметила леди Белластон.— Ведь он заботится только о вашем благе, настаивая на этом браке. Я и все ваши друзья не можем не признать большой честью для всех нас сделанное вам предложение.

— Да, все мы, все,— подхватил сквайр.— Ведь не я это затеял. Леди знает, что мысль была мне подана твоей теткой... Полно же, Софи, еще раз прошу тебя: будь умницей и дай мне сейчас, при кузине, свое согласие.

— Позвольте мне соединить ваши руки, кузина,— сказала леди Белластон.— Теперь не в моде терять время на ухаживанье.

— И правильно!—сказал сквайр. — Разве мало будет времени заняться этим потом? После венца извольте, никто вам не помешает!

Прекрасно зная, что леди Белластон имеет в виду его, и никогда не слышав ни слова о Блайфиле, лорд Фелламар был в полной уверенности, что и отец Софьи говорит о нем. Поэтому он подошел к сквайру и сказал:

— Хотя я и не имею чести, сэр, быть с вами знакомым, но так как вы соблаговолили принять мое предложение, то позвольте мне вступиться, сэр, и просить вас не вынуждать согласия у вашей дочери сию минуту.

— Вступиться! — воскликнул сквайр.— Да кто вы такой, милостивый государь?

— Я лорд Фелламар, сэр; я тот счастливец, кого, надеюсь, вы удостоите чести назвать своим зятем.

— Вот сукин сын, даром что в расшитом кафтане! — выругался сквайр.— Зятем! Да убирайся ты к черту!

— Конечно, я снесу от вас, сэр, больше, чем от всякого дру-

гого,— отвечал лорд,— но должен сказать вам, что я не привык к подобному языку и обижен.

— Ну и обижайся на здоровье! — продолжал сквайр.— Не думай, что я испугался такого ферта, как ты, оттого что у тебя прут сбоку болтается! Скинь-ка его, и я тебе покажу, как не в свои дела соваться! Я тебя научу, как тестем меня звать! Повыколочу твой кафтан!

— Довольно, сэр,— сказал милорд,— я не позволю себе бесчинства в присутствии дам. Я вполне удовлетворен. Ваш покорный слуга, сэр! Леди Белластон, мое вам нижайшее!

Когда он вышел, леди Белластон укоризненно сказала:

— Боже мой, сэр, что вы наделали! Вы не знаете, кого вы оскорбили: это человек очень знатный и богатый; вчера он сделал вашей дочери предложение, и я не сомневаюсь, что вы его приняли бы с величайшим удовольствием.

— Распоряжайтесь за себя, любезнейшая кузина,— отвечал сквайр,— а я не желаю иметь дела с вашими лордами. Дочь моя выйдет за честного деревенского джентльмена; я ей отыскал жениха, и она будет его женой. Сердечно жалею, что она причинила вашей светлости столько беспокойства.

Леди Белластон произнесла какую-то учтивую фразу насчет беспокойства, на которую сквайр отвечал:

— Вы очень добры, и я всегда готов столько же услужить вашей светлости,— на то мы и родственники. Засим желаю вам покойной ночи... Идем, сударыня! Если не пойдешь волей, так я велю внести тебя в карету.

Софья отвечала, что уедет добровольно, но попросила разрешения сесть в портшез, потому что не в состоянии передвигаться другим способом.

— Уж не вздумаешь ли, голубушка, уверять меня, что не можешь ехать в карете? Скажите какие нежности! Нет, нет, будь покойна: теперь глаз с тебя не спущу, пока не выйдешь замуж!

Софья отвечала, что видит, что отец решил разбить ей сердце.

— Велика важность, если тебе его разобьет хороший муж! — воскликнул сквайр.— Гроша медного, полушки не дам за непокорную дочь! — И он силой потащил ее за руку.

Тут снова вмешался священник, прося сквайра обращаться с дочерью деликатнее. Мистер Вестерн только громко выругался и приказал ему придержать свой язык.

— Ты ведь не на церковной кафедре. Там можешь себе врать, что угодно, а я не позволю попам ездить на мне верхом и учить, как себя вести. Желаю вам спокойной ночи, сударыня! Пойдем, Софи! Будь умницей, и все будет хорошо. Выйдешь за него, голубушка, выйдешь!

Внизу встретила их миссис Гонора и, низко поклонившись сквайру, изъявила желание сопровождать свою госпожу; но он оттолкнул ее со словами:

— Проваливай, сударыня, проваливай. Чтоб ноги твоей больше не было в моем доме!

— Как, вы отнимаете у меня и мою горничную? — сказала Софи.

— Да, сударыня, отнимаю,— отвечал сквайр.— Не бойся, без горничной не останешься, достану тебе другую девушку, получше этой. Девушка! Ставлю пять фунтов против пяти шиллингов, что она такая же девушка, как моя бабушка. Нет, Софи, больше она не будет устраивать побегов, дудки!

И сквайр усадил дочь и священника в наемную карету, сел сам и приказал кучеру ехать в дом, где он остановился. Дорогой он оставил Софью в покое и развлекался чтением наставлений священнику, как должно вести себя перед людьми, выше нас стоящими.

Возможно, что ему не удалось бы так легко увезти дочь от леди Белластон, если бы эта почтенная дама пожелала ее удержать, но леди только радовалась предстоящему заточению Софьи; и так как ее план в отношении лорда Фелламара потерпел крушение, то она была очень довольна, что соперницу собираются насильно выдать за другого.

## ГЛАВА VI

*Каким образом сквайру удалось отыскать свою дочь*

Хотя читателю приходится безропотно мириться с присутствием во многих книгах и более непостижимых событий, чем появление мистера Вестерна, мы от всего сердца готовы сделать ему любое удовольствие и потому расскажем, каким образом сквайр открыл местопребывание своей дочери.

В третьей главе тринадцатой книги мы намекнули (ибо не в нашем обычае сообщать раньше времени более того, что требуется по ходу повествования), что миссис Фитцпатрик, очень желавшая примириться с дядей и теткой Вестерн, сочла, что ей представляется для этого удобный случай, если она окажет им услугу, удержав Софью от того самого поступка, который навлек на нее гнев родных. После долгих размышлений миссис Фитцпатрик решила уведомить тетушку Вестерн о местонахождении Софьи и с этой целью написала ей следующее письмо, которое мы по многим причинам приводим дословно:

«Досточтимая тетушка!

Причина, побуждающая меня взяться за перо, заставит, может быть, дорогую тетушку принять благосклонно мое письмо, хотя бы ради одной из ее племянниц,— другая имеет мало оснований надеяться на такое счастье.

Итак, без дальнейших предисловий скажу, что, отправившись в путь с намерением броситься к вашим ногам, я, по самому странному стечению обстоятельств, встретилась с кузиной Софьей, история которой вам известна лучше, чем мне, хотя, увы, и я знаю ее слишком достаточно — достаточно, чтобы видеть, как близка кузина, если не принять немедленных мер, к повторению роковой ошибки, которую, на свое несчастье, совершила я, по глупости и неведению не пожелав последовать вашим мудрым и предусмотрительным советам.

Словом, я его видела, я провела почти весь вчерашний день в его обществе, и должна признаться, что это обаятельный молодой человек. Как он со мной познакомился, скучно сейчас рассказывать, но сегодня утром я переменила квартиру, чтобы он не открыл при помощи свидания со мной, где живет кузина. Он этого еще не знает и не должен знать, пока дядя не принял мер для ее безопасности. Поэтому нельзя терять времени, и мне надо лишь сообщить вам, что она у леди Белластон, с которой я виделась и которая, кажется, намерена скрыть ее от родных. Вы знаете, сударыня, странности этой женщины; однако мне меньше всего пристало давать советы особе столь проницательного ума и обладающей таким великим знанием света,— потому сообщаю вам только голый факт.

Надеюсь, сударыня, что это доказательство заботливости моей о благе родных поможет мне снова снискать благосклонность особы, всегда с таким усердием ограждавшей честь и истинные выгоды нас всех, и послужит средством вернуть ваше дружеское расположение, составлявшее такую существенную часть моего счастья в прошлом и столь необходимое для него в будущем.

С глубочайшим почтением,
досточтимая тетушка,
ваша благодарная, почтительная племянница
и покорнейшая слуга

*Гарриет Фитцпатрик*».

Миссис Вестерн находилась теперь в доме брата, где жила со времени бегства Софьи, чтобы доставлять утешение бедному сквайру в постигшем его несчастье. Какого рода было это уте-

шение, отпускавшееся ею ежедневными порциями, читатель уже знает из предшествующих глав.

Письмо миссис Фитцпатрик было ей подано как раз в ту минуту, когда она, стоя спиной к камину со щепоткой нюхательного табаку, преподносила сквайру, курившему послеобеденную трубку, эту ежедневную дозу утешения. Прочитав письмо, она тотчас же передала его брату со словами:

— Вот, сэр, известие о вашей заблудшей овечке. Судьба возвращает вам ее; и если вы послушаетесь моих советов, так, может быть, ее удастся еще спасти.

Пробежав письмо, сквайр сорвался с места, швырнул трубку в огонь и от радости закричал «ура»; потом кликнул слуг, велел подать себе ботфорты, приказал оседлать Кавалера и других лошадей и немедленно послать за священником Саплом. Отдав эти распоряжения, он бросился к сестре и сжал ее в объятиях.

— Черт возьми, да вы как будто недовольны! — воскликнул он.— Можно подумать, вам досадно, что я нашел дочь.

— Братец,— отвечала она,— глубокие политики, смотрящие в корень, открывают часто перспективы, совершенно непохожие на то, что видно на поверхности вещей. Правда, дело ваше не так отчаянно, как были дела Голландии, когда Людовик XIV стоял у ворот Амстердама, но оно требует деликатности, которой, извините меня, братец, вам сильно недостает. В обращении с дамой, занимающей такое высокое положение в свете, как леди Белластон, надо соблюдать приличия, которые требуют, боюсь, лучшего знания света, чем ваше.

— Я знаю, сестрица, что вы невысокого мнения о моих дарованиях, но в этом деле я покажу вам, какой я дурак. Знание света — подумаешь! Прожив так долго в деревне, я приобрел кой-какие знания насчет законов и обычаев страны. Я знаю, что имею право взять свое, где бы я его ни нашел. Покажите мне, где моя дочь, и если я не сумею ее достать, то можете называть меня дураком до конца дней моих. В Лондоне есть мировые судьи, как и в других местах.

— Право, вы заставляете меня дрожать за исход предприятия, которое, если вы послушаетесь моего совета, может быть успешно доведено до конца. Неужели вы действительно воображаете, братец, что в дом знатной женщины можно проникнуть с приказами об аресте и с помощью этих скотов, мировых судей? Я вас научу, как поступить. Приехав в столицу и прилично одевшись (а надо сказать, братец, что для этого не годится ни один из ваших теперешних костюмов), вы должны послать приветствие леди Белластон и просить позволения явиться к ней. Когда вы будете к ней допущены,— а она, разумеется, вас при-

мет,— изложите ей ваше дело, не забыв при этом упомянуть мое имя (потому что вы хоть и родственники, а едва ли в лицо друг друга видели), и я уверена, что она лишит своего покровительства племянницу, которая, наверно, ее обманула. Это единственный способ действия... Мировые судьи! Да неужто вы думаете, что в цивилизованном государстве допустимо такое обращение с знатной дамой?

— Черт бы побрал всех этих барынь! — не унимался сквайр.— Нечего сказать, хорошо цивилизованное государство, где женщина выше закона! И с какой стати буду я посылать приветствия какой-то паршивой шлюхе, которая прячет дочь от родного отца? Повторяю вам, сестра, я не такой невежда, как вы думаете... Я знаю, вам бы хотелось поставить женщин выше закона,— да шалишь! Я слышал собственными ушами, как главный судья графства сказал на сессии, что в Англии нет человека, который стоял бы выше закона. Но ваш закон, видно, ганноверский!

— Я вижу, мистер Вестерн, что вы делаетесь с каждым днем все невежественнее. Ну настоящий медведь!

— Я такой же медведь, как вы медведица, сестра,— возразил сквайр.— Толкуйте сколько угодно о своей учтивости, только я, ей-ей, не вижу ее в обращении со мной. Я не медведь и не кобель, хоть и знаю кой-кого, чье имя начинается с буквы с... Но к дьяволу это! Я докажу вам, что умею вести себя получше других!

— Можете говорить, что вам угодно, мистер Вестерн,— отвечала сестрица.— Je vous méprise de tout mon coeur[1] и потому не буду сердиться. Впрочем, как справедливо говорит моя племянница с этой ужасной ирландской фамилией, мне так дороги честь и истинные выгоды моих родных, что ради спасения Софьи я решила сама ехать в Лондон, потому что, ей-ей, братец, вы неподходящий посол при цивилизованном дворе... Гренландия, Гренландия — вот где вести переговоры такому мужлану, как вы.

— Слава богу, я перестал вас понимать: опять вы принялись за свою ганноверскую тарабарщину. Однако же по части учтивости я вам не уступлю, и если вы не сердитесь за мои слова, то и я не сержусь за то, что вы сказали. Я всегда думал, что родственникам глупо ссориться между собой; оно, конечно, случается иногда погорячиться, но потом отходишь; я не злопамятен. Это очень мило, что вы едете в Лондон, я был там всего два раза в жизни, и то недели по две — не больше, и, понятно, не успел за это время познакомиться как следует с улицами и людьми. Я никогда не отрицал, что вы знаете все это лучше меня. Мне спорить

[1] Презираю вас от всего сердца *(франц.)*.

об этом с вами было бы все равно, что вам спорить со мной, как вести свору гончих или искать зайца.

— Могу вас уверить, что никогда об этом спорить не буду.

— Ну и я никогда не буду спорить о том.

Тут между враждующими сторонами, употребляя выражение миссис Вестерн, был заключен союз. Вскоре явился священник, были поданы лошади, и сквайр уехал, обещав последовать наставлению сестры, а сама она начала готовиться к отъезду на следующий день.

Дорóгой сквайр рассказал священнику положение дела, и они сообща решили, что можно спокойно обойтись и без предписанных формальностей; сквайр поэтому передумал и по приезде распорядился, как уже было описано.

## ГЛАВА VII,

*в которой беднягу Джонса постигают разные несчастья*

В таком положении находились дела, когда миссис Гонора явилась, как мы видели, в дом миссис Миллер и вызвала Джонса. Оставшись с ним наедине, она начала так:

— Мистер Джонс, голубчик! Прямо сил нет рассказать! Пропали мы все — и вы, сэр, и бедная моя барышня, и я!

— Случилось что-нибудь с Софьей? — спросил Джонс, посмотрев на нее безумными глазами.

— Да уж хуже и быть не может! — отвечала Гонора.— Ах, другой такой госпожи мне не сыскать! Довелось же дожить до такого дня!

При этих словах Джонс побледнел как полотно, задрожал, и слова застряли у него в горле. Между тем Гонора продолжала:

— Ах, мистер Джонс, я навсегда потеряла свою барышню!

— Как? Что? Ради бога, говорите! О, моя милая Софья!

— Что правда, то правда,— такая уж она была милая со мной! Другого такого места уж не сыскать!

— К черту ваше место! — воскликнул Джонс.— Где... что... что случилось с Софьей?

— Ну да, конечно, слуг можно посылать к черту,—обиделась Гонора.— Вам все равно, что бы с ними ни случилось, хоть бы их выгнали вон на улицу. Мы ведь не из такой же плоти и крови, как другие люди,— так не все ли равно, что с нами станется.

— Если у вас есть хоть капля жалости или сострадания,— воскликнул Джонс,— скажите мне сейчас же, что случилось с Софьей!

— Верьте слову, я жалею вас больше, чем вы меня,— отвечала Гонора,— ведь я не посылаю вас к черту оттого, что вы потеряли такое золото-барышню. Да, вас нужно пожалеть и меня тоже; честное слово, если была когда-нибудь добрая госпожа...

— Да что случилось?! — закричал взбешенный Джонс.

— Что?.. Что? — отвечала Гонора.— Да то, чего хуже не может быть ни для вас, ни для меня: отец приехал в Лондон и увез ее от вас.

Джонс упал на колени и возблагодарил бога, что не случилось ничего хуже.

— Да что же может быть хуже для нас с вами? Он увез ее, поклявшись, что она будет женой мистера Блайфила,— вот вам подарочек; а меня, несчастную, совсем выгнал вон.

— Право, миссис Гонора, вы перепугали меня до полусмерти. Я вообразил, что с Софьей случилось что-нибудь ужасное — что-нибудь такое, по сравнению с чем даже ее брак с Блайфилом пустяки. Но она жива, а где жизнь, там и надежда, дорогая Гонора. В нашей стране свободы женщину нельзя выдать замуж насильно.

— Ваша правда, сэр. Вы можете еще надеяться; но, увы, какие надежды могут быть у меня, несчастной? И надо вам знать, сэр, я страдаю все по вашей милости. Сквайр разгневался на меня за то, что я взяла вашу сторону против мистера Блайфила.

— Поверьте, миссис Гонора, я живо чувствую все ваши услуги и всеми силами постараюсь вознаградить вас.

— Ах, сэр, что может вознаградить слугу за потерю места, кроме получения другого — такого же хорошего?

— Не отчаивайтесь, миссис Гонора, я надеюсь восстановить вас на прежнем.

— Увы, сэр, могу ли я ласкать себя такими надеждами, зная, что они несбыточны? Ведь сквайр крепко зол на меня. Вот разве вы женитесь на моей барышне,— теперь я твердо надеюсь, что женитесь: вы такой щедрый, такой добрый барин; и я уверена, вы ее любите, и она души в вас не чает,— ни к чему это отрицать, ведь всякий, кто хоть немного знаком с моей барышней, это увидит: она, бедняжка, притворяться не умеет; а кому же и быть счастливыми, если не тем, кто друг друга любит? Счастье не всегда в богатстве,— а впрочем, у моей барышни достанет его на двоих. Уж как жаль будет, если такую парочку да разведут. Но нет, я уверена, что напоследок вы все-таки сойдетесь: чему быть, того не миновать. Если брак совершен на небесах, так уж никакому мировому судье его не развести. Хорошо, кабы отец Сапл был посмелее да сказал бы сквайру, что грешно си-

лой выдавать дочь против ее желания; но он в полной зависимости от сквайра; он, бедняга, хоть и очень набожный и говорит, что нехорошо так делать, да только за спиной у сквайра, а в глаза ему и пикнуть не смеет. На сей раз, правда, он немного расхрабрился: я никогда его таким не видела, боялась, что сквайр его прибьет. Не грустите, сэр, не отчаивайтесь, все еще может обернуться к лучшему: пока вы уверены в моей барышне,— а в ней вы можете быть уверены,— она ни за что не согласится выйти за другого. Только я до смерти боюсь, как бы сквайр сгоряча не сделал ей худа: он ведь ух какой горячий! Боюсь, разобьет он бедной барышне сердечко, потому что оно у нее нежное, как у цыпленка. Жаль, что у ней нет ни на волос моей смелости. Кабы я кого любила, а отец вздумал бы посадить меня под замок, я бы глаза ему выцарапала, а уж до дружка своего добралась бы. Правда, приходится еще о приданом подумать: отец захочет — даст, не захочет — не даст, а это, понятно, меняет дело.

Слушал ли Джонс эти разглагольствования с напряженным вниманием, или же в речи Гоноры не было ни единой паузы — не знаю, только он ни разу не вставил ни слова от себя, а она говорила без умолку, пока в комнату не вбежал Партридж с известием, что приехала та важная дама.

Джонс попал в положение, отчаяннее которого невозможно себе представить. Гонора ничего не знала о его знакомстве с леди Белластон, и ей всех меньше желал бы он в этом признаться. Второпях, будучи подавлен полученными известиями, он придумал (как это обыкновенно бывает) самый худший выход и, вместо того чтобы выдать Гонору леди, что не имело бы никаких важных последствий, предпочел выдать леди Гоноре,— словом, он решил спрятать горничную, поспешно увел ее за кровать и задернул полог.

Хлопоты в течение целого дня по делу хозяйки и ее семьи, испуг, вызванный сообщением миссис Гоноры, и замешательство по случаю внезапного приезда леди Белластон совсем вышибли из памяти Джонса принятые им раньше решения; он и думать перестал, что ему следует играть роль больного, да с этой ролью не вязались ни нарядный костюм его, ни свежий вид.

Поэтому прием, оказанный им леди, больше отвечал ее желаниям, чем ожиданиям: лицо Джонса дышало напускным радушием и не носило ни малейших следов действительной или притворной болезни.

Войдя в комнату, леди Белластон первым делом уселась на кровать.

— Вы видите, голубчик Джонс,— сказала она,— ничто не в силах удержать меня надолго вдали от вас. Может быть, мне

следовало рассердиться на вас за то, что я целый день вас не видела и не получала никаких известий. Между тем, если судить по вашей наружности, болезнь не помешала бы вам выйти, да вряд ли вы и сидели целый день дома, разнаряженный, как молодая дама, принимающая гостей после родов. Не думайте, однако, что я намерена вас корить: я не хочу брать на себя роль докучной жены, чтобы не дать вам повода разыграть роль холодного мужа.

— Помилуйте, леди Белластон,— возразил Джонс,— как можно упрекать человека в невнимании, когда он был весь к вашим услугам? Кто из нас, дорогая, имеет основание жаловаться? Кто вчера не сдержал слова и заставил несчастного любовника ждать, тосковать, вздыхать и томиться?

— Ах, не говорите, дорогой мистер Джонс! — воскликнула леди.— Если бы вы знали, что мне помешало, вы бы меня пожалели. Вы не можете себе представить, сколько даме из общества приходится терпеть от назойливости глупцов, если она желает разыгрывать светскую комедию. Я рада, однако, что ваша скука и тоска вам не повредили: никогда я еще не видела вас таким цветущим. Честное слово, Джонс, вы можете сейчас позировать для статуи Адониса!

Есть обидные слова, на которые человек, дорожащий своей честью, может ответить только пощечиной. С другой стороны, у любовников есть, надо думать, выражения, на которые можно ответить только поцелуем. Таков, по-видимому, был комплимент леди Белластон Джонсу, особенно если принять во внимание сопровождавший его нежный взгляд, который был выразительнее всяких слов. Джонс, бесспорно, находился в эту минуту в неприятнейшем и тягостнейшем положении, какое можно себе представить, ибо, продолжая наше сравнение, мы можем сказать, что, несмотря на брошенный леди вызов, Джонс не мог получить и даже потребовать удовлетворения в присутствии третьего лица: поединки этого рода обыкновенно происходят без секундантов. Так как это возражение не приходило в голову леди Белластон, не знавшей о присутствии в комнате еще одной женщины, то она была очень удивлена, не получив от Джонса никакого ответа; а Джонс, сознавая свое смешное положение, стоял поодаль и, не смея ответить как следует, молчал. Нельзя было бы себе представить ничего комичнее и в то же время трагичнее этой сцены, если бы она затянулась еще дольше. Леди уже раза два-три переменилась в лице, вскочила с кровати и опять на нее села, а Джонс желал, чтобы пол под ним провалился или потолок на него обрушился, как вдруг неожиданный случай освободил его из затруднения, из которого ни красноре-

чие Цицерона, ни политика Макиавелли его не выручили бы без великого срама.

Этим спасительным случаем было прибытие Найтингейла-младшего, мертвецки пьяного, или, вернее, находившегося в том состоянии, когда человек перестает владеть рассудком, но еще владеет ногами.

Миссис Миллер и дочери ее уже спали, а Партридж курил трубку у кухонного очага; таким образом, Найтингейл беспрепятственно дошел до дверей комнаты мистера Джонса. Он их распахнул и уже собирался войти без церемонии, но Джонс сорвался с места и бросился ему навстречу настолько стремительно, что Найтингейл не успел даже переступить порог и разглядеть, кто сидит на кровати.

Найтингейл спьяна принял комнату Джонса за свою, поэтому он во что бы то ни стало хотел войти, громко заявляя, что его не имеют права не пускать в собственную постель. Джонс, однако, с ним справился и передал в руки Партриджа, поспешившего явиться на шум.

После этого Джонсу поневоле пришлось вернуться к себе в комнату. Только что он перешагнул порог, как услышал возглас леди Белластон — правда, не очень громкий — и в ту же минуту увидел, как она бросилась в кресло в таком волнении, что на ее месте женщина понежнее непременно лишилась бы чувств.

Дело в том, что, испуганная завязавшейся возней, исхода которой она не могла предвидеть, и слыша угрозы Найтингейла добраться до постели, леди попыталась спрятаться в знакомый ей уголок, но, к великому своему конфузу, нашла, что место уже занято.

— Разве так делают порядочные люди, мистер Джонс! — воскликнула она.— Какая низость!.. Осрамить меня перед какой-то дрянью!

— Дрянью! — вскричала взбешенная Гонора, выскакивая из-за полога.— Ах, вот оно что!.. Дрянь, говорите?.. Хоть я и бедная и дрянь, да я честная, а это не всякая богачка может про себя сказать.

Джонс, вместо того чтобы сразу же утихомирить миссис Гонору, как сделал бы более опытный волокита, принялся проклинать свою звезду и называть себя несчастнейшим человеком на свете, а потом, обратясь к леди Белластон, начал довольно неуклюже уверять ее в своей невинности. Тем временем к леди успело вернуться самообладание, свойственное всякой светской женщине, особенно в таких случаях, и она спокойно отвечала:

— Сэр, ваши извинения совершенно излишни: я вижу теперь, кто эта особа. Сначала я не узнала миссис Гоноры, но

теперь я, разумеется, не могу подозревать вас ни в чем дурном, а она, я в том уверена, женщина слишком рассудительная, чтобы дурно истолковать мое посещение; я всегда была к ней расположена и при случае докажу это расположение на деле.

Миссис Гонора была столько же вспыльчива, сколько и отходчива. Ласковый тон леди Белластон сразу укротил ее гнев.

— Я знаю, сударыня,— отвечала она,— и я всегда была признательна вашей светлости за доброту, никто ко мне так хорошо не относился, как ваша светлость... теперь, когда я вижу, что это ваша светлость, я, ей-богу, готова язык себе откусить за такие слова... Чтобы я дурно подумала о вашей светлости?.. Да разве служанке пристало судить о том, что делает такая леди?.. Впрочем, что я говорю? Бывшая служанка... я теперь никому больше не служу, несчастная... Я потеряла лучшую госпожу на свете...

Тут Гонора сочла уместным разразиться рыданиями.

— Не плачьте, душенька,— сказала добросердечная леди,— может быть, мне удастся вам помочь. Приходите ко мне завтра утром.

С этими словами она подняла с полу свой веер и, не удостоив Джонса даже взглядом, величественно вышла из комнаты: бесстыдство знатных женщин исполнено своего рода достоинства, которое тщетно пытаются проявить в подобных обстоятельствах простые смертные.

Джонс проводил леди по лестнице, не раз предложив ей руку, но она решительно отказалась от всяких услуг и села в портшез, не обращая внимания на его низкие поклоны.

По возвращении Джонса к себе в комнату произошел длинный разговор между ним и миссис Гонорой, приходившей понемногу в себя после испытанных ею волнений. Предметом разговора была неверность Джонса ее барышне. Гонора долго и укоризненно говорила на эту тему, пока Джонс не нашел наконец средство умиротворить ее и даже добился у нее обещания хранить все это в строжайшей тайне, постараться завтра же отыскать Софью и известить его о дальнейших шагах сквайра.

Так кончилось это неприятное приключение, к удовольствию одной лишь миссис Гоноры, ибо тайна (как, может быть, известно из опыта некоторым моим читателям) есть приобретение часто весьма выгодное не только для того, кто свято ее хранит, но и для того, кто шепотом передает ее первому встречному, пока она не доходит до ушей всех и каждого, за исключением простака, щедро заплатившего за мнимое сокрытие того, что известно всему свету.

## ГЛАВА VIII,

*краткая и приятная*

Несмотря на все услуги, оказанные ей Джонсом, миссис Миллер не могла удержаться на следующее утро от мягких замечаний своему жильцу по поводу урагана, бушевавшего ночью в его комнате. Но эти замечания были так умеренны и дружественны, они так явно диктовались заботой о благе самого мистера Джонса, что последний, нимало не обидевшись, принял увещание почтенной дамы с благодарностью, выразил большое сожаление по поводу случившегося, извинился, как мог, и обещал не производить больше такого беспорядка в ее доме.

Но хотя миссис Миллер не могла обойтись без этой маленькой головомойки при встрече со своим жильцом, однако он был приглашен вниз для гораздо приятнейшего дела, а именно: для исполнения обязанностей посаженого отца мисс Нанси на церемонии ее бракосочетания с мистером Найтингейлом, который был уже одет и настолько трезв, насколько должен быть трезв человек, получающий жену таким безрассудным способом.

Здесь, может быть, кстати будет рассказать, как этот молодой джентльмен ускользнул от своего дяди и почему он явился ночью домой в описанном выше состоянии.

Накануне, приехав с племянником к себе на квартиру, дядя велел подать вина, отчасти для ублаготворения собственной персоны (ибо был большим приверженцем бутылки), отчасти же чтобы удержать племянника от немедленного осуществления его намерения; он стал усердно потчевать молодого человека, а тот хоть и не питал большой склонности к вину, но и не гнушался им настолько, чтобы ослушаться дяди или огорчить его отказом, и в скором времени был совершенно пьян.

Только что дядя одержал эту победу и готовился уложить племянника в постель, как прибыл гонец с известием, которое настолько расстроило и потрясло старика, что он позабыл и думать о племяннике и всецело погрузился в собственные заботы.

Это неожиданное прискорбное известие состояло в том, что дочь его почти тотчас по отъезде отца убежала с молодым священником, их соседом; хотя у отца могло быть одно только возражение против ее выбора — именно, что священник не имеет гроша за душой, однако она не сочла нужным сообщить о своей любви даже столь снисходительному родителю, и вела она себя так ловко, что никто ничего не подозревал до самой минуты, когда все было кончено.

Старик Найтингейл по получении этого известия, в крайнем расстройстве, велел сию же минуту нанять почтовую карету и,

поручив племянника попечению слуги, поспешно уехал, едва соображая, что он делает и куда едет.

По отъезде дяди слуга пришел укладывать племянника в постель, для этого он его разбудил и с большим трудом растолковал, что дядюшка уехал; однако племянник, вместо того чтобы принять предлагаемые ему услуги, потребовал портшез, и слуга, не получивший насчет этого никаких распоряжений, охотно исполнил его желание. Доставленный таким образом в дом миссис Миллер, племянник кое-как добрался до комнаты мистера Джонса, о чем было уже рассказано.

Когда препятствие в лице дяди было устранено (хотя молодой Найтингейл не знал еще, каким образом), стороны быстро закончили свои приготовления, и мать, мистер Джонс, мистер Найтингейл и его невеста сели в наемную карету, которая отвезла их в «Докторскую коллегию»; там мисс Нанси скоро была сделана, как говорится, честной женщиной, а бедная мать ее, в истинном смысле слова, счастливейшей из смертных.

Увидя, что его хлопоты в пользу миссис Миллер и ее семьи увенчались полным успехом, мистер Джонс обратился к собственным делам. Но тут, чтобы читатели мои не назвали его глупцом за такую заботливость о других, а иные не усмотрели в его поведении больше бескорыстия, чем было в действительности, мы считаем нужным их уверить, что герой наш был далеко не бескорыстен и, доводя это предприятие до благополучного конца, получал значительную выгоду.

Этот кажущийся парадокс объясняется тем, что герой наш справедливо мог сказать про себя вместе с Теренцием: «Homo sum: humani nihil a me alienum puto»[1]. Он никогда не бывал равнодушным зрителем чужого горя или радости и чувствовал то и другое особенно сильно, когда сам в какой-то степени являлся их причиной. Он не мог, следовательно, исторгнуть целую семью из глубочайшего отчаяния и вознести на вершину счастья, не испытывая сам великого наслаждения — большего, пожалуй, чем то, какое часто доставляет людям окончание тяжелой работы или преодоление вопиющей несправедливости.

Читатели, похожие по своему душевному складу на нашего героя, найдут, я думаю, краткую главу эту весьма содержательной, тогда как другие были бы, вероятно, очень довольны, если бы, несмотря на свою краткость, она была вовсе опущена, как не ведущая к развязке — то есть, если я их правильно понимаю, не приближающая мистера Джонса к виселице или к какому-нибудь еще более ужасному концу.

---

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

## ГЛАВА IX,

*содержащая любовные письма разного рода*

По возвращении домой мистер Джонс нашел у себя на столе следующие письма, которые, по счастью, вскрыл в том порядке, в каком они были отправлены.

### Письмо первое

«Положительно я в каком-то странном умопомрачении: как бы ни были тверды и основательны мои решения, через минуту я их меняю. Прошедшей ночью я решила не видеть вас больше, а сегодня поутру готова выслушать, если вы можете, как говорится, обелить себя. Между тем я знаю, что это неосуществимо. Я мысленно перебрала все, что вы можете придумать... А может быть, и не все. Может быть, вы изобретательнее. Приходите, следовательно, тотчас же по получении этого письма. Если вы состряпаете какое-нибудь извинение, я почти обещаю вам поверить. Скомпрометировать меня перед... Нет, не могу и думать об этом... Приходите сейчас же... Это третье письмо, что я вам пишу: два первых сожжены... я почти готова сжечь и это... Ах, я совсем теряю рассудок... Приходите сию минуту».

### Письмо второе

«Если вы лелеете хоть какую-нибудь надежду на прощение или хотя бы на то, чтобы вас приняли в моем доме, приходите сию минуту».

### Письмо третье

«Оказывается, вас не было дома, когда вам принесли мои записки. Как только получите эту, приходите ко мне... Я не двинусь из дома и не велю принимать никого, кроме вас. Конечно, ничто вас не может задержать надолго».

Джонс только что прочитал эти три записки, как вошел мистер Найтингейл.

— Что это, Том? — спросил он.— Верно, послания от леди Белластон по поводу ночного приключения? (В доме уже все знали, кто была гостья.)

— От леди Белластон? — переспросил Джонс довольно суровым тоном.

— Полно, Том, не таитесь перед друзьями, хотя я был вчера слишком пьян, чтобы ее разглядеть, но я видел ее в маскараде. Или вы думаете, я не знаю, кто такая царица фей?

— И вы действительно узнали ее в маскараде?

— Честное слово, узнал и намекал вам об этом раз двадцать потом, да вы всегда были так скрытны на этот счет, что я не решался говорить прямо. Ваша крайняя щепетильность в этом деле, друг мой, показывает, что репутация леди не настолько знакома вам, как сама она. Не сердитесь, Том, но, клянусь вам, вы не первый молодой человек, которого она обольстила. Поверьте, честь ее не подвергается сейчас никакой опасности.

Хотя с самого начала своей интриги Джонс не имел никаких оснований принимать леди за весталку, однако, совершенно не зная столицы и почти не имея в ней знакомых, он не подозревал о существовании так называемых женщин легкого поведения, то есть таких, которые, сохраняя всю видимость добродетели, завязывают интригу с каждым приглянувшимся мужчиной и которых, за исключением немногих, слишком щепетильных дам, посещает, как говорится, весь город,— словом, которых все считают такими, какими, однако, никто их не называет.

Убедившись теперь, что Найтингейл знает подробно о его похождениях, и догадываясь, что чрезмерная деликатность, которой он отличался до сих пор, в данном случае, пожалуй, не требуется, Джонс дал волю языку приятеля и попросил его рассказать откровенно все, что тот знает или слышал о леди.

Найтингейл, в характере которого вообще было много женского, имел большую слабость: любил поболтать и посплетничать. Поэтому, получив от Джонса позволение говорить не стесняясь, он начал длинный рассказ о леди; но рассказ этот содержал столько подробностей, не делавших ей чести, что из уважения к светским женщинам мы не станем его здесь повторять. Мы не хотим подавать будущим нашим комментаторам ни малейшего повода для каких-либо злобных заключений и для выставления нас в роли клеветников, о которой мы и не помышляли.

Внимательно выслушав рассказ Найтингейла, Джонс глубоко вздохнул. Заметив это, Найтингейл воскликнул:

— Эге! Да уж не влюблен ли ты, голубчик? Если бы я знал, что история моя тебя огорчит, я бы и рта не раскрыл.

— Ах, дорогой мой, я так далеко зашел с этой женщиной, что не знаю, как и выпутаться. Влюблен! Нет, друг мой, но я ей обязан, очень многим обязан. Раз вы столько знаете, я буду с вами совершенно откровенен. Может быть, лишь благодаря ей у меня был это время кусок хлеба. Как же мне ее покинуть? А я должен это сделать, иначе буду повинен в самой черной измене другой женщине, неизмеримо более достойной,—женщине, дорогой Найтингейл, любимой мною со страстью, о какой немногие имеют понятие. Я с ума схожу, не знаю, что предпринять.

— А эта другая, простите, порядочная женщина? — спросил Найтингейл.

— Порядочная? — воскликнул Джонс.— Ничье грязное дыхание не смело коснуться ее имени. Горный воздух не чище, прозрачный ручей не светлее, чем ее честь. И телом и душой она само совершенство. Она прекраснейшее создание во вселенной и вместе с тем наделена такими благородными и возвышенными качествами души, что хотя я думаю о ней беспрестанно, но вспоминаю о красоте ее, лишь когда ее вижу.

— Так неужели, друг мой, владея подобным сокровищем, вы можете хоть минуту колебаться, оставить ли вам такую...

— Замолчите! Не оскорбляйте ее,— остановил его Джонс.— Я ненавижу наблагодарность.

— Ну, не вам первому она делает такого рода одолжения. Она замечательно щедра, если кто ей понравится; но позвольте мне сказать вам: она при этом так расчетлива, что ее щедрость скорее должна пробудить в мужчине тщеславие, чем внушить ему благодарность.

И Найтингейл так увлекся, заговорив на эту тему, и рассказал приятелю столько историй о леди Белластон, ручаясь за их достоверность, что в сердце Джонса погасло всякое к ней уважение, а также чувство признательности. Джонс начал видеть в ее милостях скорее жалованье, чем подарок, что роняло в его глазах не только дарительницу, но и его самого, и вызывало в нем сильнейшую досаду. От этого неприятного предмета мысли его, естественно, обратились к Софье; он живо представил себе ее добродетель, чистоту, любовь к нему, все, что ей пришлось из-за него вытерпеть,— и связь с леди Белластон показалась ему еще гнуснее. Следствием этого было то, что Джонс решил, если только найдется благовидный предлог, отказаться от своей должности — так смотрел он теперь на свои отношения к ней,— хотя это и лишало его куска хлеба. Он сообщил о своем решении приятелю, и Найтингейл, подумав немного, сказал:

— Нашел, голубчик! Я нашел вернейшее средство: предложите ей быть вашей женой. Голову даю на отсечение, что это подействует.

— Сделать ей предложение? — воскликнул Джонс.

— Да, да, сделайте предложение, и она мигом от вас откажется. Я знал одного молодого человека, которого она когда-то содержала; он всерьез сделал ей предложение и был в ту же минуту оставлен.

Джонс объявил, что у него не хватит смелости проделать такой опыт.

— Может быть, мое предложение не так ее шокирует,— сказал он.— Ну, а если она согласится, что тогда? Я попал в собственные сети и погиб навеки.

— Нет, я дам вам средство, с помощью которого вы можете выпутаться в любую минуту.

— Какое средство?

— А вот какое. Молодой человек, о котором я вам сказал, один из самых близких моих друзей. Леди успела с тех пор так ему напакостить, что он ужасно на нее зол и, я уверен, охотно покажет вам ее письма. Это послужит вам благовидным предлогом порвать с ней и отказаться от своего слова, пока узел еще не завязан, если она действительно вздумает его завязать. Но я убежден, что она этого не сделает.

После некоторого колебания Джонс согласился последовать совету приятеля, но объявил, что у него не хватит смелости сделать предложение устно. Тогда Найтингейл продиктовал ему следующее письмо:

«Милостивая государыня!

Я чрезвычайно огорчен, что злосчастная отлучка из дому помешала мне получить вовремя приказания вашей светлости; а мое вынужденное промедление с оправданиями только усугубляет вашу досаду. Ах, леди Белластон, я в ужасе от мысли, какой опасности подвергают вашу репутацию досадные случайности! Есть только одно средство оградить ее. Мне нет надобности его называть. Позвольте мне только сказать, что я дорожу вашей честью, как своей собственной, и мое единственное желание — удостоиться милости повергнуть свою свободу к вашим ногам. Поверьте, я не могу быть вполне счастлив, если вы великодушно не предоставите мне законного права назвать вас навсегда моей.

Пребываю, милостивая государыня,

с глубочайшим почтением,

вашей светлости премного обязанный

покорнейший, нижайший слуга

*Томас Джонс*».

На это письмо он немедленно получил следующий ответ:

«Сэр!

Читая ваше торжественное послание, такое холодное и церемонное, я готова была поклясться, что вы уже имеете то законное право, о котором говорите: что мы уже много лет составляем вместе уродливое существо, именуемое мужем и женой. Так вы в самом деле считаете меня дурой? Или воображаете себя способным

настолько свести меня с ума, что я отдам в ваше распоряжение все свои средства, которые позволят вам жить в свое удовольствие? Это ли доказательства любви, которых я ожидала? Этим вы благодарите за ...? Впрочем, считаю ниже своего достоинства укорять вас и восхищена вашим глубочайшим почтением.

P. S. Мне нет времени перечитать это письмо. Может быть, я сказала больше, чем хотела. Приходите вечером в восемь часов».

Джонс, по совету своего адвоката, отвечал:

«Милостивая государыня!

Невозможно выразить, как оскорбило меня ваше подозрение. Как могла леди Белластон подарить благосклонным вниманием человека, которого считает способным на такую низость? Как может она отзываться о священнейших узах любви с таким презрением? Неужели вы думаете, сударыня, что если, охваченный пылом страсти, я позабыл о подобающем уважении к вашей чести, то позволю себе продолжать сношения, которые едва ли могут долго укрыться от внимания света и, следовательно, окажутся роковыми для вашей репутации? Если вы такого мнения обо мне, то я при первой же возможности возвращу вам денежные подарки, которые имел несчастье получить от вас; за дары же более нежные навсегда пребуду и т. д.».

Письмо заключалось точно такими же словами, как и первое. Леди ответила так:

«Вижу, что вы мерзавец, и презираю вас от всей души. Если вы ко мне явитесь, то не будете приняты».

Как ни велика была радость Джонса по случаю освобождения от рабства, бремя которого, как знают все его носившие, далеко не из легких, все-таки на душе его было не совсем спокойно. План этот заключал в себе слишком много коварства, чтобы им остался доволен человек, ненавидящий всякую ложь и нечестность; да Джонс никогда бы и не прибегнул к нему, не окажись он в таком отчаянном положении, когда ему волей-неволей приходилось поступить бесчестно либо с одной дамой, либо с другой; а читатель согласится, что как нравственные побуждения, так и любовь говорили ему гораздо сильнее в пользу Софьи.

Найтингейл был в восторге от успеха своей выдумки, за которую получил множество благодарностей и похвал от своего приятеля.

— Мы оказали друг другу прямо противоположные услуги, дорогой Том,— сказал он.— Вы мне обязаны возвращением свободы, а я вам — утратой ее. Но если вы столько же счастливы, как и я, то мы, право, счастливейшие люди в целой Англии.

Тут оба джентльмена приглашены были к обеду, в приготовление которого миссис Миллер, сама исполнявшая обязанности кухарки, постаралась вложить все свое искусство, чтобы достойно отпраздновать свадьбу дочери. Это радостное событие она приписывала главным образом дружеской помощи Джонса; она была преисполнена благодарности к нему, и все взгляды, слова и действия почтенной вдовы так усердно выражали это чувство, что на долю дочери и даже новоиспеченного зятя перепадало очень мало внимания.

Сейчас же после обеда миссис Миллер получила письмо; но в этой главе уже и без того довольно было писем, а потому мы сообщим содержание его в следующей.

## ГЛАВА X,

*состоящая частью из фактов, частью из замечаний по их поводу*

Письмо, полученное в конце предыдущей главы, было от мистера Олверти. Он извещал, что едет в Лондон с племянником своим Блайфилом и просит, как всегда, приготовить для него помещение в первом этаже, а для племянника во втором.

Веселье, озарявшее до сих пор лицо бедной женщины, при этом известии немного омрачилось. Письмо порядком смутило ее. Отблагодарить новоиспеченного зятя за столь бескорыстный союз с дочерью, выпроводив его тотчас после свадьбы за двери, казалось ей непозволительным; с другой стороны, она не допускала и мысли отказать под каким-нибудь предлогом своему благодетелю в квартире, которая, в сущности, была его же собственностью. Надо сказать, что мистер Олверти, делая людям бесчисленные благодеяния, держался правил, диаметрально противоположных тем, какими руководится бо́льшая часть благотворителей: он всячески скрывал свою щедрость не только от посторонних, но и от тех, кому помогал. Слово «дать» он постоянно заменял словами «ссудить» или «заплатить» и, благодетельствуя человеку полными пригоршнями, словесно всегда старался умалить значение сделанного. Так, назначая миссис Миллер пенсию в пятьдесят фунтов стерлингов, он сказал, что платит эти деньги за квартиру в первом этаже, где будет останавливаться, приезжая в Лондон (чего почти вовсе не имел в виду), но в другое время она может ее сдавать,

так как он всегда будет извещать ее о своем приезде за месяц. Теперь, однако, он так торопился в столицу, что не имел возможности предупредить ее заранее и, вероятно, второпях забыл оговорить, что рассчитывает на свою квартиру только в том случае, если она свободна, потому что охотно отказался бы от нее и не по такой важной причине, как новоселье молодых.

Есть, однако, люди, которые, как превосходно замечает Прайор, руководятся в своих поступках кое-чем повыше

Морали правил прописных,
Застылых, внешних, неживых,—
Закона букву не блюдут...

Этих людей не удовлетворяет оправдательный приговор в Олд-Бейли и даже молчание суровейшего из судей — совести. Только благородное и честное им по душе, и если поступок их хоть немного ниже идеала, они томятся и тоскуют, не находя покоя, точно убийца, которого страшит призрак убитого или образ палача.

Миссис Миллер была из их числа. Она не могла скрыть тревоги, вызванной письмом; но едва только она познакомила присутствующих с его содержанием и намекнула на то, что ее в нем смущало, как Джонс, ее добрый ангел, тотчас же вывел ее из затруднения.

— Не тревожьтесь, сударыня,— сказал он,— мои комнаты в любую минуту к вашим услугам, а мистер Найтингейл, покуда он еще не приготовил приличного помещения для супруги, согласится, я уверен, вернуться в свою новую квартиру, куда не откажется последовать с ним и миссис Найтингейл.

Предложение это тотчас было принято мужем и женой.

Читатель легко поверит, что лицо миссис Миллер снова осветилось признательностью к Джонсу, пожалуй, труднее будет его убедить, что герой наш доставил любящей матери больше удовольствия и прямо-таки умилил ее не столько тем, что вывел из затруднения, сколько тем, что назвал дочь ее миссис Найтингейл, впервые поразив ее слух этим приятным именем.

Следующий день был назначен для переезда молодых, а также мистера Джонса, нанявшего себе помещение в том же доме, где поселился его приятель. Все успокоились и провели день очень весело, за исключением Джонса, который наружно, правда, присоединился к общему веселью, однако сердце его не раз мучительно сжималось при мысли о Софье, особенно в связи с известиями о мистере Блайфиле (ибо он прекрасно понимал цель его поездки в Лондон); в довершение всего миссис Гонора, обещавшая разузнать

о положении Софьи и принести ему известия на следующий вечер, обманула и не пришла.

При нынешних обстоятельствах Джонс едва ли мог надеяться на приятные вести; и все-таки он с мучительным нетерпением ждал миссис Гонору, точно она должна была явиться с письмом от Софьи, в котором ему назначалось свидание. Проистекало ли это нетерпение от естественной слабости человеческого ума, пробуждающей в нас желание знать самое худшее, только бы прекратить невыносимое состояние неизвестности, или из тайно лелеемой в душе надежды— решить не беремся. Но всякий, кто любил, отлично знает, как велика в таких случаях роль надежды. Ибо из всех способностей, создаваемых в душе любовью, удивительнее всего способность не терять надежды среди самого мрачного отчаяния. Трудного, невероятного и даже невозможного для нее совершенно не существует, так что к без памяти влюбленному приложимы слова Аддисона о Цезаре:

Пред ним крушатся Альпы, Пиренеи.

Впрочем, правда и то, что эта самая страсть делает горы из кротовых куч и ввергает человека в отчаяние среди самых блестящих надежд; но такие приступы уныния у здоровых натур непродолжительны. В каком душевном состоянии находился теперь Джонс, предоставляем догадываться читателю, потому что точными сведениями на этот счет не располагаем; верно только то, что, проведя два часа в ожидании, он не в силах был дольше скрывать свое беспокойство и удалился к себе в комнату. Тревога чуть не свела его с ума, но наконец пришло долгожданное письмо от миссис Гоноры, которое мы приводим дословно:

«Сэр!

Я бы непременно пришла к вам, согласно своему обещанию, если бы мне не помешала ее светлость; ведь вы хорошо знаете, сэр, что каждый заботится прежде всего о себе, а другого такого случая мне никогда не дождаться, и дура была бы я, кабы не приняла любезного предложения ее светлости взять меня в горничные, когда я ее и не просила об этом. Ей-богу, она прекраснейшая барыня на свете, и кто говорит обратное, тот в душе дурной человек. Может статься, я и сама говорила что-нибудь такое,— так это по невежеству, и я искренне об этом жалею. Я знаю, вы джентльмен благородный, и если я когда сболтнула что-нибудь такое, так вы не станете этого повторять и не захотите повредить бедной служанке, которая почитает вас больше всего на свете. Правду говорят: держи язык за зубами, потому что как знать, что может случиться; ведь скажи мне кто-нибудь вчера, что сегодня я буду на

таком хорошем месте, так я бы ни за что не поверила; мне, ей-богу, и во сне этого не снилось, да я никогда и не метила ни на чье место; но раз уж ее светлость была так добра предоставить мне его сама, без моей просьбы, так ни миссис Итоф и никому другому бранить меня не за что! Я только беру то, что само падает мне в руки. Пожалуйста, никому ни слова о том, что я вам сказала, а я желаю вашей чести всякого добра на свете, и, поверьте моему слову, мисс Софья вам все-таки достанется. Ну, а я, вы сами понимаете, не могу вам больше служить в этом деле, потому у меня есть теперь госпожа и я не вольна собою распоряжаться, и прошу вашу честь никому не рассказывать о том, что было. И верьте, сэр, остаюсь по гроб вашей чести покорная слуга

*Гонора Блакмор*».

Джонс терялся в догадках насчет этого шага леди Белластон, между тем как она хотела только удержать в стенах своего дома человека, знавшего ее тайну, и тем положить конец дальнейшему ее распространению; но главное — леди было нежелательно, чтобы тайна ее дошла до Софьи. Хотя молодая девушка была почти единственным лицом, которое ни за что не стало бы передавать ее другим, однако ее светлость не могла этому поверить: воспламенившись непримиримой ненавистью к Софье, она воображала, что подобное же чувство должно таиться и в нежном сердце нашей героини, куда оно на самом деле никогда не находило доступа.

Между тем как Джонсу мерещились тысячи злобных козней и тонких хитросплетений, которыми он объяснял себе служебную карьеру Гоноры, Фортуна, все время столь враждебная его союзу с Софьей, попытала новый способ окончательно расстроить это дело, поставив на пути нашему герою искушение, против которого он, казалось, не мог устоять в нынешних своих отчаянных обстоятельствах.

## ГЛАВА XI,

*содержащая события любопытные, но не беспримерные*

Одна дама, некая миссис Гант, короткая приятельница миссис Миллер, часто ее навещавшая, не раз встречала у нее Джонса. Ей было лет тридцать, так как сама она давала себе двадцать шесть; лицом и фигурой она могла еще нравиться, несмотря на некоторую склонность к полноте. Родные выдали ее совсем юной за старика купца, который, нажив большое состояние на Востоке, оставил торговлю. С ним она прожила двенадцать лет примерной женой, хотя это стоило ей труда и большого самоотречения;

добродетель ее была вознаграждена смертью мужа и получением большого наследства. Теперь только что истек год ее вдовства, который она провела в глубоком уединении, встречаясь лишь с немногими близкими друзьями и деля свое время между исполнением религиозных обрядов и чтением романов, всегда составлявшим любимое ее занятие. Прекрасное здоровье, горячий темперамент и религиозный образ мыслей делали для нее новый брак совершенно необходимым, и она решила пожить со вторым мужем в свое удовольствие, как в первый раз вышла замуж, чтобы доставить удовольствие родным. Джонс получил от нее следующее письмо:

«Сэр!

С первого же дня, как я вас увидела, вы, мне кажется, могли ясно прочесть в глазах моих, что я к вам неравнодушна; но ни язык мой, ни рука моя ни за что бы вам в этом не признались, если бы я не наслышалась о вас столько хорошего от ваших хозяек: рассказы их о вашем великодушии и доброте убеждают меня, что вы человек не только в высшей степени привлекательный, но и весьма достойный. От них же я имела удовольствие узнать, что ни наружность моя, ни образ мыслей, ни характер мой вам не противны. Состояния моего довольно для счастья нас обоих, но без вас оно не может сделать меня счастливой. Знаю, что поступок этот навлечет на меня порицание, но я была бы недостойна вас, если бы страх перед мнением света пересилил во мне любовь. Одно только препятствие меня останавливает: мне говорили, что вы заняты интригой с какой-то знатной дамой. Если вы готовы ею пожертвовать ради обладания мной, я ваша,— если нет, то забудьте мою слабость, и пусть это останется вечной тайной между вами и

*Арабеллой Гант*».

Письмо это привело Джонса в сильное волнение. Обстоятельства его были очень плачевны, так как источник, из которого он до сих пор черпал, иссяк. От всех подарков леди Белластон у него оставалось не больше пяти гиней, а еще сегодня утром один поставщик требовал уплаты вдвое большей суммы. Возлюбленная Софья была во власти отца, и на ее освобождение он не имел почти никакой надежды. Жить на ее счет, на небольшие средства, принадлежавшие ей независимо от отца, Джонсу не позволяли ни гордость, ни любовь. Таким образом, состояние миссис Гант пришлось бы ему чрезвычайно кстати, и он, в сущности, не мог ничего возразить против ее предложения — напротив, она ему нравилась больше других женщин, за исключением Софьи. Но покинуть Софью и жениться на другой,— нет, это было невозможно, он не мог и думать об этом. Впрочем, отчего же и не поду-

мать, если Софья не может быть его женой? Не будет ли это даже благороднее, чем поддерживать в ней безнадежную страсть? Разве не требуют этого дружеские чувства к ней? На минуту эти доводы одержали верх, и Джонс уже решил было изменить Софье из высоких соображений чести; но все эти тонкости не могли устоять против голоса сердца, отчетливо называвшего такую дружбу изменой любви. Кончилось тем, что он потребовал перо, чернил и бумаги и написал миссис Гант следующее:

«Сударыня!

Пожертвовать интригой ради обладания вами было бы только слабой благодарностью за ваше благосклонное внимание, и я бы, разумеется, так и сделал, хотя бы и не был свободен, как в настоящее время, от всяких подобных дел. Но я не оправдаю вашего доброго мнения обо мне, если не скажу вам напрямик, что сердце мое принадлежит другой — женщине высокой добродетели, от которой я не могу отказаться, хотя она, вероятно, никогда не будет моей. Избави боже, чтобы в ответ на ваше милое предложение я оскорбил вас, отдав вам мою руку, не имея власти отдать вместе с ней и сердце. Нет, скорее умру с голоду, чем совершу такую низость. Если бы даже моя возлюбленная вышла за другого, и тогда я не женился бы на вас, пока образ ее совершенно не изгладился бы из моего сердца. Будьте уверены, что тайна ваша будет свято сохранена в груди премного вам обязанного и благодарного, покорного слуги вашего

*Т. Джонса*».

Написав и отправив это письмо, герой наш подошел к письменному столу, достал оттуда муфту мисс Вестерн, покрыл ее поцелуями и зашагал по комнате с гордостью и самодовольством ирландца, нашедшего невесту с пятьюдесятью тысячами фунтов приданого.

## ГЛАВА XII

*Открытие, сделанное Партриджем*

Пока Джонс восторгался, таким образом, благородством своего поступка, к нему в комнату вприпрыжку вбежал Партридж, как он это обыкновенно делал, принося, или воображая, что приносит, хорошие вести. Он был послан поутру Джонсом выведать от слуг леди Белластон или иным способом, куда увезли Софью, и теперь вернулся с сияющим лицом доложить нашему герою, что пропавшая птичка нашлась.

— Я видел полевого сторожа, Черного Джорджа, сэр,— сказал он,— его взял в Лондон сквайр Вестерн в числе своих слуг. Я сразу узнал Джорджа, хотя не видел его уже много лет; он, знаете, человек замечательный, или, говоря точнее, борода у него замечательная: такой огромной и черной я никогда не видывал. А Черный Джордж, однако, узнал меня не сразу.

— Хорошо, а где же твои приятные новости? — спросил Джонс.— Что ты узнал о Софье?

— Погодите,— отвечал Партридж,— я сейчас расскажу все по порядку. Вы ужасно нетерпеливы, сэр, вам хочется добраться до неопределенного наклонения, минуя повелительное. Так я сказал, сэр: он не сразу вспомнил мое лицо.

— К черту твое лицо! — воскликнул Джонс.— Что с Софьей?

— Ах, боже мой, сэр, я узнал о мисс Софье только то, что собираюсь рассказать, и давно бы уже рассказал, если бы вы не перебивали меня. Только не смотрите на меня так сердито, а то со страху у меня все выскочит из головы, или, правильнее, из памяти. Никогда вы не смотрели так сердито с самого дня нашего отъезда из Эптона: тысячу лет проживу, а уж этого дня не забуду.

— Ладно, рассказывай, как знаешь; ты, видно, решил свести меня с ума.

— Боже упаси и помилуй! Это мне уже дорого стоило: как я сказал, по гроб жизни помнить буду.

— Так что же Черный Джордж? — сгорал от нетерпения Джонс.

— Он, значит, припомнил меня не скоро. Да и точно, я с тех пор, как видел его, очень переменился. Non sum qualis eram[1]. Много я перетерпел за это время, а ничто так не меняет человека, как горе. Говорят, от горя в одну ночь седеют. Так или иначе, но он наконец меня узнал, отрицать не буду; ведь мы с ним одних лет и вместе в школу ходили. Джордж был ужасный тупица, ну, да это не важно: успех в жизни не зависит от знаний. Я имею полное право утверждать это; впрочем, через тысячу лет все к одному придет. Да, так на чем бишь я остановился?.. Ах да... узнали мы друг друга, крепко пожали друг другу руки и решили зайти в пивную распить по кружечке,— к счастью, пиво оказалось превосходное, какого я в Лондоне еще не встречал. Ну, вот теперь, сэр, я дошел до главного: не успел я произнести ваше имя и сказать, что приехал в Лондон вместе с вами и вместе с вами живу здесь, как Джордж потребовал еще по кружке, объявив, что хочет выпить за ваше здоровье. И надо правду сказать, пил он так усердно, что сердце у

[1] Я не тот, что был *(лат.)*.

меня радовалось: есть еще, думал я, благодарность на свете. Ну вот, выпили мы, и тогда я, чтоб в долгу не остаться, потребовал еще пива, и мы снова выпили за ваше здоровье, а потом я поспешил домой поделиться с вами новостью.

— Какой новостью? Ты ведь ни слова не сказал мне о Софье.

— Господи! Чуть было не забыл. Разумеется, была речь о молодой госпоже Вестерн, и Джордж мне все рассказал: мистер Блайфил едет сюда на ней жениться. Так пусть же, говорю, спешит, не то кое-кто перехватит раньше, чем он поспеет, и ох как жаль будет, говорю, мистер Сигрим, если это кое-кому не удастся, потому что кое-кто любит ее больше всех женщин на свете. Только не думайте, говорю, и пусть она не думает, чтобы он это ради денег; что касается этого, так, уверяю вас, есть тут другая леди, куда познатнее и побогаче,— влюбилась кое в кого так, что ни днем ни ночью покоя ему не дает.

Джонс вспыхнул и начал бранить Партриджа за то, что он его выдал, но педагог оправдывался тем, что никого не назвал по имени.

— Кроме того, сэр,— прибавил он,— поверьте мне, Джордж искренне вам предан и несколько раз посылал мистера Блайфила к черту; больше того, он говорил, что на все пойдет, чтобы только вам услужить; и это не пустые слова, ручаюсь вам. Выдал вас, вот тоже сказали! Да если не считать меня, так у вас нет на свете друга, преданнее Джорджа, который бы так готов был на всякую услугу.

— Ладно,— сказал Джонс, немного успокоившись,— так этот человек, пожалуй, действительно ко мне расположенный, живет в одном доме с Софьей?

— В том же самом! Ведь он служит у них, и уж как разодет! Если бы не черная борода, вы бы его не узнали.

— В одной услуге он мне, во всяком случае, не откажет: наверно, согласится передать письмо Софье.

— Вы попали в точку, ad unguem[1]. Как это мне не пришло в голову? Ручаюсь, он сделает это по первому вашему слову.

— Хорошо, оставь меня. Я напишу письмо, а ты передашь ему завтра утром; ведь ты знаешь, где его найти?

— Разумеется, я найду его, сэр, можете не беспокоиться. Пиво пришлось ему по вкусу, и уж теперь он без него не обойдется. Наверно, каждый день будет туда заглядывать.

— Так ты не знаешь, на какой улице живет Софья?

— Как не знать, сэр, знаю.

— Как же она называется, эта улица?

---

[1] Буквально: в самый ноготь *(лат.)*.

— Как она называется, сэр? Да она совсем рядом, улицы через две отсюда, не дальше. Названия ее я, правда, не знаю, он мне не сказал, а я не спросил,— знаете, чтобы не внушить подозрения. Нет, нет, сэр, это уж предоставьте мне одному. Я достаточно хитер, меня не проведешь.

— Да, ты удивительный хитрец. Но я все же напишу моему божеству, в надежде, что у тебя хватит хитрости найти сторожа завтра в пивной.

И, отпустив проницательного Партриджа, мистер Джонс сел писать, за каковым занятием мы оставим его на время... И закончим на этом пятнадцатую книгу.

# КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРИОД В ПЯТЬ ДНЕЙ

## ГЛАВА I

*О прологах*

Слышал я об одном драматурге, говорившем, что ему легче написать пьесу, чем пролог; так и мне стоит меньше труда написать целую книгу этой истории, чем вступительную главу к книге.

По правде говоря, я думаю, много проклятий тяготеет над головой автора, впервые установившего обычай предварять пьесу куском словесности, известным под названием пролога; сначала он составлял часть самой пьесы, но в последние годы имеет обыкновенно так мало связи с драмой, перед которой его помещают, что пролог, написанный к одной пьесе, отлично может быть приставлен к любой другой. Наши теперешние прологи повторяют все те же три темы, именно: поношение вкусов столичной публики, осуждение всех современных писателей и восхваление данной пьесы. Высказываемые при этом мысли почти не меняются, да и как им меняться? Я и то изумляюсь великой изобретательности их авторов, ухитряющихся придумывать столько разных фраз для выражения одной и той же мысли.

Подобным же образом какой-нибудь будущий повествователь (если он окажет мне честь подражанием моей манере), боюсь, и меня помянет, после долгого почесывания в затылке, каким-нибудь добрым словом за изобретение этих вступительных глав, большая часть которых, подобно нынешним прологам, может предварять любую книгу этой истории и даже чьи-нибудь чужие произведения.

Но сколько бы ни страдали авторы от двух этих нововведений, читатель найдет довольно для себя пользы в одном из них, как зритель давно уже нашел ее в другом.

Во-первых, всем хорошо известно, что пролог дает критикам прекрасный повод испытать свое уменье свистеть и проверить захваченные с собой свистки; таким образом, эти музыкальные инструменты настолько прочищаются, что при первом же поднятии занавеса способны действовать дружным хором.

Такие же выгоды можно извлечь из вступительных глав, в которых всегда найдутся предметы, могущие послужить оселком для благородного пыла критика и помочь ему с тем большим остервенением накинуться на самую книгу. Я думаю, нет надобности обращать внимание этих проницательных людей, как искусно эти главы построены для указанной превосходной цели: мы всячески старались приправить их чем-нибудь остреньким и кисленьким, чтобы возбудить и обострить аппетит господ критиков.

Ленивый зритель или читатель тоже найдет здесь большую выгоду: так как он не обязан смотреть прологи или читать вступления, затрагивающие театральные представления и удлиняющие книги, то первый может посидеть лишнюю четверть часа за обедом, а второй начать книгу с четвертой или пятой страницы вместо первой — обстоятельство, далеко не маловажное для людей, читающих книги только затем, чтобы сказать, что они их читали. Таких читателей гораздо больше, чем принято думать: не только своды законов и другие полезные книги, но даже творения Гомера и Вергилия, Свифта и Сервантеса часто перелистываются именно с этой целью.

В прологах и вступлениях есть и другие выводы, но они по большей части настолько очевидны, что мы не станем их перечислять, тем более что главнейшим достоинством тех и других считаем краткость.

## ГЛАВА II

*Курьезное приключение со сквайром и бедственное положение Софьи*

Теперь мы должны перенести читателя в квартиру мистера Вестерна на Пикадилли, где он остановился по совету хозяина гостиницы «Геркулесовы столпы», на углу Гайд-парка. Что касается гостиницы, первой попавшейся ему на глаза по приезде в Лондон, то он поместил там своих лошадей, а на квартире — первой, о которой он услышал,— расположился сам.

Приехав сюда от леди Белластон в наемной карете, Софья выразила желание удалиться в назначенную для нее комнату, на что отец охотно дал согласие и проводил ее туда сам. Тут у

них последовал краткий разговор, не настолько содержательный или приятный, чтобы подробно его пересказывать: отец с жаром потребовал у дочери согласия на брак с Блайфилом, объявив, что через несколько дней жених ее будет в Лондоне, но, вместо того чтобы дать согласие, Софья отказала еще тверже и решительнее, чем прежде. Этот ответ так взбесил отца, что он в самых резких выражениях поклялся выдать дочь силой, хочет она или не хочет, выпустил заряд самых крепких словечек и ругательств и ушел, замкнув дверь и спрятав ключ в карман.

Между тем как Софья, подобно посаженному в одиночку государственному преступнику, осталась лишь в обществе огня и свечи, сквайр принялся за бутылочку со священником Саплом и хозяином «Геркулесовых столпов». Последний, по мнению сквайра, был превосходным собеседником: он мог рассказать им все городские новости и изложить положение дел. «Как мне этого не знать,— говорил он,— ведь у меня стоят лошади самой первой знати».

В этом приятном обществе мистер Вестерн провел весь вечер и добрую часть следующего дня, и за это время не случилось ничего, достойного упоминания в нашей истории. Софья по-прежнему находилась в одиночестве: отец поклялся, что она не выйдет из заточения живой, если не согласится на брак с Блайфилом, и позволял отпирать двери только для того, чтобы передать ей пищу, причем всегда присутствовал при этом сам.

На второе утро после его приезда, когда он завтракал со священником гренками и пивом, слуга доложил, что его желает видеть какой-то джентльмен.

— Джентльмен? — удивился сквайр.— Кого же это черт принес? Сходи-ка, доктор, посмотри, кто там такой. Мистер Блайфил едва ли может приехать так скоро... Сходи, пожалуйста, узнай, что ему нужно.

Доктор вернулся с известием, что посетитель хорошо одет и по ленте на шляпе его можно принять за офицера; у него есть важное дело к мистеру Вестерну, которое он может передать только ему лично.

— Офицер!— воскликнул сквайр.— Какое может быть до меня дело офицеру? Если он хочет получить наряд на подводы, так я здесь не мировой судья и не могу выдать... Раз ему нужно поговорить со мной, пусть войдет.

В комнату вошел изящно одетый мужчина и, поклонившись сквайру, попросил разрешения остаться с ним наедине.

— Я являюсь к вам, сэр, — сказал он,— по поручению лорда Фелламара, но совсем не с тем, чего вы, вероятно, ожидаете после сцены, разыгравшейся третьего дня.

— Лорда какого? — спросил сквайр.— Никогда не слышал этого имени.

— Его светлость,— продолжал посетитель,— готов все это приписать действию вина и удовлетворится легким извинением с вашей стороны. Питая самые нежные чувства к вашей дочери, сэр, он меньше всего на свете желал бы помнить нанесенную ему вами обиду; счастье для вас обоих, что он не раз уже давал публичные доказательства своей храбрости и потому может предать это дело забвению, не опасаясь никакого ущерба для своей чести. Все, чего он желает от вас, это простого признания вашей вины в моем присутствии: он будет удовлетворен двумя вашими словами. Сегодня после полудня он намерен засвидетельствовать вам свое почтение, в надежде, что вы ему позволите посещать вашу дочь на правах жениха.

— Я плохо вас понимаю, сэр,— отвечал сквайр,—но, судя по тому, что вы говорите о моей дочери, это, должно быть, тот самый лорд, которого мне называла леди Белластон, сказав что-то о его видах на Софью. Если это так, то передайте его светлости мое почтение и скажите, что дочь моя уже просватана.

— Может быть, сэр,— возразил посетитель,— вы недооцениваете значительности этого предложения. Я полагаю, такая особа, такой титул и такое богатство нигде бы не встретили отказа.

— Послушайте, сэр, скажу вам начистоту: дочь моя уже помолвлена, да если б и не была, я бы ни за что не выдал ее за лорда. Терпеть не могу этих лордов! Блюдолизы придворные, ганноверцы! Не желаю иметь с ними никакого дела.

— В таком случае, сэр, если решение ваше окончательное, то я должен пригласить вас от имени лорда сегодня же утром на свидание с ним в Гайд-парке.

— Можете ему передать, что я занят и не могу прийти. У меня и дома забот по горло, мне некогда разгуливать.

— Я полагаю, сэр, вы джентльмен и такого ответа не дадите. Вы не пожелаете, я убежден, чтобы о вас говорили: он оскорбил благородного лорда и отказывается дать ему удовлетворение. Из уважения к вашей дочери его светлость желал бы покончить дело иначе; но если он не может смотреть на вас как на тестя, то честь не позволяет ему оставить без ответа нанесенное вами оскорбление.

— Я его оскорбил!— воскликнул сквайр.— Гнусная ложь! Никогда и ничем я не оскорблял его.

Посетитель ответил на это энергичным телодвижением, сопроводив его коротеньким словечком, которое, достигши уха мистера Вестерна, сообщило почтенному сквайру юношескую рез-

вость: он вприпрыжку забегал по комнате, заорал благим матом, как бы скликая побольше зрителей подивиться его проворству.

Священник, еще не допивший своей кружки, был недалеко; он мигом явился на вопли сквайра, спрашивая:

— Господи, сэр, что случилось?

— Что случилось? Вот этот разбойник хочет, как видно, убить меня и ограбить... Ни с того ни с сего накинулся на меня с палкой, которая у него в руке, между тем как я, ей-богу, не подал ему ни малейшего повода.

— Как, сэр? — возразил капитан.— Не вы ли мне сказали, что я лгу?

— Нет, клянусь спасением души моей,— отвечал сквайр,— я, может быть, сказал: «Ложь, что я нанес оскорбление лорду», но не думал говорить: «Вы лжете». Я соображаю, что я говорю, да и вам следовало бы соображать, что́ вы делаете, а не нападать на безоружного. Будь у меня палка в руке, вы бы не посмели меня ударить. Я бы тебе своротил рыло на сторону! Сойдем во двор сию минуту; там я тебе одним ударом башку раскрою; а не то в пустой комнате на кулаках переведаемся. Знатно проучу, век помнить будешь!

— Я вижу, сэр,— с негодованием сказал капитан,— что иметь с вами дело ниже моего достоинства; передам это и лорду. Жалею, что замарал о вас свою руку.

С этими словами он удалился; священник помешал сквайру его остановить и успел в этом без труда, потому что мистер Вестерн хотя и порывался, но, кажется, не очень склонен был осуществить свое намерение. Впрочем, когда капитан скрылся, он послал ему вдогонку несколько угроз и проклятий; но так как они сорвались с языка сквайра, когда офицер уже сошел с лестницы, и звучали все громче и громче по мере удаления последнего, то не достигли его слуха и, во всяком случае, не замедлили его шага.

Бедная Софья, слышавшая из своей комнаты вопли отца от первого до последнего, сперва принялась топать ногами, а потом закричала так же громко, как и сквайр, только более мелодичным голосом. Крик ее тотчас же заставил сквайра умолкнуть и обратил все его мысли к дочери, которую он любил так горячо, что боязнь малейшего грозящего ей несчастья мгновенно повергала его в трепет, ибо за исключением выбора жениха, от которого зависело счастье всей ее дальнейшей жизни, мистер Вестерн беспрекословно исполнял все ее желания.

Прекратив свою брань по адресу капитана и поклявшись, что притянет его к суду, сквайр поднялся к Софье, которую, войдя

к ней, застал бледной и полуживой. Однако при виде отца она собрала все свои силы и, схватив его за руку, сказала:

— Ах, как я перепугалась, папочка! Надеюсь, с вами ничего не случилось?

— Нет, нет, ничего особенного,— успокоил ее сквайр.— Мошенник ударил меня не больно, но будь я проклят, если не притяну его к суду.

— Боже мой, да что же случилось? Кто вас обидел?

— Не знаю его имени,— отвечал Вестерн,— офицер какой-то. Мы платим за них налоги, а они нас бьют! Но я заставлю его заплатить за этот удар, если только у мошенника есть чем,—только вряд ли есть. Одет-то он с иголочки, да, наверно, вершка земли своей нет.

— Но, ради бога, из-за чего вышла вся эта ссора?

— Да из-за чего же, Софи, как не из-за тебя? Все горе мое от тебя; ты скоро отца в гроб сведешь. Приглянулась ты какому-то мерзавцу лорду,— черт его знает, кто он такой,— и за то, что я ему отказал, он посылает мне вызов. Послушай, Софи, будь умницей, прекрати мучения своего отца: согласись быть женой Блайфила; он будет в Лондоне сегодня или завтра; обещай за него выйти, как только он приедет, и ты сделаешь меня счастливейшим человеком на свете, а я сделаю тебя счастливейшей женщиной: у тебя будут роскошнейшие платья в Лондоне, и брильянты, и кареты шестерней. Я уж обещал Олверти отдать за тобой половину имения — сделаю больше! Ни перед чем не остановлюсь, все отдам!

— Может быть, папа будет так добр и выслушает меня? — робко спросила Софья.

— Что за вопрос, Софи? Разве ты не знаешь, что твой голос мне слаще, чем лай лучшей своры в Англии... Выслушать тебя, дорогая деточка? Я надеюсь слушать тебя до гробовой доски; и если, не дай бог, лишусь когда-нибудь этого удовольствия, так гроша медного не дам, чтобы прожить хоть минутой дольше... Право, Софи, ты не знаешь, как я тебя люблю,— нет, не знаешь, иначе ты бы не убежала и не покинула несчастного отца, для которого его маленькая Софи — одна только радость, одно утешение на свете.

При этих словах глаза его наполнились слезами, и Софья (тоже со слезами на глазах) отвечала:

— Я знаю, дорогой папа, что вы горячо меня любите, и бог свидетель, как искренне я люблю вас. Только страх быть насильно выданной за этого человека мог заставить меня бежать от отца, которого я люблю так беззаветно, что для его счастья с радостью пожертвовала бы жизнью; больше того: я пыталась пересилить

себя доводами рассудка и почти уже готова была согласиться на самую плачевную жизнь, лишь бы только угодить вам. Но это единственная вещь, которой я не могла сделать и никогда не сделаю.

Тут глаза сквайра засверкали, на губах его выступила пена; Софья это заметила, но попросила дослушать.

— Если бы была поставлена на карту жизнь моего отца, его здоровье или действительное счастье,— продолжала она,— то дочь не остановилась бы ни перед чем; будь я проклята, если не перетерплю какой угодно муки, чтобы спасти вас... Я согласилась бы даже на самое ненавистное, самое отвратительное: ради вашего спасения я отдала бы руку Блайфилу...

— Говорю тебе, что как раз это-то меня и спасет: даст мне здоровье, счастье, жизнь, все, что угодно... Ей-богу, я умру, если ты мне откажешь; сердце не выдержит, ей-богу, не выдержит.

— Возможно ли это? Возможно ли, чтобы вы желали сделать меня несчастной?

— Нет, говорю тебе! — заорал сквайр.— Будь я проклят, если не сделаю чего угодно, чтобы только видеть тебя счастливой.

— Неужели же мой дорогой папа не допускает, что я знаю, в чем состоит мое счастье? Если правда, что счастлив тот, кто считает себя счастливым, то каково же будет мое положение, если я буду считать себя несчастнейшей женщиной на свете?

— Лучше воображать себя несчастной, чем узнать несчастье на деле, вышедши замуж за нищего бродягу без роду, без племени.

— Если вас это удовлетворит, сэр,— сказала Софья,— я торжественно даю вам слово, пока вы живы, не выходить без вашего согласия ни за него, ни за кого другого. Позвольте мне посвятить всю свою жизнь исключительно вам; позвольте мне снова стать вашей Софи, позвольте, как это было до сих пор, думать и заботиться только о том, чтобы доставлять вам удовольствие и развлекать вас.

— Нет, голубушка, меня этим не проведешь. Твоя тетушка Вестерн имела бы тогда полное право считать меня дураком. Нет, нет, Софи, поверь, что я умнее, чем она думает, и настолько знаю людей, чтобы не полагаться на слово женщины, когда дело касается мужчины.

— Чем же я заслужила такое недоверие, сэр? Разве я когда-нибудь нарушила данное вам слово? Солгала хоть раз в жизни?

— Так что ж из этого? Я решил сыграть эту свадьбу и сыграю,— будь я проклят, если не сыграю! Будь я проклят, если не сыграю, хотя бы ты повесилась на другое утро!

Повторяя эти слова, сквайр сжал кулаки, нахмурил брови, прикусил губы и так загремел, что приведенная в отчаяние, перепуганная Софья дрожа упала на стул, и если бы ее не облегчили слезы, то с ней случилось бы что-нибудь похуже.

Вестерн смотрел на терзания дочери так же спокойно и равнодушно, как смотрит ньюгетский тюремщик на отчаянье любящей жены при последнем свидании с приговоренным к смерти мужем или, скорее, так же, как честный лавочник, наблюдающий, как тащат в тюрьму бедняка из-за десяти фунтов, которые тот ему, бесспорно, должен, но лишен возможности заплатить. Или, чтобы быть еще более точным, его душевное состояние похоже было на то, которое испытывает сводня, когда попавшаяся в ее сети невинная девушка падает в обморок, получая от нее впервые приглашение выйти к гостям. Сходство было бы полным, если бы не то обстоятельство, что сводне выгодно поступать таким образом, отец же, хотя бы в своем ослеплении он думал иначе, решительно ничего не выгадывает, побуждая дочь к почти такой же проституции.

В этом положении сквайр покинул бедную Софью; сделав какое-то плоское замечание насчет слез, он вышел, запер дверь на ключ и вернулся к священнику, который сказал в защиту заключенной все, что только посмел сказать; долг требовал от него, пожалуй, и большего, но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы привести сквайра в бешенство и заставить его разразиться самыми неприличными замечаниями по адресу всего духовного сословия, которое мы слишком уважаем, чтобы переносить эти замечания на бумагу.

## ГЛАВА III

*Что случилось с Софьей во время ее заключения*

Хозяйка дома, где остановился сквайр, очень скоро составила странное мнение о своих постояльцах. Но, получив сведения, что сквайр очень богат, и позаботившись содрать с него за комнаты несуразную цену, она сочла за лучшее воздержаться от всяких замечаний. Хотя ей прискорбно было видеть заточение Софьи, о ласковости и приветливости которой она столько наслышалась от своей горничной и слуг сквайра, но было бы еще прискорбнее пожертвовать интересами своего кармана, и потому она не решилась раздражать постояльца, тем более что он ей показался джентльменом очень вспыльчивым.

Хотя Софья ела очень мало, но кушанье ей приносили исправно. Я даже думаю, если бы ей захотелось какого-нибудь

изысканного блюда, то сквайр, несмотря на свой гнев, не пожалел бы ни трудов, ни денег для удовлетворения ее прихоти,— ведь как это ни покажется странным иному читателю, а он до безумия любил свою дочь и всячески угождать ей было для него величайшим наслаждением в жизни.

С наступлением обеденного часа Черный Джордж понес ей курицу, и сквайр (поклявшийся не расставаться с ключом от ее комнаты) собственноручно открыл ему дверь. Поставив кушанье, Джордж обменялся с Софьей приветствиями (он ее не видел со времени ее бегства из деревни и знал, что она обращается со слугами с бо́льшим уважением, чем иные господа обходятся с людьми, стоящими чуть ниже их). Софья велела ему убрать кушанье, говоря, что не в состоянии есть, но Джордж стал уговаривать ее и в особенности рекомендовал ей яйца, которыми, по его словам, начинена была курица.

Все это время сквайр сторожил у дверей, но Джордж с этим не считался: исправляя высокую должность надсмотрщика за дичью, он был большим любимцем хозяина и позволял себе много вольностей. Он выпросил разрешение отнести Софье обед, говоря, что очень хочет ее видеть, и без стеснения заставил хозяина простоять у дверей более десяти минут, пока обменивался с Софьей ласковыми словами, за что сквайр только добродушно пожурил его, когда он выходил из комнаты.

Яйца кур, куропаток, фазанов, как хорошо знал Джордж, были любимым лакомством Софьи. Не удивительно, что по доброте своей он позаботился доставить ей это лакомство в то время, когда все слуги в доме боялись, что она уморит себя голодом: за последние сорок часов она почти не прикасалась к пище.

Хотя огорчение не на всех действует так, как на вдов, аппетит которых разыгрывается от него больше, чем от воздуха Банстедских возвышенностей или Солсберийской равнины, но и в самом безысходном горе, что бы ни говорили, человек наконец захочет есть. Так и Софья, подумав немного, припялась разрезать курицу, действительно начиненную яйцами, как говорил Джордж.

Но кроме яиц, очень понравившихся Софье, в ней содержалось нечто, от чего Королевское общество пришло бы просто в восторг: ведь если курица с тремя ногами считается неоценимой редкостью, хотя природа создала, может быть, сотни таких, то чего же должна стоить птица, настолько нарушающая все законы птичьей анатомии, чтобы в желудке своем заключать письмо? Овидий рассказывает о цветке с буквами на лепестках, в который превращен был Гиацинт, и Вергилий рекомендует цветок этот вниманию

тогдашнего Королевского общества как чудо; но ни одна эпоха и ни один народ не видывали еще птицы с письмом в зобу.

Хотя подобное чудо способно заинтересовать все европейские Académies des Sciences[1], которые, вероятно, так бы и не доискались до его причины, однако читатель, припомнив последний диалог между господами Джонсом и Партриджем, легко догадается, откуда явилось это письмо и как оно попало в курицу.

Несмотря на долгий пост и любимое кушанье, стоявшее перед ней, Софья, увидя письмо, поспешно схватила его, вскрыла и прочла следующее:

«Сударыня!

Если бы я не понимал, к кому имею честь писать, я постарался бы, как это ни трудно, изобразить вам весь ужас, с которым выслушал я рассказ миссис Гоноры о вашем положении. Только любящий способен составить истинное представление о муках любви, и, значит, моя Софья, в сердце которой столько нежности, без труда поймет, что должен был перечувствовать ее Джонс при этом печальном известии. Может ли что-нибудь на свете быть для меня мучительнее мысли, что вас постигло несчастье? Только одно, а именно: ужасное сознание, что я сам всему виной! Это сознание, дорогая Софья, не дает мне покоя. Может быть, я оказываю себе слишком много чести, но честь эта стоит мне так дорого, что никто, я думаю, ей не позавидует. Простите мне эту самонадеянность, простите еще бóльшую самонадеянность, если я спрошу вас, не могут ли облегчить вашу участь совет мой, моя помощь, мое присутствие или отсутствие, моя смерть или мое страдание? Не могут ли самое высокое благоговение, самое безграничное уважение, самая пламенная любовь, самая трогательная нежность, самая беззаветная покорность вашей воле вознаградить вас за жертву, которую вам пришлось бы принести для моего счастья? Если могут, поспешите, дорогая, в объятия человека, всегда готового принять и защитить вас и не придающего никакого значения — придете ли вы к нему одна или принесете с собой богатства целого мира. Если же, напротив, в душе вашей одержит верх благоразумие и, по зрелом размышлении, вы найдете, что жертва эта слишком велика,— если нет у вас иного способа умиротворить отца вашего и вернуть мир вашей собственной душе, как только отказавшись от меня,— заклинаю вас, изгоните меня навсегда из ваших мыслей, проявите решимость, и пусть сострадание ко мне не находит доступа в ваше нежное сердце. Верьте, сударыня, я люблю вас настолько сильнее, чем себя, что ваше счастье есть главнейшая

[1] Академии наук *(франц.)*.

цель моей жизни. Первым моим желанием (отчего судьба не захотела его исполнить?) было и есть — простите, что я это говорю,— видеть вас каждую минуту счастливейшей из женщин; мое второе желание — слышать, что вы счастливы; но никакие мучения не сравнятся с моими — при мысли, что вы обязаны хоть одной неприятной минутой

всецело и во всех отношениях
вам преданному, сударыня,

*Томасу Джонсу*».

Что Софья сказала, или сделала, или подумала по поводу этого письма, сколько раз его перечитала и перечитывала ли вообще — все это предоставляем решить воображению читателя. Ответ ее он, может быть, увидит впоследствии, но не теперь, по той причине (между прочим), что теперь она вовсе не отвечала, тоже по многим основательным причинам, в частности, потому, что у нее не было ни бумаги, ни чернил.

Вечером Софья сидела, задумавшись о полученном письме, а может быть, о чем-нибудь другом, как вдруг страшный шум внизу прервал ее размышления. Шум этот был не чем иным, как ожесточенной перебранкой двух людей. По голосу одного из них она тотчас же узнала отца, но не вдруг догадалась, что визгливые ноты другого издаются органом тетушки Вестерн, которая только что приехала в Лондон и, узнав от одного из своих слуг, остановившегося в «Геркулесовых столпах», адрес брата, отправилась прямо к нему.

Простимся поэтому с Софьей и, со свойственной нам учтивостью, уделим внимание приехавшей даме.

## ГЛАВА IV,

*в которой Софью освобождают из заточения*

Сквайр и священник (хозяина постоялого двора с ними на этот раз не было) курили трубки, когда их уведомили о приезде миссис Вестерн. Едва услышав ее имя, сквайр тотчас же бросился ей навстречу, чтобы проводить наверх. Надо сказать, что он строго соблюдал все такие церемонии, особенно по отношению к сестре, которой боялся больше всего на свете, хотя никогда в этом не признавался, а может быть, и сам того не знал.

Миссис Вестерн, войдя в столовую, опустилась в кресло и начала жаловаться:

— Ну и путешествие! Ужас что такое! Дороги, кажется,

сделались еще хуже, с тех пор как столь усердно издаются законы об их благоустройстве. Послушайте, братец, как вы попали в такую трущобу? Готова побожиться, что ни один порядочный человек не переступал еще за порог этого дома.

— Ничего не знаю,— отвечал сквайр,— по-моему, дом как дом. Хозяин постоялого двора мне посоветовал. Ведь он тут всех бар знает, ну я и решил положиться на него.

— А где же племянница? — продолжала миссис Вестерн.— Побывали вы уже с визитом у леди Белластон?

— Племянница ваша в безопасности; она наверху, в своей комнате.

— Как! Она здесь и не знает о моем приезде?

— Нет, к ней никто не имеет доступа, потому что она сидит под замком. Она жива и здорова! Я взял ее у леди Белластон в тот же вечер, как приехал, и смотрю за ней во все глаза! Теперь я за нее спокоен: она у меня, как лисица в мешке.

— Боже мой, что я слышу! Я так и думала, что вы чего-нибудь натворите, если я пущу вас в Лондон одного! Но вы поставили на своем, и я умываю руки, потому что не давала согласия на ваш отъезд. Разве вы не обещали мне, братец, не применять никаких насильственных мер? Разве не эти насильственные меры заставили племянницу бежать из вашего дома? Вы, верно, хотите, чтобы это снова случилось?

— Тьфу, черт! Слыхали вы что-нибудь подобное?! — воскликнул сквайр, хватив трубкой об пол.— Я ждал, что вы меня за это похвалите, а вы вон как накинулись!

— Помилуйте, братец! Когда же давала я вам хотя бы малейший повод думать, что я одобрю заточение племянницы? Сколько раз твердила я вам, что в свободном государстве с женщинами нельзя обращаться деспотически! Мы так же свободны, как и мужчины, и, должна сказать, заслуживаем этой свободы больше, чем они. Если вы желаете, чтобы я хоть на минуту осталась в этом проклятом доме, чтобы я продолжала признавать вас своим родственником или заниматься вашими семейными делами, так извольте сию же минуту освободить племянницу.

Она сказала это таким повелительным тоном, стоя спиной к камину и заложив одну руку за спину, а другою захватив щепоть табаку, что сама Фалестрида во главе амазонок была едва ли грознее ее. Не удивительно, что у бедного сквайра от страха душа в пятки ушла.

— Вот он! — сказал он, бросая ключ на стол.— Делайте с ним, что хотите. Я хотел только продержать ее до приезда Блайфила, который ждать себя не заставит. Но если до тех пор случится какая беда, так меня, пожалуйста, не вините.

— Головой отвечаю за все,— отвечала миссис Вестерн.— Но я вмешиваюсь в это дело не иначе, как с условием, чтобы вы всецело предоставили его моим заботам и ничего не предпринимали самостоятельно, без моих указаний. Если вы ратифицируете эти условия, братец, я постараюсь спасти честь вашей фамилии, если нет — сохраняю нейтралитет.

— Прошу вас, сэр,— сказал священник,— послушайтесь на этот раз совета миссис Вестерн: может статься, словами убеждения она добьется от мисс Софьи большего, чем вы могли бы учинить при помощи суровейших мер.

— Ты чего суешься? — закричал сквайр.—Если еще скажешь хоть слово, я тебя тут же плетью хвачу.

— Стыдитесь, братец! Разве можно разговаривать таким языком со священнослужителем? Мистер Сапл человек рассудительный и говорит вам дело; всякий, думаю, с ним согласится. Но, должна вам сказать, я жду немедленного ответа на мой категорический вопрос. Или предоставьте вашу дочь в мое распоряжение, или возьмите ее всецело под ваше сумасбродное руководство, и в таком случае я, при мистере Сапле, вывожу гарнизон из крепости и навсегда отрекаюсь от вас и вашего семейства.

— Разрешите мне быть посредником,— снова выступил священник,— разрешите молить вас...

— Да ведь ключ лежит на столе,— сказал сквайр.— Она может взять его, если угодно. Кто ей мешает?

— Нет, братец,— отвечала миссис Вестерн,— я требую, чтобы он был вручен мне по форме, с полной ратификацией всех выговоренных условий.

— Извольте, вручаю его вам. Вот он,— сказал сквайр.— И я полагаю, сестрица, вы не вправе меня винить в нежелании доверить вам дочь. Ведь жила же она с вами целый год, а то и больше, так что я ее и в глаза не видел.

— И как было бы для нее хорошо,— отвечала миссис Вестерн,— если бы она жила у меня всегда. Под моим присмотром с ней не случилось бы ничего подобного.

— Ну конечно, во всем я виноват!

— Да, виноваты, братец. Мне уже не раз приходилось вам это замечать, и впредь я буду делать это каждый раз, когда понадобится. Впрочем, надеюсь, вы теперь исправитесь, и сделанные вами промахи научат вас не портить своим неуклюжим вмешательством моих тонких ходов. Право, братец, вы не годитесь для подобных негоциаций. Вся система вашей политики в корне порочна. Поэтому я еще раз требую, чтобы вы в это дело не мешались. Вспомните только о прошедшем...

— Да ну вас к черту! — не выдержал сквайр. — Чего вам от меня надобно? Вы хоть самого дьявола выведете из терпения.

— Ну вот, опять старая песня! Вижу, братец, что с вами не сговоришься. Призываю в свидетели мистера Сапла, он человек рассудительный: сказала я что-нибудь такое, за что можно рассердиться? Но с вашей упрямой башкой...

— Ради бога, сударыня,— взмолился священник,— не раздражайте вашего почтенного братца.

— Да разве я его раздражаю? — возразила миссис Вестерн.— Видно, вы такой же сумасброд, как и он. Ну ладно, братец, раз вы обещали не вмешиваться, я еще раз берусь уладить дело с племянницей. Помилуй господи, когда за что возьмется мужчина! Голова одной женщины стоит тысячи ваших.

И, произнеся эту сентенцию, она позвала служанку, велела проводить ее в комнату Софьи и ушла с ключом в руке.

Только что она скрылась, как сквайр (сначала тщательно затворив дверь) изверг по ее адресу десятка два проклятий и выругал ее площадными словами, не пощадив и себя за то, что вечно ей уступает, помня о наследстве.

— Ну, да если уж так долго унижался,— прибавил он,— так жалко будет упустить его из-за того, что напоследок не хватило терпения. Не вечно жить мерзавке, а завещание, я знаю, сделано на мое имя.

Священник весьма похвалил это рассуждение, и сквайр потребовал еще бутылку вина — средство, к которому он неизменно прибегал и на радостях и с досады. В этой целительной влаге, поглощенной им в изрядной дозе, он окончательно затопил весь гнев, так что миссис Вестерн, возвратясь в столовую с Софьей, застала его в самом кротком и миролюбивом расположении. Софья была в шляпке и накидке, и тетка объявила мистеру Вестерну о своем намерении увезти племянницу к себе на квартиру, «потому что в такой трущобе порядочным людям жить не годится».

— Как вам угодно, сударыня,— отвечал Вестерн.— Дочери нигде лучше не будет, чем у вас; вот и священник может засвидетельствовать, что я все время в ваше отсутствие называл вас умнейшей женщиной на свете.

— О да,— подтвердил священник,— я готов это засвидетельствовать.

— Я тоже всегда считала вас превосходнейшим человеком, братец,— сказала миссис Вестерн.— Вы не станете, конечно, отрицать, что немного вспыльчивы, но когда вы даете себе труд размышлять, то я не знаю человека более рассудительного.

— Ну, если так, сестрица,— сказал сквайр,— то позвольте мне от всего сердца выпить за ваше здоровье. Я иногда горяч,

но не злопамятен. Софи, будь же умницей и делай все, что прикажет тебе тетка.

— О, я в этом ни капельки не сомневаюсь,—отвечала миссис Вестерн.— У нее уж был перед глазами пример несчастной кузины Гарриет, которая погубила себя, не послушавшись моего совета. Да, братец, как вам это покажется? Только что вы уехали вчера в Лондон, как явился этот наглец с противной ирландской фамилией — Фитцпатрик. Он ворвался ко мне без доклада, иначе бы я его не приняла, и пустился рассказывать какую-то длинную невразумительную историю о своей жене, силой заставив меня его выслушать; но я вместо ответа подала ему ее письмо и приказала отвечать. Я думаю, эта несчастная Гарриет попытается разыскать нас, но вы, пожалуйста, ее не принимайте, потому что я решила ей отказать.

— Чтоб я ее принял? Нет, на этот счет будьте спокойны. Я таким озорницам не потатчик. Счастье для ее мужа, что меня не было дома, а то я бы его, сукина сына, выкупал в пруду! Видишь, Софи, к чему приводит непослушание? Пример у тебя перед глазами.

— Братец,— остановила его тетка,— не оскорбляйте слуха моей племянницы повторением этих мерзостей. Почему вы не хотите предоставить все это дело мне?

— Хорошо, предоставляю, предоставляю,— отвечал сквайр.

Тут миссис Вестерн, к счастью для Софи, прекратила этот разговор, распорядившись позвать портшезы. Говорю «к счастью», потому что, продолжись он еще, возник бы, вероятно, новый повод для перепалки между братом и сестрой, которые отличались друг от друга только полом и воспитанием: оба были одинаково вспыльчивы и упрямы, оба горячо любили Софью и оба безгранично презирали друг друга.

## ГЛАВА V,

*в которой Джонс получает письмо от Софьи и идет в театр с миссис Миллер и Партриджем*

Прибытие в Лондон Черного Джорджа и услуги, обещанные этим признательным человеком своему благодетелю, много утешили Джонса посреди его тревог и беспокойства насчет участи Софьи; при посредстве упомянутого Джорджа он получил ответ на свое письмо, написанный Софьей в первый же вечер после освобождения из неволи: вместе со свободой ей возвращено было право пользоваться пером, чернилами и бумагой.

«Сэр!

Так как я не сомневаюсь в искренности вами написанного, то вы, верно, обрадуетесь, узнав, что я отчасти избавилась от своих неприятностей вследствие приезда тетушки Вестерн, у которой теперь живу, пользуясь самой широкой свободой. Тетушка лишь взяла с меня слово, что я ни с кем не буду видеться и сноситься без ее ведома и согласия. Я ей торжественно дала это слово и свято его сдержу. Она, правда, не запретила мне писать, но упущение это было сделано, вероятно, по забывчивости, а может быть, запрет сноситься с кем бы то ни было уже подразумевал запрет писать. Во всяком случае, я не могу смотреть на это иначе, как на злоупотребление ее великодушным доверием ко мне, и потому вам нечего рассчитывать на продолжение переписки со мной без ее ведома. Обещания для меня священны и касаются всего, что под ними подразумевается и что ими выражено; подумайте хорошенько, и взгляд этот, может быть, послужит вам утешением. Но зачем говорю я вам о подобном утешении? Хотя в одном случае я ни за что не уступлю желанию моего отца, но все же я твердо решила не делать ничего ему не угодного и не предпринимать ни одного важного шага без его согласия. Так пусть же непреклонность моего решения отвратит ваши помыслы от того, что (может быть) не суждено нам судьбой. Этого от вас требуют ваши собственные интересы. Это может, я надеюсь, примирить с вами мистера Олверти, а если так, то прямо приказываю вам позаботиться об этом. Я вам очень обязана благодаря случайности и, вероятно, еще больше благодаря вашим добрым намерениям. Может быть, когда-нибудь судьба будет к нам милостивее, чем теперь. Верьте, что я всегда буду думать о вас, как, по-моему, вы того заслуживаете.

Обязанная вам, нижайшая слуга ваша, сэр,

*Софья Вестерн.*

Прошу вас не писать мне больше — по крайней мере, теперь — и принять прилагаемое, в котором я теперь вовсе не нуждаюсь, между тем как вам оно очень пригодится. Благодарите за эту безделицу[1] только Фортуну, пославшую ее вам в руки».

Ребенок, только что выучивший азбуку, потратил бы на чтение этого письма меньше времени, чем Джонс. Чувство, пробужденное им в нем, было смесью радости и печали; оно несколько напоминало то, которое испытывает добрый человек, читая завещание умершего

[1] Вероятно, Софья разумела банковый билет в сто фунтов.

друга, где ему отказана крупная сумма, очень для него полезная ввиду его стесненных обстоятельств. В общем, однако, Джонс остался скорее доволен, чем опечален. Читатель, может быть, даже придет в недоумение, чем тут вообще быть недовольным; но читатель не влюблен, как бедняга Джонс, а любовь — болезнь, кое в чем, может быть, похожая на чахотку (которую иногда порождает), но во многом ей прямо противоположная, особенно в том, что никогда не обольщается и не изъясняет своих симптомов в благоприятном смысле.

Одно доставило ему полное удовлетворение — именно то, что его возлюбленная получила свободу и живет у тетки, где с ней, по крайней мере, будут пристойно обращаться. Другим утешительным обстоятельством было обещание Софьи не выходить замуж за другого, ибо, как ни бескорыстна казалась ему его любовь, как ни великодушны были все сделанные им в письме уверения, а я сильно сомневаюсь, чтобы что-нибудь могло огорчить его сильнее известия о замужестве Софьи, хотя бы партия была самая блестящая и сулила ей самое безмятежное счастье. Высокая степень платонической любви, вовсе отрешенной от всего плотского и всецело и насквозь духовной, есть дар, посылаемый лишь прекрасной половине рода человеческого; многие женщины, я слышал, изъявляли (и, вероятно, не шутя) величайшую готовность уступить любовника сопернице, если такая жертва необходима для его житейского благополучия. Отсюда я заключаю, что подобная любовь существует в природе, хоть и не могу похвалиться, что видел когда-нибудь пример ее.

Истратив три часа на чтение и целование вышеуказанного письма, мистер Джонс наконец пришел от этих мыслей в прекрасное расположение и согласился исполнить данное ранее обещание пойти с миссис Миллер и ее младшей дочерью в театр, на галерею, взяв с собой также мистера Партриджа. Обладая подлинным чувством юмора, которое у многих лишь притворное, Джонс ожидал много забавного от критических замечаний Партриджа, не изощренного в искусстве, но зато и не испорченного им и потому способного к простым и непосредственным впечатлениям.

Итак, мистер Джонс, миссис Миллер, ее младшая дочь и Партридж заняли места в первом ряду первой галереи. Партридж тотчас объявил, что это красивейшее место, в каком он когда-нибудь бывал. Когда заиграл оркестр, он сказал:

— Удивительно, как столько скрипачей могут играть все вместе, не сбивая друг друга.— Потом, увидя служителя, зажигавшего свечи на верхнем ярусе, воскликнул, обращаясь к миссис Миллер: — Глядите, глядите, сударыня: точь-в-точь как на кар-

тинке в конце требника, перед молебном об избавлении от Порохового заговора.

А когда все свечи были зажжены, не удержался и со вздохом заметил, что здесь в одну ночь сгорает такая пропасть свечей, что честной семье бедняка их достало бы на целый год.

Как только началось представление (давали «Гамлета, принца датского»), Партридж весь обратился в слух и не прерывал молчания до самого появления призрака; тут он спросил Джонса:

— Что это за человек в такой странной одежде? Помнится, я видел такого где-то на картине. Он в доспехах, не правда ли?

— Это призрак,— отвечал Джонс.

— Рассказывайте, сэр! — с улыбкой возразил Партридж.— Правда, мне никогда в жизни не случалось видеть призрака, но если б случилось, то, поверьте, я бы сразу узнал. Какой это призрак? Нет, нет, призраки не являются в таком наряде.

В этом заблуждении, сильно насмешившем соседей, Партридж оставался до сцены между призраком и Гамлетом. Игре мистера Гаррика он поверил больше, чем словам Джонса, и его бросило в такую дрожь, что коленки застучали друг о друга. Джонс спросил, что это с ним,— неужели он испугался облаченного в доспехи человека на сцене?

— Ах, сэр, теперь я вижу, что вы сказали правду. Я ничего не боюсь: я знаю, что все это только представление. Да если это и вправду призрак, то на таком расстоянии и при народе он не может сделать никакого вреда. Впрочем, если я испугался, то испугался не один.

— Вот как! Кто же здесь, по-твоему, еще такой же трус? — спросил Джонс.

— Называйте меня трусом, если вам угодно; но если тот человечек на сцене не перепуган, значит, я отроду не видел испуганных людей... Как бы не так! Пойти с тобой! Нет, таких дураков не сыщешь! Как? Все-таки идешь? Господи, да ведь это же безумие!.. Теперь, если что случится, сам будешь виноват... Идти за тобой? Да я за чертом скорее пойду. А может, это и есть сам дьявол... Говорят, он может принимать образ, какой ему вздумается... Ах, вот он опять!.. Ни шагу дальше! Ты и так уж далеко зашел; дальше, чем я бы решился за все королевские владения.

Джонс попробовал что-то сказать, но Партридж остановил его:

— Тс! Тс! Разве вы не слышите, сэр: он заговорил.

В продолжение всей речи призрака он сидел, разинув рот и не сводя глаз с призрака и с Гамлета; на лице его отражались все чувства, сменявшиеся в Гамлете.

По окончании этой сцены Джонс сказал ему:

— Ты превзошел мои ожидания, Партридж: никогда не думал, чтобы пьеса могла доставить тебе столько удовольствия.

— Я не виноват, сэр, что вы не боитесь черта,— отвечал Партридж,— а только это натурально — дивиться таким вещам, хоть я и знаю, что ничего такого в них нет; да призрак ничуть и не испугал меня: ведь это обыкновенный человек в диковинном наряде; только как я увидел, что тот маленький испугался, так и меня в дрожь бросило.

— И ты думаешь, Партридж, что он действительно испугался?

— Конечно, сэр,— отвечал Партридж,— неужто вы сами не заметили, что, когда он узнал в призраке дух своего отца и услышал, как его умертвили в саду, страх его постепенно прошел и сменился немой скорбью: точь-в-точь как было бы со мной, будь я на его месте! Тс! Тс! Что это за шум? Никак, он опять... Хоть я и понимаю, что все это не всерьез, а, ей-богу, рад, что сижу здесь, а не внизу, вон там, где те люди... Да, да, вытаскивай меч! — продолжал он, устремив взор на Гамлета.— Что ты сделаешь мечом против нечистой силы?

В продолжение второго действия Партридж не делал почти никаких замечаний. Он только дивился красоте костюмов и не мог удержаться, видя выражение лица короля:

— Как же обманчиво может быть лицо человека! Nulla fides fronti [1],— по-моему, правильно сказано. Кто б мог подумать, посмотрев на короля, что он совершил убийство?

Потом он спросил о призраке, но Джонс, желая видеть, как он будет поражен, сказал только, что, может быть, он скоро увидит его в блеске пламени.

Партридж с трепетом ждал этой сцены; а когда призрак появился снова, он воскликнул:

— Вот он, сэр! Что вы теперь скажете? Испугался тот или нет? Испугался не меньше меня. Да и как тут не струсить? Ни за что на свете не хотел бы я быть на месте — как бишь его? — сквайра Гамлета. Господи помилуй! Куда же девался дух? Побожусь, мне показалось, что под землю провалился!

— Да, глаза тебя не обманули,— отвечал Джонс.

— Ну да, я понимаю, это только представление,— продолжал Партридж,— кроме того, будь это взаправду, так миссис Миллер не смеялась бы, потому что вы-то, сэр, самого черта не испугаетесь... Постойте, постойте... Да, не удивительно, что ты в таком гневе: раскромсай ее, злодейку, на куски! Будь она мне родная мать, я бы не пощадил ее. После таких дел какая же может

[1] Не доверяй наружности *(лат.)*.

быть речь о почтении к матери?.. Ступай с богом, мне противно смотреть на тебя.

Сказав это, наш критик сидел молча до представления, которое Гамлет дает королю. Этой сцены он сначала не понял, но когда Джонс разъяснил ему смысл ее, он благословил судьбу, что никогда не совершил убийства; потом, обратившись к миссис Миллер, спросил, не показалось ли ей, что король встревожен, хоть он хороший актер и всеми силами старается это скрыть.

— Вот уж не взял бы на душу греха этого злодея, даже чтобы сесть в кресло и повыше того, в котором он сидит. Не мудрено, что дал тягу. Из-за тебя больше не буду верить самой честной физиономии.

Внимание Партриджа привлекла далее сцена с могильщиками. Он был очень удивлен количеством выброшенных на сцену черепов, но Джонс объяснил ему, что действие происходит на одном из известнейших кладбищ столицы.

— Ну, так и не мудрено, что тут встают привидения,— отвечал Партридж.— Но хуже этого могильщика я отроду не видывал. Когда я был причетником, так наш пономарь выкопал бы три могилы, пока этот возится с одной. Он действует заступом так, точно первый раз в жизни взял его в руки. Пой, голубчик, пой! Видно, петь легче, чем работать.

Увидя, как Гамлет берет череп, он воскликнул:

— Удивительно, какие смельчаки на свете бывают! Я не мог бы заставить себя прикоснуться к останкам мертвеца ни за что на свете... А призрака все-таки испугался. Nemo omnibus horis sapit.

Больше в продолжение спектакля не случилось ничего, достойного упоминания. Когда представление кончилось, Джонс спросил Партриджа, кто из актеров понравился ему больше всех, и педагог отвечал, несколько даже обидевшись за такой вопрос:

— Разумеется, король.

— Значит, вы расходитесь с общим мнением, мистер Партридж,— заметила миссис Миллер.— Все в один голос говорят, что Гамлета играет лучший актер, какой когда-либо выступал на сцене.

— Лучший актер? — повторил Партридж с презрительной усмешкой.— Да я сам сыграл бы не хуже. Если бы мне явился призрак, я поступил бы точь-в-точь, как он. А в сцене, как вы это называете, между ним и матерью, когда вы сказали, что он так тонко играет,— господи, да ведь каждый порядочный человек, имея дело с такой матерью, поступил бы точно так же. Вы, я вижу, подшучиваете надо мной. Правда, я никогда не бывал в лондонских театрах, но я видел, как играют в провинции. Король — дело

другое: каждое слово произносит внятно, вдвое громче, чем Гамлет. Сразу видно, что актер.

Между тем как миссис Миллер разговаривала с Партриджем, к мистеру Джонсу подошла дама, в которой он тотчас же узнал миссис Фитцпатрик. Она сказала, что увидела его с другой стороны галереи и решила воспользоваться этим случаем, так как располагает сведениями, которые могут оказаться ему очень полезными. Она сообщила ему свой адрес и назначила свидание на другой день утром, но затем передумала и попросила зайти после полудня. Джонс обещал исполнить ее просьбу.

Так кончилось это посещение театра, где Партридж сильно позабавил не только Джонса и миссис Миллер, но и всех соседей, которые уделяли больше внимания его словам, чем тому, что происходило на сцене.

Боясь появления призрака, Партридж в эту ночь не ложился в постель и еще много следующих ночей, перед тем как лечь, часа два или три от страха обливался по́том, а пото́м несколько раз в ужасе просыпался, крича: «Господи помилуй! Вот он!»

## ГЛАВА VI,

*в которой наша история должна вернуться назад*

И наилучший отец не в состоянии соблюсти полное беспристрастие к своим детям, даже если превосходство которого-нибудь из них не влияет на его чувства; тем более мы не вправе порицать отца, когда его предпочтение обусловлено таким превосходством.

Так как на всех действующих лиц этой истории я смотрю, как на своих детей, то должен признаться в своем пристрастии к Софье и надеюсь, что читатель извинит мне эту слабость ради высоких душевных качеств молодой девушки.

Необыкновенная нежность, которой я преисполнен к своей героине, не позволяет мне без крайнего сожаления надолго с ней расставаться. Поэтому я с нетерпением взялся бы разузнать, что случилось с этим очаровательным созданием после ее отъезда из родительского дома, если бы не необходимость нанести коротенький визит мистеру Блайфилу.

Вследствие смятения мыслей, произведенного неожиданным известием о бегстве дочери, а также поспешного отъезда в погоню за ней, мистер Вестерн совсем позабыл уведомить Блайфила о своем открытии беглянки. Но, отъехав недалеко от дому, он сообразил, какую сделал оплошность, и из первой же гостиницы послал

к молодому человеку гонца с известием, что Софья найдена и что он твердо решил немедленно обвенчать ее с Блайфилом, если последнему угодно поехать вслед за ним в Лондон.

Так как Блайфил любил Софью той пылкой любовью, которую охладить могла бы разве только потеря ее состояния или подобное этому событие, то его наклонность к женитьбе ничуть не ослабела вследствие бегства невесты, хотя ему и приходилось считать себя его виновником. Поэтому он охотно принял предложение мистера Вестерна. В женитьбе на Софье Блайфил видел средство утолить сильнейшую свою страсть после корыстолюбия, именно: ненависть; ибо брак, казалось ему, давал одинаково удобный случай для удовлетворения как ненависти, так и любви — мнение весьма правдоподобное и подтверждаемое многочисленными примерами. Впрочем, судя по обычному обращению друг с другом супругов, мы вправе, пожалуй, заключить, что большинство из них ищет в брачном союзе, соединяющем все, кроме сердец, утоления одной только ненависти.

На пути его было, однако, одно препятствие — в лице мистера Олверти. Почтенный сквайр, заключив по бегству Софьи (ибо ни это бегство, ни причина его не могли от него укрыться) о крайнем отвращении ее к племяннику, начал серьезно тревожиться, не завел ли он дело слишком далеко, обманутый ложными уверениями. Он нисколько не разделял мнение тех родителей, которые полагают несущественным считаться при заключении брака с сердечным влечением детей, точно так же как, собираясь в дорогу, находят лишним спрашивать согласия слуг и от применения силы часто удерживаются, только боясь закона или нарушения приличий. Напротив, признавая институт брака священным, мистер Олверти считал необходимым всячески ограждать его святость и нерушимость и очень мудро рассуждал, что вернейшее средство достигнуть этого — заключать брак на основе взаимной любви.

Блайфил скоро рассеял подозрения дяди насчет обмана, клятвенно его уверив, что сам был обманут, с чем прекрасно согласовались многочисленные заявления Вестерна. Но добиться от Олверти согласия на возобновление его исканий казалось делом настолько трудным, что одна мысль об этом способна была удержать человека менее предприимчивого. Мистер Блайфил, однако, отлично знал свои дарования и был убежден, что в области коварства для него нет ничего недостижимого.

Он красноречиво изобразил дяде пылкость своей любви и выразил надежду постоянством преодолеть отвращение невесты. Он просил, чтобы в деле, от которого зависит все его будущее благополучие, ему предоставили, по крайней мере, свободу испытать все дозволенные средства для достижения успеха. Боже сохрани,

у него и в мыслях нет действовать сколько-нибудь неблаговидным образом! «К тому же, сэр,— говорил он,— если я потерплю неудачу, вы всегда будете иметь возможность (ведь времени для этого достаточно) отказать в своем согласии». Он сослался также на горячее и настойчивое желание мистера Вестерна заключить этот брак и, наконец, просклонял во всех падежах имя Джонса, изобразив его виновником всего случившегося, уберечь от которого столь достойную девушку повелевает само человеколюбие.

Все эти доводы нашли энергичную поддержку со стороны Твакома, еще подробнее, чем мистер Блайфил, распространившегося о значении родительской власти. Богослов приписал желание мистера Блайфила продолжать начатое дело истинно христианским побуждениям.

— Хотя почтенный юноша,— сказал он,— упомянул о человеколюбии лишь напоследок, но я твердо убежден, что оно играет первую и главную роль в его поведении.

Сквейр, будь он налицо, запел бы, вероятно, ту же песню, хотя и на другой лад, и открыл бы в поведении Блайфила глубокую нравственную гармонию,— но он уехал в Бат для поправления здоровья.

Олверти, хоть и не очень охотно, уступил наконец желанию племянника. Он сказал, что поедет с ним в Лондон и предоставит ему все честные средства добиться благосклонности Софьи.

— Но я решительно тебе заявляю,— сказал он,— что ни за что не соглашусь ни на какое насилие над ее чувствами, и ты на ней не женишься, если она не пойдет за тебя добровольно.

Так любовь Олверти к племяннику позволила более низким соображениям восторжествовать над более высокими; и самую умную голову часто сбивает с толку чувствительность слишком доброго сердца.

Блайфил, неожиданно добившись этой уступки от дяди, не успокоился, пока не привел своего намерения в исполнение. Так как у мистера Олверти не было дел, которые требовали бы его присутствия в деревне, а сборы в дорогу не отнимают у мужчин много времени, то они выехали на другой же день и прибыли в Лондон в тот самый вечер, когда мистер Джонс развлекался с Партриджем на представлении «Гамлета».

На следующее утро мистер Блайфил явился к мистеру Вестерну и был принят как нельзя более ласково и любезно. Он получил от сквайра всевозможные (может быть, даже невозможные) заверения, что в самое короткое время Софья сделает его счастливым, насколько она может сделать счастливым человека; и сквайр почти насильно увез его к сестре, не позволив возвращаться к дяде, прежде чем не будет улажено все дело.

## ГЛАВА VII,

*в которой мистер Вестерн является с визитом к сестре в сопровождении мистера Блайфила*

Миссис Вестерн читала племяннице лекцию о благоразумии и супружеской политике, когда брат ее и Блайфил вошли в комнату более бесцеремонно, чем полагается по этикету. Увидя Блайфила, Софья мгновенно побледнела и чуть не лишилась чувств; тетка же ее, напротив, покраснела и, вполне владея всеми чувствами, яростно обрушилась на сквайра.

— Братец,— сказала она,— я удивлена вашим поведением. Неужели вы никогда не научитесь соблюдать приличия? Неужели вы всегда будете смотреть на чужую квартиру, как на свою собственную или как на квартиру одного из ваших фермеров? Неужели вы считаете себя вправе вторгаться к порядочным женщинам без всяких церемоний и даже без доклада?

— Ну, чего раскудахталась? — отвечал сквайр.— Можно подумать, застал тебя за...

— Пожалуйста, без грубостей, сэр, сделайте одолжение,— остановила его миссис Вестерн.— Вы так напугали бедную племянницу, что она едва на ногах стоит... Поди, голубушка, и постарайся успокоиться: я вижу, тебе это необходимо.

Получив это приятное приказание, Софья поспешила удалиться.

— Помилуйте, сестрица, вы с ума сошли! — воскликнул сквайр.— Я привез мистера Блайфила, чтобы он за ней поухаживал, а вы высылаете ее вон.

— Вы, братец, хуже сумасшедшего. Ведь вам известно положение дел, а вы... Прошу мистера Блайфила извинить меня, но он прекрасно понимает, кому надо быть обязанным столь нелюбезным приемом. Что до меня, то я всегда рада видеть мистера Блайфила, но, я уверена, он настолько благовоспитан, что никогда бы не позволил себе войти неожиданно, если бы вы его не втащили.

Блайфил поклонился и что-то пробормотал; вид у него был самый дурацкий. Но Вестерн, не дав ему времени сочинить подобающую речь, отвечал:

— Ну да, ну да, я виноват, если вам угодно, я всегда виноват! А все-таки велите дочери вернуться; или пусть мистер Блайфил пойдет к ней... Ведь он затем и приехал, и каждая минута дорога.

— Братец,— сказала миссис Вестерн,— мистер Блайфил, я уверена, настолько благовоспитан, что не думает больше видеться с племянницей сегодня утром, после того что случилось. Женщины — существа деликатные; и когда чувства наши потрясены, мы

не можем успокоиться вдруг. Если бы вы предложили мистеру Блайфилу прежде прислать письмо, в котором он, свидетельствуя свое почтение, просил бы мою племянницу позволить ему явиться к ней после полудня, то мне, может быть, удалось бы уговорить ее принять молодого человека, но теперь я не имею на это никакой надежды.

— Мне очень жаль, сударыня,— сказал Блайфил,— что необыкновенная доброта мистера Вестерна, за которую я не в силах достаточно его отблагодарить, была причиной...

— Вам не для чего извиняться, сэр,— прервала его миссис Вестерн,— мы все хорошо знаем брата.

— Мне нужды мало,— отвечал сквайр,— только когда же ему прийти с ней повидаться? Ведь он, повторяю вам, нарочно за этим приехал, да еще с Олверти.

— Братец, о чем бы мистер Блайфил ни счел нужным просить мою племянницу, его просьба будет ей передана; и, полагаю, племянница не нуждается в наставлениях, что она должна ответить. Я уверена, она не откажется принять мистера Блайфила в подходящее время.

— Попробовала бы! — воскликнул сквайр.— Я бы ей показал... Разве мы не знаем... Не скажу ничего, только есть люди, которые умнее всех на свете... Если бы мне позволили действовать по-своему, так она бы не сбежала, а теперь, того и жди, опять улизнет. Считайте меня каким угодно дураком, а я прекрасно знаю, что она ненавидит...

— Все равно, братец,— возразила миссис Вестерн,— я не желаю слушать клеветы на свою племянницу. Вы порочите этим всю нашу фамилию. Софья делает ей честь и никогда ее не обесславит, уверяю вас. Я готова поручиться за ее поведение всей моей репутацией... Мне приятно будет видеть вас, братец, после полудня, потому что я имею сообщить вам кое-что важное... А теперь прошу мистера Блайфила и вас извинить меня: я должна одеваться.

— Хорошо, мы уходим,— отвечал сквайр,— но назначьте час.

— Часа я назначить не могу. Приходите после полудня.

— Ну что с ней поделаешь? — сказал сквайр, обращаясь к Блайфилу.— Мне с ней так же не справиться, как гончей со старым русаком. Может быть, после полудня она будет сговорчивее.

— Как видно, я осужден на неудачи, сэр,— отвечал Блайфил,— но всегда буду считать себя вам обязанным.

Он церемонно поклонился миссис Вестерн, которая ему ответила таким же церемонным поклоном, и они уехали. Дорогой сквайр

клялся вполголоса, что дочь его непременно примет сегодня Блайфила.

Если мистер Вестерн остался не очень доволен этим свиданием, то Блайфил и подавно. Все поведение сестры сквайр объяснял тем, что она была не в духе, обидевшись на них за несоблюдение этикета; но Блайфил видел глубже: два-три слова, оброненные миссис Вестерн, внушили ему подозрение, что тут кроется что-нибудь поважнее. И, правду сказать, эти подозрения были основательны, как это обнаружится из содержания следующей главы.

## ГЛАВА VIII

*Замысел леди Белластон погубить Джонса*

Любовь пустила слишком глубокие корни в сердце лорда Фелламара, чтобы ее могли вырвать грубые руки мистера Вестерна. Правда, в пылу гнева лорд дал капитану Эглейну поручение к сквайру, но капитан далеко переступил границы своих полномочий. Поручение было бы даже взято назад, если бы лорд мог найти капитана после свидания с леди Белластон, которое произошло на другой день после его столкновения с Вестерном. Но капитан принялся за дело так рьяно, что, разыскав после долгих расспросов квартиру мистера Вестерна уже поздно вечером, он просидел всю ночь в соседнем кабачке, чтобы не упустить сквайра на следующее утро, и потому не получил отправленной ему на дом записки лорда с отменой возложенного на него поручения.

На другой день после неудачного покушения на невинность Софьи лорд Фелламар, как мы сказали, посетил леди Белластон, и та описала ему характер сквайра с такими подробностями, что он ясно увидел, как нелепо было обижаться на старика, особенно имея честные виды на его дочь. Он признался леди Белластон в пылких чувствах к Софье, и леди с готовностью взялась ему помочь, ободрив его уверением, что он будет самым благосклонным образом принят не только старшими членами семьи, но и самим отцом, когда тот протрезвится и поймет, какого рода предложение делают его дочери. Единственная опасность, сказала она, кроется в человеке, которого она ему уже называла. Этот нищий и бродяга каким-то способом,— ей это неизвестно,— раздобыл приличное платье и слывет за джентльмена.

— Заботясь о кузине,— продолжала она,— я поставила себе в обязанность разузнать о нем подробнее, и мне посчастливилось даже достать его адрес (который она тут же сообщила лорду). Вот что, лорд: человек этот настолько ничтожен, что связываться

с ним было бы ниже вашего достоинства,— так не можете ли вы придумать какой-нибудь способ завербовать его в матросы? Это не противно ни закону, ни совести, потому что, несмотря на приличный костюм, он просто проходимец, и его можно завербовать не хуже любого парня на улице. А что касается совести, то ведь спасение молодой девушки от гибели есть дело весьма похвальное; да и его самого, если только ему не удастся (сохрани боже!) похитить кузину, это, может быть, спасет от виселицы и позволит ему выйти на честную дорогу.

Лорд Фелламар сердечно поблагодарил ее светлость за столь любезное участие в деле, от успеха которого зависело все его будущее счастье. Он сказал, что в данный момент не видит никаких препятствий завербовать Джонса в матросы и обдумает, как привести это в исполнение. Потом он обратился к леди с горячей просьбой сделать ему честь немедленно передать его предложение родным Софьи и сказать, что он дает им carte blanche[1] и согласен на любые условия, какие будут ему поставлены. Наконец, рассыпавшись в восторженных похвалах по адресу Софьи, лорд раскланялся и ушел, на прощанье получив от леди совет тщательно остерегаться Джонса и, не теряя времени, приступить к осуществлению плана, который положит конец всем его покушениям на молодую девушку.

Приехав к себе на квартиру, миссис Вестерн тотчас же послала поклон леди Белластон, и леди с нетерпением любовника в ту же минуту помчалась к кузине, радуясь столь счастливому стечению обстоятельств. Ей было больше по душе сделать предложение умной и знающей свет женщине, чем джентльмену, которого она честила готтентотом, хотя, впрочем, и от него не опасалась получить отказ.

Обменявшись коротенькими приветствиями, дамы приступили прямо к делу и мигом его порешили. При одном звуке имени лорда Фелламара миссис Вестерн зарделась от удовольствия, а узнав о его пылкой страсти, серьезных намерениях и великодушном предложении, самым решительным образом высказалась в его пользу.

Потом речь зашла о Джонсе, и обе кузины начали горячо сокрушаться о несчастной привязанности к нему Софьи, причем миссис Вестерн отнесла это всецело за счет бестолкового обращения с нею брата. Однако она заключила свою речь уверенностью, что племянница в этом деле проявит благоразумие.

— Правда, она не пожелала отказаться от своей привязанности ради Блайфила, но, без сомнения, пожертвует простой склон-

[1] Полную свободу выбора *(франц.)*.

ностью предложениям светского джентльмена, который даст ей имя и огромное состояние. Ибо,— прибавила миссис Вестерн, я должна отдать Софье справедливость: этот Блайфил порядочный мужлан, как и все наши деревенские джентльмены; вас это не удивит, Белластон,— в нем только и есть положительного что деньги.

— В таком случае, меня ничуть не удивляет поведение моей кузины,— отвечала леди Белластон,— ведь этот Джонс молодец собой и обладает качеством, которое больше всего нравится нам в мужчинах. Можете себе представить, миссис Вестерн,—это, наверно, вас рассмешит, я сама с трудом сдерживаю смех, рассказывая об этом,— поверите ли, этот молодчик имел дерзость ухаживать за мной! Если вы считаете это выдумкой, так вот вам доказательство: документ, написанный его собственной рукой.

С этими словами она вручила кузине письмо, в котором Джонс предлагал ей свою руку; читатель, если ему угодно, найдет его приведенным дословно в пятнадцатой книге этой истории.

— Я положительно ошеломлена,— сказала миссис Вестерн.— Это прямо шедевр бесстыдства! Однако, с вашего позволения, я могла бы извлечь из этого письма кое-какую пользу.

— Предоставляю его в ваше полное распоряжение,— отвечала леди Белластон.— Только мне не хотелось бы, чтобы вы показывали его кому-нибудь, кроме мисс Вестерн, да и то лишь при удобном случае.

— Хорошо. А как же вы распорядились с молодчиком? — спросила миссис Вестерн.

— В мужья я его не взяла,— отвечала леди.— Я не собираюсь замуж, уверяю вас, голубушка. Вы ведь знаете, Бель, я уже однажды испытала это удовольствие; для рассудительной женщины одного раза, по-моему, довольно.

Леди Белластон рассчитывала, что письмо это уронит Джонса в глазах Софьи, и взяла на себя смелость передать его — отчасти в надежде, что Джонса вскоре удастся убрать с дороги, а отчасти в уверенности, что Гонора, которую она достаточно испытала, готова будет засвидетельствовать все, что от нее потребуют.

Однако читатель, может быть, удивится, почему леди Белластон, в душе ненавидевшая Софью, так усердно старалась устроить очень выгодную для нее партию. Я предложил бы такому читателю внимательно пересмотреть книгу человеческой природы: там почти на последней странице едва разборчивым почерком написано, что женщины, несмотря на все превратные суждения маменек и тетушек, в действительности считают брак вопреки влечению сердца таким великим несчастьем, что худшего огорчения

не в силах придумать никакая злоба; и на той же странице написано далее, что женщина, наслаждавшаяся однажды любовью мужчины, пройдет больше половины дороги в преисподнюю, лишь бы не дать насладиться тем же и другой.

Если эти объяснения читателя не удовлетворяют, то, откровенно признаюсь, поведение леди Белластон для меня непонятно,— разве только предположить, что она была подкуплена лордом Фелламаром; но такое предположение, по-моему, совершенно неосновательно.

Это и было дело, о котором миссис Вестерн собиралась поговорить с Софьей, предварив свою речь рассуждением о безрассудстве любви и о мудрости узаконенной проституции за плату,— когда так бесцеремонно вошли ее брат и Блайфил. Отсюда проистекала и ее холодность в обращении с Блайфилом; сквайр, по своему обыкновению, истолковал ее превратно, но Блайфил (человек гораздо более сметливый) начал догадываться об истинном положении вещей.

## ГЛАВА IX,

*в которой Джонс делает визит миссис Фитцпатрик*

Пусть читатель соблаговолит теперь вернуться с нами к мистеру Джонсу, который в назначенный час явился к миссис Фитцпатрик; но прежде чем передавать их разговор, мы находим нужным, согласно принятому нами методу, оглянуться немного назад и объяснить столь резкую перемену в поведении этой дамы, которая сначала переехала даже на другую квартиру, чтобы избежать посещений мистера Джонса, а теперь, как мы видели, сама упорно искала встречи с ним.

Для этого нам нужно только рассказать, что случилось с ней накануне. Услышав от леди Белластон о приезде в Лондон мистера Вестерна, она отправилась к нему с поклоном на Пикадилли, где была встречена градом непечатных словечек и даже угрозами вытолкать ее в шею. Один старый слуга ее тетки, которого она хорошо знала, проводил ее оттуда до квартиры этой дамы, принявшей ее нисколько не ласковее, хотя и учтивее,— то есть так же неприветливо, только на другой лад. Словом, она вернулась от дяди и тетки убежденная не только в неудаче своей попытки примирения, но и в том, что ей уже не добиться этого примирения никакими средствами. С этой минуты все ее помыслы заняты были одним только желанием отомстить. Встретившись в таком состоянии с Джонсом в театре, она решила восполь-

зоваться счастливым случаем для исполнения своего намерения.

Читатель, наверно, помнит из рассказа миссис Фитцпатрик Софье, сколь благосклонное внимание миссис Вестерн оказала на первых порах в Бате мистеру Фитцпатрику. Именно крушению ее видов на этого джентльмена миссис Фитцпатрик приписывала теперь страшное озлобление против нее тетки. Она не сомневалась, что почтенная дама окажется столь же чувствительной к знакам внимания со стороны мистера Джонса, как это было некогда в отношении ее мужа, тем более что все преимущества были явно на стороне мистера Джонса; а что тетушке с тех пор прибавилось несколько лет, то в этом она видела довод (насколько справедливо, не знаю) скорее в пользу своих замыслов, чем против них.

Вот почему, когда Джонс явился, миссис Фитцпатрик первым делом объявила о своем желании быть ему полезной, проистекавшем, как она сказала, из твердой уверенности, что очень обяжет этим Софью. Потом, извинившись за свое прошлое поведение и сообщив мистеру Джонсу, под чьим надзором находится его возлюбленная (она думала, что это ему неизвестно), миссис Фитцпатрик откровенно изложила ему свой план и посоветовала приволокнуться за теткой, чтобы обеспечить себе таким образом доступ к племяннице; при этом она рассказала, как блестяще эта уловка удалась некогда мистеру Фитцпатрику.

Мистер Джонс горячо поблагодарил ее за участие к нему, так ярко засвидетельствованное этим предложением, но выразил некоторое сомнение насчет успеха задуманного, потому что миссис Вестерн знала о любви его к Софье, тогда как при ухаживании за нею мистера Фитцпатрика положение было иное; кроме того, сказал он, сама Софья не согласится на такую комедию из отвращения ко всякому обману и из искреннего уважения к тетке.

Миссис Фитцпатрик была этим немного задета; и точно, если не видеть в этом обмолвки, то Джонс несколько нарушил правила вежливости, что едва ли допустил бы, если бы не был увлечен желанием похвалить Софью: забывшись, он не сообразил, что восхваление одной кузины является молчаливым порицанием другой.

— Право, сэр,— с некоторой горячностью отвечала миссис Фитцпатрик,— мне кажется, нет ничего легче, как обмануть пожилую женщину уверениями в любви, особенно если она расположена их слушать; а я должна сказать, что миссис Вестерн, хоть она мне и тетка, ох какая лакомка на этот счет! Разве вы не можете сделать вид, что, отчаявшись получить руку племянницы, обещан-

ную Блайфилу, обратили свое внимание на тетку? А что касается моей кузины, то, поверьте, она не такая дурочка, чтобы щепетильничать по пустякам или видеть что-нибудь дурное в наказании одной из старых ведьм, трагикомические страсти которых причиняют столько зла в семьях. Как жаль, что эти старухи не подлежат наказанию по закону! В свое время я с самой спокойной совестью согласилась на эту хитрость, и все же, надеюсь, Софья не обидится, если я скажу, что ее кузина Фитцпатрик ничуть не меньше ее ненавидит всякий обман в настоящем смысле этого слова. Я не похвалюсь мнимым уважением к тетке, да она его и не заслуживает. Вот вам мой совет, сэр, и если вы откажетесь ему последовать, я буду более низкого мнения о вашем уме,— вот и все.

Джонс теперь ясно увидел свою оплошность и приложил все старания, чтобы поправиться, но запутался еще больше и наговорил кучу нелепостей. Правду сказать, часто бывает выгоднее примириться с последствиями первого промаха, чем пытаться его исправить, ибо попытки эти обыкновенно нас не спасают, а лишь глубже топят; и не всегда можно ожидать в подобных случаях столько доброты, сколько проявила ее миссис Фитцпатрик, которая, видя смущение Джонса, сказала ему с улыбкой:

— Вам не для чего столько извиняться, ибо я охотно прощаю влюбленному все промахи, совершенные им в порыве искреннего чувства.

И она снова принялась горячо советовать Джонсу обратиться к предложенному ею средству, пустив в ход все доводы, какие могло изобрести ее воображение. Она была так разгневана на тетку, что только и мечтала о том, как бы осрамить старуху, и, как настоящая женщина, не желала видеть никаких затруднений в осуществлении заветной мысли.

Джонс, однако, твердо отклонил эту затею, действительно не имевшую ни малейших шансов на успех. Он без труда догадался, что́ побуждало миссис Фитцпатрик так горячо настаивать на исполнении своего замысла. Он сказал, что не собирается отречься от нежных и страстных чувств к Софье, но, ясно сознавая все неравенство их положений, не может льстить себя надеждой, чтобы такое божественное создание снизошло до благосклонности к такому недостойному человеку; он объявил даже, что не смеет этого желать. Закончил он выражением чувств, которые нам некогда теперь пересказывать.

Есть хорошенькие женщины (я не смею сказать — просто женщины), в которых мысль о себе настолько поглощает все, что они не могут от нее отрешиться, какого бы предмета ни коснулись; находясь всецело во власти тщеславия, они имеют обыкновение

подхватывать каждую похвалу, какую только услышат, и присваивают ее себе, несмотря на то что она составляет чужую собственность. В обществе такой дамы нельзя сказать ни одного лестного слова о другой женщине — она тотчас же отнесет его к себе, нередко даже усилив его значение. Если красота, ум, любезность и веселость этой дамы заслуживают таких похвал, думает она, то чего же достойна я, обладающая этими качествами в гораздо большей степени?

Перед такой дамой мужчина часто выставляет себя в выгодном свете, хваля другую женщину. Выражая пылкие и благородные чувства по адресу своей возлюбленной, он внушает ей мысль, каким очаровательным любовником был бы человек, который с такой нежностью относится к женщине, не могущей выдержать сравнения с нею самой. Как это ни странно, я наблюдал такие вещи нередко, и миссис Фитцпатрик, с которой это теперь случилось, не является исключением. Она начала чувствовать к мистеру Джонсу нечто, симптомы чего распознала в себе гораздо скорее, чем когда-то бедняжка Софья.

Надо сознаться, что совершенная красота в мужчине, как и в женщине, действует гораздо неотразимее, чем принято думать. Несмотря на то что иные из нас довольствуются более скромным жребием и затверживают (как дети непонятный урок), что наружность надо презирать и ценить более существенные прелести, однако я всегда замечал, что при появлении подлинной красоты с этими более существенными прелестями делается то же, что с сиянием звезд после восхода солнца.

Когда Джонс кончил свои восклицания, из которых многие сделали бы честь устам самого Орондата, миссис Фитцпатрик глубоко вздохнула, отвела глаза от Джонса, на которого они были некоторое время устремлены, и, опустив их в землю, проговорила:

— Ах, как мне жаль вас, мистер Джонс! Но, видно, людям суждено расточать нежные чувства как раз перед теми, кто не умеет их ценить. Я знаю кузину лучше, чем вы, мистер Джонс, и должна сказать, что женщина, не платящая взаимностью за такую любовь такого человека, не достойна ни его любви, ни его самого.

— Но вы, конечно, не думаете, сударыня...— начал было Джонс.

— Думаю! — прервала его миссис Фитцпатрик.— Я сама не знаю, что я думаю. В истинной любви, мне кажется, есть какое-то волшебство; женщина редко встречает ее в мужчине и еще реже умеет ее ценить, если ей выпадет такое счастье. Я никогда еще не слышала таких истинно благородных суждений, и не знаю почему,

но вы принуждаете верить вам. Достойна всяческого презрения женщина, которая остается к этому безучастной.

Тон, которым это было сказано, и взгляды говорившей заронили в Джонсе подозрение, которое мы не выскажем читателю прямо. Не отвечая на ее замечание, он сказал:

— Боюсь, сударыня, я слишком наскучил вам своим посещением...— и встал, собравшись уходить.

— Нисколько, сэр,— отвечала миссис Фитцпатрик.— Ах, если бы вы знали, как мне жаль вас, мистер Джонс! Но если вы уходите, подумайте о моем предложении... Я убеждена, что вы его одобрите... И поскорей приходите снова ко мне... Приходите завтра утром, если хотите; или в другое время, только завтра. Я буду целый день дома.

Выразив ей глубокую благодарность, Джонс с почтительным поклоном удалился, а госпожа Фитцпатрик не удержалась и на прощанье подарила его взглядом, значение которого не понял бы разве только тот, кто совершенно ничего не смыслит в красноречивом языке глаз. Этот взгляд укрепил Джонса в решении больше сюда не возвращаться, ибо, хотя на страницах этой истории он являлся большим повесой, все его помыслы были теперь так заняты Софьей, что, я думаю, ни одна женщина на земном шаре не была бы в состоянии вовлечь его в измену.

Однако Фортуна, всегда к нему недружелюбная, зная о его намерении не давать ей другого случая потешиться, решила воспользоваться настоящим и вовлекла его в трагическое приключение, о котором мы вынуждены с прискорбием рассказать.

## ГЛАВА X

*Последствия описанного визита*

Мистер Фитцпатрик, получив от миссис Вестерн вышеупомянутое письмо и узнав, таким образом, о местопребывании своей жены, вернулся прямо в Бат, а оттуда на другой же день отправился в Лондон.

Мы уже не раз говорили читателю о ревнивом характере этого джентльмена. Благоволите также припомнить о подозрениях, зародившихся у него по поводу Джонса в Эптоне, когда он застал его в комнате миссис Вотерс. Правда, впоследствии мистер Фитцпатрик имел случай убедиться в совершенной неосновательности этих подозрений, однако, прочитав теперь лестный отзыв жены о мистере Джонсе, он задумался и сообразил, что и она ведь была в гостинице в то самое время. От этого в голове у него, и без того

не очень светлой, все пошло кругом, и из хаоса родилось зеленоглазое чудовище, о котором говорит Шекспир в трагедии «Отелло».

Он спрашивал у стоящих на улице, как ему пройти к жене; и как раз ему указали на ее двери, когда из них, к несчастью, вышел мистер Джонс.

Фитцпатрик сначала не узнал нашего героя, однако, увидев молодого, хорошо одетого человека, выходящего от жены, направился прямо к нему и спросил, что он делал в этом доме.

— Я знаю, что вы были там,— прибавил он,— я видел, как вы вышли.

Джонс спокойно ответил, что был с визитом у одной дамы. Тогда Фитцпатрик поспешно спросил:

— А что за дело у вас к этой даме?

— Да, никак, это вы, приятель?! — воскликнул Джонс, припомнив вдруг голос, лицо и даже одежду незнакомца.— Вашу руку. Надеюсь, маленькое недоразумение, случившееся когда-то между нами, не оставило в вас дурного воспоминания.

— Ей-богу, сэр, не знаю, кто вы такой, и не припомню вашего лица,— отвечал Фитцпатрик.

— Я тоже, сэр, не имею удовольствия знать ваше имя, но прекрасно помню, что видел вас в Эптоне, где между нами произошло глупое столкновение; если вы его не забыли, давайте выпьем мировую.

— В Эптоне?! — воскликнул Фитцпатрик.— Э! Да уж не Джонс ли вы?

— Он самый.

— Так тебя-то мне и надо! Выпить с тобой я выпью, но сначала дам тебе по морде. Вот, получай, мерзавец! Если ты мне сейчас же не дашь за это удовлетворения, так я тебя еще раз ударю.— И, обнажив шпагу, он стал в оборонительную позицию: единственное искусство, в котором он кое-что смыслил.

Джонс слегка пошатнулся от неожиданного удара, но живо оправился и, в свою очередь, обнажил шпагу. Несмотря на полное неуменье фехтовать, он напал на Фитцпатрика так стремительно, что сбил его с позиции и до половины воткнул клинок в его тело; получив удар, ирландец попятился, опустил шпагу и, опершись на нее, воскликнул:

— Теперь я вполне удовлетворен: вы меня прикончили!

— Надеюсь, что нет,— отвечал Джонс,— но что бы ни случилось, не забудьте, что вы сами всему причиной.

В эту минуту несколько человек набросились на Джонса и схватили его, но он объявил, что не будет сопротивляться, а просит позаботиться о раненом.

— Ну, о нем, пожалуй, заботиться уже нечего,— отвечал

один из напавших,— через час-другой он на тот свет отправится. А вот у вас, сэр, так еще, по крайней мере, целый месяц впереди.

— Черт бы его побрал, Джек,— сказал другой,— расстроил он свою поездку; теперь отправится в другую гавань.

И бедняге Джонсу пришлось выслушать немало таких шуточек от окруживших его молодцов, которые были не кем иным, как партией матросов, подосланных лордом Фелламаром: они выследили, как он вошел в дом миссис Фитцпатрик, и поджидали его за углом, когда произошла эта несчастная стычка.

Командир отряда очень мудро рассудил, что теперь его дело передать арестованного в руки гражданских властей. Он приказал поэтому отвести его в ближайшую харчевню, послал за констеблем и сдал ему Джонса.

Констебль, видя хороший костюм мистера Джонса и слыша, что несчастье случилось на дуэли, обошелся с арестованным очень учтиво и по его просьбе послал узнать о состоянии раненого, который находился теперь в гостинице на попечении хирурга. Посланный вернулся с известием, что рана, несомненно, смертельна и нет никакой надежды на спасение. Тогда констебль объявил Джонсу, что должен отвести его к судье.

— Куда вам угодно,— отвечал Джонс,— мне все равно, что со мной будет: хоть я и убежден, что в глазах закона я не убийца, но пролитая кровь невыносимо тяготит мою совесть.

Джонс был приведен к судье, куда явился и хирург, оказавший помощь мистеру Фитцпатрику; он заявил, что считает рану смертельной. После этого арестованного посадили в тюрьму. Вследствие позднего времени Джонс не захотел посылать за Партриджем до следующего утра, но так как он уснул только в семь часов, то был уже полдень, когда бедняга Партридж, чрезвычайно напуганный продолжительным отсутствием хозяина, получил известие, почти вконец его сразившее.

Он отправился в тюрьму с трясущимися коленями и с сильно бьющимся сердцем и, войдя, начал горько плакать и сокрушаться по поводу постигшего Джонса несчастья, беспрестанно с ужасом озираясь вокруг себя: дело в том, что пришло известие о смерти мистера Фитцпатрика, и бедняга каждую минуту ждал появления его духа. От страха он чуть не забыл передать письмо, принесенное от Софьи Черным Джорджем.

Джонс тотчас же выслал всех вон из комнаты и, торопливо вскрыв письмо, прочел следующее:

«Вы обязаны этим новым известием от меня случаю, который, признаться, поразил меня. Тетушка только что показывала мне ваше письмо к леди Белластон, в котором вы предлагаете ей быть

вашей женой. Я не сомневаюсь, что оно написано вашей рукой и, что еще удивительнее, в то самое время, когда вы хотели меня уверить в вашем ко мне участии. Предоставляю вам истолковать этот факт. Все, чего я желаю, это никогда более не слышать вашего имени.

*С. В.*».

Мы не можем дать читателю лучшего представления о душевном состоянии мистера Джонса и о его мучениях, как сказав, что в ту минуту его пожалел бы даже Тваком. Но, несмотря на всю безотрадность положения нашего героя, нам приходится теперь его покинуть, как покинул его добрый гений (если только он у него был). На этом мы кончаем шестнадцатую книгу нашей истории.

# КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ТРИ ДНЯ

## ГЛАВА I,

*содержащая обрывок вступления*

Комедийный писатель, сделав главных своих героев счастливыми, и автор трагедии, ввергнув их в глубочайшую пучину несчастья,— оба считают дело свое выполненным и произведения свои доведенными до конца.

Если бы я был писателем трагедийного склада, читателю пришлось бы признать, что конец мною уже почти достигнут, поскольку трудно было бы самому дьяволу или кому-нибудь из его представителей на земле придумать что-нибудь ужаснее тех мучений, в которых мы оставили беднягу Джонса в последней главе; что же касается Софьи, то ни одна добросердечная женщина не пожелала бы своей сопернице большего отчаяния, чем то, какое моя героиня, надо думать, теперь испытывала. Что же тогда оставалось бы для развязки трагедии, как не парочка убийств да несколько моральных наставлений?

Но выручить наших героев из постигшего их горя и мук и благополучно высадить их на берег счастья представляется делом более трудным — настолько трудным, что мы даже за него не беремся. Для Софьи, пожалуй, еще можно было бы подыскать напоследок хорошего мужа — Блайфила, лорда или кого другого. Но что касается несчастного Джонса, то, по милости своей неосмотрительности сделавшись уголовным преступником если не в глазах света, то в своих собственных, он попал в столь бедственное положение, оставленный друзьями и преследуемый врагами, что мы почти отчаиваемся как-нибудь ему помочь; и если читатель охотник до публичных казней, то я советую ему, не теряя времени, достать место в первом ряду на Тайберне.

Во всяком случае, я твердо обещаю читателю, что, невзирая на всю привязанность, какую можно предположить во мне к этому негодяю, так несчастливо избранному мной в герои, я не прибегну для его спасения к сверхъестественной помощи, предоставленной писателям с тем условием, чтобы мы ею пользовались только в чрезвычайных случаях. Поэтому, если он не найдет естественных средств выпутаться из беды, мы не допустим ради него насилия над правдой и достоинством повествования; скорее мы расскажем, как его повесили на Тайберне (что, вероятнее всего, и случится), чем решимся прикрасить истину и поколебать доверие читателя.

В этом отношении древние писатели имели большое преимущество перед нами. Мифология, в сказания которой народ веровал тогда больше, чем верует теперь в догматы какой угодно религии, всегда давала им возможность выручить любимого героя. Боги всегда находились под рукой писателя, готовые исполнить малейшее его желание, и чем необыкновеннее была его выдумка, тем больше пленяла и восхищала она доверчивого читателя. Тогдашним писателям легче было перенести героя из страны в страну и даже переправить на тот свет и обратно, чем нынешним освободить его из тюрьмы.

Такую же помощь арабы и персы, сочиняя свои сказки, получали от гениев и фей, вера в которых у них зиждется на авторитете самого Корана. Но мы не располагаем подобными средствами. Нам приходится держаться естественных объяснений. Попробуем же сделать что можно для бедняги Джонса, не прибегая к помощи чудесного, хотя, надо сознаться, некий голос и шепчет мне на ухо, что он еще не изведал самого худшего и что ужаснейшее известие еще ждет его на нераскрытых листках книги судеб.

## ГЛАВА II

*Великодушное и благородное поведение миссис Миллер*

Мистер Олверти и миссис Миллер сидели за завтраком, когда возвратился Блайфил, вышедший из дому очень рано.

— Господи! — воскликнул он, подсев к столу.— Можете себе представить, дядюшка, что случилось? Мне страшно даже рассказывать, чтобы не растравлять неприятных воспоминаний: ведь вы когда-то благодетельствовали этому негодяю.

— В чем дело, голубчик? — спросил Олверти.— Боюсь, я не раз в своей жизни делал добро недостойным. Но милосердие не усыновляет пороков тех людей, которым оно оказано.

— Ах, сэр! Видно, само провидение подсказало вам слово «усыновляет». Да, сэр, усыновленный вами Джонс, этот несчастный, которого вы вскормили на груди своей, оказался величайшим негодяем на свете.

— Клянусь всем святым, это ложь! — воскликнула миссис Миллер.— Мистер Джонс вовсе не негодяй. Он достойнейший человек. И если бы кто-нибудь другой назвал его негодяем, так я плеснула бы ему в лицо вот этим кипятком.

Мистер Олверти посмотрел на нее с большим удивлением, но миссис Миллер, не давая ему произнести ни слова, проговорила:

— Надеюсь, вы на меня не сердитесь; я ни за что на свете не захотела бы вас прогневить, но не могу слышать, чтобы мистера Джонса называли негодяем.

— Должен вам признаться, сударыня,— сказал мистер Олверти очень серьезным тоном,— меня несколько удивляет, что вы так горячо вступаетесь за молодчика, которого не знаете.

— Помилуйте, мистер Олверти,— отвечала она,— я его знаю, очень даже знаю! Было бы крайней неблагодарностью с моей стороны, если б я от него отреклась. Ведь он спас меня и мою семью, и нам всем надо благословлять его до конца жизни. Да пошлет ему бог всякого счастья, и да смягчит он сердце его злых врагов! Я знаю, я вижу, что у него есть враги.

— Вы все больше и больше удивляете меня, сударыня,— сказал Олверти,— по всей вероятности, вы имеете в виду кого-то другого. Не может быть, чтобы вы были столько обязаны человеку, о котором говорит мой племянник.

— Клянусь,— отвечала миссис Миллер,— я ему обязана чрезвычайно: он спас меня и мою семью. Поверьте, сэр, его перед вами оклеветали, бессовестно оклеветали. Я в этом не сомневаюсь, иначе вы, сама доброта и справедливость, не называли бы презрительно «молодчиком» бедного, беззащитного мальчика, о котором когда-то говорили с такой нежной любовью. Клянусь вам, благодетель мой, он заслуживает с вашей стороны лучшего отношения, и вы бы так о нем не отзывались, если бы слышали, с каким уважением, с какой любовью, с какой благодарностью говорит он о вас. С каким благоговением произносит он всегда ваше имя! В этой самой комнате видела я его, на коленях призывающего на вас благословение небес. Он любит вас не меньше, чем я люблю мою дочку.

— Теперь я вижу, сэр, что миссис Миллер действительно его знает,— заметил Блайфил с одной из тех язвительных усмешек, какими дьявол отмечает своих любимцев.— Я полагаю, что он жаловался на вас не ей одной, но и другим нашим знакомым.

Что касается меня, то по некоторым намекам миссис Миллер я вижу, что он со мною не церемонился; но я ему прощаю.

— А вам да простит господь,— сказала миссис Миллер,— все мы грешники и нуждаемся в господнем милосердии.

— Признаться, миссис Миллер,— сказал Олверти,— ваше обращение с моим племянником мне не очень нравится; и так как оно могло быть внушено вам только тем отъявленным негодяем, то смею вас уверить, что вы таким образом раздражаете меня против него еще больше, если это возможно, ибо должен вам сказать, миссис Миллер, что молодой человек, которого вы видите перед собой, всегда был горячим защитником неблагодарного, сторону которого вы берете. Слыша эти слова из моих уст, вы, я думаю, будете поражены глубиной человеческой низости и неблагодарности.

— Вас обманули, сэр,— отвечала миссис Миллер.— Если б это были последние слова мои, я бы сказала: вас обманули; и еще раз повторяю: да простит господь тем, кто вас обманул. Я вовсе не утверждаю, что молодой человек лишен недостатков, но это недостатки юношеской несдержанности, недостатки, от которых, я уверена, он со временем освободится; а если бы даже этого не случилось, то они в нем щедро искупаются благороднейшим, отзывчивым и полным любви сердцем.

— Право, миссис Миллер,— сказал Олверти,— если бы я слышал это не от вас самой, я бы не поверил.

— А я поручусь, сэр,— отвечала она,— что вы поверите всему, что я вам сказала, чем угодно поручусь; и когда вы выслушаете до конца все, что я вам расскажу (а я расскажу вам все), то не только не прогневаетесь, а, напротив, признаете (я хорошо знаю вашу справедливость), что я была бы презреннейшей и неблагодарнейшей женщиной, если бы поступила иначе.

— Да, сударыня, я буду очень рад услышать от вас оправдание поведения, которое, мне кажется, очень нуждается в оправдании. Но сначала позвольте моему племяннику досказать начатое. Верно, это что-нибудь важное, иначе он не сделал бы такого предисловия. Может быть, даже его рассказ устранит наше недоразумение.

Миссис Миллер сделала знак, что готова повиноваться, и мистер Блайфил начал так:

— Если вы, сэр, не обижаетесь на миссис Миллер, то я и подавно прощаю ей все, чем она задела меня лично. Только, мне кажется, ваша доброта заслуживала бы с ее стороны лучшего отношения.

— Хорошо, голубчик,— прервал его Олверти,— но какая же у тебя новость? Что он еще натворил?

— Несмотря на все сказанное миссис Миллер, я с большим прискорбием сообщаю то, чего вы никогда бы не услышали от меня, не будь это такое дело, которого не скроешь ни от кого на свете. Словом, он убил человека. Я не скажу: умышленно,— закон, может быть, посмотрит на это иначе; я от души этого ему желаю.

Олверти был потрясен; он перекрестился и сказал, обращаясь к миссис Миллер:

— Что вы на это скажете, сударыня?

— Скажу, сэр, что еще никогда в жизни не была так опечалена. Но если это верно, то, кто бы ни был убитый, я убеждена, что он сам виноват. У нас в Лондоне много негодяев, которые только и ищут, как бы задеть молодых джентльменов. Только самое вызывающее поведение могло толкнуть его на такое дело: из всех моих постояльцев он был самый смирный и мягкий в обращении. Его любили все в моем доме и все, кто его здесь видел.

Но тут сильный стук в дверь прервал их разговор и помешал миссис Миллер продолжать свою речь или слушать ответ на нее, ибо, догадавшись, что это пришел кто-то к мистеру Олверти, она поспешила удалиться и увести с собой дочку. Глаза малютки наполнились слезами при печальном известии о Джонсе, который обыкновенно называл ее своей маленькой женой и не только дарил ей игрушки, но и сам играл с нею по целым часам.

Может быть, иным читателям доставят удовольствие эти мелочи, на которых мы иногда останавливаемся, по примеру одного из лучших наших собратьев-историков, Плутарха; другие же, которым они покажутся обыденными, мы надеемся, извинят нас хотя бы потому, что мы никогда не останавливаемся на них слишком долго.

## ГЛАВА III

*Посещение мистера Вестерна и несколько замечаний относительно отцовской власти*

Вскоре после ухода миссис Миллер в комнату вошел мистер Вестерн. Его задержала маленькая ссора с носильщиками портшеза: ребята эти, взяв свою ношу в «Геркулесовых столпах», решили, что сквайр вряд ли будет у них постоянным заказчиком; поощренные вдобавок его щедростью (он дал им на шесть пенсов больше положенного), они весьма развязно потребовали с него еще шиллинг. Это до того взбесило сквайра, что он не только крепко их выругал возле дверей, но и вошел в комнату в сильно возбужденном состоянии, приговаривая, что все лондонцы похожи

на нынешний двор и только думают, как бы обобрать сельских сквайров.

— Будь я проклят,— горячился он,— если я еще когда-нибудь сяду в эти чертовы носилки! Лучше пешком в дождь пойду. На одной миле растрясло хуже, чем за целую лисью охоту на моей карей Бесс.

Когда гнев его на портшезы немного утих, он перенес его на другой предмет.

— Вот так дельце затеяно, нечего сказать! — воскликнул он.— Собаки в последнюю минуту рванули в сторону: мы думали, что травим лисицу, ан выходит — барсук!

— Сделайте одолжение, сосед, оставьте ваши метафоры и говорите яснее,— прервал его Олверти.

— Извольте, дорогой мой. До сих пор все мы боялись одного пащенка, чьего-то ублюдка, не знаю чьего, а тут откуда ни возьмись другой такой пащенок — лорд. Черт его знает, чей он, да я и знать не хочу, потому что никогда моей дочери за ним не бывать. Эти ферты разорили страну, только меня им не разорить! Нет, шалишь, мои поместья не уйдут за море, в Ганновер!

— Вы меня поражаете, мой друг,— сказал Олверти.

— Да я и сам поражен,— отвечал сквайр.— Зашел вчера вечером к сестре, по ее приглашению, и попал в настоящее бабье царство. Тут была и кузина, миледи Белластон, и миледи Бетти, и миледи Катрин, и миледи бог знает кто. Будь я проклят, если когда-нибудь дам себя заманить в этакую сучью псарню! Пусть лучше, черт возьми, мои же собаки меня затравят, как того Актона, про которого в книжке рассказывается, что он был превращен в зайца, загрызен и съеден собственными собаками. Ей-богу, кажется, никого еще так не травили, как меня вчера: увернусь в одну сторону — меня схватит одна, метнусь назад — другая цапнет. «Помилуйте, да это лучшая партия в Англии!» — говорит одна кузина,— сквайр начал их передразнивать. «Какое лестное предложение!» — откликается другая (а надо вам сказать, все они оказались моими кузинами, хоть я и в глаза их никогда не видел). «Да, братец,— говорит толстая стерва, миледи Белластон,— надо совсем ума лишиться, чтобы отказать такому жениху».

— Теперь я начинаю понимать,— сказал Олверти.— Кто-то сделал мисс Вестерн предложение, которое все эти леди-родственницы одобряют, а вам оно не по вкусу.

— Не по вкусу! Да как же, к черту, может оно быть мне по вкусу!.. Говорят вам, что это лорд, а с лордами, вы знаете, я решил не иметь никакого дела. Разве одному из них, желавшему взять на сорок лет клочок земли под парк, не отказал я только потому,

что не желаю связываться с лордами? И чтоб я выдал за лорда свою дочь? Кроме того, разве я не обещал вам? А когда же я отступался от своего слова?

— Что касается вашего слова, сосед,— сказал Олверти,— то я освобождаю вас от всяких обязательств. Никакой договор не может иметь силы, если заключающие его стороны не полномочны его исполнить и никогда таких полномочий не приобретут.

— Я не полномочен его исполнить? Что вы говорите! Сию минуту исполню. Едемте сейчас же в «Докторскую коллегию» за брачным свидетельством, а оттуда к сестре, и я силой достану от нее невесту. Она за него выйдет, иначе я на всю жизнь посажу ее под замок на хлеб и на воду.

— Мистер Вестерн,— обратился к нему Олверти,— угодно будет вам выслушать мое откровенное мнение по этому предмету?

— Выслушать тебя? А как же? Разумеется.

— Итак, сэр, скажу по совести, нисколько не льстя ни вам, ни вашей дочери, что я охотно и с радостью принял сделанное мне предложение из уважения к вам обоим. Брачный союз между двумя семьями, живущими в таком близком соседстве, в постоянном общении и добром согласии, я считал весьма желательным, что же касается вашей дочери, то не только единогласное мнение всех, кто ее знает, но и мои собственные наблюдения служат мне порукой, что она будет бесценным сокровищем для хорошего мужа. Не буду ничего говорить о ее личных достоинствах — они говорят сами за себя: ее доброта, ее отзывчивость, ее скромность слишком всем известны и не нуждаются в похвалах. Но в ней есть одно качество, которым в высокой степени обладала лучшая из женщин, теперь причтенная к лику ангелов,— качество не блестящее и потому обыкновенно не бросающееся в глаза; его так мало замечают, что не существует даже слова для его обозначения. Чтобы описать его, я должен прибегнуть к помощи отрицаний. Я никогда не слышал из ее уст развязности, так называемых бойких ответов, никогда не замечал в ней притязания на остроумие и еще меньше на глубокомыслие, которое может быть лишь результатом широкого образования и жизненного опыта, а в молодой девушке нелепо и напоминает обезьяньи ухватки. Никаких безапелляционных суждений, никаких критических замечаний. Сколько мне ни случалось видеть ее в обществе мужчин, она была вся внимание, слушала со скромностью ученика, а не вмешивалась в разговор с уверенностью учителя. Извините меня, но однажды, желая ее испытать, я спросил ее мнение о вопросе, составлявшем предмет спора между мистером Твакомом и мистером Сквейром. «Извините, уважаемый мистер Олверти,— отвечала она со свойственной ей скромностью,— я уверена, вы сами не думаете всерьез, что я

способна разрешить вопрос, относительно которого расходятся такие ученые люди». Тваком и Сквейр, оба одинаково ожидавшие решения в свою пользу, поддержали мою просьбу. Она им ответила с тем же добродушием: «Нет, пожалуйста, увольте меня: я не хочу брать на себя смелость поддерживать кого бы то ни было». Да, она всегда выказывала глубокое уважение к уму мужчины — качество, совершенно необходимое, чтобы сделаться хорошей женой. И так как дочь ваша, очевидно, чужда всякого притворства, то это уважение в ней, безусловно, искреннее.

При этих словах Блайфил горько вздохнул.

— Не унывай, дружок,— сказал ему Вестерн, чуть не плача от этих похвал Софье,— она будет твоей, головой ручаюсь, хоть была бы в двадцать раз лучше.

— Вспомните ваше слово, сэр,— сказал Олверти,— вы обещали не прерывать меня.

— Молчу, молчу,— отвечал сквайр,— больше не скажу ни слова.

— Я так долго говорил о достоинствах молодой девушки, друг мой,— продолжал Олверти,— отчасти потому, что мне действительно очень нравится ее характер, а отчасти, чтобы вы не подумали, будто, принимая так охотно ваше предложение, я имел в виду главным образом ее богатство (потому что в этом отношении брак очень выгоден моему племяннику). Конечно, я от всей души желал, чтобы такая жемчужина сделалась членом моей семьи, но из того, что мне хочется иметь много хороших вещей, не следует, что я готов украсть их или присвоить каким-нибудь насильственным или несправедливым способом. Между тем заставить женщину выйти замуж вопреки ее желанию и согласию есть столь вопиющая несправедливость и насилие, что было бы желательно запрещение подобных вещей законом. К счастью, наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. Настоящий случай как раз и подпадает под действие таких законов. В самом деле, разве не жестоко, разве не грешно принуждать женщину к вступлению в брак против ее воли, тогда как за свое поведение в звании жены она должна будет дать ответ перед высочайшим и страшным судилищем, рискуя вечной гибелью? Достойно исполнять супружеские обязанности дело нелегкое; как же смеем мы возлагать такое бремя на женщину, лишая ее при этом всего, что могло бы ей помочь нести его? Как смеем мы терзать ее сердце, поручая ей обязанности, которые и неистерзанному сердцу едва по силам? Буду говорить с полной откровенностью. Я считаю, что родители, поступающие таким образом, являются соучастниками всех последующих преступлений детей и, конечно, должны по справедливости делить с ними и на-

казание; но если бы даже они его избежали, так кто же, скажите на милость, примирится с мыслью, что содействовал осуждению на вечную гибель собственного дитяти? По этим причинам, любезнейший сосед, видя, к несчастью, отвращение вашей дочери к моему племяннику, я должен отклонить ваше лестное предложение, о котором, однако, вы можете быть уверены, навсегда сохраню благодарную память.

— Хорошо, сэр,— сказал Вестерн (брызгая пеной из наконец-то откупоренного рта),— вы не можете меня упрекнуть в том, что я слушал вас невнимательно, прошу теперь выслушать меня; и если я не отвечу вам на каждое слово, то согласен считать дело поконченным. Прежде всего попрошу вас ответить на вопрос: произвел я ее на свет или нет? Да или нет? Отвечайте. Говорят: мудр тот отец, который знает своих детей; но я имею на нее все права, потому что я вскормил ее и вспоил. Так, надеюсь, вы не оспариваете, что я ее отец, а если я отец, то разве я не вправе руководить своей родной дочерью? А если я вправе руководить ею в других делах, то в таком важном деле и подавно. И чего, спрашивается, я от нее требую все это время? Разве я требую от нее чего-нибудь для себя? Требую, чтобы дала мне что-нибудь? Как раз напротив: я прошу ее взять половину моего состояния сейчас же, а другую половину оставляю ей после смерти. И все это зачем? Разве не затем, чтобы она была счастлива? Послушать иных, так прямо с ума сойдешь! Если бы я сам затеял жениться, так было бы отчего ей плакать и хныкать, а тут наоборот: я предлагаю так распорядиться поместьем, что если бы я захотел, то не мог бы жениться: какая же дура пойдет за меня на таких условиях? Мог ли я, скажите на милость, сделать что-нибудь большее? Я содействую ее вечной гибели! Проклятье! Да, по мне, лучше светопреставление, чем она повредит себе мизинец! Право, мистер Олверти, вы меня извините, а только мне удивительно слышать от вас такие вещи; я, признаться, не в обиду будь вам сказано, предполагал в вас больше здравого смысла.

Олверти отвечал на это рассуждение только улыбкой, которой, однако, даже при всех условиях не мог бы придать оттенок злобы или презрения. Он улыбался глупости — как, надо думать, улыбаются ангелы, глядя на сумасбродства людей.

Тогда Блайфил попросил разрешения сказать несколько слов.

— Что касается применения насилия по отношению к мисс Вестерн, то я, разумеется, ни за что на это не соглашусь. Совесть возбраняет мне всякое насилие вообще, а тем более насилие над женщиной, к которой, несмотря на всю ее жестокость со мной, я всегда сохраню самое чистое и самое искреннее чувство. Однако

я читал, что женщину почти всегда можно покорить постоянством. Так почему же и мне не надеяться снискать наконец ее расположение, в котором со временем я, может быть, не буду иметь соперников? Ведь что касается лорда, то мистер Вестерн любезно отдает предпочтение мне; а я полагаю, сэр, вы не будете оспаривать, что отцу принадлежит в этих делах, по крайней мере, отрицательный голос: я не раз даже слышал это мнение из уст самой мисс Вестерн, которая считает недопустимым брак против воли родителей. Кроме того, хотя все тетушки и кузины, по-видимому, покровительствуют притязаниям лорда, сама она как будто не расположена его поощрять. Увы, я слишком в этом уверен! Для меня нет сомнения, что известный вам негодяй все же занимает первое место в ее сердце.

— Да, да, занимает,— подтвердил Вестерн.

— Но когда она услышит о совершенном им убийстве,— продолжал Блайфил,— то, если даже закон пощадит его жизнь...

— Что такое? — воскликнул Вестерн.— Убийство? Он совершил убийство, и есть надежда увидеть, как его будут вешать?.. Трам-тарам, трам-там-тарам! — запел он и пустился в пляс по комнате.

— Твоя несчастная страсть, дитя мое, чрезвычайно огорчает меня,— сказал Олверти, обращаясь к Блайфилу.— Мне искренне тебя жаль, и я готов всеми честными средствами помочь тебе добиться успеха.

— Большего я и не желаю,— отвечал Блайфил,— мой дорогой дядя. Я уверен, вы не настолько дурного мнения обо мне, чтобы предполагать, будто для меня приемлемо что-нибудь бесчестное.

— Вот что,— сказал Олверти,— я разрешаю тебе писать ей, посещать ее, если она тебе позволит, но не смей и думать ни о каком принуждении. Я не хочу и слышать о заключении и тому подобных мерах.

— Ладно, ладно,— сказал сквайр,— ничего такого не будет. Попытаемся еще немного, авось добьемся своего по-хорошему. Только бы этого молодца повесили! Трам-там-тарам! Отродясь не получал более приятной весточки... На душе легче стало... Сделайте одолжение, дорогой Олверти, поедемте ко мне обедать в «Геркулесовы столпы». Я заказал жареного барашка, свиные котлеты, курицу и салат с яйцами. Кроме нас, никого не будет, разве вздумаем пригласить хозяина. Священника Сапла я послал в Бейзингсток за табакеркой — забыл в гостинице, а бросить ее ни за что не хочу: старая моя спутница, больше двадцати лет служит. Хозяин, доложу вам, презабавнейший малый, непременно вам понравится.

Мистер Олверти в конце концов принял приглашение, и сквайр ушел, распевая и приплясывая на радостях, что скоро увидит трагический конец бедняги Джонса.

Когда он вышел, мистер Олверти с большой серьезностью заговорил снова о затронутом предмете. Он выразил желание, чтобы племянник постарался подавить эту страсть.

— Не льсти себя надеждой на успех,— сказал он.— Большое заблуждение думать, будто отвращение в женщине может быть побеждено постоянством. Постоянство, пожалуй, еще преодолевает иногда равнодушие; но в таких случаях победа одерживается обыкновенно над причудами, осторожностью, притворством и часто над крайним легкомыслием, побуждающим женщин не очень горячего темперамента, в угоду своему тщеславию, затягивать ухаживание подольше, даже если поклонник им нравится и они решили (если они вообще что-нибудь решают) в заключение увенчать его усилия жалкой наградой. Но решительная неприязнь, которая, боюсь я, имеет место в настоящем случае, скорее усиливается, чем преодолевается временем. Кроме того,— ты меня извини, дорогой мой,— у меня есть еще и другое опасение: боюсь, твоя страсть к этой прелестной девушке внушена тебе в значительной степени ее красотой и недостойна называться любовью, которая одна только составляет основу супружеского счастья. Восхищаться, любоваться и желать обладания красивой женщиной, не обращая внимания на ее чувство к нам, пожалуй, дело очень естественное; но любовь, я считаю, есть дитя одной только любви; по крайней мере, я сильно склонен думать, что любить того, кто очевидно нас ненавидит, не в природе человека. Исследуй же внимательно свое сердце, мой мальчик, и если в тебе зародится малейшее подозрение подобного рода, то, я уверен, религия и добродетель дадут тебе достаточно силы изгнать из сердца столь порочную страсть, а здравый смысл поможет сделать это безболезненно.

Читатель, верно, догадается, что ответил Блайфил; но если бы даже он был в затруднении, нам сейчас некогда оказывать ему помощь, потому что история наша спешит к предметам более важным, и мы не можем долее выносить разлуку с Софьей.

## ГЛАВА IV

*Необычайная сцена между Софьей и ее теткой*

Мычащая телка и блеющая овечка могут безопасно бродить в стадах по пастбищам, не привлекая к себе внимания. Хоть им и суждено со временем сделаться добычей человека, однако много

лет беспрепятственно наслаждаются они свободой. Но когда жирная лань выбежит из лесу и приляжет отдохнуть на поляне или лужайке, тотчас весь приход поднимается на ноги, и каждый готов выпустить на нее собак, а если и заступится за несчастную добросердечный сквайр, то единственно затем, чтобы она вернее попала на его собственный стол.

Мне часто приходит на ум такая лань при виде богатой и знатной красавицы, впервые покинувшей стены родительского дома. Весь город приходит в волнение; ее преследуют из парка в театр, из дворца в собрание, из собрания в ее собственную комнату, и редко избегает она даже в течение одного сезона пасти какого-нибудь хищника, ибо если друзья и защищают ее от одного, то лишь для того, чтобы отдать другому, которого они сами выбрали и который ей часто ненавистнее всех прочих. А целые стада других женщин блуждают между тем безопасно и почти безнадзорно по паркам, театрам, операм и собраниям; правда, и они по большей части делаются наконец добычей хищников, но долго перед тем резвятся на свободе, никем не стесняемые и не оберегаемые.

Из всех этих женщин ни одна не подвергалась стольким преследованиям, как наша бедная Софья. Злая судьба ее не насытилась мучениями бедняжки из-за Блайфила и наслала на нее нового преследователя, видимо, собиравшегося мучить ее не меньше, чем прежний. Правда, тетка ее не применяла таких крутых мер, как отец, но приставала к ней с не меньшим усердием.

Только что слуги были отпущены после обеда, как миссис Вестерн, уже открывшая Софье свои намерения, сообщила ей, что ждет сегодня лорда и воспользуется первым удобным случаем, чтобы оставить их наедине.

— Если так,— отвечала Софья в сердцах,— то и я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы его покинуть.

— Вот как, сударыня! — воскликнула тетка.— И это благодарность за мою доброту, за то, что я освободила тебя от заключения у отца?

— Вы знаете, сударыня,— отвечала Софья,— что причиной этого заключения был мой отказ выйти по требованию батюшки за человека, которого я ненавижу; неужели дорогая тетушка, вызволившая меня из этой беды, навлечет на меня другую?

— Так, по-твоему, сударыня,— вспылила миссис Вестерн,— между лордом Фелламаром и мистером Блайфилом нет никакой разницы?

— По-моему, очень маленькая,— отвечала Софья,— и если уж мне быть обреченной одному из них, так я бы, конечно, предпочла принести себя в жертву желанию батюшки.

— Значит, мое желание, я вижу, имеет в твоих глазах очень мало веса. Впрочем, это меня нисколько не задевает. Я действую по более высоким побуждениям. Возвеличить свой род, возвысить тебя — вот что мною руководит. Неужели у тебя нет никакого честолюбия? Неужели тебя не прельщает мысль, что на дверце твоей кареты будет красоваться корона?

— Клянусь честью, нисколько! Подушечкой для булавок я была бы довольна не меньше, чем короной.

— Пожалуйста, не упоминай о чести. Толковать об этом совсем не пристало такой негоднице, как ты. Я жалею, что ты заставляешь меня произносить грубые слова, но твой низкий образ мыслей для меня невыносим: в тебе совсем не сказывается кровь Вестернов. Впрочем, как бы пошлы и вульгарны ни были твои вкусы, это не может затронуть меня. Я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я побудила тебя отказаться от одной из лучших партий в Англии, от партии, которая, не говоря уж о богатстве, сделала бы честь любой фамилии в государстве, а по знатности она даже выше нашей.

— Видно, я родилась уродом,— отвечала Софья, — и лишена чувств, которыми награждены другие; наверно, есть же чувство, при помощи которого другие воспринимают прелесть громких звуков и показного блеска,— чувство, которого мне недостает; иначе не стали бы люди затрачивать столько труда и приносить столько жертв для достижения того, что представлялось бы им, как представляется мне, ничтожнейшим пустяком, а достигнув этого, не чванились бы так и не гордились.

— Полно врать, сударыня,— остановила ее тетка,— ты родилась с такими же чувствами, как и все люди; но будь уверена, что ты родилась не с таким умом, чтобы одурачить меня и выставить на посмешище перед всем светом. Объявляю тебе самым торжественным образом,— а ты, я думаю, знаешь, как непреложны мои решения,— что, ежели ты не согласна принять сегодня его светлость, я завтра же утром собственными руками передам тебя отцу и больше не желаю вмешиваться в твои дела и даже тебя видеть.

Выслушав эту речь, произнесенную весьма гневным и решительным тоном, Софья несколько мгновений не произносила ни слова, потом залилась слезами и воскликнула:

— Делайте со мной, что вам угодно, сударыня, я несчастнейшее существо на свете! Если моя дорогая тетушка от меня отступается, где же тогда найти мне защитника?

— Любезная племянница, ты найдешь прекрасного защитника в его светлости — защитника, которого способно оттолкнуть от тебя разве только твое увлечение этим грязным Джонсом.

— Вы меня обижаете, сударыня! — воскликнула Софья.— После того, что вы мне показали, как можете вы предполагать, что я не изгнала навсегда всякие мысли о нем, если даже они у меня и были? Если вам нужно, я готова присягнуть, что никогда больше не буду с ним видеться.

— Так будь же рассудительной, душенька. Можешь ты привести хоть одно возражение против лорда?

— Я, кажется, уже приводила вам достаточно веское возражение,— отвечала Софья.

— Какое же? — удивилась тетка.— Я что-то не припоминаю.

— Ведь я говорила вам, сударыня, что он вел себя со мной самым грубым и непристойным образом.

— Или я ни слова об этом не слышала, или не поняла тебя, душенька. Но что ты подразумеваешь под словом «грубым и непристойным образом»?

— И рассказать стыдно, сударыня. Он схватил меня в объятия, повалил на диван, засунул руку за лиф и принялся целовать с такой яростью, что у меня до сих пор на левой груди есть знак.

— Полно! — воскликнула миссис Вестерн.

— Да, да, сударыня! Счастье, что в эту минуту вошел батюшка, а то бог знает, до чего бы он довел свою дерзость.

— Неслыханно! Возмутительно! — воскликнула тетка.— Еще ни с одной женщиной из рода Вестернов не обращались таким образом. Я бы самому принцу выцарапала глаза, если бы он позволил себе такие вольности со мной. Это немыслимо! Нет, Софья, ты, верно, все это выдумала, чтобы восстановить меня против него.

— Надеюсь, сударыня,— отвечала Софья,— вы не настолько дурного мнения обо мне, чтобы считать меня способной лгать. Клянусь вам, это правда.

— Я бы всадила ему нож в сердце, если бы там была! Однако у него не могло быть бесчестного намерения, это невозможно! Он бы не посмел. Да за это говорит и его предложение: намерения его не только честные, но и великодушные. Почем я знаю: в нынешнее время молодые люди позволяют себе слишком большие вольности. Почтительный поклон — вот все, что я позволила бы до свадьбы. У меня тоже были поклонники, но я не захотела выйти замуж и никогда не позволяла им ни малейшей вольности. Это нелепый обычай, он всегда был мне не по душе. Мужчины целовали меня только в щеку. Пожалуй, еще мужу можно позволить целовать себя в губы, да и то, если бы я когда-нибудь вышла замуж, то, думаю, мне нелегко было бы решиться на это.

— Простите мне, дорогая тетушка,— сказала Софья,— если я сделаю одно замечание. Вы говорите, что у вас было много поклонников; это всем известно, даже если бы вы вздумали это от-

рицать. Вы отказали им всем, а в их числе, я уверена, был не один с гербом, украшенным короной.

— Это правда, милая Софи, однажды мне сделала предложение особа титулованная.

— Так почему же вы не позволяете мне отказать этому лорду?

— Да, душенька, я отказала человеку титулованному, но то предложение не было такое блестящее: я хочу сказать, оно не было таким блестящим, как то, которое делают тебе.

— Хорошо, тетушка, но ведь вы получали предложения и от людей очень богатых. Таких выгодных предложений вам было сделано не одно, не два и не три.

— Да, несколько.

— Отчего же и мне, тетушка, не подождать другого, может быть, более лестного? Вы еще молодая женщина и, конечно, не отдадите руки первому, кто за вас посватается, будь он богат и даже знатен. А ведь я совсем молоденькая и отчаиваться мне рано.

— Это верно, голубушка,— растаяла тетка,— но чего же ты от меня хочешь?

— Я прошу вас не оставлять меня одну с лордом, по крайней мере, сегодня. Сделайте мне это одолжение, и я к нему выйду, если вы считаете это возможным после того, что произошло.

— Хорошо, я согласна. Ты ведь знаешь, Софи, что я тебя люблю и ни в чем не могу тебе отказать. Не всегда я была так сговорчива. Прежде меня считали жестокой — мужчины, конечно,— меня называли жестокой Парфениссой. Немало вскрыла я конвертов, заключавших в себе стихи к жестокой Парфениссе. Софи, я никогда не была так хороша собой, как ты, и все же я чем-то на тебя походила. Теперь я немножко изменилась. Державы и царства, как говорит Туллий Цицерон в своих письмах, претерпевают изменения; той же участи подвержен и человек.

И целые полчаса говорила она о себе, о своих победах и своей жестокости, до самого приезда милорда, который, высидев очень скучный визит, потому что миссис Вестерн ни на минуту не покидала комнаты, удалился, недовольный как теткой, так и племянницей. Софья привела тетку в такое превосходное расположение духа, что та почти во всем с ней соглашалась, в частности, и в том, что такого предприимчивого поклонника следует держать на почтительном расстоянии.

Таким образом, героиня наша благодаря умело пущенной в ход лести, за которую, верно, никто не будет ее порицать, добилась маленькой поблажки — во всяком случае, сбыла с плеч этот тяжелый день. А теперь, оставив Софью в лучшем положении, чем то, в каком она находилась уже долгое время, обратимся к мистеру Джонсу, покинутому нами в положении самом безотрадном.

## ГЛАВА V

*Миссис Миллер и мистер Найтингейл навещают Джонса в тюрьме*

Когда мистер Олверти уехал с племянником к мистеру Вестерну, миссис Миллер отправилась к своему зятю, чтобы сообщить ему о несчастье, постигшем его друга Джонса; но тот давно уже знал об этом от Партриджа (Джонс, съехав от миссис Миллер, поселился в одном доме с мистером Найтингейлом). Почтенная вдова нашла свою дочь в глубоком огорчении по поводу случившегося с Джонсом; кое-как ее утешив, она отправилась в тюрьму, куда мистер Найтингейл прибыл уже раньше.

Верность и постоянство истинного друга — явления, настолько отрадные для человека, попавшего в беду, что самая беда, если она преходяща и допускает облегчение, ими более чем вознаграждается! Примеры подобного рода не так редки, как кажется поверхностным и невнимательным наблюдателям. Надо признаться, что недостаток сочувствия не принадлежит к числу широко распространенных нравственных изъянов. Губительным ядом, отравляющим наши души, является зависть. Поэтому глаза наши, боюсь, редко поднимаются без зложелательства на тех, кто явно выше, лучше, умнее и счастливее нас, тогда как мы охотно опускаем их на низшего и несчастного с участием и жалостью. Действительно, я заметил, что дружбу подрывает по большей части именно зависть — адский порок; но я крайне редко встречал людей, совершенно от него свободных. Однако довольно о предмете, который, если в него углубляться, завел бы меня слишком далеко.

Опасалась ли Фортуна, что Джонс окончательно сломится под тяжестью своих невзгод и таким образом лишит ее возможности мучить его в будущем или же действительно несколько умерила свою суровость к нему, только она как будто перестала его преследовать, прислав к нему двух верных его друзей и, что случается еще реже, верного слугу, ибо Партридж, при всех своих недостатках, отличался верностью; и хотя страх не позволил бы ему пойти в петлю за хозяина, однако, мне кажется, золото всего мира не могло бы заставить его изменить ему.

Между тем как Джонс выражал большую радость по случаю встречи с друзьями, явился Партридж с известием, что мистер Фитцпатрик еще жив, хотя хирург считает положение его почти безнадежным. Услышав это, Джонс глубоко вздохнул, а Найтингейл сказал ему:

— Что вы так огорчаетесь, дорогой Том? Ведь чем бы это происшествие ни кончилось, опасаться вам нечего, и совесть ваша не может вас ни в чем упрекнуть. Если даже он умрет, так вы только лишили жизни буяна в порядке самозащиты. Так на это

посмотрит и судебное следствие, и вас охотно отдадут на поруки. Правда, вас будут судить; но такой процесс — пустая формальность, и любой ходатай согласится защищать вас за шиллинг.

— Полно, мистер Джонс,— сказала миссис Миллер,— ободритесь; я знаю, что не вы были зачинщик. Я уже говорила это мистеру Олверти, и он должен будет со мной согласиться, иначе я от него не отстану.

Джонс с грустью на это ответил, что, какова бы ни была его участь, он всегда будет горевать, что пролил кровь ближнего, и считать это величайшим несчастьем своей жизни.

— Но на меня свалилось и другое горе, к которому я гораздо более чувствителен... Ах, миссис Миллер, я потерял то, что было для меня дороже всего на свете!

— Должно быть, возлюбленную,— сказала миссис Миллер.— Но полно, ободритесь: я знаю больше, чем вы думаете (Партридж разболтал ей все), и слышала больше, чем вы знаете. Ваши дела совсем не так плохи, уверяю вас: я не поставила бы и шести пенсов за Блайфила.

— Ах, дорогая хозяюшка, я вижу, вы совсем не знаете истинной причины моего горя. Если бы вы знали, в чем дело, вы бы согласились, что положение мое безнадежно. Блайфил меня не тревожит. Я сам погубил себя.

— Не отчаивайтесь,— сказала миссис Миллер,— вы не знаете, что может сделать женщина, и если я могу быть чем-нибудь полезна, то сделаю все, чтобы услужить вам. Это мой долг. Мой зять, дорогой мистер Найтингейл, который признался мне, сколь многим он вам обязан по такому же поводу, знает, что это мой долг. Не пойти ли мне самой к мисс Софье? Я передам ей все, что вы прикажете.

— О лучшая из женщин! — воскликнул Джонс, пожав ей руку.— Не говорите мне об одолжениях... Но если уж вы так добры, то у меня есть одна просьба, которую вы, вероятно, можете исполнить. Я вижу, что вы знаете даму (как это получилось, мне неизвестно), которая владеет моим сердцем. Если вы найдете способ передать ей вот это (он вынул из кармана письмо), я навсегда сохраню к вам признательность за вашу доброту.

— Давайте,— сказала миссис Миллер,— и если я не вручу ей это письмо до вечера, лучше мне больше не просыпаться! Утешьтесь, дорогой друг! Будьте умницей, извлеките урок из прошлых ваших безрассудств, и я ручаюсь вам, что все пойдет хорошо. Я еще увижу вас счастливым супругом очаровательнейшей женщины на свете, как все про нее говорят.

— Поверьте, сударыня, я не собираюсь петь вам песенку, какую обыкновенно поют люди, попавшие в мое положение. Еще

до этого ужасного случая я решил оставить прежний образ жизни, уяснив себе все его безумие и порочность. Уверяю вас, что, несмотря на беспорядок, к прискорбию учиненный мной в вашем доме, за что искренне прошу у вас прощения, я не отпетый преступник. Я, может быть, чересчур отдавался пороку, но не одобряю безнравственного поведения и с этой минуты не дам никому повода для упреков.

Миссис Миллер с большим удовлетворением выслушала этот зарок, в искренности которого нимало не сомневалась, и остальной разговор прошел в соединенных усилиях этой почтенной женщины и мистера Найтингейла развеселить упавшего духом мистера Джонса, в чем они и успели настолько, что оставили нашего героя почти совершенно утешенным и успокоенным. Этой счастливой перемене больше всего содействовала готовность миссис Миллер передать Софье его письмо, которое Джонс совсем было отчаялся переправить по назначению: дело в том, что Черный Джордж, принеся последнее письмо от Софьи, сказал Партриджу, что барышня строжайше запретила ему, под страхом открыть все отцу, возвращаться с ответом. Кроме того, Джонсу было весьма отрадно найти в лице миссис Миллер, этой действительно достойнейшей женщины, горячую заступницу перед мистером Олверти.

Визит миссис Миллер продолжался целый час (Найтингейл пробыл у Джонса еще дольше); наконец оба гостя попрощались с Джонсом, обещая вскоре навестить его снова. Миссис Миллер выразила при этом надежду принести ему добрые вести от Софьи, а мистер Найтингейл обещал узнать о состоянии здоровья мистера Фитцпатрика и, кроме того, разыскать кого-нибудь из свидетелей поединка.

Миссис Миллер отправилась прямо к Софье, куда и мы за ней последуем.

## ГЛАВА VI,

*в которой миссис Миллер посещает Софью*

Получить доступ к Софье было нетрудно: так как она находилась теперь в самых дружеских отношениях с теткой, то могла принимать кого угодно.

Софья одевалась, когда ей доложили, что ее желает видеть какая-то дама. Так как она не боялась и не стыдилась свидания с женщиной, то миссис Миллер тотчас же была принята.

После поклонов и формальностей, обыкновенных при встрече незнакомых между собой женщин, Софья сказала:

— Я не имею удовольствия знать вас, сударыня.

— Да, вы меня не знаете, сударыня,— отвечала миссис Миллер,— и я должна попросить у вас извинения, что так бесцеремонно к вам вхожу. Но когда вы узнаете, что́ заставило меня вас побеспокоить, то надеюсь...

— Что же вам угодно, сударыня? — спросила Софья с некоторым волнением.

— Мы не одни, сударыня, — отвечала вполголоса миссис Миллер.

— Оставьте нас, Бетти, — приказала Софья.

— Я пришла к вам по просьбе одного несчастного молодого человека вот с этим письмом,— сказала миссис Миллер, когда Бетти вышла.

Софья, увидя адрес и узнав почерк, переменилась в лице и, помолчав немного, сказала:

— Никак не могла предположить, сударыня, по вашему виду, чтобы вы пришли по такому делу... От кого бы ни было это письмо, я его не распечатаю. Мне было бы неприятно поселять в ком бы то ни было ложные подозрения; я вас совсем не знаю.

— Минутку терпения, сударыня,— отвечала миссис Миллер,— я расскажу вам, кто я и как попало в мои руки это письмо.

— Ни то, ни другое меня не интересует, сударыня,— сказала Софья, возвысив голос,— и я настоятельно прошу вас вернуть письмо тому, от кого вы его получили.

При этих словах миссис Миллер упала на колени и в самых прочувствованных выражениях принялась умолять Софью сжалиться. На это Софья отвечала:

— Право, сударыня, мне удивительно: почему вы так усердно хлопочете за этого человека? Мне бы не хотелось предполагать, сударыня...

— Все ваши предположения отпадут, когда вы узнаете истину, сударыня,— прервала ее миссис Миллер.— Я расскажу вам все, и вы перестанете удивляться, почему я так хлопочу. Это прекраснейшей души человек,— и она рассказала всю историю с мистером Андерсоном, заключив ее словами: — Вот до чего простирается его доброта, сударыня! Но я обязана ему еще гораздо большим: он спас мою дочь.

Тут она со слезами на глазах подробно изложила, как это произошло, опустив только обстоятельства, которые могли бы повредить репутации дочери, и заключила свою речь словами:

— Судите же теперь, могу ли я когда-нибудь заслуженно отблагодарить такого отзывчивого, доброго, такого великодушного человека, лучшего и достойнейшего из всех людей!

До сих пор изменения, совершавшиеся на лице Софьи, были

к ее невыгоде: она слишком сильно бледнела; но теперь она зарделась ярче киновари и проговорила:

— Не знаю, что и сказать. Конечно, нельзя порицать поступки, проистекающие из благодарности... Но какая же польза будет вашему другу, если я прочту это письмо, раз я решила никогда...

Миссис Миллер снова принялась упрашивать Софью, сказав, что ни в коем случае не может отнести письмо назад.

— Ну что же, сударыня, видно, ничего не поделаешь, если вы хотите навязать его мне...— сказала Софья.— Вы ведь можете его оставить, хочу я этого или нет.

Что разумела в данном случае Софья и разумела ли она что-нибудь — не берусь решить, только миссис Миллер приняла слова за намек, положила письмо на стол и простилась, предварительно попросив разрешения навестить Софью еще раз, на что не получила ни согласия, ни отказа.

Письмо пролежало на столе лишь до той минуты, пока миссис Миллер не скрылась из виду; после этого Софья вскрыла его и прочла.

Письмо это принесло очень мало пользы нашему герою, ибо все почти состояло из горьких сокрушений по поводу его низости и торжественных клятв в нерушимой верности Софье; Джонс выражал надежду убедить ее в этом, если он удостоится когда-нибудь чести быть к ней допущенным, а относительно письма к леди Белластон обещал представить такие объяснения, что Софья если и не оправдает, то, во всяком случае, простит его. Заключал он уверением, что у него и в мыслях никогда не было жениться на леди Белластон.

Хотя Софья перечла это письмо два раза с большим вниманием, оно все-таки осталось для нее загадкой; при всех своих усилиях она не могла найти никакого оправдания поступку Джонса и продолжала на него сердиться, хотя леди Белластон отняла у нее столько злобы, что в кроткой ее душе оставалось очень мало этого чувства на долю других.

К несчастью, леди Белластон должна была в этот день обедать у миссис Вестерн, а после обеда они условились пойти втроем в оперу и оттуда на *драм* к леди Томас Гатчет. Софья с удовольствием отказалась бы от всех этих удовольствий, но не хотела сердить тетку, а что касается искусства притворяться больной, то оно было настолько ей чуждо, что она о нем даже не подумала. Окончив туалет, она сошла вниз, решив мужественно встретить все ожидающие ее неприятности. А день действительно выпал для нее крайне неприятный, ибо леди Белластон пользовалась каждым случаем, чтобы очень вежливо ее уколоть, между тем как

подавленное состояние делало Софью неспособной отражать удары, не говоря уже о том, что она и вообще весьма посредственно владела искусством словесного поединка.

Другой неприятностью для бедной Софьи была встреча в опере с лордом Фелламаром, поехавшим с ней и на *драм*. Правда, театр и гостиная были местами слишком людными, чтобы он мог позволить себе какую-нибудь нескромность, и Софья была несколько развлечена музыкой в одном месте и картами в другом, но ей все же не могло быть весело в его обществе: в женщинах есть деликатность, которая не позволяет им чувствовать себя непринужденно в присутствии человека, имеющего на них виды, но не пользующегося их благосклонностью. Дважды упомянув в этой главе о *драме* — слово, которое, надо думать, будет непонятным в том смысле, как оно здесь употреблено,— мы, при всей своей торопливости, остановимся на минуту, чтобы описать это развлечение, тем более что мигом справимся с этой задачей.

Итак, драм — это собрание нарядно одетых людей обоего пола, большая часть которых играет в карты, а прочие ничего не делают; хозяйка же исполняет роль трактирщицы и, подобно последней, гордится числом своих гостей, хотя, не в пример последней, не всегда выигрывает от этого.

Требуется очень много находчивости, чтобы поддержать оживление в таких нелепых собраниях; не удивительно поэтому, что светские люди вечно жалуются на скуку,— жалоба, свойственная исключительно людям высшего круга. Можно себе представить, как невыносима была для Софьи эта бессмысленная толчея и какого труда стоило ей притворяться веселой, когда на душе у нее было так грустно и ее так неотступно преследовали мучительные мысли!

Ночь, однако, позволила ей наконец вернуться домой и лечь спать. Тут мы ее и оставим, пожелав ей хоть немного забыться, так как боимся, что настоящего покоя она не найдет и в постели, а сами будем продолжать нашу историю, которая,— какой-то голос шепчет нам,— подошла теперь к порогу больших событий.

## ГЛАВА VII

*Патетическая сцена между мистером Олверти и миссис Миллер*

По возвращении мистера Олверти с обеда миссис Миллер имела с ним длинный разговор, в котором сообщила ему, что Джонс, к несчастью, потерял все полученное им на прощанье от своего благодетеля и что эта потеря поставила его в тяжелое

положение; обо всем этом, по ее словам, она узнала в подробностях от добросовестного Партриджа. Потом она перечислила услуги, оказанные ей Джонсом, опустив, впрочем, кое-что касавшееся ее дочери; хотя она питала полное доверие к мистеру Олверти и к тому же не могла надеяться сохранить в тайне дело, к несчастью, уже известное полудюжине посторонних, но все же не решилась сообщить ему обстоятельства, бросавшие тень на доброе имя бедной Нанси, и заботливо обошла молчанием эту сторону дела в своих показаниях, как будто давала их судье на процессе об убийстве девушкой незаконного ребенка.

Олверти отвечал, что существует очень мало людей, настолько порочных, чтобы в них нельзя было найти никаких проблесков добра.

— Как бы то ни было,— сказал он,— я не могу отрицать, что этот человек, несмотря на всю его порочность, оказал вам некоторые услуги, и потому прощаю вам ваше заступничество, но настоятельно прошу вас больше не произносить при мне его имени. Могу вас уверить, что я решил поступить с ним так, как я поступил, лишь на основании исчерпывающих и очевиднейших улик.

— Пусть так,— сказала миссис Миллер,— но у меня нет ни малейшего сомнения, что рано или поздно время откроет истину и вы убедитесь, что этот несчастный юноша гораздо больше заслуживает вашего расположения, чем другие, имени которых я не назову.

— Сударыня,— объявил Олверти несколько повышенным тоном,— я не желаю слушать оскорбительных намеков по адресу моего племянника; и если вы скажете еще хоть слово в этом роде, я в ту же минуту покину ваш дом. Это прекрасный и достойный человек; и я еще раз повторяю вам: он простер свою дружбу к неблагодарному непозволительно далеко, слишком долго скрывая факты самого грязного свойства. Больше всего меня возмущает неблагодарность негодяя к этому превосходному молодому человеку, ибо я имею, сударыня, серьезные основания думать, что он замышлял оклеветать передо мной племянника и завладеть таким образом его наследством.

— Конечно, сэр,— отвечала немного оробевшая миссис Миллер (ибо хотя мистер Олверти был весьма ласков и приветлив в добром расположении, но в гневе внушал людям страх),— я никогда не скажу дурного слова против того, о ком вам угодно думать хорошо,— это было бы с моей стороны непристойно, особенно когда дело идет о вашем близком родственнике; однако вы не должны на меня сердиться, сэр, за то, что я желаю добра этому несчастному. Да, я теперь вправе назвать его так, хотя в прежнее время

вы бы на меня разгневались за малейшее непочтительное слово о нем. Сколько раз слышала я, как вы называли его сыном! Сколько раз вы умилялись, глядя на него, при мне, как любящий отец! Никогда я не забуду, в каких теплых выражениях и с какой похвалой говорили вы мне о его красоте, о его одаренности, о его высоких нравственных качествах — доброте и благородстве. Нет, сэр, я не могу этого забыть, потому что все это правда. Я убедилась в этом на опыте. Он спас мою семью. Простите мои слезы, сэр, будьте ко мне снисходительны. Думая о жестоких превратностях судьбы, испытанных этим несчастным юношей, которому я стольким обязана, представляя, как больно было ему лишиться вашей благосклонности, которой, я знаю, он дорожил больше своей жизни, я не могу не горевать о нем. Будь даже у вас в руке кинжал, готовый поразить меня в сердце, я все-таки горевала бы о несчастии человека, которого вы когда-то любили и которого я всегда буду любить!

Олверти был очень взволнован этой речью, но выслушал ее, по-видимому, без гнева, потому что, помолчав немного, он с чувством пожал руку миссис Миллер и сказал:

— Полно, сударыня, поговорим теперь о вашей дочери. Я не могу порицать вас за то, что вы радуетесь этой свадьбе, сулящей ей много хорошего, но все эти выгоды в значительной степени зависят от примирения с отцом. Я хорошо знаю мистера Найтингейла: когда-то я имел с ним дела; я побываю у него и постараюсь помочь вам в этом деле. Он, мне кажется, человек очень корыстный, но так как ваш зять — его единственный сын и дело сделано бесповоротно, то, может быть, его удастся образумить. Я обещаю вам сделать все, что в моих силах.

Миссис Миллер долго благодарила мистера Олверти за его великодушное предложение и воспользовалась этим случаем, чтобы снова выразить признательность Джонсу, «которому,— сказала она,— я обязана тем, сэр, что имею повод причинить вам это беспокойство». Олверти мягко ее остановил; но он был слишком добрый человек, чтобы серьезно обидеться за это проявление благородного чувства, одушевлявшего миссис Миллер; может быть, даже, если бы не принесенное Блайфилом известие, подогревшее его прежний гнев на Джонса, он и смягчился бы к своему воспитаннику, выслушав рассказ о поступке, который сама злоба не могла бы истолковать в дурную сторону.

Беседа мистера Олверти и миссис Миллер, продолжавшаяся более часа, была прервана приходом Блайфила в сопровождении уже известного мистера Даулинга, стряпчего, сделавшегося теперь большим любимцем мистера Блайфила. По желанию племянника, мистер Олверти назначил его своим управителем и рекомендовал

также мистеру Вестерну, который обещал предоставить стряпчему и у себя ту же должность, как только она освободится, а тем временем поручил ему в Лондоне произвести взыскание по одной закладной.

Это дело главным образом и привело мистера Даулинга в столицу; он воспользовался этим случаем, чтобы доставить деньги мистеру Олверти и доложить ему о некоторых других делах; но так как они слишком прозаичны, чтобы найти место в этой истории, то предоставим их дяде, племяннику и их поверенному, а сами обратимся к другим предметам.

## ГЛАВА VIII,

*содержания разнообразного*

Прежде чем вернуться к мистеру Джонсу, бросим взгляд на Софью.

Хотя с помощью лести, описанной нами выше, ей и удалось привести тетку в отличное расположение духа, но умерить рвение последней выдать ее замуж за лорда Фелламара было Софье не по силам. Рвение это еще больше подогрела леди Белластон, сказавшая, что из поведения Софьи и ее обращения с лордом она совершенно убедилась в недопустимости никаких отсрочек и что единственный способ достигнуть успеха — это сыграть свадьбу как можно скорее,— так, чтобы племянница миссис Вестерн не успела опомниться и принуждена была дать согласие, не соображая хорошенько, что́ она делает; так, говорила леди, совершается половина браков в светском обществе. Утверждение, по-видимому, правильное и хорошо объясняющее нежные отношения между счастливыми супругами нашего времени.

Подобный же намек леди сделала лорду Фелламару. И миссис Вестерн, и лорд приняли совет ее с такой готовностью, что миссис Вестерн, по просьбе лорда, назначила на следующий же день свидание молодых людей. Тетка объявила об этом Софье таким резким и решительным тоном, что та, испробовав — без малейшего успеха — все возражения, какие только могла придумать, вынуждена была наконец проявить высшее доказательство покорности, на какое способна девушка, и согласилась принять лорда.

Так как разговоры подобного рода не могут представлять большой занимательности, то на нас не посетуют, если мы не передадим всего, что произошло на этом свидании; скажем только, что после многих уверений его светлости в чистейшей и пламеннейшей любви Софья, сидевшая молча и сгорая со стыда, собрала наконец все свои силы и тихим, дрожащим голосом сказала:

— Вы должны сами сознавать, милорд, совместимо ли ваше прежнее обхождение со мной с вашими теперешними уверениями?

— Неужели нет никакого способа загладить минуту безумия? Ведь поступок мой, кажется, ясно доказывает, что страсть лишила меня рассудка.

— Я думаю, милорд, что вы можете мне дать доказательство приязни, которую я охотно бы поощрила и за которую была бы более признательна.

— Назовите его, сударыня,— с жаром сказал лорд.

— Милорд,— отвечала Софья, рассматривая свой веер,— я уверена, что вы не можете не сознавать, как тяжела мне ваша притворная страсть.

— Как можете вы быть настолько жестоки, чтобы называть ее притворной?

— Да, милорд, все уверения в любви, обращаемые к человеку, которого преследуешь,— лишь оскорбительное притворство. А вы жестоко преследуете меня своими домогательствами; больше того: вы самым недостойным образом злоупотребляете моим несчастным положением.

— Прекрасная, обожаемая очаровательница, не обвиняйте меня в недостойных поступках, когда, напротив, все помыслы мои направлены к ограждению вашей чести и ваших интересов и когда у меня одно только желание, одна надежда — повергнуть к ногам вашим мое имя, мою честь, мое богатство и все, чем я владею.

— Милорд, именно это богатство и эти почести дают вам преимущество, которым вы так недостойно пользуетесь. Они-то и соблазнили моих родных, но я к ним совершенно равнодушна. Если вашей светлости угодно заслужить мою благодарность, то для этого есть одно только средство.

— Простите, божественная, такого средства нет. Все, что я могу для вас сделать, составляет мой долг и настолько мне приятно, что о благодарности с вашей стороны не может быть и речи.

— Повторяю, милорд,— продолжала Софья,— вы заслужите мою благодарность, самое лестное мнение о вас, самые лучшие пожелания — и это не будет стоить вам никакого труда, потому что человеку великодушному легко исполнить мою просьбу. Позвольте же мне просить вас прекратить ваши домогательства, которые все равно ни к чему не приведут. Столько же ради вас, как и ради себя, я молю вас об этой милости; ведь вы слишком благородны, чтобы вам доставляло удовольствие терзать несчастную женщину. Чего, кроме неприятностей, можете ожидать вы, упорствуя в своем намерении, когда, клянусь честью, клянусь жизнью, никакие муки не заставят меня уступить вам.

В ответ на это лорд глубоко вздохнул и сказал:

— Неужели я так несчастлив, сударыня, что навлек на себя ваши презрение и неприязнь? Или — извините меня, если я выскажу подозрение, что тут замешан другой...

Он остановился в нерешительности, и Софья с некоторым раздражением отвечала:

— Милорд, я не обязана давать вам отчет о причинах моих поступков. Я очень признательна вашей светлости за великодушное предложение, которым вы меня почтили,— я его не заслужила и на него не рассчитывала; но надеюсь, милорд, вы не станете спрашивать меня о причинах, когда я скажу, что не могу его принять.

Лорд Фелламар отвечал на это пространным излиянием, довольно неудобопонятным и плохо согласуемым со здравым смыслом и грамматикой; свою высокопарную речь он заключил словами: если она уже обещала другому джентльмену, то, как это ему ни тяжело, он считает долгом чести отказаться от своего намерения. Вероятно, милорд сделал слишком сильное ударение на слове «джентльмену», иначе мы не в состоянии объяснить негодование Софьи, которая в своем ответе с силой дала почувствовать, насколько она оскорблена.

В тот момент, когда она отвечала лорду Фелламару так мало ей свойственным повышенным тоном, в комнату вошла миссис Вестерн, вся красная, со сверкающими глазами.

— Мне стыдно, милорд,— сказала она,— за оказанный вам прием. Могу уверить вашу светлость, что все мы польщены сделанным вами предложением. А вам, мисс Вестерн, я должна сказать, что родные ваши ожидают от вас другого поведения.

Тут милорд вступился за молодую девушку, но безуспешно: тетка не умолкала, пока Софья не вынула носовой платок, не бросилась в кресло и громко не разрыдалась.

Остальная часть разговора между миссис Вестерн и его светлостью состояла с его стороны в горьких жалобах, а с ее — в горячих уверениях, что племянница должна согласиться и непременно согласится на все его желания.

— Изволите видеть, милорд,— говорила тетка,—она получила нелепое воспитание, не соответствующее ни ее состоянию, ни происхождению. Во всем виноват, с прискорбием должна сказать, ее отец. У девчонки глупые деревенские понятия насчет стыдливости. Ничего больше, милорд, даю вам слово. Я глубоко убеждена, что от природы она не глупа и ее нетрудно будет образумить.

Все это было сказано уже в отсутствие Софьи, которая незадолго перед этим оставила комнату в таком гневе, какого она еще

никогда не испытывала, а его светлость простился, рассыпаясь в благодарностях миссис Вестерн, которая его горячо ободряла, и клянясь, что ничто в мире не может поколебать его страсти и верности своей избраннице.

Прежде чем рассказывать, что произошло после этого между миссис Вестерн и Софьей, уместно будет упомянуть о несчастном случае, послужившем причиной описанного нами бурного появления миссис Вестерн перед Софьей и лордом.

Да будет известно читателю, что горничная, прислуживавшая теперь Софье, была рекомендована на эту должность леди Белластон, у которой она некоторое время служила камеристкой. Она была девушка очень сметливая и получила строжайший наказ следить за каждым шагом Софьи. Наказ этот, с прискорбием должны мы сказать, был ей передан через миссис Гонору, которую леди Белластон так обласкала, что горячая любовь, некогда питаемая этой почтенной камеристкой к Софье, была теперь совершенно вытеснена из ее сердца привязанностью к новой госпоже.

Итак, когда миссис Миллер удалилась, Бетти (так звали горничную) вернулась к молодой госпоже своей и застала ее погруженной в чтение длинного письма. Уже один взволнованный вид Софьи мог заронить в горничной кое-какие подозрения, однако они имели гораздо более прочное основание, потому что Бетти подслушала весь разговор Софьи с миссис Миллер.

Бетти не замедлила рассказать обо всем миссис Вестерн и вместе с похвалами и наградой за верную службу получила приказание проводить женщину, принесшую письмо, если она придет в другой раз, прямо к ней.

К несчастью, миссис Миллер пришла как раз в то время, когда Софья была занята с лордом. Бетти, согласно приказанию, направила ее к тетке, которая, зная столько подробностей относительно происходившего накануне, без труда убедила простодушную женщину, будто Софья все ей рассказала, и таким образом выведала у вдовы все, что той было известно о письме и о Джонсе.

Миссис Миллер была, что называется, сама простота. Она принадлежала к тому разряду смертных, которые готовы верить всему, что им ни скажешь, которым природа не отпустила ни наступательного, ни оборонительного оружия притворства и которых поэтому обманывает всякий, кто только возьмет на себя труд солгать. Миссис Вестерн, выпытав у миссис Миллер все, что той было известно,— то есть не бог весть что, но достаточно, чтобы пробудить в миссис Вестерн сильные подозрения,— отпустила вдову с уверениями, будто Софья не желает ни видеть ее,

ни отвечать на письмо, ни принимать новые письма, и на прощанье не преминула сделать ей внушительное наставление насчет непристойности занятия, которое она не может назвать иначе, как сводничеством. Открытие это сильно испортило хорошее расположение духа миссис Вестерн, и тут-то, войдя в комнату, смежную с той, в которой Софья принимала лорда, она услышала горячие возражения племянницы на просьбы его светлости. Не в силах долее сдерживать свой гнев, она шумно ворвалась к племяннице, как уже было описано, после чего разыгралась сцена, кончившаяся уходом лорда.

Только что лорд Фелламар удалился, как миссис Вестерн отправилась к Софье и осыпала ее резкими упреками за злоупотребление оказанным доверием — переписку с человеком, с которым она еще накануне торжественно поклялась прекратить всякие сношения. Софья возразила, что она не поддерживает с ним никаких отношений.

— Как! — воскликнула тетка.— Вы изволите отрицать, мисс Вестерн, что получили от него вчера письмо?

— Письмо? — спросила несколько озадаченная Софья.

— Это невоспитанность, мисс, повторять мои слова. Да, письмо, и я требую, чтобы вы мне его сейчас же показали.

— Мне противно лгать, сударыня,— отвечала Софья.— Я точно получила письмо, но не по моему желанию и, могу даже сказать, вопреки моей воле.

— Постыдились бы, мисс, признаваться в этом! Где же письмо? Я желаю его видеть.

Софья не сразу нашлась, что ответить на это решительное требование, но наконец, порывшись в кармане, попросила извинения, сказав что письма при ней нет; это была правда. Тут тетка, потеряв всякое терпение, спросила племянницу напрямик: желает ли она выйти за лорда Фелламара или нет, на что Софья твердо ответила ей, что не желает. Тогда миссис Вестерн поклялась, что завтра же рано утром отошлет ее к отцу.

Софья принялась следующим образом уговаривать тетку:

— Зачем вы хотите, сударыня, непременно выдать меня замуж? Подумайте, какой жестокостью сочли бы вы подобное принуждение по отношению к вам самим и насколько благоразумнее были ваши родные, предоставив вам в этом деле полную свободу. Чем я провинилась, что вы запрещаете мне ею пользоваться? Я никогда не выйду замуж без согласия батюшки и без вашего позволения... Если вы найдете мой выбор неподходящим, то ведь будет еще довольно времени навязать мне другую партию.

— Можно ли спокойно выслушивать такие вещи от девушки, в кармане у которой письмо от убийцы?

— У меня нет этого письма, уверяю вас; и если он убийца, то скоро не будет больше в состоянии причинять вам беспокойство.

— И вы смеете, мисс Вестерн, так говорить о нем? Без всякого стеснения признаваться мне в любви к этому злодею?

— Право, сударыня, вы очень странно истолковываете мои слова.

— Нет, мисс Вестерн,— вспылила тетка,— это совершенно невыносимо. Вы, верно, у отца научились так обращаться со мной; это он научил вас уличать меня во лжи. Он вконец погубил вас нелепой системой воспитания — пусть же наслаждается ее плодами, так как, еще раз повторяю, завтра утром вы будете возвращены к нему. Я увожу все свои силы с поля сражения и, подобно мудрому прусскому королю, буду соблюдать отныне строжайший нейтралитет. Вы оба чересчур умны, где уж мне вами руководить! Ступайте же соберите свои вещи, потому что завтра утром вы должны будете оставить этот дом.

Софья защищалась, как могла, но тетка осталась глуха ко всем ее доводам. При этом решении нам приходится теперь ее оставить, так как, по-видимому, нет никакой надежды переубедить почтенную даму.

## ГЛАВА IX

*Что случилось с мистером Джонсом в тюрьме*

Мистер Джонс провел двадцать четыре томительных часа в одиночестве, скрашиваемом иногда обществом Партриджа, прежде чем вернулся мистер Найтингейл. Этот достойный человек не покинул и не забыл своего друга, но, напротив, большую часть времени употребил на хлопоты по его делу.

Он узнал из расспросов, что единственными свидетелями начала несчастного поединка были матросы с военного корабля, стоявшего тогда на якоре в Дептфорде. Он отправился в Дептфорд искать этих матросов; там ему сказали, что все они сошли на берег; он пустился по их следам и наконец нашел двоих, выпивавших с кем-то третьим в кабачке близ Олдерсгейта.

Найтингейл выразил желание поговорить с Джонсом наедине (войдя к нему, он застал у него Партриджа). Как только они остались одни, Найтингейл взял Джонса за руку и сказал:

— Ну, друг мой, выслушайте мужественно то, что я вам скажу... К сожалению, я принес дурные вести, но считаю своим долгом сообщить вам их.

— Я догадываюсь, что это за вести,— сказал Джонс,— мой несчастный противник скончался.

— Надеюсь, что нет,— отвечал Найтингейл,— утром он был еще жив; но не буду вас обнадеживать: боюсь, что, судя по собранным мной сведениям, рана его смертельна. Но если дело было в точности так, как вы рассказываете, то, что бы ни случилось, вы можете опасаться только угрызений вашей совести. Однако простите меня, дорогой Том, если я попрошу вас ничего не таить от ваших друзей: если вы что-нибудь от нас скроете, вы себе только повредите.

— Разве я давал вам когда-нибудь повод, дорогой Джек, для такого оскорбительного подозрения? — обиделся Джонс.

— Имейте терпение,— отвечал Найтингейл,— и я расскажу вам все. После прилежных розысков мне удалось наконец найти двух человек, которые были свидетелями этого несчастного происшествия, но должен, к сожалению, вам сказать, что они излагают дело в очень неблагоприятном для вас свете — не так, как вы сами излагали.

— Что же они говорят? — спросил Джонс.

— Мне очень неприятно повторять их слова: боюсь, история эта может иметь для вас плохие последствия. Они говорят, что были слишком далеко и не могли расслышать ваши слова, но оба в один голос утверждают, что первый удар нанесли вы.

— Клянусь честью, они клевещут! — воскликнул Джонс.— Он не только ударил меня первый — он ударил меня без малейшего с моей стороны повода. Что побудило этих негодяев возводить на меня ложное обвинение?

— Этого я не могу понять,— отвечал Найтингейл,— но если ни вам самому, ни мне, вашему искреннему другу, непонятны причины, побудившие их клеветать на вас, то какие же будут основания у равнодушного суда не поверить им? Я повторил им свой вопрос несколько раз, и то же сделал сидевший с ними незнакомец, по виду моряк, который выказал к вам большое участие; он горячо просил их не забывать, что от их показаний зависит жизнь человека, он снова и снова спрашивал их, вполне ли они уверены в правильности этих показаний, на что оба отвечали утвердительно, изъявив готовность подкрепить свои слова присягой. Ради бога, дорогой друг, припомните хорошенько: ведь если суду их показания покажутся убедительными, то вам следует подумать своевременно, как лучше всего оградить свои интересы. Я не хочу вас запугивать, но вы знаете, как строг в этом случае закон: оскорбление словами не может оправдать в его глазах вашего поступка.

— Ах, друг мой, какие могут быть интересы у такого отщепенца, как я? Кроме того, неужели вы думаете, что жизнь сохранит для меня какую-нибудь цену, когда меня ославят убийцей?

Если бы даже у меня были друзья (а их, увы, нет!), то разве достало бы у меня смелости просить их выступить на защиту человека, признанного виновным в самом гнусном преступлении? Поверьте, я не питаю такой надежды, но я твердо уповаю на всевышнего: он окажет мне помощь, какую я заслуживаю.

И он заключил свою речь горячими уверениями в истинности своего первоначального показания.

Пошатнувшееся было доверие Найтингейла к своему другу начало восстанавливаться, когда явилась миссис Миллер с печальным известием о результатах своей миссии. Выслушав ее, Джонс воскликнул героически:

— Ну, друг мой, теперь мне все равно, что бы со мной ни случилось,— по крайней мере, касательно моей жизни! И если богу угодно, чтобы я искупил пролитую кровь, то я надеюсь, что божественная благость обелит когда-нибудь мою честь и что люди поверят, по крайней мере, словам умирающего.

Тут между заключенным и его друзьями произошла очень грустная сцена, при которой вряд ли моим читателям было бы приятно присутствовать, и вряд ли они пожелают услышать подробное ее описание. Перейдем поэтому прямо к появлению тюремного сторожа, доложившего Джонсу, что какая-то дама желает с ним поговорить, если у него есть время.

Джонс был очень удивлен этим сообщением. Он сказал, что нет ни одной дамы на свете, посещения которой он ожидал бы в этом месте. Однако, не имея причины отказать, он простился с миссис Миллер и мистером Найтингейлом и велел ввести посетительницу.

Если Джонс был поражен известием о приходе какой-то дамы, то каково же было его удивление, когда он увидел перед собой не кого иного, как миссис Вотерс! Однако оставим его теряться в догадках и поспешим на помощь читателю, который тоже, вероятно, немало удивится неожиданному появлению этой дамы.

Кто такая миссис Вотерс, читатель хорошо знает, а чем она была, это станет для него ясно теперь. Мы просим читателя вспомнить, что она уехала из Эптона в одной карете с мистером Фитцпатриком и другим ирландским джентльменом и в их обществе направилась в Бат.

Надо сказать, что в распоряжении мистера Фитцпатрика была в то время одна вакантная должность — именно должность жены, ибо занимавшая ее дама ушла в отставку или, по крайней мере, уклонялась от исполнения своих обязанностей. Мистер Фитцпатрик, дорогой всесторонне исследовав свою спутницу, нашел ее чрезвычайно подходящей для вакантного места и немедленно по

приезде в Бат предложил ей его занять, а она беспрекословно согласилась. В течение всего пребывания в Бате они жили как муж с женой и как муж с женой приехали вместе в Лондон.

Был ли мистер Фитцпатрик настолько умен, что не желал расстаться с одним лакомым куском, не обеспечив себе прежде другой, который он теперь только еще надеялся вернуть, или же миссис Вотерс исправляла свою должность так хорошо, что он намеревался удержать ее в роли главноуправляющей, а жену сделать (как это часто бывает) только ее заместительницей — не могу сказать, только он никогда не упоминал ей о жене, не показывал ей письма, переданного ему миссис Вестерн, и ни разу не заикнулся о своем намерении вернуться к жене; и уж подавно не произносил при ней имени Джонса, ибо, решившись драться с ним при первой же встрече, он отнюдь не подражал тем благоразумным людям, которые полагают, что самые надежные секунданты в таких случаях — жена, мать, сестра, а подчас и вся семья. Поэтому миссис Вотерс впервые услышала обо всем этом от Фитцпатрика, когда его принесли домой из таверны, где была сделана перевязка.

Но так как мистер Фитцпатрик никогда не умел толково рассказывать, а теперь говорил сбивчивее, чем когда-либо, то миссис Вотерс не скоро сообразила, что ему нанес рану тот самый джентльмен, который и ее ранил в сердце — хотя не смертельно, но так глубоко, что рана до сих пор еще не зарубцевалась. Но едва только узнала она, что человек, посаженный в тюрьму за предполагаемое убийство, был сам мистер Джонс, как воспользовалась первым случаем оставить мистера Фитцпатрика на попечении сиделки и поспешила навестить победителя.

Она вошла в тюремную камеру с очень веселым видом, но веселость ее сразу прогнал грустный вид бедняги Джонса, который при ее появлении вскочил с места и перекрестился.

— Меня нисколько не поражает ваше удивление,— сказала миссис Вотерс,— вы, наверное, не ожидали меня видеть; я думаю, дамы редко кого здесь беспокоят своими визитами, разве что жены. Судите же, мистер Джонс, как велика ваша власть надо мной. Не думала я, расставаясь с вами в Эптоне, что нам доведется встретиться вновь, да еще в таком месте.

— Очень вам признателен за ваше посещение, сударыня,— отвечал Джонс,— немногие так добры, чтобы последовать за несчастным, особенно в это мрачное помещение.

— С трудом верится, мистер Джонс, что вы — тот самый любезный молодой человек, которого я видела в Эптоне. Ваше лицо мрачнее всех тюрем на свете. Что с вами? Почему вы такой?

— Я думаю, сударыня,— отвечал Джонс,— что если вам известно мое пребывание здесь, то вы знаете также грустное событие, которое меня сюда привело.

— Ну уж и грустное! Вы ткнули противника шпагой на дуэли — вот и все.

Такое легкомыслие несколько возмутило Джонса, и он с большим сокрушением рассказал о случившемся.

— Если вы принимаете это так близко к сердцу, сэр,— сказала миссис Вотерс,— то я вас успокою: противник ваш не умер и, насколько мне известно, вне опасности. Дело в том, что первая помощь была ему подана молодым хирургом, который, по-видимому, желал представить его положение в самом мрачном свете, чтобы излечение принесло ему больше чести; но теперь его пользует придворный хирург, по словам которого если у раненого не будет лихорадки,— а ее нет и признаков,— то жизнь его спасена.

Джонс выслушал это известие с большим облегчением. В подтверждение его достоверности миссис Вотерс добавила:

— По странной случайности, я живу в том же самом доме и видела его. Могу вас уверить, что он отдает вам справедливость и говорит, что, каковы бы ни были последствия, зачинщиком был он и вы нисколько не виноваты.

Сведения миссис Вотерс совсем успокоили Джонса, и он рассказал ей о многом, что ей было уже хорошо известно: например, кто такой мистер Фитцпатрик, что́ было причиной его злобы и т. д. Но были и такие вещи, которых она не знала: приключение с муфтой и другие мелочи. Джонс утаил только имя Софьи. Потом он принялся сокрушаться в своих проказах и грехах, из которых каждый, по его словам, имел весьма прискорбные последствия, так что с его стороны было бы непростительно пренебречь полученными уроками и продолжать порочную жизнь. Поэтому он принял твердое решение впредь не грешить, чтобы не навлечь на себя еще худшей беды.

Миссис Вотерс подняла его на смех, приписав все эти зароки действию тюрьмы и упадку духа. Она повторила некоторые остроты насчет простудившегося дьявола и сказала, что, без всякого сомнения, в самом скором времени увидит его на свободе таким же жизнерадостным, как и прежде.

— И тогда, я уверена, вы окончательно освободитесь от угрызений совести, которые не дают вам здесь покоя.

Она высказала еще несколько замечаний в этом роде, которые едва ли принесут ей много чести в глазах некоторых читателей; с другой стороны, мы боимся, что ответы Джонса вызовут улыбку у других. Поэтому опустим остальную часть их разговора, заме-

тив только, что свидание кончилось самым невинным образом, к большему удовольствию Джонса, чем его посетительницы, ибо герой наш был чрезвычайно обрадован принесенными ему известиями, а миссис Вотерс осталась порядком разочарованной покаянным поведением человека, о котором, при первом знакомстве с ним, она составила совсем другое мнение.

Таким образом, грусть Джонса, вызванная рассказами мистера Найтингейла, почти совсем рассеялась; однако уныние, в которое повергла его миссис Миллер, по-прежнему его одолевало. Слова вдовы так хорошо согласовались с тем, что писала в последнем письме Софья, что Джонс нимало не сомневался в том, что она показала его письмо тетке и приняла твердое решение с ним порвать. Мучения, причиненные ему этой мыслью, могли сравниться лишь с ударом, который судьба еще припасала для него и о котором мы расскажем во второй главе следующей книги.

# КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

## ОХВАТЫВАЮЩАЯ ОКОЛО ШЕСТИ ДНЕЙ

## ГЛАВА I

*Прощание с читателем*

Вот мы доехали, читатель, до последней станции нашего долгого путешествия. Проехав вместе так много страниц, поступим по примеру пассажиров почтовой кареты, несколько дней друг с другом не расставававшихся: если им и случалось немного повздорить и посердиться дорогой, они обыкновенно под конец все забывают и садятся в последний раз в карету веселые и благодушные — ведь, проехав этот остаток пути, мы, как и они, может быть, никогда больше не встретимся.

Раз уж я прибегнул к этому сравнению, позвольте мне его продолжить. Итак, я намерен в этой последней книге подражать почтенным людям, едущим вместе в почтовой карете. Всем известно, что шутка и насмешки на последней станции прекращаются; как бы ни дурачился потехи ради какой-нибудь пассажир, веселость его проходит и разговор становится прост и серьезен.

Так и я, если и позволял себе время от времени на протяжении этого труда кое-какие шутки для твоего развлечения, читатель, то теперь отбрасываю их в сторону. Мне надо впихнуть в эту книгу столько разнообразного материала, что в ней не останется места для шутливых замечаний, которые я делал в других книгах и которые, может быть, не раз разгоняли сон, готовый сомкнуть твои глаза. В этой последней книге ты не найдешь ничего, или почти ничего, подобного. Тут будет только голое повествование. И, увидев великое множество событий, заключенных в этой книге, ты подивишься, как все они могли уложиться на столь немногих страницах.

Пользуюсь этим случаем, друг мой (так как другого уж не представится), чтобы от души пожелать тебе всего хорошего. Если я был тебе занимательным спутником, то, уверяю тебя,

этого я как раз и желал. Если я чем-нибудь тебя обидел, то это вышло неумышленно. Кое-что из сказанного здесь, может быть, задело тебя или твоих друзей, но я торжественно объявляю, что не метил ни в тебя, ни в них. В числе других небылиц, которых ты обо мне наслышался, тебе, наверно, говорили, что я — грубый насмешник; но кто бы это ни сказал — это клевета. Никто не презирает и не ненавидит насмешек больше, чем я, и никто не имеет на то больше причин, потому что никто от них не терпел столько, сколько я; по злой иронии судьбы мне часто приписывались ругательные сочинения тех самых людей, которые в других своих статьях сами ругали меня на чем свет стоит.

Впрочем, все такие произведения, я уверен, будут давно забыты, когда эта страница еще будет привлекать к себе внимание читателей: как ни недолговечны мои книги, а все-таки они, вероятно, переживут и немощного своего автора, и хилые порождения его бранчливых современников.

## ГЛАВА II,

*содержащая весьма трагическое происшествие*

Когда Джонс сидел, погруженный в нерадостные мысли, с которыми мы его оставили, в комнату вошел Партридж, бледный как полотно, едва держась на ногах и дрожа всем телом; глаза его были неподвижно устремлены в одну точку, а волосы встали дыбом. Словом, он выглядел так, точно ему явилось привидение, или, вернее, точно сам он был привидением.

Джонс, человек не из трусливых, немного оробел при этом внезапном появлении. Он тоже побледнел и запинающимся голосом спросил:

— Что с тобой? В чем дело?

— Пожалуйста, сэр, вы на меня не сердитесь,— отвечал Партридж.— Ей-богу, я не подслушивал, но мне пришлось поместиться в соседней комнате. Право, я желал бы находиться за сто миль отсюда, только бы не слышать того, что я слышал.

— Боже мой, да в чем же дело? — воскликнул Джонс.

— В чем дело, сэр? Скажите мне, женщина, только что отсюда вышедшая, та самая, с которой вы были в Эптоне?

— Да, Партридж,— отвечал Джонс.

— И вы точно, сэр, спали с этой женщиной? — спросил Партридж дрожащим голосом.

— Боюсь, что мои отношения с ней не являются тайной,— отвечал Джонс.

— Нет, ради бога, сэр, отвечайте мне прямо!

— Ну да, спал, ты же знаешь! — воскликнул Джонс.

— Да смилуется над вами господь и да простит вас! Ибо вы спали с родной матерью — это так же верно, как то, что я жив и стою перед вами!

При этих словах Джонс мгновенно обратился в еще более яркое олицетворение ужаса, нежели сам Партридж. Он онемел от изумления, и некоторое время оба стояли молча, дико выпучив глаза друг на друга. Наконец к нашему герою вернулся дар речи, и прерывающимся голосом он пролепетал:

— Как? Что? Что ты сказал?

— Ах, сэр,— отозвался Партридж,— не могу говорить, у меня дух захватило; но то, что я вам сказал,— совершенная правда... Женщина, только что вышедшая отсюда,— ваша мать. Такое несчастье, сэр, что мне не случилось тогда ее увидеть и предупредить вас! Не иначе как сам дьявол попутал и вовлек вас в такой грех.

— Да, видно Фортуна решила не оставлять меня в покое, пока не сведет с ума! — воскликнул Джонс.— Но зачем браню я Фортуну? Я сам виновник всех своих несчастий. Все беды, постигавшие меня, лишь следствие моего безрассудства и порочности. Твое открытие, Партридж, чуть не лишило меня рассудка! Так, значит, миссис Вотерс... Но зачем этот вопрос? Ведь ты, конечно, должен ее знать... Если ты хоть немного меня любишь— нет, если в тебе есть хоть капля жалости ко мне,— умоляю тебя, возврати сюда эту несчастную женщину. Праведный боже! Кровосмешение... с матерью! Вот какой участи я обречен!

И он с таким неистовством отдался горю и отчаянию, что Партридж отказался его покинуть в этом состоянии. Но наконец, дав выход первым приливам чувства, Джонс немного овладел собой, после чего, сказав Партриджу, что эта несчастная женщина живет в одном доме с раненым джентльменом, отправил его на розыски.

Если читатель соблаговолит освежить в своей памяти эпизодические события, описанные в девятой книге, то, наверно, будет поражен несчастным стечением обстоятельств, помешавших встрече Партриджа и миссис Вотерс, несмотря на то что она провела там с мистером Джонсом целые сутки. Подобные случаи часто наблюдаются в жизни, где величайшие события порождаются причудливой связью ничтожных мелочей; не один такой пример может быть отыскан внимательным читателем и в настоящей истории.

После бесплодных поисков в течение двух или трех часов Партридж вернулся к своему хозяину, не повидав миссис Вотерс.

Джонс, уже и без того пришедший в отчаяние от этой медлительности, чуть не обезумел, услышав сообщение своего спутника. К счастью, вскоре ему подали следующее письмо:

«Сэр!

Выйдя от вас, я встретила одного джентльмена, который рассказал о вас вещи, очень меня поразившие и взволновавшие; но сейчас я не имею времени писать о деле такой высокой важности, и вам придется потерпеть до следующего нашего свидания, которое я постараюсь устроить как можно скорее. Ах, мистер Джонс, мне и в голову не приходило в тот счастливый день в Эптоне, воспоминание о котором способно отравить мне всю жизнь,— мне и в голову не приходило, кому я обязана таким совершенным счастьем. Верьте, что я навсегда останусь преданной вам, несчастная

*Д. Вотерс.*

P. S. Хочу вас обрадовать: мистер Фитцпатрик теперь совершенно вне опасности; таким образом, в каких бы тяжелых преступлениях вам ни пришлось раскаиваться, убийство не принадлежит к их числу».

Письмо выпало из рук Джонса (он был не в силах его держать и вообще лишился способности к какому бы то ни было действию). Партридж поднял его и, с молчаливого согласия Джонса, прочел, в свою очередь. Кисти, а не перу надлежало бы изобразить ужас, отпечатлевшийся на их лицах. В то время как они оба погрузились в глубокое молчание, вошел тюремный сторож и, не обращая никакого внимания на очевидные признаки их душевного потрясения, доложил Джонсу, что какой-то человек желает с ним говорить. Джонс попросил ввести его, и вошедший оказался не кем иным, как Черным Джорджем.

Не привыкший, подобно сторожу, к картинам ужаса, Джордж тотчас же заметил расстройство на лице Джонса. Он приписал его происшествию, обстоятельства которого передавались в доме Вестерна в самом мрачном освещении, и решил, что противник мистера Джонса скончался, а его самого ждет позорная смерть. Мысль эта сильно встревожила Джорджа, ибо он был человек сострадательный и, несмотря на неблаговидный поступок, на который толкнуло его однажды слишком сильное искушение, не был в общем нечувствителен к услугам, оказанным ему некогда мистером Джонсом.

Бедняга едва удержался от слез при этом печальном зрелище. Он сказал Джонсу, что искренне сожалеет о постигшем

его несчастье, и спросил, не может ли он быть ему чем-нибудь полезен.

— Может быть, сэр,— спросил он,— вам нужно денег? В таком случае мои скромные сбережения к вашим услугам.

Джонс с чувством пожал ему руку и горячо поблагодарил за любезное предложение, но отвечал, что в деньгах он совершенно не нуждается. Тогда Джордж еще усерднее начал предлагать свои услуги. Джонс опять поблагодарил его, уверяя, что то, в чем он нуждается, не в состоянии дать ему ни один человек в мире.

— Полно, полно, добрый мой господин,— отвечал Джордж,— не принимайте этого так близко к сердцу. Дело может кончиться благополучнее, чем вы думаете; вам не первому случилось убить человека, и, однако же, другие выпутывались.

— Вы ошибаетесь, Джордж,— сказал Партридж.— тот джентльмен не умер, и жизнь его вне опасности. Не докучайте моему господину: у него теперь другая забота, которую вы бессильны облегчить.

— Этого вы не знаете, мистер Партридж,— отвечал Джордж,— если он озабочен насчет моей барышни, то у меня есть для него новость.

— Что вы говорите, мистер Джордж?! — воскликнул Джонс.— Случилось что-нибудь с моей Софьей? Моей Софьей! Я, несчастный, смею так осквернять ее имя!

— Надеюсь, что она все же будет ваша,— отвечал Джордж.— Да, сэр, у меня есть кое-что сказать вам про нее. Миссис Вестерн только что привезла мисс Софью к отцу, и у них была жестокая схватка. Я не мог хорошенько дознаться, в чем дело, но мой барин ужасно разгневался, и миссис Вестерн тоже, и я слышал, как она, выйдя на улицу и садясь в портшез, сказала, что ноги ее не будет больше в нашем доме. Не знаю, что у них случилось, только, когда я вышел из дому, там все было тихо и мирно. Робин, прислуживавший за ужином, сказал, что давно уже не видел сквайра в таких добрых отношениях с барышней: барин часто ее целовал и клялся, что предоставит ей полную волю и больше никогда не будет сажать ее под замок. Я подумал, что эта весть вас обрадует, и потихоньку ускользнул из дому, несмотря на позднее время, чтобы рассказать вам об этом.

Мистер Джонс поблагодарил Джорджа, сказав, что он действительно очень его обрадовал, ибо хотя он никогда больше не дерзнет поднять глаза на это дивное создание, но ничто не смогло бы так его утешить в нынешнем печальном положении, как добрые вести о Софье.

Остальной разговор касался предметов, не стоящих того, чтобы его здесь пересказывать. Пусть поэтому читатель извинит

нас, если мы оборвем описываемую сцену, и соблаговолит выслушать, что было причиной этой великой благосклонности сквайра к дочери.

Миссис Вестерн по приезде к брату немедленно начала расписывать великую честь и выгоды, какие принесет их семье родство с лордом Фелламаром, которому племянница ее наотрез отказала. Когда же сквайр в этом деле взял сторону дочери, она пришла в неописуемое бешенство и наговорила брату столько дерзостей и оскорблений, что и у того лопнуло терпение, и между братом и сестрой последовала такая жаркая перебранка, какой, пожалуй, никогда не оглашались даже окрестности Биллинсгейта. Вся пылая негодованием, миссис Вестерн ушла, не успев показать брату полученное Софьей письмо, которое, вероятно, имело бы очень дурные последствия; я даже думаю, по правде сказать, что почтенная дама вовсе о нем позабыла в пылу схватки.

Когда миссис Вестерн удалилась, Софья, до тех пор молчавшая, как по необходимости, так и из отвращения к ссорам, отблагодарила отца за заступничество, взяв его сторону против тетки. Первый раз поступала она таким образом и доставила сквайру огромное удовольствие; вдобавок он вспомнил настоятельную просьбу мистера Олверти отказаться от всяких насильственных мер. А так как он нимало не сомневался, что Джонса повесят, то с полной уверенностью рассчитывал взять дочь лаской, поэтому он дал волю своей родительской любви, и это произвело такое впечатление на почтительное, благодарное, нежное и любящее сердце Софьи, что если бы не слово, данное ею Джонсу, и, может быть, кое-что еще, в чем герой наш был замешан, то, мне сильно сдается, она из угождения отцу принесла бы себя в жертву человеку, который ей не нравился: она сказала, что отныне поставит себе единственной целью жизни угождать отцу и никогда не выйдет замуж без его согласия. Это вознесло старика почти на самую вершину счастья, так что он решил кончить это дело и лег в постель совершенно пьяный.

## ГЛАВА III

*Олверти посещает старика Найтингейла; странное открытие, которое он при этом сделал*

На другое утро после описанных событий мистер Олверти отправился, как обещал, к старику Найтингейлу, на которого имел такое влияние, что, проведя с ним три часа, уговорил его согласиться на свидание с сыном.

В это время случилось весьма необыкновенное происшествие — один из тех странных случаев, на основании которых серьезные и честные люди заключают, что провидение часто помогает разоблачить самые скрытые злодеяния — в предостережение смертным, дабы не совращать их с путей добродетелей и не допускать, чтобы они считали, будто хитрецы могут безопасно отдаваться пороку.

Мистер Олверти, входя к мистеру Найтингейлу, встретил Черного Джорджа, но не обратил на него никакого внимания, так что Джордж подумал, что он его не заметил.

Однако, столковавшись с Найтингейлом насчет главного, Олверти спросил его, знает ли он Джорджа Сигрима и по какому делу приходил к нему этот человек.

— Да,— отвечал Найтингейл,— я знаю его очень хорошо. Удивительный ловкач: сумел скопить в наше время пятьсот фунтов, арендуя ферму, которая приносит в год не больше тридцати фунтов.

— Эту историю он вам сам рассказал? — спросил Олверти.

— Да. Уверяю вас, что он не лжет,— отвечал Найтингейл.— Деньги сейчас у меня в пяти банковых билетах, и я взялся либо поместить их под хорошую закладную, либо употребить на покупку земли в Северной Англии.

Олверти попросил показать ему билеты и, взглянув на них, был поражен неожиданным открытием. Он признался Найтингейлу, что эти билеты раньше принадлежали ему, и рассказал все, как было. Как никто не жалуется на мошенничества в делах громче, чем разбойники с большой дороги, игроки и другие воры того же рода, так никто не поносит с большим озлоблением плутни игроков и т. п., чем ростовщики, маклеры и другие подобные им воры — потому ли, что один вид плутовства изобличает и бесчестит другой, или же потому, что деньги — эта любовница всех плутов — заставляют их видеть друг в друге соперников; во всяком случае, Найтингейл, выслушав этот рассказ, выбранил Джорджа гораздо сильнее, чем это позволил себе справедливый и честный Олверти.

Олверти попросил Найтингейла хранить деньги и тайну, пока не получит от него дальнейших указаний, и не показывать Джорджу вида о сделанном открытии, если до тех пор с ним встретится. Потом он возвратился к себе на квартиру и застал миссис Миллер очень удрученной сообщением, полученным от зятя. Мистер Олверти весело сказал, что принес очень приятные вести, и без дальнейших предисловий объявил, что ему удалось добиться от мистера Найтингейла согласия на свидание с сыном и что старик, без сомнения, пойдет на мировую, хотя и опечален другим

подобным же происшествием в своей семье. И он рассказал, что у дяди молодого человека сбежала дочь, о чем еще не было известно ни миссис Миллер, ни ее зятю.

Можете себе представить, с какой глубокой благодарностью и какой радостью миссис Миллер выслушала известие о решении старого Найтингейла; но ее дружеские чувства к Джонсу были так сильны, что беспокойство за его участь едва ли не перевешивало в ней удовольствия по случаю такого счастливого оборота семейных дел, и даже, может быть, приятная новость, напомнив ей о многочисленных услугах Джонса, опечалила ее в не меньшей степени, чем обрадовала. Полное благодарности сердце говорило ей: «Твоя семья теперь счастлива, и как несчастен бедняк, отзывчивости которого мы обязаны теперешнему счастливому обороту событий!»

Олверти, дав ей время хорошенько разжевать (если можно так выразиться) сообщенное им известие, сказал, что у него есть еще кое-какие новости, которые, вероятно, тоже ее порадуют.

— Я, кажется, нашел,— сказал он,— большую сумму денег, принадлежавшую вашему молодому другу. Боюсь только, что в теперешнем положении он не в состоянии будет ею воспользоваться.

Сообразив по этим словам, о ком идет речь, миссис Миллер со вздохом отвечала:

— Я еще не потеряла надежды, сэр.

— Я тоже от всего сердца желаю ему всякого добра,— сказал Олверти,— однако племянник сказал мне утром, что дело его приняло очень дурной оборот.

— Боже мой! — воскликнула миссис Миллер.— Увы, я должна молчать, как это ни тяжело, особенно когда слышишь...

— Сударыня,— сказал Олверти,— вы можете говорить, что вам угодно: вы меня слишком хорошо знаете, и вам известно, что я ни против кого не предубежден; а что касается этого молодого человека, то, уверяю вас, я был бы искренне рад, если бы ему удалось оправдаться, особенно в этом прискорбном деле. Вы ведь можете засвидетельствовать, как горячо я его любил. Свет, я знаю, осуждал меня за эту чрезмерную любовь. И если я от него отвернулся, то имел для этого довольно оснований. Поверьте, миссис Миллер, я был бы рад убедиться, что мной была допущена ошибка.

Миссис Миллер собралась с жаром отвечать, но в эту минуту служанка доложила, что с ней хочет говорить какой-то джентльмен. Тогда Олверти спросил о племяннике, и ему сказали, что мистер Блайфил довольно долго был в своей комнате с тем господином, который часто к нему приходит; мистер Олверти догадался,

что речь идет о мистере Даулинге, и приказал тотчас же пригласить его к себе.

Когда Даулинг явился, Олверти, не называя никого по имени, рассказал ему про случай с банкнотами и спросил, какому наказанию подлежит человек, совершивший такой проступок. Даулинг отвечал, что, по его мнению, здесь можно было бы применить *черный закон*, но что дело довольно тонкое, и потому лучше будет обратиться к адвокатам. Он сказал, что как раз сейчас он идет на консультацию по одному делу мистера Вестерна и, если угодно мистеру Олверти, представит на обсуждение адвокатов этот случай. Олверти дал согласие. В эту минуту в комнату заглянула миссис Миллер, но, увидев Даулинга, воскликнула:

— Простите, я не знала, что вы не одни.

Однако Олверти попросил ее войти, сказав, что уже кончил свое дело. Тогда мистер Даулинг удалился, а миссис Миллер ввела мистера Найтингейла-младшего, который пришел поблагодарить Олверти за его любезность; но вдова, не дав зятю докончить, перебила его:

— Мистер Найтингейл, сэр, принес добрые вести о несчастном мистере Джонсе: он только что от раненого, который теперь вне всякой опасности и, что еще важнее, сказал ему, что напал первый на мистера Джонса и ударил его. Не потребуете же вы, сэр, от мистера Джонса, чтобы он был трусом! Будь я мужчиной, я непременно обнажила бы шпагу, если бы кто-нибудь меня ударил. Пожалуйста, голубчик, расскажите сами мистеру Олверти все, как было!

Найтингейл подтвердил сказанное миссис Миллер и заключил свой рассказ самым лестным отзывом о Джонсе, который, по его словам, был добродушнейший человек на свете и ничуть не задира. Он уже хотел замолчать, но миссис Миллер снова попросила его пересказать мистеру Олверти все почтительные суждения, которые он слышал о сквайре от Джонса.

— Отзываться наилучшим образом о мистере Олверти,— сказал Найтингейл,— значит только отдавать ему справедливость, и в этом нет никакой заслуги; но я должен сказать, что нет человека, который бы глубже чувствовал признательность за сделанное вами добро, чем несчастный Джонс. Уверяю вас, сэр, что его больше всего удручает сейчас ваше неудовольствие. Он часто горевал по этому поводу и самым торжественным образом уверял меня, что он никогда ничем не оскорбил вас умышленно; больше того, клялся, что готов скорее тысячу раз умереть, чем жить с упреками совести хотя бы за одну неуважительную, неблагодарную и непочтительную мысль о вас. Но прошу прощения, сэр, я, кажется, позволил себе коснуться слишком деликатного вопроса.

— Вы сказали не больше того, что от вас требует христианский долг! — воскликнула миссис Миллер.

— Да, мистер Найтингейл,— отвечал Олверти,— ваше благородное заступничество достойно всякого одобрения, и дай бог, чтобы он его заслуживал. Признаюсь, я рад слышать известие, принесенное вами от раненого; и если дело окажется таким, как вы его изображаете (в чем я нисколько не сомневаюсь), то нынешнее мое мнение об этом молодом человеке со временем, может быть, изменится к лучшему. Вот эта почтенная дама и все, кто меня знает, могут засвидетельствовать, что я любил его, как родного сына. Действительно, я смотрел на него, как на дитя, самой судьбой порученное моему попечению. До сих пор помню, как я нашел его беспомощным, невинным малюткой у себя на постели, до сих пор чувствую нежное пожатие его маленькой ручки. Да, он точно был моим любимцем.— Тут Олверти замолчал, и на глазах у него выступили слезы.

Так как ответ миссис Миллер на его слова заставит нас коснуться нового предмета, то мы на этом остановимся, чтобы объяснить явную перемену в образе мыслей мистера Олверти и смягчение его гнева на Джонса. Подобного рода перевороты, правда, часто встречаются в повестях и драматических произведениях потому только, что дело приближается к развязке, и оправдываются властью автора распоряжаться своим созданием. Но мы, нисколько не отказываясь от этой авторской власти, будем пользоваться ею очень осмотрительно, лишь там, где этого потребует необходимость, чего мы не видим в настоящем произведении.

Перемена в образе мыслей мистера Олверти была вызвана только что полученным им письмом от мистера Сквейра, которое мы сообщим читателю в начале следующей главы.

## ГЛАВА IV,

*содержащая два письма в совершенно различном стиле*

«Достопочтенный друг!

Я уже извещал вас, что мне запрещено пользоваться водами, потому что, как показал опыт, они скорее усиливают, чем ослабляют симптомы моей болезни. Теперь сообщу вам известие, которое, я думаю, огорчит друзей моих больше, чем оно огорчило меня: доктор Гаррингтон и доктор Брьюстер объявили мне, что нет никакой надежды на мое выздоровление.

Я где-то читал, что великая польза философии заключается в том, что она учит умирать. Не хочу поэтому посрамлять свою

специальность, удивляясь при получении урока, который мне давно должен быть известен. И все же, сказать правду, одна страница Евангелия преподает этот урок лучше, чем все книги древних или новых философов. Уверенность в будущей жизни, которой оно нас наполняет, служит более могущественной поддержкой здравому уму, чем все утешения, почерпаемые из необходимости законов природы, из тщеты наших наслаждений и пресыщения, к которому они приводят, и из всех вообще избитых фраз, хотя и способных научить умы наши стойко встречать мысль о смерти, но никогда не возвышающих нас до истинного презрения к смерти, а тем более до взгляда на нее как на подлинное благо. Я не хочу этим бросить всем, кто именует себя философом, ужасное обвинение в безбожии или хотя бы в полном отрицании бессмертия. Многие из философов, как древние, так и новые, открыли при помощи света разума некоторые надежды на будущую жизнь; но, правду сказать, свет этот был столь слабым и тусклым, а надежды — столь неверными и зыбкими, что нельзя решить с достоверностью, в какую же сторону склонялась их вера. Даже Платон объявляет в заключение своего «Федона», что самые сильные его доводы придают его мнению лишь вероятность, а Цицерон как будто выражает скорее желание верить, чем действительно верит в бессмертие. Что же касается меня, то, признаться вам откровенно, я никогда серьезно в него не верил, пока не сделался всерьез христианином.

Вас, может быть, удивят мои последние слова, но смею вас уверить, что только с недавнего времени я вправе называть себя так. Разум мой был отравлен философской гордостью, и высочайшая мудрость казалась мне, как древним грекам, глупостью, но бог был так милостив, что вовремя открыл мне мое заблуждение и направил меня на путь истины, пока я еще не погрузился навеки в тьму кромешную.

Однако я чувствую, что силы мои слабеют, и потому спешу перейти к главной цели настоящего письма.

Мысленно обозревая свою прошедшую жизнь, я нахожу, что ничто не лежит таким камнем на моей совести, как несправедливость, учиненная этому несчастному юноше, вашему приемному сыну. Я не только смотрел сквозь пальцы на гнусные дела других, но и сам был к нему несправедлив. Поверьте, дорогой друг, словам умирающего — Джонса самым низким образом оклеветали. Что касается главного его преступления, за которое вы его изгнали, то я торжественно объявляю, что он не виноват и что вам представили дело в ложном свете. Когда все считали вас умирающим, только он один в целом доме чувствовал непритворное огорчение; причиной же случившегося с ним впоследствии была его бурная радость по поводу вашего выздоровления,

а также, с прискорбием должен сказать, низость другого человека (умолчу его имя, потому что я желаю лишь оправдать невинного и не намерен никого обвинять). Поверьте, друг мой, у этого молодого человека благороднейшее сердце, он способен быть самым преданным другом, он неподкупно честен и наделен всеми лучшими качествами, которые служат украшением человека. Есть у него и недостатки, но к числу их ни в коем случае не принадлежит непочтительность или неблагодарность к вам. Напротив, я убежден, что, когда вы его выгнали из дому, он гораздо больше болел душой о вас, чем о себе.

Мирские побуждения самого низменного и грязного свойства заставляли меня так долго скрывать это от вас; единственной причиной, которая руководит сейчас мной, является желание послужить делу истины, оправдать невинного и всеми средствами, какие есть в моей власти, загладить допущенную мной несправедливость. Надеюсь поэтому, что мое признание произведет желательное действие и вернет вашу благосклонность достойному молодому человеку; услышать об этом, пока я еще жив, будет величайшим утешением,

сэр,

премного вам обязанному,

нижайшему и покорнейшему

слуге вашему,

*Томасу Сквейру*».

Ознакомившись с этим письмом, читатель, вероятно, перестанет удивляться разительной перемене, происшедшей в мистере Олверти, несмотря на то что он с той же почтой получил другое письмо, от Твакома, написанное в совершенно ином духе, которое мы здесь и приведем, тем более что нам, по-видимому, не представится больше случая упоминать имя этого джентльмена.

«Сэр!

Меня ничуть не поразило сообщение вашего достопочтенного племянника о новой гнусности питомца такого безбожника, как мистер Сквейр. Я не буду удивлен, если услышу о совершении им убийства, и усердно молю бога, как бы ваша собственная кровь не скрепила окончательного приговора, ввергающего его туда, где будет плач и скрежет зубовный.

Хотя вы имеете достаточно поводов раскаиваться в непростительной слабости, так часто проявлявшейся вами к этому мерзавцу в ущерб вашей законной семье и вашему доброму имени, и хотя, надо полагать, все это в настоящее время изрядно мучит вашу совесть, все же я нарушил бы свой долг, если бы воздержался

преподать вам некоторое наставление, чтобы довести вас до надлежащего сознания ваших ошибок. Поэтому прошу вас серьезно призадуматься над приговором, который, по всей вероятности, ожидает этого отпетого негодяя; пусть он, по крайней мере, послужит вам уроком, чтоб впредь вы не пренебрегали советами человека, который непрестанно молится о вашем благе.

Если бы никто не удерживал руки моей от справедливого наказания, я выбил бы этот дьявольский дух из мальчика, которым, видно, с самого детства безраздельно завладел враг рода человеческого. Но теперь уже слишком поздно сокрушаться по этому поводу.

Жаль, что вы так поспешно распорядились вестертонским приходом. Я обратился бы к вам с просьбой заблаговременно, если бы мог думать, что вы примете решение, не известив об этом меня. В ваших возражениях против совместительства вы хватили через край. Если бы этот обычай заслуживал порицания, то его не придерживалось бы столько благочестивых людей. Если олдергравский викарий умрет (как слышно, он очень плох), то, надеюсь, вы вспомните обо мне, искренне пекущемся о вашем истинном благе — благе, по сравнению с коим все мирские блага столь же ничтожны, как лепта, упоминаемая в Писании, по сравнению с основными требованиями закона.

Преданный вам, сэр,
нижайший слуга ваш

*Роджер Тваком*».

В первый раз Тваком писал Олверти таким повелительным тоном, в чем имел потом достаточно оснований раскаяться, как это часто случается с людьми, которые по ошибке принимают самую высокую доброту за самую низкую слабость. Олверти никогда не любил Твакома. Он знал, что это человек надменный и недобрый; он знал также, что и религиозные его убеждения носят на себе печать его личности, и во многих отношениях их совершенно не одобрял. Но при всем том священник отлично знал свое дело и весьма ревностно занимался обучением двух порученных ему юношей. Вдобавок он был человек самой строгой нравственности, безупречно честный и глубоко преданный религии. Таким образом, хотя Олверти не любил и не уважал его как человека, он, однако, не решался расстаться с наставником молодых людей, по своим знаниям и усердию незаменимым в своей должности; а так как юноши воспитывались у него в доме и у него на глазах, то ему казалось, что если наставления Твакома и причинят им какой-нибудь вред, его всегда легко можно будет исправить.

## ГЛАВА V,

*в которой наша история продолжается*

Последняя речь мистера Олверти пробудила в нем самом трогательные воспоминания о Джонсе, и на глазах его выступили слезы. Заметив это, миссис Миллер сказала:

— Да, да, сэр, добрые ваши чувства к этому юноше нам хорошо известны, как бы заботливо вы их ни скрывали; но в словах тех негодяев нет ни на волос правды. Мистер Найтингейл разузнал теперь доподлинно, как было дело. По-видимому, эти молодцы были подосланы одним лордом, соперником несчастного мистера Джонса, чтобы насильно завербовать его в матросы... Не знаю, кто будет их следующей жертвой. Мистер Найтингейл говорил с самим командиром отряда, который оказался человеком очень порядочным и рассказал ему все; он очень жалеет, что взялся за это дело, чего никогда бы не сделал, если бы знал, что мистер Джонс джентльмен, но ему сказали, что это простой бродяга.

Олверти широко раскрыл глаза и объявил, что не понимает ни одного ее слова.

— Верю, сэр,— отвечала миссис Миллер.— Эта история, я думаю, совсем не похожа на то, что они рассказали вашему стряпчему.

— Какому стряпчему? О чем вы говорите? — продолжал недоумевать Олверти.

— Ну да, сэр, это так на вас похоже — отрекаться от доброго дела! Но вот мистер Найтингейл видел его своими глазами.

— Кого видел, сударыня?

— Да вашего стряпчего, сэр, которого вы были так добры послать на разведки по этому делу.

— Честное слово, ничего не понимаю! — воскликнул Олверти.

— Так объясните ему, голубчик,— сказала миссис Миллер, обратившись к зятю.

— Да, сэр,— сказал Найтингейл,— вот этого самого стряпчего, который вышел от вас, когда я сюда вошел, я видел в кабачке на Олдерсгейте в обществе двух молодцов, подосланных лордом Фелламаром завербовать мистера Джонса в матросы и попавших, таким образом, в свидетели несчастного поединка его с мистером Фитцпатриком.

— Каюсь, сэр,— сказала миссис Миллер,— когда я увидела, как этот джентльмен вошел к вам, я высказала мистеру Найтингейлу предположение, что это вы послали его туда разузнать, как было дело.

На лице Олверти выразилось большое изумление, и в течение двух или трех минут он не мог выговорить ни слова. Немного овладев собой, он обратился к Найтингейлу:

— Должен вам признаться, сэр, ваш рассказ меня крайне озадачил: в жизни не испытывал ничего подобного. Вы уверены, что это тот самый человек?

— Совершенно уверен,— отвечал Найтингейл.

— На Олдерсгейте, говорите вы? И вы были там с этим стряпчим и двумя свидетелями поединка?

— Да, сэр, я пробыл с ними целых полчаса.

— Как же этот стряпчий вел себя с ними? Вы слышали, о чем они разговаривали?

— Нет, сэр,— отвечал Найтингейл,— вероятно, они успели поговорить до моего прихода. При мне стряпчий говорил мало; но когда на мои повторные вопросы молодцы эти упорно излагали дело совсем иначе по сравнению с тем, что я слышал от мистера Джонса — то есть, как я убедился из признания самого мистера Фитцпатрика, бессовестно лгали,— стряпчий усердно убеждал их говорить правду и так горячо вступался за мистера Джонса, что, увидев его здесь, я решил, что это вы по доброте своей посылали его туда.

— А разве вы его не посылали? — спросила миссис Миллер.

— Нет, не посылал,— отвечал Олверти,— и до настоящей минуты даже ничего не знал об этом.

— Теперь я понимаю! — воскликнула миссис Миллер.— Честное слово, теперь я все понимаю! Недаром они так старательно запирались в последнее время. Голубчик Найтингейл, ради бога, бегите и немедленно отыщите этих людей... Достаньте их хоть из-под земли! Я сама пойду за ними...

— Не волнуйтесь, голубушка,— сказал Олверти,— сделайте мне одолжение, пошлите наверх слугу позвать сюда мистера Даулинга, если он здесь, а если его нет, так мистера Блайфила.

Миссис Миллер вышла, что-то бормоча себе под нос, и скоро вернулась с известием, что мистер Даулинг ушел, но что другой — как выразилась она о Блайфиле — сейчас придет.

Олверти проявил больше спокойствия, чем почтенная вдова, вся горевшая желанием выступить на защиту своего друга, однако и в нем зародились некоторые подозрения, очень похожие на то, что подумала миссис Миллер. Когда Блайфил вошел в комнату, Олверти, вопреки обыкновению, встретил его неприветливым взглядом и строго спросил: не известно ли ему чего о том, что мистер Даулинг виделся со свидетелями поединка между Джонсом и другим джентльменом?

Для человека, поставившего себе целью скрывать истину

и отстаивать ложь, нет ничего опаснее заданного врасплох вопроса. По этой причине почтенные господа, занимающиеся благородным делом спасения жизни ближних в Олд-Бейли, прилагают огромные старания угадать путем предварительной разведки все вопросы, какие могут быть предложены их клиентам в суде, чтобы снабдить последних подобающими готовыми ответами, которых не придумает вдруг и самое богатое воображение. Кроме того, внезапное и бурное движение крови, вызванное подобными неожиданностями, нередко заставляет обвиняемого настолько перемениться в лице, что он себя невольно выдает. Это случилось и теперь: Блайфил так оторопел при неожиданном вопросе Олверти, что мы не решаемся упрекнуть миссис Миллер за вырвавшееся у нее восклицание:

— Виновен, ей-богу, виновен!

Мистер Олверти сделал ей резкое замечание и обратился к Блайфилу, казалось готовому провалиться сквозь землю, со следующими словами:

— Отчего вы колеблетесь, сэр? Отчего не отвечаете на мой вопрос? Конечно, это вы поручили мистеру Даулингу подобное дело, ибо по собственному почину, полагаю, он за него не взялся бы, особенно не посоветовавшись со мной.

Тогда Блайфил отвечал:

— Да, я виноват перед вами, сэр, но могу ли я надеяться на то, что вы меня простите?

— Простить вас! — гневно сказал Олверти.

— Да, сэр,— отвечал Блайфил.— Я знал, что вы разгневаетесь; но я уверен, что мой дорогой дядя простит мне самую невинную человеческую слабость. Сострадание к тем, кто его не заслуживает, я согласен, преступно, но ведь и вы сами не вовсе чисты от этого преступления. Сознаюсь, я уже не раз был в нем виноват по отношению к человеку, о котором идет речь, и не буду отрицать, что действительно посылал мистера Даулинга не на праздные и бесплодные разведки, а затем, чтобы он отыскал свидетелей и постарался смягчить их показания. Вот вам вся правда, сэр; хотя я и намеревался скрыть это от вас, но отпираться не стану.

— Должен сознаться,— сказал Найтингейл,— по поведению мистера Даулинга и мне все это представилось в таком же свете.

— Ну что, сударыня? — сказал Олверти.— Полагаю, хоть раз в жизни вы признаете несправедливость ваших подозрений и не будете больше сердиться на моего племянника?

Миссис Миллер молчала: хотя она не могла так быстро примириться с Блайфилом, в котором видела виновника несчастий Джонса, но в настоящем случае он одурачил ее не меньше, чем

остальных,— дьявол хорошо услужил своему приятелю. И точно, я считаю широко распространенное мнение, будто дьявол часто покидает своих друзей в беде и предоставляет им самим выпутываться, великой клеветой на этого джентльмена. Может быть, он иногда и отступается от своих случайных знакомцев или людей, только наполовину ему преданных, но зато горой стоит за верных своих слуг и помогает им выбраться из самых отчаянных положений, пока не истечет срок их сделки.

Как подавление мятежа усиливает правительство или как выздоровление после некоторых болезней укрепляет здоровье, так и гнев, если он утих, часто дает новую силу любви. Это случилось и с мистером Олверти: когда Блайфил рассеял главное подозрение, то другие подозрения, возбужденные письмом Сквейра, исчезли сами собой и были забыты. Тваком, которым больше всего возмущен был Олверти, принял на себя все неодобрительные замечания, высказанные Сквейром относительно врагов Джонса.

Что же касается нашего героя, то неудовольствие на него мистера Олверти уменьшалось с каждой минутой. Он сказал Блайфилу, что не только прощает ему этот редкий поступок, продиктованный добрыми чувствами, но и сам с удовольствием последует его примеру. Затем, обратясь к миссис Миллер с улыбкой, достойной ангела, сказал:

— Как вы думаете, сударыня? Не взять ли нам карету и не съездить ли всем навестить нашего общего друга? Могу вас уверить, что мне не в первый раз приходится ехать с визитом в тюрьму.

Всякий читатель догадается, я думаю, каков был ответ достойной женщины; но надо иметь очень доброе сердце и хорошо знать, что такое дружба, чтобы почувствовать то, что почувствовала она в эту минуту. Напротив, немногие, надеюсь, способны представить, что́ происходило в душе Блайфила; но кто способен, тот согласится, что ему невозможно было возражать против этого посещения. Однако Фортуна или джентльмен, только что нами упомянутый, выручили своего приятеля и избавили его от крайне щекотливого положения: в ту самую минуту, когда посылали за каретой, пришел Партридж и, отозвав миссис Миллер в сторону, рассказал ей о только что сделанном ужасном открытии; услышав же, что мистер Олверти хочет ехать в тюрьму, просил ее как-нибудь его отговорить.

— Всю эту историю,— сказал он,— нужно во что бы то ни стало от него скрыть; если он сейчас поедет, он застанет у мистера Джонса его мать, которая прибыла как раз в ту минуту, когда я уходил, и оба они теперь горько сокрушаются о содеянном ими по неведению страшном преступлении.

Бедная миссис Миллер, совсем потерявшая голову при этом ужасном известии, была менее, чем когда-либо, способна что-нибудь придумать. Но так как женщины все же гораздо находчивее мужчин в таких случаях, то она придумала отговорку и, возвратясь к Олверти, сказала:

— Вы, конечно, будете удивлены, сэр, услышав, что я возражаю против вашего милого предложения, но я боюсь последствий, если мы поедем к мистеру Джонсу сейчас же. Надо полагать, сэр, что все эти бедствия, обрушившиеся на беднягу в последнее время, повергли его в крайнее уныние, и если мы теперь вдруг его обрадуем,— а ваше посещение, сэр, не может не вызвать в нем бурной радости,— то я боюсь, не будет ли это иметь для него роковых последствий, тем более что прибывший сейчас слуга его говорит, что мистеру Джонсу очень нехорошо.

— Здесь находится его слуга? — спросил Олверти.— Пожалуйста, позовите его. Я хочу задать ему несколько вопросов о его господине.

Сначала Партридж боялся показаться на глаза мистеру Олверти, но когда миссис Миллер, не раз слышавшая от него историю его жизни, пообещала его представить, он согласился.

Олверти узнал Партриджа с первого же взгляда, хотя много лет прошло со времени их последней встречи. Поэтому миссис Миллер могла бы обойтись без своей рекомендательной речи, в которой на слова не поскупилась: читатель уже, я думаю, заметил, что язык этой почтенной женщины всегда готов был к услугам для друзей.

— Так вы слуга мистера Джонса? — обратился Олверти к Партриджу.

— Не могу сказать, сэр,— отвечал Партридж,— чтобы я был настоящим его слугой, но, с позволения вашей милости, теперь я живу вместе с ним. Non sum qualis eram, как изволит знать ваша милость.

Мистер Олверти принялся подробно его расспрашивать о здоровье Джонса и о других вещах; и на все его вопросы Партридж отвечал, нисколько не считаясь с действительным положением дел, а только с тем, как он желал бы их видеть, ибо строгая приверженность истине не принадлежала к числу нравственных или религиозных заповедей этого честного малого.

Во время этого диалога мистер Найтингейл удалился, а вслед за ним и миссис Миллер покинула комнату, откуда Олверти выслал также Блайфила, полагая, что Партридж при беседе наедине будет откровеннее. Как только они остались одни, Олверти обратился к нему со словами, которые читатель найдет в следующей главе.

## ГЛАВА VI,

*в которой наша история продолжается дальше*

— Право, приятель,— сказал Олверти,— вы престранный человек. Мало вам того, что вы прежде пострадали за упорство во лжи, вы и теперь продолжаете лгать, выдавая себя везде за слугу своего собственного сына! Какая вам от этого польза? Что побуждает вас это делать?

— Я вижу, сэр,— отвечал Партридж, падая на колени,— что вы против меня предубеждены и решили не верить ни одному моему слову; так какое же значение будет иметь то, что я вам скажу? Но есть над нами некто, кто знает, что я не отец этого молодого человека.

— Как! Вы все еще отпираетесь от того, в чем были некогда уличены так явно, так неопровержимо? Разве теперешняя совместная ваша жизнь с этим человеком не подтверждает всего, что было установлено двадцать лет тому назад? Я думал, вы уехали из наших мест, думал даже, что вы давно умерли!.. Каким же образом узнали вы об этом молодом человеке? Как вы встретились с ним, если не поддерживали с ним отношений? Не отпирайтесь: смею вас уверить, сын ваш много выиграет в моем мнении, если в нем было столько почтительности, что долгие годы он тайно поддерживал своего отца.

— Если ваша милость будет иметь терпение выслушать меня,— сказал Партридж,— я расскажу вам все.

Получив приказание говорить, он продолжал:

— Навлекши на себя вашу немилость, сэр, я скоро попал в самое бедственное положение: моя маленькая школа закрылась, и священник, думая, вероятно, сделать вам приятное, отставил меня от должности причетника; осталась у меня только цирюльня, а этим в такой деревушке не проживешь. Когда же умерла жена моя, при жизни которой я получал пенсион в двенадцать фунтов в год неизвестно от кого,— полагаю, от вашей милости, потому что, насколько я знаю, никто другой таких вещей не делает,— когда умерла жена, я лишился и этого пособия; пришлось сделать два или три небольших долга, которые начали меня беспокоить, особенно один из них[1], выросший с пятнадцати

[1] Мне известен такой же случай в действительной жизни с одним бедным священником из Дорсетшира; не удовольствовавшись огромными издержками, которые бедняку пришлось понести в связи с процессом, мерзавец стряпчий обжаловал решение суда и возбудил другой процесс. Способ этот часто практикуется для притеснения бедняков и наполнения карманов стряпчих, к великому позору для нашего законодательства, народа нашего, христианской религии и даже природы человеческой.

шиллингов до тридцати фунтов благодаря судебным издержкам, искусно навороченным моим стряпчим; таким образом, все источники моего существования исчерпались, и я собрал свои пожитки и ушел.

Прежде всего я остановился в Солсбери, где поступил на службу к одному юристу, прекраснейшему человеку; он был добр не только ко мне, но, как мне известно, совершил тысячу благотворений во время моего пребывания у него; и я знаю, что он часто отказывался вести дела, если находил их грязными и разорительными.

— Можете не вдаваться в подробности,— прервал его Олверти,— я знаю этого юриста, он действительно человек достойный и делает честь своей профессии.

— Слушаю, сэр,— продолжал Партридж.— Оттуда я переселился в Лимингтон, где провел года три на службе у другого юриста, тоже очень хорошего человека, одного из первых весельчаков в Англии. Словом, сэр, через три года я завел маленькую школу и снова зажил бы хорошо, если бы не один пренеприятный случай. Держал я у себя поросенка, и однажды, на мое несчастье, поросенок этот забежал в соседский сад и нанес, как говорится, ущерб чужой собственности; сосед был человек спесивый, мстительный, он обратился к стряпчему — как бишь его?.. не припомню имени,— только он притянул меня в суд. Когда я явился туда — господи, чего только я не услышал от адвокатов! Один из них наговорил про меня судье кучу отвратительной лжи: сказал, будто я постоянно гоняю своих свиней в чужие сады, и много другого вздора, а заключил свою речь выражением надежды, что наконец я угодил со своими свиньями куда следует. Поверить ему, так выходило, что я первый свиноторговец в Англии, а у меня всего-то был один несчастный поросенок. Словом...

— Пожалуйста, не так подробно,— снова прервал его Олверти.— Вы еще ни слова не сказали о своем сыне.

— О, прошло много лет, прежде чем я увидел моего сына, как вы изволите его называть... После этого я переселился в Ирландию и завел школу в Корке (надо сказать, что эта тяжба снова разорила меня, и я семь лет просидел в тюрьме в Винчестере).

— Хорошо,— сказал Олверти,— пропустите все до вашего возвращения в Англию.

— Вернулся я только полгода назад и сначала пробыл некоторое время в Бристоле, но, не найдя там работы и услышав, что в одном местечке по дороге в Глостер умер цирюльник, отправился туда, а месяца через два встретился там с мистером Джонсом.

Потом он подробно рассказал Олверти об их встрече и обо всем, что случилось с тех пор, насколько мог припомнить, обильно уснащая рассказ свой панегириками Джонсу и не забывая отметить, с какой любовью и почтением молодой человек всегда отзывался об Олверти. Заключил он словами:

— Вот и все, сэр; я рассказал вам чистую правду.

После чего торжественно побожился, что он такой же отец Джонса, как римский папа, и призывал на свою голову все проклятия, если сказал неправду.

— Не знаю, что мне и думать! — произнес Олверти.— Зачем вы так упорно отрицаете факт, в котором, по-моему, вам выгоднее было бы сознаться?

— Хорошо, сэр,— отвечал Партридж (больше он не мог выдержать),— если вы мне не верите, то скоро получите другие доказательства. Дай бог, чтобы вы ошиблись в матери этого молодого человека, как ошибаетесь в его отце.

И на вопрос Олверти, что он хочет этим сказать, Партридж с выражением ужаса на лице и в голосе рассказал ему всю историю, которую только что перед этим так усердно просил миссис Миллер никому не передавать. Олверти был потрясен этим открытием не меньше самого Партриджа.

— Праведный боже! — воскликнул сквайр.— В какие ужасные бедствия вовлекают людей пороки и невоздержание! Как сильно подчас расходятся с нашими намерениями последствия дурных поступков!

Только что произнес он эти слова, как в комнату поспешно и без доклада вошла миссис Вотерс. При виде ее Партридж воскликнул:

— Вот она сама, сэр! Вот несчастная мать Джонса! Я уверен, она оправдает меня перед вашей милостью. Пожалуйста, сударыня...

Миссис Вотерс, не обращая никакого внимания на слова Партриджа и почти не замечая его самого, подошла прямо к мистеру Олверти.

— Я так давно не имела чести видеть вас, сэр, что вы, вероятно, меня не узнаете.

— Действительно,— отвечал Олверти,— вы так сильно изменились во многих отношениях, что, если бы вот этот человек не сказал мне, кто вы, я бы не сразу вас узнал. У вас есть, сударыня, какое-нибудь личное дело ко мне?

Олверти сказал это очень сдержанно: как легко поймет читатель, он был не слишком доволен поведением этой дамы,— ни то, что он слышал о ней прежде, ни теперешнее сообщение Партриджа не могли расположить его к ней.

— Да, сэр,— ответила миссис Вотерс,— у меня к вам сугубо личное дело, и притом такое, о котором я могу сказать вам только с глазу на глаз. Поэтому попрошу вас выслушать меня наедине; смею уверить, я должна сообщить вам вещи чрезвычайно важные.

Партриджу приказано было выйти вон, но, прежде чем их покинуть, он попросил миссис Вотерс засвидетельствовать перед мистером Олверти его полную невиновность.

— Не беспокойтесь, сэр,— отвечала она,— я представлю на этот счет мистеру Олверти подробные объяснения.

Партридж удалился, и между мистером Олверти и миссис Вотерс произошел разговор, который мы сообщим в следующей главе.

## ГЛАВА VII

*Продолжение нашей истории*

Миссис Вотерс несколько минут хранила молчание, так что мистер Олверти не мог удержаться и сказал:

— С сожалением убеждаюсь, сударыня, на основании всего, что я слышал, что вы так дурно употребили...

— Мистер Олверти,— прервала его она,—я знаю, что у меня есть недостатки, но неблагодарность к вам не принадлежит к их числу. Я никогда не забывала и не забуду вашей доброты, мной, признаюсь, так мало заслуженной; но сделайте одолжение, отложите ваши упреки: я пришла сообщить вам очень важные вещи касательно молодого человека, которого вы назвали Джонс — моей девичьей фамилией.

— Неужели я по неведению наказал невинного в лице человека, только что нас покинувшего? Неужели не он — отец ребенка?

— Нет, не он,— отвечала миссис Вотерс.— Благоволите припомнить, сэр, я сказала вам когда-то, что со временем вы все узнаете; теперь я сознаюсь в непростительной небрежности: я должна была открыть вам это раньше. Я не знала, насколько это было необходимо.

— Продолжайте, продолжайте, сударыня,— сказал Олверти.

— Вы, наверно, помните, сэр, молодого человека по имени Самер?

— Прекрасно помню,— отвечал Олверти,— сын священника, очень образованного и достойного, к которому я питал самые дружеские чувства.

— Надо думать, сэр. Ведь вы, кажется, дали воспитание его сыну и содержали его в университете, откуда по окончании

курса он и приехал к вам. Прекраснее этого человека, должно быть, никогда на свете не было — и любезный, и остроумный, и воспитанный, а о том, что красавец, и говорить нечего.

— Да, вы правы,— сказал Олверти,— жаль только, смерть унесла его так рано, бедняжку! Но я никогда не думал, что за ним водились такие грехи: вы, верно, хотите сказать, что он отец вашего ребенка?

— Нет, сэр, вы ошибаетесь,— отвечала миссис Вотерс.

— К чему же ведет все это предисловие?

— К делу, которое вам сообщить, к сожалению, выпало на мою долю. Приготовьтесь же, сэр, услышать вещь, которая вас поразит и опечалит.

— Говорите: на моей совести нет преступлений, и мне нечего бояться.

— Сэр, этот мистер Самер, сын вашего друга, воспитанный на ваши деньги, который, прожив у вас год на положении родного сына, умер от оспы и был вами оплакан и похоронен, как родное дитя,— этот Самер, сэр, отец вашего воспитанника.

— Но вы ведь противоречите себе!

— Нет, нисколько: он его отец, но я не мать его.

— Смотрите, сударыня, не берите на душу лжи, пытаясь выгородить себя от обвинения в другом преступлении. Вспомните, что есть бог, от которого ничто не укроется и перед судом которого ложь только отягчит вашу вину.

— Право, сэр, я не мать его и ни за что на свете не хотела бы быть теперь его матерью.

— Я знаю, почему, и буду не меньше вашего радоваться, если ваши слова окажутся правдой; но вспомните, что вы мне сами в этом признались.

— Признание мое было справедливо только в том, что я собственными руками положила ребенка к вам на постель, положила по приказанию его матери, по ее же приказанию я признала себя матерью ребенка, считая, что буду щедро вознаграждена за сохранение тайны и за свой позор.

— Кто же могла быть эта женщина? — спросил Олверти.

— Мне страшно назвать ее,— отвечала миссис Вотерс.

— По всем этим недомолвкам я заключаю, что она моя родственница...

— И даже очень близкая.— При этих словах Олверти сделал движение, а она продолжала: — У вас была сестра, сэр!

— Сестра! — повторил он, оторопев.

— Клянусь вам небом,— продолжала миссис Вотерс,— ваша сестра — мать ребенка, которого вы нашли у себя на постели.

— Возможно ли? Боже праведный!

— Имейте терпение, сэр,— отвечала миссис Вотерс,— и я расскажу вам все по порядку. Вскоре после вашего отъезда в Лондон мисс Бриджет пришла однажды к моей матери. Она изволила сказать, что наслышалась много удивительного о моей учености и выдающемся для простой девушки уме — так ей было угодно сказать. Она велела мне прийти к ней в комнаты и, когда я явилась, поручила мне читать вслух. Чтение мое ей понравилось, она меня обласкала и сделала мне много подарков. По прошествии некоторого времени она начала меня спрашивать, умею ли я хранить тайну, и ответы мои показались ей настолько удовлетворительны, что она заперла на замок дверь, привела меня к себе в спальню, заперла и спальню и сказала, что желает доказать мне свое полное доверие, сообщив мне тайну, от которой зависит ее честь и, следовательно, самая жизнь. Тут она помолчала несколько минут, часто отирая глаза платком, и спросила, как, по-моему, можно ли безопасно довериться моей матери. Я отвечала, что готова поручиться жизнью за ее преданность. Тогда она поведала мне великую тайну, схороненную в ее сердце, которую открыть, думаю, стоило ей бóльших мук, чем впоследствии родить ребенка. Мы порешили, что при родах будем только я с матерью и что миссис Вилкинс будет куда-нибудь удалена, что и было сделано: мисс Бриджет отправила ее в самую отдаленную часть Дорсетшира — разузнать о нравственности одной служанки. Надо сказать, что месяца за три перед тем мисс Бриджет отказала своей горничной, и все это время я была, по ее словам, на испытании, но оказалась, как она потом объявила, непригодной для этой должности. Это и многое другое говорила она только затем, чтобы устранить всякие подозрения миссис Вилкинс впоследствии, когда я признаю ребенка своим, ибо она считала, что никто не поверит, чтобы она решилась отозваться дурно о женщине, которой доверила такую тайну. Понятное дело, сэр, за все это бесчестье я была щедро вознаграждена и, зная подкладку дела, осталась вполне довольна. Больше всех других мисс Бриджет опасалась миссис Вилкинс: не то чтобы она питала к ключнице неприязнь, но считала ее неспособной хранить тайну, особенно от вас, сэр. Помню, мисс Бриджет не раз говорила, что, если бы миссис Вилкинс совершила убийство, она бы и в этом вам призналась. Наконец ожидаемый день настал, и миссис Вилкинс, уже неделю как приготовившаяся к отъезду, но беспрестанно задерживаемая под тем или иным предлогом, чтобы не возвратилась слишком рано, была отправлена в путь. Произошли роды, при которых присутствовали только я и моя мать, причем младенец был тотчас взят матерью к нам в дом, где мать моя и продержала его тайно до вашего приезда. В этот день вечером я снесла его, по приказанию

мисс Бриджет, к вам на постель, где вы его и нашли. Впоследствии сестра ваша искусно отвела от себя все подозрения: помните, как она притворялась, будто не любит мальчика и заботится о нем исключительно в угоду вам.

Закончила миссис Вотерс торжественной клятвой, что все сказанное ею правда, и прибавила:

— Итак, сэр, вы нашли племянника, ибо я не сомневаюсь, что с этой минуты вы будете считать его племянником, а он, в свою очередь, сделает честь своему дяде и будет ему утешением.

— Нечего и говорить о том, сударыня,— сказал Олверти,— как я поражен вашим рассказом, а между тем вы бы не стали, да да и не могли сочинить все эти подробности в подтверждение неправды! Признаться, я и сам вспоминаю кое-какие мелочи относительно этого Самера, давшие мне в свое время повод думать, что сестра неравнодушна к нему. Я сказал ей об этом, потому что очень любил молодого человека за его высокие душевные качества и в память об его отце охотно согласился бы на брак сестры с ним; однако сестра чрезвычайно обиделась моим неприличным, как она сказала, подозрением, так что я никогда больше не говорил на эту тему. Боже, ты все устраиваешь к лучшему!.. А все-таки сестра поступила непростительно, унеся с собой в могилу эту тайну.

— Смею вас уверить, сэр,— сказала миссис Вотерс,— что она никогда не имела такого намерения и, напротив, часто говорила мне о своем решении когда-нибудь во всем вам признаться. Она, правда, была очень рада, что ее затея так хорошо удалась и что ребенок так вам понравился, что покамест незачем открывать тайну,— но, доживи она до того дня, когда этот несчастный молодой человек был выгнан, как бродяга, из вашего дома, больше того — услышь она, что вы сами поручили адвокату обвинить его перед судом в убийстве, в котором он не виноват... Простите меня, мистер Олверти, я должна вам сказать,— это нехорошо... Вам наклеветали на него, он этого не заслужил.

— Это вам, сударыня, наклеветал на меня тот, от кого вы все это услышали.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы поняли меня превратно: я вовсе не желаю обвинять вас в несправедливости, сэр. Приходивший ко мне джентльмен не предлагал мне ничего дурного: он сказал мне только, приняв меня за жену мистера Фитцпатрика, что если мистер Джонс убил моего мужа, то один почтенный джентльмен, хорошо знающий, что это за мерзавец, готов дать мне сколько угодно денег на преследование его судебным порядком. От этого человека я и узнала, кто такой мистер Джонс. Человека этого зовут Даулинг, и мистер Джонс сказал мне,

что это ваш управляющий. Я узнала его имя случайно; сам он отказался назвать себя, но Партридж, встретивший его у меня во время его второго посещения, оказывается, знал его когда-то в Солсбери.

— И этот мистер Даулинг,— спросил Олверти с выражением крайнего изумления,— сказал, что я готов помочь вам вести процесс?

— Нет, сэр, я не хочу несправедливо обвинять его. Он сказал только, что мне будет оказана помощь, но кем именно, не сказал. Извините, сэр, что, сопоставив все обстоятельства, я подумала, что это не кто другой, как вы.

— А я,— отвечал Олверти,— сопоставив обстоятельства, прихожу к твердому убеждению, что его послал к вам кто-то другой. Праведный боже, каким чудесным путем разоблачается иногда самое черное и коварное злодейство! Позвольте попросить вас, сударыня, остаться здесь до прихода человека, которого вы назвали: я жду его каждую минуту. Может быть, он даже уже здесь.

И Олверти пошел к двери позвать слугу, но в это время в двери вошел не мистер Даулинг, а другой джентльмен, о котором мы скажем в следующей главе.

## ГЛАВА VIII

*Снова продолжение*

Вошедший джентльмен был не кто иной, как мистер Вестерн. Едва он увидел Олверти, как, не обращая ни малейшего внимания на присутствие миссис Вотерс, завопил благим матом:

— Славные дела творятся в моем доме! Вот уж неразбериха, не приведи господи! Наказание мне с дочерью!

— В чем дело, сосед? — спросил Олверти.

— А в том, что когда я думал, что она уже стала шелковая, когда она обещала мне исполнить все мои желания и я уже надеялся, что остается только послать за нотариусом и покончить дело,— можете себе представить, что́ я обнаружил? Эта сучка все время водила меня за нос и переписывалась с вашим пащенком. Сестра, с которой я из-за нее побранился, черкнула мне об этом, и я велел обыскать ее карманы, когда она спала; и точно, нашлось письмо за собственноручной подписью прохвоста. У меня не хватило терпения дочитать и до половины, так как оно длиннее проповеди священника Сапла, но я вижу ясно, что все оно о любви; да и о чем же больше им переписываться? Я опять посадил ее под замок и завтра утром отправлю в деревню, если она не согласится

сейчас же пойти под венец. До конца дней своих она будет жить на чердаке и питаться хлебом и водой; и чем скорей окочурится, тем лучше. Да только она живуча, подлая, много еще хлопот мне доставит.

— Вы знаете, мистер Вестерн,—отвечал Олверти,— я всегда возражал против насилия, и вы мне обещали к нему не прибегать.

— Ну да, но только при условии, что она и без того даст свое согласие. Тысяча чертей! Разве я не вправе делать с родной дочерью, что хочу, особенно для ее же добра?

— Вот что, сосед,— отвечал Олверти,— если вы позволите, я попробую поговорить с вашей дочерью.

— В самом деле? — воскликнул Вестерн.— Вот это по-дружески и по-соседски! Авось вы с ней успеете больше моего: она о вас очень высокого мнения.

— Если так, то поезжайте домой и освободите мисс Софью, а я буду у нее через полчаса.

— А что, если она тем временем сбежит с ним? — сказал Вестерн.— Стряпчий Даулинг говорит, что нет никакой надежды на то, чтобы молодчика повесили: раненый жив и, вероятно, поправится, а Джонса скоро выпустят на свободу.

— Так, значит, это вы поручили расследовать это дело и предпринять разные шаги?

— Нет, я ему ничего не поручал: он сам сказал мне это сейчас.

— Сейчас? Где же вы его видели? Мне самому необходимо видеть мистера Даулинга.

— Вы его увидите, когда приедете ко мне: у меня на квартире сейчас происходит совещание адвокатов по поводу одной закладной. По милости этого честного джентльмена, мистера Найтингейла, я, того и гляди, потеряю две или три тысячи фунтов.

— Хорошо, сэр,— сказал Олверти,— я буду у вас через полчаса.

— И послушайтесь хоть раз моего глупого совета,— продолжал Вестерн,— мягкие меры вы с ней оставьте: помяните мое слово — они ни к чему не приведут. Я уж их пробовал. Ее надо застращать, другого способа нет. Скажите ей, что я ее отец, что непослушание отцу большой грех и что на том свете ее ждет за это страшное наказание, а потом пригрозите, что здесь она будет посажена на всю жизнь под замок — на хлеб и на воду.

— Сделаю все, что могу,— отвечал Олверти,— потому что, повторяю, я был бы чрезвычайно рад породниться с этим милым созданием.

— Да, на этот предмет девка что надо! — воскликнул сквайр.— Такой лакомый кусочек не скоро сыщешь; говорю это,

хоть она моя родная дочь. И если только она будет меня слушаться, так за сто миль не найдется такого отца, который бы любил свою дочь больше моего. Но вы, я вижу, заняты с дамой, так что я ухожу и жду вас. Ваш покорный слуга.

Когда мистер Вестерн ушел, миссис Вотерс сказала:

— Я вижу, сэр, сквайр совсем забыл меня. Думаю, что и вы, мистер Олверти, меня бы не узнали. Я сильно изменилась с того дня, как вы изволили дать мне совет, последовав которому, я была бы счастлива.

— Поверьте, сударыня, я был очень огорчен, узнав, что вы пошли по другому пути.

— Поверьте, сэр, я попалась в предательски расставленную мне ловушку; и если бы вы знали все подробности, то это хотя и не могло бы оправдать меня в ваших глазах, но послужило бы для меня смягчающим обстоятельством и тронуло бы ваше сердце. Теперь вам некогда меня слушать, но уверяю вас, что я была обманута торжественнейшими обещаниями жениться; перед небом я была с ним обвенчана. Я много читала по этому предмету и пришла к убеждению, что обряд нужен только для узаконения брака и имеет чисто мирское значение, давая женщине привилегии жены; но та, которая остается верной одному мужчине, торжественно дав ему слово, мало в чем может упрекнуть себя перед своей совестью, что бы о ней ни говорили люди.

— Очень жаль, сударыня, что вы извлекли такой плохой урок из ваших чтений. Вам надо было получить или гораздо больше знаний, или остаться совсем невежественной. И кроме того, сударыня, боюсь, что у вас на душе не один этот грех.

— Клянусь вам всем святым, что при его жизни, в течение двенадцати лет, я не знала других грехов. Но поставьте себя, сэр, на мое место: что может сделать женщина, лишившаяся доброго имени и оставленная без поддержки? Разве добрые люди потерпят возвращение заблудшей овцы на путь добродетели, как бы она этого ни желала? И, конечно, я бы избрала этот путь, если бы это было в моей власти; но нужда толкнула меня в объятия капитана Вотерса, с которым, правда, еще не обвенчавшись, я живу несколько лет как жена и ношу его имя. Я рассталась с ним в Ворчестере, когда он отправился в поход против мятежников, и после этого случайно встретилась с мистером Джонсом, освободившим меня из рук одного мерзавца. Это человек, достойный во всех отношениях. Я думаю, нет юноши в его возрасте более чуждого порока, и очень немногие обладают десятой долей его добродетелей; к тому же, сколько бы он ни нагрешил, я твердо убеждена, что он принял сейчас непоколебимое решение исправиться.

— Надеюсь, что это так и что он не отступится от своего решения. Добавлю, что я питаю те же надежды и по отношению к вам. Я с вами согласен: люди в таких случаях действительно беспощадны; все-таки время и настойчивость в конце концов одержат верх над их, если можно так сказать, нерасположением к состраданию, ибо хотя они не обладают готовностью, как отец наш небесный, принимать кающегося грешника, однако чистосердечное раскаяние смягчает в конце концов самые черствые сердца. Во всяком случае, можете быть уверены, миссис Вотерс, что если я увижу искренность ваших добрых намерений, то всеми силами помогу вам в них укрепиться.

Миссис Вотерс упала на колени и со слезами на глазах, в самых прочувствованных выражениях поблагодарила мистера Олверти за его доброту, которая, как она правильно заметила, походила больше на ангельскую, чем на человеческую.

Олверти поднял ее и очень ласково, подбирая самые нежные слова, принялся утешать, когда в комнату вошел мистер Даулинг. Увидев миссис Вотерс, он остановился, немного опешив, но скоро овладел собой и сказал, что страшно спешит на совещание к мистеру Вестерну, однако счел долгом зайти сообщить Олверти мнение юристов о рассказанном ему случае. Они полагают, что дело с банковыми билетами не является преступлением, но что можно вчинить иск против утаенной находки, и если присяжные признают найденные деньги собственностью истца, то суд постановит вернуть их ему.

Не отвечая ни слова, Олверти запер дверь, подошел к Даулингу и, строго посмотрев на него, сказал:

— Как бы вы ни спешили, сэр, прежде я должен получить от вас ответ на некоторые вопросы. Знаете вы эту даму?

— Эту даму, сэр? — отвечал Даулинг в большой нерешительности.

Тогда Олверти торжественно сказал:

— Слушайте, мистер Даулинг, если вы дорожите моим расположением, если не хотите, чтобы я сию же минуту уволил вас со службы, не виляйте и не лукавьте, а отвечайте прямо и правдиво на все мои вопросы. Знаете вы эту даму?

— Да, сэр,— отвечал Даулинг,— я ее видел.

— Где, сэр?

— У нее на квартире.

— По какому же делу вы к ней ходили, сэр, и кто вас посылал.

— Я ходил, сэр, разузнать, сэр, насчет мистера Джонса.

— Кто вас посылал?

— Кто, сэр? Меня посылал мистер Блайфил, сэр.

— Что же вы говорили этой даме по его поручению?

— Извините, сэр, я не могу припомнить все от слова до слова.

— Не угодно ли вам, сударыня, помочь памяти этого джентльмена?

— Он говорил мне, сэр,— сказала миссис Вотерс,— что если мистер Джонс убил моего мужа, то один почтенный джентльмен, хорошо знающий, что это за мерзавец, готов дать мне сколько угодно денег на преследование его судебным порядком. Могу присягнуть, что это его подлинные слова.

— Вы это говорили, сэр? — спросил Олверти.

— Не могу припомнить в точности, но что-то в этом роде.

— И это велел вам сказать мистер Блайфил?

— Разумеется, сэр, я не пошел бы по собственному почину и в делах такого рода не превысил бы по своей воле данных мне полномочий. Если я это сказал, значит, именно так понял предписания мистера Блайфила.

— Послушайте, мистер Даулинг,— сказал Олверти,— обещаю вам перед этой дамой, что я готов простить вам все, предпринятое вами в этом деле по приказанию мистера Блайфила, но при условии, если вы мне скажете всю правду, ибо я верю, что вы не стали бы действовать по собственному почину, не имея надлежащих полномочий. Мистер Блайфил поручал вам также расспросить двух молодцов с Олдерсгейта?

— Поручал, сэр.

— Какие же предписания дал он вам? Припомните хорошенько и передайте как можно точнее его слова.

— Извольте, сэр. Мистер Блайфил поручил мне отыскать свидетелей поединка. Он сказал, что опасается, как бы мистер Джонс или его друзья не подкупили их. Кровь, сказал он, требует крови, и не только укрыватели убийцы, но и те, кто недостаточно помогает предать его в руки правосудия, являются его сообщниками. Он сказал также, что вы очень желаете привлечения этого негодяя к суду, хотя вам и неудобно действовать самому.

— Он это сказал? — спросил Олверти.

— Да, сэр,— отвечал Даулинг.— Я, конечно, ни для кого на свете, кроме вашей милости, не пошел бы так далеко.

— А как далеко, сэр? — спросил Олверти.

— Не подумайте, пожалуйста, сэр, чтобы я согласился наущать к лжесвидетельству; но есть два способа давать показания. Я им предложил поэтому отказаться от награды, если она была им обещана противной стороной, и дал понять, что они не останутся в убытке, честно показывая правду. Я сказал, что мистер Джонс, как нам передавали, начал первый и что если это правда,

то чтобы они так и показали; и я намекнул им, что от этого они ничего не потеряют.

— Да, вы действительно зашли далеко,— сказал Олверти.

— Поверьте, сэр, я не побуждал их говорить неправду, да не решился бы и на то, что я сделал, если бы не думал, что доставлю вам удовольствие.

— Вероятно, вы бы этого не думали, если бы знали, что этот мистер Джонс мой родной племянник.

— Я полагал, сэр, что мне не подобает считаться с тем, что вы, по-видимому, желаете держать втайне.

— Как! — воскликнул Олверти.— Неужели вам это было известно?

— Если ваша милость приказывает мне говорить, я скажу всю правду. Да, сэр, я это знал; ведь это были едва ли не последние слова миссис Блайфил, которые она произнесла на ложе смерти, вручая мне письмо, доставленное вашей милости.

— Какое письмо? — удивился Олверти.

— То письмо, сэр, которое я привез из Солсбери и передал в руки мистера Блайфила.

— Боже! Что же сказала вам сестра? Повторите мне ее слова.

— Она взяла меня за руку и сказала, вручая мне письмо: «Я едва соображаю, что я написала. Скажите брату, что мистер Джонс — его племянник... Что он мой сын... Дай бог ему счастья»,— и с этими словами упала на изголовье в предсмертной агонии. Я тотчас кликнул людей, но она уже ничего не могла сказать и через несколько минут скончалась.

Олверти некоторое время хранил молчание, возведя глаза к небу, потом обратился к Даулингу с вопросом:

— Как же вы не отдали мне этого письма?

— Благоволите вспомнить, сэр, что вы в то время были больны и лежали в постели; я же, как всегда, страшно торопился и передал письмо и поручение мистеру Блайфилу, пообещавшему доставить их вам. После он говорил мне, что все это исполнил, но что ваша милость отчасти из любви к мистеру Джонсу, отчасти из уважения к вашей почтенной сестре не желает предавать дела гласности; поэтому, сэр, если бы вы не заговорили о нем первый, я, разумеется, не счел бы себя вправе коснуться этого предмета как в разговоре с вашей милостью, так и с кем-либо другим.

Нам уже случилось где-то заметить, что человек способен облекать ложь в слова правды; так было и в настоящем случае. Блайфил действительно сказал Даулингу то, о чем тот доложил Олверти, но не вводил его в заблуждение и даже не считал себя на это способным. На самом деле единственным побуждением, застав-

лявшим Даулинга хранить тайну, были обещания Блайфила; теперь же, ясно увидев, что Блайфил не может их сдержать, он счел уместным сделать свое признание, чему немало содействовали обещание простить его, грозные взгляды и властный тон Олверти, а также открытия, сделанные им ранее, и то обстоятельство, что он был захвачен врасплох и не имел времени придумать увертку.

Олверти, по-видимому, остался очень доволен рассказом Даулинга и, строго приказав ему никому не говорить о том, что между ними произошло, проводил его до самых дверей, чтобы он не мог повидаться с Блайфилом. А Блайфил между тем ликовал в своей комнате, что так ловко обманул дядю, совсем не подозревая, что происходит внизу.

Возвращаясь к себе, Олверти встретил на пороге миссис Миллер; бледная и с перекошенным от ужаса лицом, она сказала ему:

— Боже мой, сэр, эта безнравственная женщина была у вас, и вы знаете все! Но, ради бога, не отворачивайтесь по этому случаю от несчастного юноши. Поймите, сэр, что он не знал, что это его мать; это открытие само по себе, наверно, повергло его в глубочайшее отчаяние; пощадите его!

— Сударыня,— отвечал Олверти,—я так поражен тем, что сейчас услышал, что не в состоянии что-нибудь сказать вам. Пожалуйте ко мне в комнату. Да, миссис Миллер, я открыл удивительные вещи, и вы скоро все узнаете.

Бедная женщина последовала за ним, дрожа всем телом, а Олверти подошел к миссис Вотерс, взял ее за руку и, обратясь к миссис Миллер, сказал:

— Чем наградить мне эту благородную женщину за оказанную мне услугу? Вы тысячу раз слышали, миссис Миллер, как я называл молодого человека, которому вы так преданы, своим сыном. Но у меня и в мыслях не было, что он мне сродни... Ваш друг, сударыня,— мой племянник; он брат этой гадины, которую я так долго пригревал на своей груди... Миссис Вотерс сама вам расскажет все подробности и как случилось, что мальчик прослыл ее сыном. Да, миссис Миллер, теперь я вижу, что его оклеветали; оклеветал человек, в котором вы совершенно справедливо подозревали мерзавца. Да, он действительно мерзавец и подлец.

Радость, охватившая миссис Миллер, отняла у нее способность речи, и вдова лишилась бы даже чувств, если бы на помощь ей своевременно не подоспел благодетельный поток слез. Наконец, немного придя в себя и вновь обретя дар слова, она сказала:

— Так, значит, любезнейший мистер Джонс — ваш племянник, сэр, а не сын этой дамы? И я увижу его наконец счастливым, как он того заслуживает?

— Он точно мой племянник,— отвечал Олверти,— и я надеюсь, что ваше желание сбудется.

— И вы обязаны таким важным открытием этой достопочтенной даме? — продолжала миссис Миллер.

— Да, ей.

— Так да благословит же господь и да пошлет он ей всякого счастья! — воскликнула миссис Миллер, упав на колени.— И да простит ей за одно это доброе дело все грехи ее, как бы много их ни было!

Тогда миссис Вотерс сообщила, что Джонс, вероятно, скоро будет выпущен на волю, потому что хирург пошел с одним дворянином к судье, посадившему его в тюрьму, засвидетельствовать, что мистер Фитцпатрик вне всякой опасности, и добиться освобождения заключенного.

Олверти сказал, что рад будет, возвратясь домой, застать у себя племянника, но что сейчас ему нужно уйти по одному важному делу. Он велел слуге кликнуть портшез и простился с дамами.

Мистер Блайфил, услышав, что заказан портшез, спустился проводить дядю: он никогда не забывал исполнить этот долг вежливости. Он спросил дядю, не уезжает ли он,— что было вежливой формой вопроса, куда он едет. Но так как дядя не отвечал ни слова, то Блайфил пожелал узнать, когда ему угодно будет возвратиться. Олверти не дал ответа и на этот вопрос, и только уже садясь в портшез, обернулся и проговорил:

— Послушайте, сэр, позаботьтесь отыскать к моему возвращению письмо ко мне вашей матери, написанное ею на смертном ложе.

С этими словами Олверти уехал, оставив Блайфила в положении, которому мог бы позавидовать лишь человек, поднимающийся на виселицу.

## ГЛАВА IX

*Снова продолжение*

Сидя в портшезе, Олверти прочел письмо Джонса к Софье, оставленное ему Вестерном; некоторые выражения в этом письме, относившиеся к нему лично, тронули его до слез. Наконец он прибыл в дом мистера Вестерна и велел провести себя прямо к Софье.

Обменявшись приветствиями, они сели и несколько минут молчали. Софья, предупрежденная отцом о посещении Олверти, перебирала веер, выдавая каждой черточкой своего лица и всеми своими манерами крайнее смущение. Наконец Олверти, который и сам чувствовал некоторое замешательство, проговорил:

— Боюсь, мисс Вестерн, что семья моя причинила вам неприятности, чему и сам я невольно содействовал в большей степени, чем предполагал. Поверьте, сударыня, если бы я знал с самого начала, как неприятно вам предложение моего племянника, я бы не допустил, чтобы вас так долго преследовали. Поэтому, надеюсь, вы поймете, что я пришел не с тем, чтобы докучать вам новыми домогательствами в подобном роде, а чтобы совершенно избавить вас от них.

— Сэр,— отвечала Софья скромно и нерешительно,— поступок ваш исполнен благородства, какого можно было ожидать только от мистера Олверти; но поскольку вы были так добры коснуться этого сватовства, то простите, если я скажу, что оно действительно доставило мне много неприятностей и было причиной жестокого обращения со мной отца, который до тех пор обходился со мной как нельзя более нежно и ласково. Я убеждена, сэр, что вы слишком добры и благородны и не будете на меня в обиде за отказ вашему племяннику. Наши чувства не в нашей власти, и, несмотря на все достоинства мистера Блайфила, я не могу заставить себя полюбить его.

— Уверяю вас, любезнейшая мисс Вестерн,— сказал Олверти,— я не обиделся бы на вас, если бы даже он был моим сыном и я питал к нему величайшее уважение. Вы справедливо заметили, что мы не властны над нашими чувствами; тем менее могут управлять ими за нас другие.

— О сэр, каждое ваше слово доказывает, сколь вы заслуживаете всеми признанной за вами репутации человека доброго, великодушного и отзывчивого! Поверьте, что только страх перед будущим несчастьем мог заставить меня ослушаться приказаний отца.

— Искренне верю вам, сударыня,— отвечал Олверти,— и сердечно поздравляю с такой прозорливостью: ваше ослушание действительно спасло вас от большого несчастья!

— Благодарю вас, мистер Олверти: мало кто способен на такую деликатность! Но, право же, жить с человеком, к которому совершенно равнодушна,— жалкая участь... И, пожалуй, еще хуже, когда сознаешь достоинства этого человека, но не можешь отдать ему своего сердца. Если бы я вышла замуж за мистера Блайфила...

— Простите, что я вас прерву, сударыня, но ваше предположение для меня невыносимо. Поверьте, мисс Вестерн, я радуюсь, от всего сердца радуюсь, что вы избежали этой участи... Я обнаружил, что человек, из-за которого вы натерпелись столько неприятностей от вашего отца,— негодяй.

— Вот как! — воскликнула Софья.— Вы меня поражаете.

— Я сам был поражен этим открытием, сударыня, и все будут поражены. Но я вам сказал истинную правду.

— О, я убеждена, что из уст мистера Олверти исходит только правда... И все-таки, сэр, такая неожиданная новость... Вы обнаружили, говорите вы... О, если бы каждое злодейство выходило наружу!..

— Вы скоро узнаете все подробности,— сказал Олверти,— а теперь не будем больше упоминать это ненавистное имя. У меня к вам другое, очень важное дело... Ах, мисс Вестерн, я знаю все ваши достоинства и не могу легко расстаться с честолюбивой мыслью породниться с вами... У меня есть близкий родственник, сударыня, молодой человек, характер которого, я убежден, является полной противоположностью характеру этого негодяя и которому я отдам состояние, назначенное прежде для первого. Могу ли я надеяться, сударыня, что вы разрешите ему посетить вас?

Помолчав немного, Софья отвечала:

— Я хочу быть совершенно откровенной с мистером Олверти. Этого требуют характер его и оказанная мне им услуга. Я решила не принимать сейчас таких предложений ни от кого на свете. Единственное мое желание — вернуть любовь отца и снова сделаться хозяйкой в его доме. Надеюсь, сэр, что это желание вы мне поможете осуществить. Позвольте же просить вас, заклинаю вас всей вашей добротой, которую испытали на себе и я и всякий, кто вас знает, не подвергайте меня в ту самую минуту, когда вы избавили меня от одного преследования, не подвергайте меня новому преследованию, которое будет мне так же тягостно и окажется таким же бесплодным.

— Поверьте, мисс Вестерн,— отвечал Олверти,— я не способен на подобные вещи, и если таково ваше решение, мой родственник должен с ним примириться, как ни мучительно ему отказываться от своих надежд.

— Не могу не улыбнуться, мистер Олверти, слыша, как вы говорите о мучениях человека, которого я не знаю и который поэтому может знать меня лишь очень мало.

— Извините, дорогая мисс Вестерн, боюсь, он знает вас слишком хорошо, чтобы навсегда утратить покой: ибо если есть на земле человек, способный к искренней, пылкой и благородной страсти, то это, я убежден, мой племянник с его страстью к мисс Вестерн.

— Ваш племянник, мистер Олверти! — воскликнула Софья.— Как это странно. Я никогда до сих пор о нем не слышала.

— Вам неизвестно, сударыня, только то, что он мой племянник,— обстоятельство, которого и сам я не знал до сего дня.

Мистер Джонс, который любит вас так давнс, мистер Джонс — мой племянник.

— Мистер Джонс — ваш племянник, сэр! — воскликнула Софья.— Возможно ли?

— Да, сударыня,— отвечал Олверти,— он сын моей родной сестры, я всегда буду признавать его своим племянником и не стыжусь этого. Гораздо больше стыжусь я своего прежнего обращения с ним, но я так же не знал его достоинств, как и его происхождения. Да, мисс Вестерн, я поступил с ним жестоко... слишком жестоко.

Тут почтенный сквайр отер слезы и после короткого молчания продолжал:

— Без вашей помощи я не в силах вознаградить его за все, что он перенес. Поверьте, любезнейшая мисс Вестерн, я его глубоко уважаю, если решаюсь сделать это предложение такой достойной девушке. Он, я знаю, не без недостатков, но сердце у него очень доброе. Поверьте мне, сударыня.

И он замолчал, как бы в ожидании ответа, который и получил после того, как Софья немного оправилась от волнения, вызванного этим странным и непредвиденным известием.

— От души поздравляю вас, сэр, с открытием, доставившим вам столько удовольствия,— сказала она.— Я не сомневаюсь, что он не обманет ваших надежд и будет вам отрадой. У этого молодого джентльмена тысячи хороших качеств, не позволяющих сомневаться в его благородном отношении к такому дяде.

— Надеюсь, сударыня,— отвечал Олверти,— у него нет недостатка и в тех качествах, которые должны сделать его хорошим мужем. Конечно, он был бы негоднейшим человеком, если бы, удостоившись получить от такой женщины...

— Пожалуйста, простите меня, мистер Олверти,— сказала Софья.— Я не могу принять ваше предложение. Мистер Джонс, я уверена, достойнейший человек, но я отказываюсь принять его как жениха... Я не могу, честное слово...

— Простите, сударыня, я несколько удивлен вашими словами, после того что слышал от мистера Вестерна... Надеюсь, несчастный юноша не сделал ничего такого, что лишило бы его вашего благоволения, если когда-нибудь он имел честь им пользоваться... Может быть, его оклеветали перед вами, как оклеветали передо мной. Те же гнусные происки могли повредить ему где угодно... Уверяю вас, он не убийца, как его ославили.

— Мистер Олверти,— отвечала Софья,— вы слышали мое решение. Меня не удивляет то, что вам сказал отец, но, каковы бы ни были его опасения и страхи, я не подала к ним, насколько я знаю свое сердце, никакого повода, потому что я твердо держа-

лась и держусь правила не выходить замуж без его согласия. Я считаю это своим долгом по отношению к отцу, и ничто, надеюсь, не заставит меня от него уклониться. Но я не думаю, чтобы родители имели право выдавать нас замуж вопреки влечениям нашего сердца. Чтобы избежать подобного насилия, опасаться которого у меня были основания, я покинула родительский дом и искала защиты в другом месте. Вот вам вся правда. И если свет или отец мой подозревают меня в других намерениях, то совесть ни в чем меня не упрекает.

— Я слушаю вас, мисс Вестерн, с восхищением. Я восхищен верностью ваших суждений, но вы чего-то не досказываете. Я не хотел бы вас оскорбить, сударыня, но неужели все, что я слышал и видел до сих пор, не больше как сон? Неужели вы терпели преследования отца ради человека, к которому вы всегда были совершенно равнодушны?

— Умоляю вас, мистер Олверти, не требуйте от меня объяснений... Да, я много натерпелась. Я не буду скрывать, мистер Олверти... я хочу быть с вами вполне откровенной: да, у меня было высокое мнение о мистере Джонсе... Я думаю... я знаю, что я за это пострадала... и тетка и отец обращались со мной жестоко; но теперь это прошло... я прошу, чтобы меня оставили в покое, ибо решение мое бесповоротно. У вашего племянника, сэр, много достоинств... у него большие достоинства, мистер Олверти. Я не сомневаюсь, что он сделает вам честь и осчастливит вас.

— И я желал бы сделать его счастливым, сударыня; но я глубоко убежден, что это зависит единственно от вас. Это убеждение и побуждает меня так горячо за него ходатайствовать.

— Вы заблуждаетесь, сэр; уверяю вас, заблуждаетесь! Надеюсь, впрочем, что не он ввел вас в заблуждение. Довольно и того, что он обманул меня. Мистер Олверти, я настоятельно прошу вас не говорить мне больше об этом предмете. Мне было бы прискорбно... Нет, я не хочу ронять его в вашем мнении... Я желаю мистеру Джонсу добра. Я искренне желаю ему добра и повторяю вам: как ни провинился он передо мной, я все же уверена, что у него много хороших качеств. Я не отрицаю, что прежде была о нем другого мнения, но мнения этого теперь уже не вернуть. Теперь нет на земле человека, от предложения которого я отказалась бы более решительно, чем от предложения мистера Джонса; сватовство самого мистера Блайфила было бы мне приятнее.

Вестерн между тем с нетерпением ждал, чем кончится этот разговор, и подошел наконец к двери. Услышав последние слова дочери, он потерял всякое самообладание, в бешенстве распахнул дверь и заорал:

— Это ложь! Гнусная ложь! Всему виновник этот мерзавец Джонс, и если б только она могла до него добраться, так сию минуту дала бы тягу.

Тут вмешался Олверти.

— Мистер Вестерн,— сказал он сквайру, гневно взглянув на него,— вы не сдержали своего слова. Вы обещали воздержаться от всякого насилия.

— И воздерживался, пока было можно,— отвечал Вестерн,— но слышать от девчонки такую наглую ложь — нет, слуга покорный! Уж не думает ли она, что если дурачит других, так и меня можно одурачить?.. Нет, нет, я знаю ее лучше вас.

— К сожалению, должен сказать вам, сэр, что, судя по вашему обращению с этой девушкой, вы ее вовсе не знаете. Извините, что я так говорю, но думаю, что наша дружба, ваше собственное желание и обстоятельства дают мне на это право. Она — ваша дочь, мистер Вестерн, и, мне кажется, делает честь вашему имени. Если бы я способен был завидовать, я позавидовал бы вам больше, чем кому-нибудь другому.

— Голубчик, от всего сердца желаю, чтоб она была твоей,— как рад бы ты был тогда избавиться от хлопот с ней!

— Поверьте, дорогой друг, что вы сами причина всех хлопот, на которые вы жалуетесь. Имейте к вашей дочери доверие, которого она вполне заслуживает, и, я убежден, вы будете счастливейшим отцом на свете.

— Иметь к ней доверие? Только этого недоставало! Какое может быть доверие, когда она не желает делать, как ей велят? Пусть согласится выйти, за кого хочу, так я буду иметь к ней сколько угодно доверия.

— Вы не вправе, сосед, требовать от нее этого согласия. Ваша дочь признает за вами право запрета, а бóльших прав не дали вам ни бог, ни природа.

— Право запрета! Ха-ха! Я вам покажу, что это за право. Убирайся вон, ступай в свою комнату, упрямица!

— Право, мистер Вестерн, вы обращаетесь с ней жестоко... Я не могу этого видеть... Вам надо быть с ней ласковее. Она заслуживает лучшего обращения.

— Ладно, ладно, я знаю, чего она заслуживает,— сказал мистер Вестерн.— Теперь, когда она ушла, я покажу вам, чего она заслуживает. Вот, взгляните, сэр,— письмо моей кузины, миледи Белластон: она меня предупреждает, что молодчик уже выпущен из тюрьмы, и советует глядеть за девчонкой в оба. Нет, черт возьми, вы не знаете, что такое иметь дело с дочерью, сосед Олверти!

И сквайр заключил речь похвалами своей дальновидности.

Тогда Олверти после надлежащего предисловия подробно сообщил ему о своем открытии относительно Джонса, о гневе на Блайфила и вообще обо всем, что было рассказано в предыдущих главах.

Люди чрезмерно бурного темперамента по большей части легко меняют свой образ мыслей. Едва только узнав о намерении мистера Олверти сделать Джонса своим наследником, Вестерн от всего сердца присоединился к дядиным похвалам племяннику и с таким же жаром выступил в пользу союза дочери с Джонсом, с каким раньше хлопотал о том, чтобы она вышла за Блайфила.

Мистер Олверти снова принужден был умерить его пыл, рассказав о своем разговоре с Софьей, чем Вестерн был крайне поражен.

Несколько минут он хранил молчание, дико выпучив глаза.

— Да что же это может значить, сосед Олверти? — проговорил он наконец.— Что она была влюблена в него, в этом я готов поклясться... Ага! Понимаю. Как бог свят, это так. Сестриных рук дело! Девчонка втюрилась в этого сукина сына — лорда. Я застал их вместе у кузины, миледи Белластон. Он вскружил ей голову, это ясно... Но будь я проклят, если я ее за него выдам!.. Ни лордам, ни придворным в семье моей не бывать!

В ответ на это Олверти произнес длинную речь, в которой снова выразил порицание всем насильственным мерам и настойчиво советовал мистеру Вестерну обращаться с дочерью ласковее, сказав, что этим способом он, наверное, добьется успеха. Потом он попрощался и вернулся к миссис Миллер, но прежде, уступая горячим просьбам сквайра, должен был дать слово привезти к нему сегодня же мистера Джонса, «чтобы тут же все с ним и порешить». Расставаясь с мистером Олверти, Вестерн, в свою очередь, обещал последовать его совету и переменить обращение с Софьей.

— Не знаю, как это у вас выходит, Олверти, только вы всегда заставляете меня делать по-вашему, а ведь мое поместье не хуже вашего и я такой же мировой судья, как и вы.

## ГЛАВА X,

*в которой наша история начинает близиться к развязке*

Вернувшись домой, Олверти узнал, что только что перед ним явился мистер Джонс. Он поспешил в пустую комнату, куда велел пригласить мистера Джонса, чтобы остаться с ним наедине.

Нельзя себе представить ничего чувствительнее и трогательнее сцены свидания дяди с племянником (ибо миссис Вотерс, как читатель догадывается, открыла Джонсу при последнем посещении

тайну его рождения). Первые проявления охватившей обоих радости я описать не в силах; не буду поэтому и пытаться. Подняв Джонса, упавшего к его ногам, и заключив его в свои объятия, Олверти воскликнул:

— О дитя мое, какого порицания я заслуживаю! Как оскорбил я тебя! Чем могу я загладить мои жестокие, мои несправедливые подозрения и вознаградить причиненные ими тебе страдания?

— Разве я уже не вознагражден? — отвечал Джонс.— Разве мои страдания, будь они в десять раз больше, не возмещены теперь сторицей? Дорогой дядя, ваша доброта, ваши ласки подавляют, уничтожают, сокрушают меня. Я не в силах вынести охватившую меня радость. Быть снова с вами, быть снова в милости у моего великодушного, моего благородного благодетеля!

— Да, дитя мое, я поступил с тобой жестоко,— повторил Олверти и рассказал ему все козни Блайфила, выражая крайнее сожаление, что поддался обману и поступил с Джонсом так дурно.

— Не говорите так! — возразил Джонс.— Право, сэр, вы поступили со мной благородно. Мудрейший из людей мог бы быть обманут, подобно вам, а будучи обманутым, поступил бы со мною так же, как вы. Доброта ваша проявилась даже и в гневе — справедливом, как тогда казалось. Я всем обязан этой доброте, которой был так недостоин. Не заставляйте меня мучиться упреками совести, простирая свое великодушие слишком далеко. Увы, сэр, я был наказан не больше, чем того заслуживал, и вся моя жизнь будет отныне посвящена тому, чтобы заслужить счастье, которое вы мне даруете; поверьте, дорогой дядя, ваше наказание было наложено на меня не втуне: я был великим, хоть и не закоренелым грешником; благодарение богу, я имел, таким образом, время поразмыслить о моей прошедшей жизни, и хотя на моей совести не лежит ни одного тяжелого преступления, все же я знаю за собой довольно безрассудств и пороков, которых надо стыдиться и в которых надо раскаиваться,— безрассудств, имевших для меня ужасные последствия и приведших меня на край гибели.

— Очень рад, милый мой мальчик, слышать от тебя такие разумные слова,— отвечал Олверти.— Так как я убежден, что лицемерие (боже, как я был обманут им в других!) никогда не принадлежало к числу твоих недостатков, то я искренне верю всему, что ты сказал. Теперь ты видишь, Том, каким опасностям простое неблагоразумие может подвергать добродетель (а для меня теперь ясно, как высоко ты чтишь добродетель). Действительно, благоразумие есть наш долг по отношению к самим себе; и если мы настолько враги себе, что им пренебрегаем, то нечего удивляться, что свет тогда и подавно пренебрегает своими обязан-

ностями к нам; когда человек сам закладывает основание собственной гибели, другие, боюсь я, только того и ждут, чтобы на нем строить. Ты говоришь, однако, что сознал свои ошибки и хочешь исправиться. Вполне тебе верю, друг мой, и потому с настоящей минуты никогда больше не буду о них напоминать, но сам ты о них помни, чтобы научиться тем вернее избегать их в будущем. Однако в утешение себе помни также и то, что есть большая разница между проступками, вытекающими из неблагоразумия, и теми, которые диктуются подлостью. Первые, пожалуй, даже вернее ведут человека к гибели, но если он исправится, то с течением времени может надеяться на полное перерождение; свет хотя и не сразу, но все-таки под конец с ним примирится, и он не без приятности будет размышлять о том, каких опасностей ему удалось избежать. Но подлость, друг мой, однажды разоблаченную, невозможно загладить ничем; оставляемые ею пятна не смоет никакое время. Негодяй навсегда будет осужден в мнении людей, в обществе он будет окружен всеобщим презрением, и если стыд заставит его искать уединения, он и там не освободится от страха, подобного тому, который преследует утомленного ребенка, боящегося домовых, когда он покидает общество и идет лечь спать один в темной комнате. Больная совесть не даст ему покоя. Сон покинет его, как ложный друг. Куда он ни обратит свои взоры, повсюду будет встречать только ужасы: оглянется назад — бесплодное сокрушение преследует его по пятам; посмотрит вперед — безнадежность и отчаяние вперяют в него взоры; как заключенный в тюрьму преступник, клянет он нынешнее свое состояние, но в то же время страшится последствий часа, который освободит его из неволи. Утешься же, друг мой, что участь твоя не такова; радуйся и благодари того, кто дал тебе увидеть твои ошибки прежде, чем они довели тебя до гибели, неминуемо постигающей всякого, кто упорствует в них. Ты от них отрешился, и теперь обстоятельства складываются так, что счастье зависит исключительно от тебя.

При этих словах Джонс испустил глубокий вздох и на замечание, сделанное по этому поводу Олверти, отвечал:

— Не хочу таиться от вас, сэр: одно следствие моего распутства, боюсь, непоправимо. Дорогой дядя, какое сокровище я потерял!

— Можешь не продолжать,— отвечал Олверти.— Скажу тебе откровенно: я знаю, о чем ты горюешь; я видел ее и говорил с ней о тебе. И вот в залог искренности всего тобой сказанного и твердости твоего решения я в одном требую от тебя безоговорочного повиновения: ты должен всецело руководиться волей Софьи, будет ли она в твою пользу или нет. Она уже довольно натерпелась от домогательств, о которых мне противно вспоминать; я не желаю, чтобы кто-нибудь из моей семьи послужил для нее причи-

ной новых притеснений. Я знаю, отец готов теперь мучить ее ради тебя, как раньше мучил ради твоего соперника, но я решил оградить ее впредь от всех заточений, от всех неприятностей, от всякого насилия.

— Умоляю вас, дорогой дядя, дайте мне приказание, исполнить которое было бы с моей стороны заслугой. Поверьте, сэр, я мог бы ослушаться только в одном: если бы вы пожелали, чтобы я сделал Софье что-нибудь неприятное. Нет, сэр, если я имел несчастье навлечь на себя ее неудовольствие без всякой надежды на прощение, то этого одного, наряду с ужасной мыслью, что я являюсь причиной ее страданий, будет достаточно, чтобы уничтожить меня. Назвать Софью моей было бы величайшим и единственным в настоящую минуту счастьем, которое небо может даровать мне в добавление к тому, что оно уже послало; но этим счастьем я желаю быть обязан только ей.

— Не хочу тебя обнадеживать, друг мой,— сказал Олверти.— Боюсь, что дела твои незавидны: никогда не приходилось мне слышать такого непреклонного тона, каким она отвергает твои искательства; отчего — ты, может быть, знаешь лучше, чем я.

— Да, сэр, знаю слишком хорошо,— отвечал Джонс.— Я настолько провинился перед ней, что не имею никакой надежды на прощение; но как я ни виноват, вина моя, к несчастью, представляется ей в десять раз чернее, чем она есть на самом деле. Ах, дядя, я вижу, что мои безрассудства непоправимы и вся ваша доброта не спасет меня от гибели!

В эту минуту слуга доложил о приезде мистера Вестерна: он с таким нетерпением желал увидеть Джонса, что не мог дождаться назначенного часа. Джонс, глаза которого были полны слез, попросил дядю занять Вестерна несколько минут, пока сам он немного придет в себя. Олверти согласился и, приказав провести мистера Вестерна в гостиную, вышел к нему.

Миссис Миллер, узнав, что Джонс один (она еще не видела его после освобождения из тюрьмы), тотчас же вошла к нему в комнату и в прочувствованных словах поздравила с новообретенным дядей и счастливым примирением с ним.

— Хотелось бы мне поздравить вас еще кое с чем, дорогой друг,— прибавила она,— но такой неумолимой я еще не встречала.

Джонс с некоторым удивлением спросил ее, что она хочет сказать.

— Да то, что я была у мисс Вестерн и объяснила ей все, как рассказал мне мой зять Найтингейл. Насчет письма у нее не может быть больше сомнений, я в этом уверена: я сказала, что зять мой готов присягнуть, если ей угодно, что он сам все это придумал

и сам продиктовал письмо. Я сказала, что причины, заставившие вас послать это письмо, говорят в вашу пользу, потому что это было сделано ради нее и служит явным доказательством вашей решимости оставить легкомысленный образ жизни; сказала, что вы ни разу ей не изменили с тех пор, как встретились с ней в Лондоне,— боюсь, я зашла тут слишком далеко, но бог меня простит; ваше будущее поведение, надеюсь, послужит мне оправданием. Словом, я сказала все, что могла, но это не привело ни к чему. Она непреклонна. Она говорит, что многое прощала вашей молодости, но выразила такое отвращение к распутству, что я принуждена была замолчать. Я всячески пыталась защищать вас, но справедливость ее обвинений слишком била в глаза. Ей-богу, она прелестна; мне редко доводилось встречать такую очаровательную и такую рассудительную девушку! Я чуть не расцеловала ее за одну ее фразу. Это суждение, достойное Сенеки или епископа: «Я вообразила себе когда-то,— сказала она,— что у мистера Джонса очень доброе сердце, и за это, признаюсь, прониклась к нему искренним уважением; однако распущенность испортит самое лучшее сердце, и все, чего может ожидать от доброй души распутник,— это несколько крупиц жалости, примешанных к презрению и отвращению». Она истинный ангел, что правда, то правда.

— Ах, миссис Миллер,— воскликнул Джонс,— могу ли я примириться с мыслью, что потерял такого ангела!

— Потеряли! Нет,— отвечала миссис Миллер,— надеюсь, вы ее еще не потеряли. Оставьте раз навсегда свои дурные привычки, и вы можете еще надеяться. Ну, а если она все-таки останется неумолимой, так есть другая молодая дама, очень милая и недурная собой, страшно богатая, которая буквально умирает от любви к вам. Я узнала это сегодня утром и сказала об этом мисс Вестерн; признаться, я и тут немножко перехватила: сказала, что вы ей отказали; но я была уверена, что откажете. Тут могу вас немного утешить: когда я назвала имя молодой дамы — это не кто иная, как вдовушка Гант,— то мне показалось, мисс Софья побледнела; а когда я прибавила, что вы ответили ей отказом, то, клянусь, щеки ее мгновенно покрылись ярким румянцем, и она проговорила: «Не буду отрицать: он, кажется, чувствует ко мне некоторую привязанность».

Тут разговор их был прерван появлением Вестерна, которого не мог дольше удержать даже сам Олверти, несмотря на всю свою власть над ним, как мы уже не раз это видели.

Вестерн подошел прямо к Джонсу и заорал:

— Здорово, Том, старый приятель! Сердечно рад тебя видеть. Забудем прошлое. У меня не могло быть намерения оскорбить

тебя, потому что — вот Олверти это знает, да и сам ты знаешь — я принимал тебя за другого; а когда нет желания обидеть, так что за важность, если сгоряча сорвется необдуманное словечко? Христианин должен забывать и прощать обиды.

— Надеюсь, сэр,— отвечал Джонс,— я никогда не забуду ваших бесчисленных одолжений; а что касается обид, так я их вовсе не помню.

— Так давай же руку! Ей-ей, молодчага: такого бабьего угодника, как ты, во всей Англии не сыскать! Пойдем со мной: сию минуту сведу тебя к твоей крале.

Тут вмешался Олверти, и сквайр, будучи не в силах уговорить ни дядю, ни племянника, принужден был после некоторого препирательства отложить свидание Джонса с Софьей до вечера. Из сострадания к Джонсу и в угоду пылкому Вестерну Олверти в конце концов согласился приехать к нему пить чай.

Дальнейший разговор их был довольно занятен, и, случись он где-нибудь раньше в нашей истории, мы бы угостили им читателя, но теперь нам приходится ограничиваться самым существенным и потому скажем лишь, что, договорившись подробно насчет вечернего визита, мистер Вестерн возвратился домой.

## ГЛАВА XI

*Наша история подходит еще ближе к развязке*

По уходе мистера Вестерна Джонс рассказал мистеру Олверти и миссис Миллер, что своим освобождением он обязан двум благородным лордам: они явились вместе с двумя хирургами и одним приятелем мистера Найтингейла к судье, посадившему его в тюрьму, и тот после клятвенного показания хирургов, что раненый вне всякой опасности, приказал отпустить Джонса.

Только одного из этих лордов, сказал Джонс, он видел раньше, да и то всего один раз, но другой очень его удивил, попросив у него извинения за обиду, которую ему нанес,— по его словам, единственно потому, что не знал, с кем имеет дело.

Объяснилось это, как Джонс узнал впоследствии, следующим образом: офицер, которому лорд Фелламар поручил, по совету леди Белластон, завербовать Джонса как бродягу в матросы, явившись к лорду с докладом об известном уже нам поединке, отозвался с большой похвалой о поведении мистера Джонса и всячески уверял лорда, что произошла какая-то ошибка, ибо этот Джонс, несомненно, джентльмен. Он говорил так убедительно,

что лорд, человек весьма щепетильный в вопросах чести и ни в коем случае не желавший быть обвиненным в поступке, предосудительном в глазах света, начал сильно на себя досадовать, что последовал совету леди.

Дня через два после этого лорду Фелламару случилось обедать с ирландским пэром, и последний, когда разговор зашел о дуэли, рассказал, что́ за человек Фитцпатрик, но рассказал не вполне беспристрастно, особенно о том, что касалось его отношений к жене. По его словам, миссис Фитцпатрик была невиннейшей женщиной на свете, терпевшей жестокие обиды, и он за нее вступается единственно из сострадания. Он объявил далее о своем намерении отправиться завтра утром на квартиру к Фитцпатрику и постараться уговорить его развестись с женой, которая, сказал пэр, опасается за свою жизнь, если ей придется возвратиться под власть мужа. Лорд Фелламар предложил пойти с ним вместе, чтобы подробнее разузнать о Джонсе и обстоятельствах поединка, ибо он был крайне недоволен ролью, которую сыграл в этом деле. Едва только лорд намекнул о своей готовности помочь освобождению миссис Фитцпатрик, как пэр с жаром ухватился за эту мысль: он возлагал большие надежды на влияние лорда Фелламара, полагая, что оно очень поможет добиться согласия у Фитцпатрика,— и, пожалуй, был прав: по крайней мере, бедный ирландец, увидя, что два благородных пэра так хлопочут за его жену, скоро сдался, и тут же были составлены и подписаны обеими сторонами статьи разводного акта.

Фитцпатрик, получив от миссис Вотерс самые убедительные доказательства невинного поведения жены его с Джонсом в Эптоне, а может быть, и по другим причинам, проникся таким равнодушием к этому делу, что дал лорду Фелламару самый благоприятный отзыв о Джонсе, взял всю вину на себя и сказал, что противник его вел себя, как подобает джентльмену и человеку, дорожащему своей честью; а в ответ на дальнейшие расспросы лорда относительно мистера Джонса сообщил, что Джонс — племянник одного очень знатного и богатого джентльмена, как передала ему только что миссис Вотерс со слов Даулинга.

После этого лорд Фелламар счел своим долгом сделать все от него зависевшее, чтобы загладить свою вину перед джентльменом, которого так грубо оскорбил; оставив всякое помышление о соперничестве (ибо теперь он отказался от всяких видов на Софью), лорд решил выхлопотать мистеру Джонсу свободу, тем более что нанесенная им рана, по уверению хирурга и самого Фитцпатрика, была не смертельна. Поэтому он уговорил ирландского пэра поехать с ним в место заточения Джонса, где они и побывали, как было сказано выше.

Возвратясь домой, Олверти тотчас же увел Джонса к себе в комнату и рассказал ему все, что узнал от миссис Вотерс и мистера Даулинга.

Джонс выслушал его рассказ с большим удивлением и не меньшим огорчением, но не сказал ни слова. В это время мистер Блайфил прислал спросить, может ли дядя его принять. Олверти вздрогнул и побледнел, а затем совершенно несвойственным ему раздраженным тоном приказал слуге передать Блайфилу, что он его не знает.

— Подумайте, сэр...— начал было Джонс дрожащим голосом.

— Я уже все обдумал,— прервал его Олверти,— и ты сам передашь мой ответ этому мерзавцу. Лучше всего, если он услышит приговор от человека, гибель которого он так подло замышлял.

— Простите, сэр,— сказал Джонс,— небольшое размышление, я уверен, заставит вас отказаться от этого плана. То, что было бы, может быть, справедливым в других устах,— сказанное мною будет оскорблением; и кого приказываете вы мне оскорбить? Моего брата и вашего племянника. Он не поступал со мной так жестоко,— право, с моей стороны это было бы непростительнее всех его проступков. Корыстолюбие может соблазнить и не очень дурного человека на дурное дело, но оскорбления исходят только от душ злобных и мстительных и не могут быть оправданы никакими соблазнами. Умоляю вас, сэр, ничего не предпринимайте против него сейчас, в порыве гнева! Вспомните, дорогой дядя, что даже меня вы не судили, не выслушав моих оправданий.

Олверти несколько мгновений хранил молчание, потом заключил Джонса в объятия и сказал со слезами, хлынувшими из глаз:

— Милый мальчик! И я так долго мог быть слеп к такой доброте!

В эту минуту в комнату вошла миссис Миллер; предварительно она тихонько постучалась, но ее стука не услышали. Увидев Джонса в объятиях дяди, добрая женщина вне себя от радости упала на колени и вознесла пламенные благодарения богу за случившееся, затем, подбежав к Джонсу, крепко его обняла и воскликнула:

— Дорогой друг, желаю вам тысячу и тысячу раз радоваться, вспоминая этот благословенный день!

Потом она принесла такие же поздравления мистеру Олверти, который ей отвечал:

— Да, да, миссис Миллер, я невыразимо счастлив!

Последовало еще несколько выражений восторга со стороны каждого из присутствующих, а затем миссис Миллер пригласила

дядю и племянника спуститься в столовую пообедать, сказав, что там уже собрался целый кружок счастливых людей, а именно: мистер Найтингейл с молодой женой и его кузина Гарриет с молодым мужем.

Олверти попросил извинения, сказав, что ему нужно поговорить с племянником о многих своих делах и потому он уже велел подать закусить у себя в комнатах, зато пообещал отужинать с Джонсом в ее обществе.

Тогда миссис Миллер спросила, как быть с Блайфилом.

— Я не могу быть спокойна, пока этот негодяй у меня в доме,— объяснила она.

Олверти отвечал, что он вполне разделяет ее чувства.

— О, если так,— сказала миссис Миллер,— так предоставьте мне самой с ним разделаться: я живо укажу ему двери, будьте спокойны. У меня найдется два-три дюжих молодца среди слуг.

— Нет, вам не придется прибегать к насилию, — сказал Олверти.— Если вы пожелаете передать ему мое поручение, он, я убежден, уйдет добровольно.

— Пожелаю ли я? — отвечала миссис Миллер.— Я в жизни своей ничего не делала с большей охотой.

Тут вмешался Джонс, сказав, что, по зрелом размышлении, он, если угодно мистеру Олверти, согласен сам передать Блайфилу его волю.

— Теперь я хорошо знаю ваше желание, сэр,— сказал он,— и прошу вас позволить мне ознакомить его с ним лично. Подумайте, пожалуйста, сэр, какие ужасные последствия может иметь для него жестокое и внезапное отчаяние. Какая неподходящая минута для смерти этого несчастного!

Это предостережение не оказало ни малейшего действия на миссис Миллер, она вышла из комнаты, воскликнув:

— Вы бесконечно добры, мистер Джонс, слишком добры, чтобы жить в этом мире!

Зато оно произвело сильное впечатление на Олверти.

— Любезный друг,— сказал он,— я давно дивлюсь доброте твоего сердца и проницательности твоего ума. Сохрани бог лишить этого несчастного средств и времени раскаяться! Это было бы действительно ужасно. Пойди к нему и действуй по своему усмотрению, но не вселяй в него надежды на мое прощение: я никогда не буду снисходителен к подлости больше, чем того требует от меня религия, а она не требует ни великодушия к подлецу, ни общения с ним.

Джонс поднялся в комнату Блайфила и застал его в положении, возбудившем в нем жалость, хотя в других зрителях оно возбудило бы, пожалуй, другое чувство. Блайфил лежал на кро-

вати, предавшись отчаянию, и плакал навзрыд: но то не были слезы сокрушения, смывающие с души тяжесть проступка, совершенного нами неумышленно, вопреки нашим природным склонностям, как это подчас случается, вследствие слабости человеческой, и с праведниками,— нет, то были слезы ужаса, слезы вора, которого ведут на казнь, слезы тревоги за свою участь, нередко испытываемой даже самыми закоренелыми злодеями.

Было бы неприятно и скучно изображать эту сцену во всех подробностях. Довольно будет сказать, что Джонс простер доброту свою до крайних пределов. Он пустил в ход всю свою изобретательность, чтобы ободрить и утешить упавшего духом Блайфила, прежде чем объявил ему распоряжение дяди, чтобы он сегодня же вечером оставил этот дом. Он предлагал ему денег, сколько понадобится, уверял, что искренне прощает все его козни против него, что готов впоследствии жить с ним как с братом и приложит все усилия, чтобы примирить его с дядей.

Сначала Блайфил угрюмо молчал, соображая, не следует ли ему отпереться от всего, но, увидя, что улики против него слишком сильны, решил наконец принести повинную. Плачущим голосом начал он молить брата о прощении, упав перед ним на колени и целуя ему ноги,— словом, проявил безграничную низость, равнявшуюся его прежней безграничной злобе.

При виде этого пресмыкательства Джонс не в силах был подавить невольно выразившееся на лице его презрение. Он поспешил поднять брата и посоветовал ему переносить несчастья мужественнее, повторив свое обещание сделать все возможное, чтобы облегчить их. В ответ на это Блайфил, признавая всю гнусность своего поведения, разразился целым потоком благодарностей и в заключение объявил, что немедленно переезжает на другую квартиру. Тогда Джонс покинул его и возвратился к дяде.

Разговаривая с Джонсом, Олверти сообщил ему о сделанном им открытии насчет банковых билетов на пятьсот фунтов.

— Я уже советовался с юристом,— сказал он,— и, к великому моему удивлению, узнал, что за подобную утайку не полагается никакого наказания. Право, я нахожу, что по сравнению с черной неблагодарностью этого человека к тебе разбой на большой дороге есть самое невинное дело.

— Боже мой, возможно ли это?! — воскликнул Джонс.— Меня крайне поражает это известие. Я считал его честнейшим человеком на свете... Видно, соблазн был велик и он не мог устоять: меньшие суммы всегда доходили до меня в целости через его руки. Право, дорогой дядя, вы должны согласиться, что это скорее слабость, чем неблагодарность; я убежден, что бедняга меня любит: он оказывал мне услуги, которых я никогда не забуду; я даже

думаю, что он раскаялся в своем поступке, потому что не далее как день или два тому назад, когда дела мои находились в самом плачевном состоянии, он посетил меня в тюрьме и предлагал денег, сколько мне понадобится. Подумайте, сэр, какой соблазн для человека, испытавшего самую ужасную нищету, увидеть в своем распоряжении сумму, которая способна на всю жизнь обеспечить его самого и его семью.

— Ты простираешь снисходительность слишком далеко, друг мой,— сказал Олверти.— Твое ошибочное милосердие не только слабость, но граничит с несправедливостью и весьма пагубно для общества, потому что поощряет порок. Нечестность я бы еще мог, пожалуй, ему простить, но неблагодарность — никогда. И позволь тебе сказать: когда мы склоняемся проявить снисходительность к нечестному поступку, то в нашем милосердии нет ничего дурного — я сам, бывши членом большого совета присяжных, часто проникался состраданием к участи разбойников и не раз ходатайствовал за них перед судьей, если находил какие-нибудь смягчающие обстоятельства их вины; но когда нечестный поступок сопровождается худшим преступлением, например, жестокостью, убийством, неблагодарностью, то сострадание и снисходительность недопустимы. Я убежден, что этот человек негодяй, и он должен быть наказан; по крайней мере, я приложу к этому все старания.

Это было сказано таким непреклонным тоном, что Джонс счел всякие возражения неуместными; кроме того, час, назначенный для посещения ими мистера Вестерна, был уже так близок, что ему едва оставалось время одеться. Таким образом, разговор дяди с племянником на этом закончился, и Джонс удалился в другую комнату, где приказал Партриджу ожидать его с платьем.

Партридж почти не видел своего господина со времени счастливого открытия. Бедняга неспособен был ни сдержать, ни выразить свой восторг. Он вел себя как помешанный и делал ошибку за ошибкой, подавая Джонсу платье, вроде того как это делает арлекин, одеваясь перед публикой на сцене.

Память, однако, ему нисколько не изменила: он припомнил множество предзнаменований этого счастливого события, из которых иные были им отмечены тогда же, но большая часть пришла на память только сейчас; не забыл он и сна, виденного им накануне встречи с Джонсом, и в заключение сказал:

— Я всегда говорил вашей милости о моем предчувствии, что рано или поздно, а вы меня облагодетельствуете.

Джонс отвечал, что предчувствие это, наверное, оправдается на Партридже, как все прочие предзнаменования оправдались на нем самом, что немало усилило восторги педагога, охватившие его по случаю радостного оборота дел Джонса.

## ГЛАВА XII

*Все ближе к концу*

Закончив свой туалет, Джонс поехал с дядей к мистеру Вестерну. Он был красавец хоть куда, и одна его внешность могла обворожить бóльшую часть представительниц прекрасного пола; но читатель, надеемся мы, заметил в продолжение этой истории, что природа, создавая его, не ограничилась, как это нередко бывает, одним этим даром, а украсила его также и другими.

Софья, несмотря на весь свой гнев, тоже принарядилась,— почему, представляю найти причину моим читательницам,— и явилась такой писаной красавицей, что даже Олверти, увидя ее, не удержался и шепнул Вестерну, что, по его мнению, она красивейшая в мире женщина. На что Вестерн отвечал ему тоже шепотом, но таким, что его слышали все присутствующие:

— Тем лучше для Тома! Будь я неладен, если он не найдет в ней чем полакомиться.

При этих словах Софья покраснела, как маков цвет, а Том сделался белее полотна и готов был сквозь землю провалиться.

Едва только убрали со стола, как Вестерн потащил Олверти в другую комнату, сказав, что у него есть к нему важное дело, о котором он должен сейчас же поговорить с соседом наедине, чтобы не позабыть.

Влюбленные остались одни, и многим читателям покажется, без сомнения, странным, что те, которые имели сказать друг другу так много, когда разговаривать было опасно и трудно, и, казалось, так страстно желали броситься в объятия друг друга, когда на пути лежало столько препятствий, оставались теперь, имея полную волю говорить и делать что угодно, некоторое время безмолвны и неподвижны; настолько, что не слишком проницательный наблюдатель мог бы подумать, что они друг к другу равнодушны. Но было именно так, как ни странно это может показаться: оба сидели опустив глаза в землю и несколько минут хранили полное молчание.

Мистер Джонс раз или два сделал попытку заговорить, но это ему совершенно не удалось, и он только пробормотал или, вернее, испустил в виде вздоха несколько бессвязных слов. Наконец Софья, частью из жалости к нему, частью желая отклонить разговор от того предмета, о котором, как она ясно чувствовала, Джонс собирался заговорить, сказала:

— Это открытие, сэр, верно, сделало вас счастливейшим человеком на свете?

— Неужели вы действительно можете считать меня счастливым, сударыня,— отвечал Джонс со вздохом,— в то время как я навлек на себя ваше неудовольствие?

— Что до этого, сэр, то вам лучше знать, заслужили ли вы его.

— Право, сударыня, вы тоже хорошо осведомлены о всех моих провинностях. Миссис Миллер рассказала вам всю правду. Ах, Софья, неужели нет надежды на прощение?

— Мне кажется, мистер Джонс, я могу обратиться к вашему собственному чувству справедливости и предложить вам самому произнести приговор вашему поведению.

— Увы, сударыня, я молю вас о милосердии, а не о справедливости. Справедливость, я знаю, признает меня виновным, однако не в том, что я написал леди Белластон. Насчет этого письма я торжественно объявляю: вам сказали чистую правду.

И он с жаром заговорил об уверениях мистера Найтингейла в том, что всегда найдется предлог отступиться, если бы, вопреки их ожиданиям, леди согласилась принять его предложение; однако признался, что поступил очень неосторожно, дав ей в руки такое письмо, «за что,— сказал он,— я дорого поплатился, как видно по впечатлению, которое оно на вас произвело».

— Я думаю об этом письме,— отвечала Софья,— именно так, как вам желательно, и не могу думать иначе. Мое поведение, кажется, ясно вам показывает, что я не придаю ему большого значения. И все же, мистер Джонс, разве у меня нет других поводов на вас сердиться? После всего, что произошло в Эптоне, так скоро завести интригу с другой женщиной, когда я думала, как вы уверяли, что сердце ваше переполнено любовью ко мне! Какое странное поведение! Могу ли я поверить в искренность любви, о которой вы мне столько твердили? Да если бы я и поверила, что́ ожидает меня с человеком, способным быть настолько непостоянным?

— Ах, Софья, не сомневайтесь в искренности чистейшего чувства, какое когда-либо пылало в человеческом сердце! Подумайте, дорогая, в каком я был ужасном положении, какое овладело мной отчаяние! Если бы я мог, обожаемая Софья, льстить себя самой слабой надеждой, что мне когда-нибудь позволено будет броситься к вашим ногам, как бросаюсь я теперь, то никакая женщина в мире не в силах была бы пробудить во мне и тени сколько-нибудь предосудительных в нравственном отношении помыслов. Быть неверным вам! О Софья, если вы можете быть настолько добры, чтобы простить прошедшее, да не остановят вашего милосердия опасения за будущее! Никогда не было более искреннего раскаяния. О, пусть примирит оно меня с небом — небом, заключенным в вашем сердце!

— Искреннее раскаяние, мистер Джонс, дает прощение грешнику, но его прощает судия, для которого открыты все наши помыслы. А человека можно обмануть, и нет никакого верного средства избежать обмана. Вы должны поэтому ожидать, что если раскаяние ваше побудит меня простить вас, то я потребую от вас убедительного доказательства вашей искренности.

— Требуйте любого доказательства, какое только в моей власти,— с жаром сказал Джонс.

— Время, только время, мистер Джонс, может убедить меня в том, что вы действительно раскаиваетесь и твердо решили отказаться от порочных привычек, за которые я бы вас возненавидела, если бы считала, что они укоренились в вашей натуре.

— Не считайте меня таким дурным! На коленях прошу, умоляю вас оказать мне доверие, и всю свою жизнь я посвящу на то, чтобы его оправдать.

— Посвятите хотя бы часть ее. Кажется, я довольно ясно сказала, что не откажу вам в доверии, когда увижу, что вы его заслуживаете. После всего случившегося, сэр, разве могу я полагаться на одни ваши слова?

— Хорошо, не верьте моим словам,— отвечал Джонс,— я располагаю более надежной порукой — залогом моей верности,— и он рассеет все ваши сомнения.

— Каким залогом? — спросила Софья с некоторым удивлением.

— Сейчас я покажу вам его, мой прелестный ангел,— сказал Джонс, беря Софью за руку и подводя ее к зеркалу.— Вот он, взгляните на эту очаровательную фигуру, на это лицо, на этот стан, на эти глаза, в которых светится ум. Может ли обладатель этих сокровищ быть им неверным? Нет, это невозможно, милая Софья; они навеки приковали бы самого Дориманта, самого лорда Рочестера. Вы бы в этом не сомневались, если бы могли смотреть на себя чужими глазами.

Софья покраснела и не могла удержаться от улыбки, но потом опять нахмурила брови и сказала:

— Если судить о будущем по прошедшему, то образ мой так же исчезнет из вашего сердца, когда я скроюсь с ваших глаз, как исчезает он в этом зеркале, когда я ухожу из комнаты.

— Клянусь небом, клянусь всем святым, он никогда не исчезнет из моего сердца! Ваша женская деликатность не может понять мужской грубости и того, как мало участвует сердце в известного рода любви.

— Я никогда не выйду замуж за человека,— сказала Софья очень серьезно,— который не научится быть настолько деликатным, чтобы перестать чувствовать это различие.

— Я научусь,— отвечал Джонс, — я уже научился. То мгновение, когда у меня появилась надежда, что Софья может стать моей женой, сразу этому научило; и с этого мгновения ни одна женщина, кроме вас, не способна возбудить во мне ни грубого желания, ни сердечного чувства.

— Справедливость этих слов покажет время. Ваше положение, мистер Джонс, теперь изменилось, и, могу вас уверить, я этому очень рада. Теперь у вас будет довольно случаев встречаться со мной и доказать мне, что и ваш образ мыслей тоже изменился.

— Вы ангел! — воскликнул Джонс.— Как мне отблагодарить вас за вашу доброту? И вы говорите, что вас радует благополучная перемена в моей жизни... Поверьте же, сударыня, поверьте, что вы одна дали цену этому благополучию, поскольку я ему обязан надеждой... Ах, Софья, не откладывайте ее осуществления! Я буду беспрекословно вам повиноваться. Не смею ничего вынуждать у вас больше, чем вы позволяете, но, умоляю вас, сократите срок испытания. Скажите, когда могу я ожидать, что вы убедитесь в истине того, что, клянусь вам, есть святая истина?

— Согласившись пойти так далеко, я прошу вас, мистер Джонс, не вынуждать у меня никаких обещаний. Убедительно прошу.

— Ради бога, не смотрите на меня так сердито, дорогая Софья! Я ничего у вас не вынуждаю, не смею вынуждать. Позвольте мне только еще раз просить вас назначить срок. Будьте милосердны: любовь так нетерпелива.

— Ну, может быть... год.

— Боже мой, Софья, вы назвали целую вечность!

— Может быть, немного раньше,— отстаньте от меня. Если ваша любовь ко мне такая, как я желаю, то, мне кажется, вы должны быть теперь довольны.

— Доволен! Не называйте моего ликующего счастья этим холодным словом... О, сладкая надежда! Быть уверенным, что придет благословенный день, когда я назову вас моей, когда все страхи исчезнут, когда я буду иметь высокую, несказанную, безмерную, упоительную отраду заботиться о счастье моей Софьи!

— Наступление этого дня зависит от вас, сэр.

— Ангел мой, божество мое! Слова эти сводят меня с ума от радости... Я должен, я не могу не поблагодарить милые уста, даровавшие мне блаженство.

И он заключил Софью в объятия и стал целовать так пылко, как никогда раньше не осмеливался.

В эту минуту Вестерн, подслушивавший некоторое время у дверей, ворвался в комнату и закричал на охотничий лад:

— Ату ее, малый, ату, ату! Вот так, вот так, горько! Ну что, покончили? Назначила она день? Когда же — завтра или послезавтра? Не вздумайте откладывать и на минуту дольше — я уже решил.

— Позвольте вас просить, сэр,— сказал Джонс,— не заставляйте меня быть поводом...

— Ступай ты со своими просьбами... Я думал, в тебе больше огня и ты не поддашься на девичьи штучки... Все это вздор, поверь мне. Фигли-мигли! Она готова под венец хоть сейчас. Разве не правда, Софи? Ну признайся же, скажи хоть раз в жизни правду! Что ж ты молчишь? Почему не отвечаешь?

— Зачем же мне признаваться, сэр,— отвечала Софья,— если вы так хорошо знаете мои мысли?

— Дельно сказано! Так ты согласна?

— Нет, сэр, я своего согласия не давала.

— Так ты не хочешь за него ни завтра, ни послезавтра?

— Нет, сэр, у меня нет такого желания.

— И я скажу тебе почему: потому что тебе нравится быть непослушной, мучить и раздражать твоего отца.

— Пожалуйста, сэр...— вмешался Джонс.

— Да и ты тоже — щенок, не больше того! — остановил его Вестерн.— Когда я ей запрещал, так только и было, что вздохи, да слезы, да тоска, да письма. Теперь я за тебя, а она — прочь. Лишь бы наперекор. Она, видишь ли, выше того, чтобы подчиняться приказаниям отца и слушаться его советов, все дело в этом. Ей бы только досаждать и перечить отцу.

— Чего же папеньке от меня угодно? — спросила Софья.

— Чего мне от тебя надо? Дай ему руку сию минуту!

— Извольте, сэр, я вам повинуюсь. Вот моя рука, мистер Джонс.

— И ты согласна идти под венец завтра утром?

— Я готова вам повиноваться, сэр,— отвечала Софья.

— Ну, так завтра же утром сыграем свадьбу! — воскликнул Вестерн.

— Хорошо, папенька, я согласна, если такова ваша воля.

Тут Джонс упал на колени и принялся в исступлении покрывать поцелуями руки Софьи, а Вестерн заплясал и запрыгал по комнате, восклицая:

— Да куда же провалился Олверти? Все возится с этим крючкотвором Даулингом, когда тут есть дело поважнее!

И он побежал отыскивать Олверти, очень кстати оставив влюбленных на несколько минут наедине.

Скоро, однако, он возвратился с Олверти, приговаривая:

— Если не верите мне, спросите у нее самой. Ведь ты согласилась, Софья, завтра же обвенчаться?

— Таково ваше приказание, сэр,— отвечала Софья,— и я не смею вас ослушаться.

— Надеюсь, сударыня,— сказал Олверти,— племянник мой будет достоин вашей доброты и сумеет, подобно мне, оценить великую честь, которую вы оказываете моей семье. Союз с такой очаровательной и прекрасной девушкой сделал бы честь самым знатным людям Англии.

— Да,— подхватил Вестерн,— а позволь я ей мяться да колебаться, так долго бы еще не видать вам этой чести! Я принужден был прибегнуть к отцовской власти.

— Надеюсь, сэр, здесь нет никакого принуждения? — спросил Олверти.

— Что же, если вам угодно, велите ей взять слово назад. Ты очень раскаиваешься, что дала его, или нет? Скажи, Софья.

— Нет, не раскаиваюсь, папенька,— отвечала Софья,— и думаю, что никогда не раскаюсь ни в одном обещании, которое я дала ради мистера Джонса.

— В таком случае, племянник, поздравляю тебя от всей души,— сказал Олверти.— Ты счастливейший из смертных. Позвольте поздравить и вас, сударыня, по случаю этого радостного события: я уверен, что вы отдали свою руку человеку, который оценит ваши достоинства и приложит все старания, чтобы заслужить вашу любовь.

— Приложит старания! Да, он постарается, за это я поручусь! — воскликнул Вестерн.— Слушай, Олверти: держу пять фунтов против кроны, что ровно через девять месяцев с завтрашнего дня мы будем иметь внучка. Однако скажи, чего велеть подать: бургундского, шампанского или чего другого? Чего-нибудь надо, потому что, клянусь Юпитером, мы сегодня же отпразднуем помолвку.

— Извините, сэр,— отвечал Олверти,— я с племянником уже дал слово, не подозревая, что дело придет к развязке так скоро.

— Дал слово! — воскликнул сквайр.— Как бы не так! Я ни за что на свете не отпущу тебя сегодня. Ты у меня поужинаешь,— знать ничего не хочу.

— Нет, извините, дорогой сосед: я дал слово, а вы знаете, что я всегда держу свое слово.

— Да кому же ты обещал? — спросил сквайр, и когда Олверти ответил, к кому он идет и с кем будет, он воскликнул:

— Черт возьми! Так и я поеду с тобой и Софья поедет! Сегодня я с тобой не расстанусь, а разлучать Тома с невестой было бы жестоко.

Это предложение было тотчас же принято Олверти. Софья тоже согласилась, взяв сначала с отца обещание ни слова не говорить о ее помолвке.

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ,

*в которой наша история заканчивается*

Найтингейл-младший, как было условлено, явился в этот день к отцу и был принят гораздо ласковее, чем ожидал. У него застал он и дядю, возвратившегося в Лондон отыскивать свою только что обвенчавшуюся дочь.

Брак этот случился как нельзя более на руку молодому человеку. Дело в том, что братья — его отец и дядя — вели между собой непрерывные споры по поводу воспитания своих детей, и каждый от всей души презирал метод другого. Теперь оба они старались по мере сил обелить проступок собственных детей и очернить брак племянников. Желание одержать победу над братом и многочисленные доводы Олверти так сильно подействовали на старика, что он встретил сына с улыбкой и даже согласился поужинать с ним сегодня у миссис Миллер.

Что касается другого брата, души не чаявшего в своей дочери, то его нетрудно было уговорить примириться с нею. Узнав от племянника, где живет дочь с мужем, он объявил, что сию минуту к ней едет. Дочь пала перед ним на колени, но он тотчас ее поднял и обнял с нежностью, тронувшей всех, кто это видел; не прошло и четверти часа, как он уже настолько примирился и с дочерью, и с ее мужем, как будто сам соединил их руки.

В таком положении были дела, когда мистер Олверти со спутниками приехал к миссис Миллер — для полноты ее счастья. Увидев Софью, она тотчас обо всем догадалась; и дружеские чувства к Джонсу были в ней так сильны, что это обстоятельство прибавило немало жару к ее восторгам по случаю счастья собственной дочери.

Редко, я думаю, можно увидеть группу людей, в которой каждый был бы так счастлив, как в кружке, собравшемся у миссис Миллер. Меньше других радовался отец молодого Найтингейла, ибо, несмотря на любовь к сыну, несмотря на влияние и на доводы Олверти и другие упомянутые выше мотивы, он не совсем был доволен выбором сына; этому, может быть, содействовало присутствие Софьи, то и дело внушая ему мысль, что сын его мог бы же-

ниться на ней или на другой такой же девушке. Но огорчался он не тем, что красота и ум Софьи достаются другому,— нет: предметом его сокрушений было содержимое сундуков ее отца. Он не мог примириться с мыслью, что сын его пожертвовал такой соблазнительной вещью ради дочери миссис Миллер.

Обе новобрачные были очень хороши собой, но красота их до такой степени затмевалась красотой Софьи, что, не будь они добрейшие девушки в мире, в сердцах их пробудилась бы зависть, ибо мужья обеих почти не в силах были отвести глаза от Софьи, которая сидела за столом подобно королеве, принимающей почести, или, лучше сказать, подобно высшему существу, принимающему поклонение всех окружающих. Но поклонялись они добровольно, она этого от них не требовала: скромность и приветливость украшали ее не меньше, чем прочие совершенства.

Вечер прошел в самом неподдельном весе́лье. Все были счастливы, но всех больше те, которые ранее были наиболее несчастны. Прошедшие горести и страхи придавали особенный вкус их радости, которого не могли бы дать даже самая пылкая любовь и несметное богатство без этого контраста. Но так как великая радость, особенно после внезапной и крутой перемены обстоятельств, бывает обыкновенно безмолвна и сосредоточивается скорее в сердце, чем на языке, то Джонс и Софья казались наименее веселыми во всей компании. Это очень раздражало Вестерна, то и дело приговаривавшего:

— Что ж ты молчишь, дружок? Что смотришь так мрачно? А ты почему язык проглотила, дочка? Выпей еще рюмочку, ну-ка выпей!

И чтобы оживить ее, он затягивал веселую песню, имевшую некоторое отношение к бракосочетанию и потере девственности. Он зашел бы в этом отношении так далеко, что заставил бы Софью выйти из комнаты, если бы мистер Олверти не останавливал его то взглядом, то замечанием:

— Фи, стыдитесь, мистер Вестерн!

Сквайр попробовал было затеять спор и отстоять свое право говорить дочери все, что он считает нужным, но так как никто его не поддержал, то он скоро остепенился.

Несмотря на это маленькое стеснение, он остался так доволен веселым обществом, что пригласил всех на завтра к себе. Приглашение было принято, и все приехали; и любезная Софья, тоже сделавшаяся тем временем втихомолку молодой женой, распоряжалась в качестве хозяйки — иными словами, угощала гостей за столом. Утром она отдала свою руку Джонсу в домовой церкви «Докторской коллегии» в присутствии только мистера Олверти, мистера Вестерна и миссис Миллер.

Софья горячо просила отца не говорить о ее свадьбе никому из гостей, приглашенных им к обеду. Миссис Миллер и Олверти, по просьбе Джонса, тоже обещали молчать. Это несколько примирило Софью со званым обедом, на котором ей пришлось присутствовать в угоду отцу, хотя это было ей вовсе не по душе. Положившись на обещания, она чувствовала себя весь день довольно хорошо, пока наконец сквайр, перейдя ко второй бутылке, не мог дольше сдерживать свою радость и, наполнив бокал, выпил за здоровье новобрачной. Тост был горячо поддержан всеми приглашенными, к великому смущению покрасневшей Софьи и великому огорчению Джонса за свою жену. Сказать правду, открытие это никого не поразило; миссис Миллер успела уже шепнуть о нем дочери, дочь мужу, муж своей сестре, а сестра всем прочим.

Софья воспользовалась первым удобным случаем, чтобы удалиться из комнаты с дамами, а сквайр остался со своими бутылками, мало-помалу покинутый всеми, за исключением дяди молодого Найтингейла, любившего хмельное не меньше Вестерна. Они отважно просидели вдвоем весь вечер, далеко за тот счастливый час, который отдал прелестную Софью в пылкие объятия восхищенного Джонса.

Таким образом, читатель, мы довели наконец нашу историю до развязки, в которой, к нашему великому удовольствию, хотя, может быть, и против твоего ожидания, мистер Джонс является счастливейшим из смертных,— ибо, признаюсь откровенно, я не знаю, какое счастье на этом свете может сравниться с обладанием женщиной, подобной Софье.

Что касается других лиц, игравших сколько-нибудь значительную роль в этой истории, то мы постараемся в нескольких словах удовлетворить любопытство тех, кто пожелал бы узнать больше о их судьбе.

Олверти до сих пор не желает ничего слышать о свидании с Блайфилом, но по неотступным просьбам Джонса, поддержанным Софьей, согласился назначить ему двести фунтов в год, к которым Джонс прибавил тайно от себя третью сотню. На эти средства Блайфил живет в одном из северных графств, милях в двухстах от Лондона, откладывая каждый год по двести фунтов, с целью купить себе на ближайших выборах в парламент место депутата от соседнего местечка, о чем он уже торгуется с одним тамошним стряпчим. Недавно он сделался также методистом, рассчитывая жениться на одной очень богатой вдове, сектантке этого толка, поместье которой находится в той части королевства.

Сквейр умер вскоре после отправления вышеупомянутого письма; а что касается Твакома, то он продолжает быть священником в своем приходе. Он делал много бесплодных попыток вер-

нуть доверие Олверти и вкрасться в милость Джонса, льстя им обоим в глаза и понося их за спиной, но на его место мистер Олверти недавно взял к себе в дом мистера Абраама Адамса, которого Софья чрезвычайно полюбила и которому намерена поручить воспитание своих детей.

Миссис Фитцпатрик развелась со своим мужем и сохранила кое-какие остатки своего состояния. Она ведет широкий образ жизни в аристократической части Лондона и обнаружила большие экономические способности: проживает втрое больше своих доходов, не входя в долги. Она поддерживает самые короткие отношения с женой ирландского пэра и отплачивает ей дружескими услугами за все одолжения ее мужа.

Миссис Вестерн скоро помирилась с Софьей и провела у нее в деревне два месяца. Леди Бэлластон сделала Софье визит по возвращении ее в Лондон, причем обращалась с Джонсом как с незнакомым и очень учтиво поздравила его с женитьбой.

Мистер Найтингейл купил своему сыну поместье по соседству с землями Джонса, где молодой человек и поселился с женой, миссис Миллер и ее младшей дочерью, поддерживая дружеские отношения с семьей Джонса.

Что касается героев второстепенных, то миссис Вотерс возвратилась в деревню, получает от Олверти пенсию в шестьдесят фунтов и вышла замуж за священника Сапла, которому Вестерн предоставил, по просьбе Софьи, богатый приход.

Черный Джордж, прослышав о сделанном открытии, бежал и с тех пор не подает о себе никаких вестей. Присвоенные им деньги Джонс разделил между его женой и детьми, но не поровну: Молли получила больше всех.

Что касается Партриджа, то Джонс назначил ему пятьдесят фунтов в год; он снова открыл школу, встретив на этот раз гораздо больше сочувствия своему делу, чем прежде, и сейчас идут переговоры о бракосочетании его с миссис Молли Сигрим; благодаря посредничеству Софьи они, вероятно, закончатся успехом.

Возвратимся теперь к мистеру Джонсу и Софье, чтобы попрощаться с ними. Через два дня после свадьбы они уехали с мистером Вестерном и мистером Олверти в деревню. Вестерн уступил свое родовое именье и бóльшую часть своих земель зятю, а сам переселился в другую часть графства, где охота лучше. Он часто приезжает в гости к мистеру Джонсу, который, как и его жена, находит великое удовольствие в том, чтобы всячески ему угождать. Это им удается блестяще; по крайней мере, старик утверждает, что никогда еще не был так счастлив, как теперь. В доме Джонса для него отведены особая гостиная и приемная, где он напивается, с кем ему угодно, а дочь его по-прежнему готова ему играть, когда

он ни попросит: Джонс ее уверил, что после угождения ей для него нет большего удовольствия, как видеть счастливым старого сквайра; поэтому готовность Софьи угождать отцу дорога́ Джонсу почти так же, как и ее любовь к нему самому.

Софья уже подарила ему двух прелестных малюток, мальчика и девочку; старый сквайр настолько от них без ума, что по целым дням просиживает в детской, объявляя, что лепет маленькой внучки, которой скоро будет два года, для него слаще лая лучшей своры в Англии.

Олверти тоже щедро одарил Джонса после свадьбы и не упускает случая засвидетельствовать любовь к нему и к его жене, которая любит его, как отца. Порочные наклонности Джонса исчезли благодаря постоянному общению с этим достойным человеком и союзу с прекрасной и добродетельной Софьей. Размышляя о прежних своих безрассудствах, герой наш проникся скромностью и благоразумием, какие редко встречаются в человеке со столь живым темпераментом.

Словом, как нельзя сыскать людей достойнее этой любящей пары, так нельзя вообразить никого счастливее их. Они исполнены чистой и нежной любви друг к другу, которая растет и крепнет с каждым днем, поддерживаемая взаимной нежностью и взаимным уважением. Так же любезны и внимательны они к своим родным и друзьям, а их снисходительность, приветливость и щедрость по отношению к низшим таковы, что нет ни одного соседнего фермера, ни одного слуги, который горячо не благословлял бы день, когда мистер Джонс женился на своей Софье.

# ПРИМЕЧАНИЯ

«История Тома Джонса, найденыша» вышла в свет в Лондоне в начале 1749 года и в дальнейшем переиздавалась по первоначальному тексту. Фильдинг не успел исправить вкравшиеся в его работу ошибки (они отмечены в комментариях Франковского), поскольку роман появился всего за пять лет до смерти автора, к тому же сразу после выхода романа Фильдинг получил крупную судейскую должность, отнимавшую много времени; он с большим трудом осуществлял другие свои литературные планы, да и здоровье его к этому времени было уже подорвано.

На русский язык роман Фильдинга был впервые переведен в 1770 году Евсигнеем Харламовым, однако не с оригинала, а с французского перевода Делапласа. Перевод Харламова вышел в Петербурге в четырех томах. В 1787 году он был переиздан в Москве.

С оригинала «Тома Джонса» впервые перевел известный русский литератор А. Кронеберг. Его перевод был напечатан в V—XII книгах «Современника» за 1848 год, а год спустя опубликован в Петербурге отдельным изданием в двух томах.

Большим событием было появление в 1935 году (издательство «Academia», два тома) перевода А. Франковского, воспроизводимого в настоящем издании. А. Франковский принадлежит к числу классиков советской переводческой школы, а «История Тома Джонса» — самая значительная его работа. Сосредоточив свои усилия на переводе английских писателей XVIII века, А. Франковский был большим знатоком этой эпохи, и комментарии, которыми он снабдил свой перевод, также представляют собой значительную ценность. Для переводческой манеры А. Франковского характерна редкостная верность тексту и замечательная способность передавать стиль автора и дух эпохи при умении выразить все это современными средствами, избежать излишней усложненности и нарочитости.

Перевод А. Франковского переиздавался в 1954 и 1955 годах в Гослитиздате и в 1960 году в издательстве «Известия».

*Ю. Кагарлицкий*

Эпиграф на титульном листе: «Mores hominum multorum vidit» («Видел нравы многих людей») заимствован Фильдингом из «Поэтического искусства» Горация (ст. 141—142); в этих стихах Гораций дал вольный перевод вступительных стихов «Одиссеи» Гомера.

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Стр. 25. *Литтлтон Джордж* (1703—1773) — школьный товарищ Фильдинга по Итонскому колледжу, происходил из богатой и влиятельной аристократической семьи, виг. Был одним из лидеров так называемой «сельской партии» (существовала с 1731 по 1842 г.) — объединения вигов и тори, выступавших против премьер-министра Роберта Вальполя. Литтлтон покровительствовал литературе, сам писал стихи и исторические сочинения; материально помогал Фильдингу.

Стр. 26. *...два лица, послужившие мне образцом...*— Джордж Литтлтон и Ральф Аллен. Ральф Аллен (1694—1764), которому Фильдинг посвятил свой последний роман «Амелия», был, согласно признанию самого Фильдинга, редким исключением в среде представителей английской крупной буржуазии XVIII века. Сын содержателя гостиницы в провинциальном городке, Аллен начал свою карьеру с должности мелкого почтового служащего в Бате и кончил жизнь миллионером. Наряду с Литтлтоном Аллен послужил прототипом для сквайра Олверти. После смерти Фильдинга Аллен оказывал материальную помощь семье писателя.

*Герцог Бедфордский* (Джон Рессел, 1710—1771) — влиятельный член той же группы, к которой принадлежал Литтлтон. Вероятно, не без его содействия Фильдинг в 1748 году был назначен мировым судьей; позднее писатель жил в его доме на Боу-стрит.

*..великий поэт...*— Александр Поп (1688—1744), один из наиболее выдающихся представителей просветительского классицизма в английской литературе. Приведенный ниже стих заимствован из его «Эпилога к сатирам Горация» (ст. 135).

## КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 31. *Олдермен* — член городского управления, рангом ниже мэра.

Стр. 32. *Остро сказать...*— Цитата взята из стихотворного трактата Попа об искусстве поэзии, озаглавленного «Essay on Criticism» (ст. 297—298).

*Гелиогабал* — римский император (род. в 204 г., убит в 222 г. н. э.), был известен своим распутством. Вся первая глава книги представляет переработку письма, напечатанного 3 декабря 1745 года в газете «Истинный патриот», которая издавалась Фильдингом. Указанное письмо подписано псевдонимом «Гелиогабал» и, очевидно, принадлежит перу самого Фильдинга. Благодаря этому письму можно установить начало работы Фильдинга над «Томом Джонсом».

Стр. 36. *...на задке телеги!* — Со времен средневековья и до конца XVIII века приговоренных к наказанию преступников привязывали к задку телеги и секли всю дорогу, пока телега объезжала вокруг городской стены.

Стр. 48. *Фисба.*— Вавилонское сказание о несчастной любви Пирама и Фисбы увековечено в 1 веке н. э. римским поэтом Овидием в четвертой книге «Метаморфоз». Скрывая свои встречи от родителей, влюбленные устраивали свидания, переговариваясь сквозь щель в стене, которая разделяла их дома. Эту сцену Шекспир ввел в свою комедию «Сон в летнюю ночь» (действие V, сцена 1), откуда и взято упомянутое восклицание.

Стр. 49. *Тизифона* — одна из трех эринний, или, в римской мифологии, фурий, богинь подземного царства (Тартара), мстительниц за преступления (г р е ч. м и ф.).

Стр. 55. *Методизм.*— Методисты — религиозная секта, образовавшаяся в Англии в 30-х годах XVIII века. Она была основана группой студентов-богословов Оксфордского университета во главе с братьями Весли (особенное значение имеет организаторская деятельность старшего брата, Джона, 1703—1791) и Джорджем Витфильдом (1714—1770). Методизм ставил себе целью строгое соблюдение внешнего благочестия, регламентацию частной жизни (отсюда и его название), а также проповедовал воздержание и умеренность, осуждая праздность, роскошь и разврат. Фильдинг отрицательно относился к методизму (ср. его выпад против Витфильда — кн. VIII, гл. 8), порицая в нем главным образом лицемерие и ханжество. Награждая капитана Блайфила этими качествами, он не забыл наделить его пристрастием к методизму.

Стр. 57. *Хогарт* (1697—1764) — английский художник, друг Фильдинга, известный главным образом своими сатирическими и нравоучительными гравюрами; упоминаемая здесь гравюра «Утро» входит в цикл Хогарта «Времена дня».

*Аэндорская волшебница.*— В Библии (Первая книга Царств, гл. 28) содержится рассказ о том, что Аэндорская волшебница, по просьбе Саула, вызвала накануне битвы с филистимлянами призрак умершего пророка Самуила, и тот предсказал Саулу поражение и смерть.

Стр. 58. *Nolo episcopari...* (не желаю быть епископом) — формула, которой католические священники обязаны троекратно отвечать на предложение церковных властей возвести их в епископский сан; только выполнив этот обряд, они могут согласиться на повышение.

## КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 67. *Ad confligendum...*— Лукреций, «О природе вещей» (III, 833—837), перевод Ф. А. Петровского.

Стр. 68. *Гильдхолл* — лондонская ратуша.

Стр. 71. *Учебные заведения в Итоне и Вестминстере* — старинные ан-

глийские аристократические школы; основаны в XV и XVI веках. В первой из них учился Фильдинг.

Стр. 71. «*Путь прелестницы*» — серия гравюр Хогарта.

Стр. 73. *...ревностию жить...*— цитата из «Отелло» Шекспира (действие III, сцена 3).

*...leve fit...*— Овидий, «Любовные элегии» (I, 2, 10).

Стр. 74. *Джон Фр...*— Джон Фрик (1688—1756), известный лондонский хирург, занимавшийся психологией и физикой.

Стр. 88. *Годли* Бенджамин (1676—1761) — выдающийся английский богослов-полемист, рационалист.

Стр. 92. *Ти secanda marmora...*— Гораций, «Оды» (II, 18, 17—19).

## КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 102. *Индийские банианы* — индийские купцы-брамины, торговавшие главным образом за пределами Индии. Фильдинг намекает здесь на веру браминов (не только банианов) в переселение душ, следствием которой является их бережное отношение к животным и воздержание от мясной пищи. Европейцам, торговавшим с Индией, прежде всего приходилось сталкиваться с банианами, и это слово долгое время было синонимом брамина.

*Fruges consumere...*— Гораций, «Послания» (I, 2, 27).

Стр. 106. *Коук* Эдуард (1552—1634) — основатель современного английского гражданского права, автор «Уставов» («Institutiones») в четырех томах, первый том которых является комментарием к упомянутому трактату Литтлтона.

*Литтлтон* Эдуард (1589—1645) — английский юрист, написавший на так называемом юридическом французском языке трактат «О владении», который и до сих пор служит основой английского законодательства о собственности.

Стр. 122. *Проповеди Тиллотсона.*— Тиллотсон Джон (1630—1694) — проповедник-рационалист.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 129. *...по мнению нашего знаменитого поэта.*— Имеется в виду Сэмюель Батлер (1612—1680) — автор поэмы «Гудибрас», в которой он осмеивает революционных буржуа-пуритан.

«*Герлотрамбо*» — нелепая по своему содержанию пьеса танцмейстера и актера Сэмюеля Джонсона (1691—1773). Одна из первых комедий Фильдинга, «Авторский фарс» (1730), являлась пародией на эту пьесу.

Стр. 130. *...слепой мистера Локка...*— Рассуждая о том, что простые идеи (то есть ощущения) не поддаются определению, Джон Локк (1632—1704), один из основоположников английского эмпиризма, приводит в качестве примера слепого человека, вообразившего, будто он понял, что такое пунцовый цвет, и на вопрос, как же он его себе представляет, отвечал: «Он похож на звук трубы» («Опыт о человеческом разуме», кн. 3, гл. 4, § 11).

Стр. 132. *Гендель* Георг Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор, саксонец, живший в Лондоне с 1713 года. Фильдинг не раз упоминает его в качестве непререкаемого авторитета в вопросах музыки.

*Гемптон-Корт* — дворец в окрестностях Лондона, служивший резиденцией английских королей, в частности, Карла II Стюарта (1630—1685). В Гемптон-Корте он устроил, между прочим, гарем, славившийся упоминаемыми здесь красавицами, образовавшими так называемый «Млечный Путь».

*Леди Черчилль* (1648—1730) — сестра знаменитого полководца Джона Черчилля, известного в истории под именем герцога Мальборо. Арабелла Черчилль была долгое время любовницей Карла II Стюарта и входила в число красавиц «Млечного Пути».

*Кит-Кэт* — литературный клуб вигов, существовавший в Лондоне с 1700 по 1720 год; его члены собирались одно время в кондитерской Кристофера Кэта (сокращенно Кит-Кэт).

*Рочестер* Джон Вильмот (1648—1680) — сатирический и лирический поэт, придворный Карла II, отличавшийся остроумием и распутством.

*Леди Ранела* — дочь ирландского лорда, графа Ричарда Ранела; *герцогиня Мазарини* Гортензия (1646—1699) — племянница кардинала Мазарини, первого министра Франции; разойдясь с мужем, жила в Англии при дворе Карла II. Обе принадлежали к «Млечному Пути».

*...на ту, чей образ...*— намек на Шарлотту Крейдок, первую жену Фильдинга.

Стр. 133. *Саклинг Джон* (1609—1642) — лирический поэт и драматург, подражатель Донна.

*Рот ал...*— перевод Вс. Рождественского.

*Донн* Джон (1573—1631) — английский поэт; возглавлял школу так называемых «метафизических поэтов», в творчестве которых наиболее полно сказался кризис гуманистических идей эпохи Возрождения. Стихи Донна, и в особенности его последователей, трудны для понимания, форма их чрезвычайно усложнена. Цитата взята из стихотворения, озаглавленного «Anniversary» («Годовщина»); перевод Вс. Рождественского.

*Nitor splendens...*— несколько измененные Фильдингом стихи Горация:

Urit me Glycaerae nitor
Splendentis pario marmore purius,—

то есть: «Жжет меня блеск Глицеры, сверкающей чище паросского мрамора» («Оды», I, 19, 5—6).

Стр. 136. *Брут Старший* Люций Юний — легендарный герой римской истории; согласно Титу Ливию, возглавлял восстание против Тарквиния Гордого и являлся одним из создателей Римской республики. Когда сыновья Брута приняли участие в заговоре с целью восстановить царскую власть, отец без колебания приговорил их к смертной казни.

Стр. 137. *Брут Младший* Марк Юний (86—42 гг. до н. э.) — племянник Катона, убийца Цезаря, сторонник республики и борец против тирании.

Стр. 139. *Parva leves...* — Овидий, «Искусство любви» (I, 159).

Стр. 144. *Пресловутый сундучник.* — Здесь Фильдинг намекает на статью Аддисона в «Зрителе» (№ 235, 1711 г.), в которой дано ироническое описание театрального клакера, называвшегося в те времена «сундучником с верхней галереи»: удары по скамье, производимые клакером в знак одобрения, напоминали стук, доносившийся из мастерской сундучника.

*Лорд верховный канцлер* — верховный судья и спикер (председатель) палаты лордов.

Стр. 145. *Конгрив* Уильям (1670—1729) — крупнейший английский драматург эпохи Реставрации. Фильдинг признавал Конгрива как большого мастера языка и комедийной интриги.

Стр. 148. *Конклав* — собрание кардиналов для избрания папы.

Стр. 149. *Гудибрас* — рыцарь, герой одноименной поэмы английского поэта Батлера (см. прим. к стр. 129).

*Трулла* — мужеподобная воительница, персонаж из той же поэмы.

Стр. 155. *Мистер Фрик* — лондонский хирург, на которого Фильдинг уже однажды ссылался (см. прим. к стр. 74). Фрик, между прочим, занимался изучением электричества и в 1748 году (то есть за год до появления «Тома Джонса») выпустил сочинение под заглавием: «Опыт объяснения причины электричества». Именно эту книгу и имеет в виду Фильдинг, упоминая здесь о ее новом издании.

Стр. 156. *Rara avis...* — Ювенал, «Сатиры» (VI, 165).

Стр 157. *Ingenui vultus...* — Ювенал, «Сатиры» (XI, 154).

Стр. 161. *...обозначить... коротким словечком.* — Подразумевается слово «lie» — ложь.

Стр. 162. *Стиль Ричард* (1672—1729) — английский публицист, критик и драматург, редактор известных нравоучительных журналов «Болтун» и (совместно с Аддисоном) «Зритель»; является одним из основоположников буржуазной журналистики в Европе.

Стр. 167. *Осборн* Франсис (1593—1659) — английский публицист, в молодости служил конюхом у графа Пемброка. Цитата заимствована из популярного сочинения Осборна «Совет сыну» (1656).

*«Скромность и храбрость...»* — Цитата заимствована из третьей книги «Политики» Аристотеля, в которой автор рассуждает о гражданских и личных добродетелях.

*Бейль* Пьер (1647—1706) — французский писатель-скептик, предшест-

венник идеологов революционной французской буржуазии, автор знаменитого «Исторического и критического словаря», который имеет здесь в виду Фильдинг.

Стр. 169. «*...сидел, как статуя...*»—Из «Двенадцатой ночи» Шекспира (действие II, сцена 4), реплика Виолы.

## КНИГА ПЯТАЯ

Стр. 175. *Древний критик.*— Имеется в виду Аристотель и его «Поэтика».

Стр. 177. *Inventas qui vitam...*— Вергилий, «Энеида» (VI, 661).

Стр. 178. *Indignor, quandoque...*— Гораций, «Искусство поэзии» (359—360).

*Олдмиксон* Джон (1673—1742) — бездарный английский историк, осмеянный А. Попом в «Дунсиаде», откуда и взята цитата.

*Писатель-шутник.* — Имеется в виду Ричард Стиль (см. прим. к стр. 162).

Стр. 180. «*Тускуланские исследования*» (Tusculanae quaestiones) — морально-философский трактат виднейшего римского оратора I века до н. э. Цицерона, в пяти частях или книгах. Тема второй книги: является ли боль злом?

*Лорд Шефтсбери* (1671—1713) — английский философ, родоначальник одного из двух ведущих направлений так называемой «этической философии» XVIII века, основным тезисом которого было: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Шефтсбери много писал по вопросам эстетики.

Стр. 187. *...captique dolis...*— Вергилий, «Энеида» (II, 195—198), перевод В. Брюсова.

Стр. 190. *Прописная греческая дельта.* — Буква «дельта» имеет форму треугольника.

Стр. 197. *Спартанская покража.*— Стремясь привить своим детям наряду с прочими воинскими доблестями сообразительность и хитрость, спартанцы разрешали им воровать при одном лишь условии — не попадаться, в противном случае детям грозило суровое наказание. Легенда рассказывает, что спартанский мальчик, укравший лисицу, спрятал ее за пазуху и спокойно отвечал на задаваемые ему вопросы, в то время как лисица терзала ему грудь. В данном случае автор намекает на это предание.

Стр. 200. *Доктор Мизобен* (ум. в 1734 г.) — француз, живший в Лондоне и получивший здесь репутацию шарлатана. Фильдинг иронически посвятил ему свою переделку комедии Мольера «Врач поневоле» — «Лжедоктор» («The mock Doctor», 1732). Его же изобразил Хогарт на пятом листе упомянутой выше серии гравюр «Путь прелестницы» (см. прим. к стр. 71).

*Катон* — герой трагедии Аддисона (1672—1719) «Катон Утический» (1713). Катон Утический, или Младший (95—46 гг. до н. э.), защищал республ-

лику против диктаторских покушений Цезаря; покончил с собой в Утике (город в Африке) после сражения при Тапсе, где были окончательно разбиты республиканские войска. Трагедия Аддисона — образец просветительского классицизма в английской литературе. Отрывок «*Пускай вино иль страх...*» в переводе Вс. Рождественского.

Стр. 206. *...и все другие деисты...*— Допуская сотворение мира богом, деисты полагали, что мир управляется собственными законами и никакого сверхъестественного вмешательства в события и явления природы не существует.

Стр. 208. *Si nullus erit...*— Овидий, «Искусство любви» (I, 151). Фильдинг несколько изменяет стих Овидия в целях иронического эффекта. У Овидия этот стих читается так:

Et si nullus erit pulvis, tamen excute nullum,—

то есть: «И если не будет никакой пыли, все же стряхни несуществующую».

*Эсхин* — один из крупнейших древнегреческих ораторов, живший в начале IV века н. э.

Стр. 210. *Quis desiderio...*— Гораций, «Оды» (I, 24, 1—2).

Стр. 214. *Speluncam...* («К той же самой пещере Блайфил-вождь и богослов подходят...») — Фильдинг здесь пародирует Вергилия:

Speluncam Dido dux et Trojanus eandem // Deveniunt...

то есть: «К той же самой пещере Дидона и вождь троянский подходят...» («Энеида», IV, 165—166).

Стр. 215. *Procul, o procul...*— Вергилий, «Энеида» (VI, 258); перевод В. Брюсова.

*...Generi omni...*— Лукреций, «О природе вещей» (I, 4).

Стр. 218. *Пор* — индийский царь, взятый в плен Александром Македонским (327 г. до н. э.).

## КНИГА ШЕСТАЯ

Стр. 227. «*...вкладывать целый мир...*» — Шекспир, «Много шума из ничего» (действие II, сцена 1).

*...звук трубы* — намек на то же место из трактата Локка, что и в кн. IV, гл. 1 (см. прим. к стр. 130).

Стр. 228. *Рапен* Поль, де (1661—1725) — французский гугенот (протестант), покинувший родину после отмены Нантского эдикта и живший частью в Англии, частью в Голландии. В 1724 году в Гааге вышла его восьмитомная «История Англии».

*Ичард* Лоуренс (1670—1730) — английский писатель, автор многочисленных, но чрезвычайно слабых исторических сочинений.

Стр. 230. *Пресвитерианец* и *ганноверец*.— Брат и сестра Вестерн принадлежат к двум разным политическим партиям: он — тори, сторонник свер-

гнутой в 1688 году династии Стюартов, мечтающий об ее реставрации, что не раз проскальзывает в его речах, и враг пресвитериан, участвовавших в буржуазной революции; его сестра вращалась при дворе новой, Ганноверской династии (в то время правил второй ее представитель — Георг II), поддерживаемой вигами, которые выражали интересы буржуазии и части земельной аристократии.

Стр. 233. *Кроаты*, или хорваты— славянское племя, жившее в XVIII веке на границах Австрии и Турции. Кроатская конница, организованная наподобие казачьих частей в русской царской армии, входила в состав австрийских войск. В Англии той эпохи слово «кроат» было синонимом варвара.

*Императрица-королева* — Мария-Терезия, занимавшая в то время австрийский престол (1717—1780).

Стр. 234. *Гровенор-сквер*—площадь в аристократической части Лондона; *Брентфорд* — пригород Лондона. «*Вильтширская гостиница*».— Вильтшир — графство в западной части Англии.

Стр. 235. *Нищий-поэт.*— Имеется в виду гравюра Хогарта, созданная в 1736 году; на ней изображен поэт, пишущий на своем убогом чердаке стихотворение о богатстве.

Стр. 252. *Стрефон и Филида.*— Стрефон — пастушок из поэмы «Аркадия», написанной сэром Филиппом Сиднеем (1554—1586), английским поэтом елизаветинской эпохи; Филида — пастушка из «Буколик» Вергилия. В пасторальной поэзии оба имени стали условным наименованием влюбленных.

Стр. 253. *Петушиные бои* — популярное в старой Англии зрелище.

Стр. 254. *Александр и Клит.*— Имеются в виду Александр Македонский и Клит — один из выдающихся полководцев Александра Македонского, спасший ему жизнь в битве у Граника. Александр, будучи пьяным, заколол Клита во время возникшего между ними спора (328 г. до н. э.).

Стр. 262. *Ли* Натаниэль (1655—1691) — английский поэт и драматург периода Реставрации, отличавшийся пышным метафорическим стилем.

Стр. 269. *Круглые головы и ганноверские крысы.*—«Круглыми головами» назывались сторонники парламента и революции во время гражданской войны 1642—1649 годов. «Ганноверские крысы»— сторонники Ганноверской династии, занявшей английский престол в 1714 году.

## КНИГА СЕДЬМАЯ

Стр. 273. *Феспис* — греческий поэт, живший в VI веке до н. э.

*Сент-Джемс* — дворец, служивший во времена Фильдинга королевской резиденцией.

*Друри-лейн* — один из двух ведущих драматических театров Англии, носивших титул «королевских» (второй — Ковент-Гарден).

Стр. 274. *Лицемер.*— Лицемер по-гречески гипокрит — буквально: отвечающий; греческое слово, обозначавшее и актера и лицемера.

*...Подобна жизнь...*— Цитата из «Макбета» Шекспира (действие V, сцена 5).

*В тебе источник...*— Стихотворение третьестепенного поэта Сэмюеля Бойса (1708—1749); перевод Вс. Рождественского.

Стр. 275. *Гаррик* Дэвид (1717—1779) — великий английский актер, друг Фильдинга, много сделавший для возрождения на английской сцене подлинного Шекспира, дотоле подвергавшегося переделкам в духе классицизма, а также для утверждения реалистической манеры актерской игры. Гаррик обладал замечательным мимическим даром. Существует рассказ о том, что вскоре после смерти Фильдинга его друзья выразили однажды сожаление, что ни один художник не запечатлел лица писателя, и Гаррик тут же вызвался позировать Хогарту за своего покойного друга. Таково будто бы происхождение первого портрета Фильдинга в Собрании его сочинений, вышедшем в 1762 году.

*Сципион Великий* Эмилиан Младший (185—129 гг. до н. э.) — римский полководец, разрушитель Карфагена; был покровителем искусств и литературы, как и его друг Кай *Лелий Мудрый* (185—115 гг. до н. э.).

Стр. 276. *...nil admirari...*— Гораций, «Послания» (I, 6, 1).

Стр. 279. *...вроде Сократа, Алкивиада...*— Алкивиад (450—404 гг. до н. э.) — греческий политический деятель и полководец, был близок к Сократу и Платону, хотя сам отнюдь не был философом. Миссис Вестерн причислила его к философам лишь по своему невежеству. По невежеству делает она ссылку и на Сократа, который, как известно, никогда не пренебрегал мнением собеседника, а, напротив, всегда внимательно выслушивал его.

*Словарь Бейли.*— До выхода в свет знаменитого словаря С. Джонсона (1755) словарь Натана Бейли (ум. в 1742 г.) был самым распространенным английским толковым словарем.

Стр. 283. *Заморскими королями* (the king over the water) англичане называли короля Иакова II Стюарта, изгнанного в 1688 году за море, а также его сына и внука, претендентов на английский престол.

Стр. 296. *Кеведо*-и-Виллегас Франсиско (1580—1645) — испанский писатель, поэт и публицист, автор сатирического романа «История и жизнь великого Таканьо».

Стр. 298. *Сент-Джемский парк* — парк в Лондоне, расположенный к югу от Сент-Джемского дворца.

Стр. 304. *Квакер.*— Секта квакеров возникла в Англии в середине XVII века; основателем ее считается сапожник Джордж Фокс. Слово «квакер» значит: трясущийся; секта получила это название потому, что члены ее во время религиозных обрядов доводили себя до судорог. Эпизод с квакером введен Фильдингом с целью осмеять ханжество и лицемерие этих святош.

Стр. 306. *Широкополая шляпа* — прозвище, полученное квакерами за их головной убор, который они ни перед кем не снимали.

Стр. 308. *Герцог Камберлендский* (1721—1765) — третий сын занимавшего тогда английский престол короля Георга II. Здесь идет речь о возглавленной им экспедиции против так называемого Молодого Претендента (иначе: Молодого Кавалера) Карла-Эдуарда Стюарта, внука Иакова II, высадившегося в августе 1745 года у берегов Шотландии с целью захватить английский престол для своего отца Иакова-Эдуарда. Окруженный правительственными армиями, Молодой Претендент вынужден был отступить в Шотландию и здесь, при Куллодене, 16 апреля 1746 года был разбит правительственными войсками, сражавшимися под командой герцога Камберлендского. Фильдинг, понимая, что новая реставрация Стюартов повела бы к жестокой реакции, в своей публицистике деятельно выступал против них; с этой целью 5 ноября 1745 года он основал журнал «Истинный патриот». Своими политическими убеждениями Фильдинг наделяет и Тома Джонса.

Стр. 309. *...заслужил алебарду...*— Алебарда была в то время отличительным знаком сержанта.

Стр. 311. *...гогочущими гусями...*— На самом деле Гомер сравнивает воинственные крики троянцев с криком журавлей, а не гусей («Илиада», III, 1—4).

Стр. 312. *Кордериус* — латинизированная фамилия Кордье Матюрена (1478—1564), французского педагога эпохи Возрождения, автора весьма популярного учебника латинского языка, которым долго пользовались в английской школе.

Стр. 313. *...в каком колледже?* — Старейшие английские университеты состоят из нескольких колледжей.

*Бридж-стрит* — улица в Лондоне.

Стр. 317. *...за одни окна...*—До 1851 года английские домовладельцы облагались налогом по числу окон, выходящих на улицу.

Стр. 319. *Сак-вей* — напиток из белого вина с сывороткой.

Стр. 322. *Сражение при Леттингене* (деревня в Баварии).— В этом сражении 29 июня 1743 года соединенная англо-австрийская армия под командованием короля Георга II разбила французов, после чего они принуждены были отвести свои войска за Рейн (эпизод из так называемой войны за австрийское наследство).

Стр. 324. *Окровавленный призрак Банко* — образ, заимствованный из трагедии Шекспира «Макбет».

Стр. 327 *...насчет известного деревянного сооружения...*— Имеется в виду виселица.

## КНИГА ВОСЬМАЯ

Стр. 333. *Дасье* Андре (1651—1722) — французский филолог, автор многочисленных переводов из древних писателей и комментариев к ним.

Стр. 334. *Феаки* — легендарный народ; к феакам был выброшен морем герой Гомера Одиссей, или Улисс. О большей части своих сказочных приклю-

чений (встреча с циклопом Полифемом, волшебницей Цирцеей, превратившей спутников Улисса в свиней, и проч.) Улисс рассказывает приютившим его феакам. Эта особенность в построении гомеровской поэмы и дала повод А. Попу высказать свое предположение.

Стр. 334. *Геликон* — посвященная музам гора в Беотии (Греция), из которой бил ключ *Гипокрена* — символ поэтического вдохновения.

Стр. 335. *Арриан* Флавий (II в. н. э.) — греческий историк, от которого до нас дошла история Александра Македонского.

*Джордж Вильерс*, герцог Бэкингем (1627—1687) — фаворит Иакова I и Карла I Стюартов, один из авторов знаменитой театральной пародии «Репетиция» (1671), в которой высмеивалась эстетика трагедии эпохи Реставрации.

«*История революции*».— Фильдинг имеет здесь в виду сочинение Эд. Гайда графа Кларендона (1608—1674), «История великого мятежа». Кларендон сам участвовал в гражданской войне на стороне короля, и его «История» проникнута реакционной тенденцией.

*Дреленкур* Шарль (1595—1669) — французский богослов-протестант. Фильдинг имеет здесь в виду его сочинение «О страхе смерти», переведенное на английский язык; к четвертому изданию этого перевода, вышедшему в 1706 году, автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо приложил свой рассказ о «Привидении миссис Вилль», составленный им якобы на основании документальных данных.

Стр. 337. *Но если, с другой стороны...*— Вся эта тирада — прозрачный намек на Ральфа Аллена, о котором см. прим. к стр. 26.

*Quis credet. ...*— Измененные слова Персия (Сатира I, 1—2);

> Quis leget haec? — Min tu istud ais? Nemo hercule. — Nemo? Vel duo, vel nemo...
>
> Кто это станет читать? — Вот это? Никто! — Ты уверен? — Двое или вовсе никто... *(Перевод Ф. А. Петровского)*

Стр. 338. *Rarae aves...*— Ювенал, «Сатиры» (VI, 165).

*Антонин* Пий (86—161) — римский император, отличавшийся мягким характером; был полной противоположностью прославившемуся жестокостью Нерону (правил в 54—68 гг.).

*Тайберн* — площадь в западной части Лондона, на которой до 1783 года публично совершались казни.

Стр. 339. *...в пятой главе Батоса...*— Фильдинг имеет в виду рассуждение Попа под заглавием «Martinus Scriblerus, или Искусство погружаться в поэзию», появившееся в 1728 году во втором томе сборника «Смесь», который издавался Попом в сотрудничестве со Свифтом. Греческое слово «батос» в переводе на русский означает «глубина». В своем сатирическом трактате автор пародирует очень популярное в это время сочинение греческого ритора и грамматика Лонгина (III в. н. э.) под заглавием «О возвышенном»; с тех пор

слово «батос» вошло в английский язык для обозначения ложной глубины, напыщенности. Martinus Scriblerus (Мартин Скриблерус)— коллективный псевдоним группы писателей, в которую входили Поп, Свифт, Арбетнот и основатель сатирической демократической комедии в Англии XVIII века Джон Гей.

Стр. 344. *Багдадский цирюльник* — персонаж из «Тысячи и одной ночи» (ночь 31-я и следующие).

Стр. 346. *Non omnia...*— Вергилий, «Буколики» (VIII, 63).

*...hinc illae...*— Теренций, «Андриа» (I, 1, 99).

*...везти уголь в Ньюкасл.*— Около Ньюкасла находятся знаменитые угольные копи.

Стр. 347. *...lucus a non lucendo...*— Слово «роща» (lucus) происходит от отсутствия в ней света (a non lucendo). Ходячий школьный пример нелепой этимологии «по противоположности», приводимой многими римскими филологами.

Стр. 349. *Non, si...* («Если нынче дела обстоят плохо, отсюда не следует, что так будет и впредь») — Гораций, «Оды» (II, 10, 17).

Стр. 352. *...tempus...*— Овидий, «Метаморфозы» (XV, 234).

*Erasmi «Colloquia»* (1518) — диалоги голландского гуманиста Эразма Роттердамского (1467—1536), направленные против средневекового обскурантизма и суеверий; одна из самых популярных книг эпохи Возрождения. *«Gradus ad Parnassum»* («Лестница на Парнас», 1702) — учебник стихосложения, написанный немецким иезуитом Паулем Алером. *Стоу* Джон (1525—1605) — английский историограф; первую половину жизни был портным. *«Зритель»* (1711—1714) — правоучительный журнал Стиля и Аддисона. *Ичард* (см. прим. к стр. 228). *Фома Кемпийский* (1379—1471) — немецкий мистический писатель, которому приписывают книгу «Подражание Христу». *Том Браун* (1663—1704) — английский публицист, сатирик и поэт. «Его сатирические произведения замечательны больше грубостью, чем остроумием»,— характеризует его биограф.

Стр. 354. *Infandum, regina...*— Вергилий, «Энеида» (II, 2), перевод В. Брюсова.

Стр. 356. *Nil desperandum...*— Гораций, «Оды» (VII, 27).

*Тевкр* — древнегреческий мифический герой, удачливость которого вошла в поговорку.

Стр. 360. *Витфильд* Джордж (1714—1770) — один из основателей методизма (см. прим. к стр. 55), родом из Глостера, сын кабатчика. Фильдинг не упускает случая посмеяться над методистами, так же как и над квакерами (ср. кн. VII, гл. 10).

Стр. 367. *Принц Карл* — Карл-Эдуард, сын претендента на английский престол Иакова-Эдуарда Стюарта (см. прим. к стр. 308). Чтобы сделать сына более популярным в Англии, Претендент, будучи католиком, воспитал его в протестантской вере. Наделяя простоватого Партриджа торийскими убеждениями, Фильдинг тем самым их осмеивает.

Стр. 367. *Якобит*—сторонник свергнутой династии Стюартов (от имени последнего короля из этой династии Иакова и его сына Иакова-Эдуарда, претендовавшего на английский престол).

*Бриарей* — согласно древнегреческой мифологии, великан, сын неба и земли, у которого было пятьдесят голов и сто рук.

*Чудовище Вергилия* — Молва («Энеида», IV, 173—192).

Стр. 371. *Отвей* Томас (1652—1685) — драматург периода Реставрации; его трагедия «Сирота» (1680) долго пользовалась успехом на английской сцене.

*...ее повесили бы без всяких улик...*— Намек на обычные в то время процессы ведьм.

Стр. 377. *Черный понедельник* — на школьном жаргоне: первый понедельник после каникул.

Стр. 378. *Вице-канцлер.*— Подразумевается вице-канцлер университета.

Стр. 381. *Habeas corpus* — гарантия неприкосновенности личности, введенная в Англии в XV веке; носила первоначально характер приказа, обязывающего доставлять всякого арестованного в суд с непременным указанием времени и основания ареста. Постепенно эта судебная практика получила силу закона (1679 г.), который в периоды реакции правительство неоднократно обходило.

Стр. 384. *Леденгольский рынок*—лондонский мясной рынок. Effodiuntur opes, irritamenta malorum. (Люди копают землю, добывая золото, семя зол.) — Овидий, «Метаморфозы», I, 140.

*Внутренний Темпл* — одна из четырех старинных юридических школ в Лондоне; здание, в котором она помещается, некогда принадлежало ордену тамплиеров.

Стр. 392. *Fortis...*— Гораций, «Сатиры» (II, 7, 86—88).

Стр. 396. *Герцог Монмутский* (1649—1685) — побочный сын английского короля Карла II Стюарта. После смерти Карла II в 1685 году ему наследовал его брат, Иаков II, стремившийся восстановить абсолютизм и католичество в Англии. Монмут, находившийся в момент смерти отца в Голландии, решил воспользоваться обстоятельствами и отнять престол у своего дяди. С этой целью он высадился в Англии, рассчитывая, что преданностью протестантству, а также обещанием соблюдать вольности Англии сумеет привлечь на свою сторону большинство населения. Однако его планы не оправдались: при вступлении на престол Иаков дал упомянутую в тексте присягу и в первые месяцы царствования располагал поддержкой широких слоев общества. Монмут потерпел неудачу и был казнен.

*...изгнали этого короля...*— Изгнание Иакова II произошло 23 декабря 1688 года, через три года после неудачного выступления герцога Монмутского.

Стр. 397. *...два восстания ..*— Первое восстание произошло в 1715—1716 годах, когда сын Иакова II высадился в Шотландии, но потерпел неудачу; о втором идет речь в тексте.

*Сражение при Седжмуре.*— Во время этого сражения (6 июля 1685 года) был разбит герцог Монмутский.

Стр. 399. ...*Les laquais à louange.*— Вероятно, Фильдинг хотел сказать: laquais de louage, то есть — наемные лакеи. Слово louange значит — хвала.

## КНИГА ДЕВЯТАЯ

Стр. 407. ...*редактор «Зрителя».*— На самом деле их было два: Стиль и Аддисон (см. прим. к стр. 352).

Стр. 408. *Роу* Николас (1674—1718) — английский драматург, один из первых редакторов-издателей сочинений Шекспира.

...*по словам Горация*...—Гораций, «Послания» (I, 19, 12). *Scribimus*...— Гораций, «Послания» (II, 1, 115).

...*говорили в другом месте.*— Во вступительных главах к книгам I и VII и других частях романа.

Стр. 410. *Миллер* Филипп (1691—1771) — английский ботаник, директор Аптекарского сада в Лондоне; составил словари растений, переведенные на другие европейские языки.

*Сиббер* Сюзанна (1714—1766) — актриса театра Друри-лейн.

*Клайв* Катерина (1711—1785) — актриса того же театра. О ней сохранились восторженные отзывы Гаррика, Генделя и других видных людей того времени; исполняла ряд ведущих ролей в пьесах Фильдинга.

Стр. 415. *Орфей и Эвридика.*— По греческой мифологии, музыкант Орфей, лишившись жены своей Эвридики, спустился за ней в царство усопших. Очарованные его пением властители подземного царства согласились отпустить Эвридику с условием, чтобы Орфей шел впереди и не оглядывался. Это условие не было соблюдено Орфеем, и он навсегда лишился жены. Фильдинг использовал этот сюжет в своем фарсе «Эвридика» (1737).

Стр. 418. *Фалестрида* — царица амазонок, будто бы предложившая помощь Александру Македонскому в его борьбе против персов (г р е ч. м и ф.).

Стр. 419. *Беллона* — римская богиня войны.

Стр. 422. *Затем он предложил совершить возлияние*...—У древних греков и римлян ритуал возлияния составлял обыкновенно часть жертвоприношения. У римлян он заключался в том, что жрец, а затем и остальные участники обряда отпивали по очереди вино из чаши, а остатки его выливали между рогов жертвенного животного. Возлияния богам совершались также во время пиршеств.

Стр. 425. ...*полюбила в общепринятом теперь значении этого слова*...— См. кн. VI, гл. 1.

*Пасифая* — мифическая царица Крита, воспылавшая любовью к быку и родившая Минотавра — полубыка-получеловека.

Стр. 426 ...*dignus vindice nodus*...— подразумевается: путем божественного вмешательства (Гораций, «Искусство поэзии», 191).

Стр. 439. *...некоторых редакторов его сочинений.*— Известно, что тексты произведений Шекспира дошли до нас в неудовлетворительном состоянии. Научные комментированные издания его сочинений начинают появляться лишь с 1709 года. До 1749 года (время выхода в свет «Тома Джонса») было опубликовано пять таких собраний сочинений.

Стр. 440. *Дидона* — легендарная финикиянка, дочь царя Тира; согласно легенде, оставшись вдовой, переселилась в Африку, основала там город Карфаген и стала его царицей. Вергилий в «Энеиде» рассказывает, что сын троянского царя Приама Эней был заброшен бурей к берегам Африки и встретил здесь радушный прием у Дидоны; выслушав повесть о его злоключениях, она воспылала к нему любовью и, когда он покинул ее, лишила себя жизни.

*Далее. Мы всячески убеждаем тебя... или такой дьявольской порочности...*—Абцаз этот является довольно прозрачной полемикой с Ричардсоном, который в своих романах резко делил характеры на добродетельные и порочные.

*Nulla virtute...*— Ювенал, «Сатиры» (IV, 1).

Стр. 441. *...quas humana...*— Гораций, «Искусство поэзии» (353).

Стр. 443. *Бэн* Афра (1640—1689) — английская писательница, проведшая молодость в Южной Америке, в Суринаме (Гвиана); по возвращении оттуда писала пьесы для театра, стихи и романы. В наиболее известном из ее романов, «Оруноко», рассказывается история любви африканского князя Оруноко, работавшего невольником на плантациях и возглавившего восстание негритянских невольников. Этой книгой Бэн Афра впервые привлекла внимание европейских читателей к тяжелому положению негров-рабов в Америке.

Стр. 450. *Миссис Хасси* — портниха, действительно жившая в Лондоне и пользовавшаяся большой известностью. Существует рассказ, что Фильдинг обещал вывести ее в «Томе Джонсе», но позабыл об этом и лишь в последнюю минуту, когда книга была уже в наборе, внес ее имя в текст.

Стр. 452. *Авигея* — библейский персонаж (Первая книга Царств, XXV), одна из жен-рабынь Давида; имя ее (Эбигейл) стало в Англии нарицательным для горничной, камеристки.

Стр. 455. *Non omnia...*— Вергилий, «Эклоги» (VIII, 63).

Стр. 458. *...за здоровье короля Георга...*— то есть занимавшего тогда английский престол Георга II. Симпатии тори Партриджа на стороне вторгшегося в Англию Молодого Претендента Карла-Эдуарда, внука Иакова II Стюарта.

Стр. 463. *Бедлам* (искаженное Вифлеем) — больница для умалишенных в Лондоне. Первоначально помещалась в монастыре ордена Вифлеемской звезды, имущество которого было конфисковано Генрихом VIII в 1547 году и передано лондонскому городскому управлению; позднее несколько раз ме-

няла место. Слово «бедлам» стало в Англии и за ее пределами нарицательным для обозначения сумасшедшего дома.

Стр. 466. *(Точь-в-точь таков...* — Шекспир, «Генрих IV» (часть 2-я, действие I, сцена 1), слова графа Нортумберлендского.

Стр. 467. *Гилас* — прекрасный юноша, любимец Геракла, взявшего его с собой в поход аргонавтов за золотым руном. Во время стоянки в Мизии (Малая Азия) Гилас, посланный за водой, был увлечен нимфами источника, в который он погрузил свой кувшин. Его исчезновение настолько опечалило Геракла, что он покинул экспедицию. Эта история вдохновила многих античных поэтов; наиболее красочно изложена она в одной из идиллий Феокрита (г р е ч. м и ф.).

Стр. 468. *Салический закон* — древний кодекс так называемых салических франков, преимущественно уголовный (возник в VI в. н. э.). 59-я его статья запрещала переход салических земель во владение женщине. В XIV веке статья эта стала истолковываться как запрещение женщине занимать французский престол. Миссис Вестерн считает, что Салический закон ставит женщин в зависимое положение от мужчин.

Стр. 469. *Аррия* — римская матрона, прославившаяся своим мужеством. Чтобы подать пример мужу своему Петру, приговоренному к смерти за участие в заговоре Скрибониана против императора Клавдия, она вонзила себе в грудь кинжал, а затем передала его мужу со словами: «Петр, мне не больно».

## КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Стр. 477. *Вестминстер-Холл* — древнейший, уцелевший до сих пор зал Вестминстерского дворца — здания, где помещался английский парламент; в нем происходили также заседания Верховного суда. В теперешнем здании Вестминстерского дворца, построенного на месте сгоревшего в 1834 году, этот зал служит вестибюлем.

Стр. 478. *Кошель стащить...* — Шекспир, «Отелло» (действие III, сцена 3).

Стр. 479. *Аристотель* — здесь упомянут как автор «Поэтики»; *Гораций* — как автор «Искусства поэзии»; *Лонгин* (греческий филолог и ритор III в.) — как автор трактата «О возвышенном»; *Дасье* Андре, французский филолог, — как комментатор древних авторов; *Боссю* (правильнее ле Боссю) Рене (1631—1680) — как автор популярного в конце XVIII века «Трактата об эпической поэзии» (1675).

Стр. 480. *...я смело могу... протестовать против хулы людей... эпитетом «низкий» — вовсе неприличным в устах критика, если только он не сиятельная особа.* — Эти слова направлены, по-видимому, против Ричардсона, который в письмах к своим поклонницам (об их содержании Фильдинг мог знать от своей сестры Сары, находившейся в переписке с Ричардсоном) осуждал Фильдинга как писателя «низкого» и отказывался читать его.

Стр. 480. *Verum ubi...*— Гораций, «Искусство поэзии» (351—353).

*...aliter...*— Марциал, «Эпиграммы» (I, 17, 1).

Стр. 481. *...послушать некоторых критиков и некоторых набожных христиан...*— Выпад против Ричардсона и его морализаторских тенденций.

*Северн* — река в западной Англии, приток Эйвона, на которой стоит город Ворчестер.

Стр. 485. *Молодой Кавалер* — Карл-Эдуард Стюарт. Армия герцога — правительственная армия под командой герцога Камберлендского (см. прим. к стр. 308).

Стр. 486. *Суффолк* — графство к северо-востоку от Лондона, у берегов Немецкого моря.

*Дженни Камерон* — любовница Карла-Эдуарда Стюарта.

Стр. 491. *Макиавелли* (1469—1527) — флорентийский историк, писатель и дипломат, стремившийся к установлению сильной власти и уничтожению феодальной раздробленности Италии. Некоторыми идеями Макиавелли воспользовались впоследствии для оправдания политики, свободной от всяких принципов.

Стр. 492. *Нэш* Ричард (1674—1762) — светский щеголь, так называемый «король Бата», модного английского курорта, где процветали всякого рода увеселения. Нэш добывал средства карточной игрой. Он любил предостерегать молодых девушек против подобных ему авантюристов. Эта ситуация и изображена здесь Фильдингом.

Стр. 495. *Чеймонт* — персонаж из драмы Отвея «Сирота» (см. прим. к стр. 371).

Стр. 502. *«История Франции» Даниэля. ...*— сочинение французского иезуита и придворного историографа Людовика XIV Г. Даниэля (1649—1728), вышла в 1717 году.

*«Атлантида»* (полное заглавие: «Секретные мемуары некоторых знатных особ, или Скандальная хроника новой Атлантиды, острова на Средиземном море», 1709) — памфлет английской писательницы Мэри Манли (1672—1724), разоблачавший частную жизнь тогдашних министров-вигов.

*Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт, драматург и критик, основоположник трагедии эпохи Реставрации. Находился под сильным влиянием французского классицизма.

*Чиллингворт* (1602—1644) — английский богослов. Особенной популярностью пользовалось его апологетическое сочинение «Протестантская религия — верный путь к спасению».

*Графиня д'Онуа* (ум. в 1705 г.) — французская писательница, автор романов, мемуаров, а также волшебных сказок.

Стр. 507. *Биллингсгейтский рынок* — центральный рыбный рынок в Лондоне.

Стр. 509. *Элен Гуин* (1650—1687) — английская актриса, любовница Карла II. Она была одной из первых актрис, выступавших на английской сцене, раньше женские роли исполнялись мужчинами.

*Доктор Чейн* Джордж (1671—1743) — шотландский врач; в молодости вел разгульную жизнь и подорвал свое здоровье, после чего переселился из Лондона в Бат, стал соблюдать режим и написал ряд популярных сочинений, в которых рекомендовал умеренность, вегетерианство, воздержание от спиртных напитков и т. д. Фильдинг намекает именно на эту сторону его биографии.

Стр. 515. *Эшер* — местечко к югу от Лондона, получившее известность благодаря находившемуся здесь дворцу кардинала Вольси (1471—1530), министра Генриха VIII. *Вильтон* — город в западной части Англии, поблизости от Солсбери, где находится известный дворец XVI века (Вильтон-Хаус), принадлежавший графам Пемброк. *Истбери* — город, живописно расположенный на южном побережье Англии; кроме средневековых зданий, в нем сохранились развалины римских построек. *Прайорс-Парк* — усадьба в окрестностях Бата, принадлежавшая тогда Ральфу Аллену (см. прим. к стр. 26).

## КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Стр. 523. *Банье* Антуан (1673—1741) — аббат, член Парижской академии надписей; его сочинение «Мифология и сказания, объясненные исторически» выдержало много изданий.

Стр. 525. *Мистер Мур*, или Смайс Джемс (1702—1734) — светский молодой человек, прожигатель жизни. Теснимый кредиторами, он для поправления своих денежных дел написал комедию «Соперничество мод» (1726). Мур попросил у А. Попа разрешения вставить в свой текст несколько его стихов. А. Поп дал разрешение, но в последнюю минуту взял его обратно. Однако комедия вышла в свет со стихами, что дало повод поэту для желчных выпадов против Мура, на которые тот не отвечал.

Стр. 526. *Роджер Л'Эстрендж* (1616—1704) — торийский журналист и публицист; ему принадлежит также обширный сборник басен («Басни Эзопа»), переведенный на многие языки, в том числе и на русский (1760 г.).

Стр. 531. *Dulce et decorum...*— Горацнй, «Оды» (III, 2, 13—16).

Стр. 532. *Vir bonus...*— Гораций, «Послания» (I, 16, 40).

Стр. 534. *Orandum est...*— Ювенал, «Сатиры» (X, 356).

Стр. 537. *Корона и гроб* — герб Претендента.

Стр. 538. *«Остроумное и серьезное действо об оскорбленном муже»* (1728) — комедия Колли Сиббера (1671—1757), английского актера, драматурга, режиссера и театрального критика. Сиббер является первым представителем буржуазной нравоучительной комедии в Англии; в своем творчестве опирался на комедию эпохи Реставрации, но старался изменить ее «в духе нравственности». Фильдинг, представитель демократической драматургии, боролся с ним уже в 30-е годы XVIII в.

*Панч* (сокращенное от итальянского Пунчинелла, или Пульчинелла) — полишинель, петрушка в английском кукольном театре.

Стр. 540. *...необдуманный обет Иеффая...*— По библейскому рассказу, Иеффай, судья израильский, перед сражением с племенем аммонитян дал обет в случае победы принести в жертву первое, что выйдет ему навстречу из ворот дома. Победа была одержана, и Иеффаю пришлось принести в жертву собственную дочь («Книга судей», XI).

Стр. 546. *Пресвитерианцы* — одна из пуританских сект, игравшая крупную роль во время английской буржуазной революции; пресвитерианцы относились враждебно к театру и, захватив власть, запретили театральные представления.

Стр. 552. *...мнения тех, которые считают животных простыми машинами...*— Такого мнения держались картезианцы, последователи французского философа Декарта (1596—1650).

Стр. 554. *От детских лет...*— несколько измененная цитата из «Отелло» Шекспира (действие I, сцена 3).

Стр. 556. *Pone me pigris...*— Гораций, «Оды» (I, 22, 17—24).

Стр. 562. *Dum stupet...*— Вергилий, «Энеида» (I, 495).

Стр. 565. *Нерва, Траян, Адриан и два Антонина...*— Имеются в виду римские императоры, правившие с 96 до 186 года н. э.

Стр. 567. *Правила Лонгина* сформулированы в его трактате «О возвышенном» (см. прим. к стр. 479).

Стр. 569. *...polly matete...*— Возможно, эта галиматья получилась у Партриджа из греческой пословицы: «Многознание не научает».

Стр. 571. *...одну из современных наций...*— Подразумеваются французы с их военной тактикой, выработанной во второй половине XVII века.

## КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

Стр. 577. *Мнемосина* — согласно греческой мифологии, богиня памяти и мать муз.

*Гебр* — река во Фракии, теперь Марица.

*Меония* — поэтическое название Лидии, которая предположительно считалась родиной Гомера.

*Мантуя* — город в Италии, родина Вергилия.

*Шарлотта* (Крейдок) — жена Фильдинга.

Стр. 578. *Граб-стрит* — улица в лондонском Сити, населенная в те времена издателями книг, рассчитанных на малообразованного читателя, и литературными поденщиками, поставлявшими им товар. В настоящее время переименована в Мильтон-стрит.

Стр. 579. *Итонские владения.*— Подразумевается Итонская школа на берегу Темзы, в которой учился Фильдинг.

*Ворбертон* Вильям (1698—1779) — английский богослов, занимавшийся также историей литературы, как античной, так и новой. Он отличался

властностью и менторским тоном. Отношение к нему Фильдинга явно иронической.

Стр. 580. *Сиднем* Томас (1624—1689) — известный лондонский врач, оставивший много трудов на латинском языке в области теоретической и практической медицины; усердно занимался изучением эпидемий. Сочинения его были переведены на многие иностранные языки и переиздавались вплоть до середины XIX века.

*Ганноверская* и *Гровенорская площади* находятся в западной, аристократической, части Лондона. Том Джонс въехал в Лондон с севера, по Грейс-Инн-лейн (Грейс-Инн — одна из юридических школ Лондона).

Стр. 581. *Гольборн* — лондонская улица, идущая с востока на запад, продолжением ее служит Оксфорд-стрит, уже в западной части Лондона.

*Цербер* — трехглавый пес, охранявший вход в преисподнюю. По рассказу Вергилия («Энеида», VI, 417—425), жрица Сивилла, сопровождавшая Энея в подземное царство, кинула Церберу кусок застывшего меда, смешанного с волшебными зельями.

Стр. 582. *Стигийский страж.*— Речь идет о Цербере, которого назвали так потому, что, по верованиям древних, подземное царство обтекала река Стикс.

*Пикет* — карточная игра.

Стр. 587. *Non acuta...*— Гораций, «Оды» (I, 16, 7—8).

*Кибела* — древнегреческая богиня земли. Культ ее, азиатского (фригийского) происхождения, как и культ Диониса, носил оргиастический характер. Жрецы Кибелы назывались корибантами.

Стр. 589. *Бонд-стрит* — улица в западной части Лондона, выходит на Пикадилли.

Стр. 590. *Виль* и *Баттон* — лондонские популярные кофейни, открытые в конце XVII века.

Стр. 591. *Браутон* Джон (1705—1785) — знаменитый боксер, подчинивший бокс строгой системе правил и введший его в моду в богатых буржуазных и аристократических кругах Лондона.

Стр. 592. *Гойл* Эдмонд (1672—1769) — модный в свое время автор пособий по карточной игре, особенно висту. Его книжка «Краткое исследование игры в вист», вышедшая в 1742 году, пользовалась широкой известностью в течение ста лет. Первое издание этой книги действительно стоило гинею.

Стр. 597. *Ломбард-стрит* — улица в Сити, на которой помещалось большинство банкирских контор.

*Кондитерская Вайта* — была открыта в 1693 году.

Стр. 599. *Гейдеггер* Джон Джемс (1650—1740) — швейцарец по происхождению, оперный антрепренер; приобрел славу как устроитель публичных и частных развлечений, маскарадов, балов.

## КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стр. 623. *Питт* — Уильям Питт, граф Четем (1708—1778), крупнейший государственный деятель Англии XVIII века; первоначально принадлежал к «сельской партии» (см. прим. к стр.25). Питт был выдающимся оратором; речи его весьма риторичны и строились обыкновенно по типу речей Демосфена и Цицерона.

Стр. 624. *Бисше* Эдуард (годы рождения и смерти неизвестны) — английский литератор, автор вышедшей в 1702 году компилятивной книги «Искусство английской поэзии», которая пользовалась в свое время большим успехом.

*Ванбру* Джон (1664—1726) — один из представителей комедии эпохи Реставрации.

Стр. 626. *...они воображают, будто мы живем в развращенном веке!*— Этот абзац и некоторые предыдущие замечания данной главы направлены в значительной мере против романа Ричардсона «Кларисса», в котором изображены представители высшего света. Этот роман выходил отдельными выпусками как раз в то время, когда Фильдинг работал над «Томом Джонсом».

Стр. 635. *Пэл-Мэл* — улица в аристократической части Лондона, на которой сосредоточено много клубов (от итальянского palla-maglio — название старинной игры в шары, введенной в Англии Карлом I).

Стр. 649. ... *римского сатирика...*— Ювенала. У римлян было множество фортун, на разные случаи жизни. Фортуны эти были объединены Траяном (98—117 гг. н э ) в одну, которой он воздвиг храм, где совершалось жертвоприношение в день Нового года.

Стр. 655. *Святой Антоний.*— Чудо с рыбами, которые будто бы слушали его проповедь, католики приписывают Антонию Падуанскому (1195—1231).

*Орфей* и *Амфион* — мифические греческие музыканты, которые способны были своим пением или игрой на лире приводить в движение неодушевленные предметы, останавливать реки и т. п. Сдвинув таким образом с места камни, Амфион соорудил укрепления вокруг Фив.

## КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ

Стр. 670. *Меж совершеньем...*— Шекспир, «Юлий Цезарь» (действие II, сцена 1), монолог Брута.

Стр. 672. *Ньюгетские ходатаи* — подручные адвокатов, сами не имевшие права выступать в суде. Ньюгет — старинная лондонская тюрьма, получившая свое название от городских ворот в Сити; в 1902 году была срыта и на ее месте выстроено новое здание центрального уголовного суда.

*Похищение сабинянок.*— По римскому преданию, жены и дочери сабинян (народа, жившего по соседству с Древним Римом) были похищены во время празднества подданными первого римского царя, Ромула, среди которых не было женщин.

*Гук* Натаниэль (1690—1764) — английский историк-компилятор, автор «Римской истории с критическими замечаниями».

Стр. 673. «*Роковой брак*» (1694) — трагедия второстепенного английского драматурга эпохи Реставрации Томаса Саутерна (1660—1746).

Стр. 675. *Мирмидоняне.*— Согласно «Илиаде» Гомера, жители Фессалии, участвовавшие в осаде Трои под предводительством Ахилла.

Стр. 690. «*Докторская коллегия*»— Учреждение, регистрировавшее браки, разводы, завещания, при котором находился так же суд. «Докторская коллегия» была упразднена в 1867 году и функции ее переданы другим учреждениям.

*Homo sum...*— из комедии Теренция «Сам себя наказывающий» (I, 1, 24).

Стр. 697. *Прайор* Матью (1664—1721) — английский поэт и дипломат. Сын деревенского столяра, он благодаря своим способностям, а также богатым покровителям окончил университет и получил доступ ко двору Вильгельма III. Приведенный отрывок заимствован из его эпиграмм.

*Олд-Бейли* — центральный уголовный суд Лондона, помещавшийся рядом с Ньюгетской тюрьмой (см. прим. к стр. 672).

Стр. 698. *Пред ним крушатся...*— Стих заимствован из трагедии Аддисона «Катон».

Стр. 702. *Non sum...*— Гораций, «Оды» (IV, 1, 3).

Стр. 703. *Ad unguem...*— Гораций, «Сатиры» (I, 5, 32).

## КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Стр. 715. *Банстедские возвышенности* — возвышенности к югу от Лондона.

*Солсберийская равнина* — расположена в юго-западной части Англии.

*Королевское общество.*— В 1662 году английская Академия наук, формально учрежденная в 1663 году.

*Гиацинт.*— Согласно греческой мифологии, спартанский юноша, любимец Аполлона, случайно убитый им при метании диска. Труп его был обращен Аполлоном в цветок, называвшийся древними гиацинтом, но, судя по описанию Овидия, отличный от нашего гиацинта (Овидий, «Метаморфозы», X, 5, 162—219).

Стр. 724. *Пороховой заговор* — заговор католиков, за которыми стояли представители крупнейшего дворянства Англии, против короля Иакова I и парламента (ноябрь 1605 г.). В первые месяцы своего правления Иаков I Стюарт (1603—1625) смягчил законы, преследовавшие католиков при Елиза-

вете, и вступил даже в переговоры с папой, чем возбудил в католиках большие надежды. На самом деле это было всего лишь политическим маневром короля для укрепления своей власти, и вскоре Иаков, по настоянию парламента, восстановил статут Елизаветы. Тогда группа заговорщиков-католиков задумала взорвать здание парламента в день его открытия королем (8 ноября 1605 г.), и с этой целью в погребе под залом заседаний были поставлены бочки с порохом. Вследствие недостаточной конспирации заговор был раскрыт и взрыв предотвращен. По случаю избавления от заговора государственной церковью Англии было составлено особое молебствие, о котором говорится в тексте, а день разоблачения заговора — 5 ноября — стал ежегодным праздником. Вплоть до середины XIX века во время этого праздника торжественно сжигалось чучело, изображавшее Гая Фокса, которому было поручено взорвать бочки с порохом.

Стр. 724. *Мистер Гаррик.*— Фильдинг дает здесь любопытное описание реалистических приемов игры Гаррика, о которых впоследствии писал Г.-Э. Лессинг в своем труде «Гамбургская драматургия» (см. прим. к стр. 275).

Стр. 733. *...так не можете ли вы придумать какой-нибудь способ завербовать его в матросы?* — Матросы и солдаты вербовались в Англии из «добровольцев». Приемы этой вербовки красочно описаны Фильдингом.

Стр. 740. *...зеленоглазое чудовище.*— Имеется в виду ревность (Шекспир, «Отелло», III, 3).

## КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ

Стр. 749. *Плутарх* (50—120) — греческий историк, известный главным образом своими «Сравнительными жизнеописаниями». В «Жизни Александра» он пишет: «Порок и добродетель мы часто познаем не столько при помощи великих дел, сколько при помощи анекдота, изречения, жеста, которые лучше раскрывают характер человека, чем кровавые битвы, осады и громкие подвиги».

Стр. 750. *Актон.*— Невежественный сквайр Вестерн хочет сказать: Актеон. Актеон — легендарный охотник, о котором рассказывает греческая мифология. В наказание за то, что Актеон увидел Диану во время купанья, он был превращен ею в оленя и растерзан собственными собаками.

Стр. 759. *Цицерон* — древнеримский оратор Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.); оставил философскую переписку, имеющую большую историческую ценность.

Стр. 764. *Драм* (drum) — буквально: барабан; так же называли большой званый вечер; но уже в эпоху Фильдинга это значение слова считалось устаревшим.

Стр. 773. *Дептфорд* — пригород Лондона на правом берегу Темзы.

*Олдерсгейт* — улица в Сити.

## КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Стр. 790. *Доктор Гаррингтон и доктор Брьюстер* — реальные лица.

Стр. 791. «*Федон*»—диалог Платона, излагающий беседу умирающего Сократа с учениками. Темой этой беседы было доказательство бессмертия души.

Стр.800. *Лимингтон*— портовый город на Ла-Манше, к югу от Солсбери.

Стр. 832. *Доримант* — «светский лев» и распутник, персонаж из пьесы Этериджа «Щеголь» («The Man of Mode»); прототипом его был граф Рочестер (см. прим. к стр. 132).

Стр. 838. *...купить себе на ближайших выборах в парламент место депутата от соседнего местечка...*— Владельцы пришедших в упадок старых административных центров, так называемых «гнилых местечек», либо сами назначали в парламент представителей, либо продавали право представительства. «Гнилые местечки» были упразднены лишь парламентской реформой 1832 года.

*А. Франковский*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Ю. Кагарлицкий.* Великий роман и его создатель . . . . . 5

## ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША

### КНИГА ПЕРВАЯ,

*которая содержит о рождении найденыша столько сведений, сколько необходимо для первоначального знакомства с ним читателя*

*Глава I.* Введение в роман, или Список блюд на пиршестве . . . . 31
*Глава II.* Краткое описание сквайра Олверти и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре . . . . . 33
*Глава III.* Странный случай, приключившийся с мистером Олверти по возвращении домой. Благопристойное поведение миссис Деборы Вилкинс с добавлением нескольких замечаний о незаконных детях . . . . . 34
*Глава IV.* Шее читателя угрожает опасность от головокружительного описания. Он благополучно ее минует. Великая снисходительность мисс Бриджет Олверти . . . . . 37
*Глава V*, которая содержит самые обыкновенные события с весьма необыкновенным по их поводу замечанием . . . . . 40
*Глава VI.* Миссис Дебора вводится в среду прихожан при помощи риторического сравнения. Краткие сведения о Дженни Джонс с описанием трудностей и препятствий, встречаемых порой молодыми женщинами на пути к знанию . . . . . 41
*Глава VII*, которая содержит такие важные материи, что читатель на всем ее протяжении ни разу не посмеется,— разве только над автором . . . . . 44

*Глава VIII.* Диалог между госпожами Бриджет и Деборой, который содержит больше забавного, но меньше поучительного, чем предшествующий . . . . . 48
*Глава IX*, содержащая события, которые удивят читателя . . . . 50
*Глава X.* Гостеприимство Олверти с кратким очерком характеров двух братьев — доктора и капитана, проживавших под кровом этого джентльмена . . . . . 52
*Глава XI*, которая содержит много правил и несколько примеров того, как люди влюбляются; описание красоты и благоразумных побуждений к женитьбе . . . . . 55
*Глава XII*, содержащая в себе то, что читатель, может быть, и ожидает найти в ней . . . . . 59
*Глава XIII*, завершающая первую книгу и содержащая в себе пример неблагодарности, которая, мы надеемся, покажется читателю противоестественной . . . . . 62

КНИГА ВТОРАЯ,

*заключающая в себе сцены супружеского счастья в разные периоды жизни, а также другие происшествия в продолжение первых двух лет после женитьбы капитана Блайфила на мисс Бриджет Олверти*

*Глава I*, показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа . . . . . 67
*Глава II.* Библейские тексты, возбраняющие слишком большую благосклонность к незаконным детям, и великое открытие, сделанное миссис Деборой Вилкинс . . . . . 69
*Глава III.* Описание домашнего строя, основанного на правилах, диаметрально противоположных аристотелевским . . . . . 70
*Глава IV*, содержащая описание одной из кровопролитнейших битв, или, вернее, поединков, какие известны в хрониках семейной жизни . . . . . 74
*Глава V*, в которой читателю есть что обсудить и над чем поразмыслить . . . . . 78
*Глава VI.* Процесс Партриджа, школьного учителя, по обвинению его в распутстве; показание его жены; краткое размышление о мудрости наших законов и много иных важных материй, которые больше всего понравятся людям, наилучшим образом в них смыслящим . . . . . 82
*Глава VII.* Беглый набросок наслаждения, которое благоразумные супруги могут извлечь из ненависти; с присовокуплением нескольких слов в защиту людей, смотрящих сквозь пальцы на недостатки своих друзей . . . . . 87

*Глава VIII.* Средство вернуть утраченную любовь жены, всегда действовавшее безошибочно даже в самых отчаянных случаях 91
*Глава IX.* Доказательство безошибочности вышеуказанного средства, явствующее из жалоб вдовы, а также другие аксессуары смерти, вроде врачей и т. п., и эпитафия в подобающем стиле 92

## КНИГА ТРЕТЬЯ,

*заключающая в себе достопамятнейшие события, происшедшие в семействе мистера Олверти с момента, когда Томми Джонсу исполнилось четырнадцать лет, и до достижения им девятнадцатилетнего возраста. Из этой книги читатель может выудить кое-какие мысли относительно воспитания детей*

*Глава I*, заключающая в себе мало или ничего . . . . . 99
*Глава II.* Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным своего внимания. Несколько слов об одном сквайре и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе . . . . . 101
*Глава III.* Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова; их спор касательно... . . . . 105
*Глава IV*, заключающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании . . . . . 108
*Глава V.* Мнения богослова и философа о своих воспитанниках; несколько оснований для этих мнений и другие предметы 110
*Глава VI*, в которой приводится еще более веское основание для вышеупомянутых мнений . . . . . 114
*Глава VII*, в которой на сцену является сам автор . . . . . 118
*Глава VIII.* Детская выходка, показывающая, однако, природную доброту Тома Джонса . . . . . 119
*Глава IX*, заключающая выходку гораздо худшего свойства, с комментариями Твакома и Сквейра . . . . . 121
*Глава X*, в которой Блайфил и Джонс являются в различном свете 124

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ,

*охватывающая год времени*

*Глава I*, заключающая четыре страницы . . . . . 129
*Глава II.* Легкий намек на то, что мы способны создать в возвышенном стиле, и описание мисс Софьи Вестерн . . . . . 131

*Глава III*, в которой рассказ возвращается вспять, чтобы упомянуть про один ничтожный случай, происшедший несколько лет назад, но, несмотря на всю свою ничтожность, имевший некоторые последствия . . . . . 134
*Глава IV*, содержания такого глубокого и серьезного, что оно, может быть, придется не по вкусу иным читателям . . . . . 136
*Глава V*, содержание которой придется всем по вкусу . . . . . 139
*Глава VI*. Оправдание нечувствительности мистера Джонса к прелестям милой Софьи и описание обстоятельств, которые, весьма вероятно, сильно уронят его в мнении тех остроумных и любезных господ, что восхищаются героями большинства нынешних комедий . . . . . 144
*Глава VII*, самая короткая в этой книге . . . . . 147
*Глава VIII*. Битва, воспетая музой в гомеровском стиле, которую может оценить лишь читатель, воспитанный на классиках . . 148
*Глава IX*, в которой содержатся события далеко не мирного свойства . . . . . 153
*Глава X*. История, рассказанная мистером Саплом, приходским священником. Проницательность сквайра Вестерна. Его великая любовь к дочери, за которую та платит ему взаимной любовью . . . . . 155
*Глава XI*. Молли Сигрим удается спастись. Несколько замечаний, ради которых мы вынуждены глубоко копнуть человеческую природу . . . . . 159
*Глава XII*, содержащая предметы более ясные, но проистекающие из того же источника, что и изложенные в предыдущей главе . . . . . 163
*Глава XIII*. Ужасный случай с Софьей. Рыцарское поведение Джонса и еще более ужасные последствия этого поведения для молодой девушки, а также краткое отступление в честь женского пола . . . . . 165
*Глава XIV*. Прибытие хирурга. Его мероприятия и длинный разговор Софьи со своей горничной . . . . . 168

## КНИГА ПЯТАЯ,

*охватывающая период времени немного больше полугода*

*Глава I*. О серьезном в литературе и с какой целью оно нами вводится . . . . . 175
*Глава II*, в которой мистер Джонс принимает во время болезни много дружеских визитов, а также приводится несколько тонких штрихов любовной страсти, едва заметных для невооруженного глаза . . . . . 179

*Глава III*, о которой люди без сердца подумают: много шуму из ничего . . . . . 183
*Глава IV*. Маленькая глава, которая содержит одно маленькое происшествие . . . . . 185
*Глава V*. Очень длинная глава, которая содержит очень важное происшествие . . . . . 188
*Глава VI*, при сравнении коей с предшествующей читатель, вероятно, исправит кое-какие ошибочные применения слова «любовь», в которых он прежде был повинен . . . . . 194
*Глава VII*, в которой мистер Олверти является на одре болезни . . 199
*Глава VIII*, содержащая предметы скорее естественные, чем приятные . . . . . 204
*Глава IX*, которая, между прочим, может служить комментарием к словам Эсхина, что «опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело» . . . . . 208
*Глава X*, подтверждающая справедливость многих замечаний Овидия и других более серьезных писателей, неопровержимо доказавших, что вино часто является предтечей невоздержанности 212
*Глава XI*, в которой сравнение, выраженное при помощи семимильного периода в духе мистера Попа, вводит читателя в кровопролитнейшую битву, какая может произойти без применения железа или холодной стали . . . . . 215
*Глава XII*, в которой дано зрелище, более волнующее, нежели окровавленные тела Твакома и Блайфила и дюжины им подобных . . . . . 218

КНИГА ШЕСТАЯ,

*охватывающая около трех недель*

*Глава I*. О любви . . . . . 225
*Глава II*. Характеристика миссис Вестерн, ее великой учености и знания света, и пример ее глубокой проницательности, проистекавшей из этих качеств . . . . . 228
*Глава III*, содержащая два вызова критикам . . . . . 233
*Глава IV*, содержащая разные любопытные происшествия . . . . 237
*Глава V*, в которой сообщается о том, что произошло между Софьей и ее теткой . . . . . 238
*Глава VI*, содержащая разговор Софьи с миссис Гонорой, который немного умерит волнение доброго читателя, если он расчувствовался под влиянием только что описанной сцены . . . . 243
*Глава VII*. Изображение церемонного визита жениха к невесте, сделанное в миниатюре, как это и подобает, и сцена более нежная, нарисованная в натуральную величину . . . . . 245

*Глава VIII.* Свидание Джонса с Софьей . . . . . 249
*Глава IX*, гораздо более бурного свойства, чем предыдущая . . 251
*Глава X*, в которой мистер Вестерн делает визит мистеру Олверти 255
*Глава XI*, коротенькая, но содержащая достаточно материала, чтобы растрогать сердобольного читателя . . . . . 259
*Глава XII*, содержащая любовные письма и т. п. . . . . 261
*Глава XIII.* Поведение Софьи при сложившихся обстоятельствах, за которое ее не станет порицать ни одна представительница прекрасного пола, способная поступить таким же образом, а также разбор одного запутанного вопроса перед судом совести . . . . . 265
*Глава XIV.* Короткая глава, содержащая короткий разговор между сквайром Вестерном и его сестрой . . . . . 268

## КНИГА СЕДЬМАЯ,

*охватывающая три дня*

*Глава I.* Сравнение света с театром . . . . . 273
*Глава II*, содержащая разговор мистера Джонса с самим собой . . 276
*Глава III*, содержащая разные разговоры . . . . . 278
*Глава IV.* Портрет сельской помещицы, срисованный с натуры . . 283
*Глава V.* Благородное поведение Софьи по отношению к тетке . . 285
*Глава VI*, содержания весьма разнообразного . . . . . 287
*Глава VII.* Замечательное решение Софьи и еще более замечательный ход миссис Гоноры . . . . . 292
*Глава VIII*, изображающая сцены перебранки — явление довольно заурядное . . . . . 296
*Глава IX.* Мудрое поведение мистера Вестерна в роли судьи. Указание мировым судьям насчет качеств, требующихся от писца, а также удивительные примеры родительского безрассудства и дочерней любви . . . . . 299
*Глава X*, содержащая различные материи, может быть, и натуральные, но низкие . . . . . 303
*Глава XI.* Приключение с отрядом солдат . . . . . 307
*Глава XII.* Приключение с компанией офицеров . . . . . 310
*Глава XIII*, в которой содержится рассказ об удивительной ловкости хозяйки, великой учености хирурга и мастерской казуистике почтенного лейтенанта . . . . . 316
*Глава XIV.* Глава чрезвычайно страшная, которую не следует читать на ночь, особенно в одиночестве . . . . . 321
*Глава XV.* Финал описанного приключения . . . . . 326

## КНИГА ВОСЬМАЯ,

*охватывающая почти два дня*

*Глава I.* Отменно длинная глава касательно чудесного,— гораздо длиннее всех наших вводных глав . . . . . 333
*Глава II*, в которой хозяйка гостиницы посещает мистера Джонса 339
*Глава III*, в которой хирург второй раз появляется на сцене . . 342
*Глава IV*, в которой выводится один из забавнейших цирюльников, какие увековечены в истории, не исключая багдадского цирюльника и цирюльника в «Дон Кихоте» . . . . . 345
*Глава V.* Диалог между мистером Джонсом и цирюльником . . 348
*Глава VI*, в которой раскрываются новые таланты мистера Бенджамина и будет сообщено, кто этот необыкновенный человек 352
*Глава VII*, которая содержит более серьезные доводы в защиту поведения Партриджа; оправдание слабодушия Джонса и несколько новых анекдотов о хозяйке . . . . . 356
*Глава VIII.* Джонс прибывает в Глостер и останавливается в «Колоколе»; характеристика этого заведения, а также кляузника, с которым он там встречается . . . . . 359
*Глава IX*, содержащая несколько разговоров Джонса с Партриджем касательно любви, холода, голода и других материй и повествующая о том, как Партридж, находившийся уже на волосок от открытия своему другу роковой тайны, к счастью, вовремя удержался . . . . . 364
*Глава X*, в которой описывается необыкновенное приключение наших путешественников . . . . . 369
*Глава XI*, в которой Горный Отшельник начинает рассказывать свою историю . . . . . 376
*Глава XII*, в которой Горный Отшельник продолжает свою историю . . . . . 383
*Глава XIII*, в которой содержится продолжение истории Горного Отшельника . . . . . 388
*Глава XIV*, в которой Горный Отшельник заканчивает свой рассказ 394
*Глава XV.* Краткая история Европы и любопытный разговор между мистером Джонсом и Горным Отшельником . . . . . 399

## КНИГА ДЕВЯТАЯ,

*охватывающая двенадцать часов*

*Глава I.* О тех, кому позволительно и кому непозволительно писать истории, подобные этой . . . . . 407
*Глава II*, содержащая весьма замечательное приключение, случившееся с мистером Джонсом во время его прогулки с Горным Отшельником . . . . . 411

*Глава III.* Прибытие мистера Джонса и его спутницы в гостиницу и весьма обстоятельное описание эптонского сражения . . . 415
*Глава IV*, в которой прибытие военного окончательно прекращает враждебные действия и приводит к заключению прочного и длительного мира между враждовавшими сторонами . . . . 420
*Глава V.* Апология всех героев, обладающих хорошим аппетитом, и описание битвы в любовном роде . . . . . 423
*Глава VI.* Дружеская беседа на кухне, окончившаяся очень обыкновенно, хотя не очень дружески . . . . . 427
*Глава VII*, содержащая более обстоятельные сведения о миссис Вотерс и о том, как она очутилась в плачевном положении, из которого была выручена Джонсом . . . . . 432

## КНИГА ДЕСЯТАЯ,

*в которой история подвигается вперед на двенадцать часов*

*Глава I*, содержащая предписания, которые весьма необходимо прочесть нынешним критикам . . . . . 439
*Глава II*, повествующая о прибытии некоего ирландского джентльмена и о весьма необычайных приключениях в гостинице . . 441
*Глава III.* Диалог между хозяйкой и горничной Сусанной, который полезно прочесть всем содержателям гостиниц и их слугам. Прибытие молодой прекрасной дамы и ее приветливое обращение, могущее послужить для знатных особ уроком, как снискать всеобщую любовь . . . . . 446
*Глава IV*, описывающая верные средства снискать всеобщее презрение и ненависть . . . . . 450
*Глава V*, раскрывающая, кто были любезная дама и ее нелюбезная служанка . . . . . 453
*Глава VI*, описывающая наряду с прочим сметливость Партриджа, исступление Джонса и глупость Фитцпатрика . . . . . 458
*Глава VII*, в которой доводится до конца изложение приключений в эптонской гостинице . . . . . 462
*Глава VIII*, в которой история возвращается вспять . . . . . 465
*Глава IX.* Бегство Софьи . . . . . 469

## КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ,

*охватывающая около трех дней*

*Глава I.* Корка для критиков . . . . . 477
*Глава II.* Приключения Софьи после отъезда из Эптона . . . . 481
*Глава III.* Очень короткая глава, в которой, однако, есть солнце, луна, звезда и ангел . . . . . 487

*Глава IV.* История миссис Фитцпатрик . . . . . 488
*Глава V*, в которой содержится продолжение истории миссис Фитцпатрик . . . . . 493
*Глава VI*, в которой ошибка хозяина гостиницы повергает Софью в страх . . . . . 497
*Глава VII*, в которой миссис Фитцпатрик заканчивает свою историю . . . . . 500
*Глава VIII.* Страшный переполох в гостинице и приезд неожиданного друга миссис Фитцпатрик . . . . . 507
*Глава IX.* Утро, изображенное изысканным слогом. Почтовая карета. Учтивость горничных. Героический характер Софьи. Награжденная щедрость. Отъезд всей компании и ее прибытие в Лондон. Некоторые замечания, полезные для путешественников . . . . . 512
*Глава X*, содержащая два-три замечания насчет добродетели и немного более насчет подозрительности . . . . . 516

## КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ,

*охватывающая тот же самый промежуток времени, что и предыдущая книга*

*Глава I*, объясняющая, что следует считать плагиатом у нынешних писателей и что надо рассматривать как их законную добычу 523
*Глава II*, в которой сквайр хотя и не находит своей дочери, зато находит нечто, полагающее конец ее преследованию . . . 525
*Глава III.* Отъезд Джонса из Эптона и что случилось с ним и с Партриджем по дороге . . . . . 528
*Глава IV.* Приключение с нищим . . . . . 533
*Глава V*, содержащая дальнейшие путевые приключения мистера Джонса и его спутника . . . . . 536
*Глава VI*, из которой видно, что самые лучшие вещи могут быть поняты и истолкованы превратно . . . . . 540
*Глава VII*, содержащая два-три наших собственных замечания и гораздо большее количество замечаний почтенной компании, собравшейся в кухне . . . . . 542
*Глава VIII*, в которой Фортуна относится к Джонсу как будто благожелательнее, чем до сих пор . . . . . 547
*Глава IX*, содержащая лишь несколько несвязных замечаний . 550
*Глава X*, в которой мистер Джонс и мистер Даулинг распивают бутылочку . . . . . 553
*Глава XI.* Несчастья, постигшие Джонса на пути в Ковентри, и мудрые замечания Партриджа. . . . . 557

*Глава XII*, повествующая о том, как мистер Джонс продолжал свое путешествие вопреки совету Партриджа и что с ним случилось 559
*Глава XIII*. Диалог между Джонсом и Партриджем . . . . . 566
*Глава XIV*. Что случилось с мистером Джонсом по выезде из Сент-Олбенса . . . . . 571

## КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ,

*охватывающая период в двенадцать дней*

*Глава I*. Обращение к высшим силам . . . . . 577
*Глава II*. Что случилось с мистером Джонсом по прибытии в Лондон 580
*Глава III*. Проект миссис Фитцпатрик и ее визит к леди Белластон 584
*Глава IV*, вся наполненная визитами . . . . . 587
*Глава V*. Происшествие, приключившееся с мистером Джонсом в его новой квартире, и некоторые сведения о джентльмене, проживавшем там же, о хозяйке дома и о двух ее дочерях. . . 589
*Глава VI*. Что случилось за завтраком у почтенной вдовы и несколько мыслей касательно воспитания дочерей . . . . . 593
*Глава VII*, описывающая маскарадные нравы . . . . . 599
*Глава VIII*, содержащая тягостную сцену, которая большинству читателей покажется весьма необыкновенной . . . . . 603
*Глава IX*, трактующая о материях, совершенно отличных от тех, которые обсуждались в предыдущей главе . . . . . 607
*Глава X*. Глава хоть и короткая, но способная вызвать слезы на глазах у иных читателей . . . . . 610
*Глава XI*, которая поразит читателя . . . . . 612
*Глава XII*, заключающая тринадцатую книгу . . . . . 618

## КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

*охватывающая два дня*

*Глава I*. Попытка доказать, что сочинение выигрывает, если автор имеет некоторые познания в предмете, о котором он пишет 623
*Глава II*, которая содержит письма и еще кое-что, касающееся любовных похождений . . . . . 626
*Глава III*, содержащая разнообразные материи . . . . . 631
*Глава IV*, которую, мы надеемся, с большим вниманием прочтут молодые люди обоего пола . . . . . 634
*Глава V*. Краткая биография миссис Миллер . . . . . 638
*Глава VI*, содержащая сцену, которая, мы не сомневаемся, растрогает всех наших читателей . . . . . 641
*Глава VII*. Свидание мистера Джонса с мистером Найтингейлом 645

*Глава VIII.* Что произошло между Джонсом и мистером Найтингейлом-старшим. Появление лица, о котором еще не было упомянуто в настоящей истории . . . . . 649
*Глава IX*, содержащая странные происшествия . . . . . 656
*Глава X*, краткая и заключающая эту книгу . . . . . 659

## КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ,

*в которой наша история подвигается вперед еще на два дня*

*Глава I*, слишком краткая, чтобы нуждаться в заглавии . . . . 663
*Глава II*, в которой возникает самый черный замысел против Софьи 664
*Глава III.* Дальнейшее развитие того же замысла . . . . . 668
*Глава IV*, из которой будет видно, какой опасный адвокат женщина, когда она применяет свое красноречие в защиту дурного дела . . . . . 672
*Глава V*, содержание которой отчасти возмутит, отчасти поразит читателя . . . . . 673
*Глава VI.* Каким образом сквайру удалось отыскать свою дочь 679
*Глава VII*, в которой беднягу Джонса постигают разные несчастья 683
*Глава VIII*, краткая и приятная . . . . . 689
*Глава IX*, содержащая любовные письма разного рода . . . . 691
*Глава X*, состоящая частью из фактов, частью из замечаний по их поводу . . . . . 696
*Глава XI*, содержащая события любопытные, но не беспримерные 699
*Глава XII.* Открытие, сделанное Партриджем . . . . . 701

## КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

*охватывающая период в пять дней*

*Глава I.* О прологах . . . . . 707
*Глава II.* Курьезное приключение со сквайром и бедственное положение Софьи . . . . . 708
*Глава III.* Что случилось с Софьей во время ее заключения . 714
*Глава IV*, в которой Софью освобождают из заточения . . . 717
*Глава V*, в которой Джонс получает письмо от Софьи и идет в театр с миссис Миллер и Партриджем . . . . . 721
*Глава VI*, в которой наша история должна вернуться назад . . 727
*Глава VII*, в которой мистер Вестерн является с визитом к сестре в сопровождении мистера Блайфила . . . . . 730
*Глава VIII.* Замысел леди Белластон погубить Джонса . . . 732
*Глава IX*, в которой Джонс делает визит миссис Фитцпатрик . 735
*Глава X.* Последствия описанного визита . . . . . 739

## КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ,

*охватывающая три дня*

*Глава I*, содержащая обрывок вступления . . . . . 745
*Глава II*. Великодушное и благородное поведение миссис Миллер 746
*Глава III*. Посещение мистера Вестерна и несколько замечаний относительно отцовской власти . . . . . 749
*Глава IV*. Необычайная сцена между Софьей и ее теткой . . . 755
*Глава V*. Миссис Миллер и мистер Найтингейл навещают Джонса в тюрьме . . . . . 760
*Глава VI*, в которой миссис Миллер посещает Софью . . . . . 762
*Глава VII*. Патетическая сцена между мистером Олверти и миссис Миллер . . . . . 765
*Глава VIII*, содержания разнообразного . . . . . 768
*Глава IX*. Что случилось с мистером Джонсом в тюрьме . . . 773

## КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

*охватывающая около шести дней*

*Глава I*. Прощание с читателем . . . . . 781
*Глава II*, содержащая весьма трагическое происшествие . . . 782
*Глава III*. Олверти посещает старика Найтингейла; странное открытие, которое он при этом сделал . . . . . 786
*Глава IV*, содержащая два письма в совершенно различном стиле 790
*Глава V*, в которой наша история продолжается . . . . . 794
*Глава VI*, в которой наша история продолжается дальше . . 799
*Глава VII*. Продолжение нашей истории . . . . . 802
*Глава VIII*. Снова продолжение . . . . . 806
*Глава IX*. Снова продолжение . . . . . 813
*Глава X*, в которой наша история начинает близиться к развязке 819
*Глава XI*. Наша история подходит еще ближе к развязке . . 824
*Глава XII*. Все ближе к концу . . . . . 830
*Глава последняя*, в которой наша история заканчивается . . . . 836

Примечания *Ю. Кагарлицкого, А. Франковского* . . . . 843

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 62

*Генри Фильдинг*

ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША

*

Редактор Т. Блантер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Г. Сурис и Л. Фильцер

*

Сдано в набор 26/X 1972 г.
Подписано к печати 19/II 1973 г.
Бумага типогр. № 1.
Формат 60×84 1/16. 55 печ. л. 51,32 усл. печ. л. 52,87 + 6 накид. + 1 вкл. = =53,51 уч.-изд. л.
Тираж 303 000 экз. Заказ № 3319
Цена 2 р. 51 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28